



Джон Ричард Грин

ИСТОРИЯ АНГЛИИ и английского народа

John Richard Green

HISTORY OF THE ENGLISH PEOPLE





Джон Ричард Грин

ИСТОРИЯ АНГЛИИ и английского народа

John Richard Green

HISTORY OF THE ENGLISH PEOPLE



КУЧКОВО ПОЛЕ

Москва
2018

УДК 94
ББК 63.3(4Вл)
Г82

Грин Д. Р.

Г82 **История Англии и английского народа** / Пер. с англ. — 4-е изд.,
испр. и доп. — М.: Кучково поле, 2018. — 896 с.

ISBN 978-5-9950-0860-6

Труд известного английского историка-позитивиста XIX в. Джона Ричарда Грина «История Англии и английского народа» охватывает огромный пласт истории Великобритании — с высадки англов на Британские острова в V в. и до окончания войны с наполеоновской Францией в начале XIX в. В нем освещаются различные исторические аспекты: образование и становление Английского королевства, процесс феодализации и политического объединения страны, междоусобицы и войны, возникновение парламента и оформление сословной монархии, образование политических партий, создание англиканской церкви в период Реформации и колониальные завоевания...

Книга представляет большой интерес для широкого круга читателей.

УДК 94
ББК 63.3(4Вл)

ISBN 978-5-9950-0860-6

© ООО «Кучково поле», 2017

Часть 1

Английские королевства (607—1013)

Глава I

Британия и Англия

Отечество английского племени находится очень далеко от самой Англии. В V в. после Р. Х. страна под названием Англия (of Angla or the Engeland) лежала в нынешнем Шлезвигском округе, т. е. в середине полуострова, отделяющего Балтийское море от Северного. Прекрасные пастбища, усадьбы из строевого леса, красивые маленькие города, отражающиеся в пурпурных водах заливов, — все это было тогда не более как песчаной равниной, опоясанной по краям мрачными, не пропускавшими солнечного света лесами и пересекавшейся там и сям лугами, которые сливались незаметно с болотами и морем. Жители этого округа были, по-видимому, только отпрыском племени, называемого англами, или английским народом, главная часть которого занимала, вероятно, местность между средним течением Эльбы и Везера. К северу от шлезвигского отпрыска англов находилось другое родственное им племя — юты, имя которого сохранилось до сих пор в названии области Ютландии, а к югу от него жили различные германские племена, занимавшие место между Эльбой и Эмсом, а также растянувшиеся далеко за Эмс до Рейна и составлявшие один народ саксов. Англы, юты и саксы принадлежали к одной и той же нижнегерманской ветви тевтонской расы, и в момент вступления их на историческое поприще мы видим их связанными друг с другом узами общего происхождения, одинакового языка, одинаковых социальных и политических учреждений. Каждому из этих племен выпало на долю участвовать в завоевании нашей страны, и когда это завоевание стало свершившимся фактом, то от слияния всех трех племен и произошел английский народ.

О нравах и образе жизни народов этой древней Англии мы знаем весьма немного, но, судя по имеющимся данным, относящимся к эпохе их появления в Британии, надо думать, что их политическая и социальная организация должна была быть такой же, как и у всех народов германской расы, к

которой они принадлежали. Основой их общества был «свободный человек». Он один был «человеком свободной выи», длинные волосы которого развивались по шее, никогда не склонявшейся перед господином; он один был и «вооруженным человеком», носившим копье и меч и сохранявшим право возмездия, или личной войны, — право, бывшее при таком состоянии общества хоть некоторой уздой, сдерживавшей полный произвол.

У англов, как и у всех других народов, правосудие развилось из личных действий каждого члена племени. Было время, когда каждый «свободный человек» являлся и своим собственным мстителем, но даже в самых древних формах английского общества это право самозащиты изменялось под влиянием все более и более развивавшегося понятия об общественном правосудии. «Пеня крови», или денежное вознаграждение за личную обиду, была первой попыткой племени урегулировать частную месть. При этой системе жизнь и каждая часть тела свободного человека были оценены. Око за око или соответствующее справедливое за него вознаграждение — так гласил грубый кодекс обычного права. Дальнейший шаг в том же направлении мы усматриваем и в другом очень древнем обычае. Цену жизни или члена тела уплачивал не преступник пострадавшему, а семейство или дом преступника семейству или дому пострадавшего. Таким образом, закон и порядок основывались здесь на понятии о родстве по крови всех семейств племени; установился взгляд, что совершенное преступление было совершено всеми родственными по крови преступнику людьми и против всех родственников пострадавшего, и из этого-то взгляда развились первые грубые формы английской юстиции. Каждый родственник был как бы опекуном над родственником, обязан был защищать его от обид, препятствовать ему самому совершать преступления, ответственность и платить за него, если преступление было совершено. Этот принцип признавался настолько, что если кого-нибудь обвиняли в совершении преступления даже перед целым племенем, то единственными его судьями оставались все-таки его родичи, ибо обвинительный или оправдательный приговор постановлялся лишь после их торжественной клятвы в подтверждение его вины или невиновности.

Родственные связи дали формы не только английскому суду, но также и всей военной и социальной организации древнеанглийского общества. Родичи дрались на поле сражения рядом, и чувство чести и дисциплины, связывавшее все войско в одно целое, исходило из чувства долга каждого члена небольшой группы воинов по отношению к их семьям. Как они бились бок о бок на войне, так они и жили бок о бок во время мира. Гарлинг жил рядом с Гарлингом, Биллинг рядом с Биллингом, и каждое селение

(wick), город (tun, town), жилище (ham, home) или усадьба (stead) назывались по имени живших в них родственников. Таким образом, ham Биллингов назывался Биллингамом и tun, или town, Гарлингов — Гарлингтоном. В таких поселениях узы крови преобразовывались в более широкие — поземельные связи. У германской расы с очень давнего времени гражданское полноправие, по-видимому, соединялось с владением землей. Свободным человеком был, собственно говоря, только свободный владелец — фригольдер, и полноправность его в общине, к которой он принадлежал, была нераздельна с его владением землей в общине. Безземельный человек фактически переставал быть свободным, хотя он и не становился от этого ничьим рабом. В самых ранних исторических периодах мы видим германскую расу как расу земледельцев и землевладельцев. Тацит, первый римлянин, познакомившийся с теми, кому суждено было завоевать Рим, описывает их как людей, пасших стада скота в лесных долинах вокруг их деревень и обрабатывавших свои поля. Главными чертами, поразившими Тацита и резко отделявшими германцев от цивилизованного мира, к которому принадлежал автор описания, были их ненависть к городам и ревнивая любовь к независимости: «Они живут каждый сам по себе, — говорит этот писатель, — в лесах, долинах или возле свежих источников, избираемых каждым по своему усмотрению». И как каждый обитатель селения ревниво оберегал свою независимость от односельчан, так и каждое селение сохраняло свою самостоятельность по отношению к другим селениям. Каждая маленькая земледельческая община имела свою особенную границу — марку (mark), состоявшую из леса, пустоши или болота, которой она отделялась от другой общины. Землей, составлявшей такие границы, никто из членов общины не имел права пользоваться для личных целей, но она иногда служила местом казни преступников и потому считалась специальным обиталищем злых духов и душ умерших, бродивших там в виде блуждающих огоньков (will-o'-the wisp). Если чужестранец проходил через этот лес или эту пустошь, то обычай требовал, чтобы он трубил в трубу, иначе он считался врагом и всякий имел законное право его убить. Город — поселение тогда называлось от слова tun — был окружен грубым валом и рвом, служившими готовой крепостью во время войны с внешним врагом; во время же внутренних усобиц между деревнями, или усадьбами, эти же укрепления играли роль траншей. С самых ранних периодов исторической жизни мы находим здесь уже ясно выраженное различие в положении двух классов населения: большинство усадеб принадлежало свободным людям — кэрлам, но были усадьбы побогаче, принадлежавшие эрлам, т. е. людям, отличавшимся благородством происхожде-

ния, пользовавшимся особым наследственным уважением, людям, из среды которых выбирались преимущественно предводители в военное и правители в мирное время; выборы эти были однако совершенно добровольными, и человек «благородной крови» не пользовался никакими установленными законом привилегиями среди своих сограждан. Владения свободных людей были расположены вокруг так называемого moot-hill — места, отведенного для народного веча, или около священного дерева, вокруг которого собиралась вся община для обсуждения хозяйственных дел и установления новых законов. Здесь делились между членами общины луга и пахотная земля, переходили из рук в руки поля и усадьбы, улаживались распри между земледельцами согласно обычаям, изъясняемым здесь же старейшинами, осуждались и наказывались преступники и их родственники; здесь выбирались те, кто должен был сопровождать предводителя, или эльдормена, в собрание сотни или на войну. С тем самым чувством, с каким смотрим мы на источник могущественной реки, созерцаем мы умственно и эти крошечные собрания, на которые стекался деревенский сход для управления деревенской жизнью и рассмотрения деревенских дел, совершенно так же, как их потомки, люди позднейшей эпохи, собираются в парламент в Вестминстере, дабы издавать там законы и отправлять правосудие в великом королевстве, выросшем из кучки земледельческих общин в Шлезвиге.

Религия англов была та же самая, как и у всех остальных германских племен. Уже торжествовавшее в эту эпоху в Римской империи христианство не проникло еще в леса севера. Названия наших дней недели напоминают до сих пор названия божеств, которым поклонялись наши предки. Среда (Wednesday) — это день Одина (Woden), бога войны, охранителя дорог и границ, изобретателя письменности, общего божества всего победоносного народа, каждое племя которого считало его родоначальником своих королей. Четверг (Thursday) — день Тундера, или, как северяне называли его, Тора, бога воздуха, грома, бури и дождя. Пятница (Friday) — день Фрей, богини мира, радости и всякого плодородия; символы этой богини, носившиеся на руках танцующими девушками, приносили изобилие каждому полю и каждой конюшне, которые они посещали. Суббота (Saturday) напоминает нам о таинственном боге Сеттере, а Вторник (Tuesday) — о мрачном боге Тиу, встреча с которым влекла за собой смерть. В названии христианского праздника Воскресения (Easter) сохранилось имя Эостры, богини зари и весны, а в названии рока, или судьбы (Weird), долго сохранявшегося северного суеверия, имя Wyrd, — богини смерти, или «девы щитов», могущественной женщины, которая, как гласит старинная

песнь, «оттачивает для битвы оружие и направляет свистящие дротики». Еще более близкими для народной фантазии были божества лесов и рек или герои легенд и сар: Nisog — «дух воды», переживший себя в Nixies (водных) и в «Старом Нике» (Old Nisu — Сатана); Уэланд, ковавший тяжелые щиты и острые мечи, — память о нем удержалась в беркширском «кузнице Уэланде»; а название города Эйлсбери сохраняет в себе последние следы предания о брате Уэланда, «стрелке солнца», — Эджиле. От всей этой массы древних суеверий и поэтических воззрений на природу остались лишь следы в некоторых названиях, серых надмогильных памятниках да в отрывках старых песен, и это обстоятельство указывает на то, насколько непрочно укоренились эти верования в народной жизни.

Прежде чем начать нашу историю, мы должны перенестись из Шлезвига и с берегов Северного моря в страну, столь дорогую теперь каждому англичанину, но в которую не ступала до тех пор английская нога. Остров Британия был в течение почти 400 лет провинцией Римской империи. Высадка Юлия Цезаря (55 г. до Р. Х.) открыла этот остров римскому миру, но прошло около столетия, прежде чем император Клавдий попытался окончательно подчинить его своей власти. Победы Юлия Агриколы (78–84 гг. по Р. Х.) отодвинули границу римского владычества в Британии до устьев Форты и Клайда, куда вслед за римским мечом продвигалась и римская цивилизация. Население группировалось в таких городах, как Йорк и Линкольн, управляемых своими собственными муниципальными чиновниками, защищенных массивными стенами и соединенных между собой сетью дорог, тянувшихся от одного конца острова до другого. В городах, подобных Лондону, возникла торговля, а земледелие достигло такой степени процветания, что Британия была в состоянии удовлетворять потребности в хлебе даже Галлии. Минеральные богатства острова разрабатывались в оловянных рудниках Корнваллиса, в свинцовых Сомерсета и Нортумберленда и в железных Динского леса. Богатства острова быстро возросли за несколько столетий нерушимого мира; но те самые причины, которые подтачивали силы Римской империи, должны были повлиять и на ее британскую провинцию. Здесь, как и в Италии, и в Галлии, население, вероятно, опускалось материально и духовно — по мере того, как имения землевладельцев увеличивались, а земледельцы превращались в крепостных, хижины которых группировались вокруг роскошных резиденций их властелинов. Разрабатываемые принудительным трудом рудники сделались источниками бесконечного гнета. Города и селения были одинаково задавлены тяжелыми налогами, а промышленность опутана сетью таких законов, которые быстро придали организации ремесел наследственно-цеховой характер.

Сверх того, чисто деспотическая система римского правительства подавляла всякую местную независимость, а вместе с ней и всякое сопротивление. Люди забывают, что значит борьба за отечество, если они забывают, что значит самоуправление.

Такие причины разложения были общи для всех провинций империи, но были и другие, действовавшие только в Британии и зависевшие от ее исключительного положения. Остров ослабел от внутренних несогласий, явившихся результатом особенного характера его цивилизации. Дело в том, что побежденные бритты были романизованы только в городах, сельское же население осталось в стороне от римского влияния — говорило на своем родном языке и даже удержало свои туземные обычаи. Употребление латинского языка можно было рассматривать, как мерило римской цивилизации; но тогда как в Испании и Галлии латинский язык совершенно вытеснил языки побежденных народов, в Британии употребление его ограничивалось горожанами да богатыми землевладельцами, жившими вне городов. Но опасность, происходившая от такого положения вещей, особенно дала себя знать лишь тогда, когда у бриттов появился новый враг с севера. Слабость провинции и надежда на хорошую добычу возбудили к нападению на бриттов непокоренных римлянами пиктов, которые и проникали в самый центр острова; такое предприятие пиктам было бы, конечно, не по силам, если бы они не встретили помощи в части самого бриттского населения, т. е. если бы борьба не велась между римлянами и романизованными бриттами с одной и пиктами и нероманизованными бриттами с другой стороны. Борьба эта продолжалась до тех пор, пока более близкая для римлян опасность не заставила империю отозвать свои легионы и предоставить Британию самой себе. В продолжение первых четырех столетий по Р. Х. цивилизованный мир этот счастливо справлялся с окружавшими его со всех сторон варварами — парфянами со стороны Евфрата, нумидийцами со стороны африканских пустынь, германцами со стороны Дуная и Рейна. Разложение Римской империи сделало ее, наконец, почти неспособной к сопротивлению, и толпы диких варваров устремились на свою добычу. В западных провинциях Рима торжество нападавших было полным: франки победили и заселили Галлию, вестготы — Испанию, вандалы основали государство в Африке, бургунды расположились по Роне, наконец, остготы завладели самой Италией; в этот-то роковой для империи час саксы и англв устремились на наш остров.

В 410 г. Рим отозвал из Британии свои легионы для защиты Италии от готов. Предоставленная самой себе Британия храбро сражалась с осаждавшими ее пиктами, и ей удалось оттеснить своих врагов в их горы; новые

избеги пиктов застали бриттов ослабленными внутренними раздорами и целавшимися неспособными к общему согласному сопротивлению, жителям бывшей римской провинции стало не под силу бороться с пиктами, шедшими в это время благодаря союзу с ирландскими разбойниками (так называемыми скоттами) и с еще более опасными пиратами — англами, давно уже грабившими берега Ла-Манша. Пример ли германских собратьев, двинувшихся из своих лесов на разлагавшуюся империю, давление ли со стороны других племен или бесплодность обитаемой ими земли, так или иначе, но только в это время земледельцы, охотники и рыбаки различных английских племен двинулись к морю, и смелый дух их расы сразу обнаружился в стремительности их набегов, свирепости нападений, беззаботном веселье, с которым они брались и за меч, и весло: «Эти враги, — говорил один римский поэт того времени, — свирепее всех других наших врагов, и их хитрость равна их жестокости; море — их военная школа, буря — их друг, они — морские волки, живущие грабежом мира». Борьба против соединенных пиктов, скоттов и саксов своими собственными силами была невозможна для Британии, и осажденные прибегли к роковой тактике римлян, погубившей и самую империю, т. е. к системе натравливания одного ирландского племени на другие. Правители Британии решили ослабить союз, переманив на свою сторону разбойников, опустошавших ее восточные берега, и противопоставить таким образом своих новых союзников нападавшим пиктам. Для этой цели при посредстве обычных обещаний надежды на земли и платы в 449 г. была привлечена в Британию армия ютов с двумя начальниками — Генгестом и Горзой — во главе.

Глава II

Английское завоевание (449–577)

Прибытием Генгеста и его воинов к Эббсфлиту на берегах острова Та-эта начинается собственно английская история, и нет места более священного для англичанина, нежели то, на которое впервые ступила английская нога. В самом Эббсфлите нет ничего, что могло бы сколько-нибудь очаровать взор путешественника: это небольшая возвышенность, по которой разбросаны там и сям серые коттеджи, отделенные теперь от моря луками и плотинами. Тем не менее ландшафт не лишен некоторой своеобразной дикой красоты. Направо белый полукруг рамсетских утесов возвышается над имеющим форму полумесяца Пегуэльским заливом, а налево — резкие серые болота, где по дыму можно определить местоположение Рич-

боро и Сандвича, береговая линия незаметно заворачивает к новой линии утесов за Дилемм. Весь характер местности вполне подтверждает народное предание, указывающее на Эббсфлит, как на место высадки наших предков; физические перемены, происшедшие с тех пор, мало изменили общий характер этой местности. Легко догадаться, что пустынная равнина, называемая ныне Minster-Marsh, была некогда широкой полосой моря, отделявшей Танет от Британии, и через нее-то разбойничьи ладьи первых англов при попутном ветре достигали до песчаной отмели Эббсфлита. Укрепление Ричборо, разрушенные валы которого до сих пор возвышаются над серыми равнинами, служило обычной пристанью для путников из Галлии. Допустив, что в момент договора с бриттами разбойничьи ладьи крейсировали возле берегов Британии, легко понять, почему пираты высадились именно в Эббсфлите, почти под самыми стенами Ричборо; последующие события указывают, что выбор места для высадки был сделан вполне сознательно. Едва ли могло существовать взаимное доверие между бриттами и их наемными солдатами, и только в этом месте Генгест и его товарищи могли чувствовать себя в безопасности со стороны других пиратов, с одной стороны, и измены своих новых союзников — с другой; выбор места для высадки мог удовлетворить также и бриттов, опасавшихся — и, как доказали события, далеко не безосновательно, — что для отпора пиктам они ввели в Британию еще более страшного врага. И вот из предосторожности против своих опасных союзников бритты и оставили их в углу острова за морским каналом, защищенным самой сильной из их береговых крепостей. Необходимость таких предосторожностей была подтверждена распрями, начавшимися между союзниками, как только окончилось дело, для которого наемники были приглашены. Едва были рассеяны в одном большом сражении пикты, как уже бритты увидели опасность со стороны ютов. Численность последних, вероятно, быстро возрастала по мере того, как между их соплеменниками распространялись известия о водворении их в Британии, а вместе с возрастанием их численности, естественно, возрастали затруднения по снабжению новых пришельцев провизией и платой. Из-за такого рода вопросов быстро возникли раздоры, и Генгест грозил своим союзникам войной. Не совсем, однако, легко было и для Генгеста привести свою угрозу в исполнение, так как он был отрезан от суши морским проливом, становившимся проходимым лишь при отливе, и то по длинному и опасному броду; притом пролив был защищен крепостями Ричборо и Рекульвер. Канал Медуэй, окаймленный вельскими лесами с юга, защищал тыл, тогда как крепости, расположенные на тех местах, где ныне находятся города Кентербери и Рочестер, защищали дорогу к Лондону. Тут же вокруг

были расположены войска с графом Саксонского Берега, обязанные защищать берег от варваров. Невзирая на все эти затруднения, юты внезапно появились в Британии, и прежде чем бритты успели сосредоточить свои силы для сопротивления, их враги не только перешли пролив, но и захватили дорогу, ведущую к Лондону. По всей вероятности, сильно укрепленные стены Рочестера заставили ютов повернуть к югу и двинуться вдоль кряжа невысоких гор, образующих восточную границу Медуэйской долины. Страна, через которую они проходили, уже имела свою историю, но память о ней успела исчезнуть даже в те времена: склоны гор были кладбищем исчезнувшего племени, и между глыбами камней возвышались там и сям cromlechs — надгробные памятники и громадные курганы. Один из таких памятников существует и поныне под названием Kit's Coty House, а в те времена он соединялся целой аллеей из камней с кладбищем возле Аддингтона. С высокого пригорка у этого памятника увидели английские воины поле своего первого сражения; с этого пригорка прошли они по существующей до настоящего времени и извивающейся между мирными усадьбами проселочной дороге к броду, давшему свое имя маленькой деревушке Эльсфорду. Летописи победоносного народа умалчивают о том, что случилось до взятия брода, равно как и о самом сражении у этой деревушки. Они только упоминают, что Горза пал в битве в минуту победы, и сохранившаяся до наших дней куча из кремней — Horstead — с его именем считалась в позднейшие времена памятником над его могилой, древнейшим памятником той английской доблести, которая воздвигла себе в Вестминстере последний и благороднейший храм.

Эльсфордская победа не только отдала в руки победителей восточный Кент, но и сделалась первым шагом к полному завоеванию Британии. Последовавшая вслед за битвой резня указывала на неумолимость начавшейся борьбы. Более зажиточные кентские землевладельцы бежали в паническом страхе за море, жители бедных классов скрывались в горах и лесах, пока выгнанные оттуда голодом они не были вынуждены сдаться неприятелю для казни или рабства. Напрасно укрывались некоторые из них в стенах церквей: победители умерщвляли священников у самых алтарей — их ненависть обращалась более всего против духовенства, — поджигали церкви, и укрывшимся оставался выбор между пленением и безжалостной стабью врага. Такого рода картины резко отличают покорение Британии от покорения других римских провинций. Покорение Галлии франками и Италии лангобардами состояло в насильственном поселении победителей среди побежденных, которым после длинного ряда лет было суждено поглотить своих завоевателей: французский язык — язык не франка, но того гал-

ла, которого он покорил, а светлые волосы лангобарда почти исчезли из Ломбардии; не то — в Британии, где победители в течение полутора столетий продолжали вытеснять покоренный народ, и в громадной борьбе Рима с вторгнувшимися в него германскими племенами мы не находим другого примера такого упорного сопротивления врагу, как в Британии. Целых два столетия прошло прежде, чем бритты были окончательно покорены, и именно по причине этого упорства и этой неумолимости борьбы из всех завоеваний германцев завоевание Британии было полным и самым совершенным. Всюду, куда проникал меч англов, Британия превращалась в землю англов (Engeland) — Англию, страну англичан, а не бриттов. Возможно, что небольшая часть бриттов осталась на родине, хотя не иначе как в качестве рабов англов, и несколько их обиходных слов (если они не были внесены позднее) примешивались к английской речи; но такие сомнительные исключения не изменяют общего характера всей картины завоевания. Когда внутренние раздоры приостановили безостановочный до того времени прогрессивный ход английского завоевания, — а это случилось через полтора столетия лет после Эльсфордской битвы, — то бритты успели уже исчезнуть с половины принадлежавшей им территории, и язык, религия и законы английских завоевателей господствовали без соперников от Эссекса до Дербиширского пика и устья Северна и от Британского пролива до устья Форта.

Эльсфорд был, как сказано, первым шагом к покорению Британии. Об упорстве борьбы можно судить по тому, что для покорения одной Южной Британии потребовалось шестьдесят лет, а для покорения Кента — двадцать. Только после второго поражения при проходе Крэй бритты покинули Кент и в страхе бежали к Лондону, но и после того они снова возвратились, и лишь в 465 г. после ряда мелких стычек произошло решительное сражение при Уиннедсфлите. Здесь поражение было столь серьезным, что всякие надежды спасти большую часть Кента были потеряны, и только на южном берегу бритты удержали еще свои позиции. Восемь лет спустя борьба была окончена, и с падением Лаймна, разрушенные стены которого смотрят с холма на обширную площадь Ромнейского болота, дело первых английских завоевателей было окончено. Жажда грабежа привлекла вскоре новые воинственные отряды с германского берега. Новые шайки из саксонских племен, живших между Эльбой и Рейном, появились в 477 г. и пробились по полосе земли, лежащей к западу от Кента — между Уилдом и морем. Нигде физический вид страны не изменился так сильно, как здесь. Громадный пустырь из кустарников и мелколесья, известный под названием Андресовой пустоши, тянулся более чем на сто миль от границ Кента до

Гемпширских степей, достигая к северу почти до Темзы и оставляя лишь на юге узенькую береговую полосу. Этот берег был защищен сильной крепостью, занимавшей то место, которое теперь называется Певэнси, место будущей высадки нормандского завоевателя. Падение крепости Андериды в 491 г. привело к возникновению королевства южных саксонцев (Сассекс): «Аэлла и Кисса осадили Андериду, — гласила безжалостная летопись завоевателей, — и истребили всех жителей, так что там не осталось ни одного бритта». В это же время другое саксонское племя побеждало бриттов на другом краю Кента, к северу от устья Темзы, и основывало поселение восточных саксонцев, как впоследствии называли воинов этого племени, в долинах Колна и Стаура. К северу от Стаура дело покорения бриттов продолжалось третьим из тех племен, которые мы видели в их германском отечестве, народом, которому суждено было поглотить и ютов, и саксов и дать свое имя всей покоренной земле; то были англй, или англичане. Их первые высадки происходили в той области, которая отделяется от остальной Британии Уэшем, Фенсом и большими пространствами леса и которая впоследствии называлась Восточной Англией; здесь победители укрепились в местности под названием North Folk и South Folk — эти названия и теперь сохранились в находящихся в этой местности графствах. Этим и закончилась первая стадия покорения Британии, и к концу V в. весь берег ее от Уэша до саутгемптонских вод был в руках вторгшихся германских племен. Пока, однако, неприятель прошел недалеко внутрь страны, так как огромные леса и болота удерживали англов, саксов и ютов в узких границах по берегу моря. В начале VI в. два племени, одержавшие главные победы над бриттами, начали новые на них нападения: в устьях Форта и Гумбера появились англй, а в саутгемптонских водах — саксы.

Покорение Южной Британии было совершено новым отрядом саксов, известных в древние времена под именем гевиссов, а впоследствии называвшихся западными саксонцами. Они высадились к западу от полосы берега, завоеванной отрядами Аэлла, и двигались под предводительством Кердика и Кинрика от саутгемптонских вод до большой равнины, в которой находилась такая крупная приманка, как Винчестер. Пять тысяч бриттов пали в сражении, открывшем страну вторгшемуся новому врагу, а в 519 г. другая победа при Чарфорде увенчала голову Кердика западно-саксонской короной. Мы очень мало знаем подробностей об этих сражениях, нам неизвестны также и обстоятельства, внезапно затормозившие дальнейшее движение саксонцев; однако достоверно известно, что в 520 г. бритты одержали победу над западными саксонцами при Моунт-Бэдоне и тем на целых 30 лет задержали движение неприятеля. Вероятно, пояс лесов,

находившихся между Дорсетом и долиной Темзы, сильно затруднял наступление; так или иначе, но известно, что Кинрик, наследовавший после смерти Кердика саксонскую королевскую корону, продолжил дело вторжения лишь в 552 г. Взятие горной крепости Старого Сарума открыло нападающим Уилтширские равнины, откуда они двинулись к северу и, одержав новую победу при Барбэри-Хилле, окончательно завоевали равнины Мальборо. Из этой пустынной местности западные саксы повернули на восток — в богатые долины современного Беркшира и, выиграв сражение при Уимблдоне, присоединили весь нынешний Сэррей к своим владениям; поход их короля Кутвульфа сделал их вслед за тем властелинами области, состоящей из теперешних графств в Оксфордшире и Бекингемшире, а еще несколько лет спустя саксонцы ринулись на богатую добычу по реке Северну. Глостер, Сайсистер и Бат, города, объединившиеся под предводительством своих британских королей для сопротивления этому нашествию, сделались в 577 г. — после победы при Дургаме — добычей саксов, и линия великой западной реки лежала перед завоевателями открытой. При новом короле Кевлине западно-саксонцы проникли к границе Честера, и город Урикониум погиб в пламени. Британский поэт жалобно поет предсмертную песнь Урикониума, «белокаменного города, сверкавшего между зелеными лесами», города, хоромы начальника которого «остались без очага, без света, без песен», города, «мертвая тишина которого теперь нарушается лишь клекотом орла, напившегося крови из сердца прекрасного Киндейлена». Набег, однако, был отбит, и этот удар оказался роковым для власти Уэссекса: хотя в конце концов западные саксонцы и сделались властелинами над всеми народами Британии, но в это время час такой их власти еще не пробил, и в течение целого столетия верховенство оставалось в руках другого племени, к империи которого мы теперь и обратимся.

Реки служили естественными путями, по которым северные пираты пробирались к центру Европы. В Британии лондонская крепость преградила им доступ к устью Темзы и заставила их для достижения ее верховьев двигаться по южному берегу острова и по степям Уилтшира. Но реки, впадающие в Гумбер, вели, как большие дороги, в самое сердце Британии, и этими путями большая часть неприятелей и стала проникать внутрь острова. Новые враги, подобно завоевателям Восточной Англии, происходили от английского племени, жившего в Шлезвиге. Так как эта гроза настигла равнины Линкольншира, расположенные к югу от Гумбера, то и завоеватели, поселившиеся в опустошенной стране, стали называться Lindiswara, или жители Линдума. Часть воинов, вошедших в Гумбер, повернула к югу Элметрским лесом, покрывавшим всю местность вокруг Лидса, и направи-

лась по течению Трента. По занятому ими месту между Трентом и Гумбером они стали известны как Southumgrians (южноумбирийцы). Другая часть, следуя по Соару, достигла Лейстера и стала известна под именем средне-англов (Middle-English). Истоки Трента были заселены отрядами, двинувшимися дальше к западу и расположившимися вокруг Личфильда и Рейтона. Впоследствии эта страна, сделавшаяся пограничной между англами и бриттами маркой, стала называться Мерсией, а ее жители-мерсийцами, т. е. людьми границы. Нам известно очень мало о покорении Средней Британии и немногим более о покорении севера. При владычестве Рима центром политического значения в Британии была обширная область, расположенная между Гумбером и Фортом. Йорк считался столицей острова и служил местопребыванием римского префекта, а военные силы были расположены вдоль римской стены. Тогда признаки богатства и благосостояния жителей повсюду бросались в глаза. Города вырастали под защитой римских легионов. Долина Узы и отдаленные плоскогорья Твида были усеяны богатыми усадьбами британских землевладельцев; повсюду пастухи безбоязненно пасли свои стада. Эта область подверглась теперь одновременному вторжению и с севера, и с юга. Часть неприятельских сил направилась через Гумбер в йоркские равнины и основала там королевство Дейра, растянувшееся по болотистой местности Хольдернесса и по меловым плоскогорьям к востоку от Йорка. Этим, однако, дело не кончилось, и жители нового королевства после борьбы, о которой мы ничего не знаем, вскоре превратили в пепел Йорк и предали огню и мечу всю местность по долине Узы. Тем временем пираты появились также в Фортсе и пробрались вдоль Твида. Прибывший с пятьюдесятью лодками Ида основал королевство Берниция, построил столицу на скале Бамборо и двинулся дальше, везде встречая упорное сопротивление, послужившее сюжетом для английских саг. Последовавшая вслед затем борьба между королевствами Дейра и Берниция за верховенство на севере окончилась их соединением под властью короля Берниции Этельрика, и из этого союза образовалось новое королевство Нортумбрия. Этими событиями Британия и была окончательно превращена в Англию.

Понятна жадность, с которой хватаемся мы за всякую возможность узнать что-либо о судьбе наших предков; но тщетно прислушивались бы мы с этой целью к монотонным жалобам Гильды, единственного писателя, оставленного нам британцами. Гильда был современником и очевидцем вторжения пиратских орд, ему мы обязаны нашими сведениями о завоевании Кента, но он решительно умалчивает обо всем, что касается образа жизни английских завоевателей. Вообще, обо всем, что делалось по ту сто-

рону границы новой Англии, выросшей вдоль южных берегов Британии, Гильда упоминает лишь мельком; по всей вероятности, он сам имел лишь слабое понятие о разрушенных укреплениях, об алтарях, оскверненных языческим нечестием. Его молчание и неведение очень характерны для борьбы того времени: ни одна британская голова ни разу не склонилась добровольно перед завоевателями, и не нашлось ни одного британского пера, которое дало бы описание покорения своего народа. Целое столетие спустя после вторжения англов бритты все еще называли их не иначе как «варварами», «волками», «собаками», «щенками из конуры варваров», «племенем, ненавистным Богу и людям». Их победы казались британцам победами злых духов, карой божественного правосудия за какой-то всенародный грех. Их опустошения, как ни были они ужасны, рассматривались как явление преходящее, и британцы твердо верили в исполнение предсказания, гласившего, что в следующем веке власть пришельцев будет низвергнута. Не было речи не только о подчинении, но даже и о сношениях с пришельцами, и вот почему Гильда ни одним словом не упоминает ни об их судьбе, ни об их предводителях. Несмотря на это молчание, мы все же кое-что знаем об устройстве английского общества в завоеванной стране. Нельзя не остановить внимания на том факте, что завоеватели Британии представляли собой единственную чисто германскую народность, осевшую на развалинах Рима. В других странах — в Испании, Галлии, Италии, — хотя победители были также германцами, но религия, общественная жизнь, административное устройство — все оставалось по-прежнему римским; в Британии же Рим сделался каким-то смутным преданием о прошлом. Вся организация правительства и общества исчезла вместе с народом, которому она принадлежала. Мозаики и монеты, которые мы находим в недрах наших полей, принадлежали не нашим английским предкам, а римскому миру, стертому с острова их мечами. Законы этого исчезнувшего мира, его литература, обычаи, верования исчезли вместе с ним. Новая Англия была языческой страной, и культ Одина и Тора восторжествовал в ней над религией Христа. Из всех германских разрушителей Рима одни англй отвергли религию низвергнутой империи. В других римских провинциях христианское духовенство служило посредником между варварами и побежденными, но в завоеванной англами части Британии христианство совершенно исчезло. Реки, усадьбы, границы, даже дни недели носили имена новых богов, сменивших Христа. Но если Англия и казалась вследствие всего этого пустыней, из которой исчезла всякая цивилизация, тем не менее эта страна таила в себе зародыши жизни несравненно более высокой, нежели та, которая была уничтожена. Основанием нового английского общества стал

служить «свободный человек», тот, которого мы уже видели обрабатывающим землю, отправляющим правосудие и приносящим жертвы богам совершенно самостоятельно в его далеком отечестве у Северного моря. Как бы жестоко ни обошелся англ с материальной цивилизацией Британии, но он не мог быть лишь простым разрушителем. Едва успела прекратиться война, как воин превратился уже в пахаря, и дом свободного крестьянина появился около груды развалин сожженной им виллы. Маленькие группы родственников стали соединяться в *tun* и *ham* на берегах Темзы и Везера. Их связывали между собой не только узы крови, но и отношения к земле, владение ею на общинном начале. Образ жизни каждой небольшой сельской общины в Британии ничем не отличался от образа жизни их родичей в Шлезвиге. Каждая община имела свой холм или священное дерево — как место для народного веча, свою межу (марку) — как границу, чинила суд по свидетельству родственников обвиняемого и издавала законы в собрании всех свободных людей, а также избирала себе начальников и назначала лиц, которые должны были сопровождать начальника, или эльдормена, в сотенное собрание или на войну.

Впрочем, в некоторых отношениях примитивные формы английского быта изменились с переходом англов в землю бриттов. Завоевание породило королей. Вероятнее всего, что на родине англы совсем не знали королей, так как там каждое племя управлялось в мирное время своим старейшиной (эльдорменом). Но при такой войне, которую вели англы с бриттами, необходимость заставила их иметь общего предводителя, и такой предводитель занял вскоре положение более значительное, нежели положение временного начальника. Сыновья Генгеста сделались королями Кента, сыновья Аэллы — Сассекса, западные саксонцы избрали себе королем Кердика. Выбор короля крепче связывал между собой деревни и племена. Новые правители окружили себя дружинами «товарищей», или «тенгов», служба которых вознаграждалась особым пожалованием им участков из общественной земли. Социальное положение каждого из таких «товарищей» не было наследственным, но в конце концов именно из них образовалось дворянство, сменившее собой эрлов прежнего английского быта. Войны, породившие короля и дворянство, были причиной и возникновения рабства. У англов, как и у всех германских народов, всегда существовал класс невольных людей, но численность этого класса, мало изменившаяся с покорением Британии, увеличилась вследствие междоусобных войн, начавшихся между самими завоевателями. Никакое общественное положение не избавляло военнопленного от рабства, на которое иногда смотрели даже с радостью, как на средство избавиться от смерти. Пример этого мы видим

в рассказе о благородном воине, раненном в битве, происшедшей между двумя английскими племенами, и приведенном в качестве раба в дом ближайшего начальника. Он назвал себя крестьянином, но его господин проник в его тайну. «Ты заслуживаешь смерти, — сказал он ему, — потому что все мои родные и брат пали в битве»; но ради какой-то своей клятвы он помиловал пленного и продал его одному фризу в Лондон, по всей вероятности, работоторговцу из тех, которые возили тогда английских пленников на невольничий рынок в Риме. Не одна только война, но и преступления или неуплата долгов влекли за собой рабство. В дни бедствий голод заставлял людей надевать на себя ярмо ради хлеба. Должник, не бывший в состоянии уплатить своих долгов, бросал на землю свой меч и копье свободного человека, брал топор чернорабочего и отдавал себя головой хозяину. Преступник, родственники которого не уплачивали за него присужденную пеню, делался рабом обвинителя или короля. Иногда отец семейства, побуждаемый нуждой, продавал в рабство жену и детей. Раб составлял часть живого инвентаря имения, и хозяин завещал его после своей смерти, как лошадь или вола. Дети его тоже были рабами, и даже дети свободного человека от матери-рабыни наследовали положение матери. «Теленок от моей коровы принадлежит мне», — гласит английская пословица. Хижины несвободных располагались вокруг домов богатых землевладельцев точно так же, как около вилл римских вельмож. Пахари, пастухи коз, свиней, волов и коров, доильщицы, молотильщики, сеяльщики, сторожа сена и леса были также часто несвободными. Рабство это отличалось от рабства позднейших дней тем, что рабов редко били и заковывали в цепи, хотя господин и имел над рабом право жизни и смерти и раб считался простой движимостью. Для него не было места в суде; его родственник не имел права мстить за нанесенную ему обиду. Если посторонний убивал раба, то господин требовал вознаграждения; если раб совершал преступление, то подвергался наказанию кнутом; если он убегал, то его ловили, как беглое животное, и засекали до смерти; если убегала рабыня, то ее сжигали.

Глава III

Королевство Нортумбрия (588—685)

Покорение большей части Британии стало совершившимся фактом. К востоку от линии, идущей приблизительно вдоль болот Нортумберленда и Йоркшира через Дербишир и Арденский лес к устью Северна и оттуда, минуя Мендин, к морю, остров перешел в руки англов, и с этого времени

сам характер завоевания Британии совершенно изменился. Истребление и изгнание жителей, сопровождавшие прежние войны, окончились, и победители стали селиться между побежденными. Но еще более важные перемены произошли во взаимных отношениях самих победителей. По окончании войны с бриттами их активность направилась на долгую междоусобную борьбу за гегемонию того или другого племени, борьбу, из которой в конце концов выросло наше национальное единство. Западные саксы, осевшие в долине Северна, после кровопролитной битвы при Фаддили начали междоусобные распри даже раньше, чем окончилась война с бриттами. Борьба между Берницией и Дейрой — двумя соперничавшими королевствами на севере — очень ослабила англов той местности, и это продолжалось до тех пор, пока в 588 г. значение Дейры как самостоятельного королевства до того упало, что король Берниицы Этельрик присоединил его к своим владениям, составившим впоследствии королевство Нортумбрия. Среди этих смут на севере и юге внезапно возвысилось значение Кента, король которого Этельберт еще до 597 г. упрочил свою гегемонию над саксами Мидлэссекса и Эссекса и англами Восточной Англии и Мерсии, простиравшейся к северу до Гумбера и Трента.

Гегемония Этельберта ознаменовалась возобновлением сношений Британии с континентом Европы, прекратившихся со времени вторжения англов. Его брак с Бертой, дочерью франкского короля Кариберта Парижского, создал новые связи между Kentом и Галлией, повлекшие за собой последствия, о которых и не мечтал сам Этельберт. Подобно всем своим франкским родственникам, Берта была уже христианкой, и потому она явилась в столицу Кента Кентербери в сопровождении христианского епископа, которому и была отдана для богослужения старая полуразрушенная церковь Св. Мартина. За это событие с жаром ухватился и восседавший тогда на римском престоле епископ Григорий Великий. Существует рассказ, что незадолго до того времени римский дьякон Григорий, проходя по площади Рима, увидел нескольких рабов с белым цветом кожи, красивыми лицами и золотистыми волосами и спросил, кто они такие. «Они англы», — отвечал работорговец. Сожаление дьякона вылилось в поэтической форме: «Не англы они, а ангелы; у них такие ангелоподобные лица; а как же называется их страна?» — «Дейра», — отвечал купец. «*Dei ira!* — непеводимо играя словами, говорил дьякон. — Да, они отрешены от гнева Божия (*Dei ira*), и Христос зовет их своей милостью. А как имя их короля?» — «Элла», — отвечали ему.

«В земле Эллы будут петь аллилуйя!» — сказал дьякон и пошел, размышляя о том, как эти люди с ангелоподобными лицами будут петь в своей

стране аллилуйя. Этот дьякон и сделался со временем знаменитым папой Григорием. После осторожных переговоров с правителями Галлии он послал римского аббата Августина, в сопровождении многих монахов, проповедовать Евангелие английскому народу; миссионеры высадились на том самом месте, где за сто лет перед тем высадился Генгест, т. е. на острове Танете, и король принял их, сидя под открытым небом, в известковой долине, возвышающейся над Минстером, откуда и теперь еще видна кентерберийская башня. Выслушав через переводчика длинную проповедь Августина, Этельберт отвечал ему с чисто английским здравым смыслом: «Твои слова хороши, но они новы и не совсем понятны», а потому заявил, что он остается верен богам своих отцов, обещая, однако, вместе с тем защиту и покровительство иностранцам. Монахи вошли в Кентербери, неся впереди серебряное распятие и распевая хором духовные кантаты: «Отврати, Господи, от града сего гнев твой и ярость твою, отврати их от дома твоего святого, ибо мы согрешили». Затем раздалось древнееврейское восклицание, которое Григорий с пророческой проникательностью сочетал с именем йоркширского короля Эллы — аллилуйя!

Очень странно, что одно и то же место послужило пунктом высадки Генгеста и Августина, но вторая высадка в Эббсфлите была до некоторой степени отменой или переделкой первой. Прибытие «чужеземцев из Рима», так называли миссионеров, когда они встретились в первый раз с английским королем, шествие монахов под звуки торжественной литии — все это было как бы возвращением назад римских легионов, удалившихся из Британии при звуке труб Алариха. В проповеди Августина Этельберт слышал язык и мысли не только Григория, но и тех людей, которые были изгнаны и истреблены предками Этельберта, ютами. Кентербери, древнейшая столица новой Англии, сделался и центром римского влияния. Латинский язык опять стал одним из языков Британии, языком ее богослужения, ее сношений, ее литературы, а вместе со всем этим возобновились и прерванные высадкой Генгеста связи Англии с остальной Европой. Новая Англия заняла свое место среди европейских народов, и цивилизация вместе с искусством и литературой, исчезнувшими было перед мечом завоевателей, возвратилась в Британию вместе с христианской верой. Система римского права не могла, правда, никогда пустить глубоких корней в Англии, но влияние римских миссионеров сказалось уже в том обстоятельстве, что вскоре после их прибытия из английского обычного права стали составляться кодексы письменных законоположений.

Все эти великие результаты были достигнуты не сразу: целый год прошел прежде, чем Этельберт сделался христианином, и хотя после его обра-

щения жители Кента целыми тысячами заявляли о своем желании креститься, но прошли еще годы, пока Этельберт осмелился предложить сделать то же признававшим его верховенство королям Эссекса и Восточной Англии. Эти усилия Этельберта были и его последним делом, так как они предшествовали революции, которая навеки сломила силу Кента. Племена Средней Британии восстали против его власти, которая перешла к правителю Восточной Англии Редвольду. Эта революция свидетельствовала о происшедшей в Британии перемене. Вместо множества отдельных племен завоеватели организовались теперь в три большие группы. Королевство англосаксов на севере простиралось от Гумбера до Форты; южное королевство вест-саксов тянулось от Уэтлинг-Стрит до Ла-Манша, а между ними находилось королевство Средняя Британия, границы которого были неопределенны, но которое тем не менее составляло отдельное целое в период времени от царствования Этельберта до окончательного падения мерсийских королей. В течение двух следующих столетий история Англии заключается в борьбе королевств Нортумбрийского, Мерсийского и Вест-Саксонского за гегемонию над всей остальной массой англичан и в стремлении создать из нее единый английский народ.

В этой борьбе Нортумбрия сразу приобрела такую силу, которая не допускала никакого соперничества. В правление Этельфрита, наследовавшего в 593 г. Этельрику, дело покорения других племен быстро продвинулось вперед, и после большого сражения при Дегзастане в 603 г. силы северных бриттов были настолько сломлены, что Нортумбрия распространила свое владычество от Гумбера до Форты. Вдоль западного берега Британии находились еще не покоренные королевства Стратклайд и Кумбрия, тянувшиеся от реки Клайда до реки Ди, и маленькие британские государства, занимавшие местность, которая ныне называется Уэльс. Границей между ними был Честер, который и стал для Этельфрита первым пунктом нападения. В монастыре Бангора, отстоявшем в нескольких милях от этого города, собрались две тысячи монахов, которые после трехдневного поста и молитвы последовали за британской армией на поле битвы. Этельфрит, глядя на дикие жесты и простертые к небу руки этой странной компании, принял их за волшебников. «Носят они оружие или нет, но они наши враги, раз они призывают к своему богу против нас», — сказал он своим войскам, и в последовавшей битве монахи пали первыми.

Теперь британские королевства были, безусловно, отделены одно от другого, так как победой при Деоргаме вест-саксонцы совершенно отрезали Девон и Корнваллис от остальных местностей, населенных бриттами, а победа Этельфрита при Честере разделила и эти местности на две части,

т. е. отделила бриттов Уэльса от бриттов Кумбрии и Стратклайда. С этого времени войны бриттов с англами сменились войнами Нортумбрии против Кумбрии и Стратклайда, Мерсии — против современного Уэльса, Уэссекса — против британской земли, простиравшейся от Мендина до Ландсенда. Честерская победа имела большое значение для всей Англии. Она возбудила в Этельфрите честолюбивые мечты по отношению к южной границе его королевства, где в то время король Восточной Англии Редвольд утвердил свое владычество над народами Средней Британии.

Внезапная смерть Этельфрита на время отсрочила неизбежную борьбу между Нортумбрией и Восточной Англией. Объявив войну Редвольду, приютившему у себя бежавшего из Нортумбрии Эдвина, Этельфрит погиб в битве при реке Айдль. Вступивший после него на трон Нортумбрии Эдвин правил королевством так же энергично, как и Этельфрит. Покорив пиктов и бриттов, он привел вслед затем к покорности англов Средней Британии и заключил тесный союз с Кентом, благодаря чему остались вполне независимы из английских завоевателей Британии одни лишь вест-саксонцы, да и то ненадолго, ибо анархия и внутренние распри скоро позволили завоевать Нортумбрии и это последнее независимое королевство. Существует записанный еще Бэдой рассказ, дающий некоторое понятие о ярости борьбы, завершившей завоевание Нортумбрией юга Британии: однажды Эдвин принимал на Пасху некоего Эймера, прибывшего послом от уэссекского короля. Во время аудиенции Эймер внезапно вскочил, выхватил из-под платья кинжал и бросился на нортумбрийского повелителя. Лилла, один из королевских воинов, успел заградить короля своим телом, но удар был настолько силен, что достиг Эдвина, даже пройдя через тело Лиллы. Король, однако, оправился от своей раны и пошел в поход на Уэссекс. Он перебил всех сопротивлявшихся его власти и победоносно вернулся в свою страну. Могущество Нортумбрии достигло теперь своего апогея, и Эдвин принялся за дело гражданского устройства своего государства — обстоятельство, показавшее, что время одних простых завоеваний уже миновало. Насколько успешно повел это дело Эдвин, показывает сложившаяся в это время поговорка: «При короле Эдвине женщина с ребенком могла пройти безопасно от края до края его королевства». Сообщение было, действительно, вполне безопасно; находившиеся по дороге источники были обозначены вехами, и у каждого из них находилась для удобства жаждущих путников медная кружка. Смутное предание о римском прошлом бросало свои последние лучи славы на эту новую «империю англов», и часть этого прошлого, без сомнения, возвратилась вместе с наступившим миром. Королевский штандарт из пурпура и золота развевался перед Эдвином, когда он объезжал

свои владения, а копьё с султаном из перьев — римская tufa — всегда предшествовало его прогулкам по улицам. Повелитель Нортумбрии приобрел в Британии такую власть, какой не пользовался еще ни один английский король. К северу его государство простиралось от Форты и замыкалось городом, названным в честь короля — городом Эдвина — Эдинбургом. На западе он был властелином Честера, а сооруженный им флот подчинил ему острова Энглези и Мен. Все области к югу от Гумберта, кроме Кента, признавали также его суверенитет, да и сам Кент был тесно связан с Нортумбрией женитьбой Эдвина на сестре кентского короля.

Вместе с этой королевой прибыл из Кента в Нортумбрию Паулин, один из спутников Августина; согбенная фигура, орлиный нос и черные волосы, обрамлявшие худое и истомленное лицо прибывшего, были долго памятливы северянам. Вскоре королеве и Паулину удалось обратить Эдвина в христианство, и «мудрецы» Нортумбрии (Wise Men) стали часто собираться для совещаний о новой вере. Для более тонких умов прелесть христианства заключалась в том некотором свете, который оно бросало на тайну жизни, на мрак прошедшего и будущего: «Жизнь человеческая, о, король, — воскликнул один из эльдорменов, — подобна воробью, влетающему в теплую залу, где ты сидишь у пылающего огня, в то время как на дворе идет дождь и бушует буря; воробей влетает в одну дверь, остается на миг в свете и тепле и затем, вылетая в другую, исчезает во мраке, из которого перед тем прилетел. Не точно ли также созерцаем мы всего лишь один миг и жизнь человека, но что предшествовало, что последует за ней, то нам неизвестно. Если новое учение откроет нам хоть что-нибудь об этом, то мы примем его». На большинство толпы, однако, всегда влияют более грубые аргументы. «Никто из твоего народа, Эдвин, не почитал богов усерднее меня, — проговорил, обращаясь к королю, жрец Койфи, — но существует много людей гораздо богаче и счастливее меня. Если бы эти боги имели какую-нибудь силу, то они помогали бы своим служителям» — и с этими словами Койфи вскочил на коня, ударил копьём в священный храм при Годмангеме и вместе со всеми остальными «мудрецами» принял веру своего короля.

Но вера Одина и Тора не могла исчезнуть совсем без борьбы. Со смертью Этельберта наступила реакция против христианства даже в самом Кенте. Король Восточной Англии Редвольд нашел удобным служить одновременно Христу и старым богам, и в его государстве христианские и языческие алтари стояли рядом в одном и том же храме. Молодые короли восточных саксов ворвались однажды в церковь, где епископ Лондонский Мелит причащал народ, с криками: «Дай нам белый хлеб, который давал нашему отцу Сабе», и когда епископ отказал, то изгнали его из государства. Реак-

ция приостановилась на некоторое время, вследствие принятия христианства Эдвином, но вдруг неожиданно на защиту старых богов выступила Мерсия. При Эвине это королевство было подчинено супрематии Нортумбрии; но ее король Пенда увидел в возрождении старой религии средство снова завоевать себе независимость. Этот король весьма значительно усилил могущество Мерсии, подчинив своей власти Среднюю Англию до Лейстера, Южную Умбрию и Линдисвар и даже отняв у Уэссекса его владения по Северну; и хотя после смерти Пенды эти области опять отделились на некоторое время от мерсийского государства, тем не менее под именем Мерсии теперь уже понималась совокупность всех этих земель. Но даже с такими силами Пенде было опасно соперничать с Нортумбрией, и потому он решился, воспользовавшись прекращением борьбы между англами и бриттами, вступить в союз с валлийским королем Кадваллоном для совместных действий против Эвина.

Оба войска сошлись при Гетфильде, и в происшедшей здесь битве Эвин был разбит и убит. Смерть Эвина вызвала в Нортумбрии борьбу партий, которой и воспользовался Пенда в своих честолюбивых планах. Чтобы довершить завоевание Средней Британии, он, прежде всего, обратил свое оружие против Восточной Англии, которая тем временем от странной смеси религий, господствовавшей в ней при Редвольде, обратилась к совершенному язычеству; этот порядок вещей, однако, продержался недолго, и новая религия снова восторжествовала при короле Сигеберте. Испугавшись могущества Пенды, Сигеберт променял престол на монастырь, но при известии о нашествии неприятеля народ принудил своего короля покинуть келью, так как существовало убеждение, что присутствие Сигеберта принесет армии милость неба. Король-монах стал во главе своей армии, но отказался иметь в руках что-либо, кроме посоха, и пал на поле сражения; его смерть повлекла за собой бегство войска и подчинение государства Пенде. Между тем Кадваллон опустошал в это время Дейру и даже захватил Йорк; но это торжество бриттов было настолько же скоротечно, насколько и неожиданно. Освальд, второй сын Этельфрита, стал во главе своего народа, собрал небольшую армию нортумбрийцев и расположился с ней около Римской Стены. Вместо знамени король держал собственноручно большой крест, приказав солдатам рыть яму для его водружения. Потом, пав на колени, он взывал к своему войску, прося его молиться «Богу живому», и Кадваллон, последний герой бриттов, пал в битве на «небесном поле», как впоследствии называли поле сражения у Римской Стены. В течение последовавших семи лет могущество Освальда равнялось могуществу Этельфрита и Эвина.

В этой борьбе Освальда с язычниками за торжество Креста был решительно ни при чем миссионер Паулин, убежавший из Нортумбрии тотчас же после смерти Эдвина; да и сама римско-христианская церковь в Кенте впала, ввиду языческой реакции, в полное бездействие. Но тем энергичнее началась в это время деятельность миссионеров из Ирландии. Чтобы понять все значение этой перемены, необходимо припомнить, что до прибытия англов в Британию христианская церковь уже охватывала собой все европейские страны, исключая Германию, и простиралась на север до самой Ирландии. Завоевание Британии язычниками-англами внедрило языческие алтари в самое сердце христианского мира и разбило его на две неравные части: с одной находились подчиненные римской курии церкви Италии, Испании и Галлии, с другой — самостоятельная церковь Ирландии. Положение этих двух частей западного христианства было совершенно различно: сила христианства в Италии, Испании и Галлии расходовалась больше всего на борьбу за существование, тогда как оставшаяся в стороне от всяких нашествий Ирландия развила в себе, после обращения в христианство, такую энергию, какой никогда уже больше не проявляла. Христианство было принято там с энтузиазмом, и вслед за ним появились в Ирландии и своя литература, и свое искусство. Изгнанные из Европы науки и изучение Библии нашли себе убежище в знаменитых школах Дэрро и Арма, сделавшихся университетами западного мира. Новая христианская жизнь забила таким ключом, которому скоро стали тесны пределы одной Ирландии. Не прошло и полвека со смерти Патрика, первого миссионера Ирландии, как уже ирландские христиане ревностно бросились на борьбу с язычеством, так сильно еще коренившимся среди христианского мира. Они стали работать среди пиктов Шотландии и фризов северных морей. Ирландский миссионер Колумбан основал монастыри в Бургундии и Апенниннах, а кантон Санкт-Галлен носит и поныне имя другого ирландского миссионера, перед которым с воем исчезали за Констанцским озером духи лесов и вод. Некоторое время казалось, что течение всемирной истории изменится, что побежденная римлянами и германцами кельтская раса одерживает нравственную победу над своими завоевателями и что не латинское, а кельтское христианство возьмет в свои руки судьбы Западной церкви.

На каменистом и неплодородном острове против западного берега Шотландии ирландский выходец Колумба основал знаменитый монастырь Ионы. Там нашел убежище во дни своей юности Освальд, а вступив на престол Нортумбрии, он вызвал оттуда себе христианских миссионеров. Первый проповедник, явившийся по его зову, не имел успеха. Он возвратился в монастырь, где и заявил братии, что среди такого упрямого и варварского

народа, как нортумбрийцы, никакая пропаганда немыслима: «Что же служит этому причиной, их ли упорство или твоя строгость, — заметил рассказчику один из братьев, Айдан, — разве ты забыл слово Божие, что надо давать сперва млеко, а уже потом и мясо?». Взоры всех присутствовавших обратились на говорящего, увидев в нем человека наиболее способного занять оставленное в Нортумбрии место миссионера, и по их общему настоянию Айдан отправился туда и учредил епископскую кафедру на острове Линдисфарне. Из основанного там же монастыря, благодаря которому и сам остров стал называться Святым Островом, проповедники рассеялись по языческим странам. Боизиль водил небольшую группу миссионеров даже в долину Твида, а сам Айдан ходил пешком по Берниции, проповедуя Евангелие поселянам. Христианская проповедь послужила прелюдией к новому политическому верховенству Нортумбрии, и святость Освальда не мешала ему думать о восстановлении своего королевства в прежних границах. Установив свой суверенитет над бриттами Стратклайда и подчинив себе Линдисвар, он решил вернуть себе господство над Уэссексом. Принятие и там новой веры служило признаком признания его верховенства. Один из проповедников, Бирин, проник в Уэссекс из Галлии, и вест-саксонский король принял крещение в присутствии Освальда и согласился на учреждение епископской кафедры в королевском городе Дорчестере на Темзе. Таким образом, Освальд стал управлять государством, по обширности не уступавшим владениям его предшественника; но в последующие времена воспоминание о его политическом могуществе как-то потонуло в воспоминаниях о его благочестии. Новый взгляд на королевскую власть стал сливаться с прежним понятием о воинской славе Этельфрита и мудром управлении Эдвина, но нравственное влияние короля, так сильно развившееся впоследствии при Альфреде, ведет свое начало от Освальда. Сам король служил нередко переводчиком при попытках миссионеров обращать в христианство его танов: «Вследствие привычки молиться и приносить благодарение небу руки короля всегда были сложены как бы для молитвы». Обеда однажды с епископом Айданом, Освальд выслал одного из своих танов раздать народу милостыню, но возвратившийся тан доложил королю, что на улице стоит целая голодная толпа. Услышав это, король тотчас же приказал отнести бедным еще непочатые кушанья и отдать им, разбив на куски, и всю его серебряную посуду. «Да не состарится никогда рука сия!» — воскликнул Айдан, схватив руку короля и благословив его.

Несмотря на то что с принятием христианства в Уэссексе язычество сжималось со всех сторон в центральных округах Англии, оно тем не менее отчаянно боролось за свое существование. Душой этой борьбы явился Пен-

да, все долгое царствование которого было сплошной войной против новой религии, хотя, в сущности, он боролся не столько против Креста, сколько против верховенства Нортумбрии. Полемика между обоими государствами стала Восточная Англия, для освобождения которой от власти Пенды Освальд выступил в 642 г. в поход, но в сражении, названном сражением при Мазерфельде, он был разбит и убит. Его тело было изрезано в куски, которые свирепый победитель приказал насадить на колья. Легенда гласит, что, когда все члены тела Освальда совершенно почернели и разложились, осталась нетронутой лишь «белая рука», которую некогда благословил Айдан. В течение нескольких лет после мазерфельдской победы Пенда стоял во главе Британии. Уэссекс признал его главенство так же, как признал раньше главенство Освальда, и его король, отрекшись от христианства, женился на сестре Пенды. Даже Дейра, по-видимому, преклонилась перед новым завоевателем, и лишь Берниция еще не уступала. Проникая из года в год все дальше и дальше на север, Пенда достиг даже построенного на скале неприступного города Бамборо. Отчаявшись взять город приступом, он начал разбирать стоявшие вокруг города избы и складывать их под стенами города, чтобы поджечь Бамборо. Когда подул благоприятный для такого плана ветер, Пенда исполнил свое намерение. «О, Господи! Взгляни, что делает злой Пенда», — воскликнул в своей маленькой келье на островке Фарне Айдан, увидев расстилающийся над городом дым. Нортумбрийская легенда гласит, что вслед за этим восклицанием ветер переменялся и погнал пламя на стан Пенды. Несмотря ни на какие преследования, христианство все более и более укоренялось, Берниция так и осталась верной Кресту, вест-саксонцы снова обратились к новой вере, наконец, и сын самого Пенды, которого он поставил правителем над Средней Англией, крестился и допустил к себе проповедников из Линдисфарна. Христианские миссионеры бесстрашно появились даже между мерсийцами, и Пенда не стал им препятствовать. Сам он так и остался до конца жизни язычником, но относился с глубоким презрением к тем, которые, «принимая новую веру, не исполняли ее предписаний». Однако большие пространства, которые обходили монахи в Нортумбрии, указали Пенде на возрастающее ее могущество, и старик воспрянул еще раз, чтобы нанести удар своему врагу. По смерти Освальда на престол был призван Освю, армия которого и встретилась с войском язычников в 655 г. при реке Винведе. Тщетно нортумбрийцы пытались избежать сражения предложением Пенде дорогих подарков. «Если язычники не принимают наших даров, — воскликнул Освю, — то отдадим их Тому, кто их примет», — и он поклялся посвятить Богу свою дочь и одарить двенадцать монастырей в своем государстве, если

Бог дарует ему победу. Произошла битва, и победа осталась на стороне Христа. Река, через которую пришлось бежать мерсийцам, разлилась от дождей и поглотила остатки языческой армии, сам Пенда был убит, и дело старых богов погибло навеки.

За страшной борьбой последовал некоторый период мира. Винведская победа привела Мерсию к полной покорности Освью, но в 659 г. всеобщее восстание снова свергло иго Нортумбрии. Новое освобождение Мерсии не повлекло, однако, за собой восстановления язычества, оно умерло вместе с Пендой. «Освободившись от нортумбрийцев, — повествует нам Бэда, — мерсийцы со своим королем стали служить истинному царю, Христу». Все три провинции Мерсии, т. е. древняя Мерсия, Средняя Англия и Линдисвар, составили вместе одну епархию под управлением Кеадды, епархию Св. Чэда, который считается основателем Личфильдской кафедры. Кеадда был монахом из Линдисфарна, столь простой и непритязательный по характеру, что все свои долгие миссионерские путешествия совершал не иначе как пешком до тех пор, пока архиепископ Теодор собственноручно не посадил его на коня. Христианская поэзия облекла легендой его последние часы: она рассказывала, как в маленькой келье, где лежал умирающий, слышались с неба нежные голоса, певшие чудные песни. Потом эта песнь снова отлетела на небо, откуда пришла. Это приходила с небес в сопровождении хора ангелов душа брата Кеадды, миссионера Кедда, усладить последние минуты умирающего епископа.

Слава Кутберта почти затмила в Нортумбрии деятельность других миссионеров. Никто не даст нам такого ясного понятия о религиозной жизни той эпохи, как рассказ об этом апостоле Нижней Шотландии (Lowlands). Рассказ вводит нас в северную часть Нортумбрии, в долины Тевииота и Твиды. Кутберт родился на юге Ламмермура и с восьмилетнего возраста жил в доме одной вдовы в деревеньке Ренголме. Крепкое телосложение и поэтическое настроение с детства отличали мальчика; даже в мелочах обыденной жизни обнаруживалось его призвание к великим делам. Путешественник в белой мантии, съехавший с горы и остановившийся, чтобы осмотреть случайно ушибленное колено мальчика, показался Кутберту ангелом. Пастушеская жизнь привела его в горы, славящиеся и теперь своими прекрасными пастбищами для овец, хотя чахлая зелень едва покрывает там песчаные скалы; здесь метеоры казались ему ангелами, уносящими в высь душу епископа Айдана, здесь созрела и его решимость сделаться монахом. Наконец, Кутберт направил свои стопы к группе бревенчатых изб, в которых монахи из Линдисфарна устроили миссионерский пункт — Мельрозу. Ныне это страна поэзии и романа. Чевииот и Ламмермур, Эттрик и Тевииотдэль,

Айрроу и Аннануотер полны звуками от старых баллад и песней менестрелей. Эти долины прекрасно обработаны, а дренаж и сила пара превратили поросшие осокой болота в луга и фермы. Но для того чтобы представить себе Нижнюю Шотландию в том виде, в каком она была в дни Кутберта, нужно отрешиться от картины этих лугов и ферм и вообразить себе группы жалких лачуг, разбросанных в обширной пустыне, по болотистым дорогам которой путники ехали не иначе как вооруженными, боязливо озираясь вокруг. Нортумбрийское крестьянство было в то время по большей части христианским лишь формально, приняв новую веру с тевтонским равнодушием и только уступая желаниям своих танов, как сами таны уступили желанию короля; поэтому в их среде рядом с христианским богослужением процветали и старые суеверия. Каждая болезнь, каждое несчастье заставляли их обращаться к помощи талисманов и амулетов, а если что-либо подобное случалось с жившими среди них христианскими проповедниками, то это служило доказательством гнева прежних богов. Однажды, когда плоты с материалами для постройки аббатства и находившимися на них рабочими-монахами были унесены из устья Тайна в море, стоявшие тут же на берегу крестьяне вместо помощи погибающим закричали: «Не молитесь за них, не жалейте тех, кто отнял у нас нашу прежнюю веру и не научил, что следует делать, чтобы держаться их новомодных обычаев». Пешком и верхом странствовал Кумберт среди этих людей, предпочитая те отдаленные деревушки, от которых других проповедников отпугивали бедность и грубость их жителей. Проходя из деревни в деревню, он не нуждался, подобно другим своим ирландским товарищам, в переводчиках, и трудолюбивые нортумбрийцы охотно слушали такого же, как и они, крестьянина, выучившегося их грубому наречию на берегах Твида. Его терпение, юмористический склад ума, ясность взгляда говорили так же явно в его пользу, как и его крепкое телосложение, вполне приспособленное к избранному им себе самому тяжелому образу жизни: «Ни один из верных служителей Бога не умирал еще с голоду, — восклицал он, когда ночь заставала его голодным в пустыне, — взгляните на орла, парящего над вашими головами. И он прокормит вас, если на то будет Божья воля». И действительно, один раз он утолил голод рыбой, оброненной к его ногам спугнутой птицей. Снежная буря пригнала однажды его лодку к берегу Файфа. «Снег засыпал дорогу по берегу, а буря заградила путь по морю», — сетовали тогда его товарищи. «Но путь к небу все-таки открыт», — возразил им на это Кутберт.

В то время, когда миссионеры работали таким образом среди нортумбрийского крестьянства, в Нортумбрии возникало множество новых мона-

стырей, братия которых не была связана суровыми правилами бенедиктинского устава, а собиралась обыкновенно вокруг какого-нибудь богатого и знатного человека, искавшего в глуши пустыни спасения души. Самой известной из таких обителей стал Стринешальский монастырь, воздвигнутый Гильдой, женщиной королевской крови, на вершине утесов Уитби, высившихся над Северным морем. Этот монастырь сделался школой священников и епископов, а советов самой Гильды часто добивались короли и знатные дворяне. Святой Джон Беверлейский был одним из ее учеников. Но особенную славу приобрел монастырь с того времени, как из уст одного из его послушников прозвучала впервые чисто английская песнь. Послушник Кедмон был уже пожилым человеком, но несмотря на то, он не имел никакого понятия о стихосложении и не обладал искусством составлять аллитеративные напыщенные фразы, которыми забавлялись его товарищи. «Поэтому, бывая иногда на вечеринках, где все соглашались петь по очереди, Кедмон вставал и уходил, как только очередь доходила до него. Раз, поступив таким образом, Кедмон ушел в хлев, в котором он стерег ночью скот, как вдруг явился к нему Некто, который сказал ему: «Спой, Кедмон, песню Мне». — «Я не могу петь, и именно по этой причине я оставил пирушку и пришел сюда», — отвечал Кедмон. «Как хочешь, но ты должен Мне спеть», — снова сказал Тот, который с ним разговаривал. «Что же должен я петь?» — молвил Кедмон. «О сотворении мира», — отвечал Тот». Утром Кедмон пришел к Гильде и рассказал ей про свое видение. Аббатиса и братия тут же решили, что «особая милость Божия почует над Кедмоном», перевели для него одно место из Священного Писания и просили переложить, если он может, это в стихи. На следующий день Кедмон передал Гильде превосходные стихи, и тогда аббатиса, уверившись окончательно в его божественном даре, просила его совсем покинуть мирские занятия и посвятить свою жизнь Богу. Кедмон согласился и по частям переложил стихи всю Священную историю: «Он воспел сотворение мира и человека, историю Израиля, исход его из Египта и вступление в обетованную Землю, воплощение, страдание и воскресение Христа, ужасы Страшного суда, муки ада и радость рая».

Людям той эпохи этот внезапно обнаружившийся дар поэтического творчества, конечно, казался чем-то сверхъестественным: «Старались составлять религиозные поэмы и другие, но никто не мог соперничать с Кедмоном, потому что он воспринял это искусство не от людей, а от Бога». По внешней форме английская песнь мало двинулась вперед со времен Кедмона. Сборник поэм, связанных с именем Кедмона, дошел до нас в позднейшей западно-саксонской версии, и хотя критики до сих пор спорят об име-

ни их творца и эпохе их появления, но они принадлежат, без сомнения, разным авторам. Стих этих поэм — кому бы они ни принадлежали, Кедмону или другим певцам, — сильный и прямой, производящий более впечатление силы, чем красоты, но он затемнен излишеством метафор и запутанными оборотами; вместе с тем это — краткое и страстное выражение кратких и страстных эмоций, очень напоминающее песни воинов. Образ за образом, мысль за мыслью являются в этих ранних поэмах ярко, резко и выразительно. Стихи падают, как удары меча в пылу битвы. Любовь к описанию красот природы и некоторая отличающая английские песни меланхоличность знакомы и этим ранним певцам. Но вера во Христа создала, как мы видели, новое поле для поэтического творчества. Легенды о небесном свете или рассказ Бэды «О воробье» указывают на ту сторону английского характера, которая была наиболее доступна христианскому воздействию, — на инстинктивное сознание беспредельности мира, тайны жизни и неудовлетворенность узкими границами познания, определяемыми наблюдением и опытом. Новый мир поэзии соединился со старым в так называемых эпических поэмах Кедмона. В этих поэмах смелость тевтонского воображения заходит в своей образности за пределы самой еврейской истории и вводит нас «в мрачный ад, без света, хотя и полный огня, освежаемый лишь на заре ледяным дыханием восточного ветра, с лежащими на полу этого ада связанными падшими ангелами». Энергичность германской расы и ее сознание индивидуальной силы превратили в английских песнях еврейского Искушителя в мятежного Сатану, восставшего против своих вассальных отношений к Богу. «Я не могу быть таким же Богом, как и Он, — восклицает Сатана среди своих мучений, — и мне кажется недостойным кланяться Ему ради какого-нибудь блага». В следующем возгласе падшего духа можно уже заметить патетическую нотку, которая занесена с севера и в нашу поэзию: «Для меня главное горе заключается в том, что Адам, созданный из праха, занимает мое место, живя в радости, тогда как я томлюсь в этой муке. О, как бы я желал только на один час иметь в своих руках власть, я бы с моей ратью... но я окован железными путами, и это подымает мою желчь!» С другой стороны, энтузиазм, возбуждаемый христианским Богом, вера в которого была куплена годами отчаянной борьбы, выражается в длинном роде звучных похвал и молитв. Характеру этих поэтов настолько же были близки огонь и страсть еврейских песнопений, насколько события их времени имели сходство с постоянной борьбой и странствованиями, изображенными в Библии. «Волки затаили свою мрачную вечернюю песнь, и хищные птицы, с намокшими от росы перьями, каркали, жажда сражения, над ратью фараона», — говорит германский поэт, и разве не

навешаны эти строки знакомым ему зрелищем воющих волков и парящих орлов, сопровождавших армию Пенды? И повсюду заметны величие, глубина и теплота, сообщенные германской расой религии Востока.

Но прежде чем раздалась песнь Кедмона, христианская церковь Нортумбрии разделилась на две части вследствие борьбы, конечный акт которой имел место в том самом Уитби, в котором жил поэт. Трудрами Айдана и победами Освальда и Освью английская церковь, казалось, присоединилась к ирландской: монахи Линдисферна и других вновь основанных монастырей стали руководствоваться традициями не Рима, а Ирландии, ссылаться на наставления не Григория, а Колумбы. Каковы бы ни были в это время притязания Кентерберийской кафедры на духовное верховенство над всей Англией, но на севере всецело господствовал авторитет аббата Ионы. С прибытием туда из Кента супруги Освью появилась и партия сторонников Рима, объединившаяся вокруг королевы, усилия которой в этом направлении были поддержаны двумя до фанатизма преданными Риму тенами. Вся жизнь Уилфрида Йорского прошла в ряде поездок из Англии в Рим и обратно в целях поддержания папского верховенства, и его усилия сопровождались рядом замечательных удач, сменявшихся столь же замечательными поражениями. Бенедикт Бископ стремился к той же цели, хотя более спокойно и рассудительно, привозя из-за моря священные книги и реликвии и заботясь о привлечении опытных зодчих и художников для построения храма и монастыря в Уирмуте, братия которого обязана была оказывать безусловное повиновение папскому престолу. В 652 г. оба тена в первый раз посетили имперский город, но вскоре оттуда возвратились и занялись энергичной проповедью против ирландских обрядов, приведшей к открытой борьбе между сторонниками и противниками Рима. Чтобы положить конец такой борьбе, Освью решил собрать в 664 г. большой собор в Уитби, который должен был решить вопрос о зависимости английской церкви. Спорные пункты не представляли первостепенной важности. Кольман, преемник Айдана на Святом Острове, настаивал на сохранении ирландской тонзуры и ирландской пасхалии, Уилфрид стоял за римские. Один из спорящих ссылался на авторитет Колумбы, другой — на авторитет св. Петра. «Ты признаешь, — вмешался, наконец, обращаясь к Кольману, король, — что Христос дал ключи от царства небесного Петру. Дал ли он такую же власть Колумбе?» Епископ принужден был отвечать отрицательно. «Так я лучше буду слушаться привратника неба, чтобы он не отвернулся от меня, когда я приду к нему, и чтобы не остались поэтому предомной двери неба запертыми». В этом смысле и состоялось постановление собора, после которого Кольман, в сопровождении всех ирландских и трид-

цати английских братий, оставил кафедру Айдана и направился в Иону. Как ни были, по-видимому, маловажны пункты между обеими церквями, но вопрос о том, к какой из них будет принадлежать Нортумбрия, был весьма важен для последующих судеб Англии. Победы на соборе церковь Айдана — и дальнейшая церковная история Англии, вероятно, мало отличалась бы от церковной истории Ирландии. Лишенная той организаторской способности, которая составляла силу римской церкви, кельтская церковь приняла у себя дома, в Ирландии, систему клана как основу церковного управления. Племенные раздоры и церковные разногласия дошли до безнадёжной путаницы, и духовенство, лишённое всякого влияния на массы, только увеличивало беспорядки в стране. Сотни бродячих епископов, духовный авторитет наследственных глав кланов, религиозность, разобщённая с нравственностью, отсутствие широких и гуманизирующих влияний более обширного внешнего мира — вот картина ирландской церкви позднейших времен, и вот от какого хаоса была спасена Англия победой римской церкви на соборе в Уитби.

Внешние формы английской церкви явились результатом забот назначенного Римом тотчас же после победы в Уитби на кафедру в Кентерберии греческого монаха Феодора из Тарса. Для своей деятельности Феодор имел почву, уже подготовленную предыдущей историей английского народа. Континент Европы был завоеван или уже христианскими племенами (готы), или хотя и языческими, но быстро принявшими веру покорённых ими народов (франки). Этому-то единству религии победителей и побеждённых обязано своим сохранением все то, что осталось от римского мира. Церковь осталась повсюду неприкосновенной. Христианский епископ сделался защитником покорённых народов Италии и Галлии против готских и лангобардских завоевателей, посредником между германцами и их новыми подданными, заступником от варварского насилия и гнета. В глазах варваров он был, с другой стороны, олицетворением того, что заслуживало уважения в прошлом, живым хранилищем закона, литературы и искусства. Но в Британии вместе с народом погибло и христианское духовенство. Когда Феодор явился для организации английской церкви, память о бывшем когда-то здесь христианстве уже совершенно утратилась. Первые миссионеры Англии, чужестранцы в земле язычников, держались, естественно, двора королей, принимавших первыми христианство и тем подававших пример своим подданным. Вследствие этого английские епископы были сначала не более, как капелланами королей, и границы их епархий совпадали с границами государств приютивших их королей. Кентское королевство стало вместе с тем и Кентерберийской епархией, Нортумбрийское — Йорк-

ской. Поэтому же и память о когда-то существовавших государствах жива и теперь в названиях епархий. Кафедра Рочестерская представляла до последнего времени забытое королевство Западный Кент, а границы древнего королевства Мерсия можно восстановить, следя по карте за границами бывшего епископства Личфильдского. Первым делом Феодора, по прибытии в Англию, было приведение в порядок своих епархий, учреждение новых и объединение всех их вокруг одного центра — Кентерберии. Все связи английской церкви с ирландской он резко оборвал, и после удаления Кольмана и его монахов слава Линдисферна быстро померкла. Часто собиравшиеся на соборы новые прелаты признали авторитет своего примаса. За организацией епископий последовало в течение следующего столетия развитие системы приходов. Беспорядочная система прежних миссионерских пунктов и монастырей, откуда предпринимали свои путешествия по стране проповедники, подобно Айдану из Линдисферна или Кутберту из Мельроза, естественно, исчезла, когда вся страна стала христианской, и миссионеры превратились в оседлых священников. Подобно тому как капеллан короля сделался епископом, а королевство составило его епархию, так капеллан английского дворянина сделался священником, а имение дворянина — его приходом; источником доходов для духовенства стала потом десятина, т. е. приношение в пользу церкви одной десятой всех продуктов земли. В среде самой церкви дисциплина поддерживалась целым выработанным сводом о преступлениях и наказаниях, и коренной принцип тевтонского законодательства о возмездии проник и в представления об отношениях между Богом и человеческой душой.

Своей организационной работой, увеличением числа епархий, упорядочением внутреннего быта, сосредоточением их вокруг одного центра, национальными соборами и духовными канонами Феодор бессознательно творил и политическое дело. Старые разделения королевств и племен, разделения, явившиеся по большей части результатом случайностей завоевания, быстро исчезали. В эту эпоху небольшие королевства были уже, в сущности, поглощены тремя большими государствами, да и из этих трех Мерсия и Уэссекс временно признавали господство Нортумбрии, и таким образом, сказалось то стремление к национальному объединению, которое составило характерную черту последующей истории Англии. Этому стремлению, основывавшемуся до того исключительно на праве меча, политика Феодора дала иное, духовное, освящение. Единый престол единого Кентерберийского примаса приучил к мысли о едином троне светского главу в Йорке или впоследствии в Личфильде и Уинчестере. Правильная подчиненность священников епископам и епископов примасу послужила образ-

цом и для гражданской организации государства. Но наибольшее значение имели созывавшиеся Феодором соборы, как первые наши национальные собрания для решения законодательных вопросов. Только через много лет «мудрецы» (уитаны) Уэссекса, Мерсии и Нортумбрии приучились сходить-ся на общие для всей Англии «уитенагемоты»; пример церковных синодов указал путь и нашим национальным парламентам, а канонические правила этих синодов прокладывали дорогу нашей национальной системе законодательства. Таким образом, стремление церкви к централизации шло рука об руку с общественным движением по пути национального объединения, но торжеству такого порядка вещей служила преградой борьба отдельных королевств за преобладание. Как мы уже говорили, Мерсия страшнула с себя владычество Освью и избрала себе королем Вульфера, который оказался энергичным и деятельным правителем; мирное царствование Освью позволило ему восстановить над многими племенами то влияние, которое было утрачено после смерти Пенды. Владения Вульфера протянулись за Северн и включали нижнюю долину Уай. Его успехи превзошли даже успехи Пенды. После большой победы над вест-саксонцами он проник в самое сердце Уэссекса и тем открыл себе путь к Темзе. На востоке его верховенство признали Эссекс и Лондон, а на юге Вульфер распространил свое господство на Сэррей. Вскоре и Сассекс, быть может из боязни вест-саксонцев, отдался под покровительство Вульфера, и его король получил за это в подарок два крайних поселения ютов: остров Уайт и земли Меонуора вдоль саутгемптонских вод — поселения, вероятно, покоренные мерсийцами. Таким образом, политическое преобладание Мерсии, простиравшееся от Гёмбера до Ла-Манша, было важнейшим фактом в эпоху появления в Англии Феодора. И действительно, со смертью Освью в 670 г. всякие попытки Нортумбрии раздавить своих соперников в Центральной и Южной Британии были совершенно оставлены.

Рука об руку с военными успехами шел в Мерсии и промышленный прогресс. Леса на ее западной границе и болота восточного побережья были расчищены и осушены усилиями монастырских колоний — факт, свидетельствующий о влиянии христианства на народ в этой стране. Но язычество все-таки процветало в западных лесах, и, вероятно, демоны, заглушавшие в легенде о епископе Уорстерском Эгвине голос епископа стуком молотов, были поклонявшиеся Одину альчестерские рудокопы. Но невзирая на их молоты, проповедь Эгвина оставила после себя и там прочный след. Однажды епископ услышал, что выбравшийся на светлую прогалину из лесной чащи свинопас увидел женские фигуры (принадлежавшие, вероятно, «Трем Прекрасным Девам» древней германской мифологии), сидев-

шие вокруг куста и певшие неземные песни. Пылкое воображение епископа превратило немедленно этих дев в христианскую Богоматерь, и на дотоле безмолвной просеке воздвиглось аббатство в честь Богородицы, а под сенью его возник и город Ившем, прославившийся впоследствии поражением при нем графа Симона Лестерского. Еще более дикой, чем западные леса, была болотистая страна, находившаяся на восточной окраине королевства, простиравшаяся от Holland, низин Линкольншира, до устья Узы и представлявшая собой пустынную местность, залитую водой и усеянную островками, окутанными туманами и населенными лишь стаями крикливых птиц. Здесь, благодаря щедрости короля Вульфера, возникло аббатство Мидсгемстед, позднее Питерборо. Здесь отшельник Ботульф основал маленькую обитель, из которой впоследствии вырос «город Ботульфа», или Бостон, а жена короля Эгфрида, преемника Освю на нортумбрийском престоле, леди Этельтрит, воздвигла аббатство Или. Здесь же юноша из мерсийского королевского дома Гутлак искал убежища от суеты мирской в пустынях Кроуланда и приобрел такую славу, что через два года после его кончины над его могилой уже было воздвигнуто величественное Кроуландское аббатство. При сооружении этого аббатства землю привозили в лодках, а постройки ставили на глубоко вбитых в болото дубовых сваях; на месте бывшей кельи отшельника появилась каменная церковь, и труд жившей в обители монастырской братии превратил окружающие топи в прекрасные луга.

В то время как Мерсия утверждала свое владычество в Средней Британии, Нортумбрия все еще пользовалась значительным могуществом. Наследовавший в 670 г. Освю Эгфрид не пытался восстановить свою власть над королевствами Южной Британии и был занят больше войнами с бриттами, чем со своими соотечественниками, англами. Прекратившаяся со времени битвы при Честере война между бриттами и англами загорелась снова лет за двадцать перед тем, вследствие движения вест-саксонцев на юго-запад. Не будучи в состоянии спасти от захватов Пенды местности по долине Северна и на Котсуольдских горах, король Уэссекса Сenuил воспользовался моментом борьбы Пенды с Нортумбрией, чтобы вознаградить себя за счет своих соседей-уэльсцев. Победа при Брэдфорде на Авоне дала ему возможность захватить местность возле Мендипа, а победа на окраинах большого леса, покрывавшего Сомерсет, отдала в руки вест-саксонцев и источники Перрета. Вероятно, пример Уэссекса ободрил Эгфрида в намерении начать также нападения на бриттов, которых он прогнал из Южной Кумбрии, обратив в английские округ Карлайла, Ланкашир и местности озерной страны (Lake country). За успехами на юге последовали победы

над скоттами за Клейдесдалем и пиктами, жившими за Фортом, территория которых стала, вследствие того, считаться с этого времени нортумбрийской, а находившийся при Форте Аберкорнский монастырь епископ Тремуайн сделал центром новой епархии. В 675 г. на южные границы Нортумбрии напал Вульфгер, но и здесь сильный и энергичный Эгфрид оказался для Мерсии иным врагом, чем вест-саксонцы или юты, и потерпевший поражение Вульфгер был рад купить мир уступкой Нортумбрии Линдисуоры или Линкольншира. Большая часть местностей озерного округа была причислена к Линдлсфернской епархии, кафедре которой занял человек, уже раньше нам известный как апостол Нижней Шотландии. После многих лет работы в Мельрозе Кутберт переехал на Святой Остров и также энергично занялся проповедью в тамошних болотах, как делал это раньше на берегах Твида. Он оставался там и во время великого раскола, последовавшего за собором в Уитби, и сделался приором уменьшившейся монашеской братии, ведшей бесконечные споры, которые тщетно пытался прекратить Кутберт своим терпением и добродушием. Истомившись, наконец, этими бесплодными словесными турнирами, он ушел на маленький скалистый островок недалеко от крепости Иды — Бамборо, покрытый лишь водорослями и населенный только чайками и тюленями. На этом островке Кутберт выстроил из дерна и камней избушку, покрывши ее бревнами и соломой, но слава о его святой жизни достигла Эгфрида, который и пригласил его занять вакантную епископскую кафедру в Линдисферне. Он прибыл в Карлайл, уступленный епархии королем, в то время когда вся Нортумбрия ждала результатов нового похода Эгфрида на пиктов. Между тем могущество Нортумбрии было уже сильно подорвано. На юге Мерсия пыталась отомстить за поражение Вульфгера. Его преемник Этельред снова захватил Линдисвор, и начатая им война окончилась только при посредстве архиепископа Феодора миром, отдавшим в руки Этельреда Среднюю Англию. Смуты на северной границе принудили Эгфрида идти к Форту. Предчувствие несчастья тяготело над Нортумбрией; оно поддерживалось и воспоминанием о проклятиях, которым предавали ирландские епископы короля за разорение его флотом ирландских берегов, что казалось святотатством для всех, кто любил отечество Айдана и Колумбы. Однажды, когда Кутберт стоял, склонившись над уцелевшим среди развалин Карлайла римским фонтаном, смущенным зрителям показалось, что его губы шепчут слова какого-то злого предвещения: «Может быть, — слышался им его шепот, — в этот самый час все опасности битвы кончились и дело сделано». Спрошенный на другой день о значении этих слов, Кутберт отвечал только: «Ждите и молитесь!». Еще через несколько дней единственный уцелевший

от страшного побоища солдат принес весть, что пикты при вступлении английской армии в Файф дрались отчаянно и что Этфрид вместе с цветом своего дворянства лежит мертвым на далеком поле Нектансмита.

Это известие было смертельным ударом и для Кутберта: он вскоре оставил епископскую кафедру и удалился на свой остров, а еще через два месяца уже лежал на смертном одре, произнося тихим голосом слова мира и любви. Монахи поспешили дать знать посредством сигналов о его смерти: один из них побежал, держа в каждой руке по зажженному факелу, к месту, откуда свет мог быть замечен монахом, стоявшим на линдисфернской сторожевой башне. Когда огонек был там замечен и монах поспешно пошел с этим известием в церковь, случилось, что братия Святого Острова пела слова псалма: «Ты, показывай своему народу свет неба и т. д.». Это было похоронной песнью не только Кутберта, но и его церкви, и его народа. Чужестранцы, не знавшие ни Ионы, ни Колумбы, завладели наследием Айдана и Кутберта. Римское исповедание снова водворилось там, и народ забыл, что почти исчезнувшая теперь церковь некогда боролась с Римом за духовное главенство над западным христианством и что в течение долгой борьбы с язычеством новая религия имела своим центром не Кентерберги, а Линдисферн. Но работа нортумбрийцев не пропала бесследно. Ее миссионерами и ее мечом Англия была отторгнута от языческого мира и обращена в христианство; ей обязана Англия и началом своей поэтической литературы. Но ее еще большая заслуга состоит в том, что именно она впервые объединила различные племена англов и в течение полувека приучала их к совместному образу жизни, т. е. подготавливала почву, из которой выросла и развилась современная Англия.

Глава IV

Три королевства (865—828)

Верховенство Нортумбрии над английским народом пало навеки со смертью Осью, а поражение при Нектансмитах и кончина Этфрида сломили совершенно и ее владычество над северными племенами острова. На севере бегство епископа Тремуайна из Аберкорна возвестило о восстании пиктов против ее власти, в то время как на юге наследовавший в 675 г. Вульфериу Этельред сделал Мерсию ее опасной соперницей. Владения Мерсии, и без того простиравшиеся от Гёмбера до Ла-Манша, увеличились в первые же годы царствования Этельреда покорением Кента.

Всем мечтам о национальном единстве пришел, казалось, конец, так как возрождение в это время могущества западных саксов довершило разде-

ление страны на три почти равносильных государства. Со времени поражения при Феддили, т. е. за сто лет перед этим, западные саксонцы были совершенно ослаблены анархией и гражданскими усобицами и находились одинаково во власти как английских государств, так и бриттов. Мы, однако, уже видели, что в 652 г. они настолько усилились, что были в состоянии оттеснить бриттов до Перрета. Еще несколько лет мира — и их король Сентуайн вступает в новую борьбу с бриттами и распространяет свои владения до Квентока, а в 685 г. король Сидуолла усиливается, наконец, настолько, что вступает в борьбу с англами и овладевает Сассексом. Величайший из саксонских вождей этой эпохи — король Ина проводит все свое почти сорокалетнее царствование в борьбе за верховенство. На востоке он подчиняет своей власти Кент, Эссекс и Лондон; на западе он продвигается вокруг Перретских болот к более плодородным местам юга, и на берегах Тоны возводит крепость для охранения границы своих новых завоеваний; из этого небольшого укрепления впоследствии вырос нынешний город Таунтон. Таким образом, западные саксы сделали повелителями всей той области, которая теперь называется Сомерсет и в которой, подобно острову, среди обширных, тянувшихся до самого Ла-Манша болот и топей поднимался Тор. У подошвы этой горы, на месте бывшего когда-то древнего храма бриттов, Ина основал знаменитый монастырь Глестонбери, названный так по имени семьи Глестингов, принимавших участие в выборе места для обители и долго живших здесь в маленькой одноименной деревушке; монастырь этот продолжительное время был религиозной святыней для бриттов, а легенда о пребывании в нем «второго Патрика» привлекала туда ирландских ученых. Первые обитатели монастыря нашли там, как они утверждали, древнюю церковь, «построенную нечеловеческим искусством». Тут же Ина заложил и свою собственную каменную церковь. Заботы о духовном благоустройстве завоеванной страны Ина возложил на своего родственника Эдгельма, самого известного ученого того времени, возведя его в сан епископа новой Шерборнской епархии, включавшей в себя Сельвудский и Фромский округа. Епархия эта должна была стать духовным центром вновь приобретенных Иной провинций. При Ине появился также и самый ранний свод западно-саксонских законов, указывающий, сколько забот для удовлетворения материальных и духовных потребностей своей страны принял на себя этот король. Поражение мерсийцев, попытавшихся напасть на Уэссекс, доказало и его умение защищать свои владения. Тридцатилетнее царствование Этельреда было эпохой почти непрерывного мира и периодом построения и обогащения монастырей, изменивших самый вид его королевства. В 709 г. королем Мерсии сделался Сельред, попытавшийся всту-

пить с Уэссексом в борьбу за верховенство на юге, но в 715 г. он был совершенно разбит в кровавом сражении при Уонборо. Ина умел держать в страхе мерсийцев, но даже и ему не удалось прекратить внутренние распри, раздиравшие Уэссекс. Существует легенда, повествующая о случае, внушившем Ине такое отвращение к миру, которое заставило его покинуть свет. Он царственно пировал в одном из своих деревенских замков, и когда на другой день выехал оттуда, то королева попросила его зачём-то вернуться назад; король вернулся и увидел такое зрелище: все занавеси были ободраны, сосуды унесены, пол усеян всякими отбросами и нечистотами, а на королевской постели, где он спал с Этельбур, лежала свинья с поросятами... «Смотри, государь, как скоротечна слава мира сего», — сказала при этом королева, но сцена и сама по себе едва ли нуждалась в подобном комментарии. В 726 г. Ина сложил с себя корону и стал искать душевного успокоения и смерти в путешествии в Рим.

Анархия, заставившая Ину отказаться от престола, разразилась после него с еще большей силой и сделала Уэссекс легкой добычей преемника Сельреда. Между теми, которые разделяли уединение Гутлака в Кроуленде, находился племянник Пенды Этельбальд, который принужден был бежать от неприязни Сельреда. Спасаясь от королевского преследования, Этельбальд проживал в хижине, построенной им возле дома отшельника и там в часы отчаяния находил утешение в его поучениях: «Сумей выждать, — говорил Гутлак, — и королевство само придет к тебе; ты приобретешь его не насилием, не жестокостью, но единственно милостью Божьей». В 716 г. Сельред впал во время трапезы во внезапное сумасшествие, и Мерсия избрала Этельбальда королем. В течение первых десяти лет своего царствования новый король избегал столкновений с уонбороским победителем, но после отречения Ины он вступил снова с Уэссексом в упорную борьбу за первенство на юге. Он проник в самое сердце вест-саксонского королевства и закончил войну в 733 г. лишь осадой и взятием столицы Уэссекса Сомертона; целых двадцать лет после этого верховенство Мерсии признавалось всеми бриттами к югу от Гёмблера, и Этельбальд фактически стоял во главе Мерсии, Восточной Англии, Кента и Уэссекса. С этими силами он двинулся на Уэльс, титулуя себя в это время королем не только мерсийцев, но и соседних народов, под общим названием «южные англичане». Но дело Этельбальда встретило на своем пути те же препятствия, какие встречали и стремления его предшественников: в течение двадцати лет он успешно подавлял непрерывные восстания своих новых подданных, но в 754 г. всеобщее возмущение принудило его напрячь все свои силы для подавления непокорных. Во главе своих мерсийцев, усиленных союзниками

из Кента, Эссекса и Восточной Англии двинулся Этельбалд на Бёрфордское поле, где собрались вест-саксонцы под своим знаменем с изображением золотого дракона. Несколько часов продолжалась жестокая битва, как вдруг внезапный страх охватил короля Мерсии, он убежал с поля сражения, а вместе с этим исчезло и его верховенство над народами Средней Британии. Три года спустя после этого Этельбалд был однажды ночью настигнут и убит своими старейшинами. Во время последовавшей вслед за тем анархии Кент, Эссекс и Восточная Англия возвратили свою самостоятельность.

В то время как два южных королевства напрягали все свои силы в отчаянной борьбе, Нортумбрия стояла в стороне от завоевательных действий и преследовала лишь мирные цели. В царствования наследника Эгфрида Альдфрита Ученого и его четырех преемников это королевство сделалось в середине VIII в. литературным центром Западной Европы. Нигде не было таких знаменитых школ, как школы в Йарроу и Йорке. Вся тогдашняя наука, казалось, воплотилась в нортумбрийском ученом Бэде. «Бэда Достопочтенный», как называли его впоследствии, родился в 673 г., т. е. через девять лет после синода в Уитби, на том месте, где год спустя Бенедикт Бископ воздвиг при устье Уира аббатство; в сооруженной его учеником Сильфридом пристройке к этому аббатству и протекла вся долгая и спокойная жизнь Бэды. Он никогда не выезжал из Йарроу: «Я провел всю мою жизнь в одном монастыре, — говорил он, — старательно исполнял правила моего ордена и предписания церкви, и моим постоянным наслаждением были чтение, письмо и обучение других». Эти слова рисуют нам жизнь Бэды, и они тем трогательнее в своей простоте, что принадлежат первому великому английскому ученому. Спокойное величие жизни, посвященной знанию, и безмятежное наслаждение, испытываемое Бэдой в изучении, обучении других и литературной деятельности, послужили примером для последующих поколений. Очень молодым человеком Бэда сделался уже учителем, и в его йарроуской школе кроме шестисот монахов, его постоянных учеников, находилось еще множество жаждавших знаний и стекавшихся отовсюду чужестранцев. Теперь трудно даже себе представить, каким образом при таких трудах в школе и монастыре Бэда находил еще время для создания многочисленных литературных произведений, столь прославивших его имя на Западе. Материалы для изучения были собраны в Нортумбрии путешествиями Уилфрида и Бенедикта Бископа, а также в основанных в Уирмуте и Йорке библиотеках. Старая ирландская традиция была еще жива в Нортумбрии, и потому молодой ученый встал на путь изучения и толкования Священного Писания — занятие, которое преимущественно

и стяжало ему столь громкую известность. Греческий язык, весьма мало известный тогда на Западе, Бэда изучил в кентерберийской школе, основанной греческим архиепископом Феодором, а искусство церковного пения он заимствовал у одного римского певца, посланного папой Виталианом для сопровождения Бенедикта Бископа. Мало-помалу молодой ученый усвоил, таким образом, все знания своей эпохи и сделался, по справедливому выражению Бёрка, «отцом английской учености». Традиции древнеклассической культуры были воскрешены в Англии им первым в цитатах из Платона и Аристотеля, Сенеки и Цицерона, Лукреция и Овидия. Вергилий оказал на него такое же влияние, как впоследствии на Данте. Его повествования о судьбах мучеников прерываются стихами из «Энеиды», и ученик решается даже следовать по стопам великого учителя в небольшой эклоге, изображающей наступление весны. Бэда работал почти совершенно без помощи других: «Я сам свой собственный секретарь, — писал он, — я сам делаю все необходимые заметки, я сам и переписчик». Сорок пять сочинений, оставшихся после его смерти, свидетельствуют о его необыкновенном трудолюбии. По его собственному мнению и мнению его современников, важнейшими из этих трудов были поучения и толкования на Библию, извлеченные из творений отцов церкви. Но Бэда был далек от того, чтобы ограничиться одной теологией. В оставленных им трактатах для учеников излагаются все тогдашние сведения по астрономии, метеорологии, физике, музыке, философии, грамматике, риторике, арифметике и медицине. Такой энциклопедический характер его занятий не помешал ему в то же время оставаться чистейшим англичанином: он любил родную речь и родную песню; его последним трудом был перевод Евангелия от Иоанна на английский язык и почти последними звуками, слетевшими с его уст, были несколько английских стихов о смерти.

Благороднейшим свидетельством любви Бэды к Англии, обессмертившим его имя, была его «Церковная история английского народа», в которой он является первым английским историком. Все, что нам известно о полуторасти годах, протекших со времени прибытия Августина, известно только благодаря Бэде, а рассказы о том периоде, в который он сам жил и действовал, отличаются замечательной подробностью и вместе с тем художественностью. Так же точны и те его повествования, сведения для которых он заимствовал у своих кентских друзей Албина и Нотгелма; способностью историка-рассказчика Бэда обязан был лишь самому себе, но гораздо трогательнее всех его рассказов история его собственной смерти. В 735 г. за две недели до Пасхи Бэда настолько ослабел, что стал с трудом переводить дыхание; тем не менее он сохранил свою обычную веселость и

благодарные и, несмотря на полную бессонницу, продолжал поучать собиравшихся вокруг него учеников. Время от времени учитель произносил английские стихи — топорные стихи о смерти, о ее суровой непреложности: «Пробил час, и человек смущается мыслью о своей доброй или злой будущей судьбе!..» Рыдания учеников сливались со звуками его песни. «Мы не могли слушать его без плача», — писал один из них. Так шло время до Вознесения. Учитель и ученики работали без отдыха, так как Бэда хотел непременно окончить свой перевод на английский язык Евангелия от Иоанна и некоторые извлечения из творений епископа Исидора. «Я не хочу, чтобы мои мальчики читали ложь или тратили время на бесцельную работу, когда меня не станет», — отвечал Бэда людям, советовавшим ему отдохнуть. За несколько дней до Вознесения его здоровье очень ухудшилось, но он все-таки целый день учил своих учеников и увещевал их не падать духом: «Учитесь как можно скорее, я не знаю, долго ли я еще проживу». Прошла еще одна бессонная ночь, и на другой день старец снова собрал вокруг себя учеников и просил их писать. «Одной главы еще не достаёт, — сказал ему писец при наступлении утра, — а ведь тебе будет трудно диктовать дальше». — «Нет, мне легко, — отвечал Бэда, — бери перо и пиши скорее». День прошел среди плача и прощаний. «Еще немножко осталось, дорогой учитель», — сказал ему ученик. «Пиши же скорее!» — просил умирающий. «Конечно!» — объявил, наконец, маленький писец. «Правда, теперь все кончено», — отвечал Бэда. Лежа на полу, с лицом обращенным к тому месту, где он привык молиться, Бэда запел торжественно: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе», и когда, поддерживаемый учениками, он окончил свой гимн, то тихо скончался.

Монах из Йарроу, первый английский ученый, первый английский теолог, первый английский историк, — может считаться, по всей справедливости, основателем английской литературы, а в качестве учителя собиравшихся вокруг него 600 учеников и отцом английского образования. Его трактаты по физике ставят его и в число первых наших естествоиспытателей. Наконец, Бэда был столько же ученым, сколько и государственным мужем: отправленное им в последние годы его жизни письмо к Эгберту Йоркскому указывает, как заботливо стремился он к подавлению возрасставшей в Нортумбрии анархии. Но его план реформы явился слишком поздно, и такие люди, как король Эдберт и его брат, первый архиепископ Йоркский, Эгберт могли только на некоторое время оживить увядавшую славу Нортумбрии. Эдберт отразил нападение Этельбальда на юге, ведя в то же время успешную войну с пиктами. Десять лет спустя он проник в Эршир и заключил договор с пиктами, который помог ему завоевать в 756 г.

Стратклайд и даже взять его столицу Алклуйд, или Дембартон. Но в момент, когда торжество Эдберта казалось полным, в его армии появилась полная дезорганизация, и обрушившиеся на короля бедствия заставили его вскоре оставить скипетр и искать убежища вместе со своим братом в монастыре. С этого момента история Нортумбрии является лишь историей дикого произвола и кровопролития. Измена и мятеж губили одного короля за другим, поля были заброшены, страна попала в руки буйной знати и страдала от голода и чумы. Изолированное в продолжение пятидесяти лет господства анархии, это северное государство, казалось, едва входило в состав английского народа.

Дело объединения казалось, впрочем, и вообще безнадежным, так как сражение при Берфорде окончательно разделило Британию на три равносильных государства. Уэссекс так же крепко упрочился к югу от Темзы, как Нортумбрия к северу от Гумбера. К тому же поражение при Берфорде далеко не сломило сил Мерсии, а при короле Оффе (758–796), царствование которого вместе с царствованием Этельбальда занимает почти весь VIII в., могущество этого государства даже возросло до значения, неизвестного со времен Вульфера.

Целые годы прошли, однако, прежде чем Оффа попытался возвратить Кент, и только после трехлетней войны победа при Отфорде в 775 г. возвратила его снова Мерсии. Вместе с Кентом Оффа вернул, разумеется, также Сассекс, Сэррей, Эссекс и Лондон, а еще через четыре года победа при Бенсингтоне отдала ему во владение и все земли, составляющие ныне Оксфордское и Бекингемское графства. В течение следующих девяти лет Мерсия не делала дальнейших попыток к распространению своей власти на других своих соседей, но, подобно своим соперникам, обратила преимущественное внимание на Уэльс. Перебравшись в 779 г. за Северн, верхнее течение которого служило до того времени границей, отделявшей англов от бриттов, Оффа прогнал короля Пауиса из его столицы и переименовал ее в Пенгуирн на английское Шрусбери (Город кустов — Scrobsbyryg или Shrewsbury). Результатом этого вторжения было также возведение пограничного земляного вала, который тянулся от устья Уай до устья Ди; это сооружение было названо валом Оффы Offa's Dyke. Поселение англичан в стране между этим валом и Северном послужило военной границей Мерсии. Здесь, как и в позднейших завоеваниях нортумбрийцев и вест-саксонцев, прежняя система изгнания побежденных из их страны была изменена, и желавшие остаться на родине уэльсцы беспрепятственно жили среди своих завоевателей. Вероятно, с целью того же регулирования отношений между двумя народами, Оффа составил свод законов, носящий его имя. В Мер-

сии, как и в Нортумбрии, нападения на бриттов указывали на падение мечты о верховенстве над самими англами. В царствование Оффы Мерсия была одинока, и даже та анархия, в которую впала Нортумбрия после смерти Эдберта, не соблазнила его перейти Гёмбер; не вывели его из бездействия в этом отношении и представлявшиеся случаи двинуться за Темзу. Вероятно, в годы, следовавшие за битвой при Берфорде, вест-саксонцы овладели ослабевшим государством Дивнентом, сохраняющим еще свое прежнее имя Девон, и отодвинули свои границы на запад к Тамару; но и этот успех был остановлен в 786 г. новым взрывом анархии. Борьба между соперниками, оспаривавшими один у другого трон, окончилась поражением наследника престола по линии Сивлина, Эгберта, и бегством его ко двору Оффы. Король Мерсии воспользовался, однако, его присутствием не столько для увеличения могущества своего государства, сколько для заключения еще более прочного мира, а выдав вскоре свою дочь за вест-саксонского короля Беортрика, Оффа и совсем выгнал своего гостя из Мерсии. Истинной целью Оффы во всем этом деле было прочное объединение всей Средней Британии и Кента, как ее «окна в Европу», под своей властью, и он озаменовал свое стремление к полной церковной и политической независимости Мерсии учреждением в 787 г. архиепископства Личфильдского, которое должно было служить соперником Кентерберийской кафедре на юге и Йоркской на севере.

Планам Оффы не столько препятствовала боязнь силы вест-саксонцев, сколько становившееся опасным морское могущество франков, обстоятельство, на котором король Мерсии не мог не остановить самого серьезного внимания. До того времени интересы английского народа сосредоточивались в пределах завоеванной им Британии, но с этого момента политический горизонт внезапно расширился, и судьбы Англии оказались теснейшим образом связанными с судьбами всего западного христианства. Через посредство английских миссионеров Британия завязала первые сношения с франкским двором. Нортумбриец Уиллиброрд и знаменитый вест-саксонец Бонифаций, или Уинфрид, последовали за первыми проповедниками, работавшими среди германских язычников и особенно между теми, которые теперь сделались подданными франков. Связи франкского короля Пипина с английскими проповедниками привели его к постоянным сношениям с Англией; нортумбрийский ученый Алкуин был истинным центром литературного оживления при его дворе. Сын Пипина Карл, впоследствии известный под именем Карла Великого, проявлял тот же интерес к английским делам, и его дружба с Алкуином привела его к тесным сношениям со всей Северной Британией. У него же нашел убежище

и претендент на вест-саксонский престол Эгберт, проживавший там с 787 г., т. е. с того времени, как Оффа породнился с Беортриком. Впрочем, и с самим Оффой отношения Карла были самые дружеские, но мерсийский король тем не менее заботливо избегал случаев, которые могли бы быть истолкованы как признание им верховенства франков. Для таких опасений он имел серьезные основания: богатые дары, которые рассылал Карл английским и ирландским монастырям, указывали на стремление франкского владыки подчинить своему влиянию эти страны; сверх того, он поддерживал связи с Нортумбрией, Кентом, со всей английской церковью, оказывал гостеприимство при своем дворе изгнанникам из всех английских государств: королям Нортумбрии, тенам Восточной Англии, беглецам из самой Мерсии; в его свите, вероятно, находился Эгберт, когда ликующий народ вместе с духовенством провозгласил Карла римским императором. Когда же в 802 г. смерть Беортрика открыла изгнанникам дорогу к возвращению в Уэссекс, еще более тесные сношения с ними Карла прямо указали на его мечту возратить империи потерянную вместе с другими западными провинциями Британию, возратить теперь, когда Рим восстал из пепла в еще большем блеске, нежели когда бы то ни было ранее; при таких условиях революции внутри Англии как нельзя более содействовали его планам.

Годы, протекавшие со времени бегства Эгберта, произвели мало перемен в положении Британии. За захватом Восточной Англии последовала в 796 г. смерть Оффы, а при его преемнике Сенвульфе мерсийское архиепископство было упразднено, а вместе с тем прекратились и всякие дальнейшие попытки к установлению верховенства центрального королевства. Сенвульф не предпринял ничего и тогда, когда на вест-саксонский престол взошел Эгберт; он даже поддерживал мир с новым правителем Уэссекса в течение всего своего царствования. Между тем Эгберт прежде всего направил свое оружие на уэльсцев, вторгся в самое сердце Корнуолла и после восьми лет упорной борьбы последние остатки самостоятельности британских народов на западе были окончательно сломлены. Как целый народ бритты перестали существовать после побед при Дёргеме и Честере; из отдельных британских народов, боровшихся с тремя английскими королевствами, бритты Кумбрии и Стратклайда еще раньше принуждены были подчиниться Нортумбрии, бритты Уэльса уплатой дани Оффе признали верховенство Мерсии, а теперь и последний еще не покоренный народ — западные уэльсцы склонились перед господством Уэссекса.

В то время как Уэссекс возвращал себе давно утраченное внешнее могущество, его соперник в Средней Британии все более и более погружался в самую беспомощную анархию. Непрерывные внутренние междоусобия в

Мерсии, начавшиеся по смерти Сenvульфа в 821 г., так ослабили это королевство, что когда преемник Сenvульфа Беорнвульф возобновил борьбу с Уэссексом и проник в Уилтшир, то потерпел полное поражение в кровавой битве при Эллендэне. Вся Англия к югу от Темзы подчинилась Эгберту Уэссекскому, а Восточная Англия подняла отчаянное восстание, оказавшееся роковым для ее мерсийских правителей. Два короля Мерсии пали в Восточной Англии, и не успел вступить на престол третий, Уиглаф, как его истощенное королевство опять принуждено было вступить в борьбу с вестсаксонцами. Тут Эгберт увидел, что пробил час решительного нападения. В 828 г. его армия двинулась на север, не встречая препятствий; Уиглаф беспомощно отступал перед неприятелем, и вскоре Мерсия признала над собой верховенство Уэссекса. Из Мерсии Эгберт двинулся в Нортумбрию, которую полувековая анархия ослабила до такой степени, что морские разбойники безбоязненно разоряли ее берега; дело кончилось тем, что нортумбрийская знать вышла на встречу Эгберту и признала его государем. Замыслы, неудавшиеся Освью и Этельбальду, были, наконец, осуществлены, так как все английские народы в Британии оказались в первый раз связанными общим правлением. Как ни была еще продолжительна и жестока борьба за независимость в Мерсии и на севере, но с того момента как Нортумбрия подчинилась Уэссексу, хоть еще и без названия, сформировалась Англия.

Глава V

Уэссекс и датчане (802–880)

Едва началось дело национального объединения, как кратковременное величие Уэссекса было низвергнуто датчанами. В продолжение всей той эпохи, когда в Британии происходила не только борьба, но и установление гражданского порядка, жители Скандинавии и островов Балтийского моря оставались совершенно чуждыми христианскому миру и боролись за существование лишь с суровым климатом, бесплодной почвой да морскими бурями. Набеги и морские грабежи пополняли их скудные средства к жизни, и вот в конце VIII в. эти разбойники выступили за пределы тесной области побережья северных вод. Не успел Эгберт подчинить своей власти всю Британию, как уже появились викинги, или «люди заливов», как называли тогда прибывших авантюристов, на берегах Англии и двинулись на юг к Темзе. С первого взгляда можно было подумать, что колесо истории повернулось на триста лет назад. Норвежские фьорды и фризские отмели

опять начали выбрасывать на берега Англии целые флоты пиратов, точь-в-точь так, как это было в дни Генгеста и Кердика. Совершенно тот же панический ужас при виде черных лодок пришельцев, проникавших в глубь страны по рекам или пристававших к их островам, те же страшные сцены: сожжение жилищ, избиение людей, захват женщин для рабства или позора, метание детей на копья или продажа их на рынках — словом, совершенно то же, что происходило в Британии при нашествии англов. Опять христианское духовенство убивалось при самих алтарях поклонниками Одина, опять литература, искусство, религия, гражданственность исчезли под ударами северян, как исчезли они за три века перед тем. Но когда гроза миновала, страна, люди, правление появились опять в прежнем виде. Англия осталась Англией. Победители растворились среди массы побежденных, и культ Одина уступил без борьбы культу Христа. Тайна различия между двумя нашествиями на Британию состояла в том, что на этот раз борьба велась не между совершенно различными расами, т. е. не была борьбой между бриттами и германцами или англами и уэльсцами. Образ жизни пришельцев был образом жизни предков англичан: их обычаи, религия, социальный строй еще не исчезли вполне из самой Англии. Скандинавы были родичами англов, перенесшими снова в Британию некогда общий тем и другим варварский быт. Нигде в Европе борьба не была так свирепа, потому что нигде сражающиеся не были столь родственными по крови и языку, но именно по этой же причине нигде слияние двух народов не было столь мирным и полным.

Британия должна была выдерживать нападение осаждающих с двух сторон: северяне Норвегии двинулись на запад к Шетландским и Оркнейским островам и оттуда направились к Ирландии, в то время как родичи англов, жившие на месте их прежней родины, двигались вдоль берегов Фрисландии и Галлии. Замкнутая таким образом между двумя линиями неприятелей, Британия составила центр их враждебных операций, и к концу царствования Эгберта их нападения уже направлялись на окраины вест-саксонского государства. Разорив Восточную Англию и Кент, пришельцы поплыли по Темзе с целью ограбить Лондон; в это же время их единомышленники призывали к восстанию весь Корнуолл. Таким образом, прибавилась новая опасность. Тем не менее Эгберт разбил соединенные силы неприятелей при Генгестдёне, что затянуло неравную борьбу еще на ряд лет. Король Этельвульф, который наследовал Эгберту в 839 г., ревностно защищал свое государство и в двух сражениях, при Шармоуте и Аклее, из которых в первом потерпел поражение, а во втором одержал победу, лично предводительствовал своими войсками против морских раз-

бойников; он усмирил также северных уэльсцев, которые, пользуясь случаем, подняли против него оружие. Невзирая на то что скандинавы и уэльсцы терпели поражение за поражением, опасность все-таки росла из года в год. На защиту христианской религии, оскверняемой язычниками, поднялось и духовенство. Суитэн, епископ Уинчестерский, сделался министром Этельвульфа, а Ильстан, епископ Шерборнский, находился в рядах воинов Креста и участвовал в изгнании неприятеля из устья Перрета. Новое тяжелое поражение скандинавов повлекло за собой небольшую передышку, и в 858 г. Этельвульф умер в мире, и на восемь лет норманны оставили страну в покое. Однако эти набеги были лишь прелюдией страшной бури. До сих пор дело шло лишь о разбойничьих вторжениях неприятеля, вскоре вопрос стал о полном завоевании острова. Эту задачу принял на себя другой северный народ — датчане. При Этельреде, третьем сыне Этельвульфа, вступившем на престол после кратковременного царствования его двух братьев, новое нашествие наводнило Британию. Характер нападения на этот раз был совсем иной: нападавшие действовали не маленькими отрядами, имевшими целью грабеж и насилие, а целой регулярной армией, задачей которой было завоевание острова и постоянное на нем водворение. В 866 г. датчане высадились в Восточной Англии и ближайшей же весной направились через Гёмбер на Йорк. В это время в Нортумбрии, где двое претендентов оспаривали королевскую корону, шли обычные усобицы. При виде неминуемой опасности соперники объединились, выступили против врага и пали оба под стенами своей столицы. Нортумбрия подчинилась датчанам, и сама Мерсия спаслась только благодаря быстрому движению к ней на помощь короля Этельреда. Ноттингемский мир, которым Этельред в 868 г. спас от гибели Мерсию, повлек за собой движение неприятеля к богатым аббатствам в Фене, и вслед за тем запылали Питерборо, Кроулэнд и Или; жившие в них монахи бежали или были перебиты на развалинах монастырей. Отсюда датчане бросились неожиданно на Восточную Англию, король которой Эдмунд, взятый ими в плен и приведенный к их предводителю, был привязан к дереву и расстрелян стрелами. Его мученическая кончина от руки язычников сделала его св. Себастьяном английской легенды. В позднейшие дни его фигура изображалась на разноцветных стеклах храмов на восточном берегу, и над его могилой возвысилось величественное аббатство Сент-Эдмундсбери. Это был и последний восточно-английский вице-король; его королевство было не только покорено, но десять лет спустя и разделено между датскими воинами, предводитель которых Гутрум надел на себя корону. Как велик был наведенный датчанами страх видно из примера Мерсии, которая не будучи еще покоренной, преклонилась тем не

менее перед завоевателями и уплатой дани признала их в 870 г. своими повелителями.

В течение четырех лет вся работа Эгберта была уничтожена, и Англия к северу от Темзы насильственно отторгнута от власти Уэссекса. Такое быстрое завоевание Нортумбрии, Мерсии и Восточной Англии датчанами было возможно только благодаря самому характеру отношений побежденных королевств к Уэссексу. Для них покорение их датчанами было не более как простой сменой повелителей, и могли даже встречаться люди, предпочитавшие владычество датчан владычеству вест-саксонцев. Это было новым доказательством страшной трудности слияния королевств в единый народ. Теперь для Уэссекса настало время борьбы уже не за верховенство, а лишь за существование. Страна казалась парализованной ужасом. За исключением своего похода к Ноттингему, Этельред ничего не сделал для спасения подвластных ему королевств. Но когда датчане двинулись вскоре вверх по Темзе к Ридингу, то вест-саксонцы начали отчаянно сражаться за свою родину. Неприятель проник в самое сердце Уэссекса и достиг высот, господствующих над долиной Белого Коня (Vale of White Horse). Отчаянная битва заставила их отступить от Эшдоуна и занять неприступную позицию на узкой полосе земли между Кеннетом и Темзой; к тому же они усилились прибывшим еще подкреплением. Во время борьбы Этельред умер и оставил своего младшего брата Альфреда вести тяжелую войну с неприятелем. Прежде чем молодой король сумел собраться с силами, враги расположились уже в Уилтоне, и последовавшие вслед затем несколько поражений заставили Альфреда откупиться от пиратов, получив отдых на несколько лет для своего государства. От проницательности Альфреда не укрылось, что датчане согласились удалиться только затем, чтобы собраться с силами для нового нападения; едва прошло три года, как они снова напали на Мерсию, и ее вице-король бежал за море и уступил трон даннику пришельцев. Из Рептона половина их армии двинулась на север — к Тайну, колонизируя и возделывая страну, в которой было почти нечего уже грабить, в то время как Гутрум повел остальных в Восточную Англию, чтобы там подготовиться к новому нападению в следующем же году на Уэссекс. Серьезность предстоящей борьбы заставила датчан напрячь все свои силы, и лишь усилившись прибывшими отовсюду подкреплениями, Гутрум двинулся на юг. В 876 г. его флот появился при Уэргэме, и когда Альфред прогнал его оттуда, датчане ринулись на Экзетер и соединились с уэльсцами. Всю зиму готовился Альфред к новой борьбе. В начале весны его армия окружила город, а наемный флот крейсировал вдоль берегов для предупреждения неприятельской высадки. Видя своих товарищей в опасности,

часть датских сил, оставшихся в Уэргэме, села на суда с целью оказать им помощь, но буря разбила их о суонеджские скалы, и тогда осажденные в Экзетере вынуждены были из-за голода сдаться и клятвенно обещать оставить Уэссекс. На деле они удалились в Глостер, но едва Альфред распустил свои войска, как, усиленные прибытием новых жаждавших грабежа шаек, датчане опять появились у Чиппингэма и стали производить в стране страшные опустошения. Это было такой неожиданностью, что в течение месяца или двух охватившая Уэссекс паника парализовала всякую возможность сопротивления. Альфред с небольшим количеством воинов должен был удалиться в укрепление, наскоро воздвигнутое на острове Ательней, среди Перретских болот, откуда он мог тщательно следить за движением врага. С наступлением весны он призвал сомерсетских тенов под свои знамена и с набираемыми во время самого похода войсками двинулся через Уилтшир на датчан. Он встретился с ними при Эдингтоне, нанес им жестокое поражение и после двухнедельной осады принудил их сдаться. Гутрум был крещен в христианскую веру, после чего в Сомерсете был заключен торжественный Уэдморский мир. Однако, по условиям этого мира, большая часть Британии переходила во владение датчан. Вся Нортумбрия, вся Восточная и половина Центральной Англии достались пришельцам. В этой Денло (Dane-law — Земля Датского Права), как стали называть принадлежащую датчанам страну, завоеватели поселились среди побежденных, как господа и собственники земли, — плотнее на севере и востоке и реже в центральной части, но здесь и там они ревниво сохраняли свое прежнее стремление к изолированности и собирались отдельными *heres*, или армиями, вокруг городов, соединенных в непрочные конфедерации. Уэдморский мир спас, в сущности, только Уэссекс, но спасая Уэссекс, он спасал Англию. Паника начала проходить, прекратились и опустошительные набеги с севера. Всего-навсего одна схватка нарушила пятнадцатилетний мир.

Уэдморский мир направил мысли Альфреда на еще более благородные заботы, нежели освобождение Уэссекса от датчан: «Всю мою жизнь, — писал король в конце своего жизненного пути, — я старался прожить достойным человека образом», и когда смерть смежала уже его очи, он говорил о своем желании «оставить будущим поколениям о себе память не чем другим, как добрыми делами». Его желание более чем исполнилось, и память о жизни и деяниях благороднейшего из английских правителей дошла до нас живой и ясной сквозь всю мглу преувеличений и легенд. Если сфера политической или духовной деятельности Альфреда может показаться слишком узкой, чтобы можно было сравнивать его с немногими людьми, признаваемыми великими всем миром, то он, конечно, равняется им по нрав-

ственному величию своего характера. Он жил исключительно для блага своего народа. Это был первый пример христианского государя, руководившегося в своих поступках не побуждениями личного честолюбия, но мыслью о благе тех, во главе которых он стоял. В его устах «жить достойным человека образом» — значило посвятить жизнь делам справедливости, воздержания и самопожертвования. Уэдморский мир сразу определил характер этого человека. Тридцатилетний воин и победитель, имевший перед глазами ослабленную Англию, оставил все воинственные мечты и думал не о завоеваниях, а о «добрых делах», о мире, о хорошем управлении, о воспитании народа. С Англией за Уолтинг-Стрит, римской дорогой, соединявшей Лондон с Честером, другими словами — с Нортумбрией, Восточной Англией и половиной Мерсии, Альфреду было делать нечего. Все, что он удержал за собой, — его собственный Уэссекс с верхней частью долины Темзы, всей долиной Северна и богатыми равнинами Мерсей и Ди. Над этими последними округами, получившими теперь имя Мерсии, — тогда как остальная часть мерсийского государства была переименована в «Пять Датских Городов» (Five Boroughs of the Danes), — Альфред поставил олдерменом Этельреда, мужа своей дочери Этельфлид, правителя, который деятельно и мужественно оберегал Уэссекс от неприятельских вторжений с севера. Дабы обезопасить себя от нападений с моря, Альфред улучшил организацию военного дела и создал флот. Вся страна была разделена на военные округа, в которых каждые пять «гайд» посылали на службу одного вооруженного человека, снабжая его вместе с тем всем необходимым за свой счет. Обязанность каждого свободного человека служить в войске осталась неизменной, но войско делилось на две части, из которых по очереди одна находилась на действительной службе, а другая оберегала свои города и местечки. Владычествовать на море было делом потруднее, чем господствовать на суше, и Альфред не организовал, а именно создал флот. Он заботливо развивал свое морское могущество, и в царствование его сына флот из ста английских кораблей делал Уэссекс несомненным владыкой Ла-Манша.

Устроив, таким образом, защиту королевства, Альфред посвятил себя заботам о государственном управлении. Годы борьбы ослабили в самом Уэссексе все отрасли управления и суда, и нужно было заботиться о подъеме одинаково и материальной, и духовной культуры. Система Альфреда была проста: в политике, как и в военном деле, как впоследствии и в литературной деятельности, он брал то, что было всего ближе, и делал его возможно лучше. Главной задачей реорганизации суда он поставил себе подчинение судам сотен и графств одинаково и знатного, и простолюдина, «ко-

торые постоянно спорили один с другим в народных собраниях, так что едва ли кто из них признавал справедливым приговор, произнесенный эльдорменом и ривами». «Все приговоры своей земли он подвергал строгому рассмотрению, правильны они или нет, и если находил в них какую неправильность, призывал к себе самих судей... День и ночь, — говорит его биограф, — он трудился над исправлением несправедливых приговоров, ибо в то время в целом королевстве бедняк мог найти себе очень мало защитников кроме короля». Альфред не задавался целью создать совершенно новое законодательство: «Все то, что я встречаю, — говорил он, — в законах Этельберта, первого короля принявшего крещение, или Ины, моего родственника, или Оффы, короля Мерсии, все это я рассматриваю и, если нахожу справедливым, то собираю, если нет, то отбрасываю». Но как ни проста может казаться эта работа, она все же имела огромное значение, ибо именно благодаря ей появился кодекс общенглийских национальных законов. Время существования отдельных законов для различных народностей Англии прошло, и кодексы Уэссекса, Мерсии и Кента заменились кодексом Англии.

Могущество, которого достигло государство Альфреда в течение шести лет мира, обнаружилось тотчас же, как только появившиеся из Галлии новые шайки пиратов попытались пробраться по Темзе к Рочестеру, датчане Гутрума, вопреки Уэдморскому миру, протянули руку помощи своим землякам. Война на этот раз была непродолжительна, так как в 886 г. Альфред одержал над датчанами блестящую победу и заключил с ними новый мир, по которому границы Уэссекса продвинулись внутрь государства Гутрума, и кроме того датчане принуждены были возратить Альфреду Лондон и половину прежнего Восточно-Саксонского королевства. С этого момента датчане из положения наступающих перешли в положение обороняющихся, и эту перемену ясно почувствовали и сами англичане. Было положено основание новой национальной монархии. «Взоры всех англичан, — гласит летопись того времени, — обратились к Альфреду, за исключением тех, которые находились под игом датчан». И действительно, едва новый мир позволил опять свободно перевести дыхание, как уже Альфред обратился к своим обычным делам государственного устройства. Страсть к приключениям, делавшая его до конца жизни ловким охотником, и дерзкая отвага его молодых лет направились теперь на те формы деятельности, которые позволяли ему среди государственных забот находить время для исполнения ежедневных религиозных обрядов, для изучения и перевода книг, для бесед с иностранцами, для заучивания наизусть целых поэм, для планировки построек и обучения золотых дел мастеров и даже сокольни-

чих и псарей. Его мощный ум не ограничивался пределами острова. Он с напряженным вниманием выслушивал отчет норвежца Отера, посланного им к мысу Нордкапу для исследования Белого моря, и Вульфстена, объехавшего берега Эстонии; он отправлял послов с подарками в церкви Индии и Иерусалима, и каждый год его посольство отвозило в Рим «лепту св. Петра». По характеру Альфред был человеком деловым, трудолюбивым, методичным. Он всегда носил с собой записную книжку, в которую заносил все, что поражало его: то отрывок из фамильной генеалогии, то молитву, то рассказы, подобные рассказу об епископе Эдгельме, певшем священные песни на мосту. Каждый час королевского времени был посвящен особым заботам; также точно были установлены им и расходы, и весь строй жизни при дворе. Но такая пунктуальность не мешала королю оставаться всегда простым и любезным человеком. Существует немало более или менее легендарных рассказов об Альфреде, которые тем не менее вполне обрисовывают его характер. В течение целых месяцев стоянки в 'Ательней, в то время как страна была наводнена датчанами, он вошел однажды, говорят, в крестьянскую хижину, в которой не узнавшая его хозяйка дома обратилась к нему с просьбой присмотреть за пекшимися в печи пирогами. Молодой король согласился, но, погружившись в печальные размышления, забыл про свои обязанности у печи, и пироги были испорчены; возвратившаяся хозяйка разбранила Альфреда, выслушавшего ее брань с забавной покорностью. Предание говорит, что он очень любил рассказывать различные эпизоды из своей жизни и весьма увлекался пением. Невзирая на свои труды, он находил время заучивать наизусть древние песни и приказывал изучать их в дворцовой школе. Он основательно изучал мифологические сказания язычников, делал их переводы и пояснения, а в часы грусти находил большое удовольствие в музыкальности псалмов.

Но не в войнах и не в законодательстве главное значение Альфреда, а в том толчке, который он дал развитию нашей литературы. Однако и тут он преследовал скорее практические цели: он просто стремился к воспитанию своего народа. Литература, как и вообще цивилизация почти исчезли в то время в Британии. Не лучше обстояло дело и в самом Уэссексе: «Когда я начал царствовать, — говорил Альфред, — не было ни одного священника к югу от Темзы, который умел бы перевести на английский язык свой служебник». Нашествие датчан ниспровергло не одну только материальную культуру; в Нортумбрии датский меч пощадил слишком немногих, знакомых со школами Эгберта или Бэды. Желая бороться с таким невежеством, Альфред повелел, чтобы каждый свободнорожденный и владеющий средствами молодой человек «не смел расставаться с книгой до тех

пор, пока он не будет в состоянии понимать английского письма». Он сам надзирал за преподаванием в той школе, которую он основал для детей придворных. Вокруг себя он не находил никого, кто был бы в состоянии помогать ему в деле воспитания народа, кроме нескольких прелатов и священников, оставшихся в той части Мерсии, которая спаслась от пиратов, да одного уэльского епископа Ассера: «Прежде, — горько жалуется король, — люди приходили сюда из чужих стран учиться, а теперь мы сами можем поучаться только от других». Он и искал наставников среди западных и восточных франков. Один ученый по имени Гримбальд приехал из Сент-Омера и принял должность настоятеля в Уинчестерском аббатстве, а некий Джон Старый Саксонец был призван, кажется, из Вестфальского аббатства Корвей с целью управлять монастырем, воздвигнутым Альфредом в Ательнейских болотах в благодарность за избавление от нашествия датчан.

Дело образования велось, однако, не столько учителями, сколько самим королем. Альфред решил сообщить народу все знания, доступные до того времени одному духовенству, и притом сообщить их не иначе, как на родном народу языке. Он хватался за все книги, какие ему попадались на глаза; это были популярные руководства того времени — компиляция Орозия, тогда единственный доступный учебник всеобщей истории, история его собственного народа Бэды, «Утешение» Боэция, «Пастырство» папы Григория. Он сам перевел эти книги на английский язык, и не только перевел, но и издал их для своего народа. Некоторые места он пропускал, другие распространял. Книгу Орозия он дополнил очерком новых географических открытий на севере, а выпискам из Бэды придавал вест-саксонскую форму. В одном месте он изъясняет свою теорию управления, свое желание увеличить население, свои понятия о национальном благосостоянии, обусловленном надлежащим равновесием численности священников, воинов и крестьян. Упоминание о Нероне вызывает у него замечания о злоупотреблениях власти. Холодное Провидение Боэция переходит у него в восторженное признание Божьей благодати. В сочинениях Альфреда мы видим не короля, а просто великодушного человека, говорящего с людьми, как равный с равными: «Не порицайте меня, — просит он с чарующей простотой — вы, знающие латинский язык лучше меня; всякий должен говорить и делать, как умеет». Но как ни просты были цели Альфреда, а он создал английскую литературу. До него Англия владела только несколькими поэмами сочинения Кедмона и его последователей, несколькими балладами да военными песнями; прозаической же литературы не существовало. Массы книг, которые теперь заполняют наши библиотеки, берут свое

начало с переводов Альфреда и в особенности с момента появления хроники его царствования. Весьма вероятно, что перевод королем истории Бэды был толчком к составлению компиляции, известной под именем английской или англосаксонской летописи, переработанной в ее настоящую форму во время его царствования. Сухой перечень уэссекских королей и уинчестерских епископов, сохранившийся с древности, превращается путем вставок из Бэды в национальную историю, а когда рассказ доходит до царствования Альфреда, хроника внезапно делается гораздо более подробной, полной жизни и оригинальности, что указывает на приобретение новой силы английским языком. Как ни различна историческая ценность ее рассказов о разных эпохах, все же она является первой подлинной историей тевтонского народа и в то же время древнейшим и почтеннейшим памятником тевтонской прозы. Читатель нашей истории быть может извинит, что мы задержали слишком долго его внимание на личности Альфреда, если вспомнить, что с этого короля начинается собственно английская история.

Глава VI

Вест-Саксонское королевство (893—1013)

Предпринятое Альфредом дело государственного устройства Уэссекса было прервано еще раз вторжением в Англию в 893 г. датских орд под предводительством Гастинга. После целого года бесплодных усилий захватить позицию, в которой прикрывал Уэссекс Альфред, датчане покинули свои укрепления в Андресуильде и перешли через Темзу, но восстание в это же время в Денло обнаружило секрет этого движения. В сопровождении лондонцев сын Альфреда Эдуард и мерсийский олдермен Этельред напали на датский лагерь в Эссексе, пустились в погоню за выдвигавшимся вдоль Темзы отрядом, призывавшим уэльсцев к новому восстанию, настигли его у Северна, нанесли ему сильное поражение и заставили его вернуться в Эссекс. В то же время сам Альфред защищал Экзетер от флота пиратов и их уэльских союзников, а когда Гастинг повторил еще раз свое движение на запад и занял Честер, то Этельред выгнал его и оттуда и принудил возвратиться в лагерь на Ли. Сюда поспешил на помощь к Этельреду и Альфред, после чего захватом датских судов и закончилась эта война. Датчане бежали из Уэльса в страну франков, а новый английский флот прогнал разбойников из Ла-Манша.

Последние годы жизни Альфреда занимала мысль о защите государства путем учреждения союза народов, связанных между собой общно-

стью интересов в смысле ограждения от разбойничьих вторжений, но едва прошло четыре года после поражения Гастинга, как не стало знаменитого короля, и королевство перешло к его сыну Эдуарду. Мужественный и деятельный правитель Эдуард всецело шел в политике по стопам своего отца. Восстание датчан в 910 г. на северной границе и нападение пиратского флота на южные берега его государства заставили Эдуарда взяться за оружие. Вместе со своей сестрой Этельфлид, оставшейся после смерти олдермена Этельреда единственной правительницей Мерсии, Эдуард начал систематическое подчинение Денло. В то время как он сам обуздывал Восточную Англию захватом Южного Эссекса и возведением крепостей Хертфорда и Уитгэма, слава Мерсии была в надежных руках ее леди. Этельфлид обратила свою деятельность на завоевание «Пяти Городов», грубой датской конфедерации, заменившей собой восточную половину прежней Мерсии, где Дерби представлял собой прежнюю Мерсию по течению Верхнего Трента, Линкольн-Линдисуоров, Лестер — Среднюю Англию, Стамфорд — провинцию Гирвас, а Ноттингем, вероятно, — провинцию соутумбрийцев. Каждый из этих «Пяти Городов», по-видимому, управлялся отдельным графом, имевшим свой особый отряд (host), в то время как двенадцать судей (lawmen) отправляли суд по датским обычаям; для всей же конфедерации имелся общий высший суд. При нападении на эту сильную конфедерацию Этельфлид сменила прежнюю систему набегов и битв системой осад и возведения крепостей. Двигаясь вдоль линии Трента, она укрепила Темуорт и Стаффорд при истоках этой реки, потом повернула на юг и обезопасила долину Авона фортом Варвик. Обезопасив течение больших рек и захватив в свои руки доступы в Уэльс, она осадила Дерби. Набеги датчан Средней Англии не могли заставить леди Мерсии отказаться от ее добычи, после чего она немедленно принудила к сдаче и Лестер.

Этельфлид умерла в разгар своей славы, и Эдуард тотчас присоединил Мерсию к Уэссексу. Блеску подвигов сестры равнялись его собственные успехи, когда он напал с юга на округ «Пяти Городов». К югу от Средней Англии и «Болот» лежала местность, орошаемая реками Узой и Нен, — прежний округ так называемого южно-английского племени, теперь сгруппировавшийся, так же как и северные «Пять Городов», вокруг городов Бедфорда, Хантингдона и Нортгемптона. С покорением этих городов подчинилась и Восточная Англия; датчане «Болот» покорились при взятии Стамфорда, а соутумбрийцы — с падением Ноттингема. Покорился в это же время и Линкольн, последний из еще незавоеванных «Пяти Городов». Из Средней Британии король стал осторожно подвигаться к Нортумбрии и взял уже Менчестер, как вдруг весь север сам добровольно пал к его ногам.

Не только Нортумбрия, но и шотландцы, и бритты Стратклайда избрали его «своим отцом и повелителем». Причины такого подчинения были, вероятно, те же, которые заставили северных уэльсцев подчиниться Альфреду, т. е. внутренние раздоры в среде самих подчинившихся, а при таких условиях самый факт подчинения в сущности значил очень немного. И действительно, едва миновал год со смерти Эдуарда, как весь север был уже опять в огне. Этельстан, «златокудрый» внук Альфреда, опоясанный королем еще в детстве драгоценным мечом в золотых ножнах, вновь закрепил за собой владение Нортумбрией, а затем обратился против лиги, заключенной северными уэльсцами и шотландцами, и принудил их платить себе ежегодную дань, служить в его войске и являться на его советы. Западные уэльсцы Корнуолла были подчинены такой же зависимости, а бритты изгнаны из Экзетера, в котором они до этого жили вместе с англичанами. Шотландский король за союз с ирландцами поплатился опустошением своего королевства. Это восстание было только предвестием грозного союза Шотландии, Кемберленда, бриттов и датчан запада и востока. Победа короля над этой лигой при Брунанборе, воспетая в знаменитой песне, казалось, сокрушила надежды датчан, но тем не менее дело полного их покорения было еще впереди. После смерти Этельстана его преемник Эдмунд столкнулся с новым восстанием в Денло, поддержанным и «Пятью Городами»; заключенный архиепископами Одо и Вульфстаном мир установил опять, как во дни Альфреда, Уотлинг-Стрит границей между Уэссексом и поселениями датчан. Эдмунд, однако, владел всеми политическими и военными талантами своего дома, и вскоре Денло было принуждено снова признать его власть; для противодействия датчанам он заключил союз с шотландцами и обеспечил себе помощь их короля, отдав ему в лен Кемберленд. Среди таких успехов Эдмунд погиб. Однажды, когда он пировал в Пеклечерче, за королевский стол сел разбойник Леофа, ранее изгнанный королем, и замахнулся мечом на виночерпия, велевшего ему уйти. Эдмунд бросился на помощь к своему тену, схватил разбойника за волосы и повалил его на пол, но Леофа успел смертельно ранить короля, прежде чем подоспела помощь.

Дело полного устройства Уэссекса было совершено в конце концов не королем и не воином, а священником, ставшим после смерти Эдмунда во главе правления; это был Дунстан, открывший собой тот ряд духовных государственных деятелей, который включал в себя Ланфранка, Уолсея и Лода. Протекшие со времени Дунстана девять веков всякого рода перемен и революций лишь еще более оттеняют замечательную личность этого человека. Он родился в деревушке Глестонбери, около церкви Ины. Его отец Горстан был человеком богатым, состоявшим в родственных отношениях с

тремя епископами и многими тенами. В доме своего отца хорошенький мальчик с прекрасными, хотя жидкими волосами пристрастился «к суетным языческим песням, вздорным легендам и погребальным кантатам» — обстоятельство, послужившее позже к обвинению его в колдовстве. Там он приобрел также любовь к музыке и привычку носить с собой во время путешествий и посещений знакомых арфу. Бродячие ученые Ирландии оставляли в монастыре в Глестонбери свои книги так же, как оставляли они их в монастырях на Рейне и на Дунае, и Дунстан со всей страстью своей натуры отдался изучению духовной и светской литературы. Его ученость сделалась повсеместно столь известной, что слухи о ней дошли и до двора Этельстана, но появление там ученого было встречено негодованием среди придворных, хотя многие из них и доводились ему родственниками. Даже когда снова Дунстан был призван ко двору самим Эдмундом, придворные выгнали его из королевской свиты, сбили его, когда он проезжал через болото, с лошади и со всей дикостью того времени втоптали его в грязь ногами. Дунстан заболел после этого горячкой, а выздоровев, со стыда и отчаяния сделался монахом. Впрочем, в Англии того времени, монашество было немногим более чем простым обетом безбрачия, и в набожности Дунстана не было ничего аскетического. Натура Дунстана была веселой, гибкой, артистичной, способной к сильным привязанностям и к возбуждению таких же чувств в других. Живой, обладавший отличной памятью, прекрасный оратор, веселый и остроумный, артист и музыкант, он был в то же время и неутомимым работником, касалось ли то книг, построек или ремесел. Всю свою жизнь он пользовался любовью женщин и теперь стал духовным руководителем высокопоставленной дамы, которая посвящала свою жизнь делам благотворительности и беседам с пилигримами: «Он всюду следовал за ней и любил ее самым удивительным образом». Когда сфера его деятельности расширилась, мы видим его окруженным целой свитой учеников, занимающихся литературой, игрой на арфе и живописью. Однажды некая леди пригласила его к себе для совещания относительно рисунка на платье, который она вышивала; когда он вместе с ее девушками наклонился над работой, его повешенная на стене арфа стала издавать сама собой звуки, показавшиеся изумленным слушательницам радостной антифонией. Связи его с этим школьным миром прервались со смертью его покровительницы, но зато к концу царствования Эдмунда Дунстан снова был призван ко двору. Проснувшаяся было опять старая ненависть к Дунстану придворных чуть не заставила его снова удалиться, но он был спасен таким обстоятельством: однажды король был на охоте; олень, за которым он гнался, разбился о чеддарские скалы, и лошадь короля остановилась на самом

краю пропасти; перед лицом неминуемой смерти Эдмунд раскаялся в своей несправедливости к Дунстану. Его вызвали тотчас по возвращении короля. «Оседлай коня, — сказал ему король, — и следуй за мной»; тут весь кортеж отправился через болота к дому Дунстана, где Эдмунд простил опального с поцелуем мира и сделал его настоятелем аббатства Глестонбери.

С этого момента Дунстан мог оказывать некоторое влияние на общественные дела, но влияние это возросло до огромной степени, когда, после смерти Эдмунда, он сделался руководящим советником вступившего на престол брата Эдмунда, Эдреда. Следы его руки чувствуются в торжественном манифесте о коронации короля. Избрание Эдреда было первым национальным избранием, в котором участвовали одинаково бритты, датчане и англичане; его коронация была делом вполне национальным, так как в торжестве ее участвовали впервые примасы севера и юга, возлагая совместно корону на голову того, чьи владения теперь простирались от Форта до Ла-Манша. Происшедшее два года спустя восстание на севере было подавлено, а при взрыве нового архиепископ Йоркский Вульфстан был заключен в тюрьму, и в 954 г. с полным подчинением Денло дело дома Альфреда могло считаться оконченным. Как ни было упорно сопротивление датчан, но наконец они должны были признать себя побежденными. Со времени конечного торжества Эдреда всякому сопротивлению настал конец; север вошел всецело в общеанглийскую государственную организацию, а Нортумбрийское вице-королевство превратилось в графство, правителем которого был сделан Освульф. Новая сила королевской власти нашла себе выражение в пышных титулах, принятых Эдредом; он называл себя уже не королем англосаксов, а «цезарем всей Британии».

Со смертью Эдреда снова начались политические раздоры. Мальчиком-королем Эдвигом руководила одна знатная дама Этельгифу, ссора которой с прежними советниками короля перешла в явное столкновение во время коронационных празднеств. Король забылся до такой степени, что ушел с праздника в комнату Этельгифу, и Дунстан по приказу уитанов вытащил его оттуда насильно и привел назад. Но не прошло после этого и года, как гнев мальчика-короля проявился настолько, что Дунстан должен был бежать за море, и с ним исчезла и вся его система, а торжество Этельгифу увенчалось браком короля с ее дочерью. Этот брак противоречил канонам, и в 958 г. архиепископ Одо торжественно разлучил супругов; восставшие в то же время мерсийцы и нортумбрийцы провозгласили своим королем брата Эдвига, Эдгара, и призвали снова Дунстана, который и занял последовательно кафедры в Уорчестере и Лондоне. Смерть Эдвига снова объединила государство, Уэссекс подчинился уже признанному севером королю, а

Дунстан сделался архиепископом Кентерберийским и в продолжение целых шестнадцати лет был министром Эдгара, т. е. в сущности главным светским и духовным правителем государства. Никогда еще Англия не была так могущественна и не пользовалась таким миром, как в это время. Ее флот совершенно очистил берега от пиратов, ирландские датчане превратились из врагов в друзей, и, как гласит предание, восемь вассальных королей гребли веслами во время поездки короля в лодке по Ди. Замирение севера доказало разумность того направления, какое Дунстан дал администрации королевства. По-видимому, с самого начала он следовал скорее национальной, чем вест-саксонской политике. Впоследствии его обвиняли в том, что он давал слишком много власти датчанам, слишком сильно любил иностранцев, но это и служит лучшим доказательством беспристрастия его администрации. Он принимал датчан на государственную службу, продвигал их на высшие государственные и церковные должности и в обнародованном им своде законов оставил за ними все их старые права. Его сильная рука восстановила право и порядок, а его забота о процветании торговли выразилась в законах, регулировавших монету, и в актах об общих для всего государства весах и мерах. Когда на Танете береговые разбойники ограбили купеческий корабль из Йорка, остров подвергся опустошению. Торговля потекла широким потоком, и на улицах Лондона показались купцы из Нижней Лотарингии, Прирейнских стран и Руана. Со времен именно Дунстана Лондон получил то торговое значение, которое он удерживает и до наших дней. Но труды министра-примаса не ограничивались только заботами о материальном благосостоянии государства и улучшении его управления: не меньшее внимание обратил он и на народное образование, совершенно заглухшее после Альфреда; ни одной новой книги не было издано после этого короля, и само духовенство снова погрузилось в мирскую суету и невежество. Дунстан вернулся к этой задаче, если не с широкими целями Альфреда, то, по крайней мере, в духе великого администратора. Реформа монашества, начавшаяся в аббатстве Ключи, пробудила рвение английского духовенства, и сам Эдгар выражал желание ввести ее в Англии. С его же помощью Этельфольд, епископ Уинчестерский, ввел в своей епархии новое монашество, а несколько лет спустя Освальд, епископ Уорчестера, ввел монахов в свой кафедральный собор. Предание приписывало Эдгару основание сорока новых монастырей, и впоследствии английское монашество считало его время началом своего непрерывного существования. Но невзирая на все усилия, монастыри утвердились прочно только в Уэссексе и Восточной Англии, совершенно не прививаясь в Нортумбрии и большей части Мерсии. Сам Дунстан принимал в этом мало уча-

ствия, но его влияние сильно чувствовалось в литературном оживлении, шедшем рука об руку с оживлением религиозным. Он сам, когда был аббатом, славился как учитель, а его великий сотрудник Этельфольд устроил в Абингдоне школу, уступавшую лишь школе в Глестонбери. Другой не менее великий сподвижник Дунстана Освальд положил основание исторической школе в Уорчестере. По приглашению примаса прибыл также из Флери самый знаменитый в то время ученый в Галлии — Аббон.

Потомство с любовью обращалось к так называемому «Закону Эдгара», другими словами, к английской конституции в той ее форме, какую она получила в руках его министра. Ряд влияний сильно изменил древний строй, установившийся вслед за английским завоеванием. Рабство постепенно исчезало перед усилиями церкви. Феодор отказывал в христианском погребении «похитителям детей» и воспрещал продажу детей их родителями с семилетнего возраста. Эгберт Йоркский наказывал лишением участия за всякую продажу детей или родственников. Убийство раба господином или госпожой не считалось преступлением по уголовному кодексу, но составляло все-таки грех, за который налагалась церковная епитимья. Рабы освобождались от обязательной работы в воскресные и праздничные дни и то там, то здесь прикреплялись к земле, вместе с которой только и могли быть продаваемы; иногда раб приобретал участок земли, и ему позволяли заработать себе средства для выкупа. Этельстан распространил и на рабов обычай взаимной ответственности за преступления, обычай, служивший основой порядка между свободными людьми. Церковь не довольствовалась этим постепенным возвышением рабов; Уилфрид подал пример эмансипации, освободив двести пятьдесят рабов в принадлежавшем ему имении в Селси. Случаи освобождения рабов по духовным завещаниям участились, когда духовенство стало учить, что такие деяния значат весьма много для спасения души. На соборе в Челси епископы обязались освобождать перед смертью в своих имениях всех рабов, попавших в рабство за преступления и по нужде. Обыкновенно раб получал свободу перед алтарем или на церковной паперти и на поля Евангелия заносился акт его освобождения. Иногда господин приводил раба к месту, где сходились четыре дороги, и приказывал ему идти куда угодно. В наиболее торжественной форме акта господин брал в собрании графства раба за руку, указывал ему на открытую дорогу и дверь и дарил ему копье и меч «фримена» (свободного человека). Работоторговля была запрещена в английских портах, но это запрещение долго оставалось недейственным, и еще через сто лет после Дунстана многие английские дворяне, говорят, составляли себе состояние разведением рабов для продажи; лишь в царствование первого норманд-

ского короля проповедь Вульфстана и влияние Ланфранка уничтожили работорговлю в ее последнем убежище, бристольском порту.

Однако ослабление рабства шло рука об руку с принижением массы народа. Политические и социальные перемены давно уже видоизменяли весь строй общества; прежняя общественная организация, основой которой был союз фрименов, заменялась новой, состоящей из «лордов» и зависимых от них «вилланов». Такие изменения, уничтожившие древнюю свободу, в значительной степени зависели от перемены в характере английской королевской власти. Когда мелкие английские королевства объединялись, то обширные владения короля удаляли его все более и более от народа и облекали его личность каким-то таинственным ореолом. С каждым новым царствованием королевская власть подымалась все выше и выше. Бывший прежде равным ему епископ опустился до значения ольдермена, а сами ольдермены, некогда наследственные правители небольших государств, сделались простыми наместниками короля, притом ограниченными властью королевских ривов, посылаемых в графства для сбора доходов и отправления королевского суда. Религия усиливала чувство благоговения: особа короля стала еще более священной с того времени, как из «сына Одина» он превратился в «помазанника Божия»; измена ему сделалась тягчайшим из преступлений. Древнее дворянство склонялось перед новой придворной знатью. С древнейших времен германской истории каждый главарь или король имел свою дружину из воинов, добровольно поступавших к нему на службу, клявшихся биться за него до смерти и мстить за его обиду как за свою. Когда Синевульф Уэссекский был изменнически убит при Мертоне, то его дружинники тотчас кинулись туда так скоро, как только кто мог, и презирая предложенную им пощаду, пали сражаясь над телом своего вождя. Такая верность дружины вознаграждалась пожалованием ей земель из королевского имущества, король становился *lord* или *hlaford*, «подателем благ», а дружинники его «слугами» (*servants*) или «тенами» (*thegns*). Личные услуги королю стали с течением времени не унижительными, а облагораживающими, и «тен-кравчий», «тен-конюший» и казначей сделали главными государственными сановниками. Значение тенов увеличивалось вместе с возрастанием королевской власти; они заняли все почетные места, становились ольдерменами, ривами, епископами, судьями, и, по мере того как земли переходили в руки королей, обогащались все более и более и их тени, получавшие от них земельные пожалования.

Принцип личной зависимости тена от короля развился в теорию необходимости всеобщей зависимости. Еще со времен Альфреда признавалось, что всякий должен иметь своего покровителя. Грабежи и опустошения эпо-

хи датских войн побуждали свободного земледельца обращаться за покровительством к тень, уступая ему право на свой участок земли и получая его назад в виде «лена», с обязательством службы своему лорду. С течением времени «человек без господина» (lordless man) стал чем-то вроде бродяги или человека, находящегося вне закона, и прежний «фримен», знавший лишь Бога да закон, все более и более превращался в «виллана», обязанного службой своему господину, шедшего по его приказанию на войну, подсудного его суду, отбывающего барщину на его земле. Теряя свою прежнюю свободу, фримен постепенно лишался и участия в государственном управлении. Жизнь древнеанглийского государства сосредоточивалась в народных собраниях. Здесь свободно избирались народные представители для отправления правосудия, здесь решались вопросы о войне и мире. Рядом с народным собранием стоял «уитенагемот», собрание мудрых, дававших советы королю и через него предлагавших способы действия народу. Предварительное обсуждение дел происходило обыкновенно в собраниях «благородных», но окончательное решение их принадлежало всем. Подача голосов заменялась стуком оружия или народным криком «да» или «нет». Но когда с объединением мелких королевств население каждого из них стало частью более крупного государства, то понизилось и значение прежних собраний; политическое верховенство перешло ко двору далекого государя, и влияние народа на управление прекратилось. Вельможи, правда, продолжали собираться вокруг короля, и в то время как народные собрания утрачивали политическое значение, уитенагемот все более превращался в королевский совет. Он принимал участие в отправлении высшего суда, назначении налогов, издании законов, заключении договоров, контроле за военными действиями, распоряжении государственными землями, назначении высших сановников государства. По временам он даже присваивал себе право избирать или низлагать короля. Но на деле массе знати приходилось все менее и менее пользоваться этими правами: чем обширнее становилось королевство, тем более возрастали расстояния. На практике в уитенагемоте стали заседать лишь высшие государственные и церковные сановники да королевские тени, и таким образом, прежняя английская демократия выродилась в самую узкую олигархию. Единственное воспоминание о народном характере этих собраний сохранилось лишь в сходках граждан, собравшихся в Лондоне или Уинчестере и своим «да» или «нет» выражавших свое согласие или несогласие на избрание короля.

Ослабление класса фрименов, составлявших истинную силу Англии, было причиной гибели, уже грозившей вест-саксонскому государству. В 975 г. тридцатидвухлетний Эдгар умер, оставив детей в отроческом воз-

расте, и между сановниками началась ожесточенная борьба из-за вопроса о престолонаследии. Эта борьба была прекращена лишь энергией примаса, короновавшего сына Эдгара, Эдуарда, и одержавшего победу над своими врагами в двух «собраниях мудрых». Во время одного из таких собраний, гласит монашеское предание, внезапно провалился пол совещательной комнаты, и остались невредимыми только Дунстан и его друзья. Но даже подобное чудо не могло полностью прекратить вражду. Убийство Эдуарда сопровождалось торжеством противников Дунстана, которые и возвели, к своей великой радости, на престол десятилетнего мальчика Этельреда. Государственное управление перешло в руки высшего дворянства, возведшего на трон Этельреда, а лишенный всякой власти Дунстан отправился в Кентерберри, где спустя девять лет после того и скончался.

О внутренней истории с 979 по 990 г., т. е. до времени, когда Этельред достиг совершеннолетия, говорить почти нечего. Новые опасности грозили извне, и север уже готовился к новому нападению на Англию. Скандинавские народы образовали в это время три королевства: Данию, Швецию и Норвегию и задались целью завоевать Англию путем правильной войны. Моря опять покрылись ладьями северных разбойников, и у берегов Англии появились целые флоты пиратов. Первый натиск был произведен в 991 г. норвежским отрядом, разбившим ополчение Восточной Англии в битве при Малдоне. В следующем году Этельред был принужден откупиться от разбойников деньгами и позволением селиться в пределах его государства; в то же время он усилил себя договором с Нормандией, выросшей в это время в грозную морскую силу. Предпринятая им вслед затем попытка прогнать из Британии разбойников послужила лишь сигналом к еще никогда не виданному по своим размерам нашествию на Англию пиратов под предводительством Свейна и Олафа, претендентов на датский и норвежский троны. Опасность грозила отовсюду, и слабость английского государства проявилась особенно в том обстоятельстве, что оно допустило в ряды своей армии датских наемников, решившихся за деньги бороться против своих же братьев. Вскоре после того смерть Олафа возвела Свейна на престол не только Дании, но и Норвегии, а Этельред постарался еще более сблизиться с Нормандией, женившись на сестре нормандского герцога Эмме. Внезапный страх довел Этельреда до низкой измены: по его приказанию, вестсаксонцы в один день перебили всех поселившихся среди них датчан, в том числе вновь обращенную христианку, сестру Свейна Гунхильду, предварительно убив на ее глазах ее мужа и детей. По получении известия об этом Свейн поклялся отнять у Этельреда всю Англию. В продолжение четырех лет он ходил вдоль и поперек Южной и Восточной Англии, «зажигая по

пути свои военные маяки», т. е. предавая все встречные города и села огню и мечу. Только получив богатый выкуп, он удалился из Англии, да и то только для того, чтобы подготовиться к новому, еще более страшному нашествию. Но и это удаление Свейна не дало несчастной стране желаемого покоя, так как его место занял самый свирепый из норвежских вождей, и из Уэссекса война распространилась на Мерсию и Восточную Англию. Кентерберри был взят и разграблен, а архиепископ Эльфги увезен в Гринвич и там за отсутствием выкупа жестоко убит. Датчане привели его на свое собрание и били его камнями и бычьими рогами до тех пор, пока более других сострадательный датчанин не разрубил ему голову топором.

В 1013 г. в Англии снова появился Свейн; его флот вошел в Гёмбер и призвал к восстанию Денло. Нортумбрия, Восточная Англия, «Пять Городов» и все земли к северу от Уотлинг-Стрит покорились Свейну при Генсборо. Этельред остался королем одного только беспомощного Уэссекса. Серьезное сопротивление было немыслимо, и война была ужасна, но непродолжительна. Страна была повсюду разграблена, церкви разрушены, люди перебиты. Один лишь Лондон еще думал о сопротивлении. Оксфорд и Уинчестер добровольно открыли врагу ворота. Уэссекские таны подчинились норманнам при Бате. Наконец, принужден был подчиниться и Лондон, и Этельред бежал за море, в Нормандию. С бегством этого короля окончилась и продолжительная борьба Уэссекса за верховенство над Британией. Дело, не удавшееся Эдвину и Оффе, дело, оказавшееся слишком трудным для мужества Эдуарда и политического искусства Дунстана, словом, дело окончательного объединения Англии в единую нацию теперь переходило в иные руки.

Часть 2

Англия под владычеством чужеземных королей (1013—1204)

Глава I

Датские короли

Британия сделалась Англией в течение пятисот лет после высадки на ее берега Генгеста, и ее завоевание окончилось поселением завоевателей, принятием ими христианства, появлением национальной литературы, несовершенной цивилизации и грубого политического порядка. Но в течение всего этого периода времени все попытки слить различные племена завоевателей в единую нацию терпели неудачи. Усилия Нортумбрии распространить свое управление на всю Англию разбились о сопротивление Мерсии, усилия Мерсии — о сопротивление Уэссекса. Наконец, едва самому Уэссексу, во главе которого стояли великие короли и государственные деятели, удалось водворить в стране видимое единство, как стремления к местной независимости снова воскресли при первом призыве к ней датчан. Самое верховенство переходило от одного государства к другому: то север владычествовал над югом, то, наоборот, юг над севером, но какие бы титулы ни носили короли, как ни сильно казалось их правление, но нортумбриец не становился от этого вест-саксонцем, а датчанин — англичанином. Общие национальные симпатии, правда, несколько уже объединяли страну, но настоящее национальное объединение было еще впереди.

В продолжение двух столетий, отделяющих бегство Этельреда из Англии в Нормандию от бегства Иоанна из Нормандии в Англию, наша история представляет историю иноземного управления. За королями датскими следовали короли нормандские, за ними — короли анжуйские. При всех этих королях англичане были народом подчиненным, покоренным и управляемым иностранными повелителями, но именно в эти годы чужеземного владычества Англия и сделалась настоящей Англией. Провинциальные различия исчезли под давлением чужеземцев; это же давление загладило и

вред, причиненный национальному строю переходом свободных земледельцев к ленной зависимости от лордов. Сами лорды сделали «средним классом» с того времени, как иностранные бароны выгнали их из принадлежавших им усадеб и заняли там сами их место. Эта перемена сопровождалась постепенным превращением класса крепостных и полукрепостных крестьян в класс почти вполне вольных людей. Создавшийся таким образом средний класс был подкреплен ростом торгового класса в городах. Иностранные короли содействовали развитию торговли и промышленности охранением правосудия и порядка, а вместе с тем возрастало и политическое значение купечества. Города Англии, в начале этого периода бывшие большей частью простыми селами, богатели настолько, что могли за деньги приобретать себе от короля разные права и вольности. Права самоуправления, свободы слова, общего совещания, перешедшие было от целого народа к одной знати, ожили теперь в хартиях и собраниях горожан. С политическим развитием шло рука об руку и духовное возрождение. Занятие епископских и аббатских кафедр чужестранцами, говорившими на непонятном языке, разобщило высшее духовенство от низшего и от народа; но религия стала живым делом, когда перешла к самому народу, а отшельники и монахи проложили духовной жизни путь к самому сердцу целой нации. В то же время установление благодаря завоеванию более тесных сношений с материком сблизило Англию с художественным и литературным движением других стран. Старая умственная косность исчезла, и Англия украсилась великолепными зданиями и оживленными школами. Время для этих успехов доставил долгий мир, которым Англия была обязана твердому правлению своих королей; их политическое искусство дало ей административный порядок, а их судебные реформы положили основы ее праву. Коротко говоря, двухвековой суровой дисциплине чужестранных королей обязаны мы не только своим богатством и своей свободой, но и самой Англией.

Первым из наших иностранных властителей был датчанин. Страны Севера, столько времени выбрасывавшие на берега Англии и Ирландии шайки пиратов, превратились теперь в относительно благоустроенные государства. Целью Свейна было создание великой скандинавской империи, главой которой должна была служить Англия. Исполнение этого плана было прервано на некоторое время смертью Свейна, но затем за него взялся с еще большей энергией его сын Кнут. Страх перед датчанами был еще так велик в Англии, что не успел Кнут появиться у ее берегов, как уже Уэссекс, Мерсия и Нортумбрия признали его своим повелителем и снова низложили Этельреда, возвратившегося было после смерти Свейна. В 1016 г. смерть

Этельреда возвела на престол его сына Эдмунда Железнобокого; преданность лондонцев позволила ему несколько месяцев сопротивляться датчанам, но решительная победа при Ассендене и смерть соперника отдали Кнуту во власть королевство. Датчане стали завоевателями Англии, но они не были для нее чужестранцами в том смысле, в каком впоследствии были чужестранцами нормандцы. Их язык мало отличался от английского, и они не принесли с собой ни новой системы землевладения, ни нового государственного порядка. Кнут правил не как завоеватель, а как природный король. Расположение и спокойствие Англии были ему необходимы для осуществления его широких планов на севере, где оружие англичан помогло ему впоследствии объединить Данию и Норвегию под своей властью. Распустив, поэтому, свое датское войско и удержав только отборный отряд телохранителей, Кнут смело положился на поддержку населения, которому он обеспечил правосудие и порядок. Целые двадцать лет он преследовал, по-видимому, одну цель — изгладить из памяти англичан чужеземное происхождение его правления и то кровопролитие, которым оно началось. Переменам в политике соответствовали и перемены в самом Кнute. Когда он в первый раз появился в Англии, то показал себя типичным скандинавом: вспыльчивым, мстительным, соединявшим в себе хитрость и кровожадность дикаря. Его первыми правительственными действиями был целый ряд убийств. Эдрик Мерсийский, с помощью которого он достиг короны, был по его приказанию зарублен топором; затем был лишен жизни Эдвиг, брат Эдмунда Железнобокого, детей которого он преследовал даже в укрывшей их Венгрии. Но из дикаря Кнут внезапно превратился в мудрого и рассудительного короля. Будучи иностранцем, он тем не менее возвратился к «закону Эдгара», к древней конституции страны, и не признавал никакого различия между датчанами и англичанами. Учреждением четырех графств — Мерсийского, Нортумбрийского, Уэссекского и Восточно-Английского он признал провинциальную самостоятельность, но подчинил их сильнее прежнего короне. Он даже проникся патриотизмом, противопоставив против иноземцев. Церковь была центром национального сопротивления датчанам, но Кнут старался всячески приобрести ее расположение. Он воздал почет памяти убитого архиепископа Эльфги перенесением его тела в Кентерберии и старался изгладить воспоминание об опустошениях своего отца щедрыми дарами монастырям. Он защищал английских пилигримов от альпийских баронов-грабителей. Его любовь к монахам выразилась в песне, составленной им, когда он слушал их пение в Или: «Весело пели монахи Или, когда король Кнут плыл к ним через обширные воды, окружавшие их аббатство. Гребите, лодочники, ближе к берегу, послуша-

ем, что поют монахи». Послание Кнута из Рима к его английским подданным указывает на величие его характера и благородное понятие о королевском достоинстве: «Я дал Богу обет вести во всем праведную жизнь, — писал король, — управлять справедливо и богоугодно моим государством и моими подданными и воздавать должное всем. Если до сих пор я сделал что-нибудь несправедливое по молодости или небрежности, то я готов вполне загладить это». Ни один королевский чиновник ни из страха перед королем, ни ради чьего-либо расположения не должен соглашаться на несправедливое дело, не должен делать зла ни богатому, ни бедному, «если только он ценит мою дружбу и свое собственное благо». Особенно останавливается он на несправедливых вымогательствах: «Я не хочу, чтобы для меня собирали деньги неправедными путями. Я посылаю это письмо раньше себя, — заканчивает Кнут, — чтобы весь народ моего государства мог порадоваться моим добрым делам, ибо — как вы сами знаете — никогда я не щадил и не буду щадить себя и своих трудов для того, что нужно и полезно моему народу».

Величайшим благодеянием для народа в правление Кнута был мир. С него началось то внутреннее спокойствие, которое отличает нашу дальнейшую историю. В течение двухсот лет, за исключением тяжелой эпохи нормандского завоевания и смут при Стефане, одна Англия из всех европейских государств наслаждалась безмятежным спокойствием. Войны ее королей велись далеко от ее пределов — во Франции, Нормандии или, как в случае Кнута, в далеких странах Севера. Твердое правление обеспечивало порядок внутри. Отсутствие внутренних распрей, быть может, также истощение Англии страшными вторжениями датчан доказано ее спокойствием в периоды его отсутствия. Все указывает на возрастание богатства и благосостояния страны. Тем не менее большая часть Англии еще не была возделана, большие пространства были покрыты лесом, кустарником и вереском. На западе и востоке тянулись обширные топи; болота длиной в сотню миль отделяли Восточную Англию от центральных областей, такие местности, как Глестонбери или Ательней, были почти не доступны. На болотистой почве, окружавшей Беверлей, водились еще бобры, лондонские ремесленники охотились за вепрем и диким быком в лесах Гемпстеда, в то время как волки бродили вокруг усадеб на севере. Но мир и, как следствие его, развитие промышленности, преобразовали пустыню: олень и волк бежали от лица человека, топор земледельца расчищал леса, на рощистях вырастали деревни. Расширение торговли было заметно в богатых портовых городах восточного берега. Торговали, вероятно, звериными шкурами, канатами и корабельным лесом, но всего

больше железом и сталью, которые долго поставляла в Британию Скандинавия. Сами датчане и норвежцы открыли себе гораздо более широкое поле для торговли, нежели северные моря; их барки ходили в Средиземное море, а по рекам России они доставляли товары в Константинополь и на Восток. «Что ты привез нам?» — спрашивают купца в старинном английском диалоге. «Я привез шкуры, шелк, драгоценные камни и золото, — отвечает он, — и кроме того разные одежды, вино, масло, слоновую кость, бронзу, медь, олово, серебро и многое другое». Купцы из Прирейнских земель и Нормандии заходили со своими кораблями в Темзу, на грубых набережных которой складывались самые разнообразные товары: перец и пряности с далекого Востока, корзины с перчатками и платьем, быть может ломбардского производства, мешки с шерстью, железные изделия из Льежа, бочки с вином и уксусом из Франции и наряду со всем этим продукты сельского хозяйства страны — сыры, масло, сало, яйца, живые свиньи и всякая живность.

Главной целью Кнута было приобрести любовь своего народа, и все предания свидетельствуют, как успешны были его старания, но величие его дела обуславливалось исключительно его личными качествами, и с его смертью созданная им империя сразу распалась на части. Вступление на престол Англии его сына Гарольда отделило ее на несколько лет от Дании, но затем обе страны снова соединились под властью второго сына Кнута — Гарткнута. Беззакония преемников превратили в ненависть популярность, приобретенную было Кнутом. Долгий мир внушил народу отвращение к новому взрыву кровопролития и насилия. «Никогда не видала Англия такого кровавого дела с прихода датчан», — пел народ, когда воины Гарольда схватили возвратившегося в Англию брата Эдмунда Железнобокого, Альфреда, убили каждого десятого человека из его сторонников, продали остальных в рабство, а самого Альфреда ослепили и оставили умирать в Или. Еще более жестокий, чем его предшественник, Гарткнут вырыл из могилы тело брата и бросил его в болото, а восстание против его телохранителей в Уорчестере он подавил сожжением города и разгромом всей провинции. Его смерть была достойна его жизни: «Он умер во время попойки в доме Осгода Клапа в Ламбете». Англия много терпела от королей, подобных этим, но их преступления помогли ей отказать от невозможной мечты Кнута. Еще более варварский, чем она сама, Север не мог дать ей новых начал цивилизации и прогресса. Сознание этого и ненависть к правителям, подобным Гарольду и Гарткнуту, в соединении с уважением к прошлому содействовали восстановлению на престоле потомства Альфреда.

Глава II

Английская реставрация (1042—1066)

В такие переходные моменты в жизни нации ей нужны холодная рассудительность, чуткий эгоизм, быстрое понимание условий, среди которых приходится действовать, — качества, отличавшие ловкого политика, которого смерть Кнута поставила в Англии на первое место. Годвин замечателен в нашей истории как первый политик, не бывший ни королем, ни священником. Человек незнатного происхождения, Годвин достиг высокого положения исключительно благодаря своим талантам; женитьба породнила его с Кнутом, от которого он получил в управление графство Уэссекс, а затем он был сделан вице-королем, или верховным правителем государства. Командуя вспомогательным отрядом английских войск во время скандинавских войн, он обнаружил мужество и военный талант, но истинной сферой его деятельности было внутреннее управление. Проницательный, красноречивый, деятельный администратор, Годвин соединял бдительность, трудолюбие и осторожность с особым умением обращаться с людьми. В смутную эпоху, следовавшую за смертью Кнута, он старался по возможности продолжать политику своего повелителя, стремясь сохранить единство Англии под датским правлением и обеспечить ее связь с Севером. Но после смерти Гарткнута такая политика сделалась невозможной, и Годвин, покинув дело датчан, последовал за потоком народных симпатий, призывавших на престол сына Этельреда — Эдуарда.

С самых юных лет Эдуард жил в изгнании при нормандском дворе. Орел нежности окружил впоследствии этого последнего представителя старой династии английских королей. Ходили легенды о его набожной простоте, веселости и кротости, об его святости, доставившей ему прозвище Исповедника и погребение в качестве святого в церкви Вестминстерского аббатства. Певцы серьезно воспевали долгий мир и славу его царствования, перечисляли воинов и мудрых советников, окружавших его трон, вспоминали о подчинении ему уэльсцев, скоттов и бриттов. Он выделяется светлым пятном на мрачном фоне той эпохи, когда Англия лежала униженной у ног нормандских завоевателей, и память о нем стала столь дорогой для англичан, что, казалось, в его имени воплотились сама свобода и независимость. Подданные Вильгельма или Генриха, требуя свободы, говорили всегда «о добрых законах Эдуарда Исповедника». Но, в сущности, король был просто тенью прошлого, промелькнувшей на троне Альфреда. В его тонких чертах, нежном сложении, прозрачных, женственных руках было

что-то неземное, и он проскользнул по политической арене именно как тень. Правительственную работу исполняли более сильные руки. Слабость короля сделала Годвина хозяином страны, и он правил ею твердо и мудро. Отказавшись с неохотой от всякого вмешательства в скандинавскую политику, он охранял Англию с помощью флота, крейсировавшего у ее берегов. Внутри государства, хотя олдермены все еще ревниво оберегали местную независимость, были признаки того, что национальное единство понемногу осуществляется. Во всяком случае, в это время было гораздо больше дела внутри, нежели вне страны, а что это дело Годвин исполнял хорошо, это доказывал продолжительный мир.

В начале царствования Эдуарда Англия находилась в руках трех графов: Сиуорда Нортумбрийского, Леофрика Мерсийского и Годвина Уэссекского, и, казалось, со смертью Кнута предстояло торжество старого стремления к местной обособленности. Честолюбие Годвина помешало такому разделению. Он весь был поглощен мыслью о возвышении своей семьи. Свою дочь он выдал за короля. Его собственное графство охватывало всю Англию к югу от Темзы. Его сын Гарольд был графом Восточной Англии, другой сын Свейн владел графством на западе, наконец, его племянник Бирн был устроен в Центральной Англии. Первый удар могуществу Годвина был нанесен беззакониями Свейна. Он соблазнил леоминстерскую аббатису, потом отослал ее домой с еще более оскорбительным предложением — вступить с ним в брак, и когда король в этом ему отказал, то он бежал из Англии. Влияние Годвина доставило ему помилование, но как только Свейн вернулся в Англию, он убил своего кузена Бирна, бывшего против его помилования, и опять бежал во Фландрию. Буря народного негодования сопровождала его за море. Уитенагемот признал его «негодяем», «никуда негодным», но через год Годвин выхлопотал ему у короля новое прощение и возвращение графства. Скандальное заступничество за такого преступника оттолкнуло от Годвина почти всех, и он остался без поддержки в начавшейся вскоре борьбе с королем. Эдуард был иностранцем в своем королевстве, и его симпатии клонились, естественно, к стране и друзьям его юности и изгнания. Он говорил по-нормандски, прикладывал к хартиям печать по нормандскому образцу, раздавал своим нормандским любимцам высшие государственные и церковные должности. Все эти иностранцы ненавидели Годвина, но были бессильны против его влияния и его искусства, а когда отваживались впоследствии восставать одни против него, то падали без всякого труда с его стороны. На этот раз, пользуясь общим недовольством против Годвина, они уговорили Эдуарда напасть на графа. Пустой случай дал для этого подходящий повод. Эдуарда посетил

муж его сестры, Эсташ, граф Булонский, и при возвращении от короля потребовал в Дувре квартир для своей свиты. Завязалась ссора, в которой было убито много граждан и чужестранцев. Вся душа Годвина возмущалась, когда король гневно приказал ему наказать город за оскорбление его родственника, и он потребовал правильного суда над горожанами. Эдуард взглянул на этот отказ как на личное оскорбление, и спор перешел в открытую борьбу. Годвин тотчас собрал свои силы и двинулся на Глостер, требуя изгнания иностранных фаворитов, но даже и к этому справедливому требованию страна отнеслась холодно. Графы Мерсии и Нортумберленда стали на сторону Эдуарда, уитенагемот в Лондоне подтвердил декрет об изгнании Свейна; тогда Годвин с обычным своим благоразумием уклонился от бесполезной борьбы и удалился во Фландрию.

Падение Годвина успокоило недовольство народа. Как бы ни была велика вина правителя, но он был единственным человеком, который защищал Англию от влияния стекавшихся ко двору иноземцев. Не прошло и года, как Годвин снова появился с флотом на Темзе, и король еще раз должен был уступить. Иностранные прелаты и епископы бежали за море, изгнанные тем же уитенагемотом, который возвратил Годвину его права. Но Годвин вернулся лишь для того, чтобы умереть на родине, и руководство делами спокойно перешло к его сыну.

Когда Гарольд достиг власти, его не стесняли препятствия, окружавшие его отца, и в течение двенадцати лет он был настоящим правителем королевства. Храбрость, ловкость, административный талант, честолюбие и хитрость Годвина оказались и у его сына. Во внутреннем управлении он следовал политике отца, избегая его крайностей. Он охранял мир, заботился о правосудии, и это содействовало возрастанию богатства и благосостояния народа. Английские изделия из золота и вышивки славились на рынках Фландрии и Франции. Внешние нападения отбивались быстро и решительно. Военные таланты Гарольда обнаружились в походе против Уэльса, в той смелости и стремительности, с которыми он вооружил свои войска приспособленным к горной войне оружием, проник в самое сердце страны и довел ее до полной покорности. Однако это процветание было небогато благородными началами народной деятельности и глухо к животворящим влияниям духовной жизни. На материке литература проявляла новую жизнь, а Англия довольствовалась псалтырем да несколькими поучениями. Религиозный энтузиазм украшал Нормандию и Прирейнские земли величественными храмами, с которыми представляли странный контраст немногие церкви, воздвигнутые королями или графами Англии. Церковь впала в летаргию. Стиганд, архиепископ Кентерберийский, стоял на стороне ан-

типапы, и таким образом, высший сановник английской церкви находился под интердиктом. Ни соборы, ни церковные реформы не прерывали дремоты духовенства. На материке снова пробуждались литература, искусство, религиозная мысль, а Англия стояла совсем в стороне от этого движения. Подобно Годвину, энергия Гарольда шла целиком на расширение владений своего дома. По смерти Сиурда, графом Нортумбрии был назначен брат Гарольда Тостиг, и тогда почти вся Англия, за исключением небольшой части прежней Мерсии, оказалась во владении дома Годвина. Чем больше приближался бездетный король к могиле, тем ближе придвигался к трону его министр. Препятствия одно за другим устранялись с его пути. Восстание в Нортумбрии повлекло за собой бегство во Фландрию Тостига, его самого опасного соперника, и Гарольд воспользовался этим, чтобы назначить преемником Тостига Моркера, брата графа Мерсии Эдвина, и тем привлечь на свою сторону дом Леофрика. Так Гарольд достиг своей цели без борьбы: собравшиеся у смертного одра Исповедника вельможи и епископы тотчас после смерти его приступили к избранию и коронованию Гарольда.

Глава III

Нормандия и нормандцы (912—1066)

Вслед за восшествием Гарольда на престол пришли тревожные вести из страны, тогда еще совсем чуждой, но сделавшейся вскоре почти частью самой Англии. Простая прогулка по Нормандии лучше знакомит с рассматриваемой эпохой нашей истории, чем все книги на свете. Название каждой деревушки знакомо англичанину; остаток крепостной стены указывает на родину Брюса, маленькая деревенька сохраняет имя Перси. Внешний вид страны, равно как и ее населения, кажется нам родным. Нормандский крестьянин в своей шапке и блузе напоминает фигурой и лицом английского мелкого фермера, а поля около Кана с их живыми изгородями, вязами и фруктовыми садами будто скопированы с полей Англии. На окрестных высотах возвышаются квадратные серые башни, похожие на те, какие нормандцы строили на утесах Ричмонда и берегах Темзы; огромные соборы, возвышающиеся над красными крышами маленьких рыночных городов, послужили образцами для величавых сооружений, сменивших собой низенькие храмы Альфреда и Дунстана.

Рольф Ходок, или Странник, такой же норвежец и пират, какими были Гутрум и Гастинг, отнял земли по обе стороны устья Сены у французского короля Карла Простоватого в то время, когда дети Альфреда начали заво-

евание английского Денло. Договор, по которому Франция уступкой этого берега купила себе мир, был совершенным подобием Уэдморского мира. Подобно Гутруму, Рольф крестился, женился на дочери короля и сделался его вассалом по области, получившей с того времени название «Страна норманнов», или Нормандия. Но вассальные отношения и новая вера мало стесняли пиратов. С французами, среди которых они поселились на Сене, их не связывали ни узы крови, ни сходство языка, сблизившие их с англичанами, между которыми они поселились на Гёмбере. Сын Рольфа Вильгельм (Гийом) Длинный Меч, хотя и склонялся на сторону христианства и Франции, но в душе оставался норманном. Он призвал датскую колонию для заселения Котантена — полуострова, идущего от горы Сен-Мишель до утесов Шербура, и воспитал своего сына среди норманнов Байё, где всего упорнее держались датский язык и обычаи. За его смертью последовала языческая реакция: большинство норманнов вместе с малолетним герцогом Ричардом отпали на время от христианства, и новые флоты пиратов появились на Сене. До конца века пограничные французы называли нормандцев «пиратами», их страну — «страной пиратов», а их герцога — «герцогом пиратов».

Но под конец те же силы, которые превратили датчан в англичан, еще сильнее повлияли на датчан во Франции. Ни один народ не выказывал никогда такой способности усваивать себе все лучшие черты народов, с которыми он приходил в соприкосновение или сообщал им свою энергию. В течение долгого царствования сына Вильгельма — Ричарда (Ришара) Бесстрашного норманны-язычники превратились во французов-христиан и искренних феодалов. Старый датский язык удержался только в Байё да в немногих местных названиях. Когда незаметно исчезла северная свобода, потомки пиратов превратились в феодальное дворянство, а «страна пиратов» стала одним из вернейших ленов французской короны. Перемена обычаев сопровождалась и переменой веры, связавшей с христианством и церковью страну, где язычество упорно боролось за существование. Герцоги первыми принимали новую веру, но когда религиозное движение проникло в народ, оно было встречено со страстным увлечением. По всем дорогам шли пилигримы; на лесных прогалинах всюду вырастали монастыри. В небольшой долине, окаймленной лесом из ясеней и вязов и прорезанной ручейком, от которого впоследствии получил название монастырь (Бек), искал убежища от мира рыцарь Герлуин Брионн. Однажды, когда он своими руками складывал печь, какой-то чужестранец приветствовал его словами: «Спаси тебя Бог». — «Ты из Ломбардии?» — спросил пришельца рыцарь-отшельник, пораженный его оригинальным видом. «Да», — отвечал тот и,

прося принять его в монахи, упал на колени и начал целовать ноги Герлуина. Ломбардец оказался Ланфранком из Павии, ученым, известным своими познаниями в римском праве; он перешел через Альпы с целью основать школу в Авранше, а теперь молва о святости Герлуина увлекла его в монашество. Хотя у Ланфранка были действительно религиозные стремления, но ему суждено было прославиться не столько в качестве святого, сколько в роли администратора и политика. Его преподавание за несколько лет сделало Бек знаменитейшей школой христианства. Это была как бы первая школа того умственного движения, которое из Италии проникало в менее образованные страны Запада. Вся умственная жизнь того времени, казалось, сосредоточилась в группе ученых, собравшихся вокруг Ланфранка: здание канонического права и средневековой схоластики, а также философский скептицизм, впервые пробудившийся под его влиянием, — все это возводит свое начало к Беку.

Ланфранку наследовал в качестве приора и учителя знаменитейший из этих ученых, тоже итальянец, Ансельм из Павии. Будучи друзьями, Ланфранк и Ансельм были совсем не похожи один на другого. Ансельм вырос в тихом уединении горной долины поэтично-нежным мечтателем, с душой чистой, как альпийские снега его гор, и с умом, настолько же ясным и прозрачным, как окружавший его горный воздух. Весь характер Ансельма отразился в одном сновидении его юности. Снилось ему, будто небо стоит среди блестящих горных вершин подобно чудному дворцу, а на окружающих его полях убирают хлеб жницы самого Небесного Царя. Но они жали лениво, и Ансельм, раздраженный их ленью, вскарабкался по горе, чтобы донести на них Господу. Когда он достиг дворца, голос Царя призвал его к нему, и он рассказал ему виденное. После этого, по повелению Царя, перед ним поставили неземной белизны хлеб, которым он и подкрепил свои силы. Сон исчез с наступлением утра, но чувство близости неба к земле, горячее стремление служить Господу, душевный покой, испытанный им в присутствии Бога, остались у Ансельма на всю жизнь. Переселившись подобно другим итальянским ученым в Нормандию, он сделался монахом в Беке, а по назначении Ланфранка на высший пост стал настоятелем аббатства. Ни один учитель не вносил столько любви в свое дело, как Ансельм. «Побуждайте своих учеников исправляться», — сказал однажды Ансельм другому учителю, прибегавшему к побоям. «Видали ли вы когда-нибудь, чтобы художник выработывал статую из золота с помощью одних ударов? Нет, он то давит ее потихоньку, то слегка постукивает по ней своими инструментами, то еще осторожнее и ловчее ее формует. А во что превращаются ваши ученики от постоянных колотушек?» — «Они превращаются в ско-

тов», — был ответ. «Плохо же ваше учение, если оно превращает людей в скотов», — едко возразил на это Ансельм. Самые загубленные натуры смягчались под влиянием нежности и терпения Ансельма. Даже Вильгельм Завоеватель, столь суровый и грозный для других, становился любезным и разговорчивым человеком в беседе с Ансельмом.

Среди своих занятий в школе Ансельм находил время и для философских исследований, положивших научное основание для средневековой теологии. Его знаменитые произведения были первой попыткой вывести идею Бога из самой сущности человеческого разума. Его страсть к отвлеченному мышлению нередко лишала его пищи и сна. Иногда он едва мог молиться. Часто по ночам он долго не мог заснуть, пока не овладевал известной мыслью и не записывал ее на лежавших возле него восковых дощечках. Но даже усиленная работа мысли не могла высушить страстной нежности и любви, наполнявших его душу. Больные монахи не хотели пить ничего другого, кроме сока, выжатого из винограда руками самого настоятеля. Позднее, когда он был архиепископом, преследуемый собаками заяц укрылся под его лошадью, и он грозно велел ловчему приостановить охоту, пока бедное животное не скрылось в лесу. Даже страсть к расширению церковных земель, столь свойственная духовенству того времени, не одобрялась Ансельмом, и при разборе таких дел он смежал очи и сладко засыпал.

Глава IV

Завоеватель (1042—1066)

Не одно только горячее рвение к новой вере увлекало нормандских пилигримов к святыням Италии и Палестины. Старая страсть северян к приключениям обратила пилигримов в крестоносцев, и цвет нормандского рыцарства, недовольный суровым правлением своих герцогов, принял участие в борьбе с мусульманами Испании или стал под знамена греков в их войн с арабами, завоевавшими Сицилию. Скоро нормандцы стали завоевателями под начальством Робера Гискара, покинувшего свою родину в Котантене с одним только оруженосцем, но вскоре, благодаря своему мужеству и хитрости, ставшему во главе своих соратников в Италии. Напав на греков, которым они до того служили, нормандские рыцари разбили их в сражении при Каннах и отняли у них Апулию; сам Гискар руководил ими в завоевании Калабрии и торговых городов побережья, а сподвижники его брата Роже после тридцатилетней войны приобрели Сицилию. Все эти завоевания соединились под властью одного княжеского дома, щедрости которого искусство обяза-

ноблеском Палермо и Монреале, а литература — первым расцветом итальянской поэзии. Вести об ограблении юга раздражали жадность и предприимчивость населения Нормандии, где кипело еще столько жизни, а молва о подвигах Гискара еще более воспламеняла пылкое честолюбие ее герцога.

Герцогом Нормандии был в это время Вильгельм Завоеватель, как он был прозван по одному событию из нашей истории. До тех пор он только отчасти проявил величие своей неукротимой воли, широкие политические взгляды, высоту своих целей, выдвигавших его из ряда мелких авантюристов века. С самого детства, однако, не было момента, когда бы он принадлежал к числу великих людей. Вся его жизнь была непрерывной борьбой со всякого рода затруднениями. Воспоминание о его происхождении сохранилось в его прозвище Бастард (Незаконнорожденный). Его отец герцог Робер Великолепный увидел однажды в Фалезе дочь кожевника Арлетту, мывшую белье в ручейке; девушка понравилась герцогу и стала матерью его сына. Отъезд Робера в паломничество в Палестину, из которого он так и не возвратился, оставил еще малолетнего Вильгельма главой самой буйной знати, и он рос среди измен и анархии, перешедших наконец в открытое возмущение. Восстание подняли округа Бессена и Котантена, где дольше всего сохранялись разбойничий дух и склонность к насилию. Весть о заговоре застала Вильгельма в его охотничьем домике, и у него хватило времени только для того, чтобы броситься в реку с мятежниками за спиной. Кавалерийская схватка на скалах Валь-Эс-Дюн, к юго-востоку от Кана, доставила Вильгельму власть над герцогством, и старая скандинавская Нормандия навсегда подчинилась влиянию новой цивилизации, проникавшей с французскими союзами и языком.

Сам Вильгельм был ярким представителем этой переходной эпохи. В характере молодого герцога старый мир странным образом сливался с новым, пират сталкивался с политиком. Вильгельм был последним и самым грозным представителем северной расы. В его гигантской фигуре, непомерной силе, диком взгляде, отчаянной храбрости, бешеном гневе, беспощадной мстительности, казалось, воплощался дух «морских волков, так долго живших грабежом всего мира». «Вильгельм не имел во всем свете равного себе рыцаря», — говорили сами его враги. Лошади и люди падали под ударами копыа еще мальчика-герцога в сражении при Валь-Эс-Дюн. Бешеная живость его характера выражалась в рыцарских приключениях его юности, в его борьбе всего с пятью солдатами против пятнадцати анжуйцев, в вызывающей поездке по земле, которой домогался у него Жоффруа Мартел, поездке с соколом на руке, как будто для него война и охота были одно и то же. Никто не мог натянуть его лук. Своей палицей он проло-

жил себе путь сквозь цепь английских воинов к подножию знамени. Он достигал наибольшей высоты именно в те моменты, когда другие приходили в отчаяние. Его голос гремел как труба, когда он старался остановить своих солдат, обращенных в бегство натиском англичан при Сенлаке. Во время зимнего похода к Честеру он шел пешком во главе своих изнуренных войск и собственноручно помогал расчищать дорогу сквозь снежные сугробы. Рядом с нормандской смелостью в нем прорывалась и нормандская безжалостность. Когда жители Алансона, в насмешку над его происхождением, повесили на городских стенах сырые кожи при криках: «Вот работа для кожевника!», то Вильгельм велел выколоть пленникам глаза, отрубить руки и ноги и бросить их в город. После своей величайшей победы он отказал телу Гарольда в погребении. Сотни жителей Гемпшира были выгнаны из их жилищ, чтобы очистить ему место для охоты, а опустошение им Нортумбрии превратило север Англии в безлюдную пустыню. Жестокость и беспощадность сквозили в самых шутках его. Когда он состарился, французский король Филипп подсмеялся над неуклюжей полнотой Вильгельма и, когда болезнь уложила его в постель в Руане, сказал: «У Вильгельма такие же долгие роды, как у женщины». «Когда я встану, — побожился Вильгельм, — я побываю у обедни в стране Филиппа и щедро одарю церковь за счастливые роды; я принесу ей тысячу свечей. Этими свечами будут пожары, при свете которых заблещет сталь». В пору жатвы вдоль французской границы запылали города и села во исполнение обета Вильгельма. Также суровость характера сказывалась и в его любви к уединению. Он мало обращал внимания на любовь или ненависть людей. Суровый взгляд, гордость, молчаливость и дикие порывы гнева наводили страх на его приближенных: «Он был так могуч и свиреп, — говорит английский летописец, — что никто не осмеливался противоречить его воле». Он был любезен только с Ансельмом, и это еще сильнее оттеняло общую суровость его тона. Гнев его мало проявлялся в словах: «Ни с кем не говорил Вильгельм и никто не осмелился заговорить с ним, когда он получил известие о восшествии на престол Гарольда». Только уходя из дворца в глушь лесов, Вильгельм становился другим человеком: «Он любил диких ланей и оленей как будто был их отцом, и человек, виновный в их убийстве, подвергался ослеплению». Смерть застала Вильгельма таким же одиноким, каким прожил он всю свою жизнь. Когда король испустил последнее дыхание, вельможи и священники разбежались, и обнаженное тело Завоевателя осталось распростертым на полу.

Гений Вильгельма превратил его из чистого норманна в великого полководца и великого политика. За ростом нормандского могущества ревни-

во следил граф Анжуйский Жоффруа Мартел, и ему удалось вооружить против Вильгельма французского короля. Опасность превратила Вильгельма из странствующего рыцаря в стратега. Когда французская армия перешла границу, он осторожно держался на ее флангах, пока на одну из частей ее, расположившуюся в маленьком городке Мортемар, не напали врасплох воины Вильгельма и не разбили ее наголову. Другую часть теснил сам герцог, когда Ральф де Тени, взобравшись на дерево, передал ей известие о гибели их товарищей: «Вставайте, вставайте, французы! — вы спите слишком долго; идите хоронить ваших друзей, лежащих мертвыми в Мортемаре». Через четыре года новое, еще более грозное вторжение в Нормандию было встречено Вильгельмом с тем же искусством. Он холодно смотрел на ограбление своих городов и аббатств, на опустошение Бессена, на разграбление Кана и уклонялся от сражения до тех пор, пока французы не приготовились перейти при Варавилле Див с целью проникнуть с огнем и мечом в богатый округ Лизье. Но едва перешла реку половина армии, как Вильгельм напал на ее тыл, и сражение, как и предвидел герцог, продолжалось до тех пор, пока подъем воды не разделил французов надвое. Толпившиеся на узкой плотине всадники, пехотинцы и обозы гибли вместе под дождем нормандских стрел. Никто не спасся, и французский король, беспомощно смотревший с другого берега на поражение своей армии, отправился умирать домой. Смерть Жоффруа Мартела избавила Вильгельма от соперника среди князей Франции. Лежавший между Нормандией и Анжу, Мэн признал без борьбы его власть, а Бретань, приставшая к союзу его врагов, была приведена к покорности одним походом.

Это внешняя деятельность не отвлекала внимания герцога от положения самой Нормандии. Трудно было обеспечить мир и порядок в стране, наполненной буйными и хищными баронами: «Нормандцев, — говорил один из их поэтов, — надо держать под пятой; тот только может распоряжаться ими кто умеет обуздывать их». Вильгельм «никогда не любил разбойников». Его покровительство торговцам и крестьянам в первые десять лет его правления вызывало постоянные возмущения баронов. Во главе недовольных становились его собственные родственники, призывавшие к себе на помощь французского короля. Но победы при Мортемаре и Варавилле отдали мятежников в его власть. Одни из них томились в его темницах, другие подверглись изгнанию и присоединились к завоевателям Апулии и Сицилии. Упрочив в стране мир и порядок, Вильгельм обратился к реформе церкви. Архиепископ Руанский, большой любитель охоты и пиров, был поспешно сменен, и на его место поставлен ученый и благочестивый француз. Частые соборы под руководством герцога заботились об улуч-

шении нравственности духовенства. Школа в Беке, как мы уже знаем, сделалась центром просвещения, и Вильгельм с тонким пониманием людей, составлявшим выдающуюся черту его гения, сделал Ланфранка своим главным советником. В споре с папой, вызванным браком герцога с Матильдой Фландрской, Ланфранк принял сторону Рима, и в наказание за это Вильгельм приказал ему оставить Нормандию. Приор сел на свою единственную хромоу лошадь и был застигнут герцогом, нетерпеливо ожидавшим его отъезда. «Дай мне лошадь получше, тогда я и уеду поскорее», — сказал невозмутимо ломбардец, и гнев герцога перешел в хохот и расположение. С этого времени Ланфранк сделался его министром и советником не только по делам герцогства, но и по исполнению более смелых планов, внушенных ему положением Англии.

В течение последнего полувека Англия и Нормандия сближались все теснее. В конце правления Ричарда Бесстрашного нападение на Англию датчан было поддержано Нормандией, и их флот зимовал в ее гаванях. В отместку за эту поддержку Этельред послал свой флот опустошить Котантен, но нападение было отбито и спор прекращен браком Этельреда с Эммой, сестрой Ричарда Доброго. Затем Этельред с детьми нашел себе в Нормандии убежище от преследований датчан, и, если верить нормандским рассказам, только противные ветры помешали нормандскому флоту восстановить изгнанников на английском престоле. Мирное призвание Эдуарда, казалось, открывало Англию норманнам, и лишь только произошло изгнание Годвина, как герцог Вильгельм появился при английском дворе и, как уверял он впоследствии, получил от короля обещание передать ему престол. Если такое обещание и было дано, то оно ровно ничего не значило без утверждения «собранием мудрых». К тому же возвращение в Англию Годвина положило конец надеждам Вильгельма. Говорят, они возродились снова благодаря буре, прибившей Гарольда во время плавания по Ла-Маншу к французскому берегу. Вильгельм принудил его на мощах святых обещать поддержку его притязаниям в оплату за позволение вернуться в Англию. Но вслед за известием о смерти Эдуарда пришла весть о восшествии на престол Гарольда; после взрыва бешенства Вильгельм решил поддерживать свое требование силой оружия. Вильгельм требовал себе не короны, а лишь права, которым он воспользовался после своей победы, явиться на нее претендентом, и он думал, что оно дано ему прямым обещанием Исповедника. Мешавшее этому и поспешно произведенное избрание Гарольда он не признавал законным. Но такое конституционное притязание было нераздельно соединено с гневом на Гарольда и желанием отомстить ему за клятвопреступление.

Трудности предприятия Вильгельма были огромны. Он не мог рассчитывать ни на какую поддержку в самой Англии, у себя же ему приходилось вынуждать согласие на поход у недовольных баронов, собирать людей со всех концов Франции и дисциплинировать их в течение нескольких месяцев; приходилось также создавать флот, рубить деревья, строить и спускать корабли, составлять для них экипаж и среди всего этого находить время для дел управления и для переговоров с Данией, Империей, Францией, Бретанью, Анжу, Фландрией и Римом. Затруднения его противника были едва ли меньше. Гарольду грозило вторжение не только Вильгельма, но и его собственного брата Тостига, укрывшегося в Норвегии и выпросившего себе помощь у ее короля Гаральда Гардрады. Собранные Гарольдом сухопутные и морские силы уже несколько месяцев охраняли берега. Его постоянное войско составлял только отряд гвардейцев, но их численность позволяла им служить ядром для армии. С другой стороны, общее ополчение легко было собрать для одной битвы, но трудно держать долгое время. Собрать ополчение значило на время прекратить все работы: люди, собравшиеся под знамена короля, были земледельцами. Его военными кораблями были простые рыболовные суда. В сентябре удерживать их вместе оказалось невозможно, но едва они разошлись, как над государством разразилось две бури, так долго собиравшиеся; перемена в направлении ветра облегчила действия флота Вильгельма, но еще раньше ветер, удерживавший герцога, принес к берегам Йоркшира армию Гаральда Гардрады. Король с наличным войском поспешил на север и отразил пришельцев в решительной битве при Стамфорд-Бридж, близ Йорка, но прежде чем он успел возвратиться в Лондон, нормандское войско переправилось через море, и Вильгельм, высадившись 28 сентября в Певенси, стал опустошать берега с целью принудить Гарольда к сражению. Страшное разорение берегов, действительно, принудило Гарольда поспешить из Лондона на юг, но король все-таки благоразумно воздержался от битвы с теми силами, какие он успел наскоро собрать под свои знамена. Если бы ему и пришлось дать сражение, то он думал дать его на избранной им самой позиции, и потому, подойдя к берегу, чтобы остановить опустошения Вильгельма, он укрепился на холме, известном позже под именем Сенлака, вблизи Гастингса. Эта позиция прикрывала Лондон и заставила Вильгельма стянуть свои силы. Но стягивать армию, существующую грабежом, значило заставить ее голодать, и потому для Вильгельма не оставалось середины между решительной победой и гибелью.

Ранним октябрьским утром герцог повел свои войска по возвышенности от Гастингса к устью Тельгема. С этого места увидели нормандцы анг-

лийскую армию, тесно построенную за окопами и частоколом на высотах Сенлака. Ее правый фланг был прикрыт болотом, а левый, самую опасную часть позиции, защищали телохранители Гарольда в полном вооружении и с громадными секирами; над ними развевались золотой дракон Уэссекса и королевское знамя. Остальная позиция была занята густыми толпами полувооруженных крестьян, собравшихся по призыву Гарольда для борьбы с врагом. Своих рыцарей Вильгельм направил на центр этой грозной позиции, а фланги велел атаковать французским и бретонским наемникам. Общая атака нормандской пехоты открыла сражение; впереди ее ехал менестрель Тайлефер, бросавший в воздух и снова ловивший свой меч и распевавший при этом песнь о Роланде. Он первый из нормандцев нанес удар, первый и пал. Тщетно пытались нормандцы овладеть крепкой изгородью, из-за которой сыпались дротики и удары секир и слышались дикие крики: «Вон! Вон!». За отражением пехоты последовало отражение конницы. Несколько раз перестраивал герцог свое войско и водил его к роковой изгороди. Весь боевой пыл, клокотавший в его нормандской крови, вся беззаветная храбрость, обеспечившая ему победу на склонах Валь-Эс-Дюн, соединились в этот день с хладнокровием, стойкостью и неистощимой находчивостью, проявленными им в битвах при Мортемаре и Варавилле. Бретонцы с левого фланга попали в болото и пришли в расстройство; паника охватила все войско, когда разнесся слух, что герцог убит. «Я жив, — закричал тогда Вильгельм, сняв с головы свой шлем, — я жив и с Божьей помощью еще одержу победу!» Взбешенный неудачей, герцог ринулся прямо на королевский штандарт; его сбили с коня, но он своей тяжелой палицей сразил брата короля Гирта. Выбитый опять из седла, он своей рукой поверг на землю всадника, не согласившегося уступить ему коня. Среди грохота и шума битвы он увидел бегство части своей армии, остановил его и использовал для победы. Хотя частокол был прорван его бешеной атакой, но стена из щитов стоявших за ним воинов все еще удерживала нормандцев; тогда притворным бегством Вильгельм выманил часть англичан из их непреступной позиции, затем обратился против пришедших в беспорядок преследователей, прорвался сквозь покинутые линии и овладел центром позиции. Тем временем французы и бретонцы удачно поднялись на флангах. В три часа холм был взят; в шесть битва еще кипела вокруг штандарта, и дружинники Гарольда стойко бились на том месте, где впоследствии был воздвигнут главный алтарь аббатства Битвы. Наконец, герцог выдвинул вперед стрелков, и тучи их стрел сильно разрешили густые массы, столпившиеся вокруг короля; при закате солнца стрела поразила в правый глаз самого Гарольда; он пал среди знамен, и битва закончилась отчаянной схваткой

над его трупом. Ночь прикрыла бегство англичан; Завоеватель расставил свою палатку на том самом месте, где пал Гарольд, и «сел есть и пить среди трупов».

Обеспечив за собой Ромней и Дувр, герцог двинулся через Кентерберии на Лондон. Интриги партий уже работали в его пользу. Король пал вместе со своими братьями, и из дома Годвина не осталось ни одного претендента на корону, да и из прежнего королевского рода уцелел один лишь мальчик, сын старшего из детей Эдмунда Железнобокого — Эдгар Этелинг, отец которого бежал от преследования Кнута в Венгрию. Этот мальчик и был избран королем, но избрание его мало помогло национальному делу. Вдова Эдуарда Исповедника отдала Вильгельму Уинчестер. Собравшиеся в Лондоне епископы склонялись к покорности. Сами лондонцы не знали, что делать, когда Вильгельм, пройдя мимо стен, предал племени Саутуорк. Королю-ребенку необходима была поддержка графов Мерсии Эдвина и Нортумбрии Моркера, но Вильгельм перешел Темзу и, вступив в Герфордшир, грозил отрезать их от их графства; это заставило обоих графов поспешить к себе домой, а затем тотчас сдался Вильгельму и Лондон. Сам Эдгар явился во главе депутации к Вильгельму предложить ему корону. «Они преклонились пред ним по необходимости», — патетически восклицает английский летописец, но, в сущности, они преклонились перед нормандцем так же, как некогда преклонились перед датчанином, и Вильгельм принял корону в духе Кнута. Лондон, правда, был обеспечен постройкой крепости, превратившейся потом в Тауэр, но Вильгельм желал царствовать не как завоеватель, а как законный король. Он принял корону в Вестминстере из рук архиепископа Элдред, среди криков «Да! Да!» своих новых английских подданных. Он наложил штрафы на крупных землевладельцев в наказание за сопротивление, признанное теперь за мятеж, но за исключением этого все меры Вильгельма указывали на его желание править, как подобало наследнику Эдуарда или Альфреда. Правда, большая часть Англии еще спокойно оставалась в стороне, и едва ли можно сказать, чтобы его признавали королем Нортумбрия или большая часть Мерсии. Зато к востоку от линии между Норичем и Дорсетширом власть Вильгельма была бесспорна, и этой частью он правил как английский король. Свое войско он держал в строгой дисциплине, ни в чем не изменял законов и обычаев и признал привилегии Лондона особой грамотой, и поныне хранящейся в качестве самого почтенного памятника старины в лондонских архивах. Мир и порядок были восстановлены. Вильгельм даже пытался, хотя и тщетно, выучиться английскому языку, чтобы лично судить тяжущихся в его суде. Королевство казалось настолько умиротворенным, что через несколько месяцев

после Сенлакского сражения король, оставив Англию на попечение своего брата Одона, епископа Байё, и министра Вильгельма Фиц-Осберна, вернулся на время в Нормандию.

Глава V

Нормандское завоевание (1068—1071)

Именем Завоевателя Вильгельм обязан не победе при Сенлаке, а новой борьбе, последовавшей вслед за возвращением его из Нормандии. В его отсутствие тирания епископа Одона принудила жителей Кента обратиться за помощью к графу Эсташу Булонскому; между тем князя Уэльса поддерживали подобное же восстание на западе; однако большая часть страны оставалась еще верна новому королю. Дувр был спасен от Эсташа, и недовольные бежали за море и искали убежище даже в Константинополе, где этого времени англичане составили большую часть гвардии или варягов восточных императоров. Возвратившийся Вильгельм стал снова править как король Англии. С помощью английских войск он подавил восстание на юго-западе, поднятое Экзетером; во главе английской же армии он dokonчил покорение страны. Поход на север принудил снова к подчинению Эдвина и Моркера. Новое восстание окончилось занятием Йорка, и таким образом, вся Англия до Тиса спокойно подчинилась Вильгельму.

На самом деле только народное восстание года превратило короля в завоевателя. Сигнал к восстанию был дан извне: датский король Свейн два года готовился оспаривать Англию у нормандцев, и лишь только его флот появился в Гёмбере, как весь север, запад и юго-запад Англии восстали, как один человек. Во главе восстания в Нортумбрии стоял Эдгар Этелинг с толпой изгнанников, искавших убежища в Шотландии. На юго-западе жители Девона, Сомерсета и Дорсета начали осаду Экзетера и Монтакута, и только нормандский лагерь в Шрусбери помешал всеобщему восстанию на западе. Восстание было задумано так ловко, что застало врасплох даже Вильгельма. Он охотился в Динском лесу, когда к нему пришло известие о возмущении Йорка и об избиении трех тысяч нормандцев, составлявших его гарнизон. В порыве дикой ярости король поклялся «славой самого Бога» жестоко отомстить за это северу. Но гнев у него уживался с самой холодной рассудительностью, и потому, быстро сообразив, что центром восстания служит датский флот, он поскакал с горстью всадников к Гёмберу и там дорогой ценой купил удаление и невмешательство датчан. Затем, оставив Йорк напоследок, Вильгельм быстро направился с собранными по пути войсками к

западу и очистил уэльскую границу до самого Шрусбери, а Фиц-Осберн подавил в это время восстание вокруг Экзетера. Эти успехи дали королю возможность исполнить свою клятву относительно севера. После долгой задержки, причиненной разливом Айры, он вошел в Йорк и затем опустошил огнем и мечом всю страну до самого Тиса. Города и деревни были разграблены и сожжены, жители перебиты или прогнаны за границу Шотландии. Берег подвергся особенному опустошению, чтобы не осталось опоры для будущих вторжений датчан. Хлеб на корню, скот, сельскохозяйственные орудия — все было истреблено так безжалостно, что последовавший затем голод, как говорят, унес более ста тысяч жизней, и еще спустя полвека страна на шестьдесят миль к северу от Йорка представлялась необработанной и безлюдной пустыней. Окончив дело мщения, Вильгельм повел свою армию назад к Йорку, а оттуда — к Честеру. Никогда он не проявлял еще такой силы характера, как в этом ужасном походе. Зима была суровая, дороги загромождены снежными сугробами или размыты потоками, провианта не хватило, и армия, промокшая от дождей, принужденная питаться кониной, открыто взбунтовалась при получении приказа идти через мрачные болота, отделяющие Йоркшир от запада. Анжуйские и бретонские наемники потребовали отставки, на что Вильгельм с презрением дал свое согласие. Пешком, во главе оставшихся верными войск, двинулся король по недоступным для лошадей тропинкам, часто собственноручно помогая солдатам расчищать путь. Последние надежды англичан исчезли с прибытием его в Честер; король остался бесспорным владельцем завоеванной страны и занялся возведением многочисленных замков, которые впредь должны были держать ее в подчинении. С удалением датчан англичане стали рассчитывать на помощь Шотландии, где нашел себе убежище Эдгар Этелинг и где его сестра Маргарита стала женой короля Малкольма. Вероятно, в надежде на его помощь Эдвин и Моркер подняли новое восстание, которое было сразу подавлено бдительностью Завоевателя. Эдвин пал в небольшой схватке, а Моркер долго скрывался в болотах восточных графств, где отчаянная горсть патриотов собралась вокруг опального вождя Геруорда. Нигде Вильгельм не встречал такого упорного сопротивления, но через болота проложили плотину в две мили длиной, Или был взят, а с ним исчезли последние надежды англичан на свободу. Держался один Малкольм, пока Вильгельм не собрал все свои войска и не проник в самое сердце Шотландии. Он достиг Тея, когда Малкольм отказался от сопротивления, явился в английский лагерь и принес Вильгельму клятву верности.

Борьба, окончившаяся в болотах Или, совершенно изменила положение Вильгельма: к праву владычества над англичанами по избранию присо-

единилось теперь право завоевания. Поэтому и система его правления носила следы двойственного характера ее происхождения. Эта система не была системой континентального феодализма, но она не была и системой прежних английских королей. Вернее, может быть, будет сказать, что она представляла собой смесь обеих этих систем. Как наследник Эдуарда Вильгельм удержал судебную и административную организацию прежнего английского королевства; как завоеватель он ввел военное устройство феодализма постольку, поскольку это было необходимо для обеспечения его власти в завоеванной стране. Почва была уже, впрочем, подготовлена для такого рода организации. Мы видели зачатки английского феодализма в дружине воинов — товарищей, или тенов, обязанных королю личной службой и взамен получавших участки поместья из «народной земли». В последующее время этот порядок значительно развился, когда масса знати, по примеру короля, стала раздавать участки своей земли на таких же началах арендаторам. С другой стороны, численность класса свободных земледельцев, фригольдеров, бывшего основой древнего английского общества, постепенно уменьшалась, частью из подражания высшим классам, но еще более вследствие постоянных войн и вторжений, заставлявших фригольдеров покупать себе покровительство тенов отказом от своей независимости. В сущности феодализм уничтожил прежнюю английскую свободу еще раньше Вильгельма совершенно так же, как уничтожил он ее в Германии и Франции. Но завоевание придало феодальным тенденциям особую силу и напряженность. Всеобщее отчаянное сопротивление англичан заставило Вильгельма охранять мечом то, что было приобретено с помощью меча, и содержать сильную армию, готовую во всякую минуту подавить народное восстание. Содержание такой армии могло обеспечиваться только обширными конфискациями земли, возможными при неудачных восстаниях англичан: большая часть высшего дворянства пала на полях битв или бежала за границу, а низшие тены или лишились всех своих земель, или сохранили часть их, уступив остальные короне. Обширность конфискаций видна из раздачи Вильгельмом огромных поместий его главным сподвижникам. Одному своему брату Одону он отдал двести имений в Кенте и столько же в других местах, и почти такие же пожалования достались советникам короля Фиц-Осберну и Монтгомери или баронам вроде Мобреев и Клэров. Не были забыты и самые бедные солдаты. Простые нормандцы стали богатыми и могущественными в новых владениях их государя. Каждое большое или малое поместье жаловалось не иначе, как под условием службы по призыву короля, а когда новые владельцы уступали части своих имений арендаторам, то те же условия службы государю переходили и на

новых «держателей». «Выслушай меня, мой повелитель, — присягал вассал своему лорду, опустившись на колени, сняв оружие, обнажив голову и положив руки в руки господина, — я делаюсь твоим ленником на всю жизнь, делаюсь всем телом и всем моим земным достоянием; клянусь хранить тебе верность на жизнь и смерть, да поможет мне в том Бог». После этого поцелуй лорда закреплял за вассалом землю в качестве феода, остававшегося навсегда за ним и его потомками. Вся армия получила, таким образом, участки земли, и Вильгельм мог собрать ее во всякую минуту под свои знамена.

Однако такие силы, весьма действенные для обуздания побежденных, были едва ли менее опасны и для самой короны. В своем новом королевстве Вильгельм очутился лицом к лицу с теми же баронами, которых он с трудом подчинил своей власти в Нормандии, баронами, не терпевшими закона, враждебными королевской власти, добивавшимися полной военной и судебной независимости в своих поместьях. Гений Завоевателя сказался в ясном понимании опасности и в искусстве, с которым он старался устранить ее. Он воспользовался прежним устройством страны, чтобы удержать судебную власть в своих руках. Он сохранил старые «суды сотни» и «суды графства», в которых принимали участие все фримены, но подчинил их контролю королевского суда, который при последних английских королях присвоил себе право апелляций и вызова дел из низших судов. Значение короны было возвышено уничтожением крупных графств, ее стеснявших, и назначением от нее шерифов для управления областями. Однако, как ни были крупны розданные Завоевателем поместья, но они были так разбросаны по стране, что союзы между землевладельцами или наследственная привязанность больших масс вассалов к отдельному лорду становились одинаково невозможными. В других странах вассал обязывался помогать своему господину против всех его врагов, не исключая и короля, но Вильгельм ввел обычай, в силу которого каждый вассал, кроме клятвы в верности лорду, присягал еще прямо королю; таким образом, верность короне представлялась высшим и общим долгом всех англичан. Притом, с замечательной строгостью требовались все феодальные повинности и пошлины, следовавшие королю с каждого поместья. Каждый вассал обязан был в случае нужды являться три раза в год в королевский суд, платить тяжелую пошлину, когда наследовал поместье, вносить денежный сбор в случае плена короля, посвящения старшего его сына или выдачи замуж старшей дочери. Если владельцем поместья оказывался несовершеннолетний, то опеку над ним принимала на себя корона, и все доходы с имения шли в это время королю. В случае перехода поместья к наследнице, ее рукой распоряжался

король, обыкновенно отдававший ее самому выгодному покупателю. Большинство поместий облагалось специальными сборами в пользу короны; в целях определения и регистрации этих «пошлин» Вильгельм рассылал по всем графствам комиссаров, отчеты которых сохранились в писцовой книге (Domesday Book). Присяжные, избираемые от каждой сотни, давали под присягой показание о размерах и естественных условиях каждого поместья, числе, именах и положении жителей, стоимости его до и после завоевания и о следующем с него сборе в пользу короны.

Другое ограничение для мятежного духа феодальных баронов Вильгельм нашел в данном им церкви устройстве. Одним из первых его действий было вызвать из Нормандии Ланфранка для содействия ему в церковных реформах. За низложением Стиганда, которого заменил в Кентерберии Ланфранк, последовали смещение большинства английских прелатов и аббатов и назначение на их места нормандских священников. Новый архиепископ много содействовал повышению дисциплины среди духовенства, и, без сомнения, старания самого Вильгельма отчасти обуславливались желанием улучшить религиозную жизнь в его королевстве: «При выборе епископов и аббатов, — говорит современник, — он смотрел не столько на богатство и могущество назначаемого, сколько на его благочестие и мудрость. При открытии каждой вакансии он собирал епископов, аббатов и других мудрых советников и с их помощью заботливо отыскивал человека, по своему благочестию и мудрости наиболее пригодного для управления церковью». Но как ни были почтенны эти реформы, прямым их назначением было усиление королевской власти. Новые епископы и аббаты, в качестве иностранцев, были чужды народной массе; в то же время их влияние на народ было ослаблено передачей церковных дел из ведения общих судов, в которых епископ заседал рядом со светскими чиновниками, особому суду епископа. Такая реформа обещала в будущем немало затруднений короне, но в момент своего введения она устраняла обычную связь духовенства с народными собраниями, сглаживала память о первоначальном равенстве духовной власти со светской. Строго была проведена зависимость церкви от короны. От епископа требовалась такая же присяга, как и от барона. Ни один вассал короля не мог быть отлучен от церкви без королевского разрешения. Ни один собор не мог издавать законов без согласия и утверждения короля; ни одна папская булла не могла быть принята в королевстве без его позволения. Король твердо отвергал притязания, которые теперь начала предъявлять Римская курия. Когда Григорий VII потребовал от него вассальной присяги, король резко отказал: «Я никогда не намеревался присягать, да и теперь не намерен, — сказал Вильгельм, — я ни-

когда этого не обещал и не вижу, чтобы мои предшественники были вассалами ваших».

Но главной опорой для короны служили богатство и личное могущество короля. Сколько ни жаловал Вильгельм поместий дворянству и солдатам, но богатейшим землевладельцем все же оставался он сам. Строгое взывание феодальных пошлин обогащало казну в Уинчестере, начало которой было положено добычей завоевания. Но Вильгельм нашел и более легкий источник дохода, обложив особым сбором прибывших из Нормандии еврейских купцов, которые, пользуясь его покровительством, основали в главных городах Англии особые еврейские кварталы. Евреи не имели гражданских прав в стране, и кварталы, в которых они жили, подобно королевским лесам, не подчинялись общему праву. Сам еврей считался собственностью короля, и его жизнь, как и имущество, полностью зависели от королевской милости; но это была собственность слишком ценная, чтобы легко от нее отказываться. Евреи не были подсудны местным судам, и их торговые дела рассматривались коронными чиновниками. Их документы хранились для безопасности в Вестминстерском дворце. Им давали свободу в отправлении религиозных обрядов, позволяли строить синагоги и ставить во главе своих духовных дел главного раввина. Присутствие евреев, по крайней мере в первые годы, без сомнения, было благотельно для королевства. С их появлением прибывали в страну капиталы, и как ни высоки были проценты, которые они брали ввиду общей неуверенности в завтрашнем дне, но еврейский кредит послужил толчком к невиданному еще в Англии развитию промышленности. В столетие, следовавшее за завоеванием, в Англии сильно оживилась архитектура, и страна покрылась множеством замков и соборов, строившихся не иначе, как с помощью займов у евреев. Их пример повлиял на постройку домов. Здания, еще и теперь называемые, например в Линкольне и Сент-Эдмундсбери, еврейскими домами, были почти первыми каменными домами, заменившими жалкие лачуги английских городов. Не на одну только промышленность повлияли евреи. Благодаря своим связям с еврейскими школами в Испании и на Востоке, они помогли возрождению физических наук. В Оксфорде, по-видимому, существовала еврейская медицинская школа. Сам Роджер Бэкон учился у английских раввинов. Но для королей евреи служили просто финансовым орудием. Все накопленные ими богатства отбирались, как только корона чувствовала в них нужду, а сами евреи, в случае неуспеха мягких средств, подвергались пыткам и тюремному заключению. При всякой войне, при всяком восстании королевская казна наполнялась еврейским золотом, и только в сундуках евреев находили нормандские короли средства держать в повиновении своих баронов.

Глава VI

Возрождение английской народности (1071—1127)

Едва закончилось завоевание, как началась борьба между королями и баронами. Мудрость политики Вильгельма, уничтожившего опасные для короны большие графства, была доказана попыткой восстановить их, сделанной Роджером, сыном главного министра Завоевателя Фиц-Осберна, и бретонцем Ральфом де Гвадером, которому король в награду за храбрость при Сенлаке пожаловал графство Норфолкское. Восстание было быстро подавлено, Роджер заключен в тюрьму, а Ральф изгнан за море. Но интриги скоро нашли себе нового руководителя в лице сводного брата Вильгельма Одона, епископа Байё. Под предлогом намерения добиться силой папского престола, Одон стал собирать деньги и людей, но его казна была захвачена чиновниками короля, а сам епископ арестован среди придворных. Даже по приказу короля ни один сановник не решился схватить прелата, так что королю пришлось арестовать его собственноручно. «Я арестую не епископа, а графа Кентского», — сказал, усмехаясь, при этом Завоеватель, и Одон остался в заключении до смерти Завоевателя. В действительности, лишь сильная личность Вильгельма служила для престола главной опорой: «Суров он был, — говорит английский летописец, — ко всем противившимся ему людям; графов, сделавших что-либо противное его приказаниям, он заточал в темницы, епископов лишал епархий, а аббатов — аббатств. Он не пощадил и собственного брата. Первым лицом в королевстве был Одон, но и его подверг Вильгельм заточению. Если кто хотел жить и сохранить свои земли, тот должен был следовать воле короля». Но как ни сурово было это управление, оно доставляло стране спокойствие. Даже среди страданий, неизбежно вытекавших из самых условий завоевания, постройки крепостей, огораживания лесов и вымогательств, наполнявших Уинчестерское казначейство, — англичане не могли забыть «о добром мире, установленном им в стране и позволявшем человеку безопасно проехать все королевство с полным золота кошельком». Некоторые черты характера Вильгельма указывали на присутствие в нем далеко опередившей его век гуманности и находились в резком противоречии со всем складом его натуры. Замечательную черту его характера составляло отвращение к пролитию крови по судебным приговорам; он уничтожил формально смертную казнь, и в его царствование летописи упоминают всего лишь об одном случае ее применения. Еще более почетным для своей памяти эдиктов Вильгельм положил конец работорговле, процветавшей в Бристольском порту. Безжалостно

стный воин, суровый и грозный король был нежным супругом и любящим отцом. При отношениях с чистыми и святыми людьми, вроде Ансельма, молчаливость и угрюмость короля переходили в предупредительную любезность. Если Вильгельм был «суров» к мятежникам и баронам, то он был кроток с людьми богобоязненными.

Завоеватель поднял величие и славу трона на высоту, которой они никогда не достигали при его предшественниках. Страх перед датчанами, висевший так долго, подобно грозовой туче, над Англией, совершенно рассеялся при виде армии, собранной Вильгельмом для отражения нашествия короля Кнута. Мятеж рассеял датский флот, а убийство короля устранило всякую опасность с севера. Уже раньше нашествие Вильгельма подчинило Шотландию; теперь он обуздал ее постройкой сильной крепости Ньюкасла на Тайне, а проникнув с войском в самое сердце Уэльса, он начал систематическое его подчинение поселением на границе баронов. Непрерывные успехи его были нарушены лишь в конце его царствования восстанием его сына Робера и разрывом с Францией. Когда Вильгельм ехал по крутой улице преданного им пламени Манта, его лошадь споткнулась на горячей золе, и король ударился сильно о седло. Его увезли умирать в Руан. Звон колокола разбудил Вильгельма на заре, когда он лежал в монастыре Св. Гервасия, поднимавшемся над городом, он протянул руки для молитвы и тихо скончался.

Со смертью Завоевателя исчез и страх, державший баронов в повиновении, а разделение его владений подняло их надежды на успешное сопротивление суровому правлению, которому они подчинялись. Нормандию Вильгельм завещал своему старшему сыну Роберу, а второй его сын Вильгельм поспешил с кольцом отца в Англию, где влияние Ланфранка сразу обеспечило за ним корону. Под предлогом поддержания притязаний Робера бароны сейчас же подняли мятеж, во главе которого стал епископ Одон; они надеялись, что слабый характер Робера даст им возможность усилить свою независимость. Новый король мог опереться только на верность своих английских подданных. Национальный отпечаток, который Вильгельм придал королевской власти, сказался сразу. Епископ Уорчестерский Вульфстан, единственный оставшийся епископ из англичан, разбил мятежников на западе; в то же время король вызвал в свое войско всех городских и сельских фрименов, угрожая объявить неявившихся вне закона, и с большими силами двинулся к Рочестеру, где сосредоточились мятежные бароны. Начавшаяся в гарнизоне чума принудила баронов к сдаче, и когда пленники проходили через королевскую армию, то из ее рядов слышались крики: «Виселица и веревка!». Несколько позже был составлен заговор с це-

лю возвести на престол родственника королевского дома Стефана Альбемарля, но взятие в плен Робера Мобрея, графа Нортумберлендского, главы заговора, и заточение или ссылка его соучастников снова сокрушили надежды баронов.

В этой борьбе короля с баронами снова выразился дух национального патриотизма; в то же время смелость Ансельма оживила национальную оппозицию административному произволу, тяготевшему теперь над страной. Вильгельм Рыжий унаследовал энергию Завоевателя и его политику по отношению к покоренным англичанам, но он был далеко от нравственного величия своего отца. Его распутство и расточительность скоро истощили королевскую казну, а смерть Ланфранка дала ему возможность пополнять ее за счет церкви. Доходы с незанятых епископств или аббатств должны были идти в казну королю, и Вильгельм упорно отказывал в назначении преемников умерших прелатов, так что к концу его царствования оказались незанятыми одно архиепископство, четыре епископства и одиннадцать аббатств. В самом Кентерберии кафедра оставалась вакантной, пока опасная болезнь не испугала короля и не заставила его назначить на это место Ансельма, прибывшего тогда в Англию по делам монастыря. Бекский аббат был приведен к постели короля, и ему насильно вручили архиепископский крест. Но едва Вильгельм выздоровел, как встретился лицом к лицу с человеком, кротость и мягкость которого превращались в твердость и величие при столкновении с тиранией короля. Как мы уже видели, завоевание поставило церковь в полную зависимость от короны и лишило ее нравственного влияния в качестве защитницы высших национальных интересов против грубого деспотизма. Хотя борьба между королем и архиепископом касалась большей частью вопросов, не имевших прямого отношения к истории народа, но смелость Ансельма не только нарушила обычную зависимость церкви от короны, но и внушила всей нации новый дух независимости. Истинный характер борьбы выразился в ответе примаса, когда на его жалобы на незаконные поборы с церкви король ответил требованием подарка за назначение его самого и с презрением отверг предложение заплатить за это пятьсот фунтов: «...обращайтесь со мной, как со свободным человеком, — сказал Ансельм, — и я посвящу себя и все, что имею, вашей службе; но если вы будете обращаться со мной, как с рабом, то не получите ни меня, ни моих денег». Взрыв ярости Вильгельма удалил архиепископа от двора, и Ансельм решил, наконец, покинуть Англию, но его пример не пропал даром, и к концу царствования Вильгельма в Англии появился новый дух свободы, с которым пришлось считаться величайшему из сыновей Завоевателя.

Как воин Вильгельм Рыжий мало уступал отцу. Нормандия была заложена ему его братом Робером за сумму, давшую герцогу возможность отправиться в крестовый поход для освобождения Святой земли, а бунт в Ле-Мане был усмирен. Получив известие о нем, Вильгельм бросился в первую попавшуюся лодку и переплыл канал в бурную погоду. «Короли никогда не тонут», — презрительно ответил он на предостережения своих спутников. Поход к Форту принудил Малкольма к покорности, а последовавшая вслед за тем смерть его повергла Шотландию в анархию, позволившую английской армии посадить на престол сына Маргариты Эдгара в качестве вассала Англии. Не так успешны были дела Вильгельма в Уэльсе; страшные потери, понесенные нормандской конницей в твердых Снодона, заставили его вернуться к более мягкой и благоразумной политике Завоевателя. Победы и неудачи нашли себе странную и трагическую развязку: король был найден крестьянами на просеке Нового леса со стрелой в груди; кому принадлежала эта стрела — охотнику или убийце, — так и осталось неизвестным.

В это время Робер возвращался из Палестины, где его храбрость загладила отчасти прежнюю плохую репутацию, и английская корона, несмотря на протесты баронов, высказывавшихся за герцога Нормандского и за соединение Нормандии и Англии под одним управлением, была захвачена младшим братом Робера — Генрихом. Такое положение заставило Генриха, по примеру Вильгельма Рыжего, искать себе опоры в народе, и две важные меры, принятые им после коронации, — дарование хартии и брак с дочерью Малкольма III, короля шотландского, — указывали на новые отношения, установившиеся между королем и народом. Хартия Генриха важна не только как прямой прецедент Великой хартии Иоанна, но и как первое ограничение деспотизма, установленного завоеванием. Эта хартия прямо отменяла «злые обычаи», пользуясь которыми Рыжий король порабощал и грабил церковь; неограниченные поборы, взимавшиеся Завоевателем и его сыном с имений баронов, были заменены определенными налогами; не были забыты и права народа, правда, указанные несколько неопределенно. Бароны обязывались не отказывать в суде своим вассалам и уничтожить в свою очередь непомерные сборы с них; король же обещал восстановить порядок и «закон Эдуарда», старую конституцию королевства, с теми изменениями, какие были введены Завоевателем. Брак короля придал этим обещаниям значение, понятное для всякого английского крестьянина. Эдгида, или Матильда, была дочерью шотландского короля Малкольма и его второй жены Маргариты, сестры Эдгара Этелинга. Она была воспитана в Ромсейском монастыре, настоятельницей в котором была ее тетка Крис-

тина, и данный ею обет монашества составлял теперь препятствие к ее браку с королем, но это препятствие было устранено мудростью Ансельма. Возвращение архиепископа было одним из первых актов Генриха; перед архиепископским судом появилась Матильда и в горячих выражениях поведала свою историю. Она утверждала, что была пострижена в детстве для спасения от оскорблений грубой солдатни, опустошавшей страну, что она несколько раз бросала покрывало и уступила наконец лишь брани и побоям своей тетки: «Когда я находилась в ее присутствии, — говорила девушка, — я носила клобук, дрожа от негодования и горя, но как только я уходила с ее глаз, я срывала его со своей головы, бросала наземь и топтала ногами. Вот каким образом я стала монахиней». Ансельм тотчас же разрешил Матильду от ее монашеских обетов, и радостные клики народа, когда он возложил на ее голову корону, заглушили ропот светских и духовных сановников. Насмешки нормандского дворянства, прозвавших короля и его супругу «Годриком и Годгифу», потонули в радости всего народа. В первый раз со времени завоевания на английском престоле сидела английская государыня. Кровь Сердика и Альфреда должна была слиться с кровью Рольфа и Завоевателя. С этих пор стало невозможно сохранять обособленность обоих народов. Их слияние произошло так быстро, что через полстолетия исчезло само имя нормандцев, и при вступлении на престол внука Генриха уже невозможно было отличать потомков завоевателей от потомков побежденных при Сенлаке.

Трудно проследить этот процесс слияния двух племен в одно по отношению к населению городов.

Одним из непосредственных результатов завоевания было переселение массы народа с материка в Англию. За вторжением нормандской солдатни тотчас последовало нашествие промышленников и торговцев Нормандии. Каждый нормандский дворянин, становившийся английским помещиком, каждый нормандский аббат, вступавший в свой английский монастырь, собирали вокруг своего нового замка или новой церкви французских ремесленников и французских слуг. Вокруг аббатства Битвы, например, воздвигнутого Вильгельмом на месте его великой победы, смешивались с английским населением «Жильберт Чужестранец, Жильберт Ткач, Бенет Управляющий, Гуго Секретарь, Бодуэн Портной». Особенно заметно было это на столице. Еще задолго до Завоевателя нормандцы имели в Лондоне торговые поселения, которые были, разумеется, не более чем факториями. С подчинением Лондона Завоевателю «многие из граждан Руана и Кана переехали туда, предпочитая жить в этом городе, так как он был гораздо удобнее для их торговли и в нем было больше товаров, кото

рыми они привыкли торговать». В некоторых случаях, как в Норвиче например, французская колония составляла совсем отдельный город рядом с английским; но в Лондоне она, кажется, сразу стала господствующим классом населения. Жильберт Бекет, отец знаменитого архиепископа, был, как полагают, одним из портовых старшин Лондона, предшественников его мэров; в дни Стефана он был в городе собственником нескольких домов, и воспоминание об его общественном значении сохранилось в форме ежегодного посещения всяким вновь избранным городским головой его могилы в часовенке, построенной им на кладбище Св. Павла. И однако Жильберт был одним из нормандцев, прибывших вслед за Завоевателем; он был родом из Руана, а его жена происходила из купеческой фамилии в Кане.

Частью вследствие этой примеси иностранной крови, частью же, без сомнения, благодаря продолжительному миру и порядку, обеспеченным нормандским правлением, английские города достигли того богатства и значения, которыми они пользовались в царствование Генриха I. Эти города пролагали путь к незаметному возвышению английского народа. Пренебрегаемые и презируемые духовенством и дворянством, горожане хранили или вновь приобретали древнетевтонскую свободу. Ремесленники и лавочники пронесли сквозь эпоху деспотизма право самоуправления, свободы речи и собраний, суда равных. На спокойных улицах со странными названиями, на городском лугу и рыночной площади, на господской мельнице подле реки, при звуках городского колокола, собиравшего граждан на сходку, в купеческих гильдиях, церковных братствах и ремесленных цехах сосредоточивалась жизнь тех англичан, которые больше, чем рыцари и бароны, содействовали созданию современной Англии, — их жизнь и домашняя, и промышленная, их непрерывная и упорная борьба с угнетением, борьба за право и свободу. Трудно проследить все ступени, по которым города один за другим достигали свободы. Большая часть их была расположена на землях короля, и, подобно другим вассалам, их жители вносили обычные оброки и судились королевским чиновником. Среди городов особенно выдавался Лондон, и хартия, данная ему Генрихом, послужила образцом для других. Король предоставил гражданам право суда: каждый гражданин имел право требовать над собой суда своих сограждан в городском суде, заседания которого происходили каждую неделю. Тяжба происходила при посредстве древнеанглийской присяги, с полным устранением введенного нормандцами судебного поединка. Лондонская торговля была освобождена от пошлин и сборов во всей стране. Король, впрочем, назначал еще в Лондоне, как и в других городах, портового старшину или городского голову, и граждане еще не были соединены в одну общину или корпорацию.

Граждане группировались по кварталам, управлявшимися своими олдерменами, и по «гильдиям», добровольным союзам торговцев и ремесленников, обеспечивавшим их членам взаимную защиту. Как ни слабы были подобные связи, но они укреплялись сохранившимися в городах традициями прежней свободы. Лондонские граждане, например, собирались на сходку по призывному звону колокола Св. Павла и обсуждали свободно свои дела под председательством своих олдерменов. Здесь же они собирались и с оружием в руках в минуту опасности для города и вручали городское знамя своему предводителю, нормандскому барону Фиц-Уолтеру, чтобы он вел их на врага. Немногие города достигли такого значения, но в царствование Генриха одна хартия за другой превращала горожан из людей, полностью подчиненных своему барону, в держателей по обычному праву, купивших себе свободу определенными взносами, упорядочивших свои промыслы и подчиненных только своему собственному суду.

Развитие городов, расположенных не на королевских землях, а около аббатств и замков, шло гораздо медленнее и труднее. История Сент-Эдмундсбери показывает, как постепенно совершался переход от чистого рабства к неполной свободе. Многие земли, бывшие во времени Исповедника под пашней, при нормандских правителях застроились домами. Постройка большой церкви аббатства привлекла туда ремесленников и каменщиков, поселившихся на землях аббата, рядом с пахарями и жнецами. Смутная пора ускорила здесь, как и в других местах, развитие города: рабы бежавшие от суда или от своих господ, торговцы, евреи, естественно, искали убежища под могущественной охраной св. Эдмунда. Все эти поселенцы находились в безусловной зависимости от аббата. Всякий из них был обязан платить оброк в аббатскую казну, обрабатывать участок его земли, собирать хлеб, стричь овец в загонах аббата, ловить угрей в принадлежащих ему водах. В пределах владений аббата, очерченных четырьмя крестами все земли и воды принадлежали ему. Крестьяне платили ему за пастьбу скота на общем выгоне. Если валяльщики отказывались отдавать ему свое сукно, ключарь имел право не пускать их на реку и захватывать сукно везде, где его найдет. С арендаторов аббатских ферм не взималось никаких пошлин, и потребителям приходилось ждать перед лавками, пока закупщики аббатства не выберут всего, что им нужно, и не откроют рынка. Жаловаться было бесполезно, потому что все собрания происходили в присутствии должностных лиц, назначаемых аббатом; им же назначался и олдермен, получавший из рук аббата рог — символ своей власти.

Подобно всем великим общественным переворотам, выход из такого рабства произошел незаметно, и самые возмутительные проявления гнет

исчезли, по-видимому, сами собой. Некоторые, вроде обязательной ловли угрей, были заменены небольшим оброком, другие, вроде рабства валяльщиков, просто исчезли. Благодаря установившемуся обычаю, упущению, прямому забвению, здесь — легкой борьбе, там — подарку нуждающемуся аббату, город приобрел себе свободу. Но прогресс не всегда был бессознательным, и один случай в истории Сент-Эдмундсбери замечателен не только как признак развития права, но и как доказательство того влияния, какое должны были оказывать новые общественные взгляды на общий прогресс государства. Как ни были ограничены права горожан, все же они могли собираться вместе для решения общественных дел и для отправления суда. Суд производился в присутствии граждан, и подсудимый обвинялся или оправдывался после присяги его соседей. Но за пределами города преобладал нормандский процесс, и сельские жители, подчиненные суду келаря, должны были решать дела судебным поединком. Казнь некоего фермера Кетеля, подчиненного этому феодальному суду, выяснила резкий контраст между обеими системами. Кетель был, по-видимому, невиновен в возводимом на него обвинении; но исход поединка решил дело против него, и он был повешен как раз перед городскими воротами. Укоры горожан пробудили в сельчанах сознание несправедливости: «Будь Кетель горожанином, — говорили горожане, — соседи заверили бы присягой его невиновность, и он был бы оправдан, ибо таково наше право». Даже монахи согласились допустить, чтобы их крестьяне пользовались одинаковой с горожанами свободой и процедурой. Городские вольности были распространены на сельские владения аббатства, и крестьяне «стали приходить в городскую таможню, записывать в книгу олдермена и платить городской сбор».

С этим нравственным переворотом шло рука об руку и религиозное оживление, составлявшее характерную черту царствования Генриха I. Епископы Вильгельма были людьми благочестивыми, учеными, энергичными, но они не были англичанами, так как до царствования Генриха I англичане не допускались к занятию епископских кафедр. По языку, образу жизни и симпатиям высшее духовенство было совершенно отлично от низшего и народа, что не могло не парализовать политического влияния церкви. Ансельм стоял особняком в своем протесте против Вильгельма II, а когда он умер, то в царствование Генриха I высшее духовенство покорно молчало. Но в конце этого царствования и в течение всего следующего в Англии возникло первое из тех великих религиозных движений, которые ей пришлось пережить и потом в эпохи проповеди нищенствующих орденов, лоллардизма Уиклифа, пуританского энтузиазма и миссионерской деятельности

уэслеянцев. Всюду, по городам и деревням, люди собирались для молитвы, отшельники удалялись в пустыни, дворяне и крестьяне одинаково приветствовали суровых цистерцианцев, реформированную отрасль бенедиктинцев, расселявшихся среди болот и лесов севера. Дух набожности пробудил и монастыри от их духовной спячки, проникая одинаково в дома дворян вроде Уолтера де л'Эспека или купцов вроде Жильберта Бекета. Лондон принимал большое участие в этом оживлении. Он гордился своей религиозностью, своими тринадцатью монастырями и более чем сотней приходских церквей. Движение изменило сам вид его. В середине города епископ Ричард достраивал кафедральный собор Св. Павла, начатый епископом Маврикием; по реке поднимались барки с камнем из Кана для огромных арок, возбуждавших удивление народа, а улицы и переулки уравнивались для устройства знаменитого двора этого собора. Рагер, королевский менестрель, воздвиг приорство Св. Варфоломея, рядом со Смесфильдом; Алфун построил монастырь Св. Джилсея у Криплгета, а на месте старой английской *Cnichtenagild* возникло при Алдгете приорство Св. Троицы. Рассказ о последнем прекрасно рисует настроение горожан того времени. Его основатель приор Норманн построил храм и монастырь и закупил для них так много священных книг и облачений, что не осталось денег для покупки хлеба. Каноники дошли до последней крайности, когда горожане, проходя обычной воскресной процессией вокруг монастыря, заглянули в трапезную и увидели расставленные столы, но ни одного хлеба на них. «Обстановка здесь прекрасная, — закричали горожане, — но откуда взять хлеба?» Тогда присутствовавшие женщины дали обещание приносить по хлебу каждое воскресенье, и скоро хлеба оказалось более чем достаточно для приора и его товарищей. Новое движение выдвинуло и совершенно новый класс духовных лиц. Люди, подобные Ансельму, Джону Солсберийскому или двум великим прелатам, следовавшим один за другим после смерти Генриха в Кентербери, Теобальду и Томасу, пользовались влиянием за святость их жизни и величие преследуемых ими целей. Бессилие церкви исчезло, когда новое движение свело вместе высшее духовенство и народ, и в конце царствования Генриха церковь достигла такой силы, что могла спасти Англию от анархии и с тех пор влиять постоянно на ее историю.

Сам Генрих стоял совершенно в стороне от этого оживления национального чувства, но благодаря энтузиазму, возбужденному его браком с Матильдой, ему нечего было бояться ни притязаний на корону со стороны его брата, ни неприяни баронов. Высадившийся в Портсмуте Робер встретился с войском, собравшимся вокруг короля по призыву Ансельма, и отступил без боя; это позволило Генриху расправиться с мятежными баро-

нами, предводителем которых был теперь сын Роджера Монтгомери — Робер де Белем. Шестьдесят тысяч английской пехоты последовали за королем по узким проходам, ведущим к Шрусбери, и только полная покорность спасла жизнь Робера. Упрочив свою власть в Англии и обогатившись конфискованными землями баронов, Генрих переправился в Нормандию, где дурное управление Робера возмутило духовенство и горожан и где насилие баронов заставило мирные классы призвать короля к себе на помощь. При Теншбрэ сошлись войска короля и герцога, и решительная победа англичан над нормандцами отомстила за позор Гастингса. Покоренное герцогство попало в зависимость от английской короны, и энергия Генриха в течение целой четверти века была направлена на подавление мятежей и на борьбу с Францией и с сыном Робера Гийомом, пытавшимся вернуть утраченную его отцом корону. В самой Англии царил в это время мир. Строгое управление Генриха довело до мелочей принятую Завоевателем систему управления. Большие поместья, доставшиеся короне благодаря мятежам и измене баронов, были розданы новым людям, полностью зависевшим от милости короля, и таким образом, на месте крупных феодалов Генрих создал класс мелкой знати, на которую бароны времен завоевания смотрели с презрением, но которая составила противовес и образовала класс полезных администраторов, служивших королю шерифами и судьями. Новая судебная и финансовая организация объединила все государство под властью королевской администрации. Клерки королевской капеллы составили корпорацию секретарей, или королевских министров, глава которых носил звание канцлера; еще выше стоял юстициарий, или наместник королевства, действовавший во время частых отлучек короля в качестве регента; штаб его, составленный из баронов королевского двора, превратился в высший суд королевства. Этот «суд короля», как его называли, был постоянным представителем общего собрания королевских вассалов, созывавшегося прежде три раза в год. В качестве Королевского совета он пересматривал и регистрировал законы, а необходимость его «совета и согласия», хотя на деле они и были чистой формальностью, сохраняла древнее начало народного законодательства. Как судебное учреждение он был высшей апелляционной инстанцией: по просьбе тяжущегося он мог требовать для пересмотра всякое дело из низшего суда, а назначение некоторых из его членов шерифами графств ставило его в тесную связь с местными судами. Главной задачей Королевского совета как финансового учреждения были раскладка и сбор казенных доходов, и в качестве такового он назывался «суда казначейства», или «суд шахматной доски» — от разлинованного в виде шахматной доски стола, за которым происходили его заседания и сда-

вались отчеты. Члены совета назывались в этом случае «баронами казначейства». Дважды в год шериф каждого графства являлся перед этими баронами и вносил им определенный оброк с королевских земель, а также «датские деньги» (Danegeld), или поземельный налог, судебные штрафы, феодальные сборы с поместий баронов, составлявшие главную часть королевских доходов. Местные споры касательно этих платежей и раскладки городских налогов разрешались посылкой членов суда, объезжавших графства. Эти налоговые ревизии привели к ревизиям судебным, к тем «судейским объездам», которые до сих пор составляют такую выдающуюся особенность английского судебного строя.

От этих внутренних реформ внимание Генриха было внезапно отвлечено к вопросу о престолонаследии. Его сын Вильгельм Этелинг, как нежно звали сына своей Матильды англичане, с толпой дворян сопровождал Генриха, когда он возвращался из Нормандии, но «белый корабль», на котором он находился, отстал от остального флота, в то время как молодые дворяне, возбужденные вином, свесились с корабля и прогнали своими насмешками священника, явившегося дать обычное благословение. Наконец хранители королевской казны ускорили отправление корабля, и пятьдесят гребцов быстро продвинули его к морю, но у выхода из гавани он вдруг ударился о подводный камень и моментально пошел ко дну. На флоте услышали страшный крик, раздавшийся среди ночной тишины, но лишь утром роковая весть дошла до короля. Он упал без сознания на землю и никогда с тех пор не смеялся. У Генриха не было другого сына, и все его внешние враги ободрились, так как теперь его естественным наследником стал сын Робера. Но король ненавидел этого Гийома* и любил единственную оставшуюся у него дочь, Матильду; она была замужем за императором Генрихом V, но, после смерти мужа, вернулась к отцу. Генрих объявил ее своей наследницей, хотя занятие трона женщиной казалось странным феодальному дворянству. Несмотря на то, король заставил дворянство и духовенство присягнуть Матильде, как их будущей государыне, и вместе с тем обручил ее с сыном единственного врага, которого он действительно боялся — графа Фулька Анжуйского.

* Гийому вообще не везло в жизни. Он не получил ни английскую корону, ни отнятую у его отца Нормандию. В 1127 г., после пресечения Фландрской графской династии, король Франции отдал Фландрию в лен Гийому, чья бабка (жена Вильгельма Завоевателя), Матильда, происходила из Фландрского дома. Однако многие его новые подданные, возмущенные суровостью правления Гийома, избрали себе другого графа — Тьерри Эльзасского, также потомка по женской линии старинных графов Фландрии. В 1128 г. Гийом погиб при осаде Алоста. Ему было 26 лет (Здесь и далее прим. ред.)

Глава VII

Англия и Анжу (870—1154)

Чтобы понять историю Англии при Анжуйских королях, надо сначала несколько познакомиться с самими анжуйцами. Характер и политика Генриха II и его сыновей были таким же наследием их рода, как и широкие равнины Анжу. Судьбы Англии подготавливались постепенно в истории графов Анжу, по мере того как потомки бретонского лесника становились повелителями не одного Анжу, но и Турени, Мэна и Пуату, Гаскони и Оверни, Аквитании и Нормандии, и, наконец, королями завоеванного нормандцами великого государства. Легенда об их предке возводит нас ко времени Альфреда, когда датчане так же опустошали берега Луары, как и берега Темзы. На самой границе Бретани, в полосе спорной между ней и Францией, жил в тяжелую годину Тортюльф Лесник, полуохотник-полуразбойник, жил, не зная никакого закона, в лесах близ Ренна. В суровой лесной школе он научился «поражать врага, спать на голой земле, выносить голод и труды, летний зной и зимнюю стужу и ничего не бояться, кроме худой славы». Помогая королю Карлу Лысому в его борьбе против датчан, лесник приобрел себе много земель по Луаре, а его сын Ингельгер, прогнавший датчан из Турени и всей страны к западу от нее, которую они опустошили и обратили в обширную пустыню, сделался первым графом Анжуйским. Весь этот рассказ составляет плод фантазии какого-нибудь певца XII в., и первым графом Анжуйским, которого знает история, был Фульк Рыжий. Он сблизился с герцогами Франции, тогда все ближе придвигавшимися к престолу, и получил от них в награду графство Анжу. История его сына представляется какой-то мирной идиллией среди военных бурь их дома. Фульк Добрый был единственным анжуйцем, который не вел войн. Он любил принимать участие в хоре певчих Турского собора и звался Каноником. Однажды, за вечерней в день Св. Мартина, граф в одежде духовного пел на клиросе, когда в церковь вошел король Людовик Заморский. «Он поет точно поп», — засмеявшись, сказал Людовик, когда придворные с насмешками указали ему на графа-каноника. Но у Фулька был готов ответ: «Знайте, государь, — написал он Людовику, — что невежественный король не более как коронованный осел». На деле Фульк не был святошей; он был дельным правителем, водворявшим всюду в разоренной стране мир и правосудие. Ему одному из его рода люди дали прозвище Добрый. Сын Фулька Жоффруа Серый Кафтан был по характеру не более как смелым воином и сделался почти вассалом своих могущественных соседей, графов

Блуа и Шампани. Эта зависимость была грубо свергнута его преемником Фульком Нерра, или Черным. То был величайший из анжуйцев; в нем мы впервые можем подметить тот типичный характер, который его потомкам суждено было сохранять с роковым постоянством в течение двухсот лет. У него не было естественных привязанностей. В молодости он сжег на костре свою жену, и предание рассказывает, как он вел ее на смерть, одетый в праздничное платье. В старости он вел ожесточенную борьбу со своим сыном и, победив его, подверг его такому унижению, какое люди приберегали для самых злейших врагов. «Ты побежден! Ты побежден!» — кричал старик в свирепой радости, когда Жоффруа, взнузданный и оседленный как вьючное животное, вымаливал себе прощение у ног отца. В Фульке впервые проявляется тот низкий вид суеверия, которым первые Плантагенеты поражали даже своих суеверных современников. Он грабил земли церкви, не боясь ее угроз, а потом боязнь Страшного суда увлекла его ко Гробу Господню. Босиком, подвергая свои плечи жестокому бичеванию, граф велел тащить себя на веревке по улицам Иерусалима и с дикими воплями покаяния просил себе мученической смерти. Генриха Леманса, спасшего его от гибели, он вознаграждал за верность тем, что захватил его в плен и лишил его владений. Он обеспечил себе дружбу французского короля тем, что подослал двенадцать убийц, которые на глазах короля поразили его министра, подрывавшего ее. Как ни привычны были современники к измене, грабительству, кровопролитию, но их поражал холодный цинизм, с которым Фульк совершал преступления, и они думали, что гнев Божий разразится над этим вместилищем наихудших форм зла, над Фульком Черным. Но ни гнев Божий, ни проклятия людей не помешали Фульку пользоваться целые пятьдесят лет непрерывным успехом.

При вступлении его на престол Анжу была самой незначительной из французских провинций, а в год его смерти (1040) она была, если не по размерам, то по могуществу, первой среди них. Благодаря своему хладнокровию, проницательности, решительности и быстроте действий, Фульк взял верх над всеми своими соперниками. Он был превосходным полководцем и отличался личной храбростью, отсутствовавшей у некоторых из величайших его потомков. В первом из его сражений был момент, когда победа, казалось, склонялась на сторону противника; притворное бегство бретонцев завлекло анжуйскую конницу к ряду скрытых ям, и сам граф свалился наземь. Освободившись из-под груды людей и лошадей, он кинулся почти один на неприятеля и, как говорила анжуйская песнь, «поражал его, подобно бурному вихрю, ломающему колосья»; сражение было выиграно. С этими военными талантами Фульк соединял организаторские

талант, способность к широким комбинациям и политической деятельности — качества, сделавшиеся наследственными среди анжуйцев и настолько же возвышавшие их над умственным уровнем современных правителей, насколько их бесстыдные злодеяния ставили их ниже среднего уровня современников. Победив бретонцев, Фульк завладел постепенно Южной Туренью и усеял ее замками и аббатствами, и дух Черного Графа, кажется, еще и теперь живет в мрачной Дуртальской башне, стоящей в веселой долине Луары. Победа при Понлевуа сломила соперничество с Анжу дома Блуа; захватом Сомюра Фульк закончил свои завоевания на юге; а затем кусок за куском он захватил Северную Турень; один лишь Тур еще сопротивлялся анжуйцам. Изменнический захват графа Герберта отдал во власть их и Мэн, прежде чем старый Фульк завещал свое еще неоконченное дело сыну Жоффруа Мартелу. Военными талантами последний едва ли уступал отцу. Решительная победа отдала ему во власть Пуату, вторая победа освободила Тур от графа Блуа, а захват Ле-Мана привел его к границе Нормандии. Но здесь его успехи были остановлены гением Завоевателя, а с его смертью могуществу Анжу, казалось, пришел на время конец.

Нормандцы отняли у него Мэн, внутри его раздирали междоусобия, и при слабом сыне Жоффруа Анжу был бессилен против своих соперников. Новая энергия пробудилась в нем при Фульке Иерусалимском. Он то раздувал мятежи буйного нормандского дворянства, то поддерживал сына Робера — Гийома против дяди и постоянно выставял себя верным вассалом Франции, теснимой со всех сторон войсками английского короля и его союзников — графов Блуа и Шампани. Словом, Фульк был единственным врагом, которого боялся Генрих I. С целью обезоружить его непримиримую вражду Генрих отдал руку своей дочери Матильды его сыну Жоффруа Красивому. Брак этот в Англии был чрезвычайно непопулярен, а таинственность, которой он был окружен, дала баронам повод считать себя свободными от данной ими присяги. Так как ни один барон, в случае неимения сына, не мог выдавать замуж свою дочь без согласия своего лорда, то бароны вывели отсюда смелое заключение, что их согласие было необходимо для брака Матильды. Более серьезную опасность представляла жадность ее мужа Жоффруа, который, вследствие своей привычки носить на шлеме обыкновенное в Анжу растение болотный дрок (*Planta genista*), получил в добавление к прозвищу Красивого знаменитое имя Плантагенета. Притязания довели его до тайных переговоров с нормандским дворянством, и Генрих поспешил на границу, чтобы отразить ожидаемое вторжение, но с его прибытием заговор распался, анжуйцы удалились, и старый король отправился умирать в Лайонский лес.

«Бог ниспослал ему столь возлюбленный им мир», — писал находившийся при смертном одре Генриха архиепископ Руанский. Между тем с его смертью окончился долгий период мира под управлением норманцев. Известие о кончине Генриха вызвало взрыв анархии, и среди беспорядка его племянник граф Стефан (Этьен) появился у ворот Лондона. Стефан был сыном дочери Завоевателя Адели, находившейся замужем за графом де Блуа. Он воспитывался при английском дворе и явился после смерти своего кузена, сына Робера, умершего во Фландрии, ближайшим претендентом на престол. Прежде всего, он был воином, но его добродушие, щедрость и даже расточительность сделали его всеобщим любимцем. Прежде нежели за дело Стефана вступился хотя один барон или отворил ему ворота хотя один город, жители Лондона кинулись к нему навстречу с бурными приветствиями. Для образования Национального собрания не было ни баронов, ни прелатов, но лондонцы не поколебались занять их места. Их голос давно считался как бы выразителем народного согласия на избрание короля, но присвоение себе теперь Лондоном самого права избрания указывает на развитие в царствование Генриха среди англичан духа независимости. Не смущаясь отсутствием наследственных советников короны «олдермены и старейшины собрали народное вече, и оно по своему усмотрению, заботясь о благе государства, решило единогласно избрать короля». Торжественное совещание окончилось выбором Стефана; граждане поклялись защищать короля своим имуществом и кровью, а Стефан поклялся приложить все силы к мирному и доброму управлению государством.

Лондон сдержал свою клятву, Стефан изменил своей. Девятнадцать лет его царствования были временем неслыханного в нашей истории бесчинства и беспорядка. Стефан был признан даже сторонниками Матильды, но его слабость и мотовство вскоре создали почву для феодального бунта. В 1138 г. бароны восстали на юге и западе под предводительством графа Робера Глостера; их поддержал шотландский король, двинувший свои войска через северную границу. Сам Стефан отправился на западных мятежников и отнял у них все крепости, кроме Бристоля. Грабежи и жестокости диких племен Галлоуея и Горной Шотландии возмутили северян: бароны фримены собрались в Йорке вокруг архиепископа Терстана и двинулись Нортгеллертону — навстречу врагу. Священные знамена Св. Кутберта Дергемского, Св. Петра Йоркского, Св. Иоанна Беверлейского и Св. Уилфрида Рипонского развивались на хоругви, прикрепленной к четырехколесной телеге, стоявшей посредине войска. «На мне нет доспехов, — воскликнул вождь галлоуейцев, — но я пойду сегодня так далеко, как любой кольчуж

ник»; его отряд бросился вперед с дикими криками: «Албин! Албин!», а за ним последовали и нормандские рыцари Нижней Шотландии. Тем не менее они потерпели полное поражение; их дикие орды тщетно пытались прорвать ряды англичан, сомкнувшиеся вокруг знамени, и вся их армия бежала в беспорядке к Карлайлу.

Но, кроме воинской доблести, у Стефана было мало королевских достоинств, и скоро государство начало ускользать из его рук. Освободившись от суровой руки Генриха, бароны стали укреплять свои замки, а их примеру последовали ради самозащиты и прелаты, и те бароны, которые были правителями при покойном короле. Роджер, епископ Солсберийский, юстициарий, и его сын Роджер, канцлер, тоже увлеклись паникой. Они укрепили свои замки и стали являться при дворе не иначе как с сильным конвоем. Слабый король вдруг прибег к крутым мерам. Он захватил в Оксфорде Роджера, его сына и племянника, епископа Линкольнского и заставил их сдать ему замки. Этот позор до того поразил Роджера, что он умер в конце того же года, а его племянник Нигель, епископ Или, казначей, был изгнан из государства. Падение семьи Роджеров потрясло всю систему управления. Крутые меры короля лишили его поддержки духовенства и открыли Матильде путь в Англию; вскоре вся страна разделилась на две части: запад поддерживал Матильду, Лондон и восток — Стефана. Поражение при Линкольне и плен Стефана заставили всю страну признать Матильду своей государыней; но презрение, с которым она отвергла притязания Лондона на сохранение старых привилегий, побудило его граждан снова взяться за оружие, а решение Матильды держать Стефана в плену возродило его партию. Вскоре Стефан был освобожден и осадил Матильду в Оксфорде, откуда она тайно бежала и, перейдя через реку по льду, прибыла в Абингдон. Через шесть лет она возвратилась в Нормандию. Война на деле стала сплошной цепью грабежей и кровопролитий. Насилия феодальных баронов показали, от каких ужасов избавило Англию суровое правление нормандских королей. Нигде бедствия народа не изображаются в таких ужасных красках, как в конце «Английской летописи», последние звуки которой замирают среди ужасов этой эпохи: «Они вешали людей за ноги и коптили их едким дымом. Иных они вешали за большие пальцы, других за головы, а к ногам их привешивали зажженные тряпки. Они обертывали головы людей узловатыми веревками и закручивали их до тех пор, пока они не проникали до мозга. Они сажали людей в темницы, где кишели змеи, жабы и там их томили. Иных они заключали в короткие, узкие и неглубокие ящики с острыми камнями и так втискивали туда людей, что они ломали себе все кости. Во многих замках находились чудовищные и ужасные

цепи, поднимать которые едва могли два или три человека. Эти цепи прикреплялись к бревну и своей острой железной стороной обвивали шею и горло человека, так что он не мог ни сидеть, ни лежать, ни спать. Многие тысячи людей заморили они голодом».

От этой феодальной анархии Англия была избавлена усилиями церкви. В начале царствования Стефана, его брат Генрих, епископ Уинчестерский, действовавший в Англии в качестве папского легата, старался заменить исчезнувшую власть короля или нации авторитетом церковных соборов и утверждением нравственного права церкви объявлять государей недостойными престола. Договор между королем и народом, ставший частью конституции в хартии Генриха, получил новую силу в хартии Стефана, но естественный вывод отсюда, насчет ответственности короля за исполнение договора, был сделан впервые этими церковными соборами. Низложения Стефана и Матильды послужили прецедентом для позднейших низложений Эдуарда и Ричарда и для торжественного акта об изменении престолонаследия в эпоху Иакова. Хотя формы представляются тут странными и произвольными, все же они провозглашали права нации на хорошее управление. Сам Генрих Уинчестерский, «полумонах-полусолдат», как называли его, имел слишком мало духовного влияния, чтобы пользоваться настоящей духовной властью; лишь в конце царствования Стефана нация нашла себе действительно нравственного руководителя в лице Теобальда, архиепископа Кентерберийского: «Церкви, — справедливо говорил впоследствии Томас Бекет, гордясь сознанием того, что он был правой рукой Теобальда, — Генрих обязан своей короной, а Англия — своим освобождением». Томас был сыном Жильберта Бекета, портового старшины Лондона; на месте его дома и теперь еще стоит Mercer's chapel в Чипсайде. Его мать Рогеза была типом благочестивой женщины того времени. Она ежегодно взвешивала своего сына в день его рождения и раздавала бедным столько денег, платья и провизии, сколько он весил. Томас вырос среди нормандских баронов и духовных лиц, посещавших дом его отца и вносивших в него дух вольности, умеряемой нормандским образованием; окончив школу в Мертоне, он отправился в Парижский университет, а возвратившись назад, повел жизнь, свойственную молодым дворянам той эпохи. Он был высок, красив, остроумен и красноречив; твердость характера сказывалась даже в его забавах: чтобы спасти своего сокола, упавшего в воду, он однажды бросился под мельничную плотину и едва не был раздавлен колесом. Потеря отцовского состояния заставила Томаса поступить ко двору архиепископа Теобальда, и он скоро сделался доверенным лицом примаса в деле освобождения Англии. В это время сын Жоффруа и Матильды Генрих после

своего отца стал повелителем Нормандии и Анжу, а брак с герцогиней Элеонорой прибавил к его владениям Аквитанию. Томас, как агент Теобальда, пригласил Генриха явиться в Англию, и по его прибытии архиепископ выступил посредником между претендентами на корону. Уоллингфордский договор устранил бедствия долгой анархии: замки должны были быть скрыты, государственные земли возвращены короне, иностранные наемники изгнаны из страны. Королем был признан Стефан, в свою очередь объявивший наследником Генриха. Едва прошел год, как смерть Стефана отдала престол Англии его сопернику.

Глава VIII

Генрих Второй (1154—1189)

Как ни молод был Генрих при своем вступлении на престол, но он уже выработал себе определенную систему управления, которую и проводил упорно в свое царствование. Его практичный, гибкий характер был к лицу самому упорному работнику своего времени. Плотная фигура, багровое лицо, коротко стриженные волосы, выпуклые глаза, бычья шея, грубые сильные руки, искривленные ноги — все это указывало на резкого, деятельного, грубого человека дела: «Он никогда не садится, — говорит один из близко знавших его людей, — он всегда на ногах с утра до ночи». Он был методичен в работе, равнодушен к внешности, умерен в пище, сам никогда не отдыхал и не давал покою другим; он отличался разговорчивостью и любознательностью, его обращение — особенной прелестью, а память — силой; он был постоянен в любви и ненависти, хорошо образован, прекрасный охотник. Все указывало в нем грубого, страстного, делового человека. Личный характер Генриха наложил печать на все его царствование. Восшествие его на престол отмечает период слияния англичан и нормандцев в один народ — слияния, ускоренного соседством, развитием торговли, взаимными браками. Так начало развиваться национальное чувство, перед напором которого должны были исчезнуть перегородки старого феодализма. К этому феодальному прошлому Генрих относился даже с меньшим почтением, чем его современники; он совсем был лишен того поэтического чувства, которое заставляет людей относиться с участием к прошлому вообще. Как человек действия, он не терпел тех помех, какие его реформы встречали в старом устройстве страны; он даже не мог понять упорства людей, отказывавшихся купить несомненные улучшения пожертвованием обычаев и традиций минувших дней. В теории он не был противником существования в государ-

стве сил, ограничивающих его власть, но ему казалось вполне естественным и разумным давить на дворянство и духовенство, чтобы добиться хорошего управления. Он ясно видел, что единственное средство против той анархии, от которой Англия страдала при Стефане, заключалось в установлении королевского управления, не стесняемого в своей деятельности сословными и классовыми привилегиями; исполнителями в нем должны были быть королевские слуги, а бароны — выступать только как уполномоченные государя. Задачей Генриха и было провести эту идею в своих судебных и административных преобразованиях; но он не имел никакого понятия о великих движениях мысли и чувства, шедших по тому же направлению. Он просто игнорировал те нравственные и социальные влияния, которые действовали на окружавших его людей. Религия все более и более отождествлялась с патриотизмом на глазах короля, который во время обедни свистел, писал, рассматривал книги с картинками, никогда не исповедовался, а в припадках гнева и богохульствовал. Крупные народы формировались по обе стороны моря вокруг государя, все силы ума которого были направлены на поддержание единства империи, которую должен был неизбежно разрушить рост национального чувства. Много трагического величия в положении Генриха, этого Сфорцы XV в., перенесенного в середину XII в., старавшегося с помощью терпения, ловкости и силы создать государство, противоречившее глубочайшим стремлениям века и осужденное на уничтожение народными силами, самое существование которых скрывали от него его ловкость и энергия. Но косвенно и непреднамеренно его политика более, чем политика всех его предшественников, подготовила Англию к единству и свободе, которые должны были обнаружиться после падения его дома.

Как мы видели, Генрих был возведен на престол при содействии церкви. Первым делом нового короля было исправление всех зол прежнего царствования через восстановление правительственной системы Генриха I; по совету и с помощью Теобальда иностранные грабители были изгнаны из Англии, замки, несмотря на сопротивление баронов, разрушены, Королевский суд и казначейство восстановлены. Однако преклонный возраст и болезни вскоре принудили примаса отказаться от поста министра, и его власть перешла в более сильные и молодые руки Томаса Бекета, который давно уже действовал в качестве его доверенного советника, а теперь был сделан канцлером. Томас пользовался особенным расположением короля. У них, по выражению Теобальда, было «одно сердце и ум». Генрих часто веселился в доме канцлера или срывал с его плеч платье, когда они скакали по улицам. Он осыпал своего любимца богатством и почестями, но нет оснований думать, что Томас имел какое-нибудь влияние на его правительственную

систему; все хорошие и дурные стороны политики Генриха принадлежали лично ему. Король упорно продолжал свою реформаторскую работу среди внутренних смут и внешних затруднений. Восстание в Уэльсе заставило его перевести армию через границу. В следующем году он уже переплывал на ту сторону Ла-Манша, где он был обладателем трети нынешней Франции. Он наследовал от отца Анжу, Мэн и Турень, от матери — Нормандию, а семь провинций юга — Пуату, Сентонж, Ангумуа, Ла Марш, Лимузен, Перигор и Гасконь — принадлежали его жене. Как герцогиня Аквитанская, Элеонора имела притязания на Тулузу, и в 1159 г. Генрих решился отстаивать их силой оружия. Однако в войне он не был счастлив. Французский король Людовик кинулся в Тулузу, и Генрих, сознавая слабую связь своих обширных владений, уклонился от открытой борьбы со своим сюзереном; он отвел свои войска, и война закончилась в 1160 г. формальным союзом и помолвкой старшего сына Генриха с дочерью Людовика. Томас храбро сражался во время всего похода во главе рыцарей, составлявших его свиту, но король имел в виду для него иную деятельность. После смерти Теобальда он тотчас заставил кентерберийских монахов избрать Бекета архиепископом. Скоро обнаружилась и цель, которую преследовал Генрих этим назначением. Король предложил епископам, чтобы всякий клирик, изобличенный в преступлении, лишался сана и передавался в суды короля. Судебные реформы Генриха I ограничили значение местных феодальных судов, и единственное крупное отступление от системы, сосредоточившей всю юрисдикцию в руках короля, представляли церковные суды, созданные Завоевателем, с их исключительным правом суда над духовным сословием, другими словами — над всей массой образованных людей королевства. Епископы соглашались, но сопротивление оказал именно тот прелат, которого король выдвинул для проведения своих планов. С момента своего назначения Томас отдался обязанностям нового звания со всей страстностью своей натуры. При первом извещении о намерении Генриха он со смехом указал на свое нарядное платье, говоря: «Красивый костюм избрали вы для главы ваших кентерберийских монахов»; но раз став монахом и примасом, он быстро перешел от роскоши к аскетизму. Еще будучи министром, он противился плану короля и предсказал их будущую вражду: «Вы скоро возненавидите меня так же сильно, как теперь любите, — сказал он, — ибо я никогда не соглашусь с вашими притязаниями на безграничную власть над церковью». Благоразумный человек мог сильно сомневаться в разумности устранения единственного прикрытия, защищавшего веру и образование против деспота, подобного Рыжему королю, и в глазах Томаса церковные привилегии составляли часть священного насле-

дия церкви. Он остался без поддержки; папа советовал ему быть уступчивее, епископы покинули его, так что, наконец, Томас принужден был принять постановления, составленные на соборе в Кларендоне. Король ссылался на древние обычаи королевства, и для установления их и было созвано собрание в Кларендоне, близ Солсбери. Доклад, представленный епископами и баронами, и образовал свод «Кларендонских постановлений», большинство которых только восстанавливали систему Завоевателя. Выборы каждого епископа или аббата должны были проводиться в присутствии королевского чиновника, в королевской капелле и с согласия короля. Избранный прелат еще до посвящения должен был принести присягу королю и получить от него во владение свои земли в качестве лена, подлежащего всем феодальным повинностям. Ни один епископ не имел права выехать за границу без разрешения короля. Ни один из высших вассалов или королевских чиновников не мог быть отлучен от церкви, а его земля подвергнута интердикту без согласия короля. Новыми в этих постановлениях были лишь статьи, касавшиеся вопроса о подсудности духовенства. Королевскому суду было предоставлено право разрешать вопросы, какие из спорных дел между светскими и духовными лицами подлежат компетенции духовных и какие светских судов. Королевский чиновник должен был присутствовать при разборе дел в духовных судах, дабы суды эти не выходили из пределов предоставленной им власти, и признанный виновным клирик тотчас же передавался в руки гражданских властей. При отказе в правосудии от суда архиепископа дозволялось апеллировать к суду короля, но никто не мог апеллировать к папе иначе как с согласия короля. Право убежища, которым пользовались храмы и церковные дворы, было отменено, поскольку оно касалось имущества, а не личности. После упорного сопротивления, примас дал, наконец, свое согласие на эти постановления, но скоро взял его назад, а дикая злоба короля дала ему случай одержать над ним нравственную победу. Против него выдвинули ложные обвинения, и несколько месяцев спустя на соборе в Нортгемптоне все убеждали Томаса смириться, так как опасность грозит самой его жизни; но именно в присутствии опасности и проявилось его мужество во всем величии. Взяв в руки свой архиепископский крест, он явился в Королевский суд, протестовал против права баронов судить его и апеллировать к папе. Крики «Изменник! Изменник!» — сопровождали удаляющегося архиепископа. Примас обернулся и гордо сказал: «Будь я еще рыцарем, мой меч ответил бы на это подлое оскорбление». При наступлении ночи Томас бежал переодетым и через Фландрию пробрался во Францию. В течение шести лет шла упорная борьба: в Париже и Риме агенты обеих сторон интриговали друг против друга. Ген-

рих унизился до изгнания из Англии родственников примаса и до угрозы конфисковать земли цистерцианцев, чтобы принудить монахов Понтийны отказать Томасу в убежище, а Томас выводил из терпения своих друзей, расточая отлучения и упорно повторяя оскорбительное ограничение: «...если это не будет противоречить чести моего сана» — ограничение, на деле уничтожавшее королевские реформы. Папа советовал ему быть уступчивее, французский король на время лишил его своей поддержки, сами его друзья пошли, наконец, на уступки: «Встань», — сказал иронически один из них, когда его лошадь споткнулась на дороге, — спасая честь церкви и моего сана». Но ни уговоры, ни бегство друзей не могли поколебать твердости примаса. Под страхом папского отлучения Генрих решился на коронование своего сына Генриха Молодого архиепископом Йоркским, вопреки привилегиям Кентерберии; но успехи в Италии развязали в это время папе руки, и угроза интердиктом заставила Генриха выказать притворную покорность. Архиепископу после примирения с королем в Фретевале было позволено в 1170 г. возвратиться, и жители Кента встретили его радостными приветствиями, когда он въезжал в Кентерберии. «Это Англия», — сказал ему один из клириков, увидав белые утесы берегов. «Не пройдет и пятидесяти дней, как тебе захочется уехать оттуда», — мрачно заметил Томас, и это предсказание показало, как он понимал характер Генриха. Теперь он был во власти короля, и от имени Генриха Молодого были уже посланы приказы об аресте, когда четыре рыцаря, возбужденные страшным взрывом гнева их повелителя, переплыли пролив и проникли во дворец архиепископа. После бурных переговоров с ним в его комнате они вышли, чтобы взять оружие. Клирики увлекли Томаса в собор, но когда он подошел к лестнице, ведущей на хоры, его преследователи ворвались в храм из боковых коридоров. «Где, — закричал Реджинальд Фиц-Урс во мраке полуосвещенного собора, — где этот изменник, Томас Бекет?» Примас смело вернулся назад. «Я здесь, — отвечал он, но я не изменник, а служитель Божий», и, опустившись по ступеням, он прислонился спиной к колонне и встретил своих врагов. Вся храбрость, весь пыл прежней рыцарской жизни, казалось, ожили в Томасе, когда он отражал угрозы и требования нападавших. — «Ты наш пленник!», — закричал Фиц-Урс, и четыре рыцаря схватили архиепископа, чтобы вытащить его из церкви. «Не трогай меня, Реджинальд, помни, сводник ты этакий, что ты клялся мне в верности!» — воскликнул примас и оттолкнул его изо всей силы. «Бей, бей его!» — закричал Фиц-Урс, и один удар за другим повергли Томаса на землю. Слуга Ранульфа де Брока рассек мечом череп примаса. «Уйдем! — воскликнул он с торжеством. — Изменник больше не встанет».

Весть о зверском убийстве была встречена с ужасом во всем христианском мире; на могиле мученика совершались чудеса; он был канонизирован и стал самым популярным из английских святых; только притворное смирение Генриха перед папой избавило его от отлучения, грозившего ему сначала за кровавое дело. Судебные статьи Кларендонских постановлений были формально отменены, свобода выборов в епископы и аббаты восстановлена, но, в сущности, победа осталась за королем. В течение всего его царствования назначение духовных лиц находилось на деле в его руках, и совет короля сохранил за собой надзор за духовным судом епископов. Окончание борьбы позволило Генриху закончить начатое дело реформ. Он уже раньше воспользовался походом на Тулузу, чтобы нанести удар феодальному дворянству, позволив мелким вассалам откупаться от полевой службы за известную сумму, называвшуюся «щитовым сбором». Благодаря этому король получил возможность обходиться без военной помощи своих вассалов, нанимая взамен их на собранные деньги иностранных солдат. За ослаблением военного значения баронов последовали меры, ограничивавшие их судебные права. Были восстановлены разъезды судей, и им было поручено объехать поместья баронов и исследовать их привилегии; в то же время должности шерифов были отняты у крупных баронов и переданы законоведам и придворным, уже пополнявшим состав судей. Недовольство баронов нашло себе случай выразиться, когда старший сын Генриха, после коронации при жизни отца получивший титул короля, потребовал, чтобы отец отдал ему управление Англией; Генрих II ему в этом отказал, и он бежал во Францию к королю Людовику. Франция, Фландрия и Шотландия составили союз против Генриха, а младшие его сыновья Ричард и Жоффруа подняли против него оружие в Аквитании. Высадка фламандских наемников в Англию под начальством графа Лестерского была отбита верными юстициариями, но едва Людовик вступил в Нормандию и осадил Руан, как обнаружилась вся громадность опасности. Шотландцы перешли границу, Роджер де Мобрей поднял восстание в Йоркшире, Роберт Феррерс, граф Дерби, — в центральных областях, Хьюг де Бигод — на востоке, а фламандский флот готовился поддержать восстание высадкой на берег. Убийство архиепископа Томаса еще тяготело над Генрихом, и первым делом его по приезде в Англию были поклонение гробнице нового мученика и публичное бичевание для искупления греха. Едва исполнен был обряд покаяния, как все опасности были рассеяны рядом удач. Король Шотландский Вильгельм Лев был застигнут, под прикрытием тумана, врасплох и попал в руки министра Генриха — Ранульфа де Гланвилля, а по отступлении шотландцев и мятежные бароны поспешили сложить оружие.

С армией наемников, привезенных из-за моря, Генрих мог вернуться в Нормандию, освободить Руан от осады и смирить своих сыновей. За восстанием баронов последовали новые удары их могуществу. Новый шаг в этом направлении представляла военная организация королевства, введенная через несколько лет в силу «Ассизы оружия» и возвращавшая народному ополчению то значение, какое оно имело до завоевания. Замена военной службы щитовым сбором поставила корону вне зависимости от баронов и их вассалов; «Ассиза оружия» (1181) заменила эту феодальную организацию прежним порядком, в силу которого каждый фримен был обязан являться на защиту государства. Всякий рыцарь обязывался являться на зов короля в собственной кольчуге, со щитом и копьем, всякий фригольдер — в панцире и с копьем, всякий горожанин и бедный фримен — с копьем и в шлеме. Таким образом, сбор войска для защиты государства был поставлен в полную зависимость от воли короля.

Все перечисленные нами меры составляли лишь часть законодательства Генриха. Его царствование, по верному замечанию, положило начало царству закона, и этим оно отличалось от деспотизма нормандских королей — то чисто личного, то умеряемого рутиной. В ряде «ассиз», или судов, издаваемых с одобрения совета баронов и прелатов, он усовершенствовал систематическими реформами административные мероприятия Генриха I. Наше судебное законодательство начинается с Кларендонской ассизы (1166), главной целью которой было упрочить в государстве порядок, восстановив древнеанглийскую систему взаимного поручительства. Ни один чужак не имел права останавливаться иначе как в городе, да и то не более как на сутки, если не мог представить ручательства в хорошем поведении; список таких лиц представлялся разъездным судьям. В постановлениях этой ассизы относительно преследования преступлений мы находим зачатки суда присяжных заседателей, так часто относимого к более древнему времени. Двенадцать благонадежных человек от каждой сотни вместе с четырьмя человеками от каждой общины обязывались присягой представлять известных или подозреваемых преступников в их округе к испытанию «судом Божиим». Таким образом, эти присяжные были не только свидетелями, но действовали также и как судьи при оценке обвинений, и этот двойственный характер присяжных Генриха уцелел в нашем «большом жюри», которое и поныне обязано по выслушании свидетелей представить обвиняемых на суд. Два дальнейших шага придали учреждению его современную форму. При Эдуарде I к общим присяжным стали в каждом случае присоединять свидетелей, знакомых со спорным фактом; в позднейшее время эти два разряда присяжных обособились: последние стали

простыми «свидетелями» без всякой судебной власти, а первые совсем перестали быть свидетелями и стали современными присяжными, судящими на основании даваемых показаний. Эта ассиза уничтожила также господствовавший в Англии с древнейших времен обычай «очистительной присяги», в силу которого обвиняемый мог быть оправдан на основании добровольной присяги его соседей и родственников. В следующие 50 лет, после исследования «большого жюри», процесс ограничивался «судом Божиим», причем невиновность доказывалась способностью обвиняемого держать в руке раскаленное железо или тонуть в воде; если обвиняемый выплывал, это доказывало его виновность. Уничтожение всей системы ордалий Латеранским собором повело к установлению так называемого «малого жюри» для окончательного суда над узниками. Кларендонская ассиза тотчас после восстания баронов была дополнена Нортгемптонской. Как мы уже видели, Генрих восстановил Королевский совет и деятельность разъездных судей. Новая ассиза придала этому учреждению постоянство и правильность разделением королевства на шесть округов, из которых каждый назначалось трое судей. В общем, эти округа соответствуют еще ныне существующим. Главная цель этих объездов была финансовая, но рядом со сбором доходов короля шло отправление Королевского суда. Это проникновение правосудия во все уголки королевства приобрело еще большее значение благодаря отмене всех феодальных изъятий от Королевского суда. Главная опасность новой системы заключалась в возможности подкупа судей; и, действительно, злоупотребления были так велики, что скоро принудили Генриха на время ограничить число судей пятью и допустить от их приговоров апелляции в Королевский совет. Созданный, таким образом, апелляционный суд «короля в совете» с течением времени породил ряд трибунов. От него произошли судебные полномочия, принадлежащие теперь Тайному совету, а также совестный суд канцлера. В следующем веке Королевский совет превратился в Великий совет королевства, от которого Тайный совет получил свою законодательную, а палата лордов — судебную власть. Суд Звездной палаты и Судебный комитет Тайного совета представляют позднейшие отпрыски Апелляционного суда Генриха II. Собственно Королевский суд уступил первое место этим высшим судам и после Великой хартии разделился на три отдельные палаты — королевской скамьи, казначейства (шахматной доски) и общих дел (Common Pleas); каждый из этих судов в эпоху Эдуарда I получил особых судей и стал во всем самостоятельным.

В течение десяти лет, следовавших за восстанием баронов, могущество Генриха достигло высшей степени; а вторжение в Ирландию, о котором мы

расскажем после, подчинило ее английской короне. Но его реформаторская деятельность была вдруг прервана смутами и восстаниями его сыновей. Старшие его сыновья Генрих и Жоффруа умерли один за другим; тогда против него стал интриговать Ричард, ставший наследником престола и правителем Аквитании, в союзе с преемником Людовика VII — Филиппом II. Дело кончилось открытым разрывом, Ричард признал себя вассалом Филиппа, и союзники внезапно появились перед Ле-Маном и заставили Генриха бежать в Нормандию. С горы, где он остановился взглянуть на пылающий город, столь дорогой ему, как место его рождения, король кинул проклятие Богу: «Так как ты отнял у меня мой любимый город, город, в котором я родился и вырос, в котором покоится прах моего отца, то я отомщу тебе за это, — я отниму у тебя то, что ты считаешь дороже всего во мне». Смерть стояла уже за плечами Генриха, предсмертное желание увлекло его к отечеству его рода, но когда он достиг Сомюра, Тур уже пал, и преследуемый король должен был просить у врагов пощады. Они показали ему список заговорщиков, и король увидел во главе их имя своего младшего и любимого сына Джона (Иоанна): «Ну, — сказал он тогда, обернувшись лицом к стене, — теперь пусть дела идут, как угодно; я более не забочусь ни о себе, ни о свете». Его повезли в Шинон по серебристым волнам Вьенны, и, бормоча: «Позор, позор побежденному королю», он печально скончался.

Глава IX

Падение анжуйцев (1189—1204)

Нам нет надобности следовать за Ричардом в его Крестовый поход, занявший начало его царствования и на четыре года оставивший Англию без правителя, — следить за его битвами в Сицилии, завоеванием Кипра, победой при Яффе, бесплодным походом на Иерусалим, перемирием с Саладином, кораблекрушением на обратном пути, двукратным заточением в Германии. Когда он освободился из плена и вернулся, то встретился с новыми опасностями. В его отсутствие королевство находилось в руках Уильяма Лоншана, епископа Или, бывшего главой светской и духовной власти в государстве в качестве юстициария и папского легата. Лоншан был верным слугой короля, но его вымогательства и презрение к англичанам возбудили против него сильную ненависть баронов, нашедших себе предводителя в лице Иоанна, изменившего брату так же, как и отцу. Интриги Иоанна с баронами и французским королем привели наконец к открытому возму-

щению, быстро, впрочем, подавленному благодаря находчивости нового примаса Губерта Уолтера, а возвращение Ричарда сопровождалось полной покорностью брата. Но если Губерт Уолтер сумел сохранить порядок в Англии, то за морем Ричард столкнулся с такими опасностями, значения которых он по своей проницательности не мог не оценить. Он не обладал административными талантами отца, был менее искусен в дипломатических интригах, чем Иоанн, но он далеко не был простым солдатом. Страсть к приключениям, гордость физической силой, прорывавшееся временами романтическое великодушие уживались в нем с хитростью, бессовестностью и страстностью его рода. Тем не менее в душе он был политиком столь же холодным и терпеливым в исполнении своих планов, сколько смелым в их составлении. «Дьявол на свободе; берегитесь!» — писал Филипп Иоанну при известии об освобождении короля. У Филиппа беспокойное честолюбие раздражали воспоминания об оскорблениях, перенесенных им во время Крестового похода, и он воспользовался пленом Ричарда, чтобы напасть на Нормандию, в то время как аквитанские бароны подняли восстание с трубадуром Бертраном де Борном во главе. Недовольство чужестранным правлением, насилиями наемных солдат, жадностью и притеснениями финансовых чиновников, суровостью и строгостью управления и судов побудили к восстанию против анжуйцев всех баронов их владений на материке. Не было преданности анжуйцам и среди народа. Даже Анжу, родина их дома, так же сильно тяготела к Филиппу, как и Пуату. Зато в военном искусстве Ричард стоял гораздо выше Филиппа. Он остановил его на нормандской границе, захватил его казну, усмирил мятежников Аквитании. Англия стонала под тяжестью налогов: с нее был только что взят чрезвычайный налог для выкупа из плена короля, и тем не менее Губерт Уолтер собрал снова большую сумму денег на содержание армии наемников, которую Ричард повел против врагов. В течение короткого перемирия Ричард с помощью подкупа отвлек от союза с Францией Фландрию и побудил к восстанию против Филиппа графов Шартра, Шампани и Булони вместе с бретонцами. Большую помощь оказало ему избрание его племянника Оттона на германский престол, и его посол Уильям Лоншан заключил с Германией союз, который должен был обратить немецкое оружие против короля Франции. Однако для успеха таких широких планов было необходимо спокойствие Нормандии, а для Ричарда было ясно, что при защите ее ему нельзя полагаться на верность тамошнего населения. Его отец еще мог указывать на свое происхождение через Матильду от Рольфа, но на самом деле анжуйский правитель был чужестранцем для Нормандии. Нормандцы не могли сколько-нибудь симпатизировать анжуйскому государю, дви-

гавшемуся вдоль границ с толпами брабантских наемников, среди которых совсем не встречалось имен старых нормандских баронов и которыми командовал провансальский разбойник Меркаде. Чисто стратегическая позиция, избранная Ричардом для постройки новой крепости, с помощью которой он думал оберегать границу, указывает на ясное понимание им того факта, что Нормандию можно было теперь удерживать только силой оружия. Как памятник военного искусства, его «Веселый замок» (Шато-Гайар) представляет одно из лучших средневековых укреплений. Он построен на том месте, где Сена при Гайоне вдруг поворачивает к северу, образуя большой полукруг, и где долина Лез-Анделис прерывает линию мелких утесов, идущих вдоль реки. Зеленые леса венчают вдали горы, внутри излучины реки расстилается широкий луг, вокруг которого извивается усеянная зелеными островками Сена, отражая в волнах цвет неба и, как серебряная дуга, направляясь дальше к Руану. Замок составлял часть укрепленного лагеря, которым Ричард намеревался прикрыть свою нормандскую столицу. Доступ от реки преграждался палисадом и понтонным мостом, а также фортом на одном из островов среди реки и крепкой башней, построенной королем в долине Гамбона, тогда непроходимом болоте. В углу между этой долиной и Сеной на известковой горе, соединенной с главной возвышенностью только узким перешейком, возвышалась над рекой на высоте 300 футов главная крепость. Ее внешние укрепления и стены, соединявшие ее с городом и палисадом, большей частью исчезли, но время и рука человека мало коснулись главных укреплений — глубокого рва, высеченного в твердой скале, с вырубленными в боках его казематами, узорчатой стены цитадели, огромной башни, возвышавшейся над темными кровлями и скученными постройками Лез-Анделис. Даже теперь среди развалин крепости мы можем понять торжествующий возглас ее царственного строителя, когда он увидел ее поднимающейся к небу: «Как прекрасно мое детище, хотя ему всего один год!».

Легкое покорение Нормандии после сдачи Шато-Гайара доказало potency проницательность Ричарда; но в его характере проницательность и дальновидность соединялись с склонностью к грубому насилию и полным равнодушием к честности. «Я взял бы этот замок, если бы даже стены его были из железа», — в гневе воскликнул Филипп, узнав о его постройке. «Я отстоял бы его, даже если бы стены его были из масла», — вызывающе отвечал Ричард. Земля, на которой была построена крепость, принадлежала церкви, и архиепископ Руанский за захват ее наложил на Нормандию интердикт. Король встретил интердикт насмешками и интриговал в Риме до тех пор, пока он не был снят: также мало внимания он

обратил и на смутивший его придворных «кровавый дождь»: «Если бы ангел с неба повелел Ричарду оставить его дело, — говорит беспристрастный наблюдатель, — то и на это он ответил бы проклятием». Двенадцатимесячная упорная работа действительно так укрепила границы Нормандии, что Ричард мог нанести Филиппу давно задуманный удар. Не хватало только денег, и король со всей жадностью своего рода отнесся к толкамо сокровище, найденном на полях Лимузена. Говорили, будто барон де Шалюс нашел двенадцать золотых рыцарей, сидящих вокруг золотого стола. Во всяком случае, там был клад, который и привлек Ричарда к стенам замка. Но последний держался упорно, и жадность короля перешла в дикие угрозы; он клялся перевешать всех мужчин, женщин и даже грудных детей. Среди этих угроз пущенная со стен стрела повергла его на землю. Он умер так же, как и жил, обуреваемый дикой страстью, удерживавшей его в течение последних семи лет от исповеди опасением того, что его заставят простить Филиппа; в то же время он с царским великодушием простил поразившего его стрелка.

С его смертью анжуйские владения распались на части. Иоанн был признан королем Англии и Нормандии; герцогиня, его мать, обеспечила ему также Аквитанию; но Анжу, Мэн и Турень присягнули Артуру, сыну его покойного старшего брата Жоффруа, герцога Бретани. Артуру повредило честолюбие Филиппа, защищавшего его интересы; анжуйцы восстали против французских гарнизонов, с помощью которых Филипп в действительности подчинил себе область, и Иоанн был признан наконец государем всех владений своего дома. Возобновление войны в Пуату оказалось роковым для соперника: застигнутый под стенами Мирбо быстрым маневром короля, Артур был отвезен пленником в Руан и там убит, как думали люди, самим дядей. Это грубое насилие сразу вызвало восстание французских провинций, и в то же время Филипп двинулся прямо на Нормандию. Легкость ее завоевания может быть объяснена лишь полным отсутствием народного сопротивления со стороны самих нормандцев. За полвека перед тем появление французов в стране заставило бы всех крестьян от Аврэнша до Дьеппа взяться за оружие, а теперь город за городом сдавался по первому требованию Филиппа, и едва завоевание окончилось, как Нормандия стала одной из преданнейших провинций Франции. Многое здесь объясняется мудрым либерализмом, с которым Филипп отнесся к притязаниям городов на свободу и самоуправление, а также превосходными силами и военным искусством, с каким было совершено завоевание. Но полное отсутствие всякого сопротивления проистекало из более глубоких причин. Для нормандцев завоевание было переходом от одного чужестранного вла-

стителя к другому, из которых Филипп был даже ближе, чем Иоанн. Между Францией и Нормандией было много лет как вражды, так и дружбы; Нормандию и Анжу разделяло столетие жесточайшей ненависти. Сверх того, подчинение Франции было лишь осуществлением зависимости, давно уже существовавшей в теории: Филипп вступил в Руан как сюзерен нормандских герцогов; между тем подчинение Анжуйскому дому было самым унижительным из всех подчинений — подчинением равному. Сознывая такое настроение нормандцев, Иоанн вынужден был отказаться от всякого сопротивления после неудачной попытки освободить Шато-Гайар, с осады которого Филипп и начал свое вторжение. Искусство, с которым были задуманы сложные движения для спасения его, доказало военную ловкость короля. Силы осаждающих были разделены Сеной на две части, из которых большая находилась в низине у изгиба реки, а другой отряд был переправлен через нее для занятия Гамбонской долины и истребления припасов в окрестностях. Иоанн и предполагал разрезать французскую армию пополам, разрушив понтонный мост, служивший единственным средством сообщения между обоими отрядами, и затем напасть со всеми силами на французов, расположившихся в излучине реки и не имевших другого выхода, кроме моста. Если бы нападение было произведено так же искусно, как задумано, оно привело бы к гибели Филиппа; но два натиска не были произведены в одно время и были последовательно отражены. Неудачи сопровождалась полным распадом военной системы, с помощью которой анжуйцы удерживали Нормандию, казна Иоанна была пуста, и его наемники перешли к неприятелю. В отчаянии Иоанн обратился с воззванием к населению герцогства, но было слишком поздно: бароны уже договаривались с Филиппом, города не могли сопротивляться французам. Отчаявшись в содействии Нормандии, Иоанн отправился за море искать его столь же напрасно у Англии, но с падением Шато-Гайара, после храброй защиты, вся провинция без сопротивления перешла в руки французов. В 1204 г. Филипп с таким же поразительным успехом обратился на юг: Мэн, Анжу и Турень подчинились ему без особенного сопротивления, а после смерти Элеоноры их примеру последовала и большая часть Аквитании. Уцелело немного, кроме области к югу от Гаронны; из властителя огромной империи, простиравшейся от Тайна до Пиренеев, Иоанн сразу превратился в короля одной Англии. С падением Шато-Гайара решились и судьбы Англии; грандиозные развалины на высотах Лез-Анделис тем и интересны, что представляют собой падение не только крепости, но и целой системы. С мрачной башни и разрушенных стен замка мы видим не только прелестную долину Сены, но и поросшую осокой равнину Реннимиды.

Часть 3

Великая хартия (1204—1265)

Глава I

Английская литература при нормандских и анжуйских королях

Всего лучше поможет нам понять характер нового английского народа, с которым пришлось иметь дело Иоанну, по изгнанию из Нормандии, обозрение английской литературы за только что пройденный период.

В борьбе с Бекетом Генриху II оказал большую помощь постепенный переворот, положивший начало отделению класса собственно литераторов от класса чисто духовного. В более ранние эпохи нашей истории литература получила свое начало в церковных школах и находила себе защиту против невежества и насилий эпохи в церковных привилегиях. Почти все наши писатели от Бэды до времени анжуйцев были или священниками, или монахами. Оживление литературы, последовавшее за завоеванием, было чисто церковным; духовный толчок, данный Беком Нормандии, перешел через пролив вместе с новыми нормандскими аббатами, поселившимися в больших английских монастырях, и с этого времени ученые кабинеты (*scriptoria*), в которых переписывались и иллюстрировались главнейшие произведения латинских отцов церкви и классиков, составлялись жития святых и отмечались события в монастырских летописях, составляли необходимую принадлежность всякой сколько-нибудь значительной духовной обители. Но эта литература носила более светский, чем духовный характер. Даже богословские и философские труды Ансельма не вызвали в Англии ни одной работы по богословию и метафизике. Литературное оживление после завоевания выразилось преимущественно в старой исторической форме. В Дёргеме Тёргот и Симеон перевели на латинский язык народные летописи до эпохи Генриха I, обращая особенное внимание на дела севера, а два приора в Гекземе, пустынной области, отделявшей Англию от Шотландии, отметили первые события царствования Стефана. Но это были

только бесцветные записи простых летописцев; первые признаки влияния чисто английского чувства на новую литературу мы встречаем лишь в жизнеописаниях английских святых, составленных в Кентерберии Осберном, и в рассказе Идмера о борьбе Ансельма с Вильгельмом Рыжим и его преемником. Еще заметнее это пробуждение национального гения у двух следующих историков. Военные песни английских завоевателей Британии сохранил Генрих, архиепископ Хантингдонский, включив их в свою летопись, составленную по творениям Бэды и по хронике, а баллады, представлявшие собой народные предания об английских королях, были тщательно собраны Вильгельмом, библиотекарем в Мельмсбери.

Всего заметнее новое направление английской литературы в Вильгельме. В его личности, как и в его произведениях, отразилось начавшееся слияние двух народов: наполовину англичанин, наполовину нормандец, Вильгельм симпатизировал и той, и другой нации. Форма и стиль его сочинений указывают на влияние классической литературы, изучение которой стало тогда распространяться во всем христианском мире. Будучи монахом, он отказывается от старых церковных образцов и летописной формы. Он группирует события, не обращая внимания на хронологию; его живой рассказ течет быстро и свободно и часто прерывается отступлениями в область общеевропейской и церковной истории. В этом отношении Вильгельм является первым из тех историков с политическим и философским направлением, которые скоро появились в прямой связи с двором и из которых наиболее замечательными были автор летописи, обыкновенно приписываемой Бенедикту Питерборо, и его продолжатель Роджер Гоуден. Оба они занимали судебные должности при Генрихе II и благодаря своему положению были отлично осведомлены о внутренних и внешних делах, знакомы со многими официальными документами и стояли на чисто государственной точке зрения, излагая столкновение короля с церковью. Та же свобода от церковных предрассудков в соединении с замечательным критическим талантом отличает и историю Вильгельма, написанную в далеком Йоркширском монастыре. Английский двор сделался между тем центром чисто светской литературы. Трактат Ранульфа Гланвилля, юстициария Генриха II, представляет собой древнейшее сочинение об английском праве, а трактат королевского казначея Ричарда Фиц-Нила о казначействе — первое исследование об английском управлении.

Еще более светский характер носят произведения священника, претендовавшего на сан епископа, Жеральда де Барри. Жеральд может считаться отцом нашей народной литературы и родоначальником политического и церковного памфлета. В его жилах уэльская кровь смешалась с норманд-

ской, как показывает его обычное имя — *Giraldus Cambrensis*, и горячность кельтской расы проявляется одинаково и в его произведениях, и в личной жизни. Отличный ученый в Париже, архидьякон-реформатор в Уэльсе, остроумнейший из придворных капелланов, беспокойнейший из епископов, Жеральд сделался самым веселым и забавным из всех современных писателей. Под его пером величая латинская речь приобретала живость и живописность языка жонглеров, он был тонким классиком, но презирал всякий педантизм: «Лучше совсем не писать, чем писать непонятно, — говорил он в защиту своего нового слога, — новое время требует и новой формы для литературных произведений, и потому я совсем отказался от старой и сухой манеры иных авторов и стремился усвоить способ выражения, господствующий теперь». Его трактат о завоевании Ирландии и его описание Уэльса составляют, в сущности, отчеты о двух путешествиях, предпринятых им в эти страны с Иоанном и архиепископом Бодуэном; в них заметны также быстрая наблюдательность, здравомыслие и смелость. Это нечто вроде живых, блестящих писем, какие мы встречаем в корреспонденциях современных газет. В том же тоне написаны и его политические памфлеты: множество острот, запас анекдотов, удачные цитаты, природная язвительность и критическая пронизательность, ясность и живость изложения соединяются у него с такой смелостью и пылкостью, которые делали его обличения опасными даже для такого правителя, как Генрих II. Нападки, в которых Жеральд изливал свой гнев против анжуйцев, послужили источником половины всей скандальной молвы о Генрихе и его сыновьях, проникшей даже в историю. Всю свою жизнь Жеральд домогался кафедры Св. Давида и хотя это ему и не удалось, но его ядовитое перо сыграло свою роль в возбуждении духа нации к борьбе с короной.

Явно враждебный церкви тон замечен почти с самого начала у певцов рыцарских поэм. Эти песни давно уже нашли себе доступ ко двору Генриха I, где под покровительством королевы Матильды предания об Артуре, столь долго лелеянные кельтами Бретани и завезенные в Уэльс свитой изгнанника Райса Тюдора, вошли в историю бриттов Жоффри Монмута. Мифы, легенды, предания, классический педантизм эпохи, надежды уэльсцев на будущее торжество над саксами, воспоминания о крестовых походах и о мировом государстве Карла Великого — все это смешалось в произведении этого смелого рассказчика, произведении, сразу приобретшем громадную популярность. Альфред Беверлийский перенес выдумки Жоффри в область серьезной истории, а двое нормандских труверов, Гаймар и Вас, переложили их во французские стихи. Доверие к этим рассказам было так велико, что Генрих II посетил могилу Артура в Глестершире.

тонбери, а его внук, сын Жоффруа и Констанции Бретонской, носил имя кельтского героя. Из произведения Жоффри мало-помалу выросла целая поэма о Круглом столе. В Бретани история Артура слилась с более древней и мистической легендой о волшебнике Мерлине, а легенда о Ланселоте превратилась, благодаря странствованиям из замка в замок менестрелей, в известный рассказ о рыцаре, забывшем свой долг ради любви к женщине. История о Тристраме и Гавайне, раньше столь же самостоятельная, как и рассказ о Ланселоте, была увлечена вместе с ним в водоворот поэм об Артуре; а когда церковь, ревниво относившаяся к популярности рыцарских поэм, создала для противодействия им поэму о Святой чаше (Святой Грааль), содержащей в себе видимую для одних лишь чистых сердцем кровь Христа, то придворный поэт Уолтер де Манн слил враждебные легенды вместе, заставив Артура и его рыцарей странствовать по морю и суше в поисках Святого Грааля и увенчав свое произведение фигурой сэра Галахада, представляющего тип идеального рыцаря без страха и упрека.

Уолтер де Манн был представителем внезапного расцвета литературной, общественной и религиозной критики, который явился вслед за развитием рыцарской поэзии и свободной историографии при дворе обоих Генрихов. Он родился на границе Уэльса, учился в Париже, был любимцем короля, его капелланом, юстициарием и посланником, а его талант отличался такой же разносторонностью, как и плодovitостью. С одинаковой легкостью воспроизводит он и праздную болтовню в своих «Придворных мелочах», и такой характер, как рыцарь Галахад; но во всей силе развернулся его талант, когда он от рыцарской поэзии обратился к церковной реформе и воплотил современные злоупотребления в личности «епископа Голиафа». В откровении и исповеди этого воображаемого прелата отражается и выясняется настроение Генриха и его двора в эпоху борьбы с Бекетом. Картина за картиной срывает маску с распущенности средневековой церкви, разоблачает ее нерадивость, погоню за наживой, скрытую безнравственность. Все духовенство, от папы до приходского священника, является под пером поэта преданным лишь одному корыстолюбию: что прозекает епископ, того уже не пропустит архидьякон, что уплывает от архидьякона, не избегнет рук настоятеля, в то время как толпа мелких причетников с жадностью окружает этих крупных грабителей. Из массы фигур, заполняющих картину старика — священников-совместителей, аббатов, «красных, как их вино», монахов, обжирающихся и болтающих, как попугаи, в их трапезных, — выделяется филистимский епископ, легкомысленный, бессовестный, чувственный, пьяный, распутный Голиаф, соединяющий в себе все гнусности; в лоб его и летит острый камень сатиры нового Давида.

Однако подобные произведения на латинском и французском языках могут относиться к английской литературе только потому, что авторами их были англичане. Разговорным языком массы народа остался, несомненно, как и прежде, английский. Сам Вильгельм пытался изучить его, чтобы принимать личное участие в суде; в столетие после завоевания лишь несколько слов вкралось в английскую речь из языка завоевателей. Даже английская литература, изгнанная из двора чужестранных королей ее модной соперницей, литературой латинских схоластиков, сохранилась не только в поэтических переложениях Евангелия и псалмов, но и в великом памятнике нашей прозы — в английской летописи. Летопись прекращается в Питербороском аббатстве только в жалкое царствование Стефана. Но «Изречения Альфреда», ставшего идеалом английского короля и сосредоточившего вокруг своего имени легендарное поклонение великому прошлому, доказывают, что английская народная литература была жива в эпоху Генриха II, а с утратой Нормандии и возвращением Иоанна в его островное королевство совпадает по времени появление великого произведения английской поэзии: «Жил в стране священник по имени Лайямон, был он сыном Леовената, — да будет милостив к нему Господь! Жил он в Эрнли, славной церкви на берегу Северна (прекрасной казалась она ему!), около Редстона, где он читал книги. И пришло ему на ум и стало его любимой мыслью, что нужно ему рассказывать о благородных деяниях англичан, как звали первых пришедших в эту землю людей и откуда они пришли». Путешествуя всюду по стране, священник из Эрнли нашел Бэду и Васа, а также книги св. Албина и св. Аустина: «Лайямон положил перед собой эти книги и стал их перелистывать; любовно он на них смотрел, — да будет милостив к нему Господь! Потом взял он перо, исписал пергамент, соединяя подходящие слова, и три книги сократил в одну». Церковь Лайямона существует и поныне в Эрнли, в Уорчестершире. Его поэма была в сущности распространением Васова «Брута» вставками из Бэды; в историческом отношении она не имеет значения, но как памятник языка она выше всякой цены. Она показывает, что английский язык и при нормандцах, и при анжуйцах остался без изменения. В более чем тридцати тысячах строк можно найти не более пятидесяти нормандских слов. Даже в стихосложении автор придерживается старой английской традиции: аллитерация только слегка нарушается рифмованными окончаниями, уподобления вполне напоминают несколько естественных сравнений Кедмона, сцены битв рисуются с той же простой и грубоватой веселостью. Нельзя считать простой случайностью, что английский язык возродился в литературе как раз накануне великой борьбы между нацией и королем. Искусственные формы жизни, наложен-

ные завоеванием, спали с народа и его литературы, и новая Англия, одухотворенная кельтской живостью де Манна и нормандской смелостью Жеральда, восстала на борьбу с Иоанном.

Глава II Иоанн (1204—1215)

«Как ни гнусен ад, но и его запятнало появление гнусного Иоанна». Ужасный приговор современников короля заменился трезвым судом истории. С внешней стороны Иоанн отличался живостью, проницательностью, веселостью, любезностью в обращении — характерными чертами своего рода. Злейшие враги признавали, что он упорно и постоянно занимался администрацией. Он любил ученых людей вроде Жеральда Уэльского. У него был странный талант приобретать дружбу мужчин и любовь женщин. Но в нравственном отношении Иоанн был действительно худшим представителем анжуйцев. Их наглость, эгоизм, необузданное распутство, жестокость, деспотичность, бессовестность, суеверность, циничное равнодушие к вопросам чести и правды сливались у него в одну массу гнусностей. Уже в детстве он с грубым легкомыслием рвал бороды у ирландских вождей, явившихся признать его своим повелителем. Своей неблагодарностью и вероломством он свел в могилу отца. По отношению к брату он оказался гнуснейшим изменником. Весь христианский мир считал его убийцей своего племянника Артура Бретонского. Он разошелся с одной женой и изменил другой. Его казни отличались утонченной жестокостью: он морил голодом до смерти детей, давил стариков свинцовыми колпаками. Его двор был чуть ли не публичным домом, где ни одна женщина не была гарантирована от королевской похоти, а его цинизм любил разглашать позор его жертв. Он был столько же труслив в суеверии, сколько смел в нечестии. Он смеялся над священниками, поворачивался спиной к алтарю во время обедни, даже среди торжеств своей коронации, и в то же время он никогда не отправлялся в путешествие, не повесив на шею ладанки с мощами. Но вместе с чрезвычайной порочностью он наследовал и великие таланты своего рода, составленный им план для освобождения Шато-Гайара, быстрый марш к Мирбо, разбивший надежды Артура, обнаружили в нем отличные военные дарования. По широте и быстроте своих политических планов он далеко превосходил политиков своего времени. В течение всего царствования он быстро оценивал трудности своего положения и был неистощим в придумывании средств для борьбы с ними. Разрушение его материковой держа-

вы только побудило его к образованию большого союза, чуть не доведши Филиппа до гибели, а на внезапное восстание всей Англии он отвечал заключением позорного союза с папством. Более внимательное изучение истории Иоанна устраняет обвинения в лености и неспособности, которыми люди старались объяснить глубину его падения. Грозный урок его жизни заключается в том, что не слабый и беспечный распутник, а напротив, смелый способный и бессовестный из анжуйцев лишился Нормандии, стал в салом папы и погиб в отчаянной борьбе с английской свободой.

Вся энергия короля направилась сначала на возвращение утраченных им владений на материке. Он нетерпеливо собирал деньги и людей для поддержки приверженцев Анжуйского дома в Пуату и Гиени, еще боровшихся с французами, и собрал летом 1205 г. армию в Портсмуте, как вдруг исполнение его плана было остановлено решительным сопротивлением примаса и Уильяма Маршала, графа Пемброка. Бароны и церковь были так сильно унижены его отцом, что эта оппозиция их представителей указала Иоанну на появление нового духа национальной свободы. Король тотчас приготовился к борьбе с ней. Смерть Губерта Уолтера через несколько недель после его протеста, казалось, давала возможность королю ослабить оппозицию церкви, поставив во главе ее одну из своих креатур. По его настоянию кентерберийские монахи выбрали примасом епископа Норичского Джо Грея; между тем на предварительном, хотя и неофициальном, собрании уже был избран их субприор Реджинальд. Соперники поспешили апеллировать в Рим; результат их апелляции поразил как их, так и короля. Сидевший в это время папский престол Иннокентий III провел далее, чем кто-либо из его предшественников свои притязания на верховенство над христианством; после тщательного исследования дела он кассировал спорных избрания. Решение, вероятно, было справедливое, но Иннокентий на этом не остановился: из любви к власти, или как можно думать, рассчитывая на свободные выборы в самой Англии, он приказал явившимся к нему монахам избрать в его присутствии архиепископом Стефана Лантона. Лучшего выбора нельзя было и сделать, потому что Стефан достоин звания кардинала единственно благодаря своей учености и святости жизни, а дальнейшие события поставили его в первые ряды английских патриотов. Но сам по себе шаг этот был нарушением прав и церкви, и король Король воспротивился позтому выбору Лантона, а на угрозы папы индиктом в случае недопущения Стефана до занятия кафедры отвечал, что вслед за интердиктом он выгонит из Англии духовенство и изувечит в итальянцев, которых ему удастся захватить в королевстве. Однако Иннокентий был не такой человек, чтобы отступать от своего намерения, и на

нец над Англией разразился интердикт. Во всей стране, за исключением немногих привилегированных орденов, прекратилось всякое богослужение, всякое совершение таинств, кроме крещения, замолкли церковные колокола, умершие оставались без погребения. Король отвечал на это конфискацией церковных земель, подчинением духовенства, вопреки его привилегиям, Королевским судом, частным оставлением без наказания наносимых церковникам обид: «Отпустите его, — сказал Иоанн, когда однажды к нему привели уэльсца, обвиняемого в убийстве священника, — он убил моего врага». Прошел год, прежде чем Иннокентий сделал дальнейший шаг: теперь он формально отлучил Иоанна от церкви, но и новая кара была встречена с таким же глумлением, как прежняя. Пять епископов бежали за море, всюду распространялось недовольство, но открыто никто не решался избегать отлученного короля. Архидьякон Норича, отказавшийся служить, был задавлен до смерти свинцовым колпаком, и этого намека было достаточно, чтобы отбить охоту у прелатов и баронов следовать его примеру. Король стоял одиноко, бароны чуждались его, а церковь была против него, и тем не менее его власть казалась несколько не поколебленной. С первых же дней своего царствования он оскорблял баронов: данное им при восшествии на престол обещание загладить несправедливости своего брата осталось неисполненным, а когда просьба была повторена, он ответил на нее захватом их замков и взятием их детей в заложники их верности. Издержки его бесплодных военных попыток покрывались новыми тяжелыми налогами, а распри с церковью и боязнь восстания только усилили угнетение баронов. Он отправил в изгнание одного из самых могущественных маркграфов — де Браоза, а его жену и внуков, как говорили, заморил голодом в королевских тюрьмах. Баронам, еще оставшимся из страха при дворе отлученного от церкви короля, он наносил оскорбления, хуже самой смерти: незаконные вымогательства, захват замков, явное предпочтение чужестранцев — все это было бы еще пустяками сравнительно с покушениями на честь жен и дочерей баронов. Они все еще покорялись, и могущество короля проявилось в той быстроте, с какой он подавил восстание баронов в Ирландии и возмущение в Уэльсе. Одно только средство оставалось в руках Иннокентия: отлученный от церкви король переставал быть христианином или иметь право на верность христианских подданных. Как духовный глава христианского мира папа присвоил себе право лишать такого короля престола и передавать его другому, более достойному; и Иннокентий наконец счел за нужное воспользоваться этим правом. Он издал буллу о низложении Иоанна, объявил против него крестовый поход и поручил исполнение своего приговора Филиппу Французскому. Иоанн и эту буллу встретил с

прежним презрением: он позволил даже папскому легату кардиналу Пандульфу провозгласить его низложение в собственном присутствии в Нортгемптоне. Затем он собрал огромную армию на Бергемских холмах, а английский флот, переплыв пролив, захватил много французских кораблей сжег Дьепп и тем устранил всякую опасность вторжения.

Не в одной только Англии проявлял Иоанн свою силу и деятельность. При всей своей низости он обладал в высокой степени политической ловкостью своего дома и выказал себя равным отцу в тех дипломатических уловках, которыми он старался предотвратить опасность со стороны Франции. Баронов Пуату он уговорил напасть на Филиппа с юга; на севере он купил деньгами помощь графа Фландрского. Германский король Оттон обязался привести немецкую конницу для поддержки вторжения во Францию. Среди таких дипломатических успехов Иоанн внезапно пошел на уступки. Отказаться от презрительного отношения заставило его на деле обнаружение внутренней опасности. Булла о низложении ободрила всех его врагов. Шотландский король вступил в сношение с Иннокентием; только что усмиренные уэльские князья снова подняли оружие. Иоанн перевешал их заложников и собрал войско для нового вторжения в Уэльс, но собранная им армия стала только новым источником опасностей. Не будучи в состоянии противиться открыто, бароны почти поголовно вступили в тайные заговоры; многие из них обещали помощь Филиппу в случае его высадки. Увидев себя окруженным тайными врагами, Иоанн спасся только поспешным роспуском войска и бегством в ноттингемский замок. Ни смелая самоуверенность, ни дипломатическая ловкость не могли дольше скрывать от него его полной изолированности. Находясь в войне с Римом, Францией, Шотландией, Ирландией и Уэльсом, враждуя с церковью, король вдруг увидел, что ему изменяет единственная сила, еще остававшаяся в его распоряжении. С отличавшей его стремительностью он пошел на уступки. Прощением штрафов он попытался вернуть себе расположение народа. Он поспешно завел с папой переговоры, согласился принять архиепископа и обещал возратить отнятые у церкви деньги. Бессовестная изворотливость короля особенно проявилась в его решении привлечь немедленно на свою сторону Рим, обратить его духовное оружие против своих врагов и воспользоваться им для разрушения составившегося против него союза. Его изменчивый характер имел в виду только непосредственные выгоды. 15 мая 1213 г. он преклонил колена перед папским легатом Пандульфом, передал свое королевство папскому престолу, получив его назад уже в качестве лена, присягнул на верность и подданство папе, как своему сюзерену.

В последующее время полагали, будто вся Англия затрепетала от негодования при известии об этом неслыханном прежде национальном позоре. «Он сделался папским слугой; он отказался от самого звания короля; из свободного человека он добровольно стал рабом», — говорят, роптала вся страна. Однако в свидетельствах современников мы находим мало следов подобного настроения. Как политическая мера, подчинение Иоанна сопровождалось полным успехом. Французская армия тотчас разошлась в бесчисленной ярости, а когда Филипп двинулся на поднятую против него Иоанном Фландрию, то пятьсот английских кораблей под командой графа Солсбери напали на флот, сопровождавший его армию вдоль берега, и нанесли ему решительное поражение. Давно составленная Иоанном лига наконец проявила свою деятельность. Сам король отправился в Пуату, собрал вокруг себя тамошнее дворянство, перешел победоносно Луару и отбил Анжер, родину своего дома. В то же время Оттон, подкрепив свои силы фландрским и булонским рыцарством и отрядом англичан, угрожал Франции с севера. Филипп казался погибшим, а между тем от исхода этой борьбы зависела и судьба английской свободы. В этот критический момент Франция оказалась верной себе и своему королю: из всех французских городов жители спешили на выручку Филиппу, священники вели свою паству на битву с церковными хоругвями впереди. Обе армии встретились близ Бувинского моста, между Лиллем и Турне, и с самого начала счастье повернулось к союзникам спиной: первыми пустились в бегство фламандцы; потом были опрокинуты в центре массами французов немцы; наконец, правое крыло, где стояли англичане, было прорвано энергичной атакой епископа Бовэ*, напавшего с палицей в руке и повергнувшего наземь графа Солсбери. Вести об этом поражении дошли до Иоанна среди его успехов на юге и развеяли по ветру все его надежды. Бароны Пуату тотчас же покинули его, и только быстрое отступление позволило ему вернуться расстроенным и униженным в свое островное королевство.

Своей Великой хартией Англия обязана поражению при Бувине. С момента подчинения папе Иоанн лишь отложил мщение баронам до времени победоносного возвращения из Франции. Сознание грозившей им опасности побудило баронов к сопротивлению: сначала они отказались следовать

* Филип де Дрё, граф-епископ Бовэ (ок. 1153—1217), принц Французского королевского дома (внук французского короля Людовика VI). Этот прелат отличился особой воинственностью и был доблестным рыцарем: участвовал в войнах в Палестине против сарацинов, в походах против альбигойцев (представителей еретического вероучения, распространенного на юге Франции), воевал с англичанами. Палицей он сражался, потому что церковь запрещает своим служителям пролитие крови, а палицей он просто оглушал своих противников.

за королем в заграничный поход до снятия с него отлучения, а когда оно было снято, они отказались снова под предлогом, что они не обязаны служить вне королевства. Как он ни был взбешен новым сопротивлением, но для мести время еще не пришло, и Иоанн отправился в Пуату, мечтая о большой победе, которая сразу повергнет к его ногам и Филиппа, и баронов. Когда он возвратился в Англию после поражения, то нашел баронов уже не в тайном заговоре, а в открытом союзе с определенным требованием закона и свободы. Руководителем этой великой перемены явился новый архиепископ, возведенный Иннокентием на кафедру в Кентерберии. С момента приезда в Англию Стефан Лангтон занял обычное положение примаса в качестве защитника древних английских порядков и закона против деспотизма королей. Как Ансельм боролся с Вильгельмом Рыжим, как Теобальд избавил Англию от беззаконий Стефана, так Лангтон решил сопротивляться и спасти страну от тирании Иоанна. Он уже заставил короля обещать соблюдение «законов Исповедника» — выражение, включающее все национальные вольности. Когда бароны отказались от похода в Пуату, он побудил короля решить вопрос не оружием, а судебным порядком. Однако не довольствуясь этим сопротивлением отдельным случаям тирании, архиепископ стремился восстановить древнюю английскую свободу на формальном основании. Обязательства Генриха I были давно забыты, когда юстициарий Жоффри Фиц-Петер извлек их на свет на собрании, происшедшем в Сент-Олбансе. Тут юстициарий от имени короля обещал на будущее время хорошее управление и запретил всем королевским чиновникам под страхом смерти и изувечения всякие вымогательства. Он гарантировал королевский мир всем тем, кто прежде противился Иоанну, и обязал всех жителей страны соблюдать законы Генриха I. Лангтон сразу понял всю важность такого прецедента. На новом собрании баронов у Св. Павла он прочел хартию Генриха I, и она была тут же принята за основание необходимых реформ. Все зависело, однако, от исхода французской кампании. Поражение при Бувине ободрило противников Иоанна, и после возвращения короля бароны устроили тайное собрание в Сент-Эдмундсбери и поклялись требовать от него, если понадобится силой оружия, восстановления своих вольностей особой хартией за королевской печатью. В начале января 1215 г. они явились вооруженные перед королем и предъявили ему свои требования. Несколько следующих месяцев убедили Иоанна в бесплодности всякого сопротивления: бароны и духовенство были одинаково вооружены против него, а комиссары, посылаемые им для защиты его дела на собраниях графств, возвращались с известиями, что ни один человек не станет ему помогать в борьбе против хартии. На Пасху бароны снова со-

брались вооруженные в Брекли и повторили свои требования. «Почему они не требуют у меня моего королевства?!» — воскликнул в припадке гнева Иоанн, но при его отказе вся страна восстала, как один человек. Лондон отворил свои ворота войскам баронов, собравшимся теперь под командой Роберта Фиц-Уолтера, как «маршала армии Бога и Святой Церкви». Примеру столицы последовали Экзетер и Линкольн; Шотландия и Уэльс обещали со своей стороны помощь; северные бароны поспешно шли на соединение со своими товарищами в Лондоне. Был момент, когда у Иоанна оставалось только семь рыцарей, а против него стояла под оружием вся страна. Он призвал наемников, апеллировал к своему сюзерену, папе, но все было поздно. Тогда, затаив гнев в сердце, тиран подчинился необходимости и созвал баронов на совещание в Реннимиде.

Глава III Великая хартия (1215—1217)

Местом для совещания был выбран остров на Темзе между Стенсом и Виндзором; король расположился на одном берегу, бароны — на другом, в той болотистой низине, которая и теперь известна под именем Рённимид. Уполномоченные обеих сторон сошлись на острове, но переговоры служили простым прикрытием для безусловного подчинения Иоанна. Великая хартия была рассмотрена, принята и подписана в один день.

Одна из копий ее, хотя и поврежденная временем и огнем, но с сохранившейся на почерневшем и сморщенном пергаменте королевской печатью, хранится и поныне в Британском музее. Невозможно смотреть без почтения на древнейший памятник английской вольности, который мы можем видеть своими глазами и осязать своими руками и на который патриоты последующих веков смотрели, как на основу английской свободы. Но сама по себе хартия не была новшеством и не претендовала на установление каких-либо новых конституционных начал. В основе ее лежала хартия Генриха I, а добавления к ней представляли собой большей частью формальное признание юридических и административных реформ Генриха II. Но неопределенные выражения прежней хартии были заменены точными и отчетливыми постановлениями. Признанное прежней хартией английское обычное право оказалось слишком слабым для обуздания анжуйцев, и бароны заменили его теперь ограничениями писаного закона. В этом смысле хартия представляет собой переход от эпохи традиционных прав, сохранившихся в народной памяти и официально провозглашенных примасом, к

последующему веку писаного закона, парламентов и статут. Церковь проявила свою способность к самозащите в борьбе из-за интердикта, и статья хартии, которой признаются ее права, единственная из всех удержала свою древнюю и общую форму. Но всякая неопределенность тотчас же исчезает, как только хартия переходит к определению прав англичан вообще на правосудие, на личную и имущественную безопасность, на хорошее управление: «Ни один свободный человек, — гласит приснопамятная статья хартии, легшая в основу всей нашей судебной системы, — не может быть арестован, посажен в тюрьму, лишен имущества, объявлен вне закона или разорен каким бы то ни было способом, иначе как по законному приговору своих пэров (равных) или на основании законов страны»; «Ни одному человеку, — гласит другая статья, — мы не будем продавать или отказывать, или отсрочивать право или правосудие». Великие реформы предшествовавшего царствования были теперь формально признаны: ассизные судьи были обязаны объезжать свои округа четыре раза в год; Королевский суд должен был заседать в определенном месте, а не сопровождать, как это делалось прежде, короля в его поездках по государству. Но отказ правосудия был мелочью сравнительно с вопиющими финансовыми злоупотреблениями, практиковавшимися при Иоанне и его предшественнике Ричард увеличил размер введенного Генрихом II щитового сбора и воспользовался им для сбора средств на свой выкуп. Он восстановил под именем «плужного сбора» так часто уничтожавшиеся «датские деньги», или поземельный налог, захватывал шерсть цистерцианцев и церковную утварь и облагал налогами не только землю, но и движимость. Иоанн снова возвысил щитовой сбор, вводил сборы, штрафы и выкупы по своему усмотрению, без совещания с баронами. Великая хартия устранила это злоупотребление, установив порядок, на котором зиждется наш конституционный строй. За исключением трех обычных феодальных сборов, оставленных ею за короной, «ни один налог не может быть взимаем в нашем королевстве без согласия совета королевства», на который прелаты и крупные бароны должны быть приглашаемы специальными уведомлениями (writ), а прочие вассалы короля — через шерифов и бальи, не менее как за сорок дней до того. Статья, вероятно, только излагала общий обычай королевства, но это изложение обратило обычай в национальное право, притом настолько важное, что на него опирается вся наша парламентская жизнь.

Тех прав, которых бароны домогались для себя, они требовали и для всей нации. Благо свободного и неподкупного правосудия было благом для всех, но особенное постановление охраняло бедняка. Штраф с фримена за совершенное им преступление не мог затрагивать его земли, с купца — его

товаров, с крестьянина — его земледельческих орудий. Даже у виновного должны были оставаться средства для поддержки существования. Подвассалы или арендаторы гарантировались хартией от незаконных вымогательств их лордов в тех же выражениях, в каких сами лорды гарантировались от вымогательств короны. Городам было обеспечено пользование их муниципальными привилегиями, свободой от произвольного обложения, их правами суда, общего совещания, регулирования торговли: «Пусть город Лондон пользуется всеми своими старыми вольностями и свободой от податей как на суше, так и на воде. Сверх того, мы желаем и дозволяем, чтобы все остальные города, местечки и порты пользовались всеми вольностями и свободой от податей». Влияние торгового класса заметно в двух других постановлениях, из которых одно гарантирует иностранным купцам свободу передвижения и торговли, а другое устанавливает для всего государства единство мер и весов. Оставался только один вопрос, и притом самый трудный, как обеспечить порядок, вводимый хартией в управление королевством. Непосредственные злоупотребления были легко устранены; заложники были возвращены по домам, иностранцы изгнаны из страны. Труднее было найти средства для контроля над королем, которому никто не доверял. Для этого был избран совет из двадцати пяти баронов, обязанный наблюдать за исполнением хартии Иоанном, с правом объявлять королю войну в случае нарушения ее постановлений. Наконец, хартия была распубликована по всей стране, и ей, по повелению короля, присягнули все сотенные и общинные собрания.

«Они поставили надо мной двадцать пять опекунов», — кричал в припадке ярости Иоанн, катаясь по полу и грызя от бессильной злобы ветви и солому. Но ярость скоро сменилась у него интригами, на которые он был такой мастер. Через несколько дней он покинул Виндзор и несколько месяцев провел на южном берегу в ожидании известий о помощи, которой он просил у Рима и на материке Европы. Недаром же он сделался вассалом Рима. В то время как Иннокентий мечтал об обширной христианской империи, глава которой, папа, следил бы за соблюдением начал права и веры государями, Иоанн рассчитывал на то, что поддержка папы позволит ему править так самовластно, как он захочет, и что папские громы будут всегда к его услугам. Его посланники уже действовали в Риме, и Иннокентий, раздраженный тем, что вопрос, подлежавший решению его, как сюзерена, был разрешен вооруженным восстанием, уничтожил Великую хартию и отставил Стефана Лангтона от исполнения его обязанностей как примаса. Осенью под знамя короля прибыл из-за моря отряд иноземных наемников, и король двинулся на расстроенные силы баронов, голодом принудил Рочес-

тер к сдаче и пошел далее на север, опустошая все центральные графства, и то время как наемники рассыпались, подобно саранче, по всей стране. Из Бервика торжествующий король повернул назад — наказал своих врагов в Лондоне, на который, как и на баронов, папа наложил в это время новые отлучения. Но лондонцы насмеялись над Иннокентием: «Решение светских дел не касается папы», — сказали они, и эти слова представляются как бы предвестием грядущего лоллардизма. По совету брата архиепископа Симона Лангтона, колокола продолжали звонить, и богослужение совершалось по-прежнему. Тем не менее недисциплинированной милиции сельских городов невозможно было справиться с регулярными войсками короля, и бароны в отчаянии обратились за помощью к королю Франции. Филипп давно уже ждал случая отомстить Иоанну, и его сын Людовик тотчас принял корону, несмотря на папские отлучения, и высадился с значительной армией в Кенте. Как и предвидели бароны, служившие в войске Иоанна французские наемники отказались сражаться против своего короля, и положение дел быстро изменилось. Покинутый большей частью войск Иоанн был вынужден поспешно отступить к границам Уэльса, а его соперник вступил в Лондон и принял присягу большей части Англии. Один только Дувр упорно держался против Людовика. Рядом быстрых маневров Иоанну удалось расстроить планы баронов и отстоять Линкольн; затем, после короткой остановки в Линне, он перешел Уаш и снова двинулся на север. Но на этом переходе его армия была захвачена приливом, унесшим королевский обоз вместе с казной. Растерявшийся король схватил лихорадку в аббатстве Суайнесхед; болезнь усилилась, благодаря его обжорству, и он вступил в Ньюарк только для того, чтобы умереть.

Смерть Иоанна полностью изменила положение дел: его сыну Генриху было всего девять лет, и королевская власть перешла в руки одного из великих английских патриотов графа Уильяма Маршала. Едва только Генрих был коронован, как Маршал и папский легат издали от его имени ту самую хартию, против которой до самой смерти боролся его отец. Только статьи, касавшиеся обложения и созыва парламента, были пока объявлены недействительными. Тогда бароны быстро стали покидать лагерь Людовика: против него сильно говорило национальное чувство и боязнь измены; в то же время сострадание, возбужденное малолетством и беспомощностью Генриха, усиливалось сознанием того, что несправедливо взваливать на ребенка ответственность за проступки отца. Одним смелым ударом Уильям решил исход борьбы. Соединенная армия французов и английских баронов под командой графа де Перша и Роберта Фиц-Уолтера осадила Линкольн, когда на освобождение его двинулся Маршал, поспешно собрав войска из

королевских замков. Стесненные в крутых и узких улицах и атакованные одновременно Маршалом и гарнизоном, бароны в отчаянии бежали. Граф де Перш пал на поле битвы, Роберт Фиц-Уолтер был взят в плен. Людовик, в это время осаждавший Дувр, отступил к Лондону и послал за помощью во Францию. Но еще более тяжелое поражение сокрушило его последние надежды. Небольшой английский флот, вышедший из Дувра под командой Губерта де Борга, смело напал на подкрепления, переправлявшиеся под охраной известного тогда на Ла-Манше пирата Эсташа Монаха. Это сражение наглядно выясняет особенности морской войны того времени. С палуб английских кораблей стрелки пускали стрелы в массу транспортных судов, другие бросали неприятелям в лицо известь, а более подвижные суда своими острыми носами пробивали бока французских кораблей. Искусство моряков Пяти Портов одержало верх над численным превосходством противников, и флот Эсташа был совершенно разбит. Королевская армия тотчас двинулась на Лондон, но борьба, в сущности, была кончена. По договору в Ламбете Людовик обещал удалиться из Англии за уплату суммы, которой он требовал, как долга. Его сторонникам возвращалось их имущество, вольности Лондона и других городов подтверждались, пленники с обеих сторон выпускались на свободу. Изгнание чужеземца позволило английским политикам вернуться к делу реформы, а новое издание хартии, хотя и в измененной форме, ясно указывало на характер и политику графа Маршала.

Глава IV

Университеты

От политических бурь обратимся теперь к более спокойному, но не менее важному перевороту, со времени которого ведет свое начало наше национальное образование. С царствования Генриха III английские университеты начинают оказывать заметное влияние на духовную жизнь страны. О первоначальной истории Кембриджа мы знаем очень мало, или вернее ничего, но зато мы можем проследить первые шаги Оксфорда на пути к духовному возвышению. Учреждение высших школ было всюду в Европе частным результатом влияния, оказанного Крестовыми походами. На Западе, при столкновении его с более культурным Востоком, появилось новое стремление к образованию. Путешественники, вроде Абеяра Батского, приносили из школ Кордовы и Багдада первые начатки физических и математических наук. В XII в. классическое возрождение снова сделало

Цезаря и Вергилия предметом изучения в монастырских школах и наложило свою печать на педантичный стиль и частые классические цитаты у таких писателей, как Вильгельм Мальмсберийский или Иоанн Солсберийский. В школах Парижа появилась схоластическая философия, а изучение римского права было возобновлено болонскими юристами. Долгая умственная неподвижность феодальной Европы исчезла как лед под лучами летнего солнца. Странствующие учителя вроде Ланфранка или Ансельма переезжали моря и горы с целью распространения новой силы знания. Тот же дух тревоги, исследования, недовольства старыми формами жизни, который увлек половину христиан к Гробу Господню, покрыл дороги тысячами юношей, спешивших в те города, где собирались наставники. Среди мира, доселе признававшего лишь грубую силу, явилась новая власть. Бродячие учителя были бедны, принадлежали иногда даже к рабскому классу, но толпы, собиравшиеся у ног их почти в каждом монастыре, называли их «господами», наставниками (masters). Абельяр был противником, достойным угроз соборов, громов церкви. Учение простого ломбардца получило в Англии такое значение, что навлекло на себя королевское запрещение. Вакарый был, вероятно, гостем при дворе архиепископа Теобальда, где Бекет и Иоанн Солсберийский уже занимались изучением гражданского права; но когда он открыл по этой науке лекции в Оксфорде, то Стефан, враждовавший тогда с церковью и завидовавший тому влиянию, какое упадок королевской власти доставил Теобальду, велел тотчас их прекратить.

Ко времени прибытия Вакария Оксфорд был одним из самых значительных городов Англии. Его городская церковь Св. Мартина высилась среди массы скученных домов, которые были обнесены массивными городскими стенами, построенными на сухой почве низкого полуострова, образуемого реками Черуэль и Верхней Темзой. К востоку и западу местность постепенно понижалась; к югу крутой спуск вел через болотистые луга к городскому мосту. Местность вокруг города была дикая, лесная. По течению Темзы тянулись болота, большие леса замыкали горизонт с юга и востока. Две высокие башни нормандского замка указывали на стратегическое значение Оксфорда, командовавшего над долиной реки, по которой преимущественно шла торговля Южной Англии, но стены города служили для него гораздо меньшей защитой, чем окружавшие его со всех сторон, кроме севера, болотистые луга и запутанная сеть протоков, на которые делится Темза в лугах Оснея. Среди этих лугов возвышалось аббатство августинских каноников, которое вместе с более древним приорством Св. Фридуайда придавало городу некоторое церковное значение. Пребывание в замке нормандских баронов д'Ольи, частые посещения английскими коро-

лями их дворца за городскими стенами, нередкое созвание в Оксфорде важных собраний — все это указывало на политическое значение его в государстве. Устройство в самом центре города одного из богатейших еврейских кварталов Англии указывало на его оживленную торговлю. Оксфорд служит лучшим показателем того, какой переворот произошел в стране при нормандских владельцах, как внезапно развилась в ней промышленная деятельность, быстро расширилась торговля, увеличилось богатство в эпоху, следовавшую за завоеванием. К западу от города возвышался один из величественнейших в Англии замков, а в лугах ниже по течению — не менее величавое аббатство Осней. На полях, к северу от города, последний из нормандских королей построил свой Бомонский дворец. Каноники Св. Фридуайда построили церковь, существующую и поныне, как кафедральный собор, а набожные нормандские кастеляны перестроили почти все приходские церкви города и устроили в стенах нового замка храм каноников Св. Георгия.

Мы ничего не знаем о причинах, привлечших студентов и преподавателей в стены Оксфорда. Возможно, что здесь, как и в других местах, какой-нибудь новый учитель оживил прежние учебные заведения и что в монастырях Осней и Св. Фридуайда имелись уже школы, получившие более широкое значение под влиянием Вакария. Пока, однако, успехи Оксфордского университета затмевались славой Парижского. Английские студенты собирались тысячами вокруг кафедр Шампо или Абеяра. Англичане составляли одну из «наций» французского университета. Иоанн Солсберийский прославился как один из парижских преподавателей. Бекет перешел в Париж из своей мертонской школы. В мирное царствование Генриха II численность и репутация университета тихо возросла. Через сорок лет после посещения Вакария научное значение Оксфорда вполне установилось. Когда Жеральд Уэльский читал его студентам свою топографию Ирландии, самые ученые и славные члены английского духовенства присутствовали, по словам автора, в его стенах. В начале XIII в. Оксфорд уже не имел себе соперников в Англии, а по европейской известности соперничал с величайшими школами западного мира. Но чтобы представить себе этот старый Оксфорд, мы должны выбросить из головы все воспоминания об Оксфорде современном. Во внешности старого университета совсем не было того великолепия, которое поражает теперь нового человека, когда он в первый раз идет по «верху» (High) или смотрит вниз с галереи Св. Марии. Вместо длинных рядов величавых коллегий и красивых аллей из древних вязов, история приводит нас в узкие и грязные улицы средневекового города. Тысячи юношей, скупенных в простых меблированных комнатах, тол-

пьящихся на папертях церквей и в передних домов, вокруг наставников столь же бедных, как и они сами, пьяных, ссорящихся, играющих в кости, просящих милостыню на углах улиц, занимают место докторов и тьюторов в разноцветных мантиях. Мэр и канцлер тщетно старались водворить мир и порядок среди этой буйной и шумной молодежи. Приходившие в университет с молодыми господами слуги разрешали на улицах распри своих домов. Студенты из Кента и студенты из Шотландии продолжали и здесь ожесточенную борьбу юга с севером. По ночам кутили бродили с факелами по тесным улицам, задевая полицию и избивая горожан у дверей их домов. Сегодня толпа студентов бросалась на еврейский квартал и разграблением одного-другого еврейского дома погашала свои денежные счета. Завтра в таверне студент затевал с горожанином ссору, которая переходила в общую свалку, и академический колокол Св. Марии и городской Св. Мартина наперебой призывали жителей к оружию. Каждый церковный спор или политический вопрос всегда начинался каким-нибудь взрывом в этой буйной, мятущейся толпе. Когда Англия стала роптать на папские вымогательства, студенты осадили легата в доме оснейского аббата. «Войне баронов» предшествовал ряд кровавых столкновений горожан и студентов: «Когда Оксфорд вынимает нож, — гласила старая поговорка, — в Англии скоро начнется резня».

Но буйства и волнения служили только выходом для избытка жизненных сил. Горячее стремление к знанию и поэтическая набожность собирали толпы юношей вокруг беднейшего учителя и заставляли их горячо приветствовать босоногого монаха. В это время появился в Оксфорде Эдмунд Рич, впоследствии архиепископ Кентерберийский и признанный святым, а тогда двенадцатилетний мальчик из глухого закоулка в Абингдоне, носящего и теперь его имя. Сначала он учился на подворье Эйншемского аббатства, в которое удалился от мира его отец. Его мать была благочестивой женщиной, но до того бедная, что не могла дать сыну много вещей, кроме волосяной рубашки, которую он обещал носить каждую среду; но Эдмунд был не беднее своих соседей. Он сразу погрузился в духовную жизнь Оксфорда с его жаждой знания и мистической набожностью. Тайно, быть может вечером, когда в церкви Св. Марии мрак сгустился, а толпа учителей и студентов удалилась из ее боковых приделов, мальчик стал перед изображением св. Девы и, надев ей на палец золотое кольцо, обручился с ней навеки. Прошли годы учения, прерываемого эпидемиями, свирепствовавшими в густонаселенном грязном городе, наступило время закончить свое образование в Париже, и вот Эдмунд вместе со своим братом Робертом отправляются, собирая по дороге милостыню — дело обычное в то время для бед-

ных студентов, в великую школу западного христианства. Здесь одна девушка, не обращая внимания на тонзуру Эдмунда, стала за ним так упорно ухаживать, что он, наконец, согласился на свидание, но явился на него в сопровождении важных чиновников академии, которые, как объявила потом в час раскаяния девушка, «тотчас же выбили из нее первородный грех Евы». Все еще верный своей девственной невесте, Эдмунд по возвращении из Парижа сделался самым популярным из оксфордских наставников. Ему обязан Оксфорд первым знакомством с логикой Аристотеля. Мы живо представляем себе его в маленькой комнатке, нанимаемой им рядом с капеллой Св. Девы, в сером, доходящем до пола плаще, аскетически набожным, засыпающим во время лекции, вследствие бессонной, проведенной в молитве ночи, но несмотря на то, с изящными и любезными манерами, говорившими о его французском воспитании, и с рыцарской любовью к знанию, позволявшей ученикам платить, что они захотят. «Прах к праху», — говорил юный наставник с ученой гордостью, к которой примешивалось презрение к мирским благам, бросая плату на пыльный подоконник, с которого иногда ее утаскивал вороватый студент. Но и наука приносила свои волнения; Ветхий Завет, вместе со списком Декреталий долго составлявший всю его библиотеку, стоял в противоречии с той любовью Эдмунда к светской науке, от которой ему трудно было освободиться. Однажды, в час дремоты, фигура его покойной матери проникла в комнату, где наставник стоял среди своих математических чертежей. «Что это такое?» — почудилось, спросила она и, схватив Эдмунда за правую руку, начертила на его ладони три пересекающихся круга, из которых каждый носил имя одного из лиц Святой Троицы. «Да будут они отныне твоими чертежами, сын мой», — сказала видение и исчезло.

Этот рассказ прекрасно выясняет настоящий характер новой науки и скрытое противоречие между стремлениями университетов и стремлениями церкви; появившаяся неожиданно среди клерикального и феодального строя средневекового мира новая сила грозила одновременно и феодализму, и церкви. В основе феодализма лежала местная обособленность, отделение одного королевства от другого, одной баронии от другой, различия людей по крови и племени, господство грубой материальной силы, подчинение, определяемое случайностью места и общественного положения. Университет, с другой стороны, был протестом против такого отчуждения человека от человека. Самая незначительная школа была школой европейской, а не местной. Не только всякая провинция Франции, но всякий христианский народ имел своих представителей среди «наций» Парижского или Падуанского университетов. Латинский язык, ставший общим языком

науки, заменил собой в школах враждующие языки новой Европы. Общественное родство и соперничество в интеллектуальной жизни заменило мелкие распри провинций и целых государств. Объединение западных народов в одно великое целое — цель, к которой безуспешно стремились и империя, и церковь, — была на время осуществлена университетами. Данте чувствовал себя так же дома в Латинском квартале вокруг горы Св. Женевьевы, как и под арками Болоньи. Странствующие оксфордские ученые заносили сочинение Уиклифа в библиотеки Праги. В Англии слияние провинций представлялось делом менее трудным или важным, чем где бы то ни было, но даже и там его нужно было осуществить. Столкновения северян и южян, так долго нарушавшие порядок в Оксфорде, во всяком случае, указывали на то, что эти враждебные друг другу элементы сошлись, наконец, на его улицах. Здесь, как и в других центрах, дух национального обособления был ослаблен широтой стремлений университета в XIII в., нормандцы и гасконцы встретились с англичанами в аудиториях Оксфорда. Позднее, в эпоху восстания Оуэна Глендауэра, вокруг оксфордских профессоров собрались сотни уэльских юношей. В этой разнородной массе общество и правительство были основаны на чисто демократических началах. Среди оксфордских студентов сын дворянина считался совершенно равным беднейшему нищему. Богатство, физическая сила, искусство владеть оружием, гордость предками и кровью — настоящие основы феодального общества считались ни за что в аудиториях. Университет составлял вполне самостоятельную корпорацию, доступ в которую открывали только чисто интеллектуальные особенности. Только знание делало в них человека магистром. Единственное право человека быть ректором школы составляло его большее, чем у товарищей, знание; среди этой интеллектуальной аристократии все были равны. Когда свободная республика магистров собиралась в церкви Св. Марии, все пользовались одинаковым правом голоса при обсуждении и решении дел. Касса и библиотека находились в их полном распоряжении. Они сами избирали всех должностных лиц, предлагали и утверждали все университетские правила. Даже канцлер, их глава, сначала назначавшийся епископом, стал потом избираться корпорацией.

Если демократические стремления университетов были угрозой для феодализма, то их стремление к свободному исследованию грозило церкви. По внешнему виду они были чисто церковными корпорациями. Средневековый обычай придавал термину «духовное звание» такое широкое значение, что вводил в состав духовенства всех образованных людей. Профессора и студенты, каковы бы ни были их возраст и специальность, были одинаково клириками, свободными от контроля светских судов и подчинен-

ными управлению епископа и приговорам его духовных судов. Такой церковный характер университета отражался и на положении его главы. Канцлер, как мы видели, сначала даже не выбирался самим университетом, а назначался тем церковным учреждением, под тенью которого вырос университет. В Оксфорде канцлер был просто местным уполномоченным епископа Линкольнского, в огромной епархии которого находился тогда университет. Но это тождество внешних форм университета и церкви только еще ярче оттеняло различие их стремлений. Внезапное расширение пределов образования ослабило значение чисто церковных и богословских предметов, поглощавших до того всю духовную энергию человечества. Возрождение классической литературы, открытие великого мира древности, соприкосновение с более широкой и свободной жизнью — духовной, общественной и политической — ввело в область безусловной веры дух скептицизма, сомнения, отрицания. Абельяр провозгласил начало верховенства разума над верой. Флорентийские поэты с улыбкой обсуждали вопрос о бессмертии души. Даже Данте, осуждая их, считает Вергилия таким же святым, как Иеремию. Самый замечательный представитель нового просвещения, император Фридрих II, «чудо мира» своего времени, был в глазах половины Европы несколько не лучше «неверного». Слабое оживление естествознания, долго подавлявшегося всемогущим духовенством, как чародейство, привело христиан в опасное соприкосновение с мусульманами и евреями. Для Роджера Бэкона книги раввинов уже не были более «проклятыми писаниями»; Абельяр Батский уже не считал кордовских ученых «языческими свиньями». Как медленно и с какими препятствиями наука пролагала себе путь, показывает свидетельство Роджера Бэкона: «Медленно, — говорит он, — распространялись в латинском мире части философии Аристотеля. Его физика и метафизика, с комментариями Аверроэса и других, были переведены в мое время, но запрещены в Париже в 1237 г. за утверждение вечности мира и времени, за книгу об откровениях во сне (это третья книга *De Somniis et Vigiliis*) и за неправильный перевод многих мест. Даже его Логика медленно принимали и начинали изучать. Св. Эдмунд, архиепископ Кентерберийский, первый в мое время стал читать основания ее в Оксфорде. Я видел магистра Гуго, который впервые читал позднейшую аналитику, и видел его писания. Таким образом, немного было, если принять во внимание массу латинян — людей, сколько-нибудь знакомых с философией Аристотеля, совсем мало, а до настоящего 1292 г. даже едва ли кто».

Мы скоро увидим, как упорно боролась церковь против этого оппозиционного течения и как ей удалось с помощью нищенствующих орденов

снова подчинить себе университеты. Однако именно в рядах нового монашества духовный прогресс университетов нашел себе лучшего представителя. Жизнь Роджера Бэкона охватывает почти весь XIII в. Он был сыном изгнанного и разорившегося во время междоусобных войн роялиста, учился сначала в Оксфорде под руководством Эдмунда Абингдонского, которому и был обязан первым знакомством с сочинениями Аристотеля; отсюда он перешел в Парижский университет, где истратил все свое достояние на дорогие занятия и опыты: «С ранней юности, — писал он впоследствии, — я работал над изучением наук и языков, добиваясь дружбы всех тех людей среди латинян, которые были сколько-нибудь известны своими знаниями. Я побуждал юношей изучать языки, геометрию, арифметику, составление таблиц и устройство инструментов и многие другие необходимые вещи». На избранном им пути он натолкнулся на страшные затруднения. У него не было ни инструментов, ни средств для производства опытов: «Без математических инструментов нельзя овладеть ни одной наукой, — жаловался он впоследствии, — а инструментов этих нельзя найти у латинян и нельзя изготовить даже за две-три сотни фунтов. Кроме того, необходимы лучшие таблицы, на которых без особого труда отмечаются движения небесных светил от начала до конца мира, но такие таблицы стоят столько, сколько выкуп короля, и не могут быть составлены без огромных затрат. Я сам часто пытался составить такие таблицы, но не мог их кончить по недостатку средств и благодаря невежеству своих помощников». Доставать книги было трудно, а иногда и совсем невозможно: «Философские творения Аристотеля, Авиценны, Сенеки, Цицерона нельзя достать без больших затрат; главные произведения одних не переведены на латинский язык, списков других нельзя найти в обыкновенных библиотеках и даже нигде. Замечательное сочинение Цицерона *О государстве*, насколько мне известно, не оказывается нигде, хотя я разыскивал его повсеместно лично и через посланных. Я никогда не мог найти сочинений Сенеки, хотя тщательно искал их в течение двадцати лет и более. То же можно сказать относительно еще многих полезнейших книг, касающихся науки о нравственности». Только читая подобные заявления, можно составить себе понятие о страшной жажде знания, терпении и энергии Роджера Бэкона. Он вернулся в Оксфорд преподавателем и трогательное свидетельство его любви к ученикам сохранилось в рассказе о Джоне Лондонском, которого его способности возвысили над общим уровнем учеников Бэкона: «Когда он пришел ко мне бедным мальчиком, — говорит Роджер, рекомендуя его папе, — я стал кормить и учить его из любви к Богу, но особенно ввиду его способностей, невинности и никогда не виданного мною в юноше послушания. Пять или шесть лет

назад я побудил его заняться изучением языков, математики и оптики и обучал его сам даром с того времени, как получил ваше поручение. Нет и в Париже студента, который был бы так хорошо знаком с корнем философии, хотя он и не дал еще ветвей, цветков и плода по причине своей юности, а также неопытности в науке. Но он имеет возможность превзойти всех латинян, если доживет до старости и будет продолжать так, как начал».

Гордость, с какой Роджер говорит о методе своего обучения, оправдывается широкими размерами, которые он придал научному преподаванию в Оксфорде. Он говорит, вероятно, о себе, когда повествует нам, что «оптика до того не читалась ни в Парижском, ни в других западных университетах, а только два раза в Оксфорде». Сам он работал над этой наукой в течение десяти лет. Однако его преподавание, по-видимому, падало на бесплодную почву. С тех пор как нищенствующие ордена утвердились в университетах, схоластика поглотила всю духовную энергию научного мира. Дух времени не благоприятствовал научным или философским исследованиям. Прежний энтузиазм к знанию исчез; единственным средством проложить себе путь к почестям в церкви и государстве сделалось изучение права. Кредит философии был подорван, литература в ее высших формах почти исчезла. Сам Бэкон после сорока лет непрерывных занятий стал, по его собственному выражению, «безвестен, забыт и зарыт». По-видимому, одно время он имел средства, но скоро обеднел: «В течение двадцати лет, когда я, покинув обычный путь людей, старался усвоить себе мудрость, я издержал на такие занятия более двух тысяч фунтов, приобретая книги, материалы для опытов, приборы, таблицы, пособия для усвоения языков и тому подобное. Прибавьте к этому жертвы, ради приобретения дружбы ученых мужей и содействия образованных помощников». Разорившись и обманувшись в своих надеждах, Бэкон послушался совета своего друга Гросстета и отказался от мира. Он сделался монахом францисканского ордена, где на книги и ученые занятия смотрели как на отвлечения от главной задачи — проповеди среди бедных. Сначала он едва ли писал там что-нибудь, тем более что новые начальники запретили ему издавать что бы то ни было, под страхом потери книги и ареста на хлебе и на воде. Однако он с жадностью схватился за представившийся ему внезапно странный случай, и в этом видно стремление его ума к деятельности, тот страстный инстинкт творчества, который отличает гениальных людей. «Несколько глав о различных предметах, написанных по просьбе друзей», по-видимому, попали за границу, и один из капелланов обратил на них внимание Климента IV. Папа тотчас пригласил его писать. Но тут представились новые трудности. На материалы, переписку и прочее для задуманного им произведения нуж-

но было истратить, по крайней мере, семьдесят фунтов, а папа не прислал ни одной копейки. Бэкон обратился за помощью к семье, но она была не богаче его самого. Никто не хотел дать займы нищенствующему монаху, пока, наконец, друзьям не удалось достать нужную сумму под залог своего имущества в надежде, что Климент ее вернет. Но и это было еще не все: как ни было отвлеченно и научно по содержанию задуманное сочинение, но чтобы обратить на него внимание папы, ему надо было придать простую и популярную форму. Такие затруднения могли бы сокрушить другого, но в Бэконе они только вызвали почти нечеловеческую энергию. «Главное творение», представляющее фолиант убористой печати с его последующими перечнями и приложениями, которые составляют еще добрый том, было написано и отправлено к папе через пятнадцать месяцев.

На самой книге не осталось и следа этой лихорадочной поспешности. *Opus Majus* представляет собой сочинение замечательное как по плану, так и по исполнению. Главная цель Бэкона, по выражению Уэвелля, состояла «в доказательстве необходимости реформировать способ философствования, в указании причин, почему наука не сделала больших успехов, в обращении внимания на источники знания, несправедливо находившиеся в пренебрежении, в указании других источников, до того совершенно неизвестных, и в побуждении людей к занятию наукой ввиду приносимой ею громадной пользы». Свой план он выполняет в самых широких размерах: он собирает воедино все знания своей эпохи по всем известным ему отраслям науки и, обозревая их, вносит почти во все значительные усовершенствования. Его работы как здесь, так и в последующих произведениях по грамматике и филологии, постоянные указания на необходимость правильных текстов, точного знания языков и точного толкования не менее замечательны, чем его научные исследования. От грамматики он переходит к математике, от математики — к опытной философии. Под именем математики он понимает и все естественные науки эпохи: «Пренебрежение к ней за последние тридцать—сорок лет, — горячо утверждает Бэкон, — почти уничтожило все знания в латинском мире; кто не знает математики, тот не может знакомиться и с другими науками, а что еще хуже — он не может раскрыть своего невежества и найти против него подходящие средства». География, хронология, арифметика, музыка изложены у Бэкона до некоторой степени в научной форме; также быстро рассматривает он и вопросы климатологии, гидрографии, географии и астрологии. С особенной подробностью останавливается он на своем любимом предмете — оптике, затрагивая не только вопросы собственно этой области, но и анатомию глаза. Словом, «Главное творение» является, употребляя выражение Уэвелля,

«энциклопедией и *Novum Organum* тринадцатого века». Все последующие работы Бэкона — до недавнего времени в наших библиотеках открывали трактат за трактатом — были лишь детальным развитием грандиозных воззрений, изложенных им для Климента. Подобное творение уже в самом себе заключало свою награду, но от окружающих Роджер получил за него немного выражений признательности. Папа, по-видимому, не удостоил автора и словом признательности. Если верить позднему рассказу, наградой Роджеру от его ордена была тюрьма. Старец умер так же, как и жил — «безвестен, забыт и зарыт». Лишь последующим векам суждено было рассеять окутавший его память мрак и поставить его имя во главе списка великих деятелей новой науки.

Глава V

Генрих III (1216—1257)

Смерть графа Маршала в 1219 г. отдала руководство делами Англии в руки папского легата Пандульфа, возвратившегося из Рима с разрешением Стефана Лангтона и юстициария Губерта де Борга. То была переходная эпоха, и это отразилось на характере самого Губерта. Воспитанный в школе Генриха II, он мало симпатизировал делу свободы, и его взгляды на хорошее управление сводились, подобно взглядам его учителя, к разумной единоличной администрации и к поддержанию порядка и законности. Но вместе с тем, он отличался чисто английским стремлением к национальной независимости, отвращением к чужестранцам и нежеланием расточать кровь и деньги англичан в материковых войнах. Как ни был он ловок, но задача его представляла большие трудности. В английские дела постоянно вмешивался Рим, и живший при дворе папский легат претендовал на участие в управлении королевством в качестве представителя его сюзерена и как опекун юного короля. Партия иностранцев также была еще сильна, потому что Уильям Маршал не был в силах отделаться от людей, подобных Пьеру де Рошу или Фоксу де Бреотэ, в борьбе с Людовиком сражавшихся на стороне короля. Кроме того, Губерту приходилось иметь дело и с порожденной войной анархией. Со времени завоевания Центральной Англия покрылась владениями крупных баронов, стремившихся к феодальной независимости; их мятежный дух сдерживался частью строгим управлением королей, частью другими баронами, возвышенными двором и большей частью расселенными на севере. Гнет Иоанна соединил старые и новые фамилии в борьбе за хартию; но характер каждой из этих групп ос-

тался без изменения, и по окончании войны феодальная партия снова стала выказывать склонность к насилию и пренебрежение к короне. Одно время казалось, вернулась анархия Стефана, но Губерт, ревностно поддерживаемый Лангтоном, решился сокрушить ее. Поднявший было оружие глава феодалов граф Честерский принужден был смириться ввиду наступления Губерта и угроз примаса отлучить его от церкви. Более опасным врагом оказался француз Фокс де Бреотэ, бывший шерифом шести графств, захвативший шесть королевских замков и вступивший в союз с мятежными баронами и Ллевелином Уэльским. После двухмесячной осады его замок Бедфорд был взят Губертом, и его гарнизон, состоявший из двадцати четырех рыцарей и их слуг, был, по приказанию юстициария, весь перевешан перед стенами замка. Эта мера подействовала: королевские замки были сданы баронами, и страна еще раз успокоилась. Освободившись от иноземных солдат, страна освободилась и от папского легата. Лангтон вырвал у Рима обещание, что при его жизни новый легат не будет прислан в Англию, и благодаря этому, с отставкой Пандульфа в 1221 г., прекратилось прямое вмешательство Рима в дела Англии. Но еще более важные услуги оказал примас делу английской свободы. В течение всей его жизни хартия была главным предметом его забот. Опускание статей, ограничивавших влияние короля на обложение в хартии, обнародованной при восшествии Генриха на престол в 1216 г., объясняется, без сомнения, отсутствием в то время примаса и его опалой в Риме. Подавление беспорядка оживило, по видимому, старый дух сопротивления среди министров; когда Лангтон потребовал нового подтверждения хартии на лондонском парламенте, один из советников короля — Уильям Брюэр протестовал, ссылаясь на то, что хартия была принята силой и потому не может считаться законной. «Если бы вы любили короля, — гневно отвечал ему примас, — вы не стали бы мешать установлению мира в государстве». Король испугался гнева Лангтона и тотчас обещал соблюдение хартии. Через два года архиепископ и бароны еще раз потребовали торжественного обнародования ее в виде платы за разрешенную субсидию, и согласие Генриха установило плодотворный по своим конституционным последствиям принцип, в силу которого исправление злоупотреблений должно предшествовать назначению субсидий короне.

Смерть Стефана Лангтона в 1228 г. была тяжелой потерей для английской свободы. За год перед тем Генрих объявил себя совершеннолетним, а Губерт хотя и остался юстициарием, но с каждым годом его успехи в борьбе с Римом и стремлениями короля становились все более слабыми. По средневековой теории папства весь христианский мир должен был состав-

лять единое духовное государство, организованное на феодальных началах, с папой в качестве верховного повелителя, епископами — его баронами и священниками — его низшими вассалами. Как король требовал в случае нужды всякого рода помощи от своих вассалов, так и папа считал себя в праве обращаться за поддержкой к духовенству. В описываемый момент казна пап была истощена долговременной борьбой с Фридрихом II, и Рим делался все более и более назойливым в своих требованиях; в особенности доставалось Англии, на которую папа смотрел как на вассальную страну, обязанную помогать своему сюзерену. Бароны, однако, отвергли требование помощи от мирян, и тогда папа обратился к духовенству. Он потребовал у него десятой доли всей движимости, а угроза отлучением подавила всякий ропот. Вымогательства следовали за вымогательствами, сами права светских властей были оставлены без внимания, а под «резервациями» в Риме продавали вакансии на английские бенефиции, и итальянское духовенство заняло все наиболее доходные должности. Всеобщее недовольство нашло себе, наконец, выражение в широком заговоре: вооруженные люди распространяли по стране воззвания «от всей массы тех, кто предпочитает смерть покорности папскому грабежу»; захватывали собранные для папы и иноземного духовенства деньги и раздавали их бедным, били папских агентов, топтали ногами папские буллы. Жалобы Рима только указали на народный характер движения, но по мере расследования в движении обнаруживалось и участие юстициария. Шерифы спокойно смотрели на производимые перед ними насилия; мятежники показывали королевские грамоты, одобрявшие их действия. Папа открыто приписал взрыв возмущений тайному потворству Губерта де Борга. Обвинение это пришло в ту минуту, когда король был в явном раздоре с министром, которому он приписывал неудачу своих попыток возвратить континентальные владения предков. Вследствие представлений Губерта было отклонено приглашение баронов Нормандии, а когда король собрал большую армию для похода в Пуату, ее пришлось распустить из Портсмута, вследствие недостатка перевязочных средств и провианта. Тогда молодой король обнажил меч и бешено кинулся на Губерта, обвиняя его в измене и подкупе французами, но ссора была улажена и поход отложен на год. Неудача экспедиции следующего года в Бретань и Пуату снова была приписана проискам Губерта, своим сопротивлением помешавшего решительному сражению. Обвинения папы переполнили меру гнева короля. Губерта вытащили из Бренвудской часовни и приказали кузнецу заковать его в кандалы. «Я скорее умру любой смертью, чем надену цепи на человека, освободившего Англию от чужестранцев и отстоявшего Дувр от французов», — отвечал кузнец. Уве-

щения епископа Лондонского заставили короля вернуть Губерта в его убежище, но голод принудил его сдаться. Его посадили в Тауэр, и хотя скоро оттуда освободили, он лишился всякого влияния на дела. Его падение переложило Англию в полное распоряжение самого Генриха.

В характере Генриха были известные черты, привлекавшие к нему людей даже в худшие дни его правления. Памятником его художественного вкуса — храм Вестминстерского аббатства, которым он заменил неуклюжий собор Исповедника. Он был покровителем и другом художников и литераторов, и сам был знатоком «веселой науки» трубадуров. В нем не было и следа жестокости, распутства и нечестия его отца, но зато он почти совсем не унаследовал и политических талантов своего дома. Расточительный, непостоянный, порывистый одинаково на доброе и злое, невоздержанный в действиях и словах, смелый в обиде и насмешке, Генрих любил суетную роскошь, а его понятия об управлении сводились к мечте о неограниченной власти. При всем своем легкомыслии король, с упорством слабого человека, держался в политике определенного направления. Он лелеял надежду возвратить себе заморские владения своего дома. Он верил в неограниченную власть короны и смотрел на Великую хартию как на обещания, которые были вырваны силой и силой же могли быть взяты назад. Притязания королей Франции на неограниченную власть, исходящую от Бога, освящали в уме Генриха его притязания, находившие себе к тому же поддержку в любимых им членах Королевского совета. Смерть Лангтона и падение Губерта позволили ему окружить себя зависимыми министрами — простыми орудиями королевской воли. Толпы голодных итальянцев и бретонцев были тотчас вызваны для занятия королевских замков, а также судебных и административных должностей при дворе. Вслед за браком короля с Элеонорой Прованской последовало прибытие в Англию дядей королевы. Название дворца на Стренде «Савойским» напоминает о Пьере Савойском, прибывшем пять лет спустя, чтобы на время занять главное место в Королевском совете; его брат Бонифаций занял первое после короля место в Англии — архиепископа Кентерберийского. Молодой примас, подобно своему брату, принес с собой довольно странные для английского народа обычаи: его вооруженные слуги грабили рынки, а собственный кулак архиепископа сбил с ног приора Св. Варфоломея, что в Смесфильде, когда тот воспротивился его ревизии. Лондон пришел в негодование от такого поступка, а после отказа короля в правосудии шумная толпа граждан окружила дом примаса в Ламбете с криками мщения, и «изящный архиепископ», как величали его приверженцы, очень обрадовался возможности бежать за море. За этим роem провансальцев последовало в 1243 г. при-

бытие в Англию из Пуату сводных братьев короля Генриха III (от второго брака его матери, Изабеллы Ангулемской). Эймар был назначен епископом Уинчестерским, Гийом де Валанс получил графство Пемброкское.

Даже шут короля был родом из Пуату. За этими крупными баронами пришли искать счастья в Англию сотни их вассалов. Прибывшая из Пуату знать привезла с собой много невест, искавших женихов, и король женил на иностранках трех английских графов, состоявших под его опекой. Вся правительственная машина перешла в руки людей невежественных, относившихся с пренебрежением к началам английского управления и закона. Их управление было чистой анархией: королевские слуги превратились в настоящих разбойников, грабивших иностранных купцов в ограде дворца; в среду судей проник подкуп, и один из юстициариев, Генрих Батский, был изобличен в том, что открыто брал взятки и присуждал в свою пользу спорные имения.

Беспрепятственное продолжение таких беспорядков вопреки постановлениям хартии, объясняется разъединением и вялостью английских баронов. При первом прибытии иностранцев сын великого регента граф Ричард Маршал выступил во главе их и потребовал удаления иноземцев из Королевского совета; хотя большинство баронов его покинуло, но он разбил высланный против него иноземный отряд и принудил Генриха вступить в переговоры о мире. В этот момент интрига Пьера де Роша принудила его удалиться в Ирландию; там он пал в незначительной стычке, и бароны остались без предводителя. В это время Кентерберийскую кафедру занимал Эдмунд Рич, которого мы видели раньше профессором в Оксфорде; он принудил короля удалить Пьера от двора, но настоящей перемены в системе не произошло, и дальнейшие представления Рича и епископа Линкольнского Роберта Гросстета остались без результатов. Затем наступил долгий период беспорядочного управления, когда финансовые затруднения заставили короля обращаться к одному налогу за другим: лесные законы сделались средством для вымогательства, места епископов и аббатов оставались незаемченными, у прелатов и баронов вымогались деньги взаймы, сам двор во время путешествий жил всюду на даровых квартирах. Однако всех этих средств далеко не хватало для покрытия расходов расточительного короля. Шестая часть его доходов тратилась на пенсии иноземным фаворитам; долги короны в четыре раза превышали ее годовой доход. При таких условиях Генрих принужден был обратиться к Великому совету королевства, разрешившему произвести сбор, но под условием подтверждения хартии. Хартия была подтверждена, но затем король стал упорно ее нарушать; негодование баронов выразилось в решительном протесте и отказе королю

в дальнейших субсидиях. Несмотря на это Генрих собрал достаточно средств для большого похода с целью вернуть Пуату. Попытка окончилась позорной неудачей. При Тайбуре войска Генриха бежали перед французами, и только благодаря внезапной болезни Людовика IX и эпидемии, рассевшей его войско, ими не был взят город Бордо. Королевская казна была истощена, и Генрих должен был снова обратиться за помощью к баронам. Бароны твердо решили добиться порядка в управлении и потребовали, чтобы подтверждение хартии сопровождалось избранием в Великом совете юстициария, канцлера и казначея и чтобы при короле находился постоянный совет для выработки дальнейших реформ. Этот план, однако, разбился о сопротивление Генриха и запрещение папы. Бремя папских вымогательств страшно обременяло духовенство. После тщетных представлений королю и папе архиепископ Эдмунд в отчаянии удалился в изгнание; и на несчастное духовенство стали набрасываться все новые сборщики, уполномоченные отлучать от церкви, отрешать от должностей и назначать на церковные места. Страшный грабеж вызвал всеобщее сопротивление. Пример подали оксфордские студенты, изгнавшие из города папского легата при криках: «Лихоимец!» «Святокупец!». Фульк Фиц-Уоррен от имени баронов приказал папскому сборщику убираться из Англии: «Если вы промедлите еще три дня, — прибавил он, то вы и вся ваша свита будете изрублена в куски». На время сам Генрих был увлечен потоком народного негодования. Вместе с баронами и прелатами он послал письма в Рим с протестами против папских вымогательств и издал указ, которым запрещался вывоз денег из государства; но угроза отлучением скоро вернула его к политике грабительства, в которой он шел рука об руку с Римом.

История этого беспорядочного периода сохранена для нас летописцем, страницы которого озарены новым взрывом патриотического чувства, вызванного общим угнетением народа и духовенства. Матвей Парижский является величайшим и, в сущности, последним из наших монастырских летописцев. Правда, сент-олбанская школа существовала еще долгое время, но ее писатели превратились в простых летописцев, кругозор которых ограничивался оградой монастыря, а произведения были так же бесцветны, как и сухи. У Матвея широта и точность рассказа, обилие сведений о местных и общеевропейских делах, правдивость и справедливость его замечаний соединяются с патриотическим пылом и энтузиазмом. Он наследовал ведение монастырских летописей после Роджера Уэндовера, и его «Большая хроника», а также ее сокращение, долго приписывавшееся Матвею Вестминстерскому, «История англичан» и «Жития древних аббатов» составляют лишь небольшую часть написанных им обширных произведений.

свидетельствующих об его огромной производительности. Он был не только писателем, но и художником — и многие из сохранившихся рукописей украшены его собственноручными иллюстрациями. Широкий круг корреспондентов — епископы вроде Гросстета, министры вроде Губерта де Борга, духовные судьи вроде Александра Суэрфорда — сообщали ему подробные сведения о политических и церковных событиях. Паломники с Востока и папские агенты приносили в его кабинет в Сент-Олбансе известия об иностранных событиях. Он имел доступ к государственным актам, грамотам, реестрам казначейства и часто ссылался на них. Частые посещения аббатства королем приносили ему массу политических известий, и сам Генрих доставлял материал для «Большой хроники», сохранившей с такой ужасающей правдивостью память об его слабостях и злоупотреблениях. В один торжественный праздник король узнал Матвея, посадил его на ступеньки трона и просил написать историю современных событий. В другое посещение Сент-Олбанса он пригласил его к своему столу и в свою комнату и перечислил ему для сведения названия двухсот пятидесяти английских бароний. Но все эти любезности короля оставили мало следов на произведениях летописца: «Задача историка тяжелая, — говорил Матвей, — повествуя правду — он восстанавливает против себя людей, утверждая ложь — грешит перед Богом». С полнотой придворных историков, вроде Бенедикта или Говедена, Матвей Парижский соединяет чуждый им дух независимости и патриотизма. С одинаковой беспощадностью он изобличает притеснения и пап, и короля. Точка зрения, на которой он стоит, не придворная и не церковная, а общеанглийская, и этот новый для летописца тон является лишь эхом национального чувства, которое объединило, наконец, баронов, крестьян и духовных в один народ, решившийся добиться у короны свободы.

Глава VI

Нищенствующие ордена

От утомительного рассказа о беспорядочном управлении и политическом слабодушии, тяготевшими над Англией в течение сорока последних лет, мы обращаемся с удовольствием к истории нищенствующих орденов.

Никогда еще власть церкви над христианским миром не была так беспредельна, как в эпоху Иннокентия III и его непосредственных преемников, но ее духовное влияние слабело день ото дня. Старое почтение к папству не могло не исчезать при виде его политических притязаний, злоупотреблений интердиктами и отлучениями для чисто мирских целей, обра-

щения самых священных чувств в орудия денежных вымогательств. В Италии борьба, начинавшаяся между Римом и Фридрихом II, породила такой дух скептицизма, что эпикурейские поэты Флоренции дошли до отрицания бессмертия души и стали подкапываться под самые основы веры. В Южной Франции, в Лангедоке и Провансе, явилась ересь альбигойцев, отвергавшая всякое подчинение папству. Даже в Англии, где еще не было признаков религиозного возмущения и где политическое влияние Рима, в общем, содействовало успехам свободы, существовало стремление противодействовать вмешательству его в национальные дела, стремление, выразившееся во время борьбы с Иоанном. «Светские дела не касаются папы», — отвечали лондонцы на интердикт Иннокентия. Внутри английской церкви многое требовало преобразования. Ее роль в борьбе за хартию, равно как и последующая деятельность примаса, делали ее более, чем когда-либо, популярной, но ее духовная энергия была ниже политической. Отказ от проповедей, превращение монашеских орденов в крупных землевладельцев — все это лишало духовенство нравственного влияния. Злоупотребления были так громадны, что притупляли энергию даже таких людей, как епископ Линкольнский Гросстет. Его наставления воспрещают духовенству посещать таверны, вести азартные игры, участвовать в кутежах, вмешиваться в разгул и разврат, царившие среди дворян; но такие запрещения указывают только на распространенность зла. Епископы и деканы отрывались от своих церковных обязанностей для деятельности в качестве министров, судей, послов. Бенефиции скапливались сотнями в руках королевских фаворитов, вроде Джона Манзеля. Монастыри отнимали у приходов десятину, снабжая их полуголодными викариями, а купленные в Риме привилегии защищали скандальную жизнь каноников и монахов от дисциплинарных взысканий епископов. Сверх всего этого, существовала группа светских политиков и ученых, которая не решалась, правда, на открытую борьбу с церковью, но с ядовитой насмешкой указывала на ее злоупотребления и ошибки.

Возвращение мира под власть церкви и составляло цель двух монашеских орденов, явившихся внезапно в начале XIII в. Религиозный пыл испанца Доменика пробудился при виде надменных прелатов, старавшихся огнем и мечом возвратить альбигойцев к покинутой ими вере: «Ревности должна быть противопоставлена ревность, — воскликнул он, — смирению — смирение, ложной святости — истинная святость, проповеди лжи — проповедь правды». Его пламенное рвение и непреклонное правоверие встретили отклик в мистической набожности и мечтательном энтузиазме Франциска Ассизского. Жизнь Франциска освещает каким-то нежным све-

том мрак того времени. Во фресках Джотто и стихах Данте мы видим его обручающимся с Нищетой. Он отказывается от всего, бросает к ногам отца самое платье, чтобы остаться одному с Природой и Богом. В трогательных стихах он называет Луну своей сестрой, а Солнце — братом, призывает брата Ветра и сестру Воду. Последним слабым восклицанием Франциска был привет сестре Смерти. Как ни различались по своим характерам Франциск и Доминик, но цель у них была одинаковая — обращение язычников, искоренение ереси, примирение науки с религией, проповедь Евангелия бедным. Этих целей можно было достигнуть полной реорганизацией прежнего монашества, исканием личного спасения в стремлении спасти своих братьев, заменой отшельничества проповедью и монахов — нищенствующими братьями. Чтобы поставить новых «братий» в полную зависимость от тех, в среде которых им приходилось работать, их обет бедности был обращен в суровую действительность: «нищенствующие монахи» должны были существовать исключительно подаением; они не могли владеть ни деньгами, ни землями, даже дома, в которых они жили, содержались для них другими. Народное сочувствие, обнаружившееся при появлении их, заглушило антипатию Рима, недоброжелательство старых орденов, оппозицию приходского духовенства. Тысячи братий собрались в несколько лет вокруг Франциска и Доминика, и нищенствующие проповедники, одетые в грубые шерстяные рясы, подпоясанные веревками, с босыми ногами, отправлялись в качестве миссионеров в Азию, боролись с ересью в Италии и Франции, читали лекции в университетах, проповедовали и трудились среди бедных.

Появление «братьев» произвело целый переворот в религиозной жизни городов. Городские священники составляли худшую и наиболее невежественную часть духовенства, существовавшую исключительно на даяния прихожан за исполнение треб. Религиозным поучением для купцов и ремесленников должны были служить лишь пышные церковные обряды, да картины и скульптуры, украшавшие стены церквей. Едва ли, поэтому, можно удивляться тому взрыву восторга, с которым были встречены там странствующие проповедники, их горячие воззвания, грубое остроумие, простая речь, перенесшие религию на ярмарки и рыночные площади. С одинаковым восторгом встречали горожане и черных доминиканцев, и серых францисканцев. Прежние ордена предпочитали деревню, новые селились в городах. Едва высадившись в Дувре, они направились прямо в Лондон и Оксфорд. По незнанию местности, два первых «серых брата» сбились с пути в лесах между Оксфордом и Балдоном и, испугавшись ночи и непогоды, повернули в сторону на хутор абингдонских монахов. Их оборванные

платья и странные жесты, с какими они просили себе приюта, дали повод привратнику принять их за жонглеров, шутов и фокусников того времени: известие о таком нарушении монотонной монастырской жизни привлекло к воротам настоятеля, ризничего и эконома, пожелавших приветствовать их и посмотреть их фокусы. Сильно разочарованные, монахи грубо вытолкали прибывших за ворота и принудили их искать себе на ночь приют под деревом. Прием горожан служил всюду наградой за недоброжелательство и противодействие духовенства и монахов. Работа братьев была не только нравственная, но и физическая; быстрый рост населения городов опередил санитарные порядки Средневековья, и горячка, чума и еще более страшный бич — проказа гнездились в жалких лачугах предместий. На такие-то притоны и указывал Франциск своим ученикам, и «серые братья» сразу стали селиться в самых плохих и бедных кварталах городов. Поприщем их главной работы были отвратительные лазареты; места для своих поселений они обыкновенно выбирали среди прокаженных. В Лондоне они поселились на ньюгетском рынке, в Оксфорде — на болоте, между городскими стенами и протоками Темзы. Бревенчатые хижины и землянки, не лучше окружавших их лачуг, строились внутри грубой изгороди и рва, окружавших общежитие. Орден Франциска вел упорную борьбу с характеризовавшим это время пристрастием к пышным постройкам и личному удобству. «Не затем поступил я в монахи, чтобы строить стены», — сказал английский провинциал своей братии, просившей у него более просторного помещения, а Альберт Пизанский приказал скрыть до основания построенный для них жителями Саутгемптона каменный монастырь. «Вам не нужно маленьких гор, чтобы поднимать головы к небу», — презрительно ответил он на требование подушек. Только больным разрешалось носить обувь. Один брат в Оксфорде нашел утром пару башмаков и проносил их до заутрени. Ночью ему приснилось, что в опасном месте между Глостером и Оксфордом на него напали разбойники с криком: «Бей, бей его!». «Я босоногий монах», — закричал насмерть перепуганный брат. «Ажешь, — был немедленный ответ, — ты ходишь обутый». Монах в опровержение поднял ногу, но на ней оказался башмак. В припадке раскаяния он проснулся и выбросил башмаки за окно.

Не так успешно боролся орден со страстью к знанию. Буквально понимаемый основателями, обет нищеты не позволял братьям иметь в своем распоряжении ни книг, ни учебных пособий. «Я ваш требник, я ваш требник!» — воскликнул Франциск, когда послушник спросил у него псалтирь. Когда он услышал в Париже о приеме в орден одного великого ученого, его лицо изменилось: «Я боюсь, сын мой, — сказал он, — чтобы подобные уч-

ные не погубили моего виноградника; настоящие ученые — это те, которые со смирением мудрости совершают добрые дела для назидания своих ближних». Мы видели, как впоследствии Роджеру Бэкону не позволяли иметь ни чернил, ни пергамента, ни книг, и лишь приказы папы могли освободить его от строгого соблюдения правила. Одну отрасль знания почти навязали ордену его задачи. Популярность его проповедников скоро привела их к более глубокому изучению богословия. Спустя немного времени после их поселения в Англии, мы находим около тридцати лекторов в Герефорде, Лестере, Бристоле и других городах и непрерывный ряд преподавателей при каждом университете. Оксфордские доминиканцы читали богословие в своей новой церкви, а философию — в монастыре. Первый провинциал «серых братьев» построил школу в их оксфордском доме и убедил Гросстета читать там лекции. Влияние Гросстета после назначения его на Линкольнскую кафедру было постоянно направлено на распространение знаний в среде братьев и на утверждение их в университете. К тому же стремился и его ученик Адам Марш, или де Мариско, при котором францисканская школа в Оксфорде приобрела известность во всем христианском мире. Лион, Париж и Кельн брали себе из нее профессоров, и, благодаря ее влиянию, Оксфорд, в качестве центра схоластики, едва ли уступал тогда самому Парижу. Среди его преподавателей были три самых глубоких и оригинальных схоластика — Роджер Бэкон, Дунс Скотт и Оккам; за ними следовал ряд наставников, едва ли менее славных в те дни.

Результаты этого могущественного движения оказались вскоре роковыми для более широкой умственной деятельности, до того отличавшей жизнь университетов. Богословие в его схоластической форме вернуло себе преобладание в школах; его единственными соперниками оставались практические науки, вроде медицины и права. Сам Аристотель, который так долго считался опаснейшим врагом средневековой веры, превратился теперь, через применение его логического метода к обсуждению и определению богословских догматов, в неожиданного союзника. Это тот самый метод, который вел к «бесполезной изощренности и утонченности» и который лорд Бэкон считал главным недостатком схоластической философии: «Но, — замечает дальше великий мыслитель о схоластиках, — несомненно и то, что, если бы эти ученые с их страшной жаждой знания и неустрашимым остроумием соединяли разностороннее чтение и размышление, они оказались бы превосходными светочами и много содействовали бы успехам всякого рода учености и знания». Несмотря на все их заблуждения, несомненная заслуга схоластиков состояла в том, что они настаивали на необходимости строгого доказательства и более точного употребления

терминов, ввели в обычай ясное и методичное рассмотрение всех обсуждаемых вопросов и, что еще важнее, заменили безусловное подчинение авторитету обращением к разуму. Благодаря этому критическому направлению, благодаря новой ясности и точности, приданным схоластикой исследованию, она, несмотря на частное занятие пустыми вопросами, сообщила в течение двух ближайших веков человеческому духу то направление, которое позволило ему воспользоваться великими научными открытиями эпохи Возрождения. Тому же духу смелого исследования и сильным народным симпатиям, возбужденным самим устройством новых орденов, надо приписать и влияние, которое они, несомненно, оказали на предстоявшую борьбу между народом и короной. Они занимали ясное и вполне определенное положение в течение всего спора. Оксфордский университет, подчинившийся теперь их руководству, первый восстал против папских вымогательств и в защиту английской свободы. Городское население, на котором влияние новых орденов сказывалось всего сильнее, было стойким защитником свободы во время «войны баронов». Адам Марш был ближайшим другом и поверенным Гросстета и графа Симона де Монфора.

Глава VII

«Война баронов» (1258—1265)

Однажды, катаясь по Темзе, король был захвачен грозой и спешил укрыться от нее во дворце епископа Дёргемского. В это время в гостях у епископа находился граф Симон де Монфор, который, встретив королевскую шлюпку, стал уверять Генриха, что гроза прошла и бояться решительно нечего. «Если я и боюсь грозы, то вас, граф, я боюсь больше всех громов в свете», — остроумно отвечал ему король.

Человек, которого Генрих боялся как защитника английской свободы, сам был иностранцем, сыном того Симона де Монфора, имя которого прославил в истории кровавый поход против альбигойцев в Южной Франции. От своей матери молодой Симон наследовал графство Лестерское, а тайный брак со вдовой второго Уильяма Маршала Элеонорой, приходившейся сестрой королю, породнил его с королевским домом. Недовольное этим браком с иностранцем дворянство восстало против Симона, и восстание окончилось неудачей, только благодаря отступничеству его главы, графа Ричарда Корнуольского (брата короля). С другой стороны, против этого брака восстала и церковь, основываясь на данном после смерти первого супруга Элеонорой обете вдовства, и только путешествие в Рим с трудом

потушило это дело. Вернувшись, Симон увидел, что и непостоянный король отдалился от него, и гнев Генриха принудил его удалиться из Англии. Вскоре, однако, милость короля вернулась, и Симон занял место в первом ряду патриотических вождей. В 1248 г. король назначил его наместником Гаскони, где его суровое правосудие и тяжелые налоги, необходимые для поддержания порядка, навлекли на него ненависть беспокойных баронов. Жалобы гасконцев привели к открытому разрыву с королем. Когда граф предложил отказаться от своего места, если, как это раньше было ему обещано, ему будут возмещены все произведенные им на службе издержки, то король гневно ответил, что он не считает себя связанным обещанием, данным лживому изменнику. Симон тотчас изобличил Генриха во лжи: «Если бы ты не носил имени короля, то плохо бы пришлось тебе в тот час, когда у тебя вырвалось такое слово». На словах они, однако, помирились, и граф еще раз вернулся в Гасконь, но еще до наступления зимы вынужден был удалиться во Францию. Как высоко стояла уже в это время его репутация, видно из того, что вельможи предложили ему управлять Францией впредь до возвращения Людовика из Крестового похода, но Симон отказался от этой чести. Генрих сам взялся за умиротворение Гаскони, но в 1253 г. с удовольствием передал неудавшееся ему дело ее прежнему правителю. Характер Симона в это время окончательно установился. Он наследовал строгую суровую набожность своего отца, постоянно посещал днем и ночью церковные службы, был другом Гросстета и покровителем новых орденов. Из его переписки с Адамом Маршем мы видим, что во время смут в Гаскони он находил себе утешение в чтении книги Иова. Он вел нравственную и чрезвычайно воздержанную жизнь и был весьма умерен в пище, питье и сне. В обществе он был любезен и шутилив в разговоре; его характер был живой и пылкий, чувство чести — сильно развитое, а речь быстрая и резкая. Его нетерпимость и горячий характер действительно были большими препятствиями в его дальнейшей карьере. Но самой характерной чертой его было то, что его современники называли «постоянством» — твердая готовность жертвовать всем, даже жизнью, ради верности праву. Девиз Эдуарда I, «держись правды», гораздо более шел графу Симону. Из его переписки мы видим, как ясно понимал он все внутренние и внешние затруднения, когда «счел позорным отклонить от себя опасности такого подвига», как умиротворение Гаскони, и как, раз взявшись за дело, он стоял на своем, несмотря на встреченную оппозицию, отсутствие помощи из Англии и даже отступничество короля, и стоял на своем до тех пор, пока дело не было сделано. Та же сила воли и определенность цели характеризуют и патриотизм Симона. Письма Гросстета показывают, как рано начал

граф сочувствовать восстанию епископа против Рима; в разгар спора он предлагал Гроссету поддержку свою и своих единомышленников. Он за собственной печатью послал Адаму Маршу трактат Гросстета «об управлении государством и о тирании». Он терпеливо слушал советы друзей касательно своего хозяйства и характера: «Терпеливый человек лучше сильного, — пишет почтенный Адам Марш, — а тот, кто умеет управлять самим собой, выше того, кто берет приступом город»; «Какая польза заботиться о мире своих сограждан, и не поддерживать мира в своем доме?». По мере того как волна неурядицы поднималась все выше и выше, граф в тиши учился обеспечивать «мир своим согражданам», и результат этой подготовки обнаружился, когда наступил кризис. В то время как другие колебались, смущались и отступали, народ отнесся с восторженной любовью к строгому, серьезному воину, который «стоял подобно столпу», не поддаваясь ни обещаниям, ни угрозам, ни страху смерти и руководясь только данной им клятвой.

Дела в Англии шли все хуже и хуже. Папа все еще продолжал угнетать духовенство; два торжественных подтверждения хартии не заставили короля согласоваться с ее постановлениями. В 1248, в 1249 и затем в 1255 г. Великий совет безуспешно возобновлял требование настоящего министерства; решимость баронов добиться хорошего управления все росла, и они предложили королю субсидии на условии, чтобы главные сановники короны назначались советом. Генрих с негодованием отверг предложение и продал свою посуду гражданам Лондона, чтобы покрыть издержки своего двора. Бароны роптали и становились смелее. «Я пошлю жнецов и велю убрать ваши поля», — пригрозил король отказавшему ему в помощи графу Бигоду Норфолкскому. «А я отошлю вам назад головы ваших жнецов», — возразил граф. Стесненный мотовством двора и отказом в субсидиях, Генрих не имел ни гроша, а между тем предстояли новые расходы, так как он принял предложение папы возвести на престол Сицилии его второго сына Эдмунда. В это же время позор покрыл английское оружие: старший сын короля Эдуард был позорно разбит на границах Ллевелином Уэльским. Недовольство усилилось благодаря голоду и перешло всякие границы, когда в начале 1258 г. Рим и Генрих предъявили новые требования: на собрание, созванное в Лондоне, бароны явились вооруженными. Истекшие пятьдесят лет указали на сильные и слабые стороны хартии: она была важна как центр объединения для баронов и как определенное утверждение прав, к признанию которых нужно было принудить короля; ее слабая сторона заключалась в том, что она не указывала средств для проведения ее постановлений на деле. Несколько раз клялся Генрих исполнять хартию и

тотчас же бессовестно нарушал свою клятву. Бароны обеспечили свободу Англии; тайна их долготерпения в царствование Генриха заключалась в трудности обеспечить ей хорошее управление. Эту-то задачу и приготовился решить граф Симон. Вместе с графом Глостером он явился во главе вооруженных баронов и потребовал назначения комитета из двадцати четырех лиц для выработки плана государственных реформ. Хотя половина комитета и состояла из королевских министров и фаворитов, но противиться народному настроению было невозможно. «Оксфордскими постановлениями» (в июле 1258 г.) было определено, что Великий совет должен собираться трижды в год, по приглашению короля или без него, и что «община (Commonalty)» избирает всякий раз двенадцать честных людей, которые будут являться в парламенты и в других случаях, по приглашению короля и его совета, для обсуждения нужд короля и королевства. Община будет считать законными все решения своих выборных». Сверх того, были избраны три постоянных комитета — один для реформ в церкви, другой — для заведывания финансами и третий — Постоянный совет пятнадцати — для содействия королю в текущих делах. Юстициарий, канцлер и коменданты королевских замков присягнули действовать только по указанию и с согласия Постоянного совета, и кроме того, первые два, а также казначей должны были представлять Совету в конце каждого года отчет в своих действиях. Шерифы должны были назначаться на один год из числа важнейших дворян графства и не должны были взимать незаконных поборов за решение дел в их судах.

Королевская прокламация на английском языке, первая дошедшая до нас на этом языке со времени завоевания, предписывала соблюдение этих постановлений. Сопrotивление выказали лишь иностранные любимцы, но вооруженная демонстрация баронов принудила их бежать за море. Вся королевская власть была теперь на деле в руках комиссий, назначавшихся Великим советом; характер новой администрации сказался в запрещении дальнейших взносов, светских и церковных, в папскую казну, в формальном отказе от похода в Сицилию, в переговорах графа Симона с Францией, окончившихся полным отречением от прав Генриха на утраченные области, наконец, в заключении мира, положившего предел набегам уэльсцев. Внутреннее управление баронов отличалось, однако, слабостью и своекорыстием. Изданные ими в следующем году, под давлением общественного мнения, «Вестминстерские постановления» имели целью охрану интересов держателей и улучшение суда, но принесли мало пользы. Стремление к чисто феодальным привилегиям ясно обнаружилось в освобождении баронов и прелатов от посещения судов шерифов. Тщетно граф Симон, вер-

нувшийся из Франции, настаивал на более серьезных реформах, а сын короля Эдуард оставался верен своему обещанию соблюдать постановления и открыто поддерживал его. Глостер и Хьюг Бигод изменили делу реформы и вместе со всей феодальной партией примкнули к королю; тогда Генрих добыл у папы буллу, уничтожавшую постановления и освобождавшую его от присяги, взял Тауэр и другие замки, назначил нового юстициария и возвратил короне ее прежнюю власть.

Покинутый баронами, граф Лестер должен был удалиться на полтора года во Францию, а Генрих стал править с явным нарушением хартии. Расстройство королевства оживило недовольство правительством, а смерть Глостера устранила важную помеху для деятельности Лестера. В 1263 г. последний снова вернулся в Англию в качестве несомненного главы партии баронов. На поход Эдуарда и королевской армии против Ллевелина Уэльского бароны смотрели как на прелюдию к важным действиям против них самих; граф Симон тотчас очистил границы Уэльса, пошел на Дувр и, наконец, появился перед Лондоном. Его усиленно поддерживали города. Новый демократический дух, который мы заметили у нищенствующих орденов, побуждал теперь чисто промышленные классы добиваться участия в городском управлении, до того находившемся в руках богатых членов купеческих гильдий, и переворот, который мы опишем подробнее впоследствии, передал управление Лондоном и другими городами низшим классам. «Общины», как стали называть новое городское управление, выказывали восторженную преданность графу Симону и его делу. Королева сделала попытку бежать из Тауэра, но яростная толпа остановила ее и прогнала назад камнями и ругательствами. Когда Генрих попытался захватить Лестера на его стоянке в Саутуорке, лондонцы порвали цепи, которыми богатые граждане заперли улицы, и с торжеством впустили графа в город. Духовенство и университеты разделяли симпатии горожан, и, несмотря на упреки роялистов, обвинявших Симона в том, что против знати он ищет себе союзников в простом народе, сочувствие последнего придало графу такую силу, которая позволила ему вынести сильнее удары, нанесенные его делу. Бароны перешли на сторону короля. Боязнь междоусобий усилила желание соглашения, и обе стороны решили передать спор на разрешение французского короля Людовика IX. В «Амьенском решении» Людовик высказался, безусловно, в пользу короля. Оксфордские постановления были уничтожены; сохраняли обязательную силу только хартии, дарованные раньше этих постановлений. Назначение и смещение должностных лиц должно было зависеть вполне от короля, который мог также приглашать в свой совет иностранцев. Удар был сильный, а папа, со своей

стороны, поспешил подтвердить решение Людовика. Бароны чувствовали себя связанными этим решением и протестовали только против пункта об иностранцах, которого они и не хотели отдавать на решение третейского судьи. Но Симон сразу решил сопротивляться. К счастью, решение Людовика сохранило за англичанами право на те вольности, которыми они пользовались до Оксфордских постановлений, и Симону нетрудно было доказать, что произвольная власть, приписанная им короне, противоречит не только Оксфордским постановлениям, но и хартии. Лондон первый отверг приговор; его граждане собрались на звон городского колокола у Св. Павла, схватили королевских чиновников и разграбили королевские парки. Король собрал со своей стороны большую армию, а бароны один за другим стали покидать Симона. Каждый день приносил худые вести. К войску Генриха присоединился отряд из Шотландии; младший Монфор был взят в плен; король взял Нортгемптон и освободил Рочестер от осады. Лишь быстрое движение Симона спасло сам Лондон от захвата Эдуардом. Преданный чуть не всеми, граф остался верен своему решению. Он заявил, что будет сражаться и тогда, когда останется один со своими сыновьями. С войском, подкрепленным 15 000 лондонцев, он пошел на выручку Пяти Портов, которым теперь угрожал король. Многие из сопровождавших его баронов покинули его во время самого похода. Остановившись у Флетчтинга в Сассексе, в нескольких милях от Льюиса, где расположилось королевское войско, граф Симон и молодой граф Глостер предложили королю возместить ему все убытки, если он согласится соблюдать постановления. Генрих отвечал на это вызовом, и тогда Симон, несмотря на превосходство сил неприятеля, решил дать сражение. Как опытный воин, он воспользовался выгодами местоположения: двинувшись на заре, он захватил возвышенности к востоку от города и двинулся по склонам в атаку. Перед сражением его воины, с крестами на груди и спине, преклонили колена и помолились. Первым начал сражение Эдуард. Он яростно напал на левое крыло армии Симона, состоявшее из лондонцев, опрокинул его и, ослепленный ненавистью, гнал его четыре мили, убив три тысячи человек. Но когда он возвратился, сражение уже было проиграно. Сжатые в тесном пространстве, с рекой в тылу, центр и левое крыло армии короля были раздавлены графом Симоном; граф Корнуольский, в это время король Римский, и сам Генрих были захвачены в плен. Эдуард пробился в приорство только затем, чтобы разделить с отцом его плен.

Победа при Льюисе поставила графа Симона во главе государства: «Теперь Англия жила в надежде на свободу, — пел современный поэт, — англичан прежде презирали, как собак, теперь они подняли головы, а их враги

побеждены». Далее песнь эта излагает с почти юридической точностью теорию патриотов: «Кто хотел бы поистине быть королем, тот является «вольным королем», если управляет как следует собой и королевством. Все, что идет на благо королевства, он считает законным, а вредное для него — преступным. Одно дело править согласно с долгом короля, другое — разрушать государство, противясь закону»; «Пусть совещаются общины королевства и пусть выяснится мнение всех, так как им всего лучше известны их законы. Всего лучше знают законы те, кто ими управляется; всего лучше знакомы с ними те, кто ежедневно имеет с ними дело; а так как тут дело идет об их интересах, то они приложат больше заботы и в своих действиях будут иметь в виду свой мир»; «Общины имеют право следить за тем, какого рода людей нужно собственно выбирать для блага государства». Никогда еще не излагались так ясно конституционные ограничения королевской власти, право нации совещаться о своих делах и решать их, а также право иметь голос в выборе представителей администрации. Однако умеренность условий Льюисского решения — соглашения между королем и победителями — показывает, что Симон вполне понимал трудности своего положения. Вопрос о постановлениях решено было снова отдать на рассмотрение третейского суда, а до его приговора парламент, в который из каждого графства было вызвано по четыре рыцаря, передал управление в руки нового Совета девяти, членов которого должны были назначить графы Лестер и Глостер и стоявший на стороне патриотов епископ Чичестерский. Ответственность перед народом была установлена признанием за собранием баронов и прелатов права устранять любого из трех избирателей, которые, в свою очередь, могли назначать и смещать членов Совета девяти. Такая конституция сильно отличалась от запутанного и олигархического устройства 1258 г. Но расчеты на посредничество не оправдались. Людовик отказался от пересмотра своего решения, а папа формально осудил действия баронов. Затруднения графа росли с каждым днем. Королева собрала во Франции армию для вторжения в Англию, а на границах Уэльса все еще стояли вооруженные бароны. Вступать в соглашение с пленным королем было невозможно, освободить его без всяких условий значило возобновить войну. В январе 1265 г. в Вестминстере был созван новый парламент, но слабость патриотической партии среди баронов сказалась уже в том, что рядом со ста двадцатью церковниками в нем заседали всего двадцать три графа и барона. Но именно сознание своей слабости и побудило графа Симона к конституционной реформе, оказавшей сильнейшее влияние на нашу историю. Как и прежде, он вызвал из каждого графства по два рыцаря; но в то же время он создал новую силу в английской политике,

вызвав заседать рядом с ними по два гражданина от каждого города. Вызов депутатов от городов давно уже практиковался в собраниях графств, когда обсуждаемые вопросы касались их интересов; но лишь грамота графа Симона впервые вызвала купцов и мещан заседать рядом с рыцарями графств, баронами и прелатами в парламенте королевства.

Только этот великий шаг и дает нам возможность понять широкий и пророческий характер планов графа Симона. Едва прошло несколько месяцев со времени победы при Льюисе, а его власть уже начала клониться к падению, в то время как горожане заняли свои места в Вестминстере. Внешние опасности граф преодолел с полным успехом: общий сбор всех сил Англии на Бергемских холмах положил конец планам наемников, собранных королевой во Фландрии, — вторгнуться в Англию; угрозы Франции ограничились переговорами; папскому легату было запрещено переплывать через Ла-Манш, а буллы об отлучении брошены в море. Но внутренние затруднения с каждым днем становились все более грозными. Плен Генриха и Эдуарда возмущал в народе чувства лояльности и привлекал к ним массу англичан, которая всегда становится на сторону слабого. И прежде слабая среди баронов партия патриотов ослабела еще более, когда начались споры из-за дележа добычи. Симону сильно повредили его справедливость и решимость обеспечить внутренний мир. Джон Гиффард покинул Симона, потому что он запретил ему требовать выкуп у пленника вопреки соглашению, заключенному после победы при Льюисе. Молодой граф Джилберт Глостер, хотя и обогатился за счет имений иностранцев, сердился на него за запрещение турниров, назначение собственной властью комендантов королевских замков и занятие крепостей Эдуарда на границах Уэльса своими гарнизонами. Последующее поведение Глостера доказало справедливость опасений Лестера. В весеннем парламенте 1265 г. Глостер открыто обвинял Симона в тирании и стремлении к короне. До закрытия парламента он удалился в свои поместья на западе и вступил в тайное соглашение с Роджером Мортимером и пограничными баронами. Граф Симон скоро последовал за ними, захватив с собой короля и Эдуарда. Он пошел вдоль Северна, закрепляя за собой города, дошел до Герфорда и в конце июня направился по плохим дорогам в самое сердце Уэльса с целью напасть на замки графа Джилберта в Глеморгане, но в это время Эдуард неожиданно бежал из Герфорда и присоединился к Глостеру в Ледлоу. Момент был выбран удачно, и Эдуард выказал редкое искусство в тех маневрах, с помощью которых он воспользовался невыгодным положением графа. Быстро продвинувшись вдоль Северна, он захватил Глостер и мосты через реку, уничтожил суда, на которых Симон старался переправиться

через канал в Бристоль, и, таким образом, совершенно отрезал его от Англии. Это движение поставило его между графом и его сыном Симоном, шедшим с востока на помощь отцу. Быстро обратившись на второй отряд, Эдуард напал на него при Кенилворте и загнал его с тяжелым уроном в стены замка. Но этот успех был более чем уравновешен тем, что его отсутствие позволило графу прорвать линию Северна. Захваченный врасплох и изолированный, Симон вынужден был искать себе помощи и войска в открытом союзе с Ллевелином и обратиться на восток с уэльскими подкреплениями. Но захват его кораблей и мостов на Северне отдал его во власть Эдуарда, а сильная атака последнего отогнала его разбитые войска в горы Уэльса. В полном отчаянии он бросился на север, к Герфорду, но отсутствие Эдуарда позволило ему 2 августа переправить свои войска на лодках через Северн, ниже Уорчестера. Известие об этом заставило Эдуарда вернуться к реке, но граф с помощью длинного ночного перехода уже достиг утром 4 августа Ившема, тогда как его сын, вернувший себе, благодаря отступлению Эдуарда, свободу движений, в ту же ночь подошел к небольшому местечку Алчестеру. Обе армии были теперь отделены одна от другой каким-нибудь десятком миль, и их соединение казалось обеспеченным; но обе они были измучены усиленными переходами, и в то время как граф неохотно подчинился желанию бывшего с ним короля остановиться в Ившеме для церковной службы и обеда, армия Симона-младшего остановилась ради того же в Алчестере.

«Увы! То были два горестных обеда!» — поет Роберт Глостерский. В эту самую достопамятную ночь Эдуард спешил от Северна по проселочным дорогам, чтобы занять небольшое пространство, разделявшее обе армии. С наступлением утра войско Эдуарда уже занимало дорогу, ведущую на север от Ившема к Алчестеру. Ившем лежит на стиге Авона, там, где он поворачивает к югу, и единственный выход из него запирала высота, на которой и расположил свои войска Эдуард. С целью отрезать Симонову всякое отступление на другую сторону реки переправился отряд Мортимера и завладел всеми мостами. Приближение войска Эдуарда вызвало Симона вперед, и в первую минуту он принял его за армию сына. Хотя надежда тотчас рассеялась, но в нем пробудилась гордость солдата, когда в правильных движениях врагов он увидел доказательство успешности своих наставлений: «Клянусь рукой св. Иакова, — воскликнул он, — они идут умело, но ведь этому они научились у меня!». Ему довольно было одного взгляда, чтобы убедиться в безнадежности борьбы. Для горсти всадников и толпы полувооруженных уэльсцев было невозможно сопротивляться дисциплинированному рыцарству королевской армии. «Вручим наши души Богу, ибо

наши тела во власти врагов», — сказал Симон окружавшей его небольшой группе. Он уговаривал Хьюга Деспенсера и остальных товарищей бежать. «Если ты умрешь, то и мы не хотим жить», — доблестно отвечали они. Через три часа резня была окончена. Уэльсцы побежали при первом же натиске, как овцы, и были беспощадно перебиты в полях и садах, где искали себе убежища. Небольшая группа рыцарей, окружавших Симона, билась отчаянно; они падали один за другим, и наконец граф остался один. Удары его меча были столь страшны, что он почти достиг уже вершины холма, когда удар копья поверг наземь его коня; но и тут Симон отверг предложение сдаться и продолжал защищаться, пока удар сзади не нанес ему смертельной раны. «Это милость Божья!» — воскликнул великий патриот, падая на землю и испуская последний вздох.

Часть 4

Три Эдуарда (1265—1360)

Глава I

Завоевание Уэльса (1265—1284)

В то время как литература и наука, на короткое время расцветшие в Англии, были заглушены там смутами баронской войны, оживление поэзии поставило в резкое противоречие общественный строй и духовную жизнь Уэльса.

Судя во внешности, Уэльс в XIII в. был погружен в полное варварство. Целые века ожесточенных войн и междоусобий, отчуждение от общехристианской культуры изгладили все следы древнеримской цивилизации, и непокоренные еще бритты превратились в массу диких пастухов, одевавшихся в звериные шкуры и питавшихся молоком своих стад; они были вероломны, жадны, мстительны, не сохранили политической организации выше клана, разъединялись страшными распрями и сходились только для битвы и для набега на чужестранцев. Но в душе этого дикого народа все еще тлела искра поэтического огня, воодушевлявшего их за четыреста лет перед тем в песнях Анеурина и Лайуорча Гена на борьбу с саксами. И вот, в час крайнего падения Уэльса молчание его было внезапно нарушено толпой певцов. Эта песнь XII в. исходила не от того или другого барда, но от всего народа: «Во всяком доме, — говорит наблюдательный Жеральд де Барри, — чужестранцы, прибывшие утром, наслаждаются до вечера рассказами девушек и игрой на арфе». Романтическая литература племени нашла себе удивительное выражение в его языке, бывшем таким же потомком древнекельтского наречия времен Цезаря, какими романские языки являются для латыни Цезаря. Этот язык получил определенный строй и литературную обработку гораздо раньше остальных языков новой Европы. Ни в одной средневековой литературе язык не достигал такой выработанности и законченности. В этих выработанных формах кельтская фантазия играет с паразитальной свободой. В одной из позднейших поэм Гуайон

Малый превращается в зайца, рыбу, птицу, пшеничное зерно, и это не более как символ причудливых форм целой серии рассказов — Mabinogion, в которых проявилась игра кельтского воображения и которые дошли до высшего совершенства в легендах об Артуре. Их веселая причудливость не обращает внимания на действительность, предание, вероятность и упивается невозможным и недействительным. Когда Артур отправляется в неизвестный мир, то едет на стеклянном корабле. «Нисхождение в ад, в описании одного кельтского поэта, отбрасывает и средневековые ужасы, и средневековое благочестие: спустившийся туда рыцарь проводит годы адского заточения в охоте, пении и беседах с прекрасными женщинами. Мир «мабиногиона» — мир чистой фантазии, мир чудес и очарований, мрачных лесов, тишина которых прерывается звоном колокола отшельника, и светлых полей, где свет играет на доспехах героя. Каждая фигура, проходящая через воображение поэта, сверкает яркими красками: «Девушка была одета в платье блестящего шелка, вокруг ее шеи висело ожерелье из червонного золота, украшенное изумрудами и рубинами. Ее золотистые волосы блистали ярче дрокового цветка, цвет лица был белее морской пены, а пальчики прекраснее лесного анемона среди брызг лугового ключа. Глаза сокола не ярче ее очей. Ее грудь была белее груди лебедя, а щеки румянее самых красных роз». Всюду здесь восточное богатство пышных образов, но эта роскошь редко подавляет воображение. Восприимчивость кельтского характера, столь чувствительного к красоте, столь жаждущего жизни, ее тревожений, ее грусти и ее радостей, умеряется страстной меланхолией, вступающей против невозможного, инстинктивным пониманием благородного и чарующей прелести природы. Среди всех крайностей выражения здесь всюду чувствуется то грациозный полет чистой фантазии, то нежная нотка человеческого чувства, то магическое прикосновение красоты. Когда серые собаки Кальвега прыгают вокруг лошади своего хозяина, то они «играют, как две морские ласточки». Его копье разит «быстрее, чем падает капля росы с листка красной травки на землю в июне, когда роса бывает всего обильнее». Глубокая и тонкая любовь к природе и естественной красоте получает светлую окраску от охватывающего поэта страстного чувства человечности; это чувство прорывается в восклицании Гуалмайя: «Я люблю птичек и их сладкие голоса в убаюкивающих песнях леса», и он не спит ночью, а идет по «непритоптанной траве» леса или на берег моря слушать соловья и любоваться игрой морских чаек. Сам патриотизм облекается в те же живописные формы: уэльский поэт ненавидит плоскую однообразную страну саксов; говоря о своей родине, он описывает ее «морские берега и ее горы, ее города на краю лесов, ее прекрасные виды, ее долины и воды, ее

белых морских чаек и прекрасных женщин». Песнь быстро и тонко переходит в область нежного чувства: «Люблю я ее поля, одетые нежным трилистником, люблю болота Мерионета, где моя голова покоилась на бело-снежной руке». В кельтской любви к женщине мало тевтонской глубины и серьезности, а вместо них игривый дух изящного наслаждения, далекий слабый отблеск страсти, подобный розовому свету зари на снежных вершинах гор, радостное упоение красотой: «Моя милая бела, как цвет яблони, как пена моря; ее лицо блистает, как жемчужная росинка, румянец ее щек подобно блеску солнечного заката». Легкий и упругий характер французского трувера одухотворяется у певцов Уэльса более тонким поэтическим чувством: «Кто ни взглянет на нее, тот полюбит ее; где ступит ее ножка, там вырастает четыре трилистника». Прикосновение чистой фантазии переносит предмет ее из сферы страсти в область восхищения и уважения.

От этого поэтического мира странно, как мы сказали, переходить к действительной истории Уэльса. Но рядом с этим причудливым поэтическим течением идет струя более энергичной поэзии. Старый дух древних бардов, их наслаждение битвами, их любовь к свободе и ненависть к саксам — все это вылилось в ряде песен, странных, монотонных, часто прозаичных, но вдохновенных пылких патриотизмом. Новое появление таких песен указывало и на пробуждение новой энергии в долгой борьбе с английскими завоевателями.

Из трех государств, на которые победы при Дёргеме и Честере разбили земли еще непокоренных бриттов, два давно перестали существовать. Страна между Клайдом и Ди была постепенно поглощена захватами Нортумбрии и расширением шотландской монархии; Западный Уэльс, между Ла-Маншем и устьем Северна, подчинился мечу Эгберта. Более упорное сопротивление спасло независимость главной средней области, которая теперь одна только и носит название Уэльса. Она и сама была обширнейшим и сильнейшим из бриттских государств, да кроме того в ее борьбе с Мерсией ей помогала слабость последней, младшей и слабейшей из английских держав, а также внутренние раздоры, подрывавшие энергию завоевателей. Но едва Мерсия достигла главенства среди других государств, она энергично взялась за дело завоевания. Оффа оторвал от Уэльса землю между Северном и Уай, вторжения его преемников внесли огонь и меч в самое сердце страны, и уэльские государи должны были признать верховенство Мерсии. После падения ее последнее перешло к королям Уэльса. Законы Гоуэла Дда признают платеж ежегодной дани «государем Эберффроу» «королю Лондона». Слабость Англии в эпоху ее долгой борьбы с датчанами оживила надежды бриттов на независимость; но с падением Денло кня-

зья Уэльса снова покорились англам, а когда в середине царствования Исповедника они воспользовались ссорой между домами Леофрика и Годвина, чтобы перейти границу и напасть на самую Англию, то победы Гарольда восстановили английское верховенство. Его легковооруженные войска высадились на берег, проникли в горы Уэльса, и наследники князя Груффайда, голова которого послужила трофеем победы, поклялись соблюдать верность английской короне и платить ей прежнюю дань.

Борьба стала еще более отчаянной, когда волны нормандского завоевания разбились о границу Уэльса. Ряд крупных графств, учрежденных Вильгельмом вдоль этой границы, сразу ограничил разбойничьи набеги. Пфальцграф Честера Хьюг Ульф превратил Флинтшайр в пустыню, а Роберт де Белем, граф Шрусбери, по словам летописца, «резал уэльсцев, как овец, покорял их, обращал в рабство, обдирал их железными гвоздями». При поддержке этих крупных баронов толпа мелких авантюристов получила от короля разрешение отвоевывать земли у уэльсцев. Монмут и Абергавенни были захвачены нормандскими кастелянами, Бернард Нефмарше приобрел себе поместье Брекнок, а Роджер де Монтгомери заложил в Пауайсленде город и крепость, до сих пор носящие его имя. Общее восстание всего народа в эпоху Вильгельма II отняло у нормандцев хоть часть их добычи. Новый замок Монтгомери был сожжен, Брекнок и Кардиган очищены от пришельцев, границы самой Англии подверглись опустошению. Дважды водил король без успеха свою армию в горы Уэльса: неприятели укрывались в своих твердынях, пока голод и лишения не принуждали войско к отступлению. Более благоразумный Генрих I вернулся к отцовской системе постепенного завоевания, и волна нового вторжения разлилась вдоль берега, где страна была открытая, ровная и доступная с моря. Успеху вторжения содействовали внутренние распри. Один из уэльских главарей призвал к себе на помощь Роберта Фиц-Гама, лорда Глостера, а поражение Райса Тьюдора, последнего князя, объединившего Южный Уэльс, породило анархию, позволившую Роберту спокойно высадиться на берегу Глеморгана, завоевать окрестную страну и разделить ее между своими воинами. Отряд фламандцев и англичан сопровождал графа Клэра, когда он высадился близ Мильфордской гавани, оттеснил бриттов в глубь страны и основал «Малую Англию» в нынешнем Пемброкшире. Несколько смелых искателей приключений сопровождали также нормандского лорда Кемейс в Кардиган, где земля могла быть добычей для всякого, «кто только отваживался на войну с уэльсцами».

В этот момент, когда полное подчинение бриттов, казалось, было близко, новый взрыв энергии остановил нашествие завоевателей и превратил

колеблющееся сопротивление отдельных областей Уэльса в борьбу всего народа за утраченную независимость. Явился снова, как мы видели, поэтический пыл. Каждое сражение, каждый герой тотчас находили себе певцов. Имена древних баронов ожили в смелых подделках, возбуждавших народ к сопротивлению и предвещавших победу. Новый патриотизм всего сильнее поддерживался этими песнями в Северном Уэльсе. Несколько раз приходилось Генриху II отступать перед неприступными твердынями, с которых «лорды Снодона», князья из дома Груффайда, сына Конана, господствовали над Уэльсом. Однажды разнесся слух, что король убит, Генрих Эссекский кинул королевское знамя, и только отчаянные усилия короля спасли армию от полного поражения. Во время другого похода нападающие были застигнуты такими ливнями, что принуждены были бросить обоз стремглав бежать к Честеру. Величайшая из уэльских од, известная английским читателям по переводу ее Греем, «Триумф Оуэна» и представляет собой победную песнь Гуальхмайя, сложенную в честь отражения английского флота от Эберменей. В течение долгого правления двух Ллевелинов, сыновей Жоруэрта и Груффайда, — правления, занимавшего почти весь последний век независимости Уэльса, — казалось, суждено было осуществиться всем надеждам их соплеменников. Первому из них удалось принудить к присяге всех уэльских вождей, что прямо поставило его во главе всего народа и тем придало новый характер его борьбе с королем Англии. Укрепляя свою власть внутри страны и распространяя ее и на Южный Уэльс, Ллевелин, сын Жоруэрта, упорно стремился обеспечить себе средства к низвержению ига саксов. Тщетно старался Иоанн купить его дружбу выдачей за него замуж своей дочери. Новые набеги на границы заставили короля вступить в Уэльс; но хотя его армия и дошла до Снодона, она принуждена была, как и ее предшественницы, истомленная голодом и лишениями, отступить перед неуловимым врагом. Второе вторжение сопровождалось большим успехом. Главари Южного Уэльса отказались от недавней присяги и перешли на сторону англичан, а стесненный в своих твердынях Ллевелин принужден был наконец подчиниться. Не успели, однако, еще высохнуть чернила, которыми был подписан договор, как пламя восстания снова охватило Уэльс. Страх перед англичанами еще раз объединил его вождей, а борьба между Иоанном и его баронами устранила всякую опасность нового вторжения. Отказавшись от присяги отлученному королю, Ллевелин заключил союз с предводителем баронов Фиц-Уолтером, очень желавшим привлечь на свою сторону государя, который мог держать в узде пограничных графов, всего сильнее стоявших за короля. Ллевелин воспользовался этим случаем, чтобы захватить Шрусбери, при-

соединить Пауайс, где всегда было сильно английское влияние, выгнать королевские гарнизоны из Кермартена и Кардигана и принудить даже фламандцев Пемброка к признанию его власти.

С каждым из этих триумфов лорда Снодона надежды уэльсцев все более возрастали. Двор Ллевелина был наполнен бардами: «Он сыплет золото бардам, — поет один из них, — как дерево роняет созревшие плоды на-земь». Но золото едва ли нужно было для пробуждения их энтузиазма. Поэт за поэтом воспевали «опустошителя Англии», «орла среди людей, который не любит валяться и спать», который «со своим длинным окровавленным копьём поднимается над прочими людьми», у которого «красный боевой шлем увенчивается лютым волком». «Шум его приближения подобен реву морских волн, которые разбиваются о берег и которых ничто не может ни остановить, ни укротить». Менее крупные барды в грубых песнях прославляли победы Ллевелина и возбуждали его к бою: «Будь храбр в бою, — поет Элидир, — будь верен своему делу, опустошай Англию, разоряй ее народ». Сильная жажда крови слышится в отрывистых страстных стихах придворных поэтов: «Суэнси, этот мирный город, превращен в груду развалин, — восклицает с торжеством поэт, — Сент-Клир с его широкими меловыми землями, уже не саксы владеют им теперь!»; «В Суэнси, этом ключе Лоэгрии, мы сделали вдовами всех женщин»; «Грозный Орел привык класть трупы рядами и торжествовать вместе с волками и летучими воронами, наглотавшимися мяса, — мясниками, быстро чующими трупы»; «Лучше могила, — кончается песнь, — чем жизнь человека, который тяжело вздыхает, когда рога вызывают его на поле брани». Но даже в песнях бардов Ллевелин поднимается высоко над толпой вождей, живших лишь грабежом и хваставшихся на пирах, когда рог переходил из рук в руки, «что они не просят и не дают пощады». Ллевелин был «нежным, мудрым, остроумным и находчивым» мужем, «великим Цезарем», которому предстояло собрать под свою власть все обломки кельтского племени. Тайнственные предсказания Мерлина Мудрого переходили из уст в уста и вдохновляли уэльсцев на борьбу с завоевателем. Медрод и Артур явятся еще раз на земле и снова будут биться в роковой камланской битве. Жив также и последний кельтский завоеватель Кедваллон, и будет он биться за свой народ. Стихи, приписывавшиеся Тальезину, выражали неумирающую надежду на возрождение кимров: «В руках их опять окажется вся земля от Бретани до Мэна... и пронесется молва, что германцы уходят обратно на свою родину». Все эти предсказания, собранные в странном произведении Жоффруа Монмута, производили глубокое впечатление не только на уэльсцев, но и на их завоевателей. Сам Генрих II с целью уничтожить мечту о

том, что Артур еще жив, разыскал и посетил могилу легендарного героя Глестонбери, но ни эта уловка, ни даже завоевание не могли поколебать твердой веры кельтов в конечное торжество их народа. «Думаете ли вы, — спросил Генрих приставшего к его войску уэльского вождя, что ваш мятежный народ может противостоять моей армии?» — «Мой народ, — отвечал тот, — может быть ослаблен вашим могуществом и даже в большей части истреблен, но вполне погибнуть он может только тогда, когда гнев Божий станет на сторону его врагов. Я не допускаю, чтобы в день последнего суда пред Судьей всех отвечал вместо уэльсцев какой-нибудь другой народ и не на языке Уэльса». Народная песнь гласила: «Будут хвалить они своего Бога и сохранять свой язык, но потеряют свои земли — кроме дикого Уэльса». Возрастающая сила кельтского племени, казалось, оправдывала эту веру и эти пророчества. Слабость и раздоры, отличавшие царствование Генриха III, позволили Ллевелину, сыну Жоруэрта, сохранить фактически независимость до конца своей жизни, когда архиепископ Эдмунд заставил его снова признать верховенство Англии. Наследовавший ему Ллевелин, сын Груффайда, снова покрыл славой свое оружие, опустошил пограничные земли до самых ворот Честера и завоевал Глеморган, что соединило весь народ в одну державу, достаточно сильную, чтобы отражать нападение иноземцев. В течение всей «баронской войны» Ллевелин оставался владыкой Уэльса, да и по окончании ее, когда ему стало грозить нападение соединенных сил Англии, он покорился только под условием признания его главенства над Уэльсом. Прежде английские короли называли его просто «князем Эберффро»; теперь ему был дан титул «государя Уэльса», и за ним было признано право требовать себе присяги от других вождей его княжества.

Хотя, по-видимому, Ллевелин и был очень близок к осуществлению своих притязаний, однако он еще оставался вассалом английской короны, и при восшествии на престол нового короля от него тотчас потребовали присяги. Уже в молодости Эдуард I проявил высокие качества, отличавшие его впоследствии, как правителя Англии. С самого начала в нем обнаружилось любовь к законности и стремление к порядку в управлении, которым суждено было сделать его царствование столь памятным в нашей истории. Сначала он поддерживал баронов в их борьбе с Генрихом и убеждал отца соблюдать Оксфордские постановления. На сторону роялистов он перешел только тогда, когда опасность стала, по-видимому, грозить самой короне; а когда гроза миновала, он вернулся к своему прежнему отношению. В первом пылу победы, когда участь графа Симона была еще неизвестна, один Эдуард высказывался за пленение его, вопреки мнению пограничных

баронов, желавших его смерти. Когда все уже было кончено, он плакал над телом своего кузена Генриха де Монфора и провожал тело графа до могилы. У графа Симона, как он признавал это перед смертью с горделивой горечью, научился Эдуард искусству полководца, отличавшему его среди других современных ему государей; но у него же научился он и самообладанию, ставившему его как правителя высоко над другими людьми. Он не разделял грубого увлечения роялистов своей победой, обеспечил побежденным сносные условия и, сломив всякое сопротивление, добился принятия короной той конституционной системы управления, за которую боролись бароны. Страна настолько успокоилась, что Эдуард счел для себя возможным отправиться в Крестовый поход. Смерть отца в 1272 г. вызвала его на родину и тотчас поставила лицом к лицу с притязаниями Уэльса. В течение двух лет Ллевелин отвергал повторные приглашения короля явиться для принесения присяги; наконец, терпение Эдуарда истощилось, и королевская армия двинулась в Северный Уэльс. Величие Уэльса рушилось при первом толчке: так недавно еще клявшиеся в верности Ллевелину вожди Центрального и Южного Уэльса изменили ему и перешли на сторону Эдуарда; английский флот завладел Энглези, и стесненный в своих твердынях Ллевелин принужден был сдаться на милость победителя. С обычной своей умеренностью победитель ограничился присоединением к своим владениям прибрежного округа вплоть до Конуэя. Титул «государя Уэльса» был оставлен в пожизненное пользование Ллевелину; вместе с тем ему был прощен сначала наложенный на него тяжелый штраф. Сверх того, английский двор выдал за него захваченную на пути к нему его невесту, дочь графа Симона де Монфора Элеонору. В течение четырех лет все было спокойно, пока брат Ллевелина Давид, изменивший ему в предыдущей войне и награжденный за измену английским лордством, не подстрекнул его к новому мятежу. По стране ходило пророчество Мерлина, гласившее, что когда английская монета станет круглой, князь Уэльса будет коронован в Лондоне; распоряжение Эдуарда о чеканке новой медной монеты и запрещение разбивать серебряную на две и четыре части, как это было в обычае, в Уэльсе приняли за исполнение предсказания. В возгоревшейся войне Ллевелин держался в Снодоне с упорным отчаянием, а поражение английского отряда, наводившего мост через пролив на Энглези, затянуло поход до зимы. Как ни ужасны были страдания английской армии, но Эдуард остался непоколебим, отверг все предложения об отступлении и приказал образовать новую армию в Кермартене, чтобы окружить Ллевелина со всех сторон. В это время последний вышел из своей горной твердыни с целью напасть на Редноршир и был убит в небольшой стычке на берегах Уай. С ним

погибла и независимость его народа. После шестимесячного укрывательства брат Ллевелина Давид был захвачен и приговорен парламентом, как изменник, к смерти. За подчинением менее значительных вождей последовала постройка сильных крепостей в Конуэе и Кернарвоне и поселение английских баронов на конфискованных землях. По мудрому распоряжению Эдуарда, «Уэльский статут» ввел в стране английские законы и английское управление. Но из этой попытки вышло немного, и на самом деле Уэльс вошел в состав Англии не ранее времени Генриха VIII. Что действительно удалось сделать Эдуарду, это сломить сопротивление уэльсцев. Его справедливая политика достигла своей цели (рассказы об убийствах бардов — чистые выдумки), и несмотря на два позднейших восстания, Уэльс перестал на целые сто лет представлять сколько-нибудь серьезную опасность для Англии.

Глава II

Английский парламент (1283—1295)

Завоевание Уэльса указывало на усвоение короной новой политики. С самого начала своего царствования Эдуард I отказался от всякой мысли о возвращении французских владений, утраченных его дедом, и сосредоточил свое внимание на улучшении управления собственно Англией. Присоединение Уэльса или попытку подчинить Шотландию можно понять как следует, только рассматривая их как части того же плана национального управления, которому Англия обязана окончательным установлением ее судебного и законодательного строя, ее парламента. Английская политика короля, подобно его английскому имени, была знаменем нового времени. Долгий период образования нации, в сущности, пришел к концу. С царствования Эдуарда начинается новая Англия, конституционная Англия нашего времени. Это не значит, чтобы последующая история ее отделялась от предшествующей пропастью, вроде той, какой в истории Франции служит революция: зачатки английской конституции можно проследить до времени первого появления англо-в Британии. Но с зачатками этими произошло то же, что и с английским языком. Язык Альфреда — тот же язык, каким говорят теперь англичане, но, несмотря на это тождество, англичанам приходится изучать его как язык иностранный. С другой стороны, язык Чосера почти так же понятен, как современный. В языке Альфреда историк и филолог может знакомиться с началом и развитием английской речи; на языке Чосера английский школьник может забавляться историей Троила и

Крессиды или прислушиваться к веселым рассказам кентерберийских пилигримов. Точно таким же образом знание древних законов Англии необходимо для правильного понимания позднейшего законодательства, его начала и развития, а основы парламентской системы непременно следует искать в «собраниях мудрых» до завоевания или в Великом совете баронов после него. Но парламенты, собиравшиеся в конце царствования Эдуарда, не только выясняют историю позднейших парламентов: они совершенно тождественны тем, которые и до сих пор заседают у Св. Стефана, а на статут Эдуарда, если он не отменен, можно ссылаться так же прямо, как и на статут Виктории. Словом, долгая борьба за само существование конституции пришла к концу. Последующие пререкания уже не затрагивают, подобно предыдущим, общего строя политических учреждений; это просто ступени той строгой школы, которая приучила и еще учит англичан: лучше пользоваться и разумно развивать скрытые силы народной жизни, поддерживать равновесие сил — общественных и политических, приноравливать конституционные формы к изменяющимся условиям времени. С царствования Эдуарда мы, в сущности, стоим лицом к лицу с новой Англией. Король, лорды, общины, высшие суды, формы управления, местные деления, провинциальные суды, отношения церкви и государства, вообще остов целого общества — все это приняло ту форму, которая, в сущности, сохраняется и до сих пор.

Многое в этой великой перемене следует, несомненно, приписать общему настроению эпохи, для которой, по-видимому, главной целью и задачей было выработать определенные формы для великих начал, получивших новую силу в течение предшествующего века. Как начало XIII в. было временем основателей, творцов, открывателей, так конец его был веком законодателей; самыми знаменитыми людьми эпохи были уже не Бэкон, Симон де Монфор или Франциск Ассизский, а деятели вроде Людовика Святого или Альфонса Мудрого, организаторы, правители, законодатели, учредители. К их разряду принадлежал и сам Эдуард. В его характере мало было творческого гения или политической оригинальности, но он обладал в высокой степени способностью организатора, и его страстная любовь к закону пробивалась даже в судейском крючкотворстве, до которого он временами снисходил. В судебных реформах, которым он посвящал так много внимания, он выказал себя если не «английским Юстинианом», то, во всяком случае, проницательным человеком дела, развивавшим, реформировавшим, придававшим прочные формы учреждениям своих предшественников. Одной из первых его забот было завершение судебных реформ, начатых Генрихом II. Важнейший суд для гражданских дел, суд шерифа или графства, сохра-

нил как пределы своей юрисдикции, так и характер королевского чиновника за шерифом. Но высшие суды, на которые распался со времени Великой хартии суд короля, суды королевской скамьи, казначейства и общих дел, получили теперь каждый особый состав судей. Гораздо важнее этой перемены, в сущности, только заканчивавшей давно уже начавшийся процесс разделения, было установление «совестного суда» рядом с судом по общему праву. Своей реформой 1178 г. Генрих II уничтожил старый «суд короля», который до того служил высшей апелляционной инстанцией, выделив собственно судей, постепенно к нему присоединявшихся, из общего собрания своих советников. Выйдя, таким образом, из совета, эти судьи сохранили за собой имя и обыкновенную юрисдикцию «суда короля», а все дела, которых они не могли разрешить, представлялись на особое рассмотрение Королевского совета. Этой высшей юрисдикции «короля в совете» Эдуард дал широкое развитие. Собрание министров, высших сановников и юристов короны на первый раз оставило за собой в качестве судебного учреждения исправление тех правонарушений, которые не могли подавить низшие суды, по слабости, пристрастию или подкупности, и в частности преследование беззаконий сильнейших вельмож, пренебрегавших властью обыкновенных судей. Хотя парламент и относился ревниво к юрисдикции совета, но она, по-видимому, постоянно сохраняла свою силу в течение двух следующих веков; в царствование Генриха VII она получила определенную юридическую форму в виде суда Звездной палаты. И еще в наши дни ее полномочиями пользуется судебный комитет Тайного совета. Та же обязанность короны восстанавливать право там, где ее судам не удалось дать должного удовлетворения за обиду, выражалась и в юрисдикции канцлера. Этот сановник, действовавший первоначально может быть только как председатель совета при отправлении им судебных обязанностей, приобрел очень равно независимое судебное положение такого же рода. Только припоминая происхождение канцлерского суда поймем мы характер полномочий, постепенно им приобретенных. Ведению его, как и Королевского совета, подлежали все жалобы подданных, в частности жалобы на злоупотребления чиновников и сильных притеснителей, а также тяжбы касательно опеки над детьми, приданого, арендных повинностей или десятин. Его совестный суд объяснялся пробелами и неподвижными нормами общего права. Как совет давал удовлетворение в делах, где право становилось несправедливостью, так канцлерский суд, не стесняясь правилами судопроизводства, принятыми в судах общего права, вмешивался по ходатайству стороны, не находившей себе справедливого удовлетворения в общем праве. Подобное распространение его полномочий позволяло канцлеру оказывать помощь в случаях обмана

или злоупотребления доверием, и эта сторона его юрисдикции впоследствии сильно расширилась под влиянием законодательства о церковном землевладении. К какому бы времени ни относилось первоначальное применение отдельных полномочий канцлера, но они, по-видимому, были уже вполне установлены при Эдуарде I.

В законодательстве, как и в своих судебных реформах, Эдуард восстановил и закрепил те начала, которые уже были приведены в действие Генрихом II. Знаменательные законы указали намерение его продолжать политику Генриха в деле ограничения независимого суда церкви. Он намеревался придать ей вполне национальный характер, возложив на нее часть общенародных повинностей, и порвать растущую зависимость ее от Рима. На вызывающее сопротивление церковного общества он отвечал резкими мерами. Попадая в «мертвую руку» церкви, земля переставала нести феодальные повинности, и вот закон «о мертвой руке» воспретил такую передачу земли церковным корпорациям, при которой она переставала служить королю. Это ограничение, вероятно, не было благотельно для страны вообще, так как церковники были лучшими землевладельцами, а остроумие церковных юристов скоро изобрело способы обходить его; но оно указало на рост ревнивого отношения ко всякой попытке освободить часть нации от служения общим нуждам и пользам. Непосредственным результатом закона было возбуждение сильного неудовольствия духовенства. Но Эдуард остался тверд, и когда епископы предложили отнять у королевских судов разбор дел о патронате или тяжб об имуществе церковников, он ответил на эти предложения решительным отказом. Его забота о торговых классах видна в законе о купцах, предписывавшем запись долгов торговцев и покрытие их путем ареста имущества и личного его задержания. Уинчестерский статут, важнейшая из мер Эдуарда для охранения общественного спокойствия, оживил и преобразовал старые учреждения национальной защиты и полиции. Он регулировал действие сотни, сторожевую повинность и собрание ополчения королевства в той форме, какую придал ему Генрих II в своей «Ассизе оружия». Каждый обязан был в надлежащем вооружении быть готовым к службе королю в случае вторжения или мятежа, или для преследования преступников в случае тревоги. Каждый округ был ответствен за преступления, совершаемые в его пределах; улицы каждого города предписывалось запираť с наступлением ночи, и все посторонние обязаны были заявлять о себе городским сановникам. Чтобы обезопасить путников от неожиданных нападений разбойников, предписывалось вырубать кустарник на расстоянии двухсот футов с каждой стороны проезжей дороги — постановление, характеризующее одинаково и обще-

ственное, и физическое положение страны в эту эпоху. Для наблюдения за применением этого закона в каждом графстве назначались рыцари — «хранители мира»; когда значение этих местных сановников более выяснилось и их полномочия сильно расширились, это название было заменено — «мировые судьи», которое они доселе удерживают. Важная мера, называемая обыкновенно статутом «о покупателях», принадлежит к числу законов, указывающих на успех широкого общественного переворота в целой стране. Число крупных баронов постоянно уменьшалось, тогда как численность мелкого дворянства и более состоятельного крестьянства, с возрастанием народного богатства, все росла. Рост последнего обнаруживался в усиленном стремлении становиться землевладельцами. Вассалы крупных баронов брали себе подвассалов с условием, чтобы те несли такие же повинности, какие на них самих налагали их лорды; бароны, хотя и пользовались всеми теми доходами, за которые они первоначально отдали в лен свои земли, но смотрели с завистью на переход в чужие руки повинностей новых подвассалов, с доходов от опеки, наследства и т. п., одним словом, всей той прибавки к ценности земли, которая является вследствие ее дробления и лучшей обработки. Целью статута и было затруднить этот процесс предписанием, что при всяком отчуждении подвассал должен впредь зависеть не от вассала, а прямо от сюзерена. Но вместо того чтобы затруднить передачу и дробление земли, статут только усилил ее. Прежде вассал стремился удержать за собой столько земли, чтобы можно было нести повинности сюзерену; теперь он получил возможность передавать новым владельцам и землю, и повинности с помощью приема, похожего на позднейшую продажу «арендного права». Как бы ни были мелки имения, так создававшиеся, но в массе они зависели прямо от короны, и с этого времени численность и значение класса мелких помещиков и вольных поселян стало постоянно расти.

Этому социальному перевороту, а также широкой политике Эдуарда I, обязан своим происхождением парламент. Ни «собрание мудрых» до завоевания, ни Великий совет баронов после него не носили нисколько представительного характера. В теории уитенагемот составляли все свободные землевладельцы; на деле он рано стал собранием эрлов, вельмож и епископов, а также сановников и слуг королевского двора. Завоевание внесло мало перемен в состав этого собрания: в Великий совет нормандских королей должны были входить все прямые вассалы короны, епископы и главные аббаты, из независимых духовных сановников все более становившиеся баронами, и высшие сановники двора. Однако несмотря на сохранение прежнего состава, характер собрания существенно изменился. Из свободного

«собрания мудрых» оно обратилось в «двор» королевских вассалов. Его функции стали, по-видимому, почти призрачными, а его полномочия ограничивались разрешением, без права обсуждения или отказа, всех субсидий, требуемых от него королем. Однако его «совет и согласие» оставались необходимыми для юридической силы всякой крупной финансовой или политической меры, и само существование его было настоящим протестом против теорий самовластия, выдвинутых юристами Генриха II и провозглашавших волю государя единственным источником закона. На деле при Генрихе эти собрания стали более регулярными, а их функции более важными. Реформы, прославившие его царствование, были обнародованы в Великом совете, и в нем допускалось даже обсуждение финансовых вопросов. Его влияние на обложение было, однако, признано формально не ранее издания Великой хартии, установившей правило, что никакой налог, сверх обычных феодальных повинностей, не может быть назначен иначе, как «общим собранием королевства». Великая же хартия впервые определила прямо и форму собрания. В теории, как мы видели, оно состояло из всех прямых вассалов короны; но те же самые причины, по которым участниками уитенагемота остались одни вельможи, повлияли и на состав собрания баронов. Присутствие в нем было обременительно, по требовавшимся для этого расходам, для простых вассалов короны, рыцарей или «мелких баронов», а их численность и зависимость от вельмож делали их собрание опасным для короны. Поэтому уже со времени Генриха I мы находим признание различия между «крупными баронами», из которых обыкновенно состояло собрание, и «мелкими баронами», составлявшими массу вассалов короны. Но хотя присутствие последних и стало редким, их право на участие в собрании осталось нетронутым. Установив, что на каждое собрание совета прелаты и вельможи должны приглашаться отдельными грамотами, Великая хартия в замечательной статье предписала рассылку шерифами общих приглашений ко всем прямым вассалам короны. Вероятно, целью постановления было побудить мелких баронов к пользованию правами, на деле пришедшими в забвение, но так как статья эта опущена в позднейших изданиях Великой хартии, то можно сомневаться, чтобы выраженное в ней начало когда-либо получало широкое применение. Есть указания на присутствие немногих рыцарей, может быть из соседнего с местом собрания дворянства, на некоторых заседаниях совета при Генрихе III, но до позднего периода царствования его преемника Великий совет на деле оставался собранием вельмож, прелатов и сановников короны. Перемена, которой не удалось произвести Великой хартии, была теперь осуществлена социальными условиями эпохи. Одним из самых замечательных усло-

вий этого рода было постоянное уменьшение числа крупных баронов. Масса графских владений уже перешла к короне вследствие пресечения фамилий, ими владевших; из крупных бароний многие фактически прекратили существование, благодаря разделу между сонаследниками, другие — вследствие постоянного стремления бедных баронов освободиться от своего звания с целью избежать тяжести высшего обложения и присутствия в парламенте. Как далеко зашло такое уменьшение, можно видеть из того, что в первых парламентах Эдуарда заседало едва ли более ста баронов. В то время как число лиц, действительно пользовавшихся правом участия в парламенте, быстро падало, число и богатство мелких баронов, для которых право присутствия стало только конституционным преданием, быстро росло. Продолжительный мир и процветание королевства, расширение торговли, усиление вывоза шерсти усиливали ряды и доходы провинциального дворянства, а также фригольдеров и состоятельных крестьян. Мы уже отметили рост привязанности к землевладению, который делает это царствование столь важным моментом в истории английских фригольдеров; но то же течение существовало до некоторой степени и в предыдущем веке, и именно сознание растущего значения этого класса землевладельцев и побудило баронов в эпоху хартии сделать бесплодную попытку — привлечь их к участию в совещаниях Великого совета. Баронам нужно было их присутствие для борьбы с короной; корона желала его, чтобы сделать обложение более действенным. Пока Великий совет оставался просто собранием вельмож, министрам короля необходимо было договариваться отдельно с другими сословиями государства насчет размера и раскладки их взносов. Субсидия, принятая Великим советом, была обязательна только для баронов и прелатов, принявших ее; прежде чем в королевскую казну могли поступить взносы городов, церкви или графств, чиновники казначейства должны были вести отдельные переговоры со старшинами каждого города, с шерифом или собранием каждого графства, с архидьяконами каждой епархии. По мере возрастания нужд короны в последние годы Эдуарда, переговоры эти становились все более затруднительными, и фискальные удобства потребовали включения этих классов в состав Великого совета для получения от них согласия на предложенное обложение.

Едва ли, однако, можно было повторить попытку восстановить прежнее личное участие мелких баронов — попытку, неудавшуюся полвека раньше, — повторить в эпоху, когда возрастание числа их делали это еще более неприменимым. К счастью, средство обойти это затруднение было указано самым характером того собрания, через которое только и можно было обращаться с приглашениями к поземельному дворянству. Среди судеб-

ных реформ Генриха и Эдуарда суд графства остался без изменения. Древний холм или дуб, вокруг которых сходилось собрание, — часто суд производился на открытом воздухе — сдужили остатками того времени, когда свободное королевство еще не было графством, а его сейм — собранием графства. Но собрание фригольдеров осталось по-старому, помимо того, что королевский чиновник занял место короля, а нормандские законы устранили епископа и посадили рядом с шерифом четырех коронеров. Местные дворяне, крестьяне, домохозяева графства — все были представлены в толпе, собиравшейся кругом шерифа, когда он в сопровождении ливрейных слуг обнародовал повеления короля, извещал о требовании им субсидий, принимал представляемых преступников и показания местных присяжных, распределял в каждом округе налоги или торжественно выслушивал апелляции по делам гражданским и уголовным от всех тех, кто считал себя обиженным в низших судах сотни или манора. Только в собрании графства и мог шериф по закону пригласить мелких баронов к участию в Великом совете, и именно в действующем устройстве этого собрания нашла корона разрешение для указанного уже нами затруднения, так как начало представительства, с помощью которого оно было разрешено, было современно самому собранию графства. Во всех делах гражданских и уголовных двенадцать присяжных помощников, как члены одного класса, хотя и не уполномоченные на это прямо, в сущности представляли при шерифе судебное мнение всего графства. От каждой сотни являлись группы из двенадцати присяжных посланцев, через которых округ представлял шерифу свои обвинения и с которыми последний сговаривался насчет доли графства в общем обложении. Домохозяева остальной толпы, одетые в черные блузы, доселе сохранившиеся в одежде извозчиков и пахарей, разбивались на группы из пяти человек, старосты и четырех ассистентов, служивших представителями сельских общин. Если в самом деле считать собрания графств прямыми потомками древнейших собраний английского народа, то начало парламентского представительства можно по справедливости относить к числу древнейших учреждений. Но к переустройству Великого совета начало это было применено очень медленно и постепенно. На приближение перемены указывает уже в конце царствования Иоанна вызов от каждого графства «четырех рассудительных рыцарей». В борьбе, происходившей при Генрихе III, обе стороны ощущали сильную нужду в поддержке областей, и потому как король, так и бароны одинаково приглашали рыцарей из каждого графства «для совещания об общем деле королевства». Без сомнения, с той же целью Симон де Монфор предписал грамотами выбор рыцарей в каждом графстве для знаменитого парламента 1265 г.

Нечто подобное постоянному участию начинается с восшествия Эдуарда, но прошло много времени, прежде чем на рыцарей перестали смотреть как на простых областных депутатов для распределения налогов и допустили их к участию в общих делах Великого совета. Статут «о покупателях», например, был проведен в нем раньше, чем могли явиться приглашенные рыцари. Их участие в совещательной деятельности парламента, а также правильное и постоянное присутствие в нем начинаются только с парламента 1295 г. К этому времени в их конституционном положении произведена была еще более важная перемена через распространение избирательных прав на массу фригольдеров. Право заседать в Великом совете принадлежало, как мы видели, только классу мелких баронов, да и из них право представительства имели в теории одни рыцари, но необходимость производить выборы в собрании графства сделала всякое ограничение состава избирателей физически невозможным. Собрание было составлено из всей массы фригольдеров, и ни один шериф не мог отличить голос крестьянина от голоса барона. Поэтому мы и видим, что с первого их появления рыцари считаются не простыми представителями баронов, а рыцарями графств, и этот незаметный переворот допустил к участию в управлении королевством всю массу сельских фригольдеров.

Финансовые затруднения короны привели к еще более крупной перемене, состоявшей в допущении в Великий совет представителей от городов. Присутствие рыцарей от каждого графства было, как мы видели, признанием древнего права, но в пользу депутатов городов нельзя было сослаться ни на какое право присутствия или участия в национальном «совете и согласии». С другой стороны, быстрое развитие их богатства делало их с каждым днем все более важными объектами национального обложения. Города давно уже освободились от всякого платежа пошлин или оброков королю, как высшему владельцу той земли, на которой они в большинстве случаев вырастали, — освободились через покупку так называемой «городской аренды», другими словами, через обращение неопределенных оброков в известную сумму, уплачиваемую ежегодно короне и распределяемую между всей массой горожан их собственными выборными. Юридически король сохранял только принадлежавшее всякому крупному собственнику право — взимать с лиц, живущих на его земле, известный налог под именем «добровольного сбора», всякий раз как бароны Великого совета давали субсидию на национальные нужды. Но стремление воспользоваться растущим богатством торгового класса оказалось сильнее юридических ограничений, и мы видим, как Генрих III и его сын присваивают себе даже над Лондоном право произвольного обложения без соглашения с со-

ветом. Правда, горожане могли отказаться от внесения требуемого королевскими чиновниками «добровольного сбора», но приостановка их рыночных или торговых привилегий под конец приводила их к покорности. Однако каждый из этих «добровольных сборов» приходилось вымогать после долгого спора между городом и чиновниками казначейства, и если городам приходилось мириться с тем, что они считали за вымогательство, то уловками и задержками они могли вообще принуждать корону к уступкам и понижению ее первоначальных требований. Поэтому те же самые финансовые основания, как и в случае с графствами, побуждали желать присутствия в Великом совете и представителей городов; но впервые нарушил старое конституционное предание гениальный Монфор, решившийся вызвать в парламент 1265 г. по два депутата от каждого города. Однако должно было пройти много времени, прежде чем была вполне усвоена широкая политическая идея великого патриота. В первые годы царствования Эдуарда мы находим мало случаев присутствия представителей от городов, да и тут их малое число и нерегулярное участие показывают, что они вызывались скорее для доставления финансовых сведений Великому совету, чем для представительства в нем отдельного сословия. Но каждый год говорил все сильнее и сильнее в пользу их включения, и, наконец, парламент 1295 г. воспроизвел собрание 1265 г. «Этому он от меня научился», — воскликнул при Ившеме Монфор, заметив искусство Эдуарда в атаке. «Этому он тоже у меня научился», — могла бы сказать его душа при виде того, как король собирает наконец по два депутата от каждого города и местечка в его королевстве для заседания в Великом совете совместно с рыцарями и баронами. Для короны такое изменение сначала было выгодно. Субсидии горожан в парламенте оказывались более доходными, чем прежние вымогательства казначейства. В общем, субсидии превышали на одну десятую взносы прочих сословий. Притом, их представители оказывались гораздо более послушными воле короля, чем вельможи или рыцари графств; только один раз в царствование Эдуарда горожане отказали короне в своем содействии. Впрочем, их легко было и контролировать, так как подбор представляемых городов зависел вполне от короля, и он мог по усмотрению увеличивать или уменьшать их число. Решение предоставлялось шерифу, и по указанию Королевского совета шериф Уильтса мог понизить число представленных в его графстве городов с 11 до трех, а шериф Бёкса объявить, что в своем графстве он может указать только одно местечко. Такой произвол не стеснял стремление городов добиться представительства. Трудно было ожидать, что со временем корона подчинится влиянию собрания скромно одетых торговцев, которых приглашали только для определения

взносов их городов и присутствия которых так же трудно было добиться, как оно казалось отяготительным для них самих и для пославших их городов. Масса граждан мало или совсем не принимала участия в выборе депутатов, так как они избирались в собрании графства немногими на то уполномоченными горожанами; но издержки на их содержание — два шиллинга в день платил депутату город, четыре — рыцарю графство — были бременем, от которого города всеми силами старались освободиться. Иные упорно не являлись на зов шерифа. Другие покупали грамоты, освобождавшие их от тягостной привилегии. Из 165 городов, указанных Эдуардом I, больше трети перестали присылать представителей после первого подчинения королевскому призыву. Во все время от царствования Эдуарда III до царствования Генриха VI шериф Ланкашира отказывался указывать имена каких-либо городов в графстве «в силу их бедности». Сами представители не больше стремились присутствовать в парламенте, чем города — посылать их. Деловой помещик и бережливый торговец одинаково старались избежать хлопот и издержек поездки в Вестминстер. Часто приходилось принимать особые меры, чтобы обеспечить их присутствие. Существует еще много грамот, вроде той, которая обязывает Уолтера Леру «представить восемь волов и четырех лошадей в обеспечение того, что он в назначенный день явится пред королем» для присутствия в парламенте. Несмотря на подобные препятствия, участие представителей от городов можно с парламента 1295 г. считать постоянным. Как представительство мелких баронов незаметно расширилось в представительство графств, так представительство городов, в теории ограниченное городами на королевских землях, со времени Эдуарда было в действительности распространено на все те, которые были в состоянии оплачивать расходы по содержанию депутатов. Точно также незаметно и в самом парламенте депутат, вызванный первоначально для участия только в вопросах обложения, был, наконец, допущен к полному участию в совещаниях и власти других сословий государства.

Допущение горожан и рыцарей графств в собрание 1295 г. закончило выработку представительного устройства. Великий совет баронов преобразовался в парламент королевства — парламент, в котором были представлены все сословия государства, принимавшие участие в разрешении налогов, в законодательной работе, наконец, в контроле над управлением. Но хотя во всех существенных чертах характер парламента с того времени и до сего остался неизменным, однако было несколько замечательных особенностей, которыми собрание 1295 г. отличалось от современного парламента. Некоторые из этих отличий, например те, какие явились вследствие

усиления полномочий или изменения отношений отдельных сословий между собой, мы будем иметь случай рассмотреть позднее. Гораздо более резкое, чем указанные, отличие заключается в присутствии духовенства. Если есть в парламентском плане Эдуарда I черта, которую можно считать лично ему принадлежащей, то это мысль о представительстве духовного сословия. Король, по крайней мере, дважды вызывал его представителей в Великий совет, но окончательно полное представительство церкви выработалось только в 1295 г., когда в грамоты, вызвавшие епископов в парламент, вставлено было постановление, требовавшее личного присутствия всех архидьяконов, деканов или настоятелей кафедральных церквей, одного депутата от каждого капитула и двух от духовенства епархии. Постановление это повторяется в грамотах и до сего времени, но его практическое значение было почти с первого раза уничтожено решительным сопротивлением духовенства, которое сумело добиться того, что не удалось городам. Даже когда ему приходилось подчиняться приглашениям короля, как это было, по-видимому, при Эдуарде I, оно упорно держалось в стороне, а его отказ разрешать субсидии иначе, как в своих областных собраниях, или конвокациях, — в Кентерберии и Йорке, лишил корону основания настаивать на его постоянном участии. Хотя по временам в особо торжественных случаях духовенство и появлялось в парламенте, но присутствие его стало настолько формальностью, что вышло совсем из обычая в конце XV в. Стремясь сохранить характер отдельного привилегированного сословия, духовенство отказалось от власти, которая, в случае ее сохранения, повлияла бы пагубно на здоровое развитие государства. Чтобы указать один пример, трудно представить себе, как можно было бы осуществить великие перемены реформации, если бы добрая половина палаты общин состояла из чистых церковников, влиятельных не только по своей численности, но и по богатству, как владельцы части земель королевства. Едва ли менее важным отличием следует считать постепенно установившийся обычай собирать парламент только в Вестминстере. Названия ранних статутов напоминают о созвании его в самых различных местах, в Уинчестере: Актон-Бёрнелле или Нортгемптоне. Только позднее парламент утвердил свою резиденцию в уединенной деревне, выросшей на топком болоте острова Торнса, рядом с дворцом, зубчатые стены которого возвышались над Темзой, и с большим собором, еще стоявшим во дни Эдуарда на месте старой церкви Исповедника. Возможно, что, содействуя сильно его конституционному значению, поселение тут парламента помогло оттеснить на второй план значение его как высшего апелляционного суда. Созывавший его манифест приглашал всех, — «кто хотел просить милос-

ти у короля в парламенте, или принести жалобу по делам, не могущим быть решенными в обыкновенном порядке, или кто терпел притеснения от чиновников короля или был неправильно обложен или обременен податями и повинностями», — представить свои ходатайства приемщикам, заседавшим в большой зале Вестминстерского дворца. Ходатайства передавались в совет короля, и, вероятно, именно расширение юрисдикции этого суда и последующее расширение суда канцлера и свели это древнее право подданных к существующему доселе обычаю, в силу которого при открытии нового парламента палата лордов избирает для формы «исследователей ходатайств». Но, должно быть, помня о старом обычае, подданные всегда искали защиты от притеснений короны или ее слуг у парламента королевства.

Глава III

Завоевание Шотландии (1290—1305)

В описанных конституционных преобразованиях важную роль играл личный характер Эдуарда, но еще сильнее обнаружилось его влияние в войне с Шотландией, охватывающей вторую половину его царствования.

В свое время и среди своих подданных Эдуард был предметом почти безграничного восхищения. Он был народным государем в полном смысле слова. В то время как исчез последний след чужеземного завоевания и потомки победителей и побежденных при Сенлаке слились навсегда в один народ, Англия увидела своим правителем не чужестранца, а англичанина. Национальное происхождение сказывалось не только в золотистых волосах или английском имени, связывавшем его с древними королями. Сам характер Эдуарда был вполне английский. В добре, как и в зле, он являлся типичным представителем народа, которым он правил. Как истый англичанин, он был своенравен и надменен, стоек в своих правах, неукротим в гордости, упрям и упорен, медлен в понимании и узок в симпатиях; с другой стороны, он также отличался справедливостью, бескорыстием, трудолюбием, добросовестностью, уважением к истине, умеренностью, сознанием долга, религиозностью. Он унаследовал, правда, от анжуйцев их склонность к бешеному гневу; его казни, когда он наказывал в гневе, были безжалостны, и священник, явившийся перед ним с увещанием в бурную минуту, упал к его ногам мертвым от одного страха. Но, по большей части, он руководился великодушными побуждениями, прямодушием, отвращением к жестокости, склонностью к забвению: «Никто никогда не просил у

меня милости, — говорил он в старости, — без того, чтобы получить ее». Грубое солдатское благородство его натуры проявляется при Фалкирке, где он ложится на голую землю среди своих солдат, или в его отказе во время уэльского похода выпить из единственного бочонка, уцелевшего от мародеров: «Это я довел вас до такой крайности, — сказал он томимым жаждой соратникам, — и я не хочу иметь перед вами преимущество в пище или питье». Под суровой повелительностью его внешнего вида скрывались на деле удивительная чувствительность и способность к привязанности. Всякий подданный привязывался сильнее к королю, горько плакавшему при известии о смерти отца, хоть она и доставила ему корону, — к королю, у которого сильнейший взрыв мести был вызван оскорблением матери и который, как памятники своей любви и скорби, воздвиг кресты всюду, где останавливался гроб его жены: «Я любил ее нежно при жизни, — писал Эдуард другу Элеоноре, аббату Клунийскому, — и я не перестаю любить ее теперь, после ее смерти». Как было с матерью и женой, так было и с целым народом. Самодовольное отчуждение первых анжуйцев полностью исчезает у Эдуарда. Со времени завоевания он был первым королем, любившим свой народ личной любовью и, в свою очередь, жаждавшим его любви. Его доверию к нему народ обязан парламентом, его заботливости о нем — великими законами, стоящими в преддверии законодательства. Даже в своей борьбе с ним Англия чувствовала все сходство его характера со своим, и в спорах между королем и народом никто из спорящих, несмотря на все их упорство, не сомневался ни на минуту в достоинстве или привязанности другого. В истории Англии мало сцен более трогательных, чем окончание долгого спора из-за хартии, когда Эдуард явился в Вестминстерском зале перед своим народом и с хлынувшими вдруг слезами откровенно признал себя неправым.

Именно эта чувствительность, эта доступность внешним впечатлениям и влияниям и привела к странным противоречиям, которые мы встречаем в деятельности Эдуарда. При первом короле с несомненно английским характером всего сильнее сказалось иноземное влияние на обычаи, литературу, национальный характер. Обращение Франции со времени Филиппа Августа в единую организованную монархию делало теперь ее влияние господствующим в Западной Европе. Рыцарство, столь известное по Фруассару — это живописное подражание высоким чувствам, героизму, любви и учтивости, перед которыми исчезало всякое настоящее и глубокое благородство, уступая место самому грубому распутству, узкому духу касты и полному равнодушию к человеколюбивому страданию, — было специально французским созданием. В характере Эдуарда было благородство, ос-

лаблявшее вредное влияние этого рыцарства. Его жизнь отличалась чистотой, его благочестие, когда оно не унижалось до суеверия современников, — достоинством и искренностью, а высокое сознание долга охраняло его от легкомысленной распушенности его преемников. Но он далеко не был свободен от современной заразы. Он страстно желал быть образцом светского рыцарства эпохи. С самой молодости он славился как замечательный полководец; Симон де Монфор был изумлен его искусной тактикой при Ившеме, а в своем уэльском походе он выказал настойчивость и силу воли, превратившие в победу само поражение. Он умел руководить бурной атакой конницы при Льюисе или устроить интендантство, позволявшее ему двигать армию за армией через разоренную Шотландию. В старости он умел оценить значение английских стрелков и воспользоваться ими как орудием для победы при Фалкирке. Но свою славу как полководца Эдуард считал пустяком сравнительно со славой рыцаря. Он вполне разделял народную любовь к борьбе. Притом, у него была фигура природного воина — высокий рост, широкая грудь, длинные руки и ноги; он был одинаково вынослив и деятелен. Схватившись после Ившема с Адамом Гёрдоном, рыцарем огромного роста и испытанной храбрости, он в единоборстве заставил его просить пощады. В начале своего царствования он спас свою жизнь ловкой борьбой на турнире в Шалоне. Эта страсть к приключениям доводила его до пустой фантастичности нового рыцарства. За «круглым столом в Кенилворте» сотня рыцарей и дам, «одетых все в шелк», восстановила поблекшую славу двора Артура. Отпечаток ложного романтизма, придававшего важнейшим политическим решениям вид сентиментальных порывов, замечен и в «лебединой клятве», когда Эдуард поднялся за королевским столом и поклялся над стоявшим перед ним блюдом отомстить Шотландии за смерть Джона Комина, своего союзника и родственника (жена Комина была кузиной Эдуарда). Еще более роковое влияние оказало на него рыцарство, ограничивая его симпатию высшим сословием и отнимая всякое право на участие у крестьян и ремесленников. Эдуард был «рыцарем без упрека» и в то же время спокойно смотрел на избиение жителей Бервика и видел в Уильяме Уоллесе только простого разбойника.

Едва ли слабее, чем французское понятие рыцарства, повлияла на характер Эдуарда новая французская теория королевской власти, феодализма и права. Возвышение класса юристов всюду обращало обычное право в писаное, верность — в подданство, слабые связи, вроде коммендации, — в определенную зависимость. Но именно французское влияние, влияние Людовика Святого и его преемников, привело в связь деспотические теории римского права с этим естественным стремлением эпохи. Когда посред-

ством юридической фикции «священное величество» цезарей было перенесено на короля, главу феодальной знати, все конституционные отношения изменились. «Вызов», путем которого вассал отказывался от службы сюзерену, оказался изменой, а дальнейшее его сопротивление — «клятвopепреступлением». Судебные и парламентские реформы Эдуарда показывают, что он мог оценить здравые и благородные начала тогдашнего права; но в его точности, непреклонности, технической узости было нечто сродни характеру короля. Он никогда не был намеренно несправедлив, но он слишком часто в своем суде был придирчив, пристрастен к судейскому крючкотворству и склонен пользоваться буквой закона. Эта склонность его ума в соединении с заимствованным у Людовика Святого высоким понятием о королевской власти вызвали худшие поступки Эдуарда. Подчиняя свой здравый смысл идее величия короны, он знать ничего не хотел о правах или вольностях, не занесенных в хартии или свитки. Ему казалось невероятным, что Шотландия должна восстать против юридической сделки, поставившей ее национальную свободу в зависимость от условий, навязанных претенденту на ее престол, и он мог видеть только измену в сопротивлении своих баронов произвольному обложению, которое терпели их отцы. Именно в странностях подобного характера, в удивительном смешении правды и несправедливости, благородства и мелочности и нужно искать настоящее объяснение многих черт в поведении и политике Эдуарда, вызывавших потом резкое порицание.

Чтобы понять, как следует, его борьбу с шотландцами, мы должны отделиться от тех понятий, какие мы соединяем теперь со словами «Шотландия» или «шотландцы». В начале XIV в. королевство Шотландия состояло из четырех областей; каждая из них первоначально была населена особым народом, говорившим на особом языке или, по крайней мере, наречии и имевшим свою отдельную историю. Первой из них была низменная область, одно время называвшаяся Саксонией, а теперь носящая название Лотиана, или Мерзы; в общих чертах — это пространство между Фортom и Твидом. Мы видели, что в конце завоевания англами Британии королевство Нортумбрия простиралось от Гёмбера до Фортского залива и что низменная область составляла только северную часть этого королевства. Английское завоевание и английская колонизация достигли здесь такой же полноты, как и в прочей Британии. Реки и горы удержали, правда, свои кельтские имена, но названия рассеянных по стране поселений указывали на заселение ее германцами. Ливинги и Додинги передали свои имена Ливингстону и Дёддингстону; Эльфинстон, Дольфинстон и Эдмундстон сохранили память об англичанах Эльфингах, Дольфингах и Эдмундах, поселив-

шихся на той стороне Тевиота и Твида. К северу и западу от этой области лежали земли коренных жителей. Бритты искали себе убежища за Пустошью — за рядом бесплодных болот, идущих от Дербишира до Чивиота, — в длинной береговой полосе между Клайдом и Ди, составлявшей древнюю Кумбрию. Усилия правителей Нортумбрии постоянно направлялись против этого королевства. Победа при Честере отделила его от земель уэльсцев на юге; Ланкашир, Уэстморленд и Кемберленд были подчинены уже во время Экфрита, а клочок между заливами Сольвея и Клайда, оставшийся непокоренным и носивший название Кумбрии в его позднейшем смысле, признал английское верховенство. В конце VII в. казалось вероятным, что это верховенство распространится и на кельтские племена севера. Страна к северу от Форта и Клайда первоначально была заселена народом, который римляне называли пиктами*. Для этих горцев страна к югу от Форта была землей чуждого народа, и их летописи в своих скудных записях многозначительно рассказывают нам, как «пикты делали набеги на саксов» низменности. Однако в эпоху величия Нортумбрии и горцы, по крайней мере пограничные, начали понемногу подчиняться ее королям. Эдвин построил в Дёндине форт, ставший Эдинбургом и грозивший противоположному берегу Форта; рядом с ним, в Эберкорне, утвердился английский прелат с титулом епископа пиктов. Экфрит, в руках которого могущество Нортумбрии достигло высшего предела, перешел через Форт с целью превратить верховенство в прямое владычество и закончить ряд английских побед. Его войско с огнем и мечом проникло за Тэй и дошло вдоль подошвы Грампианских гор до Нектансмира, где его ожидал во главе пиктов король Бруиди. Происшедшая здесь битва оказалась поворотным пунктом в истории севера. Пришельцы были разбиты наголову, сам Экфрит убит, могущество Нортумбрии было навсегда сломлено. С другой стороны, великая победа придала новую жизнь царству пиктов, и открыла им в следующем веке пути на запад, восток и юг, пока вся страна к северу от Форта и Клайда не признала их верховенства. Но эта эпоха величия пиктов была ознаменована внезапным исчезновением их имени. За несколько веков, когда пришельцы-англы начали разорять южный берег Британии, флот из рыбацких лодок перевозил одно племя скоттов, как назывались тогда обитатели Ирландии, с темных скал Антрима на зубчатый утесистый берег Южного Арджайла. Основанное этими выходцами небольшое владение прозябало в неизвестности среди

* Относительно этнической принадлежности пиктов единого мнения нет. Вероятно, это был смешанный этнос, в котором доминировал кельтский элемент. Само слово «пикты» (Picti) означает «раскрашенный народ», из-за их обычая, идя в сражение, наносить на тело боевую раскраску.

озер и гор к югу от Лох-Линна, подчиняясь верховенству то Нортумбрии, то пиктов, пока прекращение прямой линии пиктских государей не возвело на их престол короля скоттов, оказавшегося их ближайшим родственником. Его преемники в течение полувека еще называли себя «королями пиктов», но с начала X столетия имя это пропадает; племя, давшее правителей соединенной стране, дает ей и название, и «Страна пиктов», исчезает со страниц летописи, уступая место «Стране скоттов» (Шотландии).

Прошло много времени, прежде чем эта перемена проникла в сам народ, и настоящий союз нации с ее государями явился только как результат общих страданий в эпоху датских войн. На севере, как и на юге Британии, вторжение датчан содействовало политическому объединению. Не только пикты и скотты слились вполне в один народ, но благодаря присоединению Кумбрии и низменной области их короли стали правителями той страны, которую мы теперь называем Шотландией. Это присоединение было следствием новой политики английских королей. После долгой борьбы с северянами, они перестали стремиться к разрушению королевства за Фортом, а хотели превратить его в оплот против норманнов, которые еще заселяли Кетнесс и Оркнейские острова и для нашествий которых Шотландия служила естественной дорогой. С другой стороны, только у англичан могли короли скоттов найти себе поддержку против этих нормандских вождей. Вероятно, общая борьба с этими врагами и привела к «коммendaции», в силу которой скотты по ту сторону Форта, вместе с уэльсцами Стратклайда, избрали короля Англии Эдуарда Старшего «своим отцом и господином». Какое бы значение ни придали позднейшие события этому выбору, но он, по-видимому, был просто возобновлением слабого верховенства Англии над племенами севера, существовавшего в эпоху величия Нортумбрии; в данное время он, несомненно, не заключал в себе ничего, кроме права обеих сторон на военную помощь, хотя последняя, в случае подачи ее, ставилась по необходимости в распоряжение сильнейшей стороны. Такая связь, естественно, прекращалась в случае войны между договаривавшимися сторонами; на деле это вовсе не была феодальная зависимость позднейшей эпохи, а, скорее, военная конвенция. Но как ни слаба была связь обеих стран, король Шотландии скоро стал в более близкие отношения к своему сюзерену. После поражения при Нектансмуре Стратклайд сверг с себя иго Англии, потом признал верховенство Шотландии, затем на время вернул себе независимость и, наконец, был завоеван королем Англии Эдмундом. Последний уступил его Малкольму Шотландскому на условии, что он будет его «сотрудником» на суше и на море, и с этого времени Стратклайд стал уделом старшего сына короля Шотландии. Позднее, при Эдгаре или Кнute, шотландским королям была уступ-

лена вся Северная Нортумбрия, или то, что мы называем теперь Лотианом, но на условиях ли феодальной зависимости или под видом «коммендации», уже существовавшей для областей к северу от Форта, этого мы не имеем возможности определить. Однако отнесение границ великой епархии севера, кафедры Св. Кутберта, к югу до Пентлендских гор, по-видимому, указывает на большее изменение в политическом характере уступленной области, чем это допускает первая из указанных теорий.

Какое бы изменение эти уступки ни произвели в отношении шотландских королей к английским, они, несомненно, оказали сильное влияние на отношение первых к Англии и к их собственному королевству. Одним из последствий приобретения низменной области было окончательное утверждение королевской резиденции в новом южном владении — в Эдинбурге, и английская цивилизация, окружившая тут королей, скоро превратила их почти в полных англичан. Брак Малкольма с Маргаритой, сестрой Эдгара Этелинга, открыл им путь к английской короне. В Англии сильная партия считала их детей представителями старой династии и претендентами на престол, и это стало еще опаснее, когда опустошение севера Вильгельмом не только побудило новые толпы англичан к поселению в низменной Шотландии, но и наполнило ее двор английской знатью, искавшей себе там убежища. Притязания эти получили такой грозный характер, что способнейший из нормандских королей принужден был совсем изменить политику. Завоеватель и Вильгельм Рыжий на угрозы шотландцев отвечали вторжениями, каждый раз приводившими к призрачной покорности; но брак Генриха I с Матильдой не только отнял у притязаний шотландской линии большую долю их силы, но и позволил ему поставить ее в более тесные отношения с нормандской династией. Король Давид не только отказался от честолюбивых замыслов своих предшественников и позднее, в споре Матильды со Стефаном, стал во главе партии своей племянницы, но как шурин Генриха играл при его дворе роль первого вельможи и воспользовался английскими образцами и английской помощью в преобразованиях, предпринятых им в своих владениях. Как брак с Маргаритой превратил Малькольма из кельтского вождя в английского короля, так брак Матильды обратил Давида в феодального нормандского государя. Двор его наполнился нормандскими баронами, вроде Баллиолей и Брюсов, которым суждено было играть впоследствии важную роль, но которые тогда впервые получили феодалы в Шотландии. В низменной области было введено феодальное право по образцу английского. Связи обеих стран стали еще теснее, когда короли Шотландии и их сыновья начали получать в Англии земли. По временам они приносили присягу не то за эти земли, не то за низменную область или

даже за целую Шотландию, но только пленение Вильгельма Льва во время мятежа английских баронов внушило Генриху II мысль об установлении более тесной зависимости Шотландии от английской короны. Чтобы вернуть себе свободу, Вильгельм согласился признать себя вассалом Генриха и его наследников, прелаты и вельможи Шотландии присягнули Генриху как своему прямому государю, и во всех шотландских делах была допущена апелляция к высшему суду сюзерена. Однако Шотландия скоро избавилась от этой зависимости благодаря расточительности Ричарда, который позволил ей выкупить утраченную свободу, и с этого времени затруднения, вызывавшиеся старым притязанием, обходились благодаря юридическому компромиссу. Короли Шотландии не раз присягали государю Англии, но с сохранением за собой прав, которые они благоразумно оставляли без определения. Король Англии принимал присягу в том предположении, что она приносится ему как сюзерену Шотландии, и это предположение не находило ни подтверждения, ни отрицания. В течение почти ста лет отношения обеих сторон сохраняли, таким образом, мирный и даже дружеский характер, а смерть Александра III в 1286 г., казалось, должна была устранить даже необходимость в протестах через установление более тесного союза двух королевств. Свою единственную дочь Александр выдал за короля Норвегии, а парламент Шотландии после долгих переговоров согласился на брак его дочери Маргариты, «Норвежской девы», с сыном Эдуарда I. Однако в брачном договоре прямо постановлялось, что Шотландия остается отдельным самостоятельным королевством и сохраняет неприкосновенными свои законы и обычаи. Король Англии не имел права требовать от нее военной помощи; от судов Шотландии нельзя было апеллировать к судам Англии. Но этот план был внезапно расстроен смертью ребенка на пути в Шотландию. На вакантный престол явился ряд претендентов, и это поставило Эдуарда в иное отношение к Шотландскому королевству.

Из тринадцати претендентов на престол Шотландии только три могли считаться серьезными. С прекращением линии Вильгельма Льва право наследования перешло к дочерям его брата Давида. Право Джона Баллиоля основывалось на происхождении от старшей из них, Роберт Брюс происходил от средней, Джон Гастингс — от младшей*. При этом кризисе король Норвегии, примас Шотландии и семь шотландских графов уже перед смер-

* Сложность в определении наследника заключалась в том, что Баллиоль был *внуком* старшей из трех сестер, а Брюс — *сыном* средней, т. е. Баллиоль принадлежал к старшей линии, а Брюс был на колено ближе к основателю рода. Споры о том, какому принципу отдать предпочтение, и вызвали длительные междоусобицы. Джон Гастингс, происходивший от третьей и младшей дочери принца Давида, предлагал попросту разделить Шотландию на три части между ним, Баллиолем и Брюсом, но Эдуард не принял его предложения.

тью Маргариты обращались к Эдуарду; после ее смерти и претенденты, и регентский совет согласились предоставить вопрос о наследовании на решение Эдуарда. Но признанное шотландцами верховенство было менее прямым и определенным, чем какого он требовал при открытии совещаний. Его требование поддерживалось ссылками на монастырские летописи Англии и медленным приближением английской армии; захваченные врасплох, шотландские лорды извлекли мало пользы из данной им отсрочки и, наконец, вместе с девятью претендентами, признали формально прямое верховенство Эдуарда. На самом деле, баронам уступка могла представляться неважной, так как, подобно главным претендентам, они были большей частью нормандского происхождения, владели землями в обеих странах и ожидали почестей и наград от английского двора. От общин, собравшихся вместе с баронами в Норгеме, нельзя было добиться признания требований Эдуарда, но в феодализованной Давидом Шотландии они имели еще мало значения, и потому их оппозицию спокойно обошли. Эдуард тотчас воспользовался всеми правами феодального сюзерена. Он вступил во владение Шотландией, как спорным феодем, который до разрешения спора должен управляться его сюзереном, вся страна поклялась соблюдать мир, ее замки были поручены его попечению, ее епископы и бароны присягнули прямо ему как своему сюзерену. Шотландия была доведена, таким образом, до подчинения, испытанного при Генрихе II, но последовавшее затем внимательное обсуждение различных притязаний показало, что, требуя целиком того, что он считал принадлежащим себе по праву, Эдуард желал быть справедливым к Шотландии. Комиссары, которых он назначил для разбора притязаний, были в большинстве шотландцами; предложение разделить королевство между претендентами было отвергнуто как противное шотландскому закону; наконец, Баллиоль как представителю старшей линии было отдано предпочтение перед его соперниками.

Новому монарху тотчас были сданы замки, и Баллиоль, вполне сознавая все, чем Шотландия обязана была Эдуарду, принес ему присягу. На время водворился мир. В действительности, Эдуард не желал, по-видимому, проводить дальше права своей короны. Даже если допустить, что Шотландия была зависимым королевством, она далеко не была обыкновенным феодем английской короны. Феодальное право всегда признавало различие между отношениями зависимого короля к сюзерену и отношениями вассального барона к его государю. При присяге Баллиоля Эдуард, строго следуя упомянутому брачному договору, отказался от обычных прав сюзерена в случаях опеки и брака; но в Шотландии были и другие обычаи,

столь же бесспорные. Ее король никогда не был обязан являться на совет английских баронов, служить в английском войске или платить от лица Шотландии английские налоги. Прямого признания этих прав Эдуард не дал, но на время они действительно соблюдались. Требование независимого суда было более сомнительным и в то же время более важным. Было несомненно, что со времени Вильгельма Льва апелляция от суда шотландского короля в суд его предполагаемого сюзерена не допускалась и что судебная независимость Шотландии была прямо оговорена в брачном договоре. Но по феодальному взгляду право конечной апелляции служило доказательством верховенства. Эдуард имел намерение осуществить это право, и Баллиоль сначала уступил. Однако было доказано, что неудовольствие баронов и народа заставило его воспротивиться: он явился торжественно в Вестминстер и отказался допускать апелляцию иначе, как с согласия своего совета. На самом деле, он обратился за помощью к Франции, которая, как увидим потом, ревниво следила за действиями Эдуарда и старалась вовлечь его в войну. Новым нарушением обычного права было со стороны Эдуарда требование от баронов Шотландии помощи в войне с Францией. Требование это было отвергнуто, и второй прямой отказ в помощи сопровождался тайным союзом с Францией и освобождением Баллиоля папой от присяги на верность.

Эдуарду все еще не хотелось начинать войну, но все надежды на соглашение были разрушены отказом Баллиоля явиться на парламент в Ньюкасл, поражением небольшого отряда английских войск и обложением Карлайла шотландцами. Тотчас отдан был приказ идти на Бервик. Насмешки горожан из-за деревянной стены, составлявшей единственную защиту города, задели короля за живое. Стена была взята с потерей всего одного рыцаря, и около восьми тысяч горожан было перебито в беспощадной резне, а горсть фламандских торговцев, упорно защищавших ратушу против всех нападений, была сожжена в ней заживо. Резня прекратилась только тогда, когда духовенство в крестном ходе принесло королю Святые Дары, прося о пощаде; у Эдуарда вдруг хлынули слезы, и он отозвал свои войска. Тем не менее город был разорен навсегда, и с этого времени крупный торговый центр севера превратился в мелкий порт. В Бервике Эдуард получил от Баллиоля «вызов»: «И безумец сделал эту глупость! — с надменным презрением воскликнул король. Если он не придет к нам, мы придем к нему». Страшная резня произвела, однако, свое действие, и поход короля был триумфальным шествием. Эдинбург, Стирлинг и Перт отворили свои ворота. Брюс присоединился к английской армии, сам Баллиоль сдался без сопротивления и прямо с престола перешел в английскую тюрьму.

Другим взысканиям подчинившееся королевство подвергнуто не было. Эдуард обошелся с ним, как с простым леном, и объявил, что измена Баллиоля влечет за собой юридически потерю королевства. Оно, на самом деле, подчинилось сюзерену: графы, бароны и дворяне Шотландии на парламенте в Бервике присягнули Эдуарду как своему королю. Священный камень, на котором посвящали ее прежних государей, — продолговатая глыба песчаника, по преданию служившая изголовьем Иакову, когда ангелы восходили и спускались с неба, — была увезена из Сконы и поставлена в Вестминстере подле гроба Исповедника. По приказу Эдуарда она была включена в великолепный трон, которым с тех пор короли Англии пользуются при коронации.

Самому королю все это представлялось вторым, и даже более легким, завоеванием Уэльса, и милость и доброе управление, отличавшие его первый успех, следовали также и за вторым. Управление новой областью было вверено Джону Уоренну, графу Сэррею, во главе английского регентского совета. Прощение щедро раздавали всем, кто противился нашествию; порядок и общественное спокойствие строго соблюдались. Но и справедливость, и злоупотребления нового правительства оказались роковыми для него. Недовольство шотландцев, возбужденное уже назначением английских священников в приходы Шотландии и раздачей пограничных земель английским баронам, было доведено до бешенства строгим применением закона и преследованием распрей и угона скота. Роспуск войск, вызванный истощением королевской казны, вместе со своеволием оставшихся солдат усилили народное раздражение. Позорное подчинение вельмож выдвинуло на первый план народ. Несмотря на столетний мир, земледelec низменной области и городской ремесленник остались отважными англичанами Нортумбрии. Они никогда не признавали верховенства Эдуарда, и их кровь возмущалась при виде надменного управления иноземцев. Один опальный рыцарь, Уильям Уоллес, задумал воспользоваться этим тлеющим недовольством для освобождения родины, и его смелые нападения на отдельные отряды английского войска вызвали, наконец, восстание в целой стране. О самом Уоллесе, об его жизни и характере, нам неизвестно почти ничего; даже предания о его громадном росте и неимоверной силе смутны и недостоверны. Но инстинкт не обманул шотландцев, когда они выбрали Уоллеса своим национальным героем. Он первый провозгласил свободу прирожденным правом народа и ввиду уныния вельмож и духовенства призывал к оружию народ. Во главе армии, собранной преимущественно из береговых округов, занятых населением того же происхождения, что и низменность, Уоллес в сентябре 1297 г. расположился лагерем подле Стирлинга в про-

ходе, ведшем с севера на юг, и ожидал приближения англичан. Предложения Джона Уоррена были презрительно отвергнуты: «Мы пришли сюда, — сказал вождь шотландцев, — не мириться, а освободить родину». Позиция Уоллеса на холмах за излучиной Форты действительно была выбрана с замечательным искусством. По единственному узкому мосту через реку могли ехать рядом только два всадника, и хотя английская армия начала переход на рассвете, но только половина ее переправилась к полудню, когда Уоллес напал на нее и после короткого боя разбил ее наголову на виду остальной части войска. Отступление графа Сэррея за границу поставило Уоллеса во главе освобожденной им страны, и некоторое время он действовал в качестве «попечителя королевства» от имени Баллиоля и руководил набегом шотландцев на Нортумберленд. Захват им Стирлингского замка вызвал наконец на поле Эдуарда, собравшего под свои знамена более многочисленное, чем когда-либо, войско. Измена дала ему возможность настигнуть Уоллеса, когда он отступал во избежание столкновения, и принудить его принять сражение близ Фалкирка. Шотландское войско состояло почти исключительно из пехоты, и Уоллес построил своих копейщиков в четыре больших круга, или каре, причем наружные ряды стали на колени; внутри каре были поставлены стрелки, а небольшой отряд конницы был выстроен в качестве резерва позади. Это было то же расположение, что при Ватерлоо, первое появление в нашей истории, со времен Сенлака, «той непобедимой британской пехоты», перед которой суждено было ступешаваться рыцарству. На мгновение она имела весь успех Ватерлоо. «Я привел вас в хоровод, танцуйте, если можете», — с грубым юмором, характеризующим его настроение, сказал шотландцем Уоллес, и сомкнутые ряды дружно отозвались на его призыв. Епископ Дёргемский, вождь английского авангарда, благоразумно отступил при виде каре. «Вернись, епископ, к своей обедне», — закричали отважные рыцари, следовавшие за ним, но напрасно — масса конницы бросалась на лес копий. Ужас охватил английское войско, и отряд уэльских союзников отступил с поля битвы. Но тактика Уоллеса встретилась здесь с тактикой короля. Эдуард вызвал вперед своих стрелков, разрешил их стрелами ряды шотландцев и тогда снова бросил свою конницу на колебавшийся строй. В один момент все было кончено, и взбешенные рыцари произвели в расстроенных рядах беспощадную резню. Тысячи пали на поле битвы, сам Уоллес спасся с трудом в сопровождении горсти людей. Но хотя дело свободы и казалось погибшим, свою задачу он все-таки исполнил. Он пробудил Шотландию, и даже такое поражение, как при Фалкирке, не привело к ее подчинению. Эдуард остался хозяином только своих позиций; недостаток средств принудил его к отступле-

нию; а в следующем году борьбу за независимость продолжило регентство вельмож Шотландии с Брюсом и Комином во главе. Эдуарда задержали внутренние смуты и внешние опасности. Бароны Англии все сильнее настаивали на удовлетворении своих жалоб и понижении тяжелых налогов, вызванных войной. Франция все еще сохраняла угрожающее положение; по ее внушению папа Бонифаций VIII выставил притязание на феодальное верховенство над Шотландией, и это остановило новый поход короля. Все эти препятствия были устранены ссорой Филиппа IV с папой, позволившей Эдуарду пренебречь угрозами Бонифация и вынудить у Франции договор, по которому она обязалась не помогать Шотландии. В 1304 г. он повторил нашествие, и когда он явился на севере, вельможи снова сложили оружие. Глава регентства Комин признал его верховенство, а сдача Стирлинга закончила подчинение Шотландии. Торжество Эдуарда было только прелюдией к полному исполнению его плана — объединить обе страны мудрым милосердием, доказывающим величие его политики. Общая амнистия была распространена на всех участников мятежа. Уоллес отказался воспользоваться ей, был схвачен и присужден в Вестминстере к смерти, как изменник, клятвопреступник и разбойник. Голова великого патриота, в насмешку увенчанная лавровым венком, была выставлена на лондонском мосту. Но казнь Уоллеса была единственным пятном на милосердии Эдуарда. С мастерской смелостью он вверил управление страной совету шотландских вельмож, из которых многие только что получили прощение за участие в войне, и предварил политику Кромвеля, предоставив Шотландии десять мест в общем парламенте своего королевства. Для избрания этих представителей в Перте было созвано собрание, и на нем был обнародован план судебной реформы, принявший за основу нового законодательства исправленные законы короля Давида и разделивший страну в судебном отношении на четыре округа: Лотиан, Галлауэй, горный и область между горами и Фортм; во главе каждого из них было поставлено по два судьи — один англичанин, а другой шотландец.

Глава IV

Английские города

От только что описанных сцен, от неправды и кровопролития иноземного завоевания, мы переходим к мирной жизни и прогрессу самой Англии.

В эпоху трех Эдуардов весь строй английского общества был постепенно преобразован двумя переворотами, почти не обращавшими на себя вни

мания наших историков. Первого из них, усиления нового класса земельных арендаторов, мы коснемся впоследствии по связи его с великим крестьянским восстанием, известным как восстание Уота Тайлера. Второй, рост ремесленного класса в горах и борьба его за власть и привилегии со старыми гражданами, представляет собой самое замечательное событие рассматриваемого периода истории Англии.

Первоначально английский город был просто общиной или группой общин, жителям которых для целей торговли или защиты удалось теснее, чем в других местах, сблизиться друг с другом. Эта особенность наших городов сразу отличает их от городов Италии и Прованса, сохранивших муниципальные учреждения римской эпохи, от немецких городов, основанных Генрихом Птицеловом со специальной целью избавить промышленность от притеснений окрестных феодалов, или от коммун Северной Франции, вызванных к жизни возмущением против насилий феодалов в городских стенах. В Англии римская традиция исчезла вполне, а насилия феодалов были сильно ограничены королями. Поэтому английский город вначале был просто частью всей страны, устроенной и управлявшейся таким же точно образом, как и окружавшие его общины. Вероятно, город был более укрепленным поселением, чем обыкновенная деревня: его окружал ров или вал вместо живой изгороди (tun), от которой получила свое название деревня (township). Но его устройство было то же, что и всего народа. Горожане, как и жители окрестных сел, обязаны были держать в порядке вал и ров, посылать отряд в ополчение, а старосту и четырех выборных на собрание сотни и графства; внутреннее управление городом, как и соседними деревнями, находилось в руках его фрименов, собиравшихся на городское собрание. Но общественный переворот, произведенный войнами с датчанами, требование закона, чтобы у каждого был непременно свой лорд, повлияло на города так же, как и на остальную страну. Некоторые перешли в руки соседних вельмож, другие оказались на землях короля. Выразителем этого переворота явился новый чиновник — приказчик лорда или короля. Приказчик стал созывать теперь собрание и отправлять на нем суд; он же собирал доходы владельца, или ежегодный городской оброк, и взыскивал натуральные повинности, следовавшие с горожан. На теперешний взгляд эти повинности ставили последних почти в полную зависимость от владельца. Когда Лестер, например, из рук Завоевателя перешел к его графам, его жители были обязаны убирать хлеб владельца, молотить зерно на его мельнице, выкупать заблудившийся скот из его заго-роды. Большой лес, окружавший городок, принадлежал графу, и только по милости его горожане могли выгонять своих свиней в лес или пасти скот на

прогалинах. Суд и управление городом находились полностью в руках его владельца, назначавшего для него управителя, собиравшего с его жителей оброки и штрафы, а с его ярмарок и рынков пошлины и сборы. Но раз уплатив эти сборы и отбыв эти повинности, английский горожанин становился человеком действительно свободным. Его права определялись обычаем так же строго, как и права его лорда. Личность и собственность одинаково гарантировались от произвольного захвата. По всякому обвинению он мог требовать правильного суда, и хотя суд отправлялся приказчиком владельца, но отправлялся в присутствии и с согласия других горожан. По звону колокола на городской башне горожане собирались на общую сходку, где они пользовались правом свободы речи и свободного совещания о своих делах. Их купеческая гильдия на своем «пивном празднике» регулировала торговлю, распределяла между горожанами городские сборы, следила за исправностью ворот и стен и, в сущности, играла почти ту же роль, как теперешнее городское собрание. Притом, эти права не только были обеспечены обычаем с самого начала, но и постоянно расширялись с течением времени. Знакомясь с внутренней жизнью английского города, мы всюду находим прогресс того же мирного переворота, исчезновение повинностей благодаря отвыканию или упущению, покупку привилегий и изъятий за чистые деньги. Владелец города, будь то король, барон или аббат, обыкновенно был расточителен или беден, и вот пленение рыцаря, поход государя или постройка нового собора приором вызывали обращение к домовитым горожанам, которые охотно пополняли казну своего лорда в оплату за клочок пергамента, предоставлявший им свободу торговли, суда и управления. Иногда с этой освободительной работой нас знакомит случайный рассказ. В Лестере одним из главных стремлений горожан было вернуть себе старый английский обычай очистительной присяги — это грубое предвестие суда присяжных, — обычай, отмененный графами в пользу нормандского поединка. «Случилось, — говорит тамошняя грамота, что два родственника, Николас, сын Акона, и Жоффри, сын Николаса, вступили в поединок из-за известного клочка земли, относительно которого между ними произошел спор, и бились они с первого часа до девятого, каждый побеждая поочередно. Тогда один из них пал, отступая перед другим, дошел до маленькой ямы, и когда он стал на краю ямы и был близок к тому, чтобы упасть в нее, родственник закричал ему: «Берегись ямы, обернись, чтобы не упасть в нее». Из-за этого между стоявшими и сидевшими вокруг произошел такой крик и шум, что его услышал в замке граф и осведомился, отчего там такой крик; ему ответили, что там бились два родственника из-за клочка земли, и что один из них, отступая, дошел до маленькой ямы, и

что когда он стал над ямой и готов был упасть в нее, другой остерег его. Тогда горожан тронуло сострадание, и они заключили с графом договор, которым обязывались платить ему ежегодно по три пенса за каждый дом на Верхней улице, имевший щипец на крыше, под тем условием, что он позволит им, чтобы впредь все дела, могущие возникнуть между ними, рассматривались и разрешались четырьмя присяжными, издавна существовавшими в Лестере». Большой частью вольности наших городов были приобретены таким именно путем — с помощью упорного торгова. Древнейшие английские хартии, кроме лондонской, относятся к тем годам, когда казна Генриха I была истощена его войнами в Нормандии, а грамоты, пожалованные анжуйцами, были, вероятно, результатом дорогого стоившего пользования наемными войсками. В конце XIII в. эта борьба за освобождение уже почти окончилась. Более крупные города обеспечили себе отправление суда на своих городских собраниях, право самоуправления и надзор за своей торговлей, а их вольности и хартии послужили образцами и побуждением для более мелких общин, добивавшихся свободы.

По мере успехов этого внешнего переворота и внутренняя жизнь английского города так же медленно и полусознательно преобразовывала общие формы народной жизни в формы собственно городские. Внутри, как и вне рва или частокола, составлявших древнейшую ограду города, с самого начала отличием свободы служила земля, и гражданами считались только землевладельцы. Для пояснения этой основной черты в истории наших городов, мы можем, пожалуй, привести пример из истории другой страны. Когда герцог Бертольд Церинген задумал основать Фрейбург (Вольный город) в Брейсгау, он собрал кучку ремесленников и каждому из них дал во владение клочок земли вокруг будущей рыночной площади новой общины. В Англии безземельный человек, живший в городе, не принимал участия в его общинной жизни; для целей управления и хозяйства город был просто союзом живших в пределах его землевладельцев, и в первоначальном устройстве этого союза не было ничего особенного и исключительного. Устройство английского города, как ни отличны были впоследствии его формы, было сначала вполне сходно с устройством сельской общины. Мы видели, что у германских племен в основе общества лежал родовой союз, члены которого селились и сражались бок о бок, а также были связаны взаимной ответственностью перед всеми другими и перед законом. Когда общество стало более сложным и менее устойчивым, оно, естественно, переросло эти простые кровные связи. В Англии это разложение родového союза, по-видимому, совпало с тем временем, когда вторжения датчан и рост феодализма сделали обособленную жизнь для фри-

мена чрезвычайно опасной. Единственным выходом для него было искать себе защиты у других фрименов и заменить прежнее родовое братство добровольным союзом соседей в тех же целях порядка и самозащиты. В IX и X вв. стремление соединиться в такие «гильдии мира» стало общим во всей Европе, но на материке оно встретило отпор и преследования. Преемники Карла Великого грозили за образование добровольных союзов бичеванием, изуечением и изгнанием. Даже союз бедных галльских крестьян против пришельцев-норманнов был уничтожен оружием франкских вельмож. В Англии отношение королей к союзам было совсем другое. После датских войн за основу общественного порядка была принята система ручательства соседей друг за друга, известная впоследствии как *frankpledge*, или круговая порука. Рядом с ответственностью родичей Альфред признал общую ответственность членов «гильдий мира», а Этельстан принял последние в «Лондонских постановлениях» за основной элемент городской жизни.

Итак, в древнеанглийском городе «братство мира» вполне походило на союзы, составлявшие основу общественного порядка во всей стране. Для ее членов место родовой связи заняла клятва взаимной верности; ежемесячный братский праздник в общей зале заменил собрание родичей вокруг их родового очага. В этой новой семье братство стремилось установить столь же тесную взаимную ответственность, как и в старой: «Пусть все разделяют один жребий, — гласил его закон; если кто совершил преступление, все должны отвечать за него». Брат мог требовать помощи у товарищей, если ему приходилось отвечать за преступление, совершенное по несчастью. Он мог призывать их на помощь в случае насилия или обиды; если его ложно обвиняли, братья вместе с ним давали очистительную присягу на суде; они оказывали ему помощь при разорении и хоронили его по кончине. С другой стороны, он отвечал перед ними, как они — перед государством, за порядок и подчинение законам. Обида, нанесенная одним братом другому, была также обидой для всего братства и наказывалась штрафом или, в крайнем случае, исключением обидчика, ставившим его вне закона, делавшим его изгоем. Единственное различие между этими союзами в деревне и городе состояло в том, что в последнем случае они ввиду их близкого соседства неизбежно стремились к слиянию. При Этельстане лондонские гильдии соединились в одну для более успешного проведения своих общих стремлений; позднее гильдии Бервика постановляют, «что где несколько союзов оказываются рядом в одном месте, они могут составить одно целое, иметь одну волю, а в сношениях одного с другим выказывать крепкую, сердечную любовь». Процесс объединения, вероятно, был долгим и трудным, потому

что братства, естественно, сильно различались по общественному положению, и даже после объединения мы видим следы отдельного, до известной степени, существования иных, более богатых или аристократических гильдий. В Лондоне, например, «рыцарская гильдия», по-видимому, стоявшая во главе других, долгое время сохраняла свою отдельную собственность, а ее олдермен — так назывался глава каждой гильдии — стал олдерменом соединенной гильдии всего города. В Кентерберии мы находим похожую гильдию тенгов, из которой, по-видимому, обыкновенно выбирались главные сановники города. Но хотя объединение и было несовершенно, раз оно совершилось, город из простого скопления братств превратился в сильную организованную общину, характер которой неизбежно определялся обстоятельствами ее возникновения. Вначале население наших городов, по-видимому, занималось преимущественно сельским хозяйством: первые «Постановления Лондона» рассматривают специально вопрос о розыске принадлежащего горожанам скота. Но по мере того как возрастание безопасности в стране побуждало землевладельца и помещика селиться особняком на своих землях, а на городах отражалось влияние растущего богатства и торговли, резче определялось различие между городом и деревней. Лондон, очевидно, шел во главе этого нового движения. Даже во времена Этельстана каждый лондонский купец, совершивший за свой счет три дальние поездки, ставился наравне с тенгом. Корабельная гильдия Лондона (lithsmen) уже при Гартакноте пользовалась таким значением, что члены ее участвовали в избрании короля, а его главная улица уже самим названием Чипсайд (или Торговая площадь) говорит о быстром росте торговли. С нормандским завоеванием значение торговли еще более усилилось. С этих пор соединенное братство почти всегда называют уже не «городской гильдией», а купеческой.

Такая перемена в занятиях городского населения отозвалась важными последствиями на строе городских учреждений. Превратившись в купеческую гильдию, союз горожан расширил свои полномочия в области законодательства применением их к надзору за внутренней торговлей и промыслами. Главной задачей гильдии сделалось получение от короля или владельца города более широких торговых привилегий, права чеканить монету и устраивать ярмарки, освобождения от пошлин; в самом городе она издавала распоряжения касательно продажи и качества товаров, контроля над рынками и уплаты долгов. Еще более важная перемена была вызвана ростом городского населения под влиянием развития богатства и промышленности. Масса новых поселенцев, составленная из беглых крепостных, торговцев, не владевших землей, семей, утративших свои городские участ-

ки, и, вообще, из ремесленников и бедняков, не принимала участия в текущих городских делах. Право торговли и ее регулирования, вместе со всеми другими формами суда, находилось целиком в руках только что упомянутых граждан-землевладельцев. Их имущественное преобладание привело, естественно, к новому разделению горожан на «граждан» купеческой гильдии и на бесправную массу. В английских городах сказалось, хотя с меньшей силой, то же движение, которое во Флоренции отделило семь главных «искусств», или промыслов, от четырнадцати мелких и которое даже в кругу привилегированных доставило преобладание банкирам, фабрикантам и владельцам красил. Члены купеческой гильдии постепенно сосредоточились на крупных торговых операциях, требовавших большого капитала, а занятия мелкими промыслами предоставили своим бедным соседям. Этот успех в разделении труда проявляется в XIII в. в обособлении торговцев тканями от портных или торговцев кожаным товаром от мясников. Всего сильнее обнаружилось влияние этого разделения на устройстве наших городов. Представители промыслов, покинутых богатыми гражданами, сами составили ремесленные цехи, скоро ставшие опасными соперниками для старой купеческой гильдии. Чтобы быть полноправным членом цеха, необходимо было пройти семилетнее ученичество. Цеховые постановления отличались чрезвычайной подробностью: они строго определяли качество и цену работы и ее продолжительность («от рассвета до вечернего звона»), строго воспрещали конкуренцию труда. Члены цеха собирались каждый раз вокруг цехового ящика, в котором хранились правила общества, и при вскрытии его стояли с обнаженными головами. Старшина и выборные из цеховых составляли совет, следивший за исполнением правил, осматривавший все работы членов цеха, отбиравший негодные инструменты или плохие товары; неповиновение приказам совета наказывалось штрафами или, в крайнем случае, исключением, которое влекло за собой потерю права на промысел. Взносы членов составляли общий фонд, из которого не только покрывались текущие расходы цеха, но и основывались часовни, заказывались обедни, вставлялись раскрашенные стекла в церкви святого покровителя братства. Еще и в настоящее время в соборах рядом с гербами прелатов и королей часто видны расписные гербы цехов. Но такого значения цехи достигли очень медленно и постепенно. Всего труднее были для них первые шаги. Чтобы сколько-нибудь успешно достигать своих целей, цеху нужно было, во-первых, чтобы в состав его вошла вся масса ремесленников, занимавшихся известным промыслом, и во-вторых, чтобы ему был обеспечен надзор за отправлением ремесла. Для этих целей необходима была королевская хартия, и из-за получения ее ремесленники и начинали борьбу

купеческой гильдией, до того пользовавшейся исключительным правом надзора за городскими промыслами. Первым цехом, добивавшимся королевского утверждения в царствование Генриха I, были ткачи, но и им пришлось отстаивать свою самостоятельность еще при Иоанне, когда граждане Лондона посредством подкупа добились временной отмены их цеха. Экзетер противился учреждению цеха портных уже при Ланкастерских королях. Однако с XI в. эти союзы постоянно распространялись, а надзор за промыслами переходил от купеческих гильдий к ремесленным цехам.

Говоря техническим языком эпохи, это была борьба «лучших людей» против «младших», или «коммуны», т. е. всей массы населения, против кучки «разумных» людей (*prudhommes*). Когда она, не ограничиваясь одним регулированием промышленности, затронула все городское управление, то произвела великий гражданский переворот XIII и XIV вв. На материке, и особенно по Рейну, борьба была тем упорнее, чем полнее было преобладание старых граждан. В Кёльне ремесленники были низведены почти до крепостного состояния; в Брюсселе купец мог сколько угодно бить по щекам «человека без сердца и чести, живущего своим трудом». Такое утеснение одного класса общества другим целый век вызывало в городах Германии кровавые столкновения. В Англии социальная тирания была ограничена общим характером права, и потому борьба классов в большинстве случаев принимала более мягкие формы. Всего дольше и ожесточеннее велась она, естественно, в Лондоне. Нигде поземельный строй не укоренился так глубоко, нигде олигархия землевладения не достигла такого богатства и влияния. Город делился на кварталы, каждый из которых управлялся олддерменом, выбиравшимся из правящего класса. В иных кварталах, притом, должность эта стала, по-видимому, наследственной. «Магнаты», или «бароны» купеческой гильдии, одни решали все вопросы касательно городского управления и регулирования промыслов, одни по своему усмотрению распределяли или раскладывали городские доходы или повинности. Такое положение подавало повод к подкупам и притеснениям самого возмутительного свойства, и по-видимому, первое серьезное недовольство было вызвано в 1196 г. именно общим сознанием того, что бедных несправедливо обременяют налогами и что на низшие сваливают неправильно повинности. Во главе заговора, составленного, по мнению перепуганных граждан, пятьюдесятью тысячами ремесленников, стал Уильям Длинная Борода, сам принадлежавший к правившему сословию. Его красноречие и смелое сопротивление олддермену на городской сходке доставили ему широкую популярность, и окружающая толпа приветствовала его как «спасителя бедняков». К счастью, современный слушатель сохранил для нас одну из его

речей. По средневековому обычаю он начал ее текстом из Библии: «Вы с радостью будете черпать воду из источника Спасителя. Я, — сказал он, — спаситель бедняков. Вы, бедные люди, испытавшие тяжесть рук богатей, черпайте из моего источника воды спасительного наставления, и притом с радостью, ибо близко время вашего освобождения. Я отделю воды от вод. Вода — это народ, и я отделю смиренных и верующих от надменных и неверных; я отделю избранных от осужденных, как свет от мрака». Напрасно старался он своими обращениями привлечь короля на сторону народа. Поддержка состоятельных классов была необходима Ричарду в его дорого стоивших войнах с Францией, и после временного колебания юстициарий архиепископ Губерт отдал приказ схватить Уильяма. Последний поразил секирой первого приблизившегося к нему солдата и, скрывшись с немногими спутниками в башню Св. Марии (St. Mary-le-Bow), призвал своих приверженцев к восстанию. Но Губерт уже ввел в город войска, смело пренебрегши правом убежища, поджег башню и тем принудил Уильяма к сдаче. Когда он выходил, его поразил сын убитого им гражданина, и с его смертью распря затихла боле чем на полвека.

Действительно, до начала «войны баронов» других движений в Лондоне не происходило, но в течение всего этого промежутка недовольство волновало город: неполноправные ремесленники, под предлогом охраны порядка, тайно образовали свои братства мира, и время от времени толпы принимались грабить дома иностранцев и богатых граждан. Открытая борьба возобновилась не раньше начала гражданской войны. Ремесленники добились доступа на городское вече, низложили олдерменов и магнатов и выбрали в 1261 г. своим старшиной Томаса Фиц-Томаса. Хотя несогласия продолжались и в царствование Эдуарда II, но это избрание можно рассматривать как доказательство конечной победы ремесленных цехов. При Эдуарде III, по видимому, прекратились все споры; всем ремеслам были дарованы грамоты, их уставы были формально признаны и внесены в протокол суда старшины (мэра), цехам были присвоены форменные одежды, которым они обязаны доселе существующим названием «ливрейные товарищества». Богатые граждане, потеряв свою прежнюю власть, вернули себе влияние, записавшись в члены цехов, и сам Эдуард III поддался общему настроению и вступил в цех оружейников. Этот факт определяет эпоху, когда наше городское управление, действительно, стало более демократичным, чем оно было когда-либо потом до издания в наши дни закона о муниципальной реформе. Из рук олигархии управление городами перешло к средним классам, и ничто еще не предвещало того попятного движения, которое превратило ремесленные цехи в столь же узкую олигархию, как и низложенные ими.

Глава V

Король и бароны (1290—1327)

Обращаясь снова к конституционной истории Англии с восшествия Эдуарда I, мы находим успех не менее действительный, чем прогресс городов, но задерживаемый более резкими колебаниями. Долгая борьба за хартию, реформы Монфора, первые законы самого Эдуарда привели к крупному перемещению власти. Правда, по своему пониманию королевской власти Эдуард был справедливым и благочестивым Генрихом II, но его Англия так же отличалась от Англии Генриха, как парламент одного — от Великого совета другого. В грубых стихах Роберта Глостерского мы находим простой символ политической веры целого народа: «Когда по милости Божией земля была приведена к доброму миру, лучшие люди обратили свои мысли к восстановлению старых законов; для восстановления доброго закона, как мы сказали раньше, король составил и даровал свою хартию». Но власть, отнятая хартией у короны, досталась не народу, а баронам. Земледелец и ремесленник, принимавшие иногда участие в великой борьбе за свободу, еще не имели желания вмешиваться в дела управления. Энергию и внимание промышленных классов поглощал великий экономический переворот в городе и селе, начавшийся в царствование Генриха и продолжавшийся со все большей силой при его сыне. В земледелии огораживание общинных земель и введение крупными собственниками арендной системы, вместе с облегченными законами Эдуарда дробления земель, постепенно создавали из массы крепостных крестьян класс земельных арендаторов, вся энергия которых уходила в стремление к общественной свободе. Те же причины, которые так затрудняли рост городской свободы, содействовали обогащению городов. К торговле с Норвегией и ганзейскими городами Северной Германии, к торговле шерстью с Фландрией и вином с Гасконью теперь присоединилась сильно растущая торговля с Италией и Испанией. Большие галеры венецианских купцов являлись у берегов Англии, флорентийские торговцы селились в южных портах, банкиры Флоренции и Лукки последовали за кагорскими, уже нанесшими смертельный удар ростовщичеству евреев. Но богатство и промышленная энергия страны проявлялась не только в росте класса капиталистов, но и в массе светских и церковных построек, отличавшей эту эпоху. Церковная архитектура достигла высшей красоты в начале царствования Эдуарда, к которому относятся окончание строительства храма Вестминстерского аббатства и изящный кафедральный собор в Солсбери. Английский аристократ гордился звани-

ем «несравненного строителя»; некоторые черты искусства, развивавшегося за Альпами, быть может, проникали с итальянскими священниками, которых папы навязывали английской церкви. В Вестминстерском аббатстве рака Исповедника, мозаичный пол и картины на стенах собора и дома капитула напоминают произведения школ Джотто и пизанцев.

Но даже если бы не было этого увлечения промышленностью, производительные классы не имели стремления требовать прямого участия в текущих делах управления. За отсутствием короны дела эти естественно, согласно идеям эпохи, попали в руки знати. Теперь определилось конституционное положение английских баронов. Без их согласия король не мог дольше издавать законы, налагать подати или даже вести войну. Народ оказывал аристократии непоколебимое доверие. Бароны Англии уже не были грубыми чужестранцами, от насилий которых сильная рука нормандского государя должна была охранять подданных; они были такими же англичанами, как крестьяне или горожане. Своими мечами они доставили Англии свободу, и сословная традиция обязывала их смотреть на себя как на ее естественных защитников. В конце «войны баронов» вопрос, так долго смущавший королевство, вопрос о том, как обеспечить управление им согласно с хартией, был разрешен через передачу дела управления в руки постоянного комитета и главных прелатов и баронов, действовавших в качестве высших сановников государства вместе с особо назначенными министрами короны. Этот комитет назывался Постоянным советом, и спокойствие королевства под его управлением в долгий промежуток от смерти Генриха III до возвращения его сына показывает как успешно было это управление баронов. Для характеристики нового отношения, какое они старались установить между собой и короной, важно утверждение совета в послании, возмещавшем о вступлении Эдуарда на престол, что это произошло «по воле пэров». Между тем сам состав нового парламента, в котором бароны поддерживали выбранные, большей частью под их влиянием, рыцари графств и верные еще преданиям времен Монфора представители городов, более частый созыв парламентов, позволявший сговориться и организовать партии и дававший определенную основу для политического действия, но больше всего то влияние, какое контроль над обложением позволял баронам оказывать на корону, — все это под конец поставило их власть на такое прочное основание, что его не могли поколебать отчаянные усилия самого Эдуарда.

С самого начала король вступил в бесплодную борьбу с этим подавляющим влиянием, и его стремления должны были найти себе поощрение в перевороте, происходившем по другую сторону пролива, где короли Фран-

ции сокрушали власть феодальной знати и на развалинах ее воздвигали королевский деспотизм. Эдуард ревниво охранял почву, уже отнятую короной у баронов. Следуя политике Генриха II, он учредил в самом начале своего царствования комиссию для исследования еще существующих судебных привилегий и по докладу ее разослал разъездных судей для определения тех прав, на которых основывались эти привилегии. Кое-где вопросы судей встретили грубый прием. Граф Уоренн вынул заржавленный меч и бросил его на судейский стол: «Вот, господа, — сказал он, — мое право. Мечом приобрели себе наши деды свои земли, когда пришли сюда с Завоевателем, и мечом будем мы защищать их». Но король далеко не ограничивался планами Генриха II; он стремился далее — ослабить могущество знати, подняв на тот же уровень всю массу землевладельцев, и королевская грамота обязала всех фригольдеров, владеющих землей стоимостью в 20 фунтов, принимать рыцарское достоинство из рук короля. В то время как политическое влияние аристократии как сословия, руководящего народом, усиливалось, личная и собственно феодальная власть каждого барона на его землях, в сущности, постоянно падала. Влияние короны на каждую знатную семью благодаря правам опеки и женитьбы, объезды королевских судей, все большее сужение пределов феодального суда, подрыв военного значения баронов щитовой податью, быстрое вмешательство совета в их распри — все это более и более приносило баронов до уровня прочих подданных. Однако многое еще оставалось сделать. Как ни отличалась английская аристократия, взятая в целом, от феодальной знати Германии или Франции, всякому военному классу свойственно стремление к насилию и беззаконию, которое трудно было подавлять даже строгому суду Эдуарда. Во все его царствование ему приходилось сильной рукой поддерживать порядок среди враждующих баронов. Крупные вельможи вели частные войны; для мелких и бедных баронов представляло большое искушение богатство купцов, их длинные телеги с товарами, проезжавшие по дороге. Однажды, под прикрытием шуточного турнира монахов с канониками, кучка провинциальных дворян успела проникнуть на большую ярмарку в Бостоне; с наступлением ночи они подожгли строения, ограбили и перебили купцов, а добычу перевезли на суда, стоявшие наготове у пристани. Потоки золота и серебра, гласило создание народного ужаса, текли расплавленные по каналам в море; «все деньги Англии едва ли могли вознаградить за потерю». Даже в конце царствования Эдуарда шайки людей, вооруженных дубинами, жили за общий счет, помогали сельским дворянам в их распрях и угрозами вымогали у крупных торговцев деньги и товары. У короля было довольно силы, чтобы оштрафовать и посадить в тюрь-

му графов, повесить вождя бостонских грабителей и подавить разбои строгими мерами. В трехлетнее отсутствие (1286–1289). Эдуарда из королевства судьи, назначавшиеся тоже из мелких баронов, провинились в насилиях и взяточничестве. После заботливого расследования судебные злоупотребления были обнаружены и исправлены; двое из главных судей подверглись изгнанию, а их товарищи — заточению и штрафу.

Следующий год принес событие, оставшееся темным пятном на царствовании Эдуарда. Ненависть народа к евреям быстро росла при анжуйцах, но покровительство королей никогда не колебалось. Генрих II даровал им право погребения за пределами городов, где они жили. Ричард сурово наказал за избиение евреев в Йорке и организовал смешанный суд из евреев и христиан для записи их договоров. Иоанн никому, кроме себя, не позволял их грабить; правда, сам он вынудил их однажды вручить ему сумму, равную годовому доходу королевства. Смуты следующего царствования принесли больше, чем сколько могла взять даже королевская жадность; евреи приобрели достаточно средств для покупки имений, и только взрыв народного чувства не дал закону позволить им владение вольными землями. Их гордость и презрение к окружающему суеверию проявлялись в насмешках, какими они осыпали процессии, когда те проходили через еврейские кварталы, а иногда, как в Оксфорде, и в настоящих нападениях на них. В народе ходили нелепые слухи о детях, завлеченных в еврейские дома для обрезания или распятия, а в Линкольне народ стал почитать за «святого Хьюга» мальчика, которого нашли зарезанным в еврейском доме. Первым делом францисканцев было поселиться в еврейских кварталах и попробовать обратить их жителей, но народная ненависть достигла слишком большой силы для таких мягких средств примирения. Когда своими ходатайствами перед Генрихом III монахи спасли от смерти семьдесят евреев, народ гневно отказал братии в подаении. Во время «войны баронов» народная ненависть находила себе выражение в разграблении одного еврейского квартала за другим. По окончании войны евреев постигло еще большее бедствие: против них стали издавать статут за статутом. Им запретили владеть недвижимой собственностью, держать в услужении христиан, ходить по улицам иначе как с двумя белыми нашивками из шерсти на груди, указывавшими на их принадлежность. Им запрещали строить новые синагоги, есть с христианами, лечить их. Их обороты, уже подорванные соперничеством банкиров из Кагора, стали совсем невозможными, когда король под страхом смерти приказал им отказаться от роста. Дальше преследованиям идти было некуда, и накануне войны с Шотландией Эдуард, желая пополнить казну и сам увлекаясь фанатизмом подданных, купил у духовенства

мирян сбор пятнадцатой деньги за согласие на изгнание евреев из королевства. Из 16 000 человек, которые предпочли изгнание отступничеству, немногие достигли берегов Франции. Многие потерпели крушение, другие были ограблены и выброшены за борт. Один шкипер высадил толпу богатых купцов на песчаную отмель и посоветовал им призвать нового Моисея для спасения себя от моря. Со времени Эдуарда до Кромвеля ни один еврей не ступал на землю Англии.

Сам Эдуард был ни при чем в тех жестокостях, какими сопровождалось изгнание евреев: напротив, он не только позволил беглецам взять с собой их имущество, но и наказал повешением людей, ограбивших их на море. Но изгнание все-таки было жестокостью, а разрешенный благодарным парламентом сбор пятнадцатой деньги оказался только слабым возмещением понесенной казной потери. Война с Шотландией скоро истощила данные парламентом субсидии. Казна была совсем пуста; дорогая борьба с Францией из-за Гаскони требовала средств, а между тем король задумывал еще более дорогую экспедицию на север Франции с помощью Фландрии. Прямая нужда привела Эдуарда к жестоким вымогательствам. Первый его удар пал на церковь; он уже потребовал от духовенства половины его годового дохода и был так страшно раздражен его сопротивлением, что настоятель собора Св. Павла, выступивший с возражением, от одного страха пал мертвым к его ногам. «Если кто воспротивится требованию короля, — гласило его послание к церковному собору, — поставьте ему на вид, что он может быть объявлен врагом королевского мира». Обиженные церковники очень неудачно сослались на то, что они обязаны платить только Риму, и как на основание своего отказа в дальнейшем обложении указали на разрешительную буллу папы Бонифация VIII. На их отказ Эдуард отвечал объявлением всего сословия вне закона: королевские суды были закрыты, и люди, отказавшие королю в пособии, лишены всякого правосудия. Своими доводами духовенство само поставило себя с формальной стороны в неловкое положение, а объявление вне закона скоро принудило его к покорности, но его взносы мало могли помочь пополнению истощенной казны, а между тем тяжесть войны все возрастала. Для снаряжения экспедиции, которую Эдуард готовился лично вести во Фландрию, нужны были более широкие приемы произвольного обложения. Сельские дворяне были принуждены принимать рыцарское звание или откупаться от обременительной чести. От графств были потребованы принудительные поставки скота и зерна, а вывозная пошлина на шерсть — в то время главный продукт страны — была поднята в шесть раз против прежнего размера. Хотя в этом и не было прямого нарушения хартий или статутов, но результаты Великой хартии и «вой-

ны баронов» вдруг оказались уничтоженными. Едва удар был нанесен, как Эдуард почувствовал свое бессилие. Сопротивление начали бароны; во главе оппозиции стали два сильнейшие из них, Хэмфри де Боэн, граф Герфорд, и Роджер де Бигод, граф Норфолк. Их протест против войны и сопровождавших ее вымогательств принял на деле форму отказа вести, в качестве заместителей Эдуарда, войско в Гасконь, тогда как сам он отправлялся во Фландрию. Они ссылались на то, что не обязаны служить за границей в случае отсутствия короля. «Клянусь Богом, граф, — сказал король Бигоду, — вы пойдете или будете повешены!»* «Клянусь Богом, государь, — был холодный ответ, — я не пойду и не буду повешен!» Прежде чем собрался созванный им парламент, Эдуард понял свое бессилие и, под влиянием одного из тех внезапных переходов чувства, к которым была способна его натура, он явился в Вестминстерском зале перед своим народом и со слезами на глазах признался, что брал его достояние без достаточного права. Настойчивое обращение к верности подданных принудило их против воли согласиться на продолжение войны, но кризис этот указал на необходимость дальнейших гарантий против власти короля. В то время как Эдуард еще сражался во Фландрии, примас Уинчелси вместе с двумя графами и гражданами Лондона воспретили дальнейший сбор податей, пока Эдуард не подтвердил торжественно в Генте (1297) Хартию вместе с добавочными статьями, воспрещавшими королю взимать подати иначе, как с общего согласия королевства. По требованию баронов он повторил подтверждение в 1299 г., когда его попытка присоединить уклончивую оговорку в защиту прав короны доказала справедливость их недоверия. Два года спустя новое собрание вооруженных баронов принудило его к полному исполнению лесной Хартии. Горечь унижения тяготила Эдуарда; свое обещание не брать новых пошлин с товаров он обходил, продавая купцам торговые привилегии; а получение от папы формального разрешения от данных обещаний указывало на намерение его поднять снова те вопросы, по которым он сделал уступки. Но его остановила роковая борьба с Шотландией, возобновленная восстанием Роберта Брюса, и смерть короля (1307) завещала спор его недостойному сыну.

Как ни был низок в нравственном отношении Эдуард II, он далеко не был лишен умственных дарований, наследственных в роду Плантагенетов. У него было твердое намерение свергнуть иго баронов, и он рассчитывал достичь этой цели, выбрав в министры человека, вполне зависевшего от короны. Мы

* Во фразе короля скрыта непереводаемая игра слов: *Клянусь Богом* (By God) звучит почти так же, как фамилия графа, произносимая на английский манер *Байгод*.

уже заметили, что «клерки королевской капеллы», бывшие министрами своеговольного управления нормандских и анжуйских королей, были незаметно заменены прелатами и лордами Постоянного совета. В конце царствования Эдуарда I прямое предложение баронов назначить высших сановников было резко отвергнуто. Но фактически в выборе своих министров король был ограничен кругом прелатов и баронов, а такие сановники, хоть и тесно связанные с королевской властью, всегда разделяли в значительной степени чувства и мнения своего сословия. Молодой король, по-видимому, стремился уничтожить незаметно установившийся порядок и, подражая политике современных ему королей Франции, выбирать себе в министры людей невысокого положения, своей властью полностью обязанных короне и представлявших только политику и интересы своего государя. Еще при жизни отца его товарищем и другом был иностранец Пьер де Гавестон, происходивший из Гиени; в конце царствования Эдуард I изгнал его из королевства за участие в интригах, отдаливших от него сына. Новый король тотчас по воцарении вернул его, пожаловал титулом графа Корнуолла, женил на своей племяннице Маргарите де Клэр и поставил во главе администрации. Живой, веселый, расточительный Гавестон в своих первых действиях проявил быстроту и смелость южного француза; старые слуги были отставлены, всякие притязания на старшинство или наследственность при распределении должностей во время коронации устранены, вызывающие насмешки раздражали гордых баронов до бешенства. Гавестон был прекрасным воином и своим копьем сбрасывал с коней на турнирах одного противника за другим. Его беспечное остроумие так и осыпало вельмож насмешливыми прозвищами: граф Ланкастер был Боровом, Пемброк — Жидом, Варвик — Черным Псом*.

После нескольких месяцев власти оказалось невозможным противиться требованию парламента — отставить Гавестона, и он был формально изгнан из королевства. В следующем 1309 г. Эдуард добыл средства для войны с Шотландией только уступкой прав, которые старался утвердить его отец, — прав облагать товары ввозными пошлинами по соглашению с купцами. Твердость баронов зависела от того, что они нашли себе вождя в лице графа Ланкастера, двоюродного брата короля. Его влияние оказалось neodолимым. Когда Эдуард, распустив парламент, вернул Гавестона, Ланкастер вышел из Королевского совета, а парламент, собравшийся в 1310 г., постановил, что дела королевства должны быть вверены на год комиссии из 21 «ордайнера» (распорядителя).

* Чтобы в полной мере оценить наглость королевского фаворита, надо знать, что все перечисленные вельможи состояли в близком родстве с Эдуардом II.

Грозный список «распоряжений», составленный комиссией, встретил в 1311 г. Эдуарда при возвращении его из бесплодного похода в Шотландию. Этот длинный и важный статут изгонял Гавестона, устранял из совета других советников и высылал из королевства флорентийских банкиров, займы которых позволяли Эдуарду держать в страхе баронов. Ввозные пошлины, введенные Эдуардом I, были объявлены незаконными. Парламенты должны были созываться ежегодно, и в них, если понадобится, привлекаться к суду слуги короля. Высшие сановники государства должны были назначаться по совету и с согласия баронов и присягать в парламенте. Такое же согласие баронов в парламенте нужно было королю раньше объявления войны или выезда из королевства. Как показывают эти «распоряжения», бароны все еще смотрели на парламент, скорее, как на политическую организацию знати, чем как на собрание трех сословий королевства. О низшем духовенстве совсем не упоминается; общины рассматриваются только как плательщики налогов, участие которых ограничивается представлением ходатайств и жалоб и назначением налогов. Но даже и в этом несовершенном виде парламент был настоящим представительством страны, и Эдуард вынужден был после долгой и упорной борьбы согласиться на «распоряжения». Изгнание Гавестона было свидетельством торжества баронов; его возвращение через несколько месяцев возобновило борьбу, окончившуюся только пленением его. Черный Пес Варвик поклялся, что фаворит почувствует на себе его зубы; напрасно бросался Гавестон к ногам графа Ланкастера, прося о милости у «благородного лорда», — он был обезглавлен. Порывы горя короля были так же бесплодны, как и его угрозы отомстить. Притворное подчинение победителей завершило унижение короля: в Вестминстерском зале бароны преклонили перед Эдуардом колени и получили прощение, оказавшееся смертельным ударом для королевской власти. Но если у короля не хватало сил победить баронов, он мог еще привести в замешательство все королевство, уклоняясь от соблюдения «распоряжений». Шесть лет, следующие за смертью Гавестона, принадлежат к самым мрачным эпохам в истории Англии. Ряд страшных голодовок усилил бедствия, проистекавшие из полного отсутствия всякого управления в период споров между баронами и королем. Поражение при Баннокберне и опустошение шотландцами севера покрыли Англию никогда невиданным позором. Наконец, захват Бервика Робертом Брюсом вынудил Эдуарда уступить, «распоряжения» были формально одобрены, дарована амнистия и небольшое число пэров, принадлежавших к партии баронов, присоединено к высшим сановникам государства.

Во главе баронов стоял граф Ланкастер, соединивший в своих руках четыре графства: Линкольн, Лестер, Дерби и Ланкастер, и, подобно коро-

лю, приходившийся внуком Генриху III. Окончание долгой борьбы с Эдуардом доставило ему на время высшую власть в королевстве, но его характер оказался, по-видимому, далеко ниже его положения. Неспособный к управлению, он умел только смотреть с завистью на новых советников, которых теперь приблизил к себе король, двух Деспенсеров, отца и сына. Возвышение Деспенсера-сына, которому король пожаловал графство Глеморган вместе с рукой его наследницы, было достаточно быстро, чтобы возбудить общую зависть, и Ланкастеру нетрудно было добиться силой оружия изгнания его из королевства. Уже поколебавшаяся симпатия народа повернула в сторону короля под влиянием оскорбления, нанесенного королеве, перед которой леди Бедлесмир заперла двери замка Ледс, а неожиданная энергия, какую проявил Эдуард в отмщении обиды, придала новую силу его стороне. Он счел себя достаточно сильным, чтобы вернуть Деспенсера, а когда Ланкастер созвал баронов, чтобы снова изгнать его, слабость их партии обнаружилась в изменнических переговорах графа с шотландцами и в поспешном отступлении к северу при приближении армии короля. При Боробридже его силы были остановлены и рассеяны, а сам граф приведен пленником к Эдуарду в Понтефрект, подвергнут суду и осужден за измену на смерть: «Сжался надо мной, Царь Небесный, — воскликнул Ланкастер, когда его на сером пони без узды везли на казнь, — ибо царь земной покинул меня». За его смертью последовала гибель многих его приверженцев и пленение других; между тем парламент в Йорке уничтожил приговор против Деспенсеров и отменил «распоряжения». Однако этому парламенту 1322 г. и, может быть, победоносной уверенности роялистов обязана Англия знаменитым постановлением, объясняющим политику Деспенсеров и гласящим, что все законы касательно «положения короны или королевства и народа должны быть обсуждаемы, принимаемы и устанавливаемы в парламенте государем королем и соглашением прелатов, графов, баронов и общин королевства, сообразно бывшему доселе обычаю». Содержание этого замечательного постановления наводит на мысль, что внезапный поворот народного чувства много зависел от присвоения себе баронами всей законодательной власти. Но высокомерие Деспенсеров, полная неудача нового похода в Шотландию и унижительное перемирие, которое Эдуард вынужден был заключить с Брюсом, скоро лишили корону ее временной популярности и привели к внезапному перевороту, которым закончилось это несчастное царствование. Было условлено, что королева, сестра короля Франции, отправится на родину для заключения договора между обеими странами, распря которых снова грозила войной; за королевой последовал ее сын, двенадцатилетний мальчик,

чтобы от имени отца принести присягу за герцогства Гиень и Аквитанию. Однако ни просьбами, ни угрозами король не мог побудить к возвращению жену и сына. В Париже в это время собралась небольшая группа знатных лордов, бежавших из Англии, в основном участников неудачного восстания графа Ланкастера. С одним из них, Роджером Мортимером, бароном Вигмором, Изабелла вступила в любовную связь и, набрав небольшой отряд, направилась в Англию, чтобы свергнуть мужа. По высадке отряда королевы и Мортимера в Оруэлле примас и бароны поспешили под ее знамя. Покинутый всеми, отвергнутый гражданами Лондона, у которых он просил помощи, король бежал поспешно на запад и сел с Деспенсерами на корабль, но противные ветры снова пригнали беглецов к берегу Уэльса, где они и попали в руки нового графа Ланкастера, Генри, брата казненного Томаса. Младший Деспенсер тотчас был повешен на виселице в 50 футов вышины, а король посажен под стражу к Кенилворте, впредь до решения его участи парламентом, созванным для этой цели в Вестминстере. Сбравшиеся пэры смело вернулись к старому обычаю английской конституции и провозгласили свое право низложить короля, который оказался недостойным власти. Никто не поднял голоса в защиту Эдуарда, протестовали только четыре прелата, когда молодой принц был провозглашен королем и в качестве государя представлен народу. Юридическую форму придал перевороту билль, обвинявший пленного монарха в беспечности, неспособности, потере Шотландии, нарушении коронационной присяги и угнетении церкви и баронов; ввиду доказанности этого и было постановлено, что Эдуард Кернарвонский перестал царствовать и что корона перешла к его сыну Эдуарду Виндзорскому. Парламент отправил в Кенилворт депутацию, чтобы получить от развенчанного короля согласие на его низложение, и Эдуард, «одетый в простое черное платье», спокойно подчинился своей участи. Сэр Уильям Трэссел тотчас обратился к нему со словами, которые лучше, чем что другое, рисуют настоящий характер шага, сделанного парламентом: «Я, Уильям Трэссел, представитель графов, баронов и других, имея на то полное и достаточное полномочие, возвращаю и отдаю назад Вам, Эдуард, бывший король Англии, присягу и верность лиц, названных в моем полномочии, и разрешаю и освобождаю их от этого наилучшим способом, предписываемым законом и обычаем. И теперь я объявляю от их имени, что они не будут больше вашими верными подданными и не желают владеть чем-нибудь от Вас как от короля, а будут считать Вас впредь частным лицом, без всякого следа королевского достоинства». За этими торжественными словами последовал выразительный обряд. Сэр Томас Блаунт, гофмаршал короля, сломал свой жезл, что делалось только в случае смерти

государя, и объявил об освобождении от их обязанностей всех лиц, состоявших на службе при короле. В следующем сентябре король был убит в замке Беркли.

Глава VI

Борьба Шотландии за независимость (1306—1342)

Чтобы составить ясное представление о конституционной борьбе между королем и баронами, мы отложили до окончания ее рассказ о великой войне, в течение всего этого периода бушевавшей на севере.

С Пертской конвокацией, казалось, закончилось завоевание Шотландии и упрочение в ней порядка. Эдуард I уже собирался созвать парламент для обоих народов в Карлайле, когда покоренная страна вдруг снова взялась за оружие под предводительством Роберта Брюса, внука одного из прежних претендентов на корону. Нормандская фамилия Брюсов принадлежала к йоркширскому дворянству, но путем браков приобрела себе также графство Каррик и лордство Аннандейл. И претендент, и его сын почти все время были на стороне Англии в ее борьбе с Баллиоком и Уоллесом; сам Роберт воспитывался при английском дворе и пользовался милостями короля. Удаление Баллиока придало притязаниям Брюса новую силу, а открытие интриги, завязанной им с епископом Сент-Эндрюса, так возмутило Эдуарда, что Роберт должен был спасти свою жизнь бегством за границу. В церкви францисканцев в Дёмфризе он встретил Комина, лорда Баденоха, измене которого приписывал раскрытие своих планов, и, обменявшись с ним несколькими горячими словами, заколол его кинжалом. Этот поступок не допускал забвения, и Брюс вынужден был ради своей безопасности через шесть недель возложить на себя корону в Сконском аббатстве. При вести об этом Шотландия снова взялась за оружие, и Эдуард должен был снова выступить против своего непобедимого врага. Убийство Комина довело короля до страшной безжалостности: он грозил смертью всем участникам преступления и выставил на показ в клетке, построенной для этого в одной из башен Бервика, графиню Бьюкен, возложившую корону на голову Брюса*. Во время парадного обеда, данного королем в честь получения его сыном рыцарского достоинства, он поклялся над лебедем — главным

* Изабелла, жена Джона де Комина, графа Бьюкена (кузена убитого Брюсом Джона Комина Рыжего), происходила из рода графов Файф, обладавших наследственной привилегией коронации шотландских королей. Поскольку ее брат, глава рода, не желал короновать Брюса, это сделала она, утверждая, что обычай не указывает на пол коронующего. В клетке графиня просидела до 1310 г.

блюдом королевского стола — посвятить остаток своих дней на отмщение убийце. В момент этого обета Брюс, спасая свою жизнь, уже бежал на западные острова. «Отныне, — сказал он своей жене при коронации, — вы — королева Шотландии, а я — ее король». — «Боюсь я, — отвечала Мария Брюс, — что мы только играем в королей, как дети в свои игрушки». Игра скоро стала горькой действительностью. Небольшого английского отряда под началом Эмера де Валанса, графа Пемброка, было достаточно для поражения нестройных полчищ, собравшихся вокруг нового короля, и бегства Брюса, что отдало его приверженцев в руки Эдуарда. Вельможи один за другим всходили на эшафот. Граф Этол сослался на свое родство с королевским домом: «Его единственным преимуществом, — гневно отвечал на это король, — будет повешение на более высокой виселице». Английские судьи вешали рядом рыцарей и священников; жена и дочь Брюса были брошены в тюрьму. Сам Брюс предложил принцу Эдуарду сдаться, но это только еще более раздражило короля. «Кто смеет, — воскликнул он, — без нашего ведома вступать в переговоры с нашим изменником?» И поднявшись с одра болезни, он повел свою армию на север доканчивать завоевание. Но рука смерти уже тяготела над ним, и в самом виду Шотландии старый король испустил дух.

Смерть Эдуарда остановила только на один момент движение его армии на север. Граф Пемброк перевел ее через границу и без сопротивления завладел страной. Брюс повел жизнь отчаянного авантюриста; даже горские вожди, в замках которых он нашел себе убежище, были врагами человека, претендовавшего на престол враждебной им низменной Шотландии. Эта невзгода и превратила убийцу Комина в славного народного вождя. Смелый и храбрый, с повелительной осанкой и веселым характером, Брюс переносил превратности судьбы с никогда не изменявшим ему мужеством. В легендах, создавшихся вокруг его имени, мы видим его в горных долинах, прислушивающимся к лаю преследующих его ищеек или защищающим в одиночку горный проход против толпы диких горцев. Иногда небольшой кучке его спутников приходилось питаться плодами собственной охоты или рыбной ловли, иногда — разбегаться ради безопасности, когда враги преследовали их до убежища. Самому Брюсу приходилось не раз сбрасывать с себя кольчугу и спасать свою жизнь, вскарабкиваясь босиком на скалы. Но мало-помалу мрачное небо прояснилось. По мере усиления борьбы между Эдуардом и его баронами гнет англичан слабел. Первым из баронов низменности к Брюсу вновь примкнул любимец шотландской истории Джеймс Дуглас, и его смелый шаг ободрил приверженцев короля. Раз Брюс захватил врасплох собственный дом, уже отданный англичанину, съел обед

приготовленный для нового хозяина, убил своих пленников и побросал их трупы в костер, сложенный у ворот замка. Потом он вышиб дно у винных бочек, так что вино смешалось с их кровью, и поджег дом и костер. В деле освобождения, таким образом, героизм соединялся с ужасной жестокостью, но оживление страны шло своим путем. Наконец, разорение Брюсом Бьюкена после поражения его графа, присоединившегося к английской армии, прямо повернуло колесо счастья в его сторону. Эдинбург, Роксбург, Перт и большинство шотландских крепостей одна за другой перешли в руки короля Роберта. Духовенство созвало собор и признало Брюса своим законным государем. Постепенно принуждены были подчиниться и шотландские бароны, бывшие еще на стороне Англии, и Брюс считал себя достаточно сильным, чтобы осадить Стирлинг, последнюю и важнейшую из шотландских крепостей, еще державших сторону Эдуарда.

Стирлинг, действительно, был ключом к Шотландии, и его опасное положение заставило англичан забыть о своих внутренних раздорах и собрать все силы, чтобы не выпустить из рук добычу. Главную силу огромной армии, двинувшейся за Эдуардом на север, составляли тридцать тысяч рыцарей; к ним на помощь были вызваны толпы диких мародеров из Ирландии и Уэльса. Армия, собранная Брюсом для противодействия вторжению, состояла почти из одной пехоты и расположилась к югу от Стирлинга, на возвышенной местности, обрамленной небольшим ручьем Баннокберном, давшим свое имя битве. Как при Фалкирке, здесь снова встретились лицом к лицу две системы тактики, так как Роберт, подобно Уоллесу, поставил свое войско в густые колонны копейщиков. Англичане с самого начала были смущены неудачей своей попытки освободить Стирлинг и исходом поединка между Брюсом и Генри де Боэном, рыцарем, бросившимся на него, когда он спокойно ехал вдоль фронта своего войска. Роберт ехал на маленькой лошадке и держал в руке только легкий боевой топор, но, отклонив копье противника, он раскроил ему череп таким страшным ударом, что рукоятка сломалась в его руке. По открытии боя, англичане пустили вперед стрелков с целью разредить ряды врагов, но стрелки не были подкреплены и были легко рассеяны отрядом конницы, который Брюс держал для этого в резерве. Затем на фронт шотландцев кинулась масса конницы, но ее нападение было стеснено узким пространством, по которому им приходилось двигаться, а упорное сопротивление каре скоро привело рыцарей в беспорядок: «Раненые кони, — говорит с торжеством шотландский писатель, — метались и сильно бились». В момент неудачи вид толпы обозных слуг, принятых по ошибке за неприятельское подкрепление, распространил в английском войске панический страх. Оно обратилось в беспорядочное бег-

ство. Тысячи блестящих рыцарей валились в ямы, нарочно вырытые на низменном левом фланге армии Брюса, или бешено неслись к границе; но достигнуть ее сумели лишь немногие счастливыцы. Самому Эдуарду с пятьюстами всадниками едва удалось добраться до Данбара и моря. Цвет его рыцарей попал в руки победителей; в то же время ирландцы и пехотинцы были безжалостно перебиты во время бегства поселянами. Богатая добыча, захваченная в английском лагере, на целые века оставила свои следы в сокровищницах и ризницах замков и аббатств всей Нижней Шотландии.

Как ни ужасно было это поражение, но оно не могло заставить Англию отказаться от своих притязаний на Шотландию. Брюс с таким же упорством отказывался от всяких переговоров, пока ему отказывали в королевском титуле, и настойчиво стремился к возвращению своих южных владений. Наконец Бервик был принужден сдаться и потом отразил отчаянную попытку англичан вернуть его; в то же время варварские набеги пограничных феодалов с Дугласом во главе опустошили Нортумберленд. Новый перерыв в борьбе Эдуарда с баронами позволил двинуть на север большую армию, но Брюс уклонялся от битвы, пока голод не принудил пришельцев к бедственному отступлению из опустошенной страны. Эта неудача заставила в 1323 г. Англию заключить перемирие на тринадцать лет и признать за Брюсом королевский титул. Низложение Эдуарда юридически прерывало перемирие. Обе стороны собрали войска, а Эдуард Баллиоль, сын бывшего короля, был торжественно принят при английском дворе в качестве вассального короля Шотландии. Проказа не позволяла Брюсу лично выйти на войну, но оскорбление побудило его послать снова своих мародеров под предводительством Дугласа и Рандольфа за границу. Вот как изображает современник-очевидец шотландскую армию в этом походе: «Она состояла из четырех тысяч воинов, рыцарей и оруженосцев, на хороших конях, и двадцати тысяч человек сильных и выносливых, вооруженных по обычаю их страны, на маленьких лошадках, которых они никогда не привязывают и не чистят, а прямо после дневного перехода пускают на траву или на поля. Они не берут с собой обоза ввиду того, что в Нортумберленде им приходится переходить через горы, и не везут с собой запасов хлеба и вина, ибо на войне они так умеренны, что могут долгое время питаться полусырым мясом без хлеба и пить речную воду без вина. Поэтому они не нуждаются ни в горшках, ни в мисках, так как, ободрав скотину, они готовят ее в ее же шкуре, и так как они уверены, что найдут в изобилии скот в стране, куда они направляются, то и не гонят его с собой. Под краями седла каждый воин везет широкий металлический лист, а сзади небольшой мешок с овсяной мукой. Когда они съедят много вареного мяса, а желудок кажется

слабым и пустым, они ставят эти листы на огонь, месят муку с водой и, когда лист нагреется, кладут на него немного теста в виде тонкого пирожка, похожего на бисквит, и тотчас глотают его, чтобы согреть желудки. Неудивительно поэтому, что они могут делать большие переходы, нежели другие солдаты». Перед подобным врагом английская армия, двинувшаяся под предводительством мальчика-короля для защиты границы, оказалась совершенно беспомощной. Один раз она заблудилась в обширных пограничных пустынях; в другой раз исчез всякий след неприятеля, и король обещал тому, кто откроет местонахождение шотландцев, рыцарское звание и сотню марок. Найденная, наконец, за Уиром, их позиция оказалась неприступной; после смелого нападения на английский лагерь, Дуглас ловким отступлением расстроил план англичан отрезать ему путь внутрь страны. Английское ополчение в унынии разошлось, а новое вторжение в Нортумберленд принудило короля заключить мир в Нортгемптоне, по которому Шотландия была формально признана независимой, а Роберт Брюс — ее королем.

Гордость англичан была, однако, слишком возбуждена борьбой, чтобы легко примириться с подобным унижением. Первым результатом договора было падение заключившего его правительства, ускоренное надменностью его главы, Роджера Мортимера, любовника матери юного Эдуарда III, и устранением прочих вельмож от всякого участия в управлении королевством. Первые попытки поколебать могущество Мортимера, оказались безуспешными: союз, руководимый графом Ланкастером, распался без результата. Прежде чем в борьбу вмешался сам юный король, на эшафот был отправлен его дядя граф Кентский. Тогда Эдуард проник в Ноттингемский замок с отрядом, проведенным им через тайный проход в скале, на которой стоял замок, собственноручно схватил Мортимера, предал его казни, а свою мать заточил в замке Ризинг. Ведение дел король взял в свои руки. Его первой заботой было восстановить порядок в Англии, пришедшей при последних правителях в полное расстройство, и развязать себе руки для дальнейших предприятий на севере заключением мира с Францией. Счастье, по видимому, наконец, повернулось в сторону Англии. Через год после Нортгемптонского договора Брюс умер, и шотландский престол перешел к его сыну, восьмилетнему мальчику, а внутренние затруднения привели к междоусобной борьбе. Крупным баронам как Англии, так и Шотландии последний мир приносил серьезные потери: многие англичане владели большими поместьями в Шотландии и наоборот, и хотя договор оговаривал их права, но фактически они оставались без внимания во всех случаях. Недовольством баронов по этому поводу и объясняется неожиданный успех попытки Эдуарда Баллиоля захватить шотландский престол. Несмотря на

запрет Эдуарда III, Баллиоль отплыл из Англии во главе кучки баронов, добивавшихся возвращения своих поместий на севере, высадился на берегах Файфа и, отразив с большим уроном напавшую на его близ Перта армию, короновался в Скуоне. Давид Брюс, не видя другого исхода, бежал во Францию. Эдуард не принимал открытого участия в этом предприятии, но его успех раздражал его честолюбие, и он потребовал и добился от Баллиоля признания английского верховенства. Это признание оказалось, однако, роковым для самого Баллиоля. Он тотчас был изгнан из Шотландии, а Бервик, который он обещал сдать Эдуарду, сильно укреплен. Англичане скоро осадили город, но на выручку к нему явилась шотландская армия под командованием регента сэра Арчибальда Дугласа, брата знаменитого сэра Джеймса, и напала на осаждающих, занявших сильную позицию на Галидонской горе. Однако английские стрелки поддержали славу, впервые приобретенную ими при Фалкирке и вскоре затем увенчанную победой при Креси. Шотландцы пробрались через болото, прикрывавшее фронт англичан только затем, чтобы быть осыпанными градом стрел и пуститься в беспорядочное бегство. Эта битва решила судьбу Бервика: с этих пор он навсегда остался в руках англичан, составляя единственное приобретение Эдуарда, сохраненное английской короной. Как ни был незначителен Бервик, но англичане всегда смотрели на него как на представителя всего государства, часть которого он некогда составлял. Как Шотландия, он имел своего канцлера, камергера и других государственных сановников. Особый заголовок парламентских актов, издаваемых для Англии и «города Бервика на Твиде», сохраняет до сих пор память об его оригинальном положении. Баллиоль был восстановлен победителями на престоле и отплатил им за помощь формальной уступкой Нижней Шотландии. В течение следующих трех лет Эдуард продолжал усвоенную им политику: он поддерживал свою власть над Южной Шотландией и помогал в ряде походов своему вассалу Баллиолю против отчаянных усилий баронов, еще стоявших за дом Брюса. Его упорство едва не увенчалось успехом; Шотландию спасло только начало войны с Францией, отвлекшей силы Англии на другую сторону Ла-Манша. Патриотическая партия в Шотландии снова собралась с силами; всеми, наконец, покинутый Баллиоль бежал ко двору Эдуарда, а Давид вернулся в свое королевство и возвратил главные крепости низменности. Свобода Шотландии была, в сущности, обеспечена. Из завоевательной войны и патриотического сопротивления борьба между Англией и Шотландией превратилась в мелкие ссоры двух враждующих соседей, служившие простыми эпизодами в великой борьбе Англии с Францией.

Часть 5

Столетняя война (1336—1431)

Глава I

Эдуард Третий (1336—1360)

В середине XIV в. могучее движение к объединению нации, начавшееся при последнем из нормандских королей, достигло, по-видимому, своей цели. Признаком полного слияния покоренных и завоевателей явилась отвыкание, даже среди высших классов, от употребления французского языка. Несмотря на усилия грамматических школ и влияние моды, господство английского языка при Эдуарде III все более распространялось, а при его внуке он восторжествовал окончательно: «Дети в школе, — говорит писатель начала царствования Эдуарда, — вопреки привычке и обычаю всех других народов, принуждены покидать свой родной язык, готовить уроки и писать сочинения по-французски, и так ведется с первого прибытия нормандцев в Англию. Точно также дети дворян учатся говорить по-французски с того возраста, когда их еще качают в колыбели и когда они учатся разговаривать и играть в игрушки; сельские жители хотят также походить на дворян и с большим трудом стараются говорить по-французски, чтобы о них больше говорили»; «Этот обычай, — прибавляет переводчик времени Ричарда, — был в большом ходу до первого мора (чумы 1349 г.), а с тех пор несколько изменился; учитель грамматики Джон Корнуолл изменил обучение в грамматических школах и заменил французский язык английским. Этот способ обучения у него заимствовал Ричард Пенкрайч, а от него — другие. Так что теперь (в 1385 г.) во всех школах Англии дети оставили французский язык и обучаются по-английски». Более ясным доказательством перемены служило введение в 1362 г. английского языка в суды «на том основании, что французский язык многим неизвестен»; по-английски же произнес речь в следующем году канцлер при открытии парламента. Епископы начали проповедовать по-английски, а английские сочинения Уиклифа снова сделали его литературным языком. Это стремление к общему пользованию народной речью сильно повлияло на литературу. В на-

чале XIV в. влияние французской поэзии стремилось сделать всюду единственным литературным языком французский; в Англии влияние это поддерживалось французским тоном двора Генриха III и трех Эдуардов. Но в конце царствования Эдуарда III длинные французские поэмы нужно было переводить даже для слушателей-рыцарей. «Пусть духовные пишут полатыни, — говорит автор «Завещания любви», — пусть французы излагают также на своем языке свои любезности: он родной для их уст; мы будем передавать наши «фантазии» словами, каким научились из языка матери». Новая национальная жизнь предлагала теперь английской литературе сюжеты более высокие, чем «фантазии». Вместе с завершением дела национального объединения закончилось и дело народного освобождения. При первом Эдуарде парламент отстоял свое право контроля над обложением, при втором он от удаления министров дошел до низложения короля, при третьем он стал подавать свой голос по вопросам мира и войны, контролировать расходы, руководить ходом гражданского управления. Энергия общественной жизни Англии проявилась в широком распространении торговли, быстром росте торговли шерстью, увеличении числа мануфактур после поселения на восточном берегу фламандских ткачей, усилении городов, освежившихся после победы ремесленных цехов, развитии земледелия вследствие дробления земель и возвышении класса земельных арендаторов и фригольдеров. Еще более высоким проявлением ее деятельности было пробуждение на голос Уиклифа духа национальной независимости и нравственной строгости. Новые силы, мысли и чувства, которым суждено было оказывать влияние на все эпохи позднейшей истории Англии, пробили себе выход сквозь кору феодализма и сказались в социалистическом движении лоллардов, а внезапный взрыв военной славы вдруг залил своим блеском век Креси и Пуатье.

Это новое радостное настроение великого народа и выражается в произведениях Джеффри Чосера. Чосер родился около 1340 г. и был сыном лондонского виноторговца, жившего на улице Темзы; в Лондоне он и провел большую часть своей жизни. Его семья, хотя и не дворянская, по-видимому, пользовалась некоторым значением, так как с самого начала его карьеры мы находим Чосера в тесной связи с двором. С шестнадцати лет он сделался пажом жены герцога Лайонела Кларенса (третьего сына короля Эдуарда III); в девятнадцать впервые участвовал в походе 1359 г., но имел несчастье попасть в плен и, после своего освобождения по договору в Бретиньи, не принимал больше участия в военных действиях своего времени. По-видимому, он вернулся к службе при дворе; в это-то время и вышли его первые поэмы, а его покровителем стал Джон Гонт (четвертый сын Эдуарда

да III). Семь раз его посылали с дипломатическими поручениями, вероятно стоявшими в связи с финансовыми затруднениями короны; три раза эти поручения приводили его в Италию. Он посетил Геную и блестящий двор Висконти в Милане; во Флоренции, где еще жива была память Данте, «великого учителя», о котором он отзывается с таким почтением в своих стихах, он мог встретиться с Боккаччо; в Падуе, подобно своему оксфордскому студенту, он мог слушать из уст Петрарки историю Гризельды. Он был деятельным практическим человеком: таможенным контролером в 1374 г., контролером мелких сборов в 1382 г., членом палаты общин в парламенте 1386 г., а с 1389 до 1391 г. он, в качестве секретаря королевских работ, был занят постройками в Вестминстере, Виндзоре и Тауэре. Единственный сохранившийся портрет изображает его раздвоенную бороду, темного цвета платье, нож и пенал за поясом; этот портрет мы можем пополнить несколькими живыми чертами, взятыми у самого Чосера. Хитрое, лукавое лицо, быстрая походка, плотная осанистая фигура указывали на его веселый и насмешливый характер, но люди подсмеивались над его молчаливостью и любовью к книгам: «Ты смотришь, как будто хочешь найти зайца, — замечает трактирщик в «Кентерберийских рассказах», — и даже, я вижу, ты впиваешься взором в землю». Он мало слушал разговоры своих соседей, когда оканчивалась работа: «Ты тотчас идешь к себе домой и немой, как камень, сидишь за книгой, пока не потемнеет совсем в глазах, и живешь ты отшельником, хотя, — прибавляет он лукаво, — ты не очень воздержан». Но в его стихах незаметно следов такого невнимания к своим собратьям. Никогда поэзия не носила более человеческого характера; никто не относился так свободно и весело к читателю. Первые звуки песни Чосера — звуки свежести и веселья, и впечатление радости остается все таким же свежим и теперь, когда прошло несколько веков. Историческое значение поэзии Чосера сразу бросается в глаза: она стоит в резком противоречии с той поэтической литературой, из глубины которой вытекла. Длинные французские романы были продуктом века богатства и довольства, праздного любопытства, мечтательного, поглощенного собой чувства. Из великих стремлений, придававших жизнь Средним векам, энтузиазм религиозный выролдился в жеманные фантазии культа Мадонны, а военный — в рыцарские сумасбродства. Любовь, однако, осталась, и только она давала темы трубадурам и труверам; но это была любовь утонченная, с романтическими безрассудствами, схоластическими рассуждениями и чувственным наслаждением — скорее забава, чем страсть. Природе приходилось отражать веселую беспечность человека: песнь трубадура воспевала вечный май — трава всюду зеленела, с поля и из кустов раздавались песни жаворонка и соловья.

Поэзия упорно избегала всего, что в жизни человека есть серьезного, нравственного, наводящего на размышление; жизнь представлялась слишком забавной, чтобы быть серьезной, слишком пикантной и сентиментальной, слишком полной интереса, веселья и болтовни. Это был век болтовни: «Нет ничего приятного, — говорит трактирщик, — ехать по дороге немой точно камень». Трувер стремился просто к тому, чтобы быть самым приятным рассказчиком своего времени. Его романы и поэмы полны красок, фантазии, бесконечных подробностей; поэт относится с горделивым равнодушием к самой их растянутости, мелочности описания внешних предметов, неопределенности очертаний, когда заходит речь о тонкостях внутреннего мира. С этой литературой познакомился Чосер сначала, ей он и следовал своих ранних произведениях. Но со времени поездок в Милан и Геную симпатии влекут его не к умирающей поэзии Франции, а к вновь пышно расцветающей поэзии Италии. Орел Данте взирал на него с солнца. «Франческо Петрарка, увенчанный поэт», для него один из тех, «чья риторическая сладость осветила всю Италию поэзией». «Троил» Чосера представляет собой распространенный английский пересказ «Филострата» Боккаччо; рассказ рыцаря носит на себе легкие следы влияния «Тезейды» того же автора. Саму форму «Кентерберийских рассказов» внушил «Декамерон». Но даже изменяя под влиянием итальянцев форму английской поэзии, Чосер сохраняет свой личный характер. Подсмеиваясь в стихах о сзере Топазе над томительной пустотой французского романа, он удерживает все заслуживавшие сохранения особенности французского характера, быстроту и легкость движений, свет и блеск описаний, живую насмешливость, веселость и добродушие, холодную рассудительность и самообладание. Французское остроумие более, чем в каком другом английском писателе, оживляет в нем тяжелый смысл и резкость народного характера, умеряет его эксцентричность, облегчает его несколько тяжеловесную мораль. С другой стороны, отражая веселую беззаботность итальянской повести, он умеряет ее английской серьезностью, а так как он следует Боккаччо, то все изменения направлены в сторону скромности. «Троил» флорентийца оканчивается старейшей насмешкой над изменчивостью женщины, а Чосер приглашает нас «воззреть на Бога» и распространяется о неизменности Неба.

Но что бы ни заимствовал Чосер из обеих литератур, его гений был английским до глубины, а с 1384 г. все следы иноземного влияния исчезают. Его главное произведение «Кентерберийские рассказы» было начато после его первых поездок в Италию, а его лучшие рассказы были написаны между 1384 и 1391 гг. В последние десять лет своей жизни он прибавил к ним немного рассказов; силы его слабели, и в 1400 г. он успокоился от тру-

дов в своем последнем жилище, в саду часовни Св. Марии в Вестминстере. Сюжет этой поэмы — путешествие из Лондона в Кентербери на богомолье — не только давал автору возможность связать в одно целое ряд рассказов, составленных в разное время, но и удивительно соответствовал главным особенностям его поэтического таланта, драматической гибкости и широте симпатий. Его рассказы охватывают всю область средневековой поэзии: церковная легенда, рыцарский роман, чудесный рассказ путешественника, широкий юмор фаблио, аллегория и басня — все есть тут. Еще более широкое поприще для своего таланта находит он в личностях, передающих эти истории, тридцати паломниках, отправляющихся в майское утро от гостиницы Табарды в Саутарке и представляющих собой тридцать отдельных фигур и все классы английского общества — от дворянина и до пахаря. Мы видим «вполне совершенного благородного рыцаря» в военном плаще и кольчуге, за ним кудрявого оруженосца, свежего как майское утро, а позади их смуглолицего крестьянина в зеленом кафтане и шапочке с прекрасным луком в руке. Группа церковников представляет перед нами средневековую церковь: смуглый монах, любитель охоты, у которого узда звенит так же громко и ясно, как церковный колокольчик; распутный нищенствующий монах — первый попрошайка и аферист в целом графстве; бедный священник, оборванный, ученый и набожный («он возвещал учение Христа и двенадцати апостолов и сам первый следовал ему»); церковный пристав с огненным лицом; продавец индульгенций с сумкой, «доверху полной отпущений, привезенных из Рима совсем горячими»; живая аббатиса с ее придворным французским картавленьем, мягкими розоватыми губками и девизом «любовь побеждает все», вырезанным на брошке. Наука представлена здесь солидной фигурой доктора медицины, обогащенного чумой; делового судебного пристава, «который всегда казался более занятым, чем был»; оксфордского студента с впалыми щеками, у которого любовь к книгам и резкие приговоры заслоняют скрытую нежность, прорывающуюся, наконец, в истории Гризельды. Вокруг них масса типов английской промышленности: купец, помещик, у которого в доме «еды и питья сколько снегу зимой», моряк — прямо от битв в Ла-Манше, веселая горожанка из Бата, широкоплечий мельник, мелочной торговец, плотник, ткач, красильщик, обойщик — каждый в кафтане своего цеха — и наконец честный пахарь, готовый для бедняка даром косить и пахать. В первый раз в английской поэзии мы встречаем не характеры, аллегории или воспоминания прошлого, а живых движущихся людей, отличных по характеру и чувствам, а также по наружности, костюму и способу выражения; это отличие поддерживается в течение всей истории тысячью оттенков в выраже-

нии и действии. Впервые также встречаем мы драматический талант, который не только создает каждый характер, но комбинирует его с подходящими, который не только приновляет каждый рассказ или шутку к характеру лица, их произносящего, но и сливает все это в одно поэтическое целое. Здесь нас окружает жизнь со всей ее широтой, разнообразием и сложностью. Правда, от некоторых из этих рассказов, составленных, без сомнения, в более раннее время, веет скукой старого романа или педантизмом схоластика; но взятая в целом поэма — произведение не литератора, а человека дела. Свое воспитание, не книжное, а житейское, Чосер получил на войне, в судах, на работе, в путешествиях, и он любит жизнь — тонкость ее чувства, широту ее иронии, ее смех и ее слезы, нежность ее Гризельды или смехотворные приключения мельника и клерков. Эта сердечная широта, эта широкая терпимость позволяют ему изображать человека так, как не изображал его никто, кроме Шекспира, изображать его с такой живостью, тонким пониманием и добродушным юмором, которых не превзошел сам Шекспир.

Странно, что такой голос не нашел себе отзвука у последующих певцов, но первые звуки английской песни замерли с Чосером так же внезапно и полно, как надежды и слава его века. Столетие, следующее за мимолетным блеском Креси и «Кентерберийских рассказов», — время глубочайшего мрака; в истории Англии нет эпохи более печальной и мрачной, чем время с Эдуарда III до Жанны д'Арк. Трепет надежды и славы, охвативший в начале его все классы общества, в конце его перешел в бездействие или отчаяние. Материальная жизнь, правда, развивалась, торговля еще разрослась, но ее успехи отделились от всех благородных начал национального благосостояния. Города стали снова замкнутыми олигархиями; крепостные, стремившиеся к свободе, снова попали в зависимость, еще тяготевшую над землей. Литература снизошла до самого низшего уровня. Религиозное возрождение лоллардов было подавлено в крови, а духовенство превратилось в эгоистичное и корыстолюбивое жречество. В шуме междоусобий политическая свобода почти исчезла, и век, начавшийся «добрым парламентом», кончился деспотизмом Тюдоров.

Объяснение перемены следует искать в роковой войне, которая в течение более ста лет истощала силы и извращала характер английского народа. Мы проследили борьбу с Шотландией до ее неудачного конца, но раньше своего окончания она вовлекла Англию в новую войну, к которой мы должны теперь вернуться и которая оказалась еще более разорительной, чем война, начатая Эдуардом I. Из войны с Шотландией вытекла столетняя борьба с Францией. С самого начала Франция следила за успехами своей

перницы на севере частью с естественной завистью, но еще более в надежде воспользоваться этим, как предлогом для приобретения крупных эцогств на юге, Гиени и Гаскони, — единственного остатка наследства еоноры, еще сохраненного ее потомками. Едва Шотландия начала выкапывать сопротивление притязаниям своего сюзерена Эдуарда I, как Франция нашла предлог к явной ссоре в соперничестве моряков Нормандии и ити Портов, которое в это время привело к большому морскому сражению, стоившему жизни 8000 французов. Эдуарду так хотелось предупредить ссору с Францией, что его угрозы вызвали со стороны английских морков характерный ответ: «Да будет хорошо известно Королевскому согу, — гласило их представление, — что если им каким-нибудь образом дет причинена вопреки справедливости обида или вред, они скорее покит своих жен, детей и все имущество и пойдут искать на морях такого ста, где им можно будет рассчитывать на выгоду». Поэтому, несмотря усилия Эдуарда, спор продолжался, и Филипп воспользовался случаем, обы вызвать короля к себе на суд в Париже для ответа за обиды, причинные ему как сюзерену. Эдуард снова попытался предупредить столкновение, формально передав на сорок дней Гиень в руки Филиппа, но отказ следнего вернуть ее по истечении срока не оставил ему никакого выбора. го же время отказ баронов Шотландии явиться по его призыву в английоое войско и возмущение Баллиоля показали, что захват герцогств быллько первой частью давно задуманного плана атаки. Сначала у Эдуарда хватало сил для нападения на Францию, а когда первое завоевание Шотландии развязало ему руки, его союз с Фландрией для возвращения Гиени терял значение из-за его споров с баронами. Перемирие с Филиппом по-олило ему обратиться против новых смут на севере, но даже после победы при Фалкирке угрозы Франции и вмешательство ее союзника Бонифая VIII еще на шесть лет сохранили независимость Шотландии, и толькоора этих двух союзников позволила Эдуарду закончить ее подчинение. истание Брюса снова было поддержано помощью Франции и возобновлением старого спора из-за Гиени — спора, стеснявшего Англию во все царование Эдуарда II и косвенно вызвавшего его ужасное падение. Вступление Эдуарда III на престол привело ко временному миру, но новое нападение на Шотландию, ознаменовавшее начало его царствования, снова воз-дидо вражду: молодой король Давид нашел себе убежище во Франции, и я поддержки его дела из ее гаваней стали высылать оружие, деньги и идей. Это-то вмешательство Франции и разрушило надежды Эдуарда на дчинение Шотландии в то самое время, когда успех казался уже обеспеченным. Торжественное заявление Филиппа Валуа, что трактаты обязыва-

ют его оказывать деятельную помощь его старому союзнику, и сбор французского флота в Ла-Манше отвлекли силы Эдуарда с севера на юг, где нельзя уже было переговорами предотвратить столкновение.

С самого начала война захватила и другие государства. Слабость империи и пленение пап в Авиньоне оставили Францию среди держав Европы без соперников. По численности и богатству население Франции далеко превосходило своих соседей за Ла-Маншем. Англия едва могла насчитать четыре миллиона жителей, Франция хвалилась двенадцатью. Эдуард мог вывести в поле только восемь тысяч рыцарей; Филипп мог явиться во главе сорока тысяч, хотя третья часть его войска была занята в другом месте. Вся энергия Эдуарда была направлена на создание против Франции коалиции держав; его планам помогал страх, какой ближайшим князьям Германии внушали завоевательные стремления Франции, а также ссора императора с папой. Предвосхищая позднейшую политику Годольфина и Питта, Эдуард стал казначеем бедных князей Германии; его субсидии доставили ему помощь Геннегау, Гельдерна и Юлиха; шестьдесят тысяч крон достались герцогу Брабантскому; самого императора обещание трех тысяч золотых флоринов побудило выставить две тысячи рыцарей. Однако переговоры и щедрые подачки принесли Эдуарду мало пользы, кроме титула наместника империи на левом берегу Рейна: то отступал император, то отказывались идти союзники, а когда войско перешло наконец границу, оказалось невозможным вызвать на сражение короля Франции. Когда расчеты на союз империей не оправдались, у короля явилась новая надежда с другой стороны. Его естественной союзницей была Фландрия. Англия была на Западе главным производителем шерсти, но шерстяных тканей в ней вырабатывалось немного. Число цехов ткачей показывает, правда, что этот промысел постепенно расширялся, и в самом начале своего царствования Эдуард принял меры для его поддержания. Он пригласил фламандских ткачей поселиться в Англии и принял под свое покровительство новых поселенцев, которые выбрали своим местопребыванием восточные графства. Но английские мануфактуры еще переживали детство, и девять десятых английской шерсти шло для станков Брюгге и Гента. Быстрый рост этого экспорта виден из того, что король от пошлин с одной шерсти получал в год более 30 000 фунтов. Прекращение ее экспорта лишило бы работы половину населения главных городов Фландрии; но не только интересы промышленности привлекали ее к союзу с Англией, но и демократический дух городов, резко сталкивавшихся с феодалами Франции. С герцогом Брабанта и городами Фландрии был заключен договор и были произведены приготовления для нового похода. Для предупреждения переправы через Ла-Манш Фи-

липп VI собрал при Слейсе флот из 200 кораблей, но Эдуард с далеко меньшими силами разбил его наголову и пошел осаждать Турне. Осада, однако, оказалась безуспешной, обширная армия рассеялась, а недостаток средств принудил его заключить перемирие на год. В 1341 г. начался спор за наследование герцогства Бретани; из двух соперничавших претендентов одного поддерживал Филипп, другого Эдуард*, и спор тянулся из года в год. Во Фландрии дела англичан шли плохо и, смерть великого патриота Ван Артевельде оказалась тяжелым ударом для планов Эдуарда. Наконец затруднения короля достигли высшей степени. Займы у крупных банкиров Флоренции дошли до половины миллиона на наши деньги; мирные предложения были с пренебрежением отвергнуты; притязания Эдуарда на французскую корону встретили себе поддержку только среди граждан Гента. Правда, оправдать эти притязания было довольно трудно. Три сына Филиппа Красивого умерли, не оставив сыновей, и Эдуард заявил свои притязания в качестве сына дочери Филиппа Изабеллы. Но хотя ее братья и не оставили сыновей, но они оставили дочерей, и если было допустимо наследование по женской линии, то эти дочери сыновей Филиппа Красивого должны были иметь преимущество перед сыном его дочери. На это возражение Изабелла отвечала утверждением, что хотя женщины и могут передавать права наследования, но сами пользоваться ими они не могут, и что ее сын как ближайший мужской потомок Филиппа, родившийся при его жизни, должен наследовать преимущественно перед женщинами, состоявшими в таком же близком родстве с Филиппом. Но большинство французских юристов утверждало, что право на престол дается только происхождением по мужской линии. По этой теории проистекавшее от Филиппа право наследования было исчерпано, и корона перешла к сыну его брата Шарля де Валуа, который, действительно, мирно вступил на престол под именем Филиппа VI. По-видимому, обе стороны считали притязания Эдуарда за чистую формальность; действительно, король Англии в качестве герцога Гиеньского присягнул своему сопернику и выдвинул серьезно свои притязания не раньше, чем рассеялись его надежды на Германию и ему оказалось нужным обеспечить себе помощь городов Фландрии.

Крушение надежд на иноземные державы обратило Эдуарда к средствам самой Англии. С армией в 30 000 человек он высадился в Ла-Ог и начал поход, которому суждено было изменить весь ход войны. Силы фран-

* После смерти в 1341 г. герцога Жана III, не оставившего потомства, на Бретань претендовали дочь его умершего в 1331 г. брата, графа Ги де Пантьевра, Жанна, бывшая замужем за Шарлем Шатийоном, графом де Блуа, и брат Жана III, граф Жан де Монфор. Филипп VI поддержал графа де Блуа, сына своей сестры, тогда Монфор перешел на сторону Эдуарда III.

цузов были заняты отражением английской армии, высадившейся в Гиени; страх охватил Филиппа, когда Эдуард двинулся по Нормандии и, найдя мосты на Нижней Сене сломанными, направился прямо к Парижу, поправил мост в Пуасси и стал угрожать столице. В эту критическую минуту неожиданную помощь оказал Франции отряд немецких рыцарей. Папа низложил императора Людвига Баварского и объявил его преемником сына короля Иоганна Богемского, известного Карла IV. Вся Германия восстала против такого присвоения себе папой права распоряжаться ее короной. Карл был вынужден искать помощи у Филиппа и в данное время находился во Франции со своим отцом и отрядом в пятьсот рыцарей. Отряд этот поспешил к Парижу и составил ядро армии, собравшейся в Сен-Дени; она скоро была подкреплена 15 000 генуэзских арбалетчиков, нанятых на заливной солнцем Ривьере среди солдат князя Монакского и подоспевших в эту критическую минуту. Французские войска также были вызваны на выручку из Гиени. Увидев перед собой такие силы, Эдуард отказался от похода на Париж и перешел через Сену, чтобы соединиться с войсками фламандцев, собранными при Гравелингене, и открыть военные действия на севере. Но реки на его пути заботливо охранялись, и только нечаянный захват брода на Сене избавил Эдуарда от необходимости сдаться огромному войску, спешившему теперь за ним по пятам. Но едва его сообщения были обеспечены, как он остановился у деревни Креси, в Понтё, и решился дать сражение. Половина его армии, теперь сильно ослабленной быстрым походом, состояла из легко вооруженной ирландской и уэльской; остальная масса была составлена из английских лучников. Король приказал своим рыцарям спешиться и расположил свои силы на небольшом возвышении, постепенно спускавшемся к юго-востоку; на вершине его стояла ветряная мельница, с которой можно было наблюдать все поле сражения. Непосредственно под ней стоял резерв, а у подножия холма была расположена главная часть армии двумя отрядами, из которых правым командовал молодой принц Уэльский, Черный принц, как его прозвали позднее, а левым — граф Нортгемптон. Английский фронт был прикрыт небольшим рвом, за ним были расставлены «в виде бороны» стрелки с небольшими бомбардами в промежутках, «пускавшими вместе с огнем небольшие железные шары для того, чтобы пугать лошадей», — первый случай использования артиллерии в полевом сражении. Остановка английской армии захватила Филиппа врасплох, и сначала он пытался остановить наступление своего войска, но беспорядочная масса продолжала наступать на фронт англичан. Вид врагов, наконец, раздражал короля до бешенства, «так как он ненавидел их», и под вечер 26 августа 1346 г. началась битва. Генуэзским арбалетчи-

кам было приказано начать атаку, но люди были утомлены переходом; внезапная гроза вымочила их тетивы и затруднила пользование ими, а громкие крики, с которыми они кинулись вперед, были встречены угрюмым молчанием в английских рядах. Первая туча их стрел вызвала грозный ответ. Англичане стреляли так быстро, «что казалось, будто идет снег». «Бейте этих бездельников», — закричал Филипп, когда генуэзцы подались назад, и его конница кинулась рубить их расстроенные ряды, а графы Алансон и Фландрский во главе французских рыцарей бешено напали на отряд Черного принца. На минуту показалось, что он погибнет, но Эдуард отказался послать ему помощь. «Он что, убит или сброшен с коня, или так ранен, что не может сражаться?» — спросил он посланного. «Нет, государь, — был ответ, — но он находится в очень трудном положении и очень нуждается в вашей помощи». — «Вернитесь к тем, кто вас послал, сэр Томас, — сказал король, — и велите им не присылать больше ко мне, пока мой сын жив! Дайте мальчику приобрести себе шпоры; если Богу так угодно, я хочу, чтобы этот день принадлежал ему и чтобы честь его досталась принцу и тем, попечению которых я его вверил». В действительности, Эдуард мог видеть со своего холма, что все идет хорошо. Английские лучники и рыцари упорно удерживали свою позицию, а уэльсцы поражали в схватке лошадей французов и сбрасывали на землю одного рыцаря за другим. Скоро французское войско пришло в страшное замешательство. «Вы, мои вассалы, мои друзья, — закричал слепой Иоганн, король Богемский, присоединившийся к армии Филиппа, окружавшим его немецким вельможам, — я прошу и умоляю вас провести меня подальше в сражение, чтобы мне можно было нанести моим мечом славный удар!» Связав поводья своих коней, небольшая группа кинулась в гущу сечи и пала, как пали их товарищи. Сражение продолжалось к невыгоде французов; наконец сам Филипп покинул поле битвы, и поражение перешло в бегство; 1200 рыцарей и 30 000 пехотинцев — число, равное всей английской армии, — остались мертвыми на поле битвы.

«Бог наказал нас за наши грехи», — восклицает летописец Сен-Дени со скорбью и изумлением, рассказывая о бегстве огромного войска, сбор которого он видел под стенами своего монастыря. Но неудача французов едва ли была так непонятна и внезапна, как падение от одного удара целой военной системы и основанного на ней общественного и политического строя. Феодализм зависел от превосходства конного дворянина над пешим мужиком; его боевая сила заключалась в рыцарстве. Но английские крестьяне и мелкие землевладельцы, являвшиеся во всенародное ополчение с луками, превратили их в грозное оружие войны; в лице английских стрелков Эдуард вывел на поля Франции новый разряд воинов. Мужик победил дво-

рянина; крестьянин оказался сильнее рыцаря на поле битвы, и со времени поражения при Креси феодализм медленно, но неизбежно стал клониться к упадку. Для Англии эта победа была началом периода военной славы, который, правда, оказался, роковым для высших чувств и интересов народа, но придал ей на время такую энергию, какой она никогда не знала ранее. Победа следовала за победой. Через несколько месяцев после Креси была разбита шотландская армия, напавшая на север, а король Давид Брюс был взят в плен; в то же время удаление французов с Гаронны позволило англичанам вернуть Пуату. Между тем Эдуард решил нанести удар морскому могуществу Франции, обеспечив себе господство над Ла-Маншем. Главной морской базой французов служил Кале: в один только год из его гавани вышло двадцать два капера; при том же, взятие его обещало королю удобный опорный пункт для сношений с Фландрией и для действий против Франции. Осада продолжалась целый год, и только, когда не удалась попытка Филиппа выручить город, голод принудил его к сдаче. Гарнизону и жителям была обещана пощада на том условии, если шестеро граждан отдадутся беспрекословно в руки короля: «С ними, — сказал Эдуард в припадке жестокого гнева, — я поступлю по своему желанию». На звук городского колокола, рассказывает летописец, жители Кале собрались вокруг рыцаря, принесшего эти условия, собрались, желая услышать добрые вести, так как все они были истомлены голодом. Когда названный рыцарь передал им условие, они начали так громко плакать и кричать, что их стало очень жалко. Тогда встал богатейший из граждан города — и господин Эсташ Сен-Пьер так сказал перед всеми: «Господа, великим горем и несчастьем было бы для всех оставлять столько народа на гибель от голода или иным образом, и великую милость и благодать получит от Бога тот, кто спасет его от смерти. Что до меня, я сильно надеюсь на Господа, что если я своей смертью спасу этот народ, мне будут прощены мои грехи; поэтому я хочу быть первым из шести и по своему собственному желанию босым, в одной рубашке и с веревкой на шее отдамся на милость короля Эдуарда». Список обреченных людей скоро был составлен, и шесть жертв были приведены к королю. Собралось все войско, произошла большая давка; многие требовали немедленного их повешения, а многие плакали от жалости. Благородный король вышел на площадь со свитой из графов и баронов, за ним последовала королева, хоть она и была в это время беременна, посмотреть, что там будет. Шесть граждан тотчас стали на колени перед королем, и Эсташ сказал: «Благородный король, здесь мы шестеро бывших старых граждан Кале и крупных купцов; мы приносим вам ключи города и замка и передаем их вам в ваше распоряжение. Мы предаем себя, как вы видите,

вашу полную волю с целью спасти остальной народ, перенесший много горя. И так сжальтесь и будьте милосердны к нам ради вашего высокого благородства». Наверное, не было тогда на площади ни вельможи, ни рыцаря, который не плакал бы от жалости или который мог бы от сострадания говорить; но сердце короля так было ожесточено гневом, что долгое время он не мог отвечать, а затем приказал отрубить им головы. Все рыцари и вельможи, как только могли, умоляли его со слезами сжалиться над ними, но он не хотел их слушать. Тогда заговорил благородный рыцарь Уолтер де Мэнни: «О, благородный государь! Обуздайте ваш гнев; вы пользуетесь славой и известностью за ваше благородство, так не делайте того, что позволит людям дурно отзываться о вас. Если вы не сжалитесь, все будут говорить, что сердце ваше исполнено такой жестокости, что вы предали смерти этих добрых граждан, которые по своей воле пришли сдать вам для спасения остального народа». В эту минуту король от гнева вышел из себя и сказал: «Помолчите, сэр Уолтер, иначе не будет. Позвать палача! Жители Кале погубили у меня столько людей, что сами должны умереть». Тут благородная королева Англии снизошла до высокого смирения, если иметь в виду, что она была беременна, и от жалости заплакала так горько, что не могла дольше стоять на ногах; поэтому она пала на колени перед своим супругом королем и сказала ему такие слова: «О, благородный государь, с того дня, как я с большой опасностью переправилась через море, я, как вам известно, не просила у вас ничего; теперь я вас прошу и умоляю, простирая руки, сжалиться над ними из любви к сыну нашей Владычицы». Благородный король, прежде чем ответить, некоторое время молчал и смотрел на преклонившуюся перед ним и горько плакавшую королеву. Потом понемногу его сердце стало смягчаться, и он сказал: «Государыня, хотел бы я, чтобы вы были в другом месте; вы просите так нежно, что я не решаюсь вам отказать, и хотя я поступаю тут против своего желания, однако возьмите их, я отдаю их вам. Затем он взял за веревки шесть граждан, передал их королеве и из любви к ней избавил от смерти всех жителей Кале; а добрая государыня велела одеть спасенных и щедро их угостить».

Эдуард стоял теперь на высшей степени славы. Он одержал величайшую победу своего века. До сих пор Франция была первой державой Европы; теперь одним ударом она была сломлена и свергнута с высоты своего величия. Описание Фруассара изображает нам Эдуарда, отправляющегося навстречу кастильскому флоту, завладевшему проливами. Мы видим короля сидящим на палубе в камзоле из черного бархата; на голове у него шапка из черного бобра, «которая прекрасно ему шла»; он призы-

вает сэра Джона Чандоса* пять песни, привезенные им с собой из Германии, пока на горизонте не показываются кастильские корабли и не начинается жестокий бой, победа в котором делает Эдуарда «владыкой морей». Но до мира с Францией было так же далеко, как и прежде. Даже семилетнее перемирие, навязанное обеим странам их полным истощением, под конец оказалось невозможным. Эдуард приготовил три армии, чтобы действовать одновременно в Нормандии, Бретани и Гиени, но задуманный план похода расстроился. Черный принц, как был назван герой Креси, один имел позорный успех. Не имея денег для уплаты жалования своим войскам, он для удовлетворения их требований предпринял чисто разбойничий поход. Северная и Южная Франция были в это время совсем разорены; королевская казна истощена, крепости остались без гарнизонов, войска распущены по недостатку средств, страну опустошали банды наемников. Только юг наслаждался миром, и молодой принц повел свою армию вверх по Гаронне, «где была одна из богатейших стран мира, народ добрый и простой, не знавший, что такое война, да до прихода принца у них и совсем не было войн. Англичане и гасконцы нашли страну богатой и нарядной, комнаты, украшенные коврами и занавесями, шкапулки и сундуки полные драгоценных камней. Ничто не ускользнуло от этих разбойников. Они, и особенно жадные гасконцы, увозили с собой все». Взятие Нарбонна обогатило их добычей, и они вернулись в Бордо «с лошадьми настолько нагруженными, что они с трудом могли двигаться». В следующем году поход армии принца на Луару был направлен прямо на Париж, и французское войско под командой Иоанна, наследовавшего Филиппу Валуа на престоле, поспешило остановить его движение. Принц отдал приказ отступать, но когда приблизился к Пуатье, то нашел на своем пути французов, насчитывавших в своей армии 60 000 человек. Тогда, 19 сентября 1356 г., он занял сильную позицию на полях Мопертуж; фронт ее был прикрыт частой изгородью, и приблизиться к нему можно было только по длинной узкой тропинке, проходившей между виноградниками. Виноградники и изгородь принц занял своими стрелками, а небольшой отряд конницы он расположил в том месте, где тропинка выходила на высокую равнину, занятую его лагерем. Его войско состояло всего из 8000 человек, и опасность была так велика, что он должен был предложить вернуть пленных, сдать занятые им крепости и отказаться на сем

* Джон Чандос (ум. 1370) — один из крупнейших полководцев Эдуарда III, участник французских походов, войны за бретонское наследство, войн за кастильскую корону, в одном из боев взял в плен прославленного французского военачальника Бертрана де Геклена. Занимал должности коннетабля Аквитании, сенешаля Пуату. Кавалер ордена Подвязки.

лет от войны с Францией в обмен на свободное отступление. Эти условия были отвергнуты, и триста французских рыцарей бросились вверх по тропинке. Скоро она была завалена людьми и лошадьми, а передние ряды наступавшей армии подались назад под градом стрел из кустарников. В минуту замешательства во фланг французам внезапно ударил отряд английской конницы, поставленный на холме справа, и принц воспользовался этим случаем, чтобы смело кинуться на их фронт. Английские стрелки довершили беспорядок, вызванный этим внезапным нападением; король Иоанн был взят в плен после отчаянного сопротивления, и в полдень его армия кинулась бежать к воротам Пуатье. Из числа ее 8000 человек пали на поле битвы, 3000 во время бегства и 2000 рыцарей вместе с массой дворян взяты были в плен. Царственный пленник был торжественно доставлен в Лондон, а перемирие на два года, казалось, дало Франции время для поправки. Но несчастная страна не могла найти себе покоя. Разбитые войска превратились в шайки разбойников, взятые в плен бароны добывали суммы, необходимые для выкупа, вымогая их у крестьян; эти притеснения и голод довели крестьян до бурного восстания, они стали убивать помещиков и жечь их замки; в то же время Париж, недовольный слабостью и неумелым управлением регентства, поднял против короны вооруженное восстание. Жакерия, как называли крестьянское восстание, была жестоко подавлена, когда Эдуард снова предпринял опустошительное нашествие в опустошенную и без того страну. Лучшей защитой для нее оказался, однако, голод: «Я не мог бы поверить, — сказал об этом времени Петрарка, — что это та самая Франция, которую я видел столь богатой и цветущей. Глазам моим представлялась только страшная пустыня, крайняя нищета, земля без обработки, дома в развалинах. Даже по соседству с Парижем всюду заметны следы опустошения и пожаров. Улицы пустынные, дороги поросли травой, все представляет собой огромную пустыню». Опустошение страны заставило, наконец, регента Карла уступить, и в мае 1360 г. был заключен договор в Бретиньи, небольшом местечке к востоку от Шартра. По этому договору Эдуард отказывался от своих притязаний на корону Франции и на герцогство Нормандию. С другой стороны, его герцогство Аквитания — включавшее Гасконь, Пуату, Сентонж, Лимузен, Ангума, Перигор и графства Бигорр и Руэрг — не только возвращалось ему, но освобождалось от ленных обязательств по отношению к Франции и отдавалось Эдуарду в полное владение вместе с Понтьё, унаследованным от второй жены Эдуарда I, а также с Гином и вновь завоеванным Кале.

Глава II

«Добрый парламент» (1360—1377)

Если от потрясающих, но бесплодных событий иноземной войны мы обратимся к более плодотворному поприщу конституционного развития, то нас сразу поражает заметная перемена в составе парламента. Столь обычное для нас разделение его на палату общин и палату лордов не входило в состав первоначального плана Эдуарда I; в ранних парламентах каждое из четырех сословий — духовные лица, бароны, рыцари и горожане сходилось, совещалось и разрешало субсидии отдельно одно от других. Скоро, однако, показали признаки упадка такого разъединения сословий. Правда, духовенство, как мы видели, упорно держалось в стороне; зато рыцари стали в тесную связь с лордами, благодаря сходству в их общественном положении. По-видимому, бароны, в самом деле, скоро поставили их в почти равное с собой положение в качестве законодателей или советников короны. С другой стороны, горожане принимали сначала мало участия в действиях парламента, кроме тех, которые относились к обложению их класса. Но смуты царствования Эдуарда II, в которых их помощь была нужна знати, борющейся с короной, усилили их значение и их право на полное участие во всех законодательных актах было подтверждено знаменитым статутом 1322 г. По причинам нам не вполне известным, рыцари графств постепенно перешли от прежней своей связи с баронами к такому тесному и полному союзу с представителями городов, что в начале царствования Эдуарда III два сословия оказываются формально объединенными в общины, а в 1341 г. распадение парламента на две палаты завершается окончательно. Трудно преувеличить значение этой перемены. Если бы парламент остался разделенным на четыре сословия, его влияние в каждом крупном кризисе ослаблялось бы соперничеством и недружными действиями его составных частей. С другой стороны, постоянный союз рыцарства и знати превратил бы парламент в простое представительство аристократии и лишил бы его той силы, какую он почерпнул из своей связи с массой торгово-промышленных классов. Новое положение рыцарства, его социальная близость к знати, его политический союз с горожанами, в действительности, соединило три сословия в одно целое и придало парламенту то единство чувства и действия, на котором с тех пор всегда основывалось, главным образом, его значение. С момента этой перемены мы видим заметное усиление деятельности парламента. Постоянная нужда в субсидиях в течение войны заставляла созывать его ежегодно, а с каждой субсидией он дела

новый шаг к приобретению большего политического влияния. Ряд постановлений, разумно или неразумно регулировавших торговлю и охранявших подданных от притеснений и обид, а также важные церковные меры этого царствования указывают на быстрое расширение сферы действия парламента. Палаты присвоили себе исключительное право разрешать субсидии и утвердили начало ответственности министров перед парламентом. Но от вмешательства в чисто административные дела общины долго уклонялись. Желая свалить со своих плеч ответственность за войну с Францией, Эдуард обратился к ним за советом по поводу одного из многих предложений мира. Они отвечали: «Что до вашей войны, августейший государь, и до необходимого для нее снаряжения, то мы так несведущи и просты, что не знаем, как тут быть, да и не имеем права советовать; поэтому мы просим вашу светлость извинить нас в этом деле и благоволить, по совету знатных и мудрых членов вашего совета, установить то, что кажется вам наилучшим для чести и блага вашего и королевства, и что бы ни было установлено, таким образом, с согласия и одобрения вашего и ваших лордов, мы охотно эти примем и будем считать за окончательное решение». Но уклоняясь от такого крупного расширения своей ответственности, общины добились от короны практической реформы величайшей важности. До того их ходатайства, в случае их принятия, часто подвергались изменениям или сокращениям в излагавших их статутах, или установлениях, или откладывались до окончания сессии; таким образом, удавалось обходить или устранять многие постановления парламента. Ввиду этого общины настояли на том, чтобы по изъявлении королем согласия, их ходатайства без изменения обращались в статуты королевства и получали силу закона через внесение их в протоколы парламента.

Политическая ответственность, которой избегали общины, была, наконец, навязана им военными неудачами. Несмотря на столкновения в Бретани и других местах, мир честно соблюдался в течение девяти лет, следовавших за договором в Бретињи, но зоркий глаз Карла V, преемника Иоанна, высматривал случай возобновить борьбу. Он очистил свое королевство от банд наемников, отправив их в Испанию*, а Черный принц вмешался в тамошние перевороты только для того, чтобы после бесплодной победы при Наварете вернуться назад с подорванным здоровьем и расстроеными

* Направляя многочисленные отряды наемников в Кастилию, где шла война за престол между Педро I Жестокий и его побочным братом Энрике де Трастамаром, Карл V, король Франции, преследовал двоякую цель: избавить страну от банд наемников и посадить на престол Кастилии своего ставленника, на союз с которым можно было бы опереться в борьбе с Англией.

средствами. Это обусловило усиленное обложение, вызвавшее неудовольствие, которое Карл раздул в восстание. Вопреки договору, он принял апелляцию баронов Аквитании и вызвал Черного принца к себе на суд: «Я являюсь, — отвечал тот, — но со шлемом на голове и с 60 000 человек за спиной». Однако едва была объявлена война, как обнаружился искусно составленный план Карла: он захватил Понтьё — и вся страна к югу от Гаронны восстала. Принесенный на носилках к стенам Лиможа, Черный принц покорил город, передавшийся французам, и запятнал славу своих прежних подвигов беспощадной резней. Но болезнь заставила его вернуться домой. А война затянулась благодаря осторожности Карла, запретившего своим войскам вступать в сражение, и только истощала энергию и средства англичан. Под конец, однако, обнаружилась ошибочность политики принца: кастильский флот явился в Ла-Манше и одержал решительную победу над английским на широте Ла-Рошели. Удар для Англии оказался роковым: он лишил Эдуарда господства над морями и прервал его сообщения с Аквитанией. Карл сделал новые усилия. Пуату, Сентонж и Ангума покорились его полководцу дю Геклену, Ла-Рошель сдали ее граждане. Большая армия под командованием четвертого сына Эдуарда — Джона Гонта, герцога Ланкастера, проникла без успеха в глубь Франции. Карл запретил вступать в сражение: «Если над страной разражается буря, — сказал он хладнокровно, — она рассеивается сама собой; так будет и с англичанами». Действительно, зима застала герцога в горах Оверни, и только жалкие остатки его армии достигли Бордо. Эта неудача послужила сигналом для общего восстания, и, прежде чем закончилось лето 1374 г., за англичанами из всех их владений в Южной Франции остались всего два города — Бордо и Байонна.

Это было время никогда еще невиданных Англией позора и бедствия. Ее завоевания были утрачены, ее берега опустошены, ее флоты истреблены, ее морская торговля подорвана; внутри страна была истощена долгой и разорительной войной, а также опустошениями чумы. В годину бедствий взоры угнетенной знати и рыцарства с завистью обращались на богатства церкви. Никогда ее духовное или нравственное влияние на нацию не было слабее, никогда ее богатство не было крупнее. При населении в какие-нибудь три миллиона духовных лиц насчитывалось от 20 до 30 тысяч. Об их богатстве ходили невероятные рассказы. Говорили, что одни земельные владения их занимают больше трети страны, а их доходы взносами и приношениями превосходят в два раза доход короля. Еще более раздражало феодальную знать, гордость которой была усилена победами при Креси и Пуатье, присутствие в совете многих прелатов. При возобновлении войны (в 1371) парламент требовал, чтобы высшие государственные должности

были предоставлены мирянам. Уильям Уайкгем, епископ Уинчестера, отказался от канцлерства, другой прелат — от казначейства в пользу светских приверженцев знати, и паника духовенства выразилась в разрешении конвокацией крупных субсидий. Знать нашла себе вожда в Джоне Гонте; но даже надежда на ограбление церкви не могло обеспечить герцогу и его партии расположения мелкого дворянства и горожан. Между тем беспорядки и крайняя неумелость нового управления вместе с военными неудачами поставили его в беспомощное положение перед парламентом 1376 г. Деятельность этого «добротного парламента» указывает на новую особенность национальной оппозиции против злоупотреблений короны. До сих пор задача сопротивления падала на баронов и разрешалась восстаниями феодалных владельцев; но теперь беспорядочное управление было делом большинства знати, действовавшей в союзе с короной. Только общины имели возможность мирно провести преобразование. Препрежнее отвращение нижней палаты к вмешательству в государственные дела сразу исчезло под давлением обстоятельств. Черный принц, смертельно больной и желавший через устранение Джона Гонта обеспечить наследование своего сына, прелаты с Уильямом Уайкгемом во главе, стремившиеся снова занять свои места в Королевском совете и остановить планы ограбления церкви, одинаково видели в палате орудие против администрации герцога. Опираясь на таких союзников, общины в своих действиях совсем не выказали препрежней робости и неуверенности. Рыцари графств вместе с горожанами напали на Королевский совет. «Полагаясь на Бога и явившись с товарищами перед вельможами, главой которых был Джон, герцог Ланкастер, действовавший всегда неправильно», спикер общин сэръ Питер де ла Мар указал на неумелое ведение войны, тяжесть обложения и потребовал отчета в расходах: «Чего добиваются эти низкие и подлые депутаты? — воскликнул Джон Гонт. — Уж не считают ли они себя королями и принцами этой страны?». Но обвинения, предъявленные правительству, заставили замолчать даже герцога, и парламент приступил к обвинению и осуждению двух министров — Латимера и Лайонса. Сам король впал в детство и был полностью под властью своей фаворитки Алисы Перрерс; ее изгнали и удалили от двора нескольких слуг короля. Жалобы королевства были изложены в 140 ходатайствах. Общины требовали ежегодного созыва парламента, свободы выборов для рыцарей графств, на избрание которых тогда часто указывала корона; они протестовали против самовольного обложения и стеснения папой вольностей церкви; они просили о покровительстве торговли, о соблюдении «рабочих законов» и об ограничении прав привилегированных ремесел. После смерти Черного принца его малолетний сын Ричард был принесен в парла-

мент и признан наследником. Но едва палаты были распущены, как Ланкастер вернул себе власть. Его спесивая воля отбросила все ограничения закона. Он устранил из совета новых лордов и прелатов. Он вернул Алису Перрерс и опальных министров. Он объявил «добрый парламент» незаконным и не допустил внесения его ходатайств в свод статутів. Он заключил в тюрьму Питера де ла Мара и конфисковал имущество Уильяма Уайкгема. Нападение на этого прелата было нападением на все духовенство. Открыто обсуждались новые проекты секуляризации, и в числе их сторонников мы находим Джона Уиклифа.

Глава III

Джон Уиклиф

Чрезвычайно замечателен контраст между безвестностью ранней жизни Уиклифа и полнотой и яркостью наших сведений о двадцати годах, предшествовавших его смерти. Он родился в начале XIII в. и уже пережил годы зрелости, когда был назначен главой коллегии Баллиоля в Оксфордском университете и признан первым из современных ученых. Из всех представителей схоластики англичане были всегда самыми пылкими и смелыми в области философского мышления: неудержимая смелость и любовь к новизне были общим отличием Бэкона, Дунса Скотта и Оккама в противоположность трезвой и более дисциплинированной учености парижских схоластиков — Альберта Великого и Фомы Аквинского. Но упадок парижского университета в эпоху Столетней войны перенес его духовное верховенство в Оксфорд, а в Оксфорде Уиклиф не имел соперников. Он продолжал дело своего предшественника Бредуордайна, как преподавателя схоластики, в спекулятивных трактатах, изданных в этот период, и унаследовал от него склонность к учению Августина о предопределении, послужившему основой для его позднейших богословских теорий. Влияние Оккама сказалось на первых попытках Уиклифа преобразовать церковь. Не смущаясь громами и отлучениями пап, Оккам в своем увлечении империей не отступил перед нападениями на основы папского верховенства и перед защитой прав светской власти. Худая, изможденная фигура Уиклифа, изнуренного занятиями и аскетизмом, едва ли обещала реформатора, который будет продолжать бурную работу Оккама; но в этой хрупкой оболочке таились живой неугомонный характер, огромная энергия, непоколебимое убеждение, неукротимая гордость. Личное обаяние, всегда сопровождающее действительное величие, только усиливало то влияние, которое про-

истекало из безупречной чистоты его жизни. Сначала, однако, едва ли даже сам Уиклиф подозревал огромные размеры своей умственной мощи. Только начавшаяся борьба открыла в сухом, хитроумном схоластике основателя позднейшей английской прозы, мастера народного памфлета, иронии, убеждения, ловкого политика, смелого приверженца, организатора духовного строя, беспощадного противника злоупотреблений, смелого и неутомимого спорщика, первого реформатора, который, хотя все его покинули, отважился отрицать верования окружавшего его общества, порвать с преданиями старины и до последнего издыхания защищать свободу религиозной мысли против догматов папства.

Нападения Уиклифа начались именно в то время, когда средневековая церковь дошла до низшей степени духовного падения. Переселение пап в Авиньон отняло у них половину того благоговения, какое питали к ним англичане, так как папы не только стали креатурами французского короля, но их жадность и вымогательства вызвали почти всеобщее возмущение. Требование первых доходов и аннатов с прихода и епархии, присвоение права располагать всеми зависящими от церкви бенефициями, прямое обложение духовенства, занятие английских вакансий иностранцами, открытая торговля отпущениями, разрешениями и индульгенциями, поощрение апелляций к суду папы — все это вызвало в народе сильное раздражение, не утихавшее никогда до реформации. Народ глумился над «французским папой», а когда являлись его легаты, грозил побить их камнями. Насмешливый Чосер осмеивал сумку с «горячими отпущениями из Рима». Статутом *Præmunire* парламент защищал право государства воспрепятствовать рассмотрению приговоров королевских судов или ведению тяжб в иноземных судах, в статуте *Provisores* отрицал притязание пап распоряжаться церковными местами. Но на практике эти меры потерпели неудачу из-за предательской дипломатии короны. Правда, папа отказался от своего мнимого права назначать иностранцев; но благодаря соглашению, позволявшему папе и королю вместе господствовать над церковью, зависевшие от нее епархии, аббатства и приходы продолжали замещаться папскими кандидатами, предварительно выбранными короной, так что от соглашения выигрывала казна и папы, и короля. Протест «доброго парламента» доказывает неудачу попыток его предшественников. Он утверждал, что пошлины, взимаемые папой, в пять раз превосходят сборы, получаемые королем, и что, обещая место при жизни их заместителей, папа располагает одним епископом четыре-пять раз и каждый раз получает первые доходы. «Маклеры греховного города Рима за деньги выдвигают неученых и низких негодяев на места, дающие тысячу марок, а бедный и ученый человек с трудом получает

место в двадцать фунтов. От этого падает настоящая ученость. Назначаются иностранцы, которые не видят своих прихожан и не заботятся о них, презирают службу Божию, вывозят сокровища из королевства и поступают хуже жидов или сарацин. Доходы папы от одной Англии превышают доходы любого христианского государя. Дай Бог, чтобы его овец пасли, а не стригли и не обдирали». Эти жалобы не были шутками. В это самое время деканства Личвильда, Солсбери и Йорка и архидьяконство в Кентербери, считавшееся доходнейшим местом в Англии с массой других мест, были заняты итальянскими кардиналами и священниками; в то же время сборщик папы посылал ежегодно из своей конторы в Лондоне двадцать тысяч марок в папскую казну.

Такие вымогательства и притеснения оттолкнули от папства английское духовенство, а его собственный эгоизм оттолкнул от него массу народа. Как ни громадно было его богатство, духовенство старалось как можно дольше уклоняться от участия в общих тягостях страны. Оно все еще стремилось поддерживать свою независимость от общих судов королевства, а мягкие наказания церковных судов мало пугали массу буйных церковников. Свободное от великого вмешательства мирской власти в свои дела, духовенство проникало в самую глубь общественной жизни своим контролем над завещаниями, контрактами, разводами, взимаемыми им пошлинами, а также прямыми религиозными услугами. Не было человека более знакомого или ненавистного народу, как пристав, исполнявший решения церковных судов и взимавший в их пользу пошлины. С другой стороны, нравственное влияние духовенства быстро исчезало. Богатейшие церковники, с их завитыми волосами и висячими рукавами, подражали костюму рыцарского общества, к которому они, в сущности, принадлежали. Мы уже видели, какое впечатление светскости оставляет описание Чосера монаха-охотника и изящной аббатисы с любовным девизом на брошке. На нравственность высших классов они не оказывали никакого влияния. Король по всему Лондону выставлял напоказ свою любовницу как королеву красоты; вельможи разглашали свой позор при дворе и на турнире. «В это время, — говорит современный летописец, — в народе поднялись большой говор и шум, что где бы ни происходил турнир, туда стекалось много дам самых пышных и красивых, но не самых лучших в королевстве, иногда в числе сорока или пятидесяти, как будто они принимали участие в турнире; они являлись в различных и странных мужских нарядах, в разноцветных туниках, с короткими шляпами и лентами, обернутыми вокруг головы наподобие веревок, с поясами, украшенными золотом и серебром, и с кинжалами в сумках поперек тела; затем на отборных скакунах они отправля-

лись на место турнира и так тратили и расточали свое имение и терзали свое тело непристойным беспутством, что всюду слышался говор народа, но они не боялись Бога и не стыдились скромного голоса народа». Их не приглашали устыдиться укоряющего голоса церкви. В самом деле, духовенство раздирали раздоры. Высшие прелаты были заняты политическими делами; от низшего духовенства их отделяло скандальное неравенство доходов богатых церковников и бедных сельских священников. Жестокая ненависть отделяла белое духовенство от монашества, и борьба между ними горячо велась и в университетах. Оксфордский канцлер Фиц-Ральф приписывал нищенствующим орденам уменьшение числа студентов, и университет особым статутom воспретил им принимать в свою среду детей. Старые монашеские ордена, в сущности, превратились в простых землевладельцев, а энтузиазм нищенствующих орденов в значительной степени исчез, оставив за собой толпу бесстыдных нищих. Вскоре при всеобщем одобрении Уиклиф мог объявить их бездельными нищими и провозгласить, что «человек, подающий милостыню нищенствующему монаху, тем самым отлучает себя от церкви».

Вне рядов духовенства стояла масса серьезных людей, которые, подобно «Петру Пахарю», обличали его суетность и пороки, стояли скептики вроде Чосера, смеявшегося над звоном колокольчиков охотников-аббатов, и грубые, жадные бароны с Джоном Гонтом во главе, стремившиеся отнять у прелатов должности и захватить их богатства. Хотя последняя партия и представляется нам недостойной, но в своем стремлении к реформе церкви Уиклиф вступил в союз именно с Джоном Гонтом. Пока, впрочем, он нападал не на учение Рима, а на его практику; с точки зрения теории Оккама, он защищал негодующий отказ парламента в «подати», которой требовал папа. Но его трактат «О господстве Божьем» показывает, насколько, в сущности, его стремления отличались от эгоистических поползновений, с которыми ему приходилось действовать. В этом знаменитом произведении Уиклиф кладет в основу своей деятельности определенный общественный идеал. Всякая власть, употребляя его собственное выражение, «основана на благодати». Господство в высшем смысле принадлежит одному Богу, который, как сюзерен вселенной, раздает ее части в фьеф правителям различных степеней под условием повиновения Ему. Легко было возразить, что в таком случае «господство» никогда не может существовать, так как смертный грех представляет нарушение указанного условия, а все люди грешат. Но Уиклиф настаивал на том, что его теория — чистый идеал. В действительной жизни он отличает господство и власть; последнюю с дозволения Бога могут иметь и порочные люди, которым хри-

стианин должен подчиняться из повиновения Богу. Но его схоластическому выражению, так странно извращенному впоследствии, здесь на земле «Бог должен повиноваться дьяволу». Но и с идеальной, и с практической точки зрения всякая власть или господство исходит от Бога, который дарует ее не одному лицу, своему наместнику на земле, как утверждали папы, а всем. Король — такой же наместник Бога, как и папа. Королевская власть так же священна, как и церковная, и так же захватывает все светские дела, даже церковные имущества, как власть церкви — духовные дела. Поэтому в вопросе о церкви и государстве различие между идеальным и практическим взглядом на «господство» имеет мало значения. Гораздо более важное и широкое значение представляло приложение теории Уиклифа к делу личной совести. Каждый христианин обязан повиноваться королю или священнику, но сам он, как обладатель «господства», зависит непосредственно от Бога, престол которого служит высшим судом для человека. Своей теорией «господства» Уиклиф стремился достичь того же, чего реформаторы XVI в. добивались с помощью учения об оправдании верой. Устанавливая прямое отношение между человеком и Богом, теория Уиклифа устраняла самую основу посредствующего священства, на котором была построена средневековая церковь; но сначала ее настоящее значение едва ли было оценено. С большим вниманием отнеслось духовенство к теории Уиклифа об отношении церкви и государства, о подчинении церковного имущества короля, к его утверждению, что подобно другой собственности они могут быть отобраны и употреблены для общенародных целей, к выраженному им желанию, чтобы церковь добровольно отказалась от своего богатства и вернулась к первобытной бедности. Духовенство было сильно возмущено тем, что он выступил богословским защитником партии Ланкастера, в то время как оно было задето нападками баронов на Уайкгема, и оно решило ответить ударом на удар, привлекая к суду Уиклифа. В 1377 г. он был вызван к Лондонскому епископу Куртенэ для ответа по обвинению в еретических утверждениях касательно имущества церкви. Герцог Ланкастер принял это за вызов самому себе и явился вместе с Уиклифом на суд консистории в собор Св. Павла, но разбирательство не состоялось. Бароны и епископ обменялись резкими выражениями; сам герцог, говорят, погрозил вытащить Куртенэ из церкви за волосы; наконец на выручку епископа в храм ворвалась лондонская чернь, ненавидевшая герцога, и жизнь Уиклифа была спасена с трудом — с помощью солдат. Но его мужество только росло вместе с опасностью. Папская булла, добытая епископами и предписывавшая университету осудить и арестовать его, вызвала его на смелый ответ. В оправдательной записке, широко распространившейся по стране и

представленной парламенту, Уиклиф прямо утверждал, что папа не может никого отлучить от церкви, «если человек не отлучил себя сам сначала». Он отрицал право церкви добиваться мирских преимуществ или защищать их духовным оружием, объявлял, что король или светские лорды имеют право лишить ее собственности за неисполнение обязанностей, и оправдывал подчинение церковников светским судам. Несмотря на всю смелость ответа, он встретил поддержку со стороны народа и короны. Когда в конце года Уиклиф по вызову архиепископа явился для ответа в Ламбетскую часовню, приказ двора воспретил примасу разбор дела, а лондонцы ворвались в суд и прервали его заседание.

Уиклиф еще шел рука об руку с Джоном Гонтom, отстаивая его планы церковной реформы, когда разразилось великое крестьянское восстание под предводительством Уота Тайлера, которое нам скоро придется описывать. В несколько месяцев все, до сих пор сделанное Уиклифом, было уничтожено. Могущество ланкастерской партии, на которую он опирался, на время было разрушено; вражда между баронами и церковью, на которой до того основывалась его деятельность, исчезла ввиду общей опасности. Его «бедных проповедников» стали считать апостолами социализма. Нищенствующие монахи называли его «сеятелем вражды, восстановившим своим змеиным внушением крестьян против помещиков», и хотя Уиклиф с презрением отверг это обвинение, но над ним продолжало тяготеть подозрение, оправдывавшееся деятельностью некоторых его последователей. Его приверженцем считался Джон Болл, игравший видную роль в восстании; говорили, будто перед смертью он выдал заговор «уиклифитов». Самый выдающийся из его учеников Николас Герфорд, говорят, открыто одобрил жестокое убийство архиепископа Сёдбери. Каково бы ни было доверие к этим обвинениям, несомненно то, что с этого момента общее озлобление, вызванное планами крестьянских вождей, было перенесено и на все проекты преобразования церкви и что сразу исчезла всякая надежда на церковную реформу с помощью баронов и парламента. Но даже если бы восстание крестьян не лишило Уиклифа поддержки аристократии с которой он до того шел вместе, их союз должен был распасться ввиду нового положения, уже занятого им. За несколько месяцев до восстания он сделал замечательный шаг, превративший его из реформатора дисциплины и политических отношений церкви в противника ее основных верований. Главенство средневековой церкви основывалось, главным образом, на учении о пресуществлении. Исключительное право совершать чудо, происходящее во время литургии, высоко поднимало последнего священника над князьями. Великое восстание, более чем через век приведшее к установлению

религиозной свободы и к отделению массы германских народов от общего состава католической церкви, началось формальным отрицанием учения о пресуществлении, изданного Уиклифом весной 1381 г. Его поступок был тем смелее, что он стоял совсем одиноко. Университет, где до того его влияние было всемогущим, тотчас осудил его. Джон Гонт велел ему замолчать. Как доктор богословия, Уиклиф руководил несколькими диспутами в аудиториях августинских каноников, когда публично было прочитано осуждение его университетом; на минуту он смутился, но затем вызвал канцлера или любого из докторов опровергнуть те заключения, к которым он пришел. На запрет герцога Ланкастерского он отвечал открытым исповеданием своего учения, кончавшимся словами, полными горделивого спокойствия: «Я верю, что в конце концов истина возьмет верх». Его мужество разогнало на время страх окружавших. Университет принял его апелляцию, лишил его противников должностей и тем молча стал на его сторону. Но Уиклиф уже не искал поддержки у образованных и богатых классов, на которые он раньше опирался. Он апеллировал ко всей Англии, и эта апелляция замечательна как первая в этом роде в нашей истории. С изумительным рвением он издавал трактат за трактатом на народном языке. Сухая логика латыни, темные и запутанные доводы, с которыми великий ученый обращался к своим слушателям в университете, внезапно были устранены, и, что доказывает его удивительный талант, схоластик вдруг превратился в памфлетиста. Если Чосер — отец позднейшей английской поэзии, то Уиклиф — отец английской прозы. Грубый, ясный, простой язык его трактатов — речь современного пахаря и торговца, правда, украшенная живописными библейскими выражениями, представляется в применении к литературе таким же созданием автора, как и слог, в котором он воплотил его, — изящные, резкие сентенции, язвительные сарказмы, резкие противоположения, будившие, подобно хлысту, самый ленивый ум. Раз полностью освободившись от пут безусловной веры, ум Уиклифа шел все дальше по пути скептицизма, последовательно приходя к отрицанию прощений, индульгенций, отпущений, богомолья к мощам святых, почитания их изображений, почитания самих святых. Прямое обращение к Библии как к единой основе веры, вместе с провозглашением права всякого образованного человека самому исследовать ее, грозила гибелью самим основам старой догматики. Эти смелые отрицания не ограничивались тесным кругом еще примыкавших к нему учеников: с практической ловкостью, составлявшей резкую особенность его характера, Уиклиф за несколько лет перед тем образовал общество бедных проповедников, «простых священников»; их простые проповеди и длинное деревенское облачение вызвали насмешки

духовенства, но скоро они оказались неоцененным средством для распространения идей их учителя. Как быстры были их успехи, можно видеть из преувеличений их испуганных противников. Несколько лет спустя они жаловались на многочисленность последователей Уиклифа всюду, во всех классах общества — среди баронов, в городах, среди сельского населения, даже в монастырских кельях: «Половина всех встречаемых принадлежит к лоллардам».

Лоллард (вероятно, пустомеля) было насмешливое прозвище, которым правочерные церковники окрестили своих противников. Быстрое усиление последних заставило духовенство перейти от насмешек к энергичному действию. Куртенэ, теперь ставший архиепископом, созвал в монастыре доминиканцев собор и прямо представил ему 24 положения, извлеченные из сочинений Уиклифа. Происшедшее среди совещаний землетрясение испугало всех прелатов, кроме энергичного прелата, который объявил, что извержение дурных соков из земли служило хорошим предзнаменованием для извержения плохих соков из церкви, и собор произнес осуждение. Тогда архиепископ энергично напал на Оксфорд, как на источник и очаг новых ересей. В английской проповеди в церкви Св. Фридесуайды Николас Герфорд доказывал истинность мнений Уиклифа, и архиепископ велел канцлеру принудить его и его сторонников к молчанию, угрожая иначе объявить его самого еретиком. Канцлер сослался на вольности университета и назначил проповедником другого уиклифита, Рипингдона, который не колебался назвать лоллардов «святыми священниками» и утверждать, что им покровительствует Джон Гонт. Дух партии сказывался сильно и среди студентов; большинство их стояло на стороне вождей лоллардов. Кармелит Питер Стокс, добывший у архиепископа грамоту, дрожал от страха в своей комнате, в то время как канцлер под охраной сотни горожан одобрительно слушал резкости Рипингдона. «Я не смею идти дальше, — писал бедный Стокс архиепископу, — из страха смерти; но скоро он собрался с духом и спустился в аудитории, где в это время Рипингдон доказывал, что духовное сословие было лучше, когда ему было только девять лет, чем теперь, когда ему минуло тысяча лет и более». Однако появление вооруженных студентов снова заставило Стокса с отчаянием бежать в Ламбет, в то время как новый еретик открыто защищал в конгрегации Уиклифово отрицание пресуществления. «Нет другого идолопоклонства, — воскликнул Уильям Джеймс, — кроме таинства, совершаемого в алтаре». — «Вы говорите как мудрец», — ответил канцлер Роберт Райгг. Но Куртенэ был не такой человек, чтобы отнестись спокойно к вызову; вызов в Ламбет принудил Райгга к покорности, принятой только под условием, что он подавит лоллардизм в университете. «Я не смею объявить его из страха смерти», —

воскликнул канцлер, когда Куртенэ вручил ему обвинительный приговор. «Стало быть ваш университет — явный покровитель еретиков, — возразил примас, — если он не допускает провозглашения в своих стенах католической истины». Королевский совет поддержал требование архиепископа, но объявление приговора сразу привело Оксфорд в волнение. Студенты грозили смертью монахам, «крича, что они хотят разрушить университет». Магистры запретили преподавание Генри Кремпу, как нарушителю общественного мира, за то что он назвал лоллардов «еретиками». Наконец, на помощь архиепископу пришла корона, и приказ короля предписал немедленно изгнать всех сторонников Уиклифа, захватить и уничтожить все книги лоллардов под страхом потери университетом его привилегий. Угроза произвела свое действие: Герфорд и Рипингдон напрасно искали защиты у Джона Гонта; сам герцог признал их учение о таинстве алтаря еретическим, и после многих уверток они были вынуждены полностью подчиниться. В самом Оксфорде лоллардизм был совершенно подавлен, но с устранением религиозной свободы исчезло и всякое проявление интеллектуальной жизни. Век, следовавший за торжеством Куртенэ, представляется в летописях университета самым бесплодным, и эта спячка не прерывалась до того времени, когда появление новой науки вернуло ему отчасти ту жизнь и свободу, которые так грубо были раздавлены примасом.

Лучшим доказательством высокого положения Уиклифа, как последнего из великих схоластиков, служит нежелание такого смелого человека, как Куртенэ, даже после победы над Оксфордом, принимать крайние меры против главы лоллардов. На «собор землетрясений» Уиклиф, хотя и был вызван, не явился: «Понтий Пилат и Ирод стали теперь друзьями, — саркастически заметил он по поводу возобновления союза между прелатами и монашескими орденами, так долго друг с другом враждовавшими. — Если уж они из Христа сделали еретика, то для них не трудно считать еретиками простых христиан». На самом деле он был, по-видимому, в это время болен, но объявление окончательного приговора снова пробудило в нем жизнь: «Я не должен умирать, говорят, сказал он еще раньше, переживая тяжелую опасность, я должен жить и обличать деяния нищих монахов». Он обратился к королю и парламенту с просьбой, чтобы ему было дозволено свободно доказывать выставленные им теории; затем, со свойственной ему энергией переходя к нападению на своих противников, он просил, чтобы все религиозные обеты были отменены, чтобы десятина была обращена на содержание бедных, а духовенство содержалось на добровольные подаяния своей паствы, чтобы соблюдались против папства статуты *Provisores* и *Praemunire*, чтобы церковники были лишены права занимать светские должности, чтобы было

отменено заточение для отлученных. Наконец, вопреки соборному осуждению, он требовал дозволения свободно проповедовать защищаемое им учение об евхаристии. В следующем году он явился перед конвокацией в Оксфорде и так смутил противников блеском схоластической логики, что мог удалиться, совсем не отрекаясь от своего учения о таинствах. На время его противники, по-видимому, удовлетворились его удалением из университета, но в своем уединении в Лэттеруорте он в эти бурные годы выковал великое орудие, которому суждено было в других руках нанести такой страшный удар торжествующей иерархии. В это время им был пересмотрен прежний перевод Священного Писания, в котором ему отчасти помогал его ученик Герфорд, и к концу жизни он придал ему новую форму, более известную как «Уиклифова библия». На апелляцию епископов папа наконец отвечал буллой, повелевавшей Уиклифу явиться к нему на суд. Его последние силы вылились в холодном саркастическом ответе, объяснявшем, что он отказывается от исполнения приказа единственно по слабости здоровья: «Я всегда готов излагать свои мнения перед кем угодно, а всего более перед епископом Рима, так как я считаю доказанным, что если они окажутся православыми, он утвердит их, а если ошибочными — исправит. Я полагаю также, что как главный наместник Христа на земле епископ Рима более всех смертных людей связан законом Христова Евангелия, так как среди учеников Христа большинство определяется не простым счетом голов по мирскому обычаю, но по степени подражания Христу во всех отношениях. Христос же в течение своей земной жизни был беднейшим из всех людей и отказывался от всякой мирской власти. Из этих посылок я, в качестве простого совета с моей стороны, вывожу заключение, что папа должен отказаться от всякой светской власти в пользу гражданских властей и посоветовать духовенству сделать то же самое». Смелость этих слов, быть может, проистекала из сознания того, что конец близок. Страшное напряжение энергии, ослабленное возрастом и учеными трудами здоровье, наконец, привели к неизбежному концу, и 31 декабря 1384 г. удар паралича поразил Уиклифа, когда он слушал обедню в своей приходской церкви, а на следующий день он скончался.

Глава IV

Крестьянское восстание (1377–1381)

Только что описанный религиозный переворот дал новый толчок еще более важному перевороту, давно уже преобразовывавшему весь сельский быт Англии. Вотчинная система, на которой основывался последний всюду

в Англии, разделила страну для целей обработки и внутреннего порядка на ряд крупных поместий; часть земли обыкновенно удерживалась вотчинником в своем распоряжении, остальная распределялась между держателями, которые обязаны были отбывать повинности своему помещику. При королях из дома Альфреда число полных рабов, как и число свободных людей, одинаково уменьшилось. Класс рабов никогда не был многочислен и теперь еще более уменьшился благодаря усилиям церкви и, может быть, общему потрясению, вызванному датскими войнами. Но эти же войны часто заставляли кёрлы или фримена коммендироваться тену, который обещал ему защиту в отплату за известные услуги. Вероятно, эти зависимые кёрлы и стали вилланами нормандской эпохи; это были люди, лишившиеся, правда, полной свободы и прикрепленные к земле и владельцу, но еще сохранившие многие из своих прежних прав, сохранившие свои земли, свою свободу по отношению ко всем людям, кроме своего владельца, и еще посылавшие представителей в собрание сотни и графства; они стояли, таким образом, много выше безземельных людей, которые даже при старом устройстве не пользовались никогда политическими правами, которых законы английских королей обязывали подчиняться лордам под угрозой лишения всех прав и которые служили домашними слугами, батраками или, в лучшем случае, оброчными держателями чужой земли. Но нормандские рыцари и юристы плохо понимали различие между этими классами, и законодательство анжуйцев было направлено к слиянию всех их в один класс крепостных. Таким образом, настоящие рабы (theow) исчезли, а кёрлы или вилланы опускались все ниже по общественной лестнице. Но хотя сельское население и было более сближено и слито в более однородный класс, его настоящее положение очень мало отвечало взглядам юристов. Все, правда, зависело от лорда. Господский дом стал центром всякой английской деревни. В его зале происходил вотчинный суд; здесь лорд или его приказчик принимал феодальную присягу, собирал десятинные списки. Здесь также, если лорду принадлежал уголовный суд, собиралось его судилище, а за воротами стояла виселица. Вокруг дома лежала господская земля, обработка которой падала целиком на вилланов вотчины. Они наполняли большую житницу лорда снопами, стригли его овец, мололи его зерно, рубили дрова для отопления его дома. Эти работы составляли ту плату, за которую они пользовались своими землями; характер и размеры этих услуг отделяли один класс населения от другого. Виллан, в строгом смысле слова, был обязан только убирать поля лорда и помогать в пахоте и севе осенью в Великий пост. Коттер, бордер и батрак обязаны были работать на господской земле в течение целого года. Но эти услуги и их сроки были строго

определены обычаем не только на кёрла или виллана, но и для стоявшего первоначально ниже их безземельного человека. Владение небольшой усадьбой и окружавшей ее землей, право выпускать свой скот на помещичий загон мирно и незаметно из простых одолжений, даруемых или отбieraемых назад по усмотрению лорда, обратились в права, которых можно было требовать по суду. Число телег, штрафы, взносы, работы, которых мог требовать помещик, определялись сначала устным преданием, а потом записывались в протоколы вотчинного суда, копия с которых сделалась для виллана главным доказательством его права. Этой копии он и был обязан именем копигольдера, которое впоследствии заменило его прежнее имя. Споры решались ссылкой на этот протокол или на устное показание касательно известного обычая, а мировая сделка, столь сильно характеризующая английский дух компромисса, обеспечивала, вообще, справедливое соглашение требований виллана и лорда. Требовать с вилланов исполнение работ обязан был приказчик лорда, а его помощник по должности, вотчинный староста или старшина, избирался самими держателями и представлял их интересы и права.

Первым нарушением только что описанной системы владений было введение аренды. Вместо того чтобы обрабатывать свою землю при посредстве приказчика, помещик часто находил более удобным и выгодным отдавать имение в аренду за определенную плату, вносившуюся деньгами или натурой. Так мы находим, что капитул Св. Павла стал очень рано сдавать в аренду Сендонское имение за плату, в которую входила поставка зерна для хлеба и пива, милостыни для раздачи у дверей собора дров для отопления пекарни и пивоварни, денег для уплаты жалованья. Этой системе аренды, или, вернее, обыкновенному обозначению доставляемого ею дохода (латинское *figra*), мы обязаны словами «ферма» (аренда), «фермер» (арендатор). Более частое употребление их указывает на первую ступень рассматриваемого переворота. Он немного менял в вотчинной системе, несравненно важнее было его косвенное влияние, заключавшееся в уничтожении той связи, на которой основывался феодальный строй вотчины, т. е. личной зависимости держателя от лорда, и в доставлении возможности более богатым держателям стать в почти равное с их прежними господами положение и образовать новый класс посредников между крупными собственниками и держателями по обычному праву. За этим первым шагом в преобразовании вотчинной системы скоро последовал новый, еще более важный. Какими бы правами ни пользовался труд в других отношениях, он все еще был вполне прикреплен к земле. Ни виллан, ни крепостной не могли выбирать ни господина, ни сферы труда. Их назначением было служить своему

лорду и своей земле; они платили поголовщину за дозволение покинуть поместье для отыскания работы или найма, а отказ вернуться по призыву помещика оканчивался преследованием их как самовольных беглецов. Но прогресс общества и естественный рост населения давно уже постепенно освобождали работника от этого прикрепления к месту. Влияние церкви поощряло такое освобождение, как дело благочестия, на всех землях, кроме ее собственных. Беглый крепостной находил прибежище в привилегированных городах, проживание в которых в течение года и дня давало ему свободу. Новый шаг к свободе представляло усиливавшееся стремление к замене рабочих услуг денежными взносами. Население понемногу возрастало, а так как по закону (*gavelkind*), прилагавшемуся ко всем землям, не обязанным военной службой, наследство держателя делилось между его сыновьями поровну, то в соответственной степени делили и их земли, и следовавшие с них повинности. Поэтому взимание оброка работой стало более затруднительным, тогда как рост состоятельности держателей и появление среди них нового духа независимости делали для них эти услуги более обременительными. По этой, вероятно, причине давно уже применявшаяся в каждом имении замена недоимочной работы денежным взносом постепенно развилась в общую замену работ деньгами. Мы уже отметили постепенный ход этой важной перемены в случае Сент-Эдмундсбери, но скоро это стало общим обыкновением, и в вотчинных списках «солодовый сбор», «дровяной сбор», «сбор за свинину» постепенно заняли место прежних личных услуг. Процесс замены был ускорен нуждами самих лордов. Роскошь замковой залы, блеск и пышность рыцарства, издержки походов истощали кошельки рыцарей и баронов, а продажа свободы крепостным или освобождения от работ вилланам представлялась легким и соблазнительным способом их наполнения. В этом процессе принимали участие даже короли. Эдуард III рассылал комиссаров в королевские имения со специальной целью — продавать отпущения крепостным короля, и мы еще знаем имена людей, освободившихся со своими семьями уплатой крупных сумм в опустевшую казну.

Это полное освобождение крепостного от поземельной зависимости вносило в вотчинную систему еще большее изменение, чем даже превращение крепостного в копигольдера. Появление нового класса, в сущности, изменяло весь общественный строй деревни. За появлением арендаторов явились вольные рабочие, исчезло прикрепление труда к одному месту или владельцу: он был волен наниматься к любому хозяину, выбирать себе любое поле для приложения. В рассматриваемое время владельцы поместий в большей части Англии были, в сущности, низведены до положения

современных лендлордов, получающих плату со своих арендаторов деньгами, а для обработки своих земель обращающихся к наемным рабочим. И вот землевладельцы, принужденные этим освободительным движением обратиться к наемному труду, встретились со страшным затруднением. До того запас его был обилён и дешев, но вдруг это обилие исчезло. В это время пришла с Востока ужаснейшая чума, когда-либо виданная миром, опустошила Европу от берегов Средиземного моря до Балтийского и в конце 1348 г. налетела на Англию. Предания об ее опустошительности и полные ужаса выражения следовавших за ней статуты были более чем подтверждены новыми исследованиями. Из трех или четырех миллионов тогдашнего населения Англии повторные посещения чумы унесли более половины. Все сильнее были ее опустошения в больших городах, грязные улицы которых служили постоянным прибежищем для проказы и горячки. На кладбище, купленном для граждан Лондона в 1349 г. благочестивым сэром Уолтером де Мэнни, на месте, впоследствии занятом госпиталем, говорят, было погребено более пятидесяти тысяч трупов. Тысячи людей погибли в Нориче; в Бристолье живые едва успевали хоронить умерших. Почти так же сильно, как города, опустошала черная смерть и деревни. Известно, что в Йоркшире погибло более половины священников; в Норичской епархии две трети приходов переменили своих настоятелей. Вся организация труда была приведена в бездействие. Недостаток рабочих рук затруднил для мелких держателей отбывание следовавших с них повинностей, и только временное понижение землевладельцами ренты на половину побудило фермеров не отказываться от аренд. На время обработка земли стала невозможной: «Овцы и скот бродили по полям и пашням, — говорит современник, — и некому было прогнать их». Даже когда прошел первый взрыв пастики, правильному ходу промышленных предприятий сильно мешало внезапное возвышение заработной платы, следовавшее за громадным уменьшением числа рабочих рук, хотя оно и сопровождалось соответственным возвышением цен на хлеб. Посевы гнили на корню, поля оставались без обработки не только из-за недостатка рук, но и вследствие начавшейся теперь в первый раз борьбы капитала и труда.

Представлявшиеся современникам чрезмерными требования нового класса рабочих грозили разорением землевладельцам и даже более состоятельным ремесленникам городов. Страну раздирали смуты и беспорядки. Взрыв своеволия и распущенности, всюду следовавший за чумой, отразился по преимуществу на «безземельных людях», бродивших в поисках работы и в первый раз явившихся господами рабочего рынка, а бродячий работник или ремесленник легко обращался в «бездельного нищего» или лесно-

го разбойника. Общие меры для устранения этих зол были тотчас указаны короной в постановлении, впоследствии внесенном в статут о рабочих: «Всякий мужчина или женщина, — гласило это знаменитое постановление 1349 г., — какого бы то ни было состояния, здоровый и моложе шестидесяти лет... не имеющий собственности, которой он мог бы жить, не служащий другому, обязан служить нанимателю, который того потребует, и должен получить только ту плату, какая обыкновенно платилась в соседстве с тем местом, где он обязан служить», за два года до начала чумы. Отказ в повиновении наказывался заключением в тюрьму. Но скоро оказались необходимыми более строгие меры. Статутом 1351 г. парламент не только определил заработную плату, но еще раз прикрепил рабочий класс к земле. Рабочему было запрещено покидать тот приход, где он жил, в поисках лучше оплачиваемой работы; в случае неповиновения, он становился «бродягой», и мировые судьи подвергали его заключению в тюрьме. Приводить такой закон целиком было невозможно, так как хлеб настолько поднялся в цене, что при старой плате дневная работа не давала бы пшеницы достаточно для прокормления одного человека. Но землевладельцы не отступили перед такой попыткой. Повторные подтверждения закона показывают, как трудно было применять его и как упорна была борьба, им вызванная. Пени и штрафы, взимавшиеся за нарушение его постановлений, составляли обильный источник королевского дохода, но назначенные первоначально наказания оказались столь недействительными, что наконец было предписано клеймить раскаленным железом лоб беглого рабочего, а укрывательство крепостных в городах было строго воспрещено. Это понятное движение не ограничивалось существовавшим классом свободных рабочих: возрастание их численности, благодаря замене рабочих услуг денежными взносами, внезапно остановилось, и изворотливые юристы, служившие обыкновенно в вотчинах управителями, изыскивали способы вернуть землевладельцам обычные работы, потеря которых теперь так сильно чувствовалась. Отпущения и льготы, прежде дававшиеся без спора, теперь уничтожались на основании формальной неправильности, и от вилланов снова требовали рабочих услуг, от которых они считали себя освобожденными выкупом. Покушение было тем возмутительнее, что дело должно было разбираться в том же самом вотчинном суде и решаться тем самым управителем, в интересах которого было вынести приговор в пользу лорда. Рост грозного духа сопротивления мы видим в статутах, тщетно старавшихся подавить его. В городах, где система принудительного труда применялась еще строже, чем в деревнях, между мелкими ремесленниками участились стачки и соглашения. В деревнях свободные рабочие находили себе союз-

ников в вилланах, у которых оспаривалась свобода от барщинной службы. Часто это были люди с положением и состоянием, и всюду в восточных графствах скопища «беглых крепостных» поддерживались организованным сопротивлением и крупными денежными взносами со стороны богатых держателей. На их сопротивление проливает свет один статут позднейшего времени. Он говорит, что «вилланы и владельцы земель на тех же условиях отказывали своим господам в оброках и услугах и подчинялись другим лицам, которые их поддерживали и подстрекали. Эти лица, ссылаясь на копии с податных списков тех вотчин и деревень, где они проживали, доказывали свою свободу от всякого рода повинностей как личных, так и поземельных и не допускали ареста или других судебных действий против них. Вилланы помогали своим защитникам, угрожая служителям своих лордов смертью и увечьем, а также устраивая явные сборища и уговариваясь поддерживать друг друга». Может показаться, что не только вилланы старались противиться стремлениям вотчинников восстановить барщину, но что при общем ниспровержении общественных учреждений и копигольдер стремился стать фригольдером, а арендатор добивался признания себя собственником той земли, которую он держал в аренде.

Страшный выход из общего бедствия был найден в новом восстании против всей системы общественных неравенств, которую до того считали, безусловно, божественным установлением. Крик бедняка нашел себе страшное выражение в словах «сумасшедшего кентского священника», как его называет любезный Фруассар. В течение двадцати лет он, несмотря на интердикт и тюремное заключение, находил для своих проповедей слушателей — упрямых крестьян, собиравшихся на кладбищах Кента. Хотя землевладельцы и называли Джона Болла сумасшедшим, но в проповеди его Англия впервые услышала провозглашение естественного равенства и прав человека: «Добрые люди, — восклицал проповедник, — дела никогда в Англии не будут идти хорошо, пока имущество не будет общим и пока будут вилланы и дворяне. По какому праву те, кого мы называем лордами, важнее нас? Чем они это заслужили, почему они держат нас в рабстве? Если мы все происходим от одного отца и матери, от Адама и Евы, то как они могут говорить или доказывать, что они лучше нас? Разве тем, что они расточают в своем высокомерии? Они одеты в бархат и согреваются в своих шубах и своих горностах, а мы покрыты лохмотьями. У них есть вино, пряности и отличный хлеб, у нас — овсяная лепешка, солома и вода для питья. У них — досуг и прекрасные дома; у нас — горе и труд, дождь и ветер в полях. И, однако, эти люди пользуются своим положением благодаря нам и нашему труду». В народной песне, формулировавшей уравни-

тельную теорию Джона Болла, сказывалось настроение, угрожавшее всей средневековой системе: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда дворянином?».

Песня эта переходила из уст в уста, когда новый случай угнетения раздул тлеющее недовольство в пожар. Эдуард III умер в бесславной старости; на смертном одре любовница, к которой он был так привязан, похитила с его пальцев перстни. Вступление на престол сына Черного принца, Ричарда II, оживило надежды той части парламента, которую в политическом смысле мы все еще должны называть народной партией. Парламент 1377 г. взялся за дело реформы и смело присвоил себе контроль над новой субсидией, назначив двух своих членов для наблюдения за ее расходованием; парламент 1378 г. потребовал и добился отчета в израсходовании субсидии. Но настоящая сила парламента была, как мы видели, обращена на отчаянную борьбу, в которой самостоятельные классы, исключительно представленные в нем, стремились снова закрепостить рабочих. Между тем к внутренним бедствиям и распрям присоединился позор внешнего поражения. Война с Францией шла самым неудачным образом: один английский флот был разбит кастильцами, другой потоплен бурей; поход внутрь Франции окончился, подобно предшествовавшему, разочарованием и неудачей. Для покрытия крупных издержек войны парламент 1380 г. возобновил взятый три года назад поголовный сбор с каждого жителя. Налог этот подчинял обложению класс, до того его избегавший, таких людей, как: сельские рабочие, деревенские кузнецы и кровельщики; он подстрекал к действию именно тот класс, в котором уже кипело недовольство, и взимание его зажгло пожар во всей Англии от моря до моря. С наступлением весны странные песни разошлись по стране и послужили сигналом к восстанию, из восточных и центральных графств скоро распространившемуся по всей Англии к югу от Темзы. «Джон Болл, — гласила одна, — приветствует всех вас и извещает, что он прозвонил в ваш колокол. Теперь право и сила, воля и ум. Боже, поторопи всех ленивцев». «Помогите правде, — гласила другая, — и правда поможет вам! Теперь в мире царствует гордость, скупость считается мудростью, разврат не знает стыда, обжорство не вызывает осуждения. Зависть царит вместе с изменой, леность в большом ходу. Боже, дай удачу: теперь время!» Мы узнаем руку Болла в еще более зажигательных посланиях «Джека Мельника» и «Джека Возчика»: «Джек Мельник просит помощи, чтобы поставить как следует свою мельницу. Он стал молотить очень мало; Сын Царя Небесного заплатит за все. Смотри, чтобы твоя мельница шла с четырьмя крыльями правильно и чтобы столб стоял твердо. С правом и с силой, с умом и волей: пусть сила помогает праву и ум идет

вперед воли, а право — вперед силы, тогда наша мельница пойдет правильно»; «Джек Возчик, — гласило следующее послание, — просит всех вас окончить как следует то, что вы начали, и поступать хорошо и все лучше и лучше: ведь вечером люди оценивают день»; «Аживость и коварство, — говорил Джек Праведный, — царили слишком долго, а правда была посажена под замок; ложь и коварство и теперь царят всюду. Никто не может дойти до правды, если не запоет «Если дам». Истинная любовь, что была таким благом, исчезла, и приказные за мзду причиняют им зло. Боже, дай удачу, ибо настало время». В этих грубых стихах началась в Англии литература политической полемики; это — первые предшественники памфлетов Мильтона и Бёрка. Как они ни грубы, но с достаточной ясностью отражают смешанные страсти, вызвавшие восстание крестьян: их стремление к справедливому управлению, к ясному и простому суду, их презрение к распутству знати и гнусности придворных, их негодование на обращение закона в орудие угнетения. Подобно пожару, восстание разлилось по стране: Норфолк и Сеффолк, Кембридж и Гертфордшир подняли оружие; из Сассекса и Сэррея мятеж распространился до Девона. Но настоящее восстание началось в Кенте, где кровельщик убил сборщика налогов, мстя за оскорбление дочери. Графство взялось за оружие. Кентербери, где «весь город разделял их настроение», открыл свои ворота мятежникам, которые разграбили дворец архиепископа и вытащили из тюрьмы Джона Болла; в то же время сто тысяч кентцев собрались вокруг Уота Тайлера из Эссекса и Джона Гелса из Меллинга. В восточных графствах взимание поголовного сбора уже вызвало скопища крестьян, вооруженных дубинами, ржавыми мечами и луками; посланные туда для подавления смуты королевские комиссары были прогнаны. Между тем как жители Эссекса шли на Лондон по одному берегу реки, жители Кента двигались по другому. Их недовольство было чисто политическое, так как крепостное право в Кенте было неизвестно. Когда они накинулись на Блекгис, то предали смерти всех юристов, попавших в их руки: «Пока все они не будут перебиты, до тех пор страна не будет пользоваться снова своей прежней свободой», — кричали крестьяне, поджигая дома управителей и кидая в огонь протоколы вотчинных судов. Все население приставало к ним по пути, а дворяне были смущены страхом. Молодой король — ему было всего пятнадцать лет — обратился к ним с лодки, стоявшей на реке; но когда совет под руководством архиепископа Седбэри не позволил ему пристать, это привело крестьян в бешенство, и огромная масса их с криком «Измена!» кинулась к Лондону. 13 июня его ворота были открыты бедными ремесленниками, жившими в городе, и величественный дворец Джона Гонта, новое училище правоведе-

ния в Темпле, дома иноземных купцов скоро стали жертвой пламени. Но мятежники, как они гордо заявляли, добивались истины и правды, а не были ворами и разбойниками, и потому грабитель, утащивший из дворца серебряное блюдо, был вместе со своей добычей брошен в пламя. Общий ужас проявился довольно смешным образом на следующий день, когда отряд крестьян под начальством самого Тайлера, проложил себе путь в Тауэр и, с грубой шутивостью хватая пораженных ужасом рыцарей за бороды, обещал им быть впредь с ними наравне и добрыми товарищами. Но шутка превратилась в грозную действительность, и когда они открыли, что король ускользнул от них, и когда они нашли в часовне архиепископа Седбэри и приора Св. Иоанна: примаса вытащили из часовни и обезглавили, та же участь постигла казначея и главного сборщика ненавистной поголовщины. Между тем король выехал из Тауэра навстречу массе эссекских мятежников, расположившихся вне города на Майл-Энде, тогда как пришельцы из Гертфордшира и Сент-Олбанса заняли Гайбери: «Я ваш король и повелитель, — начал мальчик с бесстрашием, отличавшим его поведение в течение всего кризиса, — чего вы хотите?» — «Мы хотим, чтобы вы освободили нас навсегда, — закричали крестьяне, — нас и наши земли, и чтобы нас никогда не называли и не считали крепостными». — «Я вам жалую это», — ответил Ричард и приказал им вернуться домой, ручаясь за немедленное издание грамот о свободе и прощении. Радостный крик приветствовал это обещание. В течение всего дня более тридцати писцов были заняты писанием грамот о прощении и освобождении, и с ними жители Эссекса и Гертфордшира спокойно разошлись по домам. С одной из таких грамот вернулся в Сент-Олбанс Уильям Грайндекобб и, ворвавшись во главе горожан в стены монастыря, потребовал у аббата выдачи грамот, ставивших город в зависимость от его обители. Но более наглядным доказательством зависимости служили мельничные жернова, после долгой тяжбы присужденные аббатству и положенные в монастыре как торжественное доказательство того, что никто из горожан не имеет права молоть зерно во владениях аббатства, иначе как с согласия аббата. Ворвавшись в монастырь, горожане подняли эти жернова с земли и разбили их на мелкие куски, «точно освященный хлеб в церкви», так что каждый мог сохранить нечто на память о том дне, когда они вернули себе свободу.

Многие из кентцев, узнав об обещании, данном королем жителям Эссекса, разошлись, но 30 000 человек еще окружали Уота Тайлера, когда совершенно случайно Ричард встретил его на следующее утро, 15 июня, в Смесфильде. Между его свитой и вожаком крестьян, подошедшим для переговоров с королем, произошла перебранка, и угроза Тайлера вызвала короткое столкновение, в котором лорд-мэр Лондона Уильям Уолуорт пора-

зил его кинжалом. «Бей, бей, — закричала толпа, — они убили нашего вожда». — «Что вам нужно, господа? — закричал молодой король, смело подъехав к толпе, — я ваш вождь и ваш король! Следуйте за мной». Крестьяне возложили свои надежды на молодого государя: одним из мотивов их восстания было желание освободить короля от дурных советников, которые, по их мнению, злоупотребляли его юностью; и вот они с трогательной преданностью и доверием последовали за ним, пока он не вступил в Тауэр. Мать приветствовала его со слезами радости. «Радуйтесь и хвалите Бога, — ответил мальчик, — сегодня я вернул себе потерянное наследство и королевство Англию». Но все-таки он вынужден был, так же, как и на Майл-Энде, обещать свободу, и, только получив от него грамоты о прощении и освобождении, кентцы разошлись по своим домам. Однако восстание еще далеко не окончилось. К югу от Темзы оно распространилось до Девоншира; были взрывы на севере; бурным движением были охвачены восточные графства. Шайка крестьян заняла Сент-Олбанс, обезумевшая толпа ворвалась в ворота Сент-Эдмундсбери и заставила испуганных монахов поручиться за подтверждение вольностей города. Джон Литстер, красильщик из Норича, стал во главе массы крестьян, с титулом короля общин, и принуждал взятых в плен дворян играть роль лакеев и служить ему на коленях во время обеда. Но удаление крестьянских грамот с их освободительными грамотами вернуло дворянам храбрость. Воинственный епископ Норича с копьем в руке напал на лагерь Литстера и с одного удара рассеял крестьян Норфолка; в то же время король с армией в 40 000 человек прошел с торжеством по Кенту и Эссексу, всюду распространяя ужас беспощадностью своих казней. В Уолтгеме его встретили предъявлением недавно данных им грамот и заявлением, «что в деле свободы эссекские крестьяне стоят наравне со своими лордами». Но им пришлось узнать цену королевского слова: «Были вы вилланами, — отвечал Ричард, — и остаетесь ими. Вы останетесь в зависимости, но не в прежней, а в худшей». Настроение народа выразилось во встреченном королем упорном сопротивлении. Крестьяне Биллерика кинулись в леса и выдержали две жестокие битвы, прежде чем их удалось довести до покорности. Только угрожая смертью, можно было вынудить у присяжных Эссекса обвинительный приговор привлеченным к суду вождям восстания. Грайндекоббу предлагали пощаду, если он согласится убедить своих сторонников в Сент-Олбансе вернуть грамоты, отнятые ими у монахов. Он обратился к своим согражданам и мужественно убеждал их не беспокоиться об его участи: «Если я умру, — сказал он, — я умру за приобретенную нами свободу и буду считать себя счастливым, кончая таким мученичеством. Действуйте сегодня так, как вы действовали бы,

если бы я был убит вчера». Но упорство побежденных встретилось с таким же упорством победителей. В течение лета и осени на виселицах и в битвах погибло, говорят, 7000 человек. Королевский совет показал, что он понимает опасность простой политики сопротивления, когда передал вопрос об освобождении на рассмотрение парламента, собравшегося после подавления восстания; его предложение наводило на мысль о компромиссе: «Если вы желаете освободить и отпустить на волю названных крепостных, — гласило послание короля, — с вашего общего согласия, — а король осведомлен, что некоторые из вас этого желают, — то он согласится на вашу просьбу». В ответе землевладельцев совсем незаметно влияния мысли о компромиссе. Пожалования и грамоты короля, совершенно справедливо отмечал парламент, юридически не имеют силы и значения: крепостные составляют их собственность, которую король может взять у них не иначе, как с их согласия: «...а этого согласия, — заканчивает парламент, — мы никогда не давали и никогда не дадим, даже если бы всем нам пришлось умереть в один день».

Глава V

Ричард II (1381–1399)

Все темные и суровые стороны рассматриваемой эпохи — ее социальная борьба, ее нравственное и религиозное возбуждение, страдания бедных, протесты лоллардов — со страшной точностью изображены в поэме Уильяма Лонгланда. Ничто не рисует перед нами так живо той пропасти, какая в XIV в. отделяла богача от бедняка, как контраст между «жалобой Петра Пахаря» и «Кентерберийскими рассказами». Мир богатства, раздолья и смеха, по которому учтивый Чосер идет с потупленными глазами, как будто в сладкой дремоте, представляется тощему поэту бедняков далеким миром неправды и нечестия. Длинный Уил, как прозвали Лонгланда за его высокий рост, родился, вероятно, в Шропшире, где и был отдан в школу и принял малое посвящение в клирики; в молодые годы он переселился в Лондон и зарабатывал себе там жалкие средства на жизнь пением на пышных похоронах того времени. Люди принимали грустного клерка за помещанного; горькая бедность развила в нем вызывающую гордость, внушившую ему, как он говорит, отвращение к поклонам перед веселыми господами и дамами, которые разъезжали вдоль Чипсайда, разодетые в серебро и меха, или к обмену приветствиями с судебными приставами при проходе мимо нового дома на Темпле. Мир Лонгланда — мир бедняков: он остано-

ливается на жизни бедняка, на его голоде и работе, его грубом разгуле и отчаянии, с напряженным вниманием человека, который ничего, кроме этого, не видит. Узость, бедность, однообразие изображаемой им жизни отражаются и на его произведении. Только по временам любовь к природе и мрачная, гневная серьезность придают его поэме поэтичность; здесь нет и следа светлых гуманных симпатий Чосера, его свежего наслаждения весельем, нежностью, отвагой окружающего мира, его художественного понимания даже самых резких контрастов, его тонкой иронии и изящного остроумия. Тяжеловесные аллегории, утомительные плоскости, рифмованные тексты Библии, составляющие основу поэмы Лонгланда, только по временам прерываются проблесками прямого здравого смысла, дикими взрывами страсти, картинами широкого Гогартовского юмора. Особенно привлекает к поэме ее глубоко печальный тон: мир выбит из колеи, и тощий поэт, молчаливо шагающий по Стренду, не верит в возможность для себя направить его на путь истины. В самом деле, его поэма охватывает период никогда еще невиданных Англией бедствий и позора: если первый краткий очерк ее появился через два года после мира в Бретиньи, то ее окончание может относиться к концу царствования Эдуарда III, а ее окончательное издание предшествовало крестьянскому восстанию всего на один год. Хотя Лонгланд и был лондонцем, но его фантазия улетает далеко от грехов и страданий большого города к майскому утру на Малвернских холмах: «Я слишком много ходил и прилег отдохнуть внизу широкого берега возле ручья, и когда я лег и нагнулся, и засмотрелся на воду, на меня напал сон, а вода журчала так весело». Как Чосер собирает типические фигуры известных ему людей в свой поезд богомольцев, так Лонгланд собирает на широкое поле свое войско торговцев и барышников, пустынных и отшельников, менестрелей, шутов и жонглеров, попрошайек и нищих, пахарей, «что очень сильно работают во время посадки и посева», богомольцев «с их девками позади», ткачей и земледельцев, горожан и крепостных, адвокатов и нотариусов, придворных завсегдатаев — епископов, нищих монахов и продавцов индульгенций, делящих деньги с приходским священником. Они отправляются на поклонение не в Кентербери, а к Истине; их проводником к Истине является не клирик и не священник, а «Петруша Пахарь», которого они застают пашущим свое поле. Он советует рыцарю не требовать больше даров от своего крестьянина и не обижать бедняка: «Хотя здесь он подвластен тебе, но на небе может случиться, что он будет поставлен выше тебя и удостоен большего блаженства... ибо по костям трудно будет узнать мужика или отличить рыцаря от плута». Проповедь равенства сопровождается проповедью труда. Пахарь стремится работать и заставляет

работать с собой других. Он остерегает рабочего, как и рыцари. Голод — орудие Бога, принуждающее к труду крайнего ленивца; голод заставляет исполнять свою волю лентяя и мота. Накануне великой битвы между капиталом и трудом один Лонгланд с его политическим и религиозным здравомыслием относится к обоим с одинаковой справедливостью. Вопреки той ненависти, какая копилась в народе против Джона Гонта, он в знаменитой басне изображает герцога котом, который, как он ни жаден, во всяком случае, удерживает благородных крыс от полного истребления мышиноного народа. Хотя поэт и предан церкви, но это не мешает ему говорить, что праведная жизнь лучше груды индульгенций, а Бог у него посылает Петру отпущение, в котором ему отказывает священник. Лонгланд сознает свое одиночество и не увлекается надеждами. Только во сне он видит, что Корысть привлекается к суду и что проповедь Разума приводит мир к раскаянию. В действительности Разум не находит себе слушателей. На самого поэта, как он с горечью сообщает нам об этом, смотрят как на сумасшедшего. Страшное отчаяние слышится в конце его позднейшей поэмы, где за торжеством Христа следует непосредственно царствование Антихриста, где раскаяние засыпает на пиру у смерти и греха, а совесть, сильно преследуемая гордостью и леностью, делает последнее усилие, чтобы подняться, и, схватив свой страннический посох, отправляется по миру на поиски Петра Пахаря.

Между тем борьба, которую Лонгланд хотел предотвратить после подавления крестьянского восстания, разгорелась еще сильнее. Статуты о рабочих только посеяли ненависть между нанимателем и рабочим, между богачом и бедняком, но они не достигли своих непосредственных целей, не понизили новых размеров заработной платы и не привязали к определенному месту бродивших рабочих. В течение полутора веков, следовавших за восстанием крестьян, крепостное право вымерло в Англии так быстро, что стало явлением редким и устарелым. Через столетие после черной смерти заработок английского рабочего доставлял вдвое больше жизненных припасов, чем сколько их можно было достать на плату, получавшуюся при Эдуарде III. Это утверждение подтверждается случайными описаниями жизни рабочих классов, которые мы находим у Лонгланда: «Рабочие, — говорит он, — не имеющие земли и ничего для жизни, кроме своих рук, брезгали кормиться свининой и дешевым элем, а требовали рыбы или свежего мяса, жареного или печеного, и притом как можно более горячего, чтобы не простудить себе желудок». Несмотря на статуты, рынок все еще, в сущности, оставался в руках рабочих: «...а если ему не дадут высокой платы, он будет роптать и оплакивать время, когда стал рабочим». Поэт

ясно понимал, что по мере возрастания населения до его естественного уровня такие времена пройдут: «Пока голод был их властелином, никто из них не стал бы роптать или восставать против его закона, так строго он смотрел, и я советую вам, рабочие, работайте, пока можете, так как голод сюда быстро торопится». Но даже в то время, когда он писал, бывали такие времена года, когда толпам бродячих рабочих трудно было находить работу. В долгий промежуток между двумя жатвами работа и пища в средневековом жилище были одинаково скудны: «У меня нет ни пенни, — говорит в такую пору Петр Пахарь в стихах, изображающих современную усадьбу, — чтобы купить пулярок, гусей или поросят, а есть только два зеленых сыра, немного творогу и сливок, овсяный пирог и два хлеба из бобов и отрубей, испеченных для моих детей. У меня нет ни соленой ветчины, ни вареного мяса, чтобы приготовить битки, но у меня есть петрушка, и порей, и много капусты, а кроме того, корова, и теленок, и упряжная кобыла, чтобы возить в поле навоз, когда бывает засуха, и на это все мы должны существовать до Петра в веригах (1 августа), а к этому времени я надеюсь собрать жатву на моем участке». Не раньше Петра в веригах высокая плата и новый хлеб «отправляли голод на спячку», а в течение долгой весны и лета вольный рабочий и «разоритель, который желает не работать, а шататься, желает не хлеба, а лучшей пшеницы и желает пить только лучшее и темнейшее пиво», были источником общественной и политической опасности: «Он жалуется на Бога и ропщет против разума, и затем проклинает он короля и весь его совет за то, что они навязывают законы, которые угнетают рабочих».

Страх землевладельцев выразился в законодательстве, бывшем достойным продолжением статутах о рабочих. Было запрещено отдавать сыновей земледельцев в обучение в города. Помещики просили Ричарда повелеть, «чтобы ни крепостной, ни крепостная не помещали своих детей в школу, как это делалось раньше, а также не выдвигали своих детей, отдавая их в духовное звание». Новые коллегии, основанные в это время в обоих университетах, заперли свои двери перед вилланами. Неудача этих пустых усилий обратила энергию крупных собственников в другую сторону и под конец преобразила все сельское хозяйство страны. Разведение овец требовало меньше рук, чем обработка земли, а недостаток и дороговизна рабочих заставляли запускать все больше земель под пастбища. При уменьшении личных услуг по мере вымирания крепостничества для помещиков стало выгодным уменьшать число держателей их земель, как прежде их интерес требовал сохранения его, и они достигали этого, соединяя мелкие участки в более крупные. Этот процесс обезземеления чрезвычайно усиливал численность класса вольных рабочих, в то же время суживая сферу примене-

ния их труда; эти бродяги и «бездельные нищие» с каждым днем представляли для общества все большую опасность, пока она не привела к деспотизму Тюдоров.

К этой социальной опасности присоединялась еще более грозная опасность — религиозная, проистекавшая из насильственных стремлений позднейших лоллардов. Преследования Куртенэ лишили церковную реформу ее более ученых приверженцев и поддержки университетов; смерть Уиклифа лишила ее руководителя в то время, когда, кроме работы разрушения, немного еще было сделано. С этого времени лоллардизм перестал быть сколько-нибудь организованным движением и превратился, вообще, в мятежный дух. К этому новому центру инстинктивно тяготело все религиозное и социальное недовольство эпохи. Социалистические мечтания крестьянства, новый смелый дух личной нравственности, ненависть к монашеству, зависть крупных вельмож к прелатам, фанатизм ревнителей реформы — все это слилось вместе в общую враждебность к церкви, в общее стремление поставить на место ее догматической и иерархической системы личную веру. Это отсутствие организации, эта смутность и разбросанность нового движения и позволили ему проникнуть во все классы общества. Женщины становились такими же проповедниками нового движения, как и мужчины. У лоллардизма были свои школы и свои книги; его памфлеты всюду передавались из рук в руки; во всех углах пелись грубые песни, воскрешавшие старые нападки «Голиафа» анжуйской эпохи на богатства и пышность духовенства. Вельможи, вроде графа Солсбери и впоследствии сэра Джона Олдкестла, открыто становились во главе движения и открывали двери своих жилищ, как убежище для его проповедников. Ненавидя духовенство, лондонцы стали ярыми лоллардами и выступили на защиту проповедника, отважившегося защищать новые теории с кафедры Св. Павла. Влияние новой нравственности сказалось в той пуританской строгости, с какой один из мэров Лондона Джон Нортгемптон относился к столичным нравам. Принужденный действовать, по его словам, из-за нерадения духовенства, за деньги потакавшего всякого рода разврату, он арестовывал распутных женщин, обрезал им волосы и возил их по улицам, выставляя на общее посмеяние. Но нравственный дух нового движения, хотя и самая важная сторона его, был менее опасен для церкви, чем открытое отрицание прежних учений христианства. Из неопределенной массы мнений, носившей название лоллардизма, постепенно выделилось одно основное убеждение — вера в авторитет Библии как единственного источника религиозной истины. Перевод Уиклифа сделал свое дело. Священное Писание, жалуется Лестерский каноник, «стало общедоступной вещью и более знакомой светским людям и

женщинам, умеющим читать, чем раньше оно было знакомо самим церковникам». Ученики Уиклифа смело сделали те выводы, перед которыми, быть может, отступил бы он сам. Они провозгласили церковь отступницей от истинной веры, духовенство утратившим свое значение, а таинства — идолослужением. Напрасно духовенство старалось задуть новое движение своим старым средством — преследованием. Завистливое отношение вельмож и дворян ко всякому притязанию церкви на светскую власть ослабляли ее попытки сделать преследование более действенным. В эпоху восстания крестьян Куртенэ добился издания статута, предписывавшего шерифам захватывать всех лиц, изблеченных епископами в проповедовании ереси. Но в следующую сессию статут был отменен, и общины еще усилили горечь удара заявлением, что они «вовсе не считают для себя выгодным в большей степени подчиняться суду прелатов, чем это было с их предками в прежние времена». Однако ересь считалась еще преступлением по общему праву, и если мы не встречаем еще случаев наказания еретиков сожжением, то только потому, что угроза такой казнью обыкновенно сопровождалась отречением лолларда. Ограничение власти каждого епископа пределами его епархии делало арест странствующих проповедников нового учения почти невозможным, а гражданское наказание — даже если оно одобрялось общественным мнением, — по-видимому, давно вышло из употребления. Опыт показал прелатам, что немногие из шерифов согласятся на арест по одному требованию церковного чиновника и что ни один королевский суд не издаст по требованию епископа приказа «о сожжении еретика». Как ни безуспешны были усилия церкви в целях преследования, они привели к тому, что возбудили среди лоллардов крайний фанатизм. Сильнейшие нападки их направлялись на богатство и суетность крупных церковников. В прямой петиции, представленной парламенту в 1395 г., они с указаниями на богатства духовенства соединяли отрицание пресуществления, священства, богомолий и почитания икон, а также требование, характеризующее странное смешение мнений, сталкивавшихся в новом движении, — чтобы война была объявлена делом не христианским и чтобы промыслы, противоречащие апостольской бедности, вроде мастерства золотых дел или оружейного, были изгнаны из королевства. Они утверждали — и замечательно, что один из парламентов следующего царствования принял это утверждение, — что если бы излишки доходов церкви употреблялись на общепользные цели, то король мог бы содержать на них 15 графов, 1500 рыцарей и 6000 оруженосцев, кроме наделения сотни богаделен для призрения бедных.

Бедствия земледельцев, общее расстройство деревенского быта, где шайки грабителей всюду явно издевались над законом, паника, охватывав-

шая церковь и общество вообще, по мере того как планы лоллардов получали все более смелый и насильственный характер, — все это еще более усиливало народное недовольство вялым и безуспешным ходом войны. Соединение флотов Франции и Кастилии сделало их хозяевами морей; остававшиеся еще за англичанами части Гиени были во власти союзников, а союз с Шотландией открывал французам северную границу самой Англии. Высадка французского войска в Форте вызвала отчаянные усилия всей Англии, и ее сильная и хорошо снаряженная армия дошла до самого Эдинбурга, тщетно пытаясь принудить неприятеля к битве. Более тяжелым ударом были покорение французами Гента и утрата последнего рынка для английской торговли; между тем те средства, которые следовало бы употребить на спасение его и на защиту берегов Англии от грозившего ей вторжения, были растрачены Джоном Гонтом на испанской границе в погоне за призрачной короной, которой он требовал от имени своей жены, дочери короля Педро Жестокого. Замысел этот показывал, что герцог отказался теперь от мысли руководить делами Англии. С подавления восстания во главе Королевского совета стали Роберт де Вер и Майкл де ла Польш, граф Сеффолк, постоянной целью которых было лишить герцога Ланкастера власти. Но удаление Джона Гонты только выдвинуло вперед его младшего брата и сына, герцога Глостера и графа Дерби, а между тем вялое ведение войны, расточительность двора и всего более очевидное стремление короля освободиться от контроля парламента вызвали отчуждение нижней палаты. Парламент обвинил Сеффолка в продажности и назначил на год регентскую комиссию, в которой руководящим лицом был Глостер. Попытка молодого короля отменить эти меры по закрытии сессии была расстроена появлением Глостера и его людей вооруженными; в «беспощадном парламенте» 1388 г. Сеффолк и его сторонники были приговорены за государственную измену к изгнанию или смерти, пятеро судей, объявивших комиссию незаконной, подверглись изгнанию, а четверо чинов королевского двора были отправлены на плаху. Но едва прошел год, как Ричард нашел в себе достаточно силы, чтобы одним словом низвергнуть правительство, против которого он так безуспешно боролся раньше. Войдя в совет, он вдруг попросил сказать, сколько ему, королю, лет: «Вашему высочеству, — отвечал Глостер, — идет двадцать четвертый год». — «В таком случае я достаточно стар, чтобы руководить своими делами, — холодно сказал Ричард. — Я был под опекой дольше любого сироты в моем королевстве. Благодарю вас, лорды, за вашу прежнюю службу, но дольше я в ней не нуждаюсь».

В течение восьми лет (1389–1397) король с чрезвычайным благоразумием и большой удачей пользовался властью, перешедшей, таким обра-

зом, спокойно в его руки. С одной стороны, его мирная политика нашла себе выражение в переговорах с Францией, которые привели к перемирию, возобновлявшемуся год за годом, пока в 1397 г. оно не было продолжено на четыре года, а последующее соглашение насчет брака его с Изабеллой, дочерью Карла VI, удлинило этот период спокойствия до 24 лет. С другой стороны, он выразил намерение управлять в согласии с парламентом, подчинился его контролю и советовался с ним обо всех важных делах. Короткий поход умиротворил Ирландию, а начавшиеся в отсутствие короля волнения лоллардов прекратились с его возвращением. Но блестящие таланты, которые Ричард разделял с прочими Плантагенетами, омрачались страшным непостоянством, безумной гордостью и жадой неограниченной власти. Во главе оппозиции остался дядя короля герцог Глостер; между тем Ричард обеспечил себе дружбу Джона Гонта и его сына Генриха, графа Дерби. Поспешность, с какой Ричард ухватился за случай возобновить спор, показывает, как настойчиво лелеял он в душе планы мщения в течение многих лет, прошедших со времени бегства Сеффолка. Герцог Глостер и графы Арундел и Варвик были арестованы по обвинению в заговоре. Орудием для сокрушения противников Ричарда послужил парламент, наполненный его приверженцами. Прощение, дарованное девять лет назад, было взято назад, регентская комиссия объявлена незаконной, а ее учредители — виновными в измене. Удар был нанесен без жалости. Герцога избавила от суда внезапная смерть в тюрьме Кале; его главный сторонник Арундел, архиепископ Кентерберийский, был обвинен и изгнан, а вельможи его партии осуждены на смерть и заточение. Меры, проведенные в парламенте следующего (1398) года, показывают, что, кроме планов мщения, Ричард руководствовался еще определенной мыслью об установлении неограниченной власти. Постановления парламента 1388 г. были объявлены не имеющими силы, а дарованные королем пожизненно пошлины с шерсти и кожи избавили его от самого парламента. Последний назначил комитет из 12 пэров и шести коммонеров с правом продолжать заседания и после его роспуска и рассматривать и решать все дела и вопросы, которые будут подняты в присутствии короля, со всеми вытекающими из них последствиями. Ричард хотел этим постоянным комитетом заменить создавшее его учреждение: он тотчас стал пользоваться им для решения дел и проведения своей воли и вынудил у всех вассалов короны присягу, признававшую силу его актов и высказывавшуюся против всякой попытки изменить или отменить их. Имея в своем распоряжении такое орудие, король был полновластен, и с появлением этого полновластия характер его царствования вдруг изменился. Система принудительных займов, продажа прощений сторонникам

Глостера, объявление вне закона сразу семи графств под тем предлогом, что они поддерживали его противников и должны купить себе прощение, безрассудное вмешательство в течение правосудия — придали новую силу общественному и политическому недовольству, грозившему самому существованию короны.

Как своим хорошим, так и плохим управлением Ричард успел одинаково вооружить против себя все классы народа. Вельмож он раздражил своей мирной политикой, землевладельцев — отказом в утверждении безумных мер, предназначавшихся для устрашения рабочих, торговый класс — незаконными вымогательствами, а церковь — равнодушием к преследованию лоллардов. Последним Ричард тоже не симпатизировал и, как людей опасных для общества, держал их в страхе. Но чиновники короля выказывали мало усердия в деле содействия аресту и наказанию проповедников ереси. Лолларды нашли себе покровителей в самих стенах дворца; благодаря поддержке первой жены Ричарда, Анны Богемской, сочинения и Библия Уиклифа нашли себе доступ на ее родину и там положили начало движению, первыми руководителями которого явились Ян Гус и Иероним Пражский. В сущности, Ричард стоял в своем королевстве почти одиноко, но даже и этой накопившейся против него ненависти едва ли удалось бы низвергнуть его, если бы один поступок, внушенный ему завистью и произволом, не поставил во главе народного недовольства ловкого и беззащитного вождя. Генрих, граф Дерби и герцог Герфорд, старший сын Джона Гонта, в смутах начала царствования выступавший против короля, усердно поддерживал его потом в мерах против Глостера. Но как только эти меры увенчались успехом, Ричард обратил свою новую силу против более опасного Ланкастерского дома и, воспользовавшись ссорой между герцогами Герфордом и Норфолком, в которой оба они обвиняли друг друга в измене, изгнал их обоих из королевства. За изгнанием скоро последовала отмена данного Генриху разрешения принять наследство после смерти Джона Гонта, и король сам захватил владения Ланкастеров. Доведя, таким образом, Генриха до отчаяния, Ричард переправился в Ирландию с целью закончить начатое им там дело завоевания и организации. В это время архиепископ Арундел, тоже находившийся в изгнании, побудил герцога воспользоваться отсутствием короля для возвращения себе прав. Обманув бдительность французского двора, при котором он искал себе убежища, Генрих с горстью людей высадился на берегу Йоркшира, где к нему тотчас присоединились графы Нортумберленд и Уэстморленд, главы знатных фамилий Перси и Невиллей, и с армией, выраставшей по мере движения, он торжественно вступил в Лондон. Герцог Йорк, которого король оставил регентом, по-

корился, его войска пристали к Генриху, и когда Ричард высадился в гавани Милфорда, он увидел, что потерял королевство. Армия его после высадки рассеялась, и всеми покинутый король бежал переодетым в Северный Уэльс, где нашел и второе войско, собранное на помощь ему графом Солсбери, уже распущенным. Его пригласили на совещание с герцогом Ланкастером во Флинте, где он увидел себя окруженным войсками мятежников: «Меня обманули, — воскликнул он, когда с горы перед ним открылся вид на врагов, — в долине знамена и значки». Но отступать было слишком поздно. Ричарда схватили и привели к его кузену: «Я пришел раньше времени, — сказал Ланкастер, — но я вам объясню причину. Ваш народ, государь, жалуется на то, что в течение двадцати лет вы управляли им сурово; поэтому, если так Богу угодно, я помогу вам управлять им лучше». — «Любезный кузен, — отвечал король, — если вам так угодно, то и я на это согласен». Но замыслы Генриха шли гораздо дальше участия в управлении королевством. Парламент, собравшийся в 1399 г. в Вестминстерском зале, встретил криками одобрения грамоту, в которой Ричард отказывался от престола ввиду того, что он не способен к управлению и по своим великим винам заслуживает низложения. Были прочитаны коронационная присяга и длинный список обвинений, доказывавших нарушение заключавшихся в ней обещаний; за ним следовало торжественное заявление обеих палат, отнимавшее у Ричарда государство и королевскую власть. Согласно строгим правилам престолонаследия, выведенным феодальными юристами по аналогии с наследованием обыкновенных имений, корона должна была бы перейти теперь к дому, игравшему в прежнее время руководящую роль в переворотах эпохи Эдуардов. Эдмунд Мортимер, правнук того Мортимера, который содействовал низложению Эдуарда II, женился на Филиппе, дочери и наследнице третьего сына Эдуарда III, герцога Лайонела Кларенса. Бездетность Ричарда и смерть без потомства второго сына Эдуарда III сделала внука Филиппы и Эдмунда Мортимера, тоже Эдмунда, первым претендентом на престол, но ему было всего шесть лет, строгое правило наследования никогда не было признано формально по отношению к короне, а прецедент доказывал право парламента выбирать в таком случае преемника среди других членов королевского дома. В сущности, возможен был только один преемник. Поднявшись со своего места и перекрестившись, Генрих Ланкастер торжественно потребовал себе короны, «так как я происхожу по прямой линии от доброго короля Генриха III и по тому праву, которое Бог в своей милости позволил мне восстановить с помощью моих родных и друзей, в то время как королевство готово было разрушиться за отсутствием управления и несоблюдением добрых законов». Какие бы недостатки

ни представляло это притязание, они более чем покрывались признанием парламента. Два архиепископа взяли нового государя за руку, посадили его на престол, и Генрих в торжественных выражениях подтвердил свой договор с народом: «Господа, — сказал он собравшимся вокруг него прелатам, лордам, рыцарям и горожанам, — я благодарю Бога и вас, духовных и светских людей, и я вам объявляю: нет моего желания, чтобы кто-нибудь думал, что путем завоевания я буду лишать кого-либо его наследства, вольностей или других прав, которыми он должен пользоваться, или лишать его имущества, каким он владеет и владел по добрым законам и обычаям королевства, — исключая тех лиц, которые были против доброй цели и общей пользы королевства».

Глава VI

Ланкастерский дом (1399—1422)

Возведенный на престол парламентским переворотом и основывая свои притязания на признании парламента, Ланкастерский дом самым своим положением был лишен возможности возобновить старую борьбу за независимость короны, доведенную до высшей степени смелой попыткой Ричарда II. Ни в один период нашей ранней истории полномочия обеих палат не были так прямо признаваемы. В тоне Генриха IV до самого конца его царствования слышится смиренное подчинение просьбам парламента, и даже его деспотический преемник отступал почти с робостью перед всяким столкновением с ним. Но корона была куплена другими обещаниями, менее благородными, чем конституционное управление. Знать оказала поддержку отчасти в надежде на возобновление войны с Францией. Поддержка церкви была куплена более грозным обещанием усиленного преследования еретиков, и это обещание было скоро исполнено. На первом церковном соборе своего царствования Генрих объявил себя защитником церкви и приказал прелатам принять меры для подавления ереси и странствующих проповедников. Его декларация была только прелюдией к статуту о ереси, проведенному в начале 1401 г. Постановления этого статута устраняли препятствия, до того времени парализовавшие усилия епископов. Им не только было дозволено арестовывать всех проповедников ереси, всех учителей, зараженных еретическим учением, всех владельцев и составителей еретических книг и заключать их по воле короля в тюрьмы, даже если они отрекались от ереси; но отказ в отречении или возвращение после него к ереси давали епископам право передавать еретика светским властям, а

эти последние — так гласило первое юридическое утверждение религиозного кровопролития, запятнавшее собрание наших статуты, — должны были сжечь его на возвышенном месте перед народом. Едва статут был проведен, как первой жертвой его сделался Уильям Сотр, приходской священник в Линне. Девять лет спустя был предан пламени, в присутствии принца Уэльского, мирянин Джон Бедби за отрицание пресуществления. Стоны страдальца были приняты за отречение, и принц приказал отстранить огонь, но предложение пощады и пенсии не сумели сломить упорства лолларда, и он был предоставлен своей участи. Враждебность Франции и страшное недовольство реформаторов усиливали опасность постоянных восстаний, угрожавших престолу Генриха. Уже одно сохранение власти в эти бурные годы его царствования служит лучшим доказательством ловкости короля. Заговор родственников Ричарда, графов Хантингдона и Кента, был подавлен, и за ним тотчас последовала смерть Ричарда в тюрьме. Затем подняли восстание Перси, и Хотспер (Горячая Шпора), сын графа Нортумберленда, вступил в союз с шотландцами и с мятежниками Уэльса. Он был разбит и убит в упорной битве близ Шрусбери; но два года спустя его отец поднял новое восстание, и хотя арест и казнь его сообщника Скропа, архиепископа Йоркского, принудили его удалиться за границу, но до самой своей смерти в позднейшем набеге он оставался угрозой для престола. Между тем ободренный слабостью Англии Уэльс после долгого спокойствия сбросил с себя иго завоевателей, и вся страна восстала на призыв Оуэна Глендауэра, потомка уэльских князей. Как и прежде, Оуэн предоставил пришельцам бороться с голодом и горными грозами, но едва они удалились, как он кинулся из своих неприступных твердынь и одержал победу, за которой последовало присоединение всего Северного Уэльса и большей части Южного, причем на помощь ему был прислан из Франции отряд вспомогательного войска. Только восстановление мира в Англии позволило Генриху остановить успехи Глендауэра. Четыре года подряд повторяя осторожно и обдуманно нашествия, принц Уэльский отнял у него юг; его подданные на севере, приведенные в уныние рядом распоряжений, постепенно покидали его знамя, а отражение смелого нашествия на Шропшир принудило наконец Оуэна искать себе убежища в горах Снодона, где он, по-видимому, продолжал борьбу в одиночку до своей смерти в 1410 г. С подавлением восстания в Уэльсе престол Ланкастеров освободился от внешней опасности, но внутри оставалась по-прежнему грозная опасность со стороны лоллардов. Новый статут и его ужасные казни не внушали страха. Смерть графа Солсбери в первом восстании против Генриха, хотя его окровавленная голова была внесена в Лондон процессией аббатов и епис-

копов, с пением благодарственных псалмов вышедших к ней навстречу, только передала руководство партией одному из лучших воинов эпохи. Сэр Джон Олдкестл, которому брак доставил титул лорда Кобгема, сделал свой замок Каулинг главной квартирой лоллардов и укрывал их проповедников, не обращая внимания на запреты и выговоры епископов. Когда Генрих IV, изнуренный смутами своего царствования, умер в 1413 г., его преемнику пришлось заняться этим грозным вопросом. Епископы требовали привлечения Кобгема к суду, и хотя король просил отсрочки в деле, касавшемся столь близкого ему человека, но вызывающее поведение Кобгема принудило его наконец действовать. Отряд королевских войск арестовал лорда Кобгема и отвел его в Тауэр. Его бегство оттуда послужило сигналом к широкому восстанию. Тайный приказ созвал лоллардов на собрание на полях Сент-Джилса близ Лондона. Мы знакомимся если не с настоящими целями восстания, то, по крайней мере, с вызванным им страхом из утверждения Генриха, будто его целью было «погубить короля, его братьев, и некоторых из лордов духовных и светских». Но бдительность молодого короля предотвратила соединение лоллардов Лондона с их сельскими братьями, а те, кто явился на место собрания, были рассеяны королевскими войсками. Неудача восстания только усилила строгость закона: чиновникам было приказано арестовывать всех лоллардов и передавать их епископам; изобличение в ереси приводило к казни и конфискации имущества; тридцать девять видных лоллардов были преданы казни. Кобгем бежал и в течение четырех лет поднимал восстание за восстанием; наконец, он был схвачен на границе Уэльса и сожжен, как еретик, в 1418 г.

Со смертью Олдкестла политическая деятельность лоллардов пришла к концу; между тем упорные преследования епископов, хотя им и не удалось истребить лоллардизм как религиозное движение, успели уничтожить ту силу и энергию, какую он выказал в начале своего поприща. Но пока Ланкастерский дом только отчасти исполнил обещания, данные им при вступлении на престол. В глазах вельмож мирная политика Ричарда была одним из его преступлений, и они оказали содействие перевороту отчасти надежде на возобновление войны. Энергия военной партии находила себе поддержку в настроении целой нации, уже забывшей о бедствиях прошлой войны и мечтавшей только смыть ее позор. Внутренние бедствия Франции представляли в это время удобный повод к нападению: ее король Карл VI был сумасшедший, а принцы и вельможи разделялись на две большие партии; из них одна имела главой герцога Бургундского, дядю короля, и носила его имя, а другая — брата Карла VI — герцога Орлеанского и носила название арманьяков, по графу Бернару VII д'Арманьяку, родственни-

ку герцога Орлеанского. Генрих IV ревниво следил за их борьбой, но его попытка поддержать ее посылкой во Францию английского отряда сразу помирила противников. Однако их распря возобновилась сильнее прежнего, когда при вступлении на престол Генрих V заявил притязание на французскую корону и тем выразил свое намерение возобновить войну. Не было притязания более бесосновательного, так как согласие парламента, отдавшее Англию Ланкастерскому дому, не могло дать ему прав на Францию, а на строгие правила наследования мог сослаться, в лучшем случае, только дом Мортимеров. На деле не только притязание, но и сам характер войны совершенно отличался от войны Эдуарда III. Эдуард был втянут в войну против своего желания беспрестанными нападениями Франции, а требование им ее короны было только средством для обеспечения союза с Фландрией. С другой стороны, война Генриха только по форме была возобновлением прежней борьбы за истечение перемирия, заключенного Ричардом II, а в сущности, это было беспричинное нападение народа, увлеченного беспомощностью противника и возбужденного воспоминанием о прежнем поражении. Единственным оправданием для войны служили те нападения, которые Франция в течение пятнадцати лет направляла на трон Ланкастеров, и поддержка ею всякого внешнего врага и внутреннего предателя. Летом 1415 г. король отплыл к берегам Нормандии, и первым его подвигом было взятие Арфлёра. Дизентерия опустошила ряды его войска во время осады, и просто с горстью людей он решился, подобно Эдуарду, предпринять ввиду неприятеля смелый поход на Кале. Однако несогласия, на которые он, вероятно, рассчитывал для своей безопасности, исчезли при появлении врага в самом сердце Франции, и когда его истомленное и полуголодное войско сумело перейти Сомму, оно нашло на линии похода 60 000 французов, расположившихся лагерем на Азенкурском поле. Их позиция, прикрытая с обеих сторон лесами, имела такой узкий фронт, что густые массы были построены в тридцать рядов; она годилась для целей защиты, но была мало пригодна для атаки, и вожди французов, наученные опытом Креси и Пуатье, решили ожидать приближения англичан. С другой стороны, Генриху не оставалось другого выбора, кроме нападения или безусловной сдачи: его войска голодали, а путь в Кале шел через армию французов. Но мужество короля росло вместе с опасностью. Один из рыцарей его свиты выразил желание, чтобы тысячи сильных воинов, спокойно проводивших эту ночь в Англии, находились в рядах его войска. Генрих отвечал ему презрительно: «Я не хотел бы иметь ни одним человеком больше: если Бог даст нам победу, то будет ясно, что мы обязаны ею Его милости; если нет — чем нас меньше, тем меньше будет потери для Англии». Голодная и истом-

ленная кучка людей под его начальством разделяла настроение своего вождя. Когда прошла холодная дождливая ночь на 28 октября 1415 г., его стрелки обнажили свои руки и груди, чтобы дать простор «изогнутой палке и серому гусиному перу», без которого, как гласила поговорка, «Англия вызывала бы только смех», и с громким криком кинулись вперед в атаку. Вид их приближения возбудил горделивый пыл французов, мудрое решение их вождей было забыто, и густая масса конницы кинулась всей тяжестью в болотистую местность навстречу англичанам. При самом начале их движения Генрих остановил свое войско, и его стрелки, воткнув в землю заостренные палки, которыми каждый был снабжен, пустили тучу своих роковых стрел в ряды неприятеля. Кровапролитие было страшное, но отчаянные атаки французских рыцарей отогнали наконец английских стрелков к соседним лесам, из которых они все еще могли обстреливать фланги неприятеля. Между тем Генрих с окружавшей его конницей кинулся на ряды французов; последовала отчаянная битва, в которой пальму храбрости заслужил король: один раз он был сброшен ударом палицы, а корона на его шлеме была отрублена мечом герцога Алансонского; но наконец неприятель был сломлен, а за поражением главной массы французов последовало тотчас расстройство их резерва. Торжество было еще полнее, чем при Креси, так как неравенство было еще больше: 11 000 французов погибли на поле битвы; между погибшими было более сотни принцев и крупных вельмож.

Непосредственные результаты битвы при Азенкуре были незначительны, так как английская армия была слишком утомлена для преследования и добралась до Кале только затем, чтобы переправиться в Англию. Война ограничилась борьбой за господство над Ла-Маншем, пока усилившаяся распря между бургундцами и арманьяками не побудила Генриха возобновить попытку завоевания Нормандии. Какова бы ни была его цель в этом походе — был ли он внушен, как предполагали, желанием доставить убежище своему дому, если бы его власть была уничтожена в Англии, или просто желанием приобрести господство над морями, — но терпение и искусство, с которыми он осуществил свой план, ставят его высоко в ряду полководцев. Высадившись с сорокатысячной армией близ устья Туки, он взял приступом Кан, добавил сдачи Байё, подчинил Алансон и Фалез, и, отправив своего брата герцога Глостера занять Котантен, сам захватил Авранш и Домфрон. Полностью подчинив Нижнюю Нормандию, он двинулся на Эврё, захватил Лувье и, взяв Пон-де-л'Арш, переправил свои войска через Сену. Теперь открылась цель его мастерских движений. В это время самым крупным и богатым городом Франции был Руан; стены его

защищала сильная артиллерия; Ален Бланшар, храбрый и решительный патриот, сообщил свой собственный пыл его многочисленному населению, а сильный и без того гарнизон был подкреплён 15 000 вооружённых горожан. Но гений Генриха был выше тех затруднений, с которыми ему приходилось иметь дело. От нападений с тыла он обеспечил себя покорением Нижней Нормандии; ещё прежде занятие Арфлёра отрезало город от моря, а завоевание Пон-де-л'Арша — от помощи со стороны Парижа. Медленно, но неуклонно проводил король свои осадные линии вокруг обречённого города, из Арфлёра был приведен караван судов, выше города через Сену был устроен лодочный мост, глубокие траншеи осаждающих защищены столбами, а вылазки гарнизона отчаянно отбивались. Шесть месяцев Руан упорно держался, хотя голод производил сильное опустошение в огромной массе сельского люда, искавшего себе убежища в его стенах. 12 000 крестьян были наконец выгнаны из ворот города, но победитель холодно отказал им в пропуске, и они погибли между траншеями и стенами. В часы агонии женщины производили на свет детей, и их в корзинах поднимали для принятия крещения, а потом опять спускали умирать на груди матерей. Немногим лучше было в самом городе. Когда наступила зима, из населения вымерла половина: «Войне, — сказал грозно король, — постоянно сопутствуют три служанки — огонь, кровь и голод, и я выбрал самую кроткую из трех». Требование им безусловной сдачи вызвало у горожан отчаянное решение: они решили зажечь город и броситься всей массой на линии англичан; тогда Генрих, боясь, что в самом конце добыча ускользнет у него из рук, вынужден был предложить условия. Тем, кто не выносил иноземного ига, было дозволено покинуть город, но месть Генриха выбрала себе жертвой Алена Бланшара, и храбрый патриот был по приказу короля предан смерти.

Несколько осад закончили подчинение Нормандии. Пока намерения короля не шли дальше приобретения этой провинции, и, прервав свои завоевательные действия, он постарался приобрести себе её расположение понижением налогов и удовлетворением жалоб и закрепить обладание ею формальным миром с французской короной. Однако переговоры, начатые с этой целью в Понтуазе, не удались, благодаря временному примирению французских партий, а между тем продолжительность и расходы войны начали вызывать в Англии протесты и недовольство. Затруднения короля достигли высшей степени, когда убийство Жана Бесстрашного, герцога Бургундского, в Монтеро в присутствии самого дофина, на совещание с которым он явился, снова загло пламя междоусобий. Вся бургундская партия с новым герцогом Филиппом Добрым, сыном убитого, во главе, в

дикой жажде мести кинулась в объятия Генриха; сумасшедший король Карл VI, вместе с королевой и дочерьми находились во власти Филиппа; желая купить себе помощь Англии, выдав за Генриха старшую из принцесс, Екатерину, передав ему регентство на время жизни Карла и признав его наследником короны после смерти этого государя. Договор был торжественно подтвержден самим Карлом на свидании в Труа (1420), и Генрих, в качестве регента предпринявший от имени своего тестя завоевание земель, захваченных дофином, подчинил город по Верхней Сене и с торжеством вступил в Париж бок о бок с королем. В столице торжественно собрались Генеральные штаты, и хотя постановления в Труа не могли не показаться им странными, тем не менее они были утверждены ими без ропота, и Генрих был прямо признан будущим государем Франции. Поражение его брата Кларенса в Анжу снова вызвало его на войну. Его появление в поле ознаменовалось взятием Дрё, а неудача под Орлеаном была заглажена успехом долгой и упорной осады Мо (1422). Никогда успехи Генриха не достигали такой высокой степени, как в тот момент, когда он почувствовал прикосновение смерти. Искусство врачей не могло остановить быстрого хода его болезни, и великий завоеватель скончался, выразив странное, но характерное сожаление, что он не дожил до завоевания Иерусалима.

Глава VII

Жанна д'Арк (1422—1451)

В то время как смерть так внезапно остановила деятельность Генриха V, его могущество достигло высшей степени. Своим правоверием он привлек к себе церковь, военным искусством — знать, восстановлением славы Креси и Пуатье — весь народ. Во Франции холодная политика Генриха превратила его из чужеземного завоевателя в законного наследника престола, его права на регентство и на наследование были прямо признаны сословиями королевства*, а его успехи до самого момента смерти обещали скорое подчинение страны. Но слава Азенкура и гений Генриха едва скрывали в конце его царствования слабость и унижение короны, когда престол перешел к младенцу, его сыну. Долгое малолетство Генриха VI, который в момент смерти отца был девятимесячным ребенком, а также личная слабость, от-

* Автор забывает или, будучи англичанином, намеренно умалчивает, что Генеральные штаты, признавшие Генриха V наследником французского престола, представляли не всю Францию, а территории, подвластные либо англичанам, либо его союзнику — герцогу Бургундскому, так что легитимность их самих и принятых ими решений крайне сомнительна.

личавшая его последующее правление, поставили дом Ланкастеров в зависимость от парламента, а парламент быстро превращался в простое представительство баронов и крупных землевладельцев. Общины, правда, сохраняли право разрешения субсидий и контроля над ними, участия в издании всех законов и обвинения министров, но нижняя палата перестала быть настоящим представителем тех общин, название которых она носила. Избирательное право городов подчинилось общему стремлению к ограничениям и привилегиям, и вскоре в большинстве городов оно свелось на простую формальность. До этого времени все фримены, жившие в городе и платившие в его казну налоги, этим самым становились его гражданами, но с царствования Генриха VI эта широта городской жизни была резко урезана. Ремесленные цехи, прежде защищавшие гражданскую свободу от тирании старых купеческих гильдий, сами теперь стремились стать узкой и исключительной олигархией. В это время большая часть городов приобрела себе собственность; желая обеспечить пользование ею от всяких притязаний «чужаков», зажиточные граждане добывали себе большей частью у короля корпоративные грамоты, обращавшие их в замкнутое целое и исключавшие из числа их всех тех, кто не был гражданином по происхождению и не успел приобрести себе право на вступление в их число долгим ученичеством. В добавление к этому ограничению состава граждан, внутреннее управление городов со времени неудачи коммунального движения XIII в. перешло почти всюду от свободного собрания горожан на вече в руки общих советов, члены которых выбирались ими самими или богатейшими гражданами. Этим советам или еще более ограниченному числу принадлежавших к ним «выборных людей» и предоставляли обыкновенно постановления новых хартий право избрания представителей городов в парламенте. Этим ограничением начался долгий процесс упадка, который окончился сведением представительства наших городов к простой комедии. Крупные вельможи, соседние землевладельцы, сама корона набросились на города, как на свою добычу, и предписывали им выбор представителей. Подкуп доканчивал то, чего не удавалось сделать силой. Поэтому с Войны Роз до времени Питта мнение народа представляли не депутаты от городов, а рыцари графств. С другой стороны, ограничение избирательного права в графствах было прямым делом самого парламента. Изменения в экономическом строе сильно его расширяли. Число фригольдеров под влиянием уже рассмотренных нами земельного дробления и социальных перемен возрастало, а усиление независимости сказывалось в тех «сходках и ссорах между дворянами и прочими людьми», которые современные политики приписывали чрезмерному числу голосовавших. Во многих графствах

влияние крупных вельмож без сомнения позволяло им, благодаря многочисленности их вассалов, контролировать выборы. Во время восстания Кэда кентцы жаловались на то, что «жителям графства не позволяют свободно принимать участие в выборе рыцарей от графства, но различные сословия посылают письма к крупным вельможам области, и те силой принуждают своих вассалов и прочих народ выбирать других лиц, а не по общей воле». Собственно, для устранения этого злоупотребления в царствование Генриха VI статут 1430 г. ограничил в графствах право подачи голоса фригольдерами, владевшими землей с доходом не менее сорока шиллингов в год — сумма, равная на теперешние деньги, по меньшей мере, 20 фунтами представляющая в настоящее время гораздо более высокий доход. Этот «великий ограничительный статут», как его справедливо называли, был, по его собственным словам, направлен против избирателей «без земли, из которых каждый хотел иметь равный голос с более достойными рыцарями и дворянами, проживавшими в тех же графствах». Но в применении статут был истолкован в гораздо более разрушительном смысле, чем какой представляли его слова. До этого времени рыцарей графства выбирали все без различия присутствовавшие на суде шерифа; по смыслу нового статута права голоса лишалось большинство тогдашних избирателей, все арендаторы и все копигольдеры. В позднейшем статуте, правда, кажется, не приводившемся в исполнение, аристократическая тенденция и те социальные перемены, против которых она боролась, сказались в требовании, что каждый рыцарь графства должен быть «природным дворянином».

Смерть Генриха V вскрыла в ее неприглядной действительности тайну власти. Вся королевская власть перешла без борьбы к совету, составленному из крупных вельмож и церковников, как представителей баронов. Во главе прелатов стоял Генрих Бофор, епископ Уинчестерский, узаконенный сын Джона Гонта от его любовницы Кэтрин Суинфорд. Перед лицом лоллардизма и социализма церковь в это время перестала представлять крупную политическую силу и стала просто особым разрядом поземельной аристократии. Ее единственной целью было сохранение огромного богатства, которому грозили одинаково и ненависть еретиков, и жадность вельмож. Несмотря на упорное преследование, лоллардизм, в котором проявлялся дух религиозного и нравственного протеста, все еще был жив: через девять лет после вступления на престол юного короля, мы находим объезд Англии дядей короля герцогом Хэмфри Глостером с отрядом конницы для подавления восстаний лоллардов и стеснения обращения их памфлетов против духовенства. Склонность к насилию и анархии, всегда составлявшая позор дворянства, приобрела новую силу под влиянием войны с Фран-

цией. Задолго до окончания ее она оказала свое роковое влияние на настроение английской знати. Ее стремления свелись почти целиком к жажде золота, грабежа, разорения сел и городов, выкупа за пленных. Жажда добычи была так сильна, что только угроза смертью могла удержать в рядах воинов, и результаты ряда побед были утрачены благодаря стремлению победителей отвезти добычу и пленников на хранение домой. В тот момент, когда опустилась тяжелая рука таких сильных вождей, как Генрих V или его брат Джон, герцог Бедфорд, война превратилась в простую резню и разбой: «Если бы Бог был теперь вождем, — воскликнул один французский полководец, — он сделался бы мародером». Как за границей вельможи были жадны и жестоки, так на родине они отличались своеволием и распущенностью. Парламенты, ставшие простыми собраниями их вассалов и сторонников, походили на военные лагеря, куда крупные вельможи являлись в сопровождении больших отрядов. Парламент 1426 г. получил название «дубинного парламента» ввиду того, что когда было запрещено ношение оружия, вассалы баронов явились с дубинами на плечах. Когда были запрещены дубины, они стали прятать под платьем камни и свинцовые шары. Распутство, против которого прежде возвышали свой негодующий голос лолларды, царило теперь без удержу. Луч духовного света прорезывал мрак эпохи, но только затем, чтобы обнаруживать отвратительное соединение умственной энергии с нравственной низостью. Герцог Глостер доказал свою любовь к литературе составлением прекрасной библиотеки, но в то же время он был самым эгоистичным и распутным принцем эпохи. Граф Уорчестер, покровитель Кекстона и один из самых ранних представителей возрождения литературы, заслужил прозвище Мясника той жестокостью, которая доставила ему позорное первенство среди обогранных кровью вождей Войны Роз. Казалось, с истреблением лоллардов была подавлена всякая духовная жизнь. Никогда английская литература не падала так низко, несколько скучных моралистов только и сохраняли имя поэтов. История превратилась в самые сухие и, большей частью, ничего не стоящие отрывки и летописи. Даже религиозный энтузиазм народа, казалось, иссяк или был задушен епископскими судами. В то время только и верили, что в колдовство и чародейство. Элеонора Кобгем, жена герцога Глостера, была обвинена в том, что вместе с одним священником покушалась с помощью чародейства на жизнь короля, и была осуждена на публичное покаяние на улицах Лондона. Туман, окутавший поле битвы при Бернете, приписывали заклинаниям монаха Бенге. Единственная чистая личность, возвышающаяся над жадностью, развратом, эгоизмом и неверием эпохи, это — Жанна д'Арк, на которую судившие ее доктора и духовные смотрели, как на колдунью.

Жанна д'Арк была дочерью крестьянина из Домреми, небольшой деревни на границе Лотарингии и Шампани, поблизости от Вокулера. Как раз подле хижины, где она родилась, начинались большие Вогезские леса, где дети Домреми знакомились с поэтическими легендами о хороводе фей, часто навещали священные деревья, вешали на них венки из цветов и пели песни о «добрых людях», которым их грехи не позволяли пить из источника. Жанна любила лес; его птички и животные доверчиво откликались на ее детский призыв. Но дома люди не видели в ней ничего, кроме «доброй девушки, простой и приветливой в обращении»; она пряла и шила рядом с матерью, тогда как другие девушки уходили в поле, высказывала сострадание к бедным и больным, любила церковь и слушала церковный звон с чувством мечтательного восторга, никогда ее потом не покидавшим. Спокойная жизнь скоро была прервана громом войны, когда она наконец дошла до Домреми. Смерть короля Карла тотчас за Генрихом V принесла мало нового. Дофин тотчас провозгласил себя Карлом VII, но Генрих VI был признан государем всех тех земель, которые были заняты англичанами и бургундцами. Приверженцы дофина Карла, подкрепленные ломбардскими наемниками и 4000 шотландцев под командой графа Дугласа, стали с новой силой нападать на земли за Луарой, но их легко отражал герцог Джон Бедфорд, брат покойного Генриха V, который в его завещании назначен был регентом Франции. Как военными, так и политическими талантами Джон едва ли уступал самому Генриху. Закрепив путем браков и терпеливой дипломатии свои союзы с герцогами Бургундии и Бретани, он dokonчил завоевание Северной Франции, взятием Мелена обеспечил себе сообщение с Нормандией, благодаря победе близ Оксерра овладел линией Йонны и продвинулся вперед в область Макона. Чтобы остановить его, коннетабль Джон Стюарт, граф Бьюкен, шотландец на французской службе, от берегов Луары смело подошел к самым границам Нормандии и напал на английскую армию при Вернейле, но потерпел поражение, едва ли менее тяжелое, чем при Азенкуре: треть французских рыцарей осталась на поле битвы (1424). Регент уже готовился перейти Луару, когда его остановили интриги его брата герцога Глостера. Назначение последнего по воле покойного короля регентом Англии было отменено советом; недовольный номинальным протекторатом, которым его облекли, герцог стал искать нового поприща для своего беспокойного честолюбия в Нидерландах. Там он выступил на защиту притязаний Жаклин, владетельной графини Голландии и Геннегау, на которой он женился после ее развода с герцогом Брабанта. Планы его возбудили зависть герцога Бургундского, который считал себя наследником Брабанта, и усилия Бедфорда были парализованы удалением его бур-

гундских союзников, отправившихся на север отражать его брата. Хотя Глостер скоро вернулся в Англию, но пагубная борьба продолжалась три года; в течение их Бедфорд вынужден был ограничиваться обороной, пока прекращение войны не вернуло ему помощь Бургундии. Еще более роковой была распря в Англии между Глостером и Бофором, так как она прекратила доставку людей и средств, нужных для войны во Франции; но когда в Голландии водворился мир, а в Англии — временное спокойствие, Бедфорд еще раз получил возможность обратиться к завоеванию юга (1428). Отсрочка, однако, мало помогла Франции, и когда 10 000 союзников осадили Орлеан, у Карла не оказалось средств идти к нему на выручку. Война давно уже дошла до границ Лотарингии. Север Франции в действительности скоро был обращен в пустыню. Поселяне искали себе убежища в городах, пока последние, боясь голода, не заперли перед ними своих ворот. Тогда крестьяне в отчаянии бросились в леса и, в свою очередь, стали разбойниками. Опустошение было такое страшное, что два враждебных войска не могли даже найти друг друга в опустошенной Босе. Города едва ли были в лучшем положении, так как в одном Париже нищета и болезни унесли 100 000 человек. Когда изгнанники и раненые проходили через Домреми, Жанна уступала им свою постель и облегчала их страдания. Всю ее охватила одна поглощающая страсть: ей стало жаль, употребляя не сходявшее с ее губ выражение, «прекрасного королевства Франции». Когда страсть эта усилилась, она припомнила старое предсказание, гласившее, что страну спасет девушка с границы Лотарингии. Ей стали являться видения: в потоке ослепительного света ей явился св. Михаил и велел пойти на помощь королю и вернуть ему его королевство: «Господин, — возразила Жанна, — я только бедная девушка, я не умею ездить на войну или командовать рыцарями». Архангел явился снова, ободрил ее и сказал, что на небесах жалеют прекрасное королевство Франция. Девушка плакала и выражала желание, чтобы явившиеся к ней ангелы взяли ее с собой, но ее назначение выяснилось. Напрасно отец, услышав о ее намерении, клялся, что скорее утопит ее, чем отпустит на войну с рыцарями. Напрасно священник, деревенские мудрецы и комендант Вокюлера выражали сомнения и отказывали ей в помощи. «Я должна идти к королю, — настаивала она, — даже если я сотру себе ноги до самых колен»; «Я гораздо охотнее осталась бы пряхть рядом с матерью, — жаловалась она с трогательным пафосом, — так как я не сама выбрала себе дело, но я должна идти и совершить его, так угодно моему Господину». — «А кто твой господин?» — спрашивали ее. «Это — Бог». Такие слова тронули наконец грубого коменданта; он взял Жанну за руку и поклялся отвести ее к королю. Когда она достигла Шинона, то встретила

колебание и сомнение. Богословы доказывали по своим книгам, что ей не следует верить. «В книге Господа сказано больше, чем в ваших», — ответила просто Жанна. Наконец Карл, окруженный толпой баронов и солдат, принял ее: «Благородный дофин, — сказала она, мое имя — Жанна Дева. Царь небесный посылает меня сказать вам, что вы будете помазаны и коронованы в городе Реймсе и будете наместником Царя Небесного, который является королем Франции».

Голод уже заставил Орлеан начать переговоры о сдаче, когда Жанна явилась при французском дворе. Для выручки его Карл не сделал ничего, а заперся в Шиноне и беспомощно плакал. Длинный ряд английских побед до того напугал французских солдат, что простой отряд стрелков под командой сэра Джона Фастолфа, в так называемой «битве сельдей», отразил целую армию и с торжеством доставил в лагерь под Орлеаном обоз с припасами, которому битва была обязана своим названием. После нового удаления бургундских союзников в окопах осталось всего 3000 англичан, но хотя город кишел рыцарями, они в течение шести месяцев осады ни разу не отважились на вылазку. Однако успех кучки английских завоевателей зависел вполне от наведенного ими на Францию ужаса, а появление Жанны сразу разрушило очарование. Ей шел только восемнадцатый год, она была высокого роста и прекрасного сложения, крестьянское воспитание развило в ней силу и деятельность, она могла оставаться на лошади без еды и питья от зари до вечера. Когда она садилась на своего боевого коня, с головы до ног одетая в белые доспехи, с украшенным лилиями белым знаменем над головой, то казалась «по виду и по разговору совсем божественным существом». Десять тысяч всадников, следовавшие за ней из Блуа, — грубые грабители, знавшие только молитвы Лагира*: «Господи Боже, прошу тебя, сделай Лагиру то, что он сделал бы для тебя, если бы ты был полководцем, а он — Богом», — отказались, по слову ее, от своих проклятий и распутства и во время похода стали посещать богослужения. Ее здравый крестьянский смысл помогал ей управляться с грубыми солдатами, и ее спутники смеялись за лагерными кострами над старым воином, который был так смущен запрещением божбы, что она позволила ему клясться его палкой. При всем ее энтузиазме здравый смысл никогда не покидал ее. При проезде вокруг нее собирался народ,

* Этьен де Виньоль, именуемый Лагиром (ок. 1390–1444), французский полководец. 1418 г. примкнул к партии дофина, сражался с англичанами и их французскими приверженцами, вместе с Жанной д'Арк в апреле 1429 г., освободил от осады Орлеан. В 1430 г. он пытался спасти Жанну д'Арк, был схвачен англичанами, но спасся бегством. Позже отличился смелыми походами в занятых англичанами местностях к северо-востоку от Парижа.

прося у нее чудес и принося кресты и четки, чтобы она освятила их своим прикосновением: «Прикоснитесь к ним сами, — сказала она одной старухе, — ваше прикосновение будет так же действительно, как и мое». Но ее вера в свое назначение осталась по-прежнему твердой: «Дева просит и умоляет вас, — писала она Бедфорду, — не тревожить более Франции, но идти вместе с ней на освобождение святого Града от турок»; «Я приношу вам, — сказала она Дюнуа*, когда он вышел из Орлеана к ней навстречу, — лучшую помощь, когда-либо посланную человеку, — помощь Царя Небесного». Осаждающие со страхом смотрели на въезд ее в Орлеан и на объезд ею стен, причем, она убеждала народ смотреть без страха на окружающие его грозные форты. Ее энтузиазм увлек колебавшихся вождей, они напали на горсть победителей, и огромное численное неравенство сил тотчас обнаружилось. Французы брали один форт за другим, пока не остался один сильнейший, и тогда военный совет решил отсрочить нападение: «Вы приняли ваше решение, — возразила Жанна, а я принимаю свое». Став во главе конницы, она приказала отворить ворота и повела ее на врага. Хотя англичан было мало, но они бились отчаянно; Жанна упала раненая, в то время как пыталась взойти на стену, и была отнесена в виноградник, а Дюнуа приказал бить отбой. «Подождите немного!» — сказала повелительно Дева. — Поешьте и попейте! Как только мое знамя коснется стены, вы войдете в форт». Знамя поднесли — и осаждающие ворвались. На другой день осада была снята, и ведущее ее войско в полном порядке отступило на север. Среди своего торжества Жанна оставалась все той же чистой, нежной и любящей девой Вогезов. Первым делом ее по вступлении в Орлеан было посещение собора, и там, преклонив колена во время обедни, она отдалась порыву набожности и так заплакала, что «с ней заплакал весь народ». Слезы снова вырвались у нее при первом взгляде на кровопролитие и на трупы, разбросанные по полю битвы. Она сильно испугалась первой раны и только тогда освободилась от порыва женского страха, когда услышала сигнал к отступлению. Еще более женственной была та чистота, которую она сохраняла среди грубых воинов средневекового лагеря. Забота о своей чести и побудила ее одеться в солдатское платье. Она плакала горькими слезами, когда ей сказали о грязных насмешках англичан, и горячо просила Бога засвидетельствовать ее чистоту: «Сдавайся, сдавайся, Глесдейл, — закричала она англий-

* Жан Орлеанский, граф де Дюнуа (ок. 1403–1468), — незаконнорожденный сын герцога Орлеанского (убитого в 1407 г.). Один из лучших французских полководцев завершающего этапа Столетней войны. Руководил обороной Орлеана до подхода отряда Жанны д'Арк.

скому воину, всего наглее ее оскорблявшему, когда он раненый упал к ее ногам, — ты называл меня распутницей, а я сильно жалею о твоей душе». Но всякая мысль о себе исчезала у нее перед мыслью о ее назначении. Напрасно вожди французов хотели оставаться на Луаре. Жанна стремилась закончить свое дело и, в то время как пораженные страхом англичане оставались около Парижа, она повела за собой войско, все усиливавшееся на пути, пока оно не дошло до ворот Реймса. С коронацией Карла Жанна почувствовала, что ее дело сделано: «Благородный король, воля Божия свершилась», — воскликнула она, бросаясь к ногам Карла VII и прося позволения вернуться домой. «О, если бы ему было угодно, — говорила она архиепископу, уговаривавшему ее остаться, — чтобы я могла уйти и снова стеречь овец с моими сестрами и братьями; им было бы так приятно снова увидеть меня!»

Политика французского двора удерживала при нем Жанну, пока города Северной Франции открывали свои ворота перед вновь коронованным королем. Между тем Бедфорд, все время остававшийся без денег и подкреплений, вдруг получил помощь, и Карл, отраженный от стен Парижа, отступил за Луару, а города по Уазе снова покорились герцогу Бургундскому. В этой новой войне Жанна сражалась с ее обычной храбростью, но и с удручающим сознанием того, что ее назначение исполнено. Во время защиты Компьеня она попала во власть бастарда де Вандома, который продал ее герцогу Бургундскому, а тот — англичанам. Для англичан ее победы были торжеством колдовства, и после годичного заключения ее привлекли к суду церкви с епископом Бове во главе — по обвинению в ереси. В течение длинного процесса употребляли все уловки, чтобы запутать ее в показаниях, но здравая простота крестьянской девушки расстраивала все старания судей. «Веришь ли ты, — спрашивали ее, — что ты находишься в состоянии благодати?» — «Если нет, — отвечала она, — Бог приведет меня в него; если да, Он сохранит меня в нем». Ее плен, доказывали ей, показал, что Бог покинул ее. «Если Богу было угодно, чтобы меня взяли, — кротко отвечала она, — то это к лучшему». — «Подчинишься ты, — спрашивали у ней наконец, — приговору воинствующей церкви?» — «Я пришла к королю Франции, — ответила Жанна, — по повелению Бога и Церкви, торжествующей на небе; ей я и покоряюсь». «Я скорее умру, — воскликнула она с увлечением, — чем откажусь от того, что сделала по приказу моего Господа». Ей запретили посещать обедню; «Господь может позволить мне слушать ее без вашей помощи», — сказала она со слезами. «Не запрещают ли тебе твои голоса, — спросили судьи, — подчиниться церкви и папе?» — «О, нет! наш Господь первый

служил». Неудивительно, что когда процесс затянулся и за допросом следовал допрос, мужество больной и лишенной всякого религиозного утешения Жанны, наконец, поколебалось. На обвинение в колдовстве и сношении с дьяволом она еще твердо отвечала апелляцией к Богу: «Я обращаюсь к моему судье, — сказала она, когда ее земные судьи осудили ее, — к Царю неба и земли. Бог был всегда моим руководителем во всем, что я совершила. Дьявол никогда не имел власти надо мной». Она согласилась на формальное отречение от ереси только для того, чтобы ее освободили из военной тюрьмы и перевели в церковную. Действительно, среди английских наемников она опасалась тех покушений на свою честь, для устранения которых она с самого начала надела мужское платье. В глазах церкви ее одевание было преступлением, и она покинула его, но новые оскорбления принудили ее вернуться к этому единственному остававшемуся у нее средству, и это было объявлено возвращением к ереси, обрекавшим ее на смерть. На рыночной площади Руана, где теперь стоит ее статуя, был сложен большой костер. Даже грубые солдаты, вырвавшие ненавистную «ведьму» из рук духовенства и ведшие ее на смерть, замолкли, когда она дошла до костра. Один из них даже передал ей грубый крест, сделанный из палки, которая была у него в руках, и она прижала его к своей груди: «О, Руан, Руан, — воскликнула она, с высоты эшафота окидывая взглядом город, — я очень боюсь, что ты пострадаешь за мою смерть... Да! мои голоса были от Бога! — внезапно воскликнула она, когда наступила последняя минута, — они никогда не обманывали меня!». Скоро пламя дошло до нее, голова ее опустилась на грудь, раздался крик «Иисусе!» — «Мы погибли, — пробормотал один солдат, когда толпа стала расходиться, — мы сожгли святую».

Действительно, дело англичан было безвозвратно проиграно. Несмотря на пышную коронацию малолетнего Генриха в Париже, Бедфорд, со своим всегдашним благоразумием, оставил, по-видимому, всякую надежду надолго удержать за собой Францию и вернулся к первоначальному плану своего брата — обеспечить себе Нормандию. В течение года двор Генриха оставался в Руане, в Кане был основан университет, и какие бы грабежи и беспорядки ни допускались в других местностях, в излюбленных областях постоянно поддерживались правосудие, хорошее управление и безопасность сношений. В Англии Бедфорда решительно поддерживал епископ Уинчестерский, возведенный в сан кардинала и в это время снова управлявший страной при посредстве Королевского совета, несмотря на бесплодное сопротивление герцога Глостера. Даже когда интриги Глостера удалили его из совета, его огромное богатство

лилось без остановки в истощенную казну, пока его займы короне не дошли до полумиллиона; а после освобождения Орлеана он без стеснения отправил на помощь Бедфорду армию, набранную им за свой счет для похода против гуситов Богемии. Дипломатическое искусство кардинала обнаружилось в вынужденном им у Шотландии перемирии и в личных его стараниях предотвратить примирение Бургундии и Франции. Однако в 1435 г. герцог Бургундский заключил формальный договор с королем; еще более тяжелым ударом для дела англичан была последовавшая затем смерть Бедфорда. Париж внезапно восстал против английского гарнизона и высказался в пользу Карла. Владения Генриха сразу ограничились Нормандией и дальними крепостями Пикардии и Мэна. Но составляя всего горсть и имея перед собой целую вооруженную нацию, английские воины боролись с такой же отчаянной храбростью, как и в дни побед. Самый смелый из их вождей лорд Талбот перешел Сомму вброд по горло в воде, чтобы освободить Кротуа, и переправил свой отряд через Уазу для спасения Понтуаза — на глазах французской армии. Преемник Бедфорда по регентству герцог Йоркский своими талантами остановил на время поток неудач, но зависть к нему советников короля оказала роковое влияние на ход войны. Новая попытка заключить мир была сделана графом Сеффолком, который, после удаления престарелого Бофора в Уинчестер, руководил советом и вел переговоры о браке Генриха с Маргаритой, дочерью Рене, герцога Анжу. Не только Анжу, вовсе не принадлежавшее Англии, но и Мэн, оплот Нормандии, были уступлены герцогу Рене как плата за брак, который Сеффолк считал предлюдией к миру. Но условия его и отсрочки, еще оттянувшие заключение окончательного мира, придали новую силу военной партии с Глостером во главе. Опасность встретила резкий отпор. Глостера арестовали на пути в парламент по обвинению в тайном заговоре, а через несколько дней его нашли мертвым в его помещении. Но возникшие затруднения остановили Сеффолка в его переговорах, и хотя, угрожая войной, Карл добился сдачи Ле-Мана, но большей частью условия договора остались без исполнения. Борьба получила теперь безнадежный характер. Через два месяца после ее возобновления половина Нормандии была в руках Дюнуа; Руан восстал против слабого гарнизона и отворил ворота Карлу, а поражение англичан при Фурминьи послужило сигналом для восстания всей остальной провинции. Сдача Шербура в 1450 г. отняла у Генриха последний пункт Нормандии, а через год был утрачен последний остаток Гиени. Гасконь, впрочем, еще раз подчинилась Англии, когда на берега ее высадилось войско под командой Талбота, графа Шрусбери;

Столетняя война (1336–1431)

но прежде чем на помощь ему могли переехать Ла-Манш 20 000 человек, набор которых был разрешен парламентом, Шрусбери вдруг очутился лицом к лицу со всей французской армией. Его отряд был истреблен огнем неприятеля, а сам граф пал на месте. Сдача одной крепости за другой обеспечила окончательное изгнание англичан из Франции. Таким образом, Столетняя война окончилась не только потерей всех временных завоеваний, совершенных после Эдуарда III, за исключением Кале, но и потерей большой южной области, постоянно остававшейся в руках англичан со времени брака ее герцогини Элеоноры с Генрихом II, а также обращением Франции в гораздо сильную державу, чем какой она была когда-либо раньше.

Часть 6

Новая монархия (1450—1471)

Глава I

Войны Роз (1450—1471)

Неудачный исход великой борьбы с Францией вызвал в Англии взрыв ярости против жалкого правительства, слабости и легковерия которого она приписывала свои несчастья. Сеффолк был привлечен к ответу и убит, когда отправлялся за море в изгнание. Когда епископ Чичестерский был прислан для уплаты жалованья матросам в Портсмуте и попытался отделаться от них меньшей, чем следовало, суммой, они напали на него и убили. В Кенте недовольство перешло в открытый мятеж. Кент служил главным фабричным округом эпохи и был переполнен рабочим населением; столкновения с Францией особенно задевали его ввиду морского разбоя Пяти Портов, где в каждом доме встречалась военная добыча. Из Кента мятеж распространился по Сэррею и Сассексу. Крестьяне трех графств собрали войско; к мятежникам присоединилось более ста помещиков и дворян; их делу открыто благоприятствовали два крупных землевладельца Сассекса, аббат монастыря Битвы и приор Льюиса. Джон Кэд, солдат, приобретший некоторый опыт в войне с Францией, принял многозначительное имя Мортимера и стал во главе их, и армия в 20 000 человек двинулась к Блэкизсу. «Жалоба общин Кента», представленная ими Королевскому совету, очень ценна по тому свету, какой она проливает на положение народа. Ни одно требование не затрагивает религиозной реформы. Вопрос о крепостном состоянии и рабстве тоже не встречается в «жалобе» 1450 г. За семьдесят лет, прошедших с последнего крестьянского восстания, ход социального развития сам собой устранил крепостное состояние. Законы об одежде, загромождающие с этого времени Книгу статуты, с их стремлением упрощать одевание рабочих и арендаторов указывают на развитие среди этих классов комфорта и благосостояния; сами выражения этих законов показывают, что, несмотря на постановления против роскоши, арендатор и рабочий начали одеваться лучше. За исключением требования отменить ста-

тут о рабочих, программа общин носила теперь не социальный, а политический характер. «Жалоба» требует административных и финансовых реформ, смены министров, более бережливого расходования королевских доходов и восстановления свободы выборов, нарушавшейся вмешательством как короны, так и крупных землевладельцев. За отказом совета принять «жалобу» последовала победа кентцев над войсками короля при Севеноче, а вступление мятежников в Лондон вместе с убийством лорда Сэя, наиболее ненавистного из министров короля, сломало упорство его товарищей. «Жалоба» была принята, всем участникам восстания даровано прощение, и мятежники разошлись по домам. Кэд, напрасно старавшийся удерживать их под оружием, пытался образовать новое войско, выпустив из тюрьмы преступников, но его люди перессорились, и он был убит шерифом Кента во время бегства в Сассекс. «Жалоба» спокойно была оставлена без внимания. Никто не пытался устранить указанные в ней злоупотребления, и наиболее ненавистный народу человек, герцог Сомерсет, занял свое место во главе Королевского совета.

Эдмунд Бофор, герцог Сомерсет, как внук Джона Гонта и его любовницы Кэтрин Суинфорд, был представителем младшей линии Ланкастеров; в акте, ее узаконившем, Генрих IV поместил оговорку, лишавшую ее прав на престол, но бездетность Генриха VI пробудила в ней надежды на корону. Сомерсет нашел себе соперника в герцоге Йорке, наследнике домов Йорка, Кларенса и Мортимера, хвалившегося происхождением от Эдуарда III по обеим линиям. Кроме других притязаний, от предъявления которых Йорк пока воздерживался, он требовал признания своего права на наследование престола в качестве потомка пятого сына Эдуарда III, Эдмунда Лэнгли. Расположение народа было, по-видимому, на его стороне, но рождение в 1453 г. у короля сына обещало избавить корону от влияния враждующих партий. Однако в то же время Генрих впал в состояние безумия, лишавшее его возможности управлять, и правителем королевства был назначен Йорк. Когда Генрих оправился, власть была возвращена Сомерсету, который был обвинен и заточен в Тауэр Йорком и которого королева поддерживала с чрезвычайной энергией и смелостью. Йорк тотчас поднял оружие и, поддерживаемый графами Солсбери и Варвиком, главами сильного рода Невиллов, с 3000 человек приблизился к Сент-Олбансу, где расположился лагерьм Генрих. Успешное нападение на город сопровождалось гибелью Сомерсета, а возврат болезни короля привел к возобновлению протектората Йорка. Выздоровление Генриха снова восстановило преобладание дома Бофоров, и после временного примирения обеих партий война возобновилась. Йорк с двумя графами поднял свое знамя при Ледлоу.

Король быстро двинулся на мятежников, и решительная битва была предотвращена только бегством части войска Йорка и роспуском остального. Сам герцог бежал в Ирландию, графы — в Кале, а королева созвала парламент в Ковентри и настаивала на их осуждении. Но война была прервана только на время. На следующее лето графы снова высадились в Кенте и, опираясь на общее восстание этого графства, вступили в Лондон при громких приветствиях его граждан. Королевская армия была разбита в упорном сражении при Нортгемптоне (1460), Маргарита бежала в Шотландию, а Генрих остался пленником в руках герцога Йорка.

Рождение сына Генриха устранило притязания Йорка на наследование престола в силу происхождения от Эдмунда Лэнгли; но едва победа предоставила ему высшее руководство делами, как он решился выставить гораздо более опасные притязания, которые он давно лелеял втайне и сознанию которых он был обязан упорной вражде к нему Генриха и Маргариты. Как потомок Эдмунда Лэнгли он был ближайшим наследником только после дома Ланкастеров, но как потомок Лайонела, старшего брата Джона Гонта, он имел по строгому праву наследования преимущество перед ним. Мы уже видели, как права Лайонела перешли к дому Мортимеров; через Анну, наследницу Мортимеров, мать герцога, они перешли на последнего. Однако не было законных оснований к ограничению права парламента устранять старшую линию в пользу младшей, и в постановлении парламента, предоставившем престол дому Ланкастеров, право дома Мортимеров намеренно было обойдено. Принадлежность короны Ланкастерам тоже говорила против притязаний Йорка. На теперешний взгляд лучшим ответом на них служили слова, произнесенные впоследствии самим Генрихом VI: «Мой отец был королем; его отец также был королем; сам я сорок лет с колыбели носил корону; все вы клялись мне в верности как своему государю, и то же делали ваши отцы относительно моего. Так как же можно оспаривать мое право?». В пользу дома Ланкастеров говорило долгое и спокойное обладание короной, а также чисто юридическое право, созданное свободным решением парламента. Но преследование лоллардов, давление на выборы, военные неудачи, постоянные злоупотребления администрации сильно возбуждали народ против слабого и малодушного короля, царствование которого было занято непрерывной борьбой враждующих партий. Насколько беспорядочно было управление, на это указывает настроение городского класса. Победа при Нортгемптоне была обусловлена восстанием Кента, главного промышленного округа страны. В течение всей следовавшей затем борьбы Лондон и крупные торговые города постоянно стояли за дом Йорков. Преданность Ланкастерам сказывалась только в Уэль-

се, на севере Англии и в юго-западных графствах. Нелепо предполагать, что смышленные купцы Чипсайда руководились отвлеченным вопросом о престолонаследии или что дикие уэльсцы считали себя защитниками права парламента определять престолонаследие. Влияние, приобретенное теперь парламентом, видно из того, что герцог Йорк счел нужным созвать обе палаты и предъявить лордам свои притязания в виде прошения о праве. Он утверждал, что его наследственное право не может быть уничтожено ни присягами, ни рядом актов, устанавливавших и подтверждавших право дома Ланкастеров на корону. Бароны приняли прошение с плохо скрываемым неудовольствием и надеялись решить вопрос с помощью компромисса. Они отказались низложить короля, но не принесли присяги его сыну и обещали по смерти Генриха признать его преемником герцога. Открытое заявление притязаний Йорка тотчас подняло всех сторонников королевского дома, и началась ужасная борьба, получившая название Войны Роз, от белой розы, служившей эмблемой дома Йорков, и алой розы, бывшей значком дома Ланкастеров; началась она на севере под руководством лорда Клиффорда и на западе под начальством нового герцога Сомерсета. Йорк поспешил навстречу северянам с небольшими силами, но был разбит и убит при Уэкфилде (1460). Ожесточение междоусобной борьбы резко выразилось на поле битвы: граф Солсбери был повешен, а голова герцога Ричарда, в насмешку увенчанная бумажной короной, говорят, была выставлена на стенах Йорка. Его второй сын граф Рэтленд на коленях просил пощады у Клиффорда, но отец последнего был первой жертвой битвы при Сент-Олбансе, которой открылась борьба: «Твой отец убил моего», — воскликнул свирепый барон, вонзая кинжал в грудь юноши, — а я убью тебя!». За жестокостью скоро должно было последовать мщение. Старший сын герцога Ричарда Эдуард, граф Марч, поспешил с запада и, разбив отряд ланкастерцев, смело бросился на Лондон. Отряд кентцев под командой графа Варвика преградил ланкастерской армии путь к столице, но после отчаянной битвы при Сент-Олбансе отступил под прикрытием ночи. Немедленное наступление победителей могло бы решить исход борьбы, но королева Маргарита остановила движение, чтобы запятнать свою победу рядом кровавых казней, а грубые северяне, составлявшие ядро ее войска, бросились грабить страну. В это время Эдуард появился под Лондоном. Граждане собрались на его призыв и криками «Да здравствует король Эдуард!» встретили прекрасного юношу, ехавшего по улицам города. Поспешно было созвано собрание преданных Йоркам лордов, и оно постановило, что принятое парламентом соглашение утратило силу и что Генрих Ланкастер лишился престола. Но конечный исход борьбы зависел теперь уже не от парламента, а

от меча. Ошибившись в расчете на Лондон, ланкастерская армия стала быстро отступать к северу, а Эдуард так же поспешно начал ее преследовать.

Обе армии встретились при Таутоне 29 марта 1461 г. Со времени битвы при Сенлаке в Англии не было видано такого сражения как по числу участников, так и по страшному упорству борьбы. Обе армии насчитывали около 120 000 человек. На рассвете при сильной снежной метели войска Йорка двинулись вперед, и сражение продолжалось шесть часов, причем, обе стороны выказали отчаянную храбрость. В критическую минуту отряд Варвика поколебался; тогда он на глазах всех убил своего коня и поклонялся крестом своего меча победить или умереть на поле битвы. Прибытие Норфолка со свежими силами определило исход боя. Ланкастерцы, наконец, начали отступать, река в тылу их превратила отступление в бегство, а бегство и резня, так как ни одна сторона не давала пощады, продолжались всю ночь и следующий день. Герольд Эдуарда насчитал на поле битвы более 20 000 павших ланкастерцев, и едва ли меньшими были потери победителей. Зато их торжество было полным. Граф Нортумберленд был убит; графы Девоншир и Уилтшир были взяты в плен и обезглавлены; герцог Сомерсет ушел в изгнание. Сам Генрих с королевой был вынужден бежать за границу и искать убежища в Шотландии. Дело дома Ланкастеров было проиграно: с победой при Таутоне корона Англии перешла к Эдуарду Йоркскому, ставшему Эдуардом IV. Обширный закон об опале (*attainder*) конфисковал имения и разорил вельмож и дворян, все еще стоявших за дом Ланкастеров. Дальнейшая борьба Маргариты только навлекла новые несчастья на ее приверженцев. Новое восстание на севере было подавлено графом Варвиком. Легенда, освещающая поэтическим блеском сумрак эпохи, рассказывает, как беглая королева, с трудом избегнув шайки разбойников, встретила в глуши леса с новым бродягой; со смелостью отчаяния она вверила ему свое дитя: «Я вверяю твоей верности, — сказала она, — сына твоего короля». Маргарита и ее сын перешли границу под покровительством разбойника; но при подавлении нового восстания Генрих после беспомощных блужданий был предан в руки своих врагов. Его ноги были привязаны к стременам, он был трижды обведен вокруг позорного столба и затем отведен пленником в Тауэр.

Хотя в действительности феодализм был сильно подорван упадком аристократии, все продолжавшимся вымиранием знатных родов и дроблением крупных владений, но он никогда еще не представлялся таким могущественным, как в годы, следовавшие за Таутоном. Среди общего крушения аристократии беспримерного величия достигла фамилия, всегда высоко стоявшая среди ей подобных. Лорд Варвик был по рождению графом Сол-

сбери, сыном крупного вельможи, поддержка которого, главным образом, помогла дому Йорков занять престол. Он удвоил свое богатство и влияние благодаря приобретению графства Варвик через брак с наследницей Бошанов. Его услуги делу Йорков были щедро награждены пожалованием крупных имений из конфискованных у ланкастерцев земель и назначением на высшие места в государственной службе. Он был губернатором Кале, адмиралом Ла-Маншского флота и правителем западных марок. Его личное могущество находило себе опору в могуществе дома Невиллов, главой которого он был. Начальство на северной границе было в руках его брата лорда Монтегю, который на свою долю получил конфискованное графство Нортумберленд и земли своих наследственных врагов — Перси. Младший брат Варвика был назначен архиепископом Йоркским и лорд-канцлером. Меньше наград досталось его дядям. Граф чрезвычайно искусно пользовался огромным влиянием, какое доставляло ему подобное скопление богатства и должностей в его роде. Кроме того, Варвик состоял в близком родстве с Йорками: его кузина Сесили Невилл была матерью нового короля, Эдуарда IV, который, таким образом, приходился графу двоюродным племянником. По внешнему виду Варвик был настоящим типичным феодальным бароном. По своему желанию он мог набрать в своих графствах целые армии. 600 дружинников сопровождали его в парламент. Тысячи вассалов пировали на дворе его замка. Но в действительности немногие так сильно отдалялись от феодального идеала. Он был деятельным и жестоким воином, но враги отрицали у него личную храбрость. На войне он был, скорее, полководцем, чем солдатом. В сущности, он обладал не столько военным, сколько дипломатическим талантом; особенно ловок он был в интригах и изменах, в придумывании заговоров и во внезапных переходах на другую сторону. В юном короле, которого посадил на престол, он встретил не только прекрасного полководца, но и проницательного, и находчивого политика, которому суждено было оставить глубокий и прочный след на характере самой монархии. При вступлении на престол Эдуарду было всего девятнадцать лет, и как родство, так и недавние услуги сделали Варвика в первые три года нового царствования всемогущим человеком в государстве. Но окончательная гибель дела Генриха в 1464 г. подала сигнал к скрытой борьбе между графом и его молодым государем. Первым шагом Эдуарда было объявить о своем браке с вдовой убитого ланкастерца Елизаветой Грей, в то самое время как Варвик вел переговоры о браке с французской принцессой. Семья Елизаветы, Вудвиллы, была выдвинута в противовес Невиллам: ее отец лорд Риверс был назначен казначеем и коннетаблем; ее сын от первого брака был помолвлен с наследницей герцога Эк-

зетера, которой Варвик добивался для своего племянника. Политика Варвика имела в виду тесный союз с Францией; потерпев неудачу в своем первом проекте, он теперь настаивал на браке сестры короля Маргариты с французским принцем, но когда он отправился во Францию для переговоров с Людовиком XI, Эдуард воспользовался его отсутствием, отнял у его брата канцлерство и подготовил брак Маргариты с заклятым врагом Людовика и Варвика — Карлом Смелым, герцогом Бургундии. Варвик ответил на вызов Эдуарда заговором, имевшим целью объединить недовольных йоркцев вокруг брата короля герцога Кларенса. Тайные переговоры окончились браком его дочери с Кларенсом, и вспыхнувшее немедленно восстание отдало Эдуарда в руки его могучего подданного. Но смелый план потерпел неудачу: йоркские вельможи потребовали освобождения короля. Варвик мог искать поддержки только у ланкастерцев, но в оплату за нее последние потребовали восстановления на троне Генриха. Такое требование разрушило план посадить Кларенса на престол, и Варвик был вынужден формально помириться с королем. На следующую весну вспыхнуло новое восстание в Линкольншире, но теперь король был готов к борьбе. Быстрое движение на север окончилось бегством мятежников, и король обратился против виновников восстания. Но ни Кларенс, ни Варвик не могли собрать войска для борьбы с ним: и йоркцы, и ланкастерцы одинаково держались в стороне от них, и они вынуждены были бежать. Кале, хотя им правил наместник Варвика, не допустил их в свои стены, и флот графа должен был искать убежища во Франции, где бургундские связи Эдуарда обеспечивали его врагам поддержку Людовика XI. Бессовестность графа обнаружилась в союзе, который он тотчас заключил со сторонниками дома Ланкастеров. Королева Маргарита обещала женить своего сына на его дочери, а Варвик обязался вернуть корону царственному пленнику, которого сам он вверг в Тауэр. Он выбрал время, когда Эдуард был занят восстанием на севере, а бургундский флот, охранявший Ла-Манш, рассеян бурей, и смело кинулся на берега Англии. По мере движения к северу его войско все возрастало, а отступничество лорда Монтегю, все еще пользовавшегося доверием Эдуарда, принудило короля, в свою очередь, искать убежища за морем. В то время как Эдуард с горстью приверженцев отправился просить помощи у Карла Смелого, Генрих Ланкастер из тюрьмы был снова возведен на престол, но это не вызвало благодарности к «делателю королей» в партии, так беспощадно им сокрушенной. Когда весной 1471 г. Эдуард снова высадился при Рэвенспёре, поведение Варвика и его партии указало на их отвращение к новому союзу; это отвращение, быть может, еще более усиливало страх перед Маргаритой, возвращения которой в Англию ожидали с

часу на час. Эдуард прошел по ланкастерским округам севера, объявляя, что отказывается от всякого права на корону и добивается только своего наследственного герцогства; войско, собранное Монтегю, пропустило его, и на походе к нему присоединился его брат Кларенс, все время действовавший в согласии с Варвиком. Сам граф, расположившись лагерем при Ковентри, готовил подобную же измену, но прибытие двух ланкастерских вождей положило конец переговорам. Когда Монтегю соединился со своим братом, Эдуард, сопровождаемый армией Варвика, направился на Лондон, ворота которого были открыты благодаря измене брата графа архиепископа Невилла, и Генрих Ланкастер снова переселился в Тауэр. Битва при Бернете 14 апреля 1471 г., смешение резни и предательства, окончилась гибелью Варвика, которого упрекали в позорном бегстве. Маргарита явилась слишком поздно, чтобы помочь своему могучему союзнику, а военное торжество Эдуарда было увенчано мастерской стратегией, с какой он принудил к битве и разбил наголову ее войско при Тьюксбери. Сама королева была взята в плен, а ее сын пал на поле битвы, как говорили, зарезанный йоркскими лордами, когда Эдуард ударом железной перчатки ответил на его просьбу о пощаде. Смерть Генриха в Тауэре 4 мая сокрушила последние надежды дома Ланкастеров.

Глава II

Новая монархия (1471—1509)

Немного периодов нашей истории возбуждают такое отвращение, как эпоха Войны Роз. Голый эгоизм целей, из-за которых шла борьба, полное отсутствие в ней какого бы то ни было благородства и рыцарства, а также крупных последствий в результате ее придают еще более ужасный характер ее кровавым битвам, ее жестоким казням и бессовестным изменам. Но даже в самый разгар борьбы спокойный взгляд проницательного политика мог найти в ней предмет для других чувств, кроме простого отвращения. Для Филиппа де Коммина* Англия представляла редкое зрелище страны, где, несмотря на ожесточенное междоусобие, «нет разрушенных или разграбленных зданий и где бедствия войны падают на тех, кто в ней участвует». Действительно, разорение и кровопролитие ограничивались крупны-

* Филипп де Коммин (ок. 1447—1511) — крупный государственный деятель в царствование Людовика XI и Карла VIII, оставил интересные «Мемуары» о событиях, происходивших в его время во Франции и сопредельных странах.

ми баронами и их вассалами. Раз или два, например, при Таутоне, в борьбу вмешивались города, но большей частью городские и сельские классы держались от нее совсем в стороне. Медленно, но постоянно в руки англичан переходила внешняя торговля страны, которую до того вели купцы итальянские и ганзейские или торговцы Каталонии и Южной Франции. Английские купцы селились во Флоренции и Венеции. Английские торговые суда являлись на Балтийском море. Масса покровительственных законов, составляющих важную особенность законодательства Эдуарда IV, указывает на первые робкие шаги фабричной промышленности. Общее спокойствие всей страны, несмотря на ожесточенные междоусобия среди аристократии, доказывается тем замечательным фактом, что суды продолжали действовать в полном порядке. Судебные палаты заседали в Вестминстере; судьи по-прежнему совершали свои объезды. Благодаря обособлению присяжных от свидетелей, суд присяжных все более получал свою современную форму. Но если ложен обычный взгляд, представляющий Англию во время Войны Роз чистым хаосом измены и кровопролития, то еще более неправильно признание маловажности последствий междоусобия. Война Роз не только погубила одну династию и возвела на престол другую, она если не уничтожила совсем, то более чем на столетие остановила развитие английской свободы. В начале ее Англия, по словам Коммина, «из всех известных мне государств мира была страной с наилучшим устройством, где народ всего менее подвергался притеснениям». Король Англии, заметил проницательный наблюдатель, «не может предпринять ничего важного, не созвав своего парламента, что считается самым мудрым и святым делом, и поэтому здесь королям служат усерднее и лучше», чем деспотичным государям материка. Писавший в это время судья сэр Джон Фортескью мог хвалиться тем, что власть английского короля не абсолютная, а ограниченная монархия; в Англии законом служила не воля государя, и он не мог издавать законы или налагать подати не иначе как с согласия своих подданных. Никогда еще парламент не принимал такого постоянного и сильного участия в управлении страной. Никогда еще начала конституционной свободы не казались столь понятными и дорогими для всего народа. Долгий спор между короной и двумя палатами со времен Эдуарда I прочно установил великие гарантии народной свободы — свободу от произвольного обложения, от произвольного издания законов, от произвольного ареста и ответственность даже высших слуг короны перед парламентом и законом. Но с окончанием борьбы за престолонаследие эта свобода внезапно исчезает. Мы вступаем в период конституционной реакции, быстро разрушающей медленное создание предшествовавшего века. Деятельность парламен-

та почти прекратилась или под подавляющим влиянием короны стала чистой формальностью. Законодательные права обеих палат были захвачены Королевским советом. Произвольное обложение явилось снова в виде добровольных приношений или принудительных займов. Личная свобода была почти уничтожена широкой системой шпионажа и постоянным применением произвольных арестов. Правосудие было унижено щедрым пользованием биллями об опале, сильным расширением судебной власти Королевского совета, раболепством судей, давлением на присяжных. Перемена отличалась характером настолько широким и всеобъемлющим, что поверхностным наблюдателям позднейшего времени представлялось, будто конституционная монархия Эдуардов и Генрихов при Тюдорах внезапно преобразилась в деспотизм, ничем не отличающийся от турецкого. Взгляд этот, без сомнения, страдает преувеличением и несправедливостью. Каким бы стеснением и искажением ни подвергался закон, всегда самые самовластные короли Англии признавали его ограничения, а повиновение самого раболепного подданного ограничивалось в области религии и политики такими пределами, перешагнуть которые его не мог заставить никакой культ государя. Но даже и при таких оговорках, характер монархии со времени Эдуарда IV до времени Елизаветы остается в нашей истории чем-то чуждым и обособленным. Власть старых английских и нормандских королей, Анжуйцев или Плантагенетов трудно привести в связь с властью королей дома Йорков или Тюдоров.

Отыскивая причину такого внезапного и полного переворота, мы находим ее в исчезновении того общественного строя, в котором наша политическая свобода до того находила себе защиту. Свобода была приобретена мечами баронов; за сохранением ее ревниво следила церковь. Новый класс общин, образовавшийся из союза сельского дворянства с городским купечеством, по мере своего роста расширял область своей политической деятельности. Но в конце Войны Роз эти старые пути уже перестали ограничивать действия короны. Аристократия все больше приходила в упадок. Церковь томилась в тоске и беспомощности, пока ее не поразил Томас Кромвель. Торговцы и мелкие собственники впали в политическую бездеятельность. С другой стороны, корона, всего пятьюдесятью годами ранее служившая игрушкой для всех партий, приобрела всеобъемлющее значение. Старая королевская власть, ограниченная силами феодализма, духовным оружием церкви и успехами политической свободы, внезапно исчезла, и на месте ее мы находим всепоглощающий и неограниченный деспотизм новой монархии. Хотя, конечно, переворот носил коренной характер, но мы уже видели постепенный рост причин, его вызвавших. Социальная

организация, из которой до того развивался и на которой все еще основывался наш политический строй, была постепенно подорвана развитием промышленности, ростом церковного и светского просвещения, изменениями в военном деле. Его падение было ускорено новым отношением людей к церкви, ограничением выборного права общин, упадком знати. Из крупных фамилий одни вымерли, другие прозябали в младших линиях, сохранявших только тень своего прежнего величия. За исключением Поулов, Стэнли и Говардов, фамилий тоже недавнего происхождения, едва ли какая отрасль старой аристократии принимала с этих пор участие в делах управления. Ни церковь, ни мелкие землевладельцы, вместе с купечеством составлявшие общины, не желали занять место разоренных баронов. По воспоминаниям о прошлом, по огромному богатству и политическому опыту духовенство все еще представлялось внушительной корпорацией, но его влияние подрывалось отсутствием духовного энтузиазма, нравственной косностью, его враждебностью к глубочайшим религиозным убеждениям народа, его слепой неприязнью к умственному движению, начинавшему волновать мир. Кое-что из ее прежней самостоятельности, правда, сохранилось еще среди низшего духовенства и монашеских орденов; но свое политическое влияние церковь оказывала через прелатов, а в них было заметно совсем не то настроение, что в духовенстве. Крайняя нужда — нападки баронов на их светские владения и лоллардов на их духовную власть — поставила их в зависимость от короны, и они отдали свое влияние в распоряжение короля с единственной целью — с помощью монархии предотвратить ограбление церкви. Но в широком политическом смысле значение духовенства было ничтожно. Менее понятно, на первый взгляд, отчего должны были, подобно церкви и лордам, утратить политическое влияние общины: численность и богатство мелких землевладельцев быстро возрастали, в то время как городской класс богател благодаря развитию торговли. На политическом бессилии нижней палаты сказалось теперь влияние ограничения свободы выборов и давления на них. Эти меры поставили ее в полную зависимость от аристократии, и она пала вместе с классом, ею руководившим и оказывавшим ей поддержку. Соперничавшие силы исчезли, и монархия готова была занять их место. Духовенство, дворянство и горожане не только не имели сил защищать свободу против короны, но сами интересы самосохранения побуждали их в это время повергнуть свободу ее ногам. Церковь все еще опасалась успехов ереси. Замкнутые городские корпорации нуждались в защите своих привилегий. Помещик разделял купцом глубокий страх перед войной и беспорядком, свидетелями которых они были, и желали только одного — снабдить корону такой властью,

которая предотвратила бы возвращение анархии. Но, что всего важнее, имущие классы были страстно привязаны к монархии, как к единственной крупной силе, которая могла спасти их от социального переворота. Восстание общин Кента показывает, что беспорядки, против которых были направлены Статуты о рабочих, все еще оставались грозным источником недовольства. Великий земледельческий переворот, описанный нами раньше, — соединение мелких участков в более крупные, уменьшение пахотной земли и расширение пастбищ — сильно содействовал увеличению численности и буйства класса бродячих рабочих. Во время Генриха VI мы впервые слышим о бунтах против «огораживания» общинных земель — бунтах, составляющих отличительную особенность эпохи Тюдоров; они указывают не только на постоянную и повсеместную борьбу между помещиками и мелкими крестьянами, но и на массу социального недовольства, постоянно искавшего себе выхода в насилии и перевороте. В этот момент роспуск военных свит знати и возвращение с войны израненных и увечных солдат внесли в кипящую массу новое начало насилия и беспорядка. В сущности, в основе деспотизма Тюдоров и лежит эта боязнь социального переворота. Для имущих классов обуздание бедноты было вопросом жизни или смерти. Предприниматели и собственники готовы были отдать свободу в руки единственной власти, которая могла защитить их от социальной анархии. Статутом о рабочих и его страшным наследием — пауперизмом Англия была обязана эгоистичным опасениям землевладельцев. Свокорыстным страхам землевладельцев и купцов она была обязана деспотизмом монархии.

Основателем новой монархии был Эдуард IV. Еще в юности он выказал себя одним из самых способных и жестоких деятелей междоусобной войны. В первом расцвете мужества он с холодной жестокостью смотрел на казни седовласых вельмож. В позднейшей погоне за властью он выказал еще больше тонкости в предательстве, чем сам Варвик. Едва одержав победу, молодой король, казалось, беспечно отдался распутству, пирам с купчихами Лондона и ласкам любовниц, вроде Джейн Шор. Он отличался высоким ростом и необыкновенной красотой, любезные манеры и беззаботная веселость обращения доставили ему популярность, какой не пользовались и более достойные короли. Но его беспечность и веселость служили только прикрытием для глубокого политического таланта. По внешнему виду он представлял полную противоположность хитрым государям своего времени — Людовику XI или Фердинанду Арагонскому; но он преследовал те же цели, что и они, и преследовал их так же успешно. Любезничая с олдерменами, дурачась с любовницами или проводя время в Вестминсте-

ре за новыми типографскими листами, Эдуард незаметно закладывал основания абсолютной власти. Уже почти полное прекращение деятельности парламента было само по себе переворотом. До этого времени участие парламента в управлении страной все более усиливалось. При первых двух королях Ланкастерского дома он созывался почти каждый год. Общинам было не только прямо уступлено право самообложения и законодательной инициативы, но они принимали участие в управлении государством, руководили расходованием средств и с помощью повторных обвинений привлекали к ответу министров короля. При Генрихе VI был сделан важный конституционный шаг: была покинута старая форма представления ходатайств парламента в виде петиций, которые затем Королевский совет превращал в законы; теперь статут представлялся на усмотрение короля в его окончательной форме, и корона лишилась своего прежнего права изменять его. Но с царствованием Эдуарда IV прекращается не только это развитие, но почти прерывается сама деятельность парламента. Впервые со времени Иоанна не было предложено ни одного закона, развивавшего свободу или устранявшего злоупотребления власти. Нужда в созыве палат была устранена приливом в королевскую казну огромных богатств, доставленных конфискациями во время междоусобий. По одному только биллю об опале, последовавшему за победой при Таутоне, к королю перешли имения 12 крупных баронов и более сотни средних и мелких дворян. В тот или другой период междоусобий во владение короля, говорят, перешла почти пятая часть всех земель. Пошлины были уступлены королю пожизненно. Свои средства Эдуард усилил, ведя в широких размерах торговлю. Его корабли, нагруженные оловом, шерстью и сукном, прославили имя царственного купца в гаванях Италии и Греции. Новым источником дохода послужили для него задуманные им предприятия против Франции; хотя они и не удались вследствие отказа Карла Смелого в содействии, но средства, назначенные для не начатой войны, только усилили королевскую казну. Эта предполагаемая война позволила Эдуарду не только усилить его средства, но и нанести смертельный удар правам, приобретенным общинами. Пренебрегши обычаем заключать займы с разрешения парламента, Эдуард призвал к себе в 1474 г. лондонских купцов и потребовал от каждого «добровольного подарка» (*benevolence*), соразмерного нуждам короля. Это требование возбудило сильное неудовольствие даже в тех классах, среди которых король был всего более популярен, но в данное время сопротивление не принесло пользы и система «одолжений» скоро развилась в принудительные займы Уолси и Карла I. Эдуарду Тюдору были обязаны введением широкой системы шпионажа, применением пытки, привычкой

вмешиваться в отправление суда. Более светлый отпечаток носит его царствование только в истории умственного развития; основатель новой монархии может претендовать на наше уважение как покровитель Кекстона.

Литература в это время находилась, по-видимому, в таком же мертвенном состоянии, как и свобода. Гений Чосера и нескольких его продолжателей еще противодействовал некоторое время педантизму, манерности и бесплодию их века; но внезапное прекращение этого поэтического творчества оставило Англию за толпой рифмоплетов, компиляторов, составителей бесконечных духовных драм и стихотворных хроник, переводчиков устарелых французских романов. В тяжеловесной пошлости Гауэра мелькают еще иногда слабые проблески жизненности и красоты старых образцов; в детских поучениях и прозаических общих местах Окклева и Лидгейта даже и их незаметно. Вместе со средними веками вымирала и их литература: в литературе и жизни их стремление к знанию исчерпало себя в бесплодной путанице схоластической философии, их идеал воинственного благородства был заслонен блестящей мишурой поддельного рыцарства, а мистический энтузиазм их набожности перешел под влиянием преследования в узкое правоверие и поверхностную нравственность. Духовенство, в прежние времена служившее средоточием умственной деятельности, перестало быть просвещенным классом, вообще. Монастыри уже не были прибежищем учености: «Я нашел в них, — говорит через 20 лет после смерти Чосера итальянский путешественник Поджио, — много людей, преданных чувственности, но очень мало любителей учености, да и те по варварскому обычаю были искуснее в игре словами и софизмах, чем сведущи в литературе». Начавшееся в это время учреждение колледжей не могло остановить в университетах быстрого упадка числа слушателей и их учености. В Оксфорде число их доходило до 1/5 числа студентов XIV в., а «оксфордская латынь» стала обычным обозначением наречия, утратившего всякое понятие о грамматике. Исчезла почти всякая литературная производительность. Историография, впрочем, прозябала еще в компиляции извлечений из прежних писателей, вроде так называемых произведений Уолсингема, в тощих монастырских летописях или в ничтожных популярных изложениях. Единственным живым проявлением умственной деятельности служат многочисленные трактаты об алхимии и магии, об эликсире жизни и философском камне; рост этой плесени всего яснее доказывает усиление умственного упадка. С другой стороны, параллельно с вымиранием прежнего просвещенного класса замечается появление нового интереса к знанию в народных массах. Переписка семейства Пастон, к счастью сохранившаяся, обнаруживает такую плавность и живость изложения, такую граммати-

ческую правильность, которая немного раньше была невозможна в частных письмах; она же изображает захолустных помещиков, рассуждающих о книгах и составляющих библиотеки. Сам характер литературы эпохи, ее любовь к сокращенным изложениям научного и исторического знания, ее драматические представления или мистерии, банальная мораль ее поэтов, популярность ее стихотворных хроник — все это служит новым доказательством того, что она перестала быть достоянием одного образованного класса и начала обращаться ко всему народу. Ее распространение в массах содействовало усиленному употреблению тряпичной бумаги вместо более дорогого пергамента. Никогда прежде не изготовлялось лучших рукописей, никогда не переписывалось столько книг. Этот усиленный спрос заставил перенести переписку и разрисовку рукописей из кабинетов монастырей в руки ремесленных цехов, вроде цеха Св. Иоанна в Брюгге или «братьев пера» в Брюсселе. В сущности, именно это возрастание спроса на книги, памфлеты или летучие листки, по преимуществу грамматического или религиозного содержания, и вызвало в середине XV в. изобретение книгопечатания. Сначала мы встречаем листы, грубо отпечатанные с деревянных досок, потом книги печатаются отдельными подвижными буквами. Начало книгопечатанию было положено в Майнце тремя знаменитыми печатниками: Гуттенбергом, Фустом и Шёффером; затем оно было перенесено на юг — в Страсбург, перешло за Альпы — в Венецию, где при посредстве Альдов содействовало распространению по Европе греческой литературы, а потом спустилось по Рейну в города Фландрии. В мастерской Колара Мансиона, в маленьком помещении над папертью церкви Св. Доната в Брюгге, и научился, вероятно, Кекстон тому искусству, которое ему первому пришлось ввести в Англии.

Уильям Кекстон был родом из Кента, но служил в мальчиках у одного лондонского лавочника и провел 30 лет зрелого возраста во Фландрии в качестве руководителя гильдии заморских купцов Англии; затем мы находим его переписчиком на службе у сестры Эдуарда, герцогини Маргариты Бургундской. Но скучная работа переписчика была скоро упразднена новым искусством, принесенным в Брюгге Коларом Мансионом. В предисловии к первой напечатанной им книге «Троянские рассказы», Кекстон говорит: «Переписывая одно и то же, мое перо исписалось, моя рука устала и ослабела, мои глаза, долго смотря на белую бумагу, потускнели, а мое мужество не так быстро и склонно к работе, как было прежде, потому что с каждым днем ко мне подкрадывается старость и ослабляет все тело, а между тем я обещал различным господам и моим друзьям доставить им как можно скорее названную книгу в печать по тому способу и виду, какие вы мо-

жете видеть; она не написана пером и чернилами, как другие книги, так что каждый может получать их только один раз, но все экземпляры этой истории были в один день начаты и в один же день окончены». Драгоценным грузом, привезенным им в Англию после 35-летнего отсутствия, был печатный станок. В ближайшие 15 лет, находясь уже в том возрасте, когда другие люди ищут покоя и уединения, он с замечательной энергией погрузился в свое новое занятие. Его «красный столб», т. е. геральдический щит с красной полосой посредине, приглашал покупателей в типографию, помещавшуюся в Вестминстерской богадельне, на небольшом дворе, заключавшем часовню и несколько богаделенных домов, возле западного фасада церкви, где бедным раздавалась монастырская милостыня: «Если кому, духовному или мирянину, — гласит его объявление, — угодно купить требник двух или трех Солсберийских поминаний, напечатанный в виде настоящего письма вполне хорошо и верно, тот пусть придет в Вестминстер в богадельню под красным столбом; там он получит их за дешевую цену». Как показывает это объявление, он был практичным, деловым человеком: он не думал соперничать с Альдами Венеции или классическими типографами Рима, а решил своим ремеслом добывать себе средства к жизни, снабжая священников служебниками, а проповедников проповедями, доставляя ученому «Золотую легенду», а рыцарю и барону — «веселые и забавные рыцарские рассказы». Но, заботясь о приобретении хлеба насущного, он находил время делать много для наличных произведений высшей литературы. Он напечатал все, что было в тогдашней английской поэзии сколько-нибудь значительного. О его уважении к «этому почтенному человеку, Джеффри Чосеру, заслуживающему вечной памяти», свидетельствует не только его издание «Кентерберийских рассказов», но и перепечатка их, когда у него в руках оказался лучший текст поэмы. К произведениям Чосера были присоединены поэмы Лидгейта и Гауэра. Из произведений исторического характера, существовавших тогда на английском языке, имели значение только «Хроника о Бруте» и «Всеобщая летопись» Гигдена, и Кекстон не только напечатал их, но и сам продолжал последнюю до своего времени. Перевод Боэция, перевод «Энеиды» с французского и один или два трактата Цицерона были случайными первенцами классической печати в Англии.

Еще энергичнее, чем в качестве типографа, действовал Кекстон как переводчик. Переведенные им сочинения занимают более 4000 его печатных страниц. Потребность в таких переводах указывает на популярное направление литературы в эту эпоху; но как ни силен, по-видимому, был спрос, в отношении к нему Кекстона нет ничего механического. В его любопытных

предисловиях сказывается простой естественный литературный вкус, особенно по отношению к стилю и формам языка: «Не имея работы в руках, — говорит он в предисловии к своей «Энеиде», — я сидел в своем кабинете, где лежало много различных брошюр и книг; и вот случайно попалась мне руки французская книжка, недавно переведенная неким благородным французским ученым с латинского; называется она «Энеида» и написана по-латыни благородным поэтом и великим ученым Вергилием. Эта книга доставила мне большое удовольствие изящными и учтивыми выражениями и словами на французском языке; подобных им, столь поучительных и благочинных, я никогда не читал. И показалась мне эта книга очень пригодной для благородных людей как ради красноречия, так и ради историй; я рассмотрел ее и решил перевести на английский язык, взял тотчас перо и чернила и написал один или два листа». Но работа над переводом обуславливала выбор английского наречия, и это придало значение деятельности Кекстона в истории нашего языка. Он стоял между двух школ — французской изысканности и английского педантизма. Это было время, когда устанавливался характер литературного языка, и любопытно наблюдать в словах самого Кекстона происходившую из-за этого борьбу: «Некоторые почтенные и великие ученые были у меня и выражали желание, чтобы я написал самыми изысканными выражениями, какие только могу найти»; с другой стороны, «некоторые господа недавно порицали меня, говоря, что в моих переводах встречается много изысканных выражений, недоступных пониманию простого народа, и просили меня употреблять выражения старые и безыскусные». «Очень бы я желал угодить всем», — замечает добродушный типограф, но его здравый смысл охранил его и от придворных, и от школьных искушений. Его собственный вкус склонялся к английскому языку, но скорее «к употребляемым всеми повседневно выражениям», чем к языку его старозаветных советников: «Взял я старую книгу и стал читать ее и, право, ее английский язык оказался таким грубым и простым, что я с трудом мог понимать его»; между тем староанглийские хартии, извлеченные Вестминстерским аббатом в качестве образцов из архивов его монастыря, казались «более похожими на голландские, чем на английские». С другой стороны, принять ходячий говор было вовсе не легко в такое время, когда даже разговорная речь подвергалась быстрым изменениям: «Употребляемый теперь разговорный язык сильно отличается от употреблявшегося во время моего детства». Но это не все: даже у каждого графства было свое особое наречие, едва понятное для жителей другой области: «Разговорный язык одного графства сильно отличается от языка другого. Случилось в мое время, что несколько купцов плыли на корабле по Темзе,

чтобы морем отправиться в Зеландию. За отсутствием ветра они остановились в Форленде и вышли на берег прогуляться. Один из них, галантерейщик по имени Шеффилд, вошел в дом и попросил у хозяев мяса и особенно яиц, но хозяйка ответила, что она не умеет говорить по-французски. Купец рассердился, так как он тоже не умел говорить по-французски и хотел достать яиц (eggs), а она его не понимала. Тогда наконец другой сказал, что он хочет достать еуген (яиц), и хозяйка сказала, что поняла его. Ну, что же нам теперь писать, — прибавляет смущенный типограф, eggs или еуген? Право, ввиду различия и перемен в языке трудно угодить каждому». При этом, его родным языком было наречие лесного Кента, «где без сомнения говорят таким же простым и грубым языком, как и в любой части Англии». Если к этому прибавить его долгое пребывание во Фландрии, то едва ли нас могут удивить его признания насчет первых его переводов; «когда все это представилось мне, то, переведя уже пять или шесть листов, я пришел в отчаяние от этой работы и решил никогда не продолжать ее, отложил листы в сторону и после того два года не занимался ею».

Однако до самой смерти он деятельно занимался переводами. Всеобщий интерес, возбужденный его работами, облегчал все трудности. Когда обширность «Золотой легенды» почти лишает его надежды окончить ее и возбуждает желание «отложить ее в сторону», граф Арундел убеждает его ни в каком случае не оставлять ее и обещает, когда она будет напечатана, дарить ему каждое лето оленя и каждую зиму — лань. «Много благородных и знатных людей этого королевства приходили и часто спрашивали меня, отчего я не перевел и не напечатал прекрасной истории о Святом Граале». Нам известно, что посетители остроумного печатника обсуждали с ним вопрос об историческом существовании Артура. Герцогиня Сомерсет ссужает его «Бланшардином и Эглантиной»; архидьякон Колчестера приносит ему свой перевод сочинения, озаглавленного «Катон»; галантерейщик из Лондона убеждает его взяться за «Царственную книгу» Филиппа Красивого. Брат королевы граф Риверс обсуждает с ним свой перевод «Изречений философов». Даже короли относились с интересом к его работе: его July был напечатан под покровительством Эдуарда IV, его «Рыцарское звание» посвящено Ричарду III, его «Военные подвиги» изданы по желанию Генриха VII. Обычай собирать большие и роскошные библиотеки от французских принцев этого времени перешел к английским: ценное собрание книг было у Генриха VI; Луврская библиотека была захвачена герцогом Хэмфри Глостером и послужила основанием прекрасного собрания, подаренного им Оксфордскому университету.

Крупные вельможи принимали деятельное личное участие в возрождении литературы. Воинственный сэр Джон Фастолф был известным любителем книг. Граф Риверс сам принадлежал к числу современных писателей; в промежутках между богомольями и политикой он нашел досуг перевести для типографии Кекстона «Изречения философов» и несколько религиозных трактатов. В умственном отношении гораздо более талантливым другом оказался Джон Типтофт, граф Уорчестер. В царствование Генриха VI он в поисках науки отправился в Италию, учился в ее университетах, сделался профессором в Падуе, где его изящная латынь растрогала до слез ученейшего из пап, Пия II, более известного под именем Энея Сильвия. Кекстон не может найти достаточно теплых слов для выражения своего восхищения человеком, «который в свое время блистал доблестью и знанием, с которым, на мой взгляд, по учености и нравственной доблести не мог сравниться ни один из светских вельмож». Рядом с силой ума в Типтофте проявлялась отличавшая Возрождение жестокость, и потому гибель человека, своей беспощадностью даже среди ужасов междоусобий стяжавшего себе прозвище Мясник, вызвала сожаление у одного только типографа: «Какой великой утратой, — говорит он в предисловии, написанном много времени после его смерти, — была гибель этого благородного, доблестного и талантливого вельможи! Когда я вспоминаю его жизнь, ученость и доблесть, его положение и таланты, потеря такого человека (да не прогневается Господь!) представляется мне слишком тяжелой».

Среди вельмож, поощрявших деятельность Кекстона, мы уже видели младшего брата короля Ричарда, герцога Глостера. Столь же жестокий и хитрый, как сам Эдуард, герцог выступил со смелым честолюбивым планом, как только вступление на престол 13-летнего мальчика снова вызвало сильное соперничество при дворе. После смерти короля Ричард поспешил завладеть своим племянником Эдуардом V, устранить влияние семейства королевы и получить от совета звание Протектора королевства. Прошло немного больше месяца, как вдруг он появился в зале совета и стал обвинять лорда Гастингса, главного советника покойного короля и верного защитника его сыновей, в колдовстве и покушении на свою жизнь. Затем он ударил рукой по столу, и зал наполнился солдатами. «Я не буду обедать, — сказал герцог, обращаясь к Гастингсу, — пока мне не принесут твоей головы»; и влиятельный министр немедленно был обезглавлен во дворе Тауэра. Архиепископ Йоркский и епископ Илийский были посажены в тюрьму, и это устранило все помехи для выполнения планов Ричарда. Оставалось сделать только один шаг, и через два месяца после смерти брата герцог, выказав притворно некоторое сопротивление, согласился принять ходатайство,

представленное от имени трех сословий группой лордов и других лиц; это ходатайство отвергало права сыновей Эдуарда ввиду их происхождения от незаконного брака и сына Кларенса ввиду осуждения их отца* и предлагало герцогу принять обязанности и титул короля. Его малолетние племянники, Эдуард V и его брат герцог Йоркский, были заключены в Тауэр и там убиты, говорят, по приказу дяди; в то же время были преданы казни брат и сын королевы. Сосланный в Уэльс под надзор Бекингема Мортон, епископ Илийский, воспользовался гибелью сыновей Эдуарда, чтобы с помощью недовольных йоркцев и остатков ланкастерской партии составить обширный заговор. Потомство Генриха V прекратилось, но потомство Джона Гонта еще уцелело. Леди Маргарита Бофор, последняя представительница дома Сомерсетов, вышла замуж за графа Ричмонда, Эдмунда Тюдора, и стала матерью Генриха Тюдора. В акт, узаконивший Бофоров, Генрих IV внес незаконное постановление, которое лишало их права на престолонаследие; но права Генриха Тюдора, как последнего представителя Ланкастерской линии, были признаны сторонниками его дома, а ревнивая вражда йоркских государей заставила его искать убежища в Бретани. Мортон намеревался женить Генриха Тюдора на Елизавете, старшей дочери и наследнице Эдуарда IV; с помощью Бекингема он подготовил грозное восстание, но взрыв его скоро был подавлен**. Как ни смел был по характеру Ричард, но при захвате престола он полагался не на одно только насилие. В царствование брата он внимательно следил за тем, как росло общественное недовольство по мере выяснения новой политики короны, и он обратился за помощью к народу в качестве восстановителя его старых вольностей: «Мы решились, — говорили жители Лондона в прошении королю, — скорее рисковать жизнью и страхом смерти, чем жить в такой рабской зависимости, какую мы долго переносили до сих пор, когда нас притесняли и обременяли вымогательствами и новыми налогами вопреки законам божеским и человеческим и вопреки унаследованным всяким англичанином воль-

* Один из церковных иерархов объявил, что еще до брака с Елизаветой Вудвилл Эдуард IV тайно женился на другой женщине, таким образом, его брак с Елизаветой становился незаконным, а дети — незаконнорожденными и теряли права на наследование престолом. В этих условиях трон должен был бы перейти к детям следующего по старшинству брата — герцога Кларенса, но тот был казнен по приказу Эдуарда IV. С его детьми расправятся позднее Тюдоры (сына убьют по приказу Генриха VII, а дочь будет казнена уже при Генрихе VIII).

** Генри Стаффорд, герцог Бекингем, (ок. 1454—1483) был сначала приверженцем Ричарда III, помогал ему захватить престол, но затем примкнул к оппозиции. Современные историки полагают, что восстание против Ричарда Бекингем поднял не в пользу Генриха Тюдора, а намереваясь сам захватить престол, т. к. по женской линии сам происходил от королевской династии. После подавления восстания Бекингем был казнен.

ности и правам». На прошение Ричард ответил созывом нового парламента, который, как мы видели, совсем не собирался при Эдуарде, и проведением реформ. В единственной сессии его короткого царствования обычай вымогать деньги путем добровольных приношений был объявлен незаконным, а дарование амнистии и прощение штрафов до некоторой степени упразднило деспотическое управление, с помощью которого Эдуард в одно и то же время и держал в страхе страну, и пополнял свою казну. Масса статуты нарушила дремоту парламентского законодательства. Ряд торговых законов имел целью охранение интересов расширяющейся торговли. Любовь короля к литературе сказалась в постановлении, воспрещавшем проведение таких статуты, которые «мешали иностранному художнику или купцу, из какой бы нации или страны он ни был, ввозить в королевство и продавать в розницу или иным образом всякого рода книги писанные или печатные». Запрещение неправильного захвата имущества до изобличения собственника в преступлении — как это часто практиковалось в царствование Эдуарда, — отпуск на волю еще остававшихся несвободными крестьян на королевских землях, основание религиозных учреждений — все это указывало на усиленное стремление Ричарда добиться популярности, которая заставила бы забыть кровавое начало его царствования. Но по мере распространения молвы об убийстве сыновей Эдуарда это ужасное злодейство возмущало самых безжалостных людей. Стремление править согласно конституции было скоро оставлено, а взимание приношений вопреки только что проведенному закону вызвало общее неудовольствие. Король чувствовал себя в безопасности; ему даже удалось добиться согласия королевы-матери на брак его с Елизаветой; Генрих Тюдор, одинокий изгнанник, казался неопасным соперником. Но как только он высадился в Милфорде и двинулся через Уэльс, тотчас обнаружился обширный заговор. Едва он встретился с армией короля при Босворте в Лестершире (22 августа 1485 г.), как измена решила исход столкновения. До начала битвы король покинул один отряд его войска под командой лорда Стэнли*, а затем — и другой под началом графа Нортумберленда; тогда с криком «Измена! Измена!» Ричард бросился в гущу сечи. В пылу отчаяния он уже поверг наземь ланкастерское знамя и прорубил себе дорогу к своему сопернику, но тут пал, подавленный массой врагов. Его корону по окончании сражения нашли лежащей возле куста шиповника и возложили на голову победителя.

* Томас Стэнли был женат на матери Генриха Тюдора, так что вполне естественно, что он примкнул к войску своего пасынка.

Со вступлением на престол Генриха VII окончился длинный период кровавых междоусобиц. Брак его с Елизаветой объединил две враждующие линии, а единственных опасных соперников, сыновей Эдуарда IV, унесла смерть. На время двум замечательным самозванцам удалось вызвать сильные восстания; это были мнимые граф Варвик и герцог Йоркский, младший из сыновей Эдуарда IV. Первого поражение обратило в поваренка королевской кухни; второй (Перкин Уорбек), после ряда приключений и после признания его притязаний королями Шотландии и Франции, а также его названной теткой, вдовствующей герцогиней Бургундской, был взят в плен и спустя четыре года повешен в Тайборне. Восстание только яснее доказало ту силу, какую придал новой монархии происшедший в военном искусстве переворот. Изобретение пороха разрушило феодализм. Рыцарь на коне и в тяжелом вооружении уступил место простому пехотинцу. Крепости, недоступные для осадных орудий Средневековья, рушились под огнем новой артиллерии. Хотя порох был в употреблении уже со времени битвы при Креси, но, в сущности, он стал применяться с успехом в военном деле не раньше вступления на престол дома Ланкастеров. Это немедленно изменило способ ведения войны. Войны Генриха V состояли из осад. «Последний барон», как живописно называли Варвика, полагался, главным образом, на свой артиллерийский парк. Артиллерия же решила дело при Бернете и Тьюксбери и доставила Генриху VII победу над окружавшими его грозными опасностями. Действительно, эта перемена сообщила короне почти непреодолимую силу. В Средние века достаточно было крупному барону кликнуть клич, как поднималось грозное восстание. Крестьяне и вассалы вынимали свои луки из угла, рыцари надевали доспехи, и через несколько дней трону грозила целая армия. Но теперь без артиллерии она была беспомощна, а единственный артиллерийский парк страны был в распоряжении короля. Сознание своей силы и позволило новому государю спокойно вернуться к политике Эдуарда IV. Однако происхождение заставило его обосновать свои права на престол на признании парламента. Не ссылаясь ни на право наследования, ни на завоевание, палаты просто постановили, «что корона должна принадлежать царственной особе их государя, короля Генриха VII, и от него переходит к его законным наследникам». Впрочем, он настойчиво следовал политике Эдуарда IV, так что в последние 13 лет его царствования парламент созывался только два раза. Главным стремлением короля было собрать такую казну, которая избавила бы его от необходимости обращаться за помощью к парламенту. Основание королевской казны составили субсидии, назначенные для ведения войн, от которых Генрих уклонялся; затем она пополнялась возобновлением забытых претен-

зий короны, взысканием штрафов за владение забытыми ленами и массой мелких вымогательств. Любимый министр короля придумал такой прием, получивший название «вилы Мортон»: от людей, живших прилично, он требовал взносов в казну на том основании, что их богатство несомненно, а от живших скромно — под тем предлогом, что бережливость их обогатила. Еще большие суммы были взяты с тех, кто принимал участие в восстаниях, прерывавших царствование короля. Все эти старания были так успешны, что Генрих мог оставить преемнику казну в два миллиона. То же подражание политике Эдуарда заметно и в гражданском управлении Генриха. Хотя сила аристократии и была сломлена, но все еще оставались лорды, за которыми он следил с ревнивым вниманием. Их сила состояла в толпах буйных слуг, кишевших вокруг их замков и готовых в случае восстания образовать войско, тогда как в мирное время они являлись виновниками насилия и нарушения закона. Особым законом Эдуард предписал роспуск этих военных свит, и Генрих с чрезвычайной строгостью настаивал на исполнении этого. При посещении графа Оксфорда, одного из преданнейших сторонников Ланкастерского дома, король нашел выстроенными для приема его два длинных ряда ливрейных слуг: «Благодарю вас, лорд, за ваш радушный прием, — сказал Генрих при прощании, — но я не могу допустить нарушение моих законов на моих глазах. Мой прокурор побеседует с вами». Граф был очень доволен, когда отделался штрафом в 10 000 фунтов. С целью устранения этой опасности Генрих особенно прибегал к уголовной юрисдикции Королевского совета. Из состава совета он выделил постоянную судебную комиссию, от места своего обыкновенного пребывания получившую название суда Звездной палаты. Вероятно, король просто имел в виду восстановить порядок в стране, привлекая крупных баронов к своему собственному суду; но учреждение Звездной палаты уже не как чрезвычайного, а постоянного судилища, традиционные полномочия которого были подтверждены парламентским статутом и в котором отсутствие присяжных лишало подсудимого права быть судимым равными себе, доставило сыну Генриха VII послушнейшее орудие деспотизма. Но хотя политика первого Тюдора постоянно направлялась в сторону деспотизма, его характер, казалось, обещал, скорее, царствование поэтичного мечтателя, чем государственного человека. Его худощавая фигура, бледное лицо, живые глаза, застенчивый и замкнутый характер со взрывами шутилой беседы и врожденной насмешливости — говорили о внутренней сосредоточенности и восторженности. У него были литературные и артистические наклонности: он был покровителем нового печатного станка, любителем книг и искусства. Но жизнь оставляла Генриху мало досуга для мечтаний или ду-

ховной работы. Поглощенный интригами внешней политики, борясь с опасностями внутри страны, он не мог принимать большого участия в единственном движении, волновавшем в его царствование Англию, — в великом духовном перевороте, носящем название Возрождения наук и искусств.

Глава III Гуманизм (1509—1520)

Как ни крупны были следствия политики Генриха VII, они представляются нам мелкими, когда мы обращаемся к великим движениям, волновавшим тогда умы людей. С миром происходили перемены, невиданные со времени победы христианства и падения Римской империи. Его физические пределы внезапно расширились. Открытия Коперника раскрыли людям тайны вселенной. Португальские моряки обогнули мыс Доброй Надежды и на своих купеческих судах достигли гаваней Индии. Колумб первым переплыл океан и к Старому Свету присоединил Новый. Себастьян Кабот, выйдя из Бристольской гавани, пробился сквозь ледяные горы до Лабрадора. Это внезапное столкновение с новыми странами, новыми верами, новыми племенами пробудило в дремавших умах европейцев страстную жажду знания. Первая книга, описывавшая западный мир, путешествие Америго Веспуччи, скоро оказалась у всех в руках. «Утопия» Мора, с ее широким наблюдением всех предметов человеческой мысли и действия, показывает нам, как резко и полно были сброшены с человеческой жизни рамки Средневековья. Взятие Константинополя турками и бегство греческих ученых на берега Италии снова открыли науку и литературу Древнего мира как раз в то время, когда пришла в упадок духовная энергия Средних веков. Изгнанные греческие ученые были радушно приняты в Италии. Флоренция, так долго служившая родиной свободы и искусства, стала центром духовного возрождения. Поэмы Гомера, трагедии Софокла, философские трактаты Аристотеля и Платона снова вернулись к жизни под тенью величественного купола, которым Брунеллески только что увенчал город на Арно. Всю ту неутолимую энергию, которую Флоренция так долго тратила на дело свободы, она теперь, лишившись своей свободы, обратила на дело просвещения. Галеры ее купцов, как самый драгоценный груз, привозили с Востока рукописи. Во дворцах ее вельмож под фресками Гирландайо размещались изящные обломки классических скульптур. Группа политиков и артистов, собиравшихся в садах Ручеллаи, встречала с трепетом восторга находку в пыли монастырской библиотеки трактата Цицерона или Саллю-

ствия. Скоро из-за Альп нахлынули студенты — учиться у флорентийских наставников греческому языку, ключу к новой науке. Гросин, член Нового колледжа в Оксфорде, был, может быть, первым англичанином, учившимся у греческого изгнанника Халкондила, а лекции по греческому языку, читанные им по возвращении в Оксфорд, отмечают начало нового периода в нашей истории. С открытием греческой литературы и науки в Англии пробудилась деятельность научная и литературная, и начало непрерывного развития английской науки можно считать с возвращения другого оксфордского студента Линекра, слушавшего флорентийца Полициана и своим переводом Галена оживившего предания древней медицины.

Но с самого начала было очевидно, что в Англии возрождение наук будет носить совсем другой характер, чем в Италии, — менее литературный, менее общечеловеческий, но более нравственный, более религиозный, более практический в отношении общественном и политическом. Возрождение рационального христианства, как в Англии, так и в германском мире вообще, началось научными занятиями Джона Колета в Италии, а его энергия и серьезность служили лучшим доказательством того влияния, какое новое движение должно было оказать на религиозную жизнь Англии. Колет вернулся в Оксфорд совсем не затронутый платоновским мистицизмом или полусерьезным неверием, которое отличало группу ученых, окружавших Лоренцо Медичи. Едва ли сильнее повлиял на него их литературный энтузиазм. Изучение греческого языка интересовало его почти исключительно в одном отношении, в отношении религиозном. Греческий язык был тем ключом, которым он мог отпереть Евангелия и Новый Завет, а в них он думал найти новую основу для религии. Это стремление Колета — отбросить традиционные догматы своего времени и найти в самих Евангелиях разумную и практическую религию наложило свою особенную печать на богословие Возрождения. Его вера основывалась просто на живом представлении личности Христа. Выдающееся значение нравственной жизни, свободная критика древнейших Писаний, стремление к простым формам учения и исповедания — все это стало основными особенностями религиозного воззрения, резко отличавшегося от взглядов как позднейшей реформации, так и самого католицизма. То аллегорическое и мистическое богословие, на создание которого Средние века так бесплодно тратили свою духовную энергию, сразу пало, когда Колет отверг все, кроме исторического и грамматического смысла библейского текста. Величественное учение веры, созданное учеными Средних веков, представлялось ему просто «схоластическим искажением». В жизни и изречениях основателя христианства он нашел простое и разумное учение, для которого лучшим выраже-

нием служил апостольский символ веры: «О прочем, — говорил он с характерным неудовольствием, — пусть спорят, как им угодно, богословы». О его отношении к более грубым сторонам тогдашней религии ясно говорит его поведение перед знаменитой ракой Св. Томаса в Кентерберии. Когда он увидел блеск ее драгоценных камней, дорогие изваяния, изящные работы из металла, то с едкой иронией заметил, что святой, столь щедрый при жизни к бедным, наверное, предпочел бы, чтобы они владели богатством, окружавшим его после смерти. С гневным отвращением он отклонил от себя предложенные ему для поклонения одежды и обувь мученика. Серьезность, религиозный пыл, нетерпеливое и враждебное отношение к прошлому мы замечаем у него в каждом слове и действии; то же выразилось и в лекциях о посланиях св. Павла, читанных им в Оксфорде. Даже самому критическому из его слушателей он представлялся «похожим на вдохновенного: голос его был громче, глаза блитали, вся его фигура и лицо изменялись, он казался вне себя». Внешняя жизнь его отличалась суровостью: она сказывалась в его простом черном платье и скромном столе, которые он сохранил и впоследствии, достигнув высокого положения. Тем не менее его живая беседа, его искренняя простота, чистота и благородство его жизни, даже резкие проявления его раздражительности привязали к нему группу ученых, среди которых первое место занимали Эразм и Томас Мор.

«Греция перешла за Альпы!» — воскликнул изгнанник Аргиропул, услышав, как немец Рейхлин переводил Фукидида; но скоро слава Эразма затмила известность Рейхлина и следовавших за ним немецких ученых. Свое огромное трудолюбие и приобретенный постепенно запас классической учености Эразм разделял с современными ему учеными. По знакомству с творениями Отцов Церкви он, пожалуй, стоял ниже Лютера, а по оригинальности и глубине мысли — несомненно, уступал Мору. Его богословские мнения оказали на мир более сильное влияние, чем даже его ученость, но они почти без изменения были заимствованы у Колета. Оригинально было в нем соединение широкой учености с тонкой наблюдательностью, пронизательной критики с живой фантазией, врожденного остроумия со здравым смыслом — соединение свойственных Колету искреннего благочестия и страстного стремления к разумной религии со спокойным беспристрастием к прежним учениям, сильной любовью к светскому образованию и гениальной свободой и игрой ума. Эта особенность и сделала Эразма для германских народов представителем животворного влияния гуманизма в течение его долгой ученой жизни, начавшейся в Париже и окончившейся в уединении и печали в Базеле. В эпоху возвращения Колета из Италии Эразм был еще сравнительно безвестным юношей, но рыцарское во-

одушевление новой наукой заметно в его письмах из Парижа, куда он пришел учиться: «Я всей душой отдался изучению греческого языка, пишет он, и как только достану немного денег, куплю греческих книг, а затем кое-что из платья». Отчаявшись добраться до Италии, молодой студент отправился в Оксфорд как в единственное место за Альпами, где наставления Гросина могли содействовать ознакомлению его с греческой литературой. Но едва он прибыл туда, как всякое чувство сожаления исчезло: «Я нашел в Оксфорде, — пишет он, — столько утонченности и учености, что совсем почти и не думаю о поездке в Италию, разве для того только, чтобы побывать там. Когда я слушаю моего друга Колета, мне кажется, я слушаю самого Платона. Кто не удивляется широкой учености Гросина? Кто может судить проникательнее, глубже и тоньше Линекра? Когда природа производила более благородные, нежные и счастливые характеры, чем у Томаса Мора?».

Но новое движение далеко не ограничивалось стенами Оксфорда. В его пользу медленно, но постоянно действовало влияние времени. Печатный станок сделал литературу достоянием всех. В последние 30 лет XV в. в Европе, говорят, было выпущено 10 000 изданий книг и брошюр, из них самая важная половина, — конечно, в Италии; до конца века любому студенту стали доступны все латинские авторы. В первые 20 лет следующего века были изданы почти все наиболее крупные греческие писатели. Глубокое влияние, оказанное на мир этим приливом двух великих классических литератур, сразу дало себя почувствовать: «В первый раз, употребляя живописное выражение Тэна, люди открыли свои глаза и посмотрели вокруг». Человеческий дух, казалось, почерпнул новую энергию из обозрения открывшегося перед ним обширного поля. Он набросился на все области знания и все их преобразовал. Точные науки, филология, политика, критическое исследование религиозной истины — все они ведут свое начало от Ренессанса, этого Возрождения мира. Искусство утратило много чистоты и оригинальности, зато много выиграло в деле свободы и бесстрашной преданности природе. Литература, на время подавленная сильным притяжением великих образцов Греции и Рима, скоро расцвела с никогда не виданным до того богатством форм и широким духом гуманности. В Англии влияние нового движения распространилось далеко за пределы той маленькой группы, в которой оно несколько лет назад, по-видимому, сосредоточивалось. Его покровителями сделались виднейшие прелаты. Лангтон, епископ Уинчестерский, находил удовольствие в том, что каждый вечер экзаменовал молодых студентов своей свиты и наиболее обещавших из них отправлял учиться в Италию. Еще более преданного друга нашла себе на-

ука в архиепископе Кентерберийском, Уоргеме. Хотя ему приходилось много заниматься государственными делами, но он был не просто политиком. Похвалы, расточавшиеся ему при его жизни Эразмом: восхваление учености примаса, его искусства в делах, его веселого характера, скромности, верности друзьям — все это можно считать тем же, чем обыкновенно бывает восхваление людей при жизни. Но трудно сомневаться в искренности горячей характеристики, написанной Эразмом тогда, когда смерть устранила всякое основание для лести. Суждение всех благомыслящих современников подтверждается перепиской крупного прелата со странствующим ученым, сохранением в литературной дружбе полного равенства, несмотря на ряд проявлений щедрости с одной стороны, обращением Эразма, в благородном предисловии к св. Иерониму, к просвещенному благочестию примаса. В простоте своей жизни Уоргем представлял поразительную противоположность роскоши вельмож того времени. Он совсем не заботился о пышности, чувственных удовольствиях, охоте и игре в кости, чем так часто они увлекались. Час приятного чтения и спокойная беседа с ученым пришельцем только и прерывали бесконечный ряд светских и церковных дел. Немногие люди осуществляли с такой полнотой, как Уоргем, новое понимание умственного и нравственного равенства, перед которым должны были исчезнуть старые социальные различия. Его любимым развлечением было ужинать с кучкой ученых посетителей, забавляясь их шутками и отвечая на них шутками, со своей стороны. Но ученый мир находил за столом у примаса не только ужин или веселье. Его кошелек был всегда открыт для помощи им: «Если бы в юности я нашел себе такого покровителя, — писал Эразм много времени спустя, — меня тоже можно было бы отнести к числу счастливых». Во второе посещение Англии (1510) Эразм с Гросином поднялся вверх по реке до резиденции Уоргема в Мамбете, и, несмотря на неудачное начало, знакомство оказалось чрезвычайно удачным. Эразм писал домой, что примас полюбил его, как сына или брата, а его щедрость превосходит щедрость всех его друзей. Уоргем предложил ему доходное место, а когда Эразм от него отказался, назначил ему ежегодную пенсию в сто крон. Когда Эразм переселился в Париж, призыв Уоргема вернул его в Англию. Прочие покровители оставляли его голодать на кислом кембриджском пиве, а Уоргем прислал ему 50 золотых с изображением ангела: «Я хотел бы, чтобы их было 30 легионов», — добродушно пошутил примас.

Как ни существенны были эти успехи, но группа ученых, представлявшая в Англии гуманизм, оставалась в царствование Генриха VII немногочисленной. С восшествием на престол его сына для них, употребляя их соб-

ственное восторженное выражение, взошла заря «нового порядка вещей». При вступлении на престол Генрих VIII едва достиг 18 лет, но его красота, сила, искусство владеть оружием, казалось, соответствовали его откровенному и великодушному характеру и благородству его политических стремлений. Он сразу прекратил вымогательства, практиковавшиеся под предлогом исполнения забытых законов, и привлек к суду финансовых помощников своего отца по обвинению в измене, чем подал надежду на более популярное управление. Никогда вступление нового государя на престол не возбуждало больших ожиданий в народе. Злейший враг Генриха VIII — Поул* — признавал впоследствии, что характер короля в начале его царствования «давал право ожидать всего лучшего». Уже по своему росту и силе он превосходил своих окружающих, был сильным борцом, смелым охотником, прекрасным стрелком, на турнирах побеждал одного противника за другим. С этим физическим превосходством молодой монарх соединял широту и гибкость ума, которая должна была составлять отличительную черту начавшегося века. К гуманизму он относился с несомненным и сердечным участием; Генрих не только сам был прекрасным ученым, но даже в детстве своим остроумием и познаниями вызвал удивление Эразма. Великий ученый поспешил назад в Англию, чтобы выразить свой восторг в «Похвале глупости», песни торжества над старым миром невежества и ханжества, которому предстояло исчезнуть перед светом и знанием нового царствования. В этой забавной книжке глупость в дурацком колпаке всходит на кафедру и своей сатирой бичует нелепости окружающего мира, суеверие монаха, педантизм грамматика, догматизм школьных ученых, эгоизм и тиранию королей.

Ирония Эразма была поддержана серьезными усилиями Колета. За четыре года перед тем он был вызван из Оксфорда и назначен настоятелем собора Св. Павла, где сделался великим проповедником своего времени, предшественником Латимера по простоте, прямоте и силе. Он воспользовался этим, чтобы начать реформу обучения, и основал собственную латинскую школу рядом с собором Св. Павла (1510). Стремления ее основателя видны из помещения над кафедрой учителя изображения младенца Иисуса с начертанными над ним словами: «Его послушайте». «Поднимите

* Реджинальд Поул (1500–1558) был сыном принцессы Маргариты (дочери герцога Кларенса) и Чарльза Поула, графа Солсбери. Поул, бывший кардиналом, возражал против развода короля с его первой женой Екатериной Арагонской и разрыва с Римско-католической церковью. Кроме религиозных мотивов, у кардинала были и личные причины ненавидеть Генриха VIII, казнившего по вымышленному обвинению в заговоре против себя мать Поула, которой в тот момент было 68 лет.

ваши белые ручки за меня, молящего Бога о вас», — писал своим ученикам Колет, выказывая нежность, таившуюся под его суровой внешностью. В новой школе были осуществлены все педагогические планы реформаторов. Старые приемы обучения были заменены новыми грамматиками, составленными для нее Эразмом и другими учеными. Во главе ее был поставлен Лили, оксфордский студент, изучивший греческий язык на Востоке. Предписания Колета имели в виду соединение разумной религиозности со здоровой ученостью, упразднение схоластической логики и настойчивое распространение обеих классических литератур. Более фанатичная часть духовенства тотчас подняла тревогу: «Неудивительно, — писал Мор Колету, — если ваша школа вызывает бурю: она походит на деревянного коня, в котором на гибель варварской Трое были скрыты вооруженные греки». Но призыв к тревоге остался без ответа. Изучение греческого языка не только постепенно проникало в существовавшие школы, по примеру Колета последовала масса подражателей. Говорят, в последние годы царствования Генриха было основано больше латинских школ, чем в три предыдущих века. Стремление к этому только усиливалось, по мере того как ослабевало прямое влияние гуманизма. Латинские школы Эдуарда VI и Елизаветы, одним словом, та система воспитания средних классов, которая в конце XVI в. изменила внешний вид Англии, принадлежали к следствиям основания Колетом школы Св. Павла. Но «вооруженные греки» Мора нашли себе еще более широкое поле деятельности в реформе высшего образования. Влияние гуманизма на университеты как будто воззвало их от смерти к жизни. Эразм описывает перемену, происшедшую в Кембридже, где он сам некоторое время был преподавателем греческого языка: «Всего 30 лет назад здесь преподавались только *Parva Logicalia*, Александр, устарелые упражнения по Аристотелю и *Quaestiones* Скотта». С течением времени к этому присоединились новые лучшие науки, математика, новый или несколько обновленный Аристотель и греческая литература. Что же из этого вышло? Университет теперь так процветает, что может соперничать с лучшими современными университетами». Латимер и Крок вернулись из Италии и продолжили дело Эразма в Кембридже, где им оказывал сильную поддержку Фишер, епископ Рочестерский, сам бывший одним из лучших представителей нового направления. В Оксфорде гуманизм встретил более сильное сопротивление. Спор принял вид мальчишеских драк, в которых юные сторонники и противники гуманизма выступали греками и троянцами. Сам король должен был вызвать к себе одного из злейших его противников и положить конец нападкам, раздававшимся с университетской кафедры. Проповедник ссылался на то, что им руководит Дух. «Да, — воз-

разил король, — дух, но не мудрости, а безумия». Но даже и в Оксфорде спор скоро пришел к концу. Первый греческий курс учредил там в своем новом колледже Тела Христова Фокс епископ Уинчестерский, а позднее кафедра греческого языка была учреждена короной: «Студенты, — писал он, — просто набрасываются на греческую литературу; при изучении ее им приходится переносить бодрствование, пост, труд и даже голод». Венцом всего дела было учреждение великолепного Колледжа Кардинала, на кафедры которого Уолси пригласил самых выдающихся из современных европейских ученых и для библиотеки которого он обещал достать копии со всех рукописей Ватикана.

Гуманизм требовал преобразования не только школы, но и церкви. Уоргем все еще оказывал ему постоянное содействие; по его поручению Колет обратился к собранию духовенства с речью, излагавшей перед ним с беспощадной строгостью религиозный идеал гуманизма: «О, если бы хоть раз, — разразился пылкий оратор, — вы вспомнили ваше имя и звание и подумали о преобразовании церкви. Никогда не было оно более необходимо, никогда ее состояние не требовало крупнейших усилий. Нас тревожат еретики, — продолжал он, — но никакая их ересь не опасна так для нас и для всего народа, как порочная и распутная жизнь духовенства. Это худшая из всех ересей». Реформа епископата должна была предшествовать реформе духовенства, а преобразование жизни духовенства должно было привести к оживлению религиозного чувства во всем народе. Духовенство должно было отказаться от скопления должностей, роскоши и светской жизни. Епископы должны были стать деятельными проповедниками, покинуть двор, трудиться в своих епархиях. Нужно было заботиться о посвящении и возвышении более достойных служителей, требовать присутствия их на местах, поднять низкий уровень нравственности духовенства. Очевидно, что представители гуманизма стремились не к преобразованию учения, а к реформе образа жизни, не к перевороту, который устранил бы презираемые ими старые суеверия, а к возрождению религиозного чувства, перед которым они должны были исчезнуть неизбежно. Вскоре епископ Лондонский обвинил Колета в ереси, но Уоргем защитил его, а Генрих, которому был подан на него донос, велел ему смело идти вперед: «Каждый может иметь своего наставника, — сказал молодой король после длинного разговора, — и каждый может ему покровительствовать, а это — мой наставник».

Но для успеха новой реформы, осуществимой только при посредстве спокойного распространения знания и постепенного просвещения человеческой совести, необходим был мир; между тем молодой король, на по-

мощь которого рассчитывала группа ученых, уже мечтал о войне. Хотя между обеими сторонами давно уже был заключен мир, но короли Англии, в сущности, никогда не отказывались от своих видов на французскую корону, и Генрих с гордостью вспоминал о старых притязаниях Англии на Нормандию и Гиень. Эдуард IV и Генрих VII следовали одинаково мирной политике, прерванной только тщетными усилиями спасти Бретань от французского нашествия. Но рост владений и власти французских королей благодаря политике Людовика XI — присоединению крупных уделов и введению административной централизации — сильно возвысил Францию над ее соперниками. В сущности, противовесом ее могуществу служила только сила Испании: благодаря объединению Кастилии и Арагона она образовала великую державу, могущество которой холодный и осторожный Фердинанд еще более усилил, выдав свою дочь и наследницу за эрцгерцога Филиппа, сына императора Максимилиана. Считая Англию слишком слабой для борьбы с Францией один на один, Генрих VII в союзе с Испанией видел гарантию против «наследственного врага»; этот союз был скреплен браком его старшего сына Артура с дочерью Фердинанда Екатериной. Этот брак был разорван смертью молодого новобрачного, но Фердинанду удалось выхлопотать у папы для Екатерины разрешение выйти за брата ее покойного супруга. В борьбе Франции с Испанией Генрих VII старался поддерживать равновесие между ними и потому отказывался от союза; но едва Генрих VIII наследовал своему отцу в 1509 г., как брак был заключен. В первые годы его царствования всю его энергию, казалось, поглощали турниры и пиры, но, в действительности, Генрих выжидал для возобновления старой борьбы повода, который должно было ему доставить честолюбие Франции. При преемниках Людовика XI усилия французских королей были направлены на завоевание Италии. Поход Карла VIII за Альпы и приобретенное им с одного удара господство над Италией сразу поставили Францию выше окружающих ее государств. Два раза французов изгоняли из завоеванных областей, но при преемнике Карла Людовике XII они сохранили господство над Миланом и большей частью Северной Италии; а разгром Венеции Камбрейской лигой сокрушил последнее государство, которое могло противодействовать их видам на весь полуостров. Для изгнания французов из Италии Фердинанду при посредстве его родства с императором, помощи Венеции и папы Юлия II, а также воинственного Генриха VIII удалось составить Священную лигу, названную так от присоединения к ней папы. Говоря словами Юлия, «варвары были прогнаны за Альпы»; но Фердинанд со своей бессовестной ловкостью воспользовался английским войском, высадившимся при Фонтарабии с целью нападения на Гиень, только для при-

крытия завоевания Наварры. Войско взбунтовалось и отплыло домой; все смеялись над неумением англичан в войне. Но мужество Генриха возрастало вместе с нуждой. Он лично высадился на севере Франции, и внезапное бегство французской конницы в схватке близ Гинегата, от ее бескровного характера получившей название «битвы шпор», доставило ему (1514) крепости Теруан и Турнэ. Молодой победитель уже мечтал о завоевании своего «французского наследства», как вдруг отказ Фердинанда и разложение союза оставило его одиноким. Однако он многого достиг. Могущество Франции было сломлено, папству была возвращена свобода, Англия вновь выступила перед Европой в качестве великой державы. Зато миллионы, оставленные Генрихом VII, были истрачены, а подданные были обременены тяжелыми налогами, и потому, как ни был Генрих раздражен изменой Фердинанда, ему все-таки пришлось заключить мир.

Для надежд гуманистов этот внезапный взрыв воинского духа, это превращение в простого завоевателя того монарха, от которого они ожидали «нового порядка», было горьким разочарованием. Колет с кафедры собора Св. Павла провозгласил, что «несправедливый мир лучше справедливейшей войны» и что, «когда люди из ненависти и честолюбия сражаются и губят один другого, они борются под знаменем не Христа, а Дьявола». Эразм покинул Кембридж со злой сатирой на окружавшее его «безумие»: «Народ, — сказал он, — строит города, а безумие государей разрушает их», и его слова должны были поразить современников. Государи его времени представлялись ему похожими на хищных птиц, клювом и когтями истребляющих трудом добытое богатство и знание человечества: «Божественными называют королей, — восклицает он с горькой иронией, — которые едва заслуживают имени людей; они остаются непобедимыми, хотя убегают с поля каждой битвы, светлейшими, хотя в буре войны поворачивают мир вверх дном, славными, хотя пребывают в неведении всего высокого, католическими, хотя следуют всему чему угодно, только не учению Христа. Из всех птиц мудрые люди сочли представителем царской власти одного орла, а между тем он не отличается ни красотой, ни музыкальностью и не пригоден в пищу; это — птица жестокая, жадная, ненавистная для всех, всеми проклиная; ее страшную способность причинять зло превосходит только ее стремление творить его». В первый раз в новой истории религия прямо обособлялась от честолюбия государей и ужасов войны; в первый раз новый дух критики отваживается не только сомневаться, но и прямо отрицать то, что прежде представлялось основными истинами политического порядка. Мы скоро увидим, какое значение придали новым взглядам более глубокий мыслитель; в данный момент внезапный мир обратил негодова-

ние гуманистов на более практические цели. Хотя Генрих и обманул их надежды, но он все еще оставался их другом. При всех переворотах в его бурной жизни, его двор постоянно оставался прибежищем для науки. Его малолетний сын Эдуард VI был отлично знаком с обоими классическими языками; его дочь Мария писала прекрасные письма по-латыни. Елизавета начинала каждый день чтением в течение часа греческого Евангелия, трагедий Софокла или речей Демосфена. Придворные дамы переняли привычку у королевской семьи и принялись усердно изучать диалоги Платона. Как ни сильно отличались министры Генриха один от другого, все они сходились в том, что разделяли и поощряли новое просвещение. Поэтому опасения ученого кружка скоро исчезли. Избрание Льва X, товарища Линекра, друга Эразма, казалось, обещало гуманизму влияние на всю церковь. Время беспокойного честолюбивого Юлия, казалось, прошло безвозвратно, и новый папа высказался за всеобщий мир: «Лев, — писал английский агент при его дворе, — желает покровительствовать литературе и искусствам, заниматься постройками и не вступать в войну не иначе, как по принуждению». Этим словам последующие события придали особенное значение. При новом министре Уолси Англия воздерживалась от всякого активного вмешательства в дела материка и так же, как и Лев, поддерживала мир. Колет был занят своей учебной реформой; Эразм отправлял в Англию работы, которые английская щедрость позволяла ему исполнять за границей. Уоргем так же великодушно помогал ему, как и защищал Колета. При поддержке Уоргема Эразм во время своего пребывания в Кембридже начал издание творений бл. Иеронима, и оно вышло с посвящением архиепископу на заглавном листе. Полное сочувствие примаса высшим стремлениям гуманизма видно из того, что Эразм мог искать в его имени защиты для произведения, смело призывавшего христианство на путь здоровой библейской критики, что он мог обращаться к нему с такими ясными словами, как его предисловие. Нигде дух исследования не восставал с такой твердостью против притязаний авторитета: «Синоды и декреты, и даже соборы, — писал Эразм, — по моему суждению, вовсе не самые подходящие средства для устранения ошибок, если только истина зависит не просто от авторитета. Напротив, чем больше догматов, тем обильнее почва производить ереси. Никогда христианская вера не была чище или незапятнаннее, чем когда мир довольствовался простым исповеданием, и притом кратчайшим из известных нам». Даже теперь трогательно слышать такое обращение к разуму и образованию от той волны догматизма, которая скоро должна была наводнить христианство Аугсбургскими исповеданиями, символами папы Пия, Вестминстерскими катехизисами и 39 статьями. Те начала, на кото-

рых Эразм настаивал в своем предисловии к св. Иерониму, были выдвинуты с еще большей ясностью и силой в произведении, послужившем основанием позднейшей реформации; это было издание греческого текста Нового Завета, над которым он начал работать в Кембридже и которое обязано было своим завершением почти исключительно одобрению и помощи английских ученых. Само по себе это издание было смелым нарушением богословского предания. Оно оставляло в стороне латинский перевод Вульгаты, заслуживший всеобщее признание церкви. Эразмов способ истолкования основывался не на установленных догматах, а на буквальном смысле текста. Его настоящей целью было то, что имел в виду Колет в своих Оксфордских лекциях. Эразм желал на место церкви поставить самого Христа, от учений богословов вернуть людей к учениям основателя христианства. Для него все значение Евангелия заключалось в той живости, с какой оно передает впечатление от личности самого Христа: «Если нам где-нибудь показывают следы ног Христа, мы преклоняем колена и поклоняемся им. Почему мы не преклоняемся, скорее, перед полным жизни изображением Его в этих книгах? Из любви к Христу мы украшаем золотом и драгоценными камнями деревянные и каменные статуи, но ведь они представляют нам только внешний Его вид, а эти книги дают нам живое изображение Его Святого Духа». Таким же образом настоящее учение Христа должно было заменить таинственные догматы древнейшего церковного учения: «Как будто Христос учил таким тонкостям, — восклицает Эразм, — тонкостям, которые едва могут понимать немногие богословы, или как будто сила христианской религии состоит в том, чтобы люди ее не знали! Может быть, благоразумнее, — продолжает он с характерной иронией, — скрывать политические тайны королей, но Христос желал, чтобы Его таинства распространялись всюду возможно больше». Эразм утверждал, что нужно еще положить основание преобразованному христианству распространением в массе знакомства с учением Христа. Со времени Уиклифа английская церковь считала перевод и чтение Библии на народном языке ересью и преступлением, влекущим за собой сожжение; теперь при молчаливом одобрении примаса Эразм смело выражал желание сделать Библию доступной и понятной для всех: «Я желаю, чтобы даже слабые женщины читали Евангелие и Послания св. Павла. Я желаю, чтобы они были переведены на все языки, так чтобы их могли читать и понимать не только шотландцы и ирландцы, но даже сарацины и турки. Но первый шаг к тому, чтобы их читали, это сделать их понятными для читателя. Я жажду того времени, когда пахарь будет петь стихи Писания, следуя за плугом, когда ткач будет напевать их под стук своего челнока, а путник евангельскими рассказами

будет коротать скуку своего путешествия». Новый Завет Эразма (1516) стал предметом всеобщих разговоров: его читали и обсуждали двор, университеты, все семьи, куда проникло новое направление. Но как ни смел казаться его язык, Ургем не только выразил свое одобрение, но и рекомендовал издание, по словам его письма к Эразму, одному епископу за другим. Самый влиятельный из его викариев, Фокс, епископ Уинчестерский, объявил, что один перевод стоит десяти комментариев; а один из самых ученых, Фишер Рочестерский, держал Эразма у себя в доме.

Как ни смелы и многообещающи были эти усилия гуманизма в области учебной и церковной реформы, еще большее значение имели его политические и социальные взгляды, выразившиеся в «Утопии» Томаса Мора. Уже при дворе кардинала Мортонa, где он провел свое детство, его способности рано возбудили большие надежды: «Кто доживет, — говорил обыкновенно седоволосый политик, — тот увидит, что из этого мальчика, теперь прислуживающего за столом, выйдет необыкновенный человек». Мы видели, как очаровали в Оксфорде Колета и Эразма его удивительная ученость и любезный характер; едва он покинул университет, как был уже известен в Европе в качестве одного из самых выдающихся представителей нового движения. Резкое неправильное лицо, серые беспокойные глаза, тонкие подвижные губы, спутанные темные волосы, небрежная походка и одежда, изображенные на полотне Гольбейна, отражают внутреннюю жизнь человека, его живость, его неутомимый всепоглощающий ум, его едкое и даже беспощадное остроумие, его добродушный полупечальный юмор, смехом и слезами прикрывавший глубокое и нежное чувство. Мор лучше Колета служит в Англии представителем религиозного направления гуманизма, так как представляет его в более мягкой и задушевной форме. Молодой юрист смеялся над суеверием и аскетизмом современных монахов и в то же время носил на теле волосную рубашку и налагал на себя епитимии, желая подготовиться к поступлению в орден картезианцев. Характерно для Мора, что из всех веселых и распутных ученых итальянского Возрождения он выбрал себе предметом подражания ученика Савонаролы — Пико дела Мирандолу. Хотя ханжи, слушавшие его смелые речи, и называли его свободным мыслителем, но когда он говорил с друзьями о Небе и будущей жизни, его глаза разгорались, а голос начинал дрожать. Принимая должность, он прямо поставил условием «слушаться сначала Бога и затем уже короля». Но в его внешности не было ничего монашеского или отшельнического. Молодой ученый с его веселой беседой, увлекательным обращением, беспощадными эпиграммами, страстной любовью к музыке, всепоглощающим чтением, оригинальными взглядами, насмешками

над монахами, юношеской страстью к свободе, казался воплощением блеска и свободы гуманизма. Но события скоро должны были показать, что под этим веселым характером скрывалась суровая непреклонность сознательного решения. Флорентийские ученые писали декламации против тиранов и в то же время своей лестью прикрывали тиранию дома Медичи. Едва Мор вступил в парламент, как вескость его доводов и строгое чувство справедливости привели к отклонению ходатайства короля о тяжелых налогах: «Безбородый юноша, — говорили придворные (а Мор было только 26 лет), — расстроил план короля». В остальные годы царствования Генриха VII молодой юрист считал благоразумным держаться в стороне от общественной жизни, но это мало повлияло на его неутомимую деятельность. Он сразу выдвинулся в адвокатуру. Он написал «Жизнь Эдуарда V», первое произведение, в котором является новая английская проза, отличающаяся чистотой и ясностью стиля и свободная от устарелых форм выражения и классического педантизма. Место аскетических мечтаний заняли семейные привязанности. Бросая взгляд на него в его доме в Челси, мы начинаем понимать нежные эпитеты, какими осыпает его Эразм. Любимым делом молодого супруга было развивать в девушке, которую он выбрал себе в жены, интерес к литературе и музыке. Из отношений Мора к его детям была изгнана та сдержанность, какой требовал от родителей тогдашний обычай. Он любил учить их и привлекал к более усердным занятиям монетами и редкостями, собранными в его кабинете. Наравне с детьми он интересовался их любимцами и играми и мог приводить в сад серьезных ученых и политиков смотреть на клетку для кроликов его дочери или любоваться прыжками ее любимой обезьяны: «Я довольно вас целовал, — писал он в шуточных стихах своим детям, увлеченный далеко политическими делами, — но едва ли когда бил». Вступление на престол Генриха VIII вернуло его к политической деятельности. В его доме Эразм написал «Похвалу глупости», в латинском названии произведения (*Moriae encomium*) отразилось в виде забавной шутки пристрастие автора его к безграничному юмору Мора: «Мор, — говорит его потомок, — также сильно старался оставаться вдали от двора, как большинство людей стремится туда попасть». Прелесть его беседы доставляла молодому государю столько удовольствия, что он даже раз в месяц не мог получить позволение повидаться с женой и детьми, общество которых он очень любил; тогда он начал скрывать свою природную веселость и так, мало-помалу, от нее отставать». Мор вполне разделял разочарование, вызванное в его друзьях внезапным проявлением воинственности Генриха, но мир снова привлек его на сторону короля, и он скоро приобрел его доверие в качестве советника и дипломата.

В одной из таких дипломатических поездок Мор, по его словам, услышал известия о царстве Утопия (Нигде): «Однажды я слушал обедню в храме Богородицы, красивейшей, великолепнейшей и замечательнейшей из всех церквей города Антверпена, а потому и наиболее посещаемой народом. Когда служба окончилась, я уже готовился идти к себе домой, как вдруг заметил моего друга Питера Гилса, разговаривающим с каким-то пожилым иностранцем; это был человек с загорелым от солнца лицом, широкой бородой и плащом, красиво наброшенным на плечи, которого по лицу и одежде я тотчас счел моряком». Моряк оказался спутником Америго Веспуччи в путешествиях в Новый Свет, «описание которых теперь напечатано и находится у всех в руках». По приглашению Мора он проводил его домой и «там в моем саду мы уселись на скамье, покрытой зеленым дерном, и стали беседовать» о чудесных приключениях моряка, как он был оставлен Веспуччи в Америке, странствовал по стране, расположенной под полуденным кругом, и, наконец, прибыл в царство Утопия. Историю его Мор и рассказывает в удивительной книге, открывающей нам сердцевину нового движения. До сих пор оно было движением ученых и духовных. Его преобразовательные планы носили почти исключительно характер научный и религиозный. У Мора та же свободная игра ума, которая отказалась от старых форм общественных и политических. От мира, в котором пятнадцативековая проповедь христианства произвела социальную неправду, религиозную нетерпимость и политический деспотизм, философ-юморист обратился к Утопии, где простым усилиям чисто человеческой доблести удалось осуществить безопасность, равенство, братство и свободу, для которых, по видимому, и создано было само общество. Как бы странствуя по этой фантастической стране, Мор затрагивает великие вопросы, глубоко волнующие мир, — вопросы о труде, преступлении, совести, управлении. Проницательность его ума доказывается уже тем, что он подметил и подверг разбору такие вопросы, но еще сильнее заметна его оригинальность в предлагаемых им решениях. Среди массы того, что представляется просто игрой пылкой фантазии или воспоминанием о грезах прежних мечтателей, мы постоянно встречаем предвосхищение гением Томаса Мора важнейших социальных и политических открытий последующего времени. В некоторых пунктах, например в рассмотрении рабочего вопроса, он все еще остается далеко впереди господствующего мнения. Весь окружающий его общественный строй представляется ему «просто заговором богачей против бедняков». Экономическое законодательство было, по его мнению, простым осуществлением такого заговора с помощью закона: «Богачи постоянно стараются посредством частного обмана или общественного закона

урезать еще что-нибудь из дневного заработка бедняка, так что зло уже существующее (зло состоит в том, что люди, всего более полезные для государства, получают наименьшее вознаграждение), еще усиливается с помощью государственного закона. Богачи придумывают всевозможные способы: прежде всего — обеспечить за собой собранное неправдой, а затем — воспользоваться за возможно низкую плату для своей пользы и выгоды трудом и работой бедняка. Как скоро богачи решают придать этим способам общественный характер, они становятся законами». Результатом этого было обречение рабочего класса на «столь жалкое существование, что в сравнении с ним завидной представляется даже жизнь зверей». Со времени Петра Пахаря не было слышно такого выражения сострадания к бедняку, такого протеста против поземельной и промышленной тирании, нашедшей себе выражение в собрании статуты. От христианства Мор с улыбкой обращается к Утопии. Там целью законодательства служит обеспечение благосостояния всего общества — благосостояния социального, промышленного, духовного, религиозного. Рабочие законы имели там в виду просто благосостояние рабочего класса, как настоящего основания благоустроенного общества. Имущество находится там в общем владении, но труд обязателен для всех. Продолжительность его сокращена до девяти часов: «При установлении государственного устройства, главным образом, имелось в виду сберечь возможно больше времени от необходимых занятий общественных дел, чтобы граждане, освободившись от физического труда, могли пользоваться досугом для свободной деятельности ума и его украшения. В этом полагают они блаженство земной жизни». Система общественного образования позволяла жителям Утопии пользоваться их досугом: в Англии половина населения не умела читать; в Утопии был хорошо обучен всякий ребенок. Физические нужды общества рассматривались также внимательно, как и нравственные. Дома в Утопии «сначала были очень низкие, похожие на простые избы или бедные пастушеские хижинки, построенные как попало из первых попавшихся под руку бревен, с глиняными стенами и остроконечными соломенными крышами». В сущности, таков был вид обыкновенного английского города во времена Мора — вместилище грязи и заразы. Однако в Утопии удалось, наконец, установить связь между общественной нравственностью и здоровьем, основывающуюся на свете, воздухе, удобствах и чистоте: «Улицы были шириной в 20 футов; за домами, построенными великолепно и изящно в несколько этажей, один над другим, находились просторные сады. Наружная сторона стен была из камня или кирпича и оштукатурена, а внутренняя была украшена деревянной резьбой. Простые плоские крыши были покрыты штукатуркой, смешан-

ной так, что огонь не может ей повредить или попортить; влиянию погоды она противостояла лучше любого свинца. Ветра они не допускают в окна с помощью стекла, находящегося здесь в большом употреблении, а иногда также посредством тонкого полотна, вымоченного в масле или амбре, и это ради двух удобств: такой способ дает больше света и лучше устраняет ветер».

Еще более заметна та проницательность, с какой Мор рассматривает вопросы труда и общественного здоровья, при обсуждении вопроса о преступлении. Он первый высказал мысль, что устранение его достигается не столько наказанием, сколько предупреждением: «Если вы допускаете плохое обучение народа, допускаете извращение его морали с детства и затем, когда люди вырастут, наказываете их за те самые преступления, к которым они приучались в детстве, — что это как не воспитание, а затем наказание воров?». Он первый стал требовать соответствия между наказанием и преступлением и указывать на бессмыслие жестоких казней его времени: «Простое воровство не такое крупное преступление, чтобы его следовало наказывать смертью». Он указывает на то, что если вору и убийце грозит одна и та же казнь, то закон просто искушает вора обеспечить себе безнаказанность с помощью убийства: «Стремясь устроить воров, мы на деле только вызываем их на убийство добрых людей». Целью всякого наказания он представляет исправление — «одно только устранение порока и спасение людей». Он советует ставить преступников в такое положение, чтобы у них не было другого выбора, кроме как быть честными; какое бы зло они не совершили раньше, остаток их жизни должен загладить его». Больше всего он настаивает на том, что для действенности наказания оно должно быть основано на труде и надежде: «...никто не должен отчаиваться в возможности вернуть себе прежнее свободное положение, представив веские ручательства за то, что впредь он намерен жить честным и надежным человеком». Можно без преувеличения сказать, что в изложенных началах Мор предвосхитил все реформы в нашем уголовном праве, ознаменовавшие последние сто лет. Своим решением религиозного вопроса он еще больше опередил свой век. Если дома Утопии представляли странную противоположность жилищам Англии, где кости от всякого обеда гнили на грязной соломе, покрывавшей пол, где дым вился вокруг стропил, а ветер свистал в окна без стекол; если ее уголовные законы имели мало сходного с виселицами, так часто встречавшимися в Англии, то еще сильнее было отличие религии Утопии от веры европейцев. Основанием ее служили просто природа и разум. Целью Бога она считала счастье людей, а аскетическое отречение от человеческих радостей было в ее глазах неблагодарностью к подателю их.

Правда, христианство уже проникло в Утопию, но у него было мало жрецов: центром для религии служила, скорее, семья, чем община, и члены каждой семьи исповедовали свои грехи ее главе. Еще более странной особенностью было мирное сожительство новой веры бок о бок со старыми. Более чем за столетие до Вильгельма Оранского Мор установил и провозгласил великое начало веротерпимости. В Утопии всякий мог исповедовать какую ему угодно веру. Единственное отклонение от полного религиозного безразличия составляло лишение отрицателей Божественного Существа, или бессмертия души, права занимать общественные должности; но это ограничение обуславливалось не религиозными их мнениями, а тем, что мнения эти считались унижительными для человечества, а обладатели их — неспособными управлять в благородном духе. Но даже и они не подвергались наказаниям, так как жители Утопии были «убеждены, что не во власти человека верить во что ему угодно». Человек мог распространять свою веру с помощью убеждения, но не силой и не нападками на мнения других. Каждая секта отправляла свое служение отдельно, но все они собирались для общественного служения в обширном храме; там огромная толпа, одетая в белое, группировалась вокруг жреца, облаченного в чудесное платье из птичьих перьев, и вместе воспевала гимны и молитвы, составленные так, что они были приемлемы для всех. Важность этого общественного богослужения заключалась в доказательстве того, что свобода совести может примиряться с религиозным единством.

Глава IV Уолси (1515—1531)

«В царстве Утопия много такого, принятия чего у нас я, скорее, желаю, чем на него надеюсь» — этим характерно ироническим замечанием закончил Мор первое произведение, выражавшее мечтание гуманизма. Его планам реформы социальной, религиозной, политической суждено было осуществление в течение ряда веков, но они разбились беспомощно о дух его времени. В то самое время как Мор защищал дело справедливости в отношениях богача и бедняка, социальное недовольство под влиянием притеснений превратилось в яркое пламя. Он метал сарказм за сарказмом в преклонение перед государями, а в действительности деспотизм был приведен в систему. Наконец, его защита великих начал религиозной терпимости и мира всех христиан почти совпадает с началом борьбы между реформацией и папством.

«У этого Лютера тонкий ум», — насмешливо заметил Лев X, услышав, что некий немецкий профессор прибил к дверям церкви в Виттенберге ряд положений, доказывавших злоупотребление индульгенциями, или властью папы, — отпускать известные наказания, связанные с совершением грехов. Но «ссора монахов», как презрительно называли спор в Риме, скоро приняла более широкие размеры. Сначала Лютер «повергался к стопам» папы и признавал его голос за голос Христа, но едва Лев своим постановлением формально подтвердил учение об индульгенциях, как его противник апеллировал к будущему церковному собору. Два года спустя (в 1520) произошел окончательный разрыв. Папская булла формально осудила заблуждения реформатора, но Лютер встретил осуждение презрительно и публично предал буллу пламени. Второе осуждение извергло его из лона церкви, а скоро к папскому отлучению присоединилась имперская опала. «На этом я стою; иначе я не могу», — ответил Лютер молодому императору Карлу V, когда тот на сейме в Вормсе принуждал его к отречению. Из своего убежища в Тюрингенском лесу, где его спрятал курфюрст Саксонский, он стал избочивать не только злоупотребления папства, как сначала, но самое папство. Ожили ереси Уиклифа; непогрешимость и авторитет римского престола, истинность его учения, действительность его служения отрицались и осмеивались в сильных памфлетах, высылавшихся из убежища Лютера и с помощью нового печатного станка распространявшихся по всему миру. Старое недовольство Германии притеснениями пап, нравственное возмущение более религиозных умов мирской жизнью и безнравственностью духовенства, отвращение гуманизма к тому суеверию, которое папство теперь формально защищало, — все это вместе доставило Лютеру широкую популярность и покровительство князей Северной Германии. Однако в Англии его протест сначала не встретил сочувствия. Трудности политического положения приводили к тесному союзу ее с Римом. Сам молодой король, гордившийся своей богословской ученостью, выступил против Лютера с «защитой семи таинств», за что Лев X наградил его титулом «защитника веры». Дерзкий тон ответа Лютера вовлек в спор Мора и Фишера. До сих пор гуманизм хотя и пугался невозддержанного языка Лютера, но постоянно поддерживал его в борьбе. Эразм ходатайствовал за него перед императором; Ульрих фон Гуттен нападал на монахов в столь же резких сатирах и памфлетах. Но стремления Возрождения расходились с Лютеровскими еще сильнее, чем римские. Виттенбергский реформатор с ужасом отвращался от смелой мечты о новом веке, осуществляемом мирно и исключительно медленными успехами разума, ростом науки, развитием человеческой доблести. К новому образованию он питал мало симпатии

или совсем не имел ее. Разум он презирал так же искренно, как любой католический богослов. Сама мысль о терпимости или вероисповедном мире была ему ненавистна. Мотивы нравственного и умственного характера побудили его провозгласить римскую систему ложной, но сделал он это только для того, чтобы заменить ее другим учением, столь же выработанным и заявлявшим притязания на такую же непогрешимость. Унижать достоинство человеческой природы значило потрясать основы гуманизма; но едва Эразм выступил на защиту его, как Лютер объявил, что природа человека в корне извращена первородным грехом и потому не в состоянии своими усилиями постигать истину или делать добро. Такое учение не только отвергало благочестие и мудрость классической древности, из которой гуманизм заимствовал свои более широкие взгляды на мир и жизнь, оно втоптывало в грязь сам разум, с помощью которого Мор и Эразм надеялись возродить науку и религию. Мор особенно ясно понимал важное значение этого поворота, а потому для него такое внезапное возрождение духа чисто богословского и догматического, разделившее христианство на два враждующих лагеря и унесшее все надежды на единство и терпимость, было особенно ненавистно. Его характер, раньше представлявшийся столь «нежным, мягким и веселым», внезапно изменился. Его ответ на памфлет Лютера против короля по грубости не уступал оригиналу. Ответ Фишера носил характер более спокойный и доказательный; но тем не менее разрыв гуманизма и реформации был полный.

И политическим надеждам Утопии не суждено было найти осуществление в деятельности того министра, который при окончании первой войны Генриха с Францией быстро приобрел влияние. Томас Уолси был сыном богатого горожанина из Ипсича; его таланты выдвинули его в конце царствования Генриха VII, и епископ Фокс взял его на коронную службу. Его необыкновенные способности, пожалуй, одни могли доставить ему расположение молодого государя, помимо той снисходительности к песням, танцам и пирам, в которой его упрекали враги. Из любимца он скоро сделался министром. Неудовольствие Генриха на вероломство Фердинанда позволило Уолси совершенно изменить политику своих предшественников. Война избавила Англию от страха перед Францией. Уолси хотел также освободить ее от влияния Фердинанда и видел в союзе с Францией лучший залог независимости Англии. В 1514 г. с Людовиком XII был заключен договор. Дружба продолжалась и с его преемником Франциском I; в надежде на то, что в продолжение войны Англии нечего будет бояться какого бы то ни было нападения и что сам Франциск, быть может, найдет себе в ней гибель, Генрих и Уолси содействовали его походам за Альпы с целью нового

завоевания Ломбардии. Надежды эти были разрушены блестящей победой Франциска при Мариньяно; но в момент торжества он увидел перед собой нового соперника. Новый испанский король Карл I, владетель Кастилии и Арагона, Неаполя и Нидерландов, оказался таким сильным противником Франциска, какого никогда не могла создать политика Генриха или Уолси. Обе стороны усердно добивались союза с Англией, и Уолси удалось среди бесконечных переговоров семь лет держать Англию в стороне от войны. Мир, как мы видели, снова оживил надежды гуманистов; он позволил Колету реформировать обучение, Эразму — начать преобразование церкви, Мору — поставить на ноги новую науку, политику. Но этот же мир в руках Уолси оказался роковым для свободы Англии. В политических намеках, рассеянных по Утопии, Мор с едкой иронией обличает развитие нового деспотизма. Только в Утопии можно было «низложить государя, заподозренного в намерении поработить свой народ». В Англии, замечает великий правовед, процесс порабощения совершался спокойно, под прикрытием закона: «Там всегда находится предлог для решения дела в пользу короля: на его стороне оказывается то справедливость, то буквальный смысл закона, то натянутое толкование его; а если нет ничего такого, то говорят, что добросовестные судьи власть короля должны ставить выше всех других соображений». Нас поражает та определенность, с какой Мор описывает приемы, применявшиеся потом судами на пользу деспотизма, вплоть до коронного их приговора в деле корабельной подати. Но за этими судебскими уловками скрывались великие начала абсолютизма, постепенно находившие себе доступ в общественное сознание, частью по примеру иноземных монархий, частью от сознания неустойчивости общественного и политического строя, но еще более под влиянием изолированного положения короны: «Эти представления, — смело продолжает он, — поддерживаются положением, что король не может поступать несправедливо, как он этого ни желал, — что ему принадлежат не только имущество, но и личности его подданных, и что человек имеет право только на то, что благодать короля сочтет за нужное не отнимать у него». В руках Уолси эти правила стали основными началами управления. Те ограничения, какие налагало на деятельность короля присутствие в его совете главных прелатов и вельмож, фактически были устранены. Вся власть сосредоточилась в руках одного министра. Генрих щедро наградил Уолси за его услуги короне. Он был сделан епископом Линкольнским, а затем архиепископом Йоркским. Генрих добился возведения его в кардиналы и назначил его канцлером. В его руки попали доходы двух епархий, занятых иностранцами; он владел епископством Уинчестерским и аббатством Сент-Олбанским; он получал пен-

сии от Франции и Испании, а его официальное содержание было громадно. Его пышность почти не уступала королевской. Куда бы он ни отправлялся, его сопровождала свита из прелатов и вельмож; его двор состоял из 500 лиц благородного происхождения, а главные места в нем занимали рыцари и бароны королевства. Свое огромное богатство он тратил с княжеским тщеславием. Двое из его дворцов, Гемптонкорт и позднейший Уайтхолл, были настолько великолепны, что после его падения сделались резиденциями короля. Его школу в Ипсиче затмила слава основанного им же в Оксфорде колледжа Кардинала, впоследствии получившего название Церкви Христовой. Это великолепие было не просто выставкой власти. Руководство всеми внутренними и внешними делами было в руках одного Уолси; как канцлер он стоял во главе правосудия; назначение папским легатом сделало его всемогущим в церковных делах. Несмотря на громадность взятого им на себя труда, он прекрасно выполнял его: его заведывание королевской казной отличалось экономностью; число его депеш едва ли менее замечательно, чем тщательность обработки каждой из них; даже Мор, его отъявленный враг, признает, что как канцлер он оказывался выше всех ожиданий. Суд канцлера, благодаря приобретенной им под управлением Уолси репутации быстроты и беспристрастия, оказался настолько обремененным массой дел, что для облегчения его пришлось учредить второстепенные суды. Такое сосредоточение всей светской и церковной власти в одних руках приучило Англию к личному управлению, начавшемуся с Генриха VIII; а долгая принадлежность Уолси всей папской власти в пределах Англии и последовательное устранение апелляций в Рим привели позднее к примирению народа с притязаниями Генриха на церковное главенство. Как ни велика была надменность Уолси и высоки его природные дарования, но для Англии он был просто созданием короля. По его собственному признанию, своим возвышением, богатством и властью он был обязан единственно воле Генриха. Поставив своего худородного любимца во главе церкви и государства, король, в сущности, сосредоточил всю церковную и светскую власть в своих собственных руках. Народ, дрожавший перед Уолси, научился дрожать перед королем, который одним словом мог низвергнуть Уолси.

Возвышение Карла Габсбурга сообщило политике Уолси новый поворот. Карл уже владел Нидерландами, Франш-Конте, Испанией, когда смерть его деда Максимилиана в 1519 г. присоединила к его владениям родовые земли Габсбургов в Швабии и на Дунае и открыла путь к избранию его в императоры. Франция увидела себя окруженной отовсюду владениями еще более крупной державы, и потому Уолси и его королю показалось,

что наступает время для более смелой игры. Расчеты на получение императорской короны по смерти Максимилиана обманули Генриха, и он обратился к старой мечте о «возвращении своего французского наследства» — мечте, от которой он, в действительности, никогда не отказывался и которую в нем заботливо поддерживал его племянник Карл*. При этом не был забыт и Уолси. Если Генрих домогался Франции, то его министр имел в виду ни больше ни меньше, как папскую тиару, и молодой император охотно обещал свою поддержку на выборах. Влияние этих соблазнов скоро сказалось. В мае 1520 г. Карл прибыл в Дувр повидаться с Генрихом, и оба они ездили без свиты в Кентербери. Напрасно старался Франциск сохранить дружбу Генриха свиданием близ Гина, которому расточительная роскошь обоих монархов дала прозвище Лагеря Золотой Парчи. Второе свидание Карла с дядей, когда он вернулся из Франции, окончилось тайным договором и обещанием императора жениться на единственной дочери Генриха, Марии Тюдор. Ее право на престол было подтверждено фактом, показавшим, что знать находится теперь в полной зависимости от короля. Среди английских вельмож первое место по происхождению и могуществу занимал герцог Бекингем; он был потомком младшего сына Эдуарда III и в случае отрицания прав Марии на престол представлялся ближайшим наследником. Его надежды поддерживались прорицателями и астрологами; ходили слухи о его намерении по смерти Генриха, несмотря ни на какое сопротивление, захватить престол. Король два года следил за его речами и действиями; наконец, в 1521 г. герцог был схвачен, осужден пэрами за измену и обезглавлен на Тауэр-Хилл. Союз с Францией был разорван, и когда у нее началась война с Испанией, папа, император и Генрих заключили тайный договор в Кале. Влияние новой военной политики на внутренние дела скоро обнаружилось. Бережливость Уолси могла покрывать расходы короля только в годы мира. Теперь, когда Генрих обещал выставить для предстоящего похода 40 000 человек, обычные средства казны оказались совсем не достаточными. Деспотический инстинкт не позволял Уолси созывать по обычаю парламент. Хотя Генрих для покрытия расходов по первой войне с Францией и созывал три раза палаты, но Уолси управлял в течение семи лет мира, ни разу не обращаясь к ним. Война сделала созыв парламента неизбежным; но сначала кардинал старался отсрочить его, широко пользуясь приемом, изобретенным Эдуардом IV, — собирать деньги путем принудительных займов, или «одолжений», возвращавшихся из первой субсидии ближайшего парламента. На каждое графство были наложе-

* Точнее, Карл был племянником Екатерины Арагонской, жены Генриха VIII.

ны крупные суммы. С Лондона было взято 20 000 фунтов; его богатейшие граждане вызывались к кардиналу, и он требовал от них указания стоимости их имущества. Для производства обложения в каждое графство посылались комиссары, и по их докладам издавались приказы, требовавшие в одних случаях поставки солдат, в других — десятой части дохода в казну короля. Однако успех был настолько мал, что в следующем (1523) году Уолси был вынужден созвать парламент и обратиться к нему с беспрецедентным требованием налога на имущество в размере двадцати процентов. Требование было предъявлено кардиналом лично, но было встречено упорным молчанием. Напрасно Уолси приглашал одного члена за другим высказаться; когда он обратился к Мору, выбранному спикером палаты общин, тот стал на колени и заявил, что он не может ничего сказать, пока не получит инструкций от палаты. Попытка запугать общины не удалась, и едва Уолси удалился, как начались бурные прения. Он снова явился, чтобы отвечать на выставленные возражения, но общины снова расстроили попытку министра повлиять на их совещания, отказавшись обсуждать вопрос в его присутствии. Борьба продолжалась две недели; партии двора удалось, правда, добиться субсидии, но в то же время пришлось довольствоваться меньшей половиной того, чего требовал Уолси. Такую же независимость выказало собрание духовенства (конвокация). Когда через два года снова понадобились деньги, кардинал еще раз должен был прибегнуть к системе «одолжений». В каждом графстве королевские комиссары требовали десятины у мирян и четверти у духовенства. Уоргем писал двору, что «в народе заметно сильное недовольство и ропот»: «Если люди должны отдавать свое имущество по приказу, — заявили кентские помещики, — то это будет хуже французских налогов, и Англия окажется не свободной, а рабской страной». Политический инстинкт народа понял, как и прежде, что от вопроса самообложения зависит само существование свободы. Духовенство стало во главе сопротивления и проповедовало со всех кафедр, что приказ противоречит вольностям королевства и что король не может ни у кого отбирать имущество не иначе, как законным порядком. Раздражение в народе было настолько сильно, что Уолси отступил перед ним и предложил ограничиться добровольными займами всех подданных. Тут явилось напоминание о статуте Ричарда III, объявлявшем незаконным всякое требование «одолжений». Лондон уклонился от него; из Кента прогнали комиссаров. В Сеффолке поднялось восстание; мятежом же грозило и население Кембриджа и Норича. Все предприниматели прекратили работы. Суконщики отпустили своих рабочих, арендаторы — своих батраков: «Они говорят, что король требует с них столько, что они не в состоянии заниматься прежним

делом». Только безусловная отмена королевского приказа предотвратила восстание крестьян, подобное бушевавшему тогда в Германии.

Неудача Уолси спасла на время свободу Англии; но он отступил не только перед столкновением со стремлением к свободе. Ропот кентских помещиков только усилил все более громкое выражение общественного недовольства. Поземельный вопрос, с одной стороны, укреплял положение короны, возлагая на нее охрану общественного спокойствия; но с другой — при каждом столкновении монархии с землевладельцами он становился грозной опасностью. Постоянный рост цен на шерсть давал новый толчок к переменам в сельском хозяйстве, начавшимся за полтора века раньше и состоявшим в объединении мелких хозяйств в крупные и во введении в широких размерах овцеводства. Этому движению содействовало обогащение промышленных классов. Они вкладывали в землю огромные капиталы. У этих «земледельческих дворян и рыцарей пера», как их насмешливо называет Латимер, было мало привычек и воспоминаний, мешавших им прогонять мелких арендаторов. Притом же, прежде земля отдавалась в аренду за очень низкую плату, но по мере возрастания цен на нее стремление возвышать обычные оброки становилось непреодолимым: «Участок, прежде ходивший за 20 или 40 фунтов в год, — узнаем мы из того же источника, — теперь сдается за 50 или 100». А между тем только этот низкий размер ренты и позволял существовать мелким крестьянам: «Мой отец, — говорит Латимер, — был вольный крестьянин и не имел своей земли; у него была только аренда, самое большее за 3—4 фунта в год, и на ней он зарабатывал пропитание для полудюжины людей. У него было пастбище для сотни овец, а моя мать доила 30 коров. Он был в состоянии на службе королю достать панцирь для себя и для своего коня и отправиться за получением королевского жалованья. Я припоминаю, что когда он отправлялся в Блекгис, я сам застегивал ему панцирь; он посылал меня в школу; он выдал замуж моих сестер, дав каждой пять фунтов и воспитав их в благочестии и страхе Божиим. Он оказывал гостеприимство своим бедным соседям, подавал кое-какую милостыню нищим. Все это он делал на доход с того участка, теперешний арендатор которого платит в год 16 фунтов или более, и потому он не в состоянии сделать что-либо для своего государя, для себя и своих детей или дать выпить бедняку». Повышение арендной платы, в конце концов, заставляло таких арендаторов покидать свои участки, но горечь изгнания только усиливалась применением при этом несправедливых средств. Если верить Мору, арендаторов «устраивали обманом или силой или доводили рядом несправедливостей до того, что они расставались со своими участками»: «Так и случается, что эти жалкие бедняки; мужчины,

женщины, супруги, сироты, вдовы, родители с маленькими детьми, семьи более людные, чем богатые, — так как пахотный участок требует много рук, а для пастбища достаточно одного овчара или пастуха — все они покидают свои родные поля, не зная, куда им идти». Продажа их скудной домашней утвари заставляла их бродить без пристанища, попадать в качестве бродяг в тюрьму, нищенствовать и воровать. Но при таком зрелище мы все еще встречаем старые жалобы на недостаток рабочих и старое средство против этого — определение законом размера заработной платы. Английские политики не могли найти лучшего средств социальной неурядицы, как законы против дальнейшего расширения пастбищ и страшное возрастание числа публичных казней. Но ни то, ни другое одинаково не приносило пользы, огораживания и изгнания продолжались по-прежнему. «Если вы не устранили зол, порождающих воровство, — едко, но справедливо заметил Мор, — тщетно будет строгое применение правосудия к наказанию воров». Но даже Мор мог указать только одно средство, применения которого пришлось ждать еще столетие, хотя впоследствии оно оказалось очень действенным: «Устройте шерстяные фабрики, чтобы доставить честный заработок тем, кого нужда сделала или скоро сделает ворами». Общественная неурядица все более усиливалась; а между тем роспуск военных свит аристократии, все еще продолжавшийся, и возвращение с войны раненых и увечных солдат вводили новые элементы насилия и преступлений.

Это общественное недовольство, а также истощение казны только усиливали горечь неудачного исхода войны. Правда, для Франции борьба окончилась поражением: потеря Милана и плен Франциска в битве при Павии отдали ее во власть императора. Но Карл и не думал исполнять те обещания, которыми он вовлек Англию в войну. Уолси пришлось видеть вступление на папский престол одного за другим двух сторонников императора. Надежды на завоевание «нашего французского наследства» окончились полной неудачей; как и прежде, Англия ничего не выиграла от двух бесплодных походов, и было очевидно, что Карл и не думает ей ничего давать. Он заключил перемирие со своим пленником; он отклонил все проекты совместного нашествия; он нарушил свое обещание жениться на Марии Тюдор и женился на португальской принцессе; он настаивал на мире с Францией, который должен был доставить ему Бургундию. Пора была для Генриха и его советника изменить направление своей политики. Они решили отказаться от деятельного участия в соперничестве двух держав и тайно заключили договор с Францией. Но Генрих остался в хороших отношениях с императором и не принял участия в новой войне, разгоревшейся из-за отказа Франциска выполнить те условия, которыми он купил свое освобождение.

бождение. Не отвлекаясь более ожиданием великих событий, король перестал интересоваться внешней политикой и отдался охоте и спорту. Среди самых красивых и веселых дам его двора выделялась Анна Болейн. Ее веселость и остроумие скоро доставили ей расположение Генриха, а ее влияние сказалось в пожаловании почестей ее отцу. В 1524 г. решение короля разорвать свой брак с королевой придало этой интимности новую окраску. Смерть всех детей, кроме Марии, могла возбудить сомнения в законности брака, на котором, казалось, тяготело проклятие; отсутствие сына-наследника могло усилить это впечатление. Каковы бы ни были мотивы поведения Генриха, но с этого времени он стал просить у папы разрешения на развод. Для Климента согласиться на это значило открыто порвать с императором, племянником Екатерины; а папа теперь был во власти императора. Пока английский посол обсуждал вопрос о разводе, захват Рима войсками Карла показал Клименту полную его беспомощность; в сущности, после этого он был пленником в руках Карла. Между тем тайный разбор дела, начатый Уолси в качестве легата папы, внезапно остановился; так как Екатерина отрицала факты, на которые ссылался Генрих, то ее апелляция могла передать дело на суд папы, а решение Климента едва ли оказалось бы благоприятным. Между тем затруднительность развода была очевидна. Один из учений епископов Англии Фишер Рочестерский открыто высказался против него. Английские богословы, запрошенные о значении данного папой Генриху разрешения вступить в брак, посоветовали королю обратиться за решением вопроса к папе. Торговые классы боялись шага, который неизбежно должен был повлечь за собой разрыв с императором — властителем их главного рынка во Фландрии. Но больше всего возбуждала общественное мнение несправедливость задуманного дела. Ни опасность, ни позор не могли сломить упрямства и страсти короля. Притом же, для поддержки Анны образовалась большая партия. Ее дядя герцог Норфолк, ее отец, впоследствии граф Уилтшир, решительно настаивали на разводе; блестящая группа молодых придворных, к которой принадлежал брат Анны, в ее успехе видели свое возвышение; герцог Сеффолк и масса знати надеялись при ее помощи добиться падения министра, перед которым они дрожали. Кардиналу было необходимо найти какие-нибудь средства для выполнения воли короля; но все его планы один за другим разбивались о противодействие папского двора. Папе хотелось удовлетворить желание Генриха, но он сомневался в правильности предложенного ему пути и опасался Карла, влияние которого было теперь в Италии преобладающим; поэтому он даже порицал Уолси за то, что он помешал королю решить это дело в Англии и вступить в брак на основании приговора ее судов. Генрих

настойчиво требовал у папы прямого согласия на развод, а Климент упорно от него уклонялся. Наконец, он согласился на разбор дела в Англии через посредство легатов. Кроме Уолси в комиссию вошел еще кардинал Кампеджо. Месяцы проходили в бесплодных переговорах. Кардиналы предлагали Екатерине удалиться в монастырь, а Генрих требовал от папы решения дела в виде формального объявления брака незаконным. Наконец, в 1529 г. кардиналы начали разбор дела в большой зале доминиканцев. Генрих письменно объявил, что не намерен больше жить в смертном грехе. Королева выразила желание апеллировать к папе, и когда легаты отказали ей в этом, она кинулась к ногам Генриха: «Государь, — сказала она, — я умоляю вас сжалиться надо мной: я женщина и чужестранка, у меня нет ни верного друга, ни надежного советника. Я призываю Бога в свидетели того, что я всегда была для вас верной и преданной женой, что я всегда считала своей обязанностью угождать вам, что я любила всех, кого любили вы, все равно, имела ли я для того основания или нет, были ли они для меня друзьями или врагами. Много лет я была вашей женой и принесла вам много детей. Богу известно, что когда я вышла за вас, я была девицей, и за подтверждением или отрицанием этого я обращаюсь к вашей совести. Если меня можно изобличить в каком-либо проступке, я согласна удалиться с позором; если же нельзя, тогда я прошу вас оказать мне справедливость». Эти трогательные слова были обращены к королю, во дворце которого, окруженная царской пышностью, уже жила Анна Болейн. Дело продолжалось, и суд собрался для произнесения приговора. Надежды Генриха достигли высшей степени и вдруг внезапно рухнули. При открытии заседания поднялся Кампеджо и объявил отсрочку суда. Отсрочка была простой уловкой. Настояния императора заставили наконец Климента вытребовать дело на суд к себе в Рим, и это прекратило деятельность легатов.

«Теперь я вижу, — воскликнул Чарльз Брэндон, герцог Сеффолк, ударив рукой по столу, — справедливость старой поговорки, что никогда ни легаты, ни кардиналы не делали добра Англии». — «Из всех на свете людей, — смело возразил Уолси, — вы, господин герцог, имеете всего меньше основания поносить кардиналов: не будь меня, бедного кардинала, у вас не было бы теперь головы на плечах, чтобы так хвастливо порицать нас*». Но и кардинал, и его враги знали, что участь его решена. В течение двадцати лет своего царствования Генрих не знал никакого противодействия своей воле. Его деспотический характер был раздражен медленным ходом переговоров, уловками и вероломством папы. Его гнев сразу обрушился на Уолси,

* Уолси помог Сеффолку развестись с женой, чтобы тот смог жениться на сестре Генриха VIII.

отсоветовавшего ему действовать независимо, вести дело в своих судах и поступать по приговору своих судей; затем тот же Уолси убедил его требовать развода у папы и обещал ему успех в этом деле. С закрытия суда легатов Генрих не хотел его больше видеть. Если на время Уолси все еще оставался министром, то только потому, что нельзя было сразу обрывать нити сложных внешних сношений. Но и здесь его постигла неудача: он оказался обманутым заключением нового договора между Франциском и Карлом в Камбрэ. Его французская политика становилась дальше невозможной; необходимо было во чтобы то ни стало помириться с Карлом; а такого примирения можно было достичь только низвержением Уолси. Его тотчас привлекли к суду за принятие булл из Рима вопреки статуту *Praemunire*. Несколько дней спустя у него отняли печати. Его поразили удар. Он предложил пожертвовать все свое имущество, если только король перестанет на него гневаться. «Его лицо, — писал французский посол, сократилось до половины своей естественной величины. Действительно, горе его таково, что даже его враги, хоть они и англичане, не могут удержаться от сожаления». В отчаянии он поверг к стопам короля свои почести и богатства, и на время Генрих, казалось, ограничился немилостью. Тысяча лодок, наполненных лондонцами, покрыли Темзу, чтобы наблюдать проезд катера кардинала к Тауэру, но ему позволили удалиться в Эшер. Под условием передачи короне его обширных владений ему было даровано прощение и позволение удалиться в Йоркскую епархию — единственную должность, которую ему позволили удержать. Но едва прошел год, как сожаление короля о падении министра возбудило опасения его политических соперников, и накануне праздника его поставления он был арестован по обвинению в государственной измене и увезен комендантом Тауэра в Лондон. Уже надломленный чрезмерными трудами, внутренней болезнью и сознанием своего падения, Уолси принял арест за смертный приговор. Приступ дизентерии заставил его остановиться в Лестерском аббатстве, и, приблизившись к его воротам, он сказал слабым голосом встретившим его монахам: «Я пришел сложить среди вас мои кости». На смертном одре его мысль все еще была обращена к государю, которому он служил: «Это государь с чисто царственным мужеством, — говорил он, умирая, коменданту Тауэра, — скорее чем отказаться от какого-нибудь желания, он рискнет половиной своего королевства. Уверяю вас, что мне часто приходилось, иногда по три часа сряду, стоять пред ним на коленях, отговаривая его от прихоти, и все безуспешно. Да, господин Найтон, если бы я служил Богу так усердно, как служил королю, Он не покинул бы меня в старости. Это достойная награда за мои труды и старание — не столько служить Богу, сколько исполнять

свой долг перед государем». Ничто не может с такой ужасной наглядностью изобразить дух новой монархии, выработке которой Уолси содействовал больше, чем кто-либо из его предшественников. Исчезло целиком всякое чувство преданности Англии, ее свободе, ее учреждениям. Политический деятель признавал за собой обязанности только по отношению к своему государю; личная воля и желание государя стоят выше важнейших интересов государства, пренебрегают мудрейшими советами, сокрушают со слепой неблагодарностью рока противящихся им слуг. Но, отступая перед представившимся ему чудовишным образом, даже Уолси едва ли мог вообразить, какое опустошение должны были произвести в ближайшие годы царственное мужество и еще более царственная прихоть его государя.

Глава V

Томас Кромвель (1530—1540)

Десять лет, следующих за падением Уолси, принадлежат к числу самых знаменитых эпох в истории Англии. Новая монархия проявила, наконец, свое могущество, и задача, намеченная Уолси, была разрешена с ужасной последовательностью. Единственное крупное учреждение, еще бывшее в состоянии оказывать сопротивление воле короля, было низвергнуто. Церковь стала простым орудием королевского деспотизма. Легкое подавление и беспощадная расправа с восстаниями доказали народу его беспомощность. Организованный с чрезвычайным искусством и беспощадностью террор поразил Англию страхом и поверг ее к стопам Генриха. Благороднейшие люди гибли на плахе. Добродетель и ученость не могли спасти Томаса Мора, царственное происхождение — леди Солсбери. Устранение одной королевы и казнь другой показали Англии, что для «мужества» Генриха нет ничего высокого, а для его прихоти — святого. Парламент собирался только для того, чтобы освящать проявления бессовестного деспотизма или своими собственными статутами содействовать выработке деспотического управления. Все конституционные гарантии английской свободы были устранены. Произвольное обложение, произвольное законодательство, произвольные аресты — все эти полномочия без возражений присвоила себе и беспощадно применяла корона.

История этого крупного переворота — иначе нельзя его назвать — связана с историей одного человека. Среди всех государственных деятелей Англии нет ни одного, о котором нам хотелось бы знать как можно более, ни одного, о котором мы, в сущности, знаем так мало, как Томас Кромвель.

Он уже прожил полжизни, когда мы встречаем его на службе у Генриха; что касается более раннего времени, то тут возможно только выделить несколько отрывочных фактов из массы сказок, облепивших их. Его юность была наполнена приключениями. Говорят, будто он был сыном бедного кузнеца в Пётни; вероятно, еще мальчиком он поступил на службу к маркизе Дорсет. Должно быть, еще юношей он в качестве простого солдата принимал участие в итальянских войнах, был «разбойником», как он сам впоследствии признавался Кранмеру, в бессовестнейшей школе мира. В этой же школе он обучился еще более опасным вещам. Он не только овладел итальянским языком, но и усвоил себе обычаи и тон тогдашней Италии, Италии Борджиа и Медичи. С гибкостью итальянца он из военного лагеря перешел в контору; он, несомненно, служил торговым агентом у одного из венецианских купцов; предание находит его конторщиком в Антверпене; наконец, в 1512 г. история застаёт его богатым торговцем в Медлебурге, в Зеландии. По возвращении в Англию Кромвель продолжал богатеть, присоединив к прочим своим занятиям место нотариуса, нечто среднее между банкиром и адвокатом, а также ссужая деньги обедневшим аристократам. При начале второй войны с Францией мы находим его деятельным и влиятельным членом нижней палаты. Через пять лет он поступил на службу к Уолси, выказав тем свои честолюбивые замыслы. Кардиналу понадобился деловой человек для упразднения нескольких мелких монастырей и для передачи их доходов учреждениям, основанным им в Оксфорде и Ипсиче. Задача популярностью не пользовалась и была исполнена с грубым равнодушием к возбуждаемым этим чувствам, что перенесло на Кромвеля долю ненависти, вызванной Уолси. Его удивительная самоуверенность и понимание положения обнаружили перед всеми только при падении кардинала. Из сотен сторонников, ожидавших мановения министра, один только Кромвель остался верен ему до конца. Во время своего уединения в Эшере Уолси изливал перед ним свои сетования, а он ободрял его, как только мог, и попросил у него позволения отправиться в Лондон, «чтобы там помочь или повредить ему, по его всегдашней поговорке». Его чрезвычайная ловкость обнаружилась в плане — победить Уолси, откупиться от вражды придворных подтверждением пожалований данных им из его доходов, причем Кромвель приобрел значение в качестве посредника при этих переговорах. Благодаря его же усилиям парламент отверг билль, лишавший Уолси права занимать впредь всякие должности; он же вел переговоры о позволении павшему министру удалиться в Йорк. Наградой за эту редкую преданность павшему покровителю было, по-видимому, общее уважение: «За честное отношение к интересам его господина его, как вернейшего слугу, все силь-

но почитали и восхваляли». Но покровительство Генриха имело другие основания. Поездка в Лондон окончилась частным свиданием с королем, причем Кромвель смело советовал ему решить дело о разводе просто с помощью своего верховенства. Совет указал на главную особенность позднейшей политики, позволившей смелому советнику совершенно изменить отношения церкви и государства; но Генрих все еще разделял надежды своих новых министров и, быть может, еще пугался голого абсолютизма, на который указывал ему Кромвель. Во всяком случае, совет остался в тайне и хотя король высоко ставил своего нового слугу, но ему пришлось терпеливо выжидать хода событий.

Для успешного достижения развода герцог Норфолк, выдвинувшийся после падения Уолси, рассчитывал не только на союз и помощь императора, но и на поддержку парламента. Новое созвание обеих палат явилось доказательством отказа от системы Уолси. Вместо того чтобы считать парламент опасным, монархия чувствовала себя теперь достаточно сильной, чтобы пользоваться им как орудием, и Генрих в своем споре с Римом прямо рассчитывал на сильную поддержку с его стороны. Не менее знаменательно было отношение гуманистов. Для них, как и для чисто политических противников кардинала, его падение открывало надежды на лучшее будущее. Принимая должность канцлера, Мор, насколько можно судить об этом по фактам его короткого министерства, мечтал провести преобразование церкви, которого требовали Колет и Эразм, но задержать восстание против единства церкви. Его строгости против протестантов, правда, преувеличенные полемическим задором, остаются единственным пятном на его, вообще, незапятнанной памяти. Но только при строгом отделении дела реформы от того, что представлялось ему переворотом, Мор мог надеяться на успешное осуществление планов, предложенных советом парламенту. Петиция общин казалась как бы эхом знаменитого обращения Колета к собранию духовенства. Она приписывала усиление ереси не столько «нистовым и мятежным книгам, изданным на английском языке вопреки истинной католической христианской вере», сколько «неприличному и бессердечному поведению различных духовных». Она восставала против законов, издаваемых духовенством на его собраниях без согласия короля или его подданных, против притеснений церковных судов, злоупотреблений церковным патронатом, чрезмерного числа праздников. Генрих передал петицию епископам, но они не могли указать средств к исправлению зол. Министерство настаивало на проведении своих проектов церковного преобразования через палаты. Вопросы о собраниях и судах духовенства были отложены для дальнейшего рассмотрения, но судебные пошлины

были понижены, духовенству воспрещено занятие светских должностей, ограничено совместительство, предписано пребывание на месте. Несмотря на упорное сопротивление епископов, предложения эти были приняты палатой лордов «к великой радости народа и великому неудовольствию духовных особ». Особое значение этим новым мерам придавало участие в них парламента. Они прямо указывали на то, что церковное преобразование следует теперь проводить с помощью не духовенства, а всего народа. С другой стороны, было ясно, что оно будет проведено в духе не враждебности, а преданности церкви. Общины принудили епископа Фишера оправдываться в словах, принятых за сомнение в их правоверии. Генрих запретил обращение Тиндейлева перевода Библии, как исполненного в протестантском духе, обещая более точный перевод. Но стремления гуманистов были остановлены неудачей министерства в переговорах о разводе. Ни отказ от союза с Францией, ни достижение власти партией, стоявшей за союз с императором не могли изменить отношения Карла к делу его тетки. Министры приняли совет кембриджского ученого Томаса Кранмера — спросить мнение университетов Европы; но обращение к мнению ученого мира окончилось полной неудачей. Без вмешательства самого Франциска английские агенты не могли бы добиться ничего от Парижского университета даже с помощью щедрых подкупов. Потребовалось столь же бессовестное давление королевской власти, чтобы вынудить одобрение развода у Оксфорда и Кембриджа. В Германии сами протестанты, увлеченные стремлением к нравственному возрождению, были решительно против короля. Насколько можно судить по свидетельству Кранмера, все ученые Европы, не поддавшиеся подкупу или угрозам, осуждали намерение Генриха.

В тот момент, когда Норфолк и его товарищи по министерству истощили все средства, Кромвель снова выдвинулся вперед. Неудача других средств все ближе подводила Генриха к смелому плану, перед которым он отступил при падении Уолси. Кромвель снова готов был советовать королю — отвергнуть судебную власть папы, объявить себя главой английской церкви и добиться развода от своих церковных судов. Но для Кромвеля развод был только прелюдией ряда перемен, которые он намерен был произвести. Из всей бурной жизни нового министра самое сильное впечатление оставило в нем пребывание в Италии. С ним в английскую политику проникло политическое искусство итальянцев; это заметно не только на быстроте и беспощадности его планов, но и на большей их широте, большей определенности целей и их удивительном сочетании. Действительно, это первый английский министр, у которого за все время его управления мы можем проследить упорное преследование определенной крупной цели.

Эта цель заключалась в доставлении королю абсолютной власти и устранении всех соперничавших властей королевства. Это не значит, что Кромвель был просто рабом деспотизма. Вопрос еще, был ли он в юности во Флоренции, как это говорит предание; но несомненно, что его политика строго сформировывалась с идеалом флорентийского мыслителя, книга которого была постоянно у него в руках. Еще служа Уолси, он удивил будущего кардинала Реджинальда Поула советом взять за руководство в политике «Государя» Макиавелли. Макиавелли надеялся найти в Чезаре Борджиа или в позднейшем Лоренцо Медичи такого тирана, который сокрушит все соперничающие тирании и затем объединит и возродит Италию. В политике Кромвеля можно видеть стремление обеспечить для Англии просвещение и порядок, сосредоточив всю власть в руках короля. Последнее ограничение королевского полновластия, пережившее Войны Роз, заключалось в богатстве, независимости собраний и судов и религиозных притязаниях церкви. Обратит великую церковную корпорацию в простое ведомство, в котором вся власть должна исходить от одного государя, его воля служит единственным законом, а его решение — единственным доказательством истины, — такой переворот едва ли было возможно произвести без борьбы, и поводом к такой борьбе послужил Кромвелю развод. Его первый шаг показал, насколько беззастенчиво должна была вестись борьба. Прошел год с тех пор, как Уолси был изобличен в нарушении статута Praemunire. Педантичные судьи объявили, что вся нация, признававшая над собой его власть, виновна в том же проступке. Юридическая нелепость была затем устранена общей амнистией, но в нее не было включено духовенство. Ему было объявлено, что прощение может быть куплено не иначе как уплатой пени, доходившей до миллиона на теперешний английский счет, и признанием короля за «главного покровителя, единственного и высшего господина и главу церкви и духовенства Англии». На первое требование оно сразу согласилось; против второго оно упорно боролось, но на его обращение к Генриху и Кромвелю они отвечали только требованием немедленного подчинения. Наконец, благодаря внесению ограничительных слов «насколько это позволяет Закон Христа» — соглашение состоялось, и с такой прибавкой требование было предъявлено Уоргемом конвокации. Воцарилось общее молчание. «Молчание представляется знаком согласия», — сказал архиепископ. «В таком случае мы все молчим», — отвечал голос из толпы.

Нет оснований полагать, что «главенство над церковью», которого требовал тут Генрих, было более чем предостережением по адресу независимого духа духовенства, или что оно имело уже то значение, какое ему было придано впоследствии. Оно, несомненно, не было отпадением от Рима; но

оно ясно показывало папе, что в случае возникновения какого-либо спора духовенство будет в руках короля. Предостережение было подкреплено требованием решить дело обращением к Клименту со стороны лордов и части общин. Пэров заставили заявить: «Дело Его Величества — дело каждого из нас». Если папа не захочет утвердить приписанного университетам мнения в пользу развода, «наше положение будет не совсем безвыходно. Всегда тяжело применять крайние средства, но больной стремится всеми способами избавиться от своей болезни». Это требование было подкреплено изгнанием Екатерины из дворца. Неудача второго посольства к папе позволила Кромвелю сделать более решительные шаги в раз принятом направлении. С развитием его политики Мор покинул пост канцлера, но испугавший его переворот был неизбежен. С царствования Эдуардов людей занимала задача примирения духовных и светских интересов страны. С самого начала парламент сделался органом национального недовольства как папским судом вне Англии, так и отдельной юрисдикцией духовенства внутри ее. Религиозная реакция и междоусобия надолго задержали движение; затем оно снова ожило под влиянием нового национального величия и единства; наконец, последним толчком послужил вопрос о разводе и подчинение английских интересов чужеземному суду. Под влиянием этого движение быстро пошло вперед. Наступило время, когда Англии предстояло потребовать себе всей власти как церковной, так и светской, в своих пределах; а так как в политическом отношении эпоха характеризовалась сосредоточением всей власти в руках государя, то требовать власти для нации значило требовать ее для короля. Значение главенства над церковью выразилось вполне в одном из предложений, внесенных в конвокацию 1532 г.: «Его величеству королю, — гласит это замечательное заключение, — принадлежит попечение как о душах его подданных, так и об их телах, и потому он может по Закону Божию издавать с помощью парламента законы для тех и других». Сильное давление заставило конвокацию просить упразднения права независимого законодательства, до того принадлежавшего церкви. С Римом было поступлено также беспощадно. Парламент статутом воспретил дальнейшие апелляции к суду папы; а на основании ходатайства собрания духовенства палаты предоставили королю право прекратить уплату аннатов, или годового дохода, который каждый епископ выплачивал Риму при назначении на кафедру. Эти два закона порвали все судебные и финансовые связи с папством. Кромвель вернулся к политике Уолси. Он отказался от надежды на помощь Карла и попытался произвести давление на папский двор с помощью нового союза с Францией, но давление, как и прежде, оказалось безуспешным. Климент грозил королю от-

лучением, если он не вернет Екатерине положения королевы и не прекратит до решения дела всяких сношений с Анной Болейн. Генрих все еще отказывался подчиниться приговору какого-либо заграничного суда, а папа не решался согласиться на разбор дела в Англии. Наконец, Генрих закончил долгий спор тайным браком с Анной Болейн. Уоргем умер, и на его место был назначен Кранмер, деятельный сторонник развода. Тотчас в его суде было начато дело, и новый примас прямо объявил брак с Екатериной незаконным. Неделью спустя Кранмер возложил на голову Анны Болейн корону, которой она так давно добивалась.

До сих пор связь с разводом скрывала настоящий характер церковной политики Кромвеля. Но хотя формально, до окончательного приговора Климента в пользу Екатерины, переговоры между Англией и Римом продолжались, они не оказывали уже никакого влияния на ряд мер, которые, быстро сменяя друг друга, целиком изменили положение английской церкви. Духовенство скоро убедилось, что признание Генриха его покровителем и главой далеко не было простой формой. Это был первый шаг в политике, имевшей целью подчинить церковь короне. В споре с Римом парламент выразил свое согласие с волей короля. Шаг за шагом была расчищена почва для великого статута, определившего новое положение церкви. Акт о верховенстве (1534) устанавливал, что король «должен быть считаем, принимаем и признаваем за единственного верховного главу английской церкви на земле и должен, вместе с императорской короной страны, пользоваться также титулом и положением такового, а равно всеми почестями, судебными правами, полномочиями, льготами, выгодами и удобствами, принадлежащими названному сану, с полным правом исследовать, подавлять, исправлять и преобразовывать все такие заблуждения, ереси, злоупотребления, упущения и преступления, которые каким-либо образом могут законно быть исправлены духовной властью или судом». Во всех церковных, как и светских, делах власть была предоставлена исключительно короне. «Духовные суды» стали такими же королевскими судами, как светские суды в Вестминстере. Но вполне значение акта о верховенстве выяснилось только в следующем году, когда Генрих формально принял титул «верховного главы английской церкви на земле», а несколько месяцев спустя Кромвель был назначен генеральным викарием, или наместником короля во всех церковных делах. Его титул, подобно его должности, напоминал систему Уолси, но тот факт, что теперь эти полномочия были соединены в руках не духовного, а мирянина, указывает на новое направление политики короля. Положение Кромвеля позволяло ему проводить эту политику со страшной прямолинейностью. Первый крупный шаг к осуществ-

лению ее уже был сделан статут, уничтожившим свободу законодательной деятельности собраний духовенства. Другим шагом в том же направлении явился акт, под предлогом восстановления свободного избрания епископов обращавший всех прелатов в ставленников короля. Избрание их капитулами кафедральных церквей давно превратилось в формальность, а на деле со времени Эдуардов их назначение производилось папами по предложению короля. Теперь со злой насмешкой право свободного избрания было возвращено капитулам, но под страхом наказания они были вынуждены выбирать кандидатов, указываемых королем. Этот странный прием уцелел до настоящего времени, но с развитием конституционного управления его характер совершенно изменился. С начала XVIII в. назначение епископов перешло от короля к министру, представителю воли народа. Поэтому, в сущности, английский прелат, единственный из всех епископов мира, получает свое достоинство путем такого же народного избрания, какое доставило Амвросию Миланскую кафедру. Но в данное время мера Кромвеля поставила английских епископов в полную зависимость от короны. Эта зависимость стала бы полной, если бы его политика была проведена до конца и королю было предоставлено такое же право смещать епископов, как и назначать их. Но и при этих условиях Генрих мог грозить архиепископу Дублинскому, что если он будет упорствовать в своей «безумной гордости, то мы можем снова удалить вас и поставить на ваше место другого человека, более добродетельного и честного». Даже Елизавета в порыве гнева грозила «разоблачить» епископа Илийского. Более ревностные сторонники реформации вполне признавали эту зависимость епископов от короны. После смерти Генриха VIII Кранмер обратился к Эдуарду за новым полномочием для отправления своей должности. Латимер, когда политика короля разошлась с его убеждениями, счел себя обязанным отказаться от Уорчестерской кафедры. Впоследствии право низложения было покинуто, но не столько из уважения к религиозным чувствам народа, сколько потому, что постоянная покорность епископов делала ненужным его применение.

Подчинив себе конвокацию, полностью господствуя над епископами, Генрих стал господином и над монашескими орденами; для этого он воспользовался правом надзора за ними, перенесенным с папы на короля актом о верховенстве. Монастыри навлекли на себя ненависть одновременно и гуманистов, и монархии. В начале Возрождения папы и епископы вместе с государями и учеными приветствовали распространение образования и надежды на церковную реформу. Но хотя среди защитников нового движения и можно было найти кое-где аббатов или приоров, в целом, монашеские ордена с неуклонным упорством отвергали его. С течением времени

вражда становилась все более ожесточенной. На «темных людей» и монастыри сыпались едкие сарказмы Эразма и дерзкие насмешки Гуттена. В Англии Колет и Мор с большей сдержанностью повторяли насмешки и нападки своих друзей. Действительно, как проявление религиозного энтузиазма монашество уже перестало существовать. Нищенствующие монахи теперь, когда исчезли их пылкая набожность и духовная энергия, обратились в простых нищих. Прочие монахи стали просто землевладельцами. Большинство монастырей стремилось только увеличить свои доходы и уменьшить число участников в них. По общему равнодушию к исполнению возложенных на их попечение духовных обязанностей, по расточительному пользованию их средствами, по бездеятельности и самодовольству, отличавшим большинство из них, монастыри страдали недостатками всех корпораций, переживших те задачи, для выполнения которых они были созданы. Но они были не более непопулярны, чем вообще такие корпорации. Требование лоллардов упразднить их заглохло. На севере, где были расположены некоторые из самых крупных аббатств, монахи были в хороших отношениях с местным дворянством, и их монастыри служили для детей дворян школами; да и в других местах нет признаков иного отношения. Но в системе Кромвеля не было места ни для доблестей или пороков монашества, ни для его бездеятельности и суеверия, ни для его независимости от короны. Поэтому для общей ревизии монастырей были посланы два королевских комиссара, и их донесения составили «Черную книгу», по их возвращении представленную парламенту. Было признано, что около трети монастырей, в том числе большинство крупных аббатств, вели правильную и приличную жизнь; монахи прочих обвинялись в пьянстве, симонии и самых низких и возмутительных пороках. Характер ревизоров, беглый характер их отчета и последовавшие за выслушиванием его долгие прения заставляют думать, что обвинения были сильно преувеличены. Но на нравственность монахов, даже в таких монастырях, как Сент-Олбанский, оказывало роковое влияние отсутствие настоящей дисциплины, проистекавшее от освобождения их от всякого надзора, кроме папского. Признания Уоргема, а также начатое Уолси частичное упразднение вполне доказывают, что, по крайней мере, в мелких монастырях безделье нередко вело к преступлению. Но несмотря на крик «Долой их!», раздававшийся среди общин при чтении отчета, страна была далека от желания полной отмены монашества. За долгими и ожесточенными прениями последовал компромисс: все монастыри с доходом ниже 200 фунтов в год были упразднены, а их доходы предоставлены короне; крупные аббатства остались пока нетронутыми.

Оставалось одно приходское духовенство, и ряд внушений генерального викария показал ректорам и викариям, что они должны считать себя простыми выразителями воли короля. С инстинктом гения Кромвель понял, какую роль в предстоявшей борьбе, религиозной и политической, должна была играть церковная кафедра, как единственный существовавший тогда способ обращения к массе народа, и он решил воспользоваться ею на пользу монархии. Ограничение права проповеди теми священниками, которые получили на то разрешение от короны, заглушило проявления оппозиции. Но даже и получившим такие разрешения было воспрещено разбирать спорные вопросы богословия. Этот способ «настраивания кафедр» указанием предмета и характера каждой отдельной проповеди делал проповедников при каждом кризисе простыми орудиями распространения воли короля. Как первый шаг в этом роде, каждому епископу, аббату и приходскому священнику было предписано проповедовать против захватов папства и провозглашать короля верховным главой церкви на земле. Даже главные пункты проповеди были заботливо указаны; епископы считались ответственными за исполнение этих приказов духовенством, а шерифы — за повиновение епископов. Только когда всякая возможность сопротивления была устранена, когда церковь была связана по рукам и ногам, а ее кафедры обращены в простые отголоски воли Генриха; только тогда Кромвель решился на последнее и важнейшее изменение: он потребовал для короны права по своему усмотрению определять форму веры и учения, принимаемых и проповедуемых по всей стране. Теперь религией Англии должен был стать очищенный католицизм, о котором мечтали Эразм и Колет. Но мечту гуманизма должны были осуществить не успехи образования и благочестия, а грубая сила монархии. Собрание духовенства, не отваживаясь на протест, приняло «религиозные статьи» (1536), составленные самим Генрихом. В основу веры были положены Библия и три символа. Число таинств с семи было сведено до трех: наряду с крещением и причащением было поставлено одно только покаяние. Учения о пресуществлении и исповеди были удержаны, как и в лютеранских церквях. Дух Эразма сказался в признании оправдания верой, — за которое в самом Риме боролись друзья нового направления, вроде Поула и Контарини, — в отвержении чистилища, индульгенций, служб за умерших, в допущении молитв за них и сохранении церковных обрядов без существенных перемен. Как ни громаден был переворот в учении, согласие конвокации не вызвало ропота, и «статьи» были разосланы генеральным викарием по всем графствам для исполнения под страхом наказания. Преобразование проводилось постепенно рядом дальнейших предписаний короля. Хождения на

богомолья были уничтожены, огромное число праздников сокращено, почитание икон и мощей порицаемо в словах, представляющих почти копию с протеста Эразма. Его горячий призыв к переводу Библии, стихи которой ткач мог бы повторять за своим челноком, а пахарь — петь за плугом, был наконец услышан. В начале министерства Норфолка и Мора король, воспрещая обращение лютеранского перевода Тиндейла, обещал новый английский перевод Священного Писания; но в руках епископов работа затянулась. Как предварительная мера, на английский были переведены Символ веры, молитва Господня и десять заповедей; каждый учитель и отец семьи должны были учить им своих учеников и детей. Но перевод епископов все еще оставался неготовым; тогда, отчаявшись в его появлении, другу архиепископа Кранмера Майлсу Коверделу поручили пересмотреть и исправить перевод Тиндейла; изданная им Библия вышла в 1538 г. под прямым покровительством самого Генриха. Уже на ее заглавном листе была изображена история королевского верховенства. Вся Англия должна была считать новое обоснование религиозной истины за дар не церкви, а короля. Генрих на троне передает священную книгу Кранмеру, прежде чем Кранмер и Кромвель могут раздавать ее толпе священников и мирян.

Прения об упразднении монастырей были первым случаем сопротивления, с которым встретился Кромвель, и некоторое время затем он оставался единственным. Англия молча следила за ходом великого переворота, ниспровергавшего церковь. При всех предшествующих реформах, при споре о папских вымогательствах и суде, при преобразовании церковных судов, даже при ограничении законодательной независимости духовенства, народ, в целом, стоял на стороне короля. Но подчинению духовенства, стеснению церковной проповеди, упразднению монастырей масса народа не сочувствовала. Только из отдельных показаний королевских шпионов мы получаем понятие о злобе и ненависти, скрывавшихся под этим молчанием. Это было молчание, вызванное террором. До возвышения Кромвеля и после его падения царствование Генриха VIII отличается не большим деспотизмом и жестокостью, чем вообще его время. Но годы правления Кромвеля представляют единственный период в нашей истории, который заслуживает названия, даваемого людьми правлению Робеспьера. Это был английский террор, с помощью которого Кромвель влиял на короля. Кранмер впоследствии выставлял его перед Генрихом за «человека, который был предан только вашему величеству, который, на мой взгляд, любил ваше величество не меньше, чем Бога». Но отношение Кромвеля к королю было не только полной зависимостью и безусловной преданностью: «Он был так бдителен, — прибавляет примас, — что охранял ваше величество от всех

измен; немногие из них были так тайно задуманы, чтобы он не открывал их с самого начала». Подобно всем Тюдорам, Генрих не боялся открытой опасности, но был страшно чувствителен к малейшему дуновению скрытой измены. На этом внутреннем страхе Кромвель и основал свое влияние. Едва он стал министром, как по всей стране рассыпалась масса шпионов. Уши его были открыты для тайных доносов. Рассказы о происках и заговорах носились в воздухе, а открытие и подавление каждого из них усиливало влияние Кромвеля на короля. С помощью террора господствовал он над королем; с помощью террора же властвовал он над народом. В Англии, употребляя отзыв Эразма об этом времени, людям казалось, «будто под каждым камнем скрывается скорпион». Исповедь не имела тайн для Кромвеля. До его уха доходила беседа людей с их ближайшими друзьями. «Праздные слова», ропот сердитого аббата, бред лунатичной монахини, по яростному замечанию вельмож при его падении, истолковывались как измена. Безопасность была возможна только при условии молчания: «Друзья, привыкшие писать и присылать мне подарки, — говорит Эразм, — не шлют теперь мне ни писем, ни подарков, и ни от кого ничего не принимают, и это из страха». Но даже это прибежище было закрыто законом, наиболее позорным из всех когда-либо запятнавших книгу статутах Англии. Не только мысль считалась изменой, но людей заставляли раскрывать их мысли под страхом того, что само их молчание будет наказано, как измена. Смелая и бессовестная политика Кромвеля разрушила всякое доверие к старым опорам свободы. Уолси до крайности искажал закон, но он не нападал открыто на свободу суда. Если он уклонялся от созыва парламента, то делал это потому, что считал его оплотом свободы. При Кромвеле давление на судей и присяжных сделало суды простыми выразителями воли короля; а когда даже эта тень правосудия оказывалась препятствием для кровопролития, в дело пускали парламент, проводивший один закон об опале за другим: «Его нужно судить по составленным им самим кровавым законам», — потребовал совет при его падении, и, по странной случайности, последняя несправедливость, которую он старался ввести в применение опалы, — осуждение человека без выслушания его защиты — была совершена над ним самим. Но как ни жесток был террор Кромвеля, он носил более благородный характер, чем террор во Франции. Он никогда не поражал бесцельно или по капризу и не унижался до мелких жертв гильотины. Его удары были действительны, потому что он выбирал себе жертвами благороднейших и лучших людей. Чтобы поразить церковь, он брал картезианцев — самых благочестивых и славных из английских духовных. Поражая знать, он обращался против Куртенэ и Поулов, в жилах которых текла королевская

кровь. Поражая гуманизм, он казнил сэра Томаса Мора. Но к его казням не примешивалась личная мстительность. Насколько можно судить по немногим рассказам, ходившим среди его друзей, он был великодушным и добросердечным человеком с приятными и привлекательными манерами, сглаживавшими некоторую личную неуклюжесть, и постоянный в дружбе, что доставило ему много преданных сторонников. Но ни любовь, ни ненависть не могли заставить его сойти с выбранного пути. Ученик Макиавелли не напрасно изучал «Государя». Он возвел кровопролитие в систему. Орывки его бумаг показывают нам, с какой деловой краткостью он отмечал человеческие жизни среди прочих дневных заметок: «Далее, аббата Ридингского отослать на суд и казнь в Ридинг»; «Далее, узнать волю короля касательно магистра Мора»; «Далее, когда магистр Фишер и другой должны идти на казнь». Это полное отсутствие всякой страсти, всякого личного чувства и делает Кромвеля самой страшной фигурой в нашей истории. Он вполне верит в преследуемую им цель и просто прорубает себе путь к ней, как дровосек прорубает себе дорогу сквозь лес, с топором в руке.

Выбор его первой жертвы доказал беспощадную последовательность, с какой он намерен был действовать. В общем мнении Европы самым выдающимся англичанином его времени был сэр Томас Мор. Когда дело о разводе окончилось открытым разрывом с Римом, он молча удалился из министерства, но его молчаливое порицание значило больше, чем оппозиция менее известных противников. Для Кромвеля в сдержанном отношении Мора должно было заключаться нечто особенно оскорбительное. Религиозные реформы гуманизма были быстро проведены, но оказалось, что человек, олицетворявший новое просвещение, считал жертву свободой и справедливостью слишком дорогой ценой за церковную реформу. При том же, Мор считал развод и новый брак неправильными с церковной точки зрения, хотя убеждение в праве парламента определять престолонаследие заставляло считать законными наследниками короны детей Анны Болейн. Закон о престолонаследии (1534) требовал принесения всеми присяги, не только признававшей наследников престола, но и заключавшей в себе признание незаконности и недействительности с самого начала брака с Екатериной. Генрих давно знал мнение Мора по этому пункту, и приглашение принести клятву было просто смертным приговором. Мор находился дома в Челси, когда получил приглашение явиться в Ламбет, в тот самый дом, где он обменивался шутками с Ургемом и Эразмом или наклонился над мольбертом Гольбейна. На минуту у него могло явиться преходящее стремление уступить, но оно скоро исчезло: «Благодаря Господу, — сказал он с внезапным порывом, когда лодка раним утром медленно отплыла от ступеней его сада,

вниз по реке, — благодарение Господу за одержанную победу». Кранмер и другие комиссары предложили ему новую присягу, которую, как они и ожидали, он отверг. Они пригласили его прогуляться по саду, чтобы снова обдумать свой ответ. День был жаркий, и Мор уселся на окне, откуда мог видеть наполненный людьми двор. Даже ввиду смерти живая симпатия его натуры могла наслаждаться весельем и жизнью этой толпы: «На дворе я увидел магистра Латимера, — говорил он впоследствии, — в большом веселье: он обнимал одного или двух человек так нежно, что будто это женщины, я счел бы его легкомысленным». Толпа состояла, главным образом, из священников, торопившихся принести присягу, которая для Мора была тяжелее смерти, но он на них за это не сердился. Когда он услышал голос человека, незадолго перед тем, как было известно, сильно затруднявшегося принести присягу, — услышал, как он громко и хвастливо требовал пить, — он только указал на него со свойственным ему юмором: «Он пил от жажды, или от радости, или чтобы показать, что он известен архиепископу». Наконец его снова позвали, но он только повторил свой отказ. Напрасно Кранмер приставал к нему с доводами, поразившими даже тонкий ум бывшего канцлера; он остался непоколебимым и был отправлен в Тауэр. За ним последовал туда Фишер, епископ Рочестерский, обвиненный в содействии измене за то, что слушался предсказаний фанатичной женщины, называвшейся «Кентской монахиней». На время даже Кромвель отступил перед их казнью. Они оставались в заключении, пока не было придумано новое и более страшное средство для устранения скрытого, но широко распространенного сопротивления церковным преобразованиям. Статут, изданный в конце 1534 г., объявил изменой отрицание титулов короля, а в начале 1535 г. Генрих, как мы видели, принял титул «верховного главы английской церкви на земле». Среди общего упадка религиозной жизни милосердие и благочестие картезианцев доставили им уважение даже тех, кто осуждал монашество. После упорного сопротивления они признали верховенство короля и принесли требуемую законом присягу. Но благодаря предательскому толкованию статута, объявлявшего отрицание верховенства изменой, отказ в удовлетворительных ответах на официальные вопросы касательно полной веры в верховенство был признан равносильным открытому отрицанию его. Цель новой меры была ясна, и братья приготовились умереть. В тревоге-ожидания энтузиазм доставлял им воображаемые утешения: «Когда возносилась жертва и мы преклоняли колена, казалось, наши лица ощущали дуновение воздуха и раздавались приятные и мягкие звуки музыки». Но долго ждать им не пришлось — их отказ послужил знаком к их гибели. Трое из братьев были повешены; прочие были зак-

лючены в зловонную темницу Ньюгейта, где их приковали к столбам, так что они не могли подняться, и оставили гибнуть от темничной лихорадки и голода. За две недели пятеро из них умерли, а остальные были при смерти: «...почти убитые, — писал Кромвелю его посланный, — десницей Бога, о чем я, ввиду их поведения, не жалею». Заточению не удалось сломить решимость Мора, и нового статута было достаточно, чтобы возвести его на эшафот. Вместе с Фишером он был изобличен в отрицании титула короля «единый верховный глава церкви». Старый епископ подошел к плахе с книгой Нового Завета в руке. Он открыл ее наудачу, прежде чем стать на колени, и прочел: «...это есть жизнь вечная — познавать тебя, единого истинного Бога». За Фишером скоро последовал и Мор. Перед роковым ударом он заботливо отстранил бороду от плахи: «Жаль было бы отрубить ее, — сказал он вполголоса, увлекаясь своей обычной едкой иронией, — она никогда не совершала измены».

Но Кромвель хорошо понимал, что нужны были еще более тяжелые удары для того, чтобы сломить упорное сопротивление англичан его преобразовательным планам, и он воспользовался для нанесения их восстанием севера. На севере монахи пользовались популярностью; а те несправедливости, какими сопровождалось упразднение монастырей, только усилили мятежное настроение, господствовавшее в стране. Вельмож возмущало управление человека, которого они считали худородным выскочкой: «Положение не изменится к лучшему, — во всеуслышание заявил лорд Гес-сэ, — пока не вступимся мы». Аграрное недовольство и привязанность к старой вере вызвали восстание в Линкольншире; едва оно было подавлено, как поднял оружие Йоркшир. Из всех приходов крестьяне с приходскими священниками во главе направились на Йорк, и сдача его увлекла колебавшихся. Через несколько дней единственным пунктом к северу от Гёмбера, остававшимся верным королю, оказался замок, где с кучкой людей держался граф Кемберленд. Дёргем поднялся по призыву лордов Латимера и Уэстморленда. Хотя граф Нортумберленд притворился больным, но Перси присоединились к восстанию. Лорд Дэкр сдал Помфрет, и тотчас мятежники признали его своим главой. Теперь за оружие взялась вся знать севера, и 30 000 «рослых людей на отличных конях» двинулись к Дону и потребовали изменения политики короля, воссоединения с Римом, возвращения дочери Екатерины Марии, прав наследницы престола, возмездия за обиды, причиненные церкви, но прежде всего устранения худородных советников, другими словами — падения Кромвеля. Хотя их движение было задержано переговорами, но организация мятежа продолжалась непрерывно всю зиму, и в Помфрете собрался парламент севера, формально при-

нявший требования мятежников. Только 6000 человек под командой Норфолка преграждали им путь к югу, а между тем известно было недовольство центральных графств. Однако опасность не испугала Кромвеля — он позволил Норфолку вести переговоры, а Генриху обещать, под давлением совета, прощение и свободный парламент в Йорке. И Норфолк, и Дэкр одинаково поняли это обещание, как принятие требований, предъявленных мятежниками. Вожди последних тотчас откинули носимый ими знак «пяти ран» с криком: «Мы не хотим носить иных значков, кроме герба нашего государя короля». Аристократы и крестьяне с торжеством разошлись по домам. Но едва города севера были заняты гарнизонами, а армия Норфолка проникла в сердце Йоркшира, как маска была сброшена. Несколько отдельных взрывов недовольства доставили предлог для отнятия всех уступок. За арестом вождей восстания последовали беспощадные строгости. Страна покрылась виселицами, целые округа подверглись военной экзекуции. Всего тяжелее обрушилась рука Кромвеля на вождей восстания. Он воспользовался этим случаем, чтобы нанести роковой удар знати севера. «Кромвель, — заявил один из главных аристократов, явившись в совет, — ты — самая главная причина всего этого восстания и беззакония; ты постоянно стараешься довести нас до гибели и отрубить нам головы. Я надеюсь, что хотя ты постарайся отрубить головы всей знати королевства, но останется раньше твоей смерти хоть одна голова, которая и отрубит твою». Но предостережение было оставлено без внимания. Лорд Дарси, глава знати Йоркшира, и лорд Гессэ, вождь знати Линкольншира, были отправлены на эшафот. Аббат Бэрлингский, въехавший в Линкольн со своими канониками в полном вооружении, был повешен вместе с тремя другими аббатами. Аббаты Фаунтенский и Жервоский были повешены в Тиберне бок о бок с представителем великого дома Перси. Леди Бусемер была сожжена на костре. Сэр Роберт Констебл был повешен в цепях перед воротами Халла. Едва нанесен был удар северу, как Кромвель обратился на запад. Здесь оппозиция против его системы сосредоточивалась преимущественно вокруг двух фамилий, представлявших отголоски йоркской традиции, Куртены и Поулов. Маргарита, графиня Солсбери, дочь герцога Кларенса и наследница графа Варвика, была в одно и то же время представительницей Невиллов и племянницей Эдуарда IV. Ее третий сын Реджинальд Поул отказался одобрить развод Генриха, несмотря на предложенные ему за это высокие награды, и искал себе убежища в Риме, откуда жестоко напал на короля в книге о «Единстве церкви». Тогда Кромвель написал ему многозначительные слова: «В Италии можно найти достаточно средств, чтобы избавиться от изменившего подданного. Если нельзя добиться справед-

ливости дома по закону, то иногда она бывает вынуждена братья за другие средства за границей». Но Поул оставил в руках Генриха заложников: «Жаль, что безумие безрассудного глупца может погубить такую знатную фамилию. Пусть только он последует внушениям своего честолюбия; в таком случае, не будь только великой милости и кротости государя, даже люди, мало его оскорбившие (кроме того, что безумец принадлежит к их родне) должны будут испытать, что значит иметь предателя своим родственником». В ответ на это Поул попросил императора скорее исполнить изданную папой буллу об отлучении и низложении Генриха. Кромвель не заставил долго ждать ответа*.

Родственником Поулов был Генри Куртенэ, маркиз Экзетер, через свою мать приходившийся внуком Эдуарду IV. О нем было известно, что он горько жаловался на «окружавших короля мошенников», и его угрозы «надавать им когда-нибудь пощечин» имели грозный смысл в устах человека, имевшего в западных графствах огромное влияние. Его тотчас арестовали вместе с лордом Монтегю, старшим братом Поула, по обвинению в измене, и оба они были обезглавлены на Тауэр-Хилле, а графиня Солсбери была осуждена на заключение в Тауэре. Позднее ее тоже обезглавили.

Никогда Кромвель не выказывал такого величия, как в своей последней борьбе против судьбы. Когда король понял все значение церковных реформ, он перестал доверять ему и стал называть его «мошенником»; по мере упадка своего влияния он встречал все больше сопротивления в совете, но характер его оставался по-прежнему неукротимым. Он стоял совсем одиноко. Уолси ненавидела знать, но он находил себе поддержку у церкви; Кромвеля духовенство ненавидело еще сильнее, чем знать. Его единственными друзьями были протестанты, но их дружба была для него еще губительнее ненависти его врагов. Однако у него не было заметно ни страха, ни отказа от раз принятого направления. Его деятельность была как и всегда беспредельна. Подобно Уолси, он сосредоточил в своих руках все управление государством: он был в одно и то же время министром иностранных и внутренних дел, генеральным викарием церкви, создателем нового флота, устройтелем армий, председателем грозной Звездной палаты. Его итальянское равнодушие к простой демонстрации власти сильно отличалось от пышности кардинала. Его личные привычки были просты и скромны. Если он дорожил деньгами, то для содержания за свой счет боль-

* Автор напрасно возлагает всю вину на Кромвеля. Генрих VIII явно сам был не прочь отделаться от родни, в которой видел возможных претендентов на трон. Кромвель был лишь проводником монаршей воли.

шой массы шпионов, за деятельностью которых он следил с неусыпным вниманием. От огромной массы его переписки еще остается более 50 томов. Тысячи писем от «несчастливых бедняков», от оскорбленных женщин, обиженных рабочих, преследуемых еретиков стекались ко всемогущему министру, превращенному его системой личного управления во всеобщую апелляционную инстанцию. Пока Генрих поддерживал его, хотя и неохотно, он успешно боролся со своими врагами. У него хватило силы удалить из Королевского совета своего главного противника Гардинера, епископа Уинчестерского. На вражду знати он отвечал угрозой, доказывавшей его могущество: «Если лорды будут так относиться к нему, он устроит им такой завтрак, какого еще никогда не бывало в Англии, и это испытают самые надменные из них». Единственно его воля навязала план внешней политики, целью которого было привязать Англию к делу реформации, а Генриха поставить в зависимость от его министра. Дерзкая похвальба, которую впоследствии ставили ему в вину его враги, все равно — была ли она выражена или нет, — служит только выражением его системы: «В короткое время он хотел привести дела в такое положение, чтобы при всем своем могуществе король не был в состоянии мешать ему». Подобно плану, оказавшемуся роковым для Уолси, его замыслы основывались на новом браке Генриха. Короткое торжество Анны Болейн окончилось обвинением ее в неверности и измене и казнью ее в 1536 г. Ее соперница и наследница привязанности Генриха Джейн Сеймур умерла в следующем году от родов, и Кромвель нашел ей замену в лице немки Анны Клевской, свояченицы лютеранского курфюрста Саксонии. Он даже осмелился воспротивиться капризу Генриха, когда тот при первом свидании возмущился грубыми чертами и неуклюжей фигурой своей новой невесты. На время Кромвель удалось поставить дело так, что отступить перед браком стало невозможно. Но брак этот был только первым шагом в политике, которая, в случае полного ее осуществления, предвосхитила бы триумфы Ришелье. Карл и Габсбургский дом одни могли произвести католическую реакцию, достаточно сильную для того, чтобы задержать и оттеснить реформацию; едва Кромвель сошелся с князьями Северной Германии, как стал склонять их к союзу с Францией для ослабления власти императора. Если бы план его удался, изменилось бы общее положение Европы: Южная Германия стала бы протестантской, Тридцатилетняя война была бы предотвращена. Но Кромвель потерпел неудачу, как люди, опережающие свой век. Немецкие князья отступили перед столкновением с императором, а Франция — перед борьбой, которая могла бы стать гибельной для католицизма, и Генрих, прикованный к ненавистной жене, остался один на жертву Австрийскому дому;

Часть 6

тогда его гнев обрушился на Кромвеля. Вельможи набросились на него с яростью, которая говорила о долго накапливавшейся ненависти. Когда герцог Норфолк, которому было поручено арестовать министра, сорвал с его шеи орден Подвязки, лорды за столом совета разразились оскорблениями и проклятиями. Услышав обвинение в измене, Кромвель с криком отчаяния кинул на пол свою шляпу: «Так вот, — воскликнул он, — награда за оказанные мной услуги! Скажите по совести, прошу вас, неужели я изменник?!». Затем, вдруг поняв, что все кончено, он попросил своих врагов поторопиться и не томить его в тюрьме. Дело было скоро покончено, и народ приветствовал казнь Кромвеля еще более громким одобрением, чем его обвинение (июнь — июль 1540 г.).

Часть 7

Реформация

Глава I

Протестанты (1540–1553)

После смерти Кромвеля успех его политики был полный: монархия достигла высшего могущества, старые вольности Англии были повержены к стопам короля, лорды были запуганы и приведены в уныние; палата общин наполнена креатурами двора и превращена в орудие тирании. Королевские распоряжения заняли место парламентских законов; «одоления» все более нарушали право парламента назначать налоги. Правосудие в обыкновенных судах было подчинено воле короля, а безграничные и произвольные полномочия Королевского совета постепенно вытесняли более медленную процедуру общего права. Новые церковные реформы придали почти религиозный характер «величеству» короля. Генрих был главой церкви. От примаса до последнего служителя все представители ее только от него получали право пользоваться своими духовными полномочиями. Голос ее проповедников был отголоском его воли. Он один мог устанавливать, что правоверное учение, а что ересь. Формы ее служения и веры изменялись по капризу короля. Половина ее богатств наполнила собой королевскую казну; другая их половина была во власти короля. Это беспрецедентное сосредоточение всей власти в руках одного человека поразило воображение подданных Генриха. Его стали считать выше законов, управляющих обыкновенными людьми. Политики и священники выставляли его мудрость нечеловеческой. При упоминании его имени сам парламент поднимался и преклонялся перед пустым тронем. Полная преданность его особе заняла место прежней верности закону. Указывая на главное достоинство Кромвеля, примас английской церкви утверждал, что он любил короля «не меньше Бога».

Как мы видели, больше кого другого содействовал выработке этого культа короля Кромвель; но едва он был выработан, как начал разрушаться. Сам успех мер Кромвеля привел к гибели его политики. Одной из самых

замечательных особенностей его системы было оживление деятельности парламента. Великое собрание, которого, с Эдуарда IV до Уолси, опасалась монархия, было снова призвано к жизни Кромвелем, обратившим его в страшнейшее орудие деспотизма. Он не видел ничего опасного в палате лордов, светские члены которой бессильно преклонялись перед могуществом короны, а духовные обращались его политикой в простые орудия королевской воли. Не мог он находить ничего страшного и в палате общин, составленной из членов, которые прямо или косвенно назначались Королевским советом. С таким парламентом Кромвель мог прямо рассчитывать на то, что в лице представителей нации он сделает ее саму участницей в создании абсолютизма. Статуты парламента повергли церковь к стопам монархии. Билли об опале привели на эшафот крупнейших вельмож. Вновь изобретенные измены, присяги, следствия ограничили с соблюдением законных форм свободу. Но успех такой системы целиком зависел от полного подчинения парламента воле короны, а между тем способ действий Кромвеля сделал невозможным продолжение такой подчиненности. Та роль, какую пришлось в последующие годы играть парламенту, доказывает важность сохранения конституционных форм, даже если они почти утратили жизнь. При неизбежной реакции против тирании они являются центрами для оживающей энергии народа, а возвратному потоку свободы их сохранение позволяет течь спокойно и естественно по его обычным каналам. В правление самого Кромвеля один случай, «великий спор» об упразднении мелких монастырей, показал, что элементы сопротивления еще сохранились, и они быстро развились, когда могущество короны упало благодаря малолетству Эдуарда VI и непопулярности Марии. Этому возрождению духа независимости сильно содействовало отобрание церковных имуществ. Отчасти по необходимости, отчасти из желания создать партию, заинтересованную в продолжении их церковной политики, Кромвель и король с беспечной расточительностью раздали огромную массу богатств, стекавшуюся в казну. Таким путем от церкви к аристократии перешло около одной пятой всех земель королевства. Это не только обогатило старые фамилии, но и создало новую знать из креатур двора. Наиболее известными примерами фамилий, возвысившихся из ничтожества благодаря огромным пожалованиям церковной земли придворным Генриха, служат Расселы и Кавендиши. Едва была сокрушена старая знать, как ее место заняла новая аристократия. По замечанию Галлама, «фамилии, считающиеся теперь наиболее значительными, выдвинулись впервые, за немногими исключениями, при королях из дома Тюдоров, а если проследить происхождение их состояний, то окажется, что немалую часть их они приобрели от монас-

тырей и других церковных учреждений». Руководящее участие новых пэров в событиях, следовавших за смертью Генриха, придало всему сословию новую силу и свежесть. В общем, в обогащении землевладельцев участвовало и простое дворянство, и потому вслед за новой энергией лордов скоро обнаружили новую самостоятельность и общины.

Но всего более роковой оказалась политика Кромвеля для монархии из-за религиозного настроения народных масс, почерпнутого из произведенных им церковных реформ. Лоллардизм как крупное общественное и народное движение прекратил существование, и кроме случайной тревоги и недовольства строем церкви от чисто религиозного импульса, данного Уиклифом, осталось немного. Но хотя жизнь лоллардизма отличалась слабостью и неустойчивостью, тем не менее преследованиям, упоминания о которых рассеяны в протоколах епископских судов, не удалось совсем уничтожить его. Там и сям собирались кучки людей читать «целую ночь в большой еретической книге известные главы евангелистов по-английски»; из рук в руки переходили списки трактатов Уиклифа. Чтобы раздуть тлеющий пепел в пламя, нужно было только дуновение воздуха, и это дуновение исходило от Уильяма Тиндейла. Из Оксфорда он перешел в Кембридж и был там сильно поражен появлением Нового Завета Эразма. С этого момента у него в сердце была одна мысль: «Если Бог сохранит мне жизнь, — сказал он ученому противнику, — я постараюсь, чтобы через несколько лет малый, ходящий за плугом, больше тебя был знаком с Писанием». Но прежде чем его мечта осуществилась, он достиг 40 лет. Известие о протесте Лютера в Виттенберге вызвало его из уединения; на время он нашел себе приют в Лондоне, а потом в Гамбурге, откуда отправился в небольшой городок, ставший вдруг священным городом реформации. Студенты всех наций стекались туда с энтузиазмом, напоминая крестовые походы: «Когда пред ними показывался город, — рассказывает современник, — они воздавали благодарение Богу, так как теперь свет евангельской истины распространялся в отдаленнейшие части земли из Виттенберга, как прежде из Иерусалима». В 1525 г. Тиндейлов перевод Нового Завета был закончен. Изгнанный из Кёльна, Тиндейл со своими листами должен был бежать в Вормс, и оттуда 6000 экземпляров Нового Завета были посланы к берегам Англии. Но Тиндейлова Библия была для Англии не просто переводом, а отголоском лютеранского движения: она носила на себе отпечаток Лютера в передаче церковных выражений и явилась вместе с жестокими нападениями Лютера и перепечатками трактатов Уиклифа. Поэтому она была объявлена еретической, и груда книг была сожжена перед Уолси на дворе церкви Св. Павла. Однако общество «христианских братьев», состоявшее, по пре-

имуществу, из лондонских торговцев и граждан, но рассылавшее агентов по всей стране, продолжало тайно ввозить в Англию и распространять среди торговых и низших классов Библии и памфлеты. Они тотчас нашли себе доступ в университеты, где духовный толчок, данный гуманизмом, пробудил религиозную мысль. Кембридж уже стал известен ересью, и его ученые, которых Уолси увел в основанный им Колледж Кардинала, распространили заразу и в Оксфорде. Скоро более талантливые и занимающиеся студенты вошли в состав группы «братьев», образовавшейся в Колледже Кардинала для тайного чтения и обсуждения Посланий. Напрасно Клерк, глава группы, старался отговорить новых членов от вступления в нее, указывая на грозящие опасности: «Я упал перед ним на колени, — говорит один из них, — и со слезами и рыданиями умолял его ради милосердия Божия не отвергать меня; я выражал твердую веру в то, что Тот, кто вывел меня на этот путь, не покинет меня, но будет так милостив, что доведет меня до конца его. Когда он услышал эти слова, он подошел ко мне, обнял и поцеловал меня, говоря: «Да дарует тебе это Господь Бог Всемогуший; с этих пор считай меня всегда твоим отцом, а я буду считать тебя своим сыном во Христе». Возбуждение, вызванное этим быстрым распространением работы Тиндейла, заставило Уолси действовать энергичнее: многие из оксфордских братьев были посажены в тюрьму, а их книги конфискованы. Но несмотря на панику протестантов, из которых некоторые бежали за море, в сущности, было проявлено мало строгости. Уолси постоянно оставался равнодушным ко всему, кроме политических вопросов.

Больше всего король беспокоился о том, как бы преследование ереси не повредило интересам гуманизма. Это сказалось в покровительстве, оказанном им человеку, которому суждено было затмить даже славу Колета как народного проповедника. Хью Латимер был сыном лестерского крестьянина; мальчиком он застегивал на отце вооружение, когда тот отправлялся в Блекгис навстречу мятежникам Корнуолла. Он сам описал свое военное воспитание в юности. «Мой отец с удовольствием учил меня стрельбе из лука. Он учил меня натягивать его — налегать телом на лук и натягивать его не силой руки, а тяжестью всего тела». 14 лет он был в Кембридже и с таким усердием погрузился в гуманизм, проникший туда, что это, наконец, сказалось на его физическом здоровье. Его усердные занятия ослабили здоровье и довели до болезненности, от которой он, несмотря на сильное сложение, никогда не мог вполне освободиться. Но ему суждено было прославиться не как ученому, а как проповеднику. Сильный здравый смысл помог ему отрешиться в проповедях от школьного педантизма и богословских тонкостей. У него было мало склонности к умозрению и в современ-

ных преобразованиях он постоянно следовал за своими собратьями по реформе. Но у него была нравственная строгость еврейского пророка, и его изобличения неправды отличались пророческой прямоотой и пылом: «Пожалейте о вашей душе, — говорил он Генриху, — и подумайте, что близок день, когда вы дадите отчет в ваших делах и в крови, пролитой вашим мечом». Его ирония действовала еще сильнее, чем нападки: «Я предложу вам странный вопрос, — сказал он однажды собранию епископов, — кто самый усердный прелат во всей Англии, превосходящий всех остальных в исполнении своих обязанностей? Я скажу вам это — дьявол! Из всей массы тех, кому вверена паства, плату от меня получит дьявол, так как он исполняет как следует свое дело. Поэтому вы, ленивые прелаты, научитесь от дьявола исполнять свои обязанности. Если вы не хотите следовать Богу, постыдитесь хоть дьявола». Но он далеко не ограничивался порицанием. Его грубый юмор пробивается в рассказах и притчах; его серьезность постоянно умеряется здравым смыслом; его простой безыскусный язык оживляется сильным природным остроумием. Он беседует со своими слушателями, как человек разговаривает со своими друзьями, рассказывает им истории вроде тех, какие мы передавали о его жизни в родительском доме, или говорит о переменах и событиях дня, говорит так просто и правдиво, что это придает значение даже его болтовне. Темы ему всегда дает окружающий его мир, и в своих простых уроках верности, деятельности, сострадания к бедняку он затрагивает всевозможные сюжеты — от плуга до престола. До него такой проповеди не было слышно в Англии, а с возрастанием его славы росла и опасность преследования. Бывали минуты, когда несмотря на всю его смелость его мужество ослабевало: «Если бы я не был уверен, что Бог поможет мне, — писал он однажды, — я желал бы, чтобы теперь океан отделял меня от моего лондонского повелителя». Наконец, беда разразилась в виде обвинения в ереси: «Я намерен, — писал он со свойственным ему смешением юмора и пафоса, — несмотря на свою скорбь, весело провести Рождество с моими прихожанами, так как возможно, что я никогда не вернусь к ним». Но его спасла постоянная поддержка двора. Уолси защитил его от угроз епископа Илийского; Генрих назначил его придворным священником, и вмешательство короля в этот критический момент заставило судей Латимера удовольствоваться неопределенным выражением покорности.

Ссора Генриха с Римом избавила протестантов от более настойчивого преследования, беспокоившего их после падения Уолси. Развод, отречение от папства, унижение духовенства, упразднение монастырей, церковные реформы падали на духовенство подобно ряду тяжелых ударов. Из преследователя оно превратилось в людей, опасавшихся за свою жизнь.

Во главе его были поставлены люди, которым оно раньше угрожало. Кранмер сделался примасом; Шекстон, сторонник новых реформ, был назначен епископом Солсберийским, Барлоу, еще более крайний человек, — епископом Сент-Давидским, Гилси — Рочестерским, Гудрич — Илийским, Фокс — Герфордским. Сам Латимер стал епископом Уорчестерским и в суровом обращении к собранию духовенства порицал его за корыстолюбие и суеверие в прошлом и за бездеятельность в настоящем, когда король и его парламент работают над возрождением церкви. Как мы видели, Кромвель вполне разделял стремления гуманизма: он желал скорее церковного преобразования, чем переворота, скорее упрощения, чем перемены учения, скорее очищения обрядов, чем введения новых. Но наносить церкви удар за ударом было невозможно, не опираясь инстинктивно на партию, сочувствовавшую немецкой реформации и стремившуюся к более радикальным преобразованиям на родине. Как ни мало было этих «лютеран» или «протестантов», но их новые надежды придавали им страшную силу, а в школе преследования они научились горячности, находившей удовольствие в поругании той веры, которая так долго преследовала их. В самом начале преобразований Кромвеля четверо юношей в Сеффолке ворвались в церковь, сорвали чудотворный Крест и сожгли его в поле. Упразднение мелких монастырей послужило знаком к новому взрыву низкого поругания старой веры. Грубость, наглость и насилия комиссаров, посланных для проведения его, приводили в отчаяние всех монахов. Их слуги ездили по дорогам со стихарями вместо камзолов и подрысниками вместо чепраков и наводили страх на уцелевшие более крупные монастыри. Иные обители продавали свои бриллианты и мощи, чтобы собрать средства для предстоящих черных дней, а иные добровольно просили о своем упразднении. Еще хуже стало, когда новые распоряжения генерального викария предписали удаление предметов, пользовавшихся суеверным почитанием. Уже само по себе удаление образов или мощей оскорбляло людей, веривших в их святость; но эту горечь еще более усиливало сопровождавшее их удаление поругание. Чудесное распятие в Боксли, опускавшее голову и двигавшее глазами, выставляли напоказ на ярмарках и, как игрушку, показывали при дворе. С изображений Богородицы снимали их драгоценные облачения, а их самих отсылали на публичное сожжение в Лондон. Латимер отправил в столицу изображение Богоматери, с грубо-насмешливыми словами удаленное им из его кафедрального собора в Уорчестере: «Со своей старшей сестрой в Уолсингеме, младшей в Ипсиче и двумя другими сестрами в Донкастере и Пенрайсе она составила бы в Сисфилде прекрасную выставку». Затем был отдан приказ выбросить все мощи из рак и сравнять последние с

землей. Кости св. Томаса Бекета были выброшены из красивого ковчега, служившего украшением митрополичьей церкви, а имя его, как изменника, было вычеркнуто из служебников. Введение английской Библии в церкви дало новый толчок рвению протестантов. Вопреки наставлениям короля — читать ее пристойно и без объяснения, молодые ревнители гордились чтением ее во время обедни кружку возбужденных слушателей и прибавлением к чтению неистовых толкований. Протестантские девушки брали с собой в церковь новый английский молитвенник и хвастливо читали его во время заутрени. Насмешки перешли в открытое насилие, когда толпы протестантов стали проникать в епископские суды и разгонять их. И закон, и общественное мнение были одинаково оскорблены, когда священники, державшиеся новых учений, стали открыто вводить в свои дома жен. Возмущением молчания церковной кафедры служил дикий взрыв народных споров. Новое Писание, как горько жаловался Генрих, «обсуждалось, перелажалось в стихи, распевалось и вызывало споры во всех винных и пивных лавках». Статьи, предписывавшие английской церкви учение веры, вызвали яростный спор. Невероятной грубостью и неуважением отличались нападки на таинство мессы (обедни) — средоточие католического учения и богослужения, все еще остававшееся священным для массы англичан. Учение о пресуществлении, все еще признававшееся законом, предавалось осмеянию в балладах и мистериях. В одной церкви протестантский адвокат поднял на руках собаку, в то время как священник возносил жертву. Священнейшие слова старого богослужения (*Hoc est corpus*) были переделаны в обозначение плутовства (фокус-покус). Эти нападки на мессу, еще более других оскорблений, возбудили глубокое недовольство Генриха и народа; первые признаки реакции проявились в акте о шести статьях, с общего согласия принятом в 1539 г. парламентом. Насчет учения о пресуществлении, подтвержденного первой статьей, между гуманистами и старокатоликами не было разногласия. Но пять других статей, подтверждавшие причащение под одним видом, безбрачие духовенства, монашеские обеты, частные обедни и тайную исповедь, казалось, преграждали путь к продолжению даже умеренной реформы. Более грозной особенностью реакции было возобновление преследования. За отрицание пресуществления было назначено сожжение; оно же стало наказанием за нарушение прочих пяти статей во второй раз. Отказ от исповеди или от посещения обедни был объявлен уголовным преступлением. Напрасно Кранмер, вместе с пятью епископами, отчасти сочувствовавшими протестантам, восставал против закона в палате лордов. Общины были единодушны, и сам Генрих выступил защитником закона. В одном Лондоне на основании его было привле-

чено к суду 500 протестантов. Латимер и Шекстон были посажены в тюрьму, и первый был принужден к отречению от сана. Самого Кранмера спасло только личное расположение Генриха. Но едва прошел первый порыв торжества, как снова дала себя чувствовать сильная рука Кромвеля. Хотя его взгляды оставались гуманистическими и мало отличались от всеобщего мнения, выраженного в законе, но он инстинктивно склонялся к единственной партии, не желавшей его падения. Он желал ограничить увлечения протестантов, но не имел в виду губить их. Епископы были спокойно освобождены, а обвинения лондонцев кассированы. Чиновникам запретили настаивать на исполнении закона, а общая амнистия освободила тюрьмы от еретиков, арестованных на основании его постановлений. Через несколько месяцев после издания шести статей мы читаем в письме одного протестанта, что преследование совсем прекратилось, что «слово Божие энергично проповедуется и что всякого рода книги могут быть спокойно выставляемы на продажу».

Казалось, с падением Кромвеля его планы были совсем оставлены. Брак с Анной Клевской был расторгнут, и найдена новая королева в лице Кэтрин Говард, племянницы герцога Норфолка, как и Анна Болейн. Сам Норфолк вернулся к власти и политике, прерванной Кромвелем. Подобно королю, он искал союза, скорее, с императором, чем с Франциском и лютеранами. Он все чаще держался за мечту гуманистов о преобразовании церкви Вселенским собором и о примирении Англии с очищенным католицизмом. Для этой цели необходимо было поддерживать в Англии правоверие и сблизить ее с императором, влияние которого только и могло привести к созыву подобного собора. Но для ревностных католиков, как и для ревностных протестантов, годы, следовавшие за падением Кромвеля, представлялись временем постепенного возвращения к католицизму. Преследования протестантов несколько усилились; на чтение английской Библии были наложены ограничения. Но ни Норфолк, ни Генрих не желали строгих реакционных мер. Они и не думали восстанавливать старые суеверия или переделывать сделанное дело, а хотели просто охранять преобразованную веру от лютеранской ереси. Чтобы дать возможность совершать богослужения на на родном языке, были изданы английская литургия и молитвы, послужившие зерном позднейшего молитвослова. Крупные аббатства, спасенные в 1536 г. энергичным сопротивлением парламента, в 1539 г. разделили участь мелких. Но несмотря на эту конфискацию, казна была опять пуста, и закон 1545 г. упразднил в пользу короны более 2000 соборов и часовен вместе со 110 больницами. Когда на время снова вспыхнула борьба между Францией и Австрийским домом, Генрих предложил Карлу союз Англии, так как видел в этом лучшую поруку преобразования церкви и восстановления един-

ства. Но, как предвидел Кромвель, время для мирной реформы и общего воссоединения христианства прошло. Столь давно ожидавшийся собор собрался в Триденте не с целью примирения, а для подтверждения тех суеверий и заблуждений, против которых восставал гуманизм и от которых отказались Англия и Германия. Долгая вражда Франции и Австрийского дома перешла в более крупную борьбу, начинавшуюся между католицизмом и реформацией. Император окончательно вступил в союз с папой. Когда надежды католических вельмож на компромиссное решение исчезли, они незаметно втянулись в поток реакции. Анна Эс্কью с тремя подругами подверглась пытке и сожжению на костре за отрицание пресуществления; Латимера допрашивали в совете; сам Кранмер, при общем разложении умеренной партии склонявшийся к протестантизму, как Норфолк склонялся к Риму, был одно время в опасности. Но в последние часы своей жизни Генрих доказал свою верность начатому им делу. Его решение не подчиняться освященным в Триденте притязаниям папства заставило его, хотел он этого или нет, вернуться к политике великого министра, отправленного им на эшафот. Он предложил немецким князьям составить «христианский союз». Он согласился на предложенную Кранмером замену мессы причастной службой. Он заключил герцога Норфолка как предателя в Тауэр и казнил его сына графа Сэррея. Вперед выдвинулся граф Гертфорд, глава «новых людей», известный как покровитель протестантов; он был назначен членом регентского совета, учрежденного Генрихом перед смертью (январь 1547).

Подобно Анне Болейн, Кэтрин Говард за измену супругу поплатилась жизнью; ее преемница на престоле Кэтрин Парр имела счастье пережить короля. От многих браков Генриха осталось только трое детей: Мария — от Екатерины Арагонской, Елизавета — от Анны Болейн и малолетний Эдуард, вступивший теперь на престол под именем Эдуарда VI, — сын Джейн Сеймур. Так как Эдуарду было только девять лет, то Генрих учредил тщательно уравновешенный регентский совет; но его завещание попало на хранение к брату Джейн, которого он награждал титулом лорда Гертфорда и который впоследствии принял титул герцога Сомерсета. Когда список регентов был наконец обнародован, из него был объявлен исключенным Гардинер, бывший до того руководящим министром, и Гертфорд захватил себе всю королевскую власть с титулом протектора. Личная слабость заставила его тотчас добиваться поддержки народа такими мерами, которые указывают на первое отступление монархии от чистого абсолютизма, достигнутого ею при Генрихе. Был отменен статут, приписывавший распоряжениям короля силу закона, а из свода законов были вычеркнуты некоторые новые преступления и измены, изобретенные Кромвелем и применявшиеся им с

таким страшным успехом. Надежда на поддержку протестантов — вместе с личными симпатиями Гертфорда — заставила его поддерживать нововведения, против которых Генрих боролся до конца. Кранмер стал теперь чистым протестантом и вскоре после возвышения Гертфорда открыто порвал со старым строем: «В этом году, — говорит современник, — архиепископ Кентерберийский в Великий пост открыто ел мясо в Ламбетском зале, подобного чему не было видано никогда с обращения Англии в христианство». За этим знаменательным актом быстро последовал ряд важных мер. Были отменены юридические запрещения лоллардизма, а также шесть статей; приказ короля удалил из церквей все картины и образа; священникам дозволено было вступать в брак; новое причастие, занявшее место мессы, приказано было совершать под обоими видами и на английском языке; английский всеобщий молитвенник — литургия, с небольшими изменениями доселе совершаемая в английской церкви, — заменил служебник и требник, из которых преимущественно было взято его содержание. Эти крупные церковные преобразования проводились с деспотизмом, если не с энергией, Кромвеля. Гардинер понимал верховенство короля чисто лично и объявлял незаконными и ничтожными все церковные преобразования, произведенные в малолетство Эдуарда, за что и был посажен в Тауэр. Свобода проповеди была ограничена раздачей дозволений только сторонникам примаса. Масса протестантских памфлетистов наводняла страну жестокими нападками на мессу и ее суеверные принадлежности, а доказывать противное строго запрещалось. Согласие вельмож и землевладельцев было куплено упразднением благотворительных учреждений и церковных братств и удовлетворением их жадности последним достоянием церкви. Для подавления широкого народного недовольства, обнаружившегося на востоке, на западе и в центральных графствах, были введены немецкие и итальянские наемники. Жители Корнуолла отказались принять новое богослужение, «так как оно походит на святочную потеху». Девоншир открыто восстал, требуя восстановления мессы и шести статей (1549). Снова разразилось общими беспорядками аграрное недовольство, еще более усиленное экономическими переменами. 20 000 человек собрались вокруг «дуба реформации» близ Норича, в отчаянной схватке отразили королевские войска и возобновили старые требования: удаление злых советников, запрещение огораживаний, удовлетворение жалоб бедняков.

Восстание было потоплено в крови; но слабость, проявленная протектором ввиду опасности, его снисхождение к народным требованиям, его намерение выполнить законы против огораживаний и выселений, ожесточили баронов и привели к его падению. Совет заставил его отказаться от

власти, и она перешла к графу Варвику, беспощадная суровость которого всего более способствовала подавлению восстания. Но смена правителей не привела к перемене системы. Правление вновь выдвинувшейся знати, составлявшей регентский совет, носило характер террора: «Большая часть народа, — признавался Сесил, одна из ее креатур, — расположена не защищать дело знати, а помогать ее противникам; на стороне последних стоит большая часть знати, отдалившейся от двора, все епископы, кроме трех или четырех, почти все судьи и адвокаты, почти все мировые судьи, священники, которые могут направить свое стадо куда угодно, так как весь народ находится в таком раздраженном настроении, что легко последует за первым движением к перемене». Но, не обращая внимания на внешние и внутренние опасности, Кранмер и его товарищи шли еще смелее по пути нововведений. Четыре прелата, державшиеся старого учения, были лишены сана и под надуманными предлогами посажены в Тауэр. Учение реформаторов было изложено в новом катехизисе; в церквях было предписано читать книгу проповедей, развивавшую основы протестантизма. Последним вызовом учению о мессе явился приказ разрушить каменные алтари и заменить их деревянными столами, которые большей частью ставились по середине церкви. Был издан пересмотренный молитвенник, и все сделанные в нем изменения склонялись прямо в сторону крайнего протестантизма, в это время нашедшего себе прибежище в Женеве. В 1552 г. были введены 42 религиозные статьи, и хотя с тех пор опущения свели их число до 39, но они и до сего дня остаются формальным образцом учения английской церкви. Страдания не научили протестантов ценить религиозную свободу. Взамен канонического права католической церкви особой комиссией было поручено составить новый свод церковных законов; в нем не встречалась, правда, смертная казнь, но назначалось вечное заключение или изгнание за ересь, богохульство и прелюбодеяние, а отлучение влекло за собой лишение преступника благодати Божией и предоставление его во власть дьявола. Окончание этого свода замедлилось, и это помешало введению его в царствование Эдуарда; но пользование новой литургией и присутствие при новой службе навязывалось угрозой тюремного заключения, а от всех духовных, церковных старост и школьных учителей королевский приказ требовал подписи религиозных статей. Недовольство переменами, столь поспешно и насильственно проводимыми, усиливалось смелостью взглядов крайних протестантов. Настоящее значение религиозного переворота XVI в. для человечества заключалось не в замене одного символа другим, а в пробуждении в течение его нового духа исследования, новой свободы мысли и обсуждения. Но как ни привычна нам истина, она была совершен-

но неизвестна Англии того времени. Люди с ужасом слушали, как подвергали обсуждению основы веры и нравственности, оправдывали многоженство, доказывали незаконность клятв, ставили священной обязанностью общность имущества, отрицали божественность Христа. Отмена закона об еретиках оставила неприкосновенными постановления общего права, и Кранмер пользовался ими, чтобы без пощады осуждать на сожжение еретиков последнего класса; но внутри самой церкви более рьяные члены партии примаса сильно восставали против его стремления к единообразию. Гупер, назначенный епископом Глостерским, отказался носить епископские одежды и объявил их ливреей «блудницы вавилонской» — название, отысканное для папства его противниками в Апокалипсисе. Церковный порядок почти исчез. Священники бросали стихари, как проявление суеверия. Патроны приходов назначали на зависимые должности своих охотников или смотрителей за дичью и брали себе их доходы. В университетах прекратилось преподавание богословия; число студентов упало, библиотеки были частью растеряны или сожжены, духовный толчок, данный гуманизмом, исчез. Впрочем, одной благородной мере, основанию 18 грамматических школ, суждено было прославить имя Эдуарда, но она не имела времени принести плоды в его царствование. Люди видели перед собой только церковный и политический хаос, в котором церковный порядок исчез, а политика превратилась в соперничество кучки вельмож из-за эксплуатации церкви и короны. Ограбление благотворительных учреждений и братств не удовлетворило аппетита шайки грабителей. Напрасно им была отдана половина земель всякой кафедры; для удовлетворения их жадности была упразднена богатая Дергэмская кафедра; конфискация грозила всем доходам церкви. Придворные проглатывали поместья, а казна становилась все беднее. Ценность монеты была снова понижена. Другьям Сомерсета и Варвика были пожалованы коронные земли стоимостью в пять миллионов на теперешние английские деньги. Расходы двора за 17 лет возросли в четыре раза. Ясно, что Англия должна была скоро восстать против регентства, если бы оно не пало само, благодаря ссорам грабителей между собой.

Глава II

Мученики (1553—1558)

Упадок здоровья Эдуарда напомнил Варвику, ставшему теперь герцогом Нортумберлендом, о непредвиденной опасности. Акт о наследовании назначил преемницей Эдуарда Марию, дочь Екатерины Арагонской, среди

всех превратностей эпохи оставшуюся верной старой вере; вступление ее на престол грозило стать сигналом возвращения к Риму. Благочестивого Эдуарда легко удалось склонить к смелому плану, устранявшему ее права. Нортумберленд внушил ему «план», уничтожавший как акт о наследовании, так и завещание Генриха, которому парламент предоставил право располагать короной после смерти своих детей. «План» устранял как Марию, так и следовавшую непосредственно за ней Елизавету. За исключением прямого потомства Генриха VIII, престол, в случае соблюдения правил наследования, перешел бы к потомкам его старшей сестры Маргариты, в первом браке с Яковом IV Шотландским ставшей бабкой молодой королевы Шотландии Марии Стюарт, а во втором браке с графом Энгузом — бабкой Генри Стюарта, лорда Дарнли. Но завещание Генриха обошло детей Маргариты и за Елизаветой поставило в порядке наследование детей его младшей сестры Марии, жены герцога Сеффолка. Фрэнсис, дочь Марии от этого брака, была еще жива и имела трех дочерей от брака с Генри Греем, маркизом Дорсет, ревностным сторонником церковных преобразований, получившим при протекторате герцогство Сеффолк. Однако Фрэнсис обошли, и план Эдуарда назначил ему преемницей ее старшую дочь Джейн. Брак ее с Гилфордом Дадли, четвертым сыном Нортумберленда, увенчал бессовестный заговор. У судей и совета согласие на ее наследование было вынуждено именем умирающего короля, и после смерти Эдуарда в 1553 г. она была провозглашена государыней. Но против такого незаконного захвата восстал весь народ. Восточные графства поднялись, как один человек, на защиту Марии, и когда Нортумберленд во главе 10 000 человек отправлялся из Лондона для подавления восстания, лондонцы, несмотря на свой протестантизм, выразили свое недовольство упорным молчанием: «Народ собирается посмотреть на нас, — мрачно заметил герцог, — но никто не кричит: «Да поможет вам Бог!». Едва совет заметил настроение народа, как провозгласил королевой Марию; флот и ополчения графств высказались в ее пользу. Нортумберленд вдруг упал духом, и его отступление к Кембриджу послужило сигналом к общему отступлению. Сам герцог кинул свою шляпу в воздух и приветствовал королеву Марию. Но покорность не могла предотвратить его гибели, а его смерть повлекла за собой заключение в Тауэр несчастной девушки, которую он сделал орудием своего честолюбия. Система, проводившаяся в царствование Эдуарда, рухнула целиком сразу. Лондон сохранил, правда, многое из своих протестантских симпатий, но остальной страной порыв реакции завладел без сопротивления. Женатые священники были изгнаны из своих церквей, иконы были восстановлены. Во многих приходах была устранена новая литургия и восстанов-

лена месса. Парламент, собравшийся в октябре, отменил все церковные законы, изданные в царствование Эдуарда. Гардинера выпустили из Тауэра. Боннер и низложенные епископы были восстановлены на своих кафедрах. Ридли с товарищами, сместившие их, были снова низложены, а Латимер и Кранмер отправлены в Тауэр. Восстановление системы Генриха VIII удовлетворило желания народа, так же мало сочувствовавшего склонности Марии к католицизму, как и насилиям протестантов. Парламент с трудом согласился на отмену нового молитвенника и упорно держался за церковные земли и верховенство короля.

Не более симпатизировала Англия и тому браку, которого по мотивам, политическим и религиозным, сердечно желала Мария. Император перестал возбуждать надежду или уверенность, что он сразу и очистит церковь от злоупотреблений, и восстановит единство христианства: он стал окончательно на сторону папы и Тридентского собора; а жестокости инквизиции, введенной им в Нидерландах, представляли грозный образец того благочестия, какое он намерен был передать своему дому. Брак с его сыном Филиппом, руку которого он предложил своей кузине Марии, означал полное подчинение папству и отмену не только протестантской реформации, но и более умеренной реформы гуманизма. С другой стороны, он представлял ту политическую выгоду, что обеспечивал трон Марии от притязаний молодой королевы Шотландской Марии Стюарт, получивших большое значение благодаря браку ее с наследником французской короны; ее приверженцы уже ссылались на незаконное, ввиду аннулирования брака их матерей, происхождение и Марии, и Елизаветы, как на основание для отрицания их прав на престол. Потомству предложенного брака Карл обещал наследование Нидерландов; в то же время он принял требование, предъявленное ему советом и министром Марии Гардинером, епископом Уинчестерским, о сохранении за Англией, в случае брака, полной свободы действий и политики. Искушение было сильное, и решительность Марии преодолела все помехи. Но несмотря на обещанную и пока еще соблюдаемую терпимость, известие о ее намерении довело протестантов до страшного отчаяния. Восстания, поднявшиеся на западе и в центре, были быстро подавлены, а герцог Сеффолк, с оружием вступивший в Лестер, был отправлен в Тауэр. Опасность стала более грозной, когда опасение, что испанцы идут «завоевать королевство», вызвало восстание в Кенте под начальством сэра Томаса Уайэта. Корабли на Темзе позволили мятежникам захватить себя. Отряд лондонского ополчения, выступивший против них под командой герцога Норфолка, целиком перешел на их сторону при возгласах: «Уайэт! Уайэт! Мы все англичане!». Если бы мятежники быстро

двинулись к столице, ее ворота тотчас были бы открыты и успех обеспечен. Но в критическую минуту Марию спасло ее царственное мужество. Она смело выехала к Гилдхоллу и «голосом мужчины» обратилась к верности граждан; когда Уайэт показался на берегу Саутуорка, мост оказался занятым. Исход зависел от того, на чью сторону станет Лондон, и вождь мятежников кинулся в отчаянии вверх по берегу Темзы, захватил мост в Кингстоне, переправил свое войско через реку и быстро двинулся назад к столице. Ночной марш по грязным дорогам утомил и расстроил его людей; масса их была отрезана от вождя отрядом войска на полях, составляющих теперь Гайд-парк-корнер, но сам Уайэт с кучкой сторонников в отчаянии добрался до Темпл-бара. «Я сдержал свое слово», — воскликнул он, падая в изнеможении у ворот, но они оказались запертыми, его сторонники в городе были не в силах произвести обещанную диверсию в его пользу, и смелый вождь был схвачен и отправлен в Тауэр.

Мужеству королевы, отказавшейся от бегства, даже когда мятежники стояли под стенами дворца, равнялось только ее ужасное мщение. Наступил час, когда протестанты оказались у ее ног, и она поразила их безжалостно. Леди Джейн Грей, ее отец, муж и дядя заплатились смертью за честолюбие дома Сеффолков. Вслед за ними были казнены Уайэт и его главные приверженцы; тела прочих мятежников качались на виселицах вокруг Лондона. С некоторым основанием в сношениях с мятежниками заподозрили Елизавету; она была посажена в Тауэр, и только вмешательство совета спасло ее от смерти. Неудача восстания не только нанесла удар партии протестантов, но и обеспечила брак, на котором настаивала Мария. Она воспользовалась восстанием, чтобы вопреки желанию парламента вынудить у него согласие, затем встретила с Филиппом в Уинчестере и стала его женой. Теперь можно было спокойно отказаться от уступок, навязанных королеве ее затруднительным положением в начале царствования. Мария решилась добиться подчинения Риму, и когда исчезли надежды умеренной партии, поддерживавшей политику Генриху VIII, и она окончательно стала на сторону единства, которое можно было теперь восстановить только примирением с папством, министр Марии Гардинер вернулся к прежнему церковному строю. Едва был заключен брак с Филиппом, как были приведены к концу переговоры с Римом. Для принятия покорности королевства папа назначил Реджинальда Поула, с которого была снята опала, и легат прибыл в Лондон на барке, с кормы которой сверкал его крест, и был торжественно встречен угодливым парламентом. Обе палаты прямо постановили вернуться к подчинению папскому престолу и на коленях приняли отпущение греха, заключавшегося в расколе и ереси. Но даже в момент ее

торжества настроение парламента и народа показало королеве неудачу ее попытки навязать Англии чисто католическую политику. Растущая независимость парламента сказалась в отвержении одной за другой ряда мер, предложенных короной. Предложение лишить Елизавету права наследования нельзя было даже внести в палаты; нельзя было добиться предпочтения права Филиппа ее праву. Хотя статуты, устранявшие юрисдикцию папы в Англии и были отменены, но Палаты отвергли все предложения вернуть духовенству церковные земли. Предложение восстановить законы против ереси было отвергнуто лордами даже после неудачного восстания Уайэта, и статут Генриха V был восстановлен в позднейшем парламенте только благодаря влиянию Филиппа. Не менее решительно было настроение всего народа. Угрюмое недовольство Лондона заставило его епископа, Боннера, взять назад инквизиционные правила, при помощи которых он надеялся очистить свою епархию от ереси. Даже в совете обнаружилось разногласие по вопросу о преследовании; сам император в интересах католицизма советовал не спешить и соблюдать благоразумие. То же говорил и Филипп. Но и внешние, и внутренние предостережения разбились о горячую набожность королевы.

Положение партии реформы представлялось в это время совсем безнадежным. Испания открыта стала во главе великого католического движения, и Англия против воли была вовлечена в поток реакции. Противники последней были расстроены неудачей своего восстания и не пользовались популярностью из-за воспоминаний об их насилиях и жадности. С восстановлением законов против ереси Мария стала настаивать на их исполнении; наконец, в 1555 г. она одолела сопротивление своих советников, и казни начались. Но дело, погубленное благополучием, ожило в тяжелые дни гонений. Если протестанты не умели управлять, то они умели умирать. История Рауленда Тайлора, викария в Гэдли, лучше длинного исторического исследования излагает нам, как начавшееся теперь преследование, так и последствия, каких от него можно было ожидать. Как человек выдающийся, Тайлор был выбран одной из первых жертв гонения, схвачен в Лондоне и осужден на казнь в своем собственном приходе. Его жена, «подозревая, что ее супруг будет увезен в эту ночь», ожидала его с детьми на паперти церкви Св. Ботолфа близ Олдгета: «И вот, когда шериф со спутниками приблизились к церкви, Елизавета закричала: «Дорогой отец! Мать, вот ведут отца!». Тогда и жена его закричала: «Рауленд, Рауленд, где ты?» — утро было очень темное, так что один человек не мог видеть другого. Д-р Тайлор остановился и отвечал: «Я здесь, дорогая жена». Люди шерифа хотели вести его дальше, но шериф сказал: «Постойте немного, госпо-

да, прошу вас, и дайте ему поговорить с женой». Тогда она подошла к нему, он взял на руки свою дочь Марию, и он, жена и Елизавета встали на колени и прочитали молитву Господню. При виде этого шериф и несколько человек из его свиты горько заплакали. Помолившись, Тайлор встал, поцеловал жену, пожал ей руку и сказал: «Прощай, дорогая жена, утешься: моя совесть спокойна! Бог будет покровителем для моих детей». Затем жена сказала: «Бог с тобой, дорогой Рауленд! Бог милостив, я встречу тебя в Гэд-ли». Всю дорогу д-р Тайлор был весел и радостен как человек, рассчитывающий попасть на самый веселый пир или свадьбу... Подойдя на две мили к Гэдли, он пожелал сойти с лошади и, сделав это, сделал один или два скачка, как обыкновенно делают люди в танцах. «Ну, господин доктор, — спросил шериф, — как вы себя чувствуете?» — «Хвала Богу, прекрасно, — ответил он, — лучше, чем когда-либо, так как я чувствую себя почти дома. Мне нужно пройти только два поворота, и я буду как в доме Отца нашего!»... С обеих сторон улицы Гэдли были усеяны мужчинами и женщинами, городскими и сельскими, желавшими видеть его; а когда они увидели его, идущим на смерть, они стали плакать и кричать жалобными голосами: «Боже милостивый! Вот от нас уходит наш добрый пастырь!». Наконец путешествие окончилось. «Что это за место — спросил он, — и что означает большое сборище народа?» Ему отвечали: «Это Олдгэмский луг — место, где вы должны пострадать, а народ пришел посмотреть на вас». Тогда он сказал: «Благодарение Богу, я как раз дома!»... Но когда народ увидел его почтенное старческое лицо с длинной белой бородой, он разразился слезными рыданиями и криками: «Бог да спасет тебя, добрый д-р Тайлор! Бог да подкрепит тебя и да поможет тебе! Дух Святой да подкрепит тебя!». Он пожелал говорить, но ему не позволили. Помолившись, он подошел к столбу, поцеловал его и стал в смоляной бочонок, поставленный ему вместо подножия; затем он прислонился спиной к столбу, скрестил руки, поднял глаза к небу и так был сожжен». Один из палачей грубо кинул в него полено, оно ударило его в голову и поранило ему лицо, так что по нему потекла кровь. Тогда д-р Тайлор сказал: «Друг, у меня достаточно страдания; к чему еще это?». Новое проявление жестокости положило конец его страданиям: «Так стоял он, не крича и не двигаясь, со скрещенными руками, пока Сойс не поразил его алебардой в голову, так что выпал мозг и мертвое тело упало в огонь».

Страх смерти не имел власти над подобными людьми. Обыкновенно жертвы отдавались на казнь Боннеру, епископу Лондонскому, в епархии которого заседал осуждавший их совет. Хотя сильное официальное участие в гонении доставило ему насмешливое прозвище и всеобщую ненависть,

но от природы он, по-видимому, был человеком благодушным и сострадательным. Когда к нему привели мальчика, он спросил его, надеется ли он вынести сожжение. Мальчик тотчас без трепета протянул руку в пламя стоявшего рядом светильника. Роджерс, сотрудник Тиндейла в переводе Библии и один из выдающихся протестантских проповедников, умер, окуная свои руки в пламя, «как будто это была холодная вода». На костре даже обыкновеннейших людей на мгновение озарял поэтический блеск. «Молитесь за меня», — просил окружающих один мальчик, Уильям Гентер, приведенный на казнь домой в Брентвуд. «За тебя я буду молиться не больше, чем за собаку», — ответил один из них. «Тогда, Сын Божий, — сказал Уильям, — посвети на меня!» И мгновенно солнце из темной тучи так ярко осветило его лицо, что он был вынужден отвернуть глаза; это удивило народ, так как только что было очень темно. Своей тяжестью преследование обрушилось на Лондон, затем на Кент, Сассекс и восточные графства, центры горнодобычи и промышленности; масса протестантов была прогнана за море и искала себе убежища в Страсбурге или Женеве. Но террор вовсе не достиг тех целей, ради которых производился. Под влиянием преследования снова проснулся старый дух вызывающей смелости и неистового насилия. Один протестант вместо четок повесил священнику на шею связку колбас. Восстановленные иконы подвергались грубому поруганию. На улицах снова стали слышны старые насмешливые баллады. Один жалкий субъект, доведенный до безумия, поразил в церкви священника, когда тот стоял с чашей в руке. Более грозным признаком времени представлялось то, что подобные насилия уже не вызывали в народе прежнего негодования. Отвращение к гонению не оставляло места для других чувств. Каждая смерть на костре доставляла делу его жертв сотни сторонников. «За эти 12 месяцев мы потеряли сердца 20 000 ревностных католиков», — писал Боннеру один протестант. Боннер никогда не был особенно рьяным преследователем и скоро почувствовал отвращение к казням; энергия прочих епископов тоже ослабела. Но Мария и не думала уклоняться от раз усвоенного направления. Порочения совета вызвали у усталых прелатов новую энергию, и казни неизменно продолжались. Погибли уже два епископа: Гупер, епископ Глостерский, был сожжен в своем кафедральном городе; Феррар, епископ Сент-Давидский, пострадал в Кермартене. Теперь, в октябре 1555 г., были выведены из тюрьмы в Оксфорде Латимер и Ридли, епископ Лондонский: «Будь мужествен, магистр Ридли, — воскликнул старый проповедник реформации, когда пламя окружило его. — Сегодня мы с помощью Божией зажжем такой свет, какого, я убежден, никогда не удастся потушить». Оставалась одна жертва, по характеру далеко уступавшая многим из своих предшественников, но сто-

являвшаяся высоко над ними по своему положению в английской церкви. Прочие пострадавшие прелаты были назначены после отделения от Рима, и вряд ли противники считали их за епископов. Но Кранмер, каково бы ни было его участие в расколе, получил свое посвящение от папы. В глазах всех он был архиепископом Кентерберийским, преемником Августина и Томаса Бекета на второй кафедре Западной церкви. Сжечь за ересь примаса английской церкви значило лишить всякой надежды на спасение людей более мелких. Но и жажда мести, и религиозное рвение одинаково побуждали Марию возвести Кранмера на костер. Среди массы постановлений, в которых архиепископ принес в жертву капризу Генриха справедливость, первым стояло уничтожение брака короля с Екатериной Арагонской и объявление Марии незаконнорожденной. Последним из его политических актов было, добровольное или вынужденное, содействие бессовестному плану лишить Марию престола. Притом же высокое положение делало его, больше кого другого, представителем происшедшего в стране церковного переворота. Его изображение вместе с фигурами Генриха и Кромвеля стояло на заглавном листе английской Библии. Он был главным виновником решительной перемены, произведенной при Эдуарде в характере реформации. Его голос слышался и до сих пор слышится народу в звуках английской литургии. Как архиепископ, Кранмер подлежал только суду папы, и казнь по необходимости приходилось отложить до получения приговора из Рима. Когда ему объявили об осуждении, его покинуло мужество, которое он выказывал со вступления Марии на престол. Нравственная трусость, обнаружившаяся в низком угождении капризам и деспотизму Генриха, сказалась снова в шести последовательных отречениях, которыми он надеялся купить себе прощение. Но прощение было невозможно, и когда на пути к костру Кранмера привели в церковь Св. Марии в Оксфорде, чтобы он повторил там свое отречение, его характер, представлявший странное смешение, в самой слабости почерпнул себе силу: «Теперь, — окончил он свою речь к молчаливому собранию, — теперь я перехожу к важной вещи, более смущающей мою совесть, чем что другое, когда-либо сказанное или сделанное мной в течение жизни, это — распространение писаний, противных истине; теперь я отвергаю их и отказываюсь от них, так как они написаны моей рукой вопреки моему глубокому убеждению — написаны из страха смерти и для спасения, если это возможно, жизни. И так как моя рука погрешила, написав противное моему сердцу, то она будет первая за это наказана; когда я взойду на костер, она будет сожжена первой»... «Эта рука написала отречение, — воскликнул он снова на костре, — поэтому она первая понесет наказание»; держа ее все время в пламени «без единого движения или крика», он испустил дух.

Среди массы более героических страдальцев, безошибочный инстинкт народного движения побудил протестантов считать казнь Кранмера смертельным ударом для католицизма в Англии. На одного человека, ощущавшего в себе радость Рауленда Тайлора при виде костра, приходились тысячи, испытывавшие смертельный ужас Кранмера. Торжествующий возглас Латимера был доступен для сердец столь же смелых, как его собственное; печальный пафос унижения и раскаяния примаса ударял по струнам симпатии и жалости в сердцах всех. До этого момента мы можем проследить горькое воспоминание о крови, пролитой ради Рима; наблюдательному историку оно может представляться односторонним и несправедливым, но оно все еще глубоко запечатлено в характере английского народа.

Неудача его расчетов на постоянное подчинение Англии Австрийскому дому отравила Филиппу жизнь в королевстве, и, утратив всякую надежду на потомство, он, несмотря на страстные просьбы Марии, покинул страну. Королева продолжала отчаянно бороться. Она сделала все возможное для удовлетворения непреклонного папы. Ввиду многозначительного отказа парламента вернуть церкви хотя бы аннаты, она восстановила все, какие могла, упраздненные монастыри; самый крупный из них, Вестминстерский, был восстановлен в 1556 г. Но более всего она настаивала на преследовании. От епископов и священников оно распространялось теперь на народ. Страдальцы толпами возводились на костры. В Стратфорде в один день было сожжено тринадцать человек, из них две женщины. Семьдесят три протестанта из Колчестера были прогнаны по улицам Лондона, привязанные к одному канату. Королевский указ освободил новую комиссию для подавления ереси от всех юридических ограничений, стеснявших ее деятельность. Были абрежированы университеты, и были вынуты из гробов и обращены в пепел трупы иностранных профессоров, нашедших себе там место успокоения при Эдуарде. Казни военного времени угрожали владельцам еретических книг, вышедших из Женевы; впрочем, их преступное содержание и постоянные призывы к мятежу и междоусобию оправдывали строгость репрессий. Но преследования не достигли своих целей благодаря молчаливому сопротивлению всего народа. Началось открытое выражение симпатий страдальцам за веру. За три с половиной года гонений на кострах погибло около трехсот человек. Народ почувствовал отвращение к казням. Толпа, окружавшая костер в Смесфилде, сопровождала аминем молитву осужденных Боннером семи мучеников и молилась с ними, чтобы Бог подкрепил их. Когда, несмотря на обещания, данные при заключении брака, Мария впутала Англию в борьбу с Францией, чтобы поддержать Филиппа, который после отречения Карла наследовал его владения в Испании, Фландрии и Новом Свете, — это

вызвало общее неудовольствие. Война окончилась поражением. С отличавшими его быстротой и энергией, герцог де Гиз кинулся на Кале и, прежде чем подоспела помощь, принудил его к сдаче. «Драгоценнейший алмаз английской короны», как называла его сама Мария, был вдруг отнят, а последовавший вскоре захват Гина лишил Англию последних владений на материке. Как ни тяжел был удар, но, несмотря на страстные настояния королевы, совет не мог найти ни средств, ни людей для попытки вернуть город. Прибегли к принудительному займу, но он поступал медленно. Набираемые войска бунтовали и расходились. Только смерть Марии предотвратила общее восстание, и взрыв восторженной радости приветствовал вступление на престол Елизаветы.

Глава III Елизавета (1558—1560)

Никогда положение Англии не было хуже, чем в момент вступления Елизаветы на престол. Страна была унижена поражением и доведена до восстания казнями и неумелым управлением Марии. Старое социальное недовольство, на время подавленное кавалерией Сомерсета, продолжало угрожать общественному спокойствию. Теперь, когда костры Смисфолда обособили протестантов от их противников, а партия гуманистов почти исчезла, религиозная борьба получила непримиримый характер. У более серьезных католиков образовалась неразрывная связь с Римом. Настроение протестантов, сжигаемых на родине или изгоняемых на чужбину, стало более резким, и кальвинистские изгнанники возвращались из Женевы, мечтая о насильственном перевороте в церкви и государстве. У Англии, вовлеченной по следам Филиппа в бесплодную и разорительную войну, не осталось союзников, кроме Испании, а Франция, владея Кале, стала властительницей Ла-Манша. Благодаря браку королевы Шотландии Марии Стюарт с королем Франции и подчинению Шотландии французской политике, и у Англии появилась постоянная угроза на севере, а Мария Стюарт и ее супруг приняли теперь титул и герб государей Англии и грозили поднять против Елизаветы всех католиков королевства. Ввиду этой массы опасностей страна оказывалась беспомощной — без армии и флота и без средств снарядить их, так как казна, истощенная уже расточительным управлением Эдуарда, совсем опустела благодаря возвращению захваченных коронной церковных земель, а также благодаря расходам на войну с Францией.

Единственная надежда Англии заключалась в характере ее королевы. В это время Елизавете шел 25-й год. С внешней стороны она больше чем

унаследовала красоту матери: у нее была величавая фигура, длинное, но царственное и интеллигентное лицо, живые красивые глаза. Она выросла в свободной атмосфере Генрихова двора, смело ездил верхом, хорошо стреляла, грациозно танцевала, отлично играла, обладала обширными знаниями. Каждое утро она читала греческое Евангелие, сопровождая его трагедиями Софокла и речами Демосфена, и могла при нужде «освежить свои заржавевшие познания по-гречески», чтобы поспорить ученостью с вице-канцлером. Но она далеко не была простым педантом. При ее дворе всегда находила себе дружеский прием возникавшая в это время новая литература. По-итальянски и по-французски она говорила так же бегло, как на родном языке. Она была знакома с Ариосто и Тассо. Несмотря на запятнавшие ее позднейшие годы жеманство и любовь к анаграммам и подобным пустякам, она с восхищением слушала «Царицу фей» и находила улыбку для поэта Спенсера, когда он появлялся в ее присутствии. Ее нравственный характер в своих странных противоречиях напоминал о том, что в жилах ее текла смешанная кровь. В одно и то же время она была дочерью Генриха и Анны Болейн. От отца она унаследовала простое и сердечное обращение, стремление к популярности и свободным отношениям с народом, неустрашимое мужество и удивительную самоуверенность. Грубый мужской голос, непреклонная воля и гордость, яростные взрывы гнева достались ей вместе с кровью Тюдоров. Она бранила крупных вельмож, как школьничков; на дерзость Эссекса она ответила пощечиной; ей случалось по временам прерывать серьезные совещания, ругая своих министров, как рыночная торговка. Станный контраст с этими бурными чертами ее тюдоровского характера представляли унаследованные ею от Анны Болейн чувственность и самоуслаждение. Блеск и удовольствие были для Елизаветы настоящим воздухом. Она любила постоянно переезжать из замка в замок среди пышных зрелищ, своей роскошью и фантастичностью напоминавших сон халифа. Она любила веселье, смех, остроумие. Удачный ответ или тонкий комплимент всегда обеспечивали ее расположение. У нее было множество драгоценных камней и платьев. Она до старости сохраняла тщеславие начинающей кокетки. Ей не претила никакая лесть, не казалось грубым никакое восхваление ее красоты: «Видеть ее — райское блаженство, — говорил ей Гэттон, — ее отсутствие — адские муки». Она готова была играть кольцами, чтобы придворные могли видеть изящество ее рук, могла танцевать курант, чтобы спрятанный кстати за занавесом французский посол мог донести своему государю об ее веселости. Ее легкомыслие, суетный смех, неженственные шуточки вызывали тысячу скандалов. Действительно ее характер, как и ее портреты, был без тени. Она не имела понятия о жен

ской сдержанности. Инстинктивная деликатность не прикрывала ее чувственного темперамента, сказавшегося в грубых шутках ее девичества и проявлявшегося почти хвастливо во всю позднейшую ее жизнь. Мужская красота служила лучшим путем к ее милости. Она гладила шею красивым молодым дворянам, когда они преклоняли колена для целования ее руки и в присутствии всего двора ласкала своего «милого Робина» — лорда Лестера*. Неудивительно, что политики, обманутые Елизаветой, почти до конца считали ее просто легкомысленной женщиной или что Филипп II удивлялся, как может развратница расстраивать политику Эскуриала. Но они видели далеко не всю Елизавету. Упрямство Генриха, пошлость Анны Болейн служили простым прикрытием для характера твердого, как сталь, чисто рассудочного, представлявшего рассудок, не затронутый ни страстью, ни воображением. Несмотря на свою видимую любовь к роскоши и удовольствиям, Елизавета вела простую, скромную жизнь и много работала. Ее тщеславие и каприз не имели никакого значения в государственных делах. Кокетливая в приемной зале, она становилась самым холодным и строгим политиком за столом совета. Только что осыпанная лестью своих придворных, она не допускала лести в кабинете; со своими советниками она говорила прямо и откровенно и требовала от них столь же откровенной речи. Если в ее политике и заметно влияние пола, то оно сказывалось в упорном преследовании цели, часто скрывавшемся под колебаниями женского чувства. Это-то и составляло, пожалуй, ее главное преимущество над современными ей политиками. Никогда за столом совета не собиралась такой благородной группы министров, как при Елизавете; но она не была их орудием. Она выслушивала, взвешивала, принимала или отвергала совет каждого по очереди, но, в целом, ее политика принадлежала собственнo ей. Это была политика не гения, а здравого смысла. Ее цели были просты и ясны: сохранить свой престол, избавить Англию от войны, восстановить порядок гражданский и церковный. В основе того бесстрастного равнодушия, с каким она отказывалась от постоянно открывавшихся перед ее глазами широких горизонтов, быть может, до некоторой степени лежали женская осторожность и робость. Она упорно отказывалась от Нидерландов, со смехом отвергла предложение протестантов объявить ее «главой веры» и «владычицей морей». Но ее удивительный успех под конец выте-

* Роберт Дадли, граф Лестер (с 1564 г.), (ок. 1532–1588), сын герцога Нортумберленда, регента при Эдуарде VI. Многолетний фаворит Елизаветы, английский государственный деятель и полководец. Тайнственная смерть его первой жены Эми Робсарт (1560) породила упорные слухи, что он убил ее с целью жениться на королеве. Также Лестера обвиняли в отравлении Уолтера Деверо, графа Эссекса, на чьей вдове он женился.

кал больше всего из этого мудрого ограничения целей. Лучше всех своих советников она понимала настоящие размеры своих средств; она инстинктивно понимала, до каких пор она может идти и что она может сделать. Ее холодный критический ум никогда не увлекался ни энтузиазмом, ни страхом до преувеличения или преуменьшения ее опасностей и сил.

У Елизаветы было мало или совсем не было политической мудрости в более широком или высоком смысле слова; но она обладала безошибочным политическим текстом. Она редко определяла свой путь с одного взгляда, а перебирала, колеблясь и пробуя, тысячу ходов, как музыкант перебирает пальцами клавиатуру, пока вдруг не нападала на настоящий. Ее чисто практическая натура жила настоящим. Она относилась к плану тем недоверчивее, чем более он был идеален и рассчитан на будущее. Политика представлялась ей искусством следить за ходом событий и в подходящую минуту извлекать из них пользу. Такая политика самоограничения, практичности, опыта всего более соответствовала не только Англии того времени, ее слабым средствам, ее переходному политическому и религиозному положению, но и личным талантам Елизаветы. Это была политика деталей, в которых находили себе применение ее удивительные находчивость и остроумие: «Не нужно войны, господа! — властно говорила она своим советникам, — не нужно войны». Но это нерасположение к войне вытекало не столько из отвращения ее к кровопролитию или расходам, хотя она очень не любила ни того, ни другого, сколько из того, что мир представлял открытое поле для дипломатических маневров и интриг, в которых она отличалась особым мастерством. Сознывая его, она выкидывала тысячу причудливых штук, едва ли преследовавших иную цель, кроме простой мистификации. Она восторгалась «обходами» и «кривыми путями». Она играла с важными кабинетами, как кошка с мышью, чисто по-кошачьи наслаждаясь недоумением своих жертв. Когда ей надоедало дурачить иностранных политиков, она обращалась к новой забаве — дурачению своих министров. Если бы Елизавета написала историю своего царствования, она, наверное, хвалилась бы не столько торжеством Англии и поражением Испании, сколько той ловкостью, с какой в течение 50 лет она обманывала и проводила всех политических деятелей Европы. Но ее плутовство не было лишено политического значения. Следя за дипломатией королевы по тысяче депеш, мы находим ее неблагородной и невыразимо скучной, но она достигала своих целей. Она выигрывала время, а каждый выигранный год увеличивал силы Елизаветы. Ничто так не возмущает в королеве, но ничто и не характеризует ее так, как ее бессовестная лживость. Это был, вообще, век политической лжи, но никто во всей Европе не пользовался ею так щедро и

беззаботно, как Елизавета. Ложь была для нее просто удобным средством для устранения трудности. Легкость, с какой она утверждала или отрицала все, что только отвечало ее цели, равнялась только тому циничному равнодушию, с каким она относилась к разоблачению своих уловок, как скоро цель их была достигнута. Тот же чисто рассудочный взгляд на вещи сказывался и в том, что она ловко пользовалась даже своими недостатками. Ее легкомыслие позволяло ей спокойно переживать минуты разоблачения и стеснения, когда лучшие женщины могли бы умереть со стыда. Свою колеблющуюся и нерешительную политику она скрывала за естественной робостью и неустойчивостью своего пола. Самой роскошью и развлечениями она пользовалась для своей выгоды. В ее царствование бывали очень опасные минуты, когда страна относилась спокойно к своим опасностям, так как видела, что королева посвящает свои дни соколиной и псовой охоте, а свои ночи — танцам и забавам. Ее тщеславие и жеманство, ее женское непостоянство и каприз — все это играло роль в дипломатических комедиях, какие она последовательно разыгрывала с претендентами на ее руку. Требования политики не допустили ее до брака, но, во всяком случае, она находила удовлетворение в том, что предупреждала войну и заговоры любовными сонетами и романтическими свиданиями или доставляла стране год спокойствия, ловко изображая влюбленность.

Следя за извилистым лабиринтом лжи и интриг Елизаветы, мы почти перестаем чувствовать ее величие и начинаем презирать ее. Но хотя ее политические цели были покрыты мраком тайны, они всегда были умеренны и просты, и она всегда преследовала их с чрезвычайным упорством. Внезапные приступы энергии, от времени до времени прерывавшие обыкновенную нерешительность, доказывали, что та не была результатом слабости. Елизавета могла выжидать и хитрить, но когда наступала минута, она умела наносить удары, и притом тяжелые. От природы она была склонна, скорее, смело полагаться на свои силы, чем не доверять им. Как все сильные натуры, она безгранично верила в свое счастье: «Ее величество сильно полагается на фортуна, — с горечью писал Уолсингем*, — мне хотелось бы большего доверия ко Всемогущему Богу». Дипломаты порицают ее нере-

* Сэр Фрэнсис Уолсингем (1536–1590) — английский государственный деятель; ревностный протестант. При Елизавете глава ее секретной службы, не только успешно предотвращавшей заговоры и покушения на Елизавету, но и искусно фабриковавшей фальшивые заговоры с целью устранения политических противников. В частности, по мнению многих историков, заговор Бабингтона, в результате которого была казнена Мария Стюарт, был провокацией службы Уолсингема, убравшего таким образом нежелательную, с точки зрения протестантов, наиболее вероятную претендентку на престол в случае естественной или насильственной смерти Елизаветы.

шительность, оттяжки, перемены фронта и вслед за тем ее «упорство», железную волю, пренебрежение к тому, что представлялось им неизбежной гибелью: «В этой женщине, — писал посол Филиппа после неудачных переговоров, — сидит сто тысяч дьяволов». Ее подданным оставались неизвестными ее маневры и колебания, «обходы» и «извилистые пути», и им она представлялась воплощением отважной решимости. При всей своей храбрости, люди, отразившие великую испанскую Армаду или пробившиеся между ледяных гор Баффинова залива, никогда не сомневались, что пальма храбрости принадлежит их королеве. Ее настойчивости и мужеству преследовании целей равнялось ее умение выбирать для достижения их людей. Она быстро оценивала таланты всякого рода и обладала удивительной способностью пользоваться для своей службы всей их энергией. С одинаковой проницательностью она выбирала как министров, вроде Сесила и Уолсингема, так и мельчайших из своих агентов. Ее успех в выборе для каждого дела подходящих людей, за исключением одного Лестера, объясняется в значительной степени благороднейшей особенностью ее ума. По возвышенности целей ее характер уступал характерам многих ее современников; зато по широте понимания и всеобщности симпатий она далеко превосходила всех. Елизавета могла беседовать о поэзии со Спенсером и о философии с Джордано Бруно; она могла рассуждать об эвфуизме с Лили и восхищаться рыцарством Эссекса; от разговора о последних модах она могла переходить к работе с Сесилом над депешами и отчетами казначейства; она выслеживала изменников с Уолсингемом, устанавливала церковное учение с Паркером, обсуждала шансы открытия северо-западного прохода в Индию с Фробишером. Подвижность и многосторонность ума позволяли ей понимать все стороны умственного движения эпохи и инстинктивно останавливаться на высших его представителях. Но всего более славится величие королевы в ее влиянии на народ. Были в Англии более великие и благородные правители, но никто из них не был так популярен, как Елизавета. Страстная любовь, преданность и восхищение, нашедшие себе совершеннейшее выражение в «Царице фей», были так же сильны в сердцах простейших ее подданных. В течение ее полувекового царствования она оставалась для Англии девственной протестантской королевой; блеска национального идеала не могли запятнать ни ее безнравственность, ни полное отсутствие у нее религиозного энтузиазма. Худшие из ее поступков бесплодно разбивались о всеобщее поклонение. Один пуританин у которого в припадке деспотической злобы она велела отрубить руку, сняв оставшейся рукой шляпу и прокричал: «Боже, храни королеву Елизавету!». Притом, за исключением ее придворного круга, Англия почти не име

ла понятия о ее недостатках. Ее дипломатические уловки были известны только кабинету. Народ, в целом, мог судить о ее внешней политике только по ее главным чертам — умеренности и здравомыслию, а всего более — по ее успеху. Но каждый англичанин мог судить о внутренней политике Елизаветы, о ее миролюбии, стремлении к порядку, о твердости и умеренности управления, разумном старании примирять и доводить до уступок враждующие партии; в эпоху, когда почти все другие страны Европы были раздираемы междоусобиями, это доставляло стране беспримерное спокойствие. Все признаки растущего благосостояния, вид Лондона, ставшего мировым рынком, вид величавых замков, поднимавшихся в каждом поместье, — все это прямо говорило в пользу Елизаветы. В одной отрасли гражданского управления она обнаружила смелость и оригинальность великого правителя. В начале своего царствования она обратила внимание на общественное зло, так долго задерживавшее развитие Англии, и назначила для исследования его комиссию, разрешившую вопрос введением законов обедных. Она охотно покровительствовала новой торговле, ее расширение и охрану считала частью государственного управления. Постановка ей статуи в центре Лондонской биржи была со стороны торгового класса оплатой за тот интерес, с каким она следила за его предприятиями и принимала в них личное участие. Ее бережливость возбуждала общую привлекательность. Воспоминание о терроре и о мучениках его выставяло в ярком свете то отвращение к кровопролитию, какое было заметно в начале ее царствования и не вполне исчезло и в более суровом конце его. Но всего важнее было общее доверие к инстинктивному пониманию ею народного характера. Она постоянно следила за настроением народа и всегда точно знала, когда можно противиться народному чувству и когда нужно отступить перед новым чувством свободы, бессознательно поощряемым ее политикой. Но даже когда она отступала, то сохраняла победоносный вид: прямота и откровенность ее уступки сразу возвращали ей отнятую было сопротивлением любовь. Во внутренней политике Елизавета занимала положение женщины, в холодном характере которой единственной сердечной чертой была гордость благосостоянием ее подданных и стремление приобрести их любовь. Если можно сказать, что Елизавета любила что-нибудь, так это Англию: «Ничто, — объявила она с необыкновенной горячностью своему первому парламенту, — ничто на земле не дороже мне так, как любовь и благорасположение моих подданных». И она вполне приобрела себе эти, столь дорогие для нее, любовь и благорасположение.

Быть может, она тем крепче держалась за свою популярность, что последняя несколько скрадывала ее страшное одиночество в жизни. Она была

последней из Тюдоров, последней из детей Генриха; ее ближайшими родственниками были Мария Стюарт и дом Сеффов — первая открытая, второй — тайный претендент на ее престол. Среди родственников матери у нее был только один двоюродный брат. Всю свою женскую нежность она обратила на Лестера, но брак с ним был невозможен; даже если бы она решилась на какой-нибудь другой брак, ей не позволили бы его трудности ее политического положения. Горькое восклицание, вырвавшееся однажды у Елизаветы, показывает, как сильно она чувствовала свое одиночество в жизни: «У королевы Шотландии прекрасный сын, а я — только бесплодный ствол», — воскликнула она, узнав о рождении Якова. Но ее изолированное положение только отражало изолированность ее характера. Она стояла совсем особняком от окружавшего ее мира, иногда выше, иногда ниже его, но никогда не внутри его. С современной Англией Елизавета соприкасалась только рассудочной стороной. Все нравственные черты эпохи для нее не существовали. То было время, когда новая нравственная энергия, по-видимому, вдруг охватившая весь народ, облагородила людей, когда честь и энтузиазм получили отпечаток поэтической красоты, а религия стала рыцарским подвигом. Но благородные чувства людей, окружавших Елизавету, затрагивали ее не больше, чем красивые краски на картины. Она одинаково равнодушно извлекала пользу как из героизма Вильгельма Оранского, так и из ханжества Филиппа. Благороднейшие люди и стремления служили ей только костяшками на счетах. Только в ней одной известие о Варфоломеевской ночи не вызвало жажды мести. В то время как Англия торжествовала свою победу над Армадой, королева сердито ворчала на расходы и старалась извлечь выгоду из поставленных ей для победоносного флота испорченных припасов. Большею частью она была недоступна чувству благодарности. Не думая о награде, она принимала услуги, какие никогда не оказывали государям Англии. Уолсингем истратил свое состояние, спасая ей жизнь и престол, а она допустила его умереть нищим. Но — как будто по странной иронии — этому самому недостатку симпатии она была обязана некоторыми из крупнейших достоинств своего характера. Если у нее не было любви — то не было и ненависти. Она не питала мелкой злобы, никогда не унижалась до зависти или подозрительности к людям, служившим ей. Она относилась равнодушно к оскорблениям. Ее веселого настроения никогда не нарушали распространяемые иезуитами при всех дворах обвинения в распутстве и жестокости. Она была недоступна страху. Под конец убийцы один за другим грозили ее жизни, но ей страшно трудно было внушить мысль об опасности. Когда в самой свите ее открылись католические заговоры, она и слышать не хотела об удалении католиков от двора.

Эта-то нравственная отчужденность и оказала такое странное, в хорошем и дурном смысле, влияние на политику Елизаветы относительно церкви. Молодая королева не была лишена религиозного чувства, но ей было почти совсем чуждо духовное настроение. Она совсем не понимала важности тех вопросов, какими занималось богословие. Окружавший ее мир все более увлекался богословскими взглядами и спорами, но они нисколько не затрагивали ее. Она была последовательницей, скорее, итальянского Возрождения, чем гуманизма Колета или Эразма; к увлечениям своего времени она относилась так, как Лоренцо Медичи к Савонароле. Ее ум не волновали религиозные вопросы, тревожившие умы ее современников; для Елизаветы они были не только непонятны, но и несколько смешны. К суеверию католика и набожности протестанта она относилась одинаково с рассудочным пренебрежением, приказывала бросать в огонь католические образа и смеялась над пуританами, называя их «братьями во Христе», но не питала религиозного отвращения ни к пуританизму, ни к папизму. Протестанты роптали на допущение ко двору католических вельмож. Католики были недовольны приглашением протестантских политиков в ее совет. Но Елизавете все это представлялось вполне естественным. Она рассматривала богословские споры с чисто политической точки зрения, была согласна с Генрихом IV Бурбоном, что королевство стоит мессы. Ей казалось вполне естественным поддерживать надежды на свое обращение, чтобы обмануть Филиппа или добиваться успеха в переговорах восстановлением распятия в своей молельне. В ее уме первое место занимали интересы общественного порядка, и она никогда не могла понять, что так бывает не со всяким человеком. Ее остроумие поставило себе задачей выработать такую систему, в которой церковное единство не сталкивалось бы с правами совести; этот компромисс требовал только внешнего сообразования с установленным богослужением, но, как она не переставала повторять, «сохранял свободу мнения». С самого начала она вернулась к системе Генриха VIII. «Я хочу следовать примеру отца», — сказала она испанскому послу. Она открыла переговоры с папским престолом, и только требование папы подчинить ее право на престол приговору Рима доказало невозможность соглашения. Первым делом ее парламента было провозглашение ее законности и права на престол, восстановление королевского верховенства и отказ от всякой иноземной власти и суда. При вступлении в Лондон Елизавета поцеловала представленную ей гражданами английскую Библию и обещала «прилежно читать ее». Лично она не желала идти дальше. Как и королева, противниками коренных преобразований в церкви были треть

совета и, по меньшей мере, две трети народа. В дворянстве более старшие и богатые люди были консерваторами и только более молодые и мелкие — новаторами. Но скоро оказалось необходимым пойти дальше. Протестантов было меньше, но они составляли более деятельную и сильную партию, а возвращавшиеся из Женевы изгнанники приносили собой сильнейшую ненависть к католичеству. Для каждого протестанта месса отождествлялась с кострами Смесфилда, а служебник Эдуарда освящался воспоминанием о мучениках. Елизавета привлекла к себе протестантов Актом о единообразии (1559), восстановившим английскую литургию и обязавшим духовенство применять ее под страхом смещения; но она ввела в язык служебника такие изменения, которые указывали на ее желание по возможности примирить с ним католиков. Она не намеревалась просто восстанавливать систему протектората. Из королевского титула она выкинула слова «глава церкви». Составленные Кранмером 42 статьи были оставлены без внимания. Завись это от воли Елизаветы, она сохранила бы безбрачие духовенства и восстановила бы распятия в церквях; но отчасти ее усилия парализовались усилившимся ожесточением протестантов. Лондонская чернь ломала кресты на улицах. Попытку удержать распятие или навязать священникам безбрачие расстроило сопротивление протестантского духовенства. С другой стороны, епископы времени Марии, за исключением одного, заметили протестантское направление производимых перемен и, скорее чем принести присягу, требуемую Актом о верховенстве, подвергались тюремному заключению и лишению сана. Но для массы народа компромисс Елизаветы представлялся вполне удобоприемлемым. Масса духовенства, даже не принося присяги, подчинилась на деле Акту о верховенстве и приняла новый служебник. Из немногих, открыто отказавшихся, только 200 человек были лишены сана, а прочие остались без наказания. Масса народа не выказывала заметного отвращения к новому богослужению, и Елизавета имела возможность от вопросов веры обратиться к вопросу об устройстве церкви.

Смерть Поула позволила ей назначить примасом Англии Мэтью Паркера, своим терпением и умеренностью походившего на нее и ставшего ее сотрудником в деле преобразования церкви. В вопросах веры Паркер был человеком умеренным, но он имел твердое намерение восстановить порядок в церковной дисциплине и службе. Быстрые и глубокие преобразования двух последних царствований расстроили весь механизм английской церкви. Большинство приходских священников в душе все еще оставались католиками; иногда для более строгих католиков служила в церковном

доме месса, а для более строгих протестантов — в церкви новая литургия. Иногда те и другие склонялись перед одним и тем же алтарем: одни — для принятия гостии, освященной священником дома по старому обряду, а другие — для принятия облат, освященных по-новому. Во многих северных приходах в службу совсем не было внесено перемен. С другой стороны, новое протестантское духовенство часто было непопулярно и возбуждало в народе недовольство своими насилиями и жадностью. Капитулы разоряли свои имения арендами, оброками и вырубкой леса. Браки священников вызывали соблазн, еще усилившийся, когда их жены для своих платьев и корсетов разрезали пышные облачения старого богослужения. Новая служба иногда вызывала крайне беспорядочные сцены: духовенство одевалось, как ему было угодно, приобщающийся по своему желанию стоял или сидел; старые алтари разрушались и причастный стол часто представлял собой простую доску на стойках. Народ, вполне естественно, оказывался «лишенным всякого благочестия» и являлся в церковь, «как на майский праздник». К трудностям, зависевшим от настроения протестантов и их противников, присоединялись еще капризы королевы. Если у нее не было убеждений, то были вкусы; ее вкус возмущался бесцветностью протестантской службы, а особенно браками священников. «Оставьте это, — сказала она в королевском совете декану Науэллю, когда тот стал обличать почитание икон, — держитесь вашего текста, господин декан, а это оставьте!» Когда Паркер стал сильно восставать против введения распятия и безбрачия, Елизавета выразила свое неудовольствие тем, что оскорбила его жену. В то время замужних женщин называли «мадам», а незамужних «мистрес». Когда в конце пышного пира в Ламбете г-жа Паркер подошла к королеве прощаться, Елизавета выказала притворно минутное колебание и, наконец, сказала: «Я не могу назвать вас мадам и неохотно называю мистрес; однако благодарю вас за ваше радушие». До конца своего царствования она так же бесцеремонно, как и ее предшественники, распоряжалась богатством епископов и с царственным пренебрежением к праву собственности выкраивала награды для своих министров из церковных земель. Лорд Берли создал богатство дома Сесилов из владений Питерборокской кафедры. Близость Гэттон-Гарден к Или напоминает об ограблении другого епископства в пользу веселого канцлера королевы. Ее ответ на протест епископа против грабежа показал, что разумела Елизавета под своим верховенством над церковью: «Гордый прелат, — писала она, — вы знаете, чем вы были раньше, чем я сделала вас тем, что вы теперь! Если вы тотчас не подчинитесь моему требованию, клянусь Богом, я лишу вас сана». Но эти капризы в действительности мало влияли на ту постоянную помощь,

какую королева оказывала примасу в его восстановительной деятельности. Она не позволяла грабить никому, кроме себя, и относилась серьезно к восстановлению порядка и приличия во внешнем строе церкви. Вакантные епархии замещались в большинстве учеными и способными людьми, и в Англии, казалось, постепенно восстанавливался религиозный мир.

Не одни религиозные дела настойчиво обращали на себя внимание Елизаветы при вступлении ее на престол. Англия была истощена войной, но могла избавиться от нее и от обусловленной ею зависимости от Испании, только примирившись с потерей Кале. Хотя эта жертва и доставила мир, но Франция оставалась явно враждебной: дофин и его жена Мария Стюарт приняли герб и титул короля и королевы Англии, а благодаря присутствию французской армии в Шотландии их притязания сделались источником непосредственной опасности. Чтобы понять случившееся там, мы должны бросить беглый взгляд на предшествующую историю северного королевства. С тех пор как Англия окончательно отказалась от бесплодных попыток подчинить ее, судьба Шотландии была печальной. Какой бы мир ни заключали, постоянный страх перед старой опасностью с юга держал страну в союзе с Францией, вовлекшем ее в водоворот Столетней войны. Но после окончательного поражения и плена Давида при Невилл-Кроссе (в 1346 г.) борьба перешла в разбойничьи набеги и битвы, в которых победителями оказывались попеременно то шотландские, то английские феодальные лорды пограничья. Баллада о Chevy chase знакомит нас с духом борьбы, с вызывающей отвагой, «сильнее, чем звук трубы», волновавшей сердце Сидни. На внутреннее развитие Шотландии эта борьба повлияла крайне пагубно. Выдвинувшиеся в ней фамилии Дугласов и Марчей прерывали войну с Англией только для жестоких взаимных схваток или для борьбы со своим королем. Власть короны при первых государях из дома Стюартов, получившего престол (1371) по прекращении мужского поколения Брюса, упала до ничтожества. Вторжения и междоусобия не только останавливали развитие промышленности и благосостояния народа, но даже вызвали упадок их. Страна была погружена в хаотический беспорядок и неурядицы; крестьяне и горожане были жертвами насилий феодалов. Пограничье стало областью беззаконий, где без всякого удержу царили разбой и насилие. Положение королевства представлялось настолько плачевным, что кланы горцев составили, наконец, союз с целью наброситься на верную добычу; но общая опасность вызвала примирение партий знати, и победа при Гарло спасла юг от подчинения кельтам. Наконец, среди королей Шотландии явился крупный деятель. Наученный долгим пленом в Англии, Яков стал по возвращении на родину лучшим из ее правителей, а также первым

поэтом. В свое тринадцатилетнее царствование он восстановил на время правосудие и порядок, организовал парламент, напал в их твердынях на кланы горцев и принудил их принести присягу Саксонскому королю. Затем он обратился к борьбе со знатью, но феодалы были еще слишком сильны, чтобы подчиниться закону; шайка злодеев проникла в покои короля и оставила его мертвым с 16 ранами на теле (1437). Его смерть подала сигнал к борьбе между домом Дугласов и короной — борьбе, продолжавшейся в течение полувека. Однако порядок постепенно устанавливался; изгнание Дугласов доставило королям преобладание на юге; власть их над севером была обеспечена гибелью «властителей островов». Но в своей внешней политике Шотландия все еще следовала по стопам Франции; всякая ссора королей Франции и Англии вызывала тревогу на шотландской границе. Наконец, в 1502 г. Генрих VII отдал руку своей дочери Маргариты королю Шотландии и тем на время сблизил две страны. Но спор с Францией, последовавший за вступлением на престол Генриха VIII, разорвал союз; снова началась война, и страшное поражение и смерть Якова IV при Флоддене повергли Шотландию в беспорядки, зависевшие от малолетства его преемника. Хотя Яков V приходился Генриху племянником, но он с самого начала занял враждебное положение; и церковь, и народ охотно помогали ему вовлечь обе страны в новую борьбу. Поражение при Солуэйском болоте разбило сердце молодого короля и свело его в могилу. «Началось женщиной и окончится женщиной», — воскликнул он, когда ему на смертном одре принесли известие о рождении дочери, названной Марией. Рука его малолетней наследницы тотчас стала предметом соперничества Англии и Франции. Если бы, как того желал Генрих VIII, Мария была обручена с Эдуардом VI, соединение двух королевств могло бы изменить судьбы всей Европы; но недавнее кровопролитие ожесточило Шотландию, а высокомерие, с каким Сомерсет проводил план брака, довершило разрыв. Вторжение Сомерсета и его победа при Пинки-Кле позволили Марии де Гиз, вдове Якова V, по смерти его ставшей регентшей, добиться у сословий Шотландии согласия на брак ее дочери с Франциском, наследником французской короны. С этого времени, как мы видели, притязания Марии Стюарт на английскую корону стали настолько опасными, что побудили Марию Тюдор к браку с Филиппом II. Но опасность стала еще сильнее со вступлением на престол Елизаветы: католики не признавали законности ее прав, а ее религиозная политика приводила к союзу католической партии с ее соперницей.

Поэтому, несмотря на мир с Францией, Франциск и Мария настаивали на своих притязаниях, и с согласия Марии де Гиз отряд французов

высадился в Литее. Появление этого войска на границе должно было вызвать восстание католиков. Но война Франции с Испанией побудила Филиппа поддержать в этот момент Елизавету, и его влияние на католиков на время обеспечило спокойствие. Притом, сама королева возбуждала в них надежды на церковную реакцию толками о своем примирении с папой и о допущении в Англию папского легата, а также планами брака с католическим австрийским принцем. Между тем она парировала удар в самой Шотландии, где начала быстро распространяться реформация: она стала тайно возбуждать к восстанию против регентши «лордов конгрегации», как называли вельмож, стоявших во главе протестантов Шотландии. Со вступления на престол дипломатия Елизаветы доставила ей год, которым отлично воспользовалась ее неутомимая деятельность. Она восстановила в Англии порядок, преобразовала церковь, выплатила часть долгов короны, пополнила казну, создала флот и войско, готовое к действиям на севере, когда, наконец, поражение ее шотландских союзников заставило ее сбросить маску. Но пока она стояла еще почти одиноко со своей самоуверенностью, Испания твердо верила в ее скорую гибель, Франция пренебрегала ее силами; даже ее совет был в отчаянии. Единственный министр, на которого она могла положиться, был Сесил, но даже и он сомневался в ее успехе. Но едва она оставила уловки и колебание, как во всем блеске проявились ее энергия и настойчивость. В тот момент как французы готовились сокрушить лордов конгрегации, английский флот вдруг появился в Фортском заливе и заставил армию регентши отступить к Литу (1560). Елизавета заключила формальный договор с лордами и обещала помочь им в изгнании иноземцев. Францию раздирали внутренние смуты, и она не могла прислать ни денег, ни людей. В марте лорд Грей перешел границу с 8000 человек и вместе с лордами конгрегации стал осаждать Лит. Но шотландцы помогали слабо, и штурм города совсем не удался. Притом же Филипп вдруг стал завидовать возрастанию могущества Елизаветы и потребовал от нее прекращения военных действий, но Елизавета была непоколебима. Голод помог ей лучше меча, и наконец по двум договорам с Шотландией и Англией послы Франциска и Марии обещали удалить французов, а управление предоставить совету лордов; было признано также право Елизаветы на престол. Парламент Шотландии тотчас объявил кальвинизм национальной религией. Правда, и закон, и договор были устранены Франциском и Марией, но на деле политика Елизаветы разрушила зависимость Шотландии от Франции и привлекла на ее сторону самую сильную и энергичную из партий шотландской аристократии.

Глава IV

Англия и Мария Стюарт (1560—1572)

Исход шотландской войны вдруг обнаружил перед Европой энергию Елизаветы и силу ее влияния. Она освободилась от контроля Филиппа, высказала пренебрежение к Франции, создала английскую партию среди шотландской знати и тем устранила опасность, грозившую с севера. Пользуясь точно также религиозными смутами, она могла сдерживать враждебность Франции. Под руководством адмирала Колиньи и принцев Бурбонского дома — Антуана де Бурбона и его брата, принца де Конде, гугеноты, как называли французских протестантов, образовали сильную партию; неудача их восстания против семейства Гизов, стоявших во главе католиков Франции и пользовавшихся преобладанием при дворе Франциска II и Марии*, заставила их искать поддержки и союза Елизаветы. Но если давно ожидавшийся окончательный взрыв (1560) великой борьбы между старой и новой верой усилил внешнее могущество Елизаветы, то он ухудшил ее внутреннее положение. Когда ее католические подданные увидели, что королева вступает в союз с кальвинистами Шотландии и гугенотами Франции, они потеряли всякую надежду на ее обращение; ее надежды на соглашение в богослужебных вопросах были разрушены изданием папской буллы, воспрещавшей присутствие при английской службе; религиозные смуты во Франции избавили Филиппа II от страха перед ней, и он имел меньше оснований сдерживать католиков Англии. На деле он готовился занять новое политическое положение — покровителя католицизма во всем мире; его войска были отправлены помогать Гизам в междоусобной войне, начавшейся после смерти Франциска II, и преследовать еретиков всюду, где их придется встретить: «Религия, — говорил он Елизавете, — стала прикрытием анархии и переворотов». В то самое время как отказ королевы от участия в Тридентском соборе уничтожил последние надежды английских католиков (1561), в Литее высадилась Мария Стюарт, после смерти супруга оставшаяся во Франции чужестранкой. Несмотря на свою молодость — ей

* Имеется в виду так называемый Амбуазский заговор, ставивший целью устранить политическое влияние Гизов, фактически правивших Францией от имени слабовольного Франциска II и его жены Марии Стюарт, доводившейся им племянницей. Дворяне-гугеноты подтянули к королевской резиденции — замку Амбуаз — свои вооруженные отряды, однако правительство своевременно узнало о заговоре и жестоко подавило выступление. Вождь гугенотов де Ла Реноди погиб в бою. Многие мятежники, захваченные в плен в ходе боев с королевскими войсками, были казнены. Амбуазский заговор стал прелюдией к Религиозным войнам, терзавшим Францию на протяжении 30 лет.

было всего 19 лет, — в умственном отношении она едва ли уступала самой Елизавете, далеко превосходя ее пылкостью, грацией и красотой. Она принесла с собой утонченную чувственность французского Возрождения: она готова была целые дни проводить в постели и вставать только к ночи для танцев и музыки. Но у нее было железное сложение, не поддававшееся усталости: после своего последнего поражения она проскакала 90 миль, останавливаясь только для смены лошадей. Она любила опасности, приключения, звон оружия; в одном набеге на север она выразила перед окружающими ее суровыми воинами желание быть мужчиной, «чтобы изведать, что за жизнь проводить целые ночи в поле или сидеть в шанце с глазговским щитом и палахом». Но в кабинете она была таким же холодным и пронизательным политиком, как и сама Елизавета; планы ее отличались такой же тонкостью, но гораздо большей широтой и величием: «Все приемы главных и опытейших политиков Франции, — писал английский посол, — все хитрости, выдумки и обманы, таящиеся в хитрых мозгах шотландцев, — все это или свежо в памяти королевы, или она легко может проделать». Ее красота, изысканная прелесть обращения, великодушный характер и искренняя привязчивость, ее откровенность, чувствительность и веселость, слезы женщины и отвага мужчины, ее свободная непринужденность, поэтический блеск, озарявший все крупные моменты ее жизни, — все это производило и на друзей, и на врагов обаятельное действие, только усиливавшееся с течением времени. Даже Ноллису, суровейшему из пуритан своего времени, она представлялась в плену «замечательнейшей женщиной». «Кроме признания своего королевского достоинства, она, по-видимому, не обращает внимания ни на какие церемонии и почести. У нее заметна наклонность много говорить, быть смелой, шутливой и очень любезной. Она выказывает сильное желание отомстить своим врагам. В надежде на победу она готова подвергаться всем опасностям. Она охотно слушает рассказы о смелости и храбрости, восхваляет поименно всех заведомо смелых соотечественников, хотя они ее враги, и не скрывает трусости даже в свдих друзьях». Люди еще не подозревали суровой набожности и силы страсти, скрывавшихся под привлекательной внешностью Марии, но они сразу заметили ее политический талант. Она схватилась за новую силу, которую придала ей смерть ее супруга. Теперь ни в Шотландии, ни в Англии ее делу не мешало народное недоверие к вмешательству французов. Мария высадилась в Литее с намерением разрушить союз Елизаветы с протестантами Шотландии, сплотить вокруг себя королевство и, таким образом, создать прочное основание для своих интриг среди английских католиков. Ее появление произвело удивительное действие: личное обаяние оживило предан-

ность народа и привело к ее ногам всю Шотландию. Ее очарованию не поддался один Нокс, самый крупный и строгий из проповедников кальвинизма. Грубые шотландские вельможи признавали, что Мария владеет «какими-то чарами, обвораживающими людей». Обещание религиозной терпимости побудило всех ее подданных поддерживать выдвинутое ею притязание на назначение ее преемницей Елизаветы. Но вопрос о наследовании, как и вопрос о браке, был для Елизаветы вопросом жизни и смерти. Ее брак с католиком или протестантом одинаково положил бы конец ее системе равновесия и национального единства, подал бы знак к восстанию обманутой ею партии и к победному торжеству партии удовлетворенной. Испанский посол, настаивавший на браке с Габсбургом, писал: «Если сюда явится католический принц, то первая месса, на которой он будет присутствовать, послужит сигналом к восстанию». То же самое было и с вопросом о престолонаследии. Назначить наследником протестанта из дома Сеффолков значило бы побудить к восстанию всех католиков; назначить Марию значило бы вызвать отчаянное восстание протестантов и отдать Елизавету на произвол любого фанатика-убийцы, желавшего очистить путь для католического государя: «Я не настолько глупа, — ответила королева Марии, — чтобы повесить перед своими глазами саван».

Но на нее оказывалось сильное давление, и Мария ожидала торжества католицизма во Франции, чтобы еще более усилить его. Это и заставило Елизавету оказать помощь гугенотам, когда они стали поддаваться перед силой Гизов. Как ни ненавидела она войну, но инстинкт самосохранения вовлек ее в великую борьбу, и, несмотря на угрозы Филиппа, она обещала прислать протестантам под начальством Конде денег и 6000 человек. Но роковое поражение армии гугенотов при Дрё отдало Францию в руки Гизов и приблизило опасность к самому порогу Англии. Надежды английских католиков возросли. Папа, правда, медлил с изданием буллы о низложении; зато он объявил (1562) принятие английской литургии расколом и запретил католикам посещать церкви. Издание этой грамоты положило конец богослужебному единообразию, которое старалась установить Елизавета. Ревностные католики покинули церкви. На этих ослушников налагались тяжелые пени, и когда число их возросло, они стали важным источником дохода для казны. Но эти пени не могли компенсировать нравственный удар, нанесенный отдалением католиков. Это было началом борьбы, которую Елизавете удавалось предотвращать в течение трех памятных лет. Фанатизм католиков встретился с фанатизмом протестантов. Вести о поражении гугенотов вызвали в Англии панику. Парламент выразил свои опасения в новых мерах строгости: «Довольно сказано слов, — заметил ми-

нистр королевы, сэр Фрэнсис Ноллис, — пора обнажить меч». Этим мечом явился «Акт об испытании» (*Test act*) 1563 г., — первый в ряду тех уголовных законов, которые в течение двух веков тяготели над английскими католиками. Этот статут требовал от всех чиновников, духовных и светских, за исключением пэров, присяги на верность королеве и отречения от светской власти папы. Вследствие этого вся власть в королевстве перешла в руки протестантов, а также католиков, признававших, вопреки папе, законность Елизаветы и ее церковную юрисдикцию. Впрочем, к мирянам этот закон применялся бережно; более сильное давление производилось на духовенство. Многие из приходских священников хотя и приняли новую литургию, но не принесли присяги, предписываемой Актом о единообразии. До сих пор Елизавета благоразумно не допускала строгого расследования их мнений. Но теперь для выполнения закона в Ламбете была по ее приказу учреждена комиссия с примасом во главе; в то же время за основу вероучения были приняты 39 статей, составленных при Эдуарде, и от духовенства потребовали принятия их.

Быть может, если бы Елизавета предвидела, как быстро исчезнет пугавшая ее опасность, она сохранила бы свою прежнюю примирительную политику. В этом случае она могла по обыкновению положиться на счастье. Гибель герцога де Гиза на осаде занятого гугенотами Орлеана (1563) обезглавила его партию; при французском дворе верх взяла политика умеренности и равновесия; Екатерина Медичи была теперь всесильна, а она все еще придерживалась мирной политики. Но удача сопровождалась для Елизаветы заслуженным унижением. В годину бедствия гугенотов она продала им свою помощь за уступку Гавра, а теперь примирение партий во Франции снова отняло его. Мир с Францией следующей весной обеспечил ей годичный отдых от тревог и совсем расстроил план Марии — оказать давление на соперницу соединенными силами Шотландии, поддерживаемой Францией. Но поражение только внушило ей еще более опасный план. Ей надоела маска религиозной терпимости, которую приходилось носить с целью обеспечить себе общую поддержку подданных, и она решилась сблизиться с английскими католиками. По родству всего ближе к Марии стоял Генри Стюарт, лорд Дарнли, сын графа Леннокса и по матери внук Маргариты Тюдор, которая вторым браком была замужем за графом Энгусом, тогда как Мария была внучкой Маргариты по первому браку ее с Яковом IV. Хотя дом Ленноксов и принял новое английское богослужение, но его симпатии заведомо остались католическими, и католики возлагали свои надежды на его наследника. Теперь Мария решилась объединить силы католицизма посредством брака с Дарнли. Обе стороны считали этот брак вы-

зовом протестантизму. До сих пор Филипп II относился одинаково подозрительно к религиозной терпимости Марии и к ее расчетам на Францию; теперь он постепенно перешел на ее сторону: «Она — единственные ворота, — признался он, — через которые религия может снова проникнуть в Англию; все другие закрыты». Напрасно Елизавета старалась предотвратить брак, угрожая войной и устраивая заговоры с целью захватить Марию и прогнать Дарнли за границу. Лорды конгрегации с ужасом пробудились от своего доверия к королеве, а ее побочный брат лорд Джеймс Стюарт, более известный под именем графа Мэррея, произвел смотр своим союзникам-протестантам. Едва они подняли восстание, как Мария с пистолетами за поясом пошла на них и без труда прогнала их вождей за границу. Разнесся слух, что она заключила союз с Испанией и Францией, где снова усилилось влияние Гизов. Елизавета прибегла к позорному притворству, как скоро известие о беременности Марии придало ей такую силу, что она могла пренебречь напоминаниями Филиппа об осторожности и медленности: «С помощью Бога и вашего святейшества, — писала она папе, — я надеюсь перепрыгнуть через стену». Ее советником все еще оставался итальянец Риццо, присоветовавший брак с Дарнли, и смелое предложение соответствовало ее личному характеру. Она потребовала признания своего права на престол. В предстоявшем парламенте она решилась восстановить в Шотландии католицизм и добиться изгнания Мэррея и его товарищей. Католики Северной Англии готовы были восстать, как скоро Мария приготовит им помощь. Никогда такая опасность не грозила Елизавете, но и на этот раз она могла «положиться на счастье». Ради брака с Дарнли Мария рисковала всем, но едва со свадьбы прошло несколько месяцев, как люди заметили, что она «ненавидит короля». Юноша оказался беспутным и дерзким супругом, а презрительный отказ Марии короновать его — отказ, который Дарнли приписал советам Риццо, — довел его ревность до бешенства*. В тот самый момент как королева обнаружила свои широкие замыслы высылкой английского посла, Дарнли, в сопровождении своих родственников со стороны матери — Дугласов, ворвался в ее покои, утащил с глаз ее Риццо и бесчеловечно заколол его в передней. Тут должны были проявиться темные стороны характера Марии. Как ни сильно было ее желание отомстить Дарнли, но он нужен был ей для выполнения ее политических планов. Она прикрыла свою ненависть притворной привязаннос-

* Среди шотландской знати влияние безродного итальянца приписывалось его любовной связи с королевой; утверждалось, будто бы он является подлинным отцом ее будущего ребенка. Похоже, в это верил и сам Дарнли.

тью и этим сумела отвлечь жалкого юношу от товарищей по заговору и воспользоваться его помощью для бегства в Данбар. Очутившись на свободе, она с торжеством пошла на Эдинбург во главе 8000 человек под командой графа Босуэла, а заговорщики в страхе бежали за границу. Мудрым притворством она, однако, вернулась к системе религиозной терпимости, но никогда не прекращала сношений с английскими католиками, а ее двор был наполнен беглецами из северных графств. «Ваши действия, — писала ей Елизавета во внезапном порыве горячей откровенности, — так же исполнены яда, как ваши слова — меда». Рождение сына, будущего Якова VI в Шотландии (в Англии — Яков I), удвоило силу Марии: «Число ваших друзей так возросло, — писал ей ее посланник из Англии, — что многие графства готовы восстать целиком и уже выбрали себе предводителей из знати». Беспокойство собравшегося в это время (1566) английского парламента показало, что положение представлялось, действительно, опасным. Палаты видели только одно средство помочь делу: они снова обратились к королеве с просьбой вступить в брак и решить вопрос о престолонаследии. Как мы видели, обе эти меры больше представляли, чем устраняли опасности; но Елизавете приходилось одной бороться против них. Определить престолонаследие значило сразу обнажить меч; поэтому здесь королева твердо стояла на своем. После бешеного взрыва гнева она дала обещание выйти замуж, решившись, без сомнения, обойти его, как обходила раньше. Но ссора с общинами, вызванная запрещением с ее стороны обсуждать вопрос о наследовании, — к этой ссоре мы вернемся позднее, — сильно поразила Елизавету. «Тайные внутренние враги, — сказала она общинам, когда их ссора окончилась сердечным примирением, — думали причинить мне это зло, чего никогда не могли бы сделать враги внешние, а именно: навлечь на меня ненависть моих общин. Неужели вы думаете, что я не интересуюсь вашей безопасностью и престолонаследием, на что обращена вся моя забота, или что я намерена нарушить ваши вольности? Нет, никогда этого не было в мыслях; я хотела только удержать вас от падения в пропасть». Однако она не могла указать настоящие мотивы своего поступка, и роспуск парламента, кроме все растущей внешней опасности, поставил ее (1567) лицом к лицу с недовольством народа.

Вдруг страшное событие рассеяло собравшиеся тучи. Мария воспользовалась Дарнли как орудием для гибели его сообщников и успеха своей политики, но с убийством Риццо она стала ненавидеть и избегать его. С ее губ срывались злоеющие слова. Пока она не освободится от него каким-либо способом, сказала она, ей и жизнь не мила. Жажда мести только усиливалась в ней под влиянием страсти к графу Босуэлу, самому смело-

му и бессовестному из пограничных баронов. Отчаянный характер графа не отступал ни перед какими препятствиями, мешавшими его браку с королевой. Развод мог освободить его от жены. Дарнли мог стать жертвой заговора тех лордов, которых он покинул и предал и которые все еще считали его своим злейшим врагом. Изгнанные бароны были возвращены; пошли темные слухи. Ужасная тайна последовавшего затем события все еще окутана мраком сомнения и неизвестности, который, вероятно, никогда не будет полностью рассеян. Настроение королевы, по-видимому, вдруг изменилось. Ее ненависть к Дарнли сразу сменилась проявлениями старой привязанности. Пороки и бедствия довели его до болезни, Мария посетила больного и уговорила его последовать за ней в Эдинбург. Она снова навестила его в уединенном ветхом доме подле дворца, где его поместили по ее приказу, поцеловала его при прощании и весело поехала на свадебный пир в Холируд. В два часа ночи ужасный взрыв потряс город, горожане бросились из ворот и нашли дом разрушенным, а труп Дарнли под развалинами. Убийство, несомненно, было делом рук Босуэла. Скоро стало известно, что его слуга насыпал порох под спальню Дарнли, а граф выжидал за городом окончания дела. Но, несмотря на сильное подозрение и на прямое обвинение в убийстве, выдвинутое против него лордом Ленноксом, серьезной попытки исследовать преступление не было сделано; а слух, что Мария намерена вступить в брак с убийцей, привел ее друзей в отчаяние. Ее агент в Англии писал ей, что «если она выйдет за Босуэла, она утратит милость Божию, свою репутацию и расположение всей Англии, Ирландии и Шотландии». Но скоро все крепости королевства были отданы в руки Босуэла, и этот шаг послужил прелюдией к суду над ним и оправданию, которое подавляющая сила его сторонников превратила в простую комедию. Бессовестное требование развода устранило последнюю помеху для его честолюбия, королева была похищена на пути в Линлистау, и за этим последовал брак. В один месяц все изменилось. Отвращение к браку с виновником смерти ее мужа вызвало восстание всего народа. Бароны, как католики, так и протестанты, собрались вооруженные в Стирлинге; их вступление в Эдинбург вызвало восстание столицы. Мария и Босуэл выступили с отличным войском навстречу лордам к Сетону, но их войско отказалось сражаться. Босуэл бежал и окончил жизнь в изгнании, а королева в бешеном отчаянии была привезена в Эдинбург и на проклятия толпы отвечала дикими угрозами. Из Эдинбурга она была пленницей отправлена в крепость Лохливен; она была принуждена купить себе жизнь отречением от престола в пользу сына и передачей регентства своему брату графу Мэррею, который только что вер-

нулся из Франции. В июле 1567 г. ребенок под именем Якова VI был торжественно коронован.

На время Англия была спасена, но надежды Марии рассеялись как раз вовремя. Великая борьба двух исповеданий, начавшаяся во Франции, постепенно превращалась в общую борьбу всей Европы. Примирительная политика Екатерины Медичи четыре года поддерживала перемирие между католиками и протестантами; но затем Конде и Гизы, желая воспользоваться новыми смутами, возникшими в это время в Нидерландах, снова подняли оружие. Жестокое преследование протестантов и бесцеремонное нарушение конституционных вольностей Филиппом II, наконец, вызвали там восстание; Филипп воспользовался этим, чтобы нанести давно задуманный удар распространению ереси в этой части его владений. В момент вступления Марии в Лохливен герцог Альба с войском в 10 000 человек готовился к походу в Нидерланды; он легко восторжествовал над силами мятежников, и тогда начался ряд ужасных избиений и насилий, обесславивших его имя в истории. Ничто не могло создать Елизавете такие затруднения, как прибытие Альбы во Фландрию. Истребление там ереси послужило бы прелюдией к содействию Гизам в истреблении ереси во Франции. Но и без этих далеких опасностей, торжество католицизма и присутствие католического войска в стране, столь тесно связанной с Англией, сразу оживило мечты католиков о восстании против власти Елизаветы, а известия о жестокостях Альбы возбуждали в каждом из ее протестантских подданных с трудом сдерживаемую жажду мести. Но нанести Альбе удар было невозможно, так как для торговли Англии главным рынком служил Антверпен и разрыв сношений с Фландрией, неизбежный в случае войны, разорил бы половину купцов Лондона. С каждым днем затруднения Елизаветы все росли, а в это время Марии удалось бежать из Лохливена. Энергия Мэррея быстро подавила при Лэнгсайде восстание католических баронов в ее пользу; тогда она отказалась от всякой надежды на Шотландию, с гениальной быстротой изменила свои планы и, переправившись в легкой лодке через Солуэй, до наступления вечера прибыла в замок Карлайла. Присутствие Альбы во Фландрии представляло гораздо меньше опасности, чем пребывание Марии в Карлайле. Удержать ее в Англии значило создать центр для мятежа; притом сама Мария грозила «доставить много хлопот, если ее удержать в плену». Она явно просила помощи Англии для восстановления ее на престоле или свободного пропуска во Францию. Исполнение последнего требования доставило бы Гизам грозное орудие против Елизаветы и обеспечило бы Франции новое вмешательство в дела Шотландии; возвращение ей утраченной короны оружием было невозможно.

До оправдания Марии Мэррей не хотел и слышать о ее возвращении, а она отказывалась подчиниться такому суду, который бы мог ее оправдать. Однако Елизавете так хотелось избавиться от страшно опасного присутствия ее в Англии, что отказ Марии подчиниться какому бы то ни было суду вызвал у нее только новые планы для восстановления ее. Она убеждала Мэррея устранить важнейшие обвинения, а Марию — в награду за возвращение оставить Мэррею настоящее обладание королевской властью. Ни тот, ни другой не хотели принять условий, приносивших их обоим в жертву интересам Елизаветы: регент продолжал обвинять королеву в убийстве и прелюбодеянии, Мария отказывалась отвечать или отречься в пользу своего малолетнего сына. Простое бездействие, как без сомнения предвидела Мария, всего более содействовало успеху ее смелой политики. Ее несчастья, ее решительные отрицания постепенно ослабляли веру в ее виновность и снова привлекали на ее сторону католиков Англии. В то время как Елизавета «держала волка за уши», жестокая борьба, вызванная действиями Альбы в Нидерландах и во Франции, разжигала раздражение партий в Англии.

В стране и при дворе партии, движения и сопротивления стали, наконец, в резкое и явное противоречие друг другу. Сесил во главе протестантов требовал общего союза с протестантскими церквями всей Европы, войны против Альбы в Нидерландах и безусловной выдачи Марии ее шотландским подданным для заслуженного ею наказания. С другой стороны, католики, опираясь на массу консервативной партии с герцогом Норфолком* во главе, а также на богатых купцов, опасавшихся прекращения торговли с Фландрией, так же серьезно требовали отставки Сесила и удаления протестантов из совета, прочного мира с Испанией и, хоть не так открыто, признания прав Марии на престолонаследие. Елизавета принуждена была медлить по-прежнему. Она не приняла советов Сесила, но послала деньги и оружие Конде и стеснила Альбу, арестовав посланные ему деньги и доведя ссору до временной задержки судов по обе стороны пролива. Она не приняла советов Норфолка, но не хотела ничего слышать об объявлении войны, не хотела обсуждать обвинений против Марии или признавать вступление Якова на ее престол. Влияние присутствия Марии в Англии сказалось в заговорах Норфолка с графами севера и Испанией. Заметив опасность, Елизавета поступила быстро и решительно. Марию она отдала под

* Имеется в виду Томас III Говард, герцог Норфолк (1536–1572), сын казненного при Генрихе VIII графа Сэррея и внук герцога Томаса II, видного деятеля в царствование Генриха VIII и Марии I Тюдор. Состоя в родстве с царствующей династией, Норфолк хотел жениться на Марии Стюарт и занять английский престол. Уличенный в государственной измене, обезглавлен.

стражу лорду Хантигдону, затем она арестовала Арундела, Пемброка и Лемли и посадила в Тауэр Норфолка. Но поражение гугенотов во Франции и принесение папским послом известия, что в Риме приготовлена булла о низложении Елизаветы, побудили крупных католических лордов к действию и вызвали восстание Невиллов и Перси. Сигналом к восстанию послужило вступление в Дёргем графов Нортумберленда и Уэстморленда. Библия и новый служебник были разорваны в клочки и еще раз на алтаре Дёргемского собора была отслужена месса, раньше чем графы дошли до Донкастера с войском, скоро возросшим до нескольких тысяч человек. Они требовали, чтобы в «церкви во всем были восстановлены старые обычаи»; граф Сассекс, полководец Елизаветы на севере, писал ей откровенно, «что в Йоркшире нет и десяти дворян, которые одобряли бы ее меры в сфере церковной». Но он был так же верен, как и откровенен, и упорно защищал Йорк, а королева приказала спешно перевести Марию в новую тюрьму в Ковентри. Но буря рассеялась так же быстро, как и собралась. Масса католиков Англии не шевельнулась, а едва графы остановились в нерешительности, ввиду этого неожиданного бездействия, как их войско охватила паника — и оно рассеялось. Вожди восстания бежали, а их несчастные сторонники поплатились за свою измену гибелью и разорением. Жестокие меры, сопровождавшие подавление этого восстания, были первым отступлением от мягкости управления Елизаветы, но они не замедлили произвести впечатление на противников. Надежды северных графов были расстроены общим бездействием католиков; теперь (1570) Рим сделал все возможное, чтобы побудить их к действиям опубликованием буллы об отлучении и низложении королевы; булла эта была тайно издана в предыдущем году в духе вызывающей насмешки оказалась прибитой к дверям дома Лондонского епископа. Католики севера упорно уклонялись от национального богослужения. С каждым днем число уклонявшихся возрастало; интриги велись деятельнее, чем когда-либо. Регент Мэррей был убит, и в Шотландии началась борьба между приверженцами Марии и сторонниками ее сына. От разбитых католиков Мария обратилась снова к герцогу Норфолку, который стоял во главе консервативных пэров. Норфолк принял церковный компромисс Елизаветы и выдавал себя за протестанта, но в то же время вел интриги с партией католиков. Он думал найти у английских пэров содействие своему браку с Марией, а этот брак, казалось, должен был вырвать ее из рук французских и католических интриганов, превратить ее в англичанку и разрешить тревожный вопрос о престолонаследии. Его мечты о таком союзе с Марией были открыты в предыдущем году Сесилом, а их выполнение было задержано коротким заключением его в Тауэр. Но после осво-

бождения оттуда он возобновил свою переписку с королевой и, наконец, обратился к Филиппу с просьбой о присылке испанской армии. Во главе этой просьбы стояло имя Марии, а за Норфолком следовали имена многих лордов «старой крови», как величали себя гордые пэры. Значение этой просьбы было усилено сбором в Антверпене католических изгнанников вокруг беглых вождей северного восстания. Эти заговоры вызвали среди протестантов новое ожесточение. Собравшийся парламент принял билль об опале против северных графов и объявил ввоз папских булл государственной изменой. Сильное негодование на Марию, как на «дочь Распри, сеющую жестокий раздор», сказалось в статуте, лишавшем права наследовать престол всякое лицо, которое при жизни королевы заявит права на корону. Ответом на вражду католиков служил закон, обязывавший всех судей и чиновников подписывать «религиозные статьи», — что, в сущности, передавало в руки их противников суд и управление. Между тем измена Норфолка выросла в настоящий заговор. Филипп обещал помощь, если восстание действительно вспыхнет; но ключ к этим переговорам давно находился в руках Сесила, и раньше чем Норфолк мог сделать первый шаг к осуществлению своих честолюбивых планов, они были расстроены его арестом. Со смертью его и Нортумберленда, последовавшего за ним на эшафот, исчезла боязнь внутреннего восстания, так долго тревожившая Англию. Неудача двух покушений не только доказала слабость и разъединенность партии недовольства и реакции; она обнаружила, вообще, слабость партийного духа перед ростом национального чувства, естественно развившегося в мирное царствование Елизаветы и превратившегося в страстную преданность к королеве, когда выяснилась опасность, грозившая порядку и благосостоянию страны. Планы Марии, Филиппа и Перси разбились не столько о бдительность Сесила и хитрость Елизаветы, сколько о дух новой Англии.

Глава V

Англия в эпоху Елизаветы

«Я желала, — гордо говорила Елизавета своему парламенту, — обеспечить себе повиновение подданных при помощи любви, а не принуждения». Она вполне заслужила эту любовь правосудием и искусным управлением. Хотя, по-видимому, ее поглощали внешние переговоры и интриги, но прежде всего она была государем Англии. Свое искусство и энергию она посвятила делу гражданского управления, едва освободившись от давле-

ния внешних тревог, она обратила внимание на две главные причины внутренней неурядицы. В 1560 г. был положен конец обесценению монеты. В 1561 г. была учреждена комиссия для изыскания наилучших средств к устранению социального недовольства. Время и естественное развитие новых отраслей промышленности постепенно содействовали облегчению переполненного рабочего рынка; но в Англии все еще существовала огромная масса нуждающихся, для которой постоянным источником ожесточения служили огораживания и выселения, сопровождавшие успехи сельского хозяйства. Каждое восстание могло рассчитывать на поддержку этой массы разоренного люда; уже само ее существование служило вызовом к междоусобию; в мирное время ее присутствие давало себя знать преступлениями против жизни и собственности, шайками грабителей, державшими в страхе целые графства, «дерзкими нищими», грабившими путников по дорогам. При Елизавете, как и при ее предшественниках, продолжалось беспощадное применение репрессивных мер, бесплодность которых напрасно доказывал Мор. Мы знаем, что власти Сомерсетшира в один раз захватили шайку в 100 человек, из которых тотчас повесили 50, горько жалуюсь совету на необходимость дожидаться съезда судей, раньше чем доставить себе удовольствие видеть и остальных 50, повешенными рядом с первыми. Но правительство старалось противодействовать злу более разумным и действенным способом. Были удержаны старые средства — принуждение праздных к работе, а бродяг к оседлости; каждый город и приход были обязаны помогать своим бедным, нуждающимся и неспособным к работе и давать работу способным к труду нищим. Но постепенно был выработан более совершенный способ оказания помощи и доставления работы бедным. Прежде средства для этого доставлял сбор милостыни в церквях; в 1562 г. было предписано мэру каждого города и церковным старостам каждого сельского прихода вести списки всех обывателей, которые могли делать взносы в этот фонд, а в случае упорного уклонения судьи были уполномочены налагать на виновного подходящую сумму и добиваться уплаты ее через заключение в тюрьму. Начала, выраженные в этих мерах, — местная ответственность за местную нужду и различие бедняка от бродяги — нашли более ясное определение в статуте 1572 г. Этот закон обязал судей в сельских округах и мэров или других представителей городов вести списки нуждающихся бедных, помещать их в подходящие жилища и для помощи им облагать всех обывателей. Были назначены надзиратели для принуждения их к труду и надзора за ним; шерсть, пенька, лен и прочий материал покупался за счет обывателей; для упорных бродяг и для бедных, отказывающихся работать по приказанию надзирателя, в каждом граф-

стве учреждались исправительные дома. Дальнейший закон передал сбор налога для бедных надзирателям и предоставил им право отдавать бедных детей в учение, строить для бедняков дома, принуждать родителей и детей таких бедных к содержанию их. Общеизвестный закон 1601 г., пополнивший и давший окончательную форму этой системе, оставался основой системы призрения бедных до времени, которое еще памятно современникам. Позднейший опыт открыл много недостатков в этих мерах; тем не менее их разумный и гуманный характер представлял поразительный контраст с законодательством со времени закона о рабочих, позорившим собрание статутов, а их действенность для того времени была доказана устранением социальной опасности, против которой они были направлены.

Но исчезновение ее было вызвано не столько законом, сколько естественным ростом богатства и промышленности в стране. Изменение в способе обработки земли, какие бы социальные затруднения оно ни вызывало, несомненно, содействовало росту производства. Не только в землю вкладывался большой капитал, но простая перемена в системе вызывала стремление к новым и лучшим способам земледелия: улучшались породы лошадей и скота, гораздо сильнее применялись удобрения. Говорят, при новой системе одна десятина давала столько, сколько две — при старой. С введением более тщательной и настойчивой обработки на каждой ферме потребовалось большее число рук, и большая часть того излишнего труда, который в начале новой системы был вытеснен с земли, была теперь возвращена к ней. Но гораздо сильнее поглощали безработных развивавшиеся мануфактуры. Льняная промышленность имела еще мало значения, а тканье шелка только что было введено. Но шерстяные мануфактуры скоро стали важным элементом народного богатства. Англия уже не посылала своей шерсти для тканья во Фландрию, а для окраски во Флоренцию. Прядение и тканье шерсти, валяние и окраска сукна из городов быстро расходились по деревням. Прядение шерсти, центром которого служил Норич, распространялось по всем северным графствам. Жены фермеров начали всюду перерабатывать шерсть своих овец в грубую домашнюю пряжу. Однако главными центрами промышленности и богатства все еще оставались юг и запад, бывшие родиной горного дела и мануфактурной деятельности. Железодельные заводы ограничивались Кентом и Сассексом, хотя процветанию их в этой местности уже начинал грозить усиливавшийся недостаток древесного топлива для их печей и истощение лесов Уилда. И тогда, как теперь, один Корнуолл вывозил олово; а вывоз его меди только что начинался. Среди шерстяных материй Англии первое место занимало тонкое сукно, выделявшееся на западе. Пять Портов почти исключительно вели

торговлю Ла-Манша. Каждый мелкий порт от Форленда до Лэндсенда высылал свой флот рыбацких лодок, наполненных смелыми моряками, которым предстояло составлять экипажи Дрейка и флибустьеров. Наконец, в царствование Елизаветы начали исчезать бедность и бездеятельность, на которые столько веков был осужден север. Первые признаки того переворота, который перенес мануфактуры и богатство Англии к северу от Мерси и Гёмбера, мы видим в попадающихся нам теперь упоминаниях о фризových материях Манчестера, одеялах Йорка, ножевом товаре Шеффилда, сукнах Галифакса.

Однако развитие торговли Англии далеко опередило рост ее промышленности. Впрочем, об этом мы не должны судить по современной мерке: все население страны едва ли превышало 5–6 миллионов, а вместимость всех торговых судов определялась немногим более 50 000 тонн. Размер тогдашних судов показался бы теперь незначительным; теперешний угольный бриг, пожалуй, не уступит крупнейшему купеческому кораблю, выходившему тогда из Лондонского порта. Но при Елизавете началось быстрое развитие английской торговли, сделавшее англичан мировыми посредниками. Основание королевской биржи сэром Томасом Грэшемом в 1566 г. служило признаком торговых успехов эпохи. Самое важное значение имела торговля с Фландрией; в первой половине XVI века Антверпен и Брюгге были, действительно, мировыми рынками, и ценность годового экспорта английской шерсти и сукон на их рынки определялась суммой в два миллиона. Торговое преобладание Лондона установилось впервые с разорения Антверпена во время его осады и взятия талантливым полководцем Алессандро Фарнезе герцогом Пармским, племянником Филиппа II по матери.

Говорят, треть торговцев и промышленников разоренного города нашли себе убежище на берегах Темзы. Экспорт во Фландрию прекратился, когда Лондон сделался общеевропейским рынком, на котором рядом с хлопком Индии, шелком Востока и шерстяными материями самой Англии находились золото и сахар Нового Света. Не только часть прежней мировой торговли была перенесена этой переменной на берега Англии, но внезапный взрыв национальной энергии нашел для своей деятельности новые выходы. Перевозочные суда венецианцев все еще приставали в Саутгемптоне; но в царствование Генриха VII был заключен торговый договор с Флоренцией, и начавшаяся при Ричарде III торговля со Средиземным морем постепенно принимала более широкие размеры. Прежде торговлю Англии с балтийскими портами вели ганзейские купцы, но исчезновение в это время их лондонского склада, «стального двора», служило доказательством того, что и эта торговля перешла теперь в руки англичан. Рост Бостона и Хала

указывал на усиление торговых сношений со Скандинавией. Процветание Бристоля, зависевшее в значительной степени от торговли с Ирландией, было ускорено завоеванием и заселением этого острова в конце XVI в. и начале XVII в. Мысль о северном проходе в Индию открыла для торговли еще неизвестную страну. Из трех кораблей, отправленных под командой Хью Уиллоуби для выполнения этой мысли, два были затем найдены на берегу Лапландии с замерзшими экипажами и несчастным командиром; но третий под командой Ричарда Чэнселлера удачно пробрался в Белое море и завязал торговлю с Россией (1553). Более выгодная торговля уже началась с берегом Гвинеи; ее золотому песку и слоновой кости были обязаны своим богатством купцы Саутгемптона. Виновником развившейся отсюда торговли рабами является Джон Хоукинс; его герб (статный полумавр, закованный в цепи) увековечил его первенство в деле перевозки негров из Африки на плантации Нового Света. Рыбные ловли Ла-Манша и Немецкого моря доставляли занятие жителям многочисленных портов, окаймлявших берег от Ярмута до Плимута; Бристоль и Честер соперничали на Уистерских рыбных ловлях; путешествие Себастьяна Кабота из Бристоля к материку Северной Америки показало английским судам путь в бурный Северный океан. Со времени Генриха VIII число английских судов, высылавшихся на тресковые мели Ньюфаундленда, постоянно возрастало, а в конце царствования Елизаветы английские моряки оказались соперниками бискайских в охоте на китов в полярных морях.

Елизавета содействовала этому развитию национального благосостояния поддержанием обусловившего его мира и общественного порядка; а ее бережливость позволяла ей в обычное время довольствоваться обычными доходами короны и щадить кошельки ее подданных. Она охотно покровительствовала новой торговле, участвовала в ее оборотах, рассматривала ее расширение и охрану как отрасль государственного управления и поощряла образование крупных купеческих компаний, которые только и могли в то время охранять в дальних странах торговцев от обиды и несправедливости. Давно существовавшая в Лондоне и получившая при Генрихе VII утверждение корпорация заморских купцов послужила образцом для Русской компании и для компании, захватившей в свои руки новую торговлю с Индиями. Но не одно удовольствие возбуждал в Елизавете и ее министрах производимый вокруг них приливом богатства социальный переворот. Они боялись необходимо следовавшего за ним роста расходов, который мог разорить страну и уронить мужество народа: «Теперь Англия, — жаловался Сесил, — в один год тратит на вино больше, чем прежде в четыре года». Отказ от соленой рыбы и рост потребления мяса указывали на пере-

мену к лучшему в положении сельского класса. Грубые, сплетенные из хвороста, хижины заменялись жилищами из кирпича и камня. Оловянная посуда заменяла деревянную утварь прежнего крестьянства; были крестьяне, которые могли похвастаться красивыми серебряными блюдами. В это время мы впервые замечаем появление понятия, которое теперь представляется нам чисто английским, — понятие о домашнем комфорте. Местечко перед камином, столь тесно связанное с семейной жизнью, явилось с введением всюду каминов, которые в начале царствования Елизаветы еще редко встречались в обыкновенных домах. Теперь в общее употребление вошли подушки, к которым прежде крестьяне и торговцы относились пренебрежительно, считая их приличными только для рожениц. Ковры заменили грязную настилку из камыша. Высокие дома богатых купцов с их изукрашенными фасадами и дорогой обивкой стен, громоздкими, но изящными кроватями, резными лестницами, оригинальными фигурными фронтонами не только представляли контраст с нищетой, до того отличавшей английские города, но и указывали на появление нового класса, который должен был играть важную роль в позднейшей истории. Еще более поразительная перемена указывала на исчезновение феодального характера знати. Мрачные стены и частые зубцы на них исчезли из жилищ дворянства. Сильная средневековая крепость уступила место пышному и красивому елизаветинскому замку. Ноль, Лонглит, Бёрли, Гетфилд, Гардуик и Одли-Энд — известные образцы социального и архитектурного преобразования, покрывшего Англию зданиями, в которых мысль о защите покинута для мысли о домашнем удобстве и красоте. Мы еще до сих пор с удовольствием рассматриваем живописную линию их фронтонов, их резные фасады, позолоченные башенки и причудливые флюгеры, их массивные ворота, выдающиеся фонарики, из которых знатный хозяин смотрел на свой новый итальянский сад, на его величавые террасы и широкие лестницы, вазы и фонтаны, причудливые лабиринты, правильные аллеи, ряды тисов, подстриженных странным образом в неудачное подражание кипарисовым аллеям юга. Итальянская же утонченность преобразовала внутренность домов, подняла главные покои в верхний этаж — этому изменению мы обязаны величавыми лестницами того времени, — окружила спокойные дворы «приемными галереями», увенчала простой очаг огромным камином, украшенным фавнами и купидонами, с грациозно переплетенными монограммами и фантастическими арабесками, увешала стены коврами, наполнила комнаты красивыми резными стульями и величавыми комодами. Средневековая жизнь сосредоточивалась в обширном замковом зале, где барон со своего возвышенного места озираал собравшихся за его столом вассалов. Ни

крупные дружины постепенно распускались, и когда хозяин дома со своей семьей удалился в гостиную или «боковую комнату» и оставил залу своим слугам, исчез весь феодальный обиход. Широкое пользование стеклом сделалось заметной особенностью в постройке домов того времени, чертой, влияние которой на общенародное здравие едва ли можно преувеличить. По фасаду новых господских домов протягивался длинный ряд окон, на каждом купеческом доме был свой фонарь: «У вас в домах, — роптал лорд Бэкон, — иногда столько окон, что не знаешь, куда уйти от солнца или холода». Но веселое наслаждение светом и блеском солнца составляло отличительную черту эпохи. Расточительность на новое богатство вместе с увлечением жизнью, любовью к красоте, ярким цветам, хвастовству произвели переворот в английской одежде. С 3000 платьев королевы соперничали по великолепию разрезные бархатные платья, брыжи, украшенные драгоценными камнями камзолы ее придворных. Старые здравые понятия о бережливости исчезли перед необыкновенным переворотом, произведенным в экономических отношениях открытием Нового Света. Щеголи в один вечер проигрывали состояния и отправлялись составлять новые в Индии. Мечты о галионах, до краев наполненных жемчугом, алмазами и слитками серебра, грезы об Эльдorado, где все из золота, завладевали воображением простых матросов и делали их расточительными и щедрыми. Чудеса Нового Света, вообще, сильно разжигали фантазию Старого. Странное смешение прошлого и настоящего, отличающее маскарады и празднества эпохи, только отражало смешение, царившее в умах людей. Старина и новизна, итальянская аллегория, средневековое рыцарство, римская мифология, английский бой медведей, пасторали, суеверие, фарс — все это встречалось поочередно в увеселениях, которые лорд Лестер устраивал для королевы в Кенилворте. «Дикий человек» из Индии воспевал ей хвалу, и эхо отвечало ему. От приветствий сивилл и великанов Елизавета обращалась к освобождению очарованной девы от ее тирана «Безжалостного». Пастушки приветствовали ее весенними песнями, а Церера и Вакх бросали к ее ногам хлебные зерна и виноград.

Этой тревоге ума, этому причудливому богатству фантазии обязана своим возрождением при Елизавете английская литература. Здесь, как и в других странах, Возрождение нашло туземную литературу почти вымершей, поэзию низведенной до виршей Склна, историю — до летописей Фабиана или Гэлла; но оно мало сделало для английской литературы. Подавляющее влияние новых образцов мысли и слога, возвращенных им миру в новых писателях Греции и Рима, оказалось сначала только новой помехой для мысли о возрождении английской поэзии или прозы. Англия более других

европейских стран восприняла политические религиозные следствия гуманизма, но его литературные результаты были здесь далеко слабее, чем в остальной Европе — в Италии, Германии или Франции. Один Мор принадлежит к великим классическим ученым XVI в. Классическая ученость университетов почти погибла в бурях реформации и возродилась не раньше конца царствования Елизаветы. Но постепенно влияние Возрождения подготовило умственную почву Англии к предстоявшей богатой жатве. Придворная поэзия, сосредоточившаяся вокруг Уайэтта и Сэррея, несмотря на свой заносчивый и подражательный характер, обещала новую жизнь английской литературе. Рост грамматических школ осуществил мечту сэра Томаса Мора и привел средние классы, от помещика до мелкого торговца, в соприкосновение с гениями Греции и Рима. Любовь к путешествиям, ставшая замечательной особенностью Елизаветинской эпохи, расшевелила умы крупной знати. «У остающихся дома юношей, — замечает Шекспир, характеризуя свое время, — всегда бывают доморожденные остроты». Поездка на материк вошла в состав воспитания джентльмена. Перевод Тассо Ферфаксом, а Ариосто Харрингтоном служили проявлениями того влияния, какое начала оказывать на умы англичан литература Италии, куда чаще всего направлялись путешествия. Наконец, начали влиять на Англию писатели Греции и Рима, популяризованные массой переводов. Прекрасный перевод Чэпменом Гомера далеко возвышается над остальными, но до конца XVI в. на английский язык были переведены все наиболее крупные поэты и историки классического мира. Характерно для Англии, что первой пробудилась от своего долгого сна историческая литература, хотя форма, в которой она восстала, указывала на отличие мира, в котором она погибла, от того, в котором она вновь явилась. В Средние века мир не имел прошлого, кроме темного и неведомого прошлого Древнего Рима; поэтому летописец рассказывал историю предшествовавших лет в виде предисловия к рассказу о настоящем, не чувствуя никакой разницы между ними. Религиозный, социальный и политический переворот, происшедший в Англии при новой монархии, прервал непрерывность ее жизни; как глубок был разрыв между двумя эпохами, это видно из того, что, возрождаясь при Елизавете, история от средневековой формы простого рассказа переходит к новой форме исследования и воссоздания прошлого. Новый интерес к отошедшему миру повел к собранию его летописей, к их перепечатке и переводу на английский язык. Желание отыскать в прошлом основы для Елизаветинской церкви, а также чистая любовь к литературе побудили архиепископа Паркера положить начало первой из этих работ. Собрание исторических рукописей, которые он, следуя примеру Леленда, спас при крушении монастырс-

ких библиотек, создало школу подражавших ему антиквариетов, исследования и рвание которых сохранили для нас почти все труды крупного исторического достоинства, существовавшие до упразднения монастырей. Изданию им некоторых из наших древнейших летописей мы обязаны рядом подобных изданий, носящих имена Кемдена, Туисдена и Гэлла. Но как отрасль литературы, английская история в указанной нами новой форме явилась в сочинении поэта Даниэля. Предшествовавшие ему хроники Стау и Спида — простые записи прошлого, часто взятые почти буквально из бывших тогда в ходу летописей, без всякого слога и расположения; между тем Даниэль, несмотря на неточность и поверхностность, дает своей истории литературную форму и излагает ее чистой и изящной прозой. Два более крупных произведения в конце царствования Елизаветы «История турок» Нолса и широкий, но незаконченный план «Всемирной истории» Рэли указали на расширение исторического интереса за чисто национальные границы, которыми он до сих пор определялся.

Гораздо более обязана была своим развитием английская литература тому влиянию, какое, как мы видели, все более оказывала на нравы и вкус эпохи Италия, частью благодаря путешествиям туда, а частью — своей поэзии и романам. Говорят, люди выше ценили рассказ Боккаччо, чем библейскую повесть. Одежда, нравы Италии стали предметами почти страстного подражания, не всегда носившего разумный или благородный характер. Эшему оно представляло подобным «очарованию Цирцеи, принесенному из Италии для искажения людских обычаев в Англии». «Итальянизовавшийся англичанин — воплощенный дьявол», — гласила суровая итальянская поговорка. Литературная форма этого подражания, во всяком случае, представлялась нелепой. Джон Лили, славившийся и как драматург, и как поэт, отказался от традиционного английского слога и заменил его слогом, подражавшим итальянской прозе эпохи упадка. Новый слог назвали «эффуизмом» по произаическому роману «Эффуэс», в котором Лили впервые применил его. Новым читателям он известен лучше всего по той безжалостной карикатуре, в которой Шекспир осмел его педантизм и вычурность, бессмысленное однообразие изысканных фраз, безвкушие нелепых острот. Его представитель, Армадо в «Напрасных усилиях любви», оказывается «человеком с самоновейшими словами, настоящим рыцарем моды»; «в голове у него фабрика фраз; музыка его пустой речи восхищает его подобно чарующей гармонии». Но сама эта вычурность вытекала из общего восхищения новыми средствами мысли и языка, оказавшимися в распоряжении литературы. Из этого нового чувства литературной красоты, проявлявшегося в вычурности, любви к «фабрикации фраз» и «музыке

своей пустой речи», из этого нового наслаждения нежностью или величавостью фразы, строем и расположением предложений — тем, что называется атмосферой слов, — из этого и должен был развиваться стиль. Одно время эвфуизм процветал. Елизавета была самой вычурной и отчаянной эвфуисткой; «придворная красавица, не говорившая этим языком, — сообщают придворные времен Карла I, — привлекала к себе так же мало внимания, как теперь не говорящая по-французски». Мода, правда, прошла, но «Аркадия» сэра Филиппа Сидни доказывает удивительные успехи, достигнутые под ее влиянием прозой. Сидни, племянник лорда Лестера, был идолом своего времени; в нем, пожалуй, всего полнее и красивее отразился век. Он был так же красив, как и храбр, остроумен и нежен, благороден и великодушен по характеру, дорог одинаково Елизавете и Спенсеру, любим двором и войском. Его знания и талант сделали его центром литературного мира, появившегося тогда на почве Англии. Он путешествовал по Франции и Италии и был одинаково знаком как со старой наукой, так и с новыми открытиями астрономии. Джордано Бруно посвящал ему, как другу, свои философские исследования; он был знаком с испанской драмой, поэзией Ронсара, сонетами Италии. Мудрость серьезного политика он соединял с романтикой странствующего рыцаря: «Всякий раз как я слушал старый рассказ о Перси Дугласе, — говорит он, — он волновал мое сердце сильнее, чем звук трубы». Он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти английское войско во Фландрии, и когда лежал при смерти, к его разгоряченными губам поднесли чашу с водой, но он велел отдать ее солдату, распорядителю на земле подле него: «Твоя жажда, — сказал он, — сильнее моей». Вся натура Сидни, его рыцарство и ученость, страсть к приключениям и стремление к необычайному, свежесть тона, нежность и детская простота чувств, жеманство и ложная чувствительность, сильная страсть к удовольствию и наслаждению — все это находит себе выражение в пастушеском попури его «Аркадии», натянутом, скучном и все-таки странно прекрасном. В его «Защите поэзии» плодовитость молодого поэта перешла в серьезную энергию и величавую возвышенность оратора. Но и в том, и в другом произведении остаются все те же гибкость, музыкальность и прозрачная ясность слога. Впрочем, быстрота и живость английской прозы развились впервые в школе подражателей итальянцам, явившейся в последние годы Елизаветы. Начало английского романа следует искать в тех рассказах и повестях, которыми Грин и Нэш наводняли рынок и образцы которых они нашли в итальянских новеллах. Короткая форма этих новел скоро вызвала появление «памфлета», а быстрота, с какой издавались рассказы или непристойные пасквили, подходившие под это название, а жадность, с какой

они поглощались, указывали на появление нового круга читателей. Грин хвалился тем, что в восемь последних лет жизни он написал сорок памфлетов: «В одну ночь или один день он мог бы, как и семь лет назад, состряпать памфлет, и счастлив был тот печатник, которому удавалось дорого заплатить за самые подонки его остроумия». Теперешний читатель видит в произведениях Грина и его товарищей больше подонков, чем остроумия, но нападки Нэша на пуритан и его соперников были первыми произведениями, вполне свободными от педантизма и вычурности эвфуистов. В его легкости, гибкости, живости и прямоте речи мы находим начало народной литературы. Из кабинета она спустилась на улицу, и самый этот факт доказывал, что улица была готова к принятию ее. Масса печатников и печатных книг в конце царствования Елизаветы также показывает, что круг читателей и писателей далеко вышел из сферы ученых и придворных, которой он прежде ограничивался.

Позднее нам еще придется рассматривать великое поэтическое движение, которому эти духовные успехи пролагали путь, а также нравственный и религиозный переворот, происшедший в стране под влиянием развития пуританства. И умственные, и религиозные течения в соединении с влиянием роста благосостояния оживили дух независимости в массе народа. Понять этого Елизавета не могла, но ее удивительный такт позволил ей почувствовать силу нового настроения. Задолго до открытого столкновения между народом и короной мы видим по тем изменениям, сознательным или бессознательным, какие она вводила в систему управления, что она инстинктивно чувствовала происходившие вокруг нее перемены. Она не отказалась ни от одного из нарушений английской свободы, но ограничила и смягчила почти все. Подобно своим предшественникам, она нарушала личную свободу; точно так же искажались законы и оказывалось давление на присяжных в политических делах, а совет королевы все еще пользовался правом произвольных арестов. Пошлины, налагавшиеся Елизаветой на сукна и сладкие вина, доказывали принадлежность ей права произвольного обложения. Распоряжениям королевы постоянно приписывалась сила закона. В одном случае Елизавета, по-видимому, уклонилась от политического правила, усвоенного Тюдорами. Со времени Кромвеля парламент, как важное орудие правосудия и законодательства, созывался почти ежегодно; Елизавета разделяла прежнее недоверие к палатам, какое выказывали Эдуард IV, Генрих VII и Уолси. Ее парламенты созывались не чаще, как через три года, иногда даже через пять лет, и только под давлением нужды. Но на практике королевская власть применялась с осторожностью и умеренностью, показывавшими, что Елизавета чувствовала, насколько

трудно становилось полное ее применение. Обыкновенно ход правосудия не подвергался стеснению; совет применял свою юрисдикцию почти исключительно к католикам и оправдывал ее как предосторожность против серьезных опасностей. Распоряжения короны отличались временным характером и малым значением. Наложённые пошлины были настолько незначительны, что народ, довольный отказом Елизаветы от внутреннего обложения, почти не замечал их. Она отказалась от «одолжений» и принудительных займов, познакомивших подданных ее предшественников с угнетением. Она рассматривала временные свидетельства, выпускавшиеся при нужде в помощь казначейству, просто как заимствования из будущих доходов (подобно теперешним билетам казначейства), и аккуратно оплачивала их. Монополии, стеснявшие торговлю, вызывали более серьезные жалобы; но в начале ее царствования они считались частью системы торговых компаний, признававшихся в то время необходимыми для направления и защиты расширявшейся торговли. Бережливость позволяла Елизавете в обыкновенное мирное время покрывать текущие расходы короны из ее обыкновенных доходов. Но эта бережливость была результатом не столько экономии, сколько желания избежать созыва новых парламентов. Королева видела, что руководство палатами, столь легкое для Кромвеля, с каждым днем становилось труднее. Появление новой знати, обогащенной церковным имуществом и приученной к политической жизни крупными событиями, придало свежую силу лордам. Рост богатства сельского дворянства, а также усиливавшееся стремление его добиваться мест в палате общин, привели в это время к устранению старого обычая оплаты членов парламента их избирателями. Давно начавшаяся, но теперь впервые признанная законом, перемена в городском представительстве тоже сильно увеличивала энергию и независимость нижней палаты. Старые грамоты требовали избрания членов от городов из числа горожан, а закон Генриха V придал этому обычаю силу закона. Но уже проведение этого закона показывает, что обычай часто нарушался; а во времена Елизаветы большинство городских мест были заняты людьми посторонними, часто ставленниками соседних крупных землевладельцев. Эти члены были большей частью людьми богатыми и родовитыми, которые, вступая в парламент, руководствовались чисто политическими целями и относились к короне гораздо смелее и независимее, чем предшествовавшие им скромные торговцы. Но уже в конце царствования Генриха VIII тон общин так изменился, что Эдуард и Мария вернулись к праву короны создавать новые города и стали призывать представителей таких поселений, которые были простыми деревнями и находились в полной власти короны. Эту «подтасовку палаты» пришлось

продолжать и Елизавете. Призвание ее общины большого числа таких членов, всего 62, служило доказательством того, что правительству становилось все труднее обеспечивать себе в ней значительное большинство.

Если бы Елизавета жила в спокойные времена, ее бережливость совсем избавила бы ее от необходимости созывать парламент. Но опасности ее царствования заставляли ее неоднократно просить субсидий, и при каждом требовании их тон общин становился все выше и выше. В конституционном отношении особое преимущество политики Кромвеля заключалось в том, что в самый критический для вольностей народа момент она в ряде случаев признала и подтвердила старое право парламента разрешать налоги, издавать законы, рассматривать жалобы и ходатайствовать об их удовлетворении. В то время как власть, обратившая эти права в простое орудие деспотизма, с года на год слабела, они сохранялись. Парламент Елизаветы не только пользовался своими полномочиями так же полно, как и парламент Кромвеля, но силы политические и религиозные, которые она упорно старалась сдерживать, давили непреодолимо и скоро вызвали требование новых преимуществ. Несмотря на редкие созывы, на жестокие слова, аресты и ловкое «руководство», парламент постепенно приобрел такую власть, о которой королева сначала вовсе и не думала. Шаг за шагом нижняя палата добилась свободы для своих членов за проступки, совершенные в палате, и права решать все вопросы касательно выборов. Более важное требование свободы слова привело к ряду мелких столкновений, доказавших деспотичные замашки Елизаветы, а также понимание ею новой силы, с какой приходилось иметь дело деспотизму. В вопросе о браке Марии Стюарт с Дарнли Дэлтон нарушил запрещение королевы касаться вопроса о престолонаследии, указав на притязания Марии. Елизавета тотчас приказала арестовать его, но общины попросили позволения «сослаться на свои вольности», и она велела выпустить его. В том же духе она запретила в 1571 г. Стрикленду, представившему билль о преобразовании новой литургии, являться в парламент; но, заметив желание парламента вернуть его, она взяла запрет назад. С другой стороны, общины еще отступали перед настойчивым отрицанием притязания Елизаветы ограничивать свободу слова. На смелый протест против этого Питера Уэнтурса они ответили заключением его в Тауэр. Когда он обратился к позднему парламенту 1588 г. с еще более смелым вопросом: «Разве в этом собрании каждый член не имеет права свободно и бесконтрольно, письменно или устно излагать жалобы общества?», — это навлекло на него по приказу новый арест, продолжавшийся до роспуска парламента, но общины уклонились от вмешательства в это дело. Колеблясь в защите прав отдельных членов, общины упорно ох-

раняли свое притязание на общие полномочия, доставленные парламенту политикой Кромвеля. В теории тюдоровские политики относили исключительно к компетенции короны три главных предмета: вопросы торговли, церкви и политики; но, в действительности, такие вопросы рассматривал один парламент за другим. Весь церковный строй королевства, само право Елизаветы на престол основывались на статутах парламента. Когда в начале ее царствования общины попросили ее назначить преемника и вступить в брак, то хотя она и выразила им порицание и уклонилась от ответа, но отрицать их право на вмешательство в эти «политические вопросы» не могла. Однако вопрос о престолонаследии получил слишком жизненное значение для свободы и религии Англии, чтобы можно было ограничиваться обсуждением его в зале совета. Парламент 1566 г. повторил требование более настоятельным образом. Сознание действительной опасности такого требования и самовластный характер вызвали у Елизаветы взрыв яростного гнева. Она обещала, правда, вступить в брак, но решительно запретила касаться вопроса о престолонаследии. Уэнтурор тотчас запросил общины, не противоречит ли этот запрет вольностям парламента, и этот вопрос вызвал горячие прения. Новое послание королевы запретило продолжать обсуждение вопроса, но общины ответили на это ходатайством о свободе совещаний. Благоразумие указало Елизавете на необходимость отступления; она объявила, что «и не думала в чем-либо нарушать дарованные им прежде вольности», и смягчила запрещение в просьбу. Любезная уступка доставила ей покорное согласие общин, и они встретили ее послание «с чрезвычайной радостью и сердечнейшими молитвами и благодарностью». Тем не менее они одержали действительную победу. Такого столкновения между общинами и короной не бывало с установления новой монархии, и столкновение окончилось открытым поражением короны. Это послужило прелюдией к другому требованию, тоже оскорбительному для королевы. Хотя в действительности строй английской церкви основывался на узаконениях парламента, но теоретически Елизавета, подобно прочим Тюдорам, считала свое церковное главенство чисто личной властью, так что ни парламент, ни даже совет не имели права вмешиваться в применение его. Но удаление от власти Тест-актами католического дворянства и рост пуританизма среди класса землевладельцев придавали общинам и совету все более протестантский отпечаток, и они легко могли вспомнить, что верховенство, столь ревниво охраняемое от вмешательства парламента, было передано короне парламентским статутом. Здесь, впрочем, королева, как религиозная представительница обеих партий, на которые распадалась ее подданные, стояла на более твердой почве, чем общины, представлявшие только

одну из них; и она смело воспользовалась своим преимуществом. Предложенные более строгими протестантами в 1571 г. билли о реформе богослужения были по ее требованию представлены ей и уничтожены. Уэнтуорс, самый смелый из ораторов партии, был, как видели, заключен в Тауэр. В одном из позднейших парламентов спикеру прямо было запрещено принимать билли «о преобразовании церкви и государства». Но, несмотря на эти препятствия, общины продолжали стремиться к реформе, и в каждый парламент вносились церковные билли, хотя их отменяла корона или отвергали лорды. Большой успех имели нападки общин на власть королевы в вопросах торговли. Сначала жалобы на торговые привилегии и монополии, стеснявшие внутреннюю и внешнюю торговлю, оставались королевой без внимания, так как затрагивали вопросы, не касавшиеся общин и превосходившие их способность понимать. Когда почти 20 лет спустя вопрос был поднят снова, сэр Эдуард Годи был сильно порицаем «важной особой» за жалобу на незаконные вымогательства казначейства. Но несмотря на это, предложенный им билль был передан лордам, а в конце царствования Елизаветы буря народного негодования, вызванная усилением зла, побудила общины к решительной борьбе. Напрасно министры противились биллю об отмене монополий; после горячих четырехдневных прений тактичность заставила Елизавету уступить. Она поступила со своей обычной ловкостью: объявила, что не знала прежде о существовании зла, поблагодарила палату за ее вмешательство и одним росчерком пера отменила все дарованные ею монополии (1601).

Глава VI

Армада (1572—1588)

Только что описанный нами чудесный рост богатства и социальной энергии сопровождался замечательной переменой в религиозном настроении народа. Постепенно, почти бессознательно, Англия становилась протестантской, по мере того как незаметно исчезал традиционный католицизм, бывший религией трех четвертей народа при вступлении Елизаветы на престол. В конце ее царствования единственными областями Англии, где старая вера несколько сохранила свою прежнюю силу, были север и крайний запад, в это время самые бедные и пустынные части страны. Одна из главных причин такой перемены заключалась, несомненно, в постепенном вымирании католического духовенства и замене его новым, протестантским, духовенством. Старые приходские священники, хотя они почти до одного

подчинялись тем переменам в обрядах и учении, какие навязывали им различные периоды реформации, в душе оставались враждебными ее духу. Так как Мария отменила реформы Эдуарда, то они ожидали от католического наследника отмены реформ Елизаветы; а пока они довольствовались ношением стихаря вместо ризы и служением по новому служебнику вместо старого. Их можно было заставить читать с амвона проповеди, но дух их поучений оставался неизменным, и им было легко внушать презрение к новой службе, так что приверженцам старины она представлялась просто «святочной потехой». Но двадцать лет сделали свое дело и очистили ряд приходов. В 1579 г. королева признала себя достаточно сильной, чтобы первый раз настоять на общем подчинении закону о единообразии, а строгий надзор Паркера и епископов обеспечил в духовенстве, занявшем места умерших священников как внутреннее, так и внешнее согласие с установленной церковью. Новые священники по вере и учению были не просто протестантами, а крайними протестантами. По миновании надобности прежние ограничения проповеди были незаметно устранены, и рвение новых служителей обнаружилось в постоянных поучениях, изменявших в их духе религиозные идеи нового поколения. Сильнее даже самих поучений влиял их характер. При Генрихе священники были большей частью люди невежественные и распутные, а духовные, поставленные жадными протестантами при Эдуарде или в первые годы царствования Елизаветы, по характеру были еще хуже своих соперников. Но энергия ряда примасов, поддерживаемых общим подъемом усердия и нравственности в эту эпоху, сделала свое дело, и к концу царствования Елизаветы нравственный характер и общественное положение духовенства сильно изменились. Теперь в рядах священников можно было найти ученых, вроде Гукера; крупные скандалы, позорившие духовенство, как корпорацию, большей частью исчезли. В царствование Елизаветы пуританскому памфлетисту было уже невозможно обвинять священников в распутстве и пьянстве, в чем протестантские памфлетисты могли обвинять духовенство времен Генриха. Влияние духовенства находило себе поддержку в общем подъеме духовной жизни. Мы уже видели первое начало новой литературы, высшими представителями которой должны были явиться Шекспир и Бэкон. Грамматические школы распространяли новые знания и духовную энергию в средних классах и среди сельского дворянства. Тон университетов, лучший показатель тона всей нации, в царствование Елизаветы совершенно изменился. В начале его Оксфорд был «гнездом папистов», отправлявшим своих лучших учеников в католические семинарии. В конце его университет стал очагом пуританства, где безраздельно господствовали строжайшие учения Кальвина. Это движение

было, несомненно, ускорено политическими событиями эпохи. В правление Елизаветы верность королю все более становилась среди англичан страстью, а булла о низложении поставила папу во главе врагов королевы. Заговоры, кишевшие вокруг Марии Стюарт, ставились в вину папе; он, как было известно, побуждал Францию и Испанию вторгнуться в еретическое королевство и завоевать его; вскоре ему предстояло благословить Армаду. С каждым днем для католика становилось все труднее примирять католицизм с верностью королеве или преданностью стране; масса людей, руководящаяся, скорее, чувством, чем рассудком, постепенно переходила на ту сторону, которая, каковы бы ни были ее религиозные воззрения, защищала патриотизм и свободу против угнетения, Англию против Испании. Новый толчок был дан этому постепенному повороту религиозных мнений теми жестокостями, какие ознаменовали торжество католицизма на континенте. Ужасы казней Альбы или Варфоломеевской ночи в Париже оживили воспоминания о казнях царствования Марии Тюдор. Повесть о страданиях протестантов была рассказана с чудесным пафосом и живописностью Джоном Фоксом, изгнанником в эпоху преследований; его «История мучеников» публично читалась в церквях по королевскому приказу и оттуда перешла на полку всякой английской семьи. Первыми приняли учения реформации торговые классы городов, но их протестантизм превратился в страсть, когда беглецы с континента принесли в лавки и на площади рассказы о притеснениях и казнях. Тысячи нидерландских беглецов нашли себе убежище в Пяти Портах, треть купцов Антверпена появилась на новой Лондонской бирже, церковь французских гугенотов нашла себе все еще сохраняемое ею место в склепе Кентерберийского собора.

В своей церковной политике Елизавета всего больше рассчитывала на время, и время, как мы видели, оправдало ее ожидания. Ее система компромисса в области учения и богослужения, постепенной замены умерших старых священников протестантскими служителями, принуждения диссидентов штрафами, по крайней мере к внешнему согласованию с государственной церковью и к присутствию при ее службе, политика, которой, без сомнения, содействовали описанные нами нравственные влияния, — все это постепенно изменяло религиозное подожжение Англии. Но упадок католицизма вызвал новое усиление духа католического фанатизма, который, отчаявшись в помощи католических государей, стал теперь сам готовиться к жестокой борьбе с ересью. Д-р Аллен, ученый, удаленный из Оксфорда, присягой Акта о единообразии, предусмотрел последствия вымирания католического духовенства в Англии и учредил для пополнения его семинарию в Дуэ. Новому заведению оказали щедрую поддержку католические

пэры, а поток беглецов из Оксфорда и грамматических школ Англии доставил ему питомцев, и скоро оно стало отправлять на берега Англии «семинарских священников»; как ни мало было их сначала, но присутствие их сразу дало о себе знать приостановкой постепенного примирения католического дворянства с английской церковью. Ничто не могло быть неприятнее для Елизаветы, а сознание опасности еще более усиливало ее гнев. Будучи о низложении она приняла за объявление войны со стороны папства, а новых священников с некоторым основанием считала его политическими агентами. Сравнительно слабое преследование католиков в начале ее царствования происходило отчасти от сочувствия и потворства дворян, действовавших в качестве мировых судей, но еще более от религиозного равнодушия королевы. Но Тест-акт отдал магистратуру в руки протестантов, а когда Елизавета от равнодушия перешла к подозрению, а от подозрения — к страху, то стала меньше удерживать окружавших ее ханжей. Покидая Юстон-Холл, посещенный ею в одну из поездок, королева выразила его владельцу, молодому Роквуду, благодарность за прием и дала ему поцеловать руку. «Но господин камергер, отлично зная, что Роквуд был наказан за непосещение церкви, призвал его к себе и спросил, как он осмелился, не имея права находиться в обществе христиан, показаться на глаза королеве, затем сказал, что ему место в кандалах, запретил являться ко двору и велел подождать приговора совета». Совет приговорил его к заключению в Норичской городской тюрьме, а семь других дворян были настолько счастливы, что отделались домашним арестом. Страх королевы вызвал панику во всем народе. Несколько священников, прибывших из Дуб, молва превратила в армию папских эмиссаров, присланных сеять в стране измену и мятеж. Для отражения новой опасности был созван парламент, который действие Тест-акта превратило, за исключением немногих католических пэров, в чисто протестантское собрание, и он объявил изменой высадку этих священников и укрывательство их.

Закон оказался не пустой угрозой: казнь Кётберта Мэна, молодого священника, арестованного в Корнуолле с буллой о низложении при нём, указала на ожесточенный характер борьбы, которую готовилась начать Елизавета. Однако она была далека от мысли о религиозном преследовании; она хвасталась своим уклонением от вмешательства в вопросы совести. В своей официальной защите ее политики Сесил объявлял свободу богослужения, несовместимой с религиозным порядком, но в то же время смело доказывал право каждого англичанина на полную свободу религиозного мнения. На теперешний взгляд, политика, объявлявшая всякого католического священника предателем, а каждую католическую службу — из-

менной, представляется, пожалуй, даже более возмутительной, чем открытое преследование; но раз в основу своей репрессивной системы королева положила чисто политические мотивы, это являлось первым шагом к терпимости. Если Елизавета и преследовала католиков, то она была первым государем Англии, почувствовавшим, что обвинение в религиозной нетерпимости ложится пятном на ее правление. Нельзя отрицать и того, что новые миссионеры, действительно, были серьезными политическими врагами. Аллен был неутомимым заговорщиком, и деятельность его священников должна была помогать осуществлению нового плана завоевания Англии. Теперь к их усилиям присоединились старания иезуитов. Несколько отборных оксфордских изгнанников вступили в орден иезуитов, члены которого уже прославились своей слепой преданностью воле и приговорам Рима; двое самых способных и красноречивых из этих изгнанников Кемпиен и Парсонс были выбраны главами иезуитской миссии в Англии. Сначала их успех был поразительный. Желание послушать Кемпиена было так сильно, что, несмотря на угрозы правительства, он, почти не скрываясь, мог проповедовать перед большой аудиторией в Смисфилде. Из Лондона проповедники, переодетые начальниками или слугами, иногда даже в рясе англиканского священника, разъезжали по многим графствам, и всюду, где они показывались, оживало рвение католического дворянства. Во главе списка вельмож, возвращенных к старой вере этими странствующими апостолами, стояло имя графа Оксфорда, зятя самого Сесила и самого гордого из английских пэров.

Успех иезуитов в разрушении примирительной политики Елизаветы обнаружился более явно в усилившемся уклонении католиков от присутствия при английском богослужении. Паника протестантов и парламента даже преувеличила настоящие размеры опасности. Небольшую кучку проповедников воображение народа превратило в целое войско переодетых иезуитов; вторжение этого воображаемого войска было встречено арестами и пытками всех священников, которых правительство могло захватить, заключением диссидентов в тюрьмы, задержанием выдающихся католиков по всей стране и изданием статутов, запрещающих служение мессы даже в частных домах и повышавших штраф с диссидентов до 20 фунтов в месяц; кроме того, объявлялись «виновными в государственной измене все лица, выражающие притязания на какую-либо власть разрешать подданных от присяги или старающиеся склонять их к католической вере, а также лица, после настоящего закона добровольно принявшие такое разрешение или примирившиеся с папским престолом». Способ применения широких полномочий, предоставленных этим законом короне, не только характеризует саму Елизавету, но и сразу выясняет ту политику, какой в течение более

ста лет следовали, по крайней мере теоретически, ее преемники. Немногие миряне были привлечены к суду на основании его постановлений, и ни один из них не был казнен. Преследование католических дворян ограничивалось более или менее строгим в разное время взысканием с них штрафов за уклонение от англиканской церкви и непосещение ее служб. Казни подвергались одни священники, и при Елизавете преследование производилось с беспощадной энергией, на время остановившей католическую реакцию. Шпионы и полиция выслеживали иезуитов, выгоняли их из убежищ и группами отправляли в Тауэр. Преследование велось так горячо, что Парсонс принужден был бежать на материк, а Кемпиен среди завываний черни был проведен пленником по улицам Лондона и представлен на суд по обвинению в измене. «Наша религия — единственное наше преступление», — заявил он к негодованию судей; но политическая опасность проповеди иезуитов обнаружилась в уклонении от прямого ответа на вопрос о взгляде на действительность отлучения и низложения папским престолом королевы. Смерть Кемпиена сопровождалась настойчивым стремлением к беспощадному истреблению его ордена. Если принять современное вычисление католиков, в следующие 20 лет было казнено двести священников, а еще большее число их погибло в смрадных нездоровых темницах, куда их заключали. Эта беспощадная энергия остановила дело примирения с Римом, но не могла уничтожить того, что было сделано ее жертвами. Они расстроили систему постепенного принуждения и примирения, от которой Елизавета ожидала религиозного единства ее подданных; штрафы, аресты при каждой новой угрозе национальной безопасности, лишение наставников при помощи заточения или казни — все это сильнее прежнего отдаляло английских католиков от национальной церкви. Это дало новый толчок тому направлению общественного мнения, которому суждено было, наконец, привести Англию к признанию за каждым человеком права на свободу совести и богослужения. Преследование католиков при Елизавете, как раньше преследование протестантов при Марии, только усилило личное понимание религии. В людях, дрожавших перед королевской властью, оно обнаружило силу еще более крупную, разрушило очарование, какое монархия производила на воображение народа. Перед страстью к религиозной и политической свободе, черпавшей новую силу из преследования как католического священника, так и ревнителя протестантизма, корона перестала казаться неодолимой. Жестокая религиозная борьба уже началась, но все чувствовали, что за ней последует еще более жестокая политическая борьба. На море мерещились войска Филиппа, и к ужасам междоусобия, казалось, готовились присоединиться ужасы иноземного вторжения. В это вре-

мя сильнейшей из европейских держав была Испания. Открытия Колумба подарили ей Новый Свет на западе; завоевания Кортеса и Писарро обогатили ее казну сокровищами Мексики и Перу; ее галионы доставляли в гавань Кадиса продукты богатой Индии, драгоценные камни, слитки серебра. С Новым Светом король Испании соединял лучшие и богатейшие земли Старого: он был властителем Неаполя и Милана, самых богатых и плодородных областей Италии, промышленных Нидерландов, Фландрии — главного мануфактурного округа эпохи, и Антверпена, ставшего центральным рынком всемирной торговли. Его родовое королевство, при всей своей бедности, доставляло ему самых стойких и смелых солдат, каких только видел мир со времен падения Римской империи. Слава испанской пехоты выросла с того дня, как на полях Равенны она отразила натиск французского рыцарства; а испанские генералы не имели себе соперников ни в военном искусстве, ни в беспощадной жестокости. Притом, все это громадное могущество было сосредоточено в руках одного человека. Хотя ему служили искусные политики и тонкие дипломаты, но Филипп II был для себя единственным министром. День за днем работал он в свое долгое царствование, подобно писцу, среди бумаг, загромождавших его кабинет, стремясь, чтобы ничто не происходило без его надзора, ничто не делалось без прямого его приказа. Он хвалился тем, что на всем обширном пространстве своих владений является неограниченным государем. Для проведения этой идеи полновластия он сокрушил вольности Арагона, как его отец сокрушил вольности Кастилии, и отправил Альбу уничтожить конституционную свободу Нидерландов. Рука об руку с властолюбием шло его ханжество. Италия и Испания ужасами инквизиции были доведены до молчания; костер и меч очищали от ереси Фландрию. Эта колоссальная держава оказывала смертоносное влияние на всю Европу. Новый протестантизм, как и новый дух политической свободы, своим главным врагом считал Филиппа. Колиньи и гугеноты тщетно боролись не столько с Гизами, сколько с Испанией; против Испании защищал Вильгельм Оранский религиозную и гражданскую свободу; Испания должна была скоро погрузить Германию в хаос Тридцатилетней войны; от Испании уже двадцать лет напрасно ждал католический мир поражения ереси в Англии. Хотя действительно средства Филиппа были громадны, но и их оказывалось недостаточно для широких честолюбивых планов, в которые постоянно вовлекали его набожность и честолюбие, а также разбросанность его владений. Он стремился повелевать слабыми государствами Италии, господствовать на Средиземном море, сохранить свое влияние в Германии, поддерживать католицизм во Франции, сокрушить ересь во Фландрии, послать один флот против турок, а другой

против Елизаветы; этих широких целей было достаточно для истощения могущества даже испанской монархии. Но надежды Елизаветы на успех в долгой борьбе с Филиппом основывались скорее на его характере, чем на истощении его казны. Филипп был медлителен, осторожен до робости, постоянно терялся в отсрочках, колебаниях, предусматривании далеких опасностей, выжидании благоприятных случаев; на этой медлительности и колебаниях его соперница и играла постоянно со вступлением своего на престол. Дипломатическая борьба между ними походила на схватку тяжелого испанского галеона с легким судном флибустьеров. Подвижность Елизаветы, ее быстрая переменчивость, отговорки и мистификации не могли, правда, обмануть Филиппа, но они смущали и останавливали его ум. Среди всех этих запутанных интриг настоящий ход их отношений был прост и ясен. В начале царствования Елизаветы Франция соперничала с Испанией могуществом, и королева просто пользовалась одной соперницей против другой. Угрожая союзом с Испанией, она помешала Франции оказать деятельную помощь Марии Стюарт; в то же время, играя на боязни Филиппа перед ее союзом с Францией, она заставляла его потворствовать ее ереси и отговаривать английских католиков от восстаний. Но когда так долго сдерживаемый поток религиозного движения вышел, наконец, из берегов, политическое положение Европы изменилось. Жадность и преследования Альбы довели Нидерланды до отчаяния, и они подняли восстание, после странных превратностей судьбы подарившее Европе республику Соединенных провинций. Вожди гугенотов во Франции воспользовались этим восстанием для того, чтобы устранить влияние Екатерины Медичи на Карла IX и ее политику религиозного равновесия и поставить Францию во главе протестантов Запада. Карл подчинился советам Колиньи, настаивавшего на войне с Филиппом и обещавшего помощь гугенотов при вторжении в Нидерланды. Никогда для честолюбия Франции не открывалось более соблазнительных перспектив. Но Екатерине Франция, протестантская и свободная, представлялась гибельной для монархии, она перешла на сторону Гизов и обеспечила им торжество своим содействием избиению протестантов в Варфоломеевскую ночь*.

* Автор неверно оценивает тогдашнее положение Франции. Будучи умным политиком, Екатерина понимала, что война ослабленной десятилетней гражданской войной Франции с находящейся в зените своего могущества Испанией будет губельна для страны и династии Валуа. Именно поэтому она стремилась устранить влияние на короля адмирала Колиньи, чей курс на конфликт с Филиппом II был авантюрой в чистом виде. С точки зрения стремления Екатерины и далее поддерживать баланс между католиками и гугенотами следует рассматривать и Варфоломеевскую ночь, задумывавшуюся, как акция по физической ликвидации Колиньи и еще нескольких наиболее влиятельных вождей гугенотов. Давняя вражда семейств Гизов и Колиньи и ненависть парижского населения к гугенотам превратили спланированную Екатериной операцию в кровавую резню.

Хотя долго собиравшаяся буря религиозной вражды и разразилась, но Елизавета рассчитывала при помощи своей ловкости остаться в стороне от нее. Франция снова погрузилась в хаос междоусобий, Нидерландам пришлось бороться с Испанией один на один. Героическая борьба принца Оранского вызывала сильный восторг среди англичан, но не могла ни на минуту отвлечь Елизавету от политики холодного эгоизма. Для нее восстание Нидерландов было просто «уздой на Испанию, избавлявшей Англию от войны». В самую тяжелую пору борьбы, когда Альба подчинил себе все, кроме Голландии и Зеландии, когда отчаялся даже Вильгельм Оранский, королева напрягла все свои силы, чтобы помешать Франции помочь ему. Ни Елизавета, ни английские политики не верили тому, чтобы Нидерланды могли до конца противиться Филиппу. Они думали, что борьба должна кончиться полным подчинением Нидерландов или что они продадут себя Франции за ее помощь; и Елизавета старалась помешать усилению каждого из ее католических врагов. Для этого она думала принудить Нидерланды к принятию условий, предложенных Испанией, — т. е. к восстановлению их конституционных вольностей при условии подчинения католицизму. Мир на таком основании не только оживил бы английскую торговлю, страдавшую от войны, но и оставил бы Нидерланды грозным орудием против Филиппа. Свобода провинций была бы спасена, а оценить значение религиозного вопроса, связанного с новым подчинением игу католицизма, Елизавета была не способна. Для нее упорный отказ Вильгельма пожертвовать своей верой был так же непонятен, как и упорное требование Филиппом такой жертвы. Больше значения имело то, что опасение Филиппа вызвать вмешательство Англии, которое лишило бы его всякой надежды на успех в Нидерландах, доставляло ей внутреннее спокойствие. Если бы возмущение в Англии удалось, Филипп готов был воспользоваться плодами чужих трудов; поэтому он и не возражал против заговоров, имевших целью захват или убийство королевы. Но пока она крепко сидела на престоле, он считал слишком опасным нападать на нее открыто; ни призывы католиков Англии, ни настояния папы не могли пока побудить Филиппа к борьбе с Елизаветой.

Но постепенно руководство событиями ускользало из рук политиков и дипломатов, и выигранный их политикой долгий период колебаний окончился столкновением национальных и политических страстей. Возрастание фанатизма в католическом лагере преодолело осторожность и колебания Филиппа; в то же время Англия отказалась от уравновешенного нейтралитета Елизаветы и смело бросилась в борьбу, которую считала неизбежной. Общественное мнение, за которым королева следила так внимательно, высказывалось с каждым днем все смелее и решительнее. Ее хо-

лодное равнодушие к героической борьбе нидерландцев более чем уравновешивалось тем восторгом, какой она возбуждала в массе народа. Первые беглецы из Фландрии нашли себе убежище в Пяти Портах. Изгнанные из Антверпена купцы встретили радушный прием у купцов Лондона. Свою тайную помощь принцу Оранскому Елизавета оказывала по капле, а лондонские торговцы из своих средств послали ему полмиллиона — сумму, равнявшуюся годовичному доходу короны. На помощь голландцам через пролив переправлялось тайком все большее число добровольцев, пока 500 англичан, сражавшихся в начале войны, не образовали пятитысячной бригады, своей храбростью определивших исход одной из самых важных битв. Голландские корсары находили себе прибежище в гаванях Англии, английские суда при нападении на купеческие корабли испанцев поднимали голландский флаг. Пыл протестантов все возрастал, по мере того как из походов в Нидерланды возвращались «лучшие вожди и солдаты», рассказывавшие о жестокостях Альбы, или как корсары привозили рассказы английских моряков, захваченных в Испании и Новом Свете, о муках, вынесенных ими среди пыток инквизиции или о смерти их на костре. Ввиду такого упорного стремления народного чувства, дипломатия Елизаветы утратила почти все свое значение. Когда она в 1581 г. попробовала подействовать на Филиппа одной из своих последних брачных интриг, обещавшей Англии католического государя в лице герцога Анжуйского, младшего сына ненавистой Екатерины Медичи, негодование народа выразилось вдруг в таких криках против католического короля, которым королева не решилась противиться. Если Елизавета стояла за мир, то Англия высказывалась за войну. С начала ее царствования, когда только она и Сесил верили в силу Англии и когда европейские дипломаты считали безумием ее упорное сопротивление советам Филиппа, настроение изменилось: весь народ усвоил себе смелость и самоуверенность своей королевы. Моряки южного берега давно уже вели за свой счет полупиратскую войну. Через четыре года после вступления Елизаветы на престол Ла-Манш кишел пиратами, плававшими по патентам принца Конде и гугенотских вождей и не обращавшими внимания ни на жалобы французского двора, ни на репрессивные меры Елизаветы. Усилия ее расстраивались потворством всех прибрежных жителей, даже портовых чиновников короны, обогащавшихся добычей, а также западного дворянства, вполне разделявшего настроение корсаров; но всего более мешало их успеху стремление народа к открытой борьбе с Испанией и протестантов к борьбе с католицизмом. Молодые англичане переправлялись через Ла-Манш на службу к Конде или Генриху Наваррскому. Борьба в Нидерландах привлекала сотни протестантов. Перерыв междоусобиц во

Франции только увлек корсаров в Вест-Индию, так как они не обращали никакого внимания на приговор папы, отдавший Испании Новый Свет, и на угрозы Филиппа против появления в его морях протестантов. Напрасно испанцы захватывали торговые суда англичан и заключали их матросов в темницы инквизиции, «обременяя их оковами и лишая света солнца и луны». Прибыль от торговли была так значительна, что вознаграждала за ее опасности, а нетерпимость Филиппа вызывала столь же беспощадное отношение. Пуританизм корсаров шел рука об руку с их страстью к приключениям. По взглядам этих людей, нарушение монополии католиков в Новом Свете, избиение испанцев, торговля неграми, ограбление кораблей с золотом были подходящим занятием для «избранников Бога». Имя Фрэнсиса Дрейка стало грозой испанской Индии. У Дрейка протестантский фанатизм соединялся с блестящей смелостью. У него явилась мысль (1577) проникнуть в Тихий океан, воды которого никогда не видели английского флага. Поддержанный небольшой кучкой авантюристов, он направился в южные моря на корабле величиной едва ли с ламаншскую шхуну, с несколькими еще более мелкими судами, отстававшими из-за бурь и опасностей пути. Но Дрейк с одним кораблем и 80 матросами смело плыл вперед, прошел через Магелланов пролив, которого до того не переплывал ни один англичанин, проскользнул вдоль неохраемых берегов Чили и Перу, нагрузил свой корабль золотым песком и серебряными слитками Потози, а также жемчугом, изумрудами и алмазами, составлявшими груз большого галеона, который раз в год отправлялся из Лимы в Кадис. С добычей, превосходившей полмиллиона, смелый мореплаватель неустрашимо направился к Молуккам, обогнул мыс Доброй Надежды и, закончив объезд земного шара, снова бросил якорь в Плимутской гавани.

Романтическая смелость путешествия Дрейка, а также громадность его добычи вызвали в Англии общий восторг. Прием, оказанный ему по возвращении Елизаветой, был воспринят Филиппом как оскорбление, которое можно было изгладить только войной. Как ни хладнокровен он был, но и его, наконец, раздражило пренебрежение, с каким Елизавета отнеслась ко всем требованиям удовлетворения. На требование выдать Дрейка она ответила пожалованием корсару дворянства и ношением в короне поднесенных им в подарок алмазов. Когда испанский посол Мендоса погрозила, что «дело, пожалуй, дойдет до пушек», она, по его словам, ответила «спокойно, самым естественным голосом, как будто говорила обыкновенную вещь, что если я буду высказывать такого рода угрозы, она велит посадить меня в тюрьму». Хотя Филипп и был оскорблен, но она думала, что он не решится на войну с ней ввиду продолжения восстания Нидерландов

и стремления Франции к союзу с Англией, который позволил бы ей захватить их. Но чувство личной обиды и негодование католиков на его эгоистичное уклонение от мести за мучеников католицизма, наконец, действовали на Филиппа, и на Тахо начали собираться первые суда того флота, который назначался для покорения Англии. Гнев и фанатизм находили себе поддержку в холодной политике. Присоединение Португалии (1580) почти удвоило силы Филиппа. Оно дало ему единственный флот, который еще мог соперничать с его флотом. Обладание португальскими колониями принесло ему такое же господство на Индийском и Тихом океанах, каким он пользовался на Атлантическом и в Средиземном море; теперь можно было не только вытеснить англичан и еретиков из Нового Света на Западе, но и лишить их участия в прибыльной торговле с Востоком. В Нидерландах и во Франции все, казалось, благоприятствовало планам Филиппа. Его войска под командой герцога Пармского постоянно одерживали победы в Нидерландах; еще более роковым ударом для его мятежных подданных было убийство Вильгельма Оранского. С другой стороны смерть герцога Анжуйского сделала наследником французской короны Генриха Наваррского, вождя партии гугенотов, что устраняло всякую возможность вмешательства Франции. Чтобы помешать торжеству ереси через вступление на престол короля-протестанта, Гизы и французские католики тотчас подняли оружие; но составленная ими Священная лига опиралась, главным образом, на поддержку Филиппа, и пока он снабжал ее деньгами и людьми, он был спокоен со стороны Франции. В это время Фарнезе, взяв Антверпен, одержал свою главную победу; падение города после блестящей защиты убедило даже Елизавету в необходимости вступить за единственную «узду на Испанию, избавляющую Англию от войны». Граф Лестер был послан на берега Фландрии с 8000 человек. С еще более вызывающей смелостью Елизавета позволила Фрэнсису Дрейку с флотом из 21 кораблей напасть на испанские колонии. Плавание Дрейка было рядом побед. За обиды, причиненные английским морякам инквизицией, было отплачено сожжением городов Сан-Доминго и Картахена; берега Кубы и Флориды подверглись опустошению, и хотя флот с золотом ускользнул от него, Дрейк вернулся (1586) с богатой добычей. Но бездействие войска Лестера было прервано только неудачной стычкой при Зютфене, в которой пал Сидни, а между тем Елизавета напрасно старалась воспользоваться присутствием своей армии для устройства соглашения между Филиппом и голландцами. В то же время в самой Англии вокруг нее росли опасности. Раздраженные преследованием, обманутые в надеждах на внутреннее восстание или внешнюю помощь, пылкие католики обратились к мыс

ли об убийстве, которой устранение Вильгельма Оранского придало грозное значение. Открытие заговора Сомервилля, фанатика, принявшего участие перед отправлением в Лондон с целью «застрелить королеву из пистолета», вызвало, естественно, строгие меры: католические дворяне и пэры бежали или были арестованы, училище правоведения, где еще оставалось несколько католиков, подвергли сильной чистке, новые кучки священников отправили на эшафот. Допрос и казнь Парри, члена нижней палаты, служившего в свите королевы, вызвали общую панику. Собравшийся парламент был охвачен ужасом и преданностью королеве. Все иезуиты и «семинарские священники» изгонялись из королевства под страхом смерти. Закон о безопасности королевы навсегда лишил права наследовать корону всякого претендента на нее, подстрекавшего подданных к восстанию или к покушению на особу королевы. Угроза была направлена против Марии Стюарт. Утомленная долгим заточением, неудачей своих попыток поднять себе на помощь Филиппа или Шотландию, неуспехом восстания английских католиков и интриг иезуитов, она одно время склонялась к покорности: «Дозвольте мне уйти, — писала она Елизавете, — дозвольте мне удалиться с этого острова в какое-нибудь уединение, где я могла бы приготовить свою душу к смерти. Согласитесь на это, и я откажусь от всех прав, на которые я или мои родственники можем иметь притязания». Ее просьба оказалась тщетной, и она, отчаявшись, нашла новое и страшное утешение в заговорах на жизнь Елизаветы. Она знала и одобрила обет убить королеву, данный Энтони Бабингтоном и кучкой молодых католиков, большей частью приближенных к свите Елизаветы; но и заговор, и одобрение одинаково были известны Уолсингему*, а захват переписки Марии доказал ее виновность. Несмотря на ее протест, комиссия пэров явилась судить ее в Фотерингейском замке, и их обвинительный приговор по постановлениям недавнего закона лишил ее права на корону. При вести о ее осуждении улицы Лондона засверкали огнями, и начался колокольный звон; но несмотря на просьбы парламента и настояния совета казнить ее, Елизавета не решалась на это. Сила общественного мнения увлекала теперь все с собой, и единодушное требование народа вынудило, наконец, у королевы против ее воли согласие. Она бросила на пол подписанный приказ, и совет принял на себя ответственность за исполнение его. Смерть на эшафоте, воздвигнутом в зале Фотерингейского замка, Мария встретила

* Как уже указывалось выше, существуют веские основания полагать, что заговор Бабингтона был инспирирован секретной службой Елизаветы с целью подвести под смертный приговор ее соперницу — Марию Стюарт. Впрочем, согласие на убийство Елизаветы Мария действительно неосторожно дала, думая, что пишет своим настоящим союзникам.

так же бесстрашно, как и жила: «Не плачьте, — сказала она своим фрейлинам, — я дала за вас слово. Скажи моим друзьям, — поручила она Мелвиллю, — что я умираю доброй католичкой».

Едва казнь совершилась, как гнев Елизаветы обрушился на министров, вынудивших у нее приказ. Сесил, ставший теперь лордом Берли, на время попал в немилость. Дэвисон, передавший приказ совету, был посажен в Тауэр в наказание за шаг, расстраивавший политику королевы. Действительно, смерть Марии Стюарт, казалось, положила конец несогласиям английских католиков и тем устраняла с пути Филиппа последнее препятствие. Мария передала ему, как ближайшему родственнику католического исповедания, свои права на корону, и с этого времени надежды ее приверженцев были связаны с успехом Испании. Чтобы побудить Филиппа к действию, нужно было нового толчка. Победы Дрейка показали ему, что для безопасности его владений в Новом Свете необходимо завоевать Англию. Присутствие английской армии во Фландрии убедило его в том, что путь к завоеванию Нидерландов идет через Англию. Поэтому действия Фарнезе, ввиду более крупного предприятия, были приостановлены. Из всех портов испанского берега были собраны корабли и припасы для флота, который уже три года начали составлять на Тахо. Филиппа удерживала только боязнь нападения со стороны Франции, где дела лиги шли неудачно. Слухи о вооружении Армады снова вызвали Дрейка в море (1587). Он отправился с 30 небольшими судами, сжег в гавани Кадиса транспортные суда и галеры, взяв приступом гавани Фаро и только приказы с родины помешали его попытке напасть на саму Армаду. Но высадка в Ла-Корунье завершила то, что Дрейк называл «подожжением бороды испанского короля». Елизавета воспользовалась смелым ударом для возобновления переговоров о мире, но испанская гордость была задета за живое. Среди обмена протоколов Фарнез собрал для будущего вторжения 17 000 человек, составил в Дюнкерке флот из плоскодонных транспортов и нетерпеливо ожидал Армады для прикрытия своей переправы. Но нападение Дрейка, смерть первого адмирала и зимние бури помешали отплытию флота. Еще сильнее задерживала его боязнь вмешательства Франции; но весной 1588 г. терпение Филиппа было вознаграждено. Лига восторжествовала, и король очутился пленником в ее руках. Армада тотчас отплыла из Лиссабона, но едва вышла в море, как буря в Бискайском заливе погнала ее разбросанные суда в Ферроль. Только 19 июля паруса Армады были замечены с мыса Лизард, и сигнальными огни передали тревогу вдоль берега Англии. Весть эта нашла страну готовой. В Тилбери была собрана армия под командой Лестера, ополчения центральных графств собрались в Лондоне, а милиция юга и востока пригото-

вилась к отражению высадки на том или другом берегу. Если бы Фарнезе высадился в самый ранний из предположенных им дней, он нашел бы путь в Лондон прегражденным более крупным войском, чем его собственное, при том войском, в рядах которого было много людей, уже успешно сражавшихся с его лучшей пехотой во Фландрии: «Когда я произведу высадку, — предостерегал он Филиппа, — мне придется давать одну битву за другой, придется терять людей от ран и болезней, придется оставлять за собой отряды для охраны моих сообщений; в короткое время силы моей армии ослабеют настолько, что я буду не в состоянии идти вперед на глазах неприятеля, а еретики и другие враги вашего величества получают время вмешаться; в то же время могут явиться большие затруднения, которые погубят все, и я не буду в состоянии их устранить». Действительно, даже в случае высадки Фарнезе, доставить успех испанцам могло только восстание католиков, а в эту критическую минуту в сердцах английских католиков патриотизм оказался сильнее религиозного фанатизма. Католические лорды командовали своими судами рядом с Дрейком и Чарльзом Говардом, лордом Эффингемом, католические дворяне привели своих вассалов в Тилбери. Но для обеспечения высадки испанцам нужно было господство над Ла-Маншем, а там стоял английский флот, готовый к упорной борьбе за господство над проливом. Когда Армада широким полумесяцем плыла мимо Плимута к месту соединения с Фарнезе в Кале, корабли, собранные под командой лорда Говарда Эффингема, вышли из бухты и поплыли по ветру за ней. По численности оба флота были страшно не равносильны: у англичан было только 80 судов против 149 кораблей Армады. Еще сильнее было несоответствие в размерах: 50 английских судов, включая эскадру лорда-адмирала и барки добровольцев, были немного крупнее теперешних яхт. Даже из 30 кораблей королевы, составлявших главную силу флота, только четыре по вместимости равнялись самым малым испанским галеонам. 65 этих галеонов составляли самую грозную половину Армады; кроме того, в состав ее входили четыре галеры, четыре гальясы, с 50 пушками каждая, 56 вооруженных купеческих судов и 20 шлюпов. Армада была снабжена 2500 пушек и большим запасом провианта; на борту ее находилось 8000 матросов и более 20 000 солдат; во главе ее был любимец двора герцог Медина Сидония, окруженный штабом способнейших морских офицеров, какие только были у Испании. Как ни малы были английские суда, они были прекрасно снаряжены, двигались вдвое быстрее испанских, были снабжены 9000 смелых моряков, а их адмирала окружала группа капитанов, прославивших свои имена в испанских водах. Здесь был Хоукинс, проникший первым в заколдованные земли Индии, Фробишер, герой северо-западного про-

хода, и наконец Дрейк, командовавший корсарами. Притом, им благоприятствовал ветер, и легкие английские суда, то приближаясь, то отдаляясь по желанию и на один выстрел испанцев отвечая четырьмя, смело преследовали великую Армаду в ее движении по Ла-Маншу. По выражению английских моряков, «у испанца вырывали одно перо за другим». Один галеон за другим топили, захватывали, сажали на мель, а Медине Сидонии все не удавалось принудить преследователей к настоящему сражению. Отдельные схватки между двумя флотами, которые то останавливались, то медленно двигались, продолжались целую неделю, пока Армада не бросила якорь на рейде Кале. Теперь настало время для более горячей схватки, чтобы предотвратить соединение Армады с Фарнезе: действительно, как ни были испанцы изнурены беспощадной погоней, но их потери в судах были невелики, тогда как при увеличении числа английских кораблей их запасы провианта и снарядов быстро истощались. Говард решил добиться сражения и, зажегши в полночь восемь брандеров, пустил их с приливом на испанский флот. Галеоны тотчас обрубили свои канаты и в страхе вышли в море, направляясь длинной линией к Гравелингену. Дрейк решил во что бы то ни стало помешать их возвращению. На заре английские суда дружно схватились с ними и до захода солнца истратили свои заряды почти до последнего. Три больших галеона были потоплены, три отнесены беспомощно к берегу Фландрии, но масса испанского флота уцелела, и даже Дрейку он представлялся «страшно большим и сильным». Сами же испанцы потеряли всякую надежду. Сбитые в кучу ветром и губительным огнем англичан с разорванными парусами и разбитыми мачтами, переполненные людьми, галеоны стали просто бойнями. 4000 человек было убито, и хотя моряки сражались храбро, но были испуганы ужасной бойней. Сам Медина был в отчаянии: «Мы погибли, сеньор Оквенда, — крикнул он храбрейшему из своих капитанов, — что нам делать?». — «Оставьте другим говорить о гибели, — ответил Оквенда, — вашей светлости нужно только велеть подать свежие заряды». Но Оквенда остался в одиночестве, и военный совет решил вернуться в Испанию единственным путем, который оставался свободным, — вокруг Оркнейских островов. «Никогда ничто, — писал Дрейк, — не нравилось мне так, как вид неприятеля, гонимого к северу южным ветром. Смотрите внимательно за герцогом Пармским, потому что с помощью Божией, если нам это угодно, я надеюсь вскоре поставить дело так, что герцогу Сидонии захочется в порт Св. Марии под его апельсиновые деревья». Но дело истребления было предназначено врагам более сильным, чем Дрейк. Припасов не хватило, и английские суда были принуждены прекратить преследование; но едва уцелевшие корабли испанцев дос-

тигли Оркнеев, как над ними разразились северные бури с такой яростью, перед которой исчезло всякое согласие и единство. Ла-Корунья достигло 50 кораблей, привезя 10 000 человек, пораженных болезнями и смертью. Из прочих одни потонули, другие разбились о скалы Ирландии. Грабители Оркнеев и Фареров, жители шотландских островов, крестьяне Донегала и Гэлусэ — все они приняли участие в деле истребления и грабежа. Между Платиной Гигантов и Блескетами погибло 8000 испанцев. На берегу подле Слиго один английский капитан насчитал 1100 трупов, выброшенных морем. Цвет испанской знати, высланный в новый Крестовый поход под начальством Алонсо да Лейвы, два раза терпел крушение и вышел в море в третий раз, чтобы разбиться на рифе близ Денльюса.

Глава VII

Поэты века Елизаветы

Мы уже видели возрождение английской литературы в первую половину царствования Елизаветы. Общее оживление народной жизни, рост богатства, утонченности и досуга, отличавшие этот период, сопровождались, как мы видели, подъемом духовной жизни Англии, выразившимся в увеличении числа грамматических школ, усиленном изучении классиков в университетах, пристрастии к переводам, познаковавшим всю Англию с образцовыми произведениями Италии и Греции, но прежде всего в незрелых, но энергичных усилиях Секвилла и Лили создать более благородную поэзию и прозу. К этим влияниям, народным и местным, действовавшим на английскую литературу, присоединялось еще влияние более общее, это — отличавшая вообще эпоху беспокойная жажда новизны. Область человеческого интереса расширилась открытием нового неба и новой земли так, как никогда раньше или позже. Только в позднейшие годы XVI в. Кеплер и Галилей ознакомили массу современников с открытиями Коперника, а смелые флибустьеры разорвали завесу, наброшенную жадной Испанией на Новый Свет Колумба. Едва ли менее важным духовным толчком служило внезапное ознакомление племен друг с другом под влиянием общей страсти к заграничным путешествиям. Америго Веспуччи описал краснокожие племена Запада, Кортес и Писарро открыли причудливую цивилизацию Мексики и Перу, путешествия португальцев познакомили Европу с древним величием Востока, а Маффеи и Мендоса в первый раз рассказали ей историю Индии и Китая. Англия принимала деятельное участие в этих открытиях. Англичанин Дженкинсон проник в Бухару; Уиллоуби познакомил Западную Европу

с Москвией; английские моряки проникли к эскимосам, поселились в Виргинии, Дрейк объехал земной шар. «Собрание путешествий», изданное Галлейтом, обнаружило не только обширность мира, но и бесконечное число народов, разнообразие их законов и обычаев, их религий и даже стремлений. Влияние этих новых и более широких понятий о мире отразилось не только на живости и богатстве современной фантазии, но и на усилении этого времени интереса к человеку. Шекспировская идея Калибана, подобно исследованиям Монтеня, указывает на появление нового и более верного, в виду большей его положительности, взгляда на природу и историю человека. Стремление изучать человеческий характер сказалось в «Опытах Бэкона и еще более в удивительной популярности драмы. К этим широким мировым источникам поэтического вдохновения присоединилось в Англии влияние национального торжества, победы над Армадой, освобождения от Испании и от страха перед католиками, подобно туче тяготевшего над умами народа. Новое чувство безопасности, национальной энергии и силы вдруг изменило вид всей Англии. До того в царствование Елизаветы главное значение принадлежало интересам политическим и экономическим; сцену занимали политики и воины, Сесилы, Уолсингемы и Дрейки, а литература почти не принимала участия в славных событиях эпохи. Но с того времени как остатки Армады были отнесены к Ферролю, воинов и политиков затмевали великие поэты и философы. Среди толпы, наполняющей переднюю Елизаветы, всего более выдается фигура певца, слагающего к ногам ее «Царицы фей», а также молодого юриста, в блестящем зале погруженного в мысли о задачах *Novum Organum*. Победа при Кадисе, завоевание Ирландии меньше обращают на себя наше внимание, чем вид Гукера, в овчарнях создающего свое «Церковное устройство», или гений Шекспира, с года на год достигающего большей высоты в грубом театре близ Темзы.

Полный расцвет новой литературы начался в Англии с Эдмунда Спенсера. Мы мало знаем о его жизни. Он родился в 1552 г. в восточном Лондоне от бедных родителей, но находился в родстве со Спенсерами Элторпскими, уже тогда бывшими, как он горделиво замечает, «издревле известной фамилией». Он был вольным слушателем в Кембридже, но еще юношей покинул университет и отправился домашним учителем на север; там, в безвестной бедности, он провел несколько лет, а затем пренебрежение прекрасной Розалинды снова увлекло его на юг. Школьная дружба с Габриэлем Гарви доставила ему знакомство с лордом Лестером, который отправил его гонцом во Францию; на службе у него Спенсер познакомился с племянником Лестера сэром Филипом Сидни. Из дома Сидни в Пенсгёрсте вышло (1579) самое раннее его произведение «Пастуший календарь»; по форме это, подобно «Аркадии» Сидни

пастораль, в которой любовь, патриотизм и религиозность странным образом сталкиваются с вымышленной пастушеской жизнью. Оригинальная мелодичность и богатая фантазия, обнаруженные пасторалью, сразу доставили ее автору почетное место среди тогдашних поэтов. Но он уже тогда задумал более крупное произведение; судя по некоторым словам Гарви, Спенсер решился поспорить с Ариосто и надеялся даже превзойти «Неистового Роланда» в своей «Царице фей». Однако недоброжелательство или равнодушие Берли разрушило те надежды, какие он возлагал на покровительство Сидни или Лестера и на милостивый прием королевы. Сам Сидни попал у Елизаветы в немилость и удалился в Уилтон, чтобы подле своей сестры писать «Аркадию», а «недовольство долгим и бесплодным пребыванием при дворах и утомление напрасными ожиданиями и пустыми надеждами» увлекли, наконец, Спенсера в изгнание. Он последовал в качестве секретаря за лордом Греем в Ирландию и по отозвании наместника остался там чиновником и владельцем участка из земель, конфискованных у графа Десмонда. Так Спенсер попал в число поселенцев, от которых тогдашняя Англия ожидала обновления Мёнстера, а его практический интерес к «бесплодной почве, на которой царят холод, нужда и бедность», сказался позднее в издании прозаического трактата о положении и управлении острова. В Дублине или в своем Килколменском замке, в двух милях от Донерела, «у подножия Мола, этой белой горы», и провел он десятилетие, в течение которого погиб Сидни, сложила голову на плахе Мария, пришла и ушла Армада. В этом замке нашел его Уолтер Рэли «в полном бездействии», как это показалось его неутомимому другу, «под прохладной тенью серых ольх на берегу Муллы», во время посещения, прославленного стихотворением «Возвращение Колина Клута домой». Но в бездействии и уединении своего изгнания поэт окончательно обработал великое произведение, начатое в два года веселой жизни в Пенсгёрсте, и вернулся вместе с Рэли в Лондон для издания первых трех книг «Царицы фей».

Появление «Царицы фей» представляется поворотным пунктом в истории английской поэзии; оно решило вопрос, суждено ей существовать или нет. Старая народная поэзия расцвела и замерла с Кедмоном, затем вдруг проявилась с еще большей силой у Чосера, но потом замерла опять надолго. За границей шотландские поэты XV века сохранили отчасти живость и блеск своего учителя; в самой Англии поэзия итальянского Возрождения нашла себе недавно отзвуки с Сэррея* и Сидни. Новая англий-

* Генри Говард, граф Сэррей, (ок. 1517–1547) — сын Томаса II, герцога Норфолка, английский политический деятель и военачальник, однако более известен как поэт, один из родоначальников английской поэзии. Казнен по обвинению в государственной измене.

ская драма также начала проявлять свою удивительную силу; деятельность Марло уже подготовила путь для Шекспира. Но как ни блестящи были задатки для будущей поэзии во время высадки Спенсера в Бристоль с «Царицей фей», однако уже почти два века в английской литературе не появлялось крупного поэтического произведения. С появления «Царицы фей» поток английской поэзии течет без перерыва. Бывали времена, например последующие годы, когда Англия «превращалась в гнездо певчих птиц»; но уже не бывало времени, когда бы Англия оставалась совсем без певца. Новая английская поэзия осталась верной источнику, из которого она вытекла, и Спенсер всегда считался «поэтом поэтов»; но в свое время он был поэтом всей Англии. «Царица фей» была встречена общим приветом: она стала «утехой для образованного человека, образцом для поэта, утешением для солдата». Поэма служила верным изображением современной жизни. С тонким поэтическим чутьем Спенсер заимствовал основу своего рассказа из волшебного мира кельтской поэзии, чуда и тайны которой, в сущности, всего вернее изображали чуда и тайны окружавшего его мира. В век Кортеса и Рэли сказочная страна стала действительностью, и никакие приключения дам или рыцарей не могли быть чудеснее тех рассказов, какие ежедневно сообщали серьезным купцам на бирже закаленные моряки южных морей. Сами несообразности истории Артура и рыцарей Круглого стола, как ни были они изукрашены соединенными силами певца, поэта и священника, делали ее наилучшей формой для изображения того мира противоречивых чувств, который мы называем Возрождением. На наш взгляд представляется, пожалуй, несколько смешным странное смешение фигур, заполняющих рамки «Царицы фей», — фавны, пляшущие на мураве, где бились рыцари, чередование дикарей Нового Света с сатирами классической мифологии, встреча великанов, карликов и чудовищ народной фантазии с нимфами греческих сказаний и юными рыцарями средневековой романтики. Но как ни странно это смешение, оно верно отражает еще более странное смешение враждебных идеалов и непримиримых стремлений, наполнявшее жизнь современников Спенсера. Не только в «Царице фей», но и в изображенном ею мире религиозный мистицизм Средневековья стоял лицом к лицу с духовной свободой Возрождения: аскетизм и самоотречение оказывали чарующее действие на умы, стремившиеся к жизни, полной разнообразия и неисчерпаемости, мечтательная поэтическая утонченность чувства, выражавшаяся в фантастических грезах рыцарства существовала рядом с грубой практической энергией, вытекавшей из пробудившегося сознания мощи человека, а необузданная сила идеализированной дружбы и любви шла рука об руку с нравственной строгостью.

возвышенностью, почерпнутыми Англией из реформации и Библии. Но как ни противоречат друг другу элементы поэмы, их объединяют спокойствие и ясность, отличающие настроение «Царицы фей». Нас окружает здесь мир Возрождения, но прикосновение автора внесло в него порядок, благородство и спокойствие. Страстные сцены, взятые им из современной итальянской поэзии, доведены до идеальной чистоты; сама борьба окружающих его людей освобождена от ее мелких придатков и поднята в высокие сферы душевной борьбы. Попадаетея много намеков на современные события, но спор Елизаветы и Марии принимает идеальную форму борьбы Эны и лживой Дьюэссы, а стук оружия испанцев и гугенотов доходит до нас, ослабленный прозрачным воздухом. Подобно сюжету, стихи катятся естественно, сами собой, без спешки, усилия и задержки. Роскошный колорит, подробные и часто сложные описания, расточаемые воображением Спенсера, не оставляют в уме читателя впечатления путаницы. Каждая фигура, как она ни странна, представляется ясно и отчетливо. По этому спокойствию, ясности и духовной возвышенности «Царицы фей» мы чувствуем, что новая жизнь наступающего века придаст правильные и гармоничные формы жизни Возрождения. Как по идее, так и по способу осуществления последняя законченная часть поэмы написана в тоне будущего пуританства. В своей ранней пасторали «Календарь пастушка» поэт смело стал на сторону более решительных реформаторов против церковной политики двора; образцом христианского пастыря он взял архиепископа Гриндела, бывшего тогда в опале за свои пуританские симпатии, и резко нападал на пышность высшего духовенства. В религиозном отношении «Царица фей» носит глубоко пуританский характер. Худшим врагом ее «рыцаря красного креста» является лживая, одетая в багряницу «Дьюэсса Рима», отвлекающая его на время от Истины и приводящая его в жилище Гордыни. Усиленно и безжалостно Спенсер настаивает на казни Марии Стюарт. Спокойствия его стихов не нарушают выражения горечи, кроме тех случаев, когда он касается опасностей, грозивших Англии со стороны католицизма; они погубили бы его рыцаря, «если бы его не поддерживала небесная благодать и если бы стойкая Истина не избавляла его от них». Но еще более заметны благородные и глубокие стороны английского пуританства в характере и цели произведения Спенсера. В своих прежних думах в Пенсгёрсте поэт намеревался превзойти Ариосто, но веселость последнего осталась совершенно чуждой его поэме. Никогда рябь смеха не волнует спокойной поверхности стихов Спенсера: он обыкновенно бывает серьезен, и серьезность его тона служит отражением серьезности его цели. По его словам, он стремился представить нравственные добродетели и ука-

зять для каждой из них рыцарского защитника, который своими подвигами и доблестью доказывал бы ее превосходство и попираал ногами пороки противоположный. В каждом из описываемых им двенадцати рыцарей он хотел воплотить одну из добродетелей добродетельного человека в ее борьбе с ошибками и заблуждениями; наконец, в Артуре, представителе всего общества, можно видеть совершенного человека в его стремлении приблизиться к Царице фей — божественной славе, составляющей настоящую цель деятельности человека. Широкое образование, тонкое чувство красоты и прежде всего сама сила нравственного воодушевления спасли Спенсера от узости и крайностей пуританства, часто превращавших его доброту в резкость. Спенсер — христианин до мозга костей, но его христианство обогато и оплодотворено свободным духом Возрождения, а также поэтической любовью к миру природы, в которой коренятся древнейшие мифологии. Диана и языческие боги получают от новой, более чистой веры отпечаток какой-то святости, а в одной из величайших песен «Царицы фей» понятие любви, все равно как в уме грека, превращается в величавую идею производительной силы природы. Действительно, для выражения своего нравственного воодушевления Спенсер пользуется изящными и утонченными формами философии Платона. Он не только любит, как и другие, все благородное, чистое и доброе, но и сильнее, чем кто другой, страстно стремится к нравственной красоте. Справедливость, умеренность, истина для него не пустые имена, а реальные существа, которым он глубоко предан. Он думал, что внешняя красота проистекает из красоты душевной, и за то любил ее. Такой нравственный протест может вызвать неудовольствие во всякое время, и веку Елизаветы приносит честь то, что, несмотря на все ее недостатки, все благородные люди встретили радушно «Царицу фей». Сама Елизавета, по словам Спенсера, «склонила свой слух к моей пастушеской свирели» и назначила поэту пенсию. В 1595 г. он привез в Англию еще три песни своей поэмы и затем вернулся в Ирландию, чтобы в сонетах и прекраснейшей из свадебных песен воспеть свой брак и окончить «Царицу фей» среди любви, и бедности, и нападений своих ирландских соседей. Вскоре эти нападения получили более серьезный характер. В 1599 г. Ирландия подняла восстание, и поэт из своего пылающего дома бежал в Англию и умер разбитым сердцем в Вестминстерской гостинице.

Если «Царица фей» выражала высшие начала века Елизаветы, то выражением этого века, в целом — одинаково как высших, так и низших его начал, служила английская драма. Мы уже указывали условия, по всей Европе сообщавшие поэтическое направление вновь возбужденным умам людей; это направление всюду приняло драматическую форму. Правда, но

кусственная французская трагедия, которой приблизительно в это время положил начало Гарнье, до позднейшей эпохи не оказала никакого влияния на английскую поэзию; зато влияние итальянской комедии, появившейся полувеком раньше с Макиавелли и Ариосто, сказалось прямо в новеллах или рассказах, откуда драматурги заимствовали интриги. Это влияние наложило свою печать на некоторые из худших особенностей английской сцены. Из итальянской драмы были заимствованы те стороны английской, которые оскорбляли нравственный характер эпохи и вызвали смертельную ненависть пуритан, — грубость и нечестивость, пристрастие к сценам ужаса и преступления, частое выдвигание в качестве мотивов драматического действия жестокости и вожделения, смелое пользование ужасным и неестественным, лишь бы оно позволяло раскрывать страшные и возмутительные стороны человеческой страсти. Сомнительно, многим ли обязаны были английские драматурги испанской драме, при Лопе де Вега и Сервантесе достигшей вдруг такой высоты, что она почти соперничала с английской. Обе драмы замечательно похожи по смешению трагедии и комедии, отказу от торжественного однообразия поэтического языка для разговорной речи обыденной жизни, пользованию неожиданными случаями, сложности своих завязок и интриг; по-видимому, сходство это объясняется скорее сходством условий, которым обе они были обязаны своим происхождением, чем какой-либо прямой их связью. В действительности английская драма была создана не какими-либо внешними влияниями, а самой Англией. Сам характер народа отличался драматизмом. Со времен Реформации двор, училище правоведения, университет соперничали друг с другом в постановке пьес; они так рано стали популярны, что уже при Генрихе VIII оказалось необходимым назначить для надзора за ними «руководителя развлечений». Всякий переезд Елизаветы из одного графства в другое был рядом зрелищ и интермедий. Диана со своими нимфами встречала королеву при возвращении ее с охоты; Амур дарил ей свою золотую стрелу, когда она вступала в ворота Норича. С первых лет ее царствования новый дух Возрождения проник в грубую форму мистерий; это были изображения аллегорических добродетелей и пороков или героев и героинь Библии, в течение Средних веков представлявшие драму. Скоро с чисто церковными «нравоучениями» стали чередоваться переделки классических пьес, а в народной комедии «Игла бабушки Гёртон» выразилось стремление к более живому языку и сюжету; в то же время Томас Сэквил, граф Дорсет, государственный деятель и дипломат, в своей трагедии «Горбодук» сделал смелую попытку ввести возвышенную речь и воспользоваться белым стихом как орудием драматического диалога. Но не этим попыткам

и усилиям ученых и вельмож в действительности обязана была английская сцена поразительной гениальности, проявившейся с того времени, как в 1576 г. «слуги графа Лестера» построили в Блекфрайере первый общественный театр. Сам народ создал себе сцену. Обыкновенно театром служил просто двор гостиницы или балаган, какие до сих пор встречаются на сельских ярмарках; масса зрителей помещалась на дворе под открытым небом, несколько крытых мест в галереях, окружавших двор, представляли ложи более состоятельных зрителей, а покровители и дворяне занимали места на самой сцене. Все принадлежности отличались крайней грубостью: несколько цветков указывали на сад, десяток статистов с мечами и щитами изображал толпу или войско, герои въезжали и уезжали на лошадке, а записка на столбе указывала на нахождение сцены в Афинах или Лондоне. Актрис не было, и грубые слова, поражающие нас, когда их произносит женщина, принимали другой оттенок, раз все женские роли исполнялись юношами. Но все эти неудобства больше чем уравнивались народным характером драмы. Как ни прост был театр, все бывало в нем. Сцену занимали дворяне и придворные, ремесленники и купцы теснились на лавках во дворе. Грубая толпа партера сообщила английской драме отпечаток своих чувств и вкусов. Она требовала от сцены энергичной жизни, быстрых переходов, сильных страстей, реальности, жизненной смеси и путаницы, живой беседы, болтовни, остроумия, пафоса, возвышенности, вздора и шутовства, страшных ужасов и грубого кровопролития, возвышения над всеми классами общества, знакомства как с худшими, так и с высшими проявлениями человеческого характера. Новая драма хотела показать «веку и духу времени отпечаток его формы». Сам народ приносил на сцену свое благородство и свою низость. Никогда не было сцены столь человеческой, а поэтической жизни столь напряженной. Дикие и необузданные, противники всех старых преданий и условных правил, английские драматурги не признавали другого наставника, другого источника поэтического вдохновения, кроме самого народа.

В истории английской немного таких поразительных событий, как это внезапное появление драмы при Елизавете. Первый общественный театр, как мы видели, был построен только в середине царствования королевы, а к концу его в одном Лондоне уже существовало восемнадцать театров. За 50 лет, предшествовавших закрытию театров пуританами, появилось 50 нередко первоклассных, драматургов; много их произведений погибло, и тем не менее до нас еще дошла сотня драм, написанных в это время, и из них по меньшей мере половина превосходных. Взгляд на их авторов показывает нам, что духовное возрождение эпохи проникло в массу народа. Почти

все новые драматурги получили хорошее образование, а многие из них прошли университет. Но вместо придворных певцов, вроде Сидни и Спенсера, теперь появляются «бедные студенты». Первые драматурги — Нэш, Пиль, Кид, Грин, Марло — были, по большей части, бедняками, смелыми в своей бедности: они вели беспутную жизнь, презирали закон и молву, восставали против обычаев и верований, считались «безбожниками», «называли Моисея обманщиком», проводили жизнь в непристойных домах и погибали от голода или в кабацких драках. Но с их появлением начинается драма века Елизаветы. Немногие дошедшие до нас пьесы более раннего времени представляются или холодными подражаниями комедиям классиков и итальянцев, или грубыми фарсами, или, как «Грободук», трагедиями, не обещавшими особенного драматического развития, несмотря на поэтичность отдельных мест. Но в год, предшествовавший прибытию Армады (1587), положение сцены вдруг изменяется, и новые драматурги группируются вокруг двух людей с очень различными талантами — Роберта Грина и Кристофера Марло. Мы уже говорили о Грине, как о творце легкой английской прозы; но гораздо важнее была его поэтическая деятельность. Глубокое понимание характеров и общественных отношений, живость его фантазии и слога оказали на современников такое влияние, в котором с ним могли поспорить только Марло и Пиль. Он служит лучшим представителем молодых драматургов. Он покинул Кембридж для путешествия по Италии и Испании и принес оттуда распушенность одной и скептицизм другой. В покаянном слове, написанном им перед смертью, он изображает себя пьяницей и хвастуном, добывающим средства бесконечными памфлетами и пьесами, чтобы тратить их на вино и женщин и пить чашу жизни до дна. Ад и будущая жизнь служили для него предметом постоянных насмешек. Если бы он не боялся судей королевских судов больше, чем Бога, говорил он со злой насмешкой, то часто занимался бы грабежом. Он женился и любил свою жену, но скоро бросил ее и снова погрузился в излишества, которые проклинал, но без которых не мог жить. Как ни распутна была жизнь Грина, его произведения отличаются чистотой. Он постоянно стоит на стороне добродетели в выпускавшихся беспрестанно любовных памфлетах и повестях, сюжеты которых были драматизованы образовавшейся вокруг него школой. Жизнь Марло была такой же бурной, а его скептицизм еще смелее, чем у Грина. По всей вероятности, только ранняя смерть спасла его от преследования за безбожие. Его обвиняли в том, что он называл Моисея обманщиком и хвастался, будто если он задумал создать новую религию, она вышла бы лучше того христианства, какое он видел вокруг себя. Но как создатель английской трагедии, он высоко стоит над своими товарищами.

Родился Марло в начале царствования Елизаветы и был сыном кентерберийского башмачника, но воспитывался в Кембридже. Он выдвинулся год, предшествовавший победе над Армадой, пьесой «Тамерлан», которая сразу произвела переворот на английской сцене. Правда, пьеса отличалась напыщенностью и сумасбродностью, достигавшими высшей степени там где пленные цари, «откормленные клячи Азии», тащили по сцене колесницу своего победителя; но в то же время «Тамерлан» не только доказывал новой драмой робкую пустоту эвфуизма, но и представлял образец той смелой фантазии, тайну которой Марло завещал следовавшим за ним драматургам. Он погиб 29 лет от роду в постыдной драке, но в своей короткой деятельности он наметил главные мотивы будущей драмы. Его «Мальтийский жид» служил провозвестником Шейлока. «Эдуардом II» он открыл ряд исторических драм, подаривший нам «Цезаря» и «Ричарда III». Его «Фауст» страдает беспорядочностью, комичностью, низкой страстью и удовольствиям, но это — первая драматическая попытка затронуть великий вопрос об отношениях человека к невидимому миру, изобразить силу сомнения в уме, зараженном суеверием, вызывающую смелость человека, доведенного до глубокого отчаяния. Положим, Марло сумасброден и неровен. Правда, в своем нескладном и плоском шутовстве он иногда унижается до смешного; но у него есть сила, сознательное величие тона и такая степень страсти, которая ставит его высоко над всеми современниками, кроме одного. Высшими качествами воображения, а также величием и прелестью своего могучего таланта он уступает только одному Шекспиру.

Несколько смелых остроумий, ссора и роковой удар составляют жизнь Марло; но даже и таких сведений нет о жизни Уильяма Шекспира. Действительно, едва ли о каком великом поэте известно так мало. Для истории его молодости мы имеем одну или две пустышные легенды, да и те, наверное, ложны. Для выяснения его деловой жизни в Лондоне не существует ни одного письма, ни одной из остроумий, «произнесенных у Сирены» и остается один анекдот. Его взгляд и фигура в позднейшее время были сохранены бюстом над его могилой в Стратфорде, и через столетие после смерти его еще помнили в родном городе; но даже мелочная тщательность исследователей времен Георгов едва была в состоянии подобрать несколько частных свойств самого незначительного свойства, которые могли бы пролить свет на годы его уединения перед смертью. То обстоятельство, что, по-видимому, в памяти его современников не оставила следов ни одна выдающаяся особенность, объясняется, быть может, гармонией и единством его характера; само величие его гения мешает открыть в нем

произведениях какие-либо личные черты. Его предполагаемые признаки в сонетах так темны, что даже при самых смелых предположениях можно указать только несколько черт. В драмах он живет во всех своих характерах, а его характеры охватывают все человечество. Нет ни одного характера, ни одного действия или слова, которые мы могли бы отнести к личности самого поэта.

Он родился в 1564 г., двенадцатью годами позже Спенсера, тремя — позже Бэкона. Марло был его ровесником, Грин был, вероятно, несколькими годами старше. Бедность заставила его отца, перчаточника и мелкого арендатора в Стратфорде на Эвоне, сложить с себя должность олдермена, когда его сын достиг юности; быть может, гнет той же бедности был причиной, заставившей Уильяма Шекспира, в 18 лет уже бывшего мужем женщины старше его, уйти в Лондон и поступить на сцену. Едва ли он мог начать жизнь в столице 23-мя годами года (1587), следовавшего за смертью Сидни, предшествовавшего прибытию Армады и видевшего постановку «Таммерлана» Марло. Если принимать слова сонетов за выражение его личных чувств, то его новое занятие вызывало в нем только горькое презрение к себе. Он бранил судьбу за то, «что она дала ему для жизни только низкие средства, вызывающие низкие черты»; он страдает от мысли, что раскрасился на потеху подмастерьев, глазеющих в партере Блейфрайерского театра: «Вот почему, — прибавляет он, — на имени моем лежит пятно, позорящее всю мою натуру». Но применение этих слов более чем сомнительно. Несмотря на мелкие ссоры с некоторыми из соперников по драматическому искусству в начале карьеры, гениальная натура нового пришельца, по видимому, доставила ему общую любовь среди его товарищей-актеров. В 1592 г., когда он был еще простым передельвателем старых пьес, его товарищ по занятию Четтл возражал на нападки Грина против него в тоне искреннего расположения: «Я знаю, что он ведет себя так же пристойно, как отлично исполняет взятые на себя обязанности; кроме того, добросовестность его действий засвидетельствовали почтенные люди, что доказывает его честность, а веселая приятность его на письме доказывает его искусство». Его компаньон Бёрбэдж называл его после смерти «прекрасным другом и товарищем»; а Джонсон только передавал общее мнение эпохи, называя его истинно честным человеком с открытым и независимым характером. Его актерская профессия оказала ему существенную услугу в его поэтической деятельности. Она не только дала ему понимание сценических условий, которое делает его пьесы столь эффектными на сцене, но и позволила подвергать их, по мере того как он их писал, испытанию. Если верно утверждение Джонсона, что Шекспир никогда не вычеркивал ни

строчки, то несправедливо заключающееся тут порицание его небрежности и неисправности. Условия издания поэтических произведений в то время совсем отличались от современных. Представляемая на сцене драматическое течение ряда лет оставалась в рукописи и подвергалась постоянному пересмотру и исправлению; каждая репетиция и представление доставляли для этого указания, которыми, как мы знаем, молодой поэт далеко не пренебрегал. Случай, сохранивший первое издание его «Гамлета», показывает, как беспощадно мог переделывать Шекспир даже лучшие произведения своего гения. Через пять лет по прибытии своем в Лондон он уже славился как драматический писатель. Грин с горечью говорил о нем под именем Шексина, как о «дерзкой вороне, украшенной нашими перьями»; эта насмешка указывает или на известность его как актера, или на подготовку его к более смелому полету переделкой для сцены пьес его предшественников. Скоро он стал пайщиком театра, актером и драматургом, и второе его прозвище *Iohannes Factotum* (Иван-на-все-руки) указывает на его готовность браться за всякое честное дело, попадавшее ему в руки.

С поэмы «Венера и Адонис» — «первого плода моей фантазии», как называет ее Шекспир, — для его начинается период независимого творчества. Замечателен год ее издания (1593). Только тремя годами раньше появилась «Царица фей», поставившая Спенсера без соперника во главе английской поэзии. С другой стороны, в это время внезапно умерли два главных драматурга эпохи. Грин скончался в бедности и раскаянии в доме бедного башмачника: «Долли, — писал он покинутой жене, — заклинаю тебя нашей молодой любовью и покоем моей души, постарайся заплатить мне, если бы он и его жена не помогли мне, я умер бы на улице»; «О, если бы можно было прожить еще год, — восклицал молодой поэт на смертном одре, — но я должен умереть, всеми отвергнутый! Не вернуть времени беспутно прожитого! Моя жизнь прожита беспутно, и я погиб!». Год спустя смерть Марло в уличной драке устранила единственного соперника, который мог равняться талантом с Шекспиром. В это время последнему было около 30 лет, и 23 года, прошедшие от появления «Адониса» до его смерти, заполнены рядом мастерских произведений. Всего характернее для его гения — его непрерывная деятельность. За пять лет, следовавших за изданием его первой поэмы, он в среднем сочинял, по-видимому, по две драмы в год. Но когда мы пытаемся проследить рост и развитие таланта поэта в порядке его песен, мы во многих случаях наталкиваемся на отсутствие точных сведений о времени их появления. Фактов, на которые могло бы опираться исследование, чрезвычайно мало. «Венера и Адонис» вместе

«Лукрецией» должны были быть написаны раньше их издания в 1593–1594 гг.; сонеты, изданные только в 1609 г., были до некоторой степени известны его близким друзьям уже в 1598 г., его ранние пьесы указываются списком, данным в 1598 г. Фрэнсисом Мирсом в «Сокровище ума», хотя опущение пьесы в случайном каталоге такого рода едва ли дает нам право считать ее, непременно не существовавшей в то время. Какие произведения приписывались ему при смерти, это определяется, тоже приблизительно, изданием, выпущенным его товарищами-актерами, кроме этих скудных фактов и того, что некоторые из его драм были изданы при жизни его. Все остальное недостоверно; а заключения, выведенные из них и из самих драм, также из предполагаемых сходств того периода или из намеков на них, могут считаться верными только приблизительно. Большинство легких комедий и исторических драм Шекспира можно с большой вероятностью отнести ко времени между 1593 и 1598 гг.: в первый из них он был известен только как переделыватель, во второй они упоминаются в списке Мирса. Притом, они носят на себе отпечаток молодости. В «Напрасных усилиях любви» молодой поэт прямо из своего Стратфорда попадает в блестящее общество, окружавшее Елизавету, и большей частью обращает пока внимание на его внешность, на его причуды и сумасбродства, остроты и капризы, пустоту и нелепые фантазии, прикрывавшие его внутреннее благородство. Деревенский юноша может поспорить с кем угодно в остроумных колкостях и ответах; он смеется над пустым остроумием и надутым сумасбродством мысли и фразы, введенными Эвфуэсом в моду при тогдашнем дворе. Он разделяет восхищение жизнью, составляющее столь заметную черту века; его забавляют ошибки, странности и приключения окружающих людей; его веселость доходит почти до крайности в проделках «Укрощения строптивой» и в бесконечной путанице «Комедии ошибок». Пока в его пьесах еще мало поэтической возвышенности и страсти, но легкая прелесть диалога, ловкая обработка запутанного сюжета, естественная веселость тона и музыкальность стиха обещают сделать его мастером в общественной комедии. Смех более сдержанный, но полный чарующей прелести, встречает нас в «Как вам угодно». Но уже в печальном и задумчивом Джеке мы замечаем веяние нового, более серьезного настроения. До того поэта одушевляла кипучая молодость, теперь почти вдруг она оказывается исчезнувшей. Хотя Шекспиру было едва 40 лет, но в одном из его сонетов, написанном вряд ли много позднее, есть указания на то, что он уже чувствовал приближение ранней старости. Внешний мир вдруг померк для него. Блестящий круг молодых вельмож, дружбой которых он пользо-

вался, был разорван политической бурей, вызванной безумной борьбой графа Эссекса* за власть. Сам Эссекс погиб на эшафоте; его друг и идол Шекспира, Генри Рисли, граф Саутгемптон, был заключен в Тауэр; Уильям Герберт, граф Пемброк, младший покровитель поэта, был удален от двора. В то время как таким образом гибли друзья и исчезали надежды, сам Шекспир, по-видимому, переживал время тяжелого страдания и тревоги. Несмотря на остроумие толкователей, трудно и даже невозможно извлечь из сонетов какие-либо данные касательно внутренней истории поэта: «странные изображения страсти, проносящиеся над волшебным зеркалом, как было тонко замечено, не имеют осязательной очевидности ни перед, ни за собой», но самое их прохождение служит доказательством тревоги и внутренней борьбы. Перемена в характере драм Шекспира, несомненно, указывает на перемену в его настроении. Веселость, которой пронизаны его ранние произведения, исчезает в таких комедиях, как «Троил» или «Мерзавец за меру». Всюду представляются неудачи. В «Юлии Цезаре» доблесть Брута разбивается о его неопытность и отчужденность от людей; в «Гамлете» даже пронизательный ум оказывается беспомощным ввиду отсутствия энергии; яд Яго пятнает любовь Дездемоны и величие Отелло; могучая страсть Лира беспомощно борется против ветра и дождя; женская слабость лишает леди Макбет победного торжества; страсть и беспечность губят героизм Антония, гордость — благородство Кориолана. Но именно борьба и самоуглубление, обнаруживающиеся в этих драмах, и придали произведениям Шекспира неведомые им дотоле глубину и величие. Это был век, когда характеры и таланты людей приобретали новый размах и энергию. Смелость авантюриста, философия ученого, страсть влюбленного, фанатизм святого достигали почти нечеловеческого величия. Человек начал сознавать громадность своих внутренних сил, беспредельность своего могущества, казалось, смеявшегося над тем тесным миром, в котором ему приходилось действовать. Это-то величие человечества и раскрывается перед нами, когда поэт изображает широкие взгляды Гамлета, страшно потрясение сильной натуры Отелло, ужасную бурю в душе Лира в гармо-

* Роберт Деверо, граф Эссекс, (1567–1601) — после смерти своего отчима графа Лестера (1588) стал официальным фаворитом Елизаветы, которой тогда было 55 лет. Елизавета не церемнилась со своим молодым любовником и даже однажды публично дала ему пощечину. Эссекс проявил себя, как военачальник: участвовал в войнах с Испанией, командовал армией, отправленной на подавление восстания в Ирландии, правда, там он не добился успеха. По возвращении был отдан под суд, попытался поднять восстание против королевы, но оно не встретило никакой поддержки и было быстро подавлено. Перед восстанием мятежники заказали театру Шекспира постановку его пьесы «Ричард II» в качестве призыва к свержению тирана.

нии с бурей в самой природе; беспредельное честолюбие, обограющее руки женщины кровью убитого короля, неудержимую страсть, отдающую мир за любовь. Внушаемые этими великими драмами ужас и уважение знакомят нас с грозными силами века, их произведшего. Страсть Марии Стюарт, бесчеловечность Альбы, смелость Дрейка, рыцарство Сидни, широта мысли и дела у Рэли и Елизаветы становятся для нас понятнее, когда мы знакомимся с рядом великих трагедий, начавшимся «Гамлетом» и окончившимся «Кориоланом».

Три последние драмы Шекспира «Цимбелин», «Буря», «Зимняя Сказка» открывают перед нами человека, примиренного с собой и миром; они были написаны среди полного довольства в его Стратфордской усадьбе, куда он удалился через несколько лет после смерти Елизаветы. В них незаметно никакого отношения к окружающей современности; здесь мы переходим в область чистой поэзии. Этот мирный и спокойный конец жизни отличает Шекспира от величайших его современников. Всем сердцем он принадлежал веку Елизаветы и стоял теперь на перепутье двух великих эпох нашей истории: век Возрождения переходил в век пуританства. Строгий протестантизм своей нравственностью, серьезностью и глубокой религиозностью придавал жизни энергию и благородство, но в то же время жесткость и узость. Библия заменяла Плутарха. «Упорные сомнения», преследовавшие избранные умы Возрождения, заключались в богословские формулы пуританства. Сознание всемогущества Божия угнетало человека. Смелость, обращавшая англичан в племя удалцов, сознание неистощимости своих сил, кипучая свежесть молодости, чарующее стремление к красоте и веселью, произведшие Сидни, Марло, Дрейка, уступали место сознанию греховности и стремлению устроить жизнь по-божьи. Вместе с новым нравственным миром развивался и новый политический порядок, более нормальный и национальный, но менее живописный, менее окутанный тайной и блеском, столь любезными поэтам. Прежде небольшие трещины с часу на час расширялись и грозили гибелью тому строю, церковному и политическому, который создали Тюдоры и к которому были страстно привязаны люди Возрождения. Шекспир оставался совсем чуждым этому новому миру мысли и чувства. Он не имел и понятия о демократических стремлениях пуританства; а между тем, несмотря на свои крупные недостатки, оно было первой политической системой, признававшей значение народа, как целого. Ряд его драм изображает междоусобия. Войны Роз занимают его ум, как они занимали умы его современников. Только проследив ряд драм с Ричарда II до Генриха VIII, мы оценим глубину влияния, оказанного на настроение народа борьбой Йорков и Ланкастеров, и силу

оставленного ею за собой страха перед междоусобием, своеволием баронов и спорами о престолонаследии. Казалось, одна корона могла избавить от такой опасности. Для Шекспира, как и для его современников, средоточием и охраной для народной жизни служит все еще корона. Идеалом для него была Англия, собравшаяся вокруг такого короля, как его Генрих V, прирожденный руководитель людей, окруженный преданным народом, побеждающий своих врагов. В общественном отношении поэт выражает аристократический взгляд на жизнь, разделявшийся всеми лучшими умами века Елизаветы. Воплощением крупного вельможи является Кориолан, насмешки, которыми Шекспир в ряде пьес осыпает чернь, только передают общий дух Возрождения. Но он не выражает симпатии к борьбе феодализма с короной. Он вырос в царствование Елизаветы; он знал только одного государя, очаровывавшего сердца всех англичан. Боязнь неумелого управления исчезла; его мысли, как и умы соотечественников, были поглощены борьбой за национальную независимость, и увлечение этой борьбой не оставляло места для мыслей о гражданской свободе. Не принадлежал наступавшему времени и религиозные симпатии поэта. Другие обращались к богословским умозрениям; для Шекспира неисчерпаемым предметом интереса оставались человек и человеческая природа. К числу его последних созданий принадлежал Калибан. Невозможно определить, принадлежал ли он к католикам или протестантам. Трудно даже сказать, были ли у него вообще религиозные убеждения или нет. Религиозные мысли, изредка попадающиеся в его произведениях, немного более, чем выражения сдержанного и мечтательного благоговения. Многозначительно его молчание о более глубоких основах религиозной веры. Он не говорит о загробной жизни, тем больше значения придают этому умолчанию сомнения Гамлета. Вероятно, для него, как и для Клавдио, смерть была «переходом неизвестно куда». Часто обращаясь к тайне жизни и смерти, он оставляет ее до конца тайной и не обращает внимания на известные ему богословские раскрытия ее: «Мы то же, что сновидения, и наша краткая жизнь оканчивается сном».

Противоречие между духом Елизаветинской драмы и новым настроением нации сказалось еще резче, когда по смерти Шекспира руководство английской сценой перешло к Бену Джонсону, сохранявшему его почти до самой гибели драмы в бурях междоусобий. Правда, Уэбстер и Форд превосходили его трагической возвышенностью, Мессинджер — легкостью, грацией, а Бомон и Флетчер — поэтичностью и изобретательностью; но по широте драматического таланта, по умению владеть поэтическими красками выше Джонсона стоял один Шекспир. Его жизнь до конца сохраняла

мятежный вызывающий отпечаток прежнего драматического мира, в котором он приобрел себе славу. Пасынок каменщика, он добровольцем принимал участие в нидерландской войне, на виду обеих армий убил противника на поединке и, вернувшись в 19 лет в Лондон, поступил из-за хлеба на сцену. В 45 лет он сохранил еще столько сил, что пешком совершил путешествие в Шотландию. Даже когда он состарился, его «толстое брюхо», лицо в шрамах и крупная фигура славилась среди людей младшего поколения, собиравшихся у «Сирены» слушать его остроты и стихи, взрывы его хандры и великодушия, нежной фантазии, педантизма и бурного высокомерия. Он вступил на сцену с гордым намерением преобразовать ее. Уже в молодые годы он приобрел большие познания и презрительно относился к писателям, которые, подобно Шекспиру, «были мало знакомы с латынью и еще менее с греческим»; в поэзии он хотел вернуться к классической строгости, к строгой разборчивости и вкусу. Он порицал сумасбродство, отличавшее современную поэзию, изучал интриги своих драм, старался придать своим выражениям симметрию и правильность, своей речи — сжатость. Но творчество у него исчезает: в его общественных комедиях мы находим скорее качества и типы, чем людей, отвлечения, а не характеры. Его комедия не гениальное отражение жизни, так как она есть, а нравственное и сатирическое стремление преобразовать нравы. Только его удивительная веселость и истинно поэтическое чувство несколько смягчают весь этот педантизм. Он разделял энергию и кипучесть жизни, отличавшие школу, из которой он вышел. Его сцена кишит фигурами. Несмотря на его речи о правильности, только его удивительный талант мешает его эксцентричности становиться смешной. Если он не умел создавать характеров, то богатство метких частных придало жизнь тем типам, которыми он заменял характеры. Притом его поэзия достигает огромной высоты: его лирика блещет чистейшей и легчайшей фантазией, «маски» богаты роскошными образами, пастораль «Печальный пастушок» дышит мягкой нежностью. Но, несмотря на сохраняемые ею красоту и силу, драма быстро склонялась к упадку. По мере приближения Великого мятежа интересы народа обращались к новым важным вопросам, и усилия драматургов остановить это движение новыми впечатлениями только ускоряли гибель драмы. Позднейшая комедия отличалась невероятной грубостью. Почти так же невероятна страсть позднейших трагедий к ужасам кровосмешения и кровопролития. Ненависть пуритан к театру объясняется не только стремлением отомстить за насмешки, какими он осыпал пуританство; это была, главным образом, искренняя ненависть богобоязненных людей к изображению в привлекательной поэтической форме гнуснейшего разврата.

Представителями поэтической жизни новой Англии являются творцы «Гамлета» и «Царицы фей»; ее чисто рассудочная деятельность, широкое знакомство со всеми областями человеческого знания и поразительное искусство в пользовании ими сказываются всего полнее в произведениях Фрэнсиса Бэкона. Бэкон родился в начале царствования Елизаветы, тремя годами раньше Шекспира (1561) и был младшим сыном хранителя печати, а также племянником лорда Берли. Уже в детстве живость и понятливость доставили ему расположение королевы. Елизавета «очень любила разговаривать с ним и испытывать его вопросами, на которые он отвечал с недетской важностью и рассудительностью, так что ее величество часто называла его «молодой лорд-хранитель». Еще ребенком в школе он выражал свое недовольство Аристотелевой философией, «так как она пригодна только для рассуждений и споров, но не дает произведений полезных для жизни человека». Занявшись правом, он в 21 год в статье «Величайшее создание эпохи» изложил уже систему индуктивного исследования, которой хотел заменить логику Аристотеля. Исследования молодого мыслителя были прерваны надеждами на успех при дворе, но скоро надежды эти рассеялись. Смерть отца оставила его в бедности, а недоброжелательство Сесилов помешало его успехам при дворе, и за несколько лет до прибытия Шекспира в Лондон он вступил в сословие адвокатов, где скоро сделался одной из главных знаменитостей эпохи. В 23 года он был членом палаты общин, и его ум и красноречие сразу выдвинули его вперед. По словам Бена Джонсона, «всякий, кто слушал его, боялся, что ему скоро придется кончить». Постоянный рост его репутации был ускорен появлением в 1597 г. его «Опытов», замечательных не только глубиной мысли и точным и удачным ее выражением, но и искусным приложением к человеческой жизни того опытного анализа, который впоследствии Бэкон сделал ключом к науке. Его известность на родине и за границей сразу поднялась, но он не мог довольствоваться этой чистой славой. Он сознавал в себе большие таланты и стремления, полезные для общего блага, а время было такое, что эти стремления едва ли можно было осуществить не иначе как при посредстве короны; между тем политическая деятельность чем дальше, тем больше от него отдалялась. В начале своей парламентской карьеры он раздражал Елизавету упорным противодействием ее требованию субсидий, и хотя обида была заглажена униженными извинениями и отказом от всякого сопротивления политике двора, но Бэкону несколько раз отказывали в назначении на коронные должности, и только после издания «Опытов» он смог добиться незначительного места в совете королевы. Лучшим оправданием нежелания королевы ввести в совет лучшую голову Англии — нежелания, странно противоречившего ее обычным приемам, — служит все бо

лее обнаруживавшаяся нравственная неустойчивость Бэкона. У людей, которыми пользовалась Елизавета, ум направлялся большей частью строгим сознанием политического долга. Их благоговение перед королевой иногда представляется нам чрезмерным, но оно всегда находилось под руководством и контролем пылкого патриотизма и серьезного религиозного чувства; при всем своем уважении к правам короны люди эти никогда не теряли из вида закон. Высота и оригинальность ума Бэкона отдаляла его от подобных людей в такой же степени, как и растяжимость его нравственных понятий. В политике, как и в науке, он мало уважал прошлое. Право, конституционные вольности, религия представлялись ему только средствами для достижения известных правительственных целей, и если этих целей можно было достичь более коротким путем, он считал простым педантизмом отстаивание более сложных средств. Бэкон имел в виду осуществление крупных политических идей — реформу и кодификацию права, цивилизование Ирландии, очищение церкви, затем — объединение Шотландии и Англии, преобразования в области воспитания и материальной жизни и т. п.; по мнению Бэкона, всего скорее и проще можно было осуществить цели, воспользовавшись властью короны. Такое понимание королевской власти могло быть очень соблазнительно для преемника Елизаветы, но для нее представляло мало привлекательного, и до конца ее царствования все усилия Бэкона сделать на службе ей карьеру оставались безуспешными.

«Что до моего имени и памяти, — сказал он в конце своей жизни, — я предоставляю их снисходительности людей, иноземным народам и ближайшему веку». Среди политической деятельности и придворных интриг он находил еще время для продолжения философских исследований, начатых в ранней молодости. В 44 года, когда окончательно рушились его надежды на Елизавету, он издал обзор «Успехи наук» и тем впервые решительно выдвинул новую философию, над которой работал в тиши. По его собственным словам, это произведение оканчивалось «общим и точным обозрением науки с указанием того, какие части ее не затронуты, не исправлены и не изменены деятельностью человека, для того чтобы такой план, оставаясь в памяти, мог доставлять сведения для общественных целей и возбуждать личные усилия». По его мнению, только такой обзор мог отвратить людей от бесполезных занятий или от недействительных средств для достижения полезных целей и направить их к настоящей цели знания, как «богатой сокровищницы для прославления Создателя и облегчения положения людей». Трактат служил предисловием к ряду работ, которые должны были составить *Instauratio Magna* («Великое обновление»), но автору не суждено было его закончить и приготовленные части его были из-

даны при Якове I. Первым очерком *Novum organum*, в полном виде представленном Якову в 1621 г., служили *Cogitata et visa* («Мысли и наблюдения»). Через год Бэкон представил свою «Естественную и опытную историю». Этот трактат вместе с *Novum organum* и «Успехами наук» составляют все, что из задуманной *Instauratio Magna* было, действительно, закончено, но даже и здесь мы имеем только часть двух последних отделов. Прочие части целого, «Лестницу разумения», которая должна была следовать за ними и от опыта вести к науке, «Антиципации», или гипотезы, необходимые для исследования новой философии, и заключительный очерк «Приложения науки», он предоставил доканчивать потомству: «Мы надеемся, что положили недурное начало, — говорил Бэкон. — Будущее человеческого рода должно дополнить это и, быть может, таким образом, который не легко будет понять людям, имеющим в виду одно настоящее; от этого зависит не только отвлеченное благо, но все судьбы человечества и все его могущество». Обращаясь от подобных слов к тому, что было действительно сделано Бэконом, трудно не испытать известного разочарования. Он вполне понимал старую философию, предмет своих нападок. Его недовольство бесплодным расходом человеческого ума, которое он объяснял усвоением ложного способа исследования, скрывало от него настоящее значение дедукции как орудия открытия, и это пренебрежение к ней было еще усилено его невежеством в математике, а также отсутствием в его время двух великих дедуктивных наук — астрономии и физики. Не более точным было его представление о методе новой науки. Индукция, на которую Бэкон обращал исключительное внимание людей, в его руках не дала результатов. «Искусство исследования природы», которым он так гордился, оказалось непригодным для научных целей и было бы отвергнуто новыми исследователями. Его едва ли можно считать оригинальным там, где он был на более верной дороге: «Можно сомневаться, — говорит Дёголд Стьюарт, — заключается ли в его произведениях хоть одно важное указание касательно верного способа исследования, намека на которое нельзя было бы найти в сочинениях его предшественников». Но Бэкон не только не предугадал методов новой науки, но и отвергал великие научные открытия своего времени. Он отнесся с одинаковым пренебрежением к астрономической теории Коперника и к магнитным исследованиям Гилберта. Современные ученые по-видимому, платили ему той же монетой: «Лорд-канцлер писал о науке как лорд-канцлер», — заметил Харви, открывший кровообращение.

Но несмотря на неправильную оценку как старой, так и новой философии последующие века почти единогласно приписывали, и справедливо приписывали, Бэкону решительное влияние на развитие новой науки. Ему

удалось открыть способ опытного исследования, но он первый провозгласил существование философии наук и указал на единство знания и исследования во всем физическом мире; своим внимательным отношением к мелким частностям опыта, с которого должна была начинаться наука, он придал им важность; презрительным устранением преданий прошлого он расчистил путь для исследования; наконец, он потребовал для науки ее настоящего места и оценки и указал на громадность того влияния, какое ее разработка должна оказать на рост могущества и счастья человечества. В одном случае его поведение было в высшей степени знаменательно. В его время духовную энергию мира поглощало богословие. Притом он служил королю, который занятия богословием предпочитал всем другим. Но уступая Якову во всем прочем, Бэкон не соглашался подчиняться ему, подобно Казобону, в этом. Он не пытался даже, подобно Декарту, преобразовать богословие, обратив разум в орудие богословского доказательства. Он держался совсем в стороне от этой науки. Как политик он не уклонялся от разработки таких вопросов, как реформа церкви, но рассматривал их просто как вопросы гражданского управления. В своем подробном перечне отраслей человеческого знания он обошел одно богословие. Сам по себе его метод был не приложим к предмету, где посылки предполагались доказанными, а результаты известными. Бэкон стремился при помощи простого опыта определять неизвестное. Вся его система была направлена против подчинения авторитету и допущения традиции в вопросах исследования; он особенно настаивал на необходимости основывать веру на строгом доказательстве, а доказательство — на заключениях, выведенных разумом из очевидности. Но в богословии, по уверению всех богословов, разум играет подчиненную роль: «Если я обращаюсь к нему, — заметил Бэкон, — я должен буду покинуть ладью человеческого разума и перейти на корабль церкви; да и светила философии, до сих пор так прекрасно сиявшие над нами, перестанут давать нам свой свет». Притом, достоверность заключений о таких предметах не согласовалась с величайшей особенностью теории Бэкона — благородным признанием возможности для каждого исследователя ошибаться. Он считал своей обязанностью предостерегать людей от «призраков» знания, так долго мешавших его действительным успехам, от «идолов племени, пещеры, рынка и театра» — от ошибок, вытекающих из общего настроения людских масс, личных особенностей, странной власти над умом слов и фраз, преданий прошлого. Притязания богословия нелегко было примирить с тем значением, какое Бэкон прописывал естествознанию: «Во все времена, — говорит он, — когда люди, гениальные или ученые, пользовались особым или даже некоторым уважением, очень не-

большая часть человеческой энергии расходовалась на философию природы, хотя ее нужно считать главным источником знания; все остальное, если его отделить от этого корня, может, пожалуй, быть отделано и приспособлено к пользованию, но не может сильно развиться». Нравственные науки, этика и политика, могли бы сделать действительные успехи, только усвоив себе принадлежавший естествознанию индуктивный способ исследования и положив в основу своей работы данные науки о природе: «Нельзя ожидать больших успехов от наук, особенно прикладных, если в них не проникнет естествознание и, с другой стороны, если эти частные науки не обратятся снова к естествознанию. А пока астрономия, оптика, музыка, многие механические искусства и, что еще более странно, даже этика, политика и логика не далеко ушли от начала и только затрагивают разнообразием поверхность вещей». Бэкон первый обратил внимание всего человечества на важное положение и значение естествознания. В его время наука обращалась к областям, до того не подвергавшимся исследованию: Кеплер и Галилей создавали новую астрономию, Декарт открывал законы движения, а Харви — кровообращение. Но масса людей почти не замечала этого великого переворота, и только пыл, глубокое убеждение и красноречие Бэкона впервые обратили внимание человечества, как целого, на важное значение физического исследования. Своей глубокой верой в результаты и победу новой философии он вызвал в своих последователях столь же сильные рвение и уверенность. Он прежде всех указал на значение медленного и терпеливого исследования, опыта и сравнения, на необходимость жертвовать гипотезой факту и руководиться только стремлением к истине, что должно было стать законом для новой науки.

Глава VIII

Завоевание Ирландии (1588—1610)

В то время как внутри Англия становилась «гнездом певчих птиц», во последние годы царствования Елизаветы были временем блестящих побед. Неудача Армады была первым из тех поражений, которые сломили могущество Испании и изменили общее политическое положение. В следующем году 50 кораблей и 15 000 человек были посланы под командой Дрейка и Норриса против Лиссабона. Поход окончился неудачно, но англичане осадили Ла-Корунью, ограбили берег и на испанской земле отразили испанскую армию. Истощение казны скоро принудило Елизавету довольствоваться выдачей каперских патентов добровольцам, но война приобрела на

циональный характер, и народ повел ее за свой счет. Купцы, дворяне, вельможи снаряжали суда корсаров. Флибустьеры все в большем числе пускались в испанские воды; каждый месяц в гавани Англии приводились испанские галионы и купеческие суда. Между тем необходимость действовать во Франции удерживала Филиппа от нападения на Англию. Едва армада была рассеяна, как убийство Генриха III, последнего из Валуа, возвело на престол Генриха Наваррского, а появление протестантского государя сразу сделало всех католиков Франции сторонниками лиги и ее вождей, Гизов. Лига отвергла притязания Генриха, как еретика, провозгласила королем его дядю кардинала де Бурбона под именем Карла X и признала Филиппа покровителем Франции. Она получила от Испании помощь войском и деньгами, и это новое усилие Испании, успех которого мог привести к гибели Елизаветы, побудил последнюю помогать Генриху людьми и деньгами в борьбе против ополчившихся на него, по-видимому, подавляющих сил. Кабалась, раздираемая междоусобиями Франция обратится в вассала Испании, и Филипп надеялся с ее берегов переправиться в Англию. Но, наконец, лигу постигла неудача. После смерти марионеточного короля явилась мысль передать корону Франции инфанте Изабелле-Кларе-Эухении, дочери Филиппа II и его третьей жены Елизаветы де Валуа, сестры Генриха III. Но это вызвало недовольство в самом доме Гизов и усилило национальную партию, опасавшуюся подчинения Испании. Наконец, переход Генриха в веру, исповедуемую основной массой его подданных, расстроил все расчеты Филиппа на успех. «Париж стоит мессы», — будто бы сказал Генрих в объяснение своей измены делу протестантов, но этот шаг не только доставил ему Париж — он сокрушил все надежды на дальнейшее сопротивление, разрушил лигу и позволил королю во главе объединенного народа принудить Филиппа к признанию его титула и к заключению мира в Вервене. Крах надежд Филиппа на Францию был еще отягчен его неудачами на море. В 1596 г. в ответ на угрозу новой Армады английское войско смело произвело высадку в Кадисе. Город был разграблен и разрушен до основания, в гавани было сожжено тринадцать военных кораблей, а собранные для похода припасы истреблены целиком. Несмотря на этот сокрушительный удар, испанский флот в следующем году собрался и отплыл к берегам Англии; но, как и для его предшественника, бури оказались губительнее оружия англичан: корабли потерпели крушение в Бискайском заливе и почти все погибли.

С разрушением надежд Филиппа на Францию и утверждением английского господства на море со стороны Испании бояться было большего нечего, и Елизавета получила возможность обратить всю свою энергию на последнее дело, прославившее ее царствование.

Однако чтобы понять окончательное завоевание Ирландии, мы должны вернуться к царствованию Генриха II. В это время цивилизация острова сильно понизилась, сравнительно с тем уровнем, на каком она стояла, когда ирландские миссионеры принесли к берегам Нортумбрии христианство и науку. Просвещение почти исчезло. Христианство, бывшее в VIII в. жизненной силой, в XII в. выродилось в аскетизм и суеверие и перестало влиять на нравственность всего народа. Церковь не имела прочного устройства и поэтому не могла совершить ту работу, какую она исполнила в других странах Западной Европы, — не могла внести порядок в анархию враждующих племен, а напротив, сама подчинилась ей. Ее глава Корб, или архиепископ Армагский, превратился в наследственного главу клана; ее епископы не имели епархий и часто просто зависели от крупных монастырей. Хотя король Улстера считал себя главой королей Мёнстера и Коннаута, но едва оставались следы центральной власти, объединявшей племена в один народ; даже в этих мелких королевствах королевская власть была почти одним только именем. В этом общественном и политическом хаосе единственным живым организмом был род или клан, сохранивший учреждения древнейшего периода человеческой цивилизации. Главенство в клане не переходило по наследству, но не от отца к сыну, а к тому, кто в данное время оказывался старшим членом правящей семьи. Земля, принадлежавшая роду, делилась между его членами, но через известные промежутки происходили переделы. Обычай усыновления теснее привязывал усыновленного ребенка к приемным родителям, чем к его родной семье. В долгой и отчаянной борьбе с датчанами исчезли все задатки прогресса, внесенные в Ирландию. Основанные пришельцами прибрежные города, вроде Дублина и Уотерфорда, остались датскими по населению и обычаям и враждовали с соседними кланами кельтов, хотя иногда военные неудачи вынуждали их платить дань и признавать, пусть только на словах, власть туземных королей. Но через эти города в XI в. до некоторой степени возобновились сношения с Англией, прекратившиеся в VIII в. Национальная антипатия обособляла датские города от туземной церкви, и они стали обращаться за посвящением епископов в Кентербери и признавать за Ланфранком и Ансельмом право духовного надзора. Образовавшиеся, таким образом, отношения стали еще теснее благодаря торговле рабами, которую Завоеватель и епископ Вульфстан сумели было на время подавить в Бристоле, но которая скоро возобновилась. В XII в. Ирландия была наполнена англичанами похищенными и проданными в рабство вопреки запрещению короля и духовным угрозам английской церкви. Положение страны представляло законный повод к войне, если только честолюбию Генриха II нужен был пред

лог, и через несколько месяцев после коронации король послал Джона Солсберийского просить у папы разрешения напасть на остров. План в том виде, как он был предложен папе Адриану IV, носил характер Крестового похода. В качестве оснований вмешательства Генриха указывались — обособление Ирландии от остального христианства, отсутствие науки и просвещения, возмутительные пороки населения. По общему мнению того времени, все острова подчинялись власти папского престола, и Генрих просил у Адриана позволения вступить в Ирландию как в область римской церкви. Его целью было — «расширить пределы церкви, остановить распространение пороков, исправить нравы ее населения, насадить среди него добродетель и помочь усилению христианства». Он обязывался «подчинить народ законам, искоренить дурные обычаи, уважать права туземных церквей и добиться уплаты динария св. Петра», как доказательства верховенства римского престола. Адриан своей буллой (1155) одобрил предприятие, вызванное «рвением к вере и любовью к религии», и выразил желание, чтобы население Ирландии приняло его со всеми почестями и признало своим государем. Папская булла была прочитана на большом собрании английских баронов, но противодействие императрицы Матильды, матери короля, и трудности похода заставили Генриха на время отказаться от этих планов и обратить энергию на расширение материковых владений.

Прошло двенадцать лет, и при дворе Генриха появился ирландский вождь Дермод, король Лейнстера, и присягнул ему, как государю земель, из которых он был изгнан в одной из бесконечных усобиц, раздиравших остров. Получив от английского рыцарства обещание помощи, Дермод вернулся в Ирландию; за ним скоро последовал Роберт Фиц-Стефен, сын коменданта Кардигана, с небольшим отрядом из 140 рыцарей, 60 солдат и 300–400 уэльских стрелков. Хотя число пришельцев было невелико, но их кони и оружие оказались для ирландских пехотинцев непреодолимыми. Жители Уэскфорда заплатились за вылазку взятием их города, кланы Оссори потерпели кровопролитное поражение, и Дермод в диком восторге схватил из груди наваленных у его ног трофеев голову и откусил у нее нос и губы. Затем прибыли со свежими силами Морис Фиц-Джералд и Ричард де Клэр, граф Пемброк, разорившийся барон, которого позднее прозвали Стронгбау (Крепкий Лук) и который вопреки запрещению Генриха с отрядом в 1500 человек, нанятых Дермодом, высадился близ Уотерфорда. Город тотчас был взят, и соединенные силы графа и короля пошли осаждать Дублин. Король Коннаута, которого прочие кланы признавали государем острова, сделал попытку выручить город, но тот был взят врасплох; а брак Ричарда с Евой, дочерью Дермода, сделал его вскоре, после смерти тестя,

властителем Лейнстера. Но скоро новому правителю пришлось поспешить в Англию и успокаивать недоверие Генриха: он передал короне Дублин, присягнул за Лейнстер, как английский лен, и сопровождал короля в его поездке в новые владения, завоеванные для него искателями приключений. Если бы судьба позволила Генриху осуществить его намерение, завоевание Ирландии было бы закончено уже в это время. Правда, король Коннаута и вожди Северного Улстера отказали ему в присяге, но остальные племена Ирландии признали его верховенство, а епископы на соборе в Кэшеле провозгласили его своим повелителем. Генрих уже готовился проникнуть на север и запад и закрепить свои завоевания систематической постройкой замков по всей стране, когда смуты, последовавшие за убийством Томаса Бекета заставили его поспешить в Нормандию. Упущенный случай уже не повторялся. Правда, Коннаут согласился признать на словах верховенство Генриха, Джон де Курси проник в Улстер и утвердился в Даунпатрике, а король думал одно время назначить правителем Ирландии своего младшего сына Иоанна; но легкомыслие молодого принца, смеявшегося над грубой одеждой туземных вождей и в насмешку рвавшего им бороды, заставило отозвать его. Только распри и слабость ирландских племен и позволили авантюристам удержаться в округах Дрогеды, Дублина, Уэксфорда, Уотерфорда и Корка, которые того времени назывались английским Палисадом.

Если бы ирландцы прогнали пришельцев за море или если бы англичанам удалось полностью завоевать Ирландию, можно было бы избежать бедствий ее позднейшей истории. Борьба, подобная сопровождавшей изгнание англичан из Шотландии, могли бы вызвать дух патриотизма и национального единства, который из множества враждовавших кланов образовал бы один народ. Завоевание, подобное нормандскому в Англии, во всяком случае, утвердило бы среди покоренных закон, порядок, мир и просвещение победителей. К несчастью, Ирландия была слишком слаба, чтобы прогнать пришельцев, и в то же время достаточно сильна, чтобы держать их в страхе. Страна разбилась на две половины, находившиеся в постоянной вражде. Ненависть к более цивилизованным пришельцам только усиливала варварство туземных племен. Сами пришельцы, запертые в тесных пределах Палисада, быстро опускались до уровня окружавшего их варварства. В шайке авантюристов, захвативших землю силой, сказывались без помехи все беззаконие, жестокость и узость феодализма. Чтобы удержать их в подчинении английской короне, понадобились строгие меры Иоанна: его войско овладело их укреплениями и прогнало главных баронов в изгнание. Иоанн разделил (1200) Палисад на графства и предписал соблюдение английского права; но удаление его войска подало знак к возобновлению

подавленной им на время анархии. Всякий ирландец вне Палисада представлялся врагом и разбойником, и убийство его не преследовалось законом. Половину своих средств бароны добывали в набегах за границу, а эти набеги вызывали нападения туземных грабителей, доводивших свои опустошения до стен Дублина. В самом Палисаде друзья и враги одинаково притесняли и грабили английских поселенцев; в то же время распри английских баронов ослабляли их силу и мешали им вести успешно оборону и наступление. Высадка шотландского отряда во главе с Эдуардом Брюсом, братом Роберта I Брюса, короля Шотландии, и общее восстание ирландцев, «встретивших его, как освободителя», заставили баронов на время помириться, и в кровавой битве при Эзинри (1316) они доказали свою храбрость избиением 11 000 врагов и почти полным истреблением клана О'Конноров. Но вместе с победой вернулись анархия и упадок. Бароны все более и более превращались в ирландских вождей: Фиц-Морисы, ставшие графами Десмонд и возведенные за их крупные владения на юге в маркизаты, приняли одежду и обычаи соседних туземцев. Роста этого зла не могли задержать постановления статута Килкенни (1366), запрещавшего всякому англичанину принимать язык, имя и одежду ирландца; далее статут предписывал применение в пределах Палисада английского права и объявлял изменой усиливавшееся подчинение туземному праву брегенов, а также браки между англичанами и ирландцами и усыновление английских детей ирландскими родителями. Несмотря на свою строгость, эти постановления оказались не в силах остановить слияние двух племен, а усиление независимости лордов Палисада сохранило только тень подчинения английскому правительству. Это вызвало со стороны Ричарда II серьезную попытку завоевания и устройства острова. В 1394 г. он высадился с войском в Уотерфорде и добился общего подчинения туземных вождей; но лорды Палисада угрюмо держались в стороне, и едва Ричард покинул остров, как ирландцы также отказались исполнить свое обещание — очистить Лейнстер. В 1398 г. наместник Ирландии погиб в битве, и Ричард решил закончить свое дело новым походом, но смуты в Англии скоро прервали его действия, и с удалением его солдат исчезли все следы его деятельности.

Возобновление войн во Франции и взрыв Войны Роз снова предоставили Ирландию самой себе, и верховенство Англии над ней превратилось просто в тень. Наконец, за дело взялся Генрих VII. Он послал наместником сэра Эдуарда Пойнингса, который навел страх на лордов Палисада захватом их предводителя графа Килдера; знаменитый закон Пойнингса запретил в 1494 г. парламенту Палисада рассматривать какие-либо вопросы, кроме одобренных предварительно английским королем и его советом. Но пока

лорды Палисада все ее должны были служить английским гарнизоном против непокорных ирландцев, и Генрих назначил наместником своего племянника лорда Килдера. «Вся Ирландия не может справиться с ним», — роптали его министры. «Так пусть он правит всей Ирландией», — ответил король. Но хотя Генрих VII и начал дело усмирения Ирландии, у него не хватило сил добиться настоящего подчинения, и крупные нормандские лорды Палисада — Бётлеры и Джералдины, Делапоры и Фиц-Патрики, подчинившись на словах, на деле пренебрегали властью короля. По обычаям и по внешнему виду они совсем обратились в туземцев; они так же непрерывно враждовали между собой, как и ирландские кланы; а их господство над несчастными жителями Палисада соединяло ужасы феодального угнетения и кельтской анархии. Несчастные потомки первых английских поселенцев терпели от налогов, притеснений и беспорядков; их грабили одинаково и кельтские разбойники, и набираемые для их преследования войска; они даже предпочитали ирландское безначалие английскому «порядку», и граница Палисада все придвигалась к Дублину. Единственное исключение из общего хаоса составляли приморские города, охраняемые своими стенами и самоуправлением; во всех других своих владениях английское правительство, достаточно сильное для подавления открытого восстания, было чистым призраком власти. У кельтских кланов вне Палисада исчезли даже те остатки цивилизации и племенного единства, которые сохранялись до времен Стронгбау. Распри кельтских кланов отличались таким же ожесточением, как и их ненависть к чужеземцам, и дублинскому правительству было легко поддерживать вражду, избавлявшую его от необходимости обороняться среди народа «с таким характером, что за деньги сына можно поднять против отца, отца против сына». В течение первых 30 лет XVI в летописи области, оставшейся под властью туземцев, упоминают больше чем о сотне набегов и битв среди кланов одного севера. Но, наконец, для Англии настало время серьезной попытки внести порядок в этот хаос своей эволюции и неурядиц. Для Генриха VIII политика, которой следовал его отец, управление Ирландией при посредстве ее крупных вельмож, была прямо ненавистна. В Ирландии он хотел править так же самовластно и полно, как и в Англии, и во вторую половину царствования он обратил всю свою энергию на достижение этой цели. Уже с самого вступления его на престол ирландские лорды почувствовали на себе тяжелую руку повелителя. Джералдины, в предыдущее царствование от имени короля управлявшие Ирландией, скоро заметили, что корона не желает больше служить для них орудием. Их глава граф Килдер был приглашен в Англию и посажен в Тауэр. Тогда могучий род решил снова доказать Англии ее беспомощность,

лорд Томас Фиц-Джералд поднял обычным способом восстание. Архиепископ Дублина был убит, город взят, но цитадель устояла, страна опустошена, а затем при приближении английского войска мятежники вдруг исчезли в пограничных болотах и лесах. Обыкновенно на подобное нападение отвечали таким же набегом, точно так же терпели неудачу под замком мятежного вельможи и затем так же отступали, после чего начинались переговоры и заключалось соглашение. К несчастью для Джералдинов, Генрих решил серьезно взять Ирландию в руки, и для выполнения этого желания у него был Кромвель. Новый наместник Скеффингтон привез с собой артиллерийский парк, появление которого сразу изменило политическое положение острова. Служившие прежде для мятежников убежищами, замки были обращены в развалины. Мэйнус, — твердыня, из которой Джералдины угрожали Дублину и по своему произволу управляли областью, — в две недели был сравнен с землей. Удар был настолько сокрушителен и неожидан, что сопротивление сразу прекратилось. Могущество великой нормандской фамилии, господствовавшей над Ирландией, было совершенно сломлено, и для продолжения ее остался один ребенок.

С падением Фиц-Джералдов Ирландия почувствовала себя во власти повелителя: «Ирландцы, — писал Кромвелю один из главных судей, — никогда не были в таком страхе, как теперь. В пяти графствах королевские суды заседают больше, чем прежде». Генриху подчинились не только англичане Палисада, но и крестьяне Уиклоу и Уэксфорда изъявили покорность. В первый раз в памяти людей английское войско явилось в Мёнстере и привело юг в подчинение. Замок О'Брайенов, охранявший переход через Шэннон, был взят приступом, и падение его повлекло за собой подчинение Клэров. Взятие Этлона сопровождалось покорением Коннаута и обеспечило верность великой нормандской фамилии де Барсов, пользовавшихся почти королевским влиянием на западе. Сопротивление племен севера было сломлено победой при Беллаго. Раньше власть короны ограничивалась стенами Дублина, а в семь лет (1535–1542), отчасти благодаря энергии нового наместника лорда Леонарда Грея, а еще больше благодаря настойчивости Генриха и Кромвеля, власть эта распространилась на всю Ирландию. Но Генрих желал не одного только подчинения: он хотел цивилизовать покоренный народ, править им при помощи не силы, а закона. Но под законом король и его министры могли понимать только английское право. Господствовавшее у туземцев обычное право, устройство кланов и родовое землевладение, а также поэзия и литература, прославившие язык ирландцев, оставались неизвестными английским политикам или, как варварские, вызывали в них презрение. Их уму представлялся один только способ цивилизовать Ирландию и устранить ее хаос

тическую неурядицу, это — уничтожить все кельтские традиции ирландского народа, «сделать Ирландию английской» по обычаям, закону и языку. Существовавшие уже в Палисаде наместник, парламент, судьи, шерифы представляли бледную копию учреждений Англии; имелось в виду постепенно распространить их на весь остров. Думали, что вслед за английским законом водворятся английские обычаи и язык. Единственный действенный способ для проведения такого преобразования заключался в полном подчинении острова и заселении его английскими колонистами; но даже железная воля Кромвеля отступила перед этим приемом, хотя на него настойчиво указывали его помощники и поселенцы Палисада. Он был в одно и то же время слишком кровав, и слишком дорог. Способом более надежным, дешевым, человечным и политичным представлялось привлечь на свою сторону вождей, а при помощи политики и терпеливого великодушия превратить их в английских вельмож, воспользоваться обычной преданностью членов клана своим вождям, как средством к распространению среди них нового образования, и предоставить времени и твердому управлению постепенное образование страны. Еще до падения Джералдинов Генрих решил следовать этой системе и стал применять ее к Ирландии, когда завоевание подчинило ее. Нужно было убедить вождей в преимуществе правосудия и законного порядка. Обещанием «сохранить за ними их собственность» нужно было устранить их опасения, что под каким-нибудь предлогом «их прогонят с их земель и принадлежащих им по закону владений». Нужно было обращать внимание даже на их возражения против введения английского права и соотносить местные условия усиливать или смягчать применение закона. При возвращении земель или прав, очевидно принадлежавших короне, строгим мерам следовало предпочитать «мягкие средства, тонкие уловки, дружеские уговоры». Эта примирительная система и проводилась, в общем, английским правительством при Генрихе и двух его преемниках. Вожди один за другим соглашались на принятие договора, гарантировавшего им владение землями и оставлявшего неприкосновенной их власть над членами клана при условии обещания верности, воздержания от незаконных войн и притеснения соплеменников, уплаты короне известной подати и несения военной службы. В залог верности требовались только принятие английского титула и воспитание сына при английском дворе, но в некоторых случаях, например с О'Нейлами, требовалось обязательство применить английский язык и одежду и поощрять земледелие и сельское хозяйство. Согласие на такие условия достигалось не просто угрозой власти короля, но и крупными подарками. Действительно, это изменение доставляло вождям много выгод. При принятии новых титулов им не только жаловались земли упраздненных монастырей

но английские суды, незнакомые с ирландским обычаем родового землевладения, признавали вождей единственными собственниками земли.

Достоинства этой системы были несомненны; понимания ее недостатков трудно было ожидать от политиков этой эпохи, полагавших, что можно ожидать возрождения Ирландии только при усвоении ею английской культуры. Запрещение национальной одежды, обычаев, законов и языка могло представляться им просто упразднением варварства, мешавшего всякому прогрессу. В это время роковой промах вызвал в Ирландии религиозную борьбу. Церковный строй Ирландии отличался, пожалуй, не меньшей хаотичностью, чем ее политические порядки. Уже с прибытия Стронгбау не существовало единой ирландской церкви, по той простой причине, что не было единого ирландского народа. Между церковью за пределами Палисада и церковью в пределах его не было ни малейшего различия ни в учении, ни в устройстве; но в пределах Палисада духовенство по происхождению и языку было исключительно английским, а вне их — исключительно ирландским. В английских владениях в монастыри и церкви ирландцев не допускал закон; в ирландских — не допускало англичан недоброжелательство туземцев. В религиозном отношении страна, в сущности, находилась на том же уровне; как и в политическом. Распри и беспорядки оказали роковое влияние на церковную дисциплину. Подобно окружавшим вождям, епископы были светскими деятелями или суровыми воинами, пренебрегавшими своими кафедрами, доводившими свои соборы до разрушения. В целых епархиях церкви были в развалинах и без священников. Единственными проповедниками являлись нищенствующие монахи, но результаты их проповеди были незначительны: «Если король не найдет лекарства, — говорили в 1525 г., — скоро здесь будет не больше христианства, чем в Турции». К несчастью, лекарство, найденное Генрихом, было хуже болезни. Политически Ирландия составляла одно целое с Англией, и великий переворот, отделивший одну страну от Рима, распространился, естественно, и на другую. Правда, сначала последствия его казались довольно незначительными. Волновавший Англию вопрос о верховенстве при переходе в Ирландию встретил затруднение только в общем равнодушии. Все готовы были принять его, не думая о последствиях. Епископы и духовенство в пределах Палисада подчинились воле короля так же легко, как и собратья в Англии, и их примеру последовали прелаты, по крайней мере четырех епархий Ирландии. Туземные вожди стеснялись не больше лордов совета отказываться от подчинения епископу Рима и признавать Генриха «верховным главой церкви Англии и Ирландии под властью Христа». Здесь не было того противодействия упразднению монастырей, какое было выказано по ту сторону пролива; напротив, жадные вожди обнаружили сильное стрем-

ление к участию в разделе церковных земель. Но следствия этих мер оказались роковыми для слабых остатков культуры и религии, еще пощаженных вековой неурядицей. Несмотря на свои недостатки, монастыри были в Ирландии единственными школами. Приходские священники, столь многочисленные в Англии, были редки в Ирландии: в церквях, зависевших от монастырей большей частью служили сами монахи, и упразднение их обителей во многих округах страны прервало общественное богослужение. Несмотря на все запрещения, нищенствующие монахи продолжали трудиться и учить, и это ставило их во враждебные отношения к английскому правительству.

Если бы навязанные стране церковные реформы ограничились этим, они, в сущности, повредили бы еще немного. Но в Англии разрыв с Римом, упразднение монашеских орденов и установление верховенства короля над церковью вызвали в части самого народа стремление к богословской реформе, которое Генрих разделял и которое он старался постепенно удовлетворять. В Ирландии никогда не существовало духа реформации в целом народе. Народ принял законодательные меры, проведенные в английском парламенте, нисколько не думая о богословских следствиях этого или о каких-либо переменах в церковном учении и обрядах. Ни один голос не потребовал отмены богомолий, истребления икон, реформы общественного богослужения. Присылка в 1535 г. архиепископа Брауна «для низвержения идолов и искоренения идолослужения» была первым шагом в ряду усилий английского правительства навязать новую веру народу, целиком и страстно преданному своей старой религии. Попытка Брауна повлиять на проповедь была встречена молчаливым и упорным сопротивлением. «Ни кротким увещанием, — писал примас Кромвелю, — ни евангельским наставлением, ни взятием с них торжественной клятвы, ни даже угрозой строгого наказания не мог я со времени моего прибытия убедить или побудить кого-либо из монахов или священников проповедовать Слово Божие или истинность титула нашего славного государя». Даже принятое так спокойно верховенство было подвергнуто сомнению, когда выяснились следствия его принятия. Епископы воздерживались от исполнения приказа — вычеркнуть из служебников имя папы. Проповедники сохраняли полное молчание. Когда Браун приказал истребить иконы и мощи в своем соборе, ему пришлось доносить, что настоятель и каноники «находят их столь важными для своей выгоды, что не слушают моих слов». Но Кромвель настаивал на установлении церковного единообразия между двумя островами, и примас заражался отчасти энергией своего покровителя. Непокорных священников сажали в тюрьму, образа устранили из церквей, посох Св. Патрика, пользовавшийся величайшим поклонением ирландцев, сожгли

на рыночной площади. Но поддержку в своей деятельности примас находил только в Англии. Ирландский совет относился к ней холодно. Лорд-наместник с молитвой преклонил колена перед иконой в Тримере. Молчаливое, но упорное сопротивление сокрушило усилия Кромвеля, а с его падением надолго наступила приостановка церковных реформ, которые он навязывал покоренной стране. Но со вступлением на престол Эдуарда VI проведение реформ возобновилось со всей энергией протестантского рвения. Епископы были вызваны к наместнику и получили от него новый английский служебник, который, хотя и был написан на языке столь же чуждом ирландцам, как сама латынь, должен был в каждой епархии заменить латинский служебник. Приказ подал знак к открытой борьбе: «Теперь мессу будет читать всякий неученый человек», — воскликнул Даудел, архиепископ Армагский, со всеми своими викариями, кроме одного, бросаясь из комнаты. С другой стороны, епископы Миза, Лимерика и Килдера последовали за Брауном Дублинским в изъявлении покорности. Но это разделение епископов вовсе не привело правительство в уныние. Даудел был изгнан из страны, а вакансии были замещены протестантами самого крайнего направления, например Бэлом. Но такие меры не могли произвести никакой перемены в мнениях самого народа. Новые епископы-преобразователи не говорили по-ирландски, а грубые крестьяне, окружавшие их кафедры, не понимали ни слова в их английских проповедях. Туземные священники сохраняли молчание. «Проповеди у нас совсем нет, — доносит ревностный протестант, — а без этого невежда не может приобрести знание». На прелатов, пользовавшихся новым служебником, смотрели просто, как на еретиков. Один из членов паствы епископа Мизского объявил ему: «Знай только народ, как это сделать, он бы съел вас». Протестантизму не удалось отвлечь от старых убеждений ни одного ирландца, но он сумел поднять против короны всю Ирландию. Новая борьба за общую веру устранила старые политические различия, созданные завоеванием Стронгбау. Население внутри и вне Палисада объединилось, по верному замечанию, «не как ирландский народ, а как католики». В религиозном единстве открылось новое чувство единства национального: «И англичане, и ирландцы начинают одинаково противиться приказам вашего лордства, — писал много лет раньше Браун Кромвелю, — и забывать свои прежние национальные распри».

Со вступлением на престол Марии этот слабый ирландский протестантизм незаметно исчез. В Ирландии не было протестантов, кроме новых епископов, и когда Бэл бежал за море, а его товарищи были низложены, церковь вернулась к своей прежней форме. Однако попытки восстановить монастыри не было, и Мария с такой же энергией, как и ее отец, пользовалась своей

властью: низлагала и назначала епископов и не допускала вмешательства папы в ее церковную политику. Она восстановила мессу, вернула значение старым обрядам богослужения, и религиозное несогласие между правительством и его ирландскими подданными на время было устранено. Однако с устранением одной опасности явилась другая. Англии все более надоедала примирительная политика, которой настойчиво следовали Генрих VIII и его сын. Пока она сопровождалась именно таким успехом, какого ожидали Уолси и Кромвель: вожди спокойно перенимали систему, а их кланы подчинялись новому порядку, следуя их примеру: «Подчинение графа Десмонда легко повлекло за собой подчинение остального Мёнстера. Пожалование в графы О'Брайена покорило всю эту область». Мэк-Уильям стал лордом Клэнрикардом, а Фиц-Патрики — бароном Верхнего Оссори. Посещение английского двора крупным вождем севера, принявшим титул графа Тайрона, считалось важным шагом в деле цивилизации Ирландии. На юге, где постепенно распространялось господство английского права, вожди заседали рядом с английскими мировыми судьями, и кое-что было сделано для ослабления распри и беспорядка у диких племен, обитавших между Лимериком и Типперари: «Люди могут спокойно проходить по этим графствам не боясь грабежа или другой обиды». В графстве Клэнрикард, некогда опустошенном войной, «со дня на день развивается земледелие». Но в Тайроне и на севере старая неурядица господствовала без стеснения; да и всюду ход улучшения своей медленностью раздражал терпение английских наместников. Между тем единственная надежда на действительный успех заключалась именно в терпении, а были признаки того, что Дублинскому правительству надоедало ждать. При протекторе Сомерсете «грубое обращение» с вождями наместника сэра Беллингэма вызвало дух мятежа, исчезнувший только тогда, когда истощение казны заставило его вывести гарнизоны, расставленные им в сердце страны. При Марии его преемник Томас Рэдклифф, граф Сассекс, бесплодно производил набег за набегом на упорные племена севера и однажды сжег Армагский собор и три церкви. Более серьезным нарушением примирительной системы служило принятие Сассексом постоянно отвергавшегося Генрихом проекта английской колонизации: он отдал английским поселенцам область О'Конноров и образовал из нее графства, названные в честь Филиппа и Марии графствами короля и королевы. Между поселенцами и обезземеленными кланами тотчас началась жестокая борьба, окончившаяся только при Елизавете истреблением ирландцев. Для размежевания пустых земель были назначены комиссары, с целью распространить колонизацию и на другие округа, но гнет войны с Францией положил конец этим широким планам. Елизавета сразу признала обезземеление и колонизацию

опасными, и благоразумный Сесил вернулся к более надежной, хотя и более медленной системе Генриха.

Однако между туземцами уже распространилась боязнь английского нашествия, и это вызвало восстание севера и появление вождя гораздо более энергичного и способного, чем с какими до того приходилось бороться правительству. Переход графства Тайрона к вождю О'Нейлей неизбежно привел к столкновению между системами наследования, признанными английским и ирландским правом. После смерти графа Англия признала наследником его титула старшего сына, а клан настаивал на своем старом праве выбора вождя из семьи и предпочел младшего сына Шэна О'Нейла. Сассекс поспешил на север, чтобы решить вопрос силой оружия; но прежде, чем он достиг Улстера, деятельный Шэн успел успокоить вражду своих соперников О'Доннелов Донегэла и привлечь на свою сторону скоттов Антрима. «С прибытия моего сюда, — писал Сассекс, — ни ирландец, ни скотт никогда не решались противиться англичанину в поле или в лесу»; но Шэн внушил своим воинам новую храбрость и, напав на войско наместника с отрядом вдвое меньшим, отбросил англичан в беспорядке к Армагу. Обещание помилования побудило его посетить Лондон и выразить притворную покорность, но едва он вернулся целым домой, как отказался от ее условия и остался фактически властителем севера, расстроив в утомительной борьбе попытки лорда-наместника захватить или отравить его. Успех еще более расширил его честолюбивые планы; он вторгся в Коннаут и сильно стеснил Клэнрикард, а на представление Дублинского совета отвечал смелым вызовом: «Мечом приобрел я эти земли и мечом же буду их защищать». Но смелость его разбилась об искусство и энергичность сэра Генри Сидни, преемника Сассекса. В то время как английская армия двигалась от Палисада, Сидни поднял восстание против О'Нейлов враждебных им кланов севера; Шэн был разбит О'Доннелами, искал убежища в Антриме и в пьяной ссоре был изрублен на куски своими хозяевами. Победа Сидни (1567) обеспечила несчастной стране десять лет мира; но папы уже выбрали себе Ирландию полем, на котором им можно было удобно вести борьбу с Елизаветой. На деле религиозного вопроса здесь почти не существовало. Правда, со вступлением Елизаветы на престол церковная политика протестантов была возобновлена на словах: возобновлено отречение от Рима, новым актом единообразия остроуму навязан английский служебник и вменено в обязанность присутствие при службе, в которой он применялся. Как и прежде, все, казалось, подчинились закону; ему последовали даже епископы ирландских округов, и единственные известные нам исключения оказывались на крайнем юге и севере, где ввиду отдаленности сопротивление не представляло опасности. Но настоя-

щей причиной этого внешнего подчинения акту единообразия служило то, что на деле оно по необходимости оставалось мертвой буквой. Не было возможности найти достаточное число английских священников или таких ирландских, которые были бы знакомы с английским языком. Одной из самых образованных епархий была Мизская, но и там из ста священников едва десять знали какой-либо язык, кроме своего. Обещание перевести служебник на ирландский язык никогда не было исполнено, и заключительное постановление самого акта позволяло употребление латинского перевода впредь до дальнейшего приказа. Но подобно другим постановлениям, и это не соблюдалось, и во все царствование Елизаветы дворянство Палисада спокойно посещало мессу. В сущности, религиозного преследования не было, и среди многих жалоб Шэна О'Нейла мы не находим упоминания о религиозных притеснениях за веру. Далеко не так смотрели на дело Рим и Испания, католические миссионеры и ирландские изгнанники. Они утверждали, и может быть верили, что ирландский народ страдает от религиозного преследования и стремится от него избавиться. Когда в 1579 г. папа задумал самое крупное и широкое нападение на Елизавету, то увидел в преданности ирландцев католицизму рычаг для низвержения еретической королевы. Стёкли, ирландский изгнанник, давно внушал папе и Испании план высадки в Ирландии, и, наконец, его мысль была осуществлена высадкой небольшого отряда на берегах Керри. Несмотря на прибытие в следующем году 2000 папских солдат в сопровождении легата, попытка окончилась жалкой неудачей. Новый наместник лорд Грей принудил к сдаче форт Смеруик, где укрепились пришельцы, и беспощадно истребил его гарнизон. После долгого колебания на помощь им восстал граф Десмонд, но был разбит и подвергся преследованию в своей собственной области, которую доведенные страхом до жестокости преследователи обратили в пустыню. Безжалостное наказание Мёнстера распространило в стране страх, принесший большую помощь Англии, когда борьба с католицизмом достигла высшей степени при отражении Армады. В этот памятный год не восстал ни один вождь; они только истребляли людей, потерпевших крушение у берегов Бентри и Слиго.

С этого времени вся страна признавала власть правительства, но эта власть основывалась только на страхе. В годы, следовавшие за подчинением Мёнстера, насилия и вымогательства солдатни, опьяненной грабежом и кровопролитием на юге, вызвали мятеж более грозный, чем с каким до того приходилось иметь дело Елизавете. Общая ненависть к притеснителям снова объединила племена Улстера, разъединенные политикой Сидни, а в Хью О'Нейле они нашли вождя даже более искусного, чем Шэн. Хью был воспитан при английском дворе и по манерам и обращению стал англичанином; за посто-

янную верность в прежние восстания он был награжден пожалованием графства Тайрона, а в споре с соперником из своего клана он обеспечил себе помощь правительства, предложив ввести в свою новую область английские законы и разделение на графства. Но едва он стал бесспорным хозяином севера, как постепенно его тон изменился. С заранее ли обдуманном намерением или подозревая в англичанах замыслы против себя, он занял, наконец, вызывающее положение. В то самое время как договор в Вервене и крушение второй Армады освободили Елизавету от войны с Испанией, восстание Хью О'Нейла нарушило спокойствие, господствовавшее после побед лорда Грея. Ирландский вопрос стал главной заботой королевы. Сначала казалось, что прежнее счастье ей изменило. Поражение английских войск в Тайроне вызвало общее восстание кланов севера, а предпринятая в 1599 г. настойчивая попытка подавить растущее восстание окончилась неудачей благодаря тщеславию и непослушанию, если не преступному соучастию, наместника королевы молодого графа Эссекса. Его преемник Чарльз Блаунт, лорд Маунтджой, при своем прибытии нашел в своей власти только несколько миль вокруг Дублина; но за три года восстание было приведено к концу. Испанский отряд, высадившийся для поддержки его в Кинсэле, был принужден сдаться; овладев страной, англичане закрепили ее за собой линией крепостей; энергия и беспощадность нового наместника сокрушили всякое открытое сопротивление, а голод, последовавший за опустошением страны, dokonчил разрушительное действие меча. Хью О'Нейл был с торжеством приведен в Дублин; граф Десмонд, снова поднявший восстание в Мёнстере, искал убежища в Испании, и наконец дело завоевания было приведено к концу. В управление преемника Маунтджоя сэра Чичестера была сделана серьезная и ловкая попытка умиротворить завоеванную область введением всюду чисто английской системы управления, суда и землевладения. Все следы старого кельтского устройства страны были отвергнуты, как «варварские». Закон отнял у вождей их власть над кланами и поставил в положение крупных вельмож и землевладельцев; члены кланов из подданных превратились в арендаторов, плативших своим лордам только известные обычные оброки и повинности. Система кланового землевладения была устранена, и наделы членов клана были обращены в чиншевые участки (copyholds) английского права. Таким же путем у вождей было отнято их наследственное право суда, и английская система решения дел судьями и присяжными заменила суд по обычному праву брегонов. Всему этому кельты противопоставили непреклонное упрямство своей расы. Ирландские присяжные, как и теперь, отказывались обвинять. Члены кланов были рады освобождению от произвольных вымогательств своих вождей, но все еще считали их за начальников. По

внушению из Англии Чичестер сделал попытку ввести религиозное единообразие, но потерпел неудачу: англичане Палисада оказались такими же католиками, как и природные ирландцы, и единственным следствием попытки было создание на общей религиозной основе единого ирландского народа. Впрочем, твердое, но умеренное управление наместника достигло многого, и уже показывались признаки готовности народа постепенно усваивать новые обычаи, как вдруг при преемнике Елизаветы (1610) английский совет принял и провел великую революционную меру, известную как колонизация Улстера. Мирная консервативная политика Чичестера была заменена политикой широких конфискаций: две трети Северной Ирландии были объявлены собственностью короны ввиду того участия, какое владельцы ее принимали в недавней попытке восстания, а земли, приобретенные таким образом, были разделены между новыми поселенцами из Шотландии и Англии. В материальном отношении заселение Улстера, несомненно, сопровождалось блестящим успехом. Среди печальных пустошей Тайрона всюду появились хутора и усадьбы, церкви и мельницы. Городской совет Лондона предпринял колонизацию Дерри и дал маленькому городу имя, столь прославленное его геройской защитой. Основы материального благосостояния, поставившего Улстер высоко над остальной Ирландией по богатству и просвещению, положены, несомненно, конфискацией 1610 г. Кроме тайного недовольства эта мера в свое время не вызвала никакого сопротивления; выселенные туземцы угрюмо удалились на земли, оставленные им грабителями. Но эта мера отняла у ирландцев всякую веру в справедливость англичан и посеяла семена рокового недоверия и вражды, с которыми впоследствии приходилось бороться при помощи тирании и кровопролития.

Заселение Улстера вывело нас за границы описываемого периода. Блеск побед Маунтджоя озарил последние дни Елизаветы, но не мог разогнать печали умирающей королевы. Она всегда стояла одиноко, а по мере приближения к могиле ее одиночество еще усиливалось. Политики и воины ее первых лет один за другим исчезали из ее совета, а их преемники выжидали ее последних минут и интриговали из-за милостей будущего государя. Ее любимец лорд Эссекс был вовлечен в нелепое восстание, приведшее его на эшафот. Старый блеск ее двора побледнел и исчез. При ней остались только одни должностные лица, «прочие члены совета и вельможи при всяком случае уклоняются». При появлении ее перед публикой, народ, одобрения которого она всегда добивалась, соблюдал холодное молчание. Менялся дух века, и по мере этого изменения ее одиночество все усиливалось. Выросшая вокруг Елизаветы новая Англия, с ее серьезностью, прозаичностью и моралью, относилась холодно к этому блестящему, причудливому, бессовестному детищу свет-

ского Возрождения. Елизавета наслаждалась жизнью так, как наслаждались ею люди ее времени, и теперь, когда они исчезли, держалась за нее с большим упорством. Она охотилась, танцевала, шутила со своими молодыми любимцами; в 67 лет она кокетничала, бранилась, шалила, как делала это в тридцать: «Королева, — писал за несколько месяцев до ее смерти один придворный, — уже много лет не была так кокетлива и не стремилась так к увеселениям». Несмотря на отговоры, она продолжала свои пышные переезды из одного поместья в другое. Она по-прежнему занималась делами и по своей обычной привычке бранила «тех, кто не хотел уступать ей в важных вопросах». Но смерть приближалась. Лицо королевы приобрело дикий вид, ее фигура превратилась в скелет. Наконец, у нее исчезло ее стремление к щегольству, и она по целым неделям отказывалась менять платье. Ею овладела странная меланхолия: «...она держала в руках золотой кубок, — говорит человек, видевший ее перед смертью, — и часто подносила его к губам, но ее сердце, казалось, было слишком переполнено, чтобы нуждаться в наполнении». Постепенно она теряла рассудок. Она утратила память, ее бурный характер стал невыносимым; казалось, ее покинуло даже мужество. Она велела постоянно класть подле себя меч и время от времени протыкала им обои, как будто за ними ей представлялись убийцы. Она потеряла вкус к пище и ко сну. День и ночь она сидела в кресле, обложенная подушками, приставив палец к губам и уставив глаза в пол, не говоря ни слова. Однажды она прервала молчание вспышкой своей старой властности. Когда Роберт Сесил сказал ей, что она «должна» лечь в постель, слово это подействовало на нее, как звук трубы: «Должна! — воскликнула она. — Разве можно говорить государям — «должны»? Жалкий человек, жалкий человек! Если бы твой отец был жив, он не решился бы употребить это слово». Потом, когда ее гнев прошел, она впала в свое прежнее уныние: «Ты потому так самонадеян, — сказала она, — что, как ты знаешь, я должна умереть». Она оживилась еще раз, когда окружавшие постель министры назвали в качестве возможного преемника лорда Бошана*, наследника притязаний Сеффолков: «Я не хочу, чтобы мне наследовал сын негодя», — закричала она грубым голосом. Когда упомянули короля Шотландии, она не сказала ничего и только кивнула головой. Она постепенно теряла сознание, и на другой день рано утром угасла жизнь Елизаветы — жизнь, столь великая и в своем величии столь необыкновенная и одинокая.

* Эдуард Сеймур, лорд Бошан, (1561–1612) был сыном Кэтрин Грей, младшей сестры казненной леди Джейн Грей, от ее брака с Эдвардом Сеймуром, графом Гертфордом, сыном герцога Сомерсета, регента при Эдуарде VI. По непонятным причинам Елизавета ненавидела свою родственницу Кэтрин Грей, к тому же, видя в ней возможную претендентку на трон, запрещала ей выходить замуж. За нарушение запрета Кэтрин и Сеймур были даже посажены в Тауэр.

Часть 8

Пуританская Англия

Глава I

Пуритане (1583—1603)

Никогда ни с одним народом не происходило такой крупной нравственной перемены, какую пережила Англия в годы, отделявшие середину царствования Елизаветы от собрания Долгого парламента. Перемену эту вызвала книга, и этой книгой была Библия. Тогда она была единственной английской книгой, знакомой всякому англичанину; ее читали в церквях и читали дома, и всюду ее слова, поражая слух, не притупленный привычкой, вызывали поразительный восторг. Когда епископ Боннер выставил в церкви Св. Павла шесть первых Библий, «многие благомыслящие люди часто приходили слушать их, особенно когда они могли найти человека, читавшего им внятным голосом... Иногда этим добрым делом занимался некий Джон Портер, в назидание для себя и других. Этот Портер был свежий молодой человек сильного сложения, и большие толпы собирались туда слушать его, потому что он умел хорошо читать и имел внятный голос». Но «доброе дело» таких чтецов, как Портер, скоро было заменено постоянным чтением как Ветхого, так и Нового Завета в общественном богослужении, а маленькие женевские Библии ввели Писание в каждую семью. Популярность Библии, помимо религиозной, объяснялась еще и другими причинами. За исключением забытых трактатов Уиклифа, вся прозаическая литература Англии возникла с перевода Священного Писания Тиндейлом и Корвеллом. Когда было приказано выставить Библию в церквях, для целого народа на английском языке не существовало ни истории, ни романа, ни почти никакой поэзии, кроме малоизвестных произведений Чосера. Воскресенье за воскресеньем, день за днем толпы собиравшихся вокруг Библий во время домашних молитвенных собраний пропитывались новой литературой. Легенда и летопись, военная песнь и псалом, грамота и биография о странствованиях проповедников, об опасностях на море и среди язычников, философские доказательства, апокалипсические видения — все

это попадало в умы, большей частью незатронутые другим знанием. Открытие сокровищ греческой литературы вызвало переворот, называемый Возрождением; знакомство с древнееврейской литературой вызвало Реформацию. Но последний переворот отличался гораздо большей глубиной и широтой результатов, чем первый. Никакой перевод не мог передать на другом языке своеобразной прелести речи, составляющей главное достоинство писателей Греции и Рима. Поэтому классические литературы оставались доступными только ученым, т. е. немногим; в их кругу, за исключением Колета и Мора, а также педантов, ожививших в садах Флорентийской академии языческое служение, литература влияла прямо только на умы. Язык евреев, наречие эллинистических греков поддавались переводу с удивительной легкостью. Как чисто литературный памятник английский перевод Библии остается благороднейшим образчиком английского языка, а постоянное пользование им с момента его появления сделало его литературным образцом. Но сначала он повлиял не столько в литературном отношении, сколько в социальном. Влияние Библии на массу англичан сказалось в тысяче внешних признаков, но всего яснее — в их обыденной речи. Библия, должны мы повторить, составила целую литературу, практически доступную обыкновенному англичанину; мы лучше поймем странную мозаику библейских выражений и фраз, отличавшую два века назад английскую речь, если припомним, какой массой общеупотребительных фраз мы обязаны великим писателям: сколько выражений Шекспира, Мильтона, Диккенса или Теккерея незаметно для нас вплетаются в нашу обыденную речь. Эту массу поэтических намеков и образов мы заимствуем из тысячи книг, а нашим предкам приходилось брать их из одной; заимствование было тем легче и естественнее, что широта еврейской литературы делала ее пригодной для выражения всякого рода чувств. Выражая в «Свадебной песне» сильнейшее чувство любви, Спенсер пользуется словами Псалмопевца, когда он приказывает открыть двери для входа невесты. Когда Кромвель увидел, как над холмами Данбара расходится туман, он приветствовал появление солнца словами Давида: «Да воскреснет Бог и рассеются враги его. Как исчезает дым, так прогонишь ты их!». Это знакомство с величавыми поэтическими образами пророков и Апокалипсиса придавало даже речи обыкновенных людей такое величие и силу, которые при всей склонности их к преувеличению и напыщенности нельзя не предпочитать распушенной пошлости настоящего времени.

Гораздо сильнее, чем на литературу или язык общества, повлияла Библия на характер всего народа. Елизавета могла останавливать или направлять проповеди, но ей было невозможно остановить или направить вели-

ких проповедников справедливости, милости и истины, говоривших из этой книги, которую она снова открыла своему народу. Все то действие, какое настоящее время производят религиозные журналы, трактаты, статьи, лекции, отчеты миссионеров, проповеди, в то время производилось одной Библией, и действие это, как ни хладнокровно его рассматривать, было просто поразительно. Деятельность человека подчинилась одному господствующему влиянию; вся энергия, вызванная к жизни минувшим веком, была захвачена, сосредоточена и направлена к определенной цели религиозным духом. Перемена сказалась на всем характере народа. Старое понимание жизни и человека сменилось новым. Все классы охватило новое нравственное и религиозное движение. Общий характер эпохи отразился на литературе, и небольшие толстые тома полемического и богословского содержания, еще загромаждающие наши старые библиотеки, вытеснили переводы классиков и итальянские новеллы века Возрождения: «Там господствует богословие», — говорил Гроций об Англии всего через два года после смерти Елизаветы; а когда король Яков пригласил в Англию последнего из великих ученых XVI века Казобона, он встретил в короле и народе равнодушие к чистой литературе: «В Англии очень много богословов, — говорит он, — все направляют свои занятия в эту сторону». Богословское движение отражалось даже на сельских помещиках, вроде полковника Гётчинсона: «Как скоро он развил свои природные дарования приобретением познаний, он обратился к изучению основных начал веры». Весь народ, в сущности, превратился в церковь. Великие вопросы жизни и смерти, не обращавшие на себя внимания лучших умов времен Шекспира, потребовали себе ответа не только у вельможи и ученого, но и у земледельца, и лавочника, следовавшей за тем эпохи. Но мы не должны представлять себе первых пуритан мрачными фанатиками. Религиозное движение еще не вступило во вражду с общей культурой. Правда, с концом века Елизаветы исчезла незаметно отличавшая его свобода ума: вместе с королевой умерли как равнодушие к религии, так и смелые философские теории, заимствованные Сидни у Джордано Бруно и навлекшие на Марло и Рэли обвинения в безбожии. Но более легкие и изящные стороны Елизаветинской культуры вполне согласовались с характером пуританина-дворянина. Фигура полковника Гётчинсона, одного из судей Карла I, в описании его жены рисуется с грацией и нежностью портрета Ван Дейка. Автор говорит о красоте отличавшей его в юности: об «его зубах, ровных и белых, как чистая слоновая кость, его черных волосах, густых в молодости, мягче тончайшего шелка и кончавшихся большими вьющимися локонами». В важных вопросах его характер отличался серьезностью, но это не мешало ему любить соко-

линую охоту и гордиться своим искусством в танцах и фехтовании. Его художественный вкус проявлялся в разборчивой любви к «картинам, изваяниям и всем свободным искусствам», а также в интересе к садам, «в улучшении своих земель, в посадке тенистых аллей и лесных деревьев». Он «внимательно изучать Священное Писание», в то же время «очень любил музыку и часто играл на альте, которым владел мастерски». Мы не видим тут страсти века Возрождения, его каприза, широты чувства и симпатии, живости наслаждения; зато жизнь получила нравственное значение, сознание человеческого достоинства, порядочность и равновесие. Характер пуританского дворянина отличался справедливостью, благородством и самообладанием. Широту симпатий минувшего века сменила глубокая нежность в более тесном семейном кругу: «Он был самым добрым отцом, — говорит о своем супруге г-жа Гётчинсон, — самым нежным братом, добрым хозяином и верным другом, каких только видел свет». Капризная и необузданная страсть Возрождения уступила место мужественной чистоте: «Ни в юности, ни в более зрелые годы самые красивые и соблазнительные женщины не могли никогда вовлечь его в излишнюю близость или шутовство. Он любил мудрых и добродетельных женщин и находил удовольствие в скромной и пристойной беседе с ними, но так, чтобы никогда не вызывать соблазна или искушения. Пошлых разговоров он не терпел даже между мужчинами, и хотя иногда находил удовольствие в шутках и веселье, но никогда не выносил того, что граничило с непристойностью». Так восхищавшую людей Возрождения, необузданность жизни пуританин считал недостойной ее назначения и цели. Он стремился достичь самообладания, стать господином своих мыслей, слов и действий. Известная серьезность и обдуманность отражались даже на мельчайших частностях его отношения к окружающему миру. Как бы ни был жив от природы его характер, он находился под строгим контролем. В своей беседе он постоянно остерегался болтливости и легкомыслия, стремясь быть обдуманным в речи и «предварительно взвешивая слова». Его жизнь отличалась порядком и методичностью; он был воздержан в пище и строго относился к себе: рано вставал, «никогда не оставался праздным и не любил видеть других такими». Новая трезвость и самоограничение отразились даже на перемене в его одежде. Блестящие цвета и драгоценные камни Возрождения исчезли. Полковник Гётчинсон «очень рано отказался от ношения каких бы то ни было драгоценностей, но и в своем простейшем платье он представлялся настоящим джентльменом». Утрата яркости и разнообразия в костюме, без сомнения, указывала на известное обесцвечивание и однообразие в самой жизни, но эта потеря уравнивалась крупными приобретениями. Са-

мым важным из них было, пожалуй, новое понятие общественного равенства. Общее призвание, общее братство во Христе уничтожали в умах пуритан то подавляющее чувство социальных различий, которое отличало век Елизаветы. Последний крестьянин, как сын Бога, чувствовал себя облагороженным. Гордый вельможа признавал духовным ровней беднейшего «святого». Великий общественный переворот междоусобной войны и протектората уже чувствовался в поведении дворян, подобных Гётчinsonу: «Он относился к бедняку с нежной и дружеской обходительностью и часто проводил много свободных часов с простыми солдатами и беднейшими земледельцами... Он никогда не выказывал пренебрежения к бедняку и не льстил вельможе». Но еще более чувствовалось это в том новом достоинстве и самоуважении, какими сознание своего призвания исполняли низшие классы. Возьмите портрет лондонской хозяйки, оставленный нам ее сыном Неемией Уоллингтоном, истчипским токарем: «Она очень любила и слушалась своих родителей, любила и берегла супруга, очень нежно относилась к детям, любила всех добрых и не терпела порочных и безбожных. Для многих она служила образцом порядочности. Очень редко она показывалась вне дома, кроме церкви; когда другие в праздники и другое время отдыхали, она обыкновенно бралась за шитье, говоря: «Вот мой отдых»... Бог даровал ей острый ум и прекрасную память. Она была прекрасно знакома с библейской историей и с житиями всех святых и легко могла на них ссылаться; она также хорошо знала английские летописи и родословие английских королей. В честном браке со своим супругом она прожила двадцать лет без четырех дней».

Влияние религиозного движения проявлялось на средних промышленных классах сильнее, чем на дворянстве (джентри)*; полнейшее и чистейшее выражение новой силы волновавшей людей того времени мы находим в одном пуританине среднего класса. Типом пуританина, не только высшим, но и самым полным, является Джон Мильтон. Его жизнь вполне совпадает с историей пуританства. Он родился в 1608 г., когда оно начало оказывать прямое влияние на политику и религию Англии; он умер, когда оно перестало налагать на них свою печать и снова сделалось одним из многих влияний, создававших английский характер. Его первые произведения, памфлеты зрелых лет, поэмы старости определяют с редкой точностью три крупных периода в истории движения. Его юность показывает нам, что в пуританской семье сохранилось еще много веселости, поэтической свободы и духовной культуры Возрождения. Его отец, нотариус, несмотря на свою

* Английское дворянство делится на высшее, титулованное (nobility) и рядовое, имеющее герб, но не имеющее титулов (gentry).

«строгость», был хорошим музыкантом, и сын наследовал талант отца в игре на лютне и органе. Одним из лучших мест в составленном им впоследствии плане воспитания является доказательство значения музыки как средства нравственного воздействия. Его семья, учитель и школа были строго пуританскими, но первоначальное образование не заключало в себе ничего узкого или ограниченного: «Мой отец, — говорил он, — когда я был еще маленьким мальчиком, предназначил меня к изучению гуманитарных наук, и я отдался им с таким пылом, что с 12 лет едва ли когда ложился спать раньше полуночи». Кроме греческого, латинского и еврейского языков, изучавшихся им в школе, нотариус посоветовал ему заняться еще итальянским и французским. Не оставалась в пренебрежении и английская литература. На его первых поэтических опытах отразилось влияние Спенсера. Несмотря на войну драматургов с ригористами, еще во время Мильтона молодой пуританин мог выражать любовь к сцене, «где рядом с ученым Джонсоном свободно распевает песни своего родного леса милейший Шекспир, сын Фантазии», и подбирать из придворных маскарадов и пышных шествий образы для своего «Кома» и «Аркадян». Мысль о предстоящей борьбе с церковью еще не смущает грез молодого студента, когда он бродит под «высокими сводами храма с массивными старыми колоннами и богато изукрашенными стеклами, через которые проникает тусклый свет». Или когда он слушает «звуки органа, сопровождающие сверху громкое пение хора и приводящие душу в умиление». Его увлечение жизненным весельем представляет резкую противоположность той мрачности и суровости, какие в позднейшем пуританстве воспитали борьба и преследование. Несмотря на «известную сдержанность характера», отдалявшую его от празднеств и игр, к которым он считал себя мало способным, молодой певец еще мог наслаждаться «шутками и свежим весельем», окружавшими людей, их «колкостями, остротами и хитростями», мог приставать к веселой толпе и с удовольствием смотреть на деревенскую ярмарку, «где под веселые звуки скрипок много юношей и девушек плясали в тени». Но его удовольствия носили невинный характер. В его взгляде, стройной сильной фигуре, лице, исполненном нежной, но серьезной красоты, роскошных черных волосах, свешивавшихся на лоб, не было ничего аскетического, и, как показывают приведенные слова, он умел наслаждаться красотой. Но к грубому чувственному распутству молодой пуританин относился с отвращением: «Известная природная сдержанность, благородная гордость и самоуважение удерживали меня от этих низких страстей». Он заимствовал у Спенсера рыцарский идеал, но его религиозность и чистота вызывали в нем пренебрежение к внешним формам, на которых рыцарство основывало свое

понятие о чести: «Всякий свободный и благородный дух, — говорил Милтон, — и без такой клятвы должен считаться прирожденным рыцарем». С таким настроением перешел он из лондонской школы Св. Павла в колледж Христа в Кембридже, и это настроение он сохранил в течение своей университетской жизни. Как он говорил впоследствии, он оставил Кембридж, «свободный от всякого упрека и одобряемый всеми честными людьми», с целью посвятить себя «тому жребию, все равно низкому или высокому, к какому предназначают его время и воля неба».

Даже в спокойной еще красоте подобной жизни мы подмечаем строгую сторону пуританского характера. Сама возвышенность его стремлений и его напряженная нравственная сосредоточенность приводили к потере способности наслаждаться жизнью, отличавшей людей Возрождения: «Если Бог внушал кому-либо страстную любовь к нравственной красоте, — сказал Милтон, — так это именно мне». Его «Ком» оканчивается словами «Любите добродетель, она одна свободна». Но эта страстная любовь к добродетели и нравственной красоте, придавая энергию деятельности человека, в то же время суживала его симпатии и понимание. Уже у Милтона мы замечаем известную «сдержанность характера», пренебрежение «к ложным суждениям толпы», гордое уклонение от мелких и грубых сторон окружающей его жизни. Как ни велика была его любовь к Шекспиру, мы едва ли можем вообразить себе его, восхищающимся Фальстафом. В уме менее культурных, это нравственное напряжение вызывало, без сомнения, в жизни резкую отталкивающую суровость. Обыкновенный пуританин «любил всех благочестивых людей и не терпел злых и нечестивых». С прочими людьми его связывало не чувство солидарности людской, а призвание братства избранных. За пределами общества святых лежал мир, который они ненавидели за его враждебность их Богу. Это полное отдаление от нечестивых объясняет поразительный контраст между внутренней мягкостью пуритан и жестокостью массы их действий. По собственным словам Кромвеля, смерть сына поразила его, как нож в сердце, а поле битвы при Марстон-Муре он покинул печальным и измученным; тот же Кромвель, подписав смертный приговор королю, разразился грубыми шутками. Человек, утративший, таким образом, сочувствие к жизни половины окружающей его мира, едва ли мог симпатизировать всей своей жизни. Под новым бременем и напряжением жизни замер юмор, именно та способность, которая больше всех исправляет преувеличения и крайности. Полная преданность пуританина высшей воле все более лишала его в обыденных делах чувства меры и соответствия. В блеске религиозного рвения мелкие вещи становились крупными, и набожный человек привыкал смотреть на стихарь или

рождественский пирог, как на бесстыдство или ложь. Жизнь стала напряженной, но в то же время жесткой, суровой и бесцветной. Игры, веселье, восторги века Елизаветы сменились размеренной степенностью, серьезностью и сдержанностью. Но отличавшие кальвиниста сдержанность и степенность ограничивались его внешней жизнью. В глубине его души над чувством, разумом, суждением очень часто брала верх грозная действительность невидимого мира. Оливера Кромвеля мы встречаем впервые молодым провинциальным дворянином и помещиком на песчаных равнинах вокруг Гёнтингдона и Сент-Иваса; время от времени он погружается в глубокую меланхолию, и его посещает мысль о близкой смерти: «Я живу в Мешэке, — пишет он другу, — что, говорят, значит ожидание в Кедаре, что значит тьма, но Господь не покидает меня». Свойственное таким людям живое чувство божественной чистоты выставляло жизнь обыкновенных людей греховной: «Вы знаете, какова была моя жизнь, — прибавляет Кромвель. — О, я жил во тьме и любил ее, и ненавидел свет. Я ненавидел благочестие». Но худшими его грехами были юношеское легкомыслие и отсутствие глубокой серьезности, приходящей с годами. У мечтательных натур борьба принимала более драматическую форму. Джон Бёниан был сыном бедного медника в Бедфордшире; уже в детстве его воображение занимали страшные мысли о небе и аде: «Когда я был ребенком всего 9–10 лет, — рассказывает он нам, — мысли эти так мучили мою душу, что часто среди веселых игр и детских забав с суетными товарищами они сильно поражали меня и угнетали мой ум, и все-таки я не мог отказаться от своих грехов». Грехи, от которых он не мог отказаться, заключались в любви к празднику жатвы и пляскам на деревенском лугу; его резкое самообличение указывает только на одну дурную привычку — привычку божиться, но и от нее он отстал сразу и навсегда после выговора одной старухи. Его страсть к колокольному звону осталась у него, даже когда он порвал с ней, как с «суетной привычкой», и он часто ходил к колокольне слушать звон, пока мысль, что колокол может упасть и раздавить его во грехах, не испугала и не отогнала его от двери. Проповедь против танцев и игр заставила его отказаться от этих развлечений, но соблазн снова взял верх над его решением: «Я выкинул из головы проповедь и с большим удовольствием вернулся к старым играм и забавам. Но в тот же день, когда я играл в кошку и, выбив ее одним ударом из ямы, только что нацелился ударить ее во второй раз, внезапно душу мою поразил голос с неба, говоривший: «Чего ты хочешь — оставить свои грехи и идти на небо или сохранить грехи и попасть в ад?». Это чрезвычайно меня смутило, я оставил свою кошку на земле и посмотрел на небо, и моим духовным очам показалось, что Господь Иисус, очень недовольный

мной, смотрит на меня и сурово грозит мне строгим наказанием за эти и другие дурные поступки».

Таково было пуританство. Чрезвычайно важно представить его таким образом, с его крупными и мелкими чертами, отдельно от церковной системы пресвитерианства, с которым его так часто смешивали. Как мы увидим в дальнейшем рассказе, ни один из главных пуритан Долгого парламента не был пресвитерианином. Пим и Гэмпден ничего не имели против епископата, и только политические соображения заставили потом пуританских патриотов принять систему пресвитериан. Но рост этого движения, одно время господствовавшего над историей Англии, составляет один из самых любопытных эпизодов царствования Елизаветы. Ее церковная политика основывалась на законах о верховенстве и единообразии. Первый из них передавал в руки государства всю судебную и законодательную власть церкви; второй предписывал учение и обряды, от которых не дозволялось безнаказанно отступать. Для всего народа система Елизаветы была без сомнения, разумной и здоровой. Одна, без помощи кого-либо из окружающих ее политиков или богословов, королева навязала борющимся исповеданиям нечто вроде вооруженного перемирия. Основные начала Реформации были приняты, но на рвение крайних реформаторов были наложены ограничения. Было дозволено читать Библию и вступать в частные споры, но была прекращена публичная борьба проповедников требованием от них разрешения на проповедь. Правительство требовало от всех внешнего единообразия, присутствия при общественном богослужении, но упорно противилось тем изменениям в обрядах, при помощи которых женовские ревнителю хотели выдвинуть радикальные стороны происходившего в стране религиозного переворота. Пока Англия боролась за самое свое существование, это стремление короны поддерживать равновесие довольно верно отражало настроение народа; но движение в пользу более решительной реформы приобрело новую силу, когда папа изданием буллы о низложении Елизаветы объявил ей открытую войну. К несчастью, королева упорно держалась за свою систему компромисса, как ни была она ослаблена и нарушена. Она не питала никакой симпатии к религиозному воодушевлению, все более усиливавшемуся в народе. Ее страстью была умеренность, ее целью — общественный порядок; и порядку, и умеренности угрожала кучка ханжей, собравшихся под знаменем пресвитерианства. Главой их был Томас Картрайт. Он учился в Женеве и принес оттуда фанатичную веру в кальвинизм и в установленную Кальвином систему церковного управления; затем, как профессор богословия, он вполне воспользовался теми удобствами, какие ему представляла кафедра для распространения своих мнений.

ний. Никогда вождь религиозной партии не заслуживал так мало симпатий. Он, несомненно, был человеком ученым и набожным, но набожный в духе средневекового инквизитора. Остатки старых обрядов — знамение креста при крещении, стихарь, передача кольца при бракосочетании — не просто возбуждали в нем неудовольствие, как вообще в пуританах, но представлялись ему идолопоклонством и печатью «зверя». Но его нападки на обряды и суеверия имели мало значения в глазах Елизаветы и ее примасов; их испугала его смелая защита такой системы церковного управления, которая ставила государство в полную зависимость от церкви. Правда, он называл порождением дьявола абсолютную власть епископов; зато полновластие пресвитеров он считал установлением Слова Божия. Для церкви, устроенной по образцу Женевы, он требовал власти, превосходившей самые смелые мечты властителей Ватикана. Вся духовная власть и суд, определение вероучения и установление обрядов должны находиться целиком в руках служителей церкви; им же принадлежит и надзор за общественной нравственностью. Эти пресвитеры, распределенные по классам и собраниям, должны управлять своими паствами, определять свои отношения, решать вопросы веры, поддерживать дисциплину. Их оружием служит отлучение, за пользование которым они отвечают только перед Христом. Задача светского правителя заключается просто «в надзоре за выполнением решений пресвитеров и в наказании нарушителей их». Дух кальвинистского пресвитерианства исключал всякую терпимость в обрядах или вере. Правление пресвитеров не только представлялось единственной законной формой церковного устройства; все другие формы подлежали беспощадному уничтожению. За ересь наказанием служила смерть. Никогда теория преследования не выдвигалась с такой слепой и беспощадной жестокостью: «Я запрещаю, — писал Картрайт, — освобождать раскаявшихся от смерти... Еретики должны предаваться смерти немедленно. Если она кровава и жестока, мне приятно считаться на стороне Святого Духа».

Оценку подобных мнений было бы благоразумно предоставить здравому смыслу самого народа. Действительно, скоро они встретили уничтожающую критику в «Церковном правлении» Ричарда Гукера. Этот церковник был сначала настоятелем Темпля, но отвращение к церковным спорам заставило его удалиться из Лондона в один из приходов Уилтшира, который он позднее променял на приход среди спокойных лугов Кента. Отличавшая все благородные умы его времени широта симпатий, столь заметная у Шекспира и Бэкона широта мысли соединились в Гукере с достоинством и возвышенностью слога, доставившими ему одно из первых мест среди английских прозаиков. Хотя он был священником, но его дух и метод были

скорее философские, чем богословские. Церковному догматизму пресвитериан и католиков он противопоставил авторитет разума. Он покинул узкую почву доводов от Писания и основал свои выводы на общих началах морали и политики, на вечной обязательности естественного закона. Система пуритан основывалась на предположении, что Писание, и одно только оно, установило неизменные правила человеческого поведения во всех вопросах, касающихся веры, богослужения, дисциплины и управления церковью. Гукер доказывал, что божественный порядок проявляется не только в писаном откровении, но и в нравственных отношениях, историческом развитии, общественных и политических учреждениях людей. Он требовал для человеческого разума права определять законы этого порядка, различать в них неизменное от переменчивого, различать в самой Библии временное и вечное. Ему было легко перейти на почву богословского спора, где люди, подобные Картрайту, защищали дело пресвитерианства, — легко было показать, что никогда никакая форма церковного устройства не имела безусловной обязательности и что во все времена формы обрядов представлялись на усмотрение церквей и различались в разные эпохи. Истина, на которой Гукер основывал свое доказательство, представляет гораздо большую цену, чем само доказательство; выразившееся в его произведении признание божественного порядка в истории человечества и божественного закона в человеческом разуме соответствовало благороднейшим стремлениям века Елизаветы. Но едва ли нужно было опровергать этим пресвитерианство. Популярная в Шотландии, система его никогда не пользовалась общим признанием в Англии; она оставалась до конца скорее церковным, чем народным верованием, и даже в момент ее внешнего торжества при республике она, кроме Лондона, Ланкашира и части Дербишира, отвергалась всей Англией. Но в 1592 г. партия Картрайта бросила правительству смелый вызов: она обратилась к парламенту с «Увещанием», в котором требовала установления пресвитерского управления; это вызвало среди английских политиков и прелатов страх, устранивший все надежды на спокойное решение дела. Если бы Картрайт не поднял бури, постоянный рост общего недовольства порицаемыми им обрядами, вероятно, привел бы к их отмене. Парламент 1571 г. не только отказался обязать духовенство к подписи трех статей о верховенстве, строе церковного управления и о власти церкви устанавливать обряды, но и благоприятствовал проекту преобразования литургии через опущение «суеверных» обрядов. С появлением «Увещания» этот естественный прогресс общественного мнения вдруг остановился. Умеренные политики, настаивавшие на перемене обрядов, отступили перед союзом с партией, оживившей худшие притязания

папства. При окружавших королеву внешних и внутренних опасностях, рост среди духовных пуританства страшно раздражал ее, и она выступила против «несогласных» священников с мерой, составляющей худшее пятно на ее царствовании.

В 1583 г. церковной комиссии были предоставлены новые полномочия, обратившие религиозное перемирие в церковный деспотизм. Из временного учреждения, предоставлявшего верховенство короля в церковных делах, комиссия обратилась теперь в постоянное и стала пользоваться почти безграничными полномочиями короны. Ведению ее подлежали все мнения и действия, противные законам о верховенстве и единообразии. Духовенство было подчинено ей правом смещения. Она имела право изменять или исправлять уставы колледжей и школ. К ведению ее относились не только ересь, раскол и уклонение от церкви, но также кровосмешение и тяжкие случаи прелюбодеяния; способы ее исследования не были ограничены, и она могла по произволу налагать штрафы или заключать в тюрьму. Одно установление такого судилища разрушало дело реформации. Правда, большое число светских членов, казалось, представляло некоторое ручательство против крайностей церковного деспотизма; но в действительности из 44 членов немногие принимали какое-либо участие в ее делах, и ее полномочия сосредоточивались в руках сменявших друг друга примасов. Со времен Августина ни один Кентерберийский архиепископ не пользовался такой обширной и неограниченной властью, как Уитгифт, Бэнкрофт, Эббот или Лоуд. Самый ужасной чертой их церковной тирании был ее чисто личный характер. Старые ограничения власти исчезли, а создать для защиты духовенства новые юристы еще не успели. Вследствие этого на заседаниях комиссии в Лэмбете примасы сами создавали обязательные нормы учения, не обращая никакого внимания на указания закона. В одном случае Паркер отнял у священника приход за отрицание буквальной боговдохновенности Библии. Сменявшие друг друга архиепископы не особенно беспокоились, если нормы оказывались различными или противоречивыми. Уитгифт в своих Лэмбетских статьях старался навязать церкви учение Кальвина о первородном грехе. Следовавший за ним Бэнкрофт так же усердно навязывал антикальвинистское учение об установлении Богом епископата. Эббот не давал пощады арминианам, а Лоуд — их противникам. Неудивительно, что руководимая такими людьми церковная комиссия скоро вызвала ненависть в английском духовенстве. Учреждение ее указывало на переход короны к более решительной политике. Усилия комиссии поддерживались строгими репрессивными мерами: всякая проповедь или чтение в частных домах были воспрещены, и от всех членов духовенства требова-

лось подчинение «трем статьям», хотя парламент отказался придать этому требованию силу закона.

На первое время меры эти увенчались успехом. Пресвитерианское движение было задержано, сам Картрайт лишился профессуры, и под навязчивым давлением комиссии в богослужении устанавливалось все более внешнего однообразия. Прежняя свобода, допускавшаяся в Лондоне и других протестантских областях королевства, перестала существовать. До того на уклонения пуританского духовенства смотрели сквозь пальцы; теперь его пригласили надеть стихари, совершать крестное знамение при крещении. Представления поместного дворянства оказались столь же бесплодными, как и протест самого лорда Берли: двести лучших священников были лишены приходов за отказ от подписи «трех статей». Но преследования только придало новую силу и популярность тем учениям, которые стремились подавить, и связало два движения, сами по себе совершенно различные. До того пресвитерианская система церковного управления признавалась только духовными, да и то немногими. С другой стороны, желавшие пуритан преобразовать литургию, их недовольство «суеверными обрядами», ношением стихаря, совершением при крещении крестного знамения надеванием кольца при венчании, принятием причастия на коленях разделялись большим числом как духовных, так и мирян. В начале царствования Елизаветы против этих обрядов высказывались почти все прелаты, кроме Паркера, и предложение об отмене их было отклонено в конвокации только одним голосом. На отношение к этому вопросу поместного дворянства указывает настроение парламента; в то же время было хорошо известно, что разумнейшие из советников королевы: Берли, Уолсингем и Ноллис стояли в этом случае заодно с джентри. Общее преследование, если и привело к полному слиянию этих двух рукавов религиозного движения, то, во всяком случае, обеспечило пресвитерианам общее сочувствие пуритан, а это из кучки церковников превратило их во всенародную партию. Результаты преследования не ограничивались усилением пресвитерианства. В это время начали уклоняться от присутствия при общественном богослужении «отщепенцы», на том основании, что само существование национальной церкви противоречит Слову Божию, и скоро число их с нескольких отдельных ревнителей возросло до 20 000 душ. Пресвитериане и пуритане питали одинаковое с Елизаветой отвращение к «браунистам», как прозвали по имени основателя их учения Роберта Брауна. Несмотря на свое пуританство, парламент издал против них в 1593 г. закон. Сам Браун был принужден бежать в Нидерланды, а многие из его последователей подверглись изгнанию. Одну из этих общин ожидало такое великое будущее, что

мы должны бросить взгляд на «бедный народ» в Линкольншире и по соседству: «просвещенные словом Божиим и принуждаемые к подчинению», они должны были «искать себе другого места». Они отвергали обряды как остатки идолослужения, епископальный строй как несогласный со Священным Писанием и, «как свободный народ Господа», составили «церковь, основанную на Евангелии». Они стремились к великому началу свободы совести и доказывали, что, как христиане, они имеют право «идти по всем путям, какие им указал или укажет Господь». Их собрания (Conventicles) скоро навлекли на себя преследование властей, и маленькая община решилась искать себе убежища в других странах. Первая их попытка бежать была расстроена, а когда они повторили ее, их жены и дети были захвачены в самую минуту вступления на корабль. Наконец, власти пренебрежительно дали согласие на их план, «довольные тем, что избавляются от них какой бы то ни было ценой». Беглецы нашли себе приют в Амстердаме; затем некоторые из них избрали себе в священники Джона Робинсона и в 1609 г. удалились в Лейден: «Они считали себя на земле странниками, не особенно заботились о земном, а обращали свои взоры к небу, как к дорогой родине, и сохраняли спокойствие духа». Среди этой небольшой кучки изгнанников были люди, которым суждено было впоследствии прославиться в качестве «отцов-пилигримов» «Майского цветка»*.

Избавиться от браунистов было легко, но появление духа энергичного сопротивления, еще при Тюдорах, указало на опасность политики, усвоенной короной. Рост силы общественного мнения блестяще сказался в борьбе, известной как «спор Мартина Марпрелэта». В своих памфлетах пуритане с самого начала апеллировали от короны к народу, а усилия Уитгифта обуздать печать служили доказательством их влияния на страну. Постановления Звездной палаты по этому поводу (1585) замечательны, как первый шаг правительства в долгой борьбе со свободой печати. Теперь была окончательно организована давно существовавшая беспорядочная цензура. Печатание допускалось только в Лондоне и при двух университетах, число печатников ограничивалось, лица, просившие разрешения печатать, ставились под надзор общества книгопродавцев. Притом, всякое издание, крупное или мелкое, должно было получить одобрение примаса или епископа Лондонского. Первым следствием этой ограничительной системы было появление, в самый год Армады, ряда анонимных памфлетов, подписанных многозначительным именем «Мартин Марпрелэт» (губителя прела-

* «Майский цветок» («Мэйфлауэр») — корабль, на котором в 1620 г. в Америку приплыли 102 английских колониста, основавших первую постоянную английскую колонию в Америке.

тов) и вышедших из тайной типографии, которая находила себе убежище от преследований полиции в усадьбах джентри. Наконец, типография была захвачена, а люди, заподозренные в сочинении этих «непристойных пастылей», молодой уэльсец Пенри и священник по имени Юдол, умерли — один в тюрьме, другой на эшафоте. Но язвительность и смелость их языка произвели сильное впечатление, так как при системе Елизаветы не было возможности «губить» епископов, не нападая на корону, и когда Мартин Марпрелэт подверг публичному обсуждению политические и церковные меры правительства, почувствовалось приближение новой эпохи политической свободы. Истребление этих памфлетистов вовсе не смутило пресвитериан. Лорд Лестер назначил Картрайта настоятелем госпиталя в Варвике, и тот был настолько смел, что ввел свое церковное устройство духовенстве этого графства и Нортгемптонского. Его пример нашел всюду последователей, и во многих областях стали для споров и совещаний устраивать общие съезды всего духовенства и частные собрания по епархиям или графствам, называвшиеся у пресвитериан синодами и классами. Правда, вскоре новая организация была уничтожена, но Картрайт обещал подчиниться и тем спастись от изгнания, которого требовал Уитгифт. Его влияние все росло. Спор пресвитериан с правительством был перенесен в парламент и превратился при Якове в борьбу за свободу, а при Карле в междоусобную войну.

Глава II

Первый Стюарт (1604—1623)

Чтобы справедливо оценить тогдашнее положение и политику английских пуритан, т. е. трех четвертей протестантов Англии, мы должны еще раз бросить беглый взгляд на судьбы протестантизма в царствование Елизаветы. В начале его успех Реформации почти всюду представлялся обещанным. Аугсбургский мир* доставил ей торжество на севере Германии и она приступила к завоеванию юга. Аристократия Австрии, аристократия и города Баварии покидали католицизм. Посланник Венеции определил число католиков в Германии приблизительно в одну десятую всего населения. Протестантизм прочно утвердился в Скандинавии. На востоке его про

* Аугсбургский мирный договор (26 сентября 1555 г.) завершил Вторую Шмалькальденскую войну, в которой император Карл V проиграл Шмалькальденскому союзу, объединявшему протестантских князей Германии. По условиям договора, князья имели право сами выбирать вероисповедание в своих владениях (установление принципа «Чья страна, того и вера»).

няла масса венгерской и польской аристократии. На западе все более подавалась ереси Франция. Шотландия отказалась от католицизма при Марии, Англия вернулась к протестантизму при Елизавете. Реформация была полностью истреблена только в тех странах, над которыми тяготело влияние Испании: в Кастилии, Арагоне, Италии; но даже и Испании не удалось сокрушить ереси в Нидерландах. Но как раз в самый момент торжества движение протестантизма вдруг остановилось. Первые двадцать лет царствования Елизаветы были периодом перерыва. Распространение протестантизма постепенно прекращалось. Он истощил свою силу в богословских распрах и преследованиях, в ожесточенных и язвительных спорах между церквями, следовавшими Лютеру, с одной стороны, и Цвингли или Кальвину — с другой. Его унизили и ослабили использование его в политических целях, жадность и низость защищавших его немецких князей, мятежная незаконность магнатов в Польше и гугенотов во Франции. Между тем папству удалось объединить католический мир вокруг Тридентского собора. Римская церковь, ослабленная и испорченная вековым господством, наконец, почувствовала выгоды несчастья. Она установила и определила свое учение. Папство снова было признано центром католического единства. Воодушевление протестантов вызвало такое же настроение и среди их противников; для удовлетворения потребностей эпохи явились новые монашеские ордена: капуцины стали проповедниками католицизма, иезуиты — не только проповедниками, но и руководителями, воспитателями, миссионерами. Их организация — слепое повиновение, чрезвычайная ловкость, фанатическое рвение — сообщила новую жизнь проповеди, воспитанию, исповеди. В начале века ореол мученичества принадлежал протестантам, как только выдвинулись ученики Лойолы, крупная доля его досталась католикам. Сочинения, изображавшие муки Кемпиена и Саузуэля вызывали такой же пыл в Вене и Толедо, какой возбуждала в Англии книга Фокса. Даже наука пришла на помощь католицизму.

Величайший полемист эпохи Беллармин, ученейший из историков церкви Бароний были оба католиками. При подобном неравенстве сил мы вряд ли можем удивляться тому, что, наконец, началось обратное движение. За несколько лет до борьбы с Армадой католицизм начал окончательно брать верх. К нему вернулась Южная Германия, где Бавария перешла на сторону Рима, а Австрийский дом, долго относившийся равнодушно к церкви, выступил, наконец, ревностным ее защитником. Успехи социнианства в Польше порвали связь ее с прочими протестантскими церквями, которые, в свою очередь, все более распадались на два лагеря, враждовавшие по вопросам о причащении и свободе воли. Иезуиты всюду совершали обраще-

ния, и их мирные победы скоро стали поддерживать оружие Испании. В происшедшей затем ожесточенной борьбе Филипп, несомненно, потерпел поражение. Англию спасло отражение Армады; соединенные провинции Нидерландов, благодаря своему упорному героизму и гению Вильгельма Оранского, образовали великую протестантскую державу. Непобедимая энергия Генриха Наваррского освободила Францию от Католической лиги в тот самый момент, когда, казалось, исчезла всякая надежда. Несмотря на свое поражение, католицизм все-таки добился важных успехов. В Нидерландах реформация была вытеснена из валлонских областей, Брабанта и Фландрии. Во Франции Генрих IV должен был купить Париж мессой, а за обращением короля произошло незаметно разложение партии гугенотов. Вельможи и ученые одинаково отказывались от протестантизма, и хотя реформация сохранила за собой господство к югу от Луары, она потеряла всякую надежду привлечь на свою сторону всю Францию.

Поэтому после смерти Елизаветы все ревностные протестанты и в Англии, и вне ее были настроены так, как люди, лелеявшие надежду на блестящую победу и вдруг увидевшие перед собой страшное и неотвратимое поражение. Мечта о преобразовании всей церкви исчезла. Границы протестантизма с каждым днем суживались, торжеству папства не предвиделось конца. По мере того как исчезала одна надежда за другой, настроение пуританина становилось все строже и нетерпимее. Страх усиливался чувством того, что в самой английской церкви господствует раздор и неопределенность. По мере того как из взволнованного моря показывалось новое христианство, снова начинало чувствоваться влияние Возрождения. Его голос, прежде всего, слышался в произведении Гукера, и нашедший себе в нем выражение призыв к разуму и человечности оказал свое влияние на последующую историю английской церкви. С одной стороны, проявлялось историческое чувство в стремлении связать религию настоящего с религией прошлого, получить часть великого наследия католической традиции. Люди, подобные Джорджу Герберту, не находили удовлетворения в сухом и строгом спиритуализме пуританства и искали пищи для набожности во внешних наслоениях, созданных вековым благочестием, в святых местах, предметах, тиши церкви и алтаря, благоговейном страхе таинств. Люди, подобные Лоуду, не могли считать твердой почвой чисто личное отношение между человеком и Богом, составлявшее основу кальвинизма, и возвращались к признанию целого христианства, которое, несмотря на кажущееся разделение и вражду, должно было скоро вернуться к своему прежнему единству. С другой стороны, обращение Гукера к разуму вызвало школу мыслителей-философов, медленный рост которой почти терялся

шуме вероисповедной борьбы, но которой суждено было, подобно вольнодумцам позднейшего времени, оказать глубокое влияние на религиозную мысль. Пока это рационалистическое движение ограничивалось умеряющим и примирительным воздействием: вместе с Каликстом оно указывало на неважность пунктов разногласия между христианами и на значение пунктов согласия; вместе с Арминием оно восставало против крайних учений Кальвина и его последователей. Нельзя найти людей, более различных по их стремлениям, чем позднейшие англиканцы, вроде Лоуда, и позднейшие вольнодумцы, вроде Гэлса; но просто английский протестант одинаково ненавидел и тех, и других. Для него борьба с папством не допускала ни уступок, ни примирения; это была борьба света с тьмой, жизни со смертью. Всякая перемена в учении или обряде, если она вела к сближению с Римом, представлялась ему одинаково важной. В минуту торжества этот протестант допустил бы иные обряды для успокоения слабых братьев; но в эту минуту поражения он смотрел на такие обряды, как на измену. Опасность была так велика, что не допускала терпимости или умеренности. Теперь, когда ложь брала верх, истину можно было защитить только проведением резкой границы между ней и ложью. Пока, впрочем, еще незаметно было общего стремления изменять в чем-либо форму церковного устройства или отношение церкви к государству, а было желание несколько изменить обряды богослужения, чтобы привести их в соответствие с происшедшим переходом к более резкому протестантизму. С настроением пуритан нас знакомит Петиция тысячи, представленная Якову I при вступлении его на престол приблизительно 800 священниками, около 1/10 всего состава духовенства. Петиция просила не перемен в управлении или устройстве церкви, а преобразования ее судов, устранения из служебника «суеверных» обрядов, запрещения чтения апокрифических книг Священного Писания, более строгого соблюдения воскресного дня, образования и назначения хороших проповедников. Даже политики, мало сочувствовавшие религиозному настроению современников, высказывались за восстановление религиозного и национального единства при помощи церковных реформ: «Почему, — спрашивал Бэкон, — граждански строй должен исправляться и восстанавливаться добрыми и благодетельными законами, издаваемыми каждые три года парламентом, который тотчас находит средства против порождаемых временем зол, а церковное устройство все еще остается на старых подонках и не подвергается изменению за эти 45 или более лет?». Действительно, все ожидали, что, раз прекратилось сопротивление королевы, кое-что будет сделано. Но хотя богословские интересы преемника Елизаветы сильно расходились с чисто светским характером королевы, он

тоже решительно высказывался против всяких преобразований в сфере церковной.

Ни один государь не мог так мало, как Яков I, отвечать тому представлению о правителе Англии, какое сложилось при Плантагенетах и Тюдорах. Его толстая голова, слюнтявый язык, подбитое ватой платье, шатающиеся ноги представляли такой же смешной контраст со всем, что люди помнили о Генрихе и Елизавете, как его болтовня и хвастовство, отсутствие личного достоинства, шутовство, грубость речи, педантизм и позорная трусость. Под этой смешной внешностью скрывался человек с большими природными способностями, большим запасом проницательности, остроумия и находчивости, отличный ученый. Его меткий юмор характеризует политические и богословские споры эпохи ловкими оборотами, каламбурами, эпиграммами, ироническими замечаниями, все еще сохраняющими свой вкус. Он был очень начитан, особенно в богословских вопросах, и много писал о самых различных предметах, начиная с предопределения и кончая табаком. Но вся его проницательность и ученость только делали его по выражению Генриха IV, «ученейшим дураком в христианстве». У него был характер педанта, его отличали любовь к теориям и неспособность определить отношение своих теорий к фактам действительности. Все шло бы хорошо, ограничивайся он теориями колдовства, предопределения вреда курения. К несчастью для Англии и для своего преемника, он еще сильнее дорожил теориями управления, заключавшими в себе семена ожесточенной борьбы между народом и короной. Еще до вступления своего на английский престол он формулировал свои политические взгляды в сочинении об «Истинном законе свободной монархии». Тут он объявил, что «хотя добрый король будет согласовывать свои действия с законом, но делает он это не по обязанности, а по своей воле и чтобы подавать пример подданным». Политики эпохи Тюдоров, употреблявшие выражения «полновластный король», «неограниченная монархия», понимали их в смысле полноты власти и независимости ее от всякого постороннего, например папского, вмешательства. Яков предпочел понимать эти слова в смысле свободы монарха от всякого подчинения закону, от ответственности перед кем-либо, кроме своей королевской воли. Теория короля стала основой управления; под именем божественного права королей она скоро сделалась учением, которое епископы проповедовали в церквях и за которым честные люди слагали свои головы на плахе. Церковь поторопилась принять открытие своего государя. Конвокация в книге канонов провозгласила роковой ошибкой утверждение, что «вся гражданская власть, суд и влияние происходят от народа и беспорядочной толпы, или с самого начал

принадлежат им, или иначе естественно заимствуются у них и с их согласия, а не суть установления Бога, первоначально исходящие и зависящие от Него». В строгом согласии с теорией Якова, эти ученые утверждали, что верховная власть с самого начала основывается на наследственном праве, и выставляли религиозной обязанностью беспрекословное повиновение монарху. С открытием конвокации, утверждал юрист Кауэль, «неограниченная власть ставит короля выше закона», «несмотря на присягу, он может изменять или отменять любой частный закон, кажущийся ему вредным для общего блага». По представлению палаты общин книга его была уничтожена, но партия полного повиновения продолжала расти. За несколько лет до смерти Якова Оксфордский университет торжественно провозгласил, что «ни в каком случае подданные не имеют права пользоваться силой против своих государей или вести против них оборонительную или наступательную войну». «Высокомерные речи» короля возбуждали досаду в тех парламентах, к которым он с ними обращался, но уже само их повторение вызывало известную веру в произвольную власть, какой они требовали от короны. Как образчик их тона мы приведем отрывок из речи, произнесенной в Звездной палате: «Рассуждать о том, что Бог может сделать, — безбожие и богохульство, — говорил Яков. — Точно также подданные выказывают надменность и пренебрежение к королю, рассуждая о том, что он может сделать, или говоря, что он не может сделать того или этого». «Если исполнение будет соответствовать правилам, — заметил по поводу подобных выражений вдумчивый наблюдатель, — мы вряд ли передадим нашим преемникам свободу, унаследованную нами от предков».

Если мы хотим отнестись справедливо к тому, что в иных действиях парламента, на первый взгляд, представляется вызывающим, так это поведение короны в течение всего царствования Якова. Относиться спокойно к таким неслыханным притязаниям власти значило погибнуть. Притом же эти притязания шли вразрез с лучшими стремлениями эпохи. Люди всюду искали закона. Бэкон отыскивал его в материальной природе; Гукер доказывал господство его в духовном мире. Те же стремления видим мы у пуританина. Он внимательно изучал Священное Писание, желая узнать волю Божию и, безусловно, следовать ей во всем — и в важном, и в мелком. Но это безусловное повиновение он выказывал только к воле Божией; людские повеления имели для него силу только в случае их соответствия с законом, данным Богом. Сама вера обязывала пуританина рассматривать всякое требование, предъявляемое к нему установленными властями, светскими и духовными, и признавать или отвергать его, смотря по соответствию его с высшими обязанностями человека перед Богом: «В вопросах веры, —

говорит г-жа Гётчинсон о своем супруге, — он всегда подчинял свой разум Слову Божию; а во всем прочем величайшие мирские авторитеты не могли бы заставить его отказаться от своего суждения». Очевидно непроходимая пропасть отделяла такое настроение от безусловной покорности королю, требовавшейся Яковом. В своем стремлении к законности пуританин доходил до педантизма, а сознание нравственного порядка и законности вызывало в нем нетерпимость к беззаконию и беспорядочности личной тираннии; он выказывал критическое отношение к власти и даже, в случае нужды, упорное и непреодолимое сопротивление, вытекавшее не из пренебрежения к ней, а из преданности авторитету более высокому, чем королевский. Если теория божественного права королей должна была неизбежно возмущать против себя лучшие силы пуританства, то и высшие, и низшие его стороны одинаково возмущало отношение Якова к епископам. Уже понимание Елизаветой ее верховенства над церковью служило для подданных сильным камнем преткновения, но, по крайней мере, для Елизаветы верховенство было просто отраслью ее власти. Яков смотрел на верховенство, как и на королевскую власть, совсем иначе, чем Елизавета. Взгляд этот образовался у него под влиянием тяжелых унижений, перенесенных им в Шотландии в борьбе с пресвитерианством. В начале его царствования шотландские пресвитеры оскорбляли и пугали его, и он стал смешивать пуритан с пресвитерианами. Но, в сущности, для внушения этой мысли не нужно было предрассудка. Сама по себе она была вполне логична и соответствовала предшествовавшим ей посылкам. Яков разделял учение кальвинизма, но в его церковном строе, ежегодных собраниях, публичном обсуждении и критике мер правительства с церковной кафедры он видел организованную демократию, угрожающую короне. Новая сила, упразднившая в Шотландии власть епископов, могла упразднить и монархию. На ту и другую под прикрытием то религии, то политики нападал народ. Из того, что враг был один и тот же, Яков со свойственной его роду близорукостью сделал вывод о единстве епископата и монархии. «Без епископа нет короля», — гласило его знаменитое изречение. Надежды на церковную реформу не нашли себе сочувствия у короля, которого ничто в Англии не восхищало так, как ее устроенная и послушная церковь, ее синоды, собиравшиеся по воле короля, суды, проводившие королевские указы, епископы, считавшие себя ставленниками короля. Он принял Петицию тысячи и созвал в Гэмптон-корт на совещание епископов и пуританских богословов, но не выказал желания обсуждать принесенные жалобы, а воспользовался случаем для проявления своей богословской учености. На требования пуритан он смотрел с чисто политической точки зрения. Епископы объявили

что оскорбления, которыми король осыпал их противников, были внушены ему Святым Духом; пуритане еще осмеливались оспаривать его непогрешимость. Яков закрыл совещание угрозой, раскрывшей политику короны: «Я заставляю их подчиниться, — сказал он о возражавших, — или выгону их из страны».

Только представляя себе вполне отношения народа и короля к вопросам религии и политики, мы можем понять борьбу Якова с парламентом, наполняющую все его царствование. Но чтобы были понятны ее частности, мы должны вкратце обозреть отношения палат и короны. Осторожный и предусмотрительный Уолси считал парламент, несмотря на все его унижение при Тюдорах, памятником прежней свободы и центром национального сопротивления устанавливаемому Генрихом новому деспотизму в случае, если когда-нибудь народ восстанет против него. Никогда, быть может, свобода Англии не подвергалась такой страшной опасности, как когда Уолси решился фактически упразднить палаты. Более смелый и талантливый Кромвель отказался от традиций новой монархии. Он был полностью уверен в могуществе короны и потому восстановил парламент как удобное и послушное орудие деспотизма. Он воспользовался старыми формами конституционной свободы в интересах королевской власти и при помощи ряда парламентских статутов произвел переворот, на время полностью подчинивший Англию Генриху. Господствовавший в палатах дух рабского подчинения в течение всего царствования Генриха оправдывал надежды Кромвеля. Следствия церковной реформы, подготовленной его мерами, стали чувствоваться в малолетство Эдуарда VI; много горячих споров вызвала навязанная Марией парламенту религиозная реакция. Указанием на большой шаг вперед служило стремление короны ослабить оппозицию, которую ей уже нельзя было запугать при помощи уловок. Парламенты наполнялись ставленниками короны. При Эдуарде было создано 22 новых местечка, при Марии — 14; некоторые из них имели право на представительство по своему богатству и населенности, но большинство представляли собой мелкие города и поселки, состоявшие в полном подчинении у Королевского совета. Елизавета усвоила себе систему обоих предшественников как в создании новых местечек, так и в указании кандидатов, но ее тонкий политический инстинкт скоро заметил бесполезность обоих приемов. Она вернулась по возможности к политике Уолси и стала созывать парламенты все реже. При помощи строгой экономии и политики равновесия и мира она старалась, и долгое время успешно, избегать необходимости совсем собирать их. Но в то время как свобода Англии подвергалась сильнейшей опасности, ее друзьями оказались Мария Стюарт и Филипп II. Борьба с католицизмом

заставила Елизавету чаще прибегать к парламенту, а когда ей пришлось требовать увеличения субсидий, тон палат все более повышался. По вопросу об обложении и монополиях она, несмотря на все свое самовластие, принуждена была уступить их требованиям. В церковном вопросе она отказалась от всяких уступок, и Англии пришлось ожидать изменения системы от ее преемника. Но уже по первым действиям Якова видно было, что политике уступок он предпочитает борьбу с палатами. При Елизавете влияние парламента обуславливалось, главным образом, продолжением войны и необходимостью для короны обращаться к нему за средствами. Не следует забывать, что в совете Елизаветы партия войны защищала не только протестантизм материка, но и политическую свободу Англии. Когда Эссекс опровергал доводы Берли в пользу мира, старый министр сослался на слова Библии: «...кровожадный человек не проживет и половины своей жизни». Но военная политика Эссекса и его друзей имела более высокие основания, чем кровожадность, а мирная политика Якова руководилась другими мотивами, чем ненависть к кровопролитию. Он поторопился заключить с Испанией мир, необходимый для безопасности его престола, так как мир лишил иноземной помощи католиков, которые только и оспаривали его право. С той же целью предотвратить восстание католиков он смягчил уголовные законы против них и освободил диссидентов от уплаты штрафов. Как ни основательны могли быть эти меры, но строгие протестанты с неудовольствием услышали о переговорах с Испанией и папством, указывавших на уклонение от борьбы с католицизмом в Англии и вне ее.

Парламент 1604 г. собрался в ином настроении, чем какой-либо из его предшественников в течение ста лет. Немного времени прошло со вступления Якова на престол, но характер его уже обнаружился; не сходявшие с губ короля притязания на неограниченную власть в церкви и государстве вызвали смущение в людях; но что важнее всего — Гэмптон-кортское совещание разрушило все надежды пуритан на церковные преобразования, а из помещиков и купцов, занимавших скамьи парламента, три четверти сочувствовали пуританам. Они холодно и подозрительно выслушали предложение короля об объединении Англии и Шотландии под именем Великобритании. В действительности парламент желал церковной реформы. Первым шагом общин было назначение комиссии, которая должна была выработать билли для удовлетворения наиболее громких жалоб на церковные порядки, а когда предложенные палатой меры были отвергнуты, она тотчас обратилась к королю со смелым адресом. Парламент, говорилось в нем, сошелся в миролюбивом настроении: «Мы желали только мира, мы думали только о единстве». Его целью было положить конец давно су-

ществующему среди духовенства разногласию и сохранить единообразие путем отказа от «немногих маловажных обрядов», устранения некоторых церковных злоупотреблений и установления хорошей подготовки для проповедников. В последние годы правления Елизаветы парламент отказался от своего права заниматься этими вопросами, теперь он снова подтверждает его: «Да будет угодно вашему величеству принять от ваших общин в парламенте публичный отчет о злоупотреблениях как в церкви, так и в гражданском устройстве и управлении». Притязания на неограниченную власть были встречены словами, служившими как бы предисловием к «Петиции о праве»: «Ваше величество были бы плохо осведомлены, — говорил адрес, — если бы кто стал утверждать, что королям Англии принадлежит неограниченная власть изменять религию или без согласия парламента издавать законы касательно духовных и светских дел». Яков встретил адрес с грубым пренебрежением и отсрочил заседания палат. Поддержка короны дала смелость епископам ответить вызовом на требования пуритан. Закон Елизаветы, утверждавший 39 статей, обязывал духовенство подчиняться только тем из них, которые касались веры и таинств; правила конвокации 1604 г. потребовали подписи статей, касавшихся богослужения и обрядов. Новый архиепископ Бэнкрофт присоединил еще требование строгого соблюдения служебника со стороны штатного духовенства. За отказ от соблюдения этих требований следующей весной триста пуританских священников были изгнаны из своих приходов.

За разрывом с пуританами последовал разрыв с католиками. Увеличение числа их с отменой штрафов вызвало общий страх, и парламент восстановил законы против них. Слух об обращении в католичество самого короля так возмутил Якова, что он стал теперь применять законы с еще большей строгостью, чем прежде. Отчаяние католиков ускорило развитие давно уже задуманного ими заговора. Они не надеялись на помощь извне или на успех открытого восстания внутри страны, и небольшая кучка отчаянных людей с Робертом Кэтсби, участником восстания Эссекса, во главе решила покончить с королем и парламентом одним ударом. В погреб под зданием парламента были помещены бочонки с порохом, и в ожидании 5 ноября, когда назначено было собрание парламента, планы небольшой кучки заговорщиков превратились в грозный заговор. К участию в нем были допущены более состоятельные католики, вроде сэра Эверарда Дигби и Фрэнсиса Трешэма; они-то и доставили деньги для задуманных заговорщиками более широких планов. Во Фландрии было закуплено оружие, были заготовлены лошади, а для начала восстания был устроен съезд католических дворян под предлогом охоты. За убийством короля предполагалось

захватить его детей и произвести открытое восстание, при котором можно было рассчитывать на помощь испанцев из Фландрии. Заговор хранили в величайшей тайне, но в последнюю минуту его выдала фамильная связь Трешэма. Письмом к своему родственнику лорду Монтиглу он посоветовал ему не являться в роковой день в парламент; это и другие сведения привели к открытию погреба и некоего авантюриста Гая Фокса, которому было поручено стеречь его. Компания охотников в отчаянии рассеялась, заговорщиков преследовали из одного графства в другое: часть их была перебита, другая казнена. Глава иезуитов Англии Гарнет был привлечен к суду и казнен. Он уклонился от всякого участия в заговоре, так как был осведомлен о нем другим иезуитом, Гринуэем, и, пораженный, по его словам, ужасом, сохранил тайну и предоставил парламент его судьбе*.

Избавление от общей опасности сблизило парламент с королем, и когда палаты собрались в 1606 г., общины согласились дать сумму, достаточную для уплаты долгов, оставленных Елизаветой после войны. Но Яков был так расточителен, что его расходы в мирное время держались на уровне расходов Елизаветы во время войны; нужда в деньгах и желание избавиться от контроля парламента заставили его искать новых источников дохода. Первым крупным его нововведением было установление таможенных пошлин. Давно было установлено, что корона не имеет права без согласия парламента налагать пошлины, кроме как на шерсть, кожи и олово. Однако в одном или двух случаях были обложены пошлиной импортные товары при Марии, и эта пошлина была распространена Елизаветой на коринку и вино; но случаи эти были слишком мелки и исключительны, чтобы опровергнуть общее правило. Более опасный пример представляли пошлины, взимавшиеся с отдельных купцов крупными торговыми компаниями, вроде Левантской или Индийской, в обмен за защиту, какую они оказывали им в дальних морях. Теперь Левантская компания была распущена, и Яков присвоил себе взимавшиеся ею пошлины, как выморочное имущество. Напрасно парламент протестовал. Якова так же интересовало подтверждение неограниченности его власти, как и пополнение его казны. Поэтому один такой случай, дело Бэтса, был в 1606 г. доведен до палаты казначейства, и суд подтвердил право короля взимать какие ему угодно

* Как и в случае заговора Бабингтона, существуют сильные сомнения в официальной версии «Порохового заговора». Возможно, он был хитроумной операцией тогдашнего главы английской секретной службы Роберта Сесила, пытавшегося либо не допустить нового смягчения законов против католиков, либо попросту доказать королю свою незаменимость, чем еще более способствовать своей успешной карьере. Как бы то ни было, день раскрытия «Порохового заговора» до сих пор отмечается в Англии, как народный праздник, — День Гая Фокса.

таможенные пошлины по его усмотрению: «Все пошлины, — объявили судьи, — суть следствия заграничной торговли, а все торговые дела и договоры с иноземными державами подлежат неограниченной власти короля; поэтому тот, кто имеет власть над причиной, господствует и над следствием». Яков ясно понимал важность решения, избавлявшего его от необходимости обращаться к парламенту. Торговля Англии быстро росла, английские купцы пролагали себе путь к Пряным островам и основывали поселения во владениях Великого Могола. Приговор суда доставил Якову доход, который скоро должен был возрасти, а нужды казны заставляли его действовать. После двухлетнего колебания королевский указ обложил пошлинами многие статьи импорта и экспорта. Но если доходы росли быстро, то долги короля возрастали еще быстрее. Каждый год расходы Якова увеличивались, и нужда заставила короля снова созвать парламент. Сесил, теперь граф Солсбери, выработал (1610) «великий договор»: Яков должен был отказаться от стеснительных феодальных прав, вроде опеки и выдачи замуж, и от права забора припасов (*purveyance*), если общины увеличат ежегодный доход короля на 200 000 фунтов. Сделка не состоялась из-за недоверия общин, а на требование короля об уплате его долга они отвечали ходатайством об отмене злоупотреблений. Общины ревниво следили за тем, что Яков придал новый характер королевским указам: ими он устанавливал новые преступления и новые наказания и привлекал виновных к суду, не имевшему юридически права судить их. Круг дел церковных судов был сильно расширен. Напрасно судьи, без сомнения — под влиянием старой зависти светских юристов к церковным, принимали апелляции на Высокую комиссию и старались рядом решений определить границы ее беспредельных притязаний и ограничить ее право заключать в тюрьму только за раскол и ересь. Судьи были бессильны против короны, а Яков энергично поддерживал церковные суды, тесно связанные с его властью. Казна была полна, и не оставалось возможностей устранить это зло. Да общины и не были расположены обходить молчанием беззакония последних лет. Яков запретил им касаться вопроса о новых пошлинах, но тем не менее их представление отличалось большей активностью. «Находя, что ваше величество без совета или согласия парламента наложили во время мира большие подати и больше числом, чем когда-либо делал это кто из ваших благородных предков во время войны», они просили, «чтобы все подати, наложенные без согласия парламента, были уничтожены и отменены и чтобы был издан закон, провозглашающий недействительность всех податей, налагаемых на ваш народ, его имущества или товары, иначе как с общего согласия парламента». В том же духе были требования общин касательно церковных зло-

употреблений. Они просили, чтобы отрешенным священникам была дозволена проповедь и чтобы судебная власть Высокой комиссии была определена законом, — другими словами, чтобы церковные дела, как и финансовые, были изъяты из ведения короны и признаны впредь состоящими в ведении парламента. В других вопросах Яков еще мог делать уступки, но свои церковные полномочия он не хотел допускать никакого вмешательства; парламент был распущен, и прошло три года, прежде чем финансовые нужды заставили Якова снова обратиться к палатам. Но теперь дух сопротивления сильно поднялся. Никогда раньше выборы не возбуждали так сильно народных страстей, как в 1614 г. Всюду, где это было возможно, кандидаты двора были отвергаемы. Все главные члены народной партии, или, как мы называли бы ее теперь, оппозиции, были избраны снова. Но триста членов были совсем новыми людьми, и среди них мы впервые видим имена двух руководителей в последующей борьбе с короной: Йоркшир выбрал Томаса Уэнтворта, Сент-Джерменс — Джона Элиота. Необыкновенное возбуждение проявилось в сильных рукоплесканиях и свистках, впервые примешавшихся к прениям общин. Новый парламент целиком продолжал политику своих предшественников. Он отказался разрешить налоги раньше рассмотрения жалоб народа и, прежде всего, потребовал отмены пошлин и церковных злоупотреблений. К несчастью, неопытность массы членов от общин привела их к столкновению с лордами по вопросу о преимуществе, и король, более обыкновенного испуганный резкостью их тона и языка, воспользовался этим спором, как предлогом для роспуска.

Четверо руководителей распущенного парламента были посажены в Тауэр, а страх и гнев, вызванные ими в уме короля, проявились в том упорстве, с каким он старался обойтись в управлении совсем без парламента. Семь лет (1614—1621) он с безумной смелостью проводил свою теорию неограниченной власти, не стесняясь прошедшим и не думая о будущем. Все злоупотребления, на которые жаловались один парламент за другим, не только сохранились, но достигли еще больших размеров. Поощрялись новые захваты церковных судов. Королевские указы, несмотря на признание их незаконности юристами короны, издавались чаще прежнего. Налоги строго собирались, но казна все оставалась пустой, и роковая необходимость заставила, наконец, Якова прямо нарушить закон. Он вернулся к источнику, от которого вынужден был отказаться даже Уолси в эпоху высшего могущества Тюдоров. Но письма совета, требовавшие от богатых землевладельцев «одолжений», или подарков, большей частью оставались без ответа. В три года, последовавшие за роспуском парламента, крайние уси-

лия шерифов доставили только 60 000 фунтов — сумма, составлявшая менее двух третей одной субсидии; хотя представления западных графов были заглушены угрозами совета, но двое из них, Герфорд и Стаффорд, так и не прислали ни гроша. Денежные затруднения заставили Якова прибегнуть к средствам, расширившим пропасть между джентри и короной. Он удержал за собой феодальные права, перешедшие к нему со Средних веков, вроде права опеки над малолетними наследниками и выдачи замуж наследниц, и постоянно пользовался ими, как поводами к вымогательствам. Он унижал знать, бесцеремонно продавая пэрское достоинство. Из 45 светских пэров, вступивших в верхнюю палату в его царствование, многие добились этого путем прямого подкупа. Указ, запрещавший постройку в Лондоне новых домов, доставил казне массу штрафов. Такими уловками Яков со дня на день отодвигал необходимость обращения к единственному учреждению, которое было в состоянии надолго остановить его стремления к деспотической власти. Но оставалась еще одна корпорация, обладавшая достаточно сильной традицией, чтобы если не совсем останавливать, то сдерживать их. Больше всех других классов служили короне юристы. Педантично преклоняясь перед отдельными прецедентами и не обращая внимания на условия, при которых они возникли и которым были обязаны своим очень неодинаковым значением, судьи настойчиво поддерживали притязания Якова. Но дальше прецедентов отказывались идти даже судьи. В одном дошедшем до них деле они сделали все возможное для ограничения полномочий церковных судов известными юридическими пределами, а когда король стал доказывать свое прирожденное право до произнесения приговора по делу, затрагивающему его власть, выражать перед судами свое мнение, судьи робко, но твердо отвергли этот прием как неизвестный закону. Яков призвал их в королевский кабинет и стал бранить их, как школьников, пока они не упали на колени и не обязались, за исключением одного, подчиняться воле короля. Твердым остался один главный судья сэр Эдуард Кок, человек ограниченный и жестокий, но замечательный юрист, у которого почтение к закону было сильнее всех других побуждений. Когда к нему поступит какое-нибудь дело, отвечал он, он будет действовать так, как прилично судье. Кок тотчас был уволен из совета, и для унижения общего права в лице главного его представителя было восстановлено давно вышедшее из употребления правило, ставившее сохранение судейской должности в зависимость от усмотрения короля; Кок продолжал свое сопротивление и в 1616 г. был лишен места главного судьи. Ничто, по-видимому, не вызвало среди англичан такого сильного недовольства, как этот поступок Якова, указывавший на его желание влиять на ход

правосудия. Это было таким же ударом для усиливавшегося стремления к законности, каким для укрепившегося нравственного чувства являлись расточительность и распущенность двора. Казна тратилась на устройство маскарадов и увеселений, отличавшихся неслыханной роскошью. Земли и драгоценности раздавались молодым авантюристам, пленившим своей красотой короля. Двор Елизаветы тоже не отличался нравственностью, но это скрывалось покровом рыцарской любезности. Унизительная грубость двора Якова проявлялась без всякого прикрытия. Короля, правда несправедливо, считали пьяницей. На маскараде, устроенном при дворе, участники при всех падали в опьянении к ногам Якова. Скандальное дело обнаружило связи высших вельмож и сановников с мошенниками, астрологами и отравителями. Сам Яков не постеснялся принять деятельное участие в разводе леди Эссекс, а последовавшая затем свадьба с одним из фаворитов короля была отпразднована в его присутствии. Перед подобными сценами благоговейное почтение, с которым во всем время Тюдоров относились к государю, перешло в отвращение и презрение. Актеры открыто насмехались над королем со сцены. Г-жа Гётчинсон изобличала оргии Уайт-Холла в таких же пламенных словах, как Илия пороки Иезавели. Но едва ли не большее презрение, чем безнравственность двора, вызывало безрассудное управление Якова. За отсутствием парламента произвол короля, даже при таком деспоте, как Генрих VIII, несколько ограничивался Королевским советом, состоявшим не только из министров, но и из главных вельмож, и наследственных сановников. Но после смерти сына лорда Берли Роберта Сесила, министра, завещанного Якову Елизаветой и награжденного за услуги по обеспечению ему престола титулом графа Солсбери, король отнял у совета всякий контроль над делами и вверил его осыпанными почестями недостойным фаворитам. Шотландский паж Роберт Карр был пожалован в виконты Рочестера и графы Сомерсета и женился на разведенной леди Эссекс. Он оказывал огромное влияние на дела государства, внутренние и внешние, пока, наконец, не лишился милости и власти, так как он и его жена были изобличены в подстрекательстве к страшному преступлению — отравлению сэра Томаса Овербери*. Место его уже готов был занять другой фаворит — Джордж

* Жена графа Эссекса (сына казненного Елизаветой фаворита) Тереза Говард, влюбившись в любимчика Якова I Роберта Карра, виконта Рочестера, пыталась отравить мужа, а затем отравила друга Карра поэта Овербери, пытавшегося предостеречь Карра от женитьбы на этой особе. Добившись расторжения брака с Эссексом, она вышла за Рочестера (1613), который в том же году получил титул графа Сомерсета. Наглость королевского фаворита создала ему множество врагов. Они добились возобновления дела об отравлении Овербери, и в 1616 г. Сомерсет и его жена были арестованы и по суду приговорены к смерти, однако король спас их от казни: графиня была помилована немедленно, а Сомерсет просидел в тюрьме до 1622 г.

Вилльерс, красивый молодой авантюрист, быстро прошедший все степени пэрства, сделанный маркизом и герцогом Бекингом и получил право замещать высшие должности государства. Скоро единственным путем к политическому отличию сделались подкуп фаворита или брак с одной из его жадных родственниц. Соппротивление его воле неизбежно сопровождалось лишением должности. Кивок этого молодого выскочки вызывал дрожь знатнейших и сильнейших вельмож: «Я думаю, — замечает с удивлением Кларендон*, — ни в какой век и ни в какой стране никто никогда не достигал в такое короткое время таких почестей, власти, богатства и не какими-нибудь достоинствами или талантами, а просто личной красотой и изяществом». У Бекингема были, правда, значительные способности, но его самоуверенность и легкомыслие равнялись его красоте, и высокомерному фавориту, на плечо которого любил опираться Яков и щеки которого он осыпал поцелуями, суждено было увлечь за собой в своей роковой карьере трон Стюартов.

Во внешних делах следствия новой системы оказались еще пагубнее, чем во внутренних. Отнятие власти у совета сделало Якова первым министром короны, сделало его, больше чем кого-либо из его предшественников, руководителем всей политики. При вступлении на престол он нашел руководство иностранными делами в руках Солсбери, и пока тот был жив, он, вообще, придерживался политики Елизаветы. Правда, с Испанией был заключен мир, но тесный союз с Нидерландами и более осторожный союз с Францией, сдерживали властолюбие Испании почти столько же, сколько и война. Когда Германии стало грозить опасностью католическое рвение дома Габсбургов, брак дочери Якова Елизаветы с наследником курфюрста Пфальцского обеспечил протестантским князьям поддержку Англии. Но вскоре после смерти Солсбери и роспуска парламента 1614 г. произошла пагубная перемена. Яков тотчас приступил к разрушению всего того, что было достигнуто борьбой Елизаветы и поражением Армады. Его живой, но ограниченный ум привел его к мысли, что совместное действие с Испанией даст ему возможность в одно и то же время оказывать влияние на внешние дела и стать независимым от народа внутри. Начались длительные переговоры о браке его сына с испанской принцессой. Сменявшие один другого его фавориты стояли за союз с Испанией, и после многолетних

* Эдуард Гайд, граф Кларендон, (1609–1674) — английский политический деятель и историк. Сначала — сторонник парламента, после казни Карла I перешел на сторону роялистов. Активно содействовал Реставрации на престоле дома Стюартов, после которой стал первым министром Карла II и в 1661 г. получил титул графа Кларендона. Его дочь Анна была первой женой герцога Йоркского (будущего короля Якова II).

тайных интриг король открыто выразил свои намерения, в то самое время когда политика Габсбургов стала угрожать протестантам Южной Германии конечной гибелью или междоусобной войной. Кто бы ни начал первым нападение, но было ясно, что на почве Германии произойдет вторая великая борьба между протестантизмом и католицизмом. Перед самым наступлением кризиса и в предчувствии его часть министров Якова, еще державшаяся политики Солсбери, решила поддержать замысел, обещающий отвлечь короля от его новой системы и втянуть его в войну с Испанией. Единственный еще уцелевший воин времени Елизаветы сэр Уолтер Рэли самого начала нового царствования содержался в Тауэре по обвинению в измене. Теперь он открыл Якову, что знает на Ориноко золотой рудник, просил позволения отправиться туда и воспользоваться его сокровищами для короля. Приманка увлекла Якова, но он запретил нападать на земли или проливать кровь испанцев. Рэли уже много раз рисковал своей жизнью; он верил в свою сказку и знал, что если между Англией и Испанией начнется война, для него откроется новое поприще. Берег оказался занят испанскими войсками; избегая прямого приказа напасть, Рэли послал своих людей на землю, где они разграбили испанский город, но не нашли золотого рудника и разбитые, в унынии вернулись назад. Тогда смелый Рэли схватился за новое средство: он задумал на обратном пути овладеть испанскими судами с казной и, подобно Дрейку, вскружить головы народу и королю огромной добычей, но его люди не захотели следовать за ним, он вернулся домой навстречу смерти. Яков тотчас велел исполнить свой старый приговор, и смерть несчастного смельчака на эшафоте загладила обиду, нанесенную Испании. Неудача Рэли совпала с критическим моментом в истории Германии. Религиозный мир, так долго сохранявший ее спокойствие, был нарушен в 1618 г. восстанием Чехии против власти католического дома Габсбургов; а когда в 1619 г. смерть императора Матиаса отдала империю и престол Чехии его двоюродному брату Фердинанду, чешские вельможи объявили престол вакантным и избрали своим королем Фридриха, молодого курфюрста Пфальцского. Роковая вражда лютеранских и кальвинистских князей вносила рознь в среду протестантов Германии, и они надеялись, что избрание Фридриха объединит их, а чехи, выбирая в короли зятя Якова, рассчитывали на поддержку Англии. Во всяком случае твердая политика удержала бы Испанию от вмешательства и ограничила бы борьбу одной Германией. Но «политическое искусство», которым так хвастался Яков, побудило его опереться не на страх, а на дружбу Испании. Он отказал в помощи союзу протестантских князей Германии, когда они приняли сторону Чехии, и стал грозить войной Голландии, единственной дер

жаве, серьезно поддерживавшей интересы курфюрста Пфальцского. Напрасно двор и народ единогласно требовали войны. Яков все еще убеждал своего зятя уйти из Чехии и рассчитывал, в таком случае, восстановить мир соединенными усилиями Англии и Испании. Но Фридрих отказал в согласии, и Испания скоро сбросила маску. Ее знаменитые полки двинулись вниз по Рейну на помощь императору, и их появление превратило чешскую войну в борьбу общеевропейскую. Испанцы заняли Пфальц, а армия Католической лиги под начальством Максимилиана Баварского спустилась по Дунаю, привела к покорности Австрию и принудила Фридриха к битве под стенами Праги (ноябрь 1620 г.). В тот же день последний бежал в Северную Германию, а испанцы в это время утвердились в сердце Пфальца.

Яков был одурачен и на время подчинился взрыву народной ярости, вызванной опасным положением немецких протестантов. Ему пришлось позволить сэру Хорасу де Веру отправиться с отрядом английских добровольцев в Пфальц, но их помощь явилась слишком поздно. Требование созыва парламента, необходимого преддверия войны, преодолело, наконец, тайное сопротивление короля, и палаты были собраны снова. Но общины были сильно раздражены, найдя только требование субсидий и продолжение прежних стараний сохранить мир. Яков старался даже приобрести расположение испанцев разрешением вывоза орудия в Испанию. Раздражение общин выразилось в их отношении к внутренним делам. Сильнейшие жалобы вызвало восстановление монополий, несмотря на обязательство Елизаветы отменить их. К монополистам было применено не применявшееся с царствования Генриха VI право нижней палаты привлекать важных преступников к суду палаты лордов, и общее негодование заставило Якова предоставить виновных их участи. Но раздача монополий была только одним из проявлений продажности двора. Общее недовольство вызывала также продажа пэрских титулов и государственных должностей, и это недовольство выразилось в обвинении высшего из сановников государства — канцлера Фрэнсиса Бэкона, самого талантливого и ученого человека эпохи. Со вступлением на престол Якова лучи милости короля постепенно сосредоточились на Бэконе. Он последовательно был сделан прокурором и обер-прокурором; в год смерти Шекспира он был призван в Тайный совет и, оправдывая предсказание Елизаветы, сделался хранителем печати. Наконец, он достиг цели своего честолюбия. Он примкнул к восходящему светилу Бекингеми и по милости его сделался лордом-канцлером. Он был сделан пэром с титулом барона Веруламского, а потом пожалован в виконты Сент-Олбанса. Но он не достиг высоких целей, ради которых добивался этих мелких почестей. Его планы все оставались планами, а между тем для

сохранения своей должности он унизился до подчинения худшим прихотям Бекингема и короля. Годы его канцлерства были самой позорной эпохой этого позорного царствования. Они видели казнь Рэли, жертвование Пфальцем, требование «одолжений», усиление монополий, всевластие Бекингема. Против глупостей и беззаконий, ознаменовавших правление Якова, Бэкон самое большее только протестовал, а в некоторых из наихудших, прежде всего в попытке принудить судей к подчинению закону воле короля, принимал даже личное участие. Но молодой фаворит, считавший его простым орудием своей прихоти, был недоволен его протестами. Напрасно Бэкон просил у герцога милости и прощения за единственный случай сопротивления его капризу. Предстоял созыв парламента, и Бекингом решил отвлечь от себя собирающуюся бурю, пожертвовав своими сторонниками. На обычный взгляд, канцлер стоял на высшей степени человеческого счастья. Перед самой бурей Джонсон воспевал его, как человека, у которого «парки прядут ровные нити жизни из самой отборной белой шерсти». Общины обвинили Бэкона в подкупе при отправлении должности. У канцлеров был обычай — по окончании тяжбы принимать от выигравшей ее стороны подарки. Относительно Бэкона, несомненно, что он принимал такие подарки от людей, дела которых еще не были решены, и хотя его приговор мог и не зависеть от этого, но сам факт принятия их лишал его возможности защищаться. Он тотчас признал себя виновным: «Я признаюсь прямо и откровенно, что я виновен в подкупе и отказываюсь от всякой защиты. Я прошу ваши лордства, — прибавил он, — быть сострадательными к сломанному тростнику». Наложенный на него тяжелый штраф был снят короной, но большая печать была у него отнята, и он был лишен права занимать государственные должности и заседать в парламенте. Падение вернуло Бэкону его действительное величие, от которого так надолго отвлекло его честолюбие: «Его положение и почести, — сказал Бен Джонсон, — никогда не усиливали моего уважения к его личности; но я уважал и уважаю его за свойственное только ему одному величие: по своим произведениям он всегда представлялся мне одним из величайших людей, в течение многих веков наиболее заслуживавших удивления. Когда его постигло несчастье, я всегда молил Бога даровать ему силу, так как величие было у него и без того». Умственная деятельность Бэкона никогда не проявлялась так сильно, как в последние четыре года его жизни. За год до своего падения он представил Якову «*Novum Organum*», а через год после него он написал свою «Естественную и опытную историю». Он начал собрание законов и «Историю Англии при Тюдорах», пересмотрел и дополнил свои «опыты», продиктовал собрание острот и занимался физическими опытами

Изучая действие холода на предотвращение животного гниения, он оставил раз свой экипаж, чтобы набить снегом птицу, и подхватил лихорадку, окончившуюся его смертью.

Яков был слишком проницателен, чтобы не понять важности обвинения Бэкона, но враждебность Бекингема к канцлеру и признание последним своей вины не позволили ему противиться его осуждению. Энергично выступая против коррупции и монополий, парламент очень осторожно относился к предассудкам короля в других вопросах, и даже когда деятельность его была прервана отсрочкой заседаний, он решил единогласно поддерживать короля в случае серьезной защиты им интересов протестантов. Перед отсрочкой один из членов произнес воинственную речь, вызвавшую такой восторг, который напомнил дни Елизаветы. Члены от общин, «подняв свои шляпы как можно выше», ответили на призыв единодушным заявлением, что для возвращения Пфальца они готовы жертвовать своим достоянием, именами и жизнью: «Это заявление, — воскликнул один из вождей народной партии, когда оно было прочитано спикером, — важнее посылки 10 000 человек». На время это решение, по-видимому, придало активность политике короля. Яков постоянно старался вернуть Чехию Фердинанду и при посредстве Испании побудить императора к отказу от мщения Пфальцу. Теперь он на время высвободился из сетей дипломатии и, угрожая войной, заставил прекратить нападения на земли своего зятя. Перемирие продержалось все лето; но одни угрозы больше не действовали, и после завоевания Верхнего Пфальца войсками Католической лиги Яков вернулся к своей прежней политике посредничества при помощи Испании. Переговоры о браке с инфантой пошли еще деятельнее. При английском дворе стал всемогущим испанский посол Гондомар; ему были даны уверения, что в Пфальц не будет послано настоящей помощи. Крейсировавший в виде угрозы вдоль берегов Испании английский флот был отозван домой. Король отправил в отставку тех из своих министров, которые все еще высказывались против дружбы с Испанией, и под пустыми предложениями стал грозить войной Голландии, единственной крупной протестантской державе, остававшейся в союзе с Англией и готовой поддержать пфальцграфа. Но ему приходилось еще считаться с парламентом, первым делом которого по возобновлении заседаний было потребовать объявления войны Испании. Народный инстинкт оказался дальновиднее политического искусства короля. Несмотря на свое разорение и ослабление, Испания все еще представлялась миру опорой католицизма. Вступление ее войск в Пфальц впервые превратило местную чешскую войну в великую борьбу за подавление протестантизма на Рейне; но важнее всего было то, что влияние Испании и

надежды на брак сына с инфантой вовлекали короля в роковую зависимость от великого врага протестантизма. В своем ходатайстве палаты требованием войны соединили просьбу о женитьбе наследника престола на протестантке. Позднее опыт показал, как опасно было для свободы Англии воспитание будущего короля матерью-католичкой; но Яков был страшно раздражен вмешательством палат в государственные тайны: «Принесите кресла для послов», — воскликнул он со злой насмешкой, когда представители общин явились к нему. Он не принял ходатайства, запретил впредь всякое обсуждение внешней политики, грозил спикерам Тауэром. Когда письмо короля было прочитано, один из членов спокойно сказал: «Прибегнем к молитвам и затем обсудим этот важный вопрос». Настроение палаты видно из протеста, каким она встретила приказ короля прекратить прения. Она объявила, «что права, вольности, преимущества и судебные полномочия парламента составляют исконное и несомненное наследие и достояние подданных Англии, что трудные и настоятельные вопросы касательно короля, государства, защиты королевства и церкви Англии издания и охранения законов и удовлетворения жалоб, постоянно заявляемых в пределах королевства, представляют настоящие предметы обсуждения и прений парламента, и что при рассмотрении и решении этих вопросов всякий член палаты пользуется, и по праву должен пользоваться, свободой слова для предложения, обсуждения, рассмотрения и разрешения их».

На протест король ответил характерным оскорблением: он послал за протоколами палаты и собственноручно вырвал из них страницы, на которых он был изложен: «Я буду править в видах общего блага, — сказал он, — но не по воле всех». Через несколько дней после этого он распустил парламента (декабрь 1621 г.): «Это лучшее, что с начала проповеди Лютера было сделано в интересах Испании и католицизма», — писал своему государю граф Гондомар, обрадованный устранением всякой опасности войны. «Я готов умереть, — говорил, с другой стороны, на смертном одре сэр Генри Сэвил, — тем скорее, что я жил в хорошие времена и теперь предвижу худшие». На материке, правда, все было потеряно, и Германия, сломя голову слепо кинулась в хаос Тридцатилетней войны. Но и в Англии свобода на деле одержала победу. Яков сам подорвал главные опоры монархии: желая править лично, он разрушил власть совета. Он приучил людей не уважать министров короны, смотря на то, как ими помыкают фавориты и как их за подкуп лишают должностей. Своей внутренней и внешней политикой противоречившей всем стремлениям народа, он отнял у него слепую веру в монархию. Он ссорился с палатами и оскорблял их, как ни один из государей Англии до него, но все это время власть, которой он хвалился, постоянно

но переходила к оскорбляемому им парламенту, и он не мог этому помешать. В его насмешке над «послами» выразились и понимание этого, и скорбь. Общины, наконец, приобрели такую власть, с которой короне приходилось считаться. Несмотря на резкие выходки короля, парламент удержал свое исключительное право надзора за соблюдением, напал на монополии, устранил злоупотребления в судах. Он восстановил право обвинять и отстранять от должности высших слуг короны, подтвердил право свободного обсуждения всех вопросов, связанных с благосостоянием королевства, привлекал к рассмотрению церковный вопрос и даже выразил свою волю касательно «священных тайн» внешней политики. Яков мог вырвать из его протоколов протест. Но в отчете парламента 1621 г. были такие страницы, которых он не мог никогда изгладить.

Глава III

Король и парламент (1623—1629)

В своем упорном стремлении к дружбе с Испанией Яков стоял совершенно одиноко: не только старая знать и политики, сохранявшие предания века Елизаветы, но даже его министры, за исключением Бекингема и лорда-казначея Крэнфилда, были согласны с общинами. Как мы видели, король стремился при помощи Испании принудить к миру враждующих и добиться возвращения курфюрста Пфальца. Чтобы воспользоваться влиянием Испании, король настаивал на более тесном союзе с ней, а свидетельством этого союза и успеха представляемой им политики должен был служить брак его сына Карла с инфантой, предлагавшийся в виде приманки для его тщеславия. Но чем больше Яков настаивал на выполнении этих планов, тем больше сдержанности выказывала Испания. Наконец, Бекингом предложил добиться руки принцессы поездкой самого Карла к испанскому двору. Принц, переодетый, покинул Англию и вместе с Бекингом приехал в Мадрид за невестой. Напрасно Испания повышала свои требования: каждое из них встречало новые уступки со стороны Англии. Отмена уголовных законов против католиков, католическое воспитание для детей принца, католический двор для инфанты — все это было обещано по первому требованию. Но брак все откладывался, а влияние новой политики на войну в Германии трудно было заметить. Католическая лига и ее войско под командой графа Тилли, одерживали победу за победой над разъединенными врагами. Подчинение Гейдельберга и Мангейма завершило завоевание Пфальца, его курфюрст искал себе убежище в Голландии, а курфюр-

шеское достоинство было передано императором герцогу Баварскому. Ничто еще не указывало на ожидавшееся со стороны Испании вмешательство. Наконец, настояния самого Карла раскрыли секрет ее политики: «У нас существует политическое правило, что король Испании не должен никогда воевать с императором», — признался Оливарес*, когда принц потребовал энергичного вмешательства в Германии. — «Мы не можем послать против императора наши войска». — «Если вы стоите на этом, — возразил принц, — тогда всему конец».

Его возвращение подало сигнал к взрыву народной радости. Весь Лондон, обрадовавшись неудаче испанского сватовства и поражению, хотя бы унижительному, политики, так долго подчинявшей честь Англии капризу Испании, украсился праздничными огнями. По возвращении Карл вместе с Бекингом взяли из рук короля руководство делами. Поездка в Мадрид обнаружила перед окружавшими странную смесь упрямства и слабости в характере принца, двуличность, расточавшую обещания, которыми он никогда не предполагала стесняться, и мелочную гордость, подчинявшую политические соображения личному тщеславию или личному неудовольствию. Он давал обещание за обещанием, пока сами испанцы не потеряли веры в его уступки. Раздраженный в душе неудачей своих усилий, он накануне самого отъезда возобновил свое сватовство, только чтобы оскорбить инфанту отказом от него, когда он будет в безопасности дома. Но для массы англичан недостатки его характера оставались еще неизвестными. Отличавшие принца гордая сдержанность, личное достоинство и приличный манер представляли резкую противоположность болтливости и непростойности его отца. Однако придворные, знавшие Карла в молодости, часто молили Бога «направить его по вступлении на престол на верный путь, так как на неверном он мог оказаться самовластнейшим из когда-либо бывших государей». Но народ склонен был принимать его упрямство за твердость, а гнев, руководивший его политикой по возвращении из Мадрида за патриотизм, обещавший лучшее управление. Под влиянием Карла и Бекинга король вынужден был созвать парламент и уступить в вопросе, из-за которого он порвал с последним, т. е. предложить на обсуждение парламенту вопрос о переговорах с Испанией. Бекингом и принц лично поддерживали требование парламента о нарушении договоров и объявлении Испании войной. Парламент охотно назначил субсидии; преследование католиков, да-

* Гаспаро де Гусман, граф Оливарес (1587—1645), испанский министр, фактически руководивший страной при Филипе IV. Пытался возродить величие Испании, скатывавшейся в разряд второстепенных европейских государств. В Тридцатилетней войне поддерживал Австрийских Габсбургов. Отправлен в отставку в 1643 г. после отпадения от Испании Португалии.

но приостановленное из уважения к вмешательству Испании, возобновилось с новой силой. Глава испанской партии Крэнфилд был обвинен в подкупе и оставлен от должности. Поток увлек с собой и Якова, но он ясно понимал все значение нового оборота дел, и только усиленными настояниями фавориту удалось добиться от короля согласия на отставку Крэнфилда. «Ты готовишь розгу для своей спины», — сказал при этом Яков. Но Бекингем и Карл продолжали настаивать на войне. С Голландией был заключен союзный договор; были начаты переговоры с лютеранскими князьями Северной Германии, безучастно относившимися к падению курфюрста Пфальцского, а Франции был предложен союз и брак Карла с Генриеттой, дочерью Генриха IV и сестрой Людовика XIII. Восстановление тройственного союза было возвращением к политике Елизаветы, но первые слухи о королеве-католичке вызвали сопротивление общин. В этот момент смерть Якова возвела Карла на престол, и в мае 1625 г. собрался первый его парламент. «От короля, управляющего теперь нами, мы можем ожидать всего лучшего», — воскликнул в нижней палате один из ее членов; были и более хладнокровные люди, а за последние несколько месяцев произошло достаточно событий, чтобы внушить парламенту осторожность.

Нужно помнить, что массе англичан война с Испанией представлялась борьбой с католицизмом, а раздражение против иноземных католиков вызывало такое же раздражение против католиков внутренних. В глазах протестанта всякий англичанин-католик был внутренним врагом. Протестант, склоняющийся к католическим обрядам или догматам, представлялся тайным изменником. Между тем существовало подозрение, скоро превратившееся в уверенность, что, несмотря на свое обязательство — не делать религиозных уступок, Карл при заключении брака обещал смягчить уголовные законы против католиков и что, таким образом, иноземная держава снова получила право вмешиваться во внутренние дела королевства. В то же время Карл, казалось, выказывал особое расположение к людям католических мнений. Главой разнохарактерной оппозиции пуританству, члены которой обозначались общим именем арминиан, признавался епископ Лоуд; теперь он сделался советником короля по церковным делам. С Лоудом во главе новая партия стала сильнее и многочисленнее. Для защиты своих религиозных мнений она, естественно, старалась усилить власть короны. Один из придворных фаворитов Монтегю осмелился унижать реформатские церкви материка перед католицизмом и объявлять учением церкви мнения, отвергаемые кальвинистами. Отношение общин к вопросам религиозным было ясно для всякого наблюдателя: «При всяком упоминании об опасениях и опасностях протестантов, — писал один из чле-

нов, следивший за прениями палаты, — она приходит в сильное возбуждение». Первым делом общин было призвать Монтегю к решению палаты и отправить его в тюрьму. Но кроме церковных мер короля, у парламента были еще и другие основания для недоверия. Король пренебрег условиями, на каких была назначена последняя субсидия для войны с Испанией, и, требуя новой ассигновки, не указал ни ее суммы, ни назначения. Общины отнеслись к его скрытности с соответственной осторожностью. Они назначили небольшую субсидию и в то же время ограничили одним годом назначение известных пошлин, называвшихся грузовым и весовым сборами и обыкновенно назначавшихся новому государю пожизненно, чтобы иметь время для рассмотрения прибавок, присоединенных к ним Яковом. Карл принял это ограничение за обиду, отказался принять подарок на таком условии и отсрочил заседания палат. Когда в августе 1625 г. они собрались снова в Оксфорде, пренебрежение, оказанное Карлом к парламенту, еще более ухудшило их настроение: король освободил Монтегю из тюрьмы и назначил его придворным священником, а спорные пошлины продолжал собирать без дозволения закона: «Англия, — воскликнул сэр Роберт Фелипс, — последняя монархия, еще сохранившая свои вольности; не дайте им погибнуть теперь!». Но едва общины выразили намерение прежде других дел заняться рассмотрением народных жалоб, как были распущены. Твердость палаты представлялась Бекингеми простым недовольством, сопровождавшим обыкновенно неудачу, и он решился отвлечь внимание от политической борьбы крупным военным успехом. Едва освободившись от парламента, он отправился в Гаагу для заключения общего союза против дома Габсбургов, а в октябре из Плимута к берегам Испании вышел флот в 90 кораблей с 10 000 солдат. Но эти широкие планы разбились об административную неспособность Бекингема. Задуманный союз не осуществился. Испанская экспедиция вернулась расстроенная мятежом и болезнями после неудачной высадки в Кадисе. Огромный долг, сделанный для снаряжения ее, принудил фаворита высказаться за новый созыв палат. Он ясно понимал, что неудача поставила его в опасное положение, и ему было известно, что его соперники при дворе вступили в союз с вождями последнего парламента. Со своей беззаботной смелостью он решился устранить опасность и рядом ударов навести страх на противников. Заключение в Тауэр лорда Арундела поразило членов совета. Сэр Роберт Фелипс, как и четверо других вождей оппозиции, был назначен шерифом своего графства и, таким образом, лишился возможности заседать в предстоявшем парламенте. Но их удаление только выдвинуло более опасного врага.

Если главными представителями позднейшей оппозиции служат Гэмпден и Пим, то в начале борьбы за парламентские вольности средоточием ее является личность сэра Джона Элиота. Он происходил из старой фамилии, поселившейся при Елизавете возле рыбацкой деревушки Сент-Джерменс и построившей себе прекрасный замок Порт Элиот; под покровительством Бекингема он получил место вице-адмирала Девоншира, а за деятельное преследование морского разбоя в Ла-Манше был награжден несправедливым заточением. В это время он был в цвете сил, обладал прекрасным образованием и знакомством с современной поэзией и наукой, отличался возвышенностью характера, набожностью, бесстрашием и пылкостью. По характеру он был очень вспыльчив: в молодости, когда сосед пожаловался на него отцу, он обнажил на жалобщика свою шпагу; в позднейшие годы эта вспыльчивость сообщила его красноречию особенный блеск. Но при всей пылкости характера Элиот отличался ясным и холодным умом. Среди общего восторга, сопровождавшего неудачу испанского брака, почти один только он настаивал на признании прав парламента как условия действительного примирения с короной. С самого начала своей деятельности он обратил внимание на ответственность министров короля перед парламентом, как на одну из главных основ английской свободы. Чтобы провести это требование, он воспользовался тем, что Бекингем пожертвовал гневу общин лордом-казначеем: «Чем выше преступник, — говорил он, — тем важнее проступок. Если главные сановники хороши — это великое дело и одно из величайших благ для страны; зато злоупотребление властью — величайшее зло, какое только может постигнуть ее». Едва собрался парламент, как Элиот выступил с угрозами против более крупного, чем Крэнфилд, преступника. Когда он потребовал расследования неудачи под Кадисом, его слова носили такой угрожающий характер, что сам Карл снизошел до ответа угрозой на угрозу: «Я вижу, — писал он палате, — что вы имеете в виду, главным образом, герцога Бекингема. Я должен предупредить вас, что я не позволю вам привлекать к ответу кого-либо из моих слуг, тем более, если он занимает такое видное место и так близок ко мне». Трудно было представить себе более прямо нападение на право, уже доказанное обвинением Бэкона и Крэнфилда, но Элиот отказался покинуть свою конституционную позицию. По закону король был безответственен, так как «не мог поступать несправедливо». Поэтому если можно было избавить страну от настоящего деспотизма, то нужно было настаивать на ответственности министров короля, его советников и исполнителей его приказов. Элиот продолжал обвинять Бекингема в неспособности и продажности, и общины решили дать требуемые короной средства, «когда мы представим

наши жалобы и получим ответ его величества на них». Карл призвал их Уайт-Холл и потребовал отречения от условия: он готов дать им «правда совета, но не контроля». Беседу он заключил многозначительной угрозой: «Помните, — сказал он, — что созыв, заседания и роспуск парламента полностью зависят от меня; и он уцелеет или исчезнет, смотря по тому, найду я его деятельность хорошей или дурной». Но общины были настроены так же решительно, как и король. Обвинение Бекингема было решено представить палате лордов. Фаворит, как пэр, явился выслушать обвинение с таким высокомерным пренебрежением, что один из назначенных общинами обвинителей резко обрушился на него: «Смейтесь, лорд», — сказал сэр Дедли Диггс. — Я могу указать вам случай, когда более крупный, чем ваше лордство человек, занимавший столь же высокое положение и пользовавшийся такой же властью и милостью короля, был повешен за такое же мелкое преступление, на какое указывают эти статьи». Надменность герцога вызвала со стороны Элиота жестокий ответ, отметивший наступление новой эпохи в парламентском красноречии. С самого начала его бурные и страстные речи стали в противоречие с важными и бесцветными рассуждениями прежних ораторов. Противники упрекали Элиота в стремлении возбуждать страсти. На место запутанных периодов времени он поставил живые и резкие фразы; его увлекательная аргументация, живые и колкие намеки, страстные обращения, смелые нападки затронули новые струны в английском красноречии. Хвастливая пышность Бекингема, его блистающая камнями и золотом фигура подали повод к резкому нападению: «Он надорвал нервы и мускулы нашей страны, растратил средства казны короля. Это не требует доказательства, это слишком ясно. Его безумные траты, пышные празднества, великолепные постройки, распутство и излишества — что все это, как не очевидные доказательства намеренного истощения государства, повесть страшного расточения им доходов короны?». С такой же грозной прямоотой Элиот изобразил жадность и подкупность герцога, его ненастное властолюбие, захват им всей государственной власти, пренебрежение ко всем общественным обязанностям, пользование захваченной властью для личных целей: «Желание его величества, его заведомые намерения, его действия, всенародные и в совете, приговоры судов — все должно подчиняться воле этого человека. Ему не может мешать никакое право, никакой интерес. При помощи государственной власти и правосудия он постоянно смело стремился к своим целям». Проведя живую параллель между Бекингемом и Сеяном, он закончил словами: «Вы видите, лорды, что это за человек! Вы знаете его дела, знаете, каков он. Я предоставляю его вашему суду. Мы, рыцари, горожане и мещане палаты

общин, убеждены в одном: от него исходят все наши беды, в нем причина их, в нем же должно быть и лекарство. Да погибнет стремящийся погубить всех (*pereat qui perdere cuncta festinat*). Нужно раздавить его, чтобы он не раздавил всех (*opprimatur ne omnes opprimat*)».

Ответ Карла был так же резок и внезапен, как и нападение Элиота. Он бросился в палату пэров и признал за свои собственные те действия, в которых обвиняли Бекингема. Элиот и Диггс были вызваны со своих мест и отправлены в заключение в Тауэр. Но общины отказались заниматься общественными делами, пока не будут возвращены их члены; и после десятидневной борьбы Элиот был выпущен, но выпуск его послужил только приступом к закрытию парламента. «Ни одной минуты», — отвечал король на просьбу совета об отсрочке. Последнее представление общин с просьбой навсегда отставить от службы Бекингема было встречено немедленным их роспуском (16 июня 1626 г.). По приказу короля представление было сожжено, а Элиот лишился своего вице-адмиральства. Король обратился к народу с предложением — внести в виде добровольного дара ту субсидию, которую общины отказались разрешить до удовлетворения их жалоб. Но понемногу сопротивление народа росло. От одного графства за другим приходили отказы давать что-либо «иначе, как через парламент». Жители Мидлсекса и Вестминстера, когда от них потребовали повиновения, ответили громким криком: «Парламент! Парламент! Иначе нет субсидии!». Кент стоял на своем как один человек. В Бексе судьи даже не стали требовать «добровольного дара». Вольные владельцы Корнуолла ответили только, что, «если бы у них было по две коровы, они продали бы по одной из них для помощи его величеству — по призыву парламента». Неудача добровольного дара заставила Карла открыто нарушить закон: он начал сбор принудительного займа. Были назначены комиссары для определения суммы, которую обязан был внести каждый землевладелец, и для допроса под присягой всех отказывавшихся. Были применены все способы убеждения и насилия. Ставленники Лоуда требовали с амвона «беспрекословного повиновения». Д-р Мэнуэринг проповедовал перед самим Карлом, что король не нуждается в согласии парламента на обложение и что сопротивление воле короля влечет за собой вечное осуждение. Бедные люди, отказывавшиеся платить, забирались в армию или во флот. Упорных торговцев сажали в тюрьму. Сам Бекингем взял на себя задачу запугать знать и дворянство. Сопротивление судей король встретил немедленной отставкой главного судьи Кру. Но в стране всюду наблюдалось сопротивление. Масса северных графств не слушалась короны. Фермеры Линкольншира прогнали комиссаров из города. Шропшир, Девон и Уорикшир отказали начи-

сто. Восемь пэров, с лордами Эссексом и Варвиком во главе, отказались подчиниться обложению как незаконному. Двести провинциальных дворян, упорство которых не удалось сломить переводом из тюрьмы в тюрьму, были вызваны в совет. Перед его столом начал свое патриотическое поприще, сделавшее его имя дорогим для англичан, Джон Гэмпден, пока только молодой помещик из Бекингемшира. «Я готов, пожалуй, заплатить, — сказал он, — но боюсь навлечь на себя проклятие Великой хартии, которое должно читаться дважды в год против ее нарушителей». За этот протест он был награжден таким строгим заключением в Гэт-хаузе, «что потом никогда уже не выглядел прежним человеком». При растущем недовольстве и угрожающем банкротстве, герцога мог спасти только крупный военный успех, и он снарядил отряд в 6000 человек для самого безумного и неудачного из всех своих предприятий. В великой борьбе с католицизмом все надежды протестантов основывались на союзе Англии с Францией против дома Габсбургов. Но, наконец, высокомерие и ошибки фаворита поссорили его с союзниками, и Англия вдруг оказалась в войне и с Францией, и с Испанией. Французский министр, кардинал Ришелье, при всем желании сохранить союз с Англией, был убежден в том, что первым шагом к деятельному вмешательству Франции в европейскую войну должно служить восстановление внутреннего порядка, а для этого нужно было полностью подчинить протестантский город Ла-Рошель, поднявший восстание. В 1625 г. англичане помогали французским войскам, хотя и неохотно. Теперь Бекингем увидел возможность легко приобрести в Англии популярность, поддерживая сопротивление гугенотов. Англичане сильно сочувствовали им, и он решил воспользоваться этим сочувствием, чтобы доставить оружию короля такое торжество, которое заглушило бы всякое сопротивление в стране. Под его командой на выручку Ла-Рошели отплыл флот из сотни судов. Как ни внушительная была эта сила, но экспедиция оказалась столь же неудачной, насколько и неблагоприятной. После безуспешной осады форта Сен-Мартэн, английские войска были принуждены отступать к своим кораблям по узкой плотине, и при этом они потеряли 2000 человек, а неприятель — ни одного.

Прежде всего безумие Бекингема заставило короля, обремененного долгом и позором, созвать новый парламент, выказывавший еще более решительное настроение, чем его предшественник. Кандидаты дворян всюду были отвергнуты, а вожди патриотов избраны с торжеством. Верным путем к избранию служило перенесенное недавно за противодействие произвольному обложению преследование. Несмотря на совет Элиота, даже вопрос об удалении Бекингема отступил перед стремлением отомстить за

нарушение личной свободы: «Мы должны защитить наши старые вольности, — сказал сэр Томас Уэнтворт, и скоро пришлось напоминать ему эти слова, — мы должны вернуть силу законам, созданным нашими предками. Мы должны запечатлеть их так, чтобы дух произвола не смел потом их нарушать». Не обращая внимания на резкие и угрожающие послания короля и на требование его считать их вольности под защитой его королевского слова, общины занялись выработкой Петиции о праве. Они торжественно перечислили законы, охранявшие подданных от произвольного обложения, принудительных займов и подарков, наказания, опалы, лишения прав или имущества, иначе как по законному приговору пэров, от произвольного заточения без определенного обвинения, военного постоя или применения военных законов в мирное время. Затем так же торжественно общины перечислили случаи нарушения этих законов при двух последних государях и особенно с роспуска последнего парламента. В заключение этого многозначительного перечня общины просили, «чтобы впредь никто не был вынуждаем к внесению каких-либо подарков, займов, одолжений, податей или тому подобных налогов без общего согласия, выраженного в акте парламента; чтобы никто не был принуждаем к ответу или принесению такой присяги и никто не был заточаем или иначе беспокоим за отказ от этого; чтобы свободные люди не могли вышеуказанным способом подвергаться заточению или заключению. Да будет угодно вашему величеству удалить названных солдат и матросов, чтобы ваш народ на будущее время не подвергался такому обременению, и пусть будут уничтожены и отменены комиссии для производства военного суда, и пусть впредь не учреждается подобного рода комиссий для осуждения, как раньше было сказано, каких бы то ни было лиц, чтобы под прикрытием их нельзя было, вопреки законам и вольностям страны, разорять и предавать смерти подданных вашего величества. Всего этого общины покорно просят у вашего высокого величества, как своих прав и вольностей, согласно законам и установлениям королевства. Да соизволит также ваше величество объявить, что вышеупомянутые приговоры, действия и случаи ко вреду народа не должны считаться впредь доказательствами или примерами. Да будет угодно вашему величеству милостиво объявить, для дальнейшего спокойствия и безопасности вашего народа, вашу королевскую волю и желание, чтобы во всех упомянутых предметах все ваши чиновники и министры служили вам, согласно законам и установлениям королевства, ради чести вашего величества и благополучия государства». Напрасно лорды старались добиться согласия Карла, оговаривая его «верховную власть». «Наше ходатайство, — спокойно возразил Пим, — говорит о законах Англии, а эта власть пред-

ставляется отличной от власти закона». Лорды уступили, но Карл дал уклончивый ответ, и неудача умеренных предложений, предпочтенных его советам, снова выдвинула вперед Элиота. В неслыханно смелой речи он предложил обратиться к королю с представлением насчет состояния государства; но в ту минуту, когда он снова коснулся удаления Бекингема, как необходимого условия всякой действительной реформы, его прервал спикер палаты и заявил, что ему приказано прерывать всякого, кто станет поносить министров короля. Нарушение права общин на свободу слова вызвало сцену, раньше у Св. Стефана никогда не виданную. Среди торжественного молчания палаты Элиот вдруг сел. «Тогда открылось такое зрелище страстей, — говорит современное письмо, — какое редко наблюдалось в подобном собрании: одни плакали, другие ссорились, третьи предсказывали предстоящую государству гибель, иные разыгрывали священников, исповедуя свои грехи и грехи народа, навлекшие на нас такое наказание, наконец, некоторые порицали плакавших. Плакавших было более ста; многим выступавшим с речью возбуждение мешало говорить». Сам Пим поднялся для того, чтобы снова сесть со слезами. Наконец, у сэра Эдуарда Кока хватило сил выразить себе порицание за робкие советы, остановившие Элиота в начале сессии, и заявить, «что виновник и причина всех этих бедствий — герцог Бекингем».

Одобрительные крики вызвало решение внести имя герцога в представление; но в эту минуту Карл уступил: чтобы получить средства для нового похода под Ла-Рошель, Бекингем склонил короля к принятию Петиции о праве. Впрочем, согласие это, как его понимал Карл, имело мало значения. Особенно интересовала его возможность держать людей в тюрьме, не подвергая их суду и не указывая причин их заключения. Об этом он советовался с судьями, и те ответили, что согласие на петицию не затрагивает его прав: когда петиция попадет к ним, она, подобно другим законам, подвергнется их толкованию, и власть короля останется незатронутой. Что до остального, то, отказываясь от всякого притязания взимать налоги, не разрешенные парламентом, Карл все еще сохранял за собой право собирать пошлины, обычно платившиеся короне, и причислял к ним грузовой и весовой сборы. Но общины не знали ничего об этих ограничениях. Согласие короля доставило ему согласие парламента на субсидию и вызвало в народе такой колокольный звон и потешные огни, «каких ни разу не было видано с возвращения его величества из Испании». Но, подобно всем уступкам Карла и эта явилась слишком поздно, чтобы можно было добиться предполагавшейся цели. Общины настояли на вручении своего представления. Карл принял его холодно и немилостиво, а Бекингем, в то время как его изобли-

чали, стоявший с вызывающим видом рядом со своим государем, упал на колени для оправдания. «Нет, Джордж!» — сказал король, поднимая его, и его поведение ясно доказывало, что влияние герцога осталось прежним. «Если погибнешь ты, Джордж, — прибавил он впоследствии, — мы погибнем вместе». Блестящий фаворит и не предчувствовал своей участи, когда после отсрочки парламента отправился принять команду над новой экспедицией для выручки Ла-Рошели. Один из офицеров его отряда, Джон Фелтон, раздраженный пренебрежением и обидами, увидел в «представлении» оправдание для задуманной им мести, смешался с толпой, наполнявшей приемную в Портсмуте, и поразил Бекингема ударом ножа в сердце. Когда весть об этом дошла до Карла, он с рыданиями бросился на постель; но в стране она была встречена сильной радостью. Молодые оксфордские студенты, важные олдермены Лондона наперерыв пили за здоровье Фелтона. «Благослови тебя Бог, маленький Давид», — воскликнула одна старуха при проходе убийцы в оковах. «Подкрепи тебя Бог», — кричала толпа, когда ворота Тауэра закрылись за ним. Даже войско, собранное в Портсмуте для экспедиции герцога, когда король явился к отплытию его, обратилось к нему с просьбой «пощадить их бывшего товарища Джона Фелтона». Но надежды, вызванные в народе гибелью Бекингема, скоро рассеялись. Лордом-казначеем сделался Уэстон, креатура герцога, и его система осталась без изменения: «Ахав наш устранил, — сказал Элиот, — а проклятый порядок остается».

Ничто, по-видимому, не могло усилить того отчуждения между Карлом и его подданными, какое было вызвано его противозаконной политикой. Но было нечто, чем Англия дорожила еще более, чем свободой слова в парламенте, чем безопасностью собственности или даже личной свободой; это было Евангелие. Отчаяние, овладевшее в начале этого царствования сердцами всех пуритан, с каждым годом усиливалось. Тридцатилетняя война принимала все более неблагоприятный для протестантизма оборот, и в это время, казалось, его делу грозила конечная гибель. В Германии и лютеране, и кальвинисты одинаково были в руках католического дома Габсбургов. Падение Ла-Рошели после смерти Бекингема, казалось, отдало французских гугенотов во власть кардинала. Англию волновала мысль, что и для нее снова может наступить такая же опасная минута, какую она пережила в год Армады. В это самое время Карл назначил Лоуда епископом Лондонским и вверил ему управление церковными делами. Вздвигавшим протестантам Англии Лоуд и руководимые им духовные представлялись еще более опасными врагами, чем папство, одержавшее на континенте такие крупные победы. Протестанты считали их изменниками и перед Бо-

гом, и перед родиной. Партия Лоуда стремилась отдалить английскую церковь от церквей протестантских и приблизить ее к церкви, которую протестанты считали Вавилоном. Она подражала католическим обрядам; осторожно и постепенно она вводила католическое учение, в то же время она совсем не имела той церковной независимости, какую во всяком случае сохранил Рим. Зависимость ее от короны возбуждала презрение. В благодарность за защиту короля, позволявшую им пренебрегать религиозными стремлениями народа, Лоуд и его сторонники превращали самые опасные притязания монархии в догматы церкви. Архиепископ Уитгифт объявил, что Якова вдохновляет сам Бог. Сторонники Лоуда проповедовали безусловное подчинение наихудшей тирании. Они провозглашали, что личность и имущество подданных находятся в полном распоряжении короля. Они пользовались религией для систематического подрыва свободы Англии. До того времени они составляли почти только группу придворных священников: масса духовенства, как и его паства, упорно держалась пуританства; теперь деятельность Лоуда и покровительство двора обещали быстрое усиление их численности и влияния. Даже трезвые люди предвидели такое время, когда во всех церквях станут проповедовать безусловное подчинение, изобличать кальвинизм, защищать католичество. Из всех членов палаты общин Элиот был всего менее фанатиком по своему характеру, но религиозный кризис устранил на время и из его ума все другие мысли: «Опасность растет так сильно, — писал он из деревни, — что только небо спасает нас от отчаяния». Так же был настроен и собравшийся парламент. Прежде всего, он занялся церковным вопросом: «Евангелие, — воскликнул Элиот, — это та истина, которая доставила этому королевству долгое и редкое благополучие. Положим поэтому его в основу нашей деятельности и будем поддерживать эту истину не только словами, но и делами! В церквях Востока, — продолжал он, — существует обычай при повторении Символа веры с целью засвидетельствовать свое намерение охранять его вставать не просто, а с обнаженными мечами. Позвольте мне назвать этот обычай заслуживающим полного одобрения!». На вызов своего вождя общины отвечали торжественным объявлением, что считают за истину тот смысл статей, установленных парламентом, какой передан им общим решением церкви и общим обычным толкованием учителей их церкви. Но прения о церковных делах были внезапно прерваны. Еще прежде общины отложили разрешение всех пошлин до исправления вреда, причиненного незаконным взиманием их, и потребовали к ответу их откупщиков: те явились, но отказались отвечать, приводя как основание отказа приказ короля. Палата выразила намерение протестовать, но тут спикер объявил, что он получил

приказ отсрочить заседания. Очевидно, предстоял роспуск, и долго сдерживаемое негодование выразилось в страшно бурной сцене. Спикера не отпускали с места, а в это время Элиот, все еще придерживаясь великого начала ответственности министров, изобличал нового казначея, как виновника этой меры: «Никто еще, — провозгласил он, и последующие события придали грозный смысл его словам, — не пытался распускать силой парламент, без того чтобы последний под конец не сокрушал противника». Двери были заперты, и, несмотря на протесты спикера, на повторный стук пристава у дверей и на возрастание смятения в самой палате, громкие одобрения массы членов поддержали Элиота, когда он в последний раз защищал свободу Англии. Рядом решений общины объявили «явным врагом королевства и общего блага» всякого, кто станет вводить церковные новшества, а также всякого министра, который будет взимать налоги, не разрешенные парламентом; всякий подданный, добровольно подчиняющийся незаконным действиям и требованиям, был объявлен «предателем свободы Англии и врагом отечества».

Глава IV

Новая Англия

Роспуск парламента 1629 г. представляет самую мрачную эпоху истории протестантизма как в Англии, так и во всем мире. Но в эту годину отчаяния пуритане одержали лучшую из своих побед. Употребляя слова Каннинга в более точном и широком смысле, чем какой придавал им он сам, пуритане «обратились к Новому Свету, чтобы восстановить равновесие в Старом». В годы угнетения, наступившие за закрытием третьего парламента Карла, великое выселение пуритан основало штаты Новой Англии.

Пуритане далеко не были первыми английскими поселенцами в Северной Америке. В обстоятельствах, сопровождавших первое открытие западного мира, немного обещало развитие свободы. Первым следствием его было безмерное усиление самой фанатичной и деспотичной из европейских держав и обогащение испанской казны сокровищами Мексики и Перу. В то время как испанские галеоны переплывали южные моря, а испанские поселенцы занимали для католических королей южную часть великого материка, верный инстинкт увлек англичан к более суровым и бесплодным областям вдоль берега Северной Америки. Англия достигла материка даже раньше Испании: прежде чем Колумб коснулся его берегов, Себастьян Кабот, моряк гонуэзского происхождения, но родившийся и выросший в

Англии, отправился в 1497 г. на английском корабле из Бристоля и объехал берега Америки к югу до Флориды, а к северу до Гудзонова залива. Но англичане не пошли по следам этого смелого мореплавателя, и в то время как Испания устанавливала свое владычество в Новом Свете, английские моряки скромно довольствовались рыбными ловлями Ньюфаундленда. Внимание англичан снова обратилось на Новый Свет не раньше царствования Елизаветы. Мысль найти проход в Азию, объехав северный берег материка Америки, увлекла Мартина Фробишера к берегам Лабрадора, а принесенные им известия о существовании там золотых руд побудили многих авантюристов пробиваться между ледяных гор Баффинова залива. К счастью, поиски золота оказались тщетными, и лучшие из людей, увлекшихся ими, обратились к мыслям о поселении. Но первые поселенцы встретили суровый прием в стране с долгими зимами и редким населением из воинственных индейских племен. После тщетной попытки образовать поселение сэр Хэмфри Гилберт, один из благороднейших людей своего времени, решил вернуться назад и нашел смерть в бурных морях. «На море мы так же близки к небу, как и на земле», — произнес он знаменитые слова, прежде чем свет его маленькой барки навсегда потерялся во мраке ночи. Экспедиция, отправленная его сводным братом сэром Уолтером Рэли исследовала Памликский пролив, и открытая ею страна, где, по поэтическому представлению, «люди жили по образу золотого века», получила название Виргиния в честь королевы, ибо Елизавета именовалась «королевой-девственницей»*. С открытия Рэли начинается ввоз в Европу табака и картофеля; но деятельность его поселенцев была отвлечена обманчивой мечтой о золоте, враждебные племена туземцев прогнали их с берега, и Рэли, столица Северной Каролины, сохранила его имя из признательности потомства скорее к его стремлениям, чем к действительно им сделанному. Первое прочное поселение у Чизапикского залива было устроено в начале царствования Якова I, и успех его зависел от убеждения поселенцев в том, что для завоевания Нового Света нужен просто труд. Из 105 первоначальных поселенцев 48 были дворянами и только 12 — земледельцами. Их вождь Джон Смит не только исследовал обширный Чизапикский залив и открыл Потомак и Сускеганну, но, несмотря на голод и уныние, поддержал единство маленькой кучки, пока поселенцы не привыкли к труду. В письмах к потенциальным переселенцам на родину он решительно опровергал мечту о золоте: «Здесь можно добиться чего-нибудь, — писал он из нового поселения, — только при помощи труда». После пятилетней борьбы прилив ра-

* По-английски «virgin» — девственная.

бочих сил, при разумном наделении землей каждого поселенца, обеспечил благосостояние Виргинии. «Люди занялись постройкой жилищ и возделыванием хлеба», даже улицы Джеймстауна, как была названа их столица по имени царствующего государя, были засеяны табаком. За 15 лет население колонии возросло до 5000 душ.

Впервые в Новом Свете законы и представительные учреждения Англии были введены в Виргинском поселении. Несколько лет спустя в другой колонии, получившей от имени Генриетты-Марии, супруги Карла I, название Мэриленда, нашел себе прибежище принцип, так же мало известный Англии, как и большей части Европы. Переход в католицизм заставил одного из лучших советников Стюартов Сесила Калверта, дорда Балтимора, искать прибежище для себя и единомышленников ему поселенцев в области за Потомаком и у верхушки Чизапикского залива. Так как чисто католическое поселение было невозможно, то он решился открыть новую колонию последователям всех исповеданий: «Ни одно лицо в этой области, — гласил древнейший закон Мэриленда, — исповедующее веру в Иисуса Христа, не должно быть никоим образом стесняемо, тревожимо или преследуемо ради нее или свободного служения ей». Задолго до поселения лорда Балтимора в Мэриленде, всего через несколько лет после утверждения Смита в Виргинии, община браунистов, или индипендентских изгнанников, прогнанная, как мы видели, в царствование Якова в Амстердам, решилась покинуть Голландию и искать убежище в пустынях Нового Света. Их мало пугали приходившие из Виргинии известия о бедствиях поселенцев: «Мы, — писал их настоятель Джон Робинсон, — давно разлучены с милой родиной и приучены к трудностям жизни на чужбине; мы — люди трудолюбивые и умеренные. Нас соединяет в одно целое священный союз с Богом, нарушить который мы очень совестимся и в силу которого мы считаем себя строго обязанными заботиться о благе, частном и общем. Мы не такие люди, чтобы нас могли пугать мелочи». Вернувшись из Голландии в Саутгемптон, они на двух небольших кораблях отправились в Новый Свет, но один из них скоро вернулся назад, и только его спутник «Майский цветок», барка в 180 тонн, с 41 переселенцем и их семьями на борту упорно продолжала свой путь. Небольшая кучка «отцов-пилигримов», как в последующее время их любили называть, пристала в 1620 г. к бесплодному берегу Массачусетса на месте, которому они дали название Плимута, в память последнего английского порта, где они стояли. Скоро им пришлось встретиться с долгой и суровой зимой севера, переносить болезни и голод; даже когда миновали эти трудные годы страданий, бывали времена, что «ночью они не знали, где взять утром кусок». Несмотря на энергичность и трудолюбие посе-

ленцев, успехи их были очень медленны: через десять лет число их не превышало 300 душ. Но при всем том положение колонии теперь упрочилось и простая борьба за существование пришла к концу: «Не тяготитесь, — писали из Англии иные их братья бедным переселенцам среди их бедствий, — тем, что вы послужили орудием, пробивавшим лед для других: до конца мира честь остается за вами».

Со времени его основания на маленькое поселение пуритан в Северной Америке были обращены взоры всех пуритан Англии. В первые годы правления Карла явилась мысль об устройстве рядом с Малым Плимутом нового поселения, а помощь, оказанная осуществлению этого плана купцами Бостона в Линкольншире, была увековечена в названии нового города. В самый момент роспуска третьего парламента (1629) Карл пожаловал грамоту, определявшую устройство Массачусетса, и масса пуритан увидела в этом пожаловании призыв Провидения. Неудачный исход великой конституционной борьбы и рост опасности для «благочестия» в Англии вызвали мечту о такой стране на западе, где вера и свобода могли найти себе прочное и безопасное прибежище. Едва парламент был распущен, как среди помещиков и торговцев стали распространяться планы устройства крупного поселения по ту сторону океана; в каждой пуританской семье обсуждались описания новой колонии в Массачусетсе. Мысль эта была встречена с тем спокойным и серьезным энтузиазмом, который отличал настроение эпохи, но слова известного эмигранта показывают, как трудно было даже для серьезнейших энтузиастов оторваться от родины: «Родиной я буду называть такую страну, — сказал в ответ на чувства этого рода младший Уинтроп, — где мне можно будет прославлять Бога и пользоваться присутствием моих лучших друзей». Такой взгляд встретил сочувствие, и началось выселение пуритан в размерах, никогда еще невиданных в Англии. За двумя сотнями раньше отправившихся в Салем скоро последовали 800 человек с Джоном Уинтропом во главе, а за ними, до истечения первого года личного управления короля, еще 700. Переселенцы не были, подобно первым колонистам юга, «неудачниками», авантюристами, банкротами, преступниками или просто бедняками и ремесленниками, как «отцы пилигримы» «Майского цветка». Это были большей частью люди среднего класса: крупные землевладельцы, ревностные священники, вроде Коттона, Гукера и Роджера Уильямса, выдающиеся лондонские адвокаты и молодые оксфордские ученые. Большинство составляли богобоязненные поселяне из Линкольншира и восточных графств. Они, действительно, ждали участия в их предприятии только лучших людей, гонимых с родины материальной нуждой, не жаждой золота и не страстью к приключениям.

но страхом Божиим и рвением к правильному богочитанию. Но несмотря на весь свой пыл, они не без усилия снялись со старых мест в Англии. «Прощай, дорогая Англия!» — воскликнула первая небольшая кучка переселенцев, когда берега ее скрылись из их глаз. «Наши сердца, — писали спутники Уинтропа оставленным на родине братьям, — будут служить источниками слез для вашего вечного спасения, когда мы поселимся в наших жалких хижинах в пустыне».

В следующие два года, когда на время исчез внезапный страх, нашедший себе такое резкое выражение в речах Элиота, в эмиграции наступило затишье; но меры Лоуда скоро оживили опасения пуритан. Проницательный Яков верно охарактеризовал Лоуда, когда Бекингом стал настаивать на назначении его епископом Сент-Давидским: «У него беспокойный ум, — сказал старый король, — он не может понять, когда дела хороши, а любит все переворачивать и изменять, подвергать все коренным преобразованиям, засевшим ему в голову. Возьми его себе, но, клянусь моим спасением, ты будешь в этом раскаиваться». При всей своей холодности, педантичности и суеверности — в своем дневнике он отмечает, как важный факт появление в его кабинете реполова — Уильям Лоуд выделялся из массы придворных прелатов своей деятельностью, личным бескорыстием и замечательными административными способностями. Впоследствии, уже поглощенный делами управления, он нашел время приобрести такие глубокие познания в торговой политике, что сами лондонские купцы признавали его авторитет в коммерческих вопросах. Но у него вовсе не было политических талантов. Его влияние, в сущности, вытекало из единства его цели. Все силы своего ясного, но узкого ума и упорной воли он направил на осуществление одной цели. Он стремился поставить английскую церковь в ее настоящее, на его взгляд, положение — отрасли, хотя и преобразованной, великой всемирной католической церкви; он одинаково восставал против новшеств как Рима, так и Кальвина, а основывал свое учение и обряды на учении и обрядах христианской общины в эпоху до Никейского собора. Первым шагом к осуществлению этой теории было устранение тех связей, какие до того соединяли церковь Англии с реформатскими церквями материка. По взгляду Лоуда, преемство иерархии составляло существенную черту церковного строя, и потому, отвергая сан епископа, лютеранская и кальвинистская церкви Германии и Швейцарии совсем переставали быть церквями. Изгнанные из Франции гугеноты, а из Фландрии — валлоны вдруг были лишены дозволенной им раньше свободы богослужения; от них потребовали подчинения обрядам англиканства, и это заставило толпы их покинуть южные порты и искать веротерпимости в Голландии. Такого же единообразия по-

требовали от английских солдат и купцов за границей, до того без стеснения посещавших богослужение кальвинистов. Английскому послу в Париже было запрещено посещать собрание гугенотов в Шарантоне. Отдаляясь все сильнее от протестантов материка, Лоуд, сознательно или бессознательно, все более сближался с Римом. Его теория признавала Рим отраслью истинной церкви, хотя от английской церкви его отделяли заблуждения и новшества, против которых Лоуд сильно восставал. Но за устранением этих препятствий, естественно, должно было последовать воссоединение, и Лоуд мечтал перекинуть мост через пропасть, разделявшую со времени Реформации две церкви. Тайное предложение кардинальской шапки показало, что Рим понимал значение деятельности Лоуда; но его отказ и неоднократные заявления доказывают равным образом, что он действовал бессознательно. Союз с великим целым католицизма он считал осуществимым только со временем; сам он мог только подготовить к нему английскую церковь, подняв в ней до высшей степени католическое настроение и католические обряды. Великой помехой на пути к нему служило пуританство девяти десятых английского народа, и с пуританством Лоуд повел беспощадную борьбу. Как только назначение на Кентерберийскую кафедру поставило его во главе английской церкви, он обратил Высокую комиссию в орудие постоянной борьбы с пуританским духовенством. Настоятели и викарии за «проповедь Евангелия» подвергались выговорам, отрешению, отставлению. Всем приходам навязывалось употребление стихаря и обрядов, наиболее оскорбительных для чувств пуритан. Учрежденные в городах добавочные места, особенно привлекавшие пуританских проповедников, были настойчиво упраздняемы. Отстаиваемые проповедники находили себе убежище у поместных дворян, и архиепископ отнял у последних до того принадлежавшее им право держать капелланов. Незанятые приходы епископы давно стали замещать людьми, восстававшими против кальвинизма и провозглашавшими беспрекословное повиновение государю велением Бога. Пуритане скоро заметили значение этого приема и старались мешать ему покупкой розданного имущества церкви и назначением пуританских священников в те приходы, где они были патронами; но Лоуд стал вызывать владельцев имущества в суд казначейства и скоро положил конец их деятельности. Преследование не ограничилось духовенством. В два последних царствования среди мирян Англии нашли себе всеобщее распространение маленькие карманные, так называемые женевские, Библии; но в примечаниях на полях их был замечен дух кальвинизма, и ввоз их был запрещен. Установился общий обычай принимать причастие, сидя; теперь стали требовать, при этом, коленопреклонения, и сотни людей под-

верглись отлучению за отказ от подчинения этому требованию. Еще лучший повод досаждать пуританам представляло различие взглядов обеих религиозных партий на празднование Воскресения. Пуритане отождествляли Воскресение с еврейской субботой и переносили на первое строгие предписания, касавшиеся второй. Лоудово духовенство, напротив, смотрело на Воскресение просто, как на один из церковных праздников, и поощряло среди своей паствы те забавы и развлечения после службы, какие были в обычае до Реформации. Корона при Якове приняла сторону «высокой церкви» и издала «Книгу игр», рекомендовавшую известные игры как дозволительные и желательные в Воскресение. Парламент, как и следовало ожидать, был совсем на другой стороне и запретил законом воскресные увеселения. Общее настроение народа, несомненно, склонялось к более строгому соблюдению дня, как вдруг Лоуд привел спор к концу. Он вызвал на заседание совета главного судью Ричардсона, вводившего закон в западных графствах, и задал ему такой резкий выговор, что старик вышел, жалуюсь, будто его чуть не задушила пара льняных рукавов. Затем Лоуд велел всем священникам читать с амвона указ в пользу воскресных развлечений. Одному пуританскому священнику пришла в голову остроумная мысль: он прочел указ и затем заметил многозначительно: «Вы слышали, люди добрые, чтение Закона Божия и веления человеческого. Слушайтесь какого вам угодно». Но большинство отказалось подчиниться воле архиепископа; этого без сомнения и ожидал Лоуд. Пуританские священники были вызваны в Высокую комиссию и подверглись запрещению или отставке; в одной Норичской епархии было лишено приходов тридцать священников.

Устранение пуритан из рядов духовенства служило только предисловием к настоящей цели, которую имел в виду архиепископ, — к подготовке воссоединения с католицизмом через возвращение духовенства к католическим учениям и обрядам. Лоуд публично выражал свое предпочтение безбрачным священникам перед женатыми. Некоторые епископы и большая часть нового духовенства, заменившего устраненных пуританских священников, защищали такие учения и обряды, которые реформаторы признавали чисто католическими, например тайную исповедь, действительное присутствие при причастии, молитвы за усопших. Один прелат, Монтегю, серьезно высказывался за примирение с Римом; другой, Гудмен, перед смертью признал себя католиком. В то же время Лоуд неутомимо старался вернуть духовенству то гражданское и политическое положение, какое оно занимало до нанесения ему рокового удара Реформацией. В архиве его епархии находится большой том пергамента, содержащий копии с таких документов Тауэра, которые касались привилегий духовенства. Составле-

ние его было указано в дневнике Лоуда в числе «двадцати одной мысли, которые с помощью Божией он вознамерился исполнить», а также тех пятнадцати, которые перед своим падением он мог назвать исполненными. При его содействии возродилась давно пришедшая в упадок власть епископских судов. В 1636 г. ему удалось склонить короля к назначению на высший гражданский пост в королевстве — пост лорда главного казначея — прелата Джексона, епископа Лондонского: «Должности этой церковники не занимали со времен Генриха VII, — гордо замечает Лоуд. — Молю Бога, чтобы Он позволил ему занимать ее с честью для церкви, с пользой и удовольствием для государства. Если теперь церковь не удержится на этой высоте, клянусь Богом, я не могу больше ничего для нее сделать». Стремясь расширить в духовенстве учение, более близкое к католическому, он в то же время старался ввести в общественное богослужение пышность католицизма. Поведение его в его собственном доме, в Лэмбете, с чрезвычайной живостью обнаруживает спокойное мужество, с каким он шел наперекор религиозному настроению эпохи, когда в умах большинства людей духовная сторона богослужения преобладала над эстетической и обрядовой. Случай, происшедший при первом вступлении его в Лэмбет, люди считали роковым предзнаменованием: при переправе через реку перегруженный паром опрокинулся, и, хотя лошади и слуги были спасены, но карета архиепископа осталась на дне Темзы. Новый примас тщательно отмечал все предзнаменования, но они ни на минуту не вызывали колебания в его смелом и узком уме. Он хвалился тем, что первым его шагом было возобновление его капеллы; это возобновление в том виде, как его произвел Лоуд, было простым разрушением всего сделанного там его предшественниками со времен Реформации. Лэмбетская церковь была одним из замечательнейших церковных зданий эпохи; с Кранмера в ней ежедневно служили все примасы, и ее «посещало большое число дворян, судей, духовных и лиц всякого рода, иностранцев и туземцев». Но постепенно из нее исчезла всякая внешняя пышность. При Кранмере из окон были выломаны разрисованные стекла. Во время Елизаветы причастный стол был перенесен на середину капеллы, а жертвенник устранили. При Якове архиепископ Эббот нанес окончательный удар всем проявлениям пышного обряда. При причастии перестали надевать ризы как особое облачение. Примас и его капелланы перестали кланяться при упоминании имени Христа. Орган и хор одинаково были уничтожены, и служба дошла до простоты, которая могла удовлетворить самого Кальвина. Лоуду такой вид капеллы представлялся невыносимым. С характеризовавшей его энергичностью он своими руками помогал вставлять в ее окна разрисованные стекла и ломал себе голову на

соединением их обломков. Стекольника поразил прямой приказ примаса исправить и снова вставить в восточное окно изломанное распятие. Причастный стол был удален с середины и наподобие алтаря приставлен к восточной стене, на которой был повешен ковер с вышитым на нем изображением Тайной вечери. Изящная резьба по дереву, богатые ризы, серебряные подсвечники, жертвенник, орган и хор, пышность обрядов, поклоны при имени Христа, коленопреклонения перед алтарем — все это сделало богослужение капеллы образцом того, чего желал Лоуд. Он не мог требовать таких же пышных обрядов в других церквях, но требовал их по возможности. Поклоны перед алтарем были введены во всех кафедральных церквях. Король приказом предписал перенести причастный стол, последние 50 или более лет почти во всех приходских церквях стоявший по середине нефа, на то место, какое он занимал до Реформации в алтаре, и обезопасить его от поругания решеткой. В этом переносе, очевидно, заключалось признание настоящего присутствия Христа и отрицание распространенного в массе англичан учения о Тайной вечери. Упорство и суровость Лоуда сокрушили встреченное им сильное сопротивление. Священники, с кафедр обличавшие перемену, подвергались штрафам, заточению или лишению своих мест. Церковным старостам, которые отказывались или медлили исполнять приказ, комиссия делала выговоры, страхом доводя их до послушания.

В своем последнем представлении королю общины указали на Лоуда, как на главного противника протестантизма английской церкви, и каждый год его приматства доказывал его желание оправдать это обвинение. Его политика уже не была чистым консерватизмом Паркера или Уитгифта; она носила наступательный, революционный характер. Его «новые советы» заставили все силы консерватизма перейти на сторону пуритан, которые представлялись теперь защитниками прежнего характера английской церкви против нападков ее примаса. Но так как Лоуд прикрывался властью короны, то борьба с каждым днем становилась все безнадежнее. Католики признавались, что они никогда не пользовались таким спокойствием, штрафы за уклонение были понижены и им дозволялось совершать богослужение в частных домах; в то же время пуритане видели отрешение или отставку своих священников, поругание Воскресения, сближение важнейшего акта их богослужения с римской мессой. С амвонов они слышали католическое учение, в церквях находили католические обряды. При таких условиях неудивительно, что «богобоязненные люди в Англии начали видеть особое указание Провидения в устройстве массачусетской колонии, в сердцах их пробуждалось общее стремление переселиться туда». Напрасно люди более слабые, возвращаясь оттуда, приносили вести о трудах и опасностях,

рассказывали, как в первую зиму из новых поселенцев погибли 200 человек. Письмо Уинтропа говорило о мужественной борьбе остальных: «Мы теперь утешаемся Господом Иисусом Христом, — писал он на родину, — разве этого не довольно? Благодаря Богу, я чувствую себя здесь так хорошо, что не раскаиваюсь в моем прибытии. Я не отказался бы от своей мысли, даже если бы предвидел все эти бедствия. Я никогда не был лучше настроен». Но вместе с энергичностью и мужеством пуритан они перенесли за океан свое узкое ханжество и ограниченность. Из нового поселения был изгнан Роджер Уильямс, молодой священник, стоявший за свободу совести; он стал проповедовать среди поселенцев Род-Айленда. Преследования на родине вызвали в переселенцах сильное раздражение, и оно выразилось в отрицании епископата и запрещении пользоваться англиканским служением. Напряженность религиозного чувства превратили колонию в теократию: «Для того чтобы в общину входили только добрые и честные люди было постановлено, что впредь в ней будут пользоваться политическими правами только члены находящихся в ее пределах церквей». По мере того как борьба на родине разгоралась, число пуританских переселенцев росло. В один год из Англии прибыли 3000 новых поселенцев. Рост эмиграции указывает на крайнюю напряженность положения. Между отъездом Уинтропа и созывом Долгого парламента, т. е. в промежуток 10–11 лет через океан переправились 200 переселенческих кораблей и на Западе нашли себе прибежище 20 000 англичан.

Глава V

Личное управление (1629–1640)

При открытии своего третьего парламента Карл сделал серьезный намек, что созыв парламента, вообще, зависит от его подчинения воле короля: «Если вы не исполните вашей обязанности, — сказал он, — то мой долг заставит меня прибегнуть к другим средствам, данным мне Богом распоряжение». Угроза не сломила сопротивления общин, и многозначительные слова стали руководящим началом. Недавние злоупотребления, — гласило воззвание, изданное после роспуска парламента, — против нашего желания лишили нас возможности поступать так, и мы будем считать за дерзость, если кто-либо станет указывать нам время для созыва парламента».

Действительно, в течение одиннадцати лет парламента не собирався ни разу. Но в начале этого периода было бы несправедливо обвинять короля

обдуманном стремлении установить тиранию или изменить то, что ему представлялось старым государственным устройством. Он «ненавидел само название парламента», но, несмотря на эту ненависть, он не имел еще твердого намерения упразднить его. Он надеялся, что со временем Англия образумится, и тогда парламент снова можно будет собирать без ущерба для короны; а в промежутки, как бы он ни был продолжителен, он рассчитывал править единовластно при помощи «средств, данных ему Богом в распоряжение». Соппротивление он намеревался подавлять. Вожди народной партии были заключены в тюрьму, и Элиот, первый мученик английской свободы, умер в Тауэре. Было запрещено говорить о новом созыве парламента. Но здесь король остановился. Ршелье такой случай, пожалуй, внушил бы мысль об установлении деспотизма; Карлу он только доставил средства для пополнения казны. В сущности, у него не было ни крупных, ни мелких стремлений прирощенного тирана. Он не старался приобрести неограниченную власть над своим народом, так как полагал, что эта власть уже заключается в конституции страны. Для обеспечения ее он не учреждал постоянной армии — отчасти по бедности, а еще больше из уверенности в прочности своего положения, не допускавшей и мысли о настоящем сопротивлении. Чтобы избавить корону от возмущавшей его гордости зависимости, у него было только два средства: мир и экономия. Ради обеспечения мира он пожертвовал случаем, более важным, чем все упущенные его отцом. В это время появление в сердце Германии Густава-Адольфа со шведской армией внезапно изменило ход Тридцатилетней войны. Тили был разбит и убит, Католическая лига унижена, Мюнхен, столица ее баварского вожда, занят шведской армией, а лютеранские князья Северной Германии освобождены от гнета имперской солдатни. Сам император дрожал в стенах Вены и был вынужден искать помощи у некоего авантюриста Валленштейна, честолюбия которого он опасался, так как только его армия могла остановить успехи шведов. Все это враз устранило накликаемую Яковом опасность; но победы протестантов так же мало могли отвлечь Карла от его мелочной внутренней политики, как их поражения не отвлекали Якова от его неразумной дипломатии. Когда перед вторжением в Германию Густав просил помощи у Англии и Франции, роспуск парламента оставил Карла без денег, и он обратился к мирной политике: отозвал свои корабли из Балтийского моря и начал переговоры с Испанией, приведшие к договору при условии отказа от Пфальца. И в мире, и на войне его не покидала неудача. Едва договор был заключен, как Густав начал свое победоносное поприще. Карл тотчас постарался воспользоваться его успехами, и несколько шотландских и английских полков сопровождали Густава при покорении

нии им Пфальца. Но в награду за возвращение его Фридриху победитель потребовал от Карла, чтобы он снова объявил Испании войну, а Карл не хотел этого делать, решив не вмешиваться в борьбу, которая снова заставит его созвать парламент. Все его внимание поглощал насущный вопрос доходов. У него был большой долг, а обычные доходы короны без помощи субсидий парламента не могли покрывать обыкновенных расходов. Сам Карл был человеком умеренным и трудолюбивым, а бережливость Уэстона, нового лорда-казначея, пожалованного в графы Портленда, представляла полную противоположность расточительности правительства при Бекингеме. Но одна бережливость не могла наполнить казны, и меры, принятые Карлом под гнетом финансовой нужды, показали, что общины вполне справедливо считали произвольное обложение главной опасностью для конституционной свободы.

Любопытно наблюдать, к каким уловкам принужден был прибегать гордый король в своем стремлении пополнить казну и в то же время избежать открытого нарушения конституции при назначении налогов властью одной короны. Забытые права последней эксплуатировались до крайней степени. Корона оживила свое право требовать от поместных дворян рыцарского звания с целью выжимать из них штрафы за отказ от него. С них же брались штрафы за исправление ошибок в их документах. Лесная комиссия взывала большие суммы с соседних землевладельцев за захват ими коронных земель. Лондон, своим упорным пуританством вызывавший особенное неудовольствие двора, подвергался вымогательствам при выполнении незаконного указа Якова, запрещавшего его расширение. В обширных предместьях все те дома, где запрет был нарушен, избавлялись от сноса только уплатой в казну трехлетнего дохода. Хотя католики не терпели сильного преследования и лорд-казначей был в душе папистом, но финансовая нужда заставила корону сохранить старую систему штрафов за «уклонение». Подобные вымогательства были еще не так пагубны для государства, как обращение правосудия в орудие пополнения королевской казны. Уолс восстановил судебную деятельность Королевского совета, как орудие против вельмож, и при Тюдорах она получила широкое развитие, особенно в уголовным делам. Подлог, клятвопреступление, мятеж, злоупотребление влиянием, мошенничество, опозорение были главными преступлениями, попадающими под суд Звездной палаты; но скоро ее власть распространилась на все проступки, и особенно такие, где низшие суды не могли давать удовлетворения ввиду неполноты общего права или влияния обидчиков. Ее процедура походила на канцелярский процесс; в политических делах она начинала преследование по донесению королевского прокурора.

И свидетели, и обвиняемые допрашивались под присягой особо, и суд мог присуждать ко всем наказаниям, кроме смерти. В обыкновенных делах Звездная палата славилась основательностью и справедливостью своих приговоров; но в делах политических невозможно было ожидать справедливости и беспристрастия от судилища, почти целиком составленного из членов Тайного совета. При крупном тиране обладание таким орудием нанесло бы роковой удар свободе; Карл воспользовался им просто для пополнения казны и поддержания произвольного управления. За ослушание королевской воли налагались суровые наказания, и хотя наложенные штрафы часто прощались, но они служили грозным орудием угнетения. Однако эти штрафы затрагивали меньше народа, чем финансовая уловка, к которой прибег Уэстон. Отмененные Елизаветой, упраздненные актом парламента при Якове, монополии были снова восстановлены в еще больших размерах, чем это было раньше: получавшие их компании платили большую сумму за первоначальное пожалование их, а также определенную пошлину из своих прибылей. Вино, мыло, соль, почти все предметы домашнего потребления попали в руки монополистов и повысились в цене без всякого соответствия с выгодами, получаемыми короной: «Они пьют из нашего кубка, — говорил впоследствии в Долгом парламенте Колпеппер, — пробуют наши кушанья, сидят у нашего огня; мы находим их в красильном горшке, мыльнице, кадке с солониной. Они залезают в сундук ножевщика. Они с головы до ног покрыли нас пометками и печатями». Но, несмотря на эти приемы, казна осталась бы пустой, если бы король не обратился к финансовым мерам, уже вызвавшим протест парламента. В гаванях по-прежнему продолжалось взимание пошлин. Отказ лондонских купцов от платежа этих пошлин вызвал строгие меры. Один из них, Чэмберс, горько жаловался на то, что в Англии купцам хуже, чем в Турции; его призвали в Звездную палату и наложили на него разорительный штраф в 2000 фунтов. Подобными мерами Карл навлек на себя сильную вражду столицы, влияние и средства которой оказались для него роковыми в начавшейся затем войне. Трудно было поладить и с крестьянами графств. В одном случае, когда крестьян Корнуолла собрали в Бодмин для вноса добровольного займа, половина отвечала отказом, а данное остальными составило немногим больше 2000 фунтов. Один из участников оставил любопытное описание сцены с комиссарами, назначенными для распределения взносов: «Одних склонили к этому громкими словами и угрозами, других — убеждениями. У меня тоже чуть было не выманили денег; но, зная, с кем имеешь дело, я в разговоре с ними крепко держал руки в карманах».

При помощи таких средств удалось уменьшить долг и повысить доход короны. Признаком сильного недовольства было немного. Как ни были обременительны и незаконны действия короны, но в первые годы личного управления масса народа мало опасалась настоящей опасности для свобод. Чтение современных писем производит на читателя невыразимо трогательное впечатление выражаемой в них твердой верой в конечное торжество права. Карл был упрям, но упрямство было недостатком слишком распространенным среди англичан, чтобы вызвать сильное недовольство. Народ был так же упрям, как и король, а его политический смысл подсказывал ему, что малейшее замешательство в делах должно разрушить финансовую систему, медленно создаваемую Карлом, и принудить его вернуться к субсидиям парламента. А пока народу оставалось ожидать лучших дней, терпение его облегчалось общим благосостоянием страны. Продолжительные войны на материке обогащали Англию. Сношения Испании с Фландрией производились только на английских судах, и английский флаг прикрывал торговлю португальских портов с колониями Африки, Индии и Тихого океана. Долгий мир неизбежно вызывал расширение торговли и увеличение фабрик в городах западной части Йоркшира. Началось возделывание новых земель и был составлен широкий план осушения болот. Рост арендной платы обогащал поместное дворянство, и это сказывалось на воздвигаемых им роскошных усадьбах. Контраст этого мира и благосостояния с разорением и кровопролитием на континенте служил сильным доводом для сторонников системы короля: «Некоторые из высших сановников и членов Тайного совета, — говорит Мэй, — при произнесении слов «свобода подданных» обыкновенно смеялись». Были такие смелые придворные, которые выражали надежду, что «король никогда уже не будет нуждаться в парламенте». Но, прославляя мир, Кларендон добросовестно замечает, что под этим внешним спокойствием «в стране скрывался дух гордости, мятежа и недовольства». Тысячи людей покидали Англию для Америки. Дворянство держалось в стороне от двора. «Простой народ, вообще, и крестьяне-землевладельцы рассуждали разумно и о своих правах, и о тяготах, ших над ними притеснениях». Карлу нравилось обманывать себя, но среди его министров был человек, понимавший правильность выжидательной политики народа, понимавший, что если не будут приняты другие меры, первая же неудача разрушит систему королевского деспотизма.

Одним из самых выдающихся членов народной партии в парламенте 1628 г. был сэр Томас Уэнтворт, крупный йоркширский землевладелец, представитель своего графства. Но с самого вступления в общественную жизнь он страстно желал получить место на службе короне. В конце пре

дыдущего царствования он уже завязал сношения с двором, обеспечив в Йоркшире место для одного из министров короля, и считался на прямой дороге к пэрству. Но то же сознание политического таланта, которое подстрекало его честолюбие, возбудило зависть Бекингема; гордости Уэнтворта был нанесен ряд ударов, и это заставило его перейти в оппозицию, которой его красноречие, — замечательное своими внезапными порывами, но менее серьезное и выдержанное, чем у Элиота, — скоро придало грозный характер. Его интриги при дворе побудили Бекингема явным оскорблением унижить соперника, своим талантом вызывавшего в нем инстинктивный страх. Заседая в суде в качестве шерифа Йоркшира, Уэнтворт получил известие об отставлении от должности и о передаче ее его сопернику в графстве сэру Джону Сэвилу: «Они хотят меня так опозорить публично, — сказал он с отличавшим его горделивым пренебрежением. — В таком случае я попрошу позволения смыть позор также публично и свободно». Жалкое хозяйничанье фаворита шло вразрез с понятиями Уэнтворта об энергичном, умелом управлении. Целью его было добиться от короля не той свободы, которой желал Элиот, а системы, которой держались Тюдоры и при которой широкая и благородная политика, естественно, ставила государя во главе народа, а парламенты становились простыми орудиями короны. Но прежде чем сделать это, нужно было устранить Бекингема. С этой целью Уэнтворт и выступил во главе общин при проведении Петиции о праве. Трудно сказать, насколько в эту пору его жизни с жаждой мести соединялись у него высшие мотивы, настоящая любовь к свободе, которой ему суждено было изменить; но его речи были полны огня. Одну из своих речей о петиции он закончил так: «Если бы он не настаивал искренно на сохранении в целостности общей свободы подданных, он желал бы быть выставленным на холме пугалом на позорище всему свету».

Таким пугалом его имя осталось и до настоящего времени. Как только смерть Бекингема устранила преграду, отделявшую его честолюбие от цели, которую он постоянно имел в виду, личина патриотизма была сброшена. Уэнтворт был назначен в Королевский совет и, говоря его собственными словами, занял свое место в нем с намерением «навсегда избавить монархию от условий и ограничений, навязываемых ей подданными». Он сумел внушить Карлу такое доверие к своему рвению и влиянию, что был тотчас возведен в пэры и занял вместе с Лоудом первое место среди советников короля. Карл имел много оснований так быстро довериться своему новому министру. Уэнтворт, или, как его называют по принятому им под конец жизни титулу, граф Страффорд, был воплощенным гением деспотизма. Он разделял веру Карла в то, что применяемая им произвольная власть

составляет часть старой конституции страны и что общины, ограничивая права короля, превысили свои старые полномочия; но в то же время он был достаточно проницателен, чтобы понимать, что в Англии возможно прочно установить деспотическую власть не рассуждением и не в силу привычки, а только при помощи страха. Система Страффорда служила ярким выражением его характера; сердитое и мрачное лицо, большие пасмурные глаза, поражающие нас на портрете Страффорда, лучше всего объясняют его политику «напролом». Он приобрел влияние при дворе просто в силу своей гениальности, в силу того страха, какой внушала его энергичность оставленным Бекингемом мелким людям в силу общего признания его таланта. У него не было мелких талантов придворного. Он выглядел человеком молчаливым, гордым, вспыльчивым; когда он впервые появился в Уайт-Холле, его нелюбезные грубые манеры вызвали в кругу придворных смех; но скоро этот смех перешел в общую ненависть. Вмешивавшаяся во все королевские дела ненавидела его; товарищи-министры интриговали против него, пользовались его резкими речами против крупных вельмож, его ссорами с придворными, его бурными выходками на заседаниях совета, чтобы подорвать милость к нему государя. Сам король настойчиво защищал его против соперников, но был совсем не в состоянии понять его цели. Карл ценил его как администратора, пренебрегавшего частными интересами, с высокомерным пренебрежением к людской любви и ненависти одинаково давившего крупного и мелкого, преданного одному делу — укреплению власти короля. Но для достижения своей цели — для подготовки к предстоявшей решительной борьбе со свободой, для создания в Англии такого деспотизма, какой Ришелье создавал во Франции, и для доставления Англии такого влияния в Европе, какое Франции доставил Ришелье, — Страффорд мало мог рассчитывать на сочувствие короля и еще меньше на его помощь.

Гений Уэнтворта нетерпеливо обратился к такой сфере, где он мог действовать, не стесняясь помехами, встречавшими его на родине. Он намеревался подготовить для предстоявшей борьбы определенный доход, арсеналы, крепости, постоянную армию — и все это он думал найти в Ирландии. В несчастной стране, до того истощавшей средства короны, он увидел рычаг для низвержения свободы Англии. Борьба католиков с протестантами в Ирландии легко могла поставить обе партии в зависимость от королевской власти; право завоевания, по теории Уэнтворта отдававшее все земли в полное распоряжение короны, открывало широкое поприще для его административного искусства; а в остальном он справедливо полагался на силу своего гения и своей воли. В 1633 г. он был назначен наместником Ирландии, и через пять лет его цель представлялась почти достигнутой: «Ко

роль, — писал он Лоуду, — так полновластен здесь, как любой государь на свете». Управление Уэнтворта было чистым террором. Архиепископ Эшер и чуть не все почтенные люди острова подвергались с его стороны оскорблениям и притеснениям. Его деспотизм пренебрегал всеми законными ограничениями. Достаточно было лорду Маунтноррису сказать несколько смелых слов, истолкованных в мятежном смысле, как его привлекли к военному суду и приговорили к смерти. Но его тирания преследовала общественные цели, и тяжелая рука одного деспота, во всяком случае, избавляла массу населения Ирландии от деспотизма сотни местных тиранов. Ирландские землевладельцы впервые почувствовали свое подчинение закону. Уэнтворт установил правосудие, преследовал преступления, несколько улучшил положение духовенства, очистил море от опустошавших его пиратов. Ко времени его наместничества относится основание льняных мануфактур, впоследствии обогативших Улстер, и начало развития ирландской торговли. Но хорошее управление служило ему только средством для достижения дальнейших целей. Самое лучшее, что можно было сделать для Ирландии, заключалось в примирении католиков с протестантами, устранении злобы и жажды мести, вызванных заселением Улстера. На деле Уэнтворт только раздражал протестантов терпимостью к католическому богослужению и приостановкой слабого преследования духовенства; в то же время он поддерживал раздражение католиков проектами заселения Коннаута. Он старался поддерживать разлад, заставлявший обе стороны искать себе помощи и защиты у короны. Эта политика, в конце концов, вызвала грозное восстание ирландцев, мщение Кромвеля и длинный ряд жестокостей с обеих сторон, которые придают такой мрачный характер истории погубленной Уэнтвортом страны; но на время она отдала Ирландию в полное его распоряжение. Он удвоил доходы и преобразовал армию. Чтобы получить средства для содержания ее, он решился, несмотря на страх, с каким отнесся к его плану Карл, созвать ирландский парламент. Он хотел дать урок Англии и королю, показав, как страшный парламент можно сделать простым орудием королевской воли; и это ему вполне удалось. Правда, две трети ирландской палаты общин состояли из представителей жалких местечек, целиком зависевших от короны; а отсутствовавшие пары принуждены были предоставить свои полномочия в полное распоряжение совета. Но предосторожности едва ли были нужны. Обе палаты боялись сурового наместника, приглашавшего их членов не доставлять королю «зрелища ропота, или, говоря вернее, возмущения по углам», и с полной готовностью назначили средства на содержание войска в 5000 пехотинцев и 500 всадников. Результат был бы тот же самый и при отказе в

субсидии. «Я попытался бы, — писал Уэнтворт, — рискуя своей головой, дать армии короля и без помощи ирландцев существовать на их средства».

В то время как Уэнтворт проводил свою систему «напролом» по одну сторону канала Св. Георга, на другой она была проводима человеком, правда, уступавшим ему по таланту, но почти равнявшимся по мужеству и упорству. После смерти Уэстона в 1635 г. Лоуд, в сущности, сделался первым министром английского совета. Мы уже видели, как ревностно и беззащечно уничтожал он в английской церкви пуританство и прогонял с английских кафедр пуританских священников; новое положение позволило ему при этом поддерживать авторитет Высокой комиссии угрозами Звездной палаты. На взгляд Лоуда, это была в одно и то же время и гражданская и церковная задача: дело устройства церкви он связал с утверждением политического деспотизма; пользуясь властью короны для сокрушения церковной свободы, он пользовался влиянием церкви для ускорения гибели свободы политической. Но власть его останавливалась на границе Шотландии. За этой границей церковь сохраняла епископов, но не обряды; она была кальвинистской по учению и до некоторой степени по устройству. Само существование подобной церкви служило поддержкой для английского пуританства и могло в моменты церковной слабости оказывать опасное влияние на церковь Англии. Правда, на Шотландию Лоуд мог действовать только косвенно, через Карла, так как король ревниво относился к всякому вмешательству английских министров и парламента в дела его северного королевства. Но Карл сам думал серьезно заняться этим: он проникся ненавистью Якова ко всему тому, что приближалось к пресвитерианству, и с начала своего царствования делал один шаг за другим к более полному установлению епископата. Но для понимания происшедшего отношений, установившихся к этому времени между Шотландией и ее королем, мы должны снова вернуться к пересказу ее истории, прерванному нами в момент перехода Марии Стюарт на английскую территорию.

После нескольких лет умного и умелого управления, торжество протестантизма при графе Мэррее было приостановлено его убийством, возродившим партию королевы и возобновлением междоусобия. Следующий регент, дед малолетнего короля, был убит во время одного бунта; но под строгим управлением Джеймса Дугласа, графа Мортонна, страна могла на некоторое время передохнуть. Последняя крепость, державшая сторону Марии, Эдинбург, сдалась посланному Елизаветой английскому отряду, и его комендант был за измену повешен на рыночной площади. В то же время строгий суд Мортонна принудил воинственных лордов к соблюдению мира. Население низменной Шотландии теперь искренно отдалось новой вере,

протестантская церковь вскоре после смерти Нокса стала силой, во все критические минуты обращавшейся к глубочайшим чувствам народной массы. В борьбе с католицизмом епископы стояли на стороне старой веры; новая церковь, оставшись без епископов и воспитавшись под влиянием кальвиниста Нокса, заимствовала у Кальвина как его церковное устройство, так и его богословие. Пресвитерианская система, образовавшаяся сначала без прямого признания закона, не только сильнее прежнего объединила Шотландию своей административной организацией, своими церковными синодами и общими собраниями, но и призвала народную массу к участию, как оказалось — решающему, в управлении делами: в каждой общине она предоставила власть светским старшинам и привлекла в общие собрания мирян в подавляющем большинстве. С внешней стороны управление пресвитеров придавало ей вид церковного деспотизма, но на деле нигде церковное устройство не отличалось таким демократизмом, как в Шотландии. Под влиянием этого народная масса пришла к осознанию своей силы, что и сказалось в изменении характера шотландской истории, со времени окончательного утверждения пресвитерианства. Последнее призвало народ к участию не только в церковной, но и в политической жизни, и церковь все более давала чувствовать свою власть знати и королю. Когда в 1577 г. союз соперников положил конец регентству Мортонa, постоянной целью раздиравшей Шотландию борьбы партий стали опека над молодым королем Яковом VI и пользование от его имени королевской властью. Затем, достигнув совершеннолетия, Яков нашел достаточно сил, чтобы свергнуть иго лордов и стать повелителем крупных фамилий, так долго страшивших корону. Но он меньше, чем когда-либо, был полным властителем своего королевства. В бурях реформации на первый план выдвинулась новая сила, и этой силой был шотландский народ, явившийся в образе шотландской церкви. Мелвиль, крупнейший из преемников Нокса, требовал для церкви независимости от государства, и Якову трудно было в ней отказать; в то же время он безуспешно боролся против того влияния, какое оказывало на гражданское управление общественное мнение, выражавшееся в Общем собрании церкви. В критическую эпоху Армады у короля были связаны руки навязанным ему союзом с Англией. В сношениях с короной демократическая смелость кальвинизма соединялась с духовным высокомерием представителей пресвитерианства. Мелвиль при всем совете схватил Якова за рукав и назвал его «глупым слугой Бога»: «В Шотландии, — говорил он ему, — есть два короля и два королевства, есть король Иисус Христос и его королевство — церковь; в этом королевстве Яков VI является подданным; здесь он не король и не повелитель, а член». Вступив на английский пре-

стол, Яков с горечью вспоминал тон и слова великого проповедника. «Шотландское пресвитерианство, — заметил он много лет спустя на Гэмптон-кортском совещании, — так же плохо мирится с монархией, как дьявол Богом! Без епископа нет короля!» Но Шотландия не хотела епископов. Среди наиболее фанатичных шотландцев епископат отождествлялся с отвергнутым ими старым католицизмом. Впоследствии, явившись на заседание английского совета, Мелвиль взял архиепископа Кентерберийского за рукава его стихаря и, размахивая ими по своему обыкновению, назвал их римскими тряпками, печатью «Зверя». Ввиду этого в 1592 г. епископат был формально уничтожен, и пресвитерианская система была признана законной формой церковного устройства Шотландии. Управление церковью было поручено Общему собранию с подчиненными ему собраниями областей, пресвитерств и приходов, подчинявшими своей дисциплине всех членов общины. Все, что Яков мог спасти, состояло в праве присутствовать на Общем собрании и определять время и место его ежегодного созыва. Но едва он вступил на английский престол, как стал пользоваться своим новым положением для разрушения созданного устройства. Несмотря на принятие им закона, устанавливавшего ежегодный созыв Общего собрания, он пять лет рядом отсрочек мешал ему собираться. Протесты духовенства строго преследовались. Когда 19 священников составили собрание, их, как изменников, изгнали из королевства. Смелейшие из оставшихся вождей были вместе с Мелвилем вызваны для совещания с королем насчет его планов преобразования. Они отказались пожертвовать свободой церкви и были заключены в тюрьму; а когда Мелвиль написал эпиграмму на обряды английского причащения, это послужило основанием для привлечения его к суду английского Тайного совета. Его посадили в Тауэр и выпустили после нескольких лет заключения только для того, чтобы отправить в изгнание. Так духовенство Шотландии лишилось своих вождей; ему грозили тюрьмой и изгнанием; знать покинула его; народная масса пока плохо поддерживала его, и оно уступило давлению короны. Епископам было дозволено председательствовать в его собраниях, и шотландская церковь, наконец, формально признала епископский сан. Свобода проповеди была ограничена, Общее собрание доведено до покорности. Священники и старейшины лишились права отлучать виновных без согласия епископов. Суд Высочайшей комиссии навязал церкви верховенство короны. Но Яков довольствовался этим подтверждением своей королевской власти. Его цель была скорее, политическая, чем религиозная, и, обеспечивая себе при посредстве епископов надзор над церковью, он думал вернуть себе ту власть над королевством, какую Реформация отняла у королей Шотландии. В нача-

царствования Карл следовал политике своего отца. Достиг он немногого, кроме возвращения части церковных земель захватившими их лордами. Но скоро дала себя почувствовать деятельность Лоуда. Первые его действия были направлены скорее на пункты внешнего различия, чем на собственно пресвитерианское устройство. Он побудил сословия отнять у синада надзор за церковной одеждой и поручить его короне; вскоре за тем шотландские епископы снова облачились в свои епископские одежды. Первым со времен Реформации случаем употребления стихаря было появление в нем епископа Морей перед Карлом при посещении королем Эдинбурга. Вскоре за тем был издан королевский указ, предписывавший всем священникам носить стихари при богослужении. От одежды неугомонный Лоуд скоро перешел к более важным предметам. Много лет раньше он напрасно убеждал Якова «приблизить его шотландских подданных к литургии и канонам англичан»: «Я, — сказал хитрый старик-король, — отверг составленный им безрассудный план. При всем том, он не испугался моего гнева, а обратился ко мне снова с безумным проектом подчинить упрямую шотландскую церковь церкви английской, но я не решился играть своим словом. Он не знает упрямства шотландцев». Но Лоуд умел ждать, и наконец его время настало. Он решился совсем изменить пресвитерианский характер шотландской церкви и приблизить ее к английской. Одной своей властью король издал собрание церковных законов, отдававшее целиком в руки епископов управление церковью; только король мог созывать церковные соборы; только с его согласия можно было вводить изменения в богослужение и дисциплину церкви. Таким же смелым превышением власти короны была замена так называемой Ноксовой литургии — служебника, составленного реформатором по женеvскому образцу и употреблявшегося по всей Шотландии, — новой литургией, основанной на английском служебнике. Литургию и каноны составили и представили Лоуду четыре епископа Шотландии; при составлении их Общее собрание не запрашивали и ни к чему не допускали; вместе взятые, они составляли систему политического и церковного устройства, имевшую целью полностью подчинить Шотландию короне. Навязать их стране значило произвести серьезнейший переворот. Введение книг было предписано королевским указом, и Лоуд льстил себе мыслью, что переворот уже произведен.

Торжествуя в Шотландии, подчинив себе, по-видимому, ее церковь, Лоуд продолжал преследование английских пуритан. А между тем показывались признаки такой перемены в их настроении, которая могла привести в раздумье и более смелого человека. Тысячи «лучших людей» — ученых, купцов, юристов и земледельцев — переплывали океан, ища в пусты-

не свободу и чистую веру. За ними готовились последовать крупные землевладельцы и вельможи. Чтобы не помогать нарушению королем святости субботы, священники покидали свои приходы. Остававшиеся среди духовенства пуритане, скорее чем согласиться на обращение причастного стола в алтарь или отказаться от протестов против нового католичества, покидали свои жилища. Благороднейший из тогдашних англичан отказался стать священником церкви, служение которых можно было «купить только рабством и клятвопреступлением». Мы видели, что Джон Мильтон покинул Кембридж, посвящая себя «тому жребию, все равно высокому или низкому, к какому призывает его время и воля Неба». Но они призвали его не к духовному званию, к которому он предназначался с самого детства. Впоследствии он с горечью рассказывал о том, как «прелаты выгнали его из церкви»: «Достигнув зрелых лет, я заметил, что в церковь вкрался деспотизм и что человек, желающий служить ей, должен превратиться в раба; притом принести присягу, добросовестное принятие которой было прямым клятвопреступлением или противоречило его убеждению; поэтому предпочел безупречное молчание священному сану, покупаемому рабством и клятвопреступлением». Несмотря на сожаления отца, он удалился в новую усадьбу, приобретенную нотариусом в соседней с Виндзором деревне Гортон, и спокойно занимался там наукой и поэзией. Поэтический толчок, данный Возрождением при Стюартах, постепенно замер. Драма щеголяла грубостью и ужасами; Шекспир спокойно умер в Стратфорде в детские годы Мильтона; в год его поселения в Гортоне (1633) появилась последняя и худшая из пьес Бена Джонсона; Форд и Мессинджер были еще живы, но преемниками их являлись только Ширли и Девенент. Правда, вдумчивое философское настроение эпохи вызвало свои особые школы: Голл, прославившийся потом, как епископ, ввел в моду поэтическую сатиру, ярким представителем которой был потом Уизсер; сэр Джон Дэвис положил начало так называемой «метафизической» поэзии, в которой находил сильное выражение холодный прозаичный рассудок и которую похоронил своей фантастической вычурностью Донн; религиозной поэзии доставили популярность мрачные аллегории Куорла и нежная утонченность, пробивающаяся сквозь массу острот и нелепостей, Джорджа Герберта. Уцелевшие остатки поэтической жизни можно было найти в нежной фантазии и веселой болтовне лирических певцов, вроде Геррика, у которого прелесть затрагивается страстью и часто искажается пошлостью и педантством, или в школе прямых преемников Спенсера; там, в идиллиях Брауна и неудобочитаемых аллегориях обоих Флетчеров, сохранилась еще отчасти если не сила, то приятность их главы. Последователем Спенсера был сам Мильтон

на старости он признавался Драйдену, «что для него образцом был Спенсер», а в ранних заметках своих в Гортоне он с любовью говорит о «важном и торжественном тоне «Царицы фей», об ее «лесах и мрачных очарованиях, где больше смысла, чем кажется». Но у него нет и следа той слабости и вычурности, которая отличала преемников Спенсера. В *Allegro* и *Penseroso*, первых плодах его уединения в Гортоне, мы снова встречаем богатую фантазию и мелодию Елизаветинской поэзии, ее роскошную образность, широкую симпатию к природе и человеку. Правда, молодой поэт утратил прежнюю свободу и целостность Возрождения; его произведения отзываются более риторикой, чем страстью; у него поразительное отсутствие драматической способности, а живописные описания лишены точности и определенности. Воображение Мильтона недостаточно сильно, чтобы он мог отождествить себя с воображаемым им миром; он стоит в стороне от последнего и как будто рассматривает его на расстоянии, устраивая его по своему усмотрению. В этом отношении он как в своих ранних, так и в позднейших поэмах далеко уступает Шекспиру или Спенсеру; но этот недостаток почти возмещается благородством чувства и выражения, тонкостью вкуса, выдержанным достоинством и законченным совершенством его произведений. Высокая нравственность пуританина выражается в каждой строке даже этих мелких произведений его юности. «Ком» был задуман в виде пьесы для празднеств, устраивавшихся лордом Бриджуотером в замке Лёдлоу, а превратился в почти страстную защиту любви к добродетели.

Исторический интерес Мильтонова «Кома» заключается в том, что он служит выражением протеста более образованных пуритан этой эпохи против мрачного ханжества, развившегося в целой партии под влиянием преследований. Действительно, терпение англичан постепенно истощалось. Вдруг появилась масса зlostных памфлетов, вроде прежнего Мартина Марпрелэта. Люди, у которых никто не спрашивал имени, продавали пасквили неизвестных авторов у дверей торговца и помещика. По мере того как надежды на парламент ослабели и люди отчаивались в законных средствах, на первый план, как это всегда бывает в такие времена, выдвигались горячие и безрассудные фанатики. Образчик их тона представил в начале этого периода Лейтон, отец носившего это имя благочестивого архиепископа. Он называл прелатов кровожадными людьми, епископат — установлением Антихриста, а католическую королеву — дочерью Хетта. На усиление пуританского ханжества под влиянием преследований Лоуда указывал «Бич актеров» (*Historiomastrix*) Принна, юриста замечательного своими конституционными познаниями, но в то же время человека, чрезвычайно упрямо-

го и ограниченного. В книге — нападки на актеров, как слуг сатаны, на театры, как на храмы дьявола, на охоту, майские деревья, украшение домов на Рождество елками, на карты, музыку и фальшивые волосы. Нападение на театр было так же оскорбительно для более образованных пуритан, как и для самого двора; Селден и Уайтлок приняли живое участие в подготовке большого спектакля, которым Училище правоведения решило отвечать на вызов, а в следующем (1634) году Мильтон написал для представления в Лёдлоу своего «Кома». Рассерженный примас нашел, что просто предоставить Принна суду более разумных людей было бы делом слишком благоумным. Никогда ни прежде, ни после за такую бессмыслицу человека не сажали в тюрьму; но одно место в книге было истолковано как намек на королеву, и приговор доказал страшную жестокость примаса. Принн был исключен из сословия адвокатов, лишен ученой степени и выставлен у позорного столба, где ему отрезали уши, а потом отвели назад в тюрьму. Но подымавшаяся волна народного недовольства представлялась в это время министрам короля еще не такой опасной, как обычные финансовые затруднения. Остроумные уловки придворных юристов, восстановление забытых прав короны, незаконные пошлины, штрафы и конфискации возбуждали один класс за другим и вызывали все в новых семьях ненависть к короне; но их было недостаточно для удовлетворения нужд казны. Потребовались новые вымогательства, в то время как рост недовольства делал их призывом к мятежу. Явилась вдруг новая опасность — союз Франции и Голландии, грозивший господству Англии над Ла-Маншем; разнеслись слухи, будто эти державы предполагают поделить между собой испанские Нидерланды. Необходимо было снарядить сильный флот, и нужные для этого средства были добыты превышением прав короны, приведшим впоследствии к громкому спору о корабельной подати. Один из юристов короны Ной нашел в документах Тауэра указания на случаи, когда портовые города королевства поставляли для нужд короля корабли, а приморские графства — снаряжение для них. Случаи эти относились к тому времени, когда постоянного флота еще не существовало и войну на море вели при помощи судов, выставленных на время различными портами; но случаями этими воспользовались, как средством для снаряжения постоянного флота без расхода для казны. Сначала потребовали судов, а затем вместо них — денег для оплаты их; требования эти были обращены к Лондону и главным портам Англии, а исполнение их достигалось штрафами и заточениями. Когда руководство делом взял на себя Лоуд, он стал действовать энергичнее и бесцеремоннее. Лоуду, как и Уэнтворту, король представлялся слишком осторожным, Звездная палата — слабой, судьи — чересчур совестливыми.

ми. «Я стою за решительные меры», — пишут они попеременно один другому в порывах нетерпения, вызываемого медленным ходом дел. Уэнтворт опасался, что его успехами нельзя будет воспользоваться в Англии. Лоуд разделял это опасение и завидовал свободе действий наместника Ирландии: «Вас здесь очень хвалят за вашу деятельность, — писал он, — продолжайте во имя Бога. Здесь я перестал ожидать решительных мер». Оба они воспользовались финансовой нуждой, чтобы принудить короля к более смелым шагам: «Уплатив долги казны, — твердил Уэнтворт, — вы можете управлять как вам угодно». Всякие ссылки на прецеденты были оставлены, и Лоуд решил обратиться «корабельную подать», до того налагавшуюся на порты и приморские графства, в общий налог, назначаемый королем для всей страны: «Я не вижу причины, — многозначительно писал Уэнтворт, — почему вы не могли бы влиять на юристов Англии так, как здесь делаю это я, бедная гонимая». Едва судьи объявили новый налог законным, как он поспешил сделать из их решения логические выводы: «Раз король имеет право налагать подать для снаряжения флота, то же должно сказать и о наборе армии; то же основание, какое позволяет ему набирать армию для отражения нашествия, позволит ему для предупреждения последнего вести эту армию за границу. Сверх того, законное в Англии законно также в Шотландии и Ирландии. Поэтому решение судей сделает короля полновластным внутри страны и грозным вне ее. Пусть только несколько лет он воздерживается от войны, чтобы приучить своих подданных к платежу этого налога, и тогда он станет более могущественным и уважаемым, чем кто-либо из предшественников». Но нашлись люди так же ясно, как и сам Уэнтворт, понимавшие, насколько опасно для свободы такое взимание корабельной подати. Масса народной партии отказалась от всякой надежды на спасение английской свободы. Переселение в Новую Англию вдруг оживилось; теперь готовились искать новой родины на Западе знатные и богатые люди: лорд Варвик приобрел себе в собственность долину Коннектикута; лорд Сэй и Сел и лорд Брук начали переговоры о переселении в Новый Свет; сомнительное предание говорит, что только запрет короля помешал Оливеру Кромвелю переплыть океан; более достоверна покупка Гэмпден-ом участка земли на Наррагансете. Это был друг Элиота, человек чрезвычайно талантливый, глубоко убежденный, с проницательным умом и широким образованием и с чрезвычайно чистым и милым характером; свою твердость он уже доказал отказом от взноса принудительного займа 1627 г. В январе 1636 г. он повторил свой отказ, объявил корабельную подать незаконным налогом и решил обратиться к покровительству закона, чтобы поднять упавший дух народа.

Весть о сопротивлении Гэмпдена распространилась по Англии как раз в то время, когда народ был возбужден известиями о восстании на севере. Наконец, терпение шотландцев истощилось. В то время как Англия ожидала открытия великого спора о корабельной подати, настойчивые приказы короля заставили духовенство Эдинбурга ввести в свои церкви новую службу. Но едва в церкви Св. Джайлса был раскрыт новый служебник, как в народе послышался ропот, скоро перешедший в страшное смятение. Церковь была очищена, и служба совершена, но рост недовольства заставил судей объявить, что приказ короля предписывает покупку служебника, а не пользование им. Им тотчас перестали пользоваться, а присланные из Англии строгие приказы восстановить его были встречены массой протестов из всех областей Шотландии; один герцог Леннокс привез с собой к двору 68 ходатайств. В то же время духовенство, вельможи и дворяне собрались в Эдинбург для организации национального сопротивления. Эти события в Шотландии сразу отозвались открытым проявлением недовольства в Англии. Тюрьма, которой Лоуд наградил Принна за его толстый том не сломила его мужества, и он написал в ней новое сочинение, в котором нападал на епископов, как на хищных волков, называя их слугами дьявола. Товарищ его по заключению Джон Бэстик объявил в своей «Литания», что «ад разверзся, и к нам явились черт в камилавках и клобуках, ризах и стихарях». Бёртон, отставленный Высокой комиссией лондонский священник призывал всех христиан противиться епископам, как «душегубителям, порождению звериному, слугам Антихриста». Такой бред можно было бы оставить без внимания, если бы общее сочувствие к нему не показывало, как быстро поднимается волна народного недовольства. Лоуд привлек Принна и его товарищей к суду Звездной палаты за «призыв к мятежу», но они отнеслись пренебрежительно к приговору, присуждавшему их к выставлению у позорного столба и пожизненному заключению. Толпа, наполнившая двор замка, чтобы присутствовать при их казни, стонала при отрезывании у них ушей и «издала крик», когда Принн объявил, что приговор над ним противоречит закону. Когда их повели в тюрьму, на пути собрались 100 000 лондонцев, и переход этих «мучеников», как называли их зрители, походил на торжественное шествие. Внезапный взрыв народного чувства удивил Лоуда, но, как и всегда, он остался неустрашимым. Люди, оказавшие Принну при проезде по стране гостеприимство, были вызваны в Звездную палату, а цензура над пуританской печатью усилена. Но настоящую опасность представляли не памфлеты безумных фанатиков, а настроение Шотландии и впечатление, производимое во всей Англии делом Гэмпдена (ноябрь 1637 г.). 12 дней торжественно обсуждался перед полным со

ставом суда вопрос о корабельной подати. Было доказано, что в прежние времена подать взималась только в случаях внезапной нужды и ограничивалась только побережьем и портовыми городами и что особый статут лишил ее даже тени законности; взимание ее было названо нарушением «основных законов» Англии. Решение дело было отложено, но разбор его отразился не только на Англии, но и настроении шотландцев. На просьбы последних Карл ответил простым приказом, всем пришельцам оставить столицу. Но Эдинбургский совет не был в состоянии исполнить этот приказ; прежде чем разойтись по домам, вельможи и дворяне выбрали уполномоченных, под старым названием «Столов», которые и вели в течение зимы ряд переговоров с короной. Следующей весной они были прерваны новым приказом — разойтись и принять служебник. В это время (июнь 1638 г.) судьи, наконец, вынесли долго откладывавшееся решение по делу Гэмпдена. В его пользу высказались только двое судей; трое примкнули к ним по формальным основаниям. Большинство, числом семь, высказалось против. Оно выставило смелое положение, что против воли короля нельзя ссылаться ни на какой закон, запрещающий произвольное обложение: «Я никогда не читал и не слышал, — сказал судья Беркли, — чтобы закон был королем (*lex est rex*), но обыкновенно и вполне правильно говорят, что законом служит король (*rex est lex*)». Главный судья Финч так выразил мнение своих товарищей: «Не имеют силы акты парламента, лишаящие короля возможности защищать свое королевство... акты парламента не могут отнять у короля право распоряжения подданными, их личностью и имуществом, а также их деньгами: между тем и другим ни один закон парламента не делает различия».

«Я желал бы, — сердито писал наместник Ирландии, — чтобы г-н Гэмпден и прочие ему подобные розгами были возвращены к здравому смыслу». Хотя двор был обрадован решением судей, но Уэнтворт ясно видел, что Гэмпден достиг своей цели. Его сопротивление указало Англии на опасность, грозившую ее свободе, и выяснило настоящий характер притязаний короля. До какой суровости и ожесточенности дошло, наконец, настроение даже лучших пуритан, видно из написанной в это время Мильтоном элегии «Лицид». Его спокойные и мягкие жалобы внезапно прерываются взрывом негодования при виде опасностей, угрожающих церкви, при виде «слепых людей, едва умеющих держать пастуший посох; голодные овцы напрасно смотрят на них, не получая пищи»; а в это время «свирепый (римский) волк хищными когтями каждый день поспешно похищает многих и тайком пожирает их». Твердое решение народа потребовать отчета у своих тиранов выразилось в угрозе топором. Уэнтворту, Лоуду и самому Карлу

предстояло еще посчитаться «с двуручным орудием, стоявшим у двери и готовым размахнуться для одного удара, не более». Несмотря на твердость общего настроения, не было необходимости действовать немедленно: усиливавшиеся на севере затруднения, очевидно, должны были заставить правительство искать поддержки у народа. В то время как Англия ожидала решения дела Гэмпдена, в Эдинбург пришло требование короля — немедленно подчиниться, и это тотчас собрало вокруг «Столов» всю массу протестующих. За протестом, прочитанным в Эдинбурге и Стирлинге, последовало, по внушению Джонстона Уористона, возобновление «ковенанта» (союза с Богом), который был заключен и подкреплён клятвой прежде, в дни опасности, когда Мария еще строила козни против протестантизма, и Испания снаряжала Армаду: «Обещаем и клянемся, — гласил конец торжественного обязательства, — великим именем Господа нашего Бога пребывать в исповедании и повиновении названной вере, защищать ее и противиться всем враждебным ей заблуждениям и соблазнам во все дни нашей жизни, согласно нашему призванию и в пределах сил, данных Богом нашей руки». «Ковенант» был подписан в Эдинбурге на дворе францисканской церкви при взрыве воодушевления, «с таким довольством и радостью, как будто снова допускались в союз с Богом люди, прежде долго бывшие изгнанниками и мятежниками». Для собирания подписей по стране разъезжали дворяне и вельможи с документами в кармане, а священники в церквях убеждали всех присоединиться. Но в давлении не было нужды. «Решение присоединяющихся было таково, что многие иногда подписывались слезами со щек»; о некоторых рассказывали даже, что они «вместо чернил подписывали свои имена собственной кровью». Это оживление религиозного пыла придало новую силу свободе Шотландии, что отразилось на перемене в тоне протестующих. От маркиза Гамильтона, прибывшего в качестве комиссара короля для прекращения спора, сразу потребовали упразднения суда Высокой комиссии, устранения новых свода канонических законов и служебника, свободного парламента и свободного Общего собрания. Напрасно грозил он войной; даже шотландский совет убеждал Карла дать народное полное удовлетворение. «Я скорее погибну, — писал король Гамильтону, — чем приму эти дерзкие и безрассудные требования». «Недовольство в стране, — писал лорд Нортумберленд Уэнтворту, — скорее усиливается, чем слабеет»; а у Карла не было ни финансов, ни людей. Напрасно пытался он занять денег у Испании, обещая объявить войну Голландии, напрасно просил прислать ему 2000 человек из Фландрии, чтобы ими занять Эдинбург. И в займе, и в войске ему было отказано; а предложенные католиками Англии взносы не могли пополнить казну. Карл приказал маркизу избрать

гать решительного разрыва до появления в Форте королевского флота; но и снарядить флот было трудно. Шотландия подготовилась к войне скорее короля. Шотландские добровольцы, участвовавшие в Тридцатилетней войне, по призыву своих братьев поспешили на родину. Генерал Лесли, ветеран Густава-Адольфа, явился из Швеции принять начальство над новым войском. В каждом графстве собирали добровольно военный налог. Опасность заставила, наконец, короля уступить требованиям шотландцев; но едва уступив, он тотчас взял уступку назад и приказал только что созванному собранию разойтись. Последнее почти единогласно постановило продолжать свои заседания. Нововведения в богослужении были отменены, епископат упразднен, епископы низложены и пресвитерианская система восстановлена во всей ее полноте. Известие о том, что Карл собирает армию в Йорке и рассчитывает в самой Шотландии на поддержку отдельных роялистов, вызвало захват Эдинбурга, Дёмбартона и Стирлинга; в то же время отлично вооруженное войско в 10 000 человек под командой Лесли и графа Монтроза вступило в Абердин и увело пленником на юг католического графа Хантли. Вместо устрашения Шотландии появление королевского флота в Форте только побудило Лесли выступить к границе с 20 000 человек. Едва Карл перешел через Твид, как «маленький согнутый ветеран» расположился на холме Дёнс-Лоу и прямо предложил королю сражение.

Не имея средств для ведения войны, Карл вынужден был согласиться на созыв Свободного собрания и шотландского парламента; но в его глазах договор в Бервике был простым перемирием. Вызов Уэнтворта из Ирландии указывал на подготовку насильственных мер, и шотландцы ответили на это обращением за помощью к Франции. Открытие переписки между вождями шотландцев и французским двором возбудило в короле надежду, что обращение к Англии за помощью против шотландских изменников встретит сочувствие в ее верноподданстве. Уэнтворт, пожалованный теперь в графы Страфффорда, все настаивал на том, что шотландцев нужно прогнать к их границе. Теперь он уговорился с королем, что нужно созвать парламент, представить ему переписку и воспользоваться ожидаемым взрывом негодования для получения крупной субсидии. Карл созвал так называемый за его непродолжительность Короткий парламент, а Уэнтворт поспешил в Ирландию набрать войско. В две недели он добился от своего раболепного парламента денег и войска и, гордый своим успехом, вернулся как раз ко времени собрания палат в Вестминстере (апрель 1640 г.). Но урок пропал даром. Все члены палаты общин сознавали, что Шотландия борется за свободу Англии. Все надежды по-

будить их к нападению на шотландцев оказались тщетными. Перехваченные письма были спокойно отложены в сторону, и общины по-прежнему объявляли, что назначению субсидий должно предшествовать устранение злоупотреблений. Нельзя было разрешать никаких субсидий до получения ручательств за веру, собственность и вольности парламента. Общины не отступили от своего решения, даже когда король предложил отказаться от корабельной подати, и после трехнедельной сессии парламент был распущен. «Прежде чем поправиться, дела должны пойти еще хуже», — холодно заметил один из вождей патриотов Сент-Джон. В стране было страшное волнение: «Такого раздражения, — писал лорд Нортумберленд, — не было слышано на памяти людей». Один Стаффорд оставался непоколебим. Он доказывал, что своим отказом удовлетворить требования короля парламент освободил Карла от всех ограничений и дал ему право поступать по своему усмотрению. Граф стоял за войну и принял командование над королевской армией, снова двинувшейся на север. Но шотландцы приготовились перейти границу; на глазах отряда англичан они переправились через Тайн, заняли Ньюкасл и оттуда прислали свои мирные предложения. Они просили короля рассмотреть их жалобы и «по совету и соглашению с собранными в парламент сословиями Англии установить прочный и желательный мир». Просьба была подкреплена приготовлениями к походу на Йорк, где Карл уже предался отчаянию. Войска Стаффорда оказались чистым сбродом; ни просьбами, ни угрозами их нельзя было принудить к повиновению, и граф должен был признать, что понадобится два месяца, чтобы подготовить их к делу. Напрасно Карл заключил перемирие. В тылу у него готова была восстать вся Англия. Лондонские подмастерья напали на Лоуда в Лэмбете и прервали заседания Высокой комиссии у Св. Павла. Войну всюду называли «войной за епископов»; вновь набираемые войска убивали офицеров, заподозренных в папизме, ломали алтарные решетки во всех церквях, мимо которых проходили, и расходились по домам. Два пэра лорды Уортон и Говард решились представить самому королю ходатайство о примирении с шотландцами, и хотя Стаффорд арестовал их и предложил расстрелять, как мятежников, английский совет не решился на крайние меры. Карл все еще старался избежать унижающего созыва парламента. Он созвал в Йорке Великий совет пэров, но его план не удался вследствие общего осуждения его вельможами. Тогда со злобой и стыдом в душе Карлу пришлось снова созвать палаты Вестминстере.

Глава VI

Долгий парламент (1640—1644)

Если Страффорд воплощал дух деспотизма, то Пим, глава общин с первого заседания новых палат в Вестминстере, представляется постоянно воплощением права. Сомерсетский помещик из хорошей фамилии и с крупным состоянием, он выступил общественным деятелем в парламенте 1614 г. и за свой патриотизм при закрытии его поплатился тюрьмой. В парламенте 1620 г. он был вождем и одним из «двенадцати послов», для которых Яков велел поставить кресла в Уайт-Холле. Он уцелел почти один из кучки патриотов, с которыми вел конституционную борьбу против раннего деспотизма Карла: Кок умер от старости; сердце Коттона было сокрушено преследованием; Элиот погиб в Тауэре; Уэнтворт изменил. Оставался один Пим, по-прежнему решительный и терпеливый. За одиннадцать лет усиленного деспотизма сознание его величия постепенно росло, и надежда и вера в лучшее будущее почти неразрывно слились с именем человека, никогда не сомневавшегося в конечном торжестве свободы и права. В конце периода, по словам Кларендона, еще более замечательным по просвечивающей в них сильной ненависти, «он был из всех когда-либо живших человеком, самым популярным и наиболее способным принести вред». Сначала он выказал свое умение выжидать, а когда эта пора прошла, — умение действовать. Накануне созыва Долгого парламента он объехал всю Англию, чтобы вызвать в избирателях внимание к наступившему, наконец, кризису; а когда общины собрались, он оказался не простым членом от Тэвистока, а их признанным главой. Из числа провинциальных дворян, составлявших массу их членов, немногие заседали в прежних палатах, да и из этих немногих никто не был таким выдающимся представителем парламентского предания, вокруг которого должна была сосредоточиться предстоявшая борьба. По смелости и оригинальности красноречия Пим уступал Элиоту и Уэнтворту, но вескость и логичность делали его более пригодным для убеждения и руководства большой партией; поддержкой ему служили хладнокровие, ловкость и порядок в ведении общественных дел, практичность в руководстве прениями, сообщившая деятельности парламента никогда не виданный ею прежде методический порядок. Но как ни ценны были эти достоинства, у Пима была еще более важная особенность, делавшая его не только первым по времени, но и величайшим из парламентских вождей. Из пятисот человек, заседавших вместе с ним у Св. Стефана, он один ясно предвидел предстоявшие им затруднения и отчетливо представлял себе, как

устранить их. Было несомненно, что парламент будет втянут в борьбу с короной. Было вероятно, что в этой борьбе палата общин, как это бывало прежде, встретит противодействие со стороны палаты лордов. Юристы старой конституционной школы оказывались беспомощными перед подобным столкновением соподчиненных властей, которого не предусматривал закон и которое слабо и неясно разрешалось прецедентами. Пим был знаком с прецедентами так же хорошо, как и юристы, но далеко превосходил их пониманием основных начал конституции. Первый из английских политиков он открыл и применил к данным политическим условиям то, что можно назвать теорией соотношения властей. Он заметил, что в качестве элемента конституционной жизни парламент имеет большее значение, чем корона, и что в самом парламенте главной составной частью является палата общин. На этих двух положениях он основал весь свой способ действий в наступавшей борьбе. Когда Карл отказался действовать вместе с парламентом, Пим объявил этот отказ временным отречением государя от своей власти, отдававшим ее до создания новых учреждений в руки обеих палат. Когда лорды стали противодействовать общинам, Пим предупредил их, что это противодействие только заставит общины «взять на себя одни спасение королевства». В то время эти начала представлялись революционными, но впоследствии оба они были признаны за основы английской конституции. Первое из них было подтверждено «конвентом» и парламентом, собравшимся после бегства Якова II; второе — всеобщим признанием, со времени билля о реформе 1832 г., того, что управление страной, в сущности, находится в руках палаты общин и что вести его могут только министры, представляющие ее большинство. По своему характеру Пим представлял полную противоположность революционеру. Мало было когда-либо натур, отличавшихся большей широтой симпатий и деятельностью. При всей серьезности его целей, его обращение было веселым и даже любезным: от нападок на Страффорда он легко переходил к болтовне с леди Карлайл; эта веселость и любезность обращения, даже в то время когда заботы и бремя общественных дел сводили его в могилу, послужили поводом к распространению среди ярых роялистов массы нелепых слухов. Поразительное сочетание в его натуре природной ловкости с крупной силой с первого момента власти выставило его прирожденным руководителем людей. В одно и то же время он оказался и тончайшим дипломатом, и величайшим демагогом. Он с одинаковым искусством распутывал тонкие интриги роялистов и возбуждал огненными речами страсти в народе. Настоящим образом он начал свою деятельность, уже прожив полжизни: он родился в 1584 г., за четыре года до прихода Армады; тем не менее с первого заседа-

ния Долгого парламента он обнаружил таланты великого администратора, огромную работоспособность, организаторский талант, терпение, такт, способность внушать доверие всем, с кем он соприкасался, спокойствие и умеренность в удаче и неудаче, несокрушимое мужество и железную волю. Никто из правителей Англии не выказывал никогда более благородного характера и более широких административных талантов, чем этот сомерсетширский помещик, и умудренные ненавистью враги довольно верно называли его «королем Пимом».

Едва ли нужно было ему вместе с Гэмпденом объезжать Англию накануне выборов: созвание парламента сразу вызвало в стране новую жизнь. Выселение пуритан в Новую Англию вдруг совсем приостановилось: «Перемена, — заметил Уинтроп, — побудила всех в ожидании лучшего оставаться в Англии». Общественное недовольство нашло себе выражение в проповедях пуритан и во внезапно появившихся памфлетах, передовом отряде тех тридцати тысяч, которые были изданы в ближайшие двадцать лет и превратили всю Англию в школу политических споров. Решительные взгляды членов, собравшихся в Вестминстере, представляли полный контраст с нерешительными речами короля. Каждый депутат привез с собой из города или графства перечень жалоб, и каждый день толпы горожан или крестьян представляли новые ходатайства. Для рассмотрения и докладывания их было выбрано сорок комиссий, доклады которых послужили основой для действий общин. Принн и его товарищи по «мученичеству» были освобождены из своих темниц и с торжеством вступили в Лондон среди криков огромной толпы, усыпавшей лаврами их путь. С агентами королевского деспотизма общины обошлись сурово. В каждом графстве приказано было составить и представить палате списки «преступников», т. е. чиновников, приводивших в исполнение планы правительства. Но первый удар поразил руководящих министров короля. Даже Лоуд не возбуждал к себе такой всеобщей и сильной ненависти, как граф Страффорд. Страффорд не был послушным орудием деспотизма; он был, употребляя грозные слова, какими лорд Дигби закончил обвинительную речь, «великим изменником общего блага, который не должен ожидать прощения на этом свете, пока его не отправят на тот». Он сознавал грозившую ему опасность, но Карл заставил его явиться ко двору, и тот с отличавшей смелостью решил предупредить нападение, обвинив вождей парламента в предательской переписке с шотландцами. В то самое время как он излагал Карлу свой план, пришло известие, что Пим явился в палату лордов для обвинения его в измене: «Он поспешно отправляется в палату, — пишет очевидец, — громко стучит у дверей и с суровым и гордым видом направляется к своему месту

у верхнего конца стола совета; но тут многие потребовали, чтобы он удался из палаты, и это заставило его в смущении вернуться к дверям и ждать, пока его позовут». Его позвали только для того, чтобы отправить Тауэр. Он все еще намеревался обратить обвинение в измене против своих врагов и «попросил слова, но ему велели немедленно уйти». Пристав «черного жезла», арестовывая его, потребовал у него шпагу: «После этого он прошел сквозь толпу народа к своему экипажу, и никто не поклонился человеку, перед которым еще утром стояли с непокрытыми головами знатнейшие вельможи». За первым ударом скоро последовали другие: Уиндбэнк, государственный секретарь, был обвинен в подкупе диссидентами и бежал во Францию; Финч, хранитель печати, спасся от обвинения бегством за море; сам Лоуд был посажен в тюрьму. Смутное предчувствие будущего проглядывает на страницах его дневника и придает суровому характеру этого человека странную мягкость: «Я остановился в Лэмбете до вечера, — пишет архиепископ, — чтобы избежать глазения народа, и пошел на вечернюю молитву в мою капеллу. Псалмы этого дня и 50-я глава Исаии доставили мне большое утешение. Да сотворит меня Бог достойным его и способным воспринять его. Когда я пришел к моей барке, там стояли сотни моль бедных соседей и молились за мою безопасность и возвращение домой; за это я благословляю Бога и их». Карл вынужден был смотреть безучастно на крушение своей системы: шотландская армия все еще стояла на севере, а парламент вовсе не спешил назначить средства, необходимые для ее удаления, так как видел в присутствии шотландцев гарантию против своего роспуска: «Мы не можем обойтись без них, — откровенно признался Строд, — филистимляне еще слишком сильны для нас». Неправильные действия управления Карла одно за другим были устранены. Корабельная подать была объявлена незаконной, приговор по делу Гэмпдена отменен, один из судей посажен в тюрьму. Особый статут подтвердил «старое право подданных нашего королевства, по которому никакой товар, вывозимый или ввозимый подданными или иностранцами, не должен и не может быть без общего согласия в парламенте облагаем субсидиями, пошлинами, налогами или какими бы то ни было сборами», и тем навсегда положил конец всяким притязаниям короны на произвольное обложение. Новый билль устанавливал созыв палат каждые три года и обязал соответственных чиновников приступать к выборам даже без приглашения к тому короля. Для рассмотрения вопроса о церковной реформе была выбрана комиссия, по докладу которой общины провели билль, удалявший епископов из палаты лордов.

Король не проявлял признаков сопротивления. Все знали, что он решительно против упразднения епископата, но он не сделал попытки помешать

удалению епископов из верхней палаты. Он намеревался спасти жизнь Страффорда, но не противопоставил его обвинению никаких препятствий. 22 марта 1641 г. в зале Вестминстера начался процесс над графом, и для поддержки обвинения явилась вся палата общин. Насколько дело возбуждало страсти, видно было из громких криков сочувствия или ненависти, раздававшихся с переполненных скамей. Две недели защищался Страффорд с удивительной энергией и ловкостью против предъявленных ему обвинений и пафосом защиты доводил до слез своих слушателей; но вдруг процесс приостановился. Он был вполне изобличен в превышении власти и злоупотреблениях, но с формальной стороны обвинение в измене было обосновано слабо. Говоря словами Галлама, «английский закон не говорит о замыслах против себя»; статут Эдуарда III ограничил измену ведением войны против короля и покушением на его жизнь. Общины старались подкрепить свои доказательства ссылкой на заметки о заседании Тайного совета, в котором Страффорд убеждал воспользоваться его ирландскими войсками «для подчинения этого королевства»; но лорды были готовы допустить это доказательство только при условии полного пересмотра процесса. Пим и Гэмпден продолжали считать обвинение доказанным, но общины не приняли их мнения и, руководимые Сент-Джоном и Генри Мартеном, решились отказаться от этой судебной процедуры и вернуться к биллю об опале (attainder). Их прием вызвал суровое порицание писателей, мнение которых в этом вопросе заслуживает внимания. Но хотя вину Страффорда и нельзя было подвести под статут об изменах, тем не менее она составляла преступление, притом можно не предусмотреть в формальном законе иных крупных опасностей, какие могут угрожать национальной свободе. Даже в настоящее время министр может воспользоваться настроением парламента, выбранного в момент народного страха, и, когда народ образумится, все-таки управлять вопреки его воле, отказываясь от обращения к стране. Формально подобный прием был бы правильным, но на деле такой министр все-таки был бы преступлением. Деятельность Страффорда, все равно — можно ли было подвести ее под Закон об изменах или нельзя, с начала до конца была направлена против свободы всего народа. Как последнее средство нация сохраняет за собой право самозащиты, и билль об опале служит применением такого права к наказанию общественного врага, вина которого не подпадает под писанный закон. Для спасения Страффорда и епископата Карл готов был согласиться на предложение предоставить высшие должности вождям парламента с графом Бедфордом в качестве лорда-казначея; условиями он ставил только сохранение епископата и избавление от казни Страффорда. Но переговоры об

этом были прерваны смертью Бедфорда и обнаружением того, что Карл все время руководился советами лиц, предлагавших ему достичь той же цели, побудив войско двинуться на Лондон, захватить Тауэр, освободить Страффорда и избавить короля от опеки парламента. Открытие военного заговора решило участь Страффорда. Лондонцы пришли в неистовое возбуждение, и когда пэры собрались в Вестминстере, толпы народа с криками «Правосудия!» окружили палату. 8 мая лорды приняли билль об опале. Графу оставалось надеяться только на короля, но через два дня Карл дал на билль свое согласие и предоставил его судьбе. Страффорд умер так же, как жил. Друзья предостерегали его, что перед Тауэром собралась огромная толпа, чтобы присутствовать при его смерти: «Я умею смотреть в лицо как смерти, так и народу, — гордо ответил он им. — Благодаря Богу я не боюсь смерти и теперь снимаю свой камзол так же спокойно, как делал это, отправляясь спать». Когда топор упал, общий радостный крик прервал молчание огромной толпы. Улицы осветились потешными огнями; на всех колокольнях звонили в колокола: «Многие, — говорит наблюдатель, — приходят в столицу смотреть на казнь, вернулись назад с торжеством, размахивая шляпами, и кричали радостно в каждом городе, через который проходили!» «Отрубили ему голову! Отрубили ему голову!».

Неудача попытки создать парламентское министерство, открытие военного заговора и казнь Страффорда были поворотными пунктами в истории Долгого парламента. До мая были еще надежды на соглашение между общинами и короной, которое могло положить приобретенную свободу на основу новой системы управления; но с мая таких надежд осталось немного. С одной стороны, со времени военного заговора воздух был насыщен слухами и опасениями; скрип нескольких столов оживил воспоминание о пороховом заговоре, и депутаты кинулись из палаты общин в полной уверенности, что под нее подложена мина. С другой стороны, Карл полагал, что согласие на новые меры было вырвано у него силой и потому при первом случае может быть взято назад. В своем страхе обе палаты принесли присягу защищать протестантизм и общественные вольности; затем этой присяги потребовали от всех гражданских чиновников, и масса народа охотно ее принимала. Тот же страх перед контрреволюцией побудил Гайда и «умеренных» членов общин принять билль, постановлявший, что настоящий парламент может быть распущен только с его собственного согласия. Из всех требований парламента это впервые можно было назвать чисто революционным. Согласиться на него значило создать власть, постоянно соперничающую с короной. Карл подписал билль без возражения, но он уже нашел средства сломить влияние парламента. До того его сдерживал

присутствие шотландской армии; теперь нельзя было дольше откладывать ее оплаты и отступления, и между обеими странами было заключено соглашение. Палаты поспешили закончить свою преобразовательную работу. У «Северного совета» и суда уэльских окраин была отнята присвоенная ими судебная власть; затем был упразднен целиком суд по гражданским и уголовным делам Звездной палаты и Высокой комиссии — последних чрезвычайных судилищ, служивших опорами Тюдоровской монархии. Работа велась поспешно, так как нужно было спешить. Обе армии были распущены, но едва шотландцы отправились домой, как король решился вернуть их назад. Несмотря на просьбы парламента, он отправился из Лондона в Эдинбург, принял все требования собора и сословий Шотландии, присутствовал при пресвитерском богослужении, осыпал титулами и милостями графа Аргайла и патриотических вождей и в несколько месяцев приобрел популярность, вызывавшую опасения английского парламента. Страх перед планами короля усилился, когда оказалось, что он все время вел интриги с графом Монтрозом, перед его прибытием отделившимся от партии патриотов и за то наказанным заключением в Эдинбургский замок, и когда Гамильтон и Аргайл внезапно покинули столицу, обвиняя короля в намерении предательски захватить их и выслать из страны. Страх был доведен до бешенства известиями, внезапно пришедшими из Ирландии, где падение Страффорда положило конец всякому подобию порядка. Распущенные солдаты его войска рассеялись по стране и раздули тлевшее недовольство в целое пламя. В Улстере, где не забыли еще конфискаций заселения, в октябре 1641 г. разразился заговор, устроенный с замечательным искусством и тайной и охвативший с быстротой молнии середину и запад острова. Чистая случайность спасла Дублин, но вне городов избиения производились без помехи. За несколько дней погибли сотни англичан, а молва удвоила и утроила число жертв. День за днем из Ирландии приходили рассказы об ужасах и насилиях. Очевидцы передавали под клятвой, как мятежники разрубали на куски мужей в присутствии их жен, перед их глазами разбивали головы их детям, грубо насиловали и выгоняли голыми замерзать в лесах их дочерей: «Одних, — говорит Мэй, — нарочно сжигали, других для потехи или развлечения топили, и если те всплывали, шестью мешали им приставать или расстреливали и убивали в воде; многих хоронили заживо или закапывали в землю по грудь и оставляли умирать от голода». Во всем этом многое было простым преувеличением страха. От прежних восстаний новое отличалось своим религиозным характером. Это была борьба не кельтов с саксами, как прежде, а католиков — с протестантами. Паписты Палисада действовали тут рука об руку с ирландскими разбойниками. Мя-

тежники называли себя «Католическим союзом», имевшим целью защищать «публичное и свободное исповедание истинной католической римской веры». Ужас в Англии еще более усилился, когда оказалось, что они считают себя действующими по приказу короля и в интересах его власти. Они утверждали, что стоят за Карла и его наследников и против всех тех, кто «прямо или косвенно стремится уничтожить их королевские права». Они показывали грамоту, составленную будто бы по приказу короля в Эдинбурге, и называли себя «королевским войском». Грамота была подделкой, но вера в нее поддерживалась тем равнодушием, с каким Карл относился к национальной чести. Он смотрел на восстание, как на удобное средство сдерживать своих противников: «Я надеюсь, — писал он хладнокровно, получив известия, — что плохие вести из Ирландии помешают сделать в Англии много таких глупостей». Прежде всего, это должно было вызвать образование войска, распоряжаясь которым король мог стать снова повелителем парламента. Со своей стороны, парламента считал восстание ирландцев проявлением широко задуманной контрреволюции, в состав которой входили удаление шотландской армии, примирение с Шотландией, интриги в Эдинбурге. Страх его был доведен до ужаса ликованием роялистов в самой палате. Новая партия была организована втайне Гайдом, будущим лордом Кларендоном. Рядом с ним стоял лорд Фокленд, человек с широкой ученостью и образованием, центр кружка свободнейших мыслителей эпохи, и это отдалило его от парламента; в то же время боязнь столкновения с короной, страстное стремление к миру, симпатия к побеждаемым побудили его стать на сторону короля, которому он не доверял, и умереть за дело, бывшее ему чуждым. За Фоклендом и Гайдом скоро собралось большое число сторонников — благородных солдат, вроде сэра Эдмунда Верни («Я тридцать лет ел хлеб короля и служил ему, и теперь я не сделаю такой низости, не покину его»), а также людей, испуганных быстрым ходом событий и опасностями, грозившими епископату и церкви, сторонников двора и оппортунистов, ожидавших нового торжества короны. Ввиду разделения парламента и усиления внешних опасностей Пим решился обратиться за помощью к самой нации. В ноябре 1641 г. он предложил палате «великое представление» (Remonstrance), подробный отчет о деятельности парламента, о встреченных им затруднениях, о предстоявших еще ему новых опасностях. Парламент обвиняли в намерении упразднить епископат; представление доказывало, что он имеет в виду просто ограничить власть епископов. В политическом отношении оно отвергало упрек в революционных стремлениях, оно требовало только соблюдения существующих законов против диссидентов, ручательств правильного отправ-

ления суда, назначения министрами лиц, пользовавшихся доверием парламента. Новая партия короля боролась упорно, речь следовала за речью, заседание затянулось до того, что понадобилось принести свечи, и наконец только в полночь представление было принято большинством одиннадцати голосов. Попытка меньшинства предъявить прямой протест против принятого затем решения обнародовать представление вызвала взрыв дремавших страстей: «Одни махали своими шляпами над головами, другие отстегнули от поясов свои мечи в ножнах и, держа их рукояти в руках, поставили их концами в пол». Только хладнокровие и такт Гэмпдена предотвратили стычку. Обе стороны считали представление переломом в борьбе: «Будь оно отвергнуто, — сказал Кромвель при выходе из палаты, — я на утро же продал бы все свое имущество и оставил Англию навсегда». Враждебно принятое королем, представление снова подняло дух народа. Лондонцы поклялись жить и умереть с парламентом; в каждом графстве образовались общества для защиты палат, а когда король удалил стражу, выпрошенную общинами под страхом войскового заговора, на место ее у Вестминстера столпился народ.

Всего более повредил единодушию парламента церковный вопрос. В необходимости реформы все были согласны, и одним из первых действий парламента был выбор особой комиссии для рассмотрения этого вопроса. Масса как общин, так и лордов сначала была против всяких коренных преобразований в устройстве или учении церкви; но и внутри, и вне палаты общее мнение было в пользу ослабления как могущества и богатства прелатов, так и полномочий церковных судов. Даже среди самих епископов наиболее выдающиеся понимали необходимость согласиться на упразднение капитулов и епископских судов, а также на избрание в каждой епархии совета священников, который, по мысли архиепископа Эшера, должен был ограничивать произвол епископов. С этой целью Уильямс, епископ Линкольнский, составил особый проект, но он далеко не соответствовал желаниям огромного большинства общин. Сверх этих перемен, Пим и лорд Фокленд требовали отстранения духовенства от всех светских должностей и удаления епископов из палаты лордов. Последняя мера представлялась необходимой для восстановления независимости пэров: численность и раболепство епископов обыкновенно были настолько сильны, что мешали всякому противодействию короне. Но в то же время усиливалась партия, настаивавшая на полном упразднении епископата. Преследования Лоуда прибавили популярность теориям Картрайта, и пресвитерианство стало теперь между средними классами грозной силой. Средоточием его служили восточные графства и Лондон, где несколько священников, вроде Келеми и Маршала, составили общество для его распространения; в парламенте оно

было представлено лордом Мендевилем и некоторыми другими. В общинах сэр Гэрри Вэн представлял более крайнюю партию преобразователей будущих индипендентов; к пресвитерианству они относились не менее враждебно, чем к епископату, но пока действовали вместе с пресвитерианами составляли часть партии, известной как партия корней и ветвей, ввиду того что она требовала полного искоренения епископата. Отношение Шотландии к великой борьбе против деспотизма и политические выгоды религиозного объединения обоих королевств, а также желание теснее привязать Англию к протестантизму вообще придали новую силу партии пресвитериан. Написав «Лицида», Мильтон провел год в заграничном путешествии; по возвращении домой окунулся в богословскую борьбу. Он считал «делом несправедливым, что английская церковь отличается от всех реформатских церквей». Несмотря на такое давление и на подписанное 15 000 лондонцев ходатайство о том же, церковная комиссия высказалась в пользу умеренных реформ, предложенных Фоклендом и Пимом, и билл об удалении епископов из палаты пэров прошел через общины почти единогласно. Лорды отвергли его перед отъездом короля в Шотландию, а по возвращении его он был внесен снова. Пим и его товарищи, желая прекратить раздоры в своих рядах и положить конец настоянием ревнителей пресвитерианства и опасением церковной партии, остановились на полумере предложенной церковной комиссией весной. Но, несмотря на усиленные представления общин, пэры все еще не решались принять билль. Задержка раздражила собравшуюся вокруг Уайтхолла толпу лондонцев; она стала останавливать экипажи епископов, ехавших в палату, и оскорблять самих прелатов. Оскорбленная гордость побудила Уильямса и десять других епископов объявить, что им мешают посещать парламент и что все решения, принятые в их отсутствие, не имеют ни силы ни значения. На протест пэры ответили немедленным заключением в Тауэр подписавших его епископов; но это столкновение оказало большое содействие планам короля. Придворные стали открыто говорить, что оскорбление епископов доказывает необходимость свободы парламента, и старались вызвать новые столкновения: они составляли отряды из офицеров и наемных солдат, ожидавших отправки на войну в Ирландию, и направляли их на толпы, окружавшие Уайт-Холл. Стычки обеих партий, давших друг другу насмешливые прозвища — «круглоголовые» и «кавалеры», вызвали новое беспокойство в парламенте, но Карл упорно отказывал ему в страже. Он обязался «честью короля» защищать их «так же, как своих детей» от насилия, но едва он дал это обещание, как его прокурор явился у решетки палаты лордов с обвинением Гэмпдена Пима, Голлиса, Строда и Геселрига в изменнической переписке с шотландцами.

цами. В палату общин явился герольд и потребовал выдачи пятерых членов. Если Карл считал себя действующим на законном основании, то общины в обвинении, исходившем лично от короля, пренебрегавшем самыми ценными правами парламента и вызывавшем подсудимых в судилище, не имевшее права судить их, видели просто проявление насилия и произвола. Они обещали принять требование в соображение и снова попросили стражи. «Я отвечу утром», — сказал король. На утро (4 января 1642 г.) он пригласил бродивших вокруг Уайт-Холла дворян следовать за ним и, обняв королеву, пообещал ей вернуться через час хозяином всего королевства. Толпа кавалеров присоединилась к нему при выходе его из дворца и осталась в Вестминстерском зале, когда Карл в сопровождении своего племянника курфюрста Пфальцского вошел в палату общин: «Господин спикер, — сказал он, — я должен на некоторое время занять ваше кресло!». Когда его взгляд упал на пустое место, где обыкновенно сидел Пим, он вдруг смутился и замолчал: при известии о приближении его палата велела пятерым членам удалиться. «Господа, — медленно начал король обрывистыми фразами, — я сожалею, что мне пришлось прийти к вам по этому случаю. Вчера я присылал пристава по важному делу — взять нескольких лиц, обвиненных по моему приказу в измене; я ожидал повиновения, а не послания. Измена, — продолжал он, — лишает привилегий, и потому я пришел узнать, нет ли здесь кого-либо из обвиняемых». Водворилась мертвая тишина, которую прерывали только повторяемые им слова: «Я должен взять их, где бы я их ни нашел». Он снова замолчал, но тишина не прерывалась. Тогда он спросил: «Г-н Пим здесь?». Ответа не было, и Карл, обратившись к спикеру, спросил его, здесь ли пятеро членов. Лентол упал на колени и сказал: «Здесь у меня нет ни глаз, чтобы видеть, ни языка, чтобы говорить, иначе как угодно указать мне палате». — «Хорошо, хорошо, — сердито возразил Карл, — это неважно; я думаю, мои глаза не хуже других». Снова надолго водворилось молчание, во время которого он внимательно разглядывал ряды членов. «Я вижу, — сказал он наконец, — все птицы улетели, и надеюсь, вы пришлете их ко мне по возвращении их сюда». В противном случае, прибавил он, он сам отыщет их. Наконец, он покинул палату, по словам очевидца, «в более недовольном и сердитом настроении, чем в каком пришел, заявляя, что никогда не имел в виду насилия».

Только отсутствие пяти членов и покойное достоинство общин помешали оскорбительному шагу короля окончиться кровопролитием: «Все думали, — говорит свидетель сцены Уайтлок, — что если бы король нашел их тут и велел своим стражам схватить, члены палаты попытались бы защищать их, что могло бы кончиться большим горем и несчастьем». Пятьсот

лучших дворян Англии едва ли стали бы спокойно смотреть на то, как бандиты Уайт-Холла среди парламента налагают руки на их вождей. Но Карл и не подозревал опасности своего шага. Пять членов нашли себе убежище в Сити, и на другой день сам король потребовал в Гилд-Холле от олдерменов их выдачи. Когда он возвращался по улицам, вокруг него раздавались возгласы: «Привилегия!»; шерифы не обратили внимания на разосланные приказы об аресте, а воззвание, выпущенное через четыре дня и объявлявшее пятерых членов изменниками, прошло незамеченным. Страх прогнал кавалеров из Уайт-Холла, и Карл остался совершенно одинок, так как его поступок на время отдалил от него его новых друзей в парламенте и выбранных из них министров Фокленда и Колпеппера. Но при всем своем одиночестве Карл решил на войну. Графа Ньюкасла он отправил на север собирать войско, и 10 января, узнав, что пятеро членов готовы с торжеством вернуться в Вестминстер, он покинул Уайт-Холл и удалился в Гэмптон-Корт и в Виндзор. В то же время милиции Лондона и Саутуорка по суше, а лондонские лодочники по реке сопровождали Пима и его товарищей к палате общин, поклявшись «охранять парламент, королевство и короля». Обе стороны готовились к предстоявшей борьбе. Королева отплыла из Дувра с бриллиантами короны для продажи их и закупки оружия. Вокруг короля снова собрались кавалеры, а роялистская печать наводнила страну политическими брошюрами, составленными Гайдом. С другой стороны, общины решили обезопасить главные арсеналы королевства — Халл, Портсмут и Тауэр. В то же время через Лондон приходили толпы конных крестьян Бекингемшира и Кента, направляясь к Св. Стефану и обещая жить и умереть с парламентом. Пим смело определил новое положение палаты общин, и это заставило лордов отказаться от их политики сопротивления: «Общинам, — сказал их вождь, — будет приятно пользоваться вашим содействием и помощью при спасении королевства; но если таковых не окажется, это не помешает им исполнить их обязанность. Уцелеет королевство или погибнет, общинам будет тяжело, если история настоящего парламента скажет потомству, как в такой страшной опасности и крайности палата общин вынуждена была спасать королевство одна». Результатом слов Пима было принятие билля, исключавшего епископов из палаты лордов. Но всего важнее было обеспечить себе вооруженную помощь всей нации, и для обеих сторон это было нелегко. До изменений, введенных Тюдорами и уже поколебленных общинами в прениях о наборе солдат, король сам по себе не имел права призывать подданных, вообще, к оружию не иначе, как для восстановления порядка или отражения внешних врагов. С другой стороны, никто и не утверждал, что такое право принадлежало когда-либо

обеим палатам без короля, а Карл постоянно отказывал, ссылаясь на закон о милиции, предоставлявший в каждом графстве командование народным ополчением людям, преданным интересам парламента. Поэтому обе стороны нарушили конституционную практику: парламент назначил лордов-наместников командовать милицией по поручению палат, а Карл поручил набор войска королевским комиссарам. Всего труднее было для короля запастись оружием, и вот 23 апреля он внезапно появился перед Халлом, арсеналом севера, и потребовал допущения в него. Новый губернатор сэра Джон Готэм упал на колени, но отказался открыть ворота города, а за одобрением его поступка парламентом последовало оставление роялистскими членами своих мест в Вестминстере. Фокленд, Колпепперт и Гайд с 32 пэрами и 60 членами палаты общин присоединились к Карлу в Йорке; за ними последовал с большой печатью лорд-хранитель Литтелтон. Они хотели помешать воинственным планам короля, и их усилия поддерживались общим сопротивлением страны; созванное Карлом на Гэворт-Муре большое собрание землевладельцев Йоркшира обратилось к нему с ходатайством о примирении с парламентом, и несмотря на пожертвование университетами и вельможами его партии серебряной посуды, вновь набранным войскам все еще недоставало оружия и денег. С другой стороны, удаление роялистов вернуло обеим палатам их единодушие и энергичность. Они быстро собрали милицию, назначили начальником флота Роберта Рича, лорда Варвика, и произвели в Сити заем, для которого женщины жертвовали даже свои обручальные кольца. Угрозы силой только усилили притязания палат: их последние предложения требовали права назначать и смещать министров короля, назначать опекунов для его детей и действительно контролировать военные, гражданские и церковные дела: «Если бы я согласился на ваши требования, — возразил Карл, — я стал бы не больше как тенью короля».

Глава VII

Междоусобная война (июль 1642 — август 1646)

После прекращения переговоров обе стороны начали готовиться к немедленной войне. Гэмпден, Пим и Голлис стали руководителями комитета общественной безопасности, выбранного парламентом в качестве его административного органа. Из Нидерландов были вызваны английские и шотландские офицеры, а Роберт Деверо, третий граф Эссекс, сын казненного фаворита Елизаветы, был назначен командиром армии, вскоре доведенной

до 20 000 пехоты и 4000 конницы. Сторонники парламента питали большие надежды: «Мы все думали, что одна битва решит вопрос», — признавался Бэкстер после первой стычки. Действительно, король был почти без денег и оружия, а его ревностные хлопоты о наборе войска парализовались нежеланием его сторонников начинать борьбу. Тем не менее король решился открыть военные действия и «утром очень бурного дня» (22 августа) развернул свое знамя в Ноттингеме, но страна не ответила на его призыв. В то же время при возгласах огромной толпы Эссекс покинул Лондон, получив от парламента приказ следовать за королем «и силой или иным способом освободить его от вероломных советников и вернуть парламенту», и сосредоточил свое войско при Нортгемптоне. У Карла была только горсть людей, и натиск нескольких полков кавалерии покончил бы войну, но Эссекс отступил перед решительным ударом, рассчитывая довести короля до покорности просто демонстрацией своих сил. Когда Карл отступил к Шрусбери, Эссекс тоже передвинулся к западу и занял Уорчестер. Но вдруг положение резко изменилось. Католики и роялисты поспешно собрались под знамя короля, и смелый марш на Лондон заставил Эссекса двинуться из Уорчестера на защиту столицы. Обе армии встретились 23 октября на Эдж-Хиллском поле, близ Бэнбери. Встреча была неожиданностью, и последовавшее за ней сражение более походило на беспорядочную схватку кавалерии. В начале ее войска парламента были приведены в беспорядок изменой сэра Фортескью с целым полком, а конница короля на обоих флангах прогнала неприятельскую кавалерию с поля битвы; но пехотинцы лорда Эссекса прорвали пехоту, занимавшую середину позиции короля, и хотя его племянник принц Рупрехт Пфальцский* вернулся со своими эскадронами вовремя, чтобы избавить Карла от плена или бегства, но с наступлением ночи сражение осталось нерешенным. Впрочем, моральный перевес оказался на стороне короля. Эссекс убедился, что его конница не может устоять перед кавалерами, и отступил к Варвику, открывая путь к столице. Рупрехт настаивал на немедленном движении к Лондону, но его предложение встретило упорное сопротивление со стороны умеренных роялистов, опасавшихся как полного торжества Карла, так и его поражения. Поэтому на время король остановился в Оксфорде, где его приняли с шумным востор-

* Принц Рупрехт (1619–1682) — третий сын принцессы Елизаветы, старшей сестры Карла и Фридриха V, курфюрста Пфальцкого, английский полководец и адмирал. Во время гражданской войны командовал всей кавалерией роялистов, один из лучших генералов армии короля. После поражения кавалеров возглавил ту часть флота, которая не пожелала подчиниться республике, вел морскую войну с республиканским режимом, в борьбе с которым пытался опереться на английские колонии в Новом Свете.

том; но когда трусость гарнизона отдала Ридинг коннице Рупрехта, а смелое взятие им Брентфорда привело поддерживавшую его армию короля почти к стенам столицы, страх лондонцев уже прошел, и соединение их милиции с войском Эссекса заставило Карла вернуться снова на его прежние квартиры. Хотя парламент скоро оправился от неудачи при Эджилле, но война, по мере расширения ее театра зимой, шла все время в пользу короля. Укрепления Оксфорда доставили ему прочное влияние на средние графства; в то же время поход на Йорк Уильяма Кавендиша, графа Ньюкасла, с войском, собранным им в Нортумберленде, нарушил равновесие обеих партий на севере. Лорд Ферфакс, вождь парламента в этом графстве, был оттеснен к фабричным городам западного округа, служившим опорой пуританства. Прибытие в феврале 1643 г. из Голландии королевы с оружием ободрило королевскую армию; она переправила через Трент свои передовые отряды и стала угрожать восточным графствам, упорно стоявшим за парламент. Энергичные усилия палат служили доказательством важности войны. Продолжавшиеся до весны переговоры были прерваны старым требованием, чтобы король вернулся к своему парламенту; Лондон был укреплен, а на округа, державшие сторону парламента, наложена ежегодная подать в два миллиона. Армия Эссекса была заново снаряжена, и он получил приказ двинуться на Оксфорд; но хотя сам король готов был отступить на запад, однако граф не решился со своим неопытным войском дать новое сражение, а ограничился возвращением Ридинга и месяц простоял, не двигаясь, вокруг Брилла.

В то время как болезнь опустошала его ряды, а роялисты нападали на его квартиры, война принимала все более и более благоприятный для короля оборот. Бездействие Эссекса позволило Карлу послать часть его небольшой армии для поддержки восстания роялистов на западе. Нигде роялизм не носил таких доблестных и благородных форм, как среди жителей Корнуолла. Корнуолл стоял в стороне от общей жизни Англии, отделенный от нее не только отличием происхождения и языка, но и феодальными стремлениями своего народа, с кельтской верностью преданного своим местным вождям и подчинявшегося их преданности роялизму. Пока он только не допускал войны в свои пределы, но движение небольшого отряда парламентцев под командой лорда Стэмфорда на Лончестон заставило корнуольцев действовать. В мае 1643 г. вокруг рыцарственного сэра Бевила Гринвила составилась небольшая отряд; «припасов у него было так мало, что высшие офицеры получали в день только по сухарю», и на все войско была только горсть пороха. Но, несмотря на свою нужду и малочисленность, они с мечами в руках взобрались на крутые высоты Страттон-Хилла

и отбросили Стэмфорда к Экзетеру с потерей 2000 человек, артиллерии и обоза. Лучший из роялистских генералов сэр Ралф Гоптон принял на себя команду над корнуольской армией, когда она вступила в Сомерсет, и перенес тяжесть войны на запад. Чтобы остановить его движение, Эссекс послал сильный отряд под командой сэра Уильяма Уоллера; но прежде чем последний достиг Бата, Сомерсет был уже потерян, и корнуольцы взяли под огнем пушек его сильную позицию на Лэнсдаун-Хилле. Упорное сражение лишило победителей их вождей: Гоптон был ранен, а Гринвилл убит; вскоре затем, при осаде Бристоля, пали два других героя маленькой армии — сэр Николас Слэннинг и сэр Джон Тревэниэн, «оба молодые, ни один не старше 28 лет, очень дружные один с другим и с сэром Бевилем Гринвиллом». Несмотря на поражение, Уоллер преследовал ослабленного неприятеля, когда тот двинулся на помощь к Оксфорду, и сумел запереть пехоту в Дивайзе. Но конница пробилась и, соединившись с отрядом, посланным Карлом на выручку, вернулась назад, разбив наголову в новом сражении войско Уоллера (июль 1643 г.). Восстание Корнуолла, казалось, определило исход войны. От северной армии королева привела подкрепление, и это побудило Карла произвести новый поход на Лондон. Когда он подготавливал его, принц Рупрехт в смелом набеге на армию парламента встретился с отрядом конницы под командой Гэмпдена. Схватка кончилась успехом роялистов, и еще до ее окончания Гэмпден, «чего он никогда не делал», поскакал с поля, голова его склонилась, а руки упали на шею его коня. Он был смертельно ранен, и его смерть, казалось, предвещала гибель любимому им делу. Поражение следовало за поражением. Эссекс, все более и более желавший мира, отступил к Эксбриджу; в то же время сдача Бристоля принцу Рупрехту доставила Карлу второй город королевства и господство на западе. Известие об этом поразило парламент, «как смертный приговор». Лорды только и рассуждали что о мирных предложениях. В самом Лондоне появились разногласия: «большая группа состоятельных граждан» потребовала у дверей общин мира; наконец, бегство лагеря при Оксфорде шестерых из немногих остававшихся еще в Вестминстере пэров показало, что никто не рассчитывает на успех парламента.

Однако с этого времени твердость вождей парламента начала понемногу изменять ход войны. Гэмпден погиб, но оставался Пим. Настроение общин было достойно их великого вождя. Уоллер при возвращении был принят так, «как будто привел с собой пленником короля». Чтобы остановить успехи Ньюкасла на севере, под команду Эдуарда Монтегю, графа Манчестера, было поставлено новое войско. Всего сильнее была опасность на западе. Принц Мориц продолжал успешные действия своего брата Рупрехта

и занял Барнстепл и Экзетер, что обеспечило Девон для короля. Один Глостер мешал сообщениям его войск в Бристоле и на севере, и Карл двинулся на него, рассчитывая на скорую сдачу, но храбрая защита города привлекла на выручку к нему Эссекса. Когда приближение графа заставило Карла снять осаду, в Глостере оставался всего один бочонок пороха. После нерешительной стычки при Ньюбери, где с возгласом «Мир! Мир!» пал лорд Фокленд, а милиция Лондона жестоко отразила своими копьями конницу Рупрехта, пуританское войско медленно отступило к Лондону. При таком положении дел короля могла спасти только крупная победа, так как день победоносного возвращения Эссекса (25 сентября) был также днем торжественного принятия «Ковенанта». Пим, наконец, решился бросить на колеблющиеся весы меч Шотландии, и в минуту наихудшего положения парламента в Эдинбург был отправлен сэр Гэрри Вэн для определения условий, на которых можно было получить помощь Шотландии. Первым из них было требование «религиозного единства», другими словами — принятие английской церковью пресвитерианского устройства. Со времени первых прений в общинах о церковном управлении события шли так быстро, что соглашение этого рода сделалось необходимостью. Все до одного епископа и масса духовенства, преданная англиканству, встали на сторону короля и за свое «преступление» лишились приходов. Религиозные нужды страны настоятельно требовали введения новой системы церковного устройства, и хотя по своим взглядам Пим и руководящие политики все еще оставались умеренными епископами, но рост влияния пресвитериан и еще более военные потребности заставили их принять шотландское устройство. Со своей стороны, Шотландия считала торжество парламента необходимым для своей безопасности, а препятствия, еще задерживавшие быстрый ход переговоров Вэна, были устранены политикой самого короля. В то время как парламент искал себе помощи на севере, Карл добивался содействия мятежников Ирландии. Кровавопролитное восстание сделало их предметом никогда прежде не виданной в Англии ненависти, но для Карла они были просто пешками в его политической игре. Заключение перемирия с «Католическим союзом» предоставило в распоряжение короля для службы в Англии войско под командой лорда Ормонда, до тех пор усмирявшее восстание ирландцев. При содействии католиков Карл считал себя достаточно сильным, чтобы нанести удар Шотландии; поэтому вскоре он завел переговоры с католиками Ирландии о том, чтобы своей высадкой в графстве Аргайл они поддерживали восстание горцев с Монтрозом во главе. Ни один план короля не повредил его делу так, как этот: когда распространился слух о его намерениях, одни офицеры его армии за другими стали сла-

гать с себя свои обязанности; бежавшие в Оксфорд пэры вернулись в Лондон; начавшийся в самом парламенте поворот в пользу роялизма вдруг остановился. Озабоченная своей безопасностью Шотландия поторопилась подписать «Ковенант», а общины присягнули в церкви Св. Маргариты, «с поднятыми руками», соблюдать его. Они обязались «привести церкви Божии в трех королевствах в теснейшую связь и единообразие в деле религии, исповедания веры, так чтобы мы, а за нами наши потомки, могли жить братьями по вере и любви и чтобы Господь мог радоваться, живя среди нас»; затем они обещали искоренять папство, прелатство, суеверие, раскол и нечестие, «охранять права и привилегии парламента и вольности королевства», наказывать злоумышленников и противников преобразования церкви и государства, «объединить на все времена оба королевства прочным миром и согласием». Оканчивался «Ковенант» торжественным исповеданием грехов народа и обещанием исправиться: «Наши истинные и не притворные намерения, желание и стремление по отношению к нам самим и всем прочим, состоящим под нашей властью и попечением, в делах общественных и частных и во всех наших обязанностях относительно Бога и человека, заключаются в том, чтобы исправить нашу жизнь и служить одним другому примером настоящего исправления».

Заключение союза с Шотландией было последним делом Пима. «Комитет обоих королевств», которому после смерти его (в декабре 1643 г.) было поручено ведение войны и иностранных сношений, сделал все возможное для выполнения составленных им на следующий год планов. Широта этих планов свидетельствует о необыкновенной талантливости Пима. Для предстоявшего похода были набраны три армии, составившие войско 50 000 человек. Эссексу с армией центра поручено было наблюдать за королем в Оксфорде. Уоллер с другой армией должен был сдерживать принца Морица на западе. Отряд в 14 000 человек, который был набран усердием восточных графств и в котором начал выдвигаться в качестве вождя Кромвель, составил третью армию под командой лорда Манчестера, готовую содействовать в Йоркшире сэру Томасу Ферфаксу. В январе 1644 г. «при сильном холоде и снеге» шотландская армия с Александром Лесли, лордом Левном, во главе перешла границу, и это заставило Ньюкасла поспешить на север для остановки ее наступления. Его уход развязал руки Ферфаксу; он напал на высадившиеся в Честере прибывшие из Ирландии английские войска, наголову разбил их и так же быстро двинулся на Селби. Опасность в тылу вернула назад Ньюкасла, который, после встречи с шотландцами при Дёргеме, поспешил в Йорк и был там осажден Ферфаксом и шотландцами. Планы Пима теперь быстро развернулись. Манчестер с вой-

ском соединенных графств двинулся на соединение с силами Ферфакса и Левна под стенами Йорка, а Уоллер и Эссекс сосредоточили свои войска вокруг Оксфорда. Карл должен был ограничиться обороной. Ирландские войска, на которые он рассчитывал, были разбиты наголову Ферфаксом и Уоллером, и казалось, что на севере и на юге он побежден окончательно, но он не пришел в отчаяние. На требование помощи Ньюкаслом он уже ответил посылкой из Оксфорда принца Рупрехта для сбора войск на границе Уэльса; блестящий партизан заставил снять осады с Ньюарка и Лэтом-Хазуза, пробрался через горы Ланкашира и Йоркшира, ускользнул от армии парламента и без помехи прибыл в Йорк. Но успех этой попытки побудил его на новый смелый шаг: он отважился на решительное сражение. Обе армии встретились 2 июля 1644 г. при Марстон-Муре, и с наступлением вечера ружейная перестрелка привела к беспорядочной схватке. На одном фланге конница короля прорвала фронт неприятеля; на другом бригада Кромвеля так же очевидно взяла верх над кавалерией Рупрехта. «Бог сделал их как бы жатвой для наших мечей», — писал генерал под конец дня; но в пылу победы он удержал своих людей от преследования, чтобы поддержать нападение Манчестера на пехоту роялистов и разбить другое крыло их конницы, утомленное преследованием шотландцев. Нигде сражение не было так упорно. Один молодой пуританин, умирая на поле битвы, сказал склонившемуся над ним Кромвелю, что его мучит одно: «Я спросил его, что это такое, — записал впоследствии Кромвель. — Он сказал мне, что Бог не позволил ему убить больше Его врагов». С наступлением ночи все было кончено; дело роялизма на севере погибло с одного удара. Ньюкасл бежал за море, Йорк сдался, а Рупрехт с 6000 конницы направился на юг к Оксфорду. Удар был тем тяжелее, что обрушился на Карла в тот момент, когда ряд блестящих и неожиданных успехов превратил в торжество грозившую ему на юге опасность. После одномесечной осады король покинул Оксфорд, преследуемый Эссексом и Уоллером, выждал пока Эссекс отправился напасть на принца Морица при Лайме, и тогда, быстро напав на Уоллера, разбил и оттеснил его к Лондону, за два дня до битвы при Марстон-Муре. Своим успехом Карл воспользовался для преследования Эссекса, надеясь раздавить его между войсками своими и Морица. По роковой ошибке Эссекс углубился во враждебный ему Корнуолл, где король запер его и так стеснил в горах, что вся пехота принуждена была сдаться на милость победителей, в то время как конница пробилась сквозь них, а сам Эссекс бежал морем в Лондон. День сдачи ознаменовался торжеством роялистов в Шотландии, обещавшим разрушить то, что было достигнуто при Марстон-Муре. Ирландские католики исполнили обещание, данное Кар-

лу и высадили в Аргайле свой отряд; тогда, как давно было условлено, Монтроз отправился в горы и призвал кланы к оружию. Свое новое войско он повел на «ковенантеров» и при Типпермуре одержал победу, позволившую ему занять Перт, разграбить Абердин и навести страх на Эдинбург. Известия об этом побудили Карла, по возвращении с запада, двинуться на Лондон, но хотя шотландцы были задержаны при Ньюкасле, прочие победители при Марстон-Муре преградили ему 27 октября путь при Ньюбери; их войско было подкреплено солдатами, сдавшимися в Корнуолле, но теперь снова выведенными в поле. Атакам роялистов не удалось опрокинуть конницу парламента, а солдаты Эссекса смыли с себя позор поражения, кинувшись на потерянные ими пушки и с торжеством вернув их в свои ряды. Кромвель готов был воспользоваться этой минутой для победы, если бы темнота не помешала ему напасть с одной своей бригадой. Несмотря на просьбы его офицеров, Манчестер отказался атаковать. Подобно Эссексу, он опасался решительной победы над королем. Карл получил возможность увести свою армию к Оксфорду и даже снова без помехи явиться на поле своего поражения.

Ссоре Кромвеля с Манчестером при Ньюбери суждено было придать войне новую окраску и направление. Едва Пим был погребен в Вестминстерском аббатстве, как Англия инстинктивно признала его еще более гениальным преемником победителя при Марстон-Муре. Он родился в последние годы царствования Елизаветы, был сыном представителя младшей линии знатного рода Кромвелей из Гинчинбука и по женской линии приходился родственником Гэмпдену и Сент-Джону. Смерть отца вызвала его после короткого пребывания в Кембридже в его небольшое родовое имение в Гёнтингдоне, которое он променял на ферму в Сент-Ивсе. Мы уже видели его настроение в годы личного управления, когда его сред «ожидания» и «мрака» преследовали мысли о смерти, а бездеятельное время поддерживало меланхолию, составлявшую основу его характера. Но когда прошла пора угнетения, тотчас дала себя почувствовать его энергичность. Отец Оливера вместе с тремя его дядями заседали в последних парламентах Елизаветы. Сам он был выбран в палату 1628 г., а город Кембридж послал его своим представителем в парламент — Короткий и Долгий. Один из придворных — сэр Филипп Варвик дает нам первое описание его внешнего вида, когда он был членом последнего: «Однажды утром, тщательно одевшись, я пришел в палату и увидел говорящим неизвестного мне господина, одетого очень просто: на нем было платье из простого сукна, сшитое по-видимому плохим деревенским портным. Белье на нем было простое и не очень чистое; я помню одно или два кровавых пятна на его

манишке, которая была немного шире его ворота. На шляпе у него не было ленты. Он был высокого роста; меч плотно висел у него на боку; у него было одутловатое и красноватое лицо, резкий и неприятный голос, а его красноречие было исполнено пыла». «Его уже охотно слушали», но его сила должна была проявиться, скорее, на деле, чем на словах. Современники отличали его от всех других прозвищем Железный Бок. При Эдж-Хилле он явился во главе набранного им самим отряда; зорким глазом прирожденного солдата он сразу заметил слабую сторону армии Эссекса: «Кучка половых и подмастерьев, — сказал он Гэмпдену, — никогда не может сражаться с людьми, одушевленными честью»; и он указал на религиозный энтузиазм, как на единственное оружие против рыцарства кавалеров. Даже Гэмпдену эта мысль показалась неосуществимой; но полк в тысячу человек, набранный Кромвелем для «союза восточных графств», был составлен исключительно из «набожных людей». На поставленную им себе задачу он истратил все свое состояние: «Дело это... стоило мне деньгами 1100–1200 фунтов; поэтому своими личными средствами я могу немного сделать для общего блага... у меня осталось немного денег для моих солдат». Это был «прекрасный отряд», говорил он друзьям с гордостью солдата. В рядах его не допускалось ни богохульства, ни пьянства, ни распутства, ни нечестия: «Кто божится, тот платит 12 пенсов». Нововведения Кромвеля в его полку не ограничивались одним подбором «набожных людей». Он не обращал внимания на старый обычай, доверявший команду только людям знатым: «Быть может, — писал он в ответ на жалобы комитета союза, — вы возмущаетесь, видя назначение таких простых людей начальниками конницы. Было бы хорошо, если бы эти места занимали люди почтенные и знатные, но отчего они не являются? Дело должно идти, лучше иметь людей терпеливых в нужде, надежных, сознающих свои обязанности, и я рассчитываю, что эти окажутся таковыми». Эти слова точно обрисовывают характер Кромвеля: он гораздо больше практичный солдат, чем реформатор; но он уже начинает отказываться от аристократических консервативных симпатий и понимать тот общественный переворот, к которому вела война: «Мне приятнее было, — заметил он однажды нетерпеливо, — иметь дело с простым, грубо одетым капитаном, который знает, за что он сражается, и любит то, что знает, чем с вашим джентльменом, ничего больше за собой не имеющим; но настоящего джентльмена я все-таки уважаю!» — прибавляет он, вдруг возвращаясь к своему обычному настроению. То же практическое направление выразилось в еще более поразительном нововведении. При своей сильной ненависти к епископату и страстном стремлении к преобразованию церковного управления, Кромвель, как и большинство воз-

дей парламента, по-видимому, был доволен новым пресвитерианством, а пресвитериане были более чем довольны им. Лорд Манчестер «позволил ему распоряжаться войском по его усмотрению». «Этот Кромвель, — пишет шотландец Балли, — очень умная и дельная голова; все его любят за набожность и стойкость». Но к людям, не принимавшим их церковной системы, пресвитериане относились так же нетерпимо, как и сам Лоуд; а между тем, как мы увидим, число диссидентов росло так сильно, что требование ими терпимости, свободы богослужения становилось одним из вопросов эпохи. Кромвель отнесся к нему с отличавшей его практичностью. Ему нужны были хорошие солдаты и хорошие люди, и если ими оказывались индепенденты, баптисты, левеллеры — все они находили доступ в его войска: «Вы стали бы уважать их, если бы их увидели, — ответил он испуганным пресвитерианам, обвинявшим их в анабаптизме и революционных замыслах, — это не анабаптисты, это честные, искренние христиане; они ждут, чтобы с ними обращались, как с людьми». Скоро он должен был прийти, как в указанном раньше социальном вопросе, к гораздо более широкой и высокой точке зрения; а пока он был занят более своим новым полком, чем теориями церковными и политическими, и как только его конница вступила в дело, она оказалась никогда еще не виданным на войне войском. «В сущности, она ни разу не была разбита», — гордо заметил ее вождь в конце войны. При Уинсеби она напала «с пением псалмов», очистила от кавалеров Линкольншир и освободила восточные графства от всякой опасности со стороны сторонников Ньюкасла. При Марстон-Муре она встретила и разбила кавалерию Рупрехта. При Ньюбери только сопротивление Манчестера помешало ей довершить поражение Карла.

Свой организаторский талант Кромвель показал при образовании своего полка; его военный гений обнаружился при Марстон-Муре; Ньюбери впервые сделало его политическим деятелем: «Если мы не станем вести войну быстрее, энергичнее и успешнее, — сказал он общинам после ссоры с Манчестером, — и не откажемся от всяких замедляющих приемов, которыми, подобно заморским авантюристам, мы затягиваем войну, то надоедим королевству и заставим его возненавидеть имя парламента». Но при тех вождях, которые вели ее тогда, нельзя было рассчитывать на энергию. По резкому выражению Кромвеля, «они боялись победить». Они желали не сокрушить Карла, а вернуть его в положение конституционного короля, оставив за ним все, что возможно, из его прежней власти. Притом их действиям мешала старая лояльность; их пугало пятно измены: «Если король будет разбит, — утверждал Манчестер при Ньюбери, — он все-таки останется королем; но если он разобьет нас, то перевешает всех, как изменников». Подобного человека пугало отношение Кромвеля: «Если я встречу короля в битве, — он

ветил он, согласно позднему рассказу, — я направляю на него свой пистолет, как и на другого». Притом, как он давно заметил при Эдж-Хилле, с данной армией нельзя было победить. Теперь, как и тогда, он доказывал, что «нельзя ожидать успеха ни в каком предприятии», пока все войско не будет преобразовано и подчинено более строгой дисциплине. Но первым шагом к такому преобразованию должна была служить смена офицеров. Начальниками и офицерами армии являлись члены обеих палат, и «Акт самоотречения», внесенный Кромвелем в Вэном, объявлял занятие военных и гражданских должностей несовместимым с заседанием в той или другой палате. Прежде принятия этой меры в измененной форме, она вызвала долгое и сильное сопротивление, оправдавшееся впоследствии политическими следствиями, которыми сопровождался разрыв связи, до того соединявшей армию с парламентом. Но общественное мнение высказалось слишком ясно, чтобы ему можно было противиться. Принятие закона вызвало отставку Эссекса, Манчестера и Уоллера, и преобразование армии при новом главнокомандующем сэре Томасе Ферфаксе, герое долгой борьбы в Йоркшире, прославленном победой при Нэнтуиче и храбростью при Марстон-Муре, быстро пошло вперед. Но за Ферфаксом стоял Кромвель, и начала, на которых последний образовал свою бригаду, были применены в более широких размерах к «новому войску». Главной целью было подобрать 20 000 «порядочных» людей: «Относитесь внимательно, — писал Кромвель, — к выбору начальников конницы и всадников. Несколько порядочных людей лучше целой массы. Если вы выберете в начальники конницы богобоязненных, почтенных людей, за ними последуют порядочные люди». В результате явилась любопытная смесь людей разного положения среди офицеров «нового войска». Масса главных начальников осталась людьми знатного или благородного происхождения — Монтегю, Пикеринги, Фортескью, Шеффилды, Сидни и т. д. Но рядом с ними, хотя и в меньшем числе, офицерами были, например, Юэр, — бывший прежде слугой, Оки — прежний извозчик, Ренсборо — бывший матрос. Едва ли менее замечательным следствием была молодость офицеров. Среди высших начальников немного было людей, подобно Кромвелю, перешедших за половину жизни. Ферфаксу было 33 года, а большинство его полковников было еще моложе. Столь же странно было смешение в рядах войска разных исповеданий: большая часть пехоты состояла из набранных рекрутов, а конница в громадном большинстве — из строгих пуритан, и в этой части армии диссиденты всякого рода пустили особенно прочные корни.

О политическом и религиозном настроении «нового войска» мы будем говорить позднее; пока его деятельность была направлена исключительно на «быстрое и энергичное продолжение войны». Едва Ферфакс приготовил-

ся к действию, как политика короля помогла политике Кромвеля. С тех пор как при Ньюбери произошел разрыв между партиями войны и мира в парламенте, шотландские комиссары и масса общин стали считать новые переговоры с Карлом единственной возможностью помешать тому, что представлялось им переворотом в церкви и государстве. Уполномоченные для заключения договора встретились в Эксбридже; но поддерживавшиеся Карлом надежды на уступки вдруг исчезли весной. Армия парламента представлялась ему вполне разрушенной ее преобразованием, а в это время из Шотландии пришли новые известия об успехах Монтроза, о его победе над войсками маркиза Аргайла при Инверлоки: «До конца лета, — писал победитель, — я буду в состоянии с храброй армией прийти на помощь вашему величеству». Партия войны приобрела перевес, и в мае король начал поход маршем на север. Он взял Лестер, освободил от осады Честер и стал грозить восточным графствам, когда Ферфакс, против воли задержанный осадой Оксфорда, наконец, поспешил за ним. Палата дозволила Кромвелю, вопреки закону, сохранить на несколько дней команду, и он присоединился к Ферфаксу, когда тот нагнал короля; войска приветствовали его прибытие громкими криками. Оба войска встретились 14 июня 1645 г. близ Нейзби, к северо-западу от Нортгемптона. Король желал сражения: «Никогда мои дела не были в таком хорошем положении!» — воскликнул он. Принц Рупрехт разделял нетерпение своего дяди. С другой стороны, как солдат, даже Кромвель сомневался в успехе вновь обученных войск, хотя религиозный энтузиазм заставлял его верить в победу: «Я могу сказать о Нейзби, — писал он вскоре затем, — что когда я увидел неприятеля, строящимся и в полном порядке идущим на нас, а мы, кучка бедных неопытных людей, старались построиться боевой порядок и генерал поручил мне начальство над всей конницей, то отправляясь один на свое место и веря в победу, мог только обратиться Богу с хвалой, так как слабым людям Он доставляет победу над сильным. Я был в этом вполне уверен, и Бог совершил это». Битва началась яростным нападением Рупрехта на высоты, и противопоставленное ему под командой Айртона крыло обратилось в бегство; в то же время пехота короля после одного залпа повернула мушкеты и напала на центр под начальством Ферфакса с такой силой, что заставила его медленно, но постоянно отступать. Но на левом крыле победу одержала бригада Кромвеля. Одно нападение рассеяло северную конницу, уже бежавшую перед ней при Марстон-Муре, удержав свои войска от преследования, Кромвель напал с ними на пехоту короля в самый момент ее победы. Его усилиям помогла паника королевского резерва и бегство его с поля битвы. Напрасно Рупрехт вернулся с отрядом, истощенным преследованием; напрасно в порыве отчаяния Карл требовал

вал от своей конницы «еще одного нападения». Сражение было проиграно; артиллерия, обоз и даже бумаги короля попали в руки победителей; 5000 человек сдались и только 2000 последовали за королем в его поспешном бегстве. Война была окончена одним ударом. В то время как Карл беспомощно блуждал вдоль границы Уэльса в поисках новых сил, Ферфакс быстро двинулся в Сомерсетшир и разбил войска короля при Лэнгпорте. Победа при Килсите, отдавшая на время Шотландию Монтрозу, придала мимолетный блеск ухудшившемуся положению Карла. Но затем последовали сдача Бристоля армии парламента и рассеяние последнего войска, собранного Карлом, при попытке выручить Честер и пришло известие об окончательном поражении «великого маркиза» при Фелиппо (сентябрь 1645 г.). При этом крушении монархии мы остановимся на минуту на случае, всего лучше выясняющем характер обеих сторон. Кромвель «провел много времени в молитве» перед штурмом Бэзинг-Хауза, где в течение всей войны упорно держал сторону короля маркиз Уинчестер. Штурм положил конец его сопротивлению, и старый храбрец-роялист был взят в плен среди пылавшего дома. Он «разрыдался, — передает очевидец-пуританин, — и сказал, что если бы у короля не было в Англии земли, кроме Бэзинг-Хауза, он поступил бы так же и держался в нем до последней крайности», утешаясь тем, «что Бэзинг-Хауз называли Верностью». Такой верности Карл совсем не заслуживал. Едва захват его бумаг при Нейзби раскрыл прежние его интриги с ирландскими католиками, как парламент получил возможность сообщить Англии новый договор его с ними, которым он, просто соглашаясь на все предъявленные ими требования, покупал уже не нейтралитет их, а помощь. Низость эта оказалась бесполезной: всякая помощь, какую только могла доставить ему Ирландия, являлась слишком поздно. Весной 1646 г. немногие войска, еще стоявшие за Карла, были окружены и разбиты при Сто: «Вы теперь сделали свое дело, — сердито сказал своим победителям их вождь, сэр Джеймс Эсли, — и можете радоваться, если только не рассоритесь друг с другом».

Глава VIII

Армия и парламент (1646—1649)

С окончанием междоусобной войны мы вступаем в эпоху запутанных столкновений, эпоху, скучную и неинтересную по ее внешним подробностям, но более важную, чем сама война, по ее влиянию на последующую историю страны. Новая Англия, та Англия, мысли и чувства которой нам так знакомы, обрисовалась, хотя и смутно, с победы при Нейзби. Старые

порядки исчезли незаметно. Когда Эстли отдал победителям свой меч, дело поколений, защищавших протестантизм против католицизма, политическую свободу против деспотического управления, употребляя его резкое выражение, было «сделано». По отношению к этим спорам, как ни старались оживить их позднейшие Стюарты, Англия могла быть спокойной. Но с окончанием прежней работы началась новая. В годы, протекшие от окончания междоусобной войны до смерти короля, выдвинулись на первый план, в качестве предметов общенародного обсуждения, конституционные и церковные вопросы, в той или другой форме еще беспокоящие современных англичан. В эпоху борьбы между армией и парламентом образовались впервые великие партии, с тех пор постоянно господствовавшие над общественной, политической и религиозной жизнью Англии, будь то индепенденты, пресвитериане, или виги и тори, или консерваторы и либералы. Тогда в первый раз началась далеко еще незакончившаяся борьба между политическим преданием и политической реформой, между началами религиозного многообразия и религиозной свободы.

Религиозная борьба повлекла за собой политическую. Мы уже видели появление при Елизавете сект, не стремившихся, подобно пресвитерианам, к изменению устройства церкви, но отвергавших понятие о национальной церкви, вообще, и требовавших для каждой общины полной независимости в деле веры и богослужения. Но в конце царствования королевы эти «браунисты» исчезли почти совсем. Некоторые диссиденты, как это было с замечательной общиной, из которой вышли «отцы-пилигримы», нашли себе убежище в Голландии; но массу преследования заставили снова присоединиться к господствующей церкви: «Что до так называемых браунистов, — говорит Бэкон, — то в самое лучшее для них время их было очень небольшое число необразованных и простых людей, рассеянных то здесь то там по закоулкам; а теперь, благодаря Богу и примененным к делу добрым средствам, они подавлены и искоренены, так что о них почти ничего не слышно». Но как только приматство Эббота посулило более мягкое отношение, изгнанные «отщепенцы» начали понемногу возвращаться в Англию. Во время своего пребывания в Голландии большинство их довольствовалось свободным развитием своей системы независимых общин, из которых каждая составляет целую церковь; впоследствии их называли индепендентами. Но меньшинство сильнее обособилось в учении от господствующей церкви, особенно в учении о необходимости крещения взрослых отчего их скромная община в Лейдене получила название «баптистов». В середине царствования Якова каждая из этих сект образовала общину в Лондоне, но ревностные преследования Лоуда помешали распространению

мнений при Карле. Только с внезапным увеличением числа их, в эпоху созвония Долгого парламента, благодаря возвращению кучки переселенцев из Новой Англии с Хью Питерсом во главе, общины индепендентов начали обращать на себя внимание. Лильборн и Бертон скоро объявили себя сторонниками так называемого «новоанглийского направления»; а через год в одном Лондоне возникло «восемьдесят общин различных сектантов, руководителями которых», по пренебрежительному замечанию епископа Голла, «являлись люди для того пригодные — башмачники, портные, валяльщики и тому подобный сброд». Но, в сущности, это движение представляло пока мало религиозного значения. Бэкстер в это время еще не знал о существовании индепендентов. На ранних памфлетах Мильтона незаметно следов их влияния. Из 105 священников, заседавших в Вестминстерском соборе, только пять сочувствовали индепендентам, и все они были изгнанниками, вернувшимися из Голландии. Из 120 священников Лондона в 1643 г. только трое подозревались в склонности к сектантству.

Борьба с Карлом создала сначала только новые помехи на пути к религиозной свободе. Пим и его товарищи в это время руководствовались в церковных и политических вопросах строгими охранительными задачами. Их признанной целью было вернуть церковь к тому положению, какое она занимала при Елизавете, и освободить ее от тех «новшеств», какие были введены Лоудом и его единомышленниками. Сильное большинство парламента было против всяких изменений в устройстве или учении церкви. Только отказ епископов допустить уменьшение их власти и доходов, усиление партии, враждебной епископскому управлению, необходимость купить помощь шотландцев установлением церковного и политического единства, но прежде всего настоятельная нужда установить какое бы то ни было церковное устройство на место старой организации, ставшей невозможной ввиду положения, занятого епископами, — только все это заставило палаты принять «Ковенант». Но большинству англичан принятие пресвитерианской системы управления церковью представлялось в это время неважным. Учение о необходимости епископата признавалось немногими, и, вообще, реформа была встречена с одобрением, так как сближала английскую церковь с шотландской и с реформатскими церквями материка. Но как бы ни было преобразовано ее управление, никто не воображал, чтобы она перестала быть английской церковью или утратила право требовать от всего народа единообразия в богослужении. Тюдоровская теория об отношении церкви к государству, об обязанности всех англичан входить в состав ее и о праве ее определять их верования и обряды богослужения, осталась незатронутой ни одним выдающимся человеком. Сами чувства, на ко-

торых, главным образом, основывалась подобная теория — сила исторического предания, связь диссидентства с опасностью для государства, сильная любовь англичан к порядку и столь же сильное отвращение от «новшеств», а также отвращение от безразличия как доказательства равнодушия к вопросам религии — только усилились под влиянием событий, ознаменовавших начало борьбы с королем. Поэтому среди бурь войны парламент настойчиво проводил новую систему церковного управления. В 1643 г. в Вестминстере был созван духовный собор, заседавший в течение следующих пяти лет в Иерусалимской палате; ему было поручено пересмотреть «статьи», составить исповедание веры и руководство общественного богослужения. Все эти работы, вместе с планом церковного управления, были одобрены палатами и изложены в ряде указов. От шотландского это церковное устройство представляло то важное отличие, что над всеми церковными судами, собраниями был поставлен высший апелляционный суд из мирян, назначаемых парламентом.

Если бы эта реформа была произведена в то время, когда общины «с поднятыми руками» присягали в церкви Св. Маргариты «Ковенанту», она, вероятно, была бы принята всей страной, но когда она явилась в конце войны, ее встретил совсем иной прием. Хотя парламент несколько раз постановлял ввести ее, но чистое пресвитерианство пустило корни только в Лондоне и Ланкашире. В то время как богословы составляли в Иерусалимской палате свой свод церковного учения и богослужения, диссидентство превратилось в религиозную силу. В страшных тревогах борьбы против Карла личное убеждение взяло перевес над религиозным преданием. Под влиянием духа времени богословское умозрение приобрело необыкновенную смелость. В 1646 г. пораженный ужасом памфлетист насчитал 16 религиозных сект, существовавших вопреки закону; как ни сильно отличались они между собой, но все одинаково отвергали всякое право церкви или ее духовенства контролировать веру или богослужение. Сам Мильтон покинул свою пресвитерианскую точку зрения и заметил, что «новый пресвитер просто другое название старого попа». Вопрос о сектантстве скоро получил практическую важность по отношению его к войне, так как для успеха в борьбе парламент должен был обратиться к усердию и деятельности именно того класса, который был особенно заражен новым духом религиозной свободы. Мы видели преобладание этого духа среди фермеров, из которых Кромвель набрал свою конницу, и этот набор сектантов явился первым прямым нарушением старой системы религиозного единообразия. Но сам Кромвель не разделял чувств своих фермеров. Он подписал «Ковенант», и нет оснований приписывать ему нерасположение к пресвитерианству, как

системе церковного учения или устройства. Первый шаг был чисто практический, внушался военными соображениями и оправдывался в его глазах симпатиями к «честным» людям, а также усиливавшейся, но все еще неясной мыслью о братстве христиан, возвышающемся над внешним многообразием учения и богослужения. Но скоро тревога и возражения пресвитериан увлекли его ум дальше по пути веротерпимости: «Выбирая людей для службы себе, — писал Кромвель под Марстон-Муром, — государство не обращает внимания на их мнения. Для него достаточно, если люди соглашаются верно служить ему». Марстон-Мур побудил его указать парламенту на необходимость хотя бы терпимости к диссидентам, и ему удалось добиться назначения общинами комиссии для изыскания средств к осуществлению этого. Но его усилия возмутили, наконец, консервативно настроенную массу пуритан: «Мы ненавидим и проклинаем, — писало в 1645 г. лондонское духовенство, — столь восхваляемую терпимость». Власти Лондона ходатайствовали перед парламентом о беспощадном подавлении всех сект. Сам парламент все время стоял на стороне охранителей. Но ход войны благоприятствовал делу религиозной свободы. Эссекс и его пресвитериане только терпели поражение за поражением. При преобразовании армии общины отвергли предъявленное лордами требование, чтобы кроме «Ковенанта» офицеры и солдаты подчинялись «форме церковного управления, уже принятой обеими палатами». Победа при Нейзби выдвинула вопрос уже не об одной только терпимости: «В этом деле честные люди сослужили вам важную службу, — писал Кромвель с поля битвы спикеру палаты общины. — Они исполнены надежды, сэр; я умоляю вас во имя Бога не отталкивать их. Человек, рискующий своей жизнью ради свободы страны, надеюсь, может ожидать от Бога свободы для своей совести». Взятие Бристоля побудило его провозгласить новые начала еще яснее: «Пресвитериане и индепенденты, все они проникнуты здесь одним духом веры и молитвы, смотрят и говорят одинаково. Здесь они единоклубны и не носят различных имен; жаль, если где-либо будет иначе. Все верующие имеют настоящее единство, самое славное, так как это единство внутреннее и духовное, охватывающее человека с головы до ног. Что до единства внешнего, называемого обыкновенно единообразием, то всякий христианин будет стараться подойти к нему, насколько позволит ему это его совесть».

Возраставшая твердость языка Кромвеля объяснялась усиливавшимся раздражением его противников. С каждым днем обе партии обрисовывались яснее. Пресвитерианские духовные лица жаловались на возрастание сектантства и указывали на фактическое, но без дозволения закона, применение веротерпимости. Шотландское войско, которое все еще стояло

перед Ньюарком, настаивало на выполнении «Ковенанта» и на общем проведении церковного единообразия. С другой стороны, сэр Гэрри Вэн старался склонить парламент к менее строгим мерам, введя в него новых членов, которые заняли место вышедших роялистов и из которых более выдающиеся, вроде Айртона и Эдджернона Сидни, склонялись к поддержке индипендентов. Но только появление «нового войска» и представления его глашатая Кромвеля мешали успешности попыток преследования. Среди своих неудач Карл деятельно вел интриги с обеими партиями: Вэну и индипендентам он обещал свободу богослужения, а в то же время договаривался с парламентом и шотландцами. Эти переговоры были ускорены наступлением Ферфакса на Оксфорд. Прогнанный из своего последнего убежища, король после ряда бесцельных блужданий в мае 1646 г. появился в лагере шотландцев. Лорд Левн со своей царственной добычей тотчас отступил к Ньюкаслу. Новое положение дел грозило гибелью партии религиозной свободы. Их уже ненавидели шотландцы, лорды, город Лондон; теперь кажущееся соглашение Карла с их противниками расстраивало их расчеты на общины, где ожидание скорого мира на пресвитерианских условиях усиливало противное большинство. Обе палаты предложили королю условия мира, совсем не ожидая сопротивления от человека, казалось, поставленного в полную от них зависимость. Они требовали для парламента распоряжения войском и флотом на двадцать лет, лишения всех «недоброжелателей», т. е. роялистов, принимавших участие в войне, гражданских и военных должностей, упразднения епископата, установления пресвитерианской церкви. О веротерпимости и свободе совести они не говорили ни слова. Шотландцы «со слезами» умоляли короля принять эти условия; на том же настаивали его друзья и даже королева. Но целью Карла была просто затычка. Он думал, что за него действуют время и несогласия его врагов. «Я не теряю надежды, — холодно писал он, — что мне удастся привлечь на свою сторону пресвитериан или индипендентов, чтобы при помощи одних уничтожить других и снова стать настоящим королем». Отклонение условий, предложенных палатами, было жестоким поражением для пресвитериан: «Что будет с нами теперь, — спросил один из них, — когда король отверг наши предложения?» — «Что было бы с нами, — возразил один из индипендентов, — если бы он их принял?». Тогда Голлс и вожди консерваторов в парламенте решились на более смелый шаг. Политика короля заключалась в противопоставлении армии парламенту, и пока армия шотландцев стояла в Ньюкасле, палаты не могли настаивать на роспуске своего собрания. Только удаление шотландцев из Англии и передача ими особы короля в руки палат могла освободить их от давления своих солдат, благодаря ро-

пуску «нового войска». Шотландская армия, не рассчитывая на успех переговоров с королем и не имея возможности привезти его в Шотландию, ввиду отказа Общего собрания принять государя, который не согласится подтвердить «Ковенант», получила в удовлетворение своих требований 400 000 фунтов, передала Карла комитету палат и перешла за границу. Завладев королем, вожди пресвитериан тотчас повели смелую атаку на «новое войско» и сектантов. Они постановили распустить армию, а для подавления восстания ирландцев набрать новую под командой офицеров из пресвитериан. Напрасно солдаты протестовали против удаления «любимых ими офицеров»; напрасно совет офицеров старался выиграть время, указывая парламенту на опасность мятежа. Голлс и его товарищи оставались непоколебимыми; их церковные законы указывали на цель их стремлений. Прямое проведение единообразия было невозможно до роспуска «нового войска»; а пока парламент торопился придумать средства провести его, как только армия разойдется. Одно решение за другим предписывали учреждение пресвитериев по всей стране, и первыми плодами этих условий явились пресвитерианская организация Лондона и первое собрание ее синода у Св. Павла. Даже офицерам штаба Ферфакса было приказано принять «Ковенант».

Но все зависело от роспуска армии, а она не выказывала никакого желания разойтись. Оценить справедливо ее поведение можно только припомнив, кем, в сущности, было большинство победителей при Нейзби. По положению и характеру они сильно отличались от солдат всякого другого войска. В большинстве это были молодые фермеры и мелкие ремесленники, содержавшиеся за свой счет, так как жалование им не было уплачено за год. Всадники многих полков были на подбор «честными» или набожными людьми, и каков бы ни был их энтузиазм или фанатизм, сами враги признавали, что в их лагере царили порядок и благочестие. Они смотрели на себя, не как на солдат, нанимаемых и прогоняемых по желанию нанимателя, но как на людей, покинувших фермы и мастерские по прямому призыву Бога. Им велено было совершить великое дело, и призыв обязывал их дожидаться его окончания. Ловкая политика, по мнению Карла, могла еще вернуть деспотизму его власть. Еще сильнейшая опасность грозила свободе совести, которая представлялась им «причиной спора и за которую много их друзей пожертвовали жизнью и сами они пролили столько крови». Они хотели повременить с роспуском, пока эти вольности не будут обеспечены, и в случае нужды готовы были выступить снова на защиту их. Это решение вытекало не из гордости принадлежавшего им силой меча. Напротив, они настойчиво доказывали общинам, что, «сделавшись солдатами, не пере-

стали быть гражданами». Их стремления и предложения носили чисто гражданский характер, и раз их цель была достигнута, они готовы были мирно разойтись по домам. Размышление и обсуждение превратили армию в огромный парламент, считавший себя таким же представителем «благочестивых» людей, как и парламент в Вестминстере, и с каждым днем все более убеждавшийся в превосходстве своего политического воззрения над мнениями соперника. Айртон, руководитель «нового войска» не имел равного себе среди политиков, заседавших у Св. Стефана, а широкие и глубокие предложения армии нельзя и сравнивать с близорукой и узкой политикой палат. Что бы ни думать о средствах, какими армия добивалась своих целей, но, если быть справедливыми, мы не должны забывать, что по отношению к этим целям армия была вполне права. В течение последних двух веков Англия почти только и делала, что медленно и постепенно осуществляла широкий план политических и церковных реформ, предложенный армией в конце междоусобной войны. Только когда предложения офицеров были отвергнуты и осталось мало надежд на примирение, армия приступила к действиям, но быстрым и решительным. Она упразднила Совет офицеров по всем политическим делам и выбрала новый совет агитаторов или агентов, по два от каждого полка; последние созвали армию на Общее собрание в Трипловской роще, и там предложения парламента о жалованье и роспуске были отвергнуты при криках «Справедливость!». В то время как войско собиралось, агитаторы сделали шаг, устранивший вопрос о подчинении. Слухи о том, что короля переведут в Лондон, наберут новую армию и возобновят междоусобную войну, привели солдат в ярость. В июне 1647 г. пятьсот всадников вдруг появились перед Голмби-Хаузом, где под охраной комиссаров парламента пребывал король, и устранили его стражей: «Где ваше полномочие на это?» — спросил король командовавшего ими корнета. «Оно за мной», — сказал Джойс, указывая на своих солдат. «Оно написано очень красивыми и четкими буквами», — шутливо заметил король. На деле Карл и агитаторы сговорились заранее насчет захвата: «Я охотно отправлюсь, — сказал он Джойсу, — если солдаты подтвердят все то, что вы мне обещали. Вы не потребуете от меня ничего оскорбительного для моей совести и чести». — «Мы не имеем привычки насиловать совесть кого-либо, а тем менее нашего короля», — ответил корнет. Известие об этом вызвало в парламенте новый порыв страха и яростное нападение на Кромвеля, отказавшегося от командования и покинувшего армию перед окончанием войны и с тех пор служившего посредником между двумя партиями. Энергичным протестом он опроверг обвинение в возбуждении мятежа, но был вынужден искать убежища в армии, а 25 июня она уже

шла на Лондон. Ее требования были выражены с полной ясностью в «покорнейшем представлении», предъявленном ее палатам: «Мы желаем укрепления мира в стране и вольностей подданных, согласно решениям и заявлениям парламента. Мы не желаем перемен в гражданском управлении, а также не желаем мешать установлению пресвитерского управления или хотя в чем-либо вмешиваться в него». Они требовали терпимости, но «не для того, чтобы под предлогом доставления свободы чуткой совести предоставить простор распущенной жизни; как и всегда, мы признаем, что раз государство установило что-либо в этих вопросах, нам остается не возражать, но подчиняться и терпеть». Имея в виду такое соглашение, они требовали исключения из общин одиннадцати членов с Голлсом во главе, которого солдаты обвиняли в возбуждении несогласия между армией и парламентом и в намерении возобновить междоусобную войну. После бесплодных переговоров страх лондонцев заставил указанных членов удалиться, и палаты назначили для обсуждения этих вопросов комиссаров.

Хотя Кромвель и Ферфакс вынуждены были из посредников стать ревностными сотрудниками армии, но политическое руководство ею принадлежало в это время зятю Кромвеля Генри Айртону, ожидавшему окончательного решения не от парламента, а от короля: «Должно же быть какое-нибудь различие между победителями и побежденными», — повторял он упорно; но условия, предложенные им Карлу, отличались обдуманной умеренностью. В них незаметно было той мстительности, какую парламент выказал к роялистам и церкви. Армия довольствовалась изгнанием семи главных «преступников» и требовала общей амнистии для остальных, отнятия у духовенства всякой принудительной власти, предоставления на десять лет парламенту контроля над сухопутными и морскими силами и назначения высших сановников государства. Но за этими требованиями следовал мастерский и широкий план политических реформ, уже намеченный армией в «покорнейшем представлении», которым она начала свое движение на Лондон. Все должны были пользоваться свободой веры и богослужения. Законы, предписывавшие пользование служебником, посещение церкви, принятие «Ковенанта» подлежали отмене. Даже католики, какие бы другие ограничения на них ни были налагаемы, освобождались от обязательного посещения англиканской службы. Парламенты должны были созываться каждые три года; палата общин подлежала преобразованию посредством более справедливого распределения мест и избирательных прав, обложение — упорядочению, судопроизводство — упрощению, а масса политических, торговых и судебных привилегий — упразднению. По словам г-жи Гётчинсон, Айртон рассчитывал «поставить Карла в такое

положение, что он, не имея возможности проводить дальше свою личную волю, станет содействовать общему благу своего народа». Но Карл не оценил ни умеренности, ни мудрости этих важных предложений. Он увидел в кризисе только средство воспользоваться одной партией против другой и думал, что армия больше нуждается в его помощи, чем он в ее содействии. «Вы не можете обойтись без меня; если я не поддерживаю вас, вы погибли», — сказал он Айртону, когда тот стал настаивать на своих предложениях. «Вы намерены быть посредником между нами и парламентом, — спокойно возразил Айртон, — а мы думаем быть им между парламентом и вашим величеством». Причины сопротивления короля скоро выяснились. Толпа лондонцев ворвалась в палату общин и заставила ее членов вернуть исключенных. 14 пэров и 100 депутатов бежали к армии, а оставшиеся в Вестминстере стали готовиться к открытой борьбе с ней и пригласили Карла вернуться в Лондон. Едва известия об этом дошли до лагеря, как армия снова выступила в поход: «Через два дня, — холодно заметил Кромвель, — столица будет в наших руках». 6 августа армия с торжеством вступила в Лондон, восстановила бежавших членов; «одиннадцать» были снова удалены, вожди армии возобновили переговоры с королем. Негодование солдат на его оттяжки и интриги делало переговоры с каждым часом все труднее, но Кромвель, содействовавший теперь Айртону всем своим влиянием, с страшным упорством держался за надежду на соглашение. Его ум, консервативный по привычке и практический по складу, понимал, что упразднение монархии вызовет большие политические затруднения, и потому, несмотря на увертки короля, он настаивал на переговорах с ним. Но Кромвель стоял почти одиноко: парламент отказывался принять условия Айртона за основание мира, Карл продолжал увертываться, в армии росли беспокойство и подозрения. Появились требования широких реформ — упразднение палаты пэров, новой палаты общин. А агитаторы созвали Совет офицеров для обсуждения вопроса об отмене самой монархии. Кромвель никогда не выказывал такой храбрости, как в своем сопротивлении готовившейся буре; он запретил обсуждение вопроса, отсрочил собрание и разослал офицеров по их полкам. Но положение было слишком натянуто, чтобы продолжаться долго, а Карл все еще хотел «продолжать свою игру». В его переговорах с Кромвелем и Айртоном на деле было так мало серьезного, что в то время, как они рисковали для него своей жизнью, он тоже притворно вел другие переговоры с парламентом, поддерживал недовольство в Лондоне, готовил новое восстание роялистов и вмешательство шотландцев в свою пользу: «Скоро между двумя народами начнется война», — весело писал он. Для успеха его планов ему нужно было только выйти из

свободу, и надеявшиеся на соглашение вожди армии с удивлением узнали, что они были кругом обмануты и что король бежал (ноябрь 1647 г.).

Это бегство довело возбуждение армии до бешенства, и только мужество Кромвеля предотвратило открытое возмущение на собрании в Уэре. Но даже Кромвель был не в состоянии изменить настроение, овладевшее теперь солдатами, так как вероломство короля поставило его в беспомощное положение: «Король, — сказал он, — человек с большими талантами и сильным умом, но в то же время такой притворщик и такой лжец, что на него нельзя положиться». Впрочем опасность, какой грозило его бегство, скоро исчезла. По странной случайности из Гэмптон-Корта Карл отправился на остров Уайт, быть может, несколько рассчитывая на сочувствие полковника Гэммонда, коменданта замка Кернсбурк, и снова оказался пленником. Когда не удалась его попытка стать во главе новой междоусобной войны, он принялся подготавливать ее из своего заключения, возобновил притворно переговоры с парламентом и в то же время подписал тайный договор с шотландцами о вторжении в Англию. Фактическая приостановка «Ковенанта» и торжество партии религиозной свободы вызвали в Шотландии сильное недовольство. Вокруг герцога Гамильтона сосредоточилась умеренная партия, которая и провела выборы в ущерб Аргайлу и церковным ревнителям; получив от короля согласие на восстановление в Англии пресвитерианства, она для поддержки его произвела набор войска. В Англии на сторону короля склонялась вся консервативная партия со многими выдающимися членами Долгого парламента во главе — из страха перед предстоящими, казалось, церковными и политическими переменами; а вести из Шотландии вызвали почти повсюду восстания. Только сила удержала от него Лондон. Прежние парламентские офицеры подняли в Южном Уэльсе королевское знамя и захватили Пемброк. Захват Бервика и Карлайла открыл дорогу вторжению шотландцев. Поднялись Кент, Эссекс и Гертфорд. Флот в Даунах высадил своих капитанов на берег, поднял королевский флаг и заградил вход в Темзу. «Для парламента наступило время спасти королевство и править им в одиночку», — воскликнул Кромвель, но парламент старался воспользоваться переломом только для выражения своей преданности монархии, возобновления прерванных переговоров с королем и нанесения религиозной свободе сильнейшего из когда-либо постигавших ее ударов. Пресвитериане поспешно вернулись на свои места и сильным большинством приняли «закон о преследовании богохульств и ересей», против которого долго возражали Вэн и Кромвель: «Всякий, — гласил этот грозный статут, — кто отрицает учение о Троице, Божественности Христа, боговдохновенности книг Священного Писания, о воскресении тела, Страшном суде и отказывается на суде отречься от своей ереси, должен подверг-

нуться смертной казни». Всякий, кто утверждает, «что человек под влиянием собственной свободы воли может обратиться к Богу», что существует чистилище, что почитание икон дозволительно, а крещение детей неправильно, и всякий, кто отрицает обязательность соблюдения воскресного дня или утверждает, «что управление церковью через пресвитеров противоречит христианству или незаконно», должен «быть посажен в тюрьму», если не откажется от своих заблуждений. Было ясно, что пресвитериане ожидали успеха короля, чтобы возобновить свою политику единообразия, и если бы Карл был на свободе или армия распущена, их надежды, вероятно, осуществились бы. Но Карл все еще находился под стражей в Кернсбруке, и войско смело встретило грозившую ему опасность. Самовольное возобновление войны среди общего стремления к миру устранило всякую мысль о примирении с королем. Твердое решение объединило, наконец, снова солдат и генералов. Накануне выступления против мятежников все они сошлись на торжественное молитвенное собрание и приняли «вполне ясное общее решение»: «Если Господь когда-либо снова вернет нам мир, мы обязаны потребовать у Карла Стюарта отчета за кровь, им пролитую, и вред, по мере сил причиненный им делу Бога и нашего бедного народа». За несколько дней Ферфакс подавил восстание Кента и запер мятежников восточных графств в стенах Колчестера, а Кромвель загнал уэльских повстанцев в стены Пемброка. Но оба города держались упорно, и хотя восстание лорда Голланда близ Лондона было легко подавлено, но не оставалось войск для отражения нашествия шотландцев, перешедших границу в числе около 20 000 человек. К счастью, в эту критическую минуту Пемброк сдался, и это развязало руки Кромвелю, который с 5000 человек быстро двинулся на север. Там он присоединил к себе отряд Лэмберта, храбро напавший на шотландцев сбоку, и через холмы Йоркшира проник в долину Сиббли, где герцог Гамильтон, подкрепленный 3000 роялистов севера, уже дошел до Престона. С войском, состоявшим теперь из 10 000 человек, Кромвель бросился на растянувшуюся армию герцога, напал на шотландцев, отступавших за Сибблу, перешел вместе с ними реку, разбил их арьергард, пробился сквозь теснины Уоррингтона, где бегущий неприятель сделал последнюю отчаянную попытку остановить его, и в то время как Лэмберт преследовал Гамильтона и конницу, сам он принудил к сдаче пехоту (17 августа 1648 г.). Тотчас после победы англичане перешли границу по направлению к Эдинбургу, разогнали партию роялистов и снова вернули власть Аргайлу, в то время как поселяне Айршира и Запада подняли «восстание виггаморов», замечательное как первый случай упоминания имени «вигов»; быть может, последнее соответствует английскому whey (сыворожка) и включает в себе насмешку над кислыми лицами фанатичных поселян Айршира.

Аргайл встретил Кромвеля, как освободителя; но едва победоносный генерал вступил в Эдинбург, как тревожные вести снова отзывали его на юг. Мы видели, что парламент отнесся к восстанию роялистов совсем иначе, чем армия. Он вернул изгнанных членов и провел закон против ереси. В момент победы при Престоне лорды обсуждали предъявленное Кромвелю обвинение в измене; в то же время, несмотря на сопротивление индпендентов, для переговоров с королем на остров Уайт снова были посланы комиссары. Роялисты и пресвитериане одинаково убеждали Карла принять предлагаемые ему теперь льготные условия. Но едва разбили его надежды на Шотландию, как он задался мыслью начать новую войну при помощи армии, вызванной из Ирландии, и комиссары потратили шесть недель на бесплодные прения. «Мои планы ни в чем не изменились», — писал Карл своим друзьям. Но сдача Колчестера Ферфаксу в августе и соглашение Кромвеля с Аргайлом развязали армии руки, и тотчас ходатайства ее полков потребовали «суда над королем». Новое представление Совета офицеров потребовало избрания нового парламента, избирательной реформы, признания верховенства палат «во всех делах», превращения королевской власти, в случае если она будет сохранена, в должность, замещаемую парламентом и лишенную права протестовать против его решений. Но прежде всего они требовали, «чтобы был привлечен к особому суду за измену, кровопролитие и вред, в которых он провинился, главный виновник наших смут; по его поручениям, приказам и полномочиям, ради его интересов, желания и власти происходили все наши войны и смуты со всеми сопровождавшими их бедствиями». Требование это привело палаты в отчаяние, и они ответили на него, приняв за основание мира уступки короля, несмотря на их маловажность. Солдаты приняли этот шаг за вызов. 30 ноября отряд конницы снова захватил Карла и отвез его в замок Гёрст; в то же время Ферфакс известил письмом о движении своей армии на Лондон: «Мы узнаем теперь, кто на стороне короля и кто на стороне парламента», — сказал Вэн, когда войска окружили палаты парламента. Но среди его членов страх, внушаемый армией, оказался слабее остатков лояльности, стремившейся спасти монархию и церковь, и большинство обеих палат высказалось за принятие предложенных Карлом условий. На следующее утро (16 декабря) у дверей палаты общин появился полковник Прайд со списком сорока членов большинства в руках. Совет офицеров решил исключить их, и каждый из них, по мере появления, подвергался аресту и заключению. «По какому праву поступаете вы так?» — спросил один из членов. «По праву меча», — говорят, ответил Хью Питерс. Палата все еще упорствовала, но на следующее утро было исключено еще сорок членов, и тогда оставшиеся уступили. Меч ре-

шил вопрос, и вдруг перед ним исчезли обе силы, ведшие ожесточенную войну, парламент и монархия. С изгнанием 140 членов, т. е. большинства тогдашней палаты, общины сохранили за собой одно только имя. Оставшиеся еще члены их шли рука об руку с армией и уже не были представителями всей страны; употребляя грубое народное выражение, они составляли только «охвостье» (gump) парламента. От палаты общин осталась одна тень, а палата лордов исчезла совершенно. Под влиянием «прайдовой чистки», «охвостье» парламента постановило судить Карла и для этого образовать судилище из 150 человек под председательством известного юриста Джона Брэдшо. Немногие оставшиеся пэры отвергли это предложение, и тогда уцелевшие члены нижней палаты объявили, «что источником всякой законной власти служит, после Бога, народ; что общины Англии, собранные в парламенте, избранные народом и представляющие его, пользуются высшей властью в стране и что все постановленное и объявленное общинами за закон имеет силу таковой для всех членов нации, хотя бы в этом не принимали участия и на это не давали согласия король и палата пэров».

Карл выступил перед судом Брэдшо только для того, чтобы отвергнуть его компетенцию и отказаться от защиты. Для успокоения совести судьи было допрошено 32 свидетеля, и только на пятый день суда король, как тиран, изменник, убийца и враг своей страны, был приговорен к смерти. В течение процесса народное возбуждение выражалось в криках: «Правосудия или: «Бог да спасет ваше величество!». Но когда Карла повели на казнь, стихло все, кроме громких криков солдат. Перед лицом смерти (30 января 1649 г.) ему вернулось достоинство, которое он не всегда сохранял в долгих пререканиях с Брэдшо и судьями. При жизни он делал много ошибок и глупостей, но «в эти роковые минуты не совершил ничего низкого или недостойного». Когда король поднялся на эшафот, устроенный перед одним из окон банкетной залы Уайт-Холла, его встретили два палача в масках; улицы и крыши были усеяны зрителями; внизу был выстроен сильный отряд войска. Голова Карла пала с первого удара, и когда палач поднял ее пред глазами всех, из молчаливой толпы вырвался крик сострадания и ужаса.

Глава IX

Республика (1649—1653)

Известие о казни короля было встречено всюду в Европе с трепетом и ужасом. Московский царь прогнал английского посла от своего двора. После провозглашения Республики Франция отозвала своего посланника. Про-

тестантские державы материка, казалось, более других старались отречься от всякой связи с протестантским народом, возведшим своего короля на эшафот. Как только известие о казни дошло до Гааги, Голландия первая открыла враждебные действия против новой державы. Генеральные штаты торжественно встретили принца Уэльского, объявившего себя королем под именем Карла II, признали его «величеством» и в то же время отказали в приеме английским послам. Штатгальтер, принц Оранский, женатый на сестре Карла I, при сочувствии народа оказал претенденту помощь и содействие. Одиннадцати судам английского флота, со времени их возмущения против парламента нашедшим себе прибежище в Гааге, было дозволено отплыть под командой Рупрехта для нападения в море на английских купцов. Внутренняя опасность была еще сильнее. В Шотландии Аргайл и его партия провозгласили Карла II королем и отправили в Гаагу посольство с приглашением вступить на престол. В Ирландии Ормонду удалось наконец, до некоторой степени объединить партии, со времени восстания раздиравшие страну своей борьбой: староирландских католиков или партию туземцев с Оуэном Ро О'Нейлом во главе, английских католиков, роялистов-англиканцев и роялистов-пресвитериан севера; а затем он пригласил Карла прибыть немедленно в страну, где тот найдет на своей стороне три четверти населения. Ослабленный парламент, оставшийся единственным представителем законной власти, отнесся ко внешней опасности нерешительно и вяло. Общины приступили к своему новому делу, колеблясь и медля. После казни короля прошло шесть недель, прежде чем формально была упразднена монархия, а для управления государством был учрежден Государственный совет, состоявший из 41 члена общин и получивший исполнительную власть по всем внутренним и внешним делам. Прошло еще два месяца, и 19 мая явился достопамятный закон, провозглашавший, «что народ Англии и всех принадлежащих ей владений и земель провозглашается составляющим республику или свободное государство, и что как таковой он должен впредь управляться верховной властью народа, его представителями в парламенте и назначаемыми ими для блага народа чиновниками и министрами, и притом без участия короля или палаты лордов».

Из опасностей, грозивших новой республике, иные были более кажущимися, чем действительными. И Франция, и Испания добивались ее дружбы, и их соперничество обеспечивало ее от враждебности крупнейших держав материка; а недоброжелательность Голландии можно было если не устранить, то ослабить при помощи переговоров. Прежде чем формально признать Карла своим королем, Шотландия потребовала от него принятия «Ковенанта», и только необходимость могла заставить его согласиться на

такое требование. Опасность со стороны Ирландии была настоятельная, и потому для энергичного продолжения ирландской войны было составлено войско из 12 000 человек. Но всего серьезнее были опасности внутренние. Смерть Карла придала роялизму новую силу, и вновь пробудившаяся лояльность была доведена до восторженности изданием «Царского образа» (Eikon basilike). Это произведение с удивительным искусством изображало надежды, страдания и благочестие царственного «мученика» и считалось составленным самим королем в последние часы его плена, хотя на деле принадлежало талантливому пресвитерианскому священнику Ару Гаудену. Надежды на восстание были сразу разрушены казнью герцога Гамильтона и лордов Голланда и Кэпелла, до тех пор содержавшихся в Тауэре; но народное недовольство сказывалось даже в Государственном совете. Большинство его членов отклонило присягу, предложенную им на первом заседании и заключающую в себе одобрение казни короля и установления республики. Половина судей отказалась от своих мест. Требования присяги на верность республике, предъявленное всем штатным духовным и общественным чиновникам, вызвало тысячи отказов. В Лондоне совет решил провозгласить республику не раньше мая, да и то при недовольстве граждан. Но армия и не думала об установлении чисто военного управления. Еще менее думала она предоставлять ведение дел небольшой группе членов, называвшей себя палатой общин; в ней было едва 100 человек, а собиралось обыкновенно немного более 50. Превратив палату при помощи «прайдовой чистки» в простую тень, армия никогда и не думала сохранять ее в виде постоянного учреждения; на деле условием даже временного ее сохранения она поставила выработку закона о созвании нового парламента. Предложенный Советом офицеров план интересен, как основа многих позднейших проектов парламентской реформы. Он предлагал распустить весной «охвостье» палаты и каждые два года собирать новый парламент, состоящий из 400 членов; избирать их должны все домохозяева, вносящие налог на бедных; новое распределение мест должно было предоставить право представительства всем крупным поселениям. В выборах не участвовали офицеры и чиновники на жаловании. План, по-видимому, был принят общинами, и основанный на нем законопроект неоднократно обсуждался, но можно было подозревать, что палата не думает серьезно о своем роспуске. Общественное недовольство нашло себе выразителя в Джоне Лимборне, храбром и горячем солдате; а возбуждение армии вдруг проявилось в мае в страшном мятеже. «Вы должны изрубить их в куски, — воскликнул Кромвель в Государственном совете, — или они изрубят нас». Он поспешно прошел 50 миль до Бёрфорда, и это позволило ему в полночь напасть на

мятежные полки и подавить восстание. Но восставая решительно против беспорядка, Кромвель вполне разделял требование армии насчет нового парламента. Он верил в намерение палаты разойтись и в своей речи к мятежникам ручался за это. Но в палате кучка энергичных политиков намеревалась продлить ее существование, и вскоре Генри Мартин в остроумном пересказе истории Моисея представил республику слабым новорожденным ребенком и намекнул на то, что его «всего лучше может воспитать произведшая его на свет мать». А пока палата держала свои намерения в тайне, и, несмотря на замедление с проектом нового представительного собрания, Кромвель еще не питал серьезных подозрений насчет планов парламента. В это время, в августе 1649 г., ряд успехов роялистов, оставивших в руках парламентских войск один только Дублин, вызвал его в Ирландию.

Так как Шотландия грозила войной, а на море предстояла борьба с Голландией, то войско должно было поскорее покончить с Ирландией. Кромвель и его солдаты жаждали мести: ужасы ирландского восстания были еще живы в сердцах всех англичан, и новый мятеж считался продолжением прежнего: «Мы пришли, — сказал Кромвель при высадке, — потребовать отчета за пролитую невинную кровь и попытаемся привлечь к ответу всех тех, кто, явившись вооруженным, подаст к этому основание». Вылазка из Дублина заставила Ормонда снять со столицы осаду. Чувствуя себя не в силах держаться в поле против «нового войска», маркиз поставил свои лучшие силы, 3000 англичан под командой сэра Артура Эстона, гарнизоном в Дрогеду. Взятие ее Кромвелем (сентябрь 1649 г.) было первым в ряду ужасных избиений. Гарнизон храбро отбивался и отразил первый штурм; но второй заставил Эстона и его отряд отступить к Милл-маунту: «Когда наши солдаты взбирались на него, — гласила грозная депеша Кромвеля, — я приказал им предавать всех смерти; а в пылу боя я запретил им щадить в городе вооруженных людей. Я думаю, в эту ночь они предали смерти около 2000 человек». Немногие бежали в церковь Св. Петра, «почему я и приказал зажечь колокольню, и слышно было, как один из них кричал в пламени: «Бог осуждает меня, Я горю, я горю!»». «В самой церкви мечу было предано около 1000 человек. Я думаю, вместе с ними были перебиты все их монахи, кроме двух»; но это было единственное исключение из правила убивать только солдат. В позднейшее время Кромвель приглашал своих противников указать со времени его «прибытия в Ирландию хотя бы один случай умерщвления, разорения или изгнания безоружного человека»; но для солдат, отказавшихся сдаться, пощады не было. Когда, наконец, голод принудил уцелевших к сдаче, «их офицеры были перебиты, из солдат казнен каждый десятый, а прочие сосланы на Барбадос»: «Я убежден, — говорит он

под конец, — что это праведный суд Божий над безбожными злодеями, обagrившими свои руки кровью невинных, и думаю, что это предупредит пролитие крови на будущее время». Для освобождения Дерри и успокоения Улстера достаточно было одного отряда, а затем Кромвель обратился к югу, где упорная оборона Уэксфорда вызвала столь же страшное кровопролитие. Новый успех при Россе привел его к Уотерфорду, но город оказал упорное сопротивление; армия таяла от болезней, не пощадивших почти ни одного офицера; пострадал от них и сам генерал. Наконец, сильная непогода заставила его, не закончив дела, занять в Корке зимние квартиры. Зима прошла крайне тревожно. Парламент выказывал все менее охоты к роспуску и отвечал на рост недовольства более строгой цензурой печати и бесплодным преследованием Джона Лилборна. Английская торговля много терпела от нападений флота Рупрехта, стоявшего в это время на якоре в Кинсэла для поддержки восстания роялистов в Ирландии. Правда, Вэн уже создал новый флот, эскадры которого были посланы в британские моря Средиземное море и Левант; во главе флота, отогнавшего Рупрехта от берега Ирландии и наконец запершего его в устье Тежу, был поставлен полковник Блэк, отличившийся во время войны геройской защитой Таунтона. Но опасность со стороны шотландцев сломила даже Вэна: «Я должен идти и умереть там, — воскликнул молодой король при вести о поражении Ормонда под Дублином. — Жить в другом месте для меня позор». Но по мере того как Кромвель от победы переходил к победе, стремление Карла к походу в Ирландию остывало, и с острова Джерси, который из всех его южных владений только и сохранил ему верность, он возобновил переговоры с Шотландией, прерванные было его надеждами на Ирландию. На время это снова приостановило предложение Монтроза напасть на то самое правительство, с которым его государь вел переговоры; но неудача и смерть маркиза весной 1650 г. принудил Карла принять условия пресвитериан. Известия об этих переговорах испугали правителей Англии: Шотландия набирала войско, а Ферфакс согласен был защищать Англию от нашествия шотландцев, но стеснялся вторгаться первым в Шотландию. Тогда совет вызвал Кромвеля из Ирландии, но он рассудил, что времени для подчинения запада хватит. В течение зимы он деятельно готовился к новому походу, только после взятия Клонмела и поражения ирландцев под командой Хью О'Нейла отплыл назад в Англию.

Кромвель вступил в Лондон при криках огромной толпы, и через месяц после высадки Карла на берегах Шотландии английская армия двинулась на север. В составе 15 000 человек она перешла Твид; но ее вождь своими избиениями в Ирландии возбуждал ужас, страна по мере его движения

пустела, и он был вынужден обращаться за припасами к флоту, пlyingшему вдоль берега. Дэвид Лесли, несмотря на превосходство своих сил, отказывался от сражения и упорно оставался на своих позициях между Эдинбургом и Литом. У склонов Пентленда английская армия обошла его позицию, но это только заставило шотландцев переменить фронт; а когда проведенный Кромвель стал отступать к Данбару, Лесли расположился на высотах над городом и, захватив Кокбёрнспет, преградил англичанам отступление вдоль берега. Его позиция была почти неприступна, а солдаты Кромвеля страдали от болезней и голода; генерал уже думал посадить свои войска на суда, когда (3 сентября) в утреннем сумраке он заметил признаки движения в лагере шотландцев. Пыл проповедников, наконец, взял верх над осторожностью Лесли, и его армия стала спускаться на равнину между холмом, на котором стояла лагерь, и небольшим ручьем, прикрывавшим фронт англичан. Конница Лесли далеко опередила главные силы и едва спустилась на равнину, как Кромвель в густом сумраке двинул на нее все свои силы. «Бегут, право бегут!» — воскликнул он, когда после отчаянного сопротивления шотландская конница подалась и привела в смятение спешившую к ней на помощь пехоту. Затем, когда над утренними облаками поднялось солнце, он произнес более высокие слова: «Да восстанет Бог и рассеются враги его! Как исчезает мрак, так прогонишь Ты их!». Менее чем за час была одержана полная победа. Поражение сразу превратилось в бегство; в плен было взято 10 000 человек со всем обозом и артиллерией, убито 3000, тогда как победители почти не понесли потерь. Лесли вернулся в Эдинбург полководцем без армии. Победа при Данбаре тотчас сказалась на отношении континентальных держав. Испания поспешила признать республику; Голландия предложила ей союз. Но Кромвель с тревогой следил за ростом недовольства в стране. Требуемая Айртоном общая амнистия и закон о роспуске парламента все еще не были приняты; реформа судов, на которых настаивала армия, была задержана возражениями, выставленными против нее юристами общин: «Помогите угнетенным, — писал Кромвель из Данбара, — услышьте стоны бедных заключенных. Постарайтесь устранить злоупотребления во всех состояниях. Республике не прилично допускать разорение массы для обогащения немногих». Но палата старалась направить поток общественного мнения в пользу своего сохранения при помощи крупного дипломатического торжества. Она тайно приняла дикий план устроить унию между Англией и Голландией и воспользовалась победой Кромвеля для отправки в Гаагу Оливера Сент-Джона с пышным торжеством. Он отверг предложенные голландцами союз и торговый договор и, со своей стороны, предложил объединить Англию с Голландией, но тотчас

получил отказ. Послы вернулись раздраженные и приписали свою неудачу положению дел в Шотландии, где Карл готовил новый поход. Со времени прибытия его в северное королевство ему приходилось переносить одно унижение за другим. Он должен был подписать «Ковенант», выслушивать проповеди и укоризны пресвитеров; наконец, его пригласили подписать заявление, подтверждавшее тиранию его отца и идолопоклонство матери. Несмотря на свое равнодушие и цинизм, молодой король на минуту поколебался: «Подписав такую бумагу, — воскликнул он, — я не смогу посмотреть в глаза моей матери», но все-таки подписал ее. Пока, впрочем, он был королем только по имени: его не допускали ни в совет, ни в армию, его друзья не принимали никакого участия ни в управлении, ни в войне. Поражение при Данбаре сразу освободило его от зависимости. «Я думаю, теперь король станет на свои ноги», — писал Кромвель после победы. Поражение Лесли уничтожило влияние Аргайла и руководимых им строгих пресвитериан. Гамильтон, брат и преемник герцога, взятого в плен при Престоне, привел роялистов назад в лагерь, и Карл настоял на допуске его в совет и на коронации в Сконе. Овладев Эдинбургом, но потерпев неудачу в нападении на Стирлинг, Кромвель выжидал всю зиму и длинную весну, пока внутренние раздоры не подействовали на враждебный народ, а возвращение в ряды королевской армии «недоброжелателей», т. е. роялистов прежней войны, не заставило строгих пуритан с неудовольствием покинуть его. С началом лета поход возобновился, но Лесли снова вернулся к своей системе крепких позиций, и Кромвель, найдя лагерь шотландцев при Стирлинге неприступным, перешел в Файф и оставил открытой дорогу к югу. Уловка подействовала. Вопреки советам Лесли, Карл решил вторгнуться в Англию и скоро уже шел через Ланкашир к Северну; английская конница под командой Лэмберта беспокоила его тыл, а английская пехота спешила через Йорк и Ковентри преградить ему дорогу к Лондону. «Мы действовали по силе нашего разума, — возражал Кромвель на сердитые упреки испуганного парламента. — Если не положить этому конец, понадобится еще один зимний поход». В Ковентри он узнал, где находится Карл, и через Ившем поспешил к Уорчестеру, где расположились лагерем шотландцы. В годовщину своей победы при Данбаре (3 сентября 1651 г.) Кромвель переправил половину своего войска через реку и с двух сторон напал на город. Он лично вел авангард и «первый вступил на занятую неприятелем землю». Когда Карл спустился с соборной башни, чтобы броситься на восточное крыло, Кромвель поспешил назад через Северн и скоро снова «разъезжал в огне». 4–5 часов «продолжалось самое жестокое, какое только видел, сражение», сообщил он парламенту; шотландцы оказались

меньшинстве и были загнаны в город, но отвечали на предложения пощады только выстрелами. Битва окончилась с наступлением ночи. Победители, по обыкновению, потеряли немного, а побежденные — 6000 человек, весь свой обоз и артиллерию. Лесли оказался среди пленных, тяжелораненый Гамильтон умер через несколько дней после битвы. Сам Карл бежал с поля битвы и после долгих скитаний удалился во Францию.

«Теперь, когда король мертв, а его сын разбит, — серьезно заявил Кромвель парламенту, — я считаю необходимым приступить к закреплению устройства». Но это закрепление, обещанное после Нейзби, было так же далеко и после Уорчестера. Билль о роспуске настоящего парламента, несмотря на личные настояния Кромвеля, прошел при сильном сопротивлении большинством всего двух голосов, и даже этот успех был куплен уступкой, позволившей палате заседать еще три года. Внутренние дела находились почти в полном застое. Парламент назначил комиссии для выработки планов судебных и церковных реформ, но не сделал ничего для проведения их. Он был подавлен массой дел, навязанных ему смутами войны, — конфискациями, запрещениями, замещением гражданских и военных должностей, — в сущности, всем государственным управлением; бывали времена, когда ему на несколько недель приходилось отказываться от разбора частных дел, чтобы несколько подвинуть вперед дела общественные. Эта путаница и беспорядок еще более усиливались неизбежно возникавшими среди них злоупотреблениями; членов палаты обвиняли в казнокрадстве и подкупности, и некоторые, подобно Гэселригу, действительно пользовались властью в своих личных интересах. Единственным средством против всего этого служил, по мнению армии, созыв нового и полного парламента на место простого «охвостья» старого; но палата была решительно против этой меры. Вэн возбудил в ней новую деятельность. Для обсуждения юридических реформ была образована главная комиссия с сэром Мэтью Гэлом во главе. Был поднят серьезно вопрос об унии с Шотландией. Восемь английских комиссаров созвали в Эдинбурге выборных от ее графств и городов и, несмотря на упорное сопротивление, добились от него решения в пользу унии. В палату внесен был билль, подтверждавший объединение и допускаявший представителей Шотландии в ближайший парламент. Подобный же план был предложен для объединения с Ирландией. Но для целей Вэна необходимо было не только доказать энергию парламента, но и освободить его от контроля армии. Он намеревался выдвинуть флот, как силу, преданную палате и затмить блеск Данбара и Уорчестера еще большими победами на море. С этой целью он заботливо поддерживал ссору с Голландией. «Навигационный акт» запретил иностранным судам

ввозить в Англию товары других стран, кроме как их собственных, и тем нанес роковой удар торговому посредничеству, обогащавшему голландцев. Новый спор вызвал требование англичанами салюта от всех судов, плававших по Ла-Маншу. При встрече обоих флотов перед Дувром Блэк потребовал от голландцев спуска флага, на что их адмирал Ван Тромп ответил пальбой. Генеральные штаты приписали столкновение случайности, предложили отозвать адмирала; но требования англичан с каждым шагом переговоров повышались, и война стала неизбежной. Для понимания новой политики палаты армия едва ли нуждалась во внесении билля об ее роспуске. Знаменательно было уже то, что, принимая билль о своем роспуске, палата еще не выработала плана для следующего за ней собрания. Едва была объявлена война Голландии, как армия вышла из выжидательного положения, которое она занимала с начала республики, и потребовала не только реформ в церкви и государстве, но и прямого заявления, что палата прекратит свою деятельность. Ходатайство армии заставило палату заняться обсуждением билля о «новом представительстве», но, при этом скоро выяснилось намерение наличных членов войти в состав будущего парламента без перевыборов. Раздраженные таким притязанием, офицеры в ряде совещаний требовали немедленного роспуска, в чем палата также упорно отказывала. Кромвель поддержал требование армии в выражениях, заключавших в себе угрозу: «Что до членов этой палаты, то они начинают возбуждать в армии неудовольствие; я желал бы, чтобы оно имело менее оснований». Он утверждал, что это неудовольствие вполне оправдывается своекорыстным захватом в свою пользу домов и земель, безнравственной жизнью многих членов, их пристрастием к роли судей, вмешательством по мотивам личного интереса в обычный ход правосудия, задержкой юридических реформ, но всего более, их очевидным намерением сохранить за собой власть. Он закончил повторением своей главной мысли: «...от таких людей трудно ожидать обновления государства».

На время военные действия задержали наступление кризиса. Страшная буря разогнала оба флота, когда они готовились вступить в сражение. Оркнеев; но Рюйтер и Блэк снова встретились в Ла-Манше, и после упорной борьбы голландцы вынуждены были отступить под прикрытием ночи. С упадком Испании Голландия стала главной морской державой в мире, первое поражение сильно подняло дух нации. Для усиления флота были сделаны огромные усилия, и во главе его был поставлен ветеран Ван Тромп, явившийся в Ла-Манше с 73 военными кораблями. У Блэка было вдвое меньше судов, но он смело принял вызов, и первый бой продолжался до наступления ночи, когда разбитый флот англичан отступил в Темзу. Тромп с тор-

жеством прошел Ла-Манш, с метлой на вершине мачты, и поражение любимого общинами флота заставило их понизить тон. Обе партии, по-видимому, пришли к соглашению: снова был внесен билль, устанавливавший новое представительство, и парламент обещал разойтись в следующем ноябре, а Кромвель не противился роспуску части армии. Но новый поворот счастья поднял решимость палаты. Энергичные усилия Блэка позволили ему через несколько месяцев после поражения снова выйти в море, и четырехдневный бой окончился, наконец, победой англичан, хотя искусные маневры Тромпа спасли сопровождаемый им флот. Тогда палата стала настаивать на сохранении за ней власти. Ее члены должны были не только войти в состав нового парламента, лишая представляемые ими местечки права выбора представителей, но и образовать ревизионную комиссию для определения действительности каждого избрания и пригодности выбранных членов. Между руководителями общин и офицерами армии было устроено совещание, на котором последние решительно потребовали не только устранения этих требований, но и немедленного роспуска парламента и поручения новых выборов государственному совету. «Мы не можем передавать никому наших обязанностей», — возразил Гэселриг. Совещание было отложено до следующего утра под условием не делать решительных шагов; но едва оно возобновилось, как отсутствие главных членов подтвердило слух, будто Вэн спешит провести через палату билль о новом представительстве. «Это противно простой честности!» — воскликнул с гневом Кромвель и, выйдя из Уайт-Холла, велел отряду мушкетеров следовать за ним до дверей общин. «Одетый в простое серое платье и серые шерстяные чулки», он спокойно сел на свое место и стал слушать горячие доводы Вэна. «Я пришел сюда сделать нечто такое, что мучает меня до глубины души», — сказал он своему соседу Сент-Джону, но оставался спокойным, пока Вэн не предложил палате отказаться от обычных форм и принять тотчас билль. «Минута настала», — сказал он Гэррисону. «Подумайте хорошенько, — возразил тот, — это — вещь опасная!» — и Кромвель слушал еще четверть часа. Наконец, когда предложили вопрос, проходит ли билль, он встал и громким голосом повторил свои прежние обвинения в несправедливости, своекорыстии и медлительности: «Ваш час настал, — заключил он, — Господь покончил с вами!». Многие члены вскочили на ноги, бурно протестуя. «Да, да, — отвечал Кромвель, — довольно с нас этого». Затем, выйдя на середину залы, он надел на голову шляпу и воскликнул: «Я положу конец вашей болтовне!». Это вызвало страшный шум, среди которого слышались произносимые им отрывочные фразы: «Не следует вам заседать здесь дольше! Вы должны уступить места лучшим людям! Вы не парламент». По зна-

ку генерала в зал вступило тридцать мушкетеров, и 50 присутствовавший членов столпилось у дверей. «Пьяница!» — воскликнул Кромвель, когда мимо него проходил Уэнтворт; еще более грубое прозвище досталось Мартину. Бесстрашный до конца, Вэн сказал ему, что его поступок «идет вразрез со всяким правом и всякой честью». «Ах, сэр Гэрри Вэн, сэр Гэрри Вэн, — воскликнул Кромвель, сильно негодуя на сыгранную с ним шутку, — вы могли бы предотвратить все это, но вы обманщик и не имеете понятия о простой честности! Господь да избавит меня от сэра Гэрри Вэна!» Спикер отказывался покинуть свое место, пока Гэррисон не предложил «помочь ему сойти». Затем Кромвель поднял со стола его жезл: «Что нам делать с этой игрушкой? — спросил он. — Уберите ее прочь!». Наконец, двери палаты были заперты, а через несколько часов после разгона парламента последовал роспуск его исполнительного комитета, Государственного совета. Сам Кромвель пригласил его разойтись. «Мы слышали, — ответил его председатель Джон Брэдшо, — что сделали вы этим утром в палате, а через несколько часов об этом услышит вся Англия. Но вы ошибаетесь, сэр, считая парламент распущенным. Никакая власть на земле не может распустить парламент, кроме него самого, — будьте в этом уверены!»

Глава X

Падение пуританства (1653—1660)

Роспуск парламента и Государственного совета оставили Англию без правительства, так как полномочия всех чиновников прекращались вместе с учреждением, их даровавшим. Как главнокомандующий армией, Кромвель, в сущности, вынужден был признать себя ответственным за поддержание общественного порядка. Но в действиях генерала и армии нельзя подметить и мысли о военном деспотизме. На деле и тот, и другая были далеки от признания своего положения революционным. С формальной стороны, их действия со времени установления республики не допускали оправдания; но, по существу, они заключались в защите прав народа на представительство и самоуправление, когда она требовала полного и настоящего представительного собрания и противилась закону, при помощи которого парламент хотел лишить половину Англии ее избирательного права. Только когда не оказалось других средств предупредить такую несправдливость, солдаты прогнали злоумышленников: «Вы сами принудили меня к этому, — воскликнул Кромвель, прогоняя депутатов из палаты; — я день и ночь просил Господа, чтобы он скорее умертвил меня, чем заставлял де-

лать это». Его поступок был насилием над членами палаты, но то, что он хотел предотвратить, было нарушением с их стороны конституционных прав целой нации. Народ, действительно, «в каждом углу королевства был недоволен» положением общественных дел, и общее согласие одобрило разгон парламента. «Ни одна собака не залаяла при их уходе», — сказал протектор несколько лет спустя. Как ни сильны были опасения насчет того, как воспользуется своим влиянием армия, они в значительной степени были рассеяны заявлением офицеров. Их единственной заботой было «не захватывать власти и не оставлять ее в руках армии, хотя бы на один день», а их обещание «призвать к управлению людей испытанной верности и честности» было до некоторой степени выполнено учреждением временного Государственного совета, состоявшего из восьми высших офицеров и четырех гражданских лиц с Кромвелем во главе. Место в нем было предложено, хотя и безуспешно, Вэну. Первым делом этого учреждения был созыв нового парламента и передача в его руки вверенной ему власти; но разгон «охвостья» устранил билль о парламентской реформе, и как ни желательным было совету созывать новый парламент по старой системе, но он не решился взять на себя ответственность за такое коренное преобразование, как создание своей властью нового закона о выборах. Это затруднение было обойдено созывом учредительного Конвента. Несколько лет спустя Кромвель с забавной откровенностью рассказал историю этого несчастного собрания: «Я хочу рассказать вам случай, свидетельствующий о моей слабости и безумии. И притом это было сделано по простоте, я это могу утверждать... Тогда полагали, что люди наших мнений, участвовавшие в войнах и согласные в этом отношении, непременно попадут в точку и сделают все так, как только можно желать. Так именно мы и думали, и я так думал — тем хуже для меня». Для этой цели из списков, составленных индипендентскими церквями, Государственный совет выбрал 16 человек, «надежных, богобоязненных, ненавидящих корысть». Большинство из коих были, подобно Эшли Куперу, людьми благородными и состоятельными; число горожан, вроде торговца кожами Хвали Бога Бэрбона, именем которого воспользовались, как прозвищем для всего собрания, было, по-видимому, почти такое же, как и в прежних парламентах. На настроение его членов оказали роковое влияние обстоятельства его избрания. Сам Кромвель в порыве бурного красноречия, которым он приветствовал его открытие, увлекся странным энтузиазмом: «Убедите народ, — сказал он, — что, как люди, боящиеся Бога, избавили его от ига королевской власти, так теперь они же будут управлять им в страхе Божиим... Вы призваны Богом, призваны истине чудесно и неожиданно... Никогда верховная власть не признавала в

такой степени Бога и не была им признаваема». Еще более восторженности проявилось в действиях самого Конвента. Передача в его руки Кромвелю и советом их полномочий сделало его высшей властью в государстве; но в созывавшей его инструкции было указано, что в течение 15 месяцев эта власть должна быть передана другому собранию, избранному, согласно его указаниям. Таким образом, задача конвента, как учредительного собрания, в сущности, заключалась в созыве парламента на, действительно, национальной основе; но он понял свое назначение в самом широком смысле и смело взялся за дело всесторонних конституционных реформ: он учредил комиссии для рассмотрения нужд церкви и народа. Одушевлявший собрание дух бережливости и честности сказался в устранении неравномерности обложения и вкравшейся в гражданскую службу расточительности. Он наметил ряд реформ, проведения которых Англии пришлось ожидать до наших дней. Долгий парламент не решился преобразовать канцлерский суд, где ожидали разрешения 23 000 дел, Конвент предложил упразднить его. При Долгом парламенте комиссия с сэром Мэтью Гэллом во главе начала работать над составлением единого свода законов; Конвент снова выдвинул вперед эту задачу. Эти смелые меры вызвали страшную тревогу среди юристов, к которым скоро присоединилось духовенство, замечавшее, что установление гражданского брака и предложение заменить уплату десятины добровольными взносами общин угрожают его благосостоянию. Землевладельцы тоже восстали против поддерживаемого конвентом проекта об уничтожении патроната мирян, предсказывая наступление конфискаций. «Бэрбонский парламент», как в насмешку прозвали собрание, обвиняли в намерении сделать подкоп под собственность, церковь, закон, во вражде к науке, в слепом и невежественном фанатизме. Сам Кромвель разделял общее недовольство его деятельностью. У него был ум, скорее, администратора, чем государственного человека, отличавшийся консерватизмом, чрезвычайной практичностью и некоторой близорукостью. Он видел необходимость административных реформ и в церкви, и в государстве, но он совсем не сочувствовал носившимся в воздухе разрушительным теориям. Он желал «закрепить» положение, возможно, менее нарушая прежний порядок отношений. Правда, монархия исчезла в смутах войны, но опыт с Долгим парламентом только укрепил в нем убеждение, что в интересах гражданской свободы необходимо рядом с законодательной властью поставить независимую от нее власть исполнительную. Своим мечом он завоевал «свободу совести», но при страстной привязанности к ней все еще стоял за государственную церковь, приходскую систему и содержание духовенства на десятину. В социальном отношении он вполне раз

делял стремления того класса, к которому принадлежал: «По происхождению я был дворянином», — сказал он позднее в парламенте — и потому считал очень выгодным и важным для нации старое разделение общества на вельмож, дворян и крестьян. Он ненавидел «уравнительные начала», стремившиеся всех поставить в одинаковое положение: «Что за цель у него, — спрашивает он с забавной наивностью, — как не поставить арендатора по состоянию наравне с землевладельцем? Если этого удастся добиться, я не думаю, чтобы такое положение долго сохранялось: люди таких мнений, добивших своих целей, станут тогда громко защищать собственность и доходы».

Для такого практического ума теоретические реформы конвента были столь же неприятны как юристам, так и духовным лицам, интересы которых затрагивали. «Эти люди думали только об одном разрушении», — заметил Кромвель. Из затруднения его вывели несогласия внутри самого собрания. Через день после отмены десятины (в декабре 1653 г.) более консервативные члены хитростью добились постановления, гласившего, «что дальнейшее существование нынешнего парламента не принесет пользы государству и что следует вернуть главнокомандующему полученные от него полномочия». Спикер передал их отказ Кромвелю, и потом заявление это было подтверждено согласием большинства членов. Роспуск конвента вернул дела в то положение, в каком их застал его созыв; сохранилось и прежнее стремление заменить господство меча каким-нибудь законным управлением. В течение своей сессии Конвент учредил новый Государственный совет, и это собрание составило тотчас, под названием «орудия управления», замечательную конституцию, принятую Советом офицеров. Необходимость заставила их сделать то, на что они не решались раньше, — созвать парламент на основе нового представительства, хотя оно и не было подтверждено законом. Парламент должен был состоять из 400 членов от Англии, 30 — от Шотландии и 30 — от Ирландии. Места, принадлежавшие прежде мелким захудалым местечкам, были переданы более крупным округам, по большей части сельским. Все прежние преимущества при выборе членов были отменены и заменены одинаковым правом голоса, основывавшимся на владении недвижимым или движимым имуществом, стоившим 200 фунтов. Католики и «недоброжелатели», как называли людей, сражавшихся за короля, на время были лишены права голоса. По закону дальнейшее устройство управления следовало предоставить целиком новому собранию; но опасение беспорядков во время выборов, а также желание упрочить положение побудили совет закончить свою работу передачей Кромвелю должности протектора (опекуна): «Они заявили мне, что если я

не возьму на себя управление, то, по их мнению, дела едва ли придут в порядок, а по-прежнему будут царить кровопролитие и смятение». По его собственному утверждению, когда он принимал должность, ему прямо указывали, что принятие протектората ограничивает власть его, как главнокомандующего, и «обязывает его до созыва парламента не делать ничего без согласия совета». Действительно, полномочия нового протектора были строго ограничены. Правда, первоначально члены совета назначались им, но удаление каждого члена зависело от согласия остальных; их совет требовался во всех внешних делах, согласие — в вопросах мира и войны, одобрение — при назначении высших сановников государства и при распоряжении властью военной и гражданской. Притом, данному собранию принадлежал выбор всех будущих протекторов. К контролю совета в делах административных присоединялся контроль парламента в вопросах политических. Между созывом двух парламентов могло пройти самое большее три года. Только он своей властью мог издавать законы и налагать подати; принятые им статуты через 20 дней становились законами, даже если протектор отказывал в согласии на них. Новая конституция, несомненно, пользовалась популярностью, обещание созвать через несколько месяцев настоящий парламент прикрывало незаконный характер нового правительства. Вообще, его считали временным и думали, что оно может приобрести законную власть только при утверждении его действий в предстоявшей сессии. Среди членов нового парламента, собравшегося осенью в Вестминстерском господстве, желанием поставить вмешательство на законное основание.

Немногие парламенты были более замечательным или верным представителем английского народа. В парламенте 1654 г. члены от Шотландии и Ирландии впервые заседали рядом с представителями Англии, как заседали и в настоящее время. Депутатов от «гнилых и карманных местечек» в нем не было. Несмотря на исключение из избирательных списков католиков и роялистов и на произвольное устранение советом имен многих крайних республиканцев, палата больше, чем какая-либо из прежде заседавших, имела право на название «свободного парламента». Свобода избирателей в пользовании правом голоса сказалась в выборе большого числа пресвитериан, а также Гэселрига и Брэдшо, вместе со многими членами Долгого парламента и рядом с лордом Гербертом и сэром Гэрри Вэном-старшим. Первым делом палаты было, конечно, рассмотрение вопроса об управлении. Гэселриг вместе с ярыми республиканцами тотчас стал отрицать законность как совета, так и протектората на том основании, что Долгий парламент никогда не был распускаем. Однако этот довод говорил как против правительства, так и против парламента, в котором они заседали, и по-

тому собрание удовольствовалось признанием за конституцией и протекторатом только временного значения и тотчас приступило к установлению правительства на законном основании. За основу новой конституции было принято «орудие управления», обсуждавшееся статья за статьей. Единогласно было постановлено, что Кромвель в качестве протектора должен сохранить за собой власть; напротив, вопрос о праве вето или совместной с парламентом законодательной власти вызвал горячие прения, хотя страстные речи Гэселрига мало нарушали умеренность общего тона. Но тут внезапно вмешался Кромвель. Не без колебаний взял он на себя обязанности протектора, полагая, что недостаточная законность его власти больше чем уравнивается согласием народа. «Бог и народ — свидетели того, что я не сам занял это место», — утверждал он. Его власть была признана Лондоном, армией, торжественным решением с адресами всех графств, наконец, появлением членов парламента в ответ на его призыв. «Почему я не могу поставить акт Провидения наравне с любым наследственным интересом?» — спрашивал он. В этом одобрении народа он видел призыв Бога, божественное право высшего порядка, чем право предшествовавших королей.

Но было и другое основание для того беспокойства, с которым он следил за действиями общин. В промежуток перед созывом парламента он, под влиянием своей страсти все устраивать, далеко не ограничился чисто временными мерами. Стремление к упорядочению поддерживалось в нем не только направлением общественного мнения, но и настоятельными потребностями власти; а предоставленному ему «орудием управления» право издавать временные распоряжения «впредь до издания парламентом по этим вопросам дальнейших приказов» предоставляло для его деятельности широкий простор, которым он и поспешил воспользоваться. С Голландией был заключен мир, в церкви восстановлен порядок, правосудие урегулировано до мельчайших подробностей, завершена уния с Шотландией. Кромвель вовсе не ожидал, что возникнет вопрос относительно этих мер или проводивших их власти, и думал, что парламент просто докончит его работу: «Великая задача вашего собрания, — сказал он на первом заседании, — заключается в уврачевании зол и успокоении страны». Сам он сделал многое, но, — прибавил он, — остается еще больше сделать». Нужно было заключить мир с Португалией и союз с Испанией. Палате были предложены билли и постановления свода законов. Предстояло докончить заселение и умиротворение Ирландии. Он был рассержен отстранением этих планов ради конституционных вопросов, на его взгляд решенных волей Бога; но еще более раздражало его то, что парламент снова выдвинул притязание на нераздельную законодательную власть. Мы уже видели, что зна-

комство с бедствиями, вызванными сосредоточением в руках Долгого парламента законодательной и исполнительной власти, убедило Кромвеля в опасности такого соединения для общественной свободы. Единственное ручательство в том, «что парламенты не станут постоянными» или что они не будут пользоваться своей властью во вред народу, он видел в совокупном управлении «единого лица и парламента». Как бы ни были сильны доводы протектора, но тот прием, при помощи которого он попробовал провести их, на деле оказался роковым для свободы, а затем и для пуританства: «Если я призван Богом и признан народом, — закончил он, — то власть у меня могут отнять только Бог и народ, иначе я не откажусь от нее». Затем он объявил, что вход в палату будет дозволен только тем членам, которые подпишут обязательство «не изменять правительства, составленного единого лица и парламента». Ни один шаг Стюартов не был таким смелым нарушением конституционного права, и шаг этот был не только незаконным, но и ненужным. Только сотня членов отказалась взять на себя обязательство, а подписи трех четвертей палаты доказали, что решение парламента легко могло доставить Кромвелю желательное ручательство. Оставшиеся члены с прежней твердостью вернулись к конституционному вопросу. Свое право на участие в управлении они спокойно доказали тем, что поручили комиссии пересмотреть указы протектора и обратить их в законы. «Орудие управления» было обращено в билль, подвергнутый обсуждению и после некоторых изменений прочитанный в третий раз. Денежные назначения, как и в прежних парламентах, были отсрочены до удовлетворения «жалоб». Но тут Кромвель вмешался еще раз. Снова заволновались роялисты, и оживление их надежд он приписывал враждебному, на его взгляд, отношению к нему парламента. Армия, на время отсрочки субсидий не получавшая жалованья, была исполнена недовольством: «По-видимому, — сказал протектор, — парламент заботился более о приискании поводов к спору, чем об умиротворении страны. Судите сами, было ли полезно для блага народа тратить время на оспаривание мер, принятых правительством». В январе 1655 г. с горькими упреками он объявил парламен распущенным.

С роспуском парламента 1654 г. исчезла всякая тень конституционного управления, и протекторат, лишившись по своей вине возможности законного признания, превратился в простую тиранию. Правда, Кромвель объявил себя связанным «орудием управления»; но единственное крупное ограничение, наложенное на его власть «орудием», — невозможность собирать налоги без согласия парламента — было устранено под предлогом необходимости. «Народ предпочтет реформам действительную безопас

ность», — заметил протектор в духе Страффорда. Опасность роялистского восстания, несомненно, существовала, но ее еще усиливало общее недовольство. С этого времени, говорит Уайтлок, «многие трезвые и честные патриоты потеряли надежду на общественную свободу и стали склоняться к восстановлению монархии». В массе населения перелом произошел еще быстрее: «На одного вашего сторонника, — пишет министру корреспондент из Чешира, — приходится в прилегающих графствах 500 сторонников Карла Стюарта». Но даже это всеобщее недовольство было бессильно перед подавляющей силой войска. Самого грозного восстания роялистов ожидали в Йоркшире, но он совсем не решился восстать. Восстания произошли в Девоне, Дорсете и уэльских окраинах, но они были скоро подавлены, а их вожди казнены. Но как ни легко был подавлен мятеж, страх правительства проявился в энергичных мерах, к которым прибег Кромвель с целью обеспечить спокойствие. Страна была разделена на десять военных округов, и во главе каждого был поставлен генерал-майор, имевший право обезоружить всех католиков и роялистов и задерживать подозрительных лиц. Средства для поддержания этого военного деспотизма были доставлены указом Государственного совета, постановлявшим, что все лица, когда-либо сражавшиеся за короля, обязаны, несмотря на закон об амнистии, платить ежегодно десятую часть своего дохода в наказание за свой роялизм. Деспотизм генерал-майоров находил себе поддержку в старых приемах угнетения. Восстание находило ревностных сторонников в отставленных священниках, и в наказание им было запрещено выступать в качестве домашних священников и учителей. Печать была подчинена строгой цензуре. Взнос налогов, назначаемых властью одного протектора, достигался арестом имущества; а когда у сборщика требовали удовлетворения по суду, преследовавший его адвокат отсылался в Тауэр.

Если можно когда-либо оправдывать вообще деспотизм, оправданием для Кромвеля может служить искусство и успех, с какими он пользовался захваченной им властью. Из главных планов Долгого парламента самым важным было объединение трех королевств. Уния Шотландии с Англией была осуществлена в самом конце его деятельности при помощи ловкости и энергичности сэра Гэрри Вэна; но проведение ее на деле выпало на долю Кромвеля. После упорной четырехмесячной борьбы генерал Монк установил в горах спокойствие, а присутствие восьмидесяти тысяч армии, опиравшейся на ряд крепостей, поддерживало порядок среди самых беспокойных кланов. Умиротворение страны было осуществлено умным и умеренным преемником Монка генералом Дином. Вмешательство в пресвитерианское устройство ограничилось упразднением Общего собрания, но Дин решительно за-

щищал религиозную свободу. Он отважился даже заступиться за несчастные жертвы, которые шотландские ханжи предавали пыткам и сожжению по обвинению в колдовстве. Сами строгие роялисты признавали справедливость управления и удивительную дисциплину войск: «Мы всегда признавали эти восемь лет зависимости временем полного мира и благосостояния», — говорил впоследствии Бёрнет. Труднее было добиться настоящего объединения Ирландии с прочими королевствами. Дело завоевания продолжал Айртон, а после его смерти закончил так же беспощадно, как оно было начато, генерал Лёлло. Тысячи ирландцев погибли от голода или меча. Одни в транспорт за другим отправляли покоренных за океан для продажи в каторжные работы на Ямайке и Вест-Индии. Более чем 40 000 разбитых католков было дозволено вступить в иностранную службу, и они нашли себе прибежище в изгнании под знаменами Франции и Испании. Дело умиротворения, предпринятое Генри Кромвелем, младшим и способнейшим из сыновей протектора, оказалось еще пагубнее завоевания. За образец он взял заселение Улстера, роковую меру, унесшую всякую надежду на объединение Ирландии и неизбежно ведущую за собой восстание и войну. Ирландцы были разделены на разряды по степени предполагаемой их вины. Все, изобличенные по суду в личном участии в избиении англичан, приговаривались к изгнанию или смерти. Общая амнистия, избавлявшая «преступников более мелких» от следствия по другим делам, не распространялась на землевладельцев. Католические собственники, выказывавшие недоброжелательство к парламенту, даже если они не принимали участия в войне, наказывались отобранием трети их земель. Все, поднимавшие оружие, лишались всего и изгонялись в Коннаут, где для них из земель туземных кланов нарезались новые участки. В новые времена ни один народ не постигала такая тяжелая судьба, как ирландцев при этом «умиротворении». Среди тяжелых воспоминаний, отчуждающих Ирландию от Англии, самым горьким остается память о кровопролитии и конфискациях, произведенных пуританами; худшим прозвищем, каким может обозвать своего врага ирландский крестьянин, остается имя Кромвеля. При всей своей беспощадности политика протектората достигла намеченных ею целей. Все туземное население было доведено до полного бессилия. Мир и порядок были восстановлены в Ирландии, а сильный приток протестантских поселенцев из Англии и Шотландии доставил разоренной стране новое благосостояние. Но важнее всего было распространение на Ирландию законодательной унии, уже проведенной в Шотландии; в общем парламенте ее представителям было отведено тридцать мест.

В Англии с роялистами Кромвель обращался как с непримиримыми врагами, но во всех других отношениях он добросовестно исполнял свое обя-

щение «врачевать и умиротворять». Ряд административных реформ, задуманных конвентом, был отчасти осуществлен до созыва парламента 1654 г.; после роспуска палаты работа продолжалась с еще большей энергией. Доказательством деятельности правительства служат около сотни указов. Полиция, общественные увеселения, дороги, финансы, положение тюрем, заключение должников — вот некоторые из предметов, обращавших на себя внимание Кромвеля. Указ более чем из пятидесяти статей преобразовал канцлерский суд. Ряд разумных и умеренных мер по переустройству церкви положил конец анархии, царившей в ней с того времени, как был упразднен епископат, а пресвитерианству не удалось занять его место. Права патроната были оставлены нетронутыми; но для рассмотрения пригодности кандидатов на священнические места была учреждена «испытательная комиссия, на четверть состоявшая из мирян, а в каждом графстве из дворян и духовных была образована церковная комиссия для наблюдения за церковными делами и выслеживания и удаления вызывавших соблазн и непригодных священников. По признанию даже противников Кромвеля, реформа привилась прекрасно. Она доставила стране «способных и серьезных проповедников, — говорит Бэкстер, — ведущих благочестивую жизнь, как бы ни различались они своими мнениями»; а так как по желанию патронов на места назначались и пресвитериане, и индепенденты, то, насколько это зависело от практики, таким путем достигалось религиозное объединение пуритан на почве широкого разнообразия христианских верований. У преобразованной, таким образом, церкви было отнято всякое право вмешательства в дела других исповеданий. Кроме своих отношений с епископами, которых он считал политическими врагами, Кромвель всюду оставался верен началу религиозной свободы. Даже квакеры, отвергавшиеся всеми другими христианскими общинами, как анархисты и богохульники, нашли себе у протектора сочувствие и защиту. Евреи не допускались в Англию с царствования Эдуарда-I; теперь они представили просьбу о разрешении вернуться, но комиссия из купцов и священников, которой протектор отдал ее на рассмотрение, ответила отказом. Кромвель не обратил на это никакого внимания и разрешил нескольким евреям поселиться в Лондоне и Оксфорде, что было понято в смысле, не допускавшем ничего вмешательства.

Нигде и сильные, и слабые стороны ума Кромвеля не сказываются с такой ясностью, как в его отношении к внешним делам. В то время как Англия была занята долгой и упорной борьбой за свободу, полностью изменилась ситуация в окружавшем ее мире. Тридцатилетняя война окончилась. Победы Густава-Адольфа и следовавших за ним шведских генералов были поддержаны политикой Ришелье и вмешательством Франции. Протестан-

тизму Германии уже не угрожали ханжество и властолюбие дома Габсбургов; Вестфальский мир (1648) провел надежную границу между землями сторонников старой и новой веры. Великая католическая династия, со времен Карла V постоянно угрожавшая свободе Европы, представляла теперь уже мало опасности. Отчаянная борьба с турками за обладание Венгрией, безопасность самой Австрии отвлекали немецкую ветвь Габсбургов от мыслей о завоеваниях на западе. Испания пришла в состояние неслыханного упадка. Она уже не могла и мечтать о господстве над Европой и скоро стала почти беспомощной добычей Франции. Теперь главной державой Европы сделалась Франция, хотя ее положение еще далеко не было таким господствующим, каким оно стало потом, при Людовике XIV. После прекращения религиозных войн на ее сплоченной и плодородной территории установились мир и порядок, представлявшие полный простор для живой и деятельного характера народа; а централизующее управление Генриха IV, Ришелье и Мазарини отдали почти в полное распоряжение короны богатства и энергию населения. При этих трех великих правителях стремления Франции направлялись постоянно к одной цели — территориальному расширению. Правда, пока оно еще ограничивалось присоединением испанских и имперских областей, отделявших ее границы от Пиренеев, Альп и Рейна; но проницательный политик мог уже различить начало великой борьбы за главенство во всей Европе, борьбы, решенной только гением Мальборо и победами Великого союза. Под влиянием консерватизма и практичности ума и сильного религиозного воодушевления у Кромвеля образовался ошибочный взгляд на европейскую политику. Он, по-видимому, совсем не заметил происшедшей в мире перемены. В Европу эпохи Мазарини он перенес те надежды и идеи, какими Англия была проникнута в ее юности, в начале Тридцатилетней войны. Испания все еще была для него «представительницей интересов папства» внутри и вне страны: «Католик Англии, — сказал он парламенту 1656 г., — за время моей жизни всегда считались сторонниками Испании; они никогда не обращались к Франции или какой другой католической державе, а только к Испании». В Кромвеле еще живы были старая ненависть англичан к Испании и их возмущение той позорной ролью, какую, по милости Якова и Карла, Англии пришлось играть в великой немецкой войне, и эти чувства только усиливались под влиянием религиозного воодушевления, вызванного успехом пуританства. «Сам Господь, — писал он своим адмиралам, когда они отправлялись в Восточную Индию, — ведет борьбу с вашими врагами, особенно с этим римским Вавилоном, главной опорой которого служит Испания. В этом отношении мы воюем на стороне Бога». По мысли Кромвеля, Англия могла стать теперь

тем, чем Швеция была при Густаве-Адольфе, — главой великого союза протестантов в их борьбе с нашествием католиков: «На ваших плечах лежит благо всех христианских народов мира, — объявил он парламенту 1654 г. — Я желал бы, чтобы в наших сердцах было внедрено усердие к этому благу».

Первым шагом в такой борьбе должно было служить взаимное сближение протестантских держав, и прежде всего старания Кромвеля направились на окончание разорительной и нерешительной борьбы с Голландией. Ее ожесточенность возрастала с каждым столкновением, но надежды Голландии рассеялись со смертью ее адмирала Ван Тромпа, раненного в то время, когда ему удалось прорвать строй англичан, а его искусный и энергичный преемник Рюйтер напрасно старался вернуть утраченное счастье. Голландию спас разгон Долгого парламента, настаивавшего на своем требовании политического объединения обеих стран, и новая политика Кромвеля сказалась в заключении мира (1654). Соединенные провинции признали верховенство английского флага в британских морях и подчинились «акту мореплавания»; в то же время Голландия обязалась лишить власти Оранский дом и, таким образом, избавить Англию от опасения, что Стюарты будут восстановлены при помощи голландцев. За миром с Голландией последовало заключение подобных же договоров со Швецией и Данией. При прибытии шведского посла с предложением дружеского союза Кромвель попытался ввести в союз протестантских держав Голландию, Бранденбург и Данию. Однако непрерывные усилия его в этом направлении оставались безуспешными, и он решился выполнить свои планы в одиночку. Вследствие поражения Голландии, Англия стала первой морской державой в свете, и перед роспуском парламента в море было послано два флота с тайными приказами. Первый под командой Блэка вошел в Средиземное море, добился от Тосканы вознаграждения за ущерб, причиненный английской торговле, бомбардировал Алжир и уничтожил флот, с которым в царствование Карла пираты осмеливались тревожить берега Англии. Пуритане верили, что гром пушек Блэка слышен в замке Св. Ангела и что сам Рим должен будет преклониться перед величием Кромвеля. Но настоящей целью обеих экспедиций было нападение на Испанию, хотя ей и не была объявлена война. Нападение оказалось чрезвычайно неудачным. Блэк отправился к берегам Испании, но ему не удалось перехватить флот, везший из Америки казну; а вторая экспедиция, направившаяся в Вест-Индию, была отражена при высадке на Сан-Доминго. Большое значение, правда, имело завоевание Ямайки, так как оно разрушало ту монополию на юге Нового Света, какой до того пользовалась Испания; но в то время оно представлялось смутным вознаграждением за крупные жертвы людьми и деньгами.

Вожди по возвращении были посажены в Тауэр; но Кромвель оказался в войне с Испанией и должен был, хотел он того или нет, обратиться за помощью к Франции, которой тогда правил Мазарини, и заключить с ней союз.

В то же время расходы по неудачным экспедициям заставили Кромвеля снова созвать парламент; но он уже не полагался, как прежде, на свободу выборов. 60 членов, присланных Шотландией и Ирландией на основании указов об унии, были просто назначены правительством. Оно воспользовалось всем своим влиянием, чтобы обеспечить выбор наиболее видных членов Государственного совета. Было подсчитано, что половина выбранных депутатов была связана с правительством выгодой или положением. Но Кромвель все еще был недоволен. Перед допуском в палату от каждого депутата требовалось удостоверение совета, и таким путем, на основании политической или церковной неблагонадежности, была исключена четверть всего числа избранных — сто человек с Гэселригом во главе. К этому произволу и насилию палата отнеслась с чрезвычайной умеренностью и благоразумием. С самого начала она отказалась от всякого противодействия правительству. Одним из первых ее шагов было позаботиться о личной безопасности Кромвеля, жизни которого постоянно грозили заговоры. Она поддержала его воинственную политику и назначила для продолжения войны необыкновенно крупные субсидии. Эти благонамеренные действия придали особую силу упорному отказу палаты узаконить деспотическую систему, в сущности, поставившую Англию в осадное положение. В своей вступительной речи Кромвель смело выступил на защиту применяемого генерал-майорами деспотизма: «Сильнее, чем что-либо за последние 50 лет, это содействовало устрашению порока и упорядочению церкви. Я буду держаться этого, — заявил он, — несмотря на зависть и клевету безумных людей. Я готов за это рисковать жизнью так же, как и за все другое, что когда-либо предпринимал. Если бы это нужно было сделать снова, я повторил бы его». Но едва в парламент был внесен билль, узаконивший деятельность генерал-майоров, как настроение общин обнаружилось в долгих прениях. Они готовы были принять протекторат, но в то же время хотели сделать его правительством на законном основании. То же имели в виду и разумнейшие сторонники Кромвеля: «Я опасаюсь принятия этого закона, — писал один из них его сыну Генри, — потому что это сделает главной основой правления его высочества силу и еще более удалит его от того естественного основания, на какое желают поставить его власть представители народа в парламенте, ожидая, что в таком случае протектор станет им ближе, чем теперь». Билль был отвергнут, и Кромвель подчинился воле нации и отнял у генерал-майоров их полномочия.

Но поражение военного деспотизма служило только подготовкой к еще более смелой попытке восстановить господство закона. Не простой педантизм и не пошлая лесть побудили парламент предложить Кромвелю титул короля. Опыт последних лет показал народу всю ценность обычных форм, под прикрытием которых выросли его вольности. Власть короля ограничивалась конституционными обычаями: «Права короля, — как было справедливо замечено, — подчинены судам и ограничены так же, как любое поле или другая собственность человека». С другой стороны, протекторат был новостью в истории Англии, и для ограничения его власти не существовало никаких обычных средств: «Один сан по природе является законным, — сказал Глинн, — знакомым народу, сам по себе определенным, ограниченным и упорядоченным законом, а другой нет, — вот главная причина, почему парламент так сильно настаивал на этом сани и титуле». На деле под монархией партия, руководимая офицерами, и партия, руководимая юристами палаты, подразумевали восстановление конституционного и законного управления. Предложение было принято подавляющим большинством, но в бесконечных совещаниях между парламентом и протектором прошел месяц. В каждом совещании сквозь туманные выражения Кромвеля пробивались его здравый смысл, понимание общенародного настроения и искреннее желание установить такой строй, который обеспечивал бы цели, преследуемые пуританством, — свободу политическую и религиозную. Но при этом ему, главным образом, приходилось считаться с настроением армии. Кромвель хорошо понимал, что его власть основывается прямо на силе меча и что недовольство его солдат потрясет все его могущество. Он колебался между сознанием политических выгод такого решения и сознанием его невозможности ввиду настроения армии. Его солдаты, говорил он, не простые воины: «Они люди богобоязненные, люди, которых, пока они соблюдают чистоту, не может поработить дух мира и плоти». Общий голос их он считал голосом Бога: «Это честные и надежные люди, — утверждал он, — преданные великим целям правительства. И хотя, в сущности, доказательством их превосходства не служит нежелание подчиняться затрагивающим их постановлениям парламента, я считаю своей нравственной обязанностью просить вас не предлагать им таких тяжелых блюд, которых они не могут переварить. Я думаю, Бог не благословит такой меры, которая вызовет с их стороны справедливое неудовольствие». Настроение армии скоро выразилось — ее вожди с Лэмбертом, Флитвудом и Десборо во главе вручили Кромвелю свои прошения об отставке. Офицеры обратились к парламенту с ходатайством взять назад предложение о восстановлении монархии «во имя старого дела, за которое они проливали свою кровь». Кромвель тотчас предупредил прения об этом ходатайстве, которые могли

привести к открытому разрыву между армией и общинами, и отказался от короны: «Я не могу взять на себя управление с титулом короля, — сказал он, — вот мой ответ на этот великий и важный вопрос».

Несмотря на неудачу, парламент с удивительным самообладанием обратился к другим способам осуществления своей цели. Предложение короны было связано с условием принять конституцию, которая была видоизменением «орудия управления», принятого парламентом 1654 г. Кромвель горячо одобрял эту конституцию: «Постановления этого закона, — объявил он, — обеспечивают вольности народа Божия так, как никогда прежде». Теперь этот «Акт об управлении» стал законом, с заменой только титула короля названием протектора. Торжественное провозглашение протектората парламентом было, в сущности, со стороны Кромвеля признанием незаконности его прежнего управления. От имени общин спикер надел на него мантию правителя, дал ему в руку скипетр и опоясал мечом справедливости. Новая конституция позволила Кромвелю назначить себе преемника, но затем сан должен был стать избирательным. Во всех других отношениях были тщательно восстановлены формы старой конституции. Парламент снова состоял из двух палат, причем 70 членов «другой палаты» назначались протектором. Общины вернули свое старое право решать вопрос о правильности выборов. Выбор членов совета, сановников и офицеров был поставлен в зависимость от парламента. Протектору были назначены определенные средства, и было установлено, что подати могут собираться только с согласия парламента. Свобода богослужения была обеспечена всем, кроме католиков, епископалов, социниал и отрицателей боговдохновенности Писания, свобода совести — всем без исключения.

Отсрочка палаты после узаконения протектората оставила Кромвеля на вершине могущества. Казалось, он доставил, наконец, своему управлению законное и национальное основание. Блеск славы затмил неудачу его первых внешних предприятий. Накануне созыва парламента одному из капитанов Блэка удалось перехватить часть испанского флота с золотом. В конце 1656 г. протектор, по-видимому, нашел повод к осуществлению своего плана — возобновить во всей Европе религиозную войну. Герцог Савойский поссорился со своими протестантскими подданными, жившими в долинах Пьемонта, а беспощадное истребление вальденсов* войсками герцога вызвало во всей Англии страшное раздражение, еще дышащее благороднейших сонетах Мильтона. В то время как поэт просил Бога от

* Вальденсы — последователи лионского купца Пьера Вальда, жившего в XII в. Секта вальденсов, распространенная в Провансе, отличалась особо строгой нравственностью. Частично вальденсы были истреблены еще в XVI в. французским королем Франциском I.

мстить за «убитых святых, кости которых рассеяны по холодным склонам Альп», Кромвель уже занят был мщением земным. При дворе герцога явился английский посол и грозно потребовал удовлетворения. Отказ в нем немедленно вызвал бы войну, так как протестантские кантоны Швейцарии обещали выставить отряд в 10 000 человек для нападения на Савойю. План этот был расстроен ловкой дипломатией Мазарини, заставившего герцога принять требования Кромвеля; но призрачный успех протектора возвысил его славу внутри и вне страны. Весной 1657 г. Блэк одержал величайшую и последнюю из своих побед. Он нашел испанский флот с серебром под охраной галеонов в сильно укрепленной гавани Санта-Круса, пробился в нее и сжег или потопил все стоявшее в ней суда. Торжество на море сопровождалось победой на суше. Требование Кромвелем Дюнкерка, долго мешавшее принятию предлагаемой им помощи, было, наконец, принято, и отряд пуританской армии присоединился к французским войскам под командой Тюренна. Свое мужество и дисциплину англичане показали при взятии Мардика и еще более в битве в Дюнах, заставившей города Фландрии открыть свои ворота французам и уступить Дюнкерк Кромвелю.

Никогда правители Англии не достигали высшей славы; но рука смерти готовилась поразить протектора среди побед. Он давно был утомлен своей деятельностью: «Богу известно, — объявил он годом раньше парламенту, — что я предпочел бы жизнь на своей лесной стороне и охрану стада овец делам управления». Теперь к утомлению властью присоединились слабость и лихорадочная нетерпеливость болезни. Несмотря на видимую живость и энергичность его жизни, здоровье было далеко не так сильно, как его воля. Среди своих побед в Шотландии и Ирландии он захворал перемежающейся лихорадкой и в течение последнего года страдал от повторных приступов ее. «Я несколько нездоров», — заметил он дважды в своей речи при возобновлении заседаний парламента после шестимесячного перерыва, и его болезненная раздражительность усиливалась общественной неурядицей. Субсидий назначено не было, жалование армии сильно задерживалось, а ее настроение с изданием новой конституции и оживлением роялистских интриг становилось все более мрачным. Под прикрытием новой конституции исключенные в предыдущем году члены парламента снова заняли свои места в палате. Настроение народа отражалось в придиричивом и задорном тоне общин. Они все еще медлили с назначением субсидий, а между тем поспешность протектора, предоставившего своим ставленникам в «другой палате», как называлась придуманная им новая палата, титул лордов, вызвала между двумя пала-

тами спор, усиленно раздувавшийся Гэселригом и другими противниками правительства. Появилось мнение, будто по новой конституции «другая палата» имеет только судебные, а не законодательные полномочия. Такой спор подрывал усилия Кромвеля восстановить старые политические формы английской жизни. Возобновление парламентской борьбы довело его, наконец, — по замечанию наблюдателя его двора, — «до бурной ярости, походившей на бешенство». Опасность возростала благодаря усилению партии роялистов и подготовке ими нового восстания. Сам Карл, чтобы воспользоваться им, приблизился к берегу Фландрии с большим отрядом испанских войск. Всего более поддерживали его надежды несогласия среди общин и очевидное недовольство их строем протектората. Это побудило Кромвеля действовать. Под влиянием внезапного порыва он сел в свой экипаж и в сопровождении нескольких телохранителей отправился в Вестминстер; там, несмотря на представления Флитвуда, он призвал к себе обе палаты и закончил свою речь, полную горьких упреков, словами: «Я распускаю этот парламент и ставлю Бога судьей между вами и мной». Шаг был роковой, но сначала все шло хорошо. Удар, нанесенный ее противникам, успокоил армию, а немногие недовольные были устранены из ее рядов заботливой чисткой. Офицеры торжественно обещали жить и умереть с его высочеством. Масса одобрительных адресов от графств устранила опасность восстания роялистов. Благоприятные вести пришли также из-за границы, где победа во Фландрии и уступка Дюнкерка запечатлели славу Кромвеля. Но изнурительная лихорадка все продолжалась, и он показался близким к смерти квакеру Фоксу, встретившему его верхом в Гэмптон-кортском парке: «Я еще не подошел к нему, — говорит тот, — когда он ехал во главе своих телохранителей, как увидел и почуял, что на него веет дух смерти; а когда я подошел к нему, он показался мне похожим на мертвеца». Среди всех успехов сердце Кромвеля угнетало сознание неудачи. У него не было желания разыгрывать тирана, да он и не верил в прочность чистого деспотизма. Он отчаянно держался за мысль привлечь страну на свою сторону. Едва он распустил один парламент, как задумал созвать другой и был огорчен несогласием совета на его план: «Я хочу сам принимать свои решения, — сердито сказал он окружающим. — Я не могу относиться спокойно к утрате сочувствия всех честных партий и самого народа». Но прежде чем можно было осуществить его планы, напряженные силы протектора вдруг иссякли. Он слишком ясно видел, в какой хаос его смерть погрузит Англию, чтобы умирать охотно: «Не воображайте, что я умру! — кричал он лихорадочно окружавшим его врачам. — Не говорите, будто я утра»

тил рассудок. Я говорю вам правду. Я знаю ее из лучшего источника, чем ваши Гален и Гиппократ. Это ответ самого Бога на наши молитвы!». Действительно, всюду возносились молитвы о его выздоровлении, но смерть подходила все ближе, и наконец сам Кромвель почувствовал, что час его наступил: «Хотелось бы мне пожить, — пробормотал он, умирая, — чтобы еще послужить Богу и его народу, но мое дело сделано! Однако Бог останется со своим народом!». Буря, срывавшая крыши с домов и ломавшая в каждом лесу высокие деревья, казалась достойным предвестием смерти этого могучего человека. Через три дня, 3 сентября (1658), в день, видевший его победы при Данбаре и Уорчестере, Кромвель спокойно скончался.

Власть его над умами людей даже после смерти была так всемогуща, что, к удивлению возмущенных роялистов, для обеспечения спокойного наследования его сына Ричарда Кромвеля оказалось достаточно сомнительного назначения его отцом на смертном одре. Многие, отвергавшие власть его отца, спокойно подчинились новому протектору. Руководившие ими мотивы были выяснены Бэкстером, самым выдающимся из пресвитерианских священников, в адресе, возвещавшем его подчинение: «Я вижу, — говорил он, — что народ, вообще, радуется мирному началу вашего управления. Многие убеждены, что вы для того тщательно воздерживались от участия в наших недавних кровавых распрях, чтобы Бог мог сделать вас примирителем наших раздоров и поручить вам постройку храма, которой нельзя было доверить самому Давиду, хотя он имел ее в виду, так как он проливал много крови и вел большие войны». Новый протектор был слабым и ничтожным человеком, но масса народа была довольна тем, что ею, по крайней мере, управляет не солдат, не пуританин и не нововводитель. Ричард считался в душе консерватором и даже роялистом. Реакция дала себя почувствовать даже в его совете. Первым его делом было упразднить одну из величайших реформ Кромвеля и вернуться при созыве нового парламента (январь 1659 г.) к старой избирательной системе. Еще сильнее почувствовалась она в тоне новой палаты общин. Руководимые Вэном республиканцы, при ловкой поддержке тайных роялистов, горячо нападали на систему Кромвеля. Самое жестокое нападение было произведено Эшли Купером, дорсетширским дворянином, в междоусобной войне переходившим со стороны на сторону: он сражался сначала за короля, а потом за парламент, был членом совета Кромвеля и недавно вышел из него. За ядовитым нападением на «его высочество плачевной памяти, при жизни отнявшего у вас свободу, а при смерти завещавшего вам рабство», последовали столь же яростные нападки на ар-

мию: «Она подчинила себе не только своих врагов, — сказал Купер, — но и хозяев, возвысивших и содержавших ее! Она покорила не только Шотландию и Ирландию, но и мятежную Англию, и там раздавила враждебную ей партию сановников и законов». Армия не замедлила с ответом на это. Она уже прежде потребовала назначения ее начальником солдата на место нового протектора, принявшего команду над ней. Тон Совета офицеров стал теперь таким угрожающим, что общины предписали отправить в отставку всех офицеров, которые не дадут обязательства «не нарушать и не прерывать свободных заседаний парламента». Ричард приказал Совету офицеров разойтись. Они ответили на это требованием распустить парламент, и Ричард вынужден был подчиниться ему. Но целью армии было все еще обеспечить правильное управление; поэтому она устранила нового протектора, слабость которого теперь обнаружилась, и решила помириться с партией республиканцев и вернуть «охвостье» общин, разогнанное ею в 1653 г. Из 160 членов, продолжавших заседать после смерти короля, вернулись на свои места и взялись за управление делами около 90; но продолжавшееся исключение членов, устранившихся из палаты в 1648 г., доказывало отсутствие настоящего намерения восстановить законное управление. Палата скоро пришла в столкновение с армией. Несмотря на советы Вэна, она предположила преобразовать офицерский корпус, и хотя восстание роялистов в Чешире (август 1659 г.) на время сблизило враждовавшие стороны, но как только опасность прошла, вражда возобновилась. Между тем в сердцах людей явилась новая надежда. И только народ был утомлен военным управлением, но, наконец, показались признаки несогласия в армии, остававшейся непобедимой, пока она сохраняла единодушие. Войска, стоявшие в Ирландии и Шотландии, протестовали против действий своих товарищей в Англии, и Монк, начальник шотландской армии, грозил идти на Лондон и освободить парламент от их гнета. Эти несогласия внушили Гэселригу и его единомышленникам смелость потребовать лишить Флитвуда и Лэмберта их мест. Войска отвечали на это новым изгнанием парламента из Вестминстера и походом на север навстречу армии Монка. Переговоры дали последнему время собрать конвент в Эдинбурге и запастись средствами и людьми. Его образ действий вызвал движение в Англии. Во всей стране произошел такой быстрый подъем духа, что армия была вынуждена отказаться от своего шага и снова созвать «охвостье» общин. Между тем Монк быстро приблизился к Колдстриму и перешел через границу. По всей стране, подобно искре, пролетело требование «свободного парламента». Требование это было подхвачено не только Ферфаксом, поднявшим оружие в Йорк

шире, но флотом на Темзе и чернью, наполнявшей улицы Лондона; а Монк, в одно и то же время расточавший «охвостью» заявления своей преданности и принимавший ходатайства о «свободном парламенте», вступил в Лондон без сопротивления. С этого момента восстановление Стюартов стало неизбежным. Армия все еще продолжала настаивать на сохранении своего «дела», но она была обманута лживыми заявлениями Монка и обессилена ловким рассеянием войска по стране. По внушению Эшли Купера, уцелевшие из членов парламента, исключенных в 1648 г., вернулись в парламент и тотчас постановили распустить его и созвать новую палату общин. Едва успела новая палата, носившая название конвента, принять «лигу и ковенант», доказывавшие ее пресвитерианские стремления, а ее вожди только что начали составлять условия, на которых можно было допустить восстановление короля, как оказалось, что Монк ведет переговоры с изгнанным двором. Предъявление каких бы то ни было условий стало теперь невозможно, и взрыв народного восторга встретил Бредскую декларацию, в которой Карл обещал всеобщую амнистию, религиозную терпимость и удовлетворение армии. Конвент торжественно провозгласил, «что согласно древним и основным законам королевства, управление находится и должно находиться в руках короля, лордов и общин», и тем восстановил старую конституцию. Короля тотчас пригласили вернуться в его королевство; он высадился в Дувре и при кликах огромной толпы прибыл (в мае 1660 г.) в Уайт-Холл. «Я сам виноват, — заметил он с отличавшей его иронией, — что не вернулся скорее: здесь все говорят мне, что всегда желали моего возвращения».

Пуританство, казалось, пало безвозвратно. Как политический опыт оно привело к полной неудаче и вызвало отвращение. Как религиозная система народной жизни оно вызвало сильнейший взрыв нравственного возмущения, когда-либо виданный Англией. И все-таки пуританство далеко не умерло; страдание и поражение только облагородили его. Всего лучше знакомит нас с настоящим характером пуританского влияния со времени падения пуританства рассмотрение двух великих произведений, от поколения к поколению передавших его лучшие и благороднейшие черты. С этого времени и до настоящего самой популярной из всех духовных книг остается в Англии пуританская аллегория «Шествие паломника». Самой популярной из всех английских поэм был всегда пуританский эпос «Потерянный рай». В течение междоусобной войны Мильтон вел борьбу с пресвитерианами и роялистами, защищая свободу политическую и религиозную, свободу общественной жизни, свободу печати. Позднее он сделался секретарем протектора по иностранной переписке,

несмотря на слепоту, вызванную усиленными занятиями. При Реставрации он оказался предметом сильнейшей ненависти роялистов, как автор «Защиты английского народа», оправдывавшей перед Европой казнь короля. Парламент приказал сжечь его книгу через палача, а сам Мильтон одно время содержался в тюрьме, и даже после освобождения фанатики-кавалеры постоянно грозили убить его. К неудаче его стремлений присоединились личные несчастья: обанкротился нотариус, хранивший большую часть его состояния; затем лондонский пожар лишил его большой доли остального. Под старость он оказался сравнительно бедным человеком и, чтобы существовать, принужден был продать свою библиотеку. Даже среди сектантов, разделявших его политические мнения, Мильтон в религиозном отношении стоял одиноко, так как постепенно он отделился от всех принятых форм веры, принял арианство и перестал посещать какое бы то ни было богослужение. И в семье он не был счастлив. Привлекательная веселость молодости исчезла среди трудов ученой жизни и полемических нападок. В старости его характер стал строгим и требовательным. Его дочерям приходилось читать слепому отцу на языках, которых они не понимали, и они сильно восставали против этой повинности. Но в уединении и несчастье только резче выразилось внутреннее величие Мильтона. В позднейшие годы жизнь его отличалась величавой простотой. Каждое утро он прослушивал главу из еврейской Библии и, подумав некоторое время в молчании, продолжал свои занятия до полудня. Затем он посвящал час физическим упражнениям, а другой час играл на органе или альте и потом возвращался к своим занятиям. Вечер проходил в беседе с посетителями и друзьями. Несмотря на его уединение и непопулярность, у Мильтона была одна черта, делавшая его дома в Бенгил-филдсе целью паломничества для остроумцев Реставрации. Он был последним из «елизаветинцев». Он, быть может, видел Шекспира, когда тот, приезжая в Лондон после своего удаления в Стратфорд, проходил по Бред-стрит на состязания в остроумии в таверне Сирены. Он был современником Уэббера и Мэссинджера, Геррика и Крэшо. Его «Ком» и «Аркадяне» соперничали с «Масками» Бен Джонсона. С почтением, внушаемым подобными мыслями, смотрели люди на слепого поэта, одетого в черное и сидевшего в комнате, увешанной старыми зелеными коврами; его красивые черные волосы по-старому ниспадали на спокойное и ясное лицо, еще сохранявшее многое из своей юношеской красоты; его щеки были нежно-румяного цвета, а на ясных серых глазах не было заметно и следа слепоты. Как ни прославили Мильтона, в хорошую или дурную сторону, его прозаические сочинения, но за пятнадцать лет

только несколько сонетов прервали молчание поэта. Теперь, при слепоте и старости, когда его лучшие стремления были унижаемы людьми, столь же низкими, как чернь в «Коме», гений Мильтона искал себе убежища в великой поэме, над которой его воображение работало в годы молчания.

По возвращении из своих странствий по Италии Мильтон сказал о себе, что он задумал «произведение, вызываемое не пылом юности и не винными парами, подобно тем, которые текут потоком с пера иного пошлого певца любви или из хмельного каприза рифмоплета-попрошайки; его можно создать не обращением к госпоже Памяти и ее дочерям-сиренам, а искренней молитвой к тому Вечному Духу, который может одарить выражением и знанием и который посылает своих серафимов с освященным огнем своего алтаря, и они касаются и освящают им уста кого Ему угодно». Наконец, огонь коснулся его уст. В тихом уединении он в эти годы преследования и одиночества обдумывал свое великое произведение. В 1667 г. появился «Потерянный рай», а четыре года спустя «Возвращенный рай» и «Самсон-борец»; в строго величавых стихах последнего мы видим, как подобно Самсону поэт, «окруженный мраком и опасностью, становится добычей черных дней и злых языков». Как ни замечательны два последних произведения, но их славу затмил их великий предшественник. В «Потерянном рае» выразился весь гений Мильтона. В этом рассказе «о первом послушании человека и о плоде с запрещенного дерева, смертоносное вкушение которого внесло в мир смерть и все наше горе», слились романтика, пышная фантазия и смелое воображение, общее Мильтону с поэтами века Елизаветы, со свободной, но правильной красотой формы, взятой им из литературы греков и римлян, и с возвышенностью замысла и величием выражения. Только рассматривая разнородные элементы, входящие в состав поэмы, начинаем мы понимать силу гения, слившего их в такое совершенное целое. Бледный контур еврейской легенды исчезает в блеске и звучности стихов Мильтона. Суровый идеализм облекается в пышные одежды Возрождения. Иногда ему не хватает игры Спенсеровской фантазии и еще более мечтательного восхищения, которое придает такую чудесную жизнь поэзии ранних драматургов; но вместо этого мы находим лучший в английской литературе образец величавой правильности классической формы. Впрочем, здесь мы имеем дело не с литературными достоинствами «Потерянного рая». Его историческое значение состоит в том, что он служит эпосом пуританства. Его предмет составляет вопрос, мучивший пуританина в часы мрачной тревоги, — вопрос о грехе и искуплении, о

мировой борьбе зла и добра. Нравственная сосредоточенность пуританина придала почти телесный вид духовным абстракциям раньше, чем Мильтон сообщил жизнь образам Греха и Смерти. Идеей Мильтонова сатаны мы обязаны склонности пуритан объединять различные формы человеческой испорченности в одно широкое олицетворение греха и, под влиянием страстной ненависти, преувеличивать их значение и силу. Величие цели, преследовавшейся пуританством в его долгой и превратной борьбе за правду; закон и высшее благо; развитая борьбой возвышенность характера; колоссальные формы представителей добра и зла в ней; прения, заговоры и битвы, в течение двадцати лет наполнявшие жизнь людей; могучее красноречие и еще более сильное честолюбие, вызванные войной, — все это оставило свой след на «Потерянном рае». Высшие и лучшие стороны характера пуритан сказались в благородстве и возвышенности поэмы, чистоте ее тона, величии ее замысла, правильном и равномерном осуществлении великой цели. Даже в самых смелых порывах Мильтон сохраняет спокойствие и самообладание. Он всегда рисует уверенно. Переходит ли он с неба в ад или из зала совета Сатаны к нежному разговору Адама и Евы, он идет твердо и уверенно. Но, выражая высшие свойства пуританского характера, поэма отражает также точно его недостатки. Отсутствие нежных и тонких чувств, широкой веселой человечности, понимания духовных тайн почти болезненно поражает нас на каждом шагу. Имея дело с самыми грозными и таинственными предметами, какие когда-либо избирал поэт, Мильтон никогда не мучался упорными сомнениями насчет непостижимых вещей, тревоживших воображение Шекспира. Мы напрасно ищем у него на заднем плане, как у Эсхила, великого неизвестного. «Ослушание человека» и план его искупления излагаются с такой ясностью и простотой, как в пуританской проповеди. В подобных случаях даже Бог Отец, употребляя насмешливое выражение Попа, «превращается в схоластика-богослова». В своих ранних поэмах Мильтон вносил порядок и стройность в природу; в «Потерянном рае» он делает то же с небом и адом. Самые могучие образы ангела или архангела, сатаны или Белиала выступают у него в колоссальных, но ясных очертаниях. Так же мало у него широкой симпатии ко всему человеческому, столь пленительной у Чосера и Шекспира. Напротив, нигде пуританская личность не достигает такой колоссальности, как у Мильтона. Он налагает резкую печать на все свое создания. В каждой строке поэмы мы слышим его голос. Господствующее в ней холодное и строгое представление о нравственной добродетели, рассудочное представление и изображение красоты — красота Евы

не может привлекать смертного человека — вполне принадлежат Мильтону. Его личный характер отразился на стоическом самообладании, придающем достоинство его образам. У Адама при изгнании из рая не вырывается ни одного стога. Этой напряженной сосредоточенности мы должны приписать странное отсутствие юмора, общее Мильтону с пуританами вообще; от этого возвышенность его поэмы временами странным образом превращается в смехотворность. Но, главным образом, этому пуританскому отсутствию симпатии к людям мы должны приписывать удивительное отсутствие драматического таланта. Никогда великий поэт не обладал в меньшей степени способностью создавать тысячу различных характеров, наделять каждый из них соответственными словами и действиями — так сказать, растворяться в своих собственных созданиях.

Поэма Мильтона была эпосом разбитой партии. Само название ее говорило об утрате надежд при виде исчезновения «царства святых», подобно мечте. Рай был утрачен еще раз, когда сложило свое оружие «новое войско», воплощавшее мужество и надежду пуританства. На пути к столице Карл произвел смотр армии, собранной на Блэкгите. Ее обманул генерал, покинули вожди, окружал вооруженный народ, и все-таки ее угрюмое молчание навело страх даже на беззаботного короля. Ни одна из побед «нового войска» не была такой славной, как это преодоление самого себя. Эти земледельцы и ремесленники разбили кавалерию Рупрехта при Нейзби, рассеяли при Уорчестере «войско иноземцев» и обратили в бегство государя, явившегося «вступить в обладание своим наследством», восстановили за морем славу Креси и Азенкура, подчинили себе парламент, привлекли к суду и казнили короля, давали законы Англии, держали в страхе самого Кромвеля. Теперь спокойно и без борьбы, как люди, подчинившиеся неисповедимой воле Бога, они снова стали земледельцами и ремесленниками, ничем не отличавшимися от своих братьев, кроме большей умеренности и трудолюбия. Вместе с ними сложило оружие пуританство. Оно отказалось от долгих стараний создать царство Божие оружием и насилием и вернулось к более плодотворной работе — созданию царства справедливости в сердцах и совести людей. Настоящая победа наступила для пуританства с момента его кажущейся гибели. Едва прошло дикое опьянение Реставрации, как люди заметили, что все, действительно ценное, в пуританстве уцелело. Пиры Уайт-Холла, скептицизм и распутство придворных, продажность государственных людей не затрагивали массы англичан, и они оставались тем, чем их сделало пуританство, — серьезными, строгими, умеренными в жизни и по-

ведении, твердыми в любви к протестантству и свободе. В революции 1688 г. пуританство сделало для гражданской свободы то, что ему не удалось в 1642 г. При посредстве Уэсли и возрождения XVIII в. оно осуществило религиозную реформу, только отодвинутую на столетие его первыми усилиями. Медленно, но непрерывно вносило оно в английское общество, литературу и политику свою серьезность и чистоту. Вся история Англии с Реставрации, со стороны нравственной и духовной, была историей пуританства.

Часть 9

Революция

Глава I

Англия и Революция

Вступление Карла II в Уайт-Холл отмечает глубокую и прочную перемену в настроении английского народа. С него начинается современная Англия. Влияния, до этого времени определявшие ее историю, — богословие Реформации, новая монархия, феодализм Средневековья, еще более древние предание и обычай, — вдруг потеряли власть над умами людей. С момента Реставрации мы сразу оказываемся среди великих течений мысли и деятельности, с тех пор только становившихся шире и глубже. Тогдашняя Англия оказывается совсем современной. Ее главными силами являются промышленность и торговля, любовь к народной свободе и закону; она постоянно стремится к более широкому общественному равенству и справедливости и старается все более и более подчинить всякий обычай и предание, религиозные, умственные и политические, оценке чистого разума. Целая пропасть отделяет современную мысль, по крайней мере с ее более важных сторон, от мышления людей, живших до Реставрации. Политическому мыслителю наших дней было бы одинаково трудно обсуждать любой политический вопрос с лордом Берли или Оливером Кромвелем. Он не нашел бы никаких точек соприкосновения с их взглядами на народную жизнь и народное благосостояние, с их понятием о правительстве и его целях, с их отношением к вопросам экономическим и социальным. Такой пропасти нет между нами и людьми, жившими после Реставрации. Между тем временем и нашим существует согласие относительно главных основ политической, общественной, духовной и религиозной жизни, как бы ни были велики различия в делаемых из них практических выводах.

Переход от старой Англии к новой так поразителен, что мы готовы считать его более внезапным, чем он был на самом деле, и внешний вид Реставрации только усиливает впечатление внезапности. Цель пуритан заключалась в создании видимого царства Божия на земле, и они достигли ее устра-

нением политики Стюартов и Тюдоров. Со времен Генриха VIII и Карм церковь рассматривалась, главным образом, как орудие для осуществления общественных и политических целей государства, при помощи средств нравственных и религиозных. В свою очередь, при республике государство рассматривалось, преимущественно, как орудие для достижения нравственных и религиозных целей церкви при помощи его социальной и политической власти. По взглядам пуритан, англичане были «народом Божиим», народом, связанным с Ним торжественным союзом и созданным проводить Его волю. Для этой цели нужно было, чтобы как правители, так народ были «людьми благочестивыми». Благочестие стало первым условием для получения общественной должности. Переустройство армии наполнило ее ряды «святыми». Парламент решил пользоваться только такими людьми, в истинном благочестии которых палата убеждена. «Ковенант связавший народ с Богом, обязал его применять законы Божии с еще большей строгостью, чем свои. Библия лежала на столе палаты общин, а запрещение божбы, пьянства и распутства вошло в состав светского закона. Прелюбодеяние было объявлено уголовным преступлением для всех, не исключая и духовенства. Картины, возмущавшие чувство приличия, были приказано сжигать; статуи в тех же видах беспощадно уродовались. Тогда относилось пуританство не только к общественной, но и к частной жизни. «Ковенант» привязал не только целый народ, но и каждого его члена. «Богу ненависти», ненавидевшему всякое суеверие, которое лишало Е принадлежавшего исключительно Ему служения, ненавидевшему всякое развлечение и вольность, отвлекавшие человека от полной преданности служению Богу. Чуждые всякой поэзии и фантазии, пуритане осудили половину народных обычаев Англии, как суеверия. Суеверием было праздновать Рождество или украшать дом остролистом и плющом. Суеверием считались танцы вокруг майского дерева. Есть пироги с мясом было прямо католичеством. Грубые развлечения, веселье и шутки «веселой Англии» были неуместны в Англии, нашедшей столь высокое призвание. Травля быков и медведей, лошадиные бега, петушиные бои, деревенские праздники, танцы под майским деревом преследовались с одинаковой ровностью. Долгая борьба пуритан с драматургами окончилась закрытием всех театров.

Реставрация привела Карла II в Уайт-Холл, и тотчас вид всей Англии изменился. Поток народной ненависти увлек вместе с мелочностью и деспотизмом пуританства его лучшие и благороднейшие черты. Пуритане считали религию в орудие политического и общественного угнетения, и с падением пала и она. Благочестие стало предметом презрения; приличия

одежде, речи, обращении осмеивалось как признак ненавистного пуританства. В своем «Гёдибрэсе» Бётлер осмелял прошлое с изощренным шутовством, успех которого объяснялся не столько юмором, сколько общей ненавистью к пуританству. Архиепископ Шелдон в своем зале в Лэмбете слушал насмешливую проповедь кавалера, осмеивавшего язык и напыщенность пуритан. Признаками светского человека стали дуэли и распутство; важные духовные смотрели сквозь пальцы на шалости «порядочных малых», которые дрались, вели игру, божились, пьянствовали и кончали беспутный день ночью в канаве. Жизнь светских людей проходила между легкомыслием и распутством. В одной из комедий эпохи говорится, что «придворный должен хорошо одеваться, ловко танцевать, ловко фехтовать, обладать талантом к любовным письмам и приятным голосом, быть влюбчивым и скромным, но не слишком постоянным». С этими талантами распутники Реставрации соединяли невероятное бесстыдство и грубость. Лорд Рочестер был модным поэтом, но заглавия некоторых его произведений таковы, что теперь их невозможно повторить. Сэр Чарльз Седли был светским остряком, но непристойность его речи заставила даже привратников Ковент-Гардена сбросить его с балкона, когда он отважился обратиться к ним. Лучшим типом эпохи является Джордж Вильерс, герцог Бекингам, сын фаворита Якова I и Карла I, а самым характерным событием в жизни герцога была дуэль, на которой он увенчал обольщение графини Шрусбери убийством ее мужа, в то время как графиня в костюме паж держала перед ним его лошадь и смотрела на поединок. Безнравственность сцены только отражала общую порочность эпохи. Комедия Реставрации заимствовала у французской комедии все, кроме поэзии, тонкости и изящного вкуса, прикрывавших ее грубость. Обольщение, интрига, цинизм, распутство находили себе подходящее выражение в диалоге, отличавшемся изысканной и обдуманной непристойностью, которая вызывает отвращение, несмотря на все свое остроумие. Уичерли, главный драматург эпохи, остается грубейшим из всех писателей для сцены, и ничто не внушает такого невыгодного мнения о его времени, как тот факт, что он находил актеров, повторявших его слова, и слушателей, их одобрявших. Люди, подобные Уичерли, послужили Мильтону образцами для Белиала его великой поэмы: «...никогда с неба не падал более распутный и грубый, любящий порок ради порока». Драматург хвастался откровенностью и точностью, с какой он изображал наблюдаемый им мир — мир интриг и измен, оргий вокзала и схваток с ночной стражей, лжи и двусмысленностей, плутов и жертв, отцов, продававших своих дочерей, и жен, обманывавших своих мужей. Но цинизм Уичерли был не сильнее цинизма окружавших его людей; сам король

превосходил всех своих подданных в пристрастии к пошлости, презрении добродетели, недоверии к чистоте и честности.

Однако легко преувеличить размеры этой реакции. Насколько можно судить по запискам современников, более резкие проявления ее, в сущности, ограничивались столицей и двором. Масса англичан довольствовалась восстановлением своих майских деревьев и мясных пирогов, а большая часть народа оставалась пуританской по жизни и вере, хотя и отказывалась от внешних признаков пуританства. Да и переворот в настроении далеко не был таким внезапным, как это казалось. Общественное влияние пуританства скоро должно было прекратиться, даже если бы его политическое значение осталось прежним. Молодое поколение, выросшее среди междоусобий, не имело понятия о жестоком угнетении, сообщившем вере их отцов ее пыл и огонь. Окружавшая их общественная и религиозная анархия, бесконечные споры и рассуждения того времени внушили им дух скептицизма, сомнения, свободного исследования. Как прежде религиозное одушевление разрушило обаяние церковного предания, так теперь крайности этого одушевления разрушили его обаяние, и, разочаровавшись в нем, новое поколение начало подвергать формы политического управления и духовной жизни более холодной и безошибочной критике разума. Даже семьи главных пуритан были чужды пуританству. Старшие сыновья Кромвеля имели мало притязаний на благочестие. Сам Кромвель в позднейшие годы с горечью замечал, что пуританство потерпело неудачу. Он видел, что принесенный им с собой деспотизм оттолкнул от него поместное дворянство, но еще более, быть может, оттолкнуло его появление религиозной свободы, к которой оно не было подготовлено, и оно прониклось любовью к старой церкви, с которой прежде боролось. Он видел, как росло упорное сопротивление в массе народа. Как и всегда, попытка одержать победу в духовной области при помощи материальной силы окончилась неудачей. Она разбилась о равнодушие и недовольство большинства народа, состоявшего из людей, которые не были ни врагами закона, ни энтузиастами, а держались старых преданий общественного строя; их характер и здравый смысл возмущались одинаково и свойственным пуританству односторонним пониманием жизни и его стремлением навязать такое понимание народа при помощи закона. Неудача зависела также и от испорченности самих пуритан. Как скоро благочестие стало делом выгодным, оказалось невозможным отличить святого от лицемера. Даже среди искреннейших пуритан удача обнаружила гордость, корыстолюбие и жестокий эгоизм, не проявлявшиеся во время преследования. Тон позднейших речей Кромвеля указывает на сознание им того, что у него колеблется под ногами почва. Он

уже не говорит о пуританской Англии, о превращении всей нации в народ Божий. Он возвращается к языку своей молодости, и «святые» снова становятся «особым народом», обломком целой нации. Но он едва ли мог оценить значение влияний, в действительности разрушавших его надежды и на его глазах создававших новую Англию, от которой он отворачивался в отчаянии. Уже перед началом междоусобной войны в Грет-Тью вокруг лорда Фокленда собралась небольшая кучка свободомыслящих богословов. В тот самый год, как в Ноттингеме было поднято королевское знамя, Гоббс издал первый из своих политических трактатов. Едва сложил оружие последний роялист, как в Оксфорде вокруг Уилкинса собралась небольшая компания, впоследствии получившая название Королевского общества. В этой группе научных наблюдателей скрывалась тайна грядущего поколения. Англию долго и напрасно тревожили спорные вопросы, политические и религиозные; теперь от них она обратилась к окружающему ее физическому миру, наблюдению его явлений, открытию управляющих им законов. Изучение физических наук стало страстью, и их способы исследования, наблюдение, сравнение и опыт преобразовали прежние методы исследования в других науках. В религии и политике, изучении человека и природы лозунгами наступающей эпохи должны были стать не вера, а разум, не предание, а исследование. Гнет прошлого был вдруг сброшен, и Англия, наконец, услышала и поняла призыв Фрэнсиса Бэкона.

Уже Бэкон настойчиво призывал людей к изучению естествознания, но в Англии, по крайней мере, он далеко опередил свой век. Первые шаги естествознания были здесь более медленными и робкими, чем в других странах Европы. До Реставрации исследования англичан дали только два действительно важных открытия: открытие Гилбертом в конце царствования Елизаветы природного магнетизма и затем великое открытие кровообращения, сделанное Гарви в царствование Якова. За исключением этих названных имен, Англия принимала мало участия в научном движении материка; казалось, междоусобная война увлекла всю ее деятельность в круговорот богословия и политики. Но война еще не закончилась, как в Лондоне появилась небольшая кучка ученых, занимавшихся, говорит один из них, естествознанием и другими отраслями человеческого ведения, особенно тем, что называется новой философией, которая со времен Галилея во Флоренции и сэра Фрэнсиса Бэкона в Англии усердно разрабатывалась в Италии, Франции, Германии и других заграничных странах, а также и у нас в Англии. Под влиянием тогдашней борьбы умы людей обратились к исследованию природы: «Они могли, — говорит первый историк Королевского общества, епископ Спрэт, — сделать предметом своих частных занятий

постоянное обсуждение известных богословских вопросов, увлечение которыми они порицали в публике. Вечно раздумывать о гражданских делах и бедствиях страны было слишком грустно. При таких условиях только одна природа могла «доставить им приятное развлечение». Среди них особенно выдавались доктора Уоллис и Уилкинс; удаление их в Оксфорд, недавно преобразованный пуританскими ревизорами, разбило маленькое общество на две группы. Более важная из них, оксфордская, устраивала свои собрания в квартире д-ра Уилкинса, ставшего начальником Уодгэмского колледжа; к числу ее членов присоединились замечательный математик д-р Уорд и первый английский экономист сэр Уильям Петти: «Мы оставили в стороне, — рассказывает нам Уоллис, — вопросы богословские и политические и занимались рассмотрением и обсуждением исследований по естествознанию и смежным с ним наукам, как физика, анатомия, геометрия, астрономия, мореплавание, статика, магнетика, химия, механика и естественно-исторические опыты, знакомясь с состоянием этих наук дома и за границей. Затем мы рассматривали кровообращение, лимфатические сосуды, гипотезу Коперника, природу комет и новых звезд, спутников Юпитера, продолговатую форму Сатурна, пятна на Солнце и обращение его вокруг оси, изменения и вид Луны, различные фазы Венеры и Меркурия, улучшение телескопов, шлифование стекол для этой цели, вес воздуха, возможности и невозможность пустоты, опыт Торричелли со ртутью, падение тяжелых тел, степень его ускорения и различные другие вопросы подобного рода».

Другая кучка исследователей, оставшаяся в Лондоне, была, наконец, рассеяна смутами второго протектората; но при Реставрации ее оживило возвращение в Лондон наиболее выдающихся членов оксфордской группы. Наука вдруг стала модной вещью. Сам Карл был хорошим химиком, относился с живым интересом к вопросам мореплавания. Герцог Бекингам разнообразил свои увлечения стихоплетством и пьянством игрой на скрипке и занятиями в своей лаборатории. К ученой компании, которой король своим знаком своей симпатии дал название «Королевское общество», присоединились поэты, вроде Драйдена и Каули, придворные, вроде сэра Роберта Меррея и сэра Кенелма Дигби. Любопытные стеклянные игрушки, названные каплями принца Рупрехта, напоминают научные исследования, вместе с изучением гравирования, занимавшие старость знаменитого генерала междоусобной войны. Остряки и франты собирались на заседания нового общества. Политические деятели, вроде лорда Сомерса, считали за честь избрание в его председатели. Окончательное устройство его в 1662 г. обозначает начало века великих открытий в Англии. Почти каждый год следующего полувека был свидетелем нового шага на пути к более широкому

прочному знанию. В Гринвиче была построена первая английская обсерватория, и длинный ряд астрономических наблюдений, обессмертивших имя Флэмстида, положил начало новой астрономии. Его преемник Галлей занялся исследованием прилива и отлива, комет и земного магнетизма. Гук усовершенствовал микроскоп и дал новый толчок микроскопическому исследованию. Бойль воспользовался воздушным насосом для изучения свойств воздуха и стал творцом опытной химии. Своим планом всеобщего языка Уилкинс проложил дорогу филологии. Сиденгем ввел внимательное наблюдение явлений природы и тем произвел полный переворот в медицине. Физиологические исследования Уиллиса впервые пролили свет на строение мозга. Удворд создал минералогию. В издании «Орнитология» Уиллоуби в своей собственной «Истории рыб» Джон Рэй первый возвысил зоологию на ступень науки; первая научная классификация животных была испробована в его «Синописе четвероногих». Новая ботаника началась с его «Истории растений» и с исследований оксфордского профессора Роберта Моррисона; в то же время Гру разделяет с Мальпиги славу создания физиологии растений. Как ни велики, без сомнения, иные из этих имен, они бледнеют перед именем Исаака Ньютона. Ньютон родился в Улсторпе, в Линкольншире, в день Рождества того памятного года (1642), когда началась междоусобная война, а в год Реставрации он поступил в Кембриджский университет, где преподавание Исаака Бэрроу пробудило его математический гений и где метод Декарта заменил старые способы исследования. После окончания университета его жизнь стала рядом великих физических открытий. На 24-м году своей теорией бесконечно малых чисел он облегчил вычисление планетных движений. Опыты с призмой привели его к открытиям в оптике, которые он отчасти излагал в своих лекциях по математике, а затем объединил в своей теории света, изложенной им перед Королевским обществом, когда он стал его членом. Закон тяготения он открыл уже в 1666 г., но принимавшееся тогда всеми ошибочное определение диаметра земли шестнадцать лет мешало ему обнародовать его, и только в 1687 г. «Principia» («Начала») открыли миру его новую теорию Вселенной.

В перечне, вроде данного нами, можно только указать на поразительную деятельность чисто научной мысли, отличавшей век Реставрации. Но проявившееся в ней скептическое и опытное направление ума в то же время оказало влияние на все области современной жизни. В школе свободных мыслителей, развившейся из той группы, которая накануне междоусобной войны собралась вокруг лорда Фокленда в Грет-Тью, мы видим попытку согласовать учение веры с данными разума и опыта. Какой бы приговор ни произнесла история о политической деятельности лорда Фокленда, его имя

должно остаться памятным навсегда в истории религиозной мысли. Воззрения людей, собравшихся вокруг него, положили начало новой эпохе в английском богословии. Их главным делом было отрицание власти предания в вопросах веры, подобно тому, как Бэкон отверг его в деле исследования природы, и признание в той и другой области верховенства разума как свидетельства истины. «Все это не имеет значения», — лаконично заметил Джон Гэлс, виндзорский каноник и друг Лоуда, об авторитете церкви, ее отцов и соборов. Он отверг с пренебрежением ссылку на всеобщее признание: «Всеобщность является таким доказательством истины, которого стыдится сама истина. Высшим человеческим авторитетом служат наиболее мудрые и добродетельные люди, а они, на мой взгляд, не пользуются наибольшим признанием». Сначала принятие католицизма, а затем поспешный отказ от него доказали Уильяму Чиллингворсу, человеку более широкого, если не более глубокого ума, непрочность всякой основы для веры, кроме личного мнения. В своей «Религии протестантов» он на место церковного предания, или власти церкви, поставил Библию, но Библию, истолковываемую человеческим разумом. Самым блестящим из английских проповедников был Джереми Тайлор, подобно Чиллингворсу пострадавший во время смут за преданность делу короля и за это награжденный при Реставрации епископством Даунским. Тайлор ограничил даже авторитет самого Писания. При истолковании Библии он допускал пользование только разумом, но достоверность выводов, делаемых им из Библии, зависела, по мнению Тайлора, от свойств самого разума: «Мы можем быть уверены безошибочности» только простейших истин естественной религии. Выведение догматов из слов Писания приводит к неопределенности и ошибочности, проистекающим из бесконечного разнообразия человеческих умов, из трудностей, мешающих открытию истины, из влияний, затрудняющих для ума ее понимание или справедливую оценку. Для такого мыслителя, как Чиллингворс, было ясно, что это отрицание авторитета, эта мысль о неспособности разума постигать абсолютную истину одинаково подрывает основы как протестантского догматизма, так и католической непогрешимости: «Если протестанты погрешают в этом вопросе, то их ошибка заключается в требовании слишком сильного авторитета. Они самоуверенно приписывают словам Бога человеческий смысл, придают общим выражениям Бога частное человеческое значение и навязывают его совести людей под страхом смерти и осуждения; они тщетно воображают, будто о делах Божиих мы можем говорить лучше, чем словами Бога; они обожествляют наши толкования и деспотически навязывают их другим; они отнимают у Слова Божия его широту и всеобщность, а у умов людей — оставленную

им Христом и Его апостолами свободу. Вот что было всегда и служит теперь единственной причиной всех церковных расколов и что делает их бессмертными». В своей «Свободе пророчества» Тайлор защищал начало веротерпимости такими вескими доводами, которые для убедительности едва ли нуждались в торжестве индипендентов и в битве при Нейзби. Но для индипендента основанием свободы совести служило личное общение человека с Богом, а для свободного мыслителя — слабость авторитета и несовершенство человеческого разума. Тайлор высказывается даже за анабаптистов и католиков. Он допускает вмешательство светской власти по отношению только к «тем религиям, начала которых подрывают правительство или которые, если так есть, учат плохой жизни». Гэлс открыто заявил, что он наутро же покинул бы церковь, если бы она потребовала от него веры в осуждение всех несогласных с ее учением. Чиллингворс огненными словами обличал преследование: «Прекратите эти преследования, сожжение, проклинание, осуждение людей за то, что они не подчиняются словам людей, как словам Бога; требуйте от христиан только веры во Христа и признания его одного Господом; пусть люди, не имеющие права на непогрешимость, откажутся от притязаний на нее, а те, которые отказываются от нее на словах, откажутся также и на деле. Нет извинений для протестантов, насилующих совесть других людей». От обличения нетерпимости эти мыслители легко перешли к мечте о всеобъемлющей церкви — мечте, со времен «Утопии» Мора увлекавшей все благородные умы. Свою преданность английской церкви Гэлс объяснил тем, что это — самая широкая и терпимая церковь в христианстве. Чиллингворс, указывая на то, что предлагаемое рационалистическим богословием упрощение вероучения устраняет очень много препятствий ко всеобщему соглашению. Подобно Мору, он требовал «такого устройства общественного богослужения, чтобы всякий, кто верует в Писание и живет согласно с ним, мог участвовать в нем без колебания, лицемерия или сопротивления». Подобно Чиллингворсу, Тайлор рассчитывал на примирение христиан при помощи упрощения вероучения. Он допускал вероятность ошибок во всех символах и исповеданиях, принятых христианскими церквями: «Такие своды исповеданий и статей, — сказал он, — должны приносить большой вред... Раскольником скорее является тот, кто навязывает ненужные и неудобные условия, чем человек, не подчиняющийся им, потому что он не может поступить иначе, не оскорбляя своей совести». Единственным условием христианского единения, которое могла с некоторым правом предъявлять церковь, представлялось ему принятие апостольского Символа в его буквальном смысле. Реставрация сразу выдвинула свободных мыслителей вперед. Скоро они стали

отличаться от пуритан и высокоцерковников тем, что восставали против догматизма, ставили разум выше предания библейского или церковного, полагали в основу веры богословие естественное, стремились скорее к праведной жизни, чем к правильному взгляду, защищали терпимость и примирительность как основы единения христиан. Чиллингворс и Тейлор нашли себе преемников в Бернете с его неутомимым здравомыслием, в Батлере — с его спокойной философией. В то время как они сообщали толчок религиозному мышлению, ум, гораздо более глубокий и сильный, содействовал оживлению политических и социальных исследований.

Любимым секретарем Бэкона был Томас Гоббс: «Его лордство любил его, — рассказывает Обри, — и заставлял его гулять в тенистых рощах, где оно занималось размышлениями; когда у него в уме являлась мысль, г. Гоббс являлся и записывал ее. Его лордство обыкновенно говорил, что он делает это лучше всех окружающих его; часто, читая их записи, Бэкон с трудом понимал написанное, потому что сами они понимали его неясно». Долгая жизнь Гоббса относится к замечательному периоду английской истории: он родился в год победы над Армадой (1588), а умер, в 92 года, всего за девять лет до второй революции (1679). Его способности проявились рано: в свои молодые годы он был секретарем Бэкона и другом Бена Джонсона и лорда Герберта Чербэри. Но его исследования стали известны миру в трактате *De cive* («О гражданине»), только когда ему минуло 54 года, и накануне «великого возмущения» он удалился во Францию. В Париже он примкнул к изгнанному двору и стал преподавать математику Карлу II, по-видимому, до конца относившемуся к нему с любовью и уважением. Но скорое издание «Левиофана» лишило его этого места; ему было запрещено являться при дворе, и он вернулся в Англию и, по-видимому, примирился с управлением Кромвеля. Реставрация определила ему пенсию, но оба его произведения были осуждены парламентом, и еще при жизни его слово «гоббизм» стало популярным обозначением неверия и безнравственности. Станным представляется такое суждение о писателе, доказывавшем необходимость для спасения двух вещей — веры во Христа и повиновения закону; но суждение это вытекло из верного понимания того влияния, какое философия Гоббса должна была непременно оказать на ходячую религию и ходячие понятия политической и общественной морали. Гоббс был первым великим английским писателем, рассматривавшим науку о государстве с точки зрения не предания, но разума. Всего раз столкнулся он с ходячими мнениями, рассматривая человека на той ступени развития, которая, по его мнению, предшествовала образованию общества. По его теории люди от природы были равными, и для них естественным отношением

было военное положение. Из этого хаоса борющихся сил общество было выведено не какой-либо прирожденной добродетелью самого человека. Со своей резкой и узкой логикой Гоббс разлагал все стремления и привычки людей и сводил даже святейшие из них к проявлениям разумного эгоизма. Дружба была для него просто чувством общественной пользы. Так называемые законы природы, вроде благодарности или любви к ближнему, в сущности, противоречат естественным стремлениям человека и не в силах ограничивать их. Не спасла человека и религия вмешательством божественной воли. Безжалостная логика, с какой Гоббс напал на саму теорию откровения, всего лучше характеризует ту смелость, с которой новый скептицизм приступал к разрушению богословских преданий прежнего времени: «Сказать, что Бог говорил с человеком во сне, все равно что сказать, будто человеку снилось, что с ним говорил Бог... Сказать, что человек имел видение или слышал голос, значит сказать, что он грезил между сном и бодрствованием». В сущности, религия была просто «страхом перед невидимыми силами»; и здесь, как во всех других отраслях человеческого знания, наука имеет дело со словами, а не с вещами. Общество создал для собственной пользы сам человек, отказавшись от некоторых из своих естественных прав и удержав за собой только право самосохранения. Договор между людьми и создал первоначально «великого Левиофана, называемого государством; это просто искусственный человек, превосходящий большим ростом и силой естественного, для охраны и защиты которого он назначается». Политическая теория давно отказалась от фикции такого «первоначального договора», но при первом своем появлении она произвела сильнейшее действие и была принята почти всеми, и это устранило те религиозные и патриархальные теории общества, на которых до того королевская власть основывала свое «божественное право», непререкаемое для всякого подданного. Но, разрушая старую основу королевского деспотизма, Гоббс заменил ее новой и более прочной, утверждая, что для создания общества, вообще, вся масса народа должна была отказаться от всех прав, кроме права самосохранения, в пользу единого правителя, являющегося представителем всех. Такой правитель был не ограничен, так как ставить условия ему значило ставить условия себе. Права передавались ему безвозвратно, и эта передача обязывала последующие поколения столько же, сколько и поколение ее совершавшее. Как глава всего общества, правитель решал все вопросы, устанавливал законы гражданского права и неправды, а также отличие религии от суеверия. Ему одному принадлежало «божественное право», так как он соединял в себе все права своих подданных. Предупреждения тирании Гоббс ожидал не от конституционных

преград, а от общего образования и ознакомления как подданных, так и государя с их настоящей целью и лучшим способом ее достижения; целью этой было благо всего общества. Смело указав эту цель и положив в основу управления договор, Гоббс оказал сильное влияние на всех позднейших политических мыслителей. Джон Локк, главный политический теоретик Реставрации, подобно Гоббсу, выводил политическую власть из согласия подданных и признавал целью управления общее благо. Но практические условия эпохи придали новой теории такую форму, которая представляла странную противоположность с формой, данной ей ее первым творцом. В сущности, политическая Локка была просто формальным подтверждением выводов, вынесенных массой англичан из великого междоусобия. В его теории народ остается пассивным обладателем власти, переданной им государю, и имеет право отнять ее, если ею пользуются в видах, несовместимых с целью, ради которой было создано общество. К двум великим положениям Гоббса — о происхождении всякой власти от народа и о служении ее народному благу — Локк прибавил право сопротивления, ответственность государей перед подданными за правильное пользование вверенной им властью и верховенство законодательных собраний как представителей самого народа. В этой измененной и расширенной форме новая политическая теория нашла себе всеобщее признание после революции 1688 г.

Глава II

Реставрация (1660—1667)

Когда Карл II вступил в Уайт-Холл, дело Долгого парламента казалось уничтоженным. Монархия была не просто восстановлена, но, вопреки усилиям сэра Мэтью Гэла, восстановлена без письменного ограничения или условия со стороны народа, хотя и подразумеваемыми условиями со стороны Карла. До этого монархию ограничивали две крупные силы — пуританство и предания конституционной свободы; теперь первая из них возбудила ненависть в массе народа, а вторая была подорвана исходом междоусобной войны. Но среди всех проявлений показной лояльности великой «революции XVII в.», как ее верно называли, спокойно продвигалась вперед. Верховная власть постепенно переходила от короны к палате общин. Шаг за шагом парламент приближался к решению политической задачи, которую он так долго тратил свои силы, — задачи положить свою волю в основу административной работы, не беря последней на себя. Только с

да внимательно за этим переходом власти и отмечая последовательные шаги к его осуществлению, можем мы понять сложную историю Реставрации и революции.

Первые действия нового правительства доказывали понимание того, что, хотя народ и был настроен чрезвычайно лояльно, но лояльность эта вовсе не была слепой преданностью кавалеров. Главную роль в деле Реставрации, в сущности, играли пресвитериане, все еще сохранявшие свою силу, так как и магистратура, и вся местная власть оставались почти исключительно в их руках. Первое министерство, образованное Карлом, носило на себе печать компромисса между этой могущественной партией и ее старыми противниками. Самым влиятельным его членом был сэр Эдуард Гайд, советник короля во время его изгнания, скоро сделавшийся графом Кларендоном и лордом-канцлером. Лорд Саутгемптон, ревностный роялист, получил место лорда-казначей; преданность Ормонда была награждена герцогским титулом и званием обер-гофмейстера. Собственно, интересы парламента были представлены Монком, сохранившим командование армией с титулом герцога Альбемарля; хотя генерал-адмиралом был назначен брат короля Яков, герцог Йоркский, но на деле управление флотом находилось в руках одного из приверженцев Кромвеля Эдуарда Монтегю, нового графа Сэндвича. Хранителем тайной печати были назначены старый пуританин лорд Сэй и Сил. Один из главных членов той же партии сэр Эшли Купер был награжден за содействие осуществлению Реставрации сперва назначением в Тайный совет, а затем титулом барона и должностью лорда казначейства. Из двух государственных секретарей один, Николэс, был ревностным роялистом, другой, Морис, — упорным пресвитерианином. Из тридцати членов Тайного совета 12 участвовали в борьбе против короля.

Очевидно, от подобного министерства трудно было ожидать следования чисто реакционной политике, и таким образом, настроение нового правительства вполне отвечало настроению Конвента, когда он объявил себя парламентом и приступил к обсуждению мер, потребных для умиротворения страны. Конвент был выбран на основании правил, лишивших права голоса «неблагонамеренных» роялистов, и масса его членов состояла из людей, сочувствующих пресвитерианству, глубоко преданных монархии, но столь же враждебных деспотизму, как и сам Долгий парламент. Когда в одном из первых заседаний один из членов стал утверждать, что люди, сражавшиеся против короля, такие же преступники, как и его убийцы, он навлек на себя суровое порицание председателя. Уже первая мера, принятая палатой, — закон о ненаказуемости и забвении всех проступков, совершенных во время последних смут, — доказывала умеренность общин.

В сущности, на наказании цареубийц пресвитерианин мог настаивать так же усердно, как и кавалер. В первые дни по возвращении Карл издал воззвание, в котором обещал помилование всем судьям казненного короля, которые явятся на суд; но несмотря на это, он настаивал на наказании людей, которых считал убийцами своего отца, и лорды оказывали ему в этом горячую поддержку. К чести общин нужно сказать, что они постоянно противились требованию казней. По первоначальным постановлениям Закона об амнистии и забвении прощения лишались только семь из уцелевших цареубийц; закон этот обсуждался три месяца, в течение которых пыл роялистов усилился, что и заставило палату привлечь к суду почти всех цареубийц; тем не менее для казни тех, кто подчинился воззванию, требовалось особое постановление парламента, и это сохранило жизнь большинству из них. В конце концов было привлечено 28 судей короля, но из них было казнено только тринадцать, да и из тех только один, генерал Гэррисон, играл сколько-нибудь заметную роль в возмущении; двадцать других, выдвинувшихся в то время, которое теперь было принято называть «смутным», были лишены права занимать государственные должности. Но перед окончательным принятием закона в него произвольно было введено постановление, прямо лишавшее общего помилования сэра Гэрри Вэна и генерала Лэмберта, хотя они не принимали участия в казни короля. Больше трудностей представило для Конвента решение имущественных вопросов, вызванных конфискациями и передачами имений во время междоусобий. Возвращение государству коронных земель не вызвало сопротивления, но Конвент пожелал защитить права приобретателей церковных земель и владельцев частных имений, конфискованных Долгим парламентом или следовавшим за ним правительством. Но приготовленные с этой целью проекты были задержаны уловками Гайда, и по окончании сессии епископы и изгнанные роялисты спокойно вступили во владение своими прежними имениями. Эта всеобщая конфискация далеко не удовлетворила роялистов. Штрафы и секвестр имений разорили всех ревностных сторонников роялизма и заставили многих из них поневоле продавать свои имения; теперь они требовали вознаграждения за свои потери и уничтожения этих продаж. Без таких постановлений, говорили фанатики роялизма, закон только закрепит «безнаказанность врагов короля и забвение его друзей». Но тут Конвент упорно стоял на своем. Закон объявил действительными все земельные отчуждения и воспретил требовать вознаграждения за убытки, причиненные секвестром имений. Определив положение народа, Конвент перешел к выяснению отношений между народом и короной. Конституционная работа Долгого парламента вовсе не была уничтожена; напротив, более

важные его меры молчаливо были приняты за основу дальнейшего управления. Ни один голос не потребовал восстановления Звездной палаты, монополий или суда Высокой комиссии; никто не оспаривал справедливости осуждения корабельной подати или подтверждения права одного парламента разрешать субсидии короне. Правда, милиция была подчинена королю; зато армия была распущена, хотя Карлу и было позволено сохранить несколько полков в качестве гвардии. Доход короны был определен в 1 200 000 фунтов, и сумма эта была назначена королю пожизненно; такое назначение могло бы оказаться опасным для свободы, если бы назначенные для покрытия его налоги не давали постоянно меньшего дохода, а текущие расходы короны, даже в мирное время, не превышали значительно его. Но и за это назначение Конвент потребовал дорогой платы. Власть короны над рыцарскими ленами, какими было большинство английских поместий, утратила особую денежную ценность, но косвенно оставалась источником значительного влияния. Право опеки и выдачи замуж давало государю полную возможность производить сильное давление на всех землевладельцев в их общественных и семейных отношениях. При Елизавете правом опеки пользовались для того, чтобы обеспечить воспитание в протестантской вере всех малолетних католиков; при Якове и Карле опека над малолетками жаловалась придворным фаворитам или открыто продавалась с торгов предлагавшим всего больше. Но для короны в этих правах всего важнее было то политическое влияние, какое она через посредство их могла оказывать на поместное дворянство. Помещик, естественно, старался заручиться расположением государя, который скоро мог явиться опекуном его дочери и управителем его имения. Те же побуждения, какие заставляли корону держаться за эти права, побуждали парламент стремиться к их упразднению.хлопоты его об этом при Якове I разбились об упорное сопротивление короля; но в течение смут права эти надолго исчезли, и потому восстановление их при Реставрации оказалось почти невозможным. Одним из первых действий Конвента и было освобождение дворянства от притязаний короны на сбор при переходе имений на опеку, поставку припасов и преимущественную покупку, а также обращение рыцарских ленов в земли, принадлежащие на общем праве. Взамен этих прав Карл получал ежегодную субсидию в 100 000 фунтов. Эту сумму первоначально предполагалось получить через обложение земель, таким образом, освобожденных от феодальных повинностей, но потом она была получена менее справедливым путем общего обложения.

Вопросы политические Конвенту удалось разрешить удачно; менее успеха он имел в деле переустройства церкви. В своей Бредской декларации

Карл обещал уважать свободу совести и принять все законы, какие для обеспечения ее представит ему парламент. Большинство членов Конвента были пресвитерианами; но скоро выяснилась невозможность сохранения чисто пресвитерианской системы: «Масса народа, — писал из Лондона проныцательный наблюдатель, шотландец Шарп, — предана епископату и служебнику». Тем не менее Конвент еще надеялся на некоторое изменение епископского управления, которое позволило бы массе пуритан остаться членами церкви. Правда, значительная часть наличного духовенства принадлежала к индипендентам, для которых никакое соглашение с епископтом не было возможно, но большинство его было умеренными пресвитерианами, и «из опасения худшего» оно готово было принять предложенный архиепископом Эшером план церковного устройства, по которому епископ являлся только председателем епархиального совета пресвитеров, и опущением «суеверных обрядов». Сначала и сам король склонялся к подобному компромиссу, и на собрании обеих партий была прочитана королевская декларация, указывавшая на одобрение им требований пуритан, а вместе с ней ходатайство индипендентов о даровании им религиозной свободы. Король предлагал даровать свободу не только индипендентам, но и всем христианам; но в вопросе терпимости к католикам и англиканцам, и пуритане были заодно и отвергли предложение, внесенное в палату общин сэром Мэтью Гэлом, — обратить декларацию в закон. Было обещано новое совещание, но при бездействии парламента епископальная партия смело воспользовалась своими законными правами. Еще остававшиеся в живых из изгнанных священников вернулись в свои приходы, епископы — в свои епархии, а роспуск Конвента уничтожил последнюю надежду на примирение с церковью. В течение его сессии волна роялизма поднималась все выше, и влияние этого сказалось в позорном деле, совершенном по приказу самого Конвента. Трупы Кромвеля, Брэдшо и Айртона были вырыты из могил, повешены на виселицах в Тайберне, а тела Пима и Блэка были перенесены из Вестминстерского аббатства на кладбище Св. Маргариты. На выборах новый парламент усердие к церкви и королю устранило всякую надежду на умеренность и соглашение. «Злонамеренность» теперь перестала считаться преступлением, и в выборах снова приняли участие избиратели, давно подававшие голосов: священники, поместные дворяне, фермеры. Число пресвитериан в этом роялистском парламенте упало до 50 человек. Новая палата общин состояла большей частью из молодых людей, сохранявших слабое воспоминание о тирании Стюартов в их детстве, но живо помнивших деспотизм республики в их зрелые годы. Вся их деятельность представлялась ожесточенным восстанием против пуританского прошлого.

Трезвому наблюдателю Роджеру Пепису они казались «безбожнейшими ребятами, проклетия которых ему когда-либо в жизни приходилось слышать». Сначала рвение парламента далеко опередило желания Карла и его министров. Правда, он подтвердил прочие постановления Конвента, но от него с трудом можно было добиться подтверждения Закона об амнистии. Общины настояли на преследовании Вэна. На стороне последнего был одинаково и смысл закона, и обещание короля Конвенту — не допускать казни Вэна, даже если он будет изобличен в измене. Теперь его привлекли к суду по обвинению в измене королю, «лишенному своей власти изменниками и мятежниками», и его горячая защита послужила предлогом для казни: «Он слишком опасный человек, чтобы его оставить в живых, если мы можем спокойно устранить его», — писал Карл с отличавшим его хладнокровием. Церкви новые депутаты были преданы еще более, чем королю. Общие страдания сблизили дворян и англиканское духовенство; в первый раз со времен Реформации английское дворянство выказывало преданность не одному королю, но церкви и королю. В начале своей сессии общины приказали всем членам принять причастие и торжественно, через палача, сожгли в Вестминстере лигу и «Ковенант». Закон, исключавший епископов из палаты лордов, был отменен. Совещание англиканцев с пресвитерианами только обострило их отношения, и в служебник было внесено несколько изменений с целью скорее вызвать раздражение, чем примирить с ним пуритан.

Впрочем, новый парламент руководствовался не одним стремлением к мести: он желал также восстановить политическое устройство, насильственно нарушенное междоусобной войной; в этом деле руководителем роялистов являлся самый деятельный из конституционалистов, последовавших за Фоклендом в 1642 г., Гайд, теперь граф Кларендон и лорд-канцлер. На его взгляд, церковь и парламент составляли главные части правительственной системы Англии, через которую должна была проявляться власть короны. Под его-то руководством и обратился парламент к проведению и в церкви, и в государстве того начала единообразия, на котором настаивал министр. Главными противниками подобной политики были пресвитериане, опору которых составляли городские корпорации, в сущности, избиравшие депутатов от городов. Поэтому была сделана попытка отнять у пресвитериан городские должности при помощи строгого закона о корпорациях, требовавшего раньше допущения к муниципальным должностям, принятия причащения по обрядам англиканской церкви, отказа от лиги и «Ковенанта» и признания того, что ни в каком случае недопустимо поднимать оружие против короля. Еще более сильный удар был нанесен пуританам возобновлением Закона об единообразии, не только

предписывавшего употреблять во всяком общественном богослужении англиканский служебник, но и требовавшего от всякого служителя церкви полного согласия со всем его содержанием; в то же время, в первый раз со времени Реформации, были объявлены не имеющими силы все посвящения, кроме совершенных руками епископов. От духовенства потребовали того же, что и от корпораций, а также ручательства, что оно не будет стремиться к переменам в церкви или государстве. Напрасно Эшли горячо вставал против билля в палате лордов; напрасно пэры требовали пенсий для смещаемых священников и освобождения школьных учителей от обязательной подписки; напрасно даже Кларендон, чувствуя, что дело идет тут о слове короля, настаивал на внесении в закон оговорок, позволявших королю не освобождать от исполнения его требований. Общины отвергли все примирительные предложения, и Карл дал, наконец, свое согласие на билль, обещая в то же время, в силу своей власти, задержать его применение.

Но англиканский парламент твердо намеревался провести закон, и в день Св. Варфоломея 1662 г., последний из назначенных для выполнения его требований, около 2000 священников, почти одна пятая всего духовенства Англии, были как диссентеры изгнаны из своих приходов. Такой коренной перемены в составе служителей церкви еще никогда не происходило. Преобразования Реформации произвели мало перемен в самом духовенстве. Даже строгости Высокой комиссии при Елизавете окончились изгнанием нескольких сот священников. Очень заботился об устранении из духовенства пуритан Лоуд, но его рвение парализовалось оговорками закона и усилением пуританского настроения во всем духовенстве. Большая перемен принесла междоусобная война, но перемены эти происходили постепенно и в большинстве случаев вызывались мотивами скорее политическими или нравственными, чем религиозными. Священников лишали места за их роялизм или непригодность к служению по лености, порочности или неумению проповедовать. Перемена, произведенная в день Св. Варфоломея, носила чисто церковный характер и стояла совсем особняком по своей внезапности и широте. Изгнанные священники были самыми учеными, деятельными членами своего класса. В их руках находилось большинство крупных приходов страны. Как лондонское духовенство, по общему мнению, стояло во главе духовенства всей Англии, так они стояли во главе духовенства Лондона. Они занимали высшие места при обоих университетах. Ни один проповедник Англии, кроме Джереми Тейлора, не мог соперничать с Гау. Ни один пастор не был таким знаменитым полемистом или неутомимым приходским священником, как Бэкстер. А за ними стояла пятая часть всего духовенства — люди, своим рвением и трудом распростра-

нившие по всей стране никогда не виданные прежде благочестие и религиозность. Но изгнание их было для англиканской церкви не просто потерей их личных услуг. Это было окончательное устранение сильной партии, со времен Реформации игравшей самую деятельную и широкую роль в жизни церкви. Таков был результат усилий, повторявшихся постоянно с восшествия Елизаветы, — поставить английскую церковь в более тесные отношения с реформатскими исповеданиями материка и в большее согласие с религиозными стремлениями народа. С этого времени английская церковь заняла вполне обособленное положение среди всех церквей христианского мира. Реформация безвозвратно отделила ее от церквей, еще сохранявших повиновение папе. Закон об единообразии отверг всякое посвящение, кроме епископского, и тем отделил ее так же безвозвратно от общей массы протестантских церквей — как лютеранских, так и реформатских. Отрезанная, таким образом, от всякого здорового общения с внешним миром, она впала во внутреннюю неподвижность. Устранение пуританского духовенства вдруг остановило всякие реформы, всякие стремления к преобразованию, всякое национальное развитие. С этого времени и до настоящего епископальная церковь была не в состоянии отвечать на изменяющиеся духовные нужды своих сторонников какими-либо изменениями в своем устройстве или богослужении. Среди всех церковных общин западного христианства она одна за последние двести лет не сумела придумать ни одного нового прошения или славословия. Но если следствия Варфоломеевского дня оказались пагубными для духовной жизни английской церкви, то на дело религиозной свободы он повлиял в высшей степени плодотворно. В эпоху Реставрации религиозная свобода казалась снова утраченной. Только индепенденты и несколько презираемых сект, вроде квакеров, поддерживали право каждого человека служить Богу, согласно велениям своей совести. Масса пуритан с пресвитерианами во главе, заодно со своими противниками, добивалась единообразия если не веры, то богослужения во всей стране, и если бы две главные партии не разошлись, их влияние оказалось бы почти непреодолимым. К счастью, великий раскол Варфоломеевского дня изгнал пресвитериан из церкви, к которой они тяготели, и принудил их заключить союз с сектами, которые они до того ненавидели почти так же сильно, как и епископов. Общие страдания скоро объединили диссентеров. Гонение разбилось о численность, богатство и политическое влияние новых сектантов, и в первый раз в своей истории церковь оказалась лицом к лицу с организованным союзом диссентеров, стоявших вне ее. Невозможность сокрушить подобный союз принудила английских политиков впервые признать юридически свободу богослужения в Законе о тер-

пимости; за первым шагом скоро последовали другие, и это постепенно лишило церковь почти всех тех исключительных преимуществ, какими она пользовалась как религиозная корпорация, и теперь грозит остаткам ее официальной связи с государством. Но пока эти дальнейшие последствия нас еще не занимают. Здесь достаточно отметить, что с Законом об единообразии и устранением пуританского духовенства в церковной и политической истории Англии впервые выступает новое начало — раскол и влияние его толков.

Внезапный взрыв жестокого преследования превратил разочарование пресвитериан в отчаяние. Многие были за удаление в Голландию; другие предлагали бегство в Новую Англию и американские колонии. Между тем Карл хотел воспользоваться борьбой двух главных партий протестантов, чтобы обеспечить католикам терпимость и в то же время восстановить свое право — освобождать от исполнения законов. Воззвание короля, возмущавшее его намерение освобождать от назначаемых законом наказаний «тех, кто, живя мирно, не подчиняется ему по внушению смущенной совести, но скромно и без соблазна отправляет свою службу по-своему», возбуждало новые надежды на защиту. Для исполнения обещания, данного еще в декларации, в 1663 г. был внесен билль, дававший Карлу власть освобождать не только от требований Закона об единообразии, но и от наказаний, назначаемых законами, касающихся церковного согласия или церковных испытаний. Вожди пресвитериан согласились в совете воспользоваться помощью декларации, но масса диссентеров не желала, чтобы их жалобами пользовались, как средством для доставления обходным путем терпимости католикам или для восстановления произвольной власти, устраненной во время междоусобных войн. Затем ненависть англиканцев к диссентерам была еще усилена подозрением — будто последние заключили с католиками тайный союз, в котором участвует и король; поэтому они оказали решительное сопротивление. Палаты обратились сразу и против тех, и против других противников. Своим обращением к Карлу они заставили его взять назад обещание терпимости. Затем они вынудили у него приказ, изгонявший всех католических священников. За ним последовал (в 1664 г.) Закон о собраниях, подвергавший штрафу, заточению, а в третий раз ссылке все лиц, собиравшихся в числе более пяти для церковной службы не по англиканскому служебнику; возвращение или бегство из ссылки наказывалось смертью. Через год Закон о пяти милях завершил кодекс преследования. В силу его всякий священник, отставленный на основании Закона об единообразии, был обязан присягнуть в том, что он считает незаконным по каким бы то ни было предлогом поднимать оружие против короля и

будет никогда «стремиться к каким-либо переменам в управлении церковью и государством». В случае отказа ему запрещалось приближаться на пять миль к тому городу или местечку, где он обыкновенно служил. Так как большинство диссентеров принадлежало к городскому и промышленному классу, то целью этой меры было лишить их всякого религиозного наставления. Предложение распространить требуемую этим законом присягу на весь народ было отвергнуто в той же сессии большинством всего шести голосов. Между тем страдания диссентеров не могли остаться без влияния и симпатии народа. Жажда мести, вызванная насилиями пресвитериан в годину их торжества, была теперь удовлетворена их унижением в годину поражения. Вид благочестивых и ученых священников, изгоняемых из их жилищ и приходов, религиозных собраний, разгоняемых полицией, проповедников, сажаемых на скамью подсудимых бок о бок с ворами и отбросами общества, тюрем, наполненных честными энтузиастами, единственной виной которых являлось благочестие, — все это красноречивее всевозможных доводов говорило в пользу веротерпимости. О размерах преследования мы можем судить по тому, что нам известно о влиянии его на одну только секту. Своими странными обычаями — отказом носить оружие и приносить присягу — квакеры возбудили тревогу, и против них был издан особый закон. Они составляли одну из самых мелких раскольничьих общин, но скоро более 4000 их было посажено в тюрьму, из них 500 в одном Лондоне. Через двенадцать лет королевская Декларация о терпимости возвратила свободу 1200 квакерам, заключенным в тюрьму. О страданиях изгнанных священников нам сообщает один из их числа, Ричард Бэкстер: «Несколько сот их, со своими женами и детьми, не имели ни приюта, ни хлеба... Несмотря на крайнюю бережливость, они с трудом могли существовать; некоторые питались почти только черным хлебом и водой; многим приходилось содержать семью на восемь фунтов в год, так что в течение шести недель у них не появлялось на столе мяса; их средства едва доставляли им хлеб и сыр. Один священник шесть дней пахал, а в воскресенье проповедовал; другой вынужден был для поддержания жизни заниматься резанием табака». Но нужда была для них еще не главной бедой. Над ними издевались комедианты, на улицах их встречала воем толпа: «Многие священники, не решаясь отказаться от сана, в который они были посвящены, проповедовали желавшим их слушать в поле и частных домах, пока их не схватывали и не кидали в тюрьму, где многие из них погибали». Епископский суд отлучал их от церкви или подвергал штрафу за непосещение службы; явилась масса доносчиков, занимавшихся выслеживанием их ночных сборищ. Эллейн, автор известного «Увещания к необращенным», умер в

36 лет от страданий, перенесенных им в Таунтонской тюрьме. Вавесёр Пауэл, апостол Уэльса, провел 11 лет, следовавших за Реставрацией, в тюрьмах Шрусбери, Саутси и Кардифа, пока не погиб во Флите. Джон Бениан 12 лет просидел в Бедфордской тюрьме.

Мы уже знакомы с той атмосферой напряженного чувства, в которой провел свою юность Бениан. С детства ему слышались голоса с неба и являлись видения; с детства также он боролся с подавляющим чувством греховности, только усилившимся впоследствии под влиянием болезни и повторного избавления от смерти. Но несмотря на его упреки себе, он вел благочестивую жизнь, и принятие его на 17-м году в «новое войско» доказывало чистоту и скромность его юности. Через два года война окончилась, и Бениан, имея едва двадцать лет, оказался женатым на «благочестивой» девушке, столь же юной и бедной, как и сам он. Молодая пара была так бедна, что вместе едва могла достать ложку и тарелку, и эта домашняя бедность, быть может, только усиливала мрачное беспокойство и религиозную подавленность молодого медника. Жена делала все возможное, чтобы ободрить его; так как он позабыл свое школьное учение, то она снова научила его читать и писать и читала с ним две небольшие «божественные» книги, составляющие его библиотеку. Но мрак все сильнее охватывал его мечтательную душу: «Я пошел, — рассказывает он нам об этом времени, — в соседний город, сел на уличную скамейку и глубоко задумался о том ужасном состоянии, до которого довели меня мои грехи; после долгого размышления я поднял голову, и мне показалось, будто солнце, светившее в небе, отказывает мне в свете и будто сами камни на улице и черепицы на кровлях ополчаются на меня. Мне показалось, будто все они сговорились жить меня со света. Они отвергали меня, и я плакал о том, что мне приходится жить среди них, так как я погрешил против Спасителя. О, как счастливы были все твари надо мной! Они стояли прочно и сохраняли свои места, а я погиб и умер». Наконец, после более чем двухлетней борьбы мрак рассеялся. Бениан почувствовал себя «обращенным» и избавленным от бремени своих грехов. Он присоединился к общине баптистов в Бедфорде и через несколько лет стал известным проповедником. Так как формально он не занимал места священника в общине, то его проповедь даже при протекторате была незаконной и, по его словам, «вызывала большое неудовольствие богословов и священников этого графства», но он продолжал без особенно сильных стеснений до Реставрации. Однако через шесть месяцев после возвращения короля он был заключен в Бедфордскую тюрьму по обвинению в проповеди на неразрешенных собраниях, и так как он отказал в обязательстве воздерживаться от проповеди, то его держали там

12 лет. Тюрьма была наполнена такими же, как он, заключенными, среди которых он продолжал свое служение; пропитание он доставал себе плетением нитяных кружев с наконечниками, а некоторое утешение ему доставляли письменные принадлежности, которые ему было дозволено иметь при себе в тюрьме. Но он был в цвете лет: ему было всего 32 года, когда его посадили в тюрьму; поэтому он с трудом переносил бездеятельность и разлуку с женой и маленькими детьми: «Разлучение с женой и бедными детьми, — говорит он с трогательной простотой, — часто мучило меня там; подобно сдиранию мяса с костей, и это не только потому, что я, пожалуй, слишком был привязан к этим великим благам, но и потому, что я часто представлял себе массу лишений, бедствий и недостатков, какие должна была терпеть с моим удалением моя бедная семья, особенно бедный слепой ребенок, заботивший меня более всех прочих. Мысли о тех страданиях, каким должен был подвергаться мой бедный слепец, разрывали мне сердце на куски. «Бедное дитя, — думал я, — что за горе будет твоим уделом на земле! Тебя будут бить, ты будешь нищенствовать, терпеть голод, холод, наготу и тысячу бед, а мне теперь трудно позволить ветру веять на тебя». Но страдания не сломили его духа, и Бениан нашел в широкой литературной деятельности возмещение тесноты пределов своей тюрьмы. Быстро следовали один за другим его трактаты, полемические статьи, поэмы, размышления: «Полнота благодати», «Святый град». В тюрьме же написал он первую и главную часть своего «Шествия паломника». Его издание в 1672 г. было первым следствием освобождения автора по Декларации о помиловании, а приобретенная им с самого начала популярность доказывает, что религиозные симпатии английского народа все еще оставались преимущественно пуританскими. До смерти Бениана в 1688 г. было распродано уже десять изданий «Шествия паломника», и хотя век спустя даже Каупер, из опасения вызвать насмешки образованных современников, едва решался сослаться на него, но в средних классах и у бедняков его популярность со времени автора и до наших дней все росла. Теперь эта самая популярная и распространенная из всех английских книг. Нигде не видно так ясно, какую массу новых образов внесло в английскую жизнь изучение Библии. Язык Бениана отличается большей простотой, чем речь любого из великих писателей Англии, но в то же время это язык Библии. Образы, встречающиеся в «Шествии паломника», заимствованы у пророков и евангелистов, а для нежных излияний он прямо берет стихи из Песни песней, а небесный град он рисует словами Апокалипсиса. Но Библия так полно слилась с жизнью Бениана, что ее обороты представляются естественным выражением его мыслей. Он так сжился с Библией, что ее слова стали его

собственными. Его рассказ отличается такой же естественностью, что аллегории становятся живыми существами: «болото отчаяния» и «замок сомнения» представляются нам столь же реальными, как и места, которые мы видим каждый день. В этой поразительной реальности олицетворения проявляется творческий талант Бениана, но это далеко не единственное его достоинство. По своему содержанию, непосредственности, полной достоинства простоте, по смелости переходов от живого диалога к драматическому действию, от простого пафоса к страстной серьезности, по тонкости и нежности вкуса, часто отличающей его детские выражения, по капризному юмору и смелой обрисовке характеров, по ровности и уверенности переходов из мрачной долины смерти в страну, «где обыкновенно пребывают просветленные, так как она находится на границах неба», по своему светлому добродушию, не нарушаемому ни одним горьким словом, — «Шествие паломника» принадлежит к лучшим английским поэмам. Если пуританство впервые открыло поэтическое чувство, пробуждаемое в простейших душах соприкосновением с духовным миром, то Бениан первый из пуритан открыл эту поэзию внешнему миру. Путешествие Христиана из «града разрушения» в «град небесный» — просто рассказ о жизни пуританина, подобного самому Бениану, рассказ, окрашенный мечтательным идеализмом, возвеличивающим и прославляющим мельчайшие происшествия. Сам Бениан является паломником, бегущим из «града разрушения», забирающимся на «холм затруднения», борющимся с Аполлионом, созерцающим переход своих любимцев через «реку смерти» по направлению к «небесному граду» и то, как «они, приятно беседуя по пути, несутся в воздушном пространстве, так как холм, на котором расположен град, выше облаков».

Успешное проведение системы религиозного преследования зависело главным образом, от поддержания мира; а между тем, в то время как Бениан томился в Бедфордской тюрьме и церковь продолжала жестоко преследовать отщепенцев, Англия терпела ряд горьких унижений и внешних потерь. Формальный трактат 1662 г. усыпил старое торговое соперничество голландцев и англичан, все еще проявлявшееся в мелких схватках на море, но затем она снова оживилась вследствие уступки Бомбея, открывшей Англии доступ к прибыльной торговле с Индией, и вследствие учреждения в Лондоне Вест-Индской компании, начавшей торговлю с Золотым Берегом Африки. Спор разгорелся в войну. Парламент единогласно назначил крупные субсидии; короля увлекли надежды разрушить пресвитерианское республиканское правительство Голландии и желание отомстить за оскорбления, нанесенные ему голландцами во время изгнания. Началась страшная

ная борьба на море. Упорная битва близ Лауэстофте окончилась победой английского флота; но в следующем, 1666 году в сражении с Рюйтером на широте Северного мыса только прибытие принца Рупрехта спасло от гибели, после двухдневного боя, Монка и его флот. Упорный адмирал возобновил сражение, но оно снова окончилось в пользу Рюйтера, и англичане искали себе убежища в Темзе. Их флот был истреблен, но и потери неприятеля едва были меньше: «Английских матросов можно перебить, но нельзя победить», — сказал Де Витт, и это утверждение было верно для обеих сторон. Третья битва, столь же упорная, как и предшествовавшие, окончилась торжеством англичан — их флот объехал берега Голландии, истребляя корабли и города. Но Голландия была так же непобедима, как и Англия, и голландский флот скоро снова был возобновлен и соединился в Ла-Манше с французским. Между тем к бедствиям войны присоединилась внутренняя беда. За шесть месяцев предыдущего года сотня тысяч лондонцев перемерла от заразы, разившейся в густо населенных улицах столицы, а за заразой последовал пожар, начавшийся в центре Лондона и обративший в пепел всю часть города от Тауэра до Темпля. Он истребил 1300 домов и 90 церквей. Потери товарами и имуществом были неисчислимы. Казна оказалась пуста, корабли и укрепления — без вооружения, когда голландский флот показался при Норе, без сопротивления поднялся по Темзе до Грэвзенда, прорвал цепи, защищавшие Медуэй, сжег три военных корабля, стоявших в реке на якоре, и затем гордо, как властитель Ла-Манша, объехал южный берег Англии.

Глава III · Карл II (1667—1673)

Гром голландских пушек на Медуэе и Темзе пробудил в Англии чувство глубокого унижения. Увлечение лояльностью исчезло: «Теперь всякий, — говорит Пепис, — вспоминает Оливера и прославляет его за то, что он совершил великие подвиги и заставлял всех соседних государей бояться себя». Но преемник Оливера хладнокровно смотрел на этот позор и недовольство народа, желая только воспользоваться им для своей личной выгоды. Для Карла II унижение Англии было простым ходом в политической игре, которую он вел в такой тайне и с таким искусством, что она не только ввела в заблуждение лучших наблюдателей его времени, но и теперь еще обманывает современных историков. Подданные видели в своем короле веселого вельможу со смуглым лицом, игравшего со своими собачками,

или рисовавшего карикатуры на своих министров, или бросавшего в парк печенье водяным птицам. По внешнему виду Карл был совершеннейшим лентяем. По словам одного из его придворных, «его восхищало чарующее удовольствие, называемое гульбой». Деловитый Пепис скоро заметил, что «король думает только об удовольствиях и ненавидит саму мысль о деле». Он только засмеялся, когда Том Килигрю прямо сказал ему, что как ни плохо идут дела, но есть человек, искусство которого скоро может их поправить, «это — некий Карл Стюарт, который теперь тратит свое время на болтовню о дворе и не имеет другого занятия». Никто не сомневался в том, что у Карла были большие природные таланты. Раньше, в пору поражений и опасностей, он выказал холодное мужество и присутствие духа, никогда не изменявшие ему в опасные минуты его царствования. Его характер отличался веселостью и общительностью, его манеры — изяществом, а его обращение — непринужденностью и любезностью, которые очаровывали всех сближавшихся с ним. Его образование было настолько небрежно, что он с трудом мог читать простую латинскую книгу; но его природное остроумие и понятливость сказывались в занятиях химией и анатомией и в интересе, с каким он следил за научными исследованиями Королевского общества. Как и у Петра Великого, его любимым предметом было кораблестроение, и он гордился своим искусством в этом деле. Он любил также немного искусство и поэзию и не был лишен музыкального вкуса. Всего более проявлялись его остроумие и живость в его бесконечной болтовне. Он любил рассказывать истории и рассказывал их очень весело и остроумно. Юмор никогда не покидал его: даже на смертном одре он обратился к окружавшим его и плакавшим придворным и шепотом попросил у них извинения в том, что так безбожно долго умирает. Он мог состязаться с остроумцами своего двора и в остроумной беседе не отставал от Седли или Бекингема. Даже Рочестер в своей беспощадной эпиграмме должен был признать, что Карл «никогда не говорил глупостей». Он унаследовал от деда его энергичный язык, которому его обычная ирония часто придавала забавный оборот. Когда его брат, самый непопулярный человек в Англии, стал торжественно предостерегать его от заговоров против его жизни, Карл насмешливо посоветовал ему отбросить всякие опасения: «Они никогда не убьют меня, Яков, — сказал он, — чтобы сделать тебя королем». Но и мужество, остроумие и таланты, казалось, были даны ему напрасно. Он не видел работу, наблюдатели не замечали в нем следов честолюбия. Единственная вещь, которой он, казалось, интересовался серьезно, были чувственные удовольствия, и он предавался им с таким циничным бесстыдством, которое вызывало отвращение даже в его циничных придворных

Одна любовница следовала за другой, а раздача титулов и имений познакомила мир с позором ряда порочных женщин. Побочные дети короля были введены в ряды английской знати. Фамилия герцогов Графтонов происходит от связи короля с Барбарой Вилльерс, которую он пожаловал титулом герцогини Кливлендской. Герцоги Сент-Олбанс обязаны своим происхождением его интриге с актрисой и куртизанкой Нелли Гвинн. Луиза де Керуаль, любовница, присланная из Франции для привлечения Карла на ее сторону, сделалась герцогиней Портсмутской и родоначальницей дома Ричмонд*. Одна из ранних любовниц — Люси Уолтерс была матерью ребенка, которого король сделал герцогом Монмут и от которого ведут свой род герцоги Беклей; но есть сильные основания сомневаться в том, что Карл действительно был его отцом. Карл не довольствовался этими признанными любовницами или одной этой формой самоуслаждения. Игры и попойки помогали ему заполнять свободные промежутки, когда он не болтал со своими фаворитками и не держал пари в Ньюмаркете. Его уму были совершенно чужды упреки совести или стыда. Однажды он сказал, что «не может поверить, чтобы Бог делал человека несчастным только за доставление себе небольшого лишнего удовольствия». От стыда его избавляло циничное неверие в добродетель человека, он считал ее простой уловкой, при помощи которой ловкие лицемеры проводят простаков. Мужская честь представлялась ему таким же притворством, как и женское целомудрие. У него не было чувства благодарности, так как единственным мотивом человеческих действий он считал эгоизм: солдаты умирали за него, женщины рисковали жизнью, а он «любил других так же мало, как мало считал себя ими любимым». Но не питая благодарности за благодеяния, он не чувствовал и гнева за обиды. Он был неспособен ни к любви, ни к ненависти. Единственным чувством, которое он сохранял к людям, было легкое пренебрежение.

Англичанам было трудно допустить, чтобы их свободе могла грозить серьезная опасность со стороны такого лентяя и сластолюбца, каким был Карл II; но в самой трудности поверить этому и заключалась сила короля. В сущности, он не питал никакого пристрастия к деспотизму предшествовавших ему Стюартов. Его остроумие издевалось над устарелыми теориями деда, а личное правление, увлекавшее его отца, представлялось тягостным для беспечности сына. Он был слишком насмешлив, чтобы придавать значение пышности и демонстрации власти, и слишком добродушен, чтобы играть роль тирана. Но, подобно отцу и деду, он твердо верил в старые

* В числе ее потомков Диана Спенсер (1961–1997), принцесса Уэльская.

права короны и, подобно им, относился к парламентам подозрительно ревниво. По словам Бернета, «он сказал лорду Эссексу*, что не желает походить на султана, окруженного несколькими немymi и мешками шнурков для удушения людей, но и не считает себя королем, пока кучка молодых надзирает за его действиями и контролирует его министров и его счета». По его мнению, «король, действия которого стеснены и министры которого привлекаются к отчету, является королем только на словах». Другими словами, у него не было определенного стремления к деспотизму, но он старался править как можно самостоятельнее и не переставал с начала до конца царствования стремиться к достижению этой цели. Шел он к ней разными путями, которые трудно было заметить и преградить. В случае сильного сопротивления он делал уступки. Когда общественное мнение требовало отставки министров, он их отставлял. Когда оно восставало против Декларации о помиловании, он брал ее назад. Когда под влиянием паники, вызванной заговором католиков, оно требовало жертв, он давал их, пока паника не прошла. Карлу легко было уступать и выжидать и так же легко возвращаться к своему плану, когда давление исчезало. Единственное твердое решение, бравшее в уме короля верх над всеми другими мыслями, было намерение не отправляться снова в свои странствия». Падение его отца было вызвано столкновением с палатами, и Карл намерен был поддерживать с парламентом хорошие отношения, пока у него не будет сил начать борьбу с надеждой на успех. В сношениях с лордами он выказывал любезную доверчивость, отнимавшую у оппозиции ее серьезность. «Из прений забавляют меня», — говорил он со свойственной ему беспечностью, и, болтая, выдерживал огонь, в то время как пэры, один за другим осыпали упреками его министров, и смеялся громче всех других, когда Шефтсбери осыпал грубейшими насмешками бездетную королеву. При дворе поручалось тайно воздействовать на общины; непослушные дворяне приглашались в кабинет короля для целования его руки и выслушивания забавных рассказов о бегстве его после битвы при Уорчестере; еще более упрямых подкупали. Когда подкуп, лесть и бездействие оказывались недостаточными, Карл прибегал к уступкам и выжиданию лучшего времени. А между тем он продолжал терпеливо собирать уцелевшие остатки прежней королевской власти и пользоваться представлявшимися ему новыми средствами. Он не мог разрушить сделанного пуританством в Англии, и

* Имеется в виду Артур Кепель (1631/32–1683), граф Эссекс (с 1661 г.), государственный деятель эпохи Реставрации. Лорд-наместник Ирландии (1672–1677). Вместе с Сендерлендом и Галифаксом составлял «триумвират» (1678), определявший политику страны.

мог уничтожить то, что оно создало в Шотландии и Ирландии. До междоусобной войны эти королевства служили существенными ограничениями для английской свободы; теперь представлялось возможным снова воспользоваться ими для этого, просто признав юридически незаконным объединение, произведенное Долгим парламентом и протектором. Отказывая унии в признании, Карл встречал поддержку в общественном мнении Англии, отчасти просто не любившем реформ, произведенных в эпоху «смут», отчасти опасавшемся того, что представители Шотландии составят в английском парламенте партию, всегда готовую к услугам короны. В Шотландии и Ирландии мера эта представлялась до некоторой степени восстановлением их независимости и потому была в это время популярна. Но следствия ее скоро обнаружились. В Шотландии тотчас же был отменен «Ковенант». Новый шотландский парламент в Эдинбурге, прозванный «Пьяным», проявил еще больший роялизм, чем английские кавалеры: одним решением он отменил все постановления своих предшественников за последние 28 лет. Эта мера лишила юридического основания все тогдашнее устройство шотландской церкви. Уже Кромвель запретил созывать Общее собрание; теперь были уничтожены церковные соборы и съезды пресвитеров. Епископам Шотландии снова были возвращены духовное влияние и место в парламенте. Незаконное осуждение привело к казни маркиза Аргайла, единственного вельможу, способного противиться воле короля. Управление страной было вверено кучке распутных политиков, а затем оно попало в руки Лоудердейла, самого способного и самого бессовестного из министров короля. Их политика преследовала две цели — уничтожение пресвитерианства, как единственной силы, которая могла вернуть свободу Шотландии, и образование армии, которая в случае нужды могла перейти границу и поддержать короля. В Ирландии отмена унии возвратила епископов в их епархии; но как ни старался Карл восстановить равновесие католиков и протестантов как источник могущества короны, ему помешало упорное сопротивление протестантских поселенцев, восстававших против всякой мысли об отмене конфискаций Кромвеля. Пять лет упорной борьбы ограбленных роялистов и новых владельцев не поколебали преобладания протестантов, и, несмотря на словесное возвращение старым владельцам трети отобранных владений, в руках католиков осталась едва шестая часть удобных земель острова. Притом требования герцога Ормонда заставили предоставить ему управление, а преданность герцога Ормонда отличалась такой умеренностью и законностью, что он не мог стать орудием планов деспотического управления, игравших большую роль в следующее царствование при герцоге Тирконнеле. Но и само по себе отделение от Англии двух

королевств было выигрышем для королевской власти, и Карл спокойно обратился к созданию английской армии. Постоянное войско сделалось для массы народа — и больше всего роялистов, раздавленных солдатами Кромвеля, — предметом такой ненависти, что предлагать учреждение ее было невозможно. А между тем, по мнению Карла и его брата Якова, гибель их отца объяснялась отсутствием организованной силы, которая могла бы подавить первые порывы национального сопротивления. Поэтому, распуская «новое войско», Карл воспользовался тревогой, вызванной безумным восстанием в Лондоне кучки «людей пятой монархии» под командой старого солдата по имени Венера, и удержал на службе гвардии 5000 конницы и пехоты. Таким образом, король постоянно имел при себе наготове отряд «знатных и старых солдат, прекрасно одетых и обученных и на отличных конях», и, несмотря на возбуждаемый этим соблазн, он осторожно, но упорно продолжал постепенно увеличивать его численность. Через двадцать лет она возросла до 7000 пехоты и 3700 конницы с резервом из шести отдельных полков, состоявших на службе у Соединенных провинций.

Но Карл был слишком проницателен, чтобы, подобно своему брату Якову, верить в возможность подавить свободу Англии при помощи одной королевской гвардии или нескольких тысяч солдат. Еще менее возможно было подавить такими средствами, как он того желал, английский протестантизм. Верен или нет рассказ об отречении его от протестантизма во время его изгнания, но в душе Карл давно перестал быть протестантом. Уцелевшее еще у него религиозное чувство было целиком на стороне католицизма; он поощрял переходы в него среди своих придворных, и последним его делом при жизни была просьба о формальном принятии его в лоно римской церкви. Но чувства его носили, скорее, политический, чем религиозный характер. В то время католики составляли в Англии гораздо большую часть населения, чем теперь; их богатства и местное влияние придавали им такое политическое значение, которое они с тех пор давно утратили; и чувство благодарности и собственный интерес побуждали Карла выполнить свое обещание и доставить им свободу богослужения. Но он не ограничивался терпимостью, а уже заглядывал и вперед. Он понимал, что деспотизму политическому трудно уживаться со свободой исследования действий в делах совести и что, по его собственным словам, «управлять вернее и легче там, где власть считается непогрешимой и народ верит и покоряется безусловно». Благодаря его долгому пребыванию в католических странах и его собственному религиозному скептицизму, затруднения на пути к такому религиозному преобразованию, вероятно, представлялись ему не крупными. Уже через два года после Реставрации он отправил агента в Рим

определить условия примирения англиканской церкви с папством. Для успеха своих планов терпимости он сильно рассчитывал воспользоваться несогласиями между англиканцами и диссентерами, но скоро заметил, что для осуществления своих политических и религиозных стремлений ему нужно искать средства вне Англии. В это время преобладающей в Европе державой была Франция. Ее молодой король Людовик XIV являлся всюду поборником католицизма и абсолютизма в их борьбе с политической и религиозной свободой. Франция была богатейшей из держав Европы, и ее субсидии могли устранить зависимость Карла от парламента. Ее армия была лучшей на свете, и ее солдаты, казалось, могли сокрушить любое восстание английских патриотов. Только при помощи Людовика Карл мог добиться своих целей, и он готов был заплатить цену, которой Людовик требовал за свою помощь, — содействовать выполнению его планов против Испании. Испания в это время не только перестала угрожать Европе, но сама боялась угроз Франции. Людовик намеревался довершить ее ослабление, приобрести владения испанцев в Нидерландах и, наконец, обеспечить наследование испанского престола для французского принца. Но присутствие французов во Фландрии было одинаково нежелательно для Англии и Голландии, и потому в этой борьбе Испания могла рассчитывать на помощь как этих держав, так и империи. Несколько лет Людовик довольствовался тем, что совершенствовал свою армию и искусными переговорами мешал образованию против него союза великих держав. Первым его успехом в Англии был брак короля. Португалия только что сбросила с себя иго Испании и попала в полную зависимость от Франции; несмотря на протесты Испании, Карл принял руку Катарины Браганцской и тем выразил свое согласие на союз с Людовиком. Общественное мнение Англии заметило опасность такого шага и круто повернуло в сторону Испании. Уже в 1661 г. лондонская чернь поддержала испанского посла в уличном споре с французским о первенстве: «Мы все от природы любим испанцев, — говорит Пепис, — и ненавидим французов». Брак с Катариной и продажа Франции Дюнкерка, единственного плода побед Кромвеля, вызвали в народе сильное недовольство французским влиянием; одно время казалось, что война с Голландией окончится войной с Людовиком. Голландская война служила сама по себе камнем преткновения для планов Франции. Помочь одной стороне значило заставить другую сторону искать помощи у Австрии и образовать союз, который остановил бы успехи Франции. Только мир мог удерживать государства Европы в разъединении и позволить Людовику выполнить его план захвата Фландрии. Его попытка посредничества осталась без успеха; поражение при Лауэстофте заставило его подать помощь Голлан-

дии, а известие об этом возбудило в Англии надежду на войну. Когда Карл объявил об этом палатам, «они, — по словам Лувуа*, — разразились громкими криками, вызванными надеждой на борьбу с нами». Но Людовик осторожно ограничил свои усилия локализацией борьбы на море, а между тем Англия, страдая от бедствий внутренних и внешних, с трудом могла продолжать войну. За появлением голландского флота на Темзе внезапно последовало в 1667 г. заключение Бредского мира, снова открывшего простор для дипломатических интриг Людовика XIV.

Во всей Англии господствовало сильное раздражение, целиком обрушившееся на одного Кларендона. Карл был очень рассержен, когда в 1663 г. его предложение предоставить короне право диспенсации встретило явное сопротивление со стороны Кларендона. И пресвитериане, представляемые Эшли, и католики, руководимые графом Бристолем, одинаково стремились низвергнуть его; при дворе его противником был Беннет, впоследствии граф Арлингтон, креатура короля. Но Кларендон был все еще силен своим близким знакомством с делами короля, браком его дочери Анны Гайд с герцогом Йоркским, своими деловыми способностями, но более всего поддержкой церкви и доверием роялистов и англиканцев палаты общин. Потерпев неудачу в своих усилиях сместить его, противники воспользовались завистью торгового класса, чтобы против воли вовлечь его в войну с Голландией, и скоро их расчеты оправдались, хотя канцлер, несмотря на протесты Эшли, сумел провести через палаты Закон о пяти милях. Война разрушила согласие Кларендона с парламентом. Парламент был раздражен его советом распустить палаты, его предложением набрать армию без парламентского разрешения, его отказом допустить ревизию его счетов; в это видели попытку восстановить ненавистную для народа постоянную армию. Карл мог, наконец, избавиться от министра, так долго державшего его в границах; канцлер был отставлен от должности и принужден был искать убежища во Франции. Вследствие изгнания Кларендона, смерти Саутгемптона и удаления Ормонда и Николэса, в совете исчезла партия конституционных роялистов и вперед выдвинулась под руководством Эшли партия первоначально представлявшая пресвитериан и не стеснявшаяся купить терпимость ценой усиления прав короны. До сих пор церковная политика Карла не имела успеха, благодаря упорству парламента, влиянию Кларендона и нежеланию массы пресвитериан получить от короля «прощение» за

* Мишель Ле Теллье, маркиз де Лувуа, (1639–1691) — французский государственный деятель, военный министр. Много сделал для реорганизации французской армии. Оказывал большое влияние на внешнюю политику.

признание католицизма и права короны освобождать от выполнения статуты парламента. Первые шаги нового министерства — освобождение диссентеров, разрешение им вновь устраивать собрания, приостановка действия «Акта о единообразии» — стояли в явном противоречии с желаниями обеих палат. Но когда в 1668 г. Карл снова предложил своим советникам установить всеобщую терпимость, он встретил с их стороны не больше поддержки, чем в 1663 г. Даже Эшли изменил свое мнение. Вместо терпимости они требовали объединения протестантов, которое совсем расстроило бы планы короля, и палате общин был предложен проект примирения протестантов, одобренный умеренными богословами обеих сторон: Тиллотсоном и Стиллингфлитом — со стороны англиканцев, Мэнтоном и Бэкстером — со стороны диссентеров. Даже отвержение его не могло вернуть Эшли и его партию к их прежнему взгляду. Они все еще были за терпимость, но за такую, благодетельную которой не распространялись на католиков, «так как законы объявили начала римской церкви, несовместимыми с безопасностью особы и правительства» вашего величества. В сущности, политика совета определялась положением внешних дел. Людовик скоро показал, почему, на самом деле, он так сильно настаивал на примирении Англии и Голландии. Нейтралитет императора он обеспечил себе тайным договором о разделе испанских владений между обоими монархами в случае, если король Испании умрет, не оставив наследника. Англия, на его взгляд, была в руках Карла и, подобно Голландии, слишком истощена последней войной, чтобы вмешиваться в новую. Поэтому в самый день подписания договора он прямо выставил свои притязания на Нидерланды, и его армия тотчас двинулась в поход. В два месяца была занята большая часть Фландрии и шесть крепостей; Франш-Конте было захвачено в 17 дней. Голландия протестовала и обратилась за помощью к Англии, но сначала ее призыв остался без ответа. На деле Англия тайно предлагала свой союз последовательно Голландии, Испании и Франции. От последней в награду за помощь против Голландии, и может быть Испании, она требовала участия в возможном разделе испанских владений и предоставления ей в таком случае земель Испании в Новом Свете. Но все ее предложения были одинаково отвергнуты. С каждым часом необходимость действовать становилась все яснее, и постепенно более широкие взгляды вытесняли мечты об исключительно национальных приобретениях. Победы Людовика, внезапное проявление могущества Франции вызывали страх перед католицизмом даже в наиболее терпимых умах. Люди инстинктивно чувствовали, что на карту ставится само существование протестантизма, а с ним и гражданской свободы. Сам Арлингтон был женат на голландке и долго жил в Испании; не-

смотря на свою преданность католицизму, он больше имел в виду политические интересы Англии и неизменное со времени Елизаветы стремление ее политиков не допускать французов во Фландрию. Заметив опасность, Людовик старался успокоить общую тревогу предложением Испании мира и в то же время писал Тюренну*: «Я занимаюсь планами далеко не невозможными и намерен во что бы то ни стало привести их в исполнение». Действительно, три армии готовы были напасть на Испанию, Германию и Фландрию, когда Арлингтон послал в Гаагу сэра Уильяма Темпля, и заключение (1668) «тройственного союза» между Англией, Голландией и Швецией заставило Людовика подчиниться предложенным им же самим условиям и подписать Ахенский мир.

Редкий договор пользовался такой популярностью, как «тройственный союз»: «Это единственный хороший шаг, сделанный, с прибытия короля в Англию», — говорит Пепис. Даже Драйден, писавший с точки зрения торж, причислял разрыв этого союза к худшим злодеяниям Шефтсбери. Формально союз просто обязывал Людовика принять предложенные им самими условиями мира, и притом условия выгодные; но на деле он совсем расстраивал планы короля. Он осуществлял то соглашение европейских держав, о которое, по смутному предчувствию Людовика, должно было разбиться его честолюбие. Арлингтон стремился сделать союз ядром более крупной коалиции: он старался не только продолжить его, но и включить в него швейцарские кантоны, империю и Австрийский дом. Старания его не имели успеха; но Тройственный союз носил в себе зародыши Великого союза, покончившего с Европой. Англии он тотчас вернул славу, утраченную ею со смертью Кромвеля. Он служил доказательством того, что Англия снова входит в общий поток европейской политики и прямо принимает участие в равновесии за главное условие благополучия всей Европы. Но гордость Людовика была задета вмешательством не столько Англии, сколько Голландии; по его выражению, «его задело за живое то, что его планы в самый момент их осуществления были расстроены народом лавочников». Людовик применил это название к голландцам задолго до того, как Наполеон обозвал им англичан. Если он удержался от немедленного нападения, то только с целью вернее обеспечить себе мщение. В четыре года, последовавшие за Ахенским миром, его постоянной целью было изолировать Голландию, обеспечить себе при нападении на нее нейтралитет империи, разбить Тройственный союз, оторвав от него Швецию и привлекая на свои

* Анри де Ла Тур д'Овернь, виконт де Тюренн (1611–1675) — великий французский полководец, маршал. Смертельно ранен в бою с австрийцами.

сторону Карла, — одним словом, оставить Голландию без помощи, кроме платонического расположения Бранденбурга и Испании. Его дипломатия всюду имела успех, но нигде этот успех не был так полон, как в Англии. Успех Тройственного союза на минуту пробудил у Карла гордость, но он никогда не отказывался серьезно от своей политики и, наконец, решился принять деятельное участие в ее осуществлении. Ясно было, что от новых министров он не может ожидать поддержки для своих старых планов — доставить католикам терпимость, что на деле министры стремятся к такому объединению протестантов, которое может стать роковым для его планов. С этого момента он решился искать себе помощи у Франции. Едва был заключен Тройственный союз, как Карл выразил Людовику свое намерение вступить с ним в наступательный и оборонительный союз. Он сознавал, что во всем королевстве он один желает такого союза, но был намерен исполнить свое желание, что бы ни думали об этом его министры. Он думал или привлечь их на свою сторону, или перехитрить. Подобно королю, двое из них, Арлингтон и сэр Томас Клиффорд, были в душе католиками; Карл пригласил их вместе с герцогом Йоркским, уже принявшим тайно католицизм, и двумя католическими вельможами на совещание. Обязав их к молчанию, он объявил себя католиком и просил указать средства к утверждению в королевстве католицизма. Было решено за помощью для этого обратиться к Людовику, и Карл, говоря словами французского посланника, «стал просить у короля покровительства, надеясь, что его могучее влияние поможет ему в исполнении его плана — изменить к лучшему настоящее положение церкви в Англии и поставить свою власть так, чтобы возможно было удерживать подданных в должном повиновении». Поражение Голландии было необходимо для успеха планов Карла и Людовика, и едва высохли чернила, которыми был подписан Тройственный союз, как Карл обещал свое содействие планам Людовика, направленным на унижение Голландии и присоединение Фландрии. Он предложил объявить себя католиком и вместе с Францией напасть на Голландию, если Людовик назначит ему ежегодную субсидию в один миллион. В случае, если король Испании умрет, не оставив сына, Карл обязался поддерживать притязания Франции на Фландрию, а Людовик обещал свое согласие на подчинение Англии испанских владений в Америке. Через год (в мае 1670 г.) на этой основе был заключен тайный договор при свидании Карла с его сестрой Генриеттой, герцогиней Орлеанской, в Дувре. По условиям его Карл должен был объявить о своем обращении, а в случае, если этот шаг вызовет какие-либо беспорядки, его должны были поддержать французские субсидии и армия. Обе державы должны были объявить Голландии войну, причем Анг-

лия выставляла небольшую сухопутную армию, но принимала на себя главную тяжесть борьбы на море за ежегодную субсидию в 300 000 фунтов.

Лучшим доказательством политической безнравственности века служит тот факт, что посредником при заключении Дуврского договора Карл выбрал себе именно Арлингтона, виновника Тройственного союза; но для всех, кроме Арлингтона и Клиффорда, обращение короля и его политические планы оставались совершенно неизвестными. От партии, представлявшей в Королевском совете старых пресвитериан, от Эшли, Лоудердейла или герцога Бекингема было бы невозможно получить согласие на Дуврский договор; но было возможно выманить у них одобрение войны с Голландией, играя на их стремлении добиться терпимости для диссентеров. Поэтому король отложил объявление о переходе в католичество и, при посредстве Бекингема, завел для вида переговоры, окончившиеся заключением подложного договора, который был сообщен Лоудердейлу и Эшли. О церковных преобразованиях и об обещании Франции помочь их осуществлению в нем вовсе не упоминалось, а говорилось только о совместной войне против голландцев. Такая война по форме не была нарушением Тройственного союза, целью которого служила просто охрана владений Испании, и в 1671 г. у Эшли и его товарищей удалось выманить согласие на не обещанием терпимости на указанных ими условиях. Действительно, Карл уступил в этом пункте, на котором прежде настаивал, и по требованию Эшли обещал, что католики терпимостью не воспользуются. После заключения сделки и обмана министров Карлу оставалось только провести парламент. В 1670 г., под предлогом поддержания Тройственного союза, король потребовал большой субсидии для флота; парламент назначил ее, а весеннее заседание его были отсрочены. Противодействие народа планам короля было так сильно, что он был вынужден начать как можно скорее военные действия. За нападением на голландский конвой тотчас последовало объявление войны. Новые средства для нее доставило закрытие казначейства, прекращение по совету Клиффорда уплаты капитала и процентов по займам, произведенным казной. Мера эта принудила половину лондонских банкиров прекратить платежи, но объявление войны доставило Эшли и его товарищам так дорого купленную ими терпимость. В силу своей церковной власти король приказал (в 1672 г.) «прекратить с этого дня применения всякого рода уголовных законов против всех диссентеров или уклоняющихся» и предоставил свободу богослужения всем диссентерам, кроме католиков, которым было дозволено служить мессе только в частных домах. Если что могло оправдывать сделку, при помощи которой Эшли и его товарищи купили терпимость, так что именно результаты декларации. Пос

ле долголетнего изгнания священники вернулись к своим очагам и своей пастве; моельни снова открылись; тюрьмы опустели. Бениан покинул свою Бедфордскую тюрьму; сотни квакеров, на которых особенно обрушивалось преследование, получили возможность отправлять по-своему богослужение.

Но в массе диссентеров Декларация о терпимости не вызывала выражений благодарности. Как ни дорожили они терпимостью, для них были еще дороже общие интересы религии; а теперь опасность грозила не только им, но и национальной свободе, вообще. Сначала успех союзников представлялся полным. Французская армия перешла через Рейн, без сопротивления заняла три области и выдвинула свои передовые отряды до самого Амстердама. Только искусство и отчаянная храбрость голландских моряков под командой Рютера помогли им в упорной битве с английским флотом под начальством герцога Йоркского у берегов Сеффорка. Торжество английского кабинета выразилось в возвышении вождей обеих партий. Эшли был назначен канцлером и лордом Шефтсбери, Клиффорд — лордом-казначеем. Голландцев спасло их упорное мужество, раздраженное неумеренными требованиями победителя. Успех плана обоих дворов зависел от быстроты и неожиданности нападения; а между тем приближалась зима, когда военные действия прекращались. Смерть Де Витта, главы крупного купечества, поставила во главе республики принца Вильгельма Оранского. Несмотря на свою молодость, он тотчас обнаружил холодное мужество и упорство своих предков: «Неужели вы не видите, что ваша родина погибла?» — спросил его герцог Бекингем, посланный в Гаагу для переговоров. «Есть верное средство не видеть ее гибели, — отвечал Вильгельм, — это — умереть в последнем рве». Весной положение изменилось. Непокколебимая твердость Вильгельма спасла Голландию и отнимала у Франции одну область за другой. В Англии зимняя проволочка истощила так бессовестно собранные средства, а закрытие казначейства подорвало кредит и сделало невозможным новый заем. В 1673 г. пришлось обратиться к общинам, собравшимся в очень недоверчивом настроении. Несмотря на всю непопулярность войны, они оставили ее в стороне. Все прочие чувства заглушало смутное опасение, как нам теперь известно, оправдывавшееся фактами, что существует бессовестный договор против свободы и церкви. Явилось подозрение, что все вооруженные силы страны находятся в руках католиков. Герцога Йоркского считали тайным папистом, а он командовал флотом. Католики были офицерами в армии, набиравшейся для войны с Голландией. Любовница короля леди Кастлмейн (с 1670 г. герцогиня Кливлендская) открыто перешла в католицизм, и были сильные сомнения насчет протес-

тантизма короля. Всюду носилось подозрение, что составлен заговор с целью утвердить католичество и деспотизм и что орудиями для него служат война и терпимость. Перемена в настроении общин обнаружилась в образовании так называемой с этого времени национальной партии, с лордом Расселом, лордом Кавендишем и сэром Уильямом Ковентри во главе; она сочувствовала стремлению диссентеров к религиозной терпимости, но считала своей главной обязанностью противодействовать планам двора. Относительно Декларации о терпимости все партии палаты были единодушны. Общины постановили, «что действие уголовных законов по церковным вопросам может быть приостановлено только с согласия парламента», и отказали в субсидиях до отмены декларации. Король уступил; но едва она была отменена, как через обе палаты прошел без сопротивления «Акт об испытании» (Test Act), требовавший от всех чиновников и офицеров присяги на подданство и верховенство короля, отречения от пресуществления и принятия причащения по обрядам англиканской церкви. Было известно, что протестантские диссиденты готовы отказаться от всех возражений против присяги и причащения и что, таким образом, закон лишит католиков всякого участия в управлении. Клиффорд тотчас предложил сопротивление; Бекингом имел смелость высказаться за движение армии на Лондон. Но субсидия все еще была разрешена, и Арлингтон, видя, что исчезла всякая надежда на выполнение «великого плана», советовал Карлу уступить. У короля оставалось одно средство — распустить палату, но при данном настроении народа новый парламент мог оказаться еще более непримиримым, чем настоящий, и потому король неохотно уступил. Редкая мера вызывала когда-либо более поразительные последствия. Герцог Йоркский признал себя католиком и отказался от должности генерал-адмирала. Массы возбужденного народа собрались вокруг дома лорда-казначея, услышав, что и Клиффорд объявил себя католиком и сложил с себя должность. За их отставкой последовали отставки сотен других офицеров и чиновников короны. Это произвело на общественное мнение удивительное действие: «Я не решаюсь сообщать все странные толки, ходящие в городе», — говорит Эвелин. Отставки считались доказательством существования тех опасностей, против которых был направлен Тест-акт. С этого момента исчезло всякое доверие к Карлу: «Если бы король, — сказал с горечью Шефтсбери, — имел счастье родиться частным человеком, он, наверное, считался бы за человека с хорошими способностями, отлично воспитанного и добродушного, но как государь он поставил себя теперь в такое положение, что никто на свете, ни мужчина, ни женщина, не решается полагаться на него или довериться его словам и дружбе».

Глава IV

Данби (1673—1678)

Обнаружение вероломства короля всего более потрясло в Англии канцлера лорда Шефтсбери. Эшли Купер гордился той проницательностью, с какой он распознавал характеры людей, его окружавших, и тем политическим чутьем, которое подсказывало ему предстоявшие перемены. Он отличался удивительной самоуверенностью. Еще в детстве он спас свое состояние от жадности опекунов смелым обращением к Ною, бывшему тогда генерал-прокурором. Студентом в Оксфорде он устроил восстание новичков против стеснительных обычаев, навязываемых им старшими членами колледжа, и добился отмены их. В 18 лет он был членом Короткого парламента. В начале междоусобной войны он принял сторону короля, но среди его успехов предусмотрел гибель его дела, перешел на сторону парламента, связал свою участь с судьбой Кромвеля и стал членом Государственного совета. Но он был строгим сторонником парламента, и установление деспотического управления отдалило его от Кромвеля, а временная опала в последние годы протектората только усилила его оппозицию, много содействовавшую падению республики. Его жестокие нападки на умершего протектора, его интриги с Монком и ревностное содействие, в качестве члена Государственного совета, возвращению короля были награждены при Реставрации пэрством и назначением на одно из самых главных мест в Королевском совете. Эшли было тогда лет сорок. По пренебрежительному замечанию Драйдена, писавшего с торийской точки зрения, он был при республике «громчайшей волынккой в фальшивившей толпе»; но едва он стал министром Карла, как окунулся в придворное беспутство с таким пылом, который удивлял даже его государя: «Вы — худший пес в Англии», — заметил Карл, услышав непристойную шутку своего советника. «Из подданных, государь, я согласен», — был бесцеремонный ответ. Но распутство Эшли было просто маской. На деле, от природы и по привычке, он отличался умеренностью, а его плохое здоровье делало крупные излишества невозможными. Люди скоро заметили, что царедворец, болтавшийся в будуаре леди Кастлмейн или пивший и шутившей с Седли и Бекингом, был трудолюбивым и способным дельцом. Через три года после Реставрации, смущенный Пепис говорил о нем: «Это очень деловой человек, но в то же время преданный удовольствиям и развлечениям». Соперники одинаково завидовали как его ловкости и мастерству в разрешении финансовых вопросов, так и бойкому остроумию, доставившему ему расположение коро-

ля. Даже в более поздние годы его деятельность поневоле вызывала у противников похвалы. Драйден признавал, что как канцлер он был «скор в решениях и легко доступен», и удивлялся его неумолимой деятельности, «отказывавшей его старости в необходимых часах отдыха». Деятельность его представлялась тем более удивительной, что он был очень слаб здоровьем. В молодости с ним произошел случай, оставивший за собой постоянную слабость; признаками ее служили морщины, бороздившие его бледное продолговатое лицо, хрупкость здоровья и нервная дрожь, потрясавшая его хилую фигуру: «Крошечное тело было доводимо до истощения обитавшей в нем пылкой душой». Но слабость и страдания не сопровождались у него мрачным настроением. Эшли подвергался более бессовестным нападкам, чем любой политический деятель, кроме Уолполя; но его недруг Бернет признает, что в его отзывах о противниках никогда не было ни горечи, ни злобы. Даже сокрушительное для них его остроумие обыкновенно отличалось добродушием: «Когда вы перестанете проповедовать?» — ворчливо пробормотал один епископ во время речи Шефтсбери в палате пэров. «Когда стану епископом, государь мой», — ответил тот насмешливо.

Как политический деятель Эшли сильно отличался от современников не только удивительной ловкостью и деятельностью, но и пренебрежением к личной выгоде. Его бескорыстие признает даже Драйден, старательно выискивавший в его характере все слабости. Положение его как политического вождя, на теперешний взгляд, было довольно неловкое. В деле веры он, в лучшем случае, был деистом, несколько странным образом думавшим, «что после смерти наши души живут в звездах». Но, несмотря на свой деизм, он оставался в Королевском совете представителем партии пресвитериан и диссентеров. Он постоянно и усердно защищал терпимость, и эта защита основывалась на чисто политических мотивах. Он видел, что диссентеров не удалось вернуть в церковь преследованием и что оно только внесло в страну раздор, позволявший короне ограничивать народную свободу и лишавший Англию всякого влияния на Европу. Примирить англиканцев и диссентеров можно было единственно при помощи терпимости, но при настроении, господствовавшем в Англии после Реставрации, добиться терпимости можно было только от короля. Поэтому, чтобы приобрести влияние на Карла и обеспечить себе его содействие в борьбе против нетерпимости Кларендона, Эшли пользовался всевозможными средствами — остроумием, беспутством, быстротой в решении дел. Карл, как мы видели, вел свою личную игру и имел свои особые основания поддерживать Эшли в его упорной, но бесплодной борьбе против актов об испытании корпорациях, против Закона об единообразии и против преследования дис-

сентеров. Наконец, фортуна наградила его за бессовестную ловкость, с какой он втянул Кларендона в тяжелую войну с Голландией и воспользовался неудовольствием парламента, чтобы добиться его отставки. При помощи еще более бессовестной сделки, ценой согласия на вторую войну с Голландией, Эшли рассчитывал добиться Декларации о терпимости, освобождения диссентеров, свободы богослужения для всех диссентеров. Масса публики считала его главным виновником и того, что он присоветовал, и того, в чем он несколько не был повинен. Выдерживая бурю накапливающегося недовольства, Эшли в минуту пьяной откровенности узнал тайну религии короля. Он признался другу, что «его тревожит темная туча, собирающаяся над Англией»; но, несмотря на свою тревогу, он все еще считал себя достаточно сильным, чтобы воспользоваться Карлом в своих целях. Принятие канцлерства и графского титула, а также горячая защита войны при открытии парламента еще более связали его с политикой короля. Если верить утверждению французского посла, Эшли узнал от Арлингтона тайну Дуврского договора только после открытия парламента. Было ли это так или у него, как и в массе народа, подозрение превратилось в уверенность, но Шефтсбери увидел, что его обманули. К горечи этого открытия присоединялось сознание того, что он содействовал проведению ненавистных ему планов. Он быстро изменил весь свой образ действий. В Королевском совете он стал настаивать на отмене Декларации о терпимости; в парламенте он с чрезвычайной горячностью защищал «Акт об испытании». Смещение в силу последнего Якова и Клиффорда, на взгляд Шефтсбери, доставило ему преобладание в Королевском совете и подало ему надежду отомстить за испытанный обман, навязав королю свою политику. Он решил покончить с войной. Он мечтал помешать престолонаследию католика разводом короля с его супругой и новым браком с протестантской принцессой. В это время Карл действительно оказался в беспомощном положении. Как он говорил много раньше Людовику, он оказался одиноким в своем королевстве. Тест-акт был принят обеими палатами единогласно. Короля покинули даже диссентеры, предпочитавшие преследование поддержке его планов. Отставка офицеров-католиков лишила его возможности прибегнуть к силе, если он когда и имел это в виду; неудачный ход голландской войны отнял у него всякую надежду на помощь со стороны Франции. Твердость принца Оранского пробудила в его соотечественниках их упорную деятельность. Завоевания французов на суше были поемногу возвращены; на море союзному флоту все не давали ходу ловкие маневры Рюйтера. Не меньше чем на войне были успехи Вильгельма в дипломатии. Опасность, грозившая Европе, наконец, заставила действовать

дом Габсбургов, и союз его с Соединенными провинциями положил основание для «Великого союза». Карл настаивал на продолжении войны; Шефтсбери, как и сам парламент, требовал мира. Для достижения его он вступил в тесный союз с национальной партией в палате общин и приветствовал возвращение в Королевский совет герцога Ормонда и принца Рупрехта, считавшихся главными сторонниками парламента. Влиянию Шефтсбери Карл приписывал выраженное общинами неудовольствие войной и их отказ в разрешении субсидий до предоставления новых церковных гарантий. По его внушению обе палаты представили адрес против предполагавшегося брака Якова с католической принцессой Марией Моденской. Но планы Шефтсбери были вдруг расстроены неожиданным проявлением активности со стороны короля. Едва в ноябре 1673 г. заседания палат были отсрочены, как канцлер получил приказ сдать свою должность.

«Я только сниму мантию и опояшусь мечом», — говорят, ответил Шефтсбери на приказ короля. Слова эти носили довольно невинный характер, так как меч входил в состав обычного дворянского наряда, который он должен был снова надеть, сняв мантию канцлера, и тем не менее они были приняты за скрытую угрозу. Шефтсбери все еще намеревался навязать королю мир с Голландией. Но предстоявшие опасности внушали ему еще больше тревоги, чем настоящие. Наследник престола герцог Йоркский признал себя католиком, и почти все были согласны в том, что в случае вступления его на престол для национальной церкви необходимы гарантии. Но Шефтсбери понимал — и в этом заключалась его главная заслуга, — что гарантии не имеют значения для короля, подобно Якову, убежденного в своем божественном праве и увлекаемого религиозным пылом. С самого начала он задумал добиться от Карла устранения его брата от престола, и революция, в конце концов осуществившая его план, доказала его справедливость. К несчастью, он намеревался бороться с Карлом средствами столь же низкими. Отставка Клиффорда, признание Яковым своего обращения разрушили всякое доверие к честности политических деятелей. Появилась мания подозрений. Пошла глухая молва о католичестве самого Карла. Явилось подозрение, что вопреки Тест-акту тайные католики занимают высшие должности в государстве, и мы знаем, что по отношению к Арлингтону это подозрение было справедливо. Шефтсбери воспользовался этой общей тревогой, еще более усиливавшейся от невозможности предупредить обнаруживающиеся с каждым днем опасности, как средством для проведения своих планов. Он начал усиливать панику слухами о восстании католиков в Лондоне, о предстоящем возмущении Ирландии при поддержке французской армии. Чтобы быть в безопасности от заговора, образован-

ного, по его словам, с целью зарезать его, он переселился в свой дом в Сити. В то же время он быстро организовал в парламенте национальную партию и открыто стал во главе ее. При возобновлении заседаний палат (1674) они представили адрес с требованием удаления министров, «зараженных католицизмом или вредных и опасных в других отношениях». Общины предложили королю отставить Лоудердейла, Бекингема и Арлингтона и распустить войска, набранные с 1664 г. Затем был внесен билль, воспрещавший всем католикам доступ ко двору, другими словами — удалявший Якова из Королевского совета. Еще важнее был билль о гарантиях протестантизма, поддержанный Шефтсбери, Галифаксом и Карлайлом, вождями новой оппозиции в палате лордов: он отнимал право на престол у всякого принца в случае брака его с католичкой. Билль этот, служивший первым проектом позднейшего Закона об устрашении, провести не удалось, но это только усилило волнение и тревогу палат. Шефтсбери деятельно интриговал в Сити, переписывался с Вильгельмом Оранским, настаивал на войне с Францией. Карлу удалось предотвратить войну только обращением к Людовику, который дал ему субсидию, позволившую отсрочить заседания парламента. Но Карл понял, что наступило время уступок: «Дела приняли плохой оборот, — сказал он Темплю в порыве необычайного раздражения, — но если бы мне хорошо служили, я мог бы этим отлично воспользоваться». Уступки его по обыкновению были полными. Он отправил в отставку Бекингема и Арлингтона и заключил мир с Голландией (1674). Но Карл был всего опаснее в минуту поражения; он уже успел наметить новую политику, которая могла парализовать усилия Шефтсбери. С самого начала своего царствования он держался политики равновесия, выдвигая англиканцев против диссентеров, Эшли против Кларендона, отчасти для поддержания своей самостоятельности, отчасти с целью извлечь из политической борьбы некоторые выгоды для католиков. Настроение общин позволило Кларендону парализовать усилия короля. С его падением Карл считал себя достаточно сильным, чтобы отказаться от поддержания политического равновесия, и попытался провести свои планы при поддержке одних диссентеров. Но новая политика оказалась столь же неудачной, как и старая. Диссентеры отказались пожертвовать интересами протестантизма, и их вождь Шефтсбери предложил такие меры, которые разрушали надежды, внушенные католикам обращением Якова. В таком положении Карл решился привлечь к себе общины, прямо приняв ту политику, на которой настаивала палата. Большинство ее составляли англиканцы-кавалеры, считавшие своим представителем в Королевском совете сторонника Арлингтона сэра Томаса Осборна. Король уже пожаловал Осборна в графы Данби и назначил

его на место Клиффорда лордом-казначеем. В 1674 г. он открыто принял политику Данби и его партии в парламенте.

В общем, Данби следовал политике Кларендона. Наравне с ним он был привязан к церкви, ненавидел папство и диссентеров, имел высокое понятие о власти короля, умеряемое верой в парламент и закон. Первые меры его были направлены на ослабление общей паники и закрепление положения Якова. Старшая дочь герцога и после него предполагаемая наследница короны Мария была по приказу короля конфирмована протестанткой. Насчет ее брака были открыты тайные переговоры с Вильгельмом Оранским, племянником короля, в случае устранения Якова и его потомства всего ближе стоявшем к престолу. Такой брак избавлял Якова от единственного соперника, опасного для его притязаний, и в то же время открывал Вильгельму возможность после смерти тестя спокойно вступить на престол. Союз между церковью и короной был подтвержден на совещании Данби с епископами. Первый результат этого сказался в строгом применении закона против тайных собраний и в удалении от двора всех католиков, в то же время созванному в 1675 г. парламенту было дано ручательство в строгом соблюдении Тест-акта. Король изменил свою политику как раз вовремя. При данном положении дел помощь сосредоточивавшейся вокруг Данби партии кавалеров едва избавила Карла от унижительной необходимости отозвать войска, все еще остававшиеся на французской службе. Чтобы добиться большинства в этом вопросе, Данби принужден был прибегнуть к средству, с этих пор в течение почти ста лет игравшему большую роль в английской политике. Он прибег к широким подкупам. Лучше удалось ему отвлечь большинство общин от союза с национальной партией, поддерживая старый дух религиозного преследования. Он предложил распространить «испытание», введенное Кларендоном для городских выборных, на всех чиновников государства — взять со всех членов обеих палат, со всех судей и чиновников обязательство никогда не поднимать оружия против короля и не «стремиться ни к каким преобразованиям протестантской религии, установленной теперь законом в английской церкви и государстве». Епископы и партия кавалеров провели билль через палату лордов; принятию его общинами помешал только ловко раздутый Шефтсбери спор обеих палат из-за преимущества. С другой стороны, у национальной партии осталось достаточно сил, чтобы обставить разрешение субсидий невозможными для короля условиями. Как ни были обрадованы общины обещанием Данби объявить войну Франции, они не могли доверять королю; и Данби скоро пришлось убедиться, как основательно было их недоверие. Едва заседания палат были отсрочены, как Карл познакомил его с пе-

реговорами, которые он все это время вел с Людовиком, и потребовал от министра подписи договора под условием ежегодной пенсии со стороны Франции, обязывавшего обоих государей не вступать в соглашения с другими державами и в случае восстания в их владениях оказывать друг другу поддержку. Подобный трактат не только ставил Англию в зависимость от Франции, но и избавлял короля от всякого контроля парламента. Напрасно Данби просил отсрочки и совещания с советом. Карл ответил на его просьбы собственноручной подписью трактата. Данби был так же обманут королем, как раньше Шефтсбери; но это только побудило его к новым планам с целью освободить Карла от влияния Людовика. Для этого нужно было, прежде всего, помирить короля с парламентом, собравшимся после пятнадцатимесячного перерыва. Этому примирению мешала национальная партия, но Данби решился сломить ее силу при помощи бессовестной придирки, повод к которой подала ошибка Шефтсбери. Последний потерял надежду создать устойчивую оппозицию короне в палате общин, выбранной 15 лет раньше, в пору церковной и политической реакции. Уже прежде он предлагал ходатайствовать о ее роспуске; теперь он стал доказывать, что так как статут Эдуарда III предписал собирать парламенты «раз в год или в случае нужды чаще», то недавняя полугодовая отсрочка парламента юридически прервала его существование. Закон о трехлетии лишал этот довод всякого значения; но Данби увидел в нем неуважение к палате, и по его указанию лорды отправили в Тауэр сторонников роспуска, Шефтсбери, Бекингема, Солсбери и Уартона. Удар этот смутил оппозицию, и Данби предложил меру, которая должна была восстановить доверие встревоженных англиканцев к короне. Билль о безопасности церкви постановлял, что, в случае вступления на престол короля, не принадлежащего к англиканской церкви, назначение епископов должно перейти к наличным прелатам, а дети короля должны быть поставлены под опеку архиепископа Кентерберийского.

Однако у общин билль провалился, и Данби только широким подкупом добился разрешения субсидии. Ход внешней войны за границей настолько усилил в Англии панику, что Данби не мог ее ослабить. Новые успехи французского оружия во Фландрии и поражение принца Оранского при Касселе вызвали во всей стране требование войны. Обе палаты отвечали на это требование адресом к короне; но Карл отразил удар, потребовав субсидий до объявления войны, и когда все еще настроенная подозрительно палата отказала в них, он отсрочил парламент. Новые крупные субсидии со стороны Франции позволили ему продлить эту отсрочку на семь месяцев. Но молчание парламента мало успокоило страну, и Данби воспользовался об-

щим требованием войны, чтобы принудить короля к решительному шагу. Партия кавалеров так же сильно, как и пуритане, желала остановить успехи французов, а Данби хотел загладить свою неудачу внутри и объединить парламент на почве энергичной внешней политики. По обыкновению Карл для видимости уступил. Он сам в это время был недоволен появлением французов на фландрском берегу и сознавался, что, если покинуть Фландрию, «ему нельзя будет никогда жить в мире со своими подданными». Поэтому он позволил Данби указать обеим партиям на необходимость взаимных уступок и выяснить новую политику Англии шагом, который должен был сопровождаться важными последствиями. В Англию пригласили принца Оранского и помолвили с ним Марию, предполагаемую наследницу короны. Брак этот обещал в будущем более тесный политический союз с Голландией и, следовательно, противодействие честолюбию Франции. В стране он был популярен, как брак с протестантом и ручательство за протестантское престолонаследие. Но Людовик был сильно возмущен; он отверг предложенный Англией мир и снова выставил войско в поле. Данби готов был принять вызов; за отзыванием английского посла из Парижа последовал (1678) созыв парламента. На воинственную тронную речь палата отвечала воинственным адресом, назначением налогов, набором войска. Но настоящее объявление войны все еще заставляло себя ждать. В то время как Данби угрожал Франции, Карл старался обратить угрозы в свою пользу и воспользоваться проволочкой для ряда позорных переговоров. В течение их он в награду за свое посредничество перед союзниками потребовал от Людовика новой пенсии на ближайшие три года. Данби снизошел до предъявления этого требования, а Карл прибавил: «Письмо это написано по моему приказу. К. К.». В Остенде высадился отряд из 3000 английских солдат, но союз уже был подорван подозрением относительно настоящей политики короля, и за новую пенсию Карл скоро согласился отозвать свою бригаду. Едва сделка была заключена, как Людовик взял назад предложенные им самим условия мира, в расчете на которые Англия, по-видимому, прекратила действия. Данби еще раз предложил союзникам помощь, но они потеряли всякое доверие к Англии. Державы одна за другой подчинялись новым требованиям Франции; правда, Голландия, первоначально причина войны, была спасена, но Нимвегенский мир сделал Людовика повелителем Европы.

Мир этот был позором для Англии, но он оставил в распоряжении Карла около миллиона французских денег и войско в 20 000 человек, набранное для войны, которую он отказался объявить. Его поведение снова оживило старые подозрения насчет его вероломства и тайного соглашения

Людовиком в видах подавления свободы и церкви Англии. Что такое соглашение существовало, это мы знаем; со времени Дуврского договора надежды католической партии росли еще быстрее паники протестантов. Поэтому католики были сильно огорчены отречением короля от его планов после безуспешной четырехлетней борьбы и его мнимым возвращением к политике Кларендона. Их гнев и отчаяние видны из писем английских иезуитов и из переписки Колмэна. Последний, секретарь герцогини Йоркской и ловкий интриган, настолько ознакомился с настоящими планами короля и его брата, что решился просить у Людовика денег для охраны интересов католиков от враждебности Данби при помощи интриг в парламенте. Отрывок из одного его письма дает нам понятие о безумных, воодушевлявших, более пылких католиках того времени: «Им предстоит великое дело, — писал он, — не меньше чем обращение трех королевств и через это, пожалуй, полное истребление зловредной ереси, так долго господствовавшей над большей частью северного мира. Успех этот нанесет протестантизму сильнейший удар из перенесенных им с самого его появления». Смущавшие умы народа подозрения перешли в тревогу, когда Нимвегенский мир, по-видимому, сделал Карла хозяином положения; этим общим страхом и захотел воспользоваться один из тех низких обманщиков, которые всегда выдвигаются вперед в пору сильного общего брожения, — придумав для этого заговор католиков. Это был Титус Отс, баптистский священник до Реставрации, викарий и корабельный капеллан после нее; оставшись благодаря своему низкому характеру без средств, он искал себе пропитания в обращении к католицизму и был принят в монастыри иезуитов в Вальядолиде и Сент-Омере. Во время своего пребывания в них он услышал о тайном собрании иезуитов в Лондоне; вероятно, это было обычное собрание ордена. Когда его прогнали за дурное поведение, его плодovitая фантазия превратила его единичное собрание в целый заговор с целью ниспровержения протестантизма и убийства короля. Его донос был представлен Карлу, встретившему его с холодным недоверием; но Отс (август 1678 г.) подтвердил истинность его присягой перед лондонским сановником сэром Эдмундом Берри Годфри, и наконец добился вызова в совет. Там он объявил, что ему доверены письма, разоблачающие планы иезуитов. В Ирландии они возбуждали восстание, в Шотландии выступали под видом камеронцев, в Англии хотели убить короля и предоставить престол католику герцогу Йоркскому. Однако представленные им извлечения из писем иезуитов указывали только на огорчение и злобу их авторов, но не доказывали существования преступного плана убийства. Поэтому донос Отса был бы отвергнут с презрением, не будь захвачена переписка Колмэна. Эти письма придали

заговору новый оттенок и поколебали решимость самого Данби, думая, что было отвергнуть разоблачения Отса; убедившись в существовании Карла тайных замыслов, в которых тот не решался признаться, Данби склонился к мысли воспользоваться разоблачениями для того, чтобы парализовать католическую политику короля. Но ростом паники уже воспользовались более ловкие руки. За дело взялся Шефтсбери, выпущенный после долгого заключения и потерявший надежду расстроить политику королем другим способом: «Пусть канцлер как ему угодно громко восстанет против католичества, — сказал он с насмешкой, — я буду кричать еще громче». С той поры как сэра Эдмунда Берри Годфри, того сановника, перед которым Отс изложил свой донос, нашли с ножом в груди на поле близ Лондона, усиления народной ярости не нужно было подстрекательствами. Его смерть была принята за убийство, а убийство — за попытку иезуитов «задушить заговор». Торжественные похороны усилили общее волнение, и обе палаты назначили комиссии для исследования предъявленных Отсом обвинений.

Главой этого следствия стал Шефтсбери. Каково бы ни было при этом его личное честолюбие, во всем последовавшем он преследовал цели, народу широко полезные. Он стремился принудить Карла к роспуску парламента, хотел отставки Данби и образования такого министерства, которое устранило бы зависимость Карла от Франции и дало бы его политический конституционный оборот. Он понимал, что никакие ручательства не устранят опасностей, связанных со вступлением на престол католика, и давался устранению Якова. Но, преследуя эти цели, он опирался, главным образом, на пресловутый заговор. Он усилил общую панику, приняв без расследования новых показаний Отса, в которых тот приписывал участие в заговоре иезуитов пяти католическим пэрам. Пэры были отправлены в Тауэр, а 2000 заподозренных лиц заключены в тюрьмы. Всем католикам прокламация предписала покинуть Лондон. Была призвана к оружию милиция, и по улицам расхаживали патрули в предупреждение предстоящего, по словам Отса, восстания. Между тем Шефтсбери воспользовался никакой для политических целей и в 1678 г. провел через парламент билль, лишавший католиков права заседать в обеих палатах. Запрещение это сохраняло силу в течение полутора столетия; в сущности, оно было направлено против герцога Йоркского, но план Шефтсбери был расстроен вмешательством оговорки, освобождавшей Якова от действия билля. Страх перед заговором, поддерживавшийся четыре месяца свидетельством одного Огюста, начал ослабевать; но обещание награды вызвало донос некоего негодяя имени Бедло, в сравнении с которым разоблачения Отса казались пустыми. Низкое соперничество доводило теперь обоих доносчиков до все большего

чудовищных разоблачений. Бедло клятвенно утверждал существование заговора, имевшего целью высадку католической армии и всеобщее избиение протестантов. Отс превзошел разоблачения Бедло, обвинив перед палатой лордов саму королеву в причастности к заговору против жизни ее супруга. Как ни чудовищны были эти обвинения, они оживили ослабевавшую ярость народа и палат. Арестованных пэров было приказано привлечь к суду. Новая прокламация предписала арест всех католиков королевства. Осуждением и казнью Колмэна начался ряд судебных убийств, о которых даже и теперь нельзя вспомнить без ужаса. Но если бы тревога основывалась только на клятвопреступлении, она скоро выдохлась бы. Мнимый заговор находил себе подтверждение в существовании истинного. Письма Колмэна вызвали доверие к выдумкам Отса; новое открытие как будто подтвердило разоблачения Бедло. С того времени как давление общин и Данби поставило Карла в кажущийся антагонизм к Франции, Людовик решился добиться роспуска парламента, отставки министра и роспуска армии, которую Данби все еще считал орудием против него. Для этой цели французский посланник вступил в переговоры с вождями национальной партии. Английский посол в Париже Ральф Монтегю поссорился с Данби, вернулся на родину и получил место в палате общин. Несмотря на захват его бумаг, он выложил на стол палаты адресованную Людовику депешу с требованием вознаграждения королю за услуги, оказанные им Франции во время последних переговоров. Палата была поражена как громом: как ни сильны были у всех подозрения, но факт зависимости Англии от чужеземной державы никогда раньше не был доказан. Под депешей стояла подпись Данби, и против него тотчас было возбуждено обвинение в государственной измене. Но Шефтсбери больше хотелось добиться избрания нового парламента, чем наказания соперника, а Карл хотел во что бы то ни стало избежать процесса, который не преминул бы раскрыть позорный секрет его внешней политики. На деле Карл был в руках Шефтсбери, и последний достиг, наконец, своей цели. В январе 1679 г., после длиннейшего в истории Англии непрерывного существования, парламент 1661 г. был наконец распущен.

Глава V

Шефтсбери (1679—1682)

Выборы в новый парламент происходили среди сильного национального возбуждения. Они доставили большинство англиканцам и поместным дворянам, разделявшим общую тревогу. Еще до созвания их в марте их

настроение оказало влияние на политику короля. Карл отправил Якова Брюссель, начал распускать армию, обещал скоро отставить Данби. В своей тронной речи он потребовал субсидий для поддержания протестантской политики своего правительства во внешних делах. Но отворотить падение Данби было невозможно: общины настаивали на обвинении его перед палатой лордов. Оказалось необходимым отставить его от должности казначея и образовать новое министерство. Президентом совета сделался Шефтсбери, а его членами — лорды Рассел и Кавендиш, вожди национальной партии, вместе с лордами Голлсом и Робертсом, прежними представителями пресвитериан, выдвинувшихся среди общей оппозиции. Вслед за своим другом Шефтсбери вступил в министерство Джордж Сэвил, лорд Галифакс, до тех пор известный только как пламенный и ловкий оратор. Лорд Сендерленд был призван в совет; лорды Эссекс и Кэпел, двое из самых популярных вождей национальной партии, были назначены казначеями. Приглашение сэра Уильяма Темпля, виновника Тройственного союза, посла в Гааге, на посту государственного секретаря предвещало такую внешнюю политику, которая должна была снова высоко поставить Англию среди европейских держав. Темпль принес с собой правительственный план, правда, неудавшийся, но представлявший большое значение, так как он указывал на незаметно происходившее в конституции изменение. Подобно многим современникам, его одинаково тревожило преобладание и короны, и парламента. В моменты народного возбуждения сила палат представлялась неотразимой: они низвергли сначала Кларендона, затем Клиффорда с товарищами; они только что добились отставки Данби. Но, оказываясь под конец достаточно сильными для отщипывания за плохое управление, они не выказывали столько силы, чтобы обеспечить хорошее управление или оказывать постоянное влияние на политику короны. В течение девятнадцати лет Карл, несмотря на непрерывность заседаний парламента, проводил во внешней политике свою личную волю. Вопреки воле народа он вел одну войну и отказался начать другую, когда народ ее потребовал. Во англичане ненавидели Францию, а Карл поставил Англию в полную зависимость от французского короля. Впоследствии найдено было очень простое средство для устранения этого. Под влиянием изменения, которое нам еще придется описывать, министерство превратилось в комитет чиновников, назначаемых большинством палаты общин из числа главных его представителей в обеих палатах для проведения его воли. Такой порядок, очевидно, делает правительство точным отражением народной воли до тех пор, пока большинство палаты общин представляет сильнейший поток общественного мнения. Теперь этот порядок представляется вполне естествен-

ным; но до тех пор он не приходил в голову ни одному английскому политику. Даже Темлю единственным выходом из затруднения представлялось возвращение Королевскому совету его прежних полномочий. Учреждение это составлялось из высших чинов двора, королевских секретарей (министров) и казначея, а также из нескольких вельмож, особо приглашаемых в него государем. До конца царствования Елизаветы оно составляло своего рода совещательное собрание, на рассмотрение которого король обыкновенно вносил важнейшие административные вопросы; но рядом с этим издавна существовал обычай предварительно рассматривать их в более тесном собрании важнейших советников. При Якове этот Тайный комитет, известный тогда как *Cabal*, начал уже совсем заменять целый совет. В широком совете, образовавшемся после Реставрации из представителей разных партий, вся суть власти принадлежала комитету из Кларендона, Саутгемптона, Ормонда, Монка и двух секретарей; после падения им наследовали Клиффорд, Арлингтон, Бекингам, Эшли и Лоудердейл. По чистой случайности первые буквы их фамилий составили слово *cabal* (шайка, клика), навсегда сохранившее тот плохой смысл, какой ему придала их непопулярность. Образование этих мелких комитетов, без сомнения, устранило те ограничения, какие налагала на корону большая численность и широта состава Королевского совета. Собранию крупных вельмож и наследственных сановников никогда нельзя было бы представить бессовестные планы, опозорившие в глазах англичан Клиффорда и его товарищей. Поэтому Темплю представлялось, что преобразование совета может создать такие ограничения для чисто личного управления, каких не мог представлять парламент. С этой целью комитет — или кабинет, как теперь начали называть доверенное отделение совета, — был уничтожен, а число членов совета ограничено тридцатью; их общий доход не должен был падать ниже 300 000 фунтов, суммы, немного уступавшей оценке дохода всей палаты общин. Темпл надеялся, что это собрание главных вельмож и землевладельцев, не слишком многочисленное для тайных совещаний и достаточно богатое для уравнивания как общин, так и короны, составит оплот против насилий и захватов одной власти и будет ограничивать толый деспотизм другой.

Новый совет и новое министерство подавали большие надежды на разумное и патриотическое управление, но затруднений предстояло еще много. Подозрения и страх доводили народ до иступления. Выборы в парламент происходили среди страшного возбуждения, не оставлявшего места для кандидатов двора. Правда, образование нового министерства было встречено общей радостью, но вопрос о наследовании престола отеснил

все другие назад. В основе народной паники лежал страх перед королем-католиком — страх, вполне оправданный позднейшей историей Якова. Шефтсбери настаивал на устранении Якова, но пока большинство совета еще отступало перед этим шагом и поддерживало план Карла, предлагавшего сохранить права герцога Йоркского, но ограничить его полномочия как монарха. Этот план предполагал отнять у него при вступлении на престол назначение на церковные должности. Последний парламент предыдущего короля должен был продолжать свои заседания, а назначение всех членов совета, судей, наместников и флотских офицеров, на время, пока на престоле остается государь-католик, предоставлялось обоим палатам. Размер этих ограничений указывает на силу давления, испытанного Карлом; но Шефтсбери был, без сомнения, прав, когда отверг этот план, признавая его недостаточным и неисполнимым. Он продолжал защищать устранение в Королевском совете; а его сторонники внесли в палату общин билль, лишавший Якова права на корону и передававший его ближайшему в порядке наследования протестанту. Билль был принят в палате крупным большинством; но было очевидно, что для отвержения его Карл воспользуется своим влиянием на пэров, и потому Шефтсбери вернулся к тактике Пима. Общины составили смелое «представление», а город Лондон приготовил адрес палатам в пользу билля. Единственное, что Карл мог сделать, это выиграть время сначала отсрочкой парламента, а затем (в мае) его роспуском.

Но отсрочка оказалась бы бесполезной, если бы национальная партия осталась единодушной. Настроение народа и палаты общин в пользу устранения герцога высказывалось с такой силой, что единодушные министры должно было под конец достигнуть этого и тем избавить Англию от необходимости производить переворот 1688 г. Действительно, более благоразумные вожди национальной партии уже склонялись к перемене, осуществленной этой революцией. В случае устранения Якова первое место в ряду наследников занимала его дочь Мария, супруга принца Оранского; поэтому после неудачи с биллем о гарантиях Темпл, Эссекс и Галифакс решились во время отсрочки парламента призвать принца в Англию, ввести его в совет и проложить ему путь к престолу. К несчастью, у Шефтсбери были совсем другого рода планы. Он не доверял принцу Оранскому как родственнику королевского дома и как противнику ослабления или ограничения королевской власти. Причину, по которой он стремился устранить притязания Вильгельма, вероятно, нужно искать в приписываемом ему изречении: «Плохое право создает хорошего короля». Каковы бы ни были его побуждения, он решил устранить притязания как Якова и его детей, так и Вильгельма и возвести на престол герцога Монмута. Монмут считался стар-

шим из незаконных детей короля; по характеру он был слабым и ничтожным распутником, но за свою красоту и личную храбрость пользовался любовью народа. Распустили слух о тайном браке короля с его матерью. Шефтсбери побудил Карла поставить герцога во главе войск, посланных для подавления восстания крайних пресвитериан в Западной Шотландии, а по возвращении его оттуда убедил короля предоставить ему командование над гвардией, что отдавало в руки Монмута единственную военную силу, бывшую в распоряжении короны.

Между тем Сендерленд, Галифакс и Эссекс не только противодействовали постоянно планам Шефтсбери, но и видели в их успехе свою собственную гибель. Они посоветовали королю распустить последний парламент, и гнет графа выразился в угрозах: люди, присоветовавшие роспуск, заплатят за это головами. Опасность выяснилась, когда внезапная болезнь короля и отсутствие Якова облегчили возможность вступления Монмута на престол. Три министра тотчас побудили Карла вернуть герцога Йоркского, и хотя по выздоровлении короля он удалился в Шотландию, но Карл лишил Монмута должности главнокомандующего войсками и велел ему, подобно Якову, покинуть королевство. Оставшись одиноким, благодаря противодействию товарищей, Шефтсбери стал все более и более пользоваться молвой о заговоре. Преследование участников его упорно продолжалось. В Лондоне было повешено трое католиков; в провинции казнили восемь священников. Сыщики и доносчики наводили ужас на все католические семьи. Шефтсбери рассчитывал при созыве парламента всеми этими ужасами повлиять на короля. Но Карл уже заметил разрыв, вызванный в национальной партии политикой графа; он видел, что Шефтсбери не поддерживает ни один из его товарищей, кроме Рассела. Темплъ, Эссекс, Галифакс считали возможным без насильственного переворота возвести на престол Марию; но устранять права не только Якова, но и его детей-протестантов значило вызвать междоусобную войну. Поэтому Карл в октябре 1679 г. лишил Шефтсбери, при полном содействии его товарищей, должности председателя совета. Эта отставка подала сигнал к борьбе, опасностей которой Карл далеко не скрывал от себя. До тех пор его поддерживало его циничное мужество. Во время паники, вызванной заговором, люди «с удивлением видели его полное спокойствие среди таких смут и забот, — говорит придворный Рересби, — но не в его характере было сильно тревожиться или задумываться над чем-либо». Даже в разгар смуты, вызванной отставкой Шефтсбери, Карл по обыкновению ловил рыбу и прогуливался по Виндзорскому парку. Но наблюдатели, более зоркие, чем Рересби, под покровом беспечности и беззаботности замечали сознание новой опасности:

«С этого времени, — говорит Бернет, — его характер заметно и сильно изменился». Действительно, он стал «мрачен и задумчив; он увидел, что ему приходится иметь дело со странного рода народом, которого нельзя обмануть, ни испугать». Но он встретил опасность с отличавшей его хитрой инокровной бесцеремонностью и возобновил тайные переговоры с Францией. Как и Карл, Людовик был встревожен воинственным настроением народа и желал предотвратить созыв парламента; но условия, на которых он предлагал субсидию, оказались слишком унижительными даже для податливого Карла. Неудача заставила его созвать новый парламент; а страшно усердно поддерживаемый Шефтсбери при помощи новых сказок об избрании и нашествии, привел к избранию еще более тревожно настроенных представителей, чем члены только что распущенной палаты. Масса ходатайств приглашала короля дозволить созыв парламента в начале 1680 г. Даже совет был испуган предложением короля отсрочить его созыв до ноября, но Карл настаивал на своем. Несмотря на свое одиночество, он был твердо намерен выиграть время, так как видел, что время работает в его пользу. Поток народной симпатии начинал менять свое направление. Видумки Отса показались, наконец, слишком невероятными даже легковесным присяжным, и оправдание четырех из его жертв показало, что паника начала улегаться. Еще сильнее доказывали это страшные усилия Шефтсбери для поддержания ее. Он выдвинул новых доносчиков, клятвенно доказывавших существование умысла на жизнь самого графа и участие герцога Йоркского в заговоре его единоверцев. В качестве доказательства на вой опасности указывали на бумагу, найденную в мучном ларе. По улицам Лондона расхаживали огромные шествия с факелами, и при диких криках громадной толпы было сожжено изображение папы.

Шаги, еще более смелые показали, как далеко готов был идти Шефтсбери. Он вырос среди смут междоусобной войны и, несмотря на свою старость, теперь снова начал с прежним пылом и рвением призывать народ к вооруженной борьбе. В начале 1680 г. он составил комитет для распространения агитации по всей стране; составленные им ходатайства насчет созыва парламента рассылались по всем городам и ко всем коллегиям присяжных (большим жюри) и возвращались покрытые тысячами подписей. По приглашению Шефтсбери и вопреки приказу короля, Монмут вернулся в Лондон; смелый памфлет указал на него, как на вождя народа в предстоящей борьбе «против католичества и деспотизма». Совет был так встревожен, что приказал гарнизонам всех крепостей быть готовыми к угрожающей войне. Но на деле опасность была не так сильна, как это казалось. Настроение общественного мнения сильно изменилось. Присяжные о

равдывали одного обвиняемого за другим. За безжалостной яростью, раздутой Шефтсбери, наступила реакция ужаса и сожаления о той жестокости, которая приводила на виселицу одну жертву за другой. Народ сильно желал иметь государем протестанта, но чувство справедливости восставало в нем против несправедливости, угрожавшей протестантским детям Якова, и всем дворянам королевства представлялась оскорбительной мысль об устранении Марии с целью возложить корону Англии на голову незаконного сына Карла. Притом же еще свежа была память о междоусобной войне, и слух о предстоящем восстании заставлял людей все теснее примыкать к королю. Ответом на массу ходатайств, доставленных Шефтсбери из графств, служила масса же адресов от тысяч людей, высказывавших свое отвращение от планов, направленных против короны. Страна разделилась на две большие партии — «просителей» и «несогласных» (abhorrrers), послужившие зародышами обеих великих партий — «вигов» и «тори», которые играли такую выдающуюся роль в политической истории Англии с эпохи билля об устранении. Этим оборотом дел тотчас воспользовался Карл. Он вернул ко двору герцога Йоркского и принял отставки Рассела и Кавендиша, а также графа Эссекса, наконец «всем сердцем» перешедшего на сторону Шефтсбери. Последний на вызов ответил вызовом же. В сопровождении толпы приверженцев он выступил перед обвинительной палатой Миддлсекса, обвиняя герцога Йоркского в принятии католичества, а любовницу короля герцогиню Портсмутскую во враждебных народу замыслах; в то же время Монмут объезжал страну и своим вкрадчивым обращением всюду приобретал себе популярность. Но более всего Шефтсбери полагался на настроение общин, выбранных в самый разгар паники и раздраженных долгой отсрочкой их созыва. Первым делом общин по созыву их в октябре было заявление, что они должны заботиться «о подавлении католичества и устранении католического престолонаследия». Едва ли нужны были слухи о заговоре католиков в Ирландии, чтобы без помехи провести через общины билль об устранении. Настроение нижней палаты было настолько решительно, что необходимость билля признали теперь даже Темпл и Эссекс; к принятию его стал склоняться и сам Сендерленд. Решительно и успешно выступил против него в палате лордов Галифакс, сильно выдвинувшийся теперь вперед благодаря своей ловкости и красноречию, но он был только выразителем взглядов Вильгельма: «Лорд Галифакс действует вполне в интересах принца Оранского, — писал своему государю французский посол Барийон, — высказываясь, по-видимому, за герцога Йоркского, он, в сущности, старается подготовить соглашение, выгодное для принца Оранского». Когда билль об устранении был отверг-

нут, Галифакс внес предложение о гарантиях протестантизма, отнимавшее у Якова по восшествии его на престол право возражения на принятые обеими палатами билли, право сношений с иностранными державами и назначения чиновников и офицеров без согласия парламента. Несомненно, и это предложение было выдвинуто принцем Оранским; его поддерживали голландские Штаты, убеждавшие Карла прийти к соглашению с народом, что позволило бы им остановить постоянные нападения, производимые Францией на ее соседей.

Но если лорды не принимали билля об устранении, то общины на таком же основании не пропускали билля о гарантиях. Как это справедливо заметил один из депутатов от Лондона, они понимали, что такие гарантии окажутся недействительными как раз в то время, когда понадобятся: «Если когда-либо на престол вступит король-католик, его станут поддерживать другие силы, кроме сил Англии. Герцог правит Шотландией; за ним пойдут католики Ирландии и Англии; его будут слушаться назначенные королем чиновники, высшие и низшие, и он будет таким королем, каким пожелает». Но Шефтсбери далеко не ограничивался одним отрицательным отношением. Он сделал отчаянное усилие добиться устранения Якова при помощи билля о разводе, дававшего Карлу возможность развестись с королевой ввиду ее бездетности и вступить в новый брак, обещавший короне наследника-протестанта. Граф, быть может, уже заметил перемену, происходившую в настроении общества, и потому решил остановить ее при помощи крупного политического процесса, который должен был оживить и укрепить общую веру в существование заговора. С первого взрыва народной паники в Тауэре содержался лорд Стаффорд, по своему возрасту и положению считавшийся главой партии католиков. Теперь его привлекли к суду, и процесс его, в декабре 1680 г., вызвал появление массы свидетелей, доказывавших существование заговора католиков против короля и королевства. Доказательства были неубедительны, но процесс, как этого и ожидал Шефтсбери, в сильной степени оживил прежнюю панику, и за осуждением обвиняемого большинством пэров последовала его казнь. Удар этот подействовал на всех, кроме Карла. Сендерленд снова стал побуждать короля к уступкам; но покинутый министрами и даже любовницей, так как угрозы Шефтсбери побудили герцогиню Портсмутскую высказаться за устранение Якова, Карл продолжал сопротивляться. Когда парламент поставил разрешение субсидий в зависимость от своего участия в назначении офицеров королевских гарнизонов, Карл отсрочил его заседания. Настоящей причиной этого было возвращение короля к мысли о союзе с Францией. С отличавшей его хитростью он распустил наличный парламент и в мар-

те 1681 г. созвал новый, но созвал только для видимости. Карл просто хотел вызвать в стране реакцию из страха перед междоусобием, и созыв парламента в Оксфорде являлся апелляцией от мятежной столицы к верной провинции и ловким приемом оживлявшим воспоминание о междоусобной войне. С той же целью, под предлогом ожидаемых беспорядков, Карл вел своей гвардии сопровождать его туда. Сам Шефтсбери был испуган планами двора и содействовал их выполнению, явившись с вооруженной свитой под предлогом самозащиты. Монмут возобновил свои поездки по стране. В Лондоне разразились беспорядки, казалось, предстояло возмущение, и Карл поторопился закончить свои тайные переговоры с Францией. Он обязался на словах вести мирную политику, другими словами — отказаться от всякого участия в устраиваемом Вильгельмом широком союзе, а Людовик обещал ему небольшую субсидию, которая, в соединении с естественным ростом королевских доходов, могла в мирное время поставить короля в независимость от субсидий парламента. Еще более помогала успеху планов короля резкость нового парламента. В палату общин были выбраны члены только что распущенных парламентов, которые, естественно, были ожесточены двумя роспусками. Они отвергли внесенный Галифаксом новый «ограничительный» билль, предоставлявший Якову права короля, но отдававший настоящую правительственную власть принцу и принцессе Оранским, и это вызвало неудовольствие более умеренных и рассудительных членов национальной партии. Попытка нижней палаты оживить панику обвинением перед палатой лордов некоего доносчика по имени Фиц-Гаррис, вопреки основному закону, предписывавшему судить его через пэров в порядке обычного права, заставила общественное мнение еще более склониться на сторону короны. Вся политика Шефтсбери была основана на предположении, что скудость казны отдает Карла в его руки и что отказ в субсидиях заставит короля согласиться на устранение Якова; но золото Франции освободило короля от такой зависимости, и он воспользовался парламентом только для того, чтобы показать, как парламент отвечает глумлением и насилием на примирительные попытки терпеливого монарха. Теперь цель эта была достигнута, и как только Карл узнал о внесении снова билля об исключении, он вдруг, через месяц после созыва, распустил парламент и обратился с воззванием к справедливости всего народа.

Это воззвание было встречено почти всюду выражениями преданности: церковь стала на сторону короля, и его воззвание читалось со всех кафедр; университеты торжественно провозгласили, что «ни вера, ни закон, ни проступок, ни преступление» не могут лишить священного права престолонаследия. Арест Шефтсбери по обвинению в подкупе лжесвидетелей по

делу о заговоре доказал усиление власти короны. Правда, Лондон оставался еще верен ему; обвинительная коллегия Миддлсекса не обратила внимания на обвинительный акт, а освобождение графа из Тауэра было встречено на всех улицах потешными огнями и колокольным звоном. Новый толчок преданности всего народа сообщило опубликование плана, говорят, найденного в его бумагах, — проекта тайного общества для содействия устранению Якова: члены его обязывались подчиняться приказам парламента даже после отсрочки или роспуска его короной. Реакция была настолько сильна, что Галифакс предложил созвать новый парламент, в надежде, что он окажется преданным королю. Желая воспользоваться поворотом в делах и привязать Карла к политике коалиции, Англию посетил Вильгельм Оранский. Но король отнесся уклончиво к советам того и другого и смело шел своим новым путем. Он обеспечил себе поддержку церкви возобновлением преследований диссентеров, вследствие которых Пенн покинул Англию, что привело к заселению Пенсильвании, как убежища для его единоверцев-квакеров. Скоро у короля оказалось достаточно сил для возвращения ко двору Якова. Монмут, возобновивший свои поездки по стране с целью остановить усиление реакции, был арестован. Содействие торийского лорда-мэра обеспечило назначение шерифами Лондона тори, а подобранные ими присяжные отдали во власть короны жизнь всех противников Якова. Заметив новую опасность, Шефтсбери с кучкой столь же отчаянных авантюристов стал устраивать безрассудные заговоры, укрываясь в Сити, хвалился тем, что на его призыв всегда готовы явиться 10 000 добрых молодцов, наконец стал побуждать своих друзей к вооруженному восстанию. Но их медлительность заставила его бежать, и через два месяца после прибытия его в Голландию, в январе 1683 г., душа великого борца впервые нашла себе покой в смерти. Он был велик своей громадной энергией и удивительной гибкостью ума; но и ум, и энергия его только погубили было на время дело английской свободы, связав благородную задачу ее защиты с гнуснейшим из преступлений.

Глава VI

Вторая тирания Стюартов (1682—1688)

Бегство Шефтсбери доказало торжество короля. Удивительная проницательность подсказала графу, что пора борьбы прошла и дальнейшее сопротивление бесполезно. Но промедлившее с ответом на призыв его вожди национальной партии все еще считали оппозицию возможной; Монмут,

лорд Эссекс, лорд Говард Эттрик, лорд Рассел, Гэмпден и лорд Эджернон Сидни (потомок сэра Филиппа Сидни, поэта времен Елизаветы I) собирались на совещания с целью основать общество, агитация которого принудила бы короля к созыву парламента. Люди, более отчаянные, собравшиеся вокруг Шефтсбери, когда он скрывался в Сити, составили заговор с целью убить Карла и его брата при проезде их через Рай-хауз по пути из Лондона в Ньюмаркет. Оба заговора были раскрыты, и хотя они не имели между собой ничего общего, но жестокое остроумие юристов короны смешало их в один: лорда Эссекса спасло от казни самоубийство в Тауэре; лорд Рассел, осужденный за участие в Рай-хаузском заговоре, был обезглавлен на Инн-филде в Линкольне. Та же участь постигла Эджернона Сидни. Монмут в страхе бежал за море, а многие его приверженцы подверглись преследованию за мятежные замыслы. В 1683 г. конституционная оппозиция, так долго державшая Карла в руках, была сокрушена. Безумные выражения преданности, приветствовавшие его торжество, легко могли бы увлечь более слабого человека к крайнему деспотизму. В тот самый день, когда толпа, окружавшая эшафот Рассела, окунала свои платки в его кровь, как в кровь мученика, Оксфордский университет торжественно объявил, что учение о полном повиновении даже худшему из государей входит в число истин веры. Но Карл понимал, что на пути к чистому деспотизму лежат еще огромные препятствия. Великая партия тори, поддерживавшая его против сторонников устранения, все еще стояла за парламентское и правовое управление. Церковь сохранила свое прежнее могущество, и оппозиция епископов заставила короля отказаться от мысли о восстановлении терпимости к диссентерам. Поэтому в течение немногих остававшихся ему лет Карл заботливо избегал всего того, что представлялось открытым нарушением конституции. Он не отменял законов и не налагал податей в силу королевской власти. Обзор царствования Карла II всего лучше доказывает все величие деятельности Долгого парламента. По справедливому замечанию Галлама, «королю было возвращено только то, что за ним оставлял закон». Не было сделано ни одной попытки восстановить злоупотребления, устраненные патриотами 1641 г. Парламент постоянно созывался, и хотя он часто отказывал в субсидиях, но король никогда не пытался добывать средства незаконными путями. Несколько незаконных указов, изданных при Кларендоне, утратили силу с его падением. Не было сделано попытки восстановить Звездную палату или суд Высокой комиссии, и если судьи выказывали раболепность, а присяжные иногда оказывались подтасованными, то все же не допускалось открытого вмешательства в отправление суда. Сравнительно с 1641 г. свобода даже сделала успехи в двух важных

пунктах. С тех пор как печать начала влиять на общественное мнение, она была подчинена системе разрешений. Установления, изданные при Генрихе VIII, подчинили печать надзору Звездной палаты; еще более строгий контроль вызвали при Елизавете памфлеты Мартина Марпрелэта. Давления на печать не ослабил даже Долгий парламент, и пуритане остались глухи к убедительным доводам Мильтона в его «Ареопагитике». Но в 1679 г. истек срок действия Закона о печати, изданного тотчас после Реставрации, и настроение парламента делало безнадежной всякую попытку восстановить цензуру. Закон Habeas corpus присоединил к свободе печати новую гарантию личной свободы для каждого англичанина. Уже очень давно знаменитая статья Великой хартии представила собой постановление, направленное против произвольных арестов. Она запрещала держать свободного человека в тюрьме не иначе, как по обвинению, или по изобличении в преступлении, или за долги; всякий заключенный по обвинению в уголовном преступлении имел право требовать у суда королевской скамьи выдачи приказа Habeas corpus, обязывавшего тюремщика представить в суд заключенного вместе с предписанием, по которому он был заключен, для того чтобы суд мог определить, согласно ли с законом его заключение. Но в случаях заключения по предписанию Королевского совета судьи иногда считали выдачу приказа о представлении невозможной, и поэтому в управление Кларендона встречались случаи заключения без судебного контроля. Вскоре после его падения в парламент был внесен билль, обеспечивавший это право подданного и после продолжительной борьбы окончательно принятый в 1679 г. как акт Habeas corpus. Этот важный закон освободил старую процедуру от всех стеснений и ограничений. Он предоставил право всякому заключенному за любое преступление, кроме измены или тяжчайших уголовных деяний (felony), требовать себе приказа даже в вакационное время и налагал крупные штрафы на судей или тюремщиков, мешавших ему воспользоваться этим правом. Всякое лицо, заключенное за тяжчайшие преступления, имело право требовать освобождения по взносе залога, если дело его не разбиралось в ближайшей за его заключением сессии суда, и полного оправдания, если оно не слушалось в последующие. Наконец, были назначены строжайшие наказания за отправку заключенных в какие-либо местности или крепости за море.

Вскоре свобода печати и Закон Habeas corpus оказались для короны очень неудобными, но Карл не делал попыток ограничить первую или нарушить второй. Стараясь не вызывать в народе сопротивления, он тем не менее хладнокровно и решительно шел вперед по пути к деспотизму. Напрасно Галифакс настаивал на решительном противодействии захватам Фран-

ции, возвращении Монмута, созыве нового парламента. Подобно всем другим английским политикам, он оказался одураченным: теперь, когда его дело было сделано, ему позволили сохранить за собой должность, но не давали никакого влияния на дела. Во главе казначейства все еще оставался Лоуренс Гайд (второй сын Эдварда Гайда, первого графа Кларендона), введенный в графы Рочестеры; но скоро Карл стал оказывать больше доверия гибкому и проницательному Сендерленду. Вопреки закону о трехлети, возобновленному после отмены, но без гарантий первоначальной редакции, парламент не созывался больше в последние годы царствования короля. Тайный союз с Францией доставлял Карлу нужные ему средства, а быстрый рост пошлин, вследствие расширения торговли Англии, обещал обеспечить ему такой доход, который в случае сохранения мира избавлял его от необходимости обращаться к общинам. Всякое противодействие исчезло. Влияние национальной партии было подорвано разногласиями в ее среде относительно билля об устранении и бегством или смертью ее наиболее выдающихся вождей. Она пользовалась еще некоторым влиянием в городах; но теперь по ним были разосланы королевские приказы (*quo warranto*), требовавшие от них доказательств того, что, злоупотребляя своими привилегиями, они не потеряли права на сохранение своих хартий. Несколько неблагоприятных приговоров короны вызвали общее отречение городов от их вольностей; тогда им были даны новые хартии, вводившие в состав городских советов только крайних роялистов, что отдало их представителей в руки короны. Против проявлений недовольства на деле Карл давно стал принимать предосторожности, постепенно увеличивая состав своей гвардии. Вывод гарнизона из Танжера позволил ему довести состав ее до 9000 хорошо вооруженных солдат и пополнить это войско, ядро теперешней постоянной армии Англии, резервом из шести полков, пока они не понадобятся дома, состоявших на службе Соединенных провинций. Но как ни велика была действительная опасность, она заключалась не столько в отдельных деспотических мерах, сколько в характере и целях самого Карла. Его смерть в самый момент торжества (1685) спасла свободу Англии. Прежняя популярность вернулась к нему, и при известии о болезни его толпы народа наводнили церкви, прося Бога исцелить его, чтобы он мог быть отцом своих подданных. Но у Карла была одна забота — умереть примиренным с католической церковью. Все вышли из его комнаты, и некий священник по имени Гёддестон, спасший ему жизнь после битвы при Уорчестере, исповедал и причастил его. Об этом обряде не было сказано ни слова, когда вельмож и епископов снова позвали в комнату короля. Вокруг его постели собрались все его незаконные дети, кроме Монмута.

Карл «благословил всех их одного за другим, привлекая их к своей постели; и тогда епископы попросили его, как помазанника Божия и отца своего народа, благословить также их и всех присутствующих, а в лице их всю совокупность его подданных. Затем, когда комната наполнилась людьми, все упали на колени, а он поднялся на постели и торжественно благословил их». Странная комедия, наконец, окончилась. Карл умер так же, как жил — смело, шутивно, цинично даже перед лицом смерти. Мучимый страданиями, он попросил присутствующих простить ему то, что он умирает так непростительно долго. Над его постелью склонилась в слезах любовница, герцогиня Портсмутская, но его последняя мысль была обращена к другой — Нелли Гвинн. Перед тем как впасть в роковое беспамятство, он сказал шепотом своему преемнику: «Не дай умереть с голоду бедной Нелли!».

Первые слова Якова, по восшествии его на престол в феврале 1685 г., заключали в себе обещание «поддерживать управление, установленное законом в церкви и государстве», и были встречены всей страной с восторгом. Казалось, исчезли все подозрения относительно государя-католика: «Нам дал слово король, — говорили всюду, — король, никогда своему слову не изменявший». Якова выставляло в выгодном свете доказанное вероломство брата. Его считали ограниченным, вспыльчивым, упрямым и крайне деспотичным человеком, но даже враги не обвиняли его в лживости. Прежде всего, его считали очень щепетильным в вопросе о чести родины и приписывали ему намерение избавить Англию от иноземного влияния. Необходимо было созвать парламент, так как со смертью Карла поступления в казну прекратились; но выборы, произведенные под влиянием увлечения роялизмом и городов, отданных новыми хартиями во власть короны, дали такую палату общин, в которой немногие члены были Якову не по сердцу. Намек на неудовольствие короля устранил вопрос о церковных гарантиях. Королем был назначен пожизненно доход почти в два миллиона. Мятеж на севере, другой под руководством Монмута на западе довели в народе преданность королю до фанатизма. Со времен Реставрации надежды шотландцев на свободу были связаны с домом Аргайлов. По возвращении короля «великий маркиз» был казнен. Даже чрезвычайная осторожность и покорность не могли защитить его сына графа Аргайла от недоброжелательства низких политиков, управлявших тогда Шотландией. Наконец, в 1682 г. он был обвинен в измене на основании доказательств, возбуждавших в любой английской политике негодование: «Мы здесь не повесили бы и собаки, — заявил Галифакс, — на основании тех доказательств, по которым был приговорен к смерти лорд Аргайл». Однако граф бежал в Голландию и спокойно

но прожил там последние годы царствования Карла. Монмут тоже нашел себе убежище в Гааге, и расчет на намерение короля возратить его обеспечил ему дружеский прием со стороны Вильгельма Оранского. Вступление Якова на престол нанесло смертельный удар надеждам герцога и подвигло фанатичного Аргайла на попытку избавить Шотландию от власти короля-католика. Оба вождя решились поднять оружие в Англии и на севере, и обе экспедиции через несколько дней одна после другой вышли в море. Попытка Аргайла скоро окончилась неудачей. При высадке его в Кэнтайре его клан Кемпбеллов поднял восстание, но страна была занята от имени короля, а ссоры сопровождавших Аргайла изгнанников отняли у его попытки всякую возможность успеха. Его отряд рассеялся без битвы; сам Аргайл был схвачен во время бегства и казнен за измену. К Монмуту счастье одно время относилось благоприятнее. Он пользовался на западе большой популярностью, и когда высадился в Лайме и потребовал настоящего парламентского управления и свободы богослужения для диссентеров-протестантов, то, хотя дворянство держалось в стороне, под его знамя стеклись крестьяне и горожане Девоншира и Дорсета. Суконщики городов Сомерсета были преданы делу вигов, и при вступлении герцога в Таунтон народный восторг выразился в украшении всех дверей цветами и в поднесении Монмуту группой юных девушек Библии и знамени. Его силы доходили теперь до 6000 человек, но у него исчезла всякая надежда на успех, когда он принял титул короля. Палаты поддержали Якова и объявили герцога вне закона. Все еще преданное делу Марии и Вильгельма дворянство держалось в стороне. Между тем в район мятежа спешила гвардия, а вокруг королевского знамени собралась милиция. После неудачных атак на Бристоль и Бат, Монмут отступил к Бриджуотеру и в ночь на 6 июля 1685 г. напал на войска короля, расположенные лагерем на Седжмуре. Нападение не удалось: пересекавший болото глубокий ров задержал движение следовавших за герцогом крестьян и рудокопов, и после короткого сопротивления они были разбиты конницей короля. Их вождь бежал с поля битвы и, после тщетной попытки выбраться из страны, был захвачен и безжалостно предан смерти.

Никогда Англия не выказывала большей преданности королю, но страшные казни, сопровождавшие победу при Седжмуре, превратили эту преданность в отвращение. Даже раболепный слуга короны Норт, лорд — хранитель печати, протестовал против допущенной после битвы со стороны армии разнузданности и кровопролития; но на его протест не было обращено внимания, и он с сокрушенным сердцем удалился от двора. На деле Яков решился отомстить еще более жестоко и послал главного судью Джеф-

фриса, человека очень способного, но склонного к жестокости, заслужить себе должность хранителя печати рядом юридических убийств, сделавших его имя синонимом жестокости. 356 мятежников были повешены в «кровоавом объезде» Джеффриса по Дорсету и Сомерсету; более 800 человек было продано в рабство за море; еще большее число подверглось телесному наказанию и заключению. Королева, фрейлины, придворные, даже сам судья бессовестно извлекали выгоды из продажи помилования. Особенное сострадание возбуждали жестокости, совершавшиеся над женщинами — некоторых из них секли от одного рыночного города до другого; в Уинчестере подверглась казни г-жа Лесли, жена одного из цареубийц, за то, что укрывала мятежника: в Тайберне была сожжена за такое же проявление женского милосердия Елизавета Гаунт. Сострадание перешло в отвращение, когда оказалось, что подобные жестокости совершались с ведома и одобрения короля. Равнодушие, с каким Яков отклонял все просьбы о помиловании, возмутило даже холодное сердце генерала Черчилля, энергичности которого всего больше были обязаны победой при Седжмуре: «Этот мрамор, — воскликнул он, ударяя по доске камина, на которую опирался, — не тверже сердца короля». Но скоро выяснилось, что мысль вызвать в народе этой резней страх входила в состав более широкого плана. Восстание должно было послужить предлогом для крупного усиления постоянной армии. Как мы видели, Карл осторожно и постепенно довел ее до 10 000 человек; Яков сразу увеличил ее численность до 20 000. Эта армия должна была действовать внутри страны, а не вне ее: надежды на национальную политику во внешних делах уже исчезли. Яков не мог ожидать согласия парламента на свои планы; его гордость возмущалась зависимостью от Франции, но он мог рассчитывать на постоянную покорность парламента, только располагая золотом и солдатами Франции. Поэтому через неделю после вступления на престол он уже уверял Людовика в том, что вполне сходится с Карлом в благодарности и преданности ему: «Передайте вашему государю, — сказал он французскому послу, — что без его поддержки я не могу сделать ничего. Он имеет право рассчитывать на то, что у него будут спрашивать совета, и я намерен советоваться с ним обо всем». Подтверждение зависимости было награждено обещанием субсидии, принятым с выражениями сильнейшего восторга и покорности.

Никогда тайный союз с Францией не представлял такой опасности для английской церкви. Европа, долго трепетавшая перед честолюбием Людовика, теперь дрожала перед его ханжеством. Нападением на Голландию он объявил войну политической свободе; теперь он объявил войну свободной религиозной отменой Нантского эдикта, которым Генрих IV после перё

хода в католицизм обеспечил своим протестантским подданным терпимость и свободное отправление богослужения. Даже после победы над гугенотами Ришелье продолжал соблюдать эдикт; Мазарини только слегка затронул его. Людовик с начала своего царствования решился устранить эти ограничения, и отмена эдикта в 1685 г. была только естественным завершением целой системы преследований. За отменой последовали насилия, еще более жестокие, чем даже кровопролитие Альбы. По домам протестантов ставили драгун, выбрасывали из постелей на улицы больных женщин, вырывали детей из объятий матерей, чтобы воспитывать их в католичестве, ссылали священников на галеры. Вопреки королевским указам, воспрещавшим жертвам этих жестокостей даже бегство, за границу бежало 100 000 протестантов, наводнивших Голландию, Швейцарию, Пфальц. Тысячи нашли себе убежище в Англии, и их трудолюбие положило начало шелковой промышленности Спитэлфилда, к востоку от Лондона. Англичане с ужасом смотрели на эти события; Якову они внушали новые надежды. Вопреки закону он назначал католиков в свои новые полки офицерами. Он удалил Галифакса из Тайного совета за отказ в согласии на план отмены Тест-акта, обратился к парламенту с высокомерным заявлением, что задача должностей католикам, все равно, законная она или нет, не подлежит его обсуждению, и потребовал средств на содержание своих новых войск. Палаты были настроены очень покорно, но еще сильнее были у них тревога за церковь и страх перед постоянной армией. Большинством в один голос общины отложили назначение субсидий до удовлетворения их жалоб и потребовали в своем адресе отмены незаконных назначений. Лорды заговорили смелее, а протест епископов против нарушения Тест-акта был поддержан красноречием Галифакса. Король тотчас отсрочил заседания обеих палат и решил добиться от судей того, в чем ему отказал парламент. Он преобразовал «скамью», оставив четырех судей, отказавшихся поддерживать его планы, а их преемники вынесли по делу одного католического офицера сэра Эдуарда Гэлса решение, что перед судом можно ссылаться на разрешение короля не исполнять Тест-акта. Выставленное судьями начало приписывало королю право по его усмотрению освобождать от исполнения уголовных законов, и Яков стал применять его без всякого стеснения и меры. Множество католиков было назначено на военные и гражданские должности; четыре католических пэра принесли присягу в качестве членов Тайного совета. Законы, воспрещавшие католическим священникам пребывание в стране и открытое отправление их богослужения, перестали соблюдаться. В Сент-Джеймском дворце для придворного богослужения была открыта пышная часовня; на улицах Лондона появились в

своих облачениях кармелиты, бенедиктинцы, францисканцы; иезуиты устроили многолюдную школу в Савойском дворце.

Вызванный этими мерами быстрый рост недовольства побудил более рассудительного человека действовать осторожнее, но Яков гордился своим непреклонным упорством. Когда при открытии новой католической часовни в Сити произошли беспорядки, он велел для устрашения толпы устроить в Гаунслау лагерь на 13 000 человек. Политика, которой Яков следовал в соседних королевствах, показывала, что он намеревался действовать в Англии. В Шотландии он поступал, как настоящий деспот. Управление ею он отдал в руки двух лордов, принявших католицизм, Мелфорд Перта, а комендантом Эдинбургского замка назначил католика. Шотландский парламент все еще оставался простым орудием короны; но, несмотря на все раболепство его членов, была еще граница, на которой оно останавливалось. Когда Яков прямо потребовал от них узаконения терпимости к католикам, они отказались принять такой закон. Напрасно король добивался их согласия, предлагая свободную торговлю с Англией. «Неужели мы должны продать своего Бога?» — отвечали они с негодованием. Яков тотчас приказал шотландским судьям считать не имеющими силы все законы против католиков, и его приказание было исполнено. В Ирландии даже не старался маскировать свою политику покровом закона. По призыву короля католики были допущены в совет и к гражданским должностям. Во главе армии поставлен был католик лорд Тирконнел, немедленно приступивший к преобразованию ее: он отставил офицеров-протестантов и ввел в состав войска 2000 туземных католиков. Между тем в Англии Яков пошел на смелую и систематическую атаку на церковь. Свою власть над ней он сделал орудием, данным ему Провидением для уничтожения того, что при помощи ее было сделано его предшественниками. Генрих VIII и Елизавета воспользовались ею для обращения английской церкви из католической в протестантскую; Яков хотел при помощи ее возвратить Англию от протестантизма в католицизм. Правда, закон Долгого парламента признал существование Высокой комиссии незаконным, и это было подтверждено парламентом Реставрации. Было признано возможным обойти этот закон, выпустив из инструкций, по которым действовала комиссия, чрезвычайные полномочия и судебные права, вызвавшие недовольство против ее председатели. С этой оговоркой в 1686 г. для управления церковью было назначено семь комиссаров с Джеффрисом во главе, и первый удар их направлен на епископа Лондонского. Яков запретил духовенству проповедовать против «религии короля» и велел епископу Комптону отрешиться от своего лондонского священника, нарушившего это запрещение. За отка-

этого епископ поплатился собственным отрешением. Но гнет комиссии только побудил духовенство к более смелому нарушению воли короля. Со всех кафедр слышались проповеди против «суеверия», и два знаменитейших богослова эпохи Тиллотсон и Стиллингфлит стали во главе массы полемистов, распространявших печатаемые во всех типографиях памфлеты и трактаты.

Напрасно масса католического дворянства держалась в стороне, предсказывая, что такая политика вызовет неизбежную реакцию; напрасно сам Рим советовал большую умеренность. Яков был ослеплен кажущимся успехом своих мер. Встречаемое им сопротивление он приписывал высокоцерковным тори, остававшимся во власти с реакции 1681 г., и потому решил их наказать. Глава этой партии в Шотландии герцог Куинсберри был лишен должности. Для противодействия Ормонду в Ирландию был назначен, как мы видели, Тирконнел. В Англии Яков решился показать всем, что для него не значат ничего даже теснейшие узы крови, если они сталкиваются с требованиями веры. Его первый брак с Анной Гайд, дочерью Кларендона, связал с его судьбой обоих сыновей канцлера. По вступлении на престол он послал своего старшего шурина графа Кларендона наместником Ирландии, а младшего — графа Рочестера назначил лордом-казначеем. Теперь Рочестеру было сказано, что король не может оставить такую важную должность за человеком, не разделяющим его религиозных взглядов, и когда граф отказался отречься от своей веры, он был лишен белого жезла. Та же участь постигла и его брата Кларендона. Первым лордом казначейства, после отставки Рочестера, переданного в управление комиссии, стал католик — лорд Белласис; другой католик — лорд Арундел сделался хранителем тайной печати; иезуит отец Петри был назначен в Тайный совет. Чиновники, отказывавшиеся содействовать отмене Тест-акта, один за другим получали отставку. Папский нунций, вопреки закону, был торжественно принят в Виндзоре. Но даже Якову трудно было не заметить роста общественного недовольства. Знатные тори были преданы короне, но как истые англиканцы, они ненавидели голый деспотизм наравне с вигами. Отправляясь к мессе, Яков велел герцогу Норфолку нести перед собой государственный меч. Герцог остановился у двери часовни. «Ваш отец пошел бы дальше», — сказал король. «Отец Вашего Величества был лучший человек, — возразил герцог, — а и он не пошел бы так далеко». Молодому герцогу Сомерсету было приказано ввести нунция в залу аудиенций: «Мне сказали, — ответил тот, — что я не могу исполнить приказа Вашего Величества, не нарушая закона». — «Разве вы не знаете, что я выше закона?» — гневно спросил Яков. «Ваше Величество, может быть, но не я», — возразил

герцог. Он был отставлен от должности, но дух сопротивления распространялся все шире. Вопреки приказу короля управители Чартер-хауза, в числе которых было несколько знатнейших вельмож Англии, отказались принять в члены учреждения католика. Самые ревностные роялисты подняли ропот, когда в доказательство их преданности Яков потребовал от них отступничества. Скоро ему пришлось отказаться от всякой надежды на подчинение его воле церкви или тори. Тогда он, как раньше это сделал Карл, обратился к диссентерам и в 1687 г. обнародовал Декларацию о терпимости, приостанавливавшую действие уголовных законов против диссентеров и католиков и всех актов, требовавших для занятия должностей, церковных и гражданских, англиканского исповедания. Предложение это представлялось для диссентеров очень соблазнительным, так как со времени отставки Шефтсбери они подвергались сильному преследованию; неудивительно поэтому, если диссентеры некоторое время колебались и если Якову было представлено много благодарственных адресов. Но большинство диссентеров, в том числе наиболее почтенные имена, остались верны делу свободы. Бэкстер, Гау, Бёниан — все они отказались от терпимости, которую приходилось покупать ценой насильственного ниспровержения закона. Попытка Якова разделить силы протестантов оказалась вполне неудачной, и для достижения своей цели ему оставалось только добиваться отмены Тест-акта от парламента.

Однако существующий парламент относился к плану короля совсем враждебно; поэтому Яков распустил его и созвал новый. Но он знал, что свободно избранный парламент никогда не согласится на отмену этих законов. С лордами можно еще было сладить назначением большого числа новых пэров. «В палату лордов, — сказал Черчиллю министр лорд Седерленд, — будет призвана ваша конница». Труднее было добиться покорности палаты общин. Лордам наместникам было предписано произвести в городах такой «подбор» правящих собраний, который обеспечил бы выбор кандидатов, обещавших содействовать отмене Тест-акта, а также осведомиться об образе мыслей всех чиновников их графств. Половина наместников немедленно отказалась от этого, и длинный ряд крупных вельмож — графы Оксфорд, Шрусбери, Дорсет, Дерби, Пемброк, Ретленд, Абергавенни, Тэнет и Эбингдон — были лишены своих наместничеств. Судьи на предложенные им вопросы ответили просто, что они будут голосовать по совести и выберут в парламент таких людей, которые будут защищать дело протестантизма. После повторных «подборов» оказалось невозможным образовать в городах такие собрания, которые выбрали бы представителей, послушных воле короля. Пришлось отказаться от всякой мысли о пар-

ламенте. Встретив такое упорное сопротивление со стороны вельмож, дворянства и промышленных классов, даже самые фанатичные придворные стали советовать Якову умеренность. Одно духовенство еще не решалось выказать ясное сопротивление. Даже притеснения Высокой комиссии не могли вызвать явного недовольства в людях, каждое воскресенье проповедовавших беспрекословное повиновение наихудшему из государей. Но Якову мало было пассивного подчинения. На его взгляд, отказ духовенства содействовать его планам освобождал его от обязательства поддерживать установленную законом церковь, и он решил напасть на нее в учреждениях, до тех пор служивших ей крепким оплотом. Подчинить университеты католицизму значило захватить единственные воспитательные учреждения, принадлежавшие духовенству. Правда, Кембридж легко избег этого. Туда явился бенедиктинский монах с письмом короля, предлагавшего дать ему степень магистра искусств, но был отвергнут за отказ подписать вероисповедные «статьи», за что вице-канцлер поплатился отставкой. Более сильное и упорное нападение было произведено на Оксфорд. Главе университетского колледжа, объявившему себя католиком, было дозволено, вопреки закону, сохранить свою должность. В деканы колледжа Крист-Чёрч корона рекомендовала католика Мэсси. Богатейшим из колледжей Оксфорда был Магдалинов; в 1687 г. на свободное место главы его Яков рекомендовал некоего Фармера, католика, известного непристойным образом жизни и по уставу не имевшего даже права на должность. Члены колледжа протестовали и, когда их протест был отвергнут, выбрали председателем одного из своей среды — Гокка. Церковная комиссия объявила выбор недействительным, Яков, устыдившись своего первого кандидата, указал другого — Паркера, епископа Оксфордского, бывшего тайным католиком и покорнейшим из придворных. Но члены колледжа упорно стояли за своего законного главу. Напрасно король посетил Оксфорд, призвал их к себе и, когда они явились, разбил их, как школьников: «Я король, — сказал он, — и требую повиновения! Ступайте сейчас в вашу часовню и выберите епископа! Пусть несогласные поразмыслят: они испытают на себе всю тяжесть моей руки!». Всем было ясно, что отдать в руки католиков колледж Магдалины, как и Крист-Чёрч, значило обратить Оксфорд в католическую семинарию, и потому угрозы короля не подействовали. Но скоро он привел их в исполнение. В университет явилась особая комиссия, низложила Гокка, отвергла его ссылку на закон и взломала дверь дома председателя, чтобы водворить в нем Паркера. Члены колледжа отказались подчиниться ему и за то были лишены своих мест. За изгнанием членов последовало по той же причине изгнание студентов. Паркер

умер вскоре после своего водворения; его преемником был католический епископ *in partibus* Бонавентура Джиффард, в один день допустивший в члены колледжа 12 католиков.

Между тем Яков все еще надеялся найти послушный парламент, от которого можно будет добиться отмены Тест-акта. Ввиду упорного сопротивления страны он отсрочил выборы, издал новую Декларацию о терпимости в форме обращения ко всему народу. В заключение ее он обещал созвать парламент в ноябре и приглашал избирателей прислать таких представителей, которые приведут начатое им дело к успешному концу. Он выражал намерение установить на будущее время всеобщую свободу совести. Ввиду такого характера королевского обращения Яков предписал всем священникам читать декларацию во время церковной службы последовательно два воскресенья. На размышление давалось мало времени, но его немного и требовалось. Духовенство почти целиком отказалось служить орудием своего собственного унижения. Декларация была прочитана только в четырех церквях Лондона, да и там при первых словах ее присутствующие разошлись. Почти все сельское духовенство отказалось последовать примеру короля. Епископы шли вместе с прочим духовенством. За несколько дней до назначенного воскресенья архиепископ Сэнкрофт созвал подчиненных ему епископов и шестеро из них, имевшие возможность явиться в Лэмбет, подписали скромный протест, в котором отказывались от обнародования незаконной декларации. «Это — воззвание к бунту!» — воскликнул Яков, когда примас представил ему бумагу, и едва узнав о сопротивлении духовенства, как решился отомстить за него подписавшим протест прелатам. Он приказал церковной комиссии лишить их кафедр, но в этом случае даже комиссары не решились послушаться его. Канцлер, лорд Джеффрис, чтобы скорее наказать их, посоветовал возбудить против них преследование за «пасквиль»; епископы отказались представить залог и были отправлены в Тауэр. Они шагали в тюрьму среди криков огромной толпы; когда они вошли в ворота замка, часовые, став на колени, приняли от них благословение; солдаты гарнизона пили за их здоровье. Настроение народа носило такой угрожающий характер, что министры убеждали Якова уступить, но опасность только усилила его упорно. «Уступчивость сгубила моего отца», — сказал он, и 29 июня 1688 г. епископы выступили в качестве подсудимых перед решеткой королевской скамьи. Подтасовали присяжных, судьи были простыми орудиями короны, но и те, и другие были одинаково напуганы негодованием всего народа. Едва старшина присяжных произнес слова «не виновны», как толпа разразилась рукоплесканиями и по всем дорогам поскакали всадники, разнося по стране известие об оправдании.

Глава VII

Вильгельм Оранский

Среди тревог, вызванных заговором католиков и билля об устранении, более благоразумные политики Англии возлагали все надежды на переход престола к Марии, старшей дочери и наследнице Якова. Деспотическое управление ее отца обратило к ней надежды всего английского народа. Но для Европы значение переворота, когда бы он ни произошел, заключалось не столько в переходе короны к Марии, сколько в усилении этим событием могущества ее супруга Вильгельма Оранского. Действительно, мы пришли к моменту, когда борьба Англии с захватами ее короля переплетается с более широкой борьбой Европы против захватов Людовика XIV, и только беглый обзор политического положения материка может помочь нам понять настоящий характер и последствия революции, лишившей Якова престола.

В это время господствующей державой христианства была Франция. Начавшиеся вместе с Реформацией религиозные войны ослабили могущество окружавших ее народов. Испания была не в состоянии продолжать борьбу за католицизм. Вестфальский мир предоставил самостоятельность немецким князьям и поддержал соперничество протестантских и католических держав Германии, что подорвало могущество империи. Немецкая ветвь дома Габсбургов была истощена Тридцатилетней войной и целиком занята отражением нашествий турок из Венгрии на Вену. Швеция дорого заплатила за победы Густава-Адольфа и воспитанных им генералов истощением страны. Соединенные провинции едва считались великой державой и были заняты своей борьбой с Англией за владычество на морях. От общего истощения выиграла одна Франция. Умная политика Генриха IV обеспечила религиозный мир дарованием терпимости протестантам и тем устранила вредные последствия религиозных войн. Гугенотов было еще много к югу от Луары, но потеря крепостей обратила их энергию на путь мирной промышленности и торговли. Феодальный беспорядок был жестоко подавлен Ришелье, а его политика сосредоточения всей местной власти в руках короны, оказавшейся, правда, впоследствии роковой для действительного блага Франции, доставила ей на время такие удобства благоустроенного управления и распоряжения естественными богатствами, каким не могла похвалиться никакая другая страна. Ее сплоченная и плодородная территория, природная живость и предприимчивость населения, быстрый рост торговли и мануфактур служили источниками такого крупного богатства, которого не могло подорвать даже тяжелое обложение. Во вто-

рой половине XVII в. Франция считалась богатейшей державой Европы. Ежегодный доход французской короны вдвое превосходил доход Англии, и сам Людовик XIV полагался столько же на кредит своего казначейства, сколько на славу своего оружия: «В конце концов, — сказал он, когда военное счастье начало обращаться против него, — победить должен последний золотой!». Действительно, эти крупные средства позволили Франции выставить такие силы, каких никогда не видела Европа с падения Рима. В начале царствования Людовика XIV его армия доходила до 100 000 человек; во время голландской войны она усилилась почти до 200 000, а в последней борьбе против Великого союза она одно время состояла почти из полумиллиона солдат. Но Франция не довольствовалась своим огромным сухопутным войском. С упадком Испании владычество над морями оспаривали друг у друга только флоты Голландии и Англии. При Ришелье и Мазарини Франция едва могла считаться мореходной державой, но уже в первые годы Людовика XIV был создан флот из ста военных кораблей, скоро выступивший соперником флотов Англии и Голландии.

Такое могущество представлялось бы грозным во всякое время; оно было вдвойне грозно под руководством государственных людей по занятиям и талантам, не имевших себе соперников в Европе. Ни один дипломат не мог равняться с Лионном, военный министр — с Лувуа, финансист — с Кольбером. Их молодой государь Людовик XIV при всем его ханжестве ограниченности, при его безумной гордости, неутолимом тщеславии и грубом эгоизме отличался все же многими достоинствами великого правителя: трудолюбием, терпением, решительностью, способностью находить талантливых людей и пользоваться ими. В политике Людовику пришлось просто собирать жатву, посеянную великими кардиналами, его предшественниками. Оба они воспользовались в интересах Франции истощением и раздорами, вызванными в Европе религиозными войнами. Своим союзом со Швецией, Соединенными провинциями и протестантскими князьями Германии Ришелье подорвал могущество Габсбургов, а великие трактаты, которыми Мазарини закончил Тридцатилетнюю войну, Вестфальский и Пиренейский, закрепили расстройство империи и бессилие Испании. С этого времени Испания пришла в полный упадок. Независимость Голландии отняла у нее главный источник ее богатства, восстание Португалии ослабило ее внутренне, пехоту истребил Конде победой при Рокруа, флот уничтожили голландцы, лучшие силы были отвлечены в Индии. Подавление всякой свободы, гражданской и религиозной, подорвало энергию ее населения, а инквизиция подавила духовную жизнь; изгнание мавров, финансо-

вый гнет и безумное управление колониями погубили промышленность. Таким образом, государство, при Филиппе II стремившееся к мировому господству, при Филиппе IV оказалось беспомощным и истощенным. С 1661 г., когда Людовик стал настоящим государем Франции, он стремился продолжать политику своих предшественников и, прежде всего, довершить гибель Испании. Завоевание испанских владений в Нидерландах должно было отодвинуть границу Франции до Шельды. Более широкие надежды открывало вероятное пресечение той линии Габсбургов, которая занимала испанский престол. Если бы удалось обеспечить наследование его французским принцем, то к владениям Франции присоединились бы не только Кастилия и Арагон с испанскими землями в Италии и Нидерландах, но и испанская империя в Новом Свете. Ничто, кроме союза европейских держав, не могло спасти Испанию, и целые годы Людовик стремился помешать его образованию путем переговоров. Возобновление старых союзов Франции с мелкими германскими князьями обеспечило невмешательство империи. Союз с турками доставил Австрии много хлопот на восточной границе. Людовик искусно поддерживал старый союз со Швецией и старую дружбу с Голландией. Англию привлекла на сторону Франции политика Карла II. Наконец, казалось, ожидаемый момент наступил, и подписание договора в Бредѣ представило повод к войне, которым Людовик воспользовался в 1667 г. Но сама быстрота и полнота успехов французов вызвали общий страх, перед которым должна была отступить ловкая дипломатия Карла. Появление французских войск на Рейне вызвало в Голландии опасения за свою независимость. Захват французами приморских городов Фландрии пробудил Англию от ее усыпления. Вместе с двумя протестантскими державами Швеция составила Тройственный союз, и боязнь его расширения принудила Людовика удовольствоваться южной половиной Фландрии и обладанием рядом крепостей, что на деле делало его властелином Нидерландов.

Людовик был раздражен неудачей. Он никогда не любил голландцев как протестантов и республиканцев; теперь он возненавидел их как помеху, которую нужно было устранить раньше возникновения войны с Испанией. На подготовку решительного удара было употреблено четыре года. Французская армия постепенно была доведена до 180 000 человек. Кольбер создал флот, соперничавший с голландским по численности и снаряжению. Людовик снова привлек на свою сторону Швецию и снова обеспечил себе Дуврским договором содействие Англии. Между тем Голландия была погружена в обманчивое спокойствие. Со времен Генриха IV она была постоянно в союзе с Францией; особенно дорожила им партия крупного

купечества, захватившая власть после падения Оранского дома. Приближение французов к Рейну заставило, правда, главу этой партии Яна де Витта вступить в Тройственный союз, но он все еще слепо держался за дружбу с Францией. Его доверие к ней исчезло только тогда, когда французская армия перешла в 1672 г. голландскую границу и под стенами Амстердама показали ее сторожевые огни. На время Голландия оказалась полностью во власти Людовика, но надменность победителя снова пробудила упорное мужество, отнявшее победу у Альбы и сокрушившее гордость Филиппа II. Де Витт был убит во время народного восстания, и его смерть поставила во главе республики принца Вильгельма Оранского. Новый правитель едва достиг зрелости, но тотчас обнаружил свои великие таланты. Его предшествовавшая жизнь приучила его к удивительному самообладанию. В раннем детстве он остался без отца и почти без друзей и вырос среди людей, считавших само существование его опасностью для государства, следивших за его словами, наблюдавших за его взглядами, ревниво отдалявших от него друзей. В такой атмосфере ребенок усвоил себе молчаливость, осмотрительность, сдержанность, серьезность, усвоил холодное, резкое, даже отталкивающее обращение. С колыбели он отличался хилостью и болезненностью; зрелость принесла с собой удушье, сухотку и постоянный кашель; его лицо было мрачно, бескровно и изрезано глубокими морщинами, говорившими о непрерывном страдании. Но под этой холодной и хилой оболочкой скрывался огненный и повелительный характер, непоколебимое мужество и первоклассный политический талант. Вильгельм был прирожденным политиком. Его воспитание отличалось небрежностью в других отношениях: он совсем не был знаком с литературой и искусством; но политике его заботливо обучал Ян де Витт. В своем первом обращении к Генеральным штатам молодой правитель с таким знанием обрисовал общее положение и высказал такое холодное мужество при определении шансов борьбы, что тотчас приобрел доверие своих соотечественников и скоро оправдал его. Непоколебимая решимость Вильгельма спасла Голландию и отняла у французов одну провинцию за другой. Подобно своему великому предку — Вильгельму Молчаливому, он не был счастливым полководцем; ни одному генералу не приходилось чаще терпеть поражения. Но он пользовался поражением так, как другие люди победой. Его храбрость носила особенно благородный характер: она достигала высшей степени в минуты гибели и отчаяния. Хладнокровие, с каким молодой генерал в битве при Сенефе остановил свои разбитые эскадры и под конец отнял у Конде плоды его победы, вызвало со стороны его опытного противника справедливое восхищение. В такие минуты сквозь покров обычной сдер-

жанности прорывался настоящий характер человека. Когда он попадал в огонь, его глаза сверкали особенным блеском, а среди ужаса и сумятицы поражения он выказывал спокойствие и веселость, очаровывавшие окружающих его солдат.

Политическое искусство Вильгельма сказалось в той ловкости, с какой он вовлек Испанию и дом Габсбургов в союз против Франции — союз, положивший основание «Великой коалиции». Но Франция была еще непобеждена на войне, и значение ее побед усиливалось эгоизмом союзников и все-го больше предательской дипломатией Карла II. В 1678 г. Вильгельм принужден был согласиться на Нимвегенский мир, предоставивший Франции никогда не виданное прежде влияние на Европу. Правда, Голландия была спасена от мщения Людовика, но у Испании были отняты новые земли: возвращенное ей в конце предыдущей войны Франш-Конте теперь осталось за Францией. Но всего более поразили французы Европу той смелостью и успехом, с какими они одни без союзников боролись против широкой коалиции. Надменность Людовика стала безграничной. Лотарингия была обращена в вассальное государство; Генуя подверглась бомбардировке, а ее дож принужден был просить прощения в передних Версая. Папа был унижен движением войска на Рим для отмщения за обиду, нанесенную французскому послу. Империя была оскорблена бесцеремонным захватом имперских ленов в Эльзасе и других местах. Преследование протестантов, увенчавшееся отменой Нантского эдикта, было вызовом для всего протестантского мира. Для Людовика мир означал ряд оскорблений соседних держав, но каждая такая обида помогала его хладнокровному и скрытному противнику, следившему за всем из Гааги, создавать великую общеевропейскую коалицию, от которой он только и ожидал действительного обуздания честолюбия Франции. Опыт последней войны показал Вильгельму, что в состав такой коалиции должна входить Англия, и с этого времени он обратил свои усилия на то, чтобы обеспечить ее содействие. Для того чтобы освободить Карла от подчинения Франции, необходимо было примирить короля с парламентом, и сначала Вильгельм попытался устроить такое примирение; но долгое время он терпел неудачу благодаря упорству, с каким Карл держался за державу, помощь которой была ему необходима для проведения задуманных им планов. Однако поворот в политике, последовавший за падением Сабал и переходом власти к Данби, внушил Вильгельму новые надежды, а его брак с Марией нанес Людовику удар, оказавшийся роковым. У Якова не было сыновей, и брак с Марией в любом случае обеспечивал Вильгельму после смерти его тестя содействие Англии в его великом предприятии. Но ждать этого события было невозможно, и

хотя принц воспользовался своим новым положением для того, чтобы побудить Карла к более решительным действиям, но его усилия остались безуспешными. Волнение, вызванное католическим заговором, усложнило его положение. В первых стадиях билля об устранении, когда парламент по-видимому намеревался просто обойти Якова и тотчас по смерти Карла возвести на престол Марию, Вильгельм стоял в стороне от борьбы, исход которой представлялся ему сомнительным, хотя он и готов был воспользоваться ее удачным окончанием. Но роковая ошибка Шефтсбери, выдвинувшего притязания Монмута, заставила его вмешаться в дело. Чтобы сохранить право Марии на престол, вместе со всеми связанными с этим великими последствиями, Вильгельму не оставалось ничего другого, как стать на сторону герцога Йоркского. Поэтому в разгар борьбы он изо всех сил вступился за Якова. Красноречие Галифакса обеспечило отвержение билля об устранении, а Галифакс был только выразителем взглядов Вильгельма.

В то время как заговор католиков и роялистская реакция волновали Англию, великая европейская война подходила все ближе. Беспрестанные нападки Людовика истощили терпение Германии, и в 1686 г. ее князья по договору в Аугсбурге обязались противиться всем дальнейшим захватам со стороны Франции. С этого момента война стала неизбежной, и Вильгельм начал с усиленной тревогой следить за политикой своего тестя. Его старания обеспечить помощь Англии окончились полной неудачей. Яков возобновил тайный договор брата с Францией и вступил со своим народом в столкновение, которое уже само по себе должно было мешать деятельному участию во внешней войне. Принцу оставалось только молча смотреть на это, едва рассчитывая, что Якова еще удастся склонить к более благородной политике. Он отказал во всякой поддержке вождям недовольных, уже приглашавшим его к вооруженному вмешательству. С другой стороны, он отказался содействовать королю в его планах насчет отмены Теста. Если Вильгельм и питал еще надежды на примирение короля с народом, что позволило бы ему привлечь Англию в «Великую коалицию», то они исчезли в 1687 г. благодаря Декларации о терпимости. В эту-то пору Яков пригласил его высказаться в пользу отмены уголовных законов и Теста. Но в одно время с приглашением короля пришли от главных вельмож Англии письма с предостережениями и обещаниями поддержки. Одни, подобно Гайдам, просто уверяли принца в своей преданности. Епископ Лондонский присоединял к этому обещание помощи. Другие, подобно Девонширу, Ноттингему и Шрусбери, убеждали его не поддаваться требованию короля. Лорд Черчилль извещал о намерении сестры Марии, Анны,

стоять на стороне протестантизма*. Данби, вождь великой торийской партии, слал настоятельные предостережения. Эти письма определили ответ Вильгельма. Он добросовестно заявил, что никто не питает к религиозным преследованиям такого отвращения, как он, но что, под предлогом ослабления политической несправедливости, Яков приглашает его содействовать гибели его собственной веры: «Я не могу, — говорил он в заключение, — оказать Вашему Величеству просимому Вами содействия». Но Вильгельм все еще отступал перед мыслью о вооруженном вмешательстве. Общее недовольство представлялось несомненным, но положение Якова казалось довольно прочным. Он рассчитывал на помощь Франции и имел армию в 20 000 человек. Шотландия была приведена в уныние неудачей восстания Аргайла и не могла подать теперь такой помощи, какую она оказала Додгому парламенту. Ирландия была готова высадить на западный берег армию католиков. В самой Англии представлялся сомнительным переход от недовольства к настоящему восстанию. «Кровавые ассизы» навели ужас на вигов. Тори и крайние англиканцы, несмотря на все их раздражение, удерживались теорией беспрекословного повиновения. Поэтому Вильгельм намеревался отклонять все крайние советы и ограничиться организацией всеобщей оппозиции, которая при помощи законных средств должна была заставить Якова примириться со страной, отказаться от его внутренней и внешней политики и пристать к союзу против Франции.

Но в этот момент непредвиденное событие изменило ход политики Вильгельма. Терпение как его, так и народа основывалось на уверенности в наследовании престола Марией. Между тем в разгар борьбы короля с церковью разнесся слух, что королева снова беременна. Известие было встречено общим недоверием, так как со времени последней беременности Марии Моденской прошло пять лет; но оно сразу вызвало перелом. Если бы, как это радостно предсказывали католики, ребенок оказался мальчиком и если бы он, в чем не было сомнения, был воспитан в католичестве, то самым ярким тори приходилось решать, должна ли вечно продолжаться та тирания, от которой страдала Англия. Колебанию страны наступил конец. Данби, всего больше преданный церкви и неизменно ненавидевший подчинение Франции, ручался за тори; Комптон отвечал за сторонников «Высокой церкви», доведенных, наконец, до восстания декларацией о терпимости. Граф Девоншир, бывший лордом Кавендишем во время борьбы за устранение Якова, ручался за диссентеров, удовлетворенных обещанием Вильгельма

* Анна, младшая дочь Якова II, была подругой детства Сары Дженнингс, жены Черчилля, имевшей большое влияние на принцессу.

обеспечить веротерпимость, а также за общую массу вигов. За известием рождения принца Уэльского последовало дней через десять прямое предложение Вильгельму — вмешаться с оружием ради восстановления свободы Англии и защиты протестантской веры. Приглашение это было подписано представителями главных партий, теперь объединенных общей опасностью, и некоторыми другими лицами, и было доставлено в Гаагу Гербертом, самым популярным из английских моряков, лишенным команды за отказ высказаться против Тест-акта. Приглашение призывало Вильгельма прибыть с войском, достаточно сильным, чтобы оправдать вооруженное восстание лиц, его подписавших. Оно было послано из Лондона на другой день после оправдания епископов (30 июня). Общее возбуждение, ликование на судах, покрывавших реку, праздничные огни на всех улицах — все это, действительно, показывало, что страна находится накануне восстания. Даже армия, на которую Яков полагался безусловно, вдруг стала выказывать сочувствие народу. Яков находился в Гаунслау, когда получил известие о приговоре; выезжая из лагеря, он услышал позади себя громкие радостные крики. «Что это такое?» — спросил он. «Ничего, — был ответ. — Это просто солдаты радуются оправданию епископов». — «И вы называете это ничем?» — проворчал король. Эти крики показали ему, что он стоит в своем королевстве совсем одиноко. Пэры и дворянство, епископы и духовенство, университеты, все юристы, торговцы и фермеры были против него; а теперь его покинули даже его солдаты. Самые ревностные католики склоняли его к уступкам, но уступить значило для него изменить весь характер своего управления. Исчез всякий след законной власти. Назначенные короной, вопреки парламентскому статуту, шерифы, мэры, магистраты не были в глазах закона настоящими чиновниками. Даже в случае созыва палат члены, избранные подобными ставленниками короны, не могли составить законного парламента. Едва ли был хоть один министр короны или член Тайного совета, пользовавшийся законной властью. Яков привел дела в такое положение, что восстановление законного порядка равнялось полному ниспровержению всего сделанного им, а он нисколько не желал этого. Опасность и противоречие вызывали у него еще большее упорство. Он упразднил лагерь в Гаунслау и расставил войска по отдельным стоянкам. Он отставил обоих судей, содействовавших оправданию епископов, и приказал канцлерам всех епархий представить списки священников, не читавших Декларации о терпимости. Но его воля оказалась бессильной перед упорным сопротивлением, встреченным им со всех сторон. Ни один канцлер не представил списка в церковную комиссию, и последняя, ввиду настроения народа, вы

нуждена была бездействовать. Когда судьи, проявившие раболепство перед короной, отправлялись в объезд, дворянство отказывалось принимать их. Еще большее раздражение вызвало намерение короля заменить английские войска, настроение которых оказалось непригодным для его целей, отрядами из католической армии, набранной Тирконнелем в Ирландии. Против этой меры высказались даже католические пэры Тайного совета; только в одном полку шестеро офицеров подали в отставку, не желая принимать в число своих солдат ирландских рекрутов. С одного конца Англии до другого всюду распевали балладу Lillibullero, полную сатирических нападок на ирландских рекрутов.

Действительно, взрыв восстания был неизбежен. Напрягая все свои средства, Вильгельм собрал флот и достаточное войско, между тем как вельможи один за другим спешили в Гаагу. Граф Шрусбери доставил 2000 фунтов на расходы к походу. За Эдуардом Расселом, представителем вигского графа Бедфорда, последовали представители крупных торийских фамилий — сыновья маркиза Уинчестера, лорда Данби, лорда Питерсборо и сторонник «Высокой церкви» лорд Мэккелсфилд. На родине графы Данби и Девоншир вместе с лордом Лёмли втайне готовили восстание на севере. Несмотря на глубокую тайну, в какой все это делалось, тонкое чутье Сендерленда, унизившегося для сохранения своей должности до тайного перехода в католицизм, открыло ему приготовления Вильгельма, а сознание близости катастрофы побудило его выдать все тайны Якова под условием прощения совершенных им преступлений. Один Яков по-прежнему упорствовал и не замечал ничего. Он не боялся восстания, не поддерживаемого принцем Оранским, и думал, что опасность нападения французов на Голландию помешает отъезду Вильгельма. Но в сентябре началась давно ожидавшаяся война, и Людовик допустил величайшую политическую ошибку своего царствования: вместо Голландии он двинул свои войска на Германию. Голландцы тотчас почувствовали свою безопасность; Генеральные штаты выразили свое согласие на план Вильгельма, а снаряженный им флот поспешно собрался на Шельде. Едва известие об этом достигло Англии, как король от упорства перешел к сильнейшему страху. Призвав подкрепления из Шотландии и Ирландии, он собрал 40 000 человек, но их настроение было таково, что он не мог полагаться на них, а о помощи из Франции теперь нечего было и думать. Якову оставалось только вернуться к прежней политике союза с торийской и церковной партиями. Он лично обратился за помощью к епископам, распустив церковную комиссию, восстановил магистратов, лишенных им должностей, вернул городам их вольности. Канцлер торжественно отвез

в Сити хартию Лондона. Епископ Уинчестерский был послан восстановить изгнанных членов колледжа Магдалины. Был отдан приказ запереть католические часовни и иезуитские школы. Сендерленд настаивал на немедленном созыве парламента, но Якову совет показался изменой, и он отставил Сендерленда от должности. В ответ на заявление принца Оранского, предоставлявшего парламенту решение вопроса о законности принца Уэльского, Яков представил находившимся в Лондоне лордам доказательства рождения своего сына. Но и доказательства, и уступки явились слишком поздно. Задержанный противными ветрами, отнесенный назад сильной бурей при первой попытке, флот Вильгельма — 600 транспортных судов, сопровождаемых 50 военными кораблями, — бросил 5 ноября якорь в Торбэе, и его армия, численностью в 13 000 человек, вступила в Экзетер среди ликования граждан. На западе его прибытия не ожидали, и в течение недели к нему не пристал ни один крупный землевладелец. Но скоро в его лагерь поспешили вельможи и дворяне, а присоединение Плимута обеспечило его тыл. Поднялось восстание в Шотландии. Данби во главе сотни всадников бросился на Йорк и тем подал знак к мятежу. Милиция встретила его призыв криками: «Свободный парламент и протестантская вера!». Под его знамя поспешили пэры и дворяне; а движение на Ноттингем соединило его силы с силами Девоншира, собравшего в Дерби крупных вельмож центральных и восточных графств. Восстание торжествовало всюду. Гарнизон Халла высказался за свободный парламент. На рыночной площади Норича появился во главе трехсот дворян герцог Норфолк. В Оксфорде горожане и студенты встретили с чрезвычайным восторгом лорда Ловлеса. Бристоль открыл свои ворота принцу Оранскому, упорно продвигавшемуся к Солсбери, где собрал свои войска Яков. Но армия короля, расстроенная несогласием и взаимным недоверием вождей, отступила в беспорядке; лорд Черчилль перешел к неприятелю, а за ним последовало столько других офицеров, что Яков в отчаянии отказался от борьбы и бежал в Лондон. Там он услышал, что его дочь Анна покинула Сент-Джеймский дворец и отправилась в Ноттингем к Данби: «Боже, помоги мне, — воскликнул несчастный король, — меня покинули мои собственные дети!». Он совсем упал духом, и хотя обещал созвать палаты и послал в Гёнгерфорд комиссаров для переговоров с Вильгельмом о созыве свободного парламента, но в душе решил бежать. Парламент, сказал он немногим еще державшим его сторону лицам, потребует от него таких уступок, на какие он не может пойти. Он дождался только известия о бегстве жены и ребенка и тогда направился к острову Шиппи, где стоял корабль, приготовленный для перевозки его во Францию. Но его бегству

помешало несколько грубых рыбаков, принявших его за иезуита, и отряд телохранителей спокойно препроводил его назад в Лондон. В интересах Вильгельма и его советников было содействовать бегству, устранявшему с их пути главное затруднение. Если бы Яков остался, трудно было бы низложить его и опасно держать в плену. Вступление в Лондон голландских войск, молчание принца и приказ покинуть Сент-Джеймский дворец снова вызвали в короле страх. Он воспользовался теми средствами к бегству, какие почти открыто были предоставлены в его распоряжение, покинул во второй раз Лондон и 23 декабря беспрепятственно отплыл во Францию.

Перед бегством Яков сжег большую часть приказов о созыве нового парламента, распустил свою армию, расстроил, насколько только мог, всю правительственную машину. В течение нескольких дней в Лондоне царил страшное смятение и совершались насилия, но скоро над ними взяло верх стремление народа к порядку. Лорды, бывшие в это время в столице, в качестве членов Тайного совета разрешили своей собственной властью самые настоятельные административные дела, а затем по прибытии Вильгельма передали свою власть в его руки. Отсутствие лица, имевшего законное право созвать парламент, вызвало затруднение, которое было обойдено созывом палаты пэров и образованием второй палаты из всех членов, заседавших в общинах в царствование Карла II, вместе с олдмерменами и советниками городской общины Лондона. Оба собрания предложили Вильгельму взять на себя временное управление и разослать циркулярные приглашения избирателям всех городов и графств — прислать представителей в Конвент, собравшийся в январе 1689 г. Обе палаты высказались одинаково против возвращения низвергнутого короля или каких-либо переговоров с ним. Так же единодушно вверили они временную власть принцу Оранскому. Но тут пришел конец их единодушию. Виги, составлявшие большинство в общинах, приняли постановление, которое представлялось нелогичным и несостоятельным, но могло отлично привлечь на свою сторону все восставшие против Якова партии: церковников, испуганных просто его ханжеством; тори, сомневавшихся в праве народа низлагать своего короля; вигов, поддерживавших теорию договора короля с народом. Они постановили: «Так как король Яков стремился ниспровергнуть конституцию королевства нарушением первоначального договора между королем и народом; так как он, по совету иезуитов и других негодных людей, нарушил основные законы и удалился из королевства, то, значит, он отказался от управления и тем сделал престол вакантным». Но у лордов, где все еще преобладали тори, эта резолюция

встретила горячие возражения. Архиепископ Сэнкрофт и крайние то утверждали, что никакое преступление не может повлечь за собой потерю короны и что Яков все еще остается королем, но что его тирания да народу право лишить его пользования правительственной властью и доверить ее регентству. Умеренные тори вместе с Данби во главе допустили, что Яков перестал быть королем, но отрицали возможность вакансии престола, утверждая, что со времени отречения Якова верховная власть перешла к его дочери Марии. Напрасно Галифакс поддерживал своим красноречием вигских пэров, защищавших первоначальную форму резолюции общин. План регентства был отвергнут всего одним голосом, предложение Данби принято крупным большинством. Но оба предложения тори неожиданно встретили сопротивление со стороны Вильгельма. Он отказался от регентства и объявил Данби, что не желает быть камердинером своей жены. С другой стороны, Мария отказалась принять корону иначе как вместе с супругом. Оба заявления положили конец спору. Было решено признать государями и Вильгельма, и Марию, но настоящее управление предоставить одному Вильгельму. Парламентский комитет, самым влиятельным членом которого был Джон Сомерс, молодой юрист, выдвинувшийся в процессе епископов и игравший важную роль в позднейшей истории, составил Декларацию прав, представленную 13 февраля обеими палатами Вильгельму и Марии в банкетной зале Уайт-Холла. Декларация говорила о злоупотреблениях Якова, его отречении и желании лордов и общин охранять старинные права и вольности граждан Англии. Она объявляла незаконным учреждение Яковом церковной миссии и образование армии без разрешения парламента. Она отвергала право короля приостанавливать применение законов или освобождать него, а также взимать налоги без согласия парламента. Она подтверждала за подданными право ходатайствовать, свободно избирать представителей в парламент и пользоваться справедливым и милостивым судом. Она провозглашала права обеих палат на свободу прений, требовала гарантий свободного исповедания религии всеми протестантами, обязывала нового государя поддерживать протестантскую веру, законы и вольности королевства. Вполне полагаясь на то, что эти начала будут приняты и поддерживаемы Вильгельмом и Марией, она оканчивалась провозглашением принца и принцессы Оранских королем и королевой Англии. В заключение Галифакс, от имени сословий королевства, просил Вильгельма и Марию принять корону. Вильгельм принял предложение за себя и жену и выразил в кратких словах намерение обоих поддерживать законы и управлять в согласии с парламентом.

Глава VIII

Великая коалиция (1689—1697)

Ошибка, которую совершил Людовик, избрав целью нападения Германию вместо Голландии, была почти заглажена блестящими успехами в начале войны. Скоро в его руках оказалась вся страна к западу от Рейна; его войска завладели Пфальцем и проникли даже в Вюртемберг. Его положение никогда не было таким блестящим, как вдруг прибытие в Сен-Жермен Якова сразу изменило все. Людовик должен был возвратиться к оборонительной войне, а жестокие опустошения, сопровождавшие отступление его войск от Рейна, свидетельствовали о том, как трудно было его гордости подчиниться необходимости. Пфальц был обращен в пустыню. Величавый замок курфюрста в Гейдельберге, почтенные гробницы императоров в Шпейере, промышленные города и хижины виноделов — все подверглось одинаковому опустошению.

Принимая английскую корону, Вильгельм руководствовался не столько личным честолюбием, сколько надеждой на тесный союз обеих великих протестантских держав — Англии и Голландии, флоты которых господствовали на море, — как годом раньше при помощи договора в Аугсбурге ему удалось объединить всю Германию. Но переход от такого союза к образованию европейской коалиции против Франции был замедлен отвращением обеих ветвей Габсбургского дома, Испанской и Австрийской, к союзу с протестантскими державами против католического короля; в то же время Англия мало интересовалась участием в нападении на Францию с целью спасти свободу Европы. Но всякое колебание исчезло, когда принятие Якова с королевскими почестями в Сен-Жермене доставило Англии предлог к объявлению войны; ее примеру скоро последовала Голландия, и обе державы стоворились помогать друг другу в борьбе против Франции. Присоединение к этому соглашению в 1689 г. Испании и Венского двора завершило задуманное Вильгельмом образование «Великой коалиции»; а когда к союзникам присоединилась Савойя, Франция оказалась окруженной врагами со всех сторон, кроме Швейцарии. Вдали от европейского союза стояли только скандинавские государства, да и их нейтралитет был враждебен Франции. Людовик остался без всяких союзников, кроме турок; но энергия и быстрота переброски войск, обусловленная сосредоточением сил Франции в одних руках, все еще поддерживала равновесие в борьбе. Империя была неповоротлива, Венский двор отвлечен войной с турками, Испания почти бессильна; только Голландия и Англия относились серьезно к

борьбе, но пока Англия не могла активно участвовать в ней. Правда, одна английская бригада, составленная из набранных Яковом полков, присоединилась к голландской армии на Самбре и отличилась под командой Черчилля, награжденного за свою измену Якову титулом графа Мальборо, в жаркой схватке с неприятелем при Валькуре. Но пока Вильгельму было много дела и дома.

В Англии за Якова не было обнажено ни одного меча. В Шотландии его тирания была еще сильнее, чем в Англии, и ее падение в низменной части страны столь же полно и быстро. Едва он отозвал свои войска к югу для отражения нашествия Вильгельма, как Эдинбург поднял восстание. Крестьяне запада тотчас взялись за оружие, и епископальное духовенство, со времен Реставрации постоянно служившее Стюартам орудием угнетения, подверглось во всех приходах поруганию и изгнанию из своих домов. Известие об этих беспорядках заставило Вильгельма действовать, хотя у него не было и тени законной власти над Шотландией. По совету находившихся в Лондоне шотландских лордов он решился созвать Конвент, подобный созданному в Англии, и под своей ответственностью отменить законы, не допускавшие пресвитериан в шотландский парламент. Этот Конвент объявил, что своим плохим управлением Яков утратил право на корону, и предложил ее Вильгельму и Марии. Предложение сопровождалось «просьбой о праве»; составленной по образцу той Декларации прав, на которую они изъявили согласие в Англии, но оканчивавшейся требованием упразднить епископат. И корона, и просьба были приняты, а прибытие шотландских полков, приведенных Вильгельмом из Голландии, придало силу новому правительству. Ей предстояло жестокое испытание. Джон Грехем Клеверхауз, за свою жестокость при преследовании крайних пресвитериан запада награжденный высоким постом в шотландской армии и титулом виконта Дёнди, бежал с несколькими всадниками из Эдинбурга в горы и обратился с воззванием к кланам. В горах не имели понятия ни об управлении, ни о тирании короля, и революция представлялась горцу просто восстановлением дома Аргайла. Для многих кланов это равнялось возвращению земель, пожалованных им по осуждению графа, и потому Макдональды, Маклины, Кэмероны готовы были так же поддерживать Дёнди в его борьбе с Кэмпбеллами и поддерживавшим их правительством, как сорок лет назад они поддерживали в таком же случае Монтроза и скоро подняли оружие. Когда в июле 1689 г. шотландские полки Вильгельма под командой генерала Маккея поднялись на перевал Килликрэнки, Дёнди во главе 3000 горцев напал на них и обратил в стремительное бегство вниз по долине. Но его смерть в момент победы разрушила единственную связь, объединявшую

горцев, и за несколько недель наведшее страх на равнинную Шотландию войско их растаяло. На следующее лето Маккею удалось построить в самой середине недовольной области сильный форт Вильгельма, а предложение им денег и помилования привело к подчинению кланов. Сэр Джон Дэлримпл, глава учреждения, в руках которого в это время находилось управление Шотландией, надеялся было, что отказ от присяги на подданство послужит основанием для истребительной войны, которая навсегда избавит Шотландию от страха перед горцами. Ожидая отказа, он отдал беспощадно строгие приказания: «Ваши войска, — писал он командовавшему офицеру, — подвергнут полному опустошению области Локэбер, Локкисл, Кеппок, Гленгарри и Гленко. У вас будут достаточно широкие полномочия. Я надеюсь, солдаты не будут обременять правительство пленными». Но его надежды были разрушены той поспешностью, с какой кланы приняли предложения правительства. Все подчинились вовремя, кроме Макдональдов из Гленко, по гордости замедливших принятие присяги на шесть дней после назначенного воззванием срока. Обманувшись в надеждах на общее истребление, Дэлримпл жадно ухватился за предоставленный Макдональдами предлог и представил Вильгельму указ об «истреблении этого разбойничьего рода», получивший одобрение короля. «Дело должно быть сделано внезапно и втайне», — писал Дэлримпл полковнику Гамильтону, поручая ему исполнение указа. Войска были набраны из Кемпбеллов, смертельных врагов клана Гленко, и 12 дней они простояли мирно среди Макдональдов, пока не исчезло всякое подозрение. Потом на рассвете они напали на своих хозяев, и через несколько минут 30 горцев легли мертвыми на снегу. Прочие под прикрытием бури бежали в горы и большей частью погибли там от холода и голода: «Я жалею только об одном, — сказал Дэлримпл, получив известие об этом, — что некоторые убежали». Впоследствии это кровопролитие возбуждало сильное негодование, но тогда о нем, кроме Дэлримпла, знали немногие. Замирение горных областей дало возможность спокойно продолжать преобразовательную работу в Эдинбурге. Приняв просьбу о праве, отвергавшую епископат, Вильгельм, в сущности, восстановил пресвитерианскую церковь, а это сопровождалось возвращением Вестминстерскому исповеданию роли мерила веры и проведением закона, отменявшего патронат мирян. Зато шотландский парламент упорно отклонял предложенный королем Закон о терпимости, но и король стоял на своем. Пока он царствует, заявил Вильгельм в знаменательных словах, никто не будет преследуем за веру: «Мы никогда не можем допустить, что насилие содействует успеху истинной веры, и мы не намерены делать нашу власть орудием необузданных страстей какой-либо партии».

Яков и Людовик надеялись остановить успехи Вильгельма не в Шотландии, а в Ирландии. В середине своего царствования Яков более всего заботился помешать возобновлению преследования своих единоверцев кем-либо из своих преемников-протестантов. Поэтому, если можно верить утверждению французского посла, он решил поставить Ирландию в положение настолько независимое, чтобы она могла служить прибежищем для его католических подданных. С этой целью он отнял наместничество у лорда Кларендона и передал его католику — графу Тирконнелу, пожалованному в герцоги. Новый правитель энергично взялся за дело. Все англичане были лишены должностей. Все судьи, члены Тайного совета, мэры и оддермены должны были быть католиками и ирландцами. Ирландская армия, доведенная до 50 000 человек и очищенная от солдат-протестантов, была вверена католическим офицерам. За несколько месяцев преобладание англичан было уничтожено, а их жизнь и имущество отданы во власть туземцев, еще при Кромвеле находившихся в угнетении. Бегство короля и вызванное этим среди туземцев брожение распространили страх по всему острову. Ожидали нового избиения англичан, и 1500 протестантских семей, главным образом с юга, в страхе бежали за море. С другой стороны, протестанты севера собрались в Эннискиллене и Лондондерри и приготовились к обороне. Однако взрыв был задержан еще на два месяца интригами Тирконнела с правительством Вильгельма. Но Тирконнел просто старался выиграть время, а на самом деле приглашал Якова вернуться в Ирландию, и когда узнал о предстоящем прибытии его с офицерами, военными запасами и субсидией, данной французским королем, сбросил с себя маску. Над Дублинским замком был поднят флаг с вышитыми на складках его словами: «Теперь или никогда». Этот сигнал призвал всех католиков к оружию. Разъяренные туземцы набросились на добычу, оставленную англичанами, и за несколько недель произвели такое опустошение, что, по словам французского посла, понадобятся годы для его заглаживания. Между тем Яков отплыл из Франции в Кинсэл. Он намеревался произвести вторжение в Англию с теми 50 000 человек, которые должны были находиться в распоряжении Тирконнела; но его надежды были расстроены начавшейся племенной борьбой. Для Тирконнела и ирландских вождей планы короля были очень неприятны. Они хотели, чтобы Ирландия принадлежала ирландцам, и первым их делом было изгнание англичан, еще державшихся в Улстере. Поэтому половина армии Тирконнела была послана против Лондондерри, где масса беглецов нашла себе убежище за слабой стеной, вооруженной несколькими старыми пушками и не прикрытой даже рвом; ее слабость восполнялась отчаянной храбростью защищавшихся за нею.

7000 англичан. Их вылазки были так бурны, а отражение приступов так сокрушительно, что наконец генерал Якова Гамильтон перешел от осады к блокаде. Протестанты умирали на улицах от голода и тифа, но лозунгом для города все еще было «Не сдаваться». Осада продолжалась же 105 дней, и в Лондондерри оставалось всего на два дня припасов, когда 28 июля один английский корабль прорвал преграждавшую реку цепь, и осаждавшие угрюмо отступили. Их поражение превратилось в бегство, когда жители Эннискиллена, переправившись через болото, напали при Ньютаун-Бётлере на вдвое превосходившее их численностью ирландское войско и погнало перед собой его пехоту и конницу. Паника скоро охватила все войско Гамильтона, и побежденные солдаты отступили к Дублину, где нашли Якова в полной власти им же созванного и разъяренного парламента. Он был составлен исключительно из ирландцев и католиков, стремившихся единственно к отмене многократных конфискаций, предоставивших земли английским поселенцам, и к возвращению Ирландии ирландцам. Закон о поселении, служивший основой всех владельческих прав, вопреки желанию короля был немедленно отменен. Обширнейший когда-либо из виданных миром биллей об опале охватил 3000 именитых и состоятельных протестантов. Несмотря на обещание Яковом религиозной свободы, протестантские священники были изгнаны из своих приходов, а профессора и студенты — из коллегии Троицы; французский посол граф д'Аво решился даже предложить, в случае, если при высадке англичан протестанты, как того ожидали, произведут восстание, ответить на него общим избиением протестантов, еще проживавших в подчиненных Якову областях. К чести его, король с ужасом отверг это предложение: «Я не могу быть настолько жесток, — сказал он, — чтобы перерезать им горло, в то время как они мирно живут под моей властью». — «Милость к протестантам является жестокостью к католикам», — был холодный ответ.

Вильгельм должен был в бездействии смотреть на долгую агонию Лондондерри и кровавые меры нового ирландского правительства. Лучшие части армии, собранной в Гаунсלאу, были посланы с Мальборо на Самбру, а ввиду окружавших правительство политических затруднений, оно не могло выделить из оставшихся ни одного человека. Правда, великие цели революции, благодаря общему согласию и несмотря на замешательство и интриги, о которых нам придется еще говорить, были достигнуты. Теперь и виги, и тори были согласны относительно главных вопросов гражданской свободы. Конвент, ставший теперь парламентом, обратил Декларацию прав в Билль о правах, и проведения этой меры в 1689 г. вернуло монархии тот характер, который она утратила было при Тюдорах и Стюартах. Теперь

было установлено право народа, в лице его представителей, низлагать короля, изменять порядок престолонаследия и возводить на престол кого ему угодно. Избрание Вильгельма и Марии формально устранило всякое притязание на божественное или наследственное право, независимое от закона. С этого времени ни один английский государь не мог предъявлять на корону никакого иного притязания, кроме основанного на особом постановлении парламентского закона. Вильгельм, Мария и Анна были государями просто в силу Билля о правах. Георг I и его преемники были государями в силу Закона о престолонаследии. Английский монарх является теперь таким же созданием парламентского акта, как и мельчайший сборщик податей в его королевстве. Но не только был восстановлен прежний порядок королевской власти, с ним была восстановлена и прежняя конституция. Горький опыт доказал Англии необходимость возвратить парламенту неограниченную власть над обложением. В назначении пожизненного дохода заключалась тайна антinationальной политики двух последних королей, и первым делом нового парламента было ограничить назначение королю доходов четырехлетним сроком. Вильгельм был сильно оскорблен этим постановлением: «Английские дворяне, — сказал он, — доверяли королю Якову, бывшему врагом их религии и их законов, и не хотят доверять мне, спасителю той и других». Этот взрыв королевского гнева вызвал одну только перемену: решение определять субсидии ежегодно, и, несмотря на незначительные изменения, внесенные в него ближайшим торийским парламентом, это постановление скоро стало неизменным правилом. Почти столь же важной переменной было установление контроля парламента над армией. Ненависть к постоянному войску, появившаяся при Кромвеле, только усилилась при Якове; но ввиду войны на материке существование армии было необходимостью. До сих пор оно было незаконно. Солдат был просто обыкновенным подданным; не было законных средств наказывать за чисто военные проступки или поддерживать воинскую дисциплину, а присвоенное себе короной право размещать солдат на постой в частных домах было отменено законом. Эти затруднения были устранены Законом о мятеже. Парламент предоставил офицерам полномочия, необходимые для дисциплины в армии, и назначил средства на содержание ее; но и средства, и полномочия были назначены только на один год. Закон о мятеже, подобно назначению субсидий, принимался после революции ежегодно; а так как государству невозможно существовать без налогов, а армии — без дисциплины и содержания, то ежегодный созыв парламента стал делом вполне необходимым. Таким образом, величайшая конституционная реформа, известная английской истории, была проведена косвенным, но вполне

не успешным образом. Гораздо менее удачно было предупреждение тех опасностей, которые, как показал недавний опыт, были связаны с самим устройством парламента. При Карле избранный под влиянием реакции парламента просуществовал без новых выборов 18 лет. Теперь при незначительной оппозиции был проведен закон, ограничивавший продолжительность парламента тремя годами, но он разбился о неудовольствие и вето Вильгельма. Еще более трудной задачей оказалось противодействовать тому влиянию, какое мог получить король, наполняя общины чиновниками. Билль, лишавший права заседать в парламенте всех состоявших на государственной службе лиц, был благоразумно отвергнут лордами. По-видимому, тогда еще никому не приходил в голову теперешний способ противодействия давлению со стороны короны или администрации путем устранения всех мелких чиновников, но с сохранением влияния парламента на главных сановников через допущение их в его состав. Странно также и то, что, требуя для парламента права контроля над общественными доходами и войском, Билль о правах своим умолчанием о надзоре за торговлей оставил его за короной. Только несколько лет спустя, при обсуждении хартии, дарованной Ост-Индской компании, палаты мимоходом потребовали себе и добились права регулировать английскую торговлю.

Религиозные следствия революции по важности едва ли уступали политическим. Мы видели, как в общей борьбе против католицизма англиканцы и диссентеры неожиданно оказались заодно, и планы примирения вдруг стали популярными. Но с падением Якова союз двух общин внезапно исчез, а установление пресвитерианской церкви в Шотландии, вместе с изгнанием епископального духовенства из ее западных графств, оживило старую вражду духовенства к диссентерам. Конвокация отвергла предложение свободомыслящих — внести в англиканский служебник такие изменения, которые позволили бы диссентерам вернуться в церковь; а внесенный в парламента билль об объединении не успел пройти несмотря на усердное содействие короля. Столь же бесплодной оказалась и попытка Вильгельма доставить хотя отчасти диссентерам гражданское равенство отменой Закона о корпорациях; но фактически свобода богослужения была установлена Законом о терпимости, проведенным в 1689 г. Каковы бы ни были религиозные следствия неудачи свободомыслящих, ее политический результат имел огромное значение. Никогда церковь не пользовалась таким могуществом и популярностью как во время революции, а примирение с диссентерами удвоило бы ее силу. Сомнительно, повлияло ли бы это на то отвлечение ко всякой политической реформе, которое отличало ее в два последние века; но несомненно, что это чрезвычайно усилило бы силу сопро-

тивления, которой она располагала. В данном случае Закон о терпимости устанавливал ряд религиозных общин, враждебных господствующей церкви, и эта вражда побуждала их поддерживать оспариваемые ею прогрессивные меры. Ввиду присутствия религиозных сил на обеих сторонах Англии избежала крупного затруднения, с которым приходилось считаться тем странам, где дело религии отождествилось с интересами политической реакции. Еще более ослабил церковь раскол в ее собственных рядах. Теория божественного права находила себе сильную опору в массе духовенства, хотя оно и должно было отказаться от другого излюбленного учения — о безусловном повиновении; поэтому требование от всех лиц, занимающих общественные должности, присяги на подданство новым государям представлялось почти всем священникам невыносимой несправедливостью. Сэнкрофт, архиепископ Кентерберийский, несколько епископов и большое число высших духовных решительно отказались от присяги, объявив себя раскольниками всех принесших ее и, когда были низложены по постановлению парламента, провозгласили себя и своих приверженцев, известных под названием «неприсяжники», единственными членами настоящей церкви Англии. Массы духовенства подчинились необходимости, но ее ожесточение против нового правительства было доведено до высшей степени его церковной политикой, выразившейся в этом подтверждении верховенства парламента над церковью и в низложении епископов в силу законодательного акта. Новые прелаты, вроде Тиллотсона, архиепископа Кентерберийского, и Бёрнета, епископа Солсберийского, были людьми учеными и набожными; но Вильгельм и его преемники могли находить себе друзей в духовенстве только среди вигов и свободомыслящих, и им-то и должны были они, главным образом, вверять высшие церковные должности. Это вызвало отчуждение между высшими сановниками и массой духовенства, ослабило могущество церкви; вплоть до правления Георга III сильнейшую борьбу она вела в своих собственных рядах. Но недовольство мерой, вызвавшей этот спор, только усилило те затруднения, с которыми уже приходилось считаться Вильгельму.

Еще более затрудняло его настроение парламента. Первым делом вигов, составлявших в общинах большинство, было вознаградить свою партию за те несправедливости, от которых она потерпела за два последних царствования. Билль об опале против лорда Рассела и приговоры против Сидни, Корниша и Алисы Лисли были отменены. Вопреки мнению судей, объявивших осуждение Титуса Отса незаконным, лорды отказались отменить его, но даже и Отс получил помилование и пенсию. Но виги требовали не только заглажения несправедливостей, но и наказания лиц, их совершавших.

ших. Правда, тирания Якова объединила было вигов и тори; обе партии участвовали в революции, и Вильгельм старался продлить их союз, привлекая вождей той и другой в свое первое министерство: он назначил тори, графа Данби, лордом президентом, вига, графа Шрусбери государственным секретарем, отдал личную печать лорду Галифаксу, принадлежавшему к той и другой партии. Но согласие между ними было возможно только в моменты общего угнетения или общей опасности. Виги требовали наказания тори, содействовавших незаконным мерам Карла и Якова, и отказались принять предложенный Вильгельмом билль об общей амнистии. Со своей стороны Вильгельм решил не допускать после революции, возведшей его на престол, ни казней, ни опал. Он от природы не терпел преследования, не питал особенной любви ни к одной из борющихся партий, но, прежде всего, понимал, что внутренняя борьба помешает деятельному продолжению войны. Между тем как заботы о новом престоле приковывали его к Англии, союз, руководителем которого он был, оказался слишком медлительным и непрочным, чтобы бороться с быстрыми и решительными действиями Франции. Армии Людовика отступили в свои границы, но только для того, чтобы яростнее обратиться на врагов. Даже соединение английского и голландского флотов не могло обеспечить им господства на море. Сила английского флота парализовалась господствовавшей в государственной службе коррупцией, а также бездеятельностью и неспособностью его командира. Услуги адмирала Герберта делу революции были награждены титулом графа Торрингтона и командой над флотом; но по своей беспечности он допустил захваты французских каперов, а в нерешительной схватке с французской эскадрой в заливе Бэнтри выказал свою неопытность в морском деле. Между тем Людовик напрягал все силы, чтобы приобрести господство над Ла-Маншем. Французские верфи выпускали один корабль за другим, а для подкрепления флота в Бресте были приведены галеры из Средиземного моря. Победа французов вблизи берегов Англии представляла бы серьезную политическую опасность, так как начавшаяся в пользу Якова реакция народного чувства только усилилась под влиянием тягостей войны, налогов, смещения неприсяжников и недовольного духовенства, страха тори перед проявившимся среди победоносных вигов стремлением к мщению, но больше благодаря присутствию Якова в Ирландии. Образовалась новая партия якобитов, или приверженцев короля Якова; существовало опасение, что за появлением французского флота у берегов последует якобитское восстание. При таком положении дел Вильгельм справедливо полагал, что уступить стремлению вигов к мести значило бы погубить свое дело. Он распустил парламент, отказавшийся принять билль об амнистии за все по-

литические преступления, и в марте 1690 г. созвал новый. Результат выборов показал, что он верно понял настроение народа. Своим отказом принять амнистию и своим стремлением обеспечить себе влияние на городские корпорации виги раздражили горожан, а в графствах священники буждали свою паству голосовать против вигов. В новом парламенте большинство членов оказалось торийским. Вильгельм принял отставку своих советников из наиболее ревностных вигов и поставил во главе управления Данби. В мае палаты выразили свое согласие на Закон о помиловании. При этой внезапной перемене фронта король хотел не только пойти навстречу перемене в настроении народа, но и утишить на время борьбу английских партий, что позволило бы ему подавить мятеж в Ирландии. Пока Яков королем в Дублине, нельзя было рассчитывать на искоренение измен Англии; опасность была так настоятельна, каждая минута при настоящем положении дел так дорога, что возможно скорое завершение дела Вильгельм не мог доверить никому, кроме себя.

Осенью 1689 г. был послан в Улстер с небольшим отрядом герцог Шомберг, изгнанный гугенот, последовавший за Вильгельмом в Англию; но высадка только вызвала в Ирландии новое воодушевление. Ряды ирландского войска немедленно были пополнены, и Яков получил возможно встретить герцога при Дрогеде с войском, вдвое более многочисленным. Войско Шомберга было целиком составлено из молодых рекрутов, на которых при таком неравенстве сил едва ли было возможно полагаться в открытом поле, и он укрепился в лагере при Дёндэлке, где, прежде чем разбить противников, болезни скоро унесли половину его войска. В течение следующих шести месяцев Яков старался пополнить свою сильно истощенную казну чеканкой медной монеты, а его солдаты жили про грабежом. Между тем по другую сторону пролива Вильгельм прилагал усилия к окончанию ирландской войны. В течение зимы Шомберг получил подкрепление людьми и запасами, и с наступлением весны его силы достигли 30 000 человек. Людовик также понимал важность предстоящей битвы и послал на подкрепление армии Якова 7000 отборных французов командой графа де Лозона. Едва они прибыли, как Вильгельм высадился при Кэррикфергюсе и быстро двинулся на юг. Его колонны скоро заметили ирландские войска, занявшие сильную позицию за Бойной: «Я рад видеть вас, господа, — воскликнул Вильгельм в порыве радости, — если вы кользнете от меня теперь, то виноват буду я». На другой день рано утра английская армия переправилась через реку. Ирландская пехота в страхе бросилась бежать, но конница оказала такое храброе сопротивление, что Шомберг пал, отражая ее атаку, и на время английский центр

задержан. Все решило прибытие Вильгельма во главе левого крыла. Яков, все время старавшийся скорее обеспечить отступление своим войскам, чем храбро встретить нападение Вильгельма, покинул их, когда они стали отступать к Дублину, и из Кинсэла отплыл во Францию.

Преследование Вильгельма заставило разбитое войско покинуть столицу, но оно все еще намерено было сражаться. Неспособность Якова вызвала насмешки даже у его приверженцев: «Поменяемся королями, — возразил один ирландский офицер англичанину, осмеивавшему панику противников при Бойне, — и мы снова станем сражаться с вами». Они лучше сражались без короля. Правда, французы покинули с насмешками разбитую армию, когда она остановилась под стенами Лимерика: «Вы называете это укреплениями? — насмешливо спросил Лозон. — Англичанам не понадобится пушек; они могут разбить эти стены печеными яблоками». Но там осталось 20 000 человек с Сарсфилдом, храбрым и решительным офицером, служившим в Англии и за границей; он смело захватил обоз с припасами англичан, отразил отчаянную попытку штурмовать город, и это вместе с приближением зимы заставило Вильгельма снять осаду. Ход войны на материке вызвал его в Англию, и он передал свое дело человеку, постепенно ставшему мастером в военном искусстве. Для командования дивизией, высадившейся на юге Ирландии, из Фландрии был вызван Черчилль, теперь граф Мальборо. Оставалось всего несколько дней до прекращения военных действий ввиду наступления зимы, но он отлично ими воспользовался. В 48 часов он взял Корк с находившимися за его стенами 5000 человек. Через несколько дней участь Корка разделил Кинсэл. Однако наступление зимы оставило в руках ирландцев Коннаут и большую часть Мёнстера; силы французов оставались еще нетронутыми, а прибытие нового французского генерала Сен-Рюта с оружием и запасами ободрило мятежников. Но едва наступило лето 1691 г., как Джонкелл, новый вождь англичан, взял Этлон и принудил соединенные силы французов и ирландцев вступить при Огриме в битву, где Сен-Рют пал, а его армия была разбита наголову. Это поражение оставило Лимерик в одиночестве, и сам Сарсфилд признал сдачу необходимой. В октябре 1691 г. ирландские и английские генералы заключили два договора. Первый из них определял, что в исповедании своей религии ирландские католики будут пользоваться такими правами, какие совместимы с законами или какими они пользовались в царствование Карла II. Корона обязывалась также созвать как можно скорее парламент и озаботиться обеспечением добрым римским католикам безопасности «от всякого преследования за принадлежность к названной церкви». Военный договор разрешал всем желавшим того солдатам Сарсфилда следовать за

ним во Францию, и 10 000 человек, все его войско, предпочли изгнание жизни на родине, утратившей всякую надежду на национальную свободу. Когда замолкли громкие крики женщин, присутствовавших при отплытии солдат, в Ирландии воцарилась мертвая тишина. В течение века страна оставалась спокойной, но это было спокойствие смерти. Победители отомстили за восстание при Тирконнеле ужаснейшей юридической тиранией, какая только когда-нибудь угнетала народ. Побежденные, по полным горького презрения словам Свифта, сделалась «дровосеками и водоносами» своих победителей. Местные восстания поработенных постоянно распространяли страх среди английских поселенцев, но всякая мысль о национальном мятеже исчезла, и до времени французской революции Ирландия перестала служить для Англии источником политической опасности.

Несмотря на свою непродолжительность, ирландская война оказала Людовику большую услугу: в то время как Вильгельм был занят в Ирландии, ряд блестящих успехов восстановили славу Франции. Во Фландрии герцог Люксембург одержал победу при Флерюсе. В Италии маршал де Катина разбил герцога Савойского. Успех еще более важный — последняя победа, которую Франции суждено было одержать на море, — на время подверг опасности сам трон Вильгельма. Никогда Вильгельм не выказывал более холодного мужества, чем покидая Англию в то время, как якобиты ожидали только появления у берегов французского флота, чтобы поднять восстание. Едва он отправился в путь (30 июня 1690 г.), как в море вышел французский адмирал де Турвиль со строгим приказом вступить в сражение. У Бичи-Гед его встретил флот англичан и голландцев, и голландская эскадра тотчас завязала сражение. Несмотря на крайнее неравенство сил, она упорно держалась в надежде на помощь Герберта; но Герберт не то из трусости, не то по измене смотрел бездейственно на истребление своих союзников, а при наступлении ночи искал себе убежища в Темзе. Опасность была столь же велика, как и позор, так как победа Турвиля доставила ему господство над Ла-Маншем, а присутствие его у берега вызывало якобитов на восстание. Но каково бы ни было недовольство тори и неприсяжников против Вильгельма, перед высадкой французов исчезли все признаки его. Когда моряки Турвиля сожгли Тегмут, все прибрежные жители взялись за оружие; а известие о битве при Бойне положило конец всем мечтам о восстании в пользу Якова. Естественная реакция против партии, ожидавшей помощи от иностранцев, на время упрочила положение Вильгельма в Англии; но неудачи все еще преследовали «Великую коалицию». Присутствие его за границей было так действительно необходимо, что, как мы видели, Вильгельм оставил свое дело в Ирландии недоконченным и переправился

весной 1691 г. во Фландрию. В первый раз со времен Генриха VIII на материке появился английский король во главе английской армии. Но медлительность союзников снова разрушила надежды Вильгельма. Он был вынужден с небольшим войском смотреть на то, как 100 000 французов внезапно обложили Монс, сильнейшую крепость Нидерландов, и в присутствии Людовика овладели ею. Это было сильным унижением, на время ослабившим всякую веру в счастье Вильгельма. В Англии этот удар отразился еще сильнее. Там снова оживились надежды якобитов, подавленные негодованием по поводу высадки Турвиля. Руководители тори, вроде лорда Кларендона и лорда Дартмута, вступили в сношения с Яковом, и их примеру последовали некоторые из руководителей вигов с графом Шрусбери во главе, возмущенные тем, что они считали неблагодарностью Вильгельма. В уме лорда Мальборо положение дел возбудило надежды на двойную измену. Он намеревался вызвать восстание, которое должно было лишить Вильгельма престола, не восстановляя Якова, и предоставить корону его дочери Анне, а привязанность последней к жене Мальборо должна была отдать в его руки настоящее управление Англией. Еще большую опасность представляла измена адмирала Рассела, заменившего Торрингтона в командовании флотом. Измена Рассела устраняла единственное препятствие, мешавшее новой попытке Якова вернуть себе престол — попытке, которой Людовик обещал свою поддержку. В начале 1692 г. в Нормандии была приготовлена для высадки на берега Англии армия в 30 000 человек. Для переправы их были заготовлены транспортные суда, и Турвиль получил приказ прикрывать их с французским флотом в Бресте. У Рассела было вдвое больше кораблей, чем у его противника, но вера в его предательские замыслы была так сильна, что Людовик приказал Турвилю напасть на союзный флот даже при неблагоприятных условиях. Но каковы бы ни были интриги Рассела, он не был Гербертом: «Не думайте, что я позволю французам победить нас в наших собственных водах, — предостерегал он переписывавшихся с ним якобитов. — Если я встречу их, то вступлю в сражение, даже если бы на борту был король Яков». Когда союзный флот встретил французов на высоте Барфлера, его бурная атака доказала верность Рассела своему слову. 50 кораблей Турвиля не могли устоять против 90 судов союзников, и после упорного пятичасового боя французы вынуждены были отступить вдоль скалистого берега Котантена. 22 корабля достигли Сен-Мало, 13 с Турвилем бросили якорь в бухтах Шербура и Ла-Ог; но преследователи скоро настигли их, смело напали и на глазах у французской армии сожгли корабли один за другим. Это немедленно устранило всякую боязнь вторжения; а открытие и подавление в Англии заговора якобитов, на поддерж-

ку которого предназначалась высадка, укрепили престол Вильгельма. Не крушение надежд якобитов было еще не таким важным следствием победы при Ла-Ог. С этого времени Франция перестала быть великой морской державой. Ее флот скоро был восстановлен в прежней силе, но уверенность ее моряков исчезла, и даже Турвиль не отваживался снова испытывать счастья в морском сражении. Затем у «Великой коалиции» появилась новая надежда. Обаяние непобедимости Франции исчезло. Правда, Намюр сдался Людовику, а герцог Люксембург поддержал славу французского оружия, разбив Вильгельма при Стейнкирке; но эта битва была бесплодной бойней, в которой победители потеряли столько же людей, сколько и побежденные. Громадность ее усилий вызвала во Франции уныние и истощение, народ страшно обнищал. «Вся страна представляет собой обширный госпиталь», — писал откровенно Фенелон* Людовику. Поход Людовика в Нидерланды (1696) оказался бесплодным, и Люксембургу едва удалось отбить бурную атаку Вильгельма при Неервиндене. В первый раз в течение своего долгого и счастливого поприща Людовик смирил свою гордость, попробовал купить мир ценой отказа от своих завоеваний; его старания не дали результатов, но они доказали, что король перестал увлекаться своими честолюбивыми замыслами и что, в сущности, «Великая коалиция» сделала свое дело.

По внешнему виду революция 1688 г. только перенесла верховную власть с Якова на Вильгельма и Марию. В действительности, она сообщила сильный и решительный толчок конституционному движению, переносившему верховенство с короля на палату общин. С той поры как Билль о правах установил, что она одна имеет право облагать народ, а своим решением она ввела обычай разрешать короне субсидии только на один год, палата общин стала высшей властью в государстве. Невозможно было надолго отсрочивать ее заседания или долго противиться ее воле, так как и то, и другое оставляло правительство без средств, дезорганизовывало армию и флот, нарушало ход управления. Но, несмотря на полноту конституционного переворота, правительственная машина далеко не была приспособлена к созданным им новым условиям политической жизни. Как ни важна была воля палаты общин, она не имела никаких средств оказывать непосредственное влияние на ход общественных дел. Заведовавшие ими министры были слугами не общин, а короны; они ожидали указаний от короля и считали себя ответственными перед ним. Путем обвинения или менее пря-

* Франсуа де Салиньяк де Ла Мотт-Фенелон (1651–1715) — французский прелат, богослов, писатель, епископ Камбрэ, воспитатель герцога Бургундского (старшего внука Людовика XIV).

мых средств общины могли заставить короля отправить в отставку министра, противодействовавшего их воле; но конституция не давала им возможности заменить павшего деятеля министром, готовым проводить их волю. Вследствие этого в нижней палате усилилось настроение, приводившее в отчаяние Вильгельма и его министров. Она стала подкупной, ревнивой к власти, непостоянной в своих решениях, беспокойно настроенной, как это всегда бывает с собраниями, у которых сознание принадлежности им власти не умеряется сознанием практических трудностей или нравственной ответственности. Общины роптали на военные неудачи, бедствия купечества, недовольство духовенства и во всем, на что роптали, винули корону и ее министров; но трудно было определить, какие меры или политику они предпочитают. Вильгельм горько жаловался на то, что их настроение меняется каждый час. В самом деле, у них не было ни руководства признанных вождей, ни точных сведений, ни той организации, при которой только и возможна определенная политика. Ничто так не доказывает приращенной политической талантливости английского ума, как то, что он тотчас нашел простой и удачный выход из этого затруднения. Честь этого принадлежит человеку, в смысле политической нравственности стоявшему чрезвычайно низко. Роберт Спенсер, граф Сендерленд, был министром в последние годы Карла II и оставался им в течение почти всего царствования Якова. Под конец он сохранял должность, только подчиняясь сильнейшей тирании короля и перейдя притворно в католицизм. Но едва определилось, что Яков должен пасть, как Сендерленд купил себе у Вильгельма прощение и покровительство, предав государя, которому он пожертвовал свою совесть и честь*. После революции он старался только укрыться от внимания публики в сельском уединении, но и в это критическое время тайком пришел на помощь королю со своей несравненной проницательностью. Он посоветовал признать на практике новую власть общин, выбирая министров короны исключительно из членов той партии, которая всего сильнее в нижней палате, до тех пор не существовало министерства в современном смысле слова. В теории всякий крупный чиновник — казначей, государственный секретарь, хранитель большой печати — был независим от своих товарищей по должности; каждый из них был слугой короля и отвечал за исполнение своих специальных обязанностей только перед ним. Время от

* Видимо, не случайно Сендерленд породнился с другим, столь же (если не более) циничным и бесчестным политиком того времени — Джоном Черчиллем, герцогом Мальборо: сын Сендерленда Чарльз Спенсер, 3-й граф Сендерленд, женился на одной из дочерей Мальборо — Анне. В числе потомков этой пары был Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль (более известный как Уинстон Черчилль) (1874–1965) — премьер-министр Англии.

времени над остальными мог возвышаться отдельный министр, подобно Кларендону, дававший общее направление всему ходу управления; но это преобладание было чисто личным и никогда не постоянным. Даже в этом случае находились товарищи, готовые противодействовать затмевавшему их деятелю или даже прямо выступать против него. Король обыкновенно назначал или отставлял отдельных министров, не сообщая об этом остальным. Сам Вильгельм был так далек от мысли об едином министерстве, что стремился воспроизвести в кабинете отношения, существовавшие между партиями вне его. Сендерленд предложил заменить этих независимых министров однородным министерством, взятым из одной партии, представляющим одно настроение и руководящимся в своей общей деятельности сознанием ответственности и преданности той партии, к которой оно принадлежит. Этот план не только обеспечивал невиданное до того единство в управлении, но и сообщал палате общин отсутствовавшую у нее прежде организацию. Естественными руководителями палаты стали министры — представители большинства ее членов. Мелкие партии слились в две крупные, поддерживавшие министерство или противодействовавшие ему. Но прежде всего, этот план представлял самое простое решение вопроса, так долго мучившего короля и общины. Новые министры были слугами короля только по названию. В действительности, они стали просто исполнительным комитетом, представляющим волю большинства нижней палаты, а когда в ней центр тяжести перемещался с одной стороны на другую, их легко было устранить и заменить другим подобным же комитетом.

Таково было происхождение системы представительного управления, со времен Сендерленда существующей до наших дней. Политический гений Вильгельма проявился в том, что он понял и усвоил себе этот план, но проводить его на практике он решался не иначе как медленно и постепенно. Несмотря на временную реакцию Сендерленд думал, что политический перевес, в сущности, склоняется на сторону вигов. Они являлись не только естественными представителями начал революции и сторонниками войны, но и далеко превосходили своих противников парламентскими и административными талантами. Во главе их стояла группа политических деятелей, тесно связанных единством мысли и действия, что и доставило им название «хунта»: самый выдающийся из них — Рассел был победителем при Ла-Ог; Джон Сомерс был адвокатом, приобретшим известность защитой семи епископов; лорд Уортон был известен, как самый искусный и бессовестный вождь партии, а Монтегю быстро приобрел репутацию искуснейшего из финансистов Англии. Но несмотря на все эти соображения, сомнительно, отдался бы Вильгельм в руки чисто вигского министерства, не вы

казывая тори такого отношения к войне. Несмотря на истощение Франции, война все еще продолжалась, и союзникам не удалось одержать ни одной победы. Между тем французские каперы почти убили английскую торговлю, а народ изнемогал под тяжестью налогов. Тори, всегда слабо поддерживавшие «Великую коалицию», теперь стали требовать мира. С другой стороны, виги продолжали решительно стоять за войну. Для Вильгельма главным делом была борьба с Францией, и это побудило его постепенно принять совет Сендерленда. Для покрытия военных расходов Монтегю выдвинул план основания национального банка, первоначально составленный шотландцем Уильямом Петерсоном. Как и обыкновенный банк, это новое учреждение, названное Английским банком, служило для доставки капиталов, но, в действительности, было орудием для заключения внутренних займов под прямым обязательством государства возвращать занятые деньги по требованию заемщиков. Была открыта общественная подписка на заем в 1 200 000 фунтов; подписчики на него составили привилегированную компанию, в руки которой были отданы переговоры обо всех последующих займах. Список подписчиков заполнился в 10 дней. Открытие средств, представляемых народным богатством, обнаружило новый источник силы, а быстрый рост национального долга, как стали называть совокупность этих государственных займов, представил новую гарантию против возвращения Стюартов, первым делом которых было бы отвергнуть притязания «владельцев фондов». Доказательство общественного доверия усилило внешнее влияние Вильгельма; между тем в Англии постепенное проведение указанной Сендерлендом реформы вызвало небывалое единство в действиях правительства. Торийские министры, уже поколебленные успехом Монтегю, один за другим были замещены членами хунты. Рассел вступил в адмиралтейство; Сомерс был назначен хранителем печати, Шрусбери — государственным секретарем, а Монтегю — канцлером казначейства. Влияние этой перемены стало заметно еще до ее завершения. Палата общин заговорила другим тоном. Вигское большинство ее членов, объединенное и дисциплинированное, начало спокойно подчиняться руководству своих естественных вождей, вигских министров короны. Это-то и дало возможность Вильгельму перенести удар, нанесенный его положению смертью королевы Марии в 1694 г. Возобновление нападков тори показало, какие надежды возбудила в них изолированность Вильгельма. Король только что привлек на свою сторону парламент, изъяснив, наконец, согласие на Билль о трехлетии, и палаты упорно поддерживали министерство; их доверие было вознаграждено внешним успехом. В 1695 г. коалиции удалось в первый раз одержать крупную победу над Францией при взятии Намюра. Король ис-

кусно воспользовался своей победой для созыва нового парламента, на-
строение которого тотчас проявилось в энергичной поддержке войны. Но
палаты вовсе не были простым орудием в руках Вильгельма. Они принуди-
ли его вернуть щедрые земельные пожалования, сделанные им его голланд-
ским любимцам, и отправить в отставку его министров в Шотландии, со-
действовавших безумному плану устройства шотландской колонии на Да-
ррьенском перешейке. Они потребовали права назначать членов нового со-
вета торговли, учрежденного для урегулирования коммерческих вопро-
сов. Они отвергли предложение, с тех пор никогда не возобновлявшееся,
учредить над печатью цензуру. Но их оппозиция не отличалась придириш-
тельностью. Министерство было настолько сильно, что, несмотря на всеоб-
щую нужду, Монтегю имел возможность провести изменение находив-
шейся в обороте монеты, которая, благодаря урезыванию, была низведе-
на далеко ниже своей номинальной ценности. Несмотря на вызванные ре-
формой финансовые затруднения, Вильгельм был в состоянии не давать
ходу Франции.

Между тем война быстро подходила к концу. Людовик продолжал
борьбу просто с целью обеспечить себе более благоприятные условия.
Вильгельм полагал, что «с Францией можно договариваться только дер-
жа меч в руках», но тем не менее почти так же желал мира, как и Людо-
вик. Отпадение Савойи сделало невозможным достижение первоначаль-
ной цели коалиции — вернуть Францию к тому положению, какое она за-
нимала в эпоху Вестфальского мира, а вопрос об испанском наследстве с
каждым днем надвигался все ближе. Противодействие примирению со
сторон Испании и империи было устранено частными переговорами меж-
ду Вильгельмом и Людовиком, и в 1697 г. был заключен Рисвикский мир.
Несмотря на неудачи и поражения в битвах, политика Вильгельма одер-
жала верх. Перед лицом объединенной Европы победы Франции оказа-
лись бесплодными, и истощение сил заставило ее, впервые со времени
Ришелье, согласиться на невыгодный мир. Со стороны империи Франция
отказалась от всех присоединений, совершенных ею после Нимвегенско-
го мира, за исключением Страсбура, да и тот был бы возвращен, если бы
не жалкая медлительность немецких послов. Испании Людовик вернул
Люксембург и все завоевания, совершенные в течение войны в Нидерлан-
дах. Герцог Лотарингский был восстановлен в своих владениях. Еще бо-
лее важное условие договора обязало Людовика отказаться от поддерж-
ки Стюартов и признать Вильгельма королем Англии. Для Европы, вооб-
ще, Рисвикский мир был немногим более, чем перемирием; но для Англии
он являлся завершением долгой и упорной борьбы и началом новой эпохи

политической истории. Он окончательно и решительно разрушил тайный план, с заключения Дуврского договора объединявший Людовика и Стюартов, — обратить Англию в римско-католическую страну и поставить ее в зависимость от Франции. Но он имел даже еще большее значение — он окончательно сделал Англию центром противодействия Европы всякой попытке нарушить равновесие ее сил.

Глава IX Мальборо (1698—1712)

Согласиться на унижительные условия Рисвикского мира гордого Людовика заставило не столько истощение Франции, сколько необходимость подготовиться к новой и более крупной борьбе. Известно было, что король Испании Карл II близок к смерти, а с ним оканчивалась мужская линия Габсбургского дома, два века занимавшая испанский престол. Войны Людовика достаточно показали, как много потеряла Испания из своего прежнего влияния в Европе; но ее владения были так обширны, а еще остававшиеся у нее средства так громадны, что при энергичном правителе она, на взгляд людей, могла сразу вернуть себе прежнее значение. Ее государь все еще был властелином нескольких наилучших областей Старого и Нового Света, самой Испании, Милана, Неаполя и Сицилии, Нидерландов, Южной Америки, роскошных островов Вест-Индии. Присоединить такие владения к землям Людовика или императора Леопольда значило бы одним ударом уничтожить созданную Вильгельмом независимость Европы; чтобы предотвратить любой из этих результатов, Вильгельм и развязал себе руки Рисвикским миром. В это время было три претендента на испанское наследство: Дофин — сын старшей сестры испанского короля; наследный принц Баварский — внук его младшей сестры и император — сын тетки Карла. Если бы существовал закон, действительно приложимый к данному случаю, то строго юридически сильнее всего было право последнего претендента, так как притязания Дофина устранялись прямым отречением от всякого права на наследование при вступлении его матери в брак с Людовиком XIV — отречением, подтвержден-

* Автор забывает либо намеренно умалчивает, что за отказ от прав на наследование испанского трона за себя и ее будущее потомство Марии-Терезе было обещано огромное приданое в 500 000 золотых эку. Поскольку приданое так и не было выплачено, Людовик XIV вполне обоснованно считал недействительным отказ своей жены от ее прав на наследование короны Испании.

ным Пиренейским миром*; подобное же отречение устраняло и притязания баварского претендента. Притязания императора были более отделенными по родству, но они не устранялись никаким отречением. Тем не менее в интересах Европы Вильгельм намерен был отвергнуть притязания как императора, так и Людовика. Именно сознание неизбежности испанского наследования, если война продолжится и Испания останется членом «Великой коалиции», противником Франции и союзником императора, и заставило Вильгельма внезапно заключить Рисвикский мир. Если бы Англия и Голландия разделяли взгляд Вильгельма, он стал бы настаивать на наследовании всех испанских владений принцем Баварским; но обе они были утомлены войной. В Англии за миром тотчас последовало сокращение армии по требованию палаты общин до 14 000 человек, и явилось уже требование роспуска и этих. Необходимо было подачкой побудить обоих претендентов к отречению от их притязаний, и первый трактат о разделе, заключенный в 1698 г. между Англией, Голландией и Францией, признал наследником принца Баварского при условии уступки Испании ее итальянских владений его соперникам. Милан должен был перейти к императору, а королевство Обеих Сицилий вместе с пограничной провинцией Гуипускоа — к Франции. Но едва соглашение было заключено, как смерть принца Баварского превратила его в пустой лист бумаги. Австрия и Франция остались лицом к лицу, и ужасная борьба, следствие которой, кто бы ни вышел из нее победителем, должны были одинаково стать роковыми для независимости Европы, оказалась неизбежной. Опасность была тем сильнее, что настроение Англии не давало Вильгельму возможности поддерживать его политику оружием. Убытки, причиненные войной торговому классу, и вызванный ею гнет долга и налогов с каждым днем вызывали в народе все больший ропот, и это общее недовольство обрушивалось на Вильгельма и партию, поддерживавшую его политику. Естественное пристрастие короля к его голландским фаворитам, его доверие к Сендерленду, холодное и нелюбезное обращение, старание сохранить постоянную армию лишили его популярности. На выборах произведенных в конце 1698 г., в палату общин было выбрано речущее за мир торийское большинство. Хунта утратила всякое влияние на новый парламент. За увольнением Монтегю и Рассела последовала отставка виского министерства. Сомерс и его друзья были заменены правительством составленным из умеренных тори, с лордами Рочестером и Годольфингом в качестве руководящих членов. Еще остававшиеся в армии 14 000 человек были сведены до семи. Настойчивая просьба Вильгельма не могла склонить парламент от решения выслать из страны его голландскую гвар

дию. Флот, во время войны насчитывавший 40 000 матросов, был сведен до восьми. Насколько это миролюбивое настроение Англии связывало руки Вильгельму, обнаружилось во втором трактате о разделе, заключенном в 1700 г. между обеими морскими державами и Францией. Требование Людовика отдать Нидерланды курфюрсту Баварскому, которого политическое положение делало игрушкой в руках французского короля, было отвергнуто. Испания, Нидерланды и Индия предназначались второму сыну императора эрцгерцогу Карлу Австрийскому. Но все испанские земли в Италии теперь отдавались Франции; был выговорен обмен Милана на Лотарингию, герцог которой должен был немедленно перейти в новое герцогство. Если бы император продолжал отказывать в согласии на трактат, то доля его сына должна была перейти к другому, не названному принцу, вероятно герцогу Савойскому.

Император все еще протестовал, но его протест имел мало значения, пока Людовик и обе морские державы крепко держались друг за друга. Не больше значения имело и сильное раздражение Испании. Испанцы мало интересовались тем, какой принц, французский и австрийский, займет престол Карла II, но их гордость восставала против раздробления монархии и уступки ее итальянских владений. Даже умиравший король разделял негодование своих подданных, и партии, боровшиеся у его смертного одра, заставили его завещать всю испанскую монархию внуку Людовика герцогу Анжуйскому — второму сыну Дофина. Договор о разделе был заключен так недавно, а опасность принятия завещания так велика, что Людовик едва ли бы решился на это, если бы не был уверен, что настроение Англии должно непременно сделать противодействие Вильгельма бесплодным. Действительно, никогда Англия не была так настроена против войны. Нерасположение к внешней политике Вильгельма было так сильно, что многие открыто одобряли поступок Людовика. Едва ли кто в Англии опасался вступления на престол мальчика, который, несмотря на свое французское происхождение, под влиянием естественного хода событий должен был вскоре превратиться в испанца. Вступление на престол герцога Анжуйского считалось, вообще, гораздо более выгодным, чем то усиление могущества, какое должна была извлечь Франция из уступок последнего договора о разделе; эти уступки, по общему мнению, должны были превратить Средиземное море во французское озеро, повредить торговле Англии с Левантом и Америкой, превратить Францию в грозную морскую державу: «Меня огорчает до глубины души, — с горечью писал Вильгельм, — что почти все довольны предпочтением, оказанным Францией завещанию перед договором». Он был удивлен и возмущен вероломством соперника, но не имел

средств наказать его за это. Герцог Анжуйский вступил в Мадрид, и Людовик гордо заявил, что нет больше Пиренеев*.

Дело жизни Вильгельма казалось разрушенным. Он чувствовал близость смерти. Его непрерывно мучил кашель, его глаза впали и потухли, и он был так слаб физически, что с трудом мог сесть в карету. Но никогда он не выдавал себя таким великим, его мужество росло вместе с затруднениями. Его сильно раздражали наносимые ему английскими партиями личные оскорбления, но он подавлял свой гнев страшным усилием воли. Его широкий и проницательный ум за временными затруднениями, причиняемыми французской дипломатией и борьбой английских партий, различал те крупные силы, которые, как он знал, должны были под конец определить ход европейской политики. И за границей, и внутри страны все, казалось, было против него. В это время у него не было ни одного союзника, кроме Голландии, так как Испания была теперь в союзе с Людовиком, а поведение Баварии вносило рознь в Германию и сдерживало Австрийский дом. Максимилиан II Эммануил, курфюрст Баварский, который управлял Нидерландами и на которого рассчитывал было Вильгельм, с самого начала открыто стал на сторону Франции и провозгласил в Брюсселе герцога Анжуйского королем. В Англии новый парламент был наполнен тори, противниками войны. Торийское министерство настаивало на признании нового короля Испании, и так как его признала даже Голландия, то и Вильгельм должен был согласиться на это. Он мог рассчитывать только на содействие жадности Людовика, и он не напрасно рассчитывал на нее. Поступок Людовика был одобрен в том убеждении, что он намерен предоставить Испанию испанцам под властью их нового короля. Тори и виги отчаянно боролись в Англии, но были два пункта, в которых они были согласны. Ни те, ни другие не хотели допускать занятия Нидерландов французами; ни те, ни другие не желали терпеть нападения Франции на установленное революцией 1688 г. протестантское престолонаследие. В своем высокомерии Людовик не понял, что в пору удачи необходимо соблюдать умеренность. От имени своего внука он ввел французские войска в семь крепостей, известных как голландский барьер, в Остенде и прибрежные города Фландрии. Даже мирный парламент тотчас присоединился к требованию Вильгельма об удалении войск, уполномочил его заключить оборонительный союз с Голландией. Впрочем, политика короля была сильно порицаема, а его пре-

* В действительности, эту знаменитую фразу произнес посол Испании в Париже, который имел все основания радоваться: возведение на испанский престол принца Французского дома клало конец длительной вражде между двумя великими католическими державами.

жие министры — Сомерс, Рассел и Монтегю, ставшие теперь пэрами, были привлечены к суду за участие в заключении договоров. Но вне палаты общин народное чувство, по мере выяснения планов Людовика, разгоралось. Он отказал в восстановлении голландского барьера, а в Ла-Манше собрался сильный французский флот, как думали, для поддержки новой высадки якобитов, план которой был изложен министрами Якова в письме, перехваченном и представленном парламенту. Это возмутило даже палату общин. Число матросов было увеличено до 30 000, а солдат до 10 000. Кент прислал представление против коварства приемов, при помощи которых тори боролись против политики короля, и просил о замене адресов назначением субсидий. Эти доказательства перемены в настроении народа побудили Вильгельма отправить английский отряд в Голландию и заключить с Соединенными провинциями тайный договор об отнятии у Людовика Нидерландов и о передаче их вместе с Миланом Австрийскому дому в видах уравнивания вновь усилившегося могущества Франции. Англия еще отчаянно цеплялась за надежду на мир, когда неожиданный шаг Людовика принудил ее к войне. По Рисвикскому миру он признал Вильгельма королем, но в сентябре 1701 г. он прибыл в Сен-Жермен к умиравшему Якову и обещал по смерти его признать его сына королем Англии, Шотландии и Ирландии. Обещание это, в сущности, равнялось объявлению войны, и вся Англия тотчас решила принять вызов. Людовик затрагивал уже не интересы Европы; он поставил под вопрос о разрушении дела революции и о восстановлении в Англии при помощи французского оружия католицизма и деспотизма. В подобном вопросе между тори и вигами не было разногласий. Когда в 1701 г. после смерти последнего ребенка — принцессы Анны* был издан новый Закон о престолонаследии, ни один голос не высказался за Якова или его сына. Точно также были обойдены молчанием потомки дочери Карла I — Генриетты Орлеанской, единственная дочь которой вышла замуж за католика, герцога Савойского**.

Парламент вернулся к поколению Якова I. Его дочь Елизавета была замужем за курфюрстом Пфальцским, а ее единственная оставшаяся в живых дочь София***, была вдовой умершего и матерью тогдашнего курфюрста Ганноверского. Софии и ее потомкам и передал Закон о престоло-

* У принцессы (с 1702 г. — королевы) Анны Стюарт и ее мужа, принца Георга Датского, было 13 детей. Все они умерли в раннем возрасте.

** Автор допускает неточность. Супруга герцога Савойского Анна Орлеанская была младшей из двух выживших дочерей Генриетты. Старшая, Мария-Луиза (1662–1689), была первой женой Карла II, короля Испании, но умерла бездетной.

*** Младшая сестра принца Рупрехта — роялистского генерала времен гражданской войны.

наследии корону. Было положено, что всякий государь Англии должен принадлежать к установленной законом английской церкви. Всем будущим королям было запрещено покидать Англию без согласия парламента, а иностранцам — занимать какие бы то ни было общественные должности. Независимость судов была утверждена постановлением, запрещающим удалять судей от должности не иначе, как по ходатайству парламента перед короной. Оба принципа, что король действует только через своих министров и что последние ответственны перед парламентом, были подтверждены требованием, чтобы все общественные дела решались в Тайном совете и чтобы все решения подписывались его членами. Эти постановления придали законченность установленному биллем о правах парламентскому устройству. Единодушие народа, уже выразившееся в этом действии торийского парламента, проявилось затем во встрече короля по возвращении его из Гааги, где его терпение и ловкость были увенчаны заключением нового «Великого союза» между империей, Англией и Соединенными провинциями. К союзу скоро присоединились Дания, Швеция, Пфальц и большинство германских государств. Парламент 1702 г., в большинстве все еще состоявший за тори, отвечал на горячий призыв Вильгельма набором для предстоящей войны 40 000 солдат и столько же матросов. Против нового претендента был проведен Билль об опале, все члены обеих палат и все лица, занимавшие общественные должности, обязаны были присягой поддерживать престолонаследие Ганноверского дома.

Король был уже слишком слаб, чтобы участвовать лично в походе; это заставило его доверить ведение войны в Нидерландах единственному англичанину, выказавшему способности крупного полководца. Джон Черчилль, граф Мальборо, родился в 1650 г. и был сыном девонширского кавалера, дочь которого после Реставрации сделалась любовницей герцога Йоркского. Позор Арабеллы, пожалуй, больше чем преданность отца, доставил ее брату место в королевской гвардии, и после пятилетней службы за границей под командой Тюренна молодой капитан стал командиром одного английского полка, состоявшего на службе у Франции. Он уже проявил некоторые из достоинств прекрасного солдата: спокойное мужество, смелость и предприимчивость, умеряемые холодной и ясной рассудительностью, осторожность и никогда не покидавшую его способность переносить утомление. Позднее он проводил в разведках целые дни, а при Бленгайме он оставался 15 часов в седле. Но мужество и военные таланты оказались для Черчилля, по возвращении его к английскому двору, не столь важными, как его красивая наружность. Во французском лагере его называли «английский красавец», а его обращение отличалось такой же привлека-

тельностью, как и его внешность. Даже в старости он был почти неотразим: «...он соединял в себе все прелести, — говорит Честерфилд, — и сохранял всегда то беззаботное очарование, которое доставило ему расположение леди Кастлмейн»*. Подарок в 4500 фунтов от любовницы короля послужил основой его состояния, скоро разросшегося, так как с годами благоразумная предусмотрительность красивого молодого солдата выродилась в скупость. Но, главным образом, в деле своего возвышения Черчилль рассчитывал на герцога Йоркского, и он заслужил это той преданностью, с какой в качестве его придворного он разделял судьбы герцога в тяжелые дни папистского заговора. Он сопровождал Якова в Гаагу и Эдинбург и по возвращении его оттуда был награжден пэрством и чином полковника лейб-гвардии. Услуга, оказанная им Якову по восшествии его на престол и состоявшая в избавлении королевской армии от разгрома при Седжмуре, была бы оплачена еще блистательнее, не будь король таким ханжой. Несмотря на личные настояния государя, Черчилль остался верен протестантизму; но он слишком хорошо знал Якова, чтобы рассчитывать на его дальнейшее расположение. К счастью для себя, он нашел новую основу для своего возвышения в растущем влиянии своей жены на вторую дочь короля, Анну, так как в момент революции переход Анны на сторону протестантизма представлял величайшую важность. Не питая к своему прежнему покровителю никакой благодарности, Черчилль вступил в переписку с принцем Оранским, обещал поддержку Анны попытке Вильгельма и, когда армия короля выступила против мятежников, покинул ее ряды. Его измена оказалась роковой для дела короля; но, как ни велика была оказанная им тут услуга, она была превзойдена второй. Убеждения его жены побудили Анну покинуть отца и удалиться в лагерь Данби. Как ни бессовестны были поступки Черчилля, оказанные им Вильгельму услуги были слишком крупны, чтобы их можно было оставить без награды. Вильгельм пожаловал его в графы Мальборо и поставил во главе армии, ведшей войну в Ирландии. Там его быстрые успехи обратили на него внимание Вильгельма, и он получил пост командующего армией во Фландрии. Сознывая свое влияние на Анну, Мальборо от измены Якову перешел к интригам против Вильгельма. Несмотря на свое сильное корыстолюбие, он женился на красивой бесприданнице при дворе Карла Саре Дженнингс, в которой вспыльчивый и злой характер странным образом сочетался со способностью внушать и сохранять любовь. Привязанность к ней Черчилля проходит золотой нитью по темной

* Существует предположение, что Черчилль был отцом дочери леди Кастлмейн — Барбары. Впрочем, эта леди изменяла коронованному любовнику (Карлу II) не только с Черчиллем.

ткани его карьеры. Среди своих походов и даже с самого поля битвы он пишет жене одинаково страстные и нежные послания. Ни опасность, ни ненависть не могли подействовать на его настроение, а при мысли о холодности жены или при взрыве ее вспыльчивости он впадал в почти женское уныние. Он никогда не расставался с ней без горечи: «Я долгое время смотрел в подозрную трубу со скалы, надеясь еще раз увидеть тебя», — писал он ей однажды, отправившись в поход. Неудивительно, что женщина, вышившая Мальборо подобную любовь, подчинила себе слабую и нежную натуру принцессы Анны. Обе подруги отказались от сословных различий и называли друг друга «г-жа Фримен» и «г-жа Морли». В своих интригах против Вильгельма честолюбивый граф рассчитывал на власть жены над подругой. Поддерживая тори в их противодействии войне и доводя до бешенства ненависть англичан к иностранцам, он рассчитывал свергнуть короля с престола и возвести на него Анну. Разоблачение его замыслов вызвало у короля взрыв необычного гнева: «Если бы я и лорд Мальборо были частными людьми, — воскликнул Вильгельм, — между нами решил бы меч. При данных условиях он мог только отнять у графа его должности и командование и удалить его жену из Сент-Джеймского дворца. Анна последовала за своей любимицей, и двор принцессы стал центром торийской оппозиции. В то же время Мальборо вступил в переписку с Яковом, и его измена была настолько очевидна, что перед вторжением французов в 1692 г. он был одним из первых подозрительных лиц отправлен в Тауэр.

Смерть Марии заставила Вильгельма вернуть Анну, ставшую теперь его наследницей, а с Анной вернулись ко двору и Мальборо. Король не мог решиться возратить графу свое доверие, но по мере приближения к смерти он начал считать его единственным человеком, который при его блестящих талантах, несмотря на его низкие измены, был способен управлять Англией и руководить вместо него «Великой коалицией». Поэтому он воспользовался Мальборо для заключения союзного договора с императором и поставил его во главе армии во Фландрии. Но едва граф принял командование, как падение с лошади в мае 1702 г. оказалось роковым для растанного организма короля: «Было время, когда я был бы рад избавиться от своих страданий, — прошептал он, умирая, Портленду, — но теперь, признаться, я смотрю на дело иначе и желал бы пожить еще немножко». Однако он сознавал, что его желание неосуществимо, и рекомендовал Анне Мальборо, как человека наиболее пригодного для руководства ее войсками и советниками. Но рвение Анны не нуждалось в поощрении. Через три дня по вступлении на престол она назначила графа главнокомандующим войсками в Англии и за границей и вверила ему полное руководство вой-

ной. Его влияние на внутренние дела было обеспечено назначением торийского министерства с лордом Годольфином, близким другом Мальборо, во главе. Привязанность королевы к его жене обеспечила ему поддержку короны именно в то время, когда личная популярность Анны усилила влияние короны на народ. На время борьба партий в Англии прекратилась. Теперь, когда войну вел торийский генерал от имени торийской королевы, все тори, кроме крайних, были за войну; в то же время даже самые крайние виги готовы были поддерживать торийского генерала, который вел их войну. Но за границей смерть Вильгельма потрясла коалицию до основания; даже Голландия, опасаясь, что Англия покинет ее в предстоящей борьбе, стала колебаться. Решительность Мальборо скоро устранила это недоверие. Он убедил Анну выразить с трона свое намерение энергично продолжать политику своего предшественника. Он побудил парламент одобрить принятие энергичных мер для продолжения войны. Новый генерал поспешил в Гаагу, принял командование как над голландскими, так и над английскими войсками, привлек к союзу германские княжества с такой ловкостью и искусством, которым мог позавидовать сам Вильгельм. Никогда величие не встречало такого быстрого признания, как в случае с Мальборо. За несколько месяцев все признали его руководителем коалиции; его советам беспрекословно подчинялись государи, своей завистью истощавшие терпение Вильгельма. По своему характеру Мальборо особенно годился в главы крупного союза. Подобно Вильгельму, он мало обязан был своим влиянием прежнему воспитанию. Его небрежное образование проявлялось до конца в нелюбви к письму: «Всего неприятнее для меня писать», — говорил он своей жене. Действительно, для него было гораздо труднее составить депешу, чем план кампании. Но природа одарила его достоинствами, которые у других людей проистекают прямо из воспитания. Он обладал громадной работоспособностью. В течение ближайших десяти лет ему принадлежало общее руководство войной во Фландрии и Испании. Он вел все переговоры с союзными дворами и следил за переменами английской политики. Он то переплывал Ла-Манш, чтобы побудить Анну к перемене кабинета, то спешил в Берлин и добивался от курфюрста Бранденбургского нужного количества войск. В одно и то же время он мирил императора с протестантами Венгрии, побуждал к восстанию кальвинистов в Севернах, устраивал дела Португалии, заботился о защите герцога Савойского. Но на его лице никогда не было видно следов усталости, поспешности или досады; он сохранял до конца беспечную грацию своей юности. Его природное достоинство никогда не нарушалось взрывом гнева. В пылу битвы солдаты видели, как их полководец, «не боясь опасности и нисколько не торо-

пясь, отдает приказы со всем возможным спокойствием». В кабинете он был так же хладнокровен, как и на поле битвы. Он относился с одинаковой невозмутимостью к мелочности немецких князей, флегматичности голландцев, невежественной оппозиции офицеров, пасквилям политических противников. В простых приемах, при помощи которых он иногда разрешал задачи, смущавшие кабинеты, сказывался оттенок иронии. Одним из самых неудобных союзников, по его щекотливой надменности, был король прусский; но и с его стороны все затруднения исчезли, когда за парадным обедом Мальборо поднялся и подал ему салфетку. Отчасти, впрочем, спокойствие Черчилля основывалось на гордости, не допускавшей раскрытия его душевных состояний перед глазами мелких людей. В тяжелые минуты, предшествовавшие его падению, он потребовал от Годольфина сожжения нескольких писем с жалобами, вызванными у него нападками противников: «Я желаю, чтобы свет ошибочно продолжал считать меня счастливым человеком, так как предпочитаю возбуждать скорее зависть, чем жалость». Но в значительной степени это хладнокровие объяснялось чисто рассудочным направлением его ума. Страсть к жене была единственным чувством, оживлявшим его холодный рассудок. Ко всему прочему он не чувствовал ни любви, ни ненависти; он не знал ни сомнения, ни сожаления. В частной жизни он был человеком дружелюбным и сострадательным; но если того требовали его интересы, он мог изменнически погубить англичан или, как при Мальплаке, повести свою армию на убой. Он не имел понятия о чести или высших чувствах человеческих; от руководства делами Европы и блестящих побед он, не стесняясь, обращался к накоплению громадного состояния при помощи казнокрадства и грабежа. Он представляет собой, быть может, единственный пример, действительно, великого человека, любившего деньги ради денег. Высокие и низменные страсти, увлекавшие людей, его окружавших, служили для него просто элементами умственной задачи, которую следовало разрешить при помощи терпения: «Терпение преодолевает все, — пишет он постоянно. — Я думаю, большинством вещей управляет судьба, и потому, испробовав все, мы должны терпеливо ей подчиняться».

Высокие политические таланты Мальборо признавали даже самые жестокие враги его. Болинброк говорит: «Он был человеком новым и частным, но своими достоинствами и ловкостью приобрел на союз более решительное влияние, чем каким пользовался король Вильгельм, несмотря на его высокое происхождение, признанный авторитет и даже королевское достоинство». Но великий в совете, он был еще более велик на поле битвы. Он стоит одиноко среди мастеров военного искусства: он начал одержи-

вать победы в том возрасте, когда большинство людей оканчивает свое поприще. Он служил молодым офицером под началом Тюренна и воевал несколько месяцев в Ирландии и Нидерландах, но до появления своего во Фландрии на 52-м году жизни не имел главной команды. Замечателен он также своим неизменным счастьем. По замечанию Вольтера, ему никогда не приходилось отступать от осажденной крепости или проигрывать завязанное сражение. Ему приходилось бороться не столько с врагом, сколько с невежеством и робостью своих собственных союзников. Он ни разу не был разбит в сражении, но неспособность его офицеров и упорство голландцев отнимали у него одну победу за другой. Особенно поражали осторожных стратегов того времени энергичность и смелость его планов. Несмотря на старость Мальборо, его замыслы были проникнуты всем пылом и смелостью молодости. Начиная кампанию 1702 г., он решил немедленно дать сражение в сердце Брабанта, но его план был расстроен робостью представителей Голландии. Однако смелый переход через Маас отодвинул французские войска от этой реки и позволил ему в ряде осад подчинить одну крепость за другой. Занятие Люттиха закончило кампанию, отрезавшую французов от Нижнего Рейна и освободившую Голландию от всякой опасности вторжения. Положение дел на прочих театрах войны еще более оттеняло успехи Мальборо. В Италии австрийский генерал, принц Евгений Савойский, проявил, правда, свои способности в неожиданном нападении на французскую армию под Кремоной, но не достиг настоящих успехов. Высадка англичан на берега Испании окончилась неудачей. В Германии баварцы соединились с французами и общими силами разбили имперские войска. Здесь-то и решил испытать свое счастье Людовик. Весной 1703 г. свежая армия под командованием маршала Виллара, наиболее успешного французского генерала времен войны за испанское наследство снова избавила курфюрста Баварского от гнета имперских войск, и только ссора между обоими главнокомандующими помешала движению соединенных армий на Вену. Между тем робость представителей Голландии оказала Людовику большую услугу. Представители Генеральных штатов снова расстроили планы Мальборо, за его прошлогодние заслуги пожалованного в герцоги. Их отказ от содействия нападению на Антверпен и французскую Фландрию вывел даже его из терпения, и только просьбы Годольфина и пенсионария* Гейнзиуса побудили его взять назад просьбу об отставке. Но, несмотря на победы на Дунае, ошибки его противников на Рейне и на помощь восстания, внезапно вспыхнувшего в Венгрии, затруднения Людовика росли

* Глава правительства Голландской республики.

с каждым часом. Присоединение к «Великой коалиции» Савойи грозило гибелью его войскам в Италии; присоединение Португалии давало союзникам плацдарм для действий против Испании. Но вместе с затруднениями росла и активность Людовика. Против Португалии был послан Джеймс Фицджеральд, герцог Бервик, побочный сын Якова II и Арабеллы Черчилль, три небольшие армии окружили Савойю, а цвет французских войск соединился на Дунае с армией Баварии. Людовик составил смелый план решить исход войны победой на Дунае и под стенами Вены принудить империю к миру.

Мастерский ход Людовика вызвал со стороны Мальборо в начале 1704 г. такой же в ответ; но герцог так затаил свои смелые планы, что поразил противников, и союзников. Французские генералы усмотрели в его походе на Майнц простое намерение перенести войну в Эльзас. У голландцев он выманил согласие на передвижение их войск из Фландрии до Кобленца предложением мнимой кампании на Мозеле. Настоящая цена движений Мальборо обнаружилась только тогда, когда он перешел через Неккар и через середину Германии направился к Дунаю. Пройдя по холмистому Вюртембергу, он соединился с имперской армией под командованием принца Баденского, взял штурмом высоты Донауверта, переправился через Дунай и Лех и проник в сердце Баварии. Это привлекло сюда обе армии, стоявшие одна против другой на Верхнем Рейне. Прибытие маршала Таллара с 30 000 французов избавило на время курфюрста Баварского от необходимости подчиниться, а соединение его противника, принца Евгения, с Мальборо снова восстановило равенство борющихся сил. После нескольких переходов они встретились на северном берегу Дуная, близ города Гохштедта и деревни Блиндгейм, или Бленгейм, давших свои имена одному из самых замечательных сражений в истории мира. В одном отношении происшедшая здесь битва была почти беспрецедентной: в странном смешении англичан, голландцев, ганноверцев, датчан, вюртембергцев и австрийцев, следовавших за Мальборо и Евгением, было представлено почти все тевтонское племя. Французы и баварцы, подобно противникам насчитывавшие своих рядах около 50 000 человек, расположились за небольшой рекой, протекавшей по болотистой почве к Дунаю, и заняли сильную позицию: фронта она была прикрыта болотом, справа — Дунаем, а слева — холмистой местностью, из которой вытекала река; сверх того, Таллар не только окопался, но и далеко превосходил противника артиллерией. Но на этот раз у Мальборо были развязаны руки: «Я имею веские основания надеяться, — писал он спокойно домой, — что все пойдет хорошо, так как к удовольствию моему все офицеры готовы повиноваться, не спрашивая других оснований, кроме моего желания; это совсем не то, что было во Фландрии, где я был обязан на все мной предпринимаемое испрашивать согласие».

енного совета». Но препятствия были настолько грозны, что хотя союзники двинулись 13 августа с восходом солнца, но командовавшему правым флангом Евгению удалось переправиться через реку не раньше полудня. На левом фланге английская пехота переправилась сразу и напала на деревню Бленгейм, где окопалась большая часть французской пехоты, но после жестокой борьбы атака была отбита; столь же храброе сопротивление остановило и Евгения на другом конце боевой линии. Главным пунктом нападения Мальборо выбрал центр, который французы считали неприступным; он устроил искусственную дорогу через болото, и это позволило ему, наконец, направить свою восьмидесячную кавалерию на французскую конницу, занимавшую эту позицию. Исход был решен двумя отчаянными атаками под личным руководством герцога. Французский центр был отброшен к Дунаю и вынужден был сдаться; левый фланг в беспорядке отступил к Гохштадту, а правый был отрезан и заперт в Бленгейме и попал в плен. Из разбитой армии осталось только 20 000 человек; 12 000 были убито, 14 000 взято в плен. Германия была, наконец, освобождена от французов, а Мальборо, преследовавший остатки французской армии во время ее бегства в Эльзас, скоро стал властителем Нижнего Мозеля. Но потери Франции нельзя было измерять числом людей или крепостей. Сотня побед после Рокруа приучили мир считать французскую армию непобедимой; поражение при Бленгейме и пленение цвета французских войск разрушили очарование. С этого времени гроза победы перешла на сторону союзников, и имя Мальбука стало страшилкой для всех французских детей.

В самой Англии победа при Бленгейме содействовала осуществлению крупной перемены в политическом положении дел. Тори, при помощи удаления диссентеров из городских собраний, выбиравших большинство депутатов от городов, решили создать в общинах постоянное торийское большинство. Диссентеры-протестанты оставались в своих частных общинах, охраняемых теперь законом о терпимости, но получали право на занятие общественных должностей, причащаясь раз в год по англиканскому обряду. Против этого «случайного единообразия» (occasional conformity) тори внесли закон о присяге, устранявший диссентеров. Мальборо сначала поддерживал проект, но лорды упорно отвергали его при каждом внесении, и скоро выяснилось, что их сопротивление втайне поддерживалось Мальборо и Годольфином. Действительно, несмотря на свой торизм, Мальборо не желал неограниченного господства тори, т. е. возобновления религиозной борьбы, которое могло оказать роковое влияние на войну. Но он напрасно старался умиротворить свою партию, уговорив королеву обратить платившиеся до того духовенством короне десятины и аннаты в фонд на подкрепление отказом присоединить денежное пожалование к пожалованию ему герцогского

титула после первой кампании, а крайние тори с лордом Ноттингемом в главе начали противопоставлять всевозможные препятствия продолжению войны. Наконец, в 1704 г. они отказались от должностей, и Мальборо заменил их тори более умеренного пошиба, стоявшими еще за войну: Роберт Харли был назначен государственным секретарем, а Генри Сент-Джон, человек с блестящими талантами, — секретарем по военным делам. Поход герцога в Германию, увлекший Англию на борьбу в глубине материка, еще более обострил политические разногласия. Крайние тори и якобиты грозили Мальборо в случае неудачи отправить его на эшафот, и только победа при Бленгейме спасла его от политической гибели. Медленно и против воли перешел герцог от своей партии к той, которая, действительно, поддерживала его политику. Он воспользовался восторгом народа по поводу Бленгейма для роспуска парламента. Выборы 1705 г., как он и надеялся, дали большинство пользу войны, и он постарался образовать союз между еще расположенными к ней умеренными тори и вигской хунтой; поддержка последней была куплена назначением вига — лорда Каупера хранителем печати и отправкой лорда Сендерленда послом в Вену. Этот союз вполне обессилел ожесточенные нападки партии мира, и Мальборо, наконец, почувствовал себя в безопасности дома. Но за границей ему приходилось переносить неприятности. Его план наступления по линии Мозеля был расстроен отказом имперской армии присоединиться к нему. Когда он подошел к французским линиям в Дилемме, голландские генералы увели свои войска назад; а его предложение напасть на герцога Вильруа при Ватерлоо было отвергнуто в заседании военного совета представителями штатов при криках: «Бойня!» и «Резня!». Этот удар возмутил даже хладнокровного Мальборо: «Будь у меня та же власть как в предыдущем году, — писал он домой, — я мог бы выиграть более крупную победу, чем при Бленгейме». По жалобе его штаты отозвали своих представителей, но год был потерян; не больше успехов было достигнуто в Италии или на Рейне. Мужество союзников поддерживалось только романтическими подвигами лорда Питерборо в Испании. Человек порочный, бессовестный и легкомысленный, он обладал военным талантом, захватил с горстью людей Барселону и признал старые вольности Арагона, что побудило эту область стать на сторону второго сына императора, которого союзники признали королем Испании под именем Карла III. Вскоре, подобно Арагону, за Карла высказались Каталония и Валенсия*. Сам Мальборо потратил

* Т. е. те области, которые к моменту образования Испании (конец XV в.) составляли Арагонское королевство. Видя в Филипе Бурбоне наследника Габсбургов, ведших, опираясь на Кастилию, наступление на старинные вольности провинций, они, по сути, воевали не за Габсбурга или против Бурбона, а свои древние привилегии. Собственно, в Кастилии, напротив, Филипп пользовался широкой поддержкой.

зиму 1705 г. на переговоры в Вене, Берлине, Ганновере и Гааге и на подготовку к предстоящей кампании. Стремясь к свободе действий, недовольный имперскими генералами и голландцами, он задумал перейти через Альпы и воевать в Италии, и хотя его планы были расстроены сопротивлением союзников, но когда в 1706 г. он снова появился во Фландрии, то не встретил помех. Как и Мальборо, маршал Вильруа желал сражения, и 23 мая обе армии встретились у деревни Рамильи на холмистой равнине, составляющей высшую точку Брабанта. Выстроенные большим полукругом, французы были прикрыты с фронта болотами. После притворного нападения на их левый фланг, Мальборо бросился на правый фланг у Рамильи, прорвал его блестящей атакой, которой руководил лично, затем напал на остальную часть французской армии и обратил ее в беспорядочное бегство, окончившееся только за стенами Лувена. В полтора часа французы потеряли 15 000 человек, обоз и артиллерию; добычей победителей стала линия Шельды, Брюссель, Антверпен и Брюгге. Для полного освобождения Фландрии понадобились только четыре удачные осады, последовавшие за битвой при Рамильи.

Еще более, чем победой при Рамильи, замечателен этот год окончательным соединением Англии с Шотландией. Как уничтожение прежнего их объединения было первым делом правительства Реставрации, так восстановление его было одной из главных целей правительства, последовавшего за революцией. Но исполнение плана долго задерживалось церковными и торговыми разногласиями. Шотландия отказывалась принять на себя часть английского долга, Англия не желала отказаться от своего исключительного права торговать с колониями. Англиканское духовенство стремилось восстановить в Шотландии епископат; шотландские пресвитериане не хотели слышать даже о юридическом допущении епископальной церкви. Но в 1703 г. принятие шотландским парламентом Закона о престолонаследии показало, наконец, руководителям Англии, как опасно дальнейшее промедление. При обсуждении этой меры шотландские виги, заботившиеся только о независимости своей страны, шли рука об руку с шотландскими якобитами, смотревшими только на интересы претендента. Якобиты исключили из закона имя принцессы Софии; виги ввели в него постановление, допускавшее признание английского короля государем Шотландии только при условии его ручательства за религию, свободу и торговлю шотландского народа. Подобная мера представляла большую опасность, так как обещала признание Шотландией по смерти королевы претендента, а такое признание грозило войной между Шотландией и Англией; тем не менее вопрос был разрешен только через три года, благодаря рассудительности и решительности лорда Сомерса. Он решительно отверг предложенную шот-

ландцами скорее федеративную, чем законодательную унию, а также коммерческие притязания английских купцов. Закон об унии установил соединение обоих королевств в одно под названием Великобритании и поставил передачу короны Соединенного Королевства в зависимость от постановлений английского Закона о престолонаследии. Шотландская церковь и право остались нетронутыми, но все торговые преимущества были распространены на шотландцев и была введена единообразная монетная система. Впредь Соединенное Королевство должен был представлять один парламент; для этого к 513 английским членам палаты общин было присоединено 45 депутатов Шотландии, а к 108 лордам, составлявшим верхнюю палату Англии, было прибавлено 16 пэров, представлявших Шотландию. Сопротивление шотландцев носило ожесточенный и почти всеобщий характер. Ответом на опасения пресвитериан служил Закон о гарантиях, вошедший в состав договора об унии и требовавший от каждого государя при вступлении его на престол обещания охранять пресвитерианскую церковь. Но никакие гарантии не могли удовлетворить восторженных патриотов или фанатичных камеронцев. Якобиты просили войск у Франции и стоварились восстановить Стюартов. Патриоты толковали об отделении от палат, высказавшихся за унию, и о созыве нового парламента. Но под конец здравый смысл и преданность торговых классов делу протестантского престолонаследия взяли верх. Шотландский парламент принял предложение, и в 1707 г. договор об унии стал законодательным актом, на который Анна выразила свое согласие в благородных словах: «Я желаю, — сказала она, — и ожидаю от моих подданных обеих наций, что впредь они будут относиться друг к другу со всем возможным уважением и расположением, так что всему свету может казаться, что они сердечно желают стать одним народом». Время более чем оправдало эти надежды. Оба народа, соединенные унией, с тех пор постоянно составляли единое целое. Для Англии представило выгоду устранение постоянно грозивших измены и войны. Шотландии уния открыла новые источники богатства, которыми прекрасно воспользовалось ее энергичное население. Фермы Лотиана превратились в образцовые хозяйства. Рыбачий город на Клайде разросся в богатый и многолюдный Глазго. Мир и образование обратили диких горцев в мирных пастухов и земледельцев. Перемена эта не сопровождалась утратой духа народности. Мир едва ли видел более сильное и быстрое развитие национальной активности, чем в Шотландии после унии. Исчезла только зависть, со времени Эдуарда I разъединявшая два народа, которые общность происхождения и языка предназначила к объединению. Уния Шотландии и Англии оказалась устойчивой и реальной только

потому, что она была просто законодательным признанием и проведением национального факта.

Поражение при Рамильи ухудшило до последней степени положение Франции. За утратой Фландрии последовала после победы Евгения, освободившей Турин, потеря Италии. Не только Питерборо удержался в Испании, но Карл III с армией из англичан и португальцев вступил в Мадрид. Мальборо стоял на вершине славы. Победа при Рамильи дала ему возможность принудить Анну, несмотря на ее ненависть к вигам, допустить в министерство злейшего врага их партии — Чарльза Спенсера, третьего графа Сендерленда, зятя Мальборо, и, таким образом, выполнить свой договор с ними. Но поддерживавшаяся им до тех пор система политического равновесия сразу стала разрушаться. В конституционном смысле Мальборо сделал последнюю попытку управлять Англией на иных основах, чем при помощи одной партии. То объединение партий, к которому он постоянно стремился со времени своего разрыва с крайними тори, скоро оказалось невозможным. Возраставшее противодействие тори войне заставляло герцога все более опираться на вигов, дорого продававших свою поддержку. Сендерленд, унаследовав от своего отца его взгляды на партийное управление, намеревался восстановить строго вигское министерство и устранить из него умеренных тори, несмотря на желание Мальборо удержать их. Узнав о давлении, оказываемом на него вигами, герцог гневно писал домой: «Англия не погибнет от того, что несколько человек недовольны». Раздражен был не один Мальборо. Предвидя, что ему грозит отставка, Харли начал интриговать при дворе против вигов и Мальборо, при посредстве г-жи Мэшем, фрейлины королевы, отнявшей у герцогини расположение Анны. То же опасение побудило Сент-Джона, обязанного своим быстрым возвышением милости герцога, содействовать планам Харли. Мальборо попытался снова привлечь их обоих на свою сторону, но оказался в полной власти у единственной партии, упорно стоявшей за войну. Частное соглашение вигов с их противниками вызвало у герцога необычный взрыв гнева в парламенте, но достигло своей цели и убедило его в невозможности дальнейшего сопротивления. Однако королева противилась упорно и ожесточенно. Душой Анна принадлежала тори, и подчинение Мальборо требованиям вигов лишило его ее прежнего доверия. Только угрожая отставкой, он добился от нее допущения Сендерленда в министерство. Герцогиня навязала Анне волю своего супруга, и это, несмотря на дружбу, вызвало у королевы жестокий гнев. Новые уступки Мальборо требованиям вигов только усилили этот гнев: он отнял у Питерборо командование за его торизм и вырвал у Анны согласие на отставление от должностей Харли и Сент-Джона, пред-

ставителей умеренных тори. Их отставка сопровождалась полным торжеством вигов: Сомерс сделался председателем совета, Уортон — наместком Ирландии, низшие места были заняты людьми, вроде молодого герга Ньюкасла и Роберта Уолполя, которым предстояло играть большую роль в позднейшей истории Англии. Между тем великая борьба на материке продолжалась с поразительным колебанием успеха. Франция чрезвычайно быстро оправилась от страшного поражения при Рамилии. Победа мешала Бервика при Альмансе вернула Испанию Филиппу. Виллар одерживал новые победы на Рейне; в то же время принц Евгений вторгся в Прованс, был отброшен оттуда в Италию. Во Фландрии Мальборо рассчитывал пользоваться своей крупной победой, но его планы были расстроены коварством герцога Вандома и сопротивлением голландцев, начавших теперь склоняться к миру.

Однако в кампанию 1708 г. Вандом, несмотря на превосходство его сил, был атакован и разбит при Ауденарде, и хотя робость политиков Англии и Голландии помешала Мальборо проникнуть в глубь Франции, но он поднял Лилль, сильнейшую из ее пограничных крепостей, на глазах сотысячной армии, пришедшей к ней на выручку. Поражение и страшные бедствия Франции сломили, наконец, гордость Людовика, и он предложил мир, тупая союзникам все то, из-за чего они боролись: он соглашался лишь на своей помощи Филиппа Испанского; отдать голландцам десять крепостей Фландрии; возвратить империи все приобретения Франции с Заключением Вестфальского мира; признать Анну; изгнать претендента из своих владений и скрыть укрепления Дюнкерка, ненавистного англичанам как приютище французских корсаров.

Мальборо считал теперь мир обеспеченным; но, несмотря на его советы, союзники и вигские министры Англии потребовали от Людовика, чтобы он своими собственными войсками принудил внука отказаться от испанской короны. «Если я должен вести войну, — отвечал король, — я скорее поведу ее против врагов, чем против своих детей». В полном отчаянии он обратился за помощью к Франции, и, несмотря на свое истощение, страна с восторгом отозвалась на его призыв. Это доказала кампания 1709 года. Страшная резня, известная как битва при Мальплаке, вызвала новое изменение у французских солдат: несмотря на голод, они в стремлении к бою бросали свои рационы, а по окончании его отступали такими сомкнутыми массами, которых не могли прорвать никакие усилия Мальборо. Французы потеряли 12 000 человек, но захват их укрепленных линий стоил союзникам вдвое большей потери. Отвращение к подобному кровопролитию еще более усилило недовольство войной. Неприятие предложенных

довиком условий было несправедливо приписано желанию Мальборо затянуть войну, доставлявшую ему выгоды и власть. Внезапно над вигами разразилась буря народного негодования. Повод к ней подала скучная и неуместная проповедь англиканского священника д-ра Сэчверела, защищавшего в храме Св. Павла учение о безусловном повиновении. Его смелость вызвала преследование, и вопреки советам Мальборо и Сомерса вигские министры решили обвинить его перед палатой лордов. Процесс сразу получил характер крупного столкновения партий. Народ проявил горячее участие к Сэчверелу, и это показало, какую ненависть возбудили против себя виги и война. На суде его поддерживали самые выдающиеся сторонники англиканства, толпы народа сопровождали его в суд и обратно, улицы оглашались криками: «Церковь и доктор Сэчверел!». Пэры незначительным большинством признали проповедника виновным, но наложенное ими мягкое наказание, в сущности, было оправданием, и праздничные огни и иллюминации приветствовали по всей стране это торжество тори.

Партия, которую виги стремились сокрушить, приобрела новую силу. Выход Харли и Сент-Джона из министерства доставил тори более ловких и энергичных вождей, чем сторонники «Высокой церкви», вышедшие в отставку в первые годы войны. Сент-Джон пустил в ход новое орудие политической борьбы, скоро давшее почувствовать свою силу. В «Обозревателе» и в ряде памфлетов и газет, следовавших за ним, юмор Прайора, злая ирония Свифта, блестящая софистика самого Сент-Джона изощрялись в осмеивании войны и ее руководителя: «Шесть миллионов субсидии и почти пятьдесят миллионов долга! — писал с горечью Свифт. — Высокие союзники разорили нас». Мальборо осмеивали и унижали, обвиняли в надменности, жестокости и властолюбии, во взяточничестве и жадности; выражали сомнение даже в его мужестве. Этот поворот в общественном мнении тотчас освободил Анну от угнетавшего ее ига; а между тем Харли своими интригами деятельно подкапывался под министерство. Виги знали, что союз герцога с ними был навязан ему только войной; их легко было убедить в том, что королева имеет в виду единственно унижение Мальборо, и они холодно отнеслись к отставке его зятя Сендерленда и его друга Годольфина. С другой стороны, герцог, увлекаясь надеждой на примирение со своей старой партией, отнесся так же хладнокровно к отставке вигских министров и к назначению на их место торийского министерства с Харли и Сент-Джоном во главе. Но тонкое предательство последнего затмило интриги Харли. Намереваясь лишить Мальборо командования, он поддерживал надежды герцога на примирение с тори, пока не выманил у него согласия на отставку его жены и обязательства поддерживать политику тори. Уверен-

ность в примирении с ними побудила герцога согласиться на посылку войск, предназначавшихся для подкрепления его армии во Фландрии, в бесплодный поход против Канады, хотя это лишило его возможности выполнить задуманный им мастерский план вторжения в сердце Франции в начале 1711 г. Мальборо оказался не в состоянии даже дать сражение и ограничился захватом нескольких приморских городов. Сент-Джон тотчас воспользовался ничтожными результатами кампании, как доводом в пользу заключения мира. Вопреки статье договора, обязывавшей членов «Великого союза» не вступать в сепаратные переговоры с Францией, Сент-Джон, ставший в это время лордом Болинброком, выдвинул мысль о тайном соглашении Англии с Францией. Из-за этих переговоров он и расстроил поход Мальборо. Когда раскрылось его вероломство, герцог понял, как жестоко его провели, и это заставило его порвать, наконец, с торийскими министрами. Он вернулся в Англию и побудил палату лордов высказаться против задуманного мира; но поддержка Общин и королевы и всеобщая ненависть к войне среди народа дали возможность Харли преодолеть всякое сопротивление. В начале 1712 г. вигское большинство палаты лордов было сломлено назначением 12 торийских пэров. Мальборо был лишен поста командующего, обвинен в казнокрадстве и признан виновным палатой общин. Герцог немедленно удалился из Англии, и с его удалением исчезло всякое противодействие миру*.

За бегством Мальборо последовало в 1713 г. заключение в Утрехте договора между Францией, Англией и Голландией; покинутый своими союзниками, император должен был, наконец, заключить мир в Раштаде. Эти договоры оставляли нерешенной первоначальную задачу войны — помешать захвату Испании Бурбонским домом. В сущности, основами для этих договоров служили начала прежних договоров о разделе. Филипп сохранял Испанию и Новый Свет, но уступал свои владения в Италии и Нидерландах вместе с островом Сардинией, эрцгерцогу Карлу, ставшему теперь императором Карлом VI, в возмещение его притязаний. В то же время отдавал Сицилию герцогу Савойскому, а Англии передавал не только Ми-

* Делая акцент на внутрианглийских интригах, автор умалчивает о куда более важных причинах, приведших к заключению мира, — как военных, так и политических. Дело в том, что в 1711 г. после смерти старшего брата Иосифа I императором стал эрцгерцог Карл, выдвинутый Великим союзом в качестве претендента на испанский трон, т. е. создалась угроза объединения Испании уже не с Францией, а с Австрией, что также было невыгодно Англии. Поэтому английское правительство предпочло договориться с Бурбонами, выдвинув в качестве одного из основных условий заключения мира отказ Филиппа V за себя и своих потомков от всяких прав на французский трон, чтобы Франция и Испания никогда не объединялись под властью одного государя.

норку, но и Гибралтар — два пункта, обеспечивавшие ей господство на Средиземном море. Франция должна была согласиться на восстановление голландского барьера в больших против прежнего размерах, утишить раздражение англичан против французских каперов срытием стен Дюнкерка и не только признать право Анны на престол и протестантское наследование в Ганноверском доме, но и согласиться на изгнание из Франции претендента. Упадок здоровья королевы сделал вопрос о престолонаследии настоящей злобой дня, превращавшей всю политику в партийную интригу. Виги были все еще сильны в общинах и доказали силу своей партии среди лордов отклонением торгового договора, которым Болинброк предвосхитил главный финансовый успех Уильяма Питта, обеспечив свободу торговли между Англией и Францией. Они горячо желали вступления на престол курфюрста; тори, в сущности, не имели в виду ничего другого. Но в вопросе о средствах достижения этого Харли и Болинброк сильно расходились. Харли склонялся к союзу умеренных тори с вигами. Болинброк хотел настолько усилить тори полным унижением их противников, чтобы можно было навязать курфюрсту торийскую политику, каковы бы ни были его личные симпатии. Чтобы сломить влияние своего соперника, он внес Билль о расколе, воспрещавший всем диссентерам выступать школьными или домашними учителями; обостряя, таким образом, еще сильнее вражду тори и вигов, он расстраивал надежды Харли на примирение партий. Однако успех далеко превосшел его ожидания. Виги сочли билль первым шагом к якобитской реставрации. Он встревожил даже принцессу Софию, и ганноверский посланник потребовал, чтобы сын курфюрста, будущий Георг II, пожалованный в герцоги Кембриджские, был в качестве пэра приглашен в ближайший парламент с целью на случай смерти королевы обеспечить присутствие в Англии Ганноверского принца. Болинброк раздул гнев королевы, и он выразился в письме к принцессе, где Анна предупреждала ее, что «подобное поведение может повредить самому престолонаследию». В июле 1714 г. Анну уговорили отправить в отставку Харли, теперь графа Оксфорда, и образовать единое сильное торийское министерство, готовое поддерживать ее сопротивление требованию курфюрста. По мере приближения кризиса обе партии стали готовиться к междоусобной войне. В начале 1714 г. виги приготовились к восстанию после смерти королевы и пригласили из Фландрии Мальборо стать во главе его, рассчитывая на то, что его имя привлечет на их сторону армию. С другой стороны, Болинброк старался усилить партию тори. Губернатором Пяти Портов, в округе которого должны были высадиться оба кандидата на престол, он назначил герцога Ормонда, известного своими симпатиями к претенденту; управление Шот-

ландией он отдал якобиту — графу Мару. Но события опередили его планы. Анну вдруг поразил удар. Тотчас собрался Тайный совет; узнав об этом и не дожидаясь приглашения, вигские герцоги Аргайл и Сомерсет вошли в его залу и заняли свои места за столом. Сделали они это по тайному соглашению с герцогом Шрусбери, президентом совета в торийском министерстве, но соперником Болинброка и сторонником ганноверского престола наследия. Шаг этот оказался решительным. Совет тотчас признал права Ганноверского дома и назначил Шрусбери лордом-казначеем; умирающая королева согласилась на это. Болинброк остался государственным секретарем, но вдруг оказался без силы и в пренебрежении. Между тем секретарь принял необходимые меры: ожидая междоусобной войны, он призвал в столицу четыре полка. Но якобиты оказались неуверенными и неготовыми, и после смерти Анны, 10 августа, королем Англии без тени сопротивления был провозглашен Ганноверский курфюрст Георг, после смерти св. матери ставший наследником престола.

Глава X Уолполь (1712—1742)

Вступление на престол Георга I сопровождалось переменой в отношении Англии к прочим европейским государствам. После Плантагенетов только по временам приходила в соприкосновение с судьбами материка. Революция заставила ее присоединиться к «Великой коалиции» европейских народов, а Утрехтский мир, как ни позорны были некоторые из условий, сделал Англию главной преградой честолюбию дома Бурбонов. Революция не только ввела Англию навсегда в круг европейских держав, но и указала ей среди них особое место. Целью коалиции и войны было установление среди великих держав Европы равновесия сил, основанного, в сущности, не столько на естественном равновесии, сколько на соглашении, вырванном у борющихся народов истощением их средств страшной борьбе; а если это равновесие будет признано и установлено, можно приноровливать его к изменяющимся политическим условиям времени. Англия и сделалась главной охранительницей этого равновесия, оно было признано и определено Утрехтским и следовавшими за ним договорами. Упрямая политика министров первых Георгов наложила навсегда свою печать на политику Англии. Она поддерживала мир и святость договоров, и хотя эта борьба преследовала своекорыстные цели, но Англия обретала в ней наклонности, которых она потом никогда не утратила.

полностью. Несмотря на воинственность и властность ее народного характера, она никогда не могла освободиться от сознания того, что ее мировая задача заключается в обеспечении мира как себе, так и соседним народам и что лучшей гарантией мира служит признание, вопреки всем трудностям и искушениям, важности международных обязательств и святости договоров.

В самой Англии вступление на престол нового короля сопровождалось поразительными политическими последствиями. При Анне корона вернула себе часть прежнего влияния, утраченного из-за Вильгельма. Но при двух следующих государях влияние Англии решительно не проявлялось. Они были иностранцами, к которым никто не мог питать личной преданности, а их характеры отличались такой незначительностью, какая только возможна для людей. Оба они были честными и прямодушными людьми, добросовестно подчинявшимися всем неприятностям положения конституционных королей; но ни у одного из них не было достоинств, которые в глазах всего народа могли придать их честности привлекательность: Георг I был по характеру простым придворным, заботившимся единственно о добывании денег для себя и своих любимцев; Георг II был просто капралом, считавшим себя властелином всего королевства, тогда как на деле он только повторял слова своей жены, заимствовавшей их у министра. Остроумные мемуары эпохи достаточно знакомят нас с их двором; но как политические деятели, оба Георга почти не появляются в истории Англии. Вильгельм Оранский не только пользовался правом отвергать билли, принятые обеими палатами, но и удерживал в своих руках контроль над внешней политикой. Анна никогда не уступала даже Мальборо своего исключительного права назначать на церковные должности и до конца председательствовала в совете министров. Со вступлением на престол Георгов эти ограничения исчезли. После смерти Анны ни один государь не появлялся в совете министров и не решался отказывать в согласии на акт парламента. Правда, как курфюрст Ганноверский, король все еще занимался материальными делами, но его личное вмешательство вызывало все большее неудовольствие, в то же время оказывая очень слабое влияние на внешнюю политику его английских министров. Вскоре Англией стал управлять не король, а вигские министры короны. Вигам нечего было также опасаться сильного сопротивления со стороны их политических противников: «Торийская партия, — писал Болинброк после смерти Анны, — исчезла». И точно, в первой палате общин, созданной новым королем, тори едва насчитывали 50 членов; в то же время роковое разделение ослабило их силы во всей стране. Наиболее горячие из них в отчаянии перешли на сторону претен-

дента. Лорд Оксфорд был обвинен и заключен в Тауэр; Болинброк и герцог Ормонд бежали из Англии и поступили на службу к сыну короля Яков II в Англии их усилия поддерживал сэр Уильям Уиндгем, создавший из остатков торийской партии партию якобитов. Выделение последних приносило мало пользы претенденту, но нанесло сильный удар партии тори. Партия была все еще против возвращения Стюартов. Предполагаемое стремление к этому не только вызвало неприязнь к тори у промышленных классов, опасавшихся подрыва общественного кредита вследствие неприязни якобитами государственного долга, но и ослабило влияние духовенства и дворянства; в то же время оно внушило новому государю глубокое неведение ко всей партии тори. Корона обратилась теперь к вигам, тогда церковь, до того служившая для их партии главным «камнем преткновения», утратила политическое влияние и перестала быть грозным противником. Виги управляли Англией более тридцати лет. Но их долгое господство зависело не только от поддержки короны или разделения тори; до некоторой степени они обязаны были им превосходной организацией своей партии. Силу их противников ослабляли принципиальные различия и отсутствие действительно выдающихся вождей; виги стояли как один человек за дела революции 1688 г. и подчинялись великим деятелям, проводившим на деле. Они с удивительной дисциплиной следовали руководству нескольких выдающихся фамилий: Бентинков, Маннерсов, Кемпбеллов и Каддишей, Фицроев и Ленноксов, Расселов и Гренвилей; эти фамилии приобрели себе право на власть своим сопротивлением Стюартам, участию в революции и возведении на престол Ганноверского дома. Долгое господство вигов зависело еще более от той заботливости, с какой они относились к приобретению и сохранению за собой влияния в палате общин. Они опирались на поддержку промышленных классов и крупных городов не только сохранением общественного кредита, но и особенно внимательным отношением каждого министерства к торговым и финансовым вопросам. И снижение поземельного налога привлекли на их сторону арендаторы землевладельцев, а якобитские симпатии массы помещиков и последовательное уклонение их от всякого участия в политике отдали на время руки вигов даже представительство графств. Несколько лет девятьдесятых депутатов от графств, составлявших менее многочисленную, но важную группу нижней палаты, принадлежали к родственникам и сторонникам крупных вигских фамилий. Но последние не пренебрегали и низкими средствами для контроля над парламентом. Они широко пользовались своим богатством для обеспечения себе влияния на мелкие и крупные корпорации, выбиравшие большую часть представителей мест-

Еще бесцеремоннее тратились деньги на парламентские подкупы. Подкупы эти были старше Уолполя или вигского министерства и были обусловлены начавшимся во времена Реставрации переходом власти к нижней палате. Теперь переход закончился, и общины стали во главе государства; но освободившись от контроля короны, они еще не стали полностью ответственными перед народом. Член парламента чувствовал над собой давление общественного мнения только во время выборов. Прежде секретность совещаний была необходима парламенту, как гарантия против вмешательства короны в прения; теперь она служила гарантией против вмешательства в них избирательных собраний. Это странное соединение огромной власти и полной свободы от ответственности вызывали в большинстве случаев естественный результат. Голос приобрел слишком большую цену, чтобы его можно было подавать без вознаграждения, и поддержку парламента приходилось покупать местами, пенсиями и подкупам на чистые деньги. Но как ни ловко было руководство и крепка организация вигов, они были обязаны своим долгим господством над Англией более высоким достоинствам. Они оставались неуклонно верными началам, доставившим им власть, и их непрерывное управление превратило эти начала в общенародные привычки. Раньше окончания их долгого управления англичане забыли и думать о возможности преследования за различие мнений, или подавления свободы печати, или воздействия на отправление правосудия, или управления без содействия парламента.

Заслуга строгого усвоения и энергичного проведения этой политики принадлежит, прежде всего, талантливому Роберту Уолполю. Он родился в 1676 г. и за два года до смерти Вильгельма вступил в парламент молодым норфолкским землевладельцем; у него было хорошее состояние, внешность и привычки того класса, к которому он принадлежал. Его крупная коренастая фигура и простое добродушное лицо напоминали обыкновенного провинциала-помещика; и точно в Уолполе за политическим деятелем до конца скрывался помещик. Он был невеждой в литературе, «не любил ни писать, ни читать», питал некоторую слабость к искусству, но любил по-настоящему только стол, бутылку и охоту. Он ездил верхом так же усердно, как и пил. Даже в моменты политической опасности он, прежде всего, вскрывал письма зрителя за своей охотой. Характер норфолкского охотника за лисицами сказывался в упрямстве, замеченном Мальборо в его характере, в страшной самоуверенности, с какой он заявлял: «Не будь я первым министром, я был бы архиепископом Кентерберийским», в упорном мужестве, с каким он преодолел неудачи своих первых ораторских попыток или, наконец, в одиночку выдерживал ожесточенные нападки массы вра-

гов. Тот же характер проявлялся и в добродушном юморе, явившемся при нем новой силой в политике. Ни на кого никогда не нападали так ожесточенно ораторы и писатели, но он не вносил никаких ограничительных законов о печати; интриги его противников с претендентом отдали в его руки жизни большинства из них, но он мало пользовался своей властью над ними. Но всего сильнее сказывалось его деревенское воспитание в проницательности и узости ума и в добросовестности характера. У него был очень ясный взгляд, но видел он недалеко и не допускал для себя возможности не видеть. Он был вполне искренен и верен своим убеждениям, каковы бы они ни были: «Робин и я, мы оба честные люди, — признавался впоследствии якобит Шиппен, противопоставляя его своим недобросовестным противникам. — Он за короля Георга, я за короля Якова, а эти господа с длинными галстуками добиваются только мест, все равно при короле Георге или при короле Якове». Уолполь признавал значение политических приобретений революции и с редкой добросовестностью проводил свои «революционные начала» в течение ряда лет бесспорного преобладания. Но его прозаический здравый смысл относился недоверчиво к поэтическим и страстным сторонам человеческого чувства. Обращения к более высоким и чистым мотивам он называл насмешливо «юношескими увлечениями». Молодым членам парламента, говорившим о политической честности или патриотизме, он отвечал всегда одинаково добродушно: «Вы скоро отделаетесь от этого и поумнеете».

Сначала никто не мог предвидеть той важной роли, какую предстояло сыграть Уолполю. Правда, энергичное отстаивание интересов своей партии навлекло на него в последние годы Анны жестокую ненависть тори, а ложное обвинение в казнокрадстве послужило предлогом к устранению его из палаты и заключению в Тауэр; но при восшествии на престол Георга I Уолполь далеко не занимал того господствующего положения, которое он должен был вскоре получить. Первое ганноверское министерство было взято целиком из партии вигов, но, при этом, были одинаково обойдены как их вожди, так и Мальборо. Руководство делами было вверено новому государственному секретарю — лорду Тауншенду; его товарищем по секретарству был генерал Стэнхоп, пожалованный в пэры. В новом правительстве Уолполь последовательно занимал должности военного казначея, канцлера казначейства и первого лорда казначейства, скорее в качестве зятя Тауншенда, чем в силу признания его настоящих способностей. Первым делом нового министерства было отражение отчаянной попытки претендента захватить престол. Настоящей надежды на успех у него не было, так как деятельных якобитов в Англии было немного, а тори были дезорганизованы

приведены в уныние неудачей своих вождей. Смерть Людовика XIV отняла всякую надежду на помощь со стороны Франции; расчеты на содействие Швеции оказались столь же бесплодными. И все-таки, вопреки советам Болинброка, Яков Стюарт решился действовать один. Не уведомив своего нового министра, он приказал графу Мару подать сигнал к восстанию на севере. В Шотландии торжество вигов было равносильно сохранению власти за домом Аргайла, и враждебные ему кланы горцев были так же готовы бороться с Кемпбеллами под командой Мара, как раньше готовы были на борьбу с ними под начальством Дёнди или Монтроза. Но Мар оказался вождем совсем другого закала, чем те. Вокруг него собрались в Перте шесть тысяч горцев, но его трусость или плохое руководство удержали его войско в бездействии, пока Аргайл не собрал своих сил и не столкнулся с ним в нерешительной схватке при Шерифмьюре. Претендент явился слишком поздно и оказался еще более неповоротливым и неспособным вождем, чем сам Мар. В конце 1715 г. приближение свежих войск заставило Якова вернуться за море, а кланы — рассеяться в их горах. В Англии опасность прошла подобно сну. Вступление на престол нового короля сопровождалось кое-где взрывами мятежного недовольства, но при известии о восстании горцев и вторжении французов тори и виги одинаково сомкнулись вокруг трона; в то же время армия горячо высказалась в пользу короля Георга. Приостановка Акта Habeas corpus и арест вождя якобитов, сэра Уиндгема, испугали их; ни один человек не тронулся на западе, когда у берега Девона явился Ормонд и призвал свою партию к восстанию. Беспокойство проявилось только в Оксфорде, где университет служил очагом якобитства, да в Нортумберленде восстало несколько католических помещиков под руководством лорда Дервентуотера и г. Форстера. Прибытие 2000 горцев, присланных Маром, побудило их двинуться в Ланкашир, где католическая партия была сильнее всего, но при Престоне они скоро были окружены и принуждены к сдаче. Министерство воспользовалось своим торжеством, чтобы отблагодарить диссентеров отменой законов о расколе и случайном единообразии и предложить крупную конституционную реформу. В царствование Вильгельма продолжительность парламента была ограничена тремя годами. Теперь, когда нижняя палата стала руководящей властью в государстве, явилась необходимость продлить этот срок, чтобы обеспечить в политике последовательность и устойчивость. В 1716 г. эта необходимость совпала с желанием вигов сохранить возможно дольше власть за чисто вигским парламентом. Поэтому «семилетним биллем» продолжительность парламента была увеличена до семи лет. Еще более важную перемену вызвало восстание якобитов во внешней политике Англии. В то время как вы-

сатка Якова в Шотландии возбудила у короля Георга опасение, что Франция прямо выскажется против него, политическое положение Европы вызвало новый Тройственный союз между Францией, Англией и Голландией.

Со смерти Людовика XIV в 1715 г. Францией за малолетнего короля Людовика XV управлял в качестве регента герцог Орлеанский. Если бы Филипп Испанский выполнил обещание, данное им в Утрехтском договоре, — отказаться от своих прав на французский престол, то ближайшим наследником его явился бы герцог. Но было хорошо известно, что Филипп и не думает исполнять это условие, и что каждый испанец только и мечтает, что о возвращении всего уступленного Испании. Отваживаться на эту попытку значило вооружать всю Европу. В самом деле, Савойя приобрела Сицилию, император владел Нидерландами, Неаполем и Миланом; Голландия считала барьер крепостей необходимым для своей безопасности; Англия упорно держалась за торговлю с Америкой. Но смелый кардинал Альберони, бывший в это время правителем Испании, рискнул на это, и в то время как Филипп интриговал против регента во Франции, Альберони, чтобы предотвратить противодействие Англии его планам, обещал помощь якобитам. Прежде всего, он попытался вернуть утраченные Филиппом итальянские области, и невиданный Испанией в течение века военный флот подчинил в 1717 г. Сардинию. Англия и Франция тотчас сблизились и вступили в соглашение, по которому Франция гарантировала наследование Габсбургским домом английского престола, а Англия, в случае смерти Людовика XV без наследников, — наследование французского престола Орлеанским домом. К этим державам, хоть и неохотно, присоединилась Голландия. Когда летом 1718 г. сильная испанская армия высадилась на Сицилию и завладела островом, в Мессинском проливе появилась английская эскадра и почти уничтожила в происшедшем затем сражении испанский флот. Альберони попробовал отплатить за удар снаряжением экспедиции под командованием герцога Ормонда с целью поднять в Шотландии новое восстание якобитов; но его флот потерпел крушение в Бискайском заливе, а присоединение к Тройственному союзу Австрии и Савойи поставило Испанию одинокой перед лицом Европы. Наконец, движение французских войск на север Испании заставило Филиппа уступить. Альберони был отправлен в отставку, а испанские войска удалены из Сардинии и Сицилии. Последняя перешла теперь к императору, а герцог Савойский был вознагражден за потерю ее Сардинией и титулом короля; в то же время была достигнута цель Утрехтского договора отказом императора от его притязаний на испанскую корону и отказом Филиппа от притязаний на Милан и королевство Обеих Сицилий.

Однако борьба показала, какие затруднения должно было причинять Англии двойственное положение ее государя. В душе Георг заботился гораздо больше об интересах своего ганноверского курфюршества, чем королевства. А в это время Ганноверу угрожал Карл XII, король Шведский, раздраженный тем, что король Датский уступил курфюрсту захваченные им во время пребывания Карла в Турции* шведские города Бремен и Верден. Посылка английского флота в Балтийское море для устрашения Швеции, доказала тождество политики Англии и Ганновера, и Карл отвечал на это сближением с Альберони в видах восстановления Стюартов. К счастью для новой династии, смерть Карла при осаде Фридрихсгама положила предел его замыслам, но вызвавшая их политика уже привела к роспуску министерства. Соглашаясь на договор о союзе с Ганновером против Швеции, оно руководилось тем соображением, что Бремен и Верден чрезвычайно важны не только для Ганновера, приходившего через них в соприкосновение с морем, но и для Англии, так как они отдавали в руки дружественного ей государства устья Эльбы и Везера, главных проводников английской торговли в Германию. Но проводить дальше политику Ганновера министерство отказывалось. Это вызвало неудовольствие короля, который воспользовался несогласием министров, и в 1717 г. Тауншенд и Уолполь вынуждены были отказаться от своих мест. Главами переустроенного кабинета остались лорды Сендерленд и Стэнхоп, поставившие себе наипервейшую цель — обеспечить власть за вигами посредством конституционной реформы. Назначение Харли 12 пэров с целью обеспечить согласие лордов на Утрехтский договор, показало, что у короны есть средство создавать себе большинство в палате пэров. Поэтому в 1720 г. министерство внесло билль, как думали, внушенный Сендерлендом; целью его было — обеспечить свободу верхней палаты, ограничив право короны на назначение новых пэров. Устанавливалось навсегда число пэров, равное числу заседавших тогда в палате; новые лорды могли назначаться только на освободившиеся места; 16 выборных пэров Шотландии заменялись 25 наследственными. Билль этот вызвал сильное негодование Уолполя. Действительно, он сделал бы невозможным представительное управление. Последнее с каждым днем становилось все более управлением по воле палаты общин, проводимой министерством, которое служило выразителем этой воли. Но принудить пэров к подчинению воле нижней палаты в тех случаях, где их мнение шло

* В Турции Карл «пребывал», бежав туда после сокрушительного поражения под Полтавой, пока, наконец, турки, которым надоел их взбалмошный и наглый гость, попросту не выгнали его из своей страны силой в 1714 г.

вразрез с ней, можно было только при помощи указанного права короны, применяя его по совету такого министерства. Предложение Сендерленда обрело бы на бездействие и законодательство, и управление. Билль о парламенте был отвергнут из-за противодействия Уолполя, и его соперники вынуждены были допустить его вместе с Тауншендом в министерство, хотя они и заняли в нем второстепенные места. Но вскоре это привело к более естественному распределению мест. Внезапный рост английской торговли вызвал в это время спекулятивную горячку. Со времен Елизаветы неизмеримые богатства испанской Америки производили всегда магическое действие на воображение англичан, и Харли оказал поддержку Южноокеанской компании, обещавшей за передачу ей монополии на испанскую торговлю уплатить часть государственного долга. Но Испания ревниво держалась за старые запрещения всякой торговли с иностранцами, и Утрехтский договор доставил Англии только право торговли неграми и посылки одного корабля к берегам испанской Америки. Несмотря на все это, выдвинулась компания, предлагавшая за новые привилегии выплачивать ежегодно миллион государственного долга. Напрасно Уолполь предостерегал министерство и страну против этой «мечты». Обе они потеряли рассудок, и в 1720 г. появился ряд дутых компаний, пока неизбежная реакция не повлекла за собой всеобщего разорения. Катастрофа свела Стэнхопа в могилу. Из его товарищей многие оказались подкупленными Южноокеанской компанией для прикрытия ее плутней. Государственный секретарь Крэгс умер от страха перед следствием; канцлер казначейства Айлэби был заключен в Тауэр. Среди общего крушения соперники Уолполя снова приобрели себе власть. В 1721 г. он сделался первым лордом казначейства, а Тауншенд вернулся на свое место государственного секретаря. Но их относительное положение теперь изменилось. Прежде в главе управления стоял Тауншенд; теперь Уолполь, употребляя его характерное выражение, решил, что «фирма должна носить имя Уолполя и Тауншенда, а не Тауншенда и Уолполя».

Ни одному министру не доставалось так сильно от поэтов и историков, как Уолполю. Но немного таких министров, заслуги которых беспристрастнее признавали бы практические политики. Действительно, годы его управления представляются временем беспрецедентного в истории Англии политического зстоя. Его долгое, более чем двадцатилетнее, господство почти не имеет истории. Казалось, с его вступлением в должность прекратилась всякая законодательная и политическая деятельность — год проходил за годом без малейшей перемены, только в третий год его министерства проявилось раздвоение в палате общин. Торийских членов было так мало, что одно вре-

они почти и не интересовались присутствием на заседаниях палаты; в 1722 г. якобиты лишились единственного остававшегося у них вождя в лице Эттербери, епископа Рочестерского, изобличенного в переписке с претендентом, лишенного своего сана и изгнанного по постановлению парламента. Единственной заботой Уолполя было поддержание спокойствия, примирявшего страну с системой, созданной революцией; но эта бездеятельность вполне соответствовала настроению всего народа. Она была популярна в том классе, который обыкновенно стремится к политической деятельности. Активность торгового класса поглощалась быстрым расширением торговли и накоплением богатства. Пока страной управляли справедливо и умеренно, купцы и лавочники охотно оставляли управление в руках его руководителей. Все, чего они желали, это возможности пользоваться своей новой свободой и развивать свои новые промыслы — Уолполь дал им эту возможность. Прогресс носил характер скорее материальный, чем политический, но достигал никогда еще невиданных Англией размеров. Задача поддержания спокойствия в Англии и в Европе была сама по себе высокая, а способ ее разрешения определяет место Уолполя среди политических деятелей Англии. Он был первым и самым удачливым из ее «министров мира»: «Самое гибельное состояние для нашей страны — война, — говорил он. — Мы теряем в течение ее и не можем много выиграть при ее окончании». Это не значит, что честь или влияние Англии пострадали в его руках: твердой политикой и искусными переговорами он так же одерживал победы, как другие — оружием. Заслуга Уолполя заключается в том, что, несмотря на внешние усложнения и — давление двора и оппозиции, он решительно сохранил Англии мир; а сохранить его было нелегко. Император Карл VI издал «Прагматическую санкцию», устанавливавшую безраздельный переход его наследственных владений к его дочери Марии-Терезии, но еще ни одно европейское государство не согласилось гарантировать ей наследство. Испания стремилась вернуть себе свои утраченные владения и прежнюю монополию торговли с американскими колониями и воспользовалась случаем, чтобы отвлечь императора от союза четырех держав, оставившего ее одинокой в Европе. Она обещала поддерживать «Прагматическую санкцию» в обмен на обещание Карла помочь ей в возвращении от Англии Гибралтара и Минорки и в обеспечении испанскому принцу наследования Пармы, Пьяченцы и Тосканы. Этот тайный союз был разоблачен дарованием огромнейших торговых преимуществ в американских владениях Испании торговой компании, учрежденной императором в Остенде, вопреки Вестфальскому миру и представлениям Англии и Голландии. Можно было опасаться присоединения к этому союзу России. На время опасность

была предупреждена союзом Англии, Франции и Пруссии, но отделение последней снова ободрило союзников, и в 1727 г. испанцы осадили Гибралтар, а Карл стал грозить нападением на Голландию. Только умеренность Уолполя предотвратила европейскую войну. Отправив английские эскадры в Балтийское море и к берегам Испании и Америки, он сумел дипломатическим путем удержать императора в бездействии; наконец, в 1729 г. Испания была вынуждена подписать Севильский мир и удовольствоваться обещанием, что Испанский принц наследует герцогства Парму и Тоскану. Недовольство Карла этой уступкой было смягчено тем, что Англия в 1731 г. гарантировала «Прагматическую санкцию».

Уолполь был не только первым «министром мира» в Англии, но и первым ее финансистом. Он был далек от понимания истины, доказанной позднейшими деятелями, — важности здравого финансового управления; но у него хватило ума понять то, чего не понимали его предшественники: при быстром росте промышленности и народного богатства для политического деятеля всего благоразумнее спокойно смотреть на это и предоставить делу их течению. В начале своего управления он объявил в тронной речи, что ничто не может так содействовать развитию торговли, «как возможно большее облегчение вывоза наших произведений и ввоза идущего на выработку их сырья». Первым делом его финансового управления было освобождение от пошлин более ста предметов экспорта и почти сорока статей импорта. В 1730 г. он с той же рассудительностью отказался от предрассудка, допускавшего торговлю колоний только с метрополией, и дозволил Джорджии и Каролинам прямо вывозить их рис с любую страну Европы. Вследствие этого американский рис скоро вытеснил с рынка итальянский и египетский. Его Билль об акцизе, несмотря на все свои недостатки, был первой мерой, в которой английский министр обнаружил до некоторой степени правильное понимание начал налогообложения. Меры Уолполя сопровождались быстрым ростом благосостояния. В начале века сумма экспорта Англии достигала шести миллионов, а в середине его она возросла вдвое. Новое богатство доставил Англии быстрый рост торговли колоний. В Манчестере и Бирмингеме, продукция которых теперь приобрела важность, население за 30 лет удвоилось. Еще большего процветания достиг Бристоль, главный центр торговли с Вест-Индией. Ливерпуль, обязанный своим возвышением новой торговле с Западом, из маленького городка превратился в третий порт королевства. Вместе с миром и безопасностью и вызванным ими богатством быстро возросла ценность земли и доход всех землевладельцев. Но этот рост никогда не мешал Уолполю преследовать строгую экономию, постоянно погашать государственный долг и понижать

податные тягости. Еще перед смертью Георга I последние были уменьшены на двадцать миллионов.

Вступление в 1727 г. на престол Георга II, казалось, наносило роковой удар влиянию Уолполя, так как было известно, что новый король ненавидит его едва ли меньше, чем своего отца. Но, какова бы ни была его ненависть к Уолполю, король находился в полном подчинении у своей хитрой супруги Каролины Ансбахской, решившей не допускать перемены министерства. И точно, в последовавшие годы Уолполь достиг наивысшей силы. Он приобрел такое же сильное влияние на Георга II, какое оказывал на его отца. Его власть над палатой общин осталась неприкосновенной. В стране господствовало спокойствие и благосостояние. Предрассудки поместного дворянства обезоруживались постоянным стремлением понизить поземельную подать. Церковь оставалась спокойной. У якобитов было слишком мало надежд, чтобы поднимать восстание. Через палаты было незаметно проведены несколько мероприятий относительно торговли и несколько общественных преобразований. Исследование положения тюрем показало, что общественная жизнь еще не совсем замерла. Очень важен был Билль, предписавший впредь вести всю процедуру в судах на английском языке. Только раз Уолполь нарушил это спокойствие попыткой провести крупную государственную меру. С самого его введения в Англии не было налога, более ненавистного, чем акциз. Своим началом он был обязан Пиму и Долгому парламенту, обложившему налогом пиво и вина, яблочное и грушевое. Во время Реставрации налог этот приносил доход более чем в 600 000 фунтов. Война с Францией принесла с собой налог на солод и добавочные сборы со спиртных напитков, вин, табака и других предметов. Рост народного богатства был так силен, что при смерти Георга I доход от акциза доходил почти до 2,5 миллиона в год. Но это не уменьшило его непопулярности, и даже философы, вроде Локка, старались доказать, что казна должна добывать себе средства из прямых налогов на землю. С другой стороны, Уолполь видел в росте косвенных налогов средство привлечь на сторону новой династии поместное дворянство освобождением земли от всяких повинностей. Контрабанда и утайки уменьшали доход на огромные суммы. На одном табаке потеря доходила до трети всего налога. Билль об акцизе 1733 г. предлагал в устранение этого построить для неоплаченных пошлиной товаров склады и взимать налоги с внутренних торговцев в виде акциза, а не пошлин. Первая мера превратила бы Лондон в вольный порт и удвоила бы размеры английской торговли; вторая, без всякого ущерба для потребителя, настолько возвысила бы доход, что позволило бы Уолполю отменить поземельный налог. Было высчитано, что при изменении способа

взимания пошлины одни чай и кофе давали бы лишних 100 000 фунтов в год. Жизненные припасы и сырые материалы для фабрик по плану Уолполя должны были оставаться совсем без обложения. План этот основывался на началах, которыми финансисты Англии руководствовались потом, после торжества свободной торговли; но в 1733 г. Уолполь слишком опередил свое время. Поднялось сильное волнение, беспорядки стали переходить почти в мятеж, и, несмотря на желание королевы подавить сопротивление силой, Уолполь отозвал билль назад: «Я не желаю, — сказал он с благородным самообладанием, — вводить налоги ценой кровопролития». Во время волнений предрассудки народа были раздуты горячностью так называемых «патриотов». При отсутствии сильной оппозиции и крупных поводов к воодушевлению партия легко распадается на группы. Слабость тори, в связи с застоєм в политических делах, вызвала раздоры среди вигов. Притом Уолполь ревниво относился к власти, и по мере того как его ревность лишала должностей одного его товарища за другим, они становились вождями партии, главной целью которой было низвержение Уолполя. Жажда власти была единственной страстью, ослеплявшей его здравый смысл. В 1730 г. получил отставку Тауншенд, в 1733 г. — лорд Честерфилд; Уолполь начал свое управление с самыми способными людьми, какие только были в Англии, а через двадцать лет в его кабинете остался только один талантливый человек — канцлер лорд Гардвик. За исключением одного Тауншенда, отставленные им товарищи бросились в самую придирчивую и бессовестную оппозицию, когда-либо пятнавшую английскую политику. Своим главою «патриоты», как они себя называли, считали Пёлтни. Их поддерживала группа молодых вигов — «мальчишек», как их называл Уолполь, — возмущавшихся одинаково его бездеятельностью и циничной политикой и имевших своим оратором молодого корнета Уильяма Питта. Они сблизились с немногими тори, еще принимавшими участие в политике и следовавшими одно время злостному руководству Болинброка, которому Уолполь позволил вернуться из изгнания, но отказался вернуть место в палате лордов. Однако неудача Уолполя с Биллем об акцизе мало подорвала его влияние, и Болинброк, приведенный в отчаяние безуспешностью своих усилий, вернулся во Францию.

За границей первые признаки новой опасности показались в 1733 г., когда мир Европы снова был нарушен спорами, вызванными выборами на польский престол. В спор были одинаково вовлечены и Австрия, и Франция; в Англии пробудилось недоверие к замыслам французов, усилившее стремление к войне. Новому королю также хотелось воевать; к участию в борьбе склонялась под влиянием своих немецких симпатий и Каро-

лина. Но Уолполь твердо стоял за сохранение нейтралитета: «За этот год в Европе убито 50 000 человек, — заметил он во время войны, — но среди них ни одного англичанина». Вмешательству Англии и Голландии удалось в 1736 г. восстановить мир, но страна с горечью заметила, что он был куплен торжеством обеих ветвей Бурбонского дома. Уступка Обеих Сицилий Испанскому принцу в обмен на отказ от права наследовать Парму и Тоскану, создала за счет Австрии новую бурбонскую монархию. С другой стороны, Лотарингия окончательно перешла в руки Франции*. Появление у Людовика XV сыновей разрешило все вопросы о престолонаследии во Франции и устранило все препятствия к преследованию бурбонскими дворами под влиянием симпатий общих целей. Уже в 1733 г. между Францией и Испанией было втайне заключено семейное соглашение, главной целью которого было уничтожение морского могущества Англии. Испания обязалась постепенно отнять у Англии ее торговые преимущества в американских владениях и передать их Франции. Последняя обещала за это поддерживать Испанию на море и помочь ей в возвращении Гибралтара. Осторожное уклонение Уолполя от войны за польское наследство помешало на время осуществлению этого соглашения, но оба Бурбонские двора не переставали ожидать исполнения его в будущем. Едва война окончилась, как Франция напрягла все силы для увеличения своего флота; в то же время Испания стала все сильнее ограничивать торговлю Англии с ее американскими колониями. Торговля с испанской Америкой, в сущности, была незаконна, но за время продолжительного союза Англии и Испании против Франции она сильно выросла, благодаря снисходительности испанских таможенных чиновников, и наконец получила юридическое притязание по Утрехтскому миру. Правда, она была поставлена в узкие границы, но эти пределы обходились при помощи широкой системы контрабанды, лишавшей остатки испанской монополии почти всякого значения. Усилия Филиппа ограничить английскую торговлю с его колониями ввозом негров и посылкой одного корабля, как это было оговорено Утрехтским договором, вызывали столкновения, затруднявшие сохранение мира. Недовольство торговых классов дошло до ярости в 1738 г., когда некий капитан купеческого корабля по имени Дженкинс рассказал у решетки палаты общин сказку о том, как испанцы пытали его и отрезали ему ухо, насмехаясь над анг-

* Автор несколько искажает факты. Лотарингия, отобранная у ее герцога Франсуа де Водемона (мужа будущей императрицы Марии-Терезии), была отдана Станиславу Лещинскому, тестю Людовика XV и французскому кандидату на трон Польши (против русско-австрийского кандидата Фридриха-Августа Саксонского). Лишь после смерти Лещинского Лотарингия была окончательно присоединена к Франции.

лийским королем. Напрасно Уолполь старался удовлетворить обе стороны и упорно боролся против требования несправедливой и безрассудной войны. В это время приближалась смерть императора, и поэтому было чрезвычайно важно, чтобы Англия могла свободно воспользоваться всеми средствами для сохранения европейского равновесия. Усилия Уолполя оказались тщетными. Успеху его переговоров помешали возбуждение одной страны и гордость другой. В Англии противники осыпали его жестокой бранью, уличные певцы распевали перед толпой свои песенки об «английском дворянстве и испанском легаше». Его влияние было ослаблено смертью королевы и еще более открытой враждой к нему принца Уэльского. Перестала быть бесспорной и его власть над палатой общин. В парламент постепенно возвращались тори. Открытое покровительство принца Фридриха усиливало численность и пыл «патриотов». Страна постепенно отворачивалась от Уолполя. Требование войны из-за коммерческих интересов лишило его поддержки торгового класса, но Уолполь уступил и согласился на войну с Испанией только тогда, когда остался совсем одиноким.

«Пусть они теперь звонят в колокола, — заметил с горечью великий министр, когда иллюминация и колокольный звон приветствовали его сдачу, — скоро им придется разводить руками» — это предсказание тотчас оправдалось. Едва адмирал Вернон появился с английским флотом у берегов Южной Америки и взял Порто-Белло, как Франция прямо объявила, что она не допустит утверждения Англии на материке Южной Америки и отправила две эскадры в Вест-Индию. В этот критический момент смерть Карла VI в октябре 1740 г. вызвала общеевропейскую войну, которой так боялся Уолполь. Франция увидела возможность докончить начатое Генрихом II дело раздробления империи на ряд государств, слишком слабых, чтобы противиться захватам Франции. Новый король Пруссии Фридрих II потребовал себе Силезию, а Бавария — австрийских герцогств, согласно Прагматической санкции перешедших вместе с другими наследственными владениями к королеве Венгерской Марии-Терезии. Поэтому Франция вступила в союз с Испанией, домогавшейся присоединения Милана, и обещала свою помощь Пруссии и Баварии; в то же время к ней присоединились Швеция и Сардиния. Летом 1741 г. в Германию вступили две французские армии, а курфюрст Баварский беспрепятственно дошел до Вены. Никогда Габсбурги не подвергались такой опасности. Их противники рассчитывали на раздел их владений: Франция требовала себе Нидерланды, Испания — Милан, Бавария — королевство Богемское, Фридрих II — Силезию. За Марией-Терезией оставались только Венгрия и герцогство Австрия. Уолполь все еще стоял за нее, но и он советовал ей купить помощь

Фридриха против Франции и ее союзников уступкой части Силезии. «Патриоты» обещанием помощи Англии побудили Марию-Терезию к отказу, и Уолполь потерял последнюю надежду на спасение Австрии, а Фридрих II вынужден был заключить союз с Францией. Но королева не захотела отчаиваться. Она купила себе помощь Венгрии восстановлением ее политических вольностей, а субсидии Англии дали ей возможность двинуться во главе венгерской армии на освобождение Вены, занять Баварию и отразить весной 1742 г. нападение Фридриха на Моравию. Англия, однако, вела войну слабо и без успеха: адмирал Вернон был разбит под Картахеной. Уолполя обвиняли в том, что он всячески противодействует войне. Он отражал еще с удивительным мужеством нападки «патриотов», но в новом парламенте его большинство снизилось до шестнадцати голосов, и он потерял почти всякое влияние в своем собственном кабинете. Под конец его покинуло даже спокойствие духа, сопровождавшее его в прежних бурях: «Прежде, — пишет его сын, — он засыпал, как только его голова касалась подушки, а теперь он не может проспать больше часа, не пробуждаясь; прежде он всегда забывал за столом свои заботы и был всех веселее и беззаботнее, а теперь он сидит молча, по часу уставив глаза в одну точку». Действительно, конец был близок — при открытии сессии 1742 г. большинство Уолполя упало до трех, и это принудило его к отставке.

Часть 10

Новейшая Англия

Глава I

Уильям Питт (1742—1762)

Падение Уолполя обнаружило перемену в настроении Англии, которая с этого времени и до настоящего должна была оказывать влияние на историю, социальную и политическую. На народную жизнь, наконец, начали действовать новые силы, желания, стремления, незаметно образовавшиеся под покровом бездействия. Подъем заметно проявился в религиозном возрождении, относящимся к последним годам министерства Уолполя. Никогда еще дело религии не было поставлено так плохо. Успехи свободного исследования, отвращение к богословским спорам, завещанное междоусобными войнами, открытие для человеческой энергии новых политических и экономических путей вызвали общее равнодушие ко всем вопросам религиозного мышления и религиозной жизни. Церковь, пользовавшаяся в эпоху революции преобладающим влиянием, утратила теперь политическое значение. Епископы, избираемые исключительно из небольшого числа вигских церковников, оказывались, благодаря отчуждению и ненависти духовенства, бессильными в политическом отношении; само духовенство, увлекаясь втайне симпатиями к якобинству, угрюмо уклонялось от деятельного вмешательства в политические дела. Благоразумие вигских политиков содействовало поддержанию этой неподвижности церкви — они старательно избегали всего того, что могло разбудить дремлющие силы ханжества и фанатизма. Когда диссентеры стали настаивать на отмене законов об испытании и о корпорациях, Уолполь открыто выразил опасение пробудить подобной мерой религиозную вражду и удовлетворил ее, проводя ежегодно акт, освобождавший их от ответственности за нарушение этих уголовных законов. В то же время прекращение созыва Конвокации лишило духовенство естественного центра агитации и противодействия. Это политическое бездействие не возмещалось никакой религиозной деятельностью. Большинство прелатов являлись сторонниками вигов

просто в целях возвышения. Они заполняли по утрам приемные министров. Один епископ Уэльса признавался, что он только раз видел свою епархию, а обыкновенно проживал на озерах Уэстморленда. Обычай сожительства содействовал абсентеизму самых богатых и ученых священников, а большинство их отличалось нерадивостью и бедностью и не пользовалось влиянием в обществе. Зоркий, хотя и предубежденный, наблюдатель называет современное английское духовенство самым безжизненным в Европе, «чрезвычайно небрежным в своих частных трудах и наименее строгим в своей жизни». Против религии и церкви восставали оба крайних слоя английского общества. В высших кругах общества, по словам Монтескье, посетившего Англию, «как только заходит речь о религии, все смеются». Большинство выдающихся политиков эпохи относились с неверием ко всем формам христианства и вели грубый и безнравственный образ жизни. Пьянство и бесстыдный разговор не добавляли доверия к Уолполю. Один из последующих премьер-министров, герцог Графтон, имел обыкновение являться в театр со своей любовницей. Целомудрие и верность брачному обету осмеивались, как вещи старомодные; лорд Честерфилд в письмах к сыну дает ему уроки в искусстве обольщения, как отрасли светского воспитания. На другом конце общественной лестницы стояли массы бедняков, отличавшиеся таким невежеством и грубостью, какие трудно себе представить; так как рост населения, следовавший за разрастанием городов и развитием торговли, не соответствовал заботам о религиозном и нравственном воспитании народа: не было учреждено ни одного нового прихода; школ не было совсем, кроме латинских училищ времен Эдуарда и Елизаветы и нескольких «подвижных школ», недавно учрежденных в Уэльсе в видах религиозного обучения. Сельское население, все более бедневшее благодаря злоупотреблению законами о бедных, оставалось почти без всякого нравственного и религиозного воспитания: «В Чеддарском приходе, — заметила много позднее Анна Мор, — мы видели только одну Библию, да и той пользовались для подпирания цветочного горшка». В городах дела обстояли еще хуже. Там не было настоящей полиции, и при больших беспорядках чернь Лондона или Бирмингема поджигала дома, разбивала тюрьмы, грабила и опустошала все, как ей было угодно. Класс преступников становился все смелее и многочисленнее, несмотря на жестокость законов, доказывавшую только страх общества; эти законы признавали за уголовное преступление порубку вишневого дерева и допускали повешение в одно утро 20 молодых воров перед Ньюгейтом. Появление джина дало новый толчок пьянству: одно время на улицах Лондона кабаки приглашали любого прохожего выпить на пенни или напиться до бесчувствия за два.

Но, несмотря на подобные сцены, Англия, в сущности, оставалась религиозной страной. В среднем классе сохранялся неизменно старый дух пуританства, и в конце управления Уолполя из этого класса вышло религиозное возрождение, изменившее со временем весь характер английского общества. К церкви вернулись жизнь и деятельность. Вера вдохнула в сердца народа новый дух нравственного рвения, очистила литературу и нравственность. Новая филантропия преобразовала тюрьмы, внесла в уголовные законы дух кротости и разума, упразднила торговлю рабами и дала первый толчок народному образованию. Возрождение началось в небольшом кружке оксфордских студентов, выражавшем свое возмущение против религиозной мертвенности эпохи в аскетических правилах, восторженной набожности и методически регулярной жизни, доставившей им насмешливое прозвище «методисты». Когда в 1738 г. группа эта перешла в Лондон и своей пылкой и даже эксцентричной набожностью обратила на себя общее внимание, в ней выделялись три личности; каждая из них нашла себе особое дело в той общей задаче, к которой привлек их с самого начала дух нового движения, — внести веру и нравственность в широкие массы населения, сосредоточенного в городах или вокруг рудников и угольных копей Корнуолла и севера. Главным проповедником «возрождения» явился Уайтфилд, стипендиат Пемброк-колледжа. Красноречие руководило политикой Англии; его религиозная сила сказалась тогда, когда страх перед «энтузиазмом» закрыл новым апостолам кафедры государственной церкви и заставил их проповедовать в открытом поле. Скоро их голоса стали раздаваться в самых диких и варварских уголках страны, среди мрачных болот Нортумберленда, в трущобах Лондона, длинных галереях, где в промежутках своей работы прислушивается к шуму моря корнуолльский рудокоп. Проповедь Уайтфилда носила никогда прежде не слыханный в Англии характер; она отличалась театральностью, напыщенностью, часто вульгарностью, но обезоруживала всякую критику своим чрезвычайным реализмом, искренностью веры, глубоко потрясающим сочувствием к греховности и горю человечества. Обыкновенный энтузиаст не мог бы выманить деньги у бережливого Франклина или возбудить удивление в пресыщенном Горасе Уолполе, не мог бы с вершины зеленого холма в Кингсвуде смотреть на 20 000 замазанных землекопов из бристольских копей и видеть, как по мере его проповеди «слезы проводили белые полосы на их почерневших щеках». На грубые и невежественные массы, к которым обращались Уайтфилд и его товарищи, они производили сильное впечатление как в хорошем, так и в дурном смысле. Их проповеди вызывали сильную ненависть у противников. Их жизни часто грозила опасность; на них нападали

толпами, их бросали в воду, побивали камнями, душили вонючим дымом. Но они вызывали такой же страстный энтузиазм: у женщин появлялись судороги; здоровые мужчины вдруг падали на землю; проповедь прерывалась взрывами истерического смеха или плача — вообще, их проповеди сопровождались всеми явлениями сильного духовного возбуждения, столь нередкими теперь, но в то время странными и неизвестными; грозное сознание своей греховности, новый страх перед адом, новая надежда на небо принимали формы в одно и то же время комичные и возвышенные. Этому внезапному и поразительному просветлению Чарльз Уэсли, студент Кристи-Чёрч-колледжа, придавал привлекательность. Он был «нежным певцом» движения: его гимны выражали горячую веру обращенных в таких чистых и возвышенных стихах, что поневоле забывалась их крайняя напыщенность. Дикие взрывы истерического восторга перешли в страсть к пению гимнов, а в народе явилось новое стремление к музыке, постепенно изменившее характер общественного богослужения в Англии.

В старшем брате Чарльза Уэсли Джоне воплощалась не та или другая сторона нового движения, но все оно целиком. Он считался главой группы методистов уже в Оксфорде, где был членом Линкольн-колледжа, и, по возвращении из сумасбродного путешествия к индейцам Джорджии, снова взял на себя руководство маленьким обществом, переселившимся за это время в Лондон. Как талантливый проповедник, он стоял наряду с Уайтфилдом, как составитель гимнов, уступал только своему брату Чарльзу. Но, соединяя в себе до некоторой степени достоинства обоих, он обладал качествами, совершенно им чуждыми: неутомимой энергией, холодной рассудительностью, авторитетностью, организаторским талантом, удивительным сочетанием терпения и умеренности с сильнейшим честолюбием — всеми свойствами, обеспечивавшими ему власть над людьми. Кроме того, больше всех других методистов он был ученым и искусным писателем; при начале движения он был старше всех своих товарищей и пережил их всех. Его жизнь охватывает почти весь век, и методистское движение прошло через все фазы своей истории, когда в 1791 г. он умер в возрасте 88 лет.

Для Уэсли было бы невозможно пользоваться его властью, если бы наряду с энтузиазмом своих учеников он не разделял также их увлечений и сумасбродств. В течение всей своей жизни он был аскетом-монахом. По временам он питался одним хлебом и часто спал на голых досках, он жил в мире чудес и вмешательств Божества: он считал чудом, если дождь переставал и это позволяло ему продолжать путь, а карой неба, если над городом, оставшимся глухим к его проповеди, разражалась буря с градом. Однажды, рассказывает он нам, когда он устал, а его лошадь захромала, он

подумал: «Неужели Бог не может чем-нибудь или без ничего исцелить человека или животное? И тотчас прошла и моя головная боль, и хромота моей лошади». С еще более ребяческим фанатизмом определял он свое поведение как в обыкновенных случаях, так и в важные минуты жизни, метая жребий или наблюдая тексты, на которых открывалась его Библия. Но при всем этом сумасбродстве и суеверии Уэсли обладал чисто практическим, методичным и консервативным умом. Никогда во главе крупного переворота не стоял человек, столь враждебный революции. В молодые годы епископы были вынуждены порицать его за бездушие и нетерпимость в церковных делах. Когда Уайтфилд начал свои проповеди в открытом поле, Уэсли «сначала не мог примириться с этим странным приемом». Он осуждал допущение мирян к проповеди, боролся против него и под конец остался с проповедниками из одних мирян. До конца он был страстно привязан к английской церкви и считал основанную им общину просто светским обществом, стоящим с ней в тесной связи. Он порвал с моравскими братьями*, прежде всех поддержавшими новое движение, когда их пренебрежение к религиозным формам оказалось опасным для прочного руководства им. Он порвал с Уайтфилдом, когда великий проповедник бросился в крайний кальвинизм. Но тот же практический склад ума, который заставлял его отвергать все крайнее и с трудом принимать новое, помогал ему сохранять и организовывать принимаемое им новое. Он сам стал неутомимейшим проповедником в открытом поле, и в течение полувека его дневник является почти что простым перечнем новых поездок и новых проповедей. Принужденный в своей деятельности пользоваться содействием мирян, он превратил его в новую привлекательную особенность своей системы. Из его прежнего аскетизма уцелела только нелюбовь к общественным увеселениям и отвращение к веселым и светским сторонам жизни, что связывало методизм с пуританством. Когда в зрелом возрасте исчезло его пылкое суеверие, он своим холодным, здравым рассудком расхолаживал у своих последователей восторженные порывы, сопровождавшие начало «возрождения». Его силы были направлены на создание крупного религиозного общества, которое могло бы придать новому движению прочные и практические формы. Методисты разделялись на группы, собиравшиеся на «троепызы любви» и слушавшие попеременно то оседлых, то странствующих

* Моравские (первоначально богемские) братья — религиозная секта, возникшая в Богемии в XV в., призывающая к возвращению к первым векам христианства. От своих последователей требуют простоты и строгости нравов, отвергают присягу, военную и государственную службу, несогласные с Горней проповедью. При Габсбургах подвергались преследованиям, многие «братья» эмигрировали.

проповедников; недостойные члены изгонялись. Все общество было поставлено под неограниченную власть собора священников. Но при жизни Уэсли руководство новым религиозным обществом принадлежало ему одному: «Если под произвольной властью вы разумеете власть, которой я пользуюсь один, без товарищей, — отвечал он противникам с очаровательной простотой, — то вы, конечно, правы; но я не вижу в этом зла».

Основанное им, таким образом, крупное общество при смерти его насчитывало сотни тысяч членов, а теперь их в Англии и Америке миллионы. Но сам методизм был далеко не важнейшим результатом методистского возрождения. Его влияние на церковь прервало спячку духовенства, и «евангелическое» движение, нашедшее себе в государственной церкви таких представителей, как Ньютон и Сесил, устранило, наконец, священников, охотившихся за лисицами или не живших в своих приходах. Во время Уолполя английское духовенство было самым праздным и бездеятельным в мире; в наше время никакое другое духовенство не превосходит его благочестием и филантропической деятельностью и не пользуется большим уважением общества. Во всем народе появился новый нравственный подъем, нередко представлявшийся суровым и педантичным, но оказавший благотворное влияние на тон общества; под его влиянием исчезло беспутство, со времен Реставрации позорившее высшие классы, и безнравственность, наводнявшая литературу. Еще более важным следствием религиозного возрождения явилось никогда с тех пор не исчезавшее упорное стремление ослабить преступность, невежество, физические страдания и общественную приниженность класса преступников и бедняков. Это филантропическое движение началось не раньше того, как сделало свое дело Уэслеянское возрождение. Началом народного просвещения явились воскресные школы, учрежденные в конце столетия мистером Рексом из Глостера. Анна Мор своими сочинениями и личным примером обратила внимание Англии на бедность и преступность сельских рабочих. Под влиянием сильной человеческой симпатии к обездоленным и угнетенным воздвигались больницы, основывались богадельни, строились церкви, посылались миссионеры к язычникам, Бёрк вступался за индусов, а Клэрксон и Уильберфорс начинали свой крестовый поход против несправедливости работорговли. Среди массы филантропов, пожалуй, всего больше привлекает нас нравственным рыцарством своих стремлений деятельность и характер Джона Гауарда. Одушевлявшее всех сострадание к бедствиям человечества он перенес на бедствия худших и несчастнейших людей. С удивительным пылом и постоянством он посвятил себя благу должников, воров и убийц. В 1774 г. назначение главным шерифом Бедфордского графства об-

ратило его внимание на положение тюрем, поставленных под его надзор с этого времени мирный помещик, занимавшийся только чтением Библии наблюдениями за погодой, превратился в самого ревностного и энергичного реформатора. В течение года он посетил почти все английские тюрьмы почти всюду нашел в них ужасные злоупотребления, замеченные за полвека раньше, но оставленные без внимания парламентом. Тюремщики, занимавшие свои места, должны были жить взятками, и им позволяли вымолвить все что можно. Даже в случае оправдания людей нередко снова отправляли в тюрьму, так как у них не было средств заплатить суммы, которые задолжали своим тюремщикам. Должники и преступники были набиты вместе в переполненные, благодаря тогдашним жестоким законам, тюрьмах. Между различными полами не полагалось разделения, тюремной дисциплины не поддерживалось. Всякая тюрьма представляла собой смесь жестокости и гнуснейшей безнравственности, от которых заключенного могла избавить только голодная смерть или тюремная горячка, прерывно гнездившаяся в этих притонах злополучия. Гауард видел своими глазами, испытал все бедствия на собственном опыте. В одной тюрьме он нашел камеру, настолько тесную и нездоровую, что живший в бедный малый просил как милости, чтобы его повесили. Гауард запер ее и до тех пор терпел ее темноту и грязь, пока его натура не поддавалась. При помощи подобных приемов и полученного таким путем точного изображения подобных сцен он и провел свою реформу. Книга, излагавшая страшные опыты, и предложенные им планы исправления преступников сделали его, по крайней мере в Англии, отцом тюремной дисциплины. Его деятельность далеко не ограничивалась одной Англией. В ряде поездок он посетил тюрьмы Голландии и Германии; затем стремление найти каково-либо средства остановить роковые успехи чумы побудило его к осмотру лазаретов Европы и Востока. Занятый этим делом милосердия, он умер в Херсоне, в Южной России, от злокачественной лихорадки и, согласно желанию, «был похоронен самым скромным образом».

В то время как Уэслейанское возрождение глубоко взволновало Англию, ее политический застой не прерывался. Падение Уолпола не вызвало никакой перемены ни во внутреннюю, ни во внешнюю политику ее. Большинство министров, боровшееся с ним в последние годы его управления, вернулось на свои места, просто приняв в свою среду некоторых наиболее выдающихся членов оппозиции. Руководство внешними делами было поручено лорду Картерету, человеку очень энергичному, сведущему в делах континента, в общем, следовавшему системе своего предшественника. Чтобы устранить влияние, приобретенное теперь Францией в Германии, бл

даря избранию ее орудия — Карла Баварского в императоры, он считал необходимым согласие Австрии и Пруссии. Давление Англии, вместе с победой Фридриха при Хотузице, заставило Марию-Терезию согласиться на план Уолполя и заключить в Бреславле мир с Пруссией на условиях уступки Силезии. Этот мир позволил в конце 1742 г. австрийской армии выбить французов из Богемии; в то же время один английский флот блокировал Кадис, другой бросил якорь в бухте Неаполя и угрозой бомбардировки столицы заставил короля дон Карлоса заключить договор о нейтралитете, а английские субсидии отвлекли Сардинию от союза с Францией. К несчастью, Картерет и Венский двор решили теперь не только утвердить «Прагматическую санкцию», но и вернуть земли, захваченные Францией в 1736 г.: Неаполь и Сицилию нужно было отобрать у их испанского короля, Эльзас и Лотарингию — у Франции, а императорское достоинство вернуть Австрийскому дому. Для выполнения этих планов австрийская армия весной 1743 г. прогнала императора из Баварии, а Георг II, горячо поддерживавший политику Картерета, стал во главе сорокатысячной армии, состоявшей в большинстве из англичан и ганноверцев, и двинулся из Нидерландов на Майн. Движение это сначала остановилось, а потом превратилось в отступление, когда на южном берегу реки появился с превосходящими силами герцог де Ноай, переправивший затем через нее 31 000 человек и угрожавший королю захватом его армии. В происшедшей потом битве при Деттингене союзную армию спасли от гибели запальчивость французской конницы и стойкость англичан, упорно стоявших на месте и наконец заставивших противника вернуться за Майн. Как ни незначительна была эта победа, она сопровождалась поразительными результатами: французы очистили Германию, английская и австрийская армии появились на Рейне, а союз между Англией, Пруссией и королевой Венгерской представлялся вполне достаточным для обеспечения уже полученных результатов.

Но расчеты на мир были разрушены честолюбием Австрийского дома. Весной 1744 г. австрийская армия двинулась на Неаполь, чтобы передать его после завоевания Карлу Баварскому, от которого его родовые владения в Баварии должны были в обмен перейти к Марии-Терезии. Но если после уступки Силезии Фридрих и отказался от войны, то он готов был скорее снова поднять оружие, чем допустить такое крупное усиление Австрийского дома в Германии. Сначала его внезапный союз с Францией не изменил хода войны: хотя Фридриху удалось захватить Прагу и отвлечь австрийскую армию от Рейна, но вскоре он был прогнан из Богемии, а смерть императора заставила Баварию сложить оружие и вступить в союз с Марией-Терезией. В это время положение королевы было настолько блестяще,

что она заключила тайный договор с Россией о разделе прусской монархии. Но в 1745 г. наступил перелом и выступили наружу роковые следствия слабости Картерета, допустившего превращение войны оборонительной в наступательную. Французский король Людовик XV повел армию в Нидерланды. Голландия отказалась выступить против него, и это возложило защиту их целиком на Англию. Общее недовольство этим расширением войны оказалось пагубным для Картерета, ставшего теперь графом Гренвилем. Его властолюбие вооружило против него его товарищей, и герцог Ньюкасл, и его брат Генри Пелгэм отняли у него должность. Главой преобразованного министерства стал Генри Пелгэм. По своему характеру, а также сознавая свою слабость, он склонялся к примирительной политике, объединившей всех вигов. В новом правительстве все нашли себе место: Честерфилд и виги, Питт и «мальчишки», даже некоторые тори. Масса вигов оставалась верной политике Уолполя, и Пелгэмы принудили Картерета к отставке именно с целью подготовки почвы для примирения с Фридрихом и окончания войны. Но сначала им пришлось обратить внимание на войну во Фландрии, где маршал Саксонский* утвердил превосходство французской армии победой над герцогом Кемберлендом**. Направляясь с армией из англичан, ганноверцев и голландцев — Голландия, наконец, была вовлечена в войну, — на выручку Турнэ, герцог встретил 31 мая 1745 г. французов, прикрытых линией укрепленных деревень и редутов: единственный узкий проход между ними был только у деревушки Фонтенуа. Английские войска построились в плотную колонну и, несмотря на убийственный огонь, упорно ломались в этот проход; но в тот момент, когда сражение казалось выигранным, французы быстро сосредоточили перед фронтом свои пушки, разбили колонну на куски и принудили ее отступить медленно, хоть и в порядке. За этим ударом последовала в июне победа Фридриха при Гогенфридберге, вытеснившая австрийцев из Силезии, а в конце июля — высадка Стюарта на берегах Шотландии.

Война с Францией тотчас оживила надежды якобитов. Уже в 1744 г. французское правительство поставило Карла Эдуарда, внука Якова II, во главе сильного флота; но буря, истребившая его флот, и отправка французских войск на войну во Фландрии помешали предполагавшейся высадке его

* Морис, граф Саксонский (1696–1750), побочный сын Августа II, курфюрста Саксонского и короля Польского, от Авроры фон Кенигсмарк. Полководец французской службы. Один из величайших военачальников своего времени.

** Уильям-Август, герцог Кемберленд (1721–1765), третий сын короля Георга II. Английский полководец. Разбит французами при Фонтенуа (1745) и Лоуфельде (1747). Разгромил войска якобитов при Куллодене (1746).

в Шотландии. Однако в 1745 г. Молодой претендент снова сел на небольшой корабль всего с семью друзьями и высадился на одном из Гебридских островов. Три недели оставался он почти одиноким, но 29 августа кланы собрались под его знаменем в Гленфиннене, и Карл оказался во главе 1500 человек. На пути через Блер-Этол к Перту его отряд вырос в армию; он с торжеством вступил в Эдинбург и у «городского креста» был провозглашен Яковом VIII. 21 сентября при Престон-нэнсе горцы первым своим натиском наголову разбили 2000 англичан, высланных против них под командой сэра Джона Копа. Победа сразу удвоила силы победителя, и принц оказался теперь во главе 6000 человек, но это были все только горцы; жители низменности сторонились его знамени. Принцу стоило громадного труда побудить горцев к походу на юг; но наконец его активность и такт преодолели все препятствия. Он искусно обошел собранную в Ньюкасле армию, двинулся через Ланкашир и 4 декабря дошел до Дерби, но здесь исчезла всякая надежда на успех — почти никто не присоединился к нему при проходе через округа, слывшие твердыней якобитства. Народ стекался смотреть на его проход, как на зрелище. В Ланкашире было много католиков и тори, но только один помещик поднял оружие. Манчестер считался самым якобитским из городов Англии, но вся помощь, доставленная им, ограничилась иллюминацией и 2000 фунтов. От Карлайла до Дерби к принцу присоединилось едва 200 человек. Действительно, политика Уолполя обеспечила Англию за Ганноверским домом. Долгий мир, благосостояние страны и кротость управления сделали свое дело. Недавнее принятие тори в состав правительства окончательно обособило их партию от чистых якобитов. Как деятельная сила, якобитство исчезло, и сам Карл Эдуард понял, что нельзя покорить Англию с 5000 горцев. Вскоре он узнал также, что по обе стороны его собираются войска, вдвое превосходящие его собственное, и что третий корпус под командованием короля и лорда Стэра прикрывает Лондон. В самой Шотландии с уходом горцев все низменные округа спокойно возобновили присягу Ганноверскому дому. Даже в горах Маклеоды подняли оружие за короля Георга, а Гордоны отказались восстать, несмотря на подстрекательства небольшого французского отряда, высадившегося при Монтрозе. Двигаться дальше на юг было невозможно, и потому Карл поспешно отступил к Глазго; но найденные там подкрепления усилили его войско до 9000 человек, и 23 января 1746 г. он смело напал на английский отряд под начальством генерала Гоули, следовавший за ним при отступлении и расположившийся при Фалкирке. Бурный натиск горцев снова доставил принцу победу, но победа оказалась столь же роковой, как и поражение. Масса его войска рассеялась со своей добычей в горах, и

Карл стал отступать к северу перед герцогом Кемберлендом. 16 апреля обе армии встретились при Куллоденском болоте, в нескольких милях к востоку от Инвернеса. Горцы все еще насчитывали 6000 человек, но терпели недостаток и были в унынии; у Кемберленда было почти вдвое больше сил. Громимые пушками герцога, горцы по своему старому обычаю бросились на английский фронт, но были встречены губительным мушкетным огнем, и немногие, прорвавшиеся через первую линию, очутились перед второй. В несколько минут все было кончено, и войско Стюарта превратилось в массу преследуемых беглецов. Сам Карл после удивительных приключений бежал во Францию. В Англии 50 его сторонников были повешены; три шотландских лорда — Ловэт, Бамерино и Килмарнок сложили головы на плахе; 40 чиновных лиц постановлением парламента были объявлены вне закона. Более широкие репрессивные меры понадобились в горах: феодальная зависимость была отменена, наследственное право суда куплено у вождей и передано короне, ношение тартана (одежды горцев) воспрещено законом — эти меры, вместе с общей амнистией, достигли своей цели. Страх перед горцами исчез, и скоро приказы шерифа встречали в горах так же мало сопротивления, как и на улицах Эдинбурга.

Внешнее поражение и внутренняя опасность только усилили стремление Пелгэмов положить конец войне с Пруссией: не время было ослаблять главную протестантскую державу Германии, когда Англии угрожал претендент-католик. Мария-Терезия отказала в согласии на общее примирение, и в 1745 г. Англия заключила с Пруссией Ганноверское соглашение и прекратила военные действия в Германии. Но в других странах война продолжалась. Победы Марии-Терезии в Италии были уравновешены успехами французов в Нидерландах, где маршал Саксонский нанес новые поражения англичанам и голландцам при Року и Лоуфельде. Опасное положение Голландии и истощение финансов Франции привели, наконец, в 1748 г. к заключению Ахенского мира, по которому Англия отказалась от своих завоеваний на море, а Франция — на суше. Но мир этот был простым перемирием, в течение которого обе стороны надеялись, очевидно, собраться силами для предстоявшей более крупной борьбы. Действительно, война далеко выходила за пределы Германии и даже Европы и становилась мировым поединком, который должен был решить судьбы человечества. Франция уже потребовала себе долины Огайо и Миссисипи и поставила великий вопрос: французы или англичане должны явиться руководителями судеб Нового Света? Точно также французские авантюристы уже прогнали английских купцов из Мадраса и положили основание державе, которая, по их расчетам, должна была присоединить Индию к владениям Франции.

Первые сношения Англии с Индией не обещали того широкого развития, какое их ожидало. Ост-Индская компания была учреждена в Лондоне только в конце царствования Елизаветы, через сто лет после того, как Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды и основал на берегу Гоа португальское поселение. Несмотря на прибыльность, торговля оставалась скромной по размерам, и в течение следовавшего века компания только постепенно приобрела три первые свои фактории. Первая из них, Мадрас, состояла только из шести рыбацких хижин у подножия форта Св. Георга; Бомбей был уступлен португальцами в составе приданого Катарины Браганцской; форт Уильям, вместе с маленькой деревушкой, из которой потом выросла Калькутта, обязан своим рождением царствованию Вильгельма III. Каждый из этих фортов был построен просто для защиты товарных складов и охранялся несколькими «сипаями» (наемными местными солдатами); приказчики и купцы состояли под руководством председателя и совета. В середине XVIII в. одним из таких приказчиков был Роберт Клайв, сын мелкого землевладельца в Шропшире, молодой бездельник и повеса, от которого его друзья рады были избавиться, отправив его в Мадрас писцом на службу компании. Первое время пребывания его там было полно неудач и отчаяния. Он был беден, гордость и застенчивость отдаляли его от товарищей, ему надоедали конторские занятия, его мучила тоска по родине. Он дважды покушался на самоубийство, и только после неудачи второго покушения он отбросил обманувший его пистолет в том убеждении, что он предназначен для более высоких дел.

Наконец наступил перелом в виде войны и плена. Как только началась война за Австрийское наследство, превосходство их сил и влияния вызвало со стороны французов попытку прогнать англичан из Индии. Лабурдоннэ, губернатор французской колонии Маврикия, осадил в 1746 г. Мадрас, разрушил его до основания, а его приказчиков и купцов увел пленниками в Пондишери. Среди этих пленных находился и Клайв, но он бежал переодетым, а вернувшись в поселение, отказался от места писца и поступил прапорщиком в поспешно набираемое компанией войско. Взятие Мадраса не только утвердило славу французского оружия, но и внушило губернатору Пондишери — Дюпле мысль основать в Индии французскую империю. Когда во время Елизаветы английские купцы привезли свои товары в Сурат, монгольские императоры из дома Акбара впервые подчинили всю Индию, за исключением юга, единой сильной власти. Но со смертью Аурангзеба, в царствование Анны, монгольская империя быстро пришла в упадок. В Раджпутане приобрел себе независимость ряд вассальных князей. В Локнау и Хадарабаде, в Карнатике и Бенгалии основали особые государства намест-

ники императора. Долину Верхнего Инда заняло племя религиозных фанатиков, называвшихся «сейки». Через Инд переходили шайки персов и афганцев, которым удалось даже разграбить столицу Великого Могола — Дели. Наконец, в Пуне и Гвалиоре основали независимые государства чисто разбойничьи племена, известные как «маратты», но, в сущности, бывшие туземцами, которых долго держали в подчинении и которые спустились с гор вдоль западного берега и довели свои опустошения до Калькутты и Танхоры. Дюпле искусно воспользовался этим беспорядком. Он предложил императору свою помощь против мятежников и пришельцев, обративших его власть в тень; от имени императора он вмешался в распри государств Центральной и Южной Индии, сделался настоящим повелителем Хадерабадского двора и посадил свою креатуру на трон Карнатика. Единственный город, сопротивлявшийся этому набобу — Тричинополи был готов сдаться, когда в 1751 г. Клайв выступил со смелым планом его освобождения. С несколькими сотнями англичан и сипаев он неожиданно во время бури захватил Аркот, столицу набоба, окопался в ее огромном замке и пятьдесят дней защищал его против тысяч противников. Маратты никогда не думали, что англичане будут сражаться; пораженные его храбростью, они выступили прервали осаду; но едва Клайв освободился от нее, как выказал такую же храбрость в открытом поле. Во главе молодых рекрутов, убежавших при первом ружейном выстреле, и сипаев, прятавшихся, как только открывали огонь пушки, он дважды напал на французов и их индийских союзников, разбил их, расстроил все планы Дюпле и разрушил до основания пышный столб, поставленный французским губернатором в честь его прежних побед.

Расстроенное здоровье заставило Клайва вернуться в Англию, и решение борьбы в Индии было отложено до более позднего времени. Но в то время как Франция боролась за господство на Востоке, она с еще большим внешним успехом стремилась к преобладанию над Новым Светом на Западе. Несмотря на их многочисленность, английские поселения в Америке все еще простирались, главным образом, вдоль берега Атлантического океана; до Семилетней войны в Аллегань проникло только несколько разведочных партий, и племена индейцев беспрепятственно бродили вдоль озер. Только в эпоху Ахенского мира притязания Франции обратили внимание колонистов и английских политиков на внутренние районы западного материка. Утвердившись в Луизиане и Канаде, Франция открыто потребовала себе в собственность всю страну к западу от Аллеган, и ее губернаторы предписали изгнание всех английских поселенцев и купцов из долин Огайо и Миссисипи, все еще находившихся в руках индейских племен. Эти притязания возмутили даже бездеятельного Пелгэма. Из Акадии или Новой

Шотландии были прогнаны первоначальные французские поселенцы, и английские колонисты основали поселение в Галифаксе. Образовалась Огайская компания, агенты которой проникли в долины этой реки и Кентукки; в то же время послы Виргинии и Пенсильвании закрепили союз между своими колониями и индейскими племенами по ту сторону гор. Французы не замедлили принять вызов. Борьба началась в Акадии. На Онтарио появился военный корабль, Ниагара была превращена в форт. На Эри был послан отряд в 1200 человек; он прогнал кучку английских поселенцев из их небольшой колонии на разветвлении Огайо и основал там на месте позднейшего Питтсбурга форт Дюкен, сразу доставивший гарнизону господство над долиной реки. После неудачного нападения на него под командой молодого виргинца Джорджа Вашингтона колонисты принуждены были удалиться за горы и оставить в руках французов весь запад страны. Большинство индейских племен от Канады до Миссисипи стало на сторону Франции, и значение их помощи проявилось в 1755 г., когда генерал Брэдок с отрядом английских солдат и американской милиции произвел нападение на форт Дюкен. Его отряд был разбит наголову, а сам он убит. Маркиз де Монкальм, в 1756 г. командовавший силами французов в Канаде, был одарен чрезвычайными административными талантами. Он преследовал завоевательные планы с еще большим усердием, чем его предшественник. Три форта — Дюкен на Огайо, Ниагара на Св. Лаврентии и Тикондерога на озере Шамплен были связаны между собой рядом меньших укреплений, отрезавших английским колонистам всякий доступ к западу. Поражение Брэддока уже обратило внимание Англии на грозившую ей опасность, так как было несомненно, что за войной в Америке последует война в Европе. Остановить Францию представлялось возможным единственно при помощи союза с Пруссией, но Фридрих осторожно держался в стороне, и заискивания перед ним Англии только вызвали неудовольствие Марии-Терезии, желавшей возвращения Силезии. Обе ветви Бурбонского дома все еще были связаны «Фамильным пактом»; но уже в 1752 г. Мария-Терезия круто изменила свою политику и примкнула к их союзу. Ревнивое отношение России к появлению в Северной Германии сильной державы побудило императрицу Елизавету обещать свое содействие планам королевы Венгерской, и в 1755 г. союз четырех великих держав и Саксонии стал свершившимся фактом. Переговоры эти велись в такой тайне, что оставались неизвестными Генри Пелгэму и его брату герцогу Ньюкаслу, после смерти первого ставшему во главе министерства. Но они с самого начала не ускользнули от зоркого глаза Фридриха II, увидевшего себя лицом к лицу со строем врагов, тянувшихся от Парижа до Петербурга.

Для Англии опасность была едва ли меньше: Франция снова выступила на сцену с такой энергией и смелостью, которые напомнили дни Людовика XIV. Слабость и испорченность ее правительства пока были прикрыты смелостью и широтой его планов, а также ловкостью агентов, избираемых им для их осуществления. Напротив, в Англии господствовали нерешительность и неясность. Договор с королем Пруссим был, наконец, заключен только в конце 1755 г. Этот договор Англии с Фридрихом подавал сигнал к Семилетней войне. Ни одна война не оказывала более сильного влияния на судьбы мира и не доставляла Англии больших триумфов, но немногие начинались неудачнее. Ньюкасл был слишком слаб и невежествен, чтобы управлять без чужой помощи, но и слишком ревниво относился к власти, чтобы купить себе содействие разделом ее с более способными людьми. О приготовлениях его к предстоявшей гигантской борьбе можно судить по тому факту, что в начале 1756 г. в Англии было всего три годных к службе полка. С другой стороны, Франция действовала решительно. Герцог де Ришелье, внучатый племянник кардинала, осадил и принудил к сдаче Порт-Магон на Минорке, ключ к Средиземному морю. В довершение позора Англии, флот под командой адмирала Бинга, посланный ему на выручку, отступил перед французами. В Германии Фридрих захватил в начале войны Дрезден и принудил саксонскую армию к капитуляции, а в 1757 г. победа под Прагой отдала на время в его власть Богемию; но его успехи были непродолжительны, и поражение при Коллине заставило его снова отступить в Саксонию. В том же году герцог Кемберленд, расположившийся с армией в 50 000 человек на Везере для защиты Ганновера, отступил перед французами к устью Эльбы и обязался по Клостер-Севенской конвенции распустить свои войска. В Америке дела шли еще хуже, чем в Германии. Бездействие английских генералов представляло полную противоположность гениальной деятельности Монкальма. Поражение Брэддока уже доставило французам господство на Огайо; в 1756 г. они прогнали английские гарнизоны из фортов, господствовавших над озерами Онтарио и Шампленом, и их власть распространилась без перерыва на обширное пространство от Луизианы до острова Св. Лаврентия. Самыми хладнокровными политиками овладело беспрецедентное в истории Англии уныние, и даже бесстрастный Честерфилд воскликнул в отчаянии: «Как нация мы больше не существуем!».

На деле народу, в будущем которого отчаивался Честерфилд, предстояли величайшие триумфы. Жалкая неспособность герцога Ньюкасла выдвинула вперед гениального Уильяма Питта. Питт был внуком богатого губернатора Мадраса; он вступил в парламент в 1735 г. представителем одного из «карманных местечек» своего отца и руководил «молоды-

ми патриотами» в их нападках на Уолполя. Последний ответил на его нападки отставлением его от службы, и это обратило всю энергию Питта на политику. Участие в «правительстве на широкой основе», наследовавшем Уолполю, смирило на время его бурный характер, но после смерти Генри Пелгэма властолюбие Ньюкасла снова отодвинуло его в оппозицию, и он лишился своего места. Когда в ноябре 1756 г. военные неудачи вызвали отставку Ньюкасла, Питт сделался государственным секретарем, но через четыре месяца враждебность короля и партии Ньюкасла принудили его к отставке. Однако в июле 1757 г. оказалось необходимым снова призвать его. Неудача попытки Ньюкасла образовать министерство принудила герцога к соглашению с соперником; к счастью для страны, характер обоих политиков облегчал такое соглашение. У Ньюкасла не было ни способности, ни склонности ко всему тому, чем интересовался Питт, — к общему руководству общественными делами, контролю над внешней политикой, ведению военных действий. С другой стороны, герцог не имел себе соперника в искусстве руководить парламентом. Он мало был знаком с прочим, но лучше кого бы то ни было знал цену каждому депутату и интриги каждого местечка. Он интересовался не контролем за делами, а распределением мест и техникой подкупа. Питт относился ко всему этому презрительно: «Г-н Питт все делает, — писал Горас Уолполь, — герцог все раздает; пока они согласны с таким разделением труда, они могут делать все что угодно». Из союза этих двух столь разнохарактерных руководителей и образовалось величайшее, но и последнее, из вигских министерств. Но настоящая сила его с начала и до конца заключалась в самом Питте. Он не был богат, его доход составлял немного больше двухсот фунтов в год, и происходил из фамилии, не пользовавшейся политическим значением; молодой кавалерийский офицер, своей молодостью и неопытностью вызывавший насмешки Уолполя, мог только при помощи гения захватить власть, которую после революции ревниво удерживали в своих руках вигские фамилии. Его честолюбие преследовало не мелкую цель: «Я хочу, — сказал он, принимая должность, — вывести Англию из того состояния бессилия, при котором ее могут пугать 20 000 французов». Его призыв скоро встретил ответ. Он тотчас вдохнул в народ, которому служил, свой возвышенный дух, а в людей, служивших ему — некоторую долю своего величия: «Всякий, — сказал один тогдашний солдат, — входивший в кабинет г-на Питта чувствовал себя при выходе из него храбрее, чем при входе». Его первые походы были плохо задуманы, он терпел много неудач, но в целом народе он вызвал такое настроение, которое делало конечное поражение невозможным: «Англия долгое время мучи-

лась, — воскликнул Фридрих II, признав в Питте величие, сходное со своим, — но наконец она произвела великого человека».

Это-то личное, уединенное величие и поражает нас всего более при взгляде на Уильяма Питта. Сам тон его речи и характер его деятельности стоят в полном противоречии с его временем. Питт стоит совсем одинок среди общества, критического, воспитанного, равнодушного, простого до аффектации, остроумного и веселого, но чисто прозаичного, холодного сердцем и умом, не верившего в добродетель и воодушевление, а всего более не верившего в самого себя. Глубина убеждения Питта, его страстная любовь ко всему, что казалось ему возвышенным и истинным, поэтическая фантазия, театральные приемы и риторика, гордая самоуверенность, пышность и эксцентричность не более поражали его современников, чем его доверчивое обращение к высшим чувствам людей, презрительное отношение к подкупам, до того служившим в политике главным орудием, непоколебимая вера в себя, величие своих целей, возможность достижения их: «Я знаю, что могу спасти родину, — сказал он герцогу Девонширу при вступлении в министерство, — и знаю, что никто другой этого не может». Основную черту характера Питта составляла его напряженная, страстная гордость; но эта же гордость не позволяла ему спуститься до уровня людей, так долго руководивших судьбами Англии. После Реставрации он был первым политическим деятелем, представлявшим пример чистого патриотизма. Несмотря на сильное властолюбие, никто не отказывался так часто от власти и не принимал ее с таким строгим вниманием к исповедуемым им началам: «Я не пойду ко двору, — отвечал он на сделанное ему предложение, — если мне нельзя принести собой конституцию». К господствовавшей вокруг него коррупции он не питал ничего, кроме презрения, предоставляя покупку голосов и мест Ньюкаслу. В начале его карьеры Пелгэм назначил его на самое доходное место в управлении — на место военного казначея; но эти доходы носили недозволенный характер, и несмотря на свою бедность, Питт отказался брать хоть пенни больше своего жалованья. Нигде его гордость не проявлялась в таких высоких и благородных формах, как в его отношении ко всему народу. Ни один вождь не пользовался никогда более широкой популярностью, чем «великий представитель» (commoner), как называли Питта, но он всегда имел вид человека, не столько ищущего популярности, сколько внушающего ее. Он никогда не унижался до лести предрассудкам народа. Когда толпы черни громко высказывались за «Уилкса и свободу», он объявил Уилкса негодным беспутником; когда вся Англия дошла до безумия в своей ненависти к шотландцам, Питт гордо выразил

свое уважение к народу, мужество которого он первый постарался привлечь на сторону короны. Его благородная фигура, соколиные глаза, сверкавшие на небольшом худощавом лице, внушительный голос, пылкое и величавое красноречие доставили ему такое влияние на палату общин, каким не пользовался никто другой из министров. Презрительным взглядом он мог заставить замолчать противника, одним словом усмирить всю палату. Но он никогда не унижался до уловок, при помощи которых люди создают политическую партию, и в эпоху наивысшего его влияния число его личных сторонников едва ли доходило до полудюжины депутатов.

Его настоящая сила заключалась не в парламенте, а во всем народе. Его многозначительное прозвище «великий представитель» указывает на политический переворот. «Меня послал сюда народ», — говорил с гордым высокомерием Питт, когда вельможи кабинета противились его воле. Он первый заметил, что прекратилась долгая политическая бездеятельность общества, что развитие торговли и промышленности создало сильный средний класс, уже не находивший себе представителей в парламенте: «Вы научили меня, — сказал Георг II, когда Питт попытался спасти Бинга обращением к добрым чувствам парламента, — прислушиваться к голосу народа в других местах, а не в палате общин». Этот-то не представленный класс и доставил Питу власть. Во время своей борьбы с Ньюкасом он находил себе поддержку в больших городах, выбиравших его в почетные граждане и выражавших ему свое доверие: «Целые недели, — смеялся Горас Уолпол, — сыпались дождем золотые футляры». Лондон стоял на его стороне и в светлые, и в мрачные дни; богатейший из английских купцов олдермен Бекфорд гордился ролью его политического адъютанта. Действительно, характер Питта вполне соответствовал характеру объединившейся вокруг него торговой Англии, ее энергии, самоуверенности, гордости, патриотизму, честности, нравственной серьезности. Купцы чувствовали естественное влечение к единственному политику их времени, преследовавшему бескорыстные цели, сохранявшему руки чистыми, ведшему нравственную жизнь, питавшему нежную привязанность к жене и детям. Но существовало и еще более глубокое основание их восторженного почитания и того почитания, с каким Англия до сих пор относится к Питту. Он любил свою родину напряженной и страстной любовью, верил в ее могущество, славу, патриотизм, пока Англия не научилась верить в себя. Ее победы были его победами, ее поражения — его поражениями, ее опасности высоко поднимали его над всякой мыслью о себе или своей партии: «Будьте одним народом, — говорил он партиям, стремившимся к низвержению его, — забудьте все, кроме общего блага! Я подаю вам пример!». Его пылкий патриотизм

и создал то обаяние, которое доставило ему власть над Англией. Сами недостатки его характера располагали к нему средние классы. У предшествовавших ему вигских политиков гордость находила себе выражение в изысканной простоте и отсутствии претензий. В характере Питта было нечто театральное. Он был актером и в кабинете, и в палате, и даже в канцелярии. Он работал в полной форме со своими секретарями. Его письма к семье, как ни искренна была его любовь к ней, отличаются напыщенностью и неестественностью тона. Современным остроумцам легко было смеяться над его аффектацией, величавой походкой, театральным появлением в важных случаях закутанным во фланель и с костылем в руках. Уже прежде Уолполь смеялся над тем, что он переносит в палату общин «сценические жесты и волнения», но классы, к которым обращался Питт, не смотрели особенно на погрешности против изящного вкуса, не видели ничего смешного в политическом деятеле, которого, несмотря на мучения подагры, приносили в переднюю нижней палаты или в палату лордов, где он при последнем издыхании протестовал против национального позора.

Больше всего Питт обладал непреодолимой силой красноречия. Многообразие политического красноречия проявилось в бурных прениях Долгого парламента, но выражению его мешал тогда юридический и богословский педантизм эпохи. Век революции отбросил этот педантизм, но красноречии Сомерса и его противников мы видим больше искусства, чем таланта, больше знания, ясности выражения, определенности мысли, отчетливости защитника или дельца, чем ораторского порыва. Питт не владеет совсем или в слабой степени этой ясностью изложения. Он не был ловким бойцом, подобно Уолполю, или оратором заготовленных речей подобно Честерфилду. Всего хуже выходили у него именно заготовленные речи: в них сразу проявлялись свойственные ему отсутствие вкуса, стремление к эффекту, избитость ссылок, преувеличенность образов. Если несмотря на подобные недостатки он стоял много выше всех ораторов своего времени, то это объясняется прежде всего глубиной его убеждений, серьезностью и искренностью их выражения: «Я должен еще сидеть, — прошептал он однажды другу, — раз я встану, я скажу все, что у меня на уме». Но реализм его красноречия преображался широкой поэтической фантазией и страстным пылом, не только ставившими его выше современников, но и выдвигающими его в первый ряд ораторов всего мира. Холодная рассудительность, остроумие, здравый смысл эпохи уступили место блестящей смелости, сочувствию народным симпатиям, выдержанной величавости, возвышенному порыву, господству над всей областью человеческих чувств. От торжественного воззвания он без труда переходил

дил к веселой шутке, от резкого сарказма — к мягчайшему пафосу. Полное самосознание оратора усиливало значение каждого слова, его речь всегда дышала авторитетностью. Он был первым оратором Англии, слова которого оказывали сильное влияние не только на парламент, но и на весь народ. Отчетов о прениях парламента тогда еще не существовало, и голос Пита переходил за стены Св. Стефана только в отрывочных фразах и полусохранившихся выражениях. Но сила его красноречия и заключалась именно в этих внезапных порывах вдохновения, в этих коротких страстных обращениях. Дошедшие до нас немногие отрывочные слова вызывают в людях нашего времени ту же самую дрожь, какую они вызывали у его современников. Но несмотря на всю его страстность, красноречие Питта было красноречием государственного человека, а не риторика. Время оправдало почти все его главные цели: защиту свободы подданных против произвольного задержания по «общим приказам», защиту свободы печати против лорда Мэнсфилда, защиту прав избирательных собраний против палаты общин, защиту конституционных прав Америки против самой Англии. Его внешняя политика была направлена на сохранение Пруссии, и Пруссия оправдала его проницательность объединением Германии. Англия приняла потом его план прямого коронного управления Индией, план, показавшийся безумным, когда Питт предложил его. Он первый указал на либеральный характер английской церкви, первый поднял вопрос о парламентской реформе. Великодушие и оригинальность его ума доказываются одной из самых ранних его мер. Он успокоил Шотландию, призвав якобитов на службу их родине и набрав полки горцев среди ее кланов. Выбор в генералы Ульфа и Эмгреста доказал его пренебрежение к обычаю и прирожденное понимание людей.

Впрочем, победами, ознаменовавшими начало его министерства, Питт был обязан скорее счастью, чем своему гению. На Востоке смелость купеческого приказчика доставила компании английских купцов господство над Бенгалией и открыла ряд чудесных завоеваний, присоединивших полуостров Индостан, от Цейлона до Гималаев, к владениям британской короны. Уехав по расстроенному здоровью в Англию, Клайв в начале Семилетней войны вернулся оттуда и доставил англичанам добычу более значительную, чем добытое его победами верховенство над Карнатиком. Он провел только несколько месяцев в Мадрасе, как ужасное злодеяние, еще живущее в памяти англичан, вызвало его в Бенгалию. Эта страна, дельта Ганга, была богатейшей и плодороднейшей из всех областей Индии. Ее рис, сахар, шелк и ткани пользовались известностью на рынках Европы. Ее вице-короли, подобно их наместникам, на деле приобрели независимость от импе-

ратора и присоединили к Бенгалии провинции Ориссу и Бегар. Сураджа Даула, владетель этого обширного государства, давно уже ревниво относился к предприимчивости и богатству английских купцов. Теперь, подстрекаемый французами, он появился перед фортом Уильям, захватил его жителей и посадил из них 150 человек в небольшую темницу, названную Калькуттской Черной пещерой. Жара индийского лета оказала на них губительное действие. Несчастные пленники, обезумев от жажды, топтали один другого ногами, и утром из них остались живыми только 23 человека. Узнав об этом, Клайв отплыл с тысячей англичан и двумя тысячами сипаев для отмщения за это злодеяние. Он был уже не молодым солдатом Аркота, и тот такт и ловкость, с какими он вел переговоры с Сураджем Даулой, старавшимся предотвратить столкновение, были запятнаны восточной лживостью и предательством. Но он сохранил прежнее мужество. Когда оба войска стали лицом к лицу на равнине Плесси, неравенство сил оказалось настолько крупным, что накануне сражения военный совет высказался за отступление. Клайв удалился в ближнюю рощу и после часового уединенного размышления подал сигнал к сражению. И точно, нужно было одно только мужество: 50 000 пехоты и 14 000 конницы, занимавшие на рассвете 23 июня 1757 г. равнину, скоро были приведены английскими пушками в замешательство и перед нападением англичан пустились в стремительное бегство. Смерть Сураджа Даулы позволила компании возвести на трон Бенгалии своего сторонника, но скоро правление его стало чисто номинальным. В сущности, победа при Плесси положила начало господству Англии на Индостане.

В год Плесси на Западе была одержана победа, пожалуй, не менее значительная. Правда, в военных предприятиях, ознаменовавших начало министерства Питта, было мало такого, что оправдывало бы доверие к нему страны: деньги и кровь тратились на разбойничьи высадки на берегах Франции, причинявшие неприятелю незначительный вред. Но подобные случаи имели мало значения в общей политике министра. Величие его состоит в том, что он понял гений Фридриха Великого и решился оказать ему деятельную поддержку. При вступлении своем в должность он отказался утвердить Клостер-Севенскую конвенцию, которая привела Фридриха в отчаяние, открыв его королевство нападением французов. Питт прикрыл фланг Фридриха, собрав на Эльбе армию из англичан и ганноверцев и поставив во главе ее по совету Прусского короля лучшего из его генералов — принца Брауншвейгского; в то же время щедрые субсидии Англии пополняли истощенную казну Фридриха. Доверие Питта было вознаграждено самым блестящим проявлением военного гения, какое только видел до того

новый мир. Через два месяца после своего поражения при Коллине Фридрих напал на французскую армию, проникшую в сердце Германии, и уничтожил ее при Росбахе в ноябре 1757 г. До истечения следующего месяца он поспешил с Заалы к Одру и еще более замечательной победой при Лейтене очистил от австрийцев Силезию. Победе при Росбахе суждено было изменить судьбы мира: она положила начало объединению Германии; ее непосредственным следствием было отступление французской армии с Эльбы на Рейн. Там Фердинанд Брауншвейгский, подкрепленный 20 000 английских солдат, удерживал ее в течение лета, тогда как Фридрих, после неудачного нападения на Моравию, победой при Цорндорфе отеснил русских в Польшу. Но поражение его австрийским генералом Дауном при Гохкирхе оказалось первым в ряду страшных неудач, обрушившихся на него в 1759 г. Новое наступление русской армии заставило короля в августе напасть на нее при Кунерсдорфе, где поражение его окончилось полным рассеянием его армии. На время все казалось потерянным; даже путь к Берлину был открыт победителю. Через несколько дней сдача Дрездена отдала австрийцам Саксонию, а в конце года было отбито со страшным уроном нападение на них при Плауэне. Но неукротимое мужество и настойчивость короля загладили все неудачи, и зима застала его обладателем Силезии и всей Саксонии, кроме земли, занятой лагерем Дауна. Год величайших несчастий Фридриха был для Питта временем величайших удач, годом побед при Миндене, Кибероне и Квебеке. Франция замышляла высадку на берега Англии и завоевание Ганновера, а потому собрала в Бресте флот и сосредоточила на Везере 50 000 человек под командованием Контада и Брольи. Фердинанд встретил их 1 августа при Миндене меньше, чем с 40 000. Французы шли в атаку вдоль Везера, имея фланги, прикрытые этой рекой и впадавшим в нее ручьем, а в центре 10 000 конницы. Против нее в армии Фердинанда стояли шесть английских полков; они не поняли приказа своего генерала и сразу двинулись на нее сомкнутым строем, несмотря на стоявшие по флангам батареи и отражая мушкетными залпами одну атаку конницы за другой. Через час французский центр был совсем уничтожен: «Я увидел, — рассказывал Контад, — то, что всегда считал невозможным: как один пехотный строй прорывался сквозь три строя конницы, расположенных в боевом порядке, и уничтожал их». Только отказ лорда Джона Сэквила завершить победу атакой предводимой им конницы спас французов от полного истребления, и они смогли отступить через Франкфурт на Рейн. План вторжения в Англию сопровождался таким же успехом. 18 000 человек готовы были к посадке на французский флот, когда 20 ноября адмирал Гок заметил его у входа в Киберонский залив. Море сильно

волновалось, а берег, у которого были расположены французские корабли, был так опасен своими мелями и гранитными рифами, что лодка предъявил возражения против мысли английского адмирала напасть на врага: «Этим возражением вы исполнили вашу обязанность, — холодно ответил Гок. — Теперь подведите меня к кораблю французского адмирала». Два английских корабля погибли на мелях, но французский флот был истреблен, и это было позор отступления Бинга.

Год побед при Миндене и Кибероне прославил оружие Англии не только в Старом Свете; в Европе Питт благоразумно ограничил свои усилия поддержкой Пруссии, но по ту сторону Атлантического океана поле принадлежало ему вполне, и едва он вступил в должность, как бесцельные набеги, только и предпринимавшиеся до того для отражения нашествия французов, были заменены широко задуманным наступательным планом. Приказав считать во время похода провинциальных офицеров наравне с королевскими, Питт обеспечил Англии симпатии колоний. По его приглашению они набрали 20 000 человек и для содержания их обложили себя тяжелыми податями. Одновременно против французских укреплений были направлены три экспедиции: одна в долину Огайо, другая против Тикондероги на озере Шамплен, третья под командой генерала Эмгерста и адмирала Босковена отплыла к устью Св. Лаврентия. Последняя сопровождалась блестящим успехом. Несмотря на защиту гарнизоном из 5000 человек, она захватила Луисбург вместе с находившимся в его гавани флотом и подчинила всю провинцию Кап-Бретон. Милиция американцев оказала поддержку английским войскам, энергично напавшим на форты. Монкальму с очень малыми силами удалось отразить генерала Эберкромби от Тикондероги, а войска Филадельфии и Виргинии, руководимые Джорджем Вашингтоном и вдохновляемые его мужеством, овладели фортом Дюкен. Имя Питтсбурга, данное новому завоеванию, еще напоминает об уважении колонистов к великому министру, впервые открывшему им Запад. В следующем году французы при приближении Эмгерста очистили Тикондерогу, а англичане взяли форт Ниагару, разбив шедший к нему на выручку отряд индейцев. Взятие этих трех фортов лишило французов возможности преграждать колонистам доступ в долину Миссисипи и предоставить в руки другого народа, а не англичан, судьбы Северной Америки. Но Питт решил не только расстроить честолюбивые замыслы Монкальма, но и совсем отнять у французов их владения в Америке. В то время как Эмгерст овладевал фортами, экспедиция под командой генерала Ульфа вступила в реку Св. Лаврентия и бросила якорь под Квебеком. Ульф уже сражался при Деттингене, Фонтенуа и Лоуфельде и играл главную роль при взятии Луис-

бурга. Под неуклюжей внешностью и временами хвастовством молодого 33-летнего солдата Питт уловил гениальный героизм и выбрал Ульфа для блестящего завершения войны; но ему некоторое время казалось, что он ошибся в своем выборе. Никакие усилия не могли отвлечь Монкальма от длинной линии неприступных скал, ограничивающих в этом месте реку; шесть недель отряд Ульфа оставался в бездействии, а самого его мучили болезнь и отчаяние. Наконец он принял решение, и на длинном ряде лодок его войска спустились по Св. Лаврентию до того места у подошвы Авраамовых высот, где была открыта ведшая наверх узкая тропинка. Ничто не нарушало ночной тишины, кроме голоса самого Ульфа, спокойно повторявшего стихи Грея «Элегия на сельском кладбище» и заметившего под конец: «Я предпочел бы быть автором этого стихотворения, чем взять Квебек». Но он был так же храбр, как и сентиментален: он первый выпрыгнул на берег и взобрался по узкой тропинке, где нельзя было идти рядом двум людям. Его солдаты последовали за ним и вскарабкались на вершину, цепляясь за кусты и скалы; на рассвете 12 сентября вся армия уже стояла в полном порядке перед Квебеком. Монкальм поторопился напасть на него, хотя его отряд, составленный из молодых рекрутов, далеко уступал по выдержке англичанам; но его атака была встречена сильным огнем, и при первом натиске англичан его солдаты отступили. Ульф руководил атакой, прорвавшей строй французов, но в момент победы пуля пронзила ему грудь: «Они бегут, — воскликнул офицер, державший умирающего на руках. — Право, бегут». У Ульфа хватило сил спросить, кто бежит. Ему ответили: «Французы», и он прошептал: «Теперь я умираю спокойно». Смерть Монкальма в момент его поражения завершила победу, а подчинение Канады после взятия Монреаля Эмгерстом в 1760 г., положило конец мечте французов о господстве над Америкой.

Глава II

Независимость Америки (1761—1782)

Никогда Англия не играла такой важной роли в истории человечества, как в 1759 г. Это был год побед во всех частях света. В сентябре пришла весть о Миндене и победе на широте Лагоса, в октябре — о взятии Квебека, в ноябре — о поражении французов при Кибероне: «Мы должны каждое утро спрашивать, что за победа одержана, — говорил, смеясь, Горас Уолполь, — из опасения пропустить какую-нибудь». Но не столько число, сколько важность этих побед придава, и теперь еще придает, Семилетней

войне ее несравненное значение. Можно без преувеличения сказать, что три главные ее победы определили на будущие времена судьбы человечества. Победа при Росбахе положила начало восстановлению Германии, возрождению ее политической и духовной жизни, долгому процессу ее объединения под руководством Пруссии и ее королей. После победы при Плессе впервые после Александра Македонского сказалось на народах Востока влияние Европы, повторяя пышное выражение Бёрка: «...мир увидел, как один из народов северо-запада вносит в сердце Азии новые обычаи, новые учения, новые учреждения». Победа Ульфа на Авраамовых высотах положила начало истории Соединенных Штатов. Питт прогнал неприятеля, страдая перед которым привязывал колонистов к метрополии, разрушил преграду, отделявшую их от долины Миссисипи и тем положил основание великой республике Запада. Не менее важны были эти победы для Британии. В ее национальной истории Семилетняя война является таким же поворотным пунктом, как и в истории всемирной. До того относительное значение европейских держав определялось их владениями в самой Европе, но с конца этой войны уже неважно было большее или меньшее значение Англии среди окружающих ее государств. Она была уже не просто европейская держава, не простая соперница Германии, России или Франции. Она завладела Северной Америкой, подготовила себе владичество в Индии, стала считать своей собственностью господство над морями; все это вдруг высоко поставило Британию над другими странами, расположенными на одной материке и осужденными поэтому играть сравнительно незначительную роль в последующей истории мира.

И точно, едва окончилась война, как сознание судеб, предстоявших английскому народу, нашло себе выражение в той неутомимости, с какой его моряки стали проникать в отдаленные моря. Атлантический океан превратился в простой пролив между британскими владениями; но за ним к западу простирался обширный океан, где британский флаг был почти неизвестен. В год, следовавший за Парижским миром (1764), были посланы в разведочное плавание к Магелланову проливу два английских корабля; через три года капитан Уоллис достиг коралловых рифов Таити, а в 1768 г. капитан Кук проплыл Тихий океан из конца в конец, и везде, где он приставал, Новой Зеландии, Австралии, он подчинял земли английской короне, открывал новый мир для распространения английской расы. Политики и народ одинаково чувствовали перемену в положении страны. По словам Бёрка, парламент Британии требовал себе «господствующего положения, при котором он как бы с небесного трона направляет все отдельные низшие законодательные собрания, руководит ими и контролирует их, не уничто-

жая ни одного». Английский народ, проникнутый коммерческим духом эпохи, видел в росте своих обширных владений, обеспечивавшем ему монополию торговли с ними, источник неизмеримого богатства. Торговля Англии с одной Америкой в 1772 г. почти равнялась торговле ее со всем миром в начале века. Защита и сохранение столь обширных и прибыльных владений стали с этого времени не только целью политиков, но и стремлением народа.

С того времени как выселение пуритан присоединило к Мериленду и Виргинии четыре штата Новой Англии — Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Коннектикут и Род-Айленд, — развитие английских поселений в Северной Америке совершалось медленно, но никогда не прекращалось. Все еще являлись поселенцы, хотя и в меньшем числе, и две новые колонии на юг от Виргинии получили от Карла II название Каролина. Война с Голландией доставила Англии в 1664 г. область от Гудзона до внутренних озер, на которую заявляли притязания голландцы; Карл подарил эти земли своему брату, и они получили от него название Нью-Йорка. Скоро от этой обширной области отделились части, образовавшие колонии Нью-Джерси и Делавер. В 1682 г. через Делавер в глубь первобытных лесов последовала за Уильямом Пенном группа квакеров, образовавшая колонию, которая своим названием Пенсильвания напоминала своего основателя и те лесные дебри, среди каких она была устроена. Затем прошел большой промежуток до основания нового поселения, получившего от царствовавшего тогда государя Георга (Джорджа) II, имя Джорджии; оно было устроено на Саванне генералом Оглеторпом в качестве прибежища для английских должников и преследуемых протестантов Германии. Как ни медленно представлялись эти успехи, но, в сущности, в колониях быстро росли численность их населения и богатство. В середине XVIII в. все их население доходило приблизительно до 1 200 000 белых и четверти миллиона негров и составляло почти четвертую часть населения метрополии. Богатство колонистов возрастало еще быстрее, чем их численность. Пока более производительными оказывались южные колонии. Виргиния славилась своими табачными плантациями, Джорджия и Каролины своими сборами риса, маиса и индиго, тогда как Нью-Йорк и Пенсильвания ограничивались ловлей китов и трески, торговлей зерновым хлебом и лесом. Притом различие между северными и южными колониями не ограничивалось одной промышленностью. В южных штатах преобладание рабства вызывало аристократический дух и благоприятствовало образованию крупных имений; среди богатых плантаторов Виргинии, — где в таких домах, как Ферфаксы и Вашингтоны, находили себе представителей многие старые английские фамилии, — была вве-

дена даже система фидеикомиссов. С другой стороны, в Новой Англии оставались неизменными характерные особенности пуритан — их благочестие и нетерпимость, простота жизни, любовь к равенству и склонность к демократическим учреждениям. По отношению к образованию и политической деятельности Новая Англия стояла далеко выше прочих колоний, так как за поселением пуритан тотчас последовало установление систем местных школ, до сих пор составляющей славу Америки. Было постановлено, что «каждая община, как только Бог доведет число ее хозяев до пятидесяти, должна назначить человека для обучения всех детей чтению и письму, а как скоро число семейств в общине дойдет до сотни, она должна учредить грамматическую школу».

Но как ни крупны были эти различия, как ни велико было потом их влияние на историю Америки, пока они чувствовались слабо. В главных особенностях своего строя все колонии очень походили друг на друга. В церковном и гражданском отношении все они представляли резкую противоположность самой Англии. Невиданное никогда раньше миром разнообразие религиозных верований вызвало религиозную терпимость. Новая Англия все еще оставалась оплотом пуританства. Во всех южных колониях была установлена законом епископальная церковь, и масса поселенцев принадлежала к ней; но большую часть населения Мериленда составляли римские католики. Пенсильвания была квакерским штатом. Нью-Джерси заселили пресвитериане и баптисты, бежавшие от контрольной присяги и преследований. Среди поселенцев Каролины и Джорджии было много лютеран и моравских братьев из Германии. В таком хаосе верований религиозное преследование стало невозможно. То же внешнее разнообразие и то же внутреннее единство господствовало в политических стремлениях и устройстве штатов. Каков бы ни был характер колонии, демократический, умеренный или олигархический, форма правления была в ней почти одна и та же. Первоначальные права владельца, основателя и концессионера во всех штатах, кроме Пенсильвании и Мериленда, или исчезли, или пришли в забвение. Управление каждой колонией находилось в руках избираемого всем народом собрания, иногда выборного, иногда назначаемого губернатором совета, и губернатора, выборного или назначенного короной. На значением этих губернаторов, в сущности, и ограничивалось административное вмешательство правительства метрополии. Счастливое пренебрежение предоставляло колонии самим себе. Впоследствии было остроумно замечено, что «г-н Гренвил потерял Америку потому, что стал читать депешу оттуда, чего не делал никогда ни один из его предшественников». В сущности, для вмешательства в дела колоний было мало места. Их привилегии

были обеспечены королевскими грамотами. Право внутреннего обложения принадлежало только их собраниям, и они пользовались им очень умеренно. Уолполь, как впоследствии Питт, резко отверг план обложить Америку акцизом: «Этой мерой, — сказал он, — я вооружил против себя Старую Англию; неужели вы думаете, я захочу повторить это с Новой?». Даже в вопросах торговли верховенство метрополии далеко не было стеснительно. Существовало несколько небольших пошлин на импорт, но их обходили при помощи ловко устроенной системы контрабанды. Ограничение торговли колоний торговлей с Великобританией больше чем уравнивалось теми торговыми преимуществами, которыми пользовались американцы, как британские подданные. Таким образом, ничто пока не нарушало добрых отношений колонистов с метрополией, с которой их еще теснее сближала опасность нападений французов. Но как ни сильна представлялась в конце войны привязанность американцев к Британии, проницательные наблюдатели в самой полноте торжества Питта подметили опасность для будущности их союза. Присутствие французов в Канаде, их притязания на Запад заставляли колонии искать себе защиту у метрополии; завоевание Канады устранило всякую нужду в такой защите. Англия заняла по отношению к своим далеким владениям положение простого владельца, и тогда снова выступили вперед те различия в их характере, которые до того сильная нужда в союзе отодвигала на задний план. Если торговые и финансовые вопросы вызывали ропот и споры, то за этими жалобами скрывался страх перед усвоенными управлением и обществом колоний демократическими формами, перед преобладавшими там «уравнительными началами».

Обуздание этого республиканского духа, сокрушение всякой мысли об отделении, усиление единства Британской империи было одной из главной целей молодого государя, вступившего на престол после смерти своего деда в 1760 г. В первый и последний раз с появления Ганноверского дома Англия увидела короля, имевшего намерение играть роль в английской политике. И несомненно, Георгу III удалось сыграть замечательную роль. За десять лет он превратил в тень правительство, обратил привязанность подданных в отвращение; за двадцать лет он принудил американские колонии к восстанию и отделению и, казалось тогда, привел Англию на край гибели. Подобные вещи делались иногда очень крупными людьми, но чаще людьми, дурными и порочными, но Георг не был ни порочным, ни великим человеком. Он был ограниченнее всех предшествовавших ему английских королей, за исключением Якова II, плохо воспитан, обладал от природы очень слабыми способностями, не имел также таланта пользоваться более крупными людьми, которым иные государи прикрывали свои слабые способно-

сти. Напротив, он относился к великим людям только с завистью и ненавистью и мечтал о том времени, когда «дряхлость или смерть» погубят Питта; даже когда смерть освободила его от этой «трубы возмущения», он назвал «лично для себя оскорбительной мерой» предложение поставить великому политику общественный памятник. Несмотря на тупость и ограниченность своего ума, Георг ясно сознавал свои цели и упорно преследовал их. Его целью было управлять. «Георг, — постоянно повторяла ему в детстве его мать, принцесса Уэльская, — будь королем». Он называл себя постоянно «вигом революции» и не имел желания переделывать дело, на его взгляд совершенное ей. Но он считал подчинение обоих своих предшественников воле их министров не необходимой частью дела революции, захватом той власти, какую революция оставила за короной, и не намерен был подчиняться этому захвату. Он хотел править, но не вопреки закону, просто управлять, оставаясь свободным от внушений партий и министров, быть, в сущности, первым министром государства. Легко заметить, насколько подобная мечта не совместима с той формой парламентского устройства страны, какую оно получило под конец от Сендерленда; но Георг был намерен осуществить свою мечту. В этом ему помогали обстоятельства его времени. Поражение Карла Эдуарда разрушило обаяние якобитства, а его позднейшая позорная жизнь уничтожила еще остававшуюся в духовенстве и дворянстве небольшую долю преданности. То и другое готовы были снова принять участие в политике, и вступление на престол короля, который, в отличие от двух своих предшественников, был не иностранцем, а англичанином — родился в Англии и говорил по-английски, предоставило им желанный случай. С начала его царствования тори стали постепенно появляться снова при дворе. Хотя, в целом, партия перешла к постоянной поддержке правительства только очень медленно, но на характере английской политики действие этого сказалось сразу. Удаление тори от общественных дел оставило их незатронутыми развитием политических идей со времени революции 1688 г., и когда они вернулись к политической жизни, то перенесли на нового государя все то благоговение, с каким относились прежде к Стюартам. Таким образом, в распоряжении у Георга скоро оказалась «королевская партия»; но он имел возможность усилить ее энергичным применением той власти и влияния, какие еще оставались у короны. В распоряжении короля все еще находились все назначения в церкви, все повышения в армии, большое число мест в гражданском управлении и при дворе. Георг III вернул себе всю эту массу назначений, на практике захваченную министрами его предшественников, и крепко держался за нее. Характер палаты общин делал это право, как мы видели, сильнейшим средством вла-

яния на нее. У Георга оказалось в руках одно из орудий Уолполя, и он воспользовался им с беззастенчивостью для уничтожения той партии, единство которой так долго поддерживал Уолполь. Король заметил, что мятежный дух, порождаемый долгим пользованием властью, вызывает среди вигов раздоры, что их ослабляет возрастающее пренебрежение, с каким вся страна смотрит на своекорыстие и продажность своих представителей. Более, чем тридцатью годами ранее Гэй вывел на общественной сцене главных политических деятелей эпохи под видом разбойников с большой дороги и карманных воришек: «Трудно определить, — заметил остроумный драматург, — светские ли господа подражают господам разбойникам или наоборот». Теперь, когда светские господа были представлены поседевшими торгашами, вроде Ньюкасла, общество презирало их сильнее, чем когда-либо, и, утомленное интригами и подкупам партий, обращалось к молодому государю, изображавшему придуманный Болинброком характер «короля-патриота».

Если бы Питт и Ньюкасл, опираясь один на промышленные классы, а другой на вигские фамилии и на весь механизм парламентского влияния, стояли заодно, Георгу пришлось бы бороться напрасно; но в министерстве уже проявилось несогласие. Преданные миру по привычке, образовавшейся при Уолполе, недовольные огромными расходами, проникнутые гордостью правящей олигархии, виги втихомолку возмущались войной и верховенством «великого представителя». Вопреки их желанию Питт отверг мирные предложения Франции, обеспечивавшие Англии все ее завоевания под условием отделения от Пруссии, и своей постоянной помощью дал возможность Фридриху, несмотря на страшное истощение сил, продолжать неравную борьбу. Поход 1760 г. был, действительно, одним из самых блестящих проявлений гения Фридриха. После неудачного нападения на Дрезден, он снова спас Силезию победой при Лигнице и остановил наступление Дауна победой при Торгау; в то же время Фердинанд Брауншвейгский по-прежнему держался на Везере. Но даже победы истощали силы Фридриха. Он терпел нужду одинаково как в людях, так и в деньгах. Он не мог нанести нового крупного удара, и круг врагов все теснее смыкался вокруг него, у него оставалась только надежда на твердую поддержку Питта, а между тем, несмотря на все торжество своей политики, Питт приближался к падению. Зависть его товарищей, их недовольство его нескрываемым превосходством нашли себе опору в молодом короле. В министерство был введен граф Бьют, придворный фаворит, по характеру и талантам простой камердинер. Он считался выразителем мнений короля, и это тотчас вызвало образование партии мира, но Питт не выказывал признаков уступчивости. В 1761 г. он

предложил новое расширение войны. Он узнал о подписании договора, возобновлявшего «фамильное соглашение» между парижским и мадридскими дворами, и особой конвенции, обязывавшей Испанию объявить в конце года войну Англии. Питт предложил предупредить удар немедленным захватом флота с серебром, шедшего из Индии в Кадис, занятием Панамского перешейка и нападением на испанские владения в Новом Свете. Эти широкие и смелые планы испугали его товарищей, и сопротивление Ньюкасла нашло себе открытую поддержку в массе вигов и у короля. Напрасно Питт грозил отставкой, подкрепляя угрозу ссылкой на свою ответственность перед «народом»; его отставка в октябре изменила общее положение Европы.

«Питт в немилости! — писал французский философ. — Это стоит для нас двух побед!» С другой стороны, Фридрих был доведен почти до отчаяния. Георг увидел в отставке всемогущего министра начало осуществления давно задуманных им планов. Призыв Питта нашел себе отклик в народе. Когда он ехал в Гилд-Холл, лондонцы хватались за колеса его кареты, обнимали слуг, даже целовали лошадей. Разрыв с Питтом оказался на деле смертельным ударом для вигов: Ньюкасл только для того отделался от своего великого соперника, чтобы ряд намеренных унижений со стороны молодого короля принудил его к отставке; за ним последовали более влиятельные из его вигских товарищей. Георг восторжествовал над обеими крупными силами, стеснявшими свободные действия короны, над силой, по выражению Бёрка, «обусловленной популярностью и силой, основанной на политических связях». Победу короля ознаменовало назначение премьер-министром лорда Бьюта. Он вступил в должность просто в качестве исполнителя воли короля, а король желал окончить войну. Весной 1762 г. откая Англия в субсидиях поставил на край гибели Фридриха, еще боровшегося упорно с судьбой; только его настойчивая решительность и внезапная перемена в политике России, последовавшая за смертью его врага, императрицы Елизаветы, позволили ему окончить борьбу Губертсбургским миром, не теряя ни клочка земли. Георг и лорд Бьют уже купили было мир совсем другой ценой. Бессовестно равнодушные к национальной чести, они не только покинули Фридриха, но и предложили выхлопотать для него мир при условии уступки Марии-Терезии Силезии, а Елизавете — Восточной Пруссии. От подобного унижения Англию избавил исход борьбы с Испанией, через три недели после отставки Питта объявившей войну, что вполне оправдало предложенный им план немедленного нападения на нее. Победы 1762 г. оправдали также уверенность Питта в исходе новой борьбы. В начале года была завоевана Мартиника, сильнейшее и богатейшее из владений

французов в Вест-Индии, затем Гренада, Санта-Лусия и Сан-Винсент. Летом занятия Гаваны принесло с собой приобретение богатой испанской колонии — Кубы. Затем английскому флоту сдались Филиппины, богатейшая из колоний испанцев в Тихом океане. Эти потери привели к Парижскому миру 1763 г. Бьюту так хотелось окончить войну, что он удовлетворился в Европе возвращением Минорки и вернул Мартинику Франции, а Кубу и Филиппины Испании. Настоящие приобретения Британии были в Индии и Америке. В Индии французы отказались от всякого права на военное занятие; из Америки они удалились совсем, а Англии уступили Канаду, Новую Шотландию и Луизиану до Миссисипи и отказались от остальной части этой области в пользу Испании, чтобы вознаградить ее за уступку Флориды Британской короне.

Стремление короля к внешнему миру объяснялось, главным образом, тем, что он считал его необходимым условием для успешной борьбы за власть внутри. Пока продолжалась война, постоянно следовало опасаться возвращения Питта в министерство и объединения под его руководством всех вигов. Мир развязывал королю руки, и он мог рассчитывать на несогласия вигов, новоявленную преданность тори, значение захваченного им в свои руки влияния короны. Но всего более полагался он на характер палаты общин. Последняя, в то самое время, как стала всемогущей в государстве, в сущности и в действительности, перестала быть сколько-нибудь представительным собранием. Уже во время междоусобных войн было признано, что естественные колебания населения и богатства со времен Эдуарда I требуют перемен в распределении мест, но реформы Долгого парламента были упразднены при Реставрации. Со времен Карла II до эпохи Георга III не было сделано ни одной попытки к устранению усиливающихся недостатков парламентской системы. Большие города, вроде Манчестера или Бирмингема, оставались без представителей, и в то же время в палате все еще заседали депутаты от местечек, подобно Олд Сарому, буквально исчезнувших с лица земли. Стремление государей из дома Тюдоров создать в палате придворную партию посредством щедрой раздачи представительства местечкам, большая часть которых была в то время простыми казенными селами, привело к захвату этих мест соседними землевладельцами, покупавшими и продававшими их как свои собственные имения. Даже в городах, имевших настоящее право на представительство, оно стало простой формальностью благодаря ограничению, начиная с XIV в., числа обладателей муниципальных привилегий небольшой горстью жителей и передаче во многих случаях избирательных прав членам правящего совета. Замещение таких мест зависело просто от кошелька или влияния полити-

ков. Одни были «королевскими местечками», другие послушно выбирали кандидатов правящего министерства, третьи были «замкнутыми местечками» в руках таких торгашей, как герцог Ньюкасл, одно время выбиравший треть всех представителей местечек в палате. Только о графствах и больших торговых городах можно было сказать, что они действительно пользовались до некоторой степени избирательным правом, хотя высота расходов по задабриванию толпы избирателей, в сущности, отдавала их представительство в руки крупных местных фамилий. Но даже и в графствах избирательное право страдало от странных ограничений и неравномерности. Из восьми миллионов жителей избирателей было всего 160 000. Насколько слабо подобная палата представляла общественное мнение Англии, видно из того факта, что в разгар своей популярности Питт с трудом мог найти себе в ней место. Для вступления в парламент все более и более необходимым становился подкуп. Места открыто покупались и продавались, и иногда цена их доходила до 4000 фунтов. Вряд ли можно удивляться, если сторонник реформы мог, не вызывая опровержения, заявлять: «Эта палата не представляет населения Великобритании. Она представляет фиктивные местечки, обнищавшие и обвалившиеся города, знатные семьи, богатых людей, иноземных государей». На собрание, избранное такими избирателями, обособленное, благодаря тайне парламентских совещаний, от влияния общественного мнения и все-таки облеченное неограниченной властью, естественно, влияли самые низкие побуждения. Уолполь и Ньюкасл сделали основой своей власти подкупы и торговлю местечками. В свою очередь, Георг III положил их в основу той власти, которую хотел предоставить короне. Королевские доходы шли на покупку мест и голосов. День за днем Георг сам рассматривал списки голосовавших в обеих палатах и распределял награды и наказания сообразно тому, как втировали члены — согласно его воле или нет. «Друзьям короля» доставались повышения в гражданской службе, оказывалось предпочтение в церкви, давались чины в армии. Чтобы повлиять на прения, король раздавал пенсии и придворные места. Подкупы практиковались в никогда прежде не виданных размерах. В министерство Бьюта в казначействе было открыто особое отделение по подкупу депутатов, и говорят, в один только день было издержано 25 000 фунтов.

Влияние этих мер скоро сказалось на тоне парламента. До того он подчинялся величию Питта; теперь, несмотря на его возражения, статьи Парижского мира были одобрены большинством пяти против одного. «Теперь мой сын действительно король!» — воскликнула вдовствующая принцесса. Но едва победа была одержана, как королю и министру пришлось

бороться с такой бурей народного недовольства, какая никогда еще не разражалась над престолом с падения Стюартов. Несмотря на свою силу и резкость, буря эта указывала только на новый успех в деле пробуждения общественного мнения. Верховная власть принадлежала парламенту, в теории представлявшему весь английский народ. Но в действительности масса населения Англии оказывалась не в состоянии контролировать ход управления страной. В первый и последний раз в английской истории парламент оказался непопулярным, и его противники были уверены в расположении к ним народа. Палата общин была продажнее, чем когда-либо, и рабски подчинялась королю. Король все еще называл себя вигом, но стремился восстановить систему деспотизма, давно уже ставшую невозможной благодаря вигам. Его министром был простой фаворит и в глазах англичан — иностранец*. Массы видели это, но не видели возможности помочь делу. Они не имели другого средства влиять на ненавистное им правительство, кроме голого насилия. Поэтому вперед выступили их старая религиозная и национальная нетерпимость, давнее нерасположение к Ганноверскому двору, застарелые привычки к насилию и раздору, давнишняя ненависть к парламенту; других способов к выражению этих чувств, кроме мятежа и бунта, у них не было. Бьют вдруг сделался предметом всеобщей ненависти и в 1763 г. для смягчения бури народного негодования вышел в отставку. Но король оказался упорнее министра. Допустив отставку своего фаворита, он продолжал считать его настоящим главой правительства. Оставленное Бьютом министерство состояло только из более гибких его товарищей. Его номинальным главой был Джордж Гренвил, но всеми мерами его втайне продолжал руководить фаворит. Два способнейших вига, оставшихся с Бьютом после отставки Ньюкасла, Чарльз Тауншенд и герцог Бедфорд, отказались теперь вступить в министерство, и единственным способным человеком был в нем молодой ирландец лорд Шелборн. В сущности, только несогласие противников позволяло ему сохранять за собой почву. Тауншенд и Бедфорд сторонились от главной массы вигов; в свою очередь, те и другие не сближались с Питтом. При образовании подобного министерства Георг и рассчитывал на раздоры оппозиции, а слабое министерство нужно было ему для того, чтобы сделать его орудием своей воли. Но Гренвил не желал быть игрушкой ни короля, ни Бьюта, и скоро между королем и министром начались такие резкие столкновения, что король в отчаянии предложил Питту образовать министерство. Никогда Питт не проявлял большего патриотизма и самообладания, как в ответе, данном на это при-

* Джон Стюарт, третий граф Бьют (1713–1792), был шотландцем.

глашение. Не обращая внимания на весь гнев, вызванный в нем участием его низвержении Ньюкасла и вигов, он поставил условием своего возвращения к власти привлечение к ней всей партии вигов, за исключением Бедфорда. Однако король отказал в согласии на условия, расстраивавшие его планы, и потому Гренвил стал теперь так же силен, как раньше был слаб. Бьют перестал оказывать политическое влияние. С другой стороны, Бедфорд со всей своей партией присоединился к Гренвилу, и таким образом, министерство получило силу и устойчивость.

Единственной целью Гренвила было навязывание верховенства парламента как подданным, так и королю. Поэтому он активно восстал против новой силы, только что доказавшей свое влияние в деле низвержения Бьюта. Когда общественное мнение нашло себя непредставленным в парламенте, то стало искать себе выражения в печати. Несмотря на упразднение после революции цензуры, печать медленно приобретала политическое влияние. При первых двух Георгах ее успехам мешало отсутствие важных предметов обсуждения, ничтожество ее представителей, а более всего — равнодушие общества к политике. В сущности, печать стала политической силой только со вступления на престол Георга III, благодаря пробуждению национального духа Питтом и появлению более живого интереса к политике. Общество начало обращаться к ней с жалобами на парламент. Журналы стали выразителями того взрыва народной ненависти, который принудил лорда Бьюта к отставке; начало этому положил в «Северном Британце» Джон Уилкс, с особенным ожесточением нападавший на кабинет и мир и отважившийся прямо напасть на ненавистного министра. Уилкс был негодным беспутником, но обладал замечательной способностью привлекать на свою сторону сочувствие народа. По странной иронии судьбы он оказался главным орудием при осуществлении трех важнейших улучшений, произведенных в конституции Англии. Своей защитой прав избирательных собраний против деспотизма палаты общин он вызвал в нации убеждение в необходимости парламентской реформы, а став во главе борьбы, положил конец тайне парламентских совещаний, первым доказал право печати обсуждать общественные дела. Правда, в своих нападках на министерство лорда Бьюта он просто был выразителем общего недовольства, и все-таки его нападки больше, чем все другое, заставили Бьюта выйти в отставку. Гренвил был настойчивее придворного фаворита: едва преобразовав свое управление, он нанес удар возрастающей оппозиции парламенту лице ее вождя. В номере 45 «Северного британца» Уилкс подверг критике произнесенную при открытии парламента тронную речь, и государственный секретарь издал «общий приказ» против «авторов, печатников и изда-

телей этого возмутительного пасквиля». На основании этого приказа было на временно арестовано 49 человек, и сам Уилкс, несмотря на привилегии члена парламента, был отправлен в Тауэр. Однако арест оказался настолько незаконным, что был тотчас отменен судом общих дел; но Уилкса немедленно привлекли к суду за составление пасквиля. В то время как вызвавшая преследование статья еще находилась на рассмотрении суда, палата общин объявила ее «лживым, оскорбительным и возмутительным пасквилом». В то же время палата лордов нашла богохульство в памфлете, оказавшемся среди бумаг Уилкса и предписала преследование против него. Уилкс бежал во Францию и в 1764 г. был исключен из палаты общин. Но присвоение себе обеими палатами произвольной судебной власти и применение Гренвилем к печати системы террора, приведшей к изданию 120 «приказов» против различных журналов, вызвали бурю негодования во всей стране. На всех улицах раздавались крики: «Уилкс и свобода!». Скоро оказалось, что удар, нанесенный ему, скорее ожесточил, чем испугал общественное мнение. Шесть лет спустя неудачное преследование анонимного журналиста «Юниуса» за его письмо к королю установило право печати критиковать поведение не только министров и парламента, но и самого государя.

Ту же узость взглядов, те же добрые намерения, то же упорство выказал Гренвил и в еще более важном столкновении с американскими колониями. Питт вел войну с отличавшей его расточительностью и покрывал военные расходы огромными займами. В эпоху Парижского мира государственный долг доходил до 140 миллионов. Поэтому после заключения мира Бьюту прежде всего пришлось принять меры для уплаты сделанных долгов. Так как отчасти они были сделаны для защиты колоний, то среди англичан господствовало мнение, что часть их должна пасть на колонию. Бьют и король были согласны с этим мнением, но их планы не шли дальше простого обложения. Новый министр выражал намерение настаивать на строгом исполнении законов о мореплавании, обеспечивавших метрополии монополию торговлю с Америкой, на обложении колоний налогом для покрытия долга и, прежде всего, на внушении колонистам сознания их зависимости от Британии. До того прямой торговле между Америкой и французскими или испанскими островами Вест-Индии мешали запретительные пошлины, легко, впрочем, обходившиеся при помощи широкой системы контрабанды. Теперь пошлины понизили, но стали требовать строго, а для подавления тайной торговли с иностранцами к берегам Америки были посланы значительные морские силы. Ожидавшийся от этой меры доход намеревались пополнить штемпельным сбором со всех юридических документов в пре-

делах колоний. С отставкой Бьюта его планы остались без исполнения. Но Гренвил вполне разделял, по крайней мере, их финансовую сторону. Оказавшись теперь во главе сильного правительства, он приступил к выполнению планов, придуманных для обложения Америки внутренними и внешними сборами. Одним из первых его шагов было подавление, при помощи строгого применения навигационных актов, контрабандной торговли, развившейся между портами Америки и прилежащими испанскими островами. Несмотря на суровость и неразумность этих мер, колонисты признавали их законность; недовольство выразилось только в обязательстве не пользоваться английскими товарами, пока не будут отменены эти ограничения. Но дальнейший план министра — его предложение ввести обложение внутри самих колоний, вернувшись к проекту акциза или штемпельного сбора, благоразумно отвергнутому Уолполем, — был совсем другого рода, чем планы подавления контрабандной торговли. В отличие от системы навигационных актов, он вносил коренную перемену во весь строй торговых отношений Англии к ее колониям. Поэтому последние иначе отнеслись к нему, доказывая нераздельность обложения и представительства. Америка не имела представителей в британском парламенте. Представители колоний собрались в своих собраниях, и все, кроме пенсильванцев, энергично протестовали против вмешательства парламента в их право самообложения. Массачусетс точно определил занятое им положение: «Запрещения торговли несправедливы и неправильны; но право обложения составляет главный оплот британской свободы. Раз оно нарушено, все потеряно». Это определение было принято собраниями всех колоний, и они отправили с протестом, в качестве своего агента, в Англию Бенджамина Франклина, из положения типографского рабочего в Филадельфии пробившегося в знаменитые ученые-изобретатели. Но в Англии Франклин нашел мало людей, которые признавали установленное колонистами положение. Гренвил не имел намерения менять свои планы, не получив от Франклина ручательства, которого он дать не мог, что колонии согласятся сами обложить себя, и штемпельный сбор прошел через обе палаты с меньшим сопротивлением, чем Билль о дорожном сборе.

Едва штемпельный акт прошел, как оскорбление, нанесенное вдовствующей принцессе отсутствием ее имени в Законе о регентстве, обострило давно возраставшую вражду между министерством и королем. Георг снова предложил власть Питту, но Питт стоял совсем обособленно: единственный остававшийся у него друг, его зять лорд Темплъ, отказался помочь ему в попытке образовать кабинет. Покинутый всеми, Питт чувствовал себя слишком слабым, чтобы удержать за собой место в министерстве, состав-

ленном из вигов. Король обратился за помощью к главной группе партии, руководимой в то время маркизом Рокингемом. Слабость министерства, образованного последним в июле 1765 г., сказалась в медлительном отношении его к американским делам. Когда пресловутые законы были приняты, Франклин не видел иного выхода для колоний, кроме подчинения; но о нем колонисты думали всего менее. При известии о прибытии гербовой бумаги поднялись беспорядки по всей Новой Англии, и испуганные сборщики стали отказываться от своих мест. Новая опасность сблизила северные и южные штаты. Виргинское собрание отвергло право британского парламента вмешиваться во внутреннее обложение колоний и потребовало отмены только что принятых законов. Массачусетс не только принял отрицание и требование, но и предложил созвать конгресс выборных от всех колониальных собраний для установления общего плана действий; этот конгресс собрался в октябре 1765 г. и повторил протест и ходатайство Виргинии. Известия об этом дошли до Англии в конце года, и когда палаты собрались следующей весной, тотчас выдвинулся вперед Питт. Он давно уже в качестве министра отвергал подобный план обложения колоний. Когда обсуждался штемпельный акт, он отсутствовал в парламенте по болезни, но вполне разделял конституционные требования Америки. Он восхищался сопротивлением, которое в парламенте называли возмутительным: «По моему мнению, — говорил он, — Англия не имеет права облагать колонии податью. Америка упорствует! Америка находится почти в полном восстании! Господа, я доволен сопротивлением Америки. Если бы три миллиона человек были до такой степени чужды чувствам свободы, чтобы добровольно подчиниться рабству, они могли бы стать пригодными орудиями для порабощения остальных».

Все желали возвращения Питта к власти, но переговоры о соглашении его с вигами окончились неудачей. Коренное различие между их политической и политикой Питта было теперь выяснено самым проникательным политическим мыслителем эпохи. Эдмунд Бёрк прибыл в Лондон в 1750 г. бедным и безвестным ирландским авантюристом. Его ученость, тотчас доставившая ему дружбу Джонсона, и фантазия, позволявшая ему придавать своим идеям живую форму, обещали ему философскую и литературную карьеру, но Бёрка инстинктивно влекло к политике. Он сделался секретарем лорда Рокингема и при его поддержке вступил в 1765 г. в парламент. Его речи о штемпельных актах сразу доставили ему известность. Неуклюжая квакерская фигура, тощий парик, круглые очки, толстый сверток бумаги, наполнявший его карман, — все это мало предвещало великого оратора и еще менее характеризовало его красноречие: его страстный пыл,

поэтическую фантазию, поразительное богатство средств — блестящую смену иронии пафосом, нападок нежностью, блестящую образованность холодной аргументацией*. Притом это было красноречие еще неслыханного в Англии рода. Ясность суждений Уолполя, обращения Питта к чувству оно заменило страстным выражением определенной политической философии: «От него я научился большему, чем из всех читанных мной книг», — воскликнул впоследствии Фокс в порыве великодушного удивления. Философская форма рассуждений Бёрка не сопровождалась философским же бесстрастием тона и изложения. Основа его натуры была чисто поэтической. Его блестящее и огненное воображение сообщало форму и колорит идеям, создаваемым его разумом. Нация представлялась ему огромным живым обществом с чрезвычайно сложными отношениями; его учреждения так переплетены со славными событиями прошлого, что грубое прикосновение к ним является святотатством. Строй общества представляет собой не искусственное создание правительства, а чудное равновесие общественных сил, которое, в свою очередь, служит естественным результатом его истории и развития. Итак, Бёрк был консерваторм по натуре, но его консерватизм вытекал не из любви к бездействию, а из сознания ценности общественного порядка и из поэтического уважения ко всему существующему. Всякое учреждение освящалось в его глазах ясным пониманием его отношений к прошлому, глубокой связи с окружающим общественным строем. Бёрку представлялось, что затронуть даже неправильность значит рисковать гибелью сложного строя общественного порядка, для сооружения которого понадобились века: «Равновесие конституции, — говорил он, — есть нечто столь хрупкое, что его может расстроить малейшее перемещение... Трудная и опасная вещь даже прикасаться к столь сложному механизму». Быть может, лучшим опровержением подобной теории может служить то влияние, какое она оказала на практическую политику Бёрка. Правда, в великом вопросе, с которым он встретился при вступлении в парламент, она оказала ему добрую услугу. Никто не понимал никогда глубже действия тех естественных сил, которые создают общины или соединяют группы общин в государства; в настоящем положении американских колоний он видел результат действия таких сил, с которыми могут бороться только глупцы или педанты. Менее пригодна была теория Бёрка для внутренней политики Англии. Он смотрел на рево-

* Срядом работ Э. Бёрка, в частности по вопросу войны Англии с американскими колониями, отечественный читатель может ознакомиться в сборнике: Бёрк Э. Правление, политика, общество. М., Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001.

люцию 1688 г., как на окончательное завершение английских учреждений. Его целью было сохранение Англии в том виде, в каком ее оставила революция, и под властью верных ей крупных вельмож. Он относился со страстным сочувствием к бездействию вигов. Его идеалом был лорд Рокингем, почтенный человек, но плохой вождь партии. Бёрк старался ослабить коррумпированность парламента Биллем об ограничении гражданских расходов, но стал во главе противников всех планов его реформы. Он был в Англии одним из немногих людей, которые понимали вместе с Питтом значение свободы промышленности, но упорно боролся против предложений молодого министра предоставить свободу ирландской промышленности и против его торгового договора с Францией. Казалось, он поставил себе целью облекать пышной поэзией ту политику скромного довольства, которую виги считали наследием сэра Роберта Уолполя. Сама сила его веры в естественное развитие народа лишала его возможности понимать значение отдельных законов и специальных реформ. При данном кризисе настроение Бёрка соответствовало настроению партии вигов. Рокингем и его товарищи, желали они того или нет, вынуждены были на деле принять требующую Питтом политику; но они решили сопроводить отмену штемпельных актов формальным отрицанием тех начал колониальной свободы, которые изложил Питт. В палату внесена была декларация, подтверждавшая верховную власть парламента над колониями «во всех возможных делах». За принятием ее последовало внесение Билля об отмене штемпельных актов, и несмотря на сопротивление «друзей короля», внушенное самим Георгом, он был принят в феврале 1766 г. значительным большинством.

С этого момента министерство не могло устоять против общего осознания того, что правителем страны должен быть первый ее человек, и как ни сильна была ненависть короля к Питту, но он вынужден был призвать его к власти. Питт все еще хотел объединить партию вигов, и хотя лорд Темпл покинул его, но в значительной степени ему удалось это сделать в министерстве, образованном летом 1766 г. Рокингем холодно оставался в стороне, но некоторые из его товарищей приняли должности и были подкреплены немногими, державшимися за Питта, друзьями. Чтобы обеспечить себе более сильную поддержку парламента, Питт допустил к участию в управлении даже нескольких «друзей короля». Но главная сила министерства заключалась, в сущности, в самом Питте. В его громадной популярности, в той власти, какую давало ему над палатой общин его красноречие. Принятие им титула графа Чатама удалило его в палату лордов и разрушило на время то доверие, какое доставила ему его репутация бескорыстия. Но Питт отказался от своего титула «великого представителя» не из

пошлого честолюбия. Его заставило опасаться бурных прений сознание упадка сил, и через несколько месяцев это опасение превратилось в уверенность. Тяжелая подавляющая болезнь, следствие нервного расстройства, принудила его удалиться от общественных дел, что отняло у его товарищей всякую активность и согласие. Выдвинутые Чатамом планы лучшего управления Ирландией, передачи Индии от компании короне, заключения союза с Пруссией и Россией для уравнивания «Фамильного соглашения» дома Бурбонов, были отброшены. Единственной целью министерства, носившего его имя и считавшего теперь своим главой герцога Графтона, было просто сохранить существование. Но даже и это оказалось затруднительным, и Графтон вынужден был вступить в соглашение образовавшейся вокруг герцога Бедфорда группой и назначить государственным секретарем торийского вельможу.

Сила общественного мнения, на которую опирался Питт, тотчас обратилась против министерства, так сильно уклонившегося от своих прежних видов. Выборы в новый парламент сопровождались еще большими подкупам, чем прежде. Насколько усилилось негодование страны, это обнаружилось в новой поддержке, оказанной Уилксу. Он воспользовался случаем, представляемым выборами, вернулся из Франции и был выбран представителем графства Миддлсекс, где большое число избирателей делало выборы настоящим выражением общественного мнения. Выбор Уилкса был действительно публичным осуждением палаты общин и образа действий министерства. Но министерство и палата одинаково избегали борьбы с агитатором; желал ее один король. После десятилетней борьбы и разочарований Георг почти достиг своей цели. Обе силы, до тех пор одолевавшие его, были парализованы. Среди вигов царил роковой раздор, а их вражда к Питту лишала их доверия страны. С другой стороны, Питт внезапно удалился со сцены. Министерство не пользовалось поддержкой страны и, чтобы обеспечить себе содействие парламента, принуждено было все более и более опираться на содействие людей, руководившихся указаниями короля. У общественного недовольства оставалась одна только форма выражения, и против нее король выступил энергичнее, чем когда-либо: «Я считаю очень важным уведомить вас, — писал он лорду Нортю, — что удаление г-на Уилкса представляется очень важным и должно быть осуществлено». Министры и палата подчинились его воле. Своей неявкой в суд по обвинению в пасквильантстве Уилкс поставил себя вне закона и потому был теперь посажен в тюрьму. В Лондоне и по всей стране начались беспорядки. Министерство раздирали разногласия. За заявлением лорда Шелборна о намерении его отказаться от должности последовала в 1768 г. отставка самого

Чатама. Его удаление из кабинета, действовавшего под его именем, поставило министерство в полную зависимость от короля. В 1769 г. Уилкс был привлечен к суду палаты общин по обвинению в составлении пасквиля — преступлении, подведомом обыкновенным судам, и был исключен из парламента, но тотчас вновь избран графством Миддлсекс. Как ни насильствен и деспотичен был образ действий палат общин, но пока она оставалась в строгих пределах своего права, так как никто не оспаривал принадлежавшего ей права исключения. Но вызов Миддлсекса заставил ее пойти дальше, она постановила: «Так как г-н Уилкс был в текущую сессию парламента исключен из палаты, то он не мог и не может быть выбран в члены настоящего парламента». Поэтому она предписала произвести новые выборы. На это дерзкое покушение ограничить свободу выборов Миддлсекс отвечал новым избранием Уилкса, и гнев увлек палату к новым и еще более насильственным действиям. Она снова исключила представителя Миддлсекса, а когда он был выбран в третий раз огромным большинством, то постановила, что выбранным должен считаться побитый им кандидат, полковник Лётрелл, который является законным представителем Миддлсекса. Своим произвольным усмотрением общины не только ограничили свободу избирателей, но и перенесли на себя их права, признав, вопреки обдуманному выбору Уилкса, представителем землевладельцев Миддлсекса Лётрелла. В стране тотчас поднялось негодование против такого нарушения конституционного закона. Уилкса выбрали в олдермены Лондона; его мэр, олдермены и именитые граждане (*livery*) ходатайствовали перед королем о роспуске парламента. В представлении Лондона и Вестминстера смело говорилось: «Бывает время, когда становится ясно, что люди перестают быть представителями народа. Такое время наступило теперь. Палата общин не представляет народа». Между тем на правительство напал в своих письмах писатель, называвший себя Юниусом; несмотря на злобность и придиричивость их тона, они ясностью и изяществом изложения, выработанностью стиля и страшной силой сарказма придали периодической печати новую силу.

Но буря бессильно разбилась об упорство короля. Печатник писем подвергся преследованию, ходатайства и представления Лондона были высокомерно отвергнуты. В начале 1770 г. перерыв болезни, так долго удручавшей Чатама, позволил ему снова появиться в палате лордов. Он тотчас выдвинул протест против притязаний общин и внес билль, объявлявший их незаконными. Но его гений позволил ему первому понять, что недостаточно такого рода средств для устранения зол, в действительности проистекавших из того, что палата общин уже не представляла английского народа.

Он предложил план преобразования ее путем увеличения числа представителей графств, составлявших тогда наиболее независимую часть палаты. Дальше идти он не мог, так как даже эти предложения почти не находили себе поддержки. Тори и «друзья короля» не могли поддерживать планы, которые должны были ослабить власть короля. Руководимые Рокингемом виги не сочувствовали парламентской реформе и относились с горделивым презрением к народной агитации, в которой вынуждено было выражаться общественное мнение и которую благоразумно одобрял Чатам, осуждавший ее крайности. Ко времени борьбы палаты общин с Уилксом мы можем отнести начало влияния общественных собраний на политику Англии. Сходки поддерживавших Уилкса избирателей Миддлсекса послужили образцом для массовых собраний землевладельцев Йоркшира, впервые придавших значение вопросу о парламентской реформе; в этом движении к реформе и учреждении по всей стране сообщающихся между собой комитетов впервые дала себя почувствовать сила политической агитации. В этом оживлении и организации общественного мнения сыграли свою роль политические общества и клубы, а распространение споров и влияние, какое это время начало оказывать появление большого числа людей, поддерживавших любое политическое движение, показали, что парламенту скоро придется считаться с чувствами всего народа.

Другое средство, более действенное, чем народная агитация, должно было вскоре доставить общественному мнению влияние на сам парламент. Мы видели, в какой сильной степени коррумпированность палаты общин зависела от секретности совещаний парламента; чем более пробуждался в народе интерес к своим делам, тем труднее было сохранять ее. Со вступления на трон Георгов началось опубликование неполных отчетов о более важных прениях под названием «Сената лиллипутов», с вымышленными именами или простыми инициалами для обозначения ораторов. Получаемые тайком и часто записанные только по памяти, такие отчеты, естественно, страдали неточностью, чем охотно пользовались как предлогом для строгого применения правил, охранявших тайну совещаний парламента. В 1771 г. общины издали прокламацию, воспрещающую публикацию и прений, и шесть типографов, нарушивших ее, были вызваны к решетке палаты. Один из них отказался явиться и был арестован ее посланцем, но этот арест тотчас впутал палату в столкновение с магистратами Лондона. Они признали прокламации, как не имеющие законной силы, выпустили типографов и посадили посланца в тюрьму за незаконный арест. Палата отправила лорда мэра в Тауэр, но крики толпы, сопровождавшей его на пути, показали, что и на этот раз общественное мнение стоит на стороне печати.

когда при ближайшей отсрочке парламента мэра выпустили, уже никто не пытался мешать опубликованию в печати парламентских прений. Немного столь важных перемен было произведено так тихо. Опубликование прений не только сделало представителей постоянно и действительно ответственными перед их избирателями, но и пригласило саму нацию к присутствию при совещаниях ее представителей. Обсуждение всех важных для народа вопросов в палатах и печати вызвало в массе народа новый и более сильный интерес к своим делам и дало ему новые средства политического воспитания. Общественное мнение, выражаемое и представляемое со всех сторон газетами и журналами, приобрело значение в практической политике, начало влиять на ход прений, внимательнее и постояннее, чем это мог делать сам парламент, следить за действиями правительства. Важность ее нового положения доставила печати такое влияние, какого она не имела никогда прежде. К этому времени относится появление первых больших английских газет: «Утренняя летопись», «Утренняя почта», «Утренний вестник», «Время» — все они явились в промежуток между первыми годами американской войны и началом борьбы с французской революцией. В этих газетах журнализм получает новый характер ответственности и интеллигентности. Наемных писак «Гроб-Стрит» сменили публицисты — высоконравственные и с литературным талантом; философы, вроде Кольриджа, и политики, вроде Кэннинга, прибегали к печати, чтобы оказывать влияние на общественное мнение.

Но пока эти влияния чувствовались слабо, и Георг III мог презрительно отвергнуть политику Чатама и вступить в еще более пагубное столкновение, чем его борьба с печатью. Из всех событий последних лет более всего возмущала его мера, предотвратившая войну между Англией и ее колониями. Для короля американцы были уже «мятежниками», а великий государственный человек, своим красноречием придававший непреодолимую силу их требованиям, представлялся «трубой возмущения». В своей переписке с министрами Георг оплакивал отмену штемпельных актов: «Все чувствуют, — писал он, — что роковая уступчивость 1766 г. только усилила притязания американцев на полную независимость». В самой Америке известие об отмене было встречено общей радостью и принято за окончание спора. Но с обеих сторон оставались гордость и раздражительность, которые мог смягчить только разумный образ действий, а он-то и был невозможен при тогдашнем положении английской политики. Прошло всего несколько месяцев — и споры возобновились. Едва в 1767 г. болезнь удалила лорда Чатама от всякого деятельного участия в общественных делах, как жалкое правительство, носившее его имя, распустило нью-йоркское со-

бране за отказ в расквартировании английских войск и решило подтвердить верховенство Англии взиманием в американских портах небольших ввозных пошлин. Собрание Массачусетса было распущено из-за пустякового столкновения с губернатором, а Бостон на время был занят английскими солдатами. Однако представления законодательных собраний Массачусетса и Виргинии вместе с падением фондов указали министерству на опасность того пути, на который оно вступило, и в 1769 г. войска были удалены и все пошлины, кроме одной, отменены. Но король настоял на сохранении пошлины на чай, и удержания ее было достаточно, чтобы помешать полному восстановлению добрых чувств. Почти во всех колониях происходил ряд мелких столкновений между выборными собраниями и назначенными короной губернаторами, и колонисты упорствовали в своем решении не ввозить ничего из метрополии. Но пока все-таки можно было не ожидать серьезной борьбы. В Америке влияние Джорджа Вашингтона ослабило раздражение Виргинии. Массачусетс ограничился спорами со своим губернатором и отказом покупать чай, пока взимается пошлина. В Англии даже Гренвил, одобрявший сохранение названной пошлины, отказался от всякой мысли о дальнейшем обложении.

Но теперь все зависело от короля. Министерство окончательно подорвали нападки Чатама в 1770 г. Те из его сторонников, которые еще входили в кабинет, отказались от своих мест, и за ними последовал герцог Графтон. Все оставшиеся принадлежали к группе Бедфорда и были приверженцами короля; под руководством бывшего канцлера казначейства лорда Норта они образовали министерство, в сущности, только прикрывавшее управление общественными делами самим Георгом: «Он не только руководит министром, — сообщает нам внимательный наблюдатель, — во всех важных вопросах внешней и внутренней политики, но и дает ему указания касательно руководства прениями парламента: какие предложения нужно вносить или отвергать, как нужно проводить меры. Он удерживает за собой все назначения, определяет весь строй управления, распределяет места и права министров, судей и сановников двора, назначает и повышает судей Англии и Шотландии, назначает и перемещает епископов и деканов и раздает другие церковные должности. Он располагает военными начальниками, полками, офицерскими местами, и сам распоряжается перемещением войск; раздает титулы, почести и пенсии и отказывает в них». Всей этой огромной массой средств король пользовался постоянно для создания и сохранения в обеих палатах парламента большинства, руководимого им самим, и влияние короля заметно было в постоянном действии такого большинства. Еще более сказывалось оно в том

подчинении, до какого доведено было министерство, носившее имя Норта. На деле за двенадцать лет его существования, с 1770 г. и до конца американской войны, министром был сам Георг, и на него падает позор самой мрачной поры английской истории.

Король твердо был намерен воспользоваться первым случаем для отступления от «роковой снисходительности 1766 г.» Мелкий беспорядок доставил ему искомый повод. В декабре 1773 г. прибытие нескольких английских судов вызвало новое раздражение в Бостоне, где строго соблюдалось условие запрета на ввоз из Англии. Чернь, переодетая индейцами, проникла на корабли и выбросила их груз в море. Это насилие одинаково осуждалось как друзьями Америки в Англии, так и ее руководящими деятелями; и Вашингтон, и Чатам готовы были поддерживать ожидаемое от правительства требование удовлетворения. Но мысль короля была направлена не на удовлетворение, а на подавление, и он грубо отверг примирительные предложения лорда Норта и его товарищей. Они уже отвергли, как «вздорное и огорчительное», ходатайство собрания Массачусетса касательно отставки двух чиновников, которые в письмах на родину советовали отнять у колоний их свободные учреждения. Теперь министры воспользовались беспорядком, как предлогом для строгих мер. В начале 1774 г. в парламент внесен был билль, наказывавший Бостон закрытием его гавани для всякой торговли; другой билль наказал штат Массачусетс отнятием тех вольностей, которыми он пользовался постоянно со времени высадки на берег его «отцов-пилигримов». Хартия его была изменена: выбор совета был перенесен от народа к короне, а назначение судей было передано губернатору. Постановление, еще более оскорбительное, предоставило губернатору право отсылать в Англию для суда всех лиц, обвиненных в участии в последних беспорядках. Для проведения этих репрессивных мер в Америку были посланы войска, и их главнокомандующий генерал Гэдж был назначен губернатором Массачусетса. Восторг короля по поводу открывавшихся перед ним перспектив был беспределен: «Жребий брошен, — писал он, торжествуя, министру. — Колонии должны восторжествовать или подчиниться». Для вразумления американцев довольно будет четырех полков. Они кажутся «львами только до тех пор, пока мы разыгрываем ягнят... Если мы примем твердое решение, — заключал он торжественно, — они, несомненно, окажутся очень послушными». К несчастью, удар, нанесенный Массачусетсу, вовсе не был принят с послушанием. Сознание опасности, угрожающей общим вольностям, умерило завистливое отношение штатов друг к другу. Если английский парламент мог упразднить хартию Массачусетса и разрушить торговлю Бостона, то он мог отменить хартии всех колоний и

погубить торговлю всех портов от Св. Лаврентия до берега Джорджии. Поэтому все вступились за Массачусетс, и законодательные собрания всех штатов, кроме Джорджии, отправили уполномоченных на конгресс, собравшийся 4 сентября в Филадельфии. Массачусетс поступил еще смелее — ни один гражданин не пожелал подчиняться новым законам. Вопреки воле губернатора, собрание штата собралось, созвало милицию и снабдило ее оружием и боеприпасами. Но примирение все еще было возможно. Постановления конгресса отличались умеренностью, так как среди штатов, приславших уполномоченных, самым богатым и влиятельным была Виргиния, правда, решившая противиться новым мерам правительства, но все еще державшаяся за метрополию. В Англии купцы Лондона и Бристоля громко высказались за примирение, а в январе 1775 г. снова выступил Чатам, чтобы отвлечь борьбу, которую один раз ему уже удалось предупредить. С отличавшей его широтой чувств он отверг все полумеры или предложения компромисса: «Америку нам может вернуть, — говорил он, — не уничтожение клочка пергамента; вы должны относиться с уважением к ее страхам и неудовольствиям». Внесенный им по соглашению с Франклином билль предлагал отмену последних законов и гарантирование колониальных хартий, отказывался от притязаний на обложение и предписывал отозвание войск. Предполагалось созвать в колониях собрание для определения тех способов, какими Америка может содействовать уплате государственного долга.

Предложение Чатама было отвергнуто пренебрежительно лордами, подобное же предложение Бёрка было отвергнуто общинами, ходатайство лондонской общины в пользу колоний — самим королем. С отвержением этих примирительных попыток началась великая борьба, окончившаяся восемь лет спустя отделением американских колоний от британской короны. Конгресс представителей законодательных собраний колоний тотчас принял меры для общей защиты, предписал набор армии и поставил во главе ее Джорджа Вашингтона. Никогда более благородный человек не стоял во главе народа. Вашингтон был серьезен и предупредителен в обращении, его манеры были просты и непритязательны; а молчаливость и ясное спокойствие свидетельствовали о полном самообладании; но в его внешнем виде немного указывало на то душевное величие, которое при всей величавой простоте античной статуи высоко поднимало его над мелкими страстями и низкими побуждениями окружавшего его мира. Команда была поручена ему просто ввиду его влиятельности среди виргинских землевладельцев и того военного опыта, какой он приобрел, участвуя в пограничных стычках с французами и индейцами, а также в неудачном походе Брэдока

на форт Дюкен. Только в течение долгой войны колонисты понемногу оценили величие своего вождя, ясность его суждения, геройскую настойчивость, молчаливость в затруднительных положениях, спокойствие в часы опасности или поражения, терпеливое выжидание, быстроту и силу действия, высокое и ясное сознание долга, никогда не уклонявшееся от своей цели ни из гнева, ни из зависти, никогда ни в мире, ни на войне не подчинявшееся мелкому честолюбию, не знавшее другой цели, кроме защиты свободы соотечественников, другого личного стремления, кроме желания, обеспечив их свободу, вернуться к своему домашнему очагу. Почти бессознательно люди привыкли относиться к Вашингтону с таким доверием и верой, какими пользовались немногие другие люди, смотреть на него с таким почтением, какое при воспоминании о нем охватывает и нас. Даже Америка едва ли понимала все его величие, пока смерть не наложила своей печати на человека, бывшего «первым на войне, первым в мире и первым в сердцах своих сограждан». Больше чем кто другой из колонистов, Вашингтон служил представителем привязанности виргинских землевладельцев к метрополии, и принятие им командования показало, что даже самые умеренные из них полагаются только на оружие. Борьба открылась в апреле 1775 г. схваткой между английскими войсками и отрядом милиции при Лексингтоне, и через несколько дней перед Бостоном появились 20 000 колонистов. Снова собравшийся конгресс объявил представляемые им колонии «Соединенными Штатами Америки» и взял на себя управление ими. Между тем в Бостоне высадилось 10 000 свежего войска, но милиция колоний захватила перешеек, соединявший город с материком, и хотя была прогнана с высот Бёнкерст-Хилла, господствовавших над городом, но прогнана только после отчаянной борьбы, в которой ее мужество навсегда положило конец упрекам в трусости, прежде сыпавшимся на колонистов. «Так янки трусы?» — кричали ополченцы Массачусетса, когда при первом нападении отраженные англичане спускались с холма. Еще большее мужество обнаружили неопытные ополченцы Вашингтона, число которых постепенно уменьшилось с 16 000 до 10 000, когда плохо содержимые и плохо вооруженные, всего с 45 патронами на человека, они целую зиму упорно держали в укреплениях Бостона отряд в 10 000 старых солдат. Весной 1776 г. они принудили эти войска отступить в Нью-Йорк, где под командой генерала Гау сосредоточилась вся британская армия, сильно подкрепленная наемными немцами. Между тем набег американского генерала Арнольда почти прогнал британские войска из Канады, и хотя его попытка окончилась неудачей под Квебеком, но она показала, что всякая надежда на примирение исчезла. Действительно, в конце 1775 г. изгнали своих губернато-

ров южные колонии, последними присоединившиеся к борьбе, а в начале следующего Массачусетс поручил своим уполномоченным поддерживать полное освобождение колоний от королевского управления; в то же время, вопреки законам о мореплавании, были открыты для всех наций американские порты. За этими решительными мерами последовал великий шаг, с которого начинается американская история, — принятие 4 июля 1776 г. уполномоченными конгресса Декларации независимости: «Мы, — гласила торжественно она, — представители Соединенных Штатов Америки, собравшись на конгресс и свидетельствуя перед Высшим Судьей мира о прямоте наших намерений, торжественно объявляем и провозглашаем, что соединенные колонии являются и должны быть по праву свободными и независимыми штатами».

За первыми успехами колонистов скоро последовали бедствия и поражения. В августе Гау, способный генерал во главе отличной армии, победой при Бруклине очистил Лонг-Айленд; армия Вашингтона была ослаблена дезертирствами и поражением и приведена в уныние верноподданностью штата, в котором была расположена. Это принудило Вашингтона очистить Нью-Йорк и Нью-Джерси и отступить сначала на Гудзон, а затем на Делавер. Конгресс приготовился к бегству из Филадельфии, а общее отчаяние проявилось в требовании мира. Но хорошо организованное нападение и смелое движение в тыл армии Гау подняли дух ратников Вашингтона и заставили, в свою очередь, английского генерала отступить к Нью-Йорку. Поход 1777 г. открылся соединенным движением для подавления мятежа. Собранная в Канаде под командованием генерала Бергойна армия направилась по Озерному пути, чтобы захватить линию Гудзона и при помощи нью-йоркской армии отрезать Новую Англию от родственных ей провинций. Между тем Гау поднялся по Чизапику и двинулся на Филадельфию, временную столицу Соединенных Штатов и местопребывание конгресса. Поражение его небольшого семитысячного корпуса принудило Вашингтона покинуть Филадельфию и после смелого, но неудачного нападения на победителей отступить на зимнее квартиры. Непобедимая твердость, с какой он убедил горсть своих разбитых и полуголодных солдат выступить против армии Гау в ее лагере при Вэлли-Фордже, представляется самой замечательной из его побед. Но на севере война приняла другой оборот: когда Бергойн появился на верхнем Гудзоне, он нашел путь к Олбани прегражденным отрядом американцев под командой генерала Гэтса. По мере удаления войны от пределов Новой Англии пыл ее жителей ослабевал, но известие о вторжении и о насилиях, совершаемых индейцами, которых Бергойн ввел в свои войска, снова ожи-

вило его. Милиция ее штатов поспешила из городов и сел в лагерь, и после неудачного нападения на позиции американцев Бергойн увидел себя, окруженным на высотах Саратоги. 17 октября он вынужден был сдаться. Известие об этом несчастье оправдало те слова, какие в это самое время приводил в защиту мира Чатам: «Вы не можете покорить Америку, — воскликнул он, когда другие хвалились успехами Гау. — Если бы я был американцем, как теперь англичанин, я никогда, никогда, никогда не сложил бы оружия, пока чужеземные войска остаются на моей родине». Затем, в порыве негодующего красноречия он напал на использование индейцев с их скальпировочными ножами в качестве союзников Англии против ее детей. Внесенные Чатамом предложения, пожалуй, все еще могли примирить Америку с метрополией. Он предлагал полное примирение и федеральный союз колоний с Великобританией, предоставлявший колониям полную власть во всех вопросах внутреннего управления и привязывавший их к метрополии только узами любви и преданности. Но эти предложения постигла та же судьба, что и прежние. Вскоре пришла весть о поражении при Саратоге и еще более печальное известие о том, что это поражение вызвало у Бурбонских дворов желание отомстить за унижения Семилетней войны. В феврале 1778 г. Франция заключила союз со Штатами. Лорд Норт попытался отвести удар, снова предложив мир с обязательством навсегда отказаться от права прямого обложения колоний; но он чувствовал, что время для примирения прошло, и в то же время исчезла всякая надежда на подчинение Америки силой оружия. Король по-прежнему упорно стоял за войну, и страна, задетая за живое нападением Франции, страстно поддерживала упорство короля. Но в противоположность Георгу III она инстинктивно чувствовала, что если остается еще надежда на сохранение колоний и на отражение усилий Бурбонов, то она заключается в лорде Чатаме, и, несмотря на сопротивление короля, голос всей страны снова призвал его к власти. Но накануне его возвращения в министерство рука смерти прервала эту последнюю надежду. Разбитого старостью и болезнью графа принесли в палату лордов, и он в нескольких отрывочных словах выразил свой протест против предложения отказаться от Америки: «Я рад, — пробормотал он, — что еще жив и могу возвысить свой голос против раздробления древней и славной монархии. Его величество наследовал королевство, обширное по размерам и пользовавшееся незапятнанной репутацией. 17 лет назад наш народ был грозой мира». Он нетерпеливо выслушал возражения герцога Ричмонда и снова поднялся на ноги, но вдруг поднес руку к сердцу и упал в обморок. Его отнесли домой, где он и скончался.

После смерти Чатама Англия вступила в столкновение с врагами, круг которых все расширялся, пока она не оказалась в борьбе со всем миром. В конце 1778 г. к союзу Франции и Америки против нее присоединилась Испания, а в следующем году соединенные флоты обеих держав оказались хозяевами Ла-Манша и даже грозили десантом на берега Англии. Но несмотря на смерть Чатама, его призыв пробудил в стране новую жизнь: «Неужели мы должны преклониться перед домом Бурбонов?» — воскликнул он при последнем издыхании, и раздоры, дробившие нацию в ее борьбе за свободу Америки стихли ввиду опасности, грозившей самому существованию Англии. Слабость министерства уравнивалась активностью страны. В течение трех лет, с 1779 по 1782 г., генерал Эллиотт, несмотря на голод и бомбардировку, защищал скалистую твердыню Гибралтара. Спор из-за права осмотра судов вызвал образование Голландией и северными державами Лиги вооруженного нейтралитета* и увеличил число противников Англии голландским флотом, но она сохранила за собой преобладание на море. Даже в Америке военное счастье, по-видимому, повернулось к ней. После сдачи Бергойна английские генералы покинули Пенсильванию и направили все свои усилия на юг, где все еще существовала сильная партия роялистов. Взятие Чарльзтауна и успехи лорда Корнуоллиса в 1780 г. оказались бесплодными, благодаря упорному сопротивлению генерала Грина; но Штаты были ослаблены банкротством и надеждами на помощь со стороны Франции. Между тем Англия одерживала новые победы на Востоке.

Со времени победы при Плесси Индия стала быстро переходить в руки купеческой компании, члены которой всего несколько лет ранее владели только тремя небольшими береговыми факториями. За победой, подчинивший Клайву Бенгалию, последовала в 1760 г. победа при Уондвоше, где полковник Кут разбил Лалли**, французского губернатора Пондишери, и установил верховенство Англии над Южной Индией. За завоеванием скоро должна была начаться устроительная работа, так как тирания и коррупционность купеческих приказчиков, вдруг оказавшихся правителями, быстро подрывали благосостояние Бенгалии. Хотя сам Клайв больше всех

* Одним из главных инициаторов создания Лиги, защищавших судоходство нейтральных стран от морского разбоя английского военного флота, была российская императрица Екатерина Великая.

** Судьба оказалась жестокой к этому мужественному, но неудачливому полководцу, которого правительство сделало козлом отпущения за поражения в Индии. Необоснованно обвиненный в предательстве, Тома-Артур де Лалли, барон де Толлендаль (1702–1766), был приговорен к смерти и казнен. Реабилитирован посмертно.

воспользовался плодами победы, но и он понял, что пришло время, когда корыстолюбие должно уступить место сознанию ответственности, возлагаемой властью. В 1765 г. он вернулся в Индию, и два года его управления были, в сущности, славнейшим временем в его жизни. Несмотря на противодействие всех приказчиков и на бунты в армии, он устранил частную торговлю служащих компании и запретил им принимать от туземцев подарки. Сам Клайв подал пример бескорыстия, пожертвовав на общепользные цели имущество, оставленное ему тем князем, которого он возвел на престол Бенгалии,¹ и вернулся беднее прежнего в Англию. Там ему пришлось встретиться с бурей, вызванной его действиями среди тех, кто на родине был заинтересован в злоупотреблениях. Его беспощадные разоблачения вызвали даже, наконец, вмешательство лорда Норта, и когда финансовая нужда заставила компанию просить у правительства помощи, то помощь эта была оказана ей на условии административных реформ. «Регуляционный акт» 1773 г. поставил во главе всех британских владений в Индии генерал-губернатора и Высшую судебную палату, запретил судьям и членам совета торговать и принимать от туземцев подарки и докладывать правительству обо всех своих действиях для их одобрения или отмены. Пробуждение нового интереса к Индии сказалось в исследовании комитетом палаты общин всего вопроса об управлении ею. Прежние действия самого Клайва были рассмотрены с беспощадной строгостью. Его горькая жалоба в палате лордов на то, что его, барона Плесси, обвиняют, все равно как конокрада, не помешала принятию резолюций, осуждавших коррупцию и вероломство первых лет британского владычества в Индии. Но на этом правосудие палаты остановилось. Когда от осуждения злоупотреблений обвинители перешли к осуждению самого Клайва, воспоминание о его великих делах вызвало у палаты общин единодушное постановление: «...в то же время Роберт, лорд Клайв, оказал своей родине великие и достопамятные услуги».

Закон 1773 г. назначил генерал-губернатором Бенгалии с правами высшего надзора и контроля за другими президентствами Уоррена Гастингса. Гастингс происходил из знатной, но давно обедневшей фамилии, и бедность заставила его в юности поступить на службу компании клерком. Проницательный взгляд Клайва заметил его способности; после Плесси он вовлек Гастингса в политическую жизнь, а выказанные им в последующий бурный период административные таланты шаг за шагом доставили ему место губернатора Бенгалии. Нельзя было найти человека, более пригодного для исполнения обязанностей новой должности, созданной правительством на месте без понимания ее настоящей важности. Гастингс был одарен редкими талантами организатора и контролера. Первым делом его было уста-

новление в Бенгалии прямого управления компании путем упразднения власти туземных князей, несмотря на ее номинальность, мешавшей всем планам успешной администрации. Набоб превратился в пенсионера, и новая провинция компании была грубо, но умело организована. Из окружавших его приказчиков и торговцев Гастингс образовал тот класс, который до сих пор остается лучшим результатом английского владычества в Индии. Придуманная им система законов и финансов по необходимости страдала поспешностью и несовершенством, но все-таки была далеко выше всего виденного Индией раньше. Коррупцию он преследовал так же строго, как и Клайв, но приобрел себе любовь как новых чиновников, так и индусов. Он поднял доходы Бенгалии и смог ежегодно отсылать компании в Англию излишек в полмиллиона, но сделал это, не налагая на туземцев новых тягот и теряя их расположения. В своем управлении он руководствовался глубоким пониманием народа и симпатией к нему. В то время как язык индусов считался просто орудием деловых сношений, Гастингс был отлично знаком с его наречиями, обычаями и чувствами туземцев. Едва ли можно поэтому удивляться, если он пользовался среди бенгальцев такой популярностью, как никто из позднейших правителей, если после века полного великих событий индусские женщины еще успокаивают детей именем Уоррена Гастингса.

Пока, несмотря на силу английского влияния на Юге, непосредственно в руках англичан была одна Бенгалия. Гастингс увидел сильную опасность для Англии в могуществе мараттов. Это были разбойники индусского происхождения, племена которых в течение века распространяли с гор западного берега свои набеги по Индии и основали владения в Гуджерате, Мальве и Танхоре; слабая связь подчинения привязывала их к мараттскому вождю, царствовавшему в Пуне. Целью Гастингса было предотвратить захват всей Индии маратами и занятие ими положения, принадлежавшего прежде монгольским императорам. Для этого он привязал к себе договорами и субсидиями туземных владетелей, вроде Аудского или Берарского, истребид, не колеблясь, роиллов, чтобы усилить своего союзника набоба-визиря Аудского, с неустанным вниманием следил за усилением даже таких отдаленных держав, как сейская. Франция ревниво искала в мараттах противовеса могуществу Британии, и через их главу французские послы могли возбуждать против английских президентств весь их союз. Гастингс встретил опасность с отличавшими его быстротой и решительностью, но положение его было очень затруднительно. В течение двух лет противодействие совета лишало его возможности действовать, а когда он избавился от этой помехи, компания беспрестанно требовала у него денег, а корона несколько раз

намеревалась его отозвать. Собственный его генерал сэр Эйр Кут был человек скупой и капризный, с которым приходилось обращаться как с ребенком. Каждая почта приносила выговоры и жалобы, но Гастингса никогда не покидало спокойнее самообладание, и на работе не было заметно и следа его затруднений. Войну с мараттами он вел с такой упорной настойчивостью, которой не могли поколебать ни промахи подчиненных, ни слабость армии, какой ему приходилось пользоваться. Неудача следовала за неудачей, и едва ему удалось вырвать у судьбы успех, как с юга стала грозить новая страшная опасность. Некий военный авантюрист, Хайдар Али, из развалин прежних княжеств создал на Мизорском плоскогорье единое сильное царство. Несмотря на его деспотизм, ничье управление в Индии не было так справедливо, ничья политика так энергична. Он был достаточно проницателен, чтобы оценить действительное могущество Британии, и только жалкие промахи Мадрасского совета привели его к заключению, что война с англичанами не так опасна, как дружба. Несмотря на старость, он сохранил всю свою боевую энергию, и в 1780 г. на равнину Карнатика спустилась дисциплинированная армия, прикрытая сильной конницей и поддерживаемая артиллерийским парком. Встретивший ее небольшой британский отряд был оттеснен к Мадрасу, которому тоже грозила опасность. Весть пришла к Гастингсу накануне его торжества над мараттами; но он тотчас отказался от него, поспешно заключил мир и двинул все силы к Мадрасу. Появление Эйра Кута остановило успехи Хайдара, и после кампании, продолжавшейся несколько месяцев, он был оттеснен к твердыни Мизора. Индия была единственной страной, где Британия не потеряла ничего во время американской войны. Захватом Бенареса, распространением британского господства вдоль Ганга, приведением в скрытую зависимость Ауда, движением английских войск в Центральную Индию и поражением Хайдара Али гений Гастингса положил основание Индийской империи.

В то время как Англия торжествовала на Востоке, в Америке страшное несчастье изменило ход войны. После покушения на Северную Каролину, неудавшегося вследствие отказа в помощи со стороны другого генерала, сэра Генри Клинтона, лорд Корнуоллис отступил в 1781 г. в Виргинию и окопался в укреплениях Йорктауна. Внезапное движение Вашингтона поставило его перед фронтом английских войск в тот момент, когда на море господствовал французский флот, и голод принудил армию Корнуоллиса к сдаче, столь же унижительной, как и Саратогская. Весть эта, как громом, поразила несчастного министра, до тех пор по приказу короля подавлявшего в себе убеждение в бесполезности дальнейшего кровопролития. Разводя руками и беспорядочно бегая по комнате, лорд Норт восклицал: «Все

погибло» — и тотчас подал в отставку. И точно, казалось, Англия находится на краю гибели: в критический момент американской войны против нее обратилась Ирландия. В 1779 г. для защиты острова от французов там была набрана армия из 40 000 волонтеров, и угрозы вооруженным восстанием поддерживали красноречие двух парламентских вождей — Граттана и Флуда, которые требовали отмены Закона Пойнингса, отнявшего у ирландского парламента всякое право законодательной инициативы, и признания высшей апелляционной инстанцией ирландской палаты лордов. В сущности, удовлетворение этих требований заключало в себе признание независимости Ирландии, но противиться им не было средств, так как Англия не могла противопоставить ирландским волонтерам ни одного солдата. Падение лорда Норта вернуло власть вигам с лордом Рокингемом во главе, на долю которого выпала двойная задача — удовлетворить Ирландию и положить во что бы то ни стало конец войне с Соединенными Штатами. Обе задачи требовали унижительной уступчивости, и нужен был весь гнет нужды, чтобы побудить обе палаты последовать советам Рокингема. Формальным статутотом английский парламент отказался от того верховенства, каким он до тех пор пользовался над ирландским; с Америкой и ее союзниками начаты были переговоры. Затруднительное положение Англии подняло надежды ее врагов. Испания отказалась приостановить военные действия не иначе, как при уступке Гибралтара; Франция потребовала уступки всех английских владений в Индии, кроме Бенгалии. Но настоящей основой мирового могущества Англии служило ее преобладание на море, снова подтвержденное в этот момент. В январе 1780 г. адмирал Родни, величайший после Нельсона и Блэка из английских моряков, встретился на широте мыса Сент-Винсента с испанским флотом, и только четыре корабля из него ускользнули в Кадис. Два года спустя победы французского адмирала де Грасса вызвали Родни в Вест-Индию, и в апреле 1782 г., при помощи впервые введенного им маневра, он прорвал неприятельский строй и прогнал разбитый французский флот из Атлантического океана. В сентябре Эллиотт геройски отразил нападение союзных войск на Гибралтар. Америка не желала ожидать дольше удовлетворения своих союзников, и в ноябре ее комиссары подписали предварительные условия мира, по которым Британия сохраняла за собой на материке Америки только Канаду и остров Ньюфаундленд и признавала, безусловно, независимость Соединенных Штатов. За мирным договором с ними последовали трактаты с Бурбонскими державами. Франция не приобрела ничего; Испания получила только Флориду и Минорку. С другой стороны, Англия утвердила за собой Индию и сохранила Канаду; ее Вест-Индские острова остались нетронутыми, и она укрепи-

ла за собой господство над морями. Но в конце войны меньше думали о том, что она сохранила, чем об утраченном. Безвозвратно были потеряны американские колонии, и неудивительно, что под первым впечатлением подобной утраты Англия сочла себя на краю гибели, а Бурбонские дворы сочли ее положение в качестве мировой державы, в сущности, утраченным. Насколько неоснователен был такой взгляд, это должны были показать ближайшие годы.

Глава III

Питт Младший (1783—1793)

По-видимому, ни одному из европейских политиков не приходило в то время в голову, что основание Соединенных Штатов составляет поворотный пункт во всемирной истории. Всего более поражало людей в то время обнаружение того, что страшное поражение вовсе не погубило Англию — после него она стала сильнее и энергичнее, чем прежде. Никогда не выказывала она большей энергии, чем в борьбе против Франции, начавшейся всего через десять лет после утраты Америки; никогда не занимала она такого высокого положения среди держав, как в дни Ватерлоо. Но настоящее ее величие нужно искать не в Старом Свете, а в Новом — с этого времени она стала матерью народов. В Америке она создала великий народ, и ее корабли с переселенцами должны были продолжать то передвижение тевтонского племени, из которого вышла она сама. Задачей Англии должна была стать колонизация, ее поселенцам предстояло оспаривать Африку у кафров и готтентотов; им суждено было устроить на водах Тихого океана поселения столь же крупные, как утраченные ею в Америке. Созданным ею нациям Англия должна была передать не только свою кровь и язык, но и приобретенную ею свободу. Мысль об этом придает величие даже мельчайшим подробностям ее истории в прошлом. История Франции имеет мало значения вне самой ее. История Германии или Италии не оказывает прямого влияния за пределами той или другой. Англия представляет собой только небольшую долю результатов английской истории. Ее более крупных последствий нужно ждать не в тесных пределах родного острова, а в судьбах грядущих народов. Борьба ее патриотов, мудрость ее государственных людей, твердая любовь ее народа к свободе и закону создавали в прошлом небольшого острова будущее человечества.

Между тем быстрое развитие промышленной энергии и промышленного богатства начинали оказывать влияние на ход английской политики. Тори

и «друзья короля» образовали теперь сплоченную группу в 150 человек; но виги, составлявшие министерство под главенством лорда Рокингема, превосходили своих противников численностью и политическим искусством, особенно теперь, когда присоединение группы Бедфорда к главной массе партии и упорная оппозиция последней в американской войне вернули партии большую долю ее прежней сплоченности. Но это присоединение только усилило ее исключительно аристократические стремления и все более обнаруживавшееся несогласие по таким вопросам, как парламентская реформа между массой вигов и той небольшой их группой, которая оставалась верной более популярным симпатиям Чатама. Во главе ее стоял лорд Шелборн, и в этот момент она была подкреплена вступлением в парламент второго сына Чатама — Уильяма Питта, которому едва минуло 22 года, но он покинул университет со сведениями зрелого ученого, а его находчивое и звучное красноречие созрело под влиянием наставлений отца: «Он будет одним из первых людей в парламенте», — сказал один депутат вождю вигов Чарльзу Фоксу после первой речи Питта в палате общин. «Да он и есть уже такой», — ответил Фокс. Гордая самоуверенность нового политика сказывалась в каждом движении его высокой худощавой фигуры, в резких чертах лица, на котором только его ближайшие друзья видели улыбку, в его холодном и отталкивающем обращении, неизменной серьезности и обычно повелительном взгляде. Никто не знал, какие великие таланты скрывались под этим внешним высокомерием; никто не догадывался, что скоро этот «мальчик», как его насмешливо называли соперники, сокрушит всех противников и подчинит своей воле Англию. Питт отказался от всех незначительных мест в министерстве Рокингема, требуя немедленно, в случае своего допущения туда, места в самом кабинете. Но, в сущности, он совсем не желал вступать в кабинет. Ему, как и Чатаму, главным уроком войны представлялась необходимость положить конец тем злоупотреблениям в устройстве, которые позволили Георгу III впутать страну в войну. Осуществить это было возможно только посредством коренной реформы палаты общин, и с этой целью Питт внес билль, основывавшийся на планах Чатама. Но большинство вигов не могло решиться на то пожертвование собственностью и влиянием, какого требовала от них подобная реформа. Билль Питта был отвергнут, а вместо него министерство попыталось ослабить средства пагубного влияния, каким бесцеремонно пользовался король. Оно предложило лишить права заседать в парламенте лиц, связанных с правительством контрактами, отнять избирательное право у финансовых чиновников, что ослабило бы влияние короны в 70 местечках, но прежде всего, уменьшить расходы на содержание двора, пенсии и

секретный фонд; последнее предложение было внесено Бёрком. Эти меры, действительно, в значительной степени ослабили влияние короны на парламент; замечательны они еще и тем, что указывают на время, когда полностью прекратился прямой подкуп депутатов. Но они никак не могли сделать палату общин действительно представительницей английского народа или ответственной перед ним. Завистливое отношение массы вигов к группе Чатама и ее планам сказалось еще яснее после смерти Рокингема в июле 1782 г. Едва во главе министерства был поставлен Шелборн, как подали в отставку действовавший по личным мотивам Фокс и большинство сторонников Рокингема. С другой стороны, Питт получил место канцлера казначейства.

Министерство Шелборна просуществовало только до заключения окончательного мира с Соединенными Штатами; в начале 1783 г. оно было низвергнуто самой бессовестной коалицией, какая только известна в истории Англии, — соглашением вигских сторонников Фокса с торийскими приверженцами лорда Норта. Ничто не обнаруживало так ясно необходимости парламентской реформы, как эта коалиция. Она показала, что общественное мнение не в силах остановить даже самые бессовестные интриги в парламенте и что меры Бёрка и Рокингема, ослабив влияние короля, обратились на пользу не народа, а торговцев местечками, присвоивших себе представительство. Снова внесенное Питтом предложение парламентской реформы было отвергнуто большинством двух против одного. Уверенные в своем парламентском большинстве и пренебрегая силой общественного мнения вне стен нижней палаты, новые министры смело взялись за такую крупную задачу, какой еще не приходилось разрешать организаторскому таланту английских политиков. Очевидно, было невозможно оставлять под контролем простой торговой компании основанное Уоренном Гастингсом в Индии государство, и Фокс предложил отнять у директоров компании политическое руководство и передать его комитету из семи комиссаров. Назначение их, в первом случае, принадлежало парламенту, а затем — короне; назначались они на пять лет, но могли быть отставлены и раньше по просьбе той или другой палаты парламента. Предложение это тотчас вызвало бурное противодействие. План был, действительно, не из удачных: новые комиссары не могли быть так практически знакомы с Индией, как представители компании, а отсутствие всякой непосредственной связи между ними и министерством мешало бы парламенту, действительно, контролировать их. Но народное недовольство почти не обратило внимания на настоящие недостатки этого «индийского билля». Купечество возмущалось ударом, наносимым крупнейшей торговой компании королевства; городские корпорации опасались отмены своих привилегий; король считал

эту меру простой уловкой для передачи надзора за Индией вигам. Для большинства народа главный недостаток билля заключался в характере предложившего его министерства. Передать существующей палате общин управление Индией и надзор за ней значило отдать огромную новую власть в руки собрания, грубейшим образом злоупотреблявшего тем влиянием, какое уже было у него. Зная такое настроение народа, король решился воспользоваться своим личным влиянием, чтобы добиться отмены этой меры лордами, и тогда велел министрам вернуть печати. В декабре 1783 г. Питт занял место первого лорда казначейства; но его положение тотчас оказалось бы невозможным, если бы страна была заодно со своими номинальными представителями. Он несколько раз был разбиваем в общинах крупным большинством; но большинство это все убывало по мере того, как ряд адресов отовсюду, от торийского университета в Оксфорде и от вигского совета Лондона, показывал, что общественное мнение на стороне министра, а не палаты. Общее сознание этого оправдало ту твердость, с какой Питт, несмотря на адреса, требовавшие удаления его от должности, пять месяцев откладывал роспуск парламента и, таким образом, дал время созреть тому настроению в народе, в котором нуждался для успеха. Когда наступили выборы 1784 г., исход борьбы определился сразу. Общественное настроение приобрело такую силу, что устранило пагубные влияния, обыкновенно руководившие его представительством. Все крупные избирательные собрания выбрали сторонников Питта; из большинства, раньше разбивавшего его в общинах, потеряли свои места 160 человек; спаслась только горсть вигов, благодаря их влиянию на «гнилые» местечки.

Когда собрался парламент после низвержения коалиции, двадцатипятилетний премьер оказался таким повелителем Англии, каким не был раньше ни один министр. Его влиянию подчинился даже король, отчасти из благодарности за торжество, доставленное ему над вигами, отчасти сознавая надвигающееся сумасшествие, но еще более обнаруживая, что победа, одержанная им над его политическими соперниками, обращается на пользу не короны, а всей нации. Правда, виги были разбиты, непопулярны, не имели плана действий, в то время как тори примкнули к министру, «спасшем короля». Но, в сущности, молодого министра поддерживала новая политическая сила. Внезапный рост английской промышленности выдвинул вперед мануфактуристов. Все, что промышленные классы любили в Чатаме — благородство характера, сознание силы, патриотизм, симпатию к жизни более широкой, чем жизнь собственно парламентская, — все это они находили в его сыне. Однако ему мало была свойственна поэтичность и фантазия гения Чатама, быстрое определение возможного и справедливого, ши

рокие планы национальной политики, предвидение судеб мира. Плавные и звучные общие места Питта звучат глухо рядом с отрывочными фразами, еще и теперь воскрешающими для англичан красноречие его отца. С другой стороны, он обладал некоторыми качествами, полностью отсутствовавшими у Чатама: его от природы пылкий и чувствительный характер был руководим гордым самообладанием; его простота и изящный вкус избавляли его от хвастливости и театральности отца; его речи представляются растянутыми общими местами, но сами эти их недостатки вместе с их ясностью и здравомыслием приносившими их к понятиям средних классов, которые Питт считал своей настоящей аудиторией. Своей любовью к миру, огромной энергией и быстротой в делах, искусством в прениях и знанием финансов он напоминал сэра Роберта Уолполя; но у него были таланты, которыми никогда не обладал Уолполь, и он был свободен от худших его недостатков. Он не заботился о личной выгоде и был слишком горд, чтобы править посредством подкупа. Его высокое мнение о себе не оставляло места для зависти к подчиненным. Он был великодушен в оценке достоинств молодежи, и собранные им вокруг себя «мальчики», вроде Кэннинга и лорда Уэлсли, отплатили ему за великодушные преданностью, пережившей даже смерть. К циничному бездействию Уолполя Питт не питал никакой симпатии, его политика с самого начала была руководима стремлением к широким реформам, и он смело брался за все задачи, финансовые, конституционные, церковные, перед которыми отступал Уолполь. Но самое главное — у Питта совсем не было презрения, какое Уолполь питал к людям. Благороднейшей чертой его ума была широкая человечность, а его любовь к Англии носила такой же глубокий и личный характер, как и у отца, но у него не было и следа той симпатии к страстям и предрассудкам англичан, которая одинаково составляла и силу, и слабость Чатама. Когда Фокс упрекнул его в том, что он забыл ненависть отца к Франции и его веру в то, что она является естественным врагом Англии, Питт дал благородный ответ: «...предполагать, что один народ может быть неизменно врагом другого, — слабость и ребячество». Настроение эпохи, большая широта симпатии человека к человеку, особенно отличающая XVIII в., как поворотный пункт в истории человечества, всюду выдвигала вперед новое поколение государственных людей, вроде Тюрго и Иосифа II; их отличали любовь к человечеству и вера в то, что как благо личности обусловливается благосостоянием общества, к которому она принадлежит, так благополучие отдельных народов зависит от благополучия всего мира. К ним принадлежал и Питт, но он далеко превосходил прочих широкими познаниями и той практической силой, какую проявлял при осуществлении своих планов.

Всего сильнее был Питт в финансах; он выдвинулся то время, когда рост богатства Англии сделал знакомство с ним необходимым для великого министра. Развитие нации шло чрезвычайно быстро; население в течение XVIII в. больше чем удвоилось; рост богатства шел еще быстрее. Война увеличила государственный долг на 100 миллионов, но бремя его едва чувствовалось. Утрата Америки только усилила торговлю с ней, и в промышленности началось то широкое развитие, которому предстояло превратить Британию во всесветную мастерскую. Хотя при вступлении на престол Георга III Англия уже стояла в первом месте среди торговых государств, но ее промышленная жизнь носила, по преимуществу, земледельческий характер. В Норфолке, в западном округе Йоркшира и в графствах юго-запада постепенно утверждалась шерстяная промышленность; в то же время обработка хлопка ограничивалась почти только Манчестером и Болтоном и оставалась настолько неважной, что в середине XVIII в. ценность вывозимых ею изделий едва достигала 50 000 в год. Также медленно и постоянно развивалась льняная промышленность Белфаста и Денди и шелковая Спитэлфилда. Способы обработки были слишком грубы, чтобы допускать широкий рост производства. Строить мастерскую для обработки шерсти можно было только там, где вода доставляла силу для вращения мельничного колеса. Хлопок обрабатывался пока руками в хижинах, где дочери семей сидели со своими прялками вокруг ручного станка ткача. Но даже если бы способы обработки были совершеннее, они не имели бы значения при недостатке дешевых и удобных способов передвижения. Старые большие дороги, просуществовавшие в течение Средних веков, благодаря росту сношений и числа экипажей и телег стали непроезжими. Новые торговые пути часто шли по простым тропинкам, служившим прежде только для проезда верхом. Поэтому многие шерстяные товары приходилось перевозить при посредстве длинного ряда вьючных лошадей; перевозка более тяжелых товаров, вроде каменного угля, была почти невозможна иначе, как по большим рекам или в округах доступных с моря. Положение изменилось, когда в 1767 г. гениальный инженер Бриндли соединил Манчестер с его гаванью Ливерпулем при помощи канала, пересекавшего Ируэл по высокому водопроводу. Успех этой попытки скоро привел к всеобщему пользованию одной перевозкой, и Великобритания была прорезана по всем направлениям судоходными каналами длиной в 3000 миль. В то же самое время новую важность получил каменный уголь, лежащий под почвой Англии. Расположенные рядом с ним в северных графствах массы железной руды оставались без разработки из-за недостатка леса, который считался тогда единственным топливом для плавления ее. В середине XVIII в. ока-

залось, что железную руду можно плавить на каменном угле. Это тотчас изменило все положение железной промышленности. Железу предстояло стать главным материалом новой промышленности, и производство его, больше чем все другое, поставило Англию во главе промышленной Европы. Ценность угля, как средства для получения механической силы, обнаружилась, благодаря тому открытию, при помощи которого Уатт в 1765 г. превратил паровую машину из простой игрушки в удивительнейшее орудие, когда-либо бывшее в распоряжении человеческой промышленности. Это изобретение явилось как раз тогда, когда наличное количество ручного труда уже не могло покрывать требований фабрикантов. Последовательное изобретение в течение двенадцати лет трех различных прядильных машин — в 1764 г. ткачом Харгривсом, в 1768 г. — цирюльником Аркрайтом и в 1776 г. — ткачом Кромптоном — сопровождалось изобретением ткацкого станка. Но все эти открытия принесли бы сравнительно мало пользы, не будь найдена новая неистощимая рабочая сила в виде паровой машины. Сочетание этой силы с такими средствами применения ее и дало возможность Британии в страшные годы борьбы ее с Францией и Наполеоном почти монополизировать шерстяную и хлопчатобумажную промышленность и стать в положение величайшей фабричной страны, какую только видел мир.

Для разумного пользования таким успехом требовалось знание законов экономической жизни, прежде бывшее невозможным и ставшее достижимым в дни Питта. Если оценивать значение книг по тому влиянию, какое они оказали на судьбы человечества, то «Богатство народов» должно занять между ними одно из первых мест. Автором его был Адам Смит, оксфордский ученый и профессор в Глазго. Он утверждал, что единственным источником богатства является труд и что всего лучше можно содействовать обогащению народа освобождением труда, дозволением работнику преследовать свой личный интерес, как ему угодно. Всякая попытка ввести труд в искусственные рамки, определить законами ход торговли, выдвинуть в отдельных странах особые отрасли промышленности или определить характер сношений одной страны с другой является не только несправедливостью относительно рабочего или купца, но и прямо вредит благосостоянию государства. Книга эта вышла в 1776 г. в начале американской войны, и Питт изучил ее, когда был студентом в Кембридже. С этого времени он признавал Адама Смита своим учителем. Едва став министром, он положил в основу своей политики начала «Богатства народов». Первые десять лет его управления являются новой эпохой в английской политике. Питт был первым министром Англии, действительно понимавшим ту роль, какую должна играть промышленность в развитии Мирового благосостоя-

ния. Он был не только министром мира и финансистом, как Уолполь, но и понимал, что лучшая гарантия мира заключается в свободе и расширении торговых сношений между народами, что финансовая бережливость не только уменьшает бремя повинностей, но и доставляет промышленности лишний капитал, и что из простого орудия для взимания доходов финансы могут быть обращены в могучее средство политического и общественного прогресса.

Если сам Питт сделал немного для осуществления этих начал, то объясняется это отчасти той массой невежества и предрассудков, с какой ему приходилось бороться, а еще более тем расстройством, какое внесла внезапно в его планы французская революция. Его влияние опиралось главным образом на торговые классы, а они все еще были убеждены, что богатство заключается в золоте и серебре и что всего лучше помогают развитию торговли стеснительные монополии. Только при помощи терпения и ловкости мог он добиться согласия на предположенные им перемены от массы торговцев и поместных дворян, поддерживавших его в палате общин. Как слабо было его влияние, когда ему приходилось бороться с предрассудками окружающих, это показала неудача первой предложенной им крупной меры. Выдвинутый впервые во время американской войны вопрос о парламентской реформе постоянно привлекал к себе внимание. Чатам выказался за увеличение числа членов от графств, составлявших тогда наиболее независимую часть нижней палаты. Герцог Ричмонд предлагал всеобщее избирательное право, равенство выборных округов и ежегодное избрание парламента. Уилкс предвосхитил позднейшую парламентскую реформу предложением отнять избирательное право у гнилых местечек и передать их места графствам и более многочисленным и богатым городам. Уильям Питт занялся этим вопросом при первом вступлении своем в палату, представив свое предложение о реформе; одной из первых мер его в качестве министра было внесение в 1785 г. билля, предусматривавшего постепенное устранение захудалых местечек, тотчас отнимавшего у 36 из них и представителей и передававшего их места графствам. Он побудил короля воздержаться от противодействия и попытался подкупить «торговцев местечками», как называли их владельцев, предложив вознаградить их за утрачиваемые места по их рыночной стоимости. Но масса его собственной партии вместе с массой вигов оказала биллю упорное сопротивление. Правда, более резкие злоупотребления в самом парламенте, вызвавшие вмешательство Чатама и Уилкса, большей частью исчезли, и подкуп депутатов прекратился. Билль Бёрка об экономической реформе только что нанес сильный удар влиянию короля, упразднив массу бесполезных мест придворных, судебных и дип-

ломатических должностей, сохранявшихся только в видах подкупа. Но самое главное, торжество общественного мнения, которому Питт обязан был своей властью, сильно уменьшило страх перед тем противодействием, какое до того парламент оказывал голосу нации. По словам Уильберфорса, Питт был «страшно разочарован и поражен» отменой этой меры, но настроение палаты и народа было, очевидно, против нее, и хотя Питт и остался при своем мнении, но никогда не выдвигал ее вновь.

Неудача его конституционной реформы была больше чем уравновешена успехом финансовых мер. Когда он вступил в должность, государственный кредит стоял чрезвычайно низко. Американская война удвоила долги, но большие суммы его оставались еще без обеспечения, в то время как доходы понижались широкой системой контрабанды, превращавшей каждый прибрежный город в разбойничье гнездо. На первых порах дефицит был устранен новыми налогами, а выигранное, таким образом, время было употреблено на коренное преобразование финансов. Первая из финансовых мер Питта — план постепенной выплаты долга из фонда погашения — был несомненной ошибкой; но при помощи ее удалось восстановить государственный кредит. Для ослабления контрабанды Питт понизил пошлины, что сделало занятие ею мало прибыльным. Он восстановил Уолполев план акциза. Между тем государственные расходы были понижены, для введения экономии во всей отрасли управления назначались комиссия за комиссией. Уже отмеченное нами быстрое развитие национальной промышленности, без сомнения, помогло успеху этих мер. Кредит был восстановлен, контрабанда значительно ограничена. Через два года оказался избыток в миллион, и хотя отменялись пошлина за пошлиной, но с каждым понижением налогов доход все повышался. Между тем Питт показал политическое значение новой финансовой системы на более широком поприще. Ирландия тогда, как и теперь, была больным местом Англии. Деспотическое управление, которому она была подчинена со времени битвы при Бойне, естественно, принесло свои плоды: несчастную страну раздирали политические распри, церковные споры и заговоры крестьян. Во время американской войны управлявшая ею протестантская партия заняла столь угрожающее положение, что принудила английский парламент отказаться от контроля над парламентом в Дублине. Питт понял, что в значительной степени нищета и мятежи Ирландии зависели от ее бедности: население ее быстро возрастало, в то время как культура оставалась на прежнем уровне, а торговля погибла. Эта бедность в значительной степени была результатом несправедливых законов — Ирландия была страной пастбищ, но для защиты английских скотоводов экспорт ее скота в Англию был запрещен; для за-

щиты интересов английских суконщиков и ткачей ее товары были обложены высокими пошлинами. На устранение этой несправедливости была направлена первая финансовая мера Питта. Внесенный им в 1785 г. билль устранил все препятствия для свободной торговли между Англией и Ирландией. Мера эта, на его взгляд, должна была сблизить «оставшиеся части раздробленной империи» и созданием преданной и благоденствующей Ирландии вознаградить отчасти за потерю Америки. Хотя ему пришлось почти одному бороться с сильной оппозицией вигов и купцов Манчестера, но он провел билль через английский парламент, а внесенные, при этом, в него поправки вызвали все же отмену его парламентом Ирландии. Но это поражение только вызвало с его стороны новое усилие в другом направлении. Франция считалась естественным врагом Англии, но в 1787 г. он заключил с ней торговый договор, позволявший подданным обеих стран проживать и путешествовать в каждой из них без особого разрешения или паспорта, устранивший все торговые ограничения и понимавший все ввозные пошлины.

Индия обязана торжеству Питта той формой управления, которая осталась без перемен до наших дней. Внесенный им в 1784 г. «индийский билль» сохранил по внешности политические и торговые полномочия директоров, но установил контрольную палату, составленную из членов Тайного совета, для одобрения или отмены их актов. Но на практике полномочия совета директоров перешли к Тайному комитету из трех членов, выбранных из состава его; им подчинил билль все более важные административные дела, тогда как в контрольной палате дела, в сущности, решались ее президентом. Так как на деле этот президент был новым государственным секретарем по индийским делам и стал важным членом всякого министерства, подобно товарищам, ответственным за свои действия перед парламентом, то управление Индией вошло, таким образом, в состав общей системы английского управления. В то же время Тайный комитет восполнял тот опыт в индийских делах, который мог отсутствовать у министра. Между тем на отношении Англии к ее далеким владениям сказалось влияние нового настроения, овладевшего английским народом. Обсуждение различных планов управления Индией пробудило сознание национальной ответственности за хорошее управление ею; явилось общее стремление предоставить беднейшему индусу такую же охрану от несправедливости и притеснений, какой пользовался беднейший англичанин. Это стремление выразилось в процессе Уоррена Гастингса. По окончании войны Гастингс вернулся из Индии, ожидая таких же щедрых наград, как и Клайв. Он спас все приобретения Клайва; положил основание великой империи на Востоке; выказал редкие административные способности, предусмотрительность,

мужество и уверенность, отличающие прирожденного руководителя. Но мудрость и слава его управления не могли скрыть его страшной жестокости. Его обвиняли в том, что за большую сумму он продал содействие британских войск истреблению свободных племен роиллов, что при помощи насилия он отнял полмиллиона у раджи Бенареса и что при помощи пытки и голода он добился больше миллиона от принцесс Аудских. Его обвиняли в сохранении за собой власти при помощи столь же бессовестных мер и в убийстве одного противившегося ему туземца посредством злоупотребления формами английского права. Почти по всем этим обвинениям более спокойное суждение позднейших исследователей оправдало Гастингса. Почти не может быть сомнения в том, что лично он много сделал для обеспечения новых подданных Британии справедливым и мирным управлением. Самые суровые и жестокие его поступки служили просто применением той административной системы, которая господствовала в Индии ранее. Но подобная система противоречила новым гуманным стремлениям англичан, и немногие осмелились оправдывать Гастингса, когда Бёрк в порыве страстного красноречия предложил возбудить против него преследование. Этот важный процесс тянулся ряд лет, и впоследствии Гастингс добился оправдания. Но цель преследования, в сущности, была достигнута — оно обратило внимание и симпатии англичан на племя, вполне им чуждое и отделенное от них широкими морями: крестьянин Корнуолла и Кемберленда научился сочувствовать бедствиям крестьян Бенгалии.

Еще во время процесса Гастингса гуманность англичан дала себя почувствовать на более широком поприще. В год, следовавший за установлением свободной торговли с Францией, новая филантропия вместе с созданным Уэсли религиозным движением напали на работорговлю. Одной из выгод, доставленных Англии победами Мальборо, было право исключительной торговли рабами между Африкой и испанскими владениями. Англия же ввела рабство в свои американские колонии и на острова Вест-Индии. Теперь стали широко и глубоко чувствовать ужасы и несправедливость работорговли, то пагубное и унижающее влияние, какое она оказывала на Африку: «После беседы с младшим Питтом на открытом воздухе у подножия старого дерева, как раз над крутым спуском в долину Кестона», его друг Уильям Уильберфорс решил в 1788 г. внести Билль об уничтожении работорговли. Положение Уильберфорса как представителя «евангелической партии» придавало особый вес его заступничеству в этом деле; но билль разбился о противодействие работорговцев Ливерпуля и общее равнодушие палаты общин. Одушевлявшему политику Питта духу гуманности приходилось бороться с затруднениями внутренними и вне-

шними; его старания подорвать вражду одной нации к другой при помощи более свободных сношений встретили в самом движении, из которого вытекали, врага еще более опасного, чем предрассудки англичан. За Ла-Маншем это движение начало переходить в революцию, которой суждено было изменить положение всего мира.

В Англии XVII в. сопротивление пуритан сумело, наконец, остановить общее стремление эпохи к религиозному и политическому деспотизму. В результате революции 1688 г. там на практике установилась свобода совести и право народа управлять собой через своих представителей в парламенте; много раньше утвердилось там общественное равенство; каждый от высшего до низшего был подчинен одному и тому же закону, который и охранял его. Английская аристократия оказывала сильное влияние на управление, но не пользовалась большими гражданскими преимуществами, установившееся в силу закона и обычая причисление всех членов знатного дома, кроме старшего сына, к простому народу, помешало образованию народа обособленного класса. Дворянство не отделялось непроходимой преградой от промышленных классов, а последние, в свою очередь, не имели таких преимуществ, которые могли бы обособлять их от низших классов общества. После непродолжительной борьбы господствующим началом английского управления явилось общественное мнение, общий взгляд образованных англичан. Во всех прочих крупных государствах Европы религиозные войны оставили только тень свободы. Правительства стремились к чистому деспотизму. В церкви, государстве, обществе господствовали привилегии. Само общество опиралось на строгое отделение одного класса от другого, отказывавшее массе народа в юридическом или экономическом равноправии. Мы уже видели, насколько подобное понимание национальной жизни противоречило тем идеям, какие распространяло по всей Европе широкое развитие просвещения в XVIII в. Почти во всех странах просвещенные правители старались при помощи административных реформ до некоторой степени удовлетворить проявлявшееся осознание несправедливости. С попытками государей, вроде Фридриха Великого в Пруссии и Иосифа II в Австрии и Нидерландах, соперничали усилия государственных людей, вроде Тюрго во Франции. Действительно, во Франции всегрезче чувствовалось противоречие между настоящим положением общества и новыми идеями общественного строя — нигде корона не одерживала более полной победы: аристократия была лишена всякого участия в общественных делах; она пользовалась социальными привилегиями и была свободна от всех государственных повинностей, но не имела того осознания общественных обязанностей, которое до известной степени всегда при

сутствует у правящего класса. Цехи и монополии стесняли деятельность промышленника и торговца и отделяли их от рабочих классов, все равно как ценность, придававшаяся знатному происхождению отделяла те и другие от аристократии.

Но если сравнивать ее политическое положение с положением большинства окружающих ее стран, то Франция стояла высоко. Ее управление было менее деспотично, богатство крупнее и распределено равномернее, судебное устройство лучше, а общественный порядок обеспеченнее. Ее крестьянство представлялось англичанам бедным, но было намного богаче немецкого или испанского; средний класс же был самым деятельным и образованным в Европе. При Людовике XV на деле господствовала свобода мнений и образовался класс писателей, с чрезвычайным талантом и энергией посвятивших себя популяризации тех идей общественной и политической справедливости, с которыми они познакомились у английских писателей, а Монтескье и Вольтер — путем личного соприкосновения с жизнью Англии. Нравственные понятия эпохи — любовь к человечеству, сознание братства людей, ненависть к деспотизму, сострадание к преступникам и беднякам, стремление к высшему и лучшему укладу жизни и деятельности — находили себе в массе писателей, особенно у Руссо; такое пылкое и красноречивое выражение, что проникали в сердца народа. Но эта новая сила ума резко сталкивалась с теми общественными формами, которые встречала на каждом шагу: философ обличал деспотизм духовенства; крестьянин роптал на право помещика судить его своим судом и требовать от него феодальных повинностей; купец возмущался торговыми ограничениями и тяжелыми налогами; поместное дворянство восставало против своего отдаления от общественной жизни и от управления страной. Невозможность проведения внутренних реформ обращала всю эту новую активность на сочувствие внешней борьбе против угнетения. Общественное мнение вызвало союз Франции с боровшейся за свободу Америкой, и к армии Вашингтона присоединились французские добровольцы с маркизом де Лафайетом во главе. Американская война содействовала более широкому распространению во всем народе стремления к свободе и в то же время усилила финансовые затруднения правительства, от которых оно могло освободиться только путем обращения ко всей стране. Людовик XVI решил созвать Генеральные штаты, не собиравшиеся с 1614 г., и пригласить знать к отказу от ее податных изъятий. Его решение сильно взволновало все стремления и желания, кипевшие в сердцах народа, и едва в мае 1789 г. Генеральные штаты собрались в Версале, как система деспотизма и привилегий поколебалась. Происшедшее в Париже восстание разрушило Басти-

лию, и взятие ее было принято за начало новой эры конституционной свободы во Франции и во всей Европе. Даже в Англии весть о падении Бастилии вызвала в людях чрезвычайную радость: «Это величайшее событие, когда-либо случавшееся в мире, — воскликнул Фокс в порыве восторга, — и притом самое лучшее!».

Питт смотрел на стремление французов к свободе, которой уже давно пользовались англичане, более холодно, но без недоверия. Но в это время внимание его было отвлечено припадком безумия, овладевшим королем в 1788 г., и требованием регентства, выдвинутым тотчас принцем Уэльским. Принц принадлежал к партии вигов, и Фокс, путешествовавший по Италии, поспешил на родину для поддержания его требования, в полной уверенности, что за регентством принца последует и его возвращение к власти. Питт с успехом восстал против этого на том основании, что в подобном случае право выбора временного регента с особыми ограничениями принадлежит парламенту, и согласно с этим билль, передававший регентство принцу, уже проходил через палаты, когда выздоровление короля положило конец долгому спору. Притом внимание Питта поглощали внешние затруднения. При Екатерине II Россия приобрела большое значение, а Екатерина с самого начала поставила своей целью присоединение Польши, изгнание турок из Европы и утверждение русского престола в Константинополе. Достигнуть первой цели ей пока помешал Фридрих II. Она, в сущности, уже сделалась повелительницей всей Польши, ее войска занимали королевство, и она посадила на престол своего кандидата, когда Фридрих в союзе с императором Иосифом II принудил ее допустить Пруссию и Австрию к участию в разделе добычи. Раздел 1773 г. продвинул русскую границу на запад — до верхней Двины и Днепра, но доставил Галицию Марии-Терезии, а Западную Пруссию — самому Фридриху. Не достигнув своей первой цели, Екатерина для осуществления второй выждала то время, когда сопротивление Пруссии планам Иосифа присоединить Баварию разрушило союз обеих германских держав и когда смерть Фридриха устранила самого бдительного ее врага. Тогда, в 1788 г. Иосиф и императрица сговорились разделить Турецкую империю. Но Пруссия все еще была настороже, а Англию уже не стесняли, как в 1773 г., несогласия с Америкой. Установленная Чатамом дружба обеих стран была прервана изменой Бьюта и почти разрушена образованием союза северных нейтральных держав; теперь, содействуя преемнику Фридриха в восстановлении голландского штатгальтерства, Питт возобновил их дружбу в 1789 году. Ее значение сказалось в союзе Англии, Пруссии и Голландии для сохранения Турецкой империи*. Казалось,

предстояла великая европейская война, в которой сочувствие и помощь Франции представляли величайшую важность; но названный договор усугубил эту опасность. Весной 1790 г. умер Иосиф, огорченный неудачей своих планов и восстанием Нидерландов против его нововведений, и Австрия отказалась от деятельного участия в войне с турками.

Между тем во Франции события шли быстрым ходом. Генеральные штаты устранили разделение между различными сословиями и превратились в Национальное собрание, уничтожившее привилегии провинциальных парламентов**, знати и церкви. В октябре парижская чернь пошла на Версаль и принудила короля вернуться с ней в столицу. Вместо своей прежней деспотической власти Людовик XVI принял поспешно составленную конституцию. Смуты и беспорядки, сопровождавшие эти крупные перемены, представлялись Питту явлениями преходящими. Еще в январе 1790 г. он верил, что «настоящие потрясения во Франции должны рано или поздно увенчаться общей гармонией и стройным порядком» и что, установив свою свободу, «Франция явится одной из самых блестящих держав Европы». Но нация далеко не разделяла спокойного благожелательного взгляда Питта на революцию. Осторожный здравый смысл массы англичан, их любовь к порядку и закону, отвращение к насильственным переменам и отвлеченным теориям, а также их уважение к прошлому быстро вызвали во всей стране нерасположение к революционным переменам, следовавшим одна за другой по ту сторону Ла-Манша. И политический смысл, и политический предрассудок нации были воспламенены предостережениями Эдмунда Бёрка. Возбуждавшее в Фоксе восторг падение Бастилии вызвало у Бёрка одно недоверие: «Раз между свободой и справедливостью устанавливается разделение, — писал он несколько недель спустя, — ни за одну ручаться нельзя». Ночь 4 августа, когда были отменены привилегии всех классов, внушила ему отвращение. Он увидел в этом, и справедливо, критический момент, обнаруживший характер революции, и тотчас принял свое решение: «Французы, — воскликнул он в январе, когда Питт предсказывал новой конституции блестящую будущность, — французы показали себя наилучшими разрушителями, какие когда-либо были на свете. В короткий промежуток времени они ниспровергли свою армию, свой флот, свою тор-

* Нельзя не отметить, что своекорыстная позиция Англии на долгие годы продлила рабство, в котором пребывали балканские народы, подвластные Турции. Стремление же России и Австрии к сокрушению Османской империи, вне зависимости от планов монархов обеих империй, объективно вело к освобождению христиан Балканского полуострова.

** В данном случае — высшие судебные инстанции для различных провинций Франции.

говлю, свои искусства и свои фабрики». Но в парламенте Бёрк стоял одиноко. Виги, хоть и недоверчиво, следовали за Фоксом, одобрявшим революцию. Тори, еще более недоверчиво, следили за Питтом, выражавшим горячее сочувствие конституционному управлению, руководившему Францией. В тот момент революционная партия представила яркое доказательство своего дружественного отношения к Англии. Испания была раздражена поселением англичан на Нотка-Зунде в Калифорнии и, согласно, «семейному соглашению», обратилась за помощью к Франции. Французское министерство, опираясь на партию, которая считала сделанное достаточным, высказалась за войну, как за лучшее средство задержать революцию и восстановить власть короны. Революционная партия, естественно, воспротивилась этому намерению. После жестокой борьбы у короля было отнято право объявлять войну иначе, как с согласия собрания, и всякая опасность враждебных действий исчезла: «Французское правительство, — утверждал Питт, — склонно поддерживать с Англией самую неограниченную дружбу». Он не видел в происходивших там революционных переменах основания, почему Британия не должна отвечать Франции дружбой же. Он был убежден, что только совместное действие Франции и Англии положит конец смутам в Восточной Европе. Его вмешательство расстроило на время новую попытку Пруссии отнять у Польши Данциг и Торн. Хотя Россия еще сильно теснила Турцию, но война с русскими была в Англии так непопулярна, что враждебное голосование парламента принудило Питта прекратить свои вооружения; новый союз Австрии и Пруссии, обещавший в этот момент привести к концу турецкую войну, обещал также новое нападение на независимость Польши.

В то время как Питт высказывался за дружбу между обеими странами, Бёрк стремился сделать ее невозможной. Правда, он давно уже утратил всякое влияние на палату общин. Его красноречие, в прениях о штемпельных законах соперничавшее с красноречием Чатама, перестало нравиться большинству ее членов. Его длинные речи, глубоко философский характер доказательств, блеск и часто эксцентричность иллюстраций, страстная серьезность и отсутствие спокойствия и сдержанности — все это поражало и утомляло окружавших его помещиков и купцов. Под конец его стали называть «обеденным колоколом палаты» — так быстро пустели ее скамьи, когда он вставал говорить. На время его активность нашла себе выход в обвинении Гастингса, и его величавые обращения к справедливости Англии заглушили злословие. Но с окончанием обвинения его репутация снова упала, и приближение старости — ему было тогда за 60 лет, — по-видимому, предписывало ему удаление из собрания, где он стоял одиноко и не

пользовался популярностью. Но и возраст, и разочарование, и одиночество — все было забыто, когда Бёрк увидел за Ла-Маншем воплощение всего того, что он ненавидел: революцию, основанную на пренебрежении к прошлому и грозившую гибелью всему общественному строю, им созданному; крушение строгого порядка классов и рангов под влиянием учения об общественном равенстве; грубое разрушение и перестройку государства; упразднение в одну ночь церкви и знати. Против увлечения тем, что он справедливо считал новой политической религией, он задумал поднять увлечение старой. Он был в одно и то же время и великим оратором, и великим писателем; теперь, когда палата перестала его слушать, он обратился к стране письменно: «Размышления о французской революции», изданные им в октябре 1790 г., обличали не только необдуманные и насильственные действия, запятнавшие великий переворот во Франции, но и сами начала, из которых он вытекал. Бёрк глубоко понимал необходимость общественного порядка и ценность той непрерывности в деятельности людей, «без которой они становятся похожими на летних мух»; но это скрывало от него все прочее, оставляло ему только веру в простой мятеж и еще более простодушную веру в простое стремление к новизне, мешало ему видеть действительное благородство целей и характера даже у самых пылких революционеров. Он не хотел видеть никаких злоупотреблений в павшем прошлом, ничего кроме разрушения в обществе будущего. Он проповедовал крестовый поход против людей, которых считал врагами религии и цивилизации, и призывал войска Европы к подавлению революции, начало которой грозило гибелью всем государствам.

Главным препятствием к такому походу служил Питт, и одно из самых сильных мест «Размышлений» заканчивалось горькой насмешкой над политикой министра: «Век рыцарства прошел, — воскликнул Бёрк, — наступил век софистов, экономистов и счетчиков, и слава Европы угасла навсегда». Но ни насмешки, ни нападки не заставили Питта сойти с намеченного им пути. В момент выхода «Размышлений» он дал Франции новое уверение в том, что не намерен иметь ничего общего с крестовым походом против революции: «По отношению к внутренним несогласиям Франции, — писал он, — Англия намерена сохранять нейтралитет, которого она держалась добросовестно до сих пор; она отступит от него только в том случае, если поведение Франции заставит ее прибегнуть к самозащите». Действительно, он был настолько далек от увлечения распространявшейся вокруг него реакционной паникой, что выбрал это время для поддержки предложенного Фоксом Закона о диффамации; этот закон переносил от судей к присяжным решение вопроса о том, что считать в произведении диффамацией, и,

таким образом, увенчивал свободу печати. Сам Питт провел в 1791 г. билль, являющийся одним из благороднейших его дел, хотя он мало был замечен в бурях эпохи. Он смело преодолел возбужденное американской войной опасение, что дарование колониям самоуправления только послужит шагом к отделению их от метрополии, и учредил в обеих Канадах собрание из двух палат: «Я убежден, — сказал Фокс, расходившийся, правда, с Питтом в вопросе о характере нужной для Канады конституции, — что единственное средство с успехом сохранить за нами далекие колонии заключается в даровании им самоуправления». Позднейшая история английских владений оправдала политику Питта и проницательность Фокса. Не больше успеха имел Бёрк в своей собственной партии. Фокс остался горячим поклонником революции и отвечал с необыкновенным пылом на новые нападки Бёрка. До тех пор их обоих связывала тесная дружба; теперь фанатичный Бёрк объявил ей конец: «Наша дружба погибла», — воскликнул Фокс, вдруг залившись слезами. «Нет, — возразил Бёрк, — я знаю цену своим действиям. Нашей дружбе пришел конец». В стенах парламента Бёрк стоял совсем одиноко. В июне 1791 г. его «Обращению от новых вигов к старым» не удалось отвлечь от Фокса ни одного сторонника. Питт холодно посоветовал ему скорее восхвалять английскую конституцию, чем поносить французскую. «Выражением своих взглядов, — печально писал Бёрк французским принцам, покинувшим родину и собиравшим войска в Кобленце, — я приобрел себе много врагов и мало друзей». Но мнение народа понемногу склонялось на его сторону. Продажа 30 000 экземпляров показала, что «Размышления» отражают общее настроение англичан. Действительно, настроение Англии в этот момент не благоприятствовало сколько-нибудь справедливой оценке революции. Внимание Англии было больше всего направлено на промышленность; люди, много работавшие и быстро богатевшие, разделявшие узкие практические воззрения дельцов, с неудовольствием смотрели на это внезапное нарушение порядка, на эту неутомимую, но колеблющуюся деятельность, на эти риторические обращения к чувству человечности, на эти отвлеченные и часто пустые теории. В Англии это было время политического довольства и общественного благосостояния, быстрого экономического развития и сильного религиозного движения. Свойственная островитянам слабость интереса к другим народам мешала людям понять, что на материке отсутствуют все элементы этого довольства, порядка, мирного и гармоничного развития, примирения общества с религией. Насильственность законодательных перемен революции и рост анархии в стране уничтожили те симпатии, которые революция вызвала сначала среди англичан. Скоро эти симпатии, в сущности, ограничились немно-

гими группами реформаторов, которые собирались в «конституционных клубах» и неосторожный язык которых только усиливал национальную реакцию. Но, несмотря на призывы Бёрка и возгласы вельмож, бежавших из Франции и желавших одного — выступить против своей родины, Европа сторонилась войны, а Питт сохранял свое нейтральное положение, хотя, по-видимому, с большой сдержанностью.

Положение дел на Востоке заставляло Питта сильно желать восстановления спокойствия во Франции; поэтому он расстроил составленный знатными эмигрантами план высадки на ее берега и прямо объявил в Вене, что если между Францией и императором начнутся военные действия, то Англия сохранит полный нейтралитет. Но император, так же как и сам Питт, желал избежать войны. Хотя Екатерина, окончив свою войну с Турцией, и хотела втянуть обе немецкие державы в борьбу с революцией, так как это позволило бы ей одной завладеть Польшей, но ни Австрия, ни Пруссия не желали связывать себе руки подобной войной. Бегство Людовика XVI из Парижа в 1791 г. поставило было на минуту Европу накануне войны, но он был перехвачен и возвращен, и на время опасность склонила, по-видимому, революционеров Франции к большей умеренности. Людовик не только принял конституцию, но и предостерегал серьезно императора против всякого вооруженного вмешательства, так как оно должно было погубить его престол. Поэтому на конференции в Пильнице Леопольд и король Прусский удовлетвоались неопределенной декларацией, приглашавшей европейские державы содействовать восстановлению нормальной формы правления во Франции, воспользовались нейтралитетом Англии, чтобы отказать французским принцам во всякой военной помощи, и просто занялись делами Польши. Но скоро мир, которого они желали, сделался невозможным. Конституционные роялисты во Франции воспользовались раздражением, вызванным Пильницкой декларацией, и снова выдвинули требование войны, которая, на их взгляд, должна была придать силу престолу. Более крайние революционеры, или якобинцы, вопреки сопротивлению своего вождя Робеспьера, тоже высказались за войну с императором. Сделали они это под влиянием «жирондистов», или депутатов Южной Франции, которые стремились к республике и видели в великой национальной войне средство к ниспровержению монархии. Обе партии вместе потребовали роспуска армии, образованной эмигрантами на Рейне, и хотя Леопольд принял это требование, но в апреле 1792 г. Франция объявила его преемнику Францу войну.

Ошибочно предполагая увлечение революцией в Англии, французы считывали на содействие ее в этой войне и были удивлены и возмущены

решением Питта держаться в стороне от борьбы. Напрасно Питт старался уничтожить это раздражение, ограничивая свои требования неприкосновенностью Голландии и обещая нейтралитет даже в случае занятия Бельгии французской армией. Напрасно подкрепил он эти обещания уменьшением военных сил и установлением мирного бюджета, основывавшегося на сильном понижении налогов. Революционеры все еще не теряли надежды на помощь Англии в деле освобождения Европы; но теперь они пришли к мысли, что прежде чем эта помощь будет оказана, нужно освободить саму Англию. Поэтому они признали первой своей задачей произвести в Англии революцию, которая освободит народ от аристократии, угнетающей как его, так, по их мнению, и целые народы вне пределов самой Англии. Необходимым условием для установления в Англии свободы стало восстание Индии и Ирландии для освобождения их от английского ига. С этого момента агенты Франции стали всюду «сеять семена революции»: в Ирландии они вступили в сношения с «Соединенными ирландцами»; в Индии они появились при дворах туземных князей; в самой Англии они старались при помощи «конституционных клубов» вызвать то же настроение, что и во Франции. Французский посланник Шовелен горячо протестовал против прокламации, объявлявшей эти сношения мятежными. Как подействовали эти усилия революционеров на друзей революции, это сказалось в вынужденном ими у Фокса заявлении, что в такой момент неудобно далее обсуждение парламентской реформы. Между тем Бёрк усиленно старался распространить по всей Европе тревогу сочинениями, в которых натянутость стиля забывалась ради напряженности чувства. С самого начала он побуждал эмигрантов взяться за оружие и послал к ним в Кобленц своего сына: «Бейте тревогу, — писал он им, — рассеивайте ужас». Но посеянный им роялистский террор вызвал в самой Франции террор революционный. Когда императору стала грозить война, оба германских двора сблизились, неохотно отказавшись от всякой надежды на мир с Францией. Они собрали армию в 80 000 человек под командой герцога Брауншвейгского и медленно двинули ее в августе на Маас. Хотя Франция и вызвала борьбу, но на деле она оказалась почти беззащитной; ее войска в Бельгии при первом столкновении обратились в позорное бегство; от армии паника перешла ко всему народу и приняла насильственные и ужасные формы. При первом известии о приближении союзников, парижская чернь ворвалась 10 августа в Тюильри, и по ее требованию Людовик, искавший себе убежища в собрании, был лишен сана и заключен в Тампль. В сентябре генерал Дюмурье при помощи смелости и ловких переговоров остановил движение союзников в Аргонских теснинах; в это время шайки наемных убийц перебили роя-

листов, наполнивших тюрьмы Парижа*, с целью повлиять на выборы в новый Конвент, собравшийся для отмены королевской власти. Отступление прусской армии, численность которой была настолько ослаблена болезнями, что поход на Париж стал невозможным, и блестящая победа Дюмуре при Жемаппе, подчинившая ему Нидерланды, обратили панику французов в безумную самоуверенность. В ноябре Конвент объявил, что Франция предлагает помощь своих солдат всем народам, которые желают бороться за свободу: «Все правительства — наши враги, — сказал его председатель, — все народы — наши союзники». Несмотря на договоры, заключенные всего за два года раньше, и на условие, поставленное Англией, когда она обязывалась соблюдать нейтралитет, французское правительство решилось напасть на Голландию и приказало своим генералам при помощи оружия завладеть устьем Шельды.

Делать это значило навязывать Англии войну. Общественное мнение с каждым днем все сильнее оказывало давление на Питта. Ужасные сентябрьские убийства, гнусный деспотизм парижской черни сильнее отвратили Англию от революции, чем все красноречие Бёрка. Но даже отзывая после заточения короля своего посла из Парижа, Питт упорно сохранял надежду на мир. Он надеялся при помощи посредничества Англии положить конец войне и, самое лучшее, доставить Франции возможность устраивать, как ей угодно, ее внутренние дела. В жизни Питта нет столь высокой поры, как та, когда он один в Англии отказывался подчиниться растущему стремлению нации к войне. Даже известие о сентябрьских убийствах только вызвало в нем надежду, что Франция воздержится от всякой завоевательной войны и избежит общественной анархии. В октябре французский агент в Англии доносил, что Питт готов признать республику. В начале ноября он еще настаивал перед Голландией на строгом нейтралитете. Франция, а не Англия, вырвала у него, наконец, из рук мир, за который он так отчаянно держался. Постановление Конвента и нападение на голландцев не оставили ему другого выбора, кроме войны, так как Англия не могла терпеть французский флот в Антверпене или покинуть таких союзников, как Соединенные провинции. Но даже в декабре известие о предстоящем разделе Польши вызвало у Питта последнее усилие в пользу мира. Он предложил Австрии помочь ей приобрести Баварию, если она примирится с Францией, и обещал

* Имеются в виду кровавые события 2–5 сентября 1792 г., вошедшие в историю как Сентябрьская бойня, когда чернь расправлялась с заключенными (в большинстве своем это были люди, не выступавшие против нового режима и арестованные лишь за дворянское происхождение или родство с эмигрантами), содержавшимися в парижских тюрьмах Аббэ, Ла Форс, Карм и Шатле.

последней не начинать войны, если эта держава перестанет нарушать независимость соседних государств. Но за Ла-Маншем его умеренность приняли за трусость, а в Англии общая скорбь при известии о казни короля указала на усиленное стремление к борьбе. Неприятие последних предложений Питта действительно сделало ее неизбежной. Обе стороны прекратили дипломатические сношения, и в феврале 1793 г. Франция объявила Англии войну.

Глава IV

Война с Францией (1793—1815)

С того момента как Франция объявила Англии войну, власти Питта пришел конец. Его гордость, непоколебимая твердость и общее доверие к нему нации еще удерживали его при делах; но его деятельность почти ограничивалась тем, что он следовал потоку народного чувства, которого никогда не понимал вполне. Сами достоинства его характера делали его непригодным для ведения войны. Он был, в сущности, министром мира; его втянули в войну паника и энтузиазм, которые он разделял в очень слабой степени, и у него не было способности его отца сразу проникаться симпатиями и страстями окружающих и, наоборот, возбуждать в них страсти и симпатии. Странной овладел припадок возбуждения и тревоги, не уступавших возбуждению и панике во Франции. Вера французов в их иллюзии касательно настроя Англии обманула на время самих англичан. В сущности, число сторонников республики ограничивалось несколькими кучками людей, которые, ребячески подражая происходившему за Ла-Маншем, созывали конвенты и величали себя гражданами и патриотами. Но в массе англичан страх перед революцией переходил в это время в чистую панику. Даже большинство вигов покинуло Фокса, все еще сохранявшего веру во Францию и революцию. «Старые виги», как они себя называли, с герцогом Портлендом, графами Спенсером и Фиц-Уильямом и Уиндгемом во главе последовали за Бёрком и присоединились к правительству. Сам Питт был мало затронут господствовавшей политической реакцией, но его потрясла мысль об опасности социальной, и он поверил в существование «тысяч бандитов», готовых восстать против престола, перебить всех землевладельцев и ограбить Лондон»: «Пэн не дурак, — сказал он племяннице, указавшей ему на одно место в «Правах человека», где этот писатель защищал начала революции. — Он, пожалуй, прав; но если бы я сделал то, чего он желает, наутро у меня оказались бы на руках тысячи бандитов и сожженный Лондон».

Эта мысль о социальной опасности только и мирила его с войной. Как ни неприятна была для него необходимость борьбы, навязанной Англии, но он примирялся с ней тем легче, что, на его взгляд, война должна была остановить развитие «французских начал» в самой Англии. Худшим результатом этой паники был ряд законодательных мер, в которых она нашла себе выражение. Действие Habeas corpus act'a было приостановлено, Билль против мятежных сборищ ограничил свободу общественных собраний, Закону об измене был предоставлен большой простор. На печать обрушился ряд преследований; некоторые диссидентские священники были привлечены к суду за мятежные проповеди; сходки почитателей Франции грубо разгонялись. Наихудшие крайности вызвала эта паника в Шотландии, где были приговорены к ссылке молодые виги, единственной виной которых было заступничество за парламентскую реформу, и где грубый судья открыто выразил свое сожаление о том, что обычай пытки в случае мятежа вышел из употребления. Паника скоро прошла из-за недостатка материала для ее поддержания. В 1794 г. были привлечены к суду по обвинению в государственной измене главы «Корреспондентского общества», выказывавшего симпатии к Франции, но их оправдание показало, что всякий страх прошел. За исключением случайных бунтов, вызывавшихся просто недостатком хлеба у бедняков, Англию в течение 20 лет войны не волновали никакие общественные беспорядки. Но внушенное паникой слепое отвращение от всяких реформ сохранилось и тогда, когда паника была забыта. В продолжение почти четверти века трудно было привлечь сочувствие к какой-либо мере, грозившей изменить существовавшее учреждение, как бы благодетельна ни была перемена. Страх перед революцией остановил и стеснил даже филантропическое движение, составлявшее благородную особенность эпохи.

Сначала, казалось, все шло плохо для Франции: она была окружена кольцом врагов — против нее составили вооруженный союз империя, Австрия, Пруссия, Сардиния, Испания, Англия; их усилиям помогала междоусобная война. Крестьяне Пуату и Бретани подняли восстание против парижского правительства; жестокие правители, завладевшие теперь властью в столице, вызвали мятеж в Марселе и Лионе. Французские войска уже были вытеснены из Нидерландов, когда в 1793 г. к австрийцам присоединились во Фландрии 10 000 английских солдат под командой герцога Йорка*. Но жадность обеих германских держав упустила случай подавить революцию. Как и предвидел Питт, Россия получила теперь возможность

* Фридрих-Август, герцог Йоркский (1763—1827), — второй сын Георга III, английский военачальник. Бездарный полководец, неоднократно битый французами.

осуществить свои планы на Востоке, и Австрия с Пруссией оказались вынужденными, в интересах равновесия сил, принять участие в ее приобретениях на счет Польши. Но этот новый раздел последней стал бы невозможным, если бы восстановление монархии позволило Франции снова занять ее естественное место в Европе и принять союз, который в этом случае предложил бы ей Питт. Поэтому германские дворы старались продлить анархию, позволявшую им раздробить Польшу, и союзные войска, которые могли идти на Париж, были намеренно разделены для осад в Нидерландах и на Рейне. Подобная политика дала Франции время оправиться от ее поражений. Каковы бы ни были преступления и деспотизм ее вождей, но, несмотря на них, Франция оценила значение революции и выступила восторженно на защиту ее. Мятежи на западе и юге были подавлены, вторжение испанцев остановлено у подножия Пиренеев, а пьемонтцы прогнаны из Ниццы и Савойи. Важный Тулонский порт, призвавший на помощь против парижского правительства иноземцев и допустивший в свои стены английский гарнизон, был вынужден к сдаче мерами, указанными молодым артиллерийским офицером с острова Корсика Наполеоном Бонапартом. В начале 1794 г. победа при Флерюсе снова подчинила французам Нидерланды и указала на перемену счастья. Прекращение террора и тирании якобинцев объединило Францию внутри; в то же время победы сопровождали гигантские вооружения, какими она встретила коалицию. Испания запросила мира; Пруссия удалила свои войска с Рейна; сардинцы были прогнаны из приморских Альп; рейнские земли были отняты у австрийцев и до окончания года была завоевана Голландия. Пишегрю в середине зимы перешел с подавляющими силами через Ваал, и жалкие остатки тех 10 000 человек, которые последовали за герцогом Йорком в Нидерланды, ослабленные болезнями и трудностями отступления, вернулись в Англию.

Победы Франции разрушили коалицию, грозившую ей гибелью. Учрежденная Пишегрю после завоевания Голландии Батавская республика стала союзницей Франции. Пруссия купила себе мир уступкой своих владений к западу от Рейна. Летом был заключен мир с Испанией, а Швеция и протестантские кантоны Швейцарии признали республику. В самой Франции почти исчезли несогласия. Новые строгости против крайних республиканцев, последовавшие за учреждением Директории, доказали умеренный характер нового правительства. Сам Питт был утомлен войной и воспользовался этой переменой в настроении правителей Франции как предлогом для мира. Англия, правда, сохранила за собой господство на море. Победы ее моряков представляли странную противоположность слабости ее на суше. В начале войны, в 1794 г., лорд Гау одержал над французским флотом на широ-

те Бреста победу, носящую имя того дня, когда она была одержана, — 1 июня. Ее колониальные приобретения тоже были значительны. К британской короне перешла большая часть островов Вест-Индии, принадлежавших Франции, и еще более ценные поселения голландцев — мыс Доброй Надежды, Цейлон, знаменитые Острова Пряностей и Ява. Но у Питта не было средств активно вести войну. Армия отличалась малочисленностью и неопытностью, а ее вожди — полной неспособностью: «У нас нет генерала, — писал лорд Гренвил, — а есть некая старая баба с красной лентой». Как ни плохо велась война, она уже стоила огромных сумм. У Англии не было солдат, но были деньги, и Питт вынужден был обратить эти деньги в орудие войны. Он стал казначеем коалиции, и на его субсидии содержались войска союзников. Но вызывавшиеся этим огромные займы и быстрый рост расходов расстроили все его финансовые реформы. Обложение, спустившееся до низшего уровня в мирное управление Питта, поднялось до невиданной прежде высоты. Государственный долг быстро вырос: за три года он увеличился почти на 80 миллионов.

Хотя неудача его финансовых планов и ясное понимание опасностей, какие представляло для Европы продолжение войны, и заставляли Питта серьезно желать окончания борьбы с революцией, но он со своим стремлением к миру стоял почти одиноко. Народ в массе все еще был за войну, и этот пыл был поддержан Бёрком в его «Письмах о мире с цареубийцами», последнем вопле того фанатизма, который так сильно помог возникновению в мире кровавых войн. Франция желала войны не менее Англии. В то время как Питт старался открыть переговоры (1796 г.), победы французов внушили им надежды на новые завоевания, и хотя генерал Моро был остановлен в его походе на Вену, но удивительные успехи Наполеона Бонапарта, принявшего теперь команду над альпийской армией, подчинили ему Пьемонт. Скоро в руках французов оказалась Ломбардия; они ограбили герцогства к югу от По и заставили папу купить у них перемирие. Новые победы позволили Бонапарту вынудить у Австрии мир по договору в Кампо-Формио (октябрь 1797 г.). Франция не только получила Ионические острова, часть прежних владений Венеции, а также Нидерланды и весь левый берег Рейна, но и объединила Ломбардию, герцогства к югу от По и Папскую область до Рубикона в Цизальпийскую республику, находившуюся полностью под его контролем. Примирение с Австрией оставило Францию без врагов, а Англию — без союзников на материке. Бедствия войны становились с каждым днем все тяжелее. Слух о высадке французов в Ирландии сопровождался прекращением платежей звонкой монетой со стороны банка. С трудом был подавлен мятеж на флоте. В эту мрачную пору

войны скончался Бёрк, до конца протестуя против мира, который Питт, несмотря на свою прежнюю неудачу, пытался заключить в Лилле. Мир казался ему более, чем когда-либо необходимым: морскому первенству Британии угрожала коалиция вроде той, которая почти уничтожила его в американскую войну. Флоты Голландии и Испании снова соединились с флотом Франции, и если бы им удалось завладеть Ла-Маншем, Франция могла бы послать подавляющие силы на помощь задуманному в Ирландии восстанию. Но едва опасность появилась, как была устранена двумя крупными победами. Когда в 1797 г. испанский флот вышел в море, адмирал Джервис напал на него близ мыса Сен-Винсента и прогнал в Кадис с потерей четырех лучших его кораблей. Между тем голландский флот из Тесселя должен был оберегать французскую армию при высадке его в Ирландии, но встретился с далеко сильнеешим флотом под командой адмирала Дёнкэна и был почти уничтожен при Кэмпердауне после упорной битвы, показавшей, что голландцы еще достойны их старой славы. Это сражение погубило надежды ирландцев и вызвало в стране отчаянное восстание, но оно было подавлено после поражения мятежников при Винигэр-Хилле в мае и сдаче генерала Эмбера, высадившегося с французским отрядом, в августе 1798 г. Из трех нападений, на которые рассчитывала Директория, два были теперь отбиты. Англия еще господствовала на море; восстание в Ирландии окончилось неудачей. В следующем году была одержана решительная победа у Нила. Гениальный Бонапарт составил план поднять восстание в Индии, где Типпо Саиб, преемник Хайдера Али в Мизоре, поклялся прогнать англичан с юга. Бонапарт предложил Директории план завоевания Египта для подготовки похода в Южную Индию. В 1798 г. он высадился в Египте и быстро завоевал его целиком. Но адмирал Нельсон нашел 30 военных судов сопровождавших его экспедицию, расположенными в Абукирской бухте близко к берегу в одну линию и охраняемыми с обоих концов канонерскими лодками и батареями. Он решил двинуть свои корабли между французскими судами и берегом; его флагманский корабль показывал путь, и после ужасного двенадцатичасового боя (1 августа 1798 г.) девять французских кораблей было взято и истреблено, два сожжено и 5000 французов убито или взято в плен. Всякое сообщение между Францией и армией Бонапарта было прервано, и одним ударом разрушен его план сделать Египет точкой опоры для завоевания Индии.

Освободившись от опасностей, угрожавших ее власти в Ирландии и Индии, и господствуя над морями, Англия могла перейти к нападению на Францию; в данный момент этому содействовали настроение европейских держав и постоянные захваты Франции. Россия вступила с Австрией в тесный

союз, и с новыми надеждами Питт осыпал субсидиями обеих союзниц. Соединенные армии России и Австрии снова оттеснили французов за Альпы и Рейн; но упорная энергия генерала Массена позволила его солдатам удержаться в Швейцарии, а попытка соединенного войска русских и англичан отнять у французов Голландию была с успехом отражена. На Востоке Англия действовала удачнее. Заметив неуспех своих мечтаний завоевать Индию, Бонапарт составил план покорить Сирию и образовать из ее воинственных горцев армию, с которой можно было бы по желанию идти на Константинополь или Индию. Но турки упорно защищали Акру, ключ к Сирии, артиллерийский парк французов был перехвачен на море английским капитаном сэром Сидни Смитом, его моряки помогали туркам защищать крепость, и осаждающие вынуждены были отступить в Египет. Отчаявшись в успехе, Бонапарт покинул свою армию и вернулся во Францию. За его прибытием в Париж вскоре, 10 ноября 1799 г., последовало ниспровержение Директории. Место ее заняли три консула; но, в сущности, единственным правителем страны сделался под именем первого консула Бонапарт. Его энергичность сразу изменила положение дел в Европе. Он сделал мирные предложения Англии и Австрии, чтобы просто расшатать коалицию и выиграть время для устройства новой армии, тайком собиравшейся в Дижоне, тогда как Моро с рейнской армией снова двигался вдоль Дуная. В 1800 г. первый консул перешел через Сен-Бернар, и победа при Маренго принудила австрийцев очистить Ломбардию; только перемирие остановило поход Моро, взявшего Мюнхен и двигавшегося на Вену. По возобновлении войны осенью австрийцы были оттеснены к Вене, и Моро разбил их армию на Изаре при Гогенлиндене. В феврале 1801 г. Люневильский мир внезапно положил конец войне на материке.

Всего за несколько месяцев до окончания войны Питт провел унию Ирландии с Англией. История Ирландии в течение пятидесяти лет, следовавших за завоеванием ее Вильгельмом III, носит такой характер, что никто из англичан не может вспоминать ее без стыда. После сдачи Лимерика все ирландские католики — а их приходилось пять на одного протестанта — стали считаться чужестранцами в своей собственной земле. Католикам были закрыты палата лордов, палата общин, магистратура, все муниципальные должности, все места в армии, судах, адвокатуре, во всей администрации и юстиции. У католиков отрицали даже право выбирать своих представителей в парламент. Широкие конфискации, сопровождавшие частые восстания на острове, оставили у немногих католиков земли, а суровые законы принуждали даже и этих немногих, за редкими исключениями, исповедовать протестантизм. Необходимость заставляла, правда, на практи-

ке терпеть их религию и богослужение; но во всех общественных и политических отношениях туземные католики, другими словами огромное большинство населения Ирландии, представлялись своим протестантским властителям простыми дровосеками и водоносами. Сами протестанты считали себя колонистами, хвалились своим происхождением из Шотландии или Англии и считали для себя имя «ирландец» оскорблением. Как ни мало было в Ирландии протестантов, но половина их в политическом отношении была поставлена немногим лучше католиков: закон закрывал доступ ко всем гражданским, военным и муниципальным должностям пресвитерианам, составлявшим массу населения Улстера. Управление и правосудие стран, таким образом, тщательно удерживались в руках членов государственной церкви, совокупность которых составляла приблизительно одну двенадцатую населения острова; но на деле управление им было присвоено себе крупными землевладельцами из протестантов. «Гнилые местечки», созданные первоначально, чтобы поставить ирландский парламент в зависимость от короны, попали под влияние соседних лендлордов, которые, таким образом, входя лично в состав палаты пэров, были хозяевами и палаты общин. В течение первой половины XVIII в. две трети палаты общин, в сущности, назначались небольшой группой вельмож, бывших признанными «парламентскими антрепренерами» и руководивших по своему усмотрению парламентом. Для этих людей ирландская политика представлялась просто поводом к ограблению казны; за услуги их награждали пенсиями, должностями и деньгами; они же были советниками каждого наместника и настоящими правителями страны. Единственная узда для притеснений этой своекорыстной и подкупной олигархии заключалась в связи Ирландии с Англией и в подчинении ирландского парламента английскому Тайному совету; ирландский парламент не имел права законодательного или финансового почина и мог только принимать или отвергать билли, предлагаемые ему Тайным советом Англии. Притом, английский парламент присвоил себе право издавать для Ирландии постановления, столь же обязательные, как и для Англии, а один из его статутов объявил английскую палату лордов апелляционной инстанцией для ирландских пэров. Но как бы в вознаграждение за благодеяния своего покровительства, Англия сделала все возможное, чтобы подорвать торговлю Ирландии и погубить ее земледелие. Законы, вызванные завистью английских землевладельцев, запрещали ввоз в порты Англии ирландского рогатого скота и овец. Был запрещен также вывоз шерсти, так как он мог вредить выгодам английских скотоводов, и так к бедствиям плохого управления присоединилась бедность, усиливавшаяся вместе с быстрым ростом туземного населения, пока голод не превратил страну в чистый ад.

Горький опыт последнего завоевания долго подавлял среди туземцев всякую мысль о возмущении и восстании, время от времени вызывавшиеся общей нищетой и недовольством, которые носили чисто социальный характер и грубо подавлялись правящим классом. Когда, наконец, явилась опасность политического восстания, она исходила из среды самого правящего класса. В самом начале царствования Георга III ирландский парламент заявил притязание на исключительное право контроля над денежными назначениями и потребовал устранения наложенных на его независимость ограничений. Но это требование оказалось политической опасностью не раньше американской войны — опасностью столь значительной, что Англия принуждена была уступить. С конца войны, когда ирландские волонтеры отвоевали у министерства Рокингема законодательную независимость, связь между Англией и Ирландией поддерживалась только тем, что государь одного острова был также государем и другого. В течение ближайших восемнадцати лет Ирландия была независима; но ее независимость была простым прикрытием бесконтрольного хозяйничанья нескольких знатных фамилий и ирландской администрации, опиравшейся на поддержку английского правительства. Вся система монополий и патроната была доведена до такой степени, что во время уний более 60 депутатских мест находились в руках только трех фамилий — Гиллей, Понсонби и Бересфорд, а преобладающее влияние в парламенте принадлежало «казначейским местечкам», бывшим в полном подчинении у правительства. Победа волонтеров тотчас вызвала меры в пользу католиков и пресвитериан. Для пресвитериан, составлявших добрую половину их войска, волонтеры уже в 1780 г. добились полной политической свободы, благодаря отмене обязательного причащения; а в 1782 г. ирландский парламент сразу устранил последние жалобы диссидентов. Католики за их содействие были награждены отменой наиболее стеснительных уголовных законов. Но когда Графтон, опираясь на большинство ирландской партии, потребовал парламентской реформы и дарования равных прав католикам, то был жестоко разбит небольшой группой владельцев местечек, которые преимущественно руководили правительством и парламентом. Правящий класс находил управление делом слишком выгодным, чтобы делиться им с другими владельцами. Только при помощи грубого подкупа могли английские вице-короли обеспечивать себе его содействие для самых простых правительственных мер: «Если была когда-либо страна, неспособная к самоуправлению, — сказал лорд Гетчинсон, — так это Ирландия с ее развращенной аристократией, грубым простонародьем, плохим правительством и разрозненным населением». В глазах Питта главная опасность для Ирландии, заключалась

в нищете ее населения. Хотя ирландских католиков и сдерживала грубая сила их протестантских правителей, но Питт понимал, что их недовольство быстро может перейти в возмущение и что одной из причин их недовольства была, во всяком случае, нищета Ирландии, усиленная, если не первоначально вызванная, ревнивым устранением ирландских продуктов с их естественных рынков в Англии. В 1779 г. лорд Норт предоставил Ирландии большие облегчения во внешней торговле; но тяжелые пошлины, наложенные на все ирландские произведения, кроме льняной и шерстяной пряжи, все еще не допускали их в Англию. Одна из первых коммерческих мер Питта имела в виду положить конец этой ненормальности при помощи билля, устанавливавшего между обоими островами свободную торговлю. Его первые предложения были приняты ирландским парламентом; но опасения и зависть английских фермеров и фабрикантов внесли в билль поправки, предоставлявшие британскому парламенту надзор за ирландскими мореходством и торговлей, и так как это нарушало недавно приобретенную независимость, то билль в его новой форме был отвергнут Ирландией. Начало борьбы с революцией и усилия французских революционеров вызвать среди ирландцев восстание побудили Питта к новым примирительным и преобразовательным мерам. В 1793 г. он принудил ирландскую администрацию отказаться от того сопротивления, которое годом раньше расстроило его планы, и ирландский парламент принял без оппозиции предложения о допущении католиков в пределах острова к избирательному праву и гражданским и военным должностям. Это обещало открыть новую эру религиозной свободы, но обещание явилось слишком поздно. Быстро поднимавшаяся волна религиозных и социальных страстей устранила надежду на примирение. Общество «Соединенных ирландцев», основанное в 1791 г. в Белфасте Улфом Тоном, чтобы объединить католиков и протестантов в интересах парламентской реформы, увлеклось сношениями с Францией и планами восстания. Вести из Франции вызвали также волнение среди крестьян, роптавших на свою бедность и приниженность; их недовольство нашло себе выражение в насилиях тайных обществ, распространявших панику среди правящих классов. Положение ухудшалось схватками протестантов и католиков, начавшимися еще раньше французской революции. Католики образовали союз «Защитников» против насилий «Детей рассвета», тайного общества, состоявшего преимущественно из самых фанатичных пресвитериан. Впоследствии эти партии составили более широкие союзы — «Соединенных ирландцев» и «Оранжевистов».

Наконец, тлеющее недовольство и ненависть превратились в пламя. Паника, вызванная в 1796 г. попыткой французов под командой Гоша вторг-

нуться в Ирландию, пробудила такие страсти, которые превратили страну в чистый ад. Всюду бродили солдаты и колонисты, подвергавшие пыткам и истязаниям «бритых», как называли в насмешку ирландских крестьян за их коротко остриженные волосы, — все грабили и опустошали, всех убивали. Их насилия были одобрены землевладельцами, составлявшими ирландский парламент, в особом законе об амнистии и защищены на будущее время законом о восстании. Между тем «Соединенные ирландцы» подготовили восстание, задержанное неудачей французских экспедиций, на поддержку которых они рассчитывали, и, всего более, победой при Кэмпердауне. Когда, наконец, в 1798 г. мятеж разразился, его жестокости явились ответом на жестокости протестантов. Теперь их подвергали пыткам и истязаниям и избивали беспощадно всех, взятых в плен, солдат. Но едва мятежники собрали 14 000 человек в лагере на Винегэр-Хилле, близ Эннискорта, как лагерь был взят английскими войсками, и мятеж полностью подавлен. Подавление его пришло как раз вовремя, чтобы предотвратить большие несчастья. Через несколько недель после него в Мейо высадились 900 французских солдат под командой генерала Эмбера, которые разбили при Кэслбаре втрое превосходившие их британские силы и сдались только тогда, когда навстречу им вышел наместник лорд Корнуоллис с 30 000 человек. Недовольство Питта «слепой яростью ирландских протестантов» помогло Корнуоллису остановить неистовства армии и оранжистов; но обнаружившиеся при этом отвратительные жестокости вызвали твердое решение положить конец шутовской независимости, оставлявшей Ирландию беспомощной в таких руках. Поведение ирландского парламента во время споров о регентстве убедило всех политиков Англии в необходимости унии обоих островов. В то время как Англия отвергла притязания принца Уэльского на регентство в силу его права, Ирландия признала их; а так как связь между обоими народами оставалась только подчинение их одному правителю, то такой шаг, понятно, мог привести к полному их обособлению. Сознание этой опасности обеспечило в Англии радушный прием предложению Питта соединить оба парламента. Торгаши ирландскими местечками, конечно, оказали упорное и решительное сопротивление; но для них это был просто денежный вопрос, и их согласие было куплено за миллион деньгами и за щедрую раздачу пенсий и пэрских титулов. Как ни низки и позорны были такие средства, но Питт мог справедливо указать на то, что только при помощи их и можно было провести Биль об унии. Когда в июне 1800 г. вопрос был окончательно улажен, 100 ирландских депутатов вошли в состав палаты общин в Вестминстере, а 28 светских и четыре духовных пэра, избираемых для каждого парламента их товарищами, заняли места в

палате лордов. Торговля между обеими странами была освобождена от всех ограничений, и все торговые преимущества одной страны были перенесены на другую, а налоги распределены между обоими народами пропорционально.

Широкое пожалование пэрства, составлявшее часть вознаграждения за ирландскую унию, произвело важную перемену в конституции Англии. В немногих собраниях число членов изменялось так сильно, как в палате лордов. В конце Войны Роз светских лордов оставалось 52; в царствование Елизаветы их было только 60; щедрое пожалование Стюартов подняли число их до 176. Это число оставалось неизменным в царствование двух первых Георгов, и, как мы видели, только упорное сопротивление Уолпола помешало лорду Стэнхопу ограничить число существовавшим тогда пэров. Как ни пагубна была бы подобная мера, она, во всяком случае, помешала бы щедрому назначению пэров, в котором Георг III в начале своего царствования видел одно из средств для подрыва ограничивавшего его партийного управления. Но то, что было для короля простым средством подкупа, сделалось для Питта средством поставить пэрство в более тесную связь с землевладением и богатством, сделать корону независимой от партийных соглашений пэров. Сам он относился к наследственным почестям пренебрежительно, но ни один министр не расточал их так прежде. В первые пять лет своего управления, он назначил 48 новых пэров, в два последующие, 1796–1797 гг., — 35. До 1801 г. пэрства, служившие вознаграждением за унию с Ирландией повысили число его пожалований за 140. Его преемники так ретиво следовали его примеру, что в конце царствования Георга III число наследственных пэров превышало вдвое число, бывшее в начале его. Характер палаты лордов совершенно изменился. Раньше она была небольшим собранием крупных вельмож, связанных семейными или партийными узами в особое политическое целое. Теперь она сделалась опорой собственности, представительницей крупных имений и состояний, появившихся благодаря сильному росту богатства в Англии. Впервые также она стала теперь чисто консервативным элементом конституции. Все значение реформ Питта должно было раскрыться потом, но в некоторых отношениях их следствия уже ясно обозначились. Хотя увеличение числа пэров вызвано было волей короны, но на деле оно освободило палату от всякого влияния, какое могла оказывать на нее корона раздачей титулов. Так как на практике власть короны перешла к палате общин, то эта мера сильно затруднила примирение свободной деятельности лордов с правильным действием конституционного управления. С другой стороны, увеличение числа ее членов усилило ответственность палаты перед общественным мнени-

ем, раз оно высказывается резко, а политический такт, отличающий крупные аристократические собрания, до сих пор мешал доводить столкновения с нижней палатой до непримиримого спора.

Но законодательное объединение обеих стран составляло только часть плана, придуманного Питтом для умиротворения Ирландии. С заключением унии осуществились его планы свободной торговли между обеими странами, расстроены несколькими годами раньше. Несмотря на недостаток капиталов в общественные замешательства, торговля, судоходство и промышленность Ирландии с того времени и до настоящего времени непрерывно развивались. За подчинением Ирландии общему парламенту последовали постепенный пересмотр ее утеснительных законов и улучшения в ее администрации; подати были понижены, и было положено слабое начало народному просвещению. Но, по мнению Пита, главным средством примирения служило дарование религиозной равноправности. Предлагая английскому парламенту унию обеих стран, он указывал на то, что соединение с протестантской страной, вроде Англии, в сущности, устранил всякую опасность преобладания католиков в Ирландии, даже если будут устранены наложенные на католиков ограничения, и что в этом случае «действительное и достаточное обеспечение католического духовенства» послужит гарантией его преданности. Его слова укрепили надежды на «эмансипацию католиков», т. е. на устранение остававшихся ограничений их гражданских прав. В самой Ирландии эти надежды поддерживал вице-король — лорд Кэслри, считая это средством к устранению всякого противодействия проекту унии со стороны католиков. Все понимали, что их противодействие вызовет отвержение плана; но католики сопротивления не оказали. После принятия билля Питт приготовился предложить кабинету меру, которая должна была доставить католикам полное равенство гражданских прав. Он предложил отменить все религиозные испытания, ограничивавшие пользование избирательным правом или требовавшиеся для допущения в парламент, магистратуру, адвокатуру, на городские должности или на военную и гражданскую службу. На место церковной присяги он ставил присягу на подданство и на верность конституции. В то же время преданность католического и диссидентского духовенства обеспечивалась назначением ему со стороны государства некоторого содержания. Для задабривания епископальной церкви предложены были меры, усиливавшие ее дисциплинарные средства и повышавшие содержание беднейших ее служителей. Выкуп десятины должен был устранить постоянный источник вражды между протестантским духовенством и ирландским народом. План был слишком грандиозен и политичен, чтобы можно было ожидать немедленного

принятия его кабинетом; прежде чем это случилось, проект, благодаря измене канцлера — лорда Локборо, был сообщен Георгу III: «Я считаю своим личным врагом человека, предлагающего подобную меру», — сказал гневно король Дёндасу. В ответ на эту вспышку Питт представил королю весь свой план: «Политические условия, при которых появились исключительные законы, — писал он, — заключались в борьбе враждебных и почти равносильных сект, в опасении, что наследницей престола явится королева-католичка, что престолонаследие будет оспариваться претендентом-иноземцем, и в разделении всей Европы на державы католические и протестантские; эти условия к настоящему положению дел неприменимы». Но доводы не действовали на Георга III. Несмотря на мнение спрошенных им юристов, он считал себя обязанным клятвой при коронации охранять церковные присяги. В этом пункте он сходил с массой своих подданных, разделяя также их политическое недоверие к католикам и ирландцам. Его упорство усиливалось сознанием того, что его отказ должен привести к отставке Питта. В феврале 1801 г., в месяц Люневильского мира, Питт действительно подал в отставку; его заменил спикер палаты общин Эддингтон, человек слабый, ограниченный и столь же фанатичный, как и король. Лорд Гоксбёри, принявший от лорда Гренвила заведывание иностранными делами, был совсем неизвестен вне палаты общин.

Англия с тревогой смотрела на то, что подобным людям вверено руководство ею в то время, когда каждый час приносил все более мрачные вести: недостаток хлеба доходил до голода; были введены новые налоги, и все-таки в год приходилось занимать 25 миллионов. Англия стояла совсем одиноко; между тем Люневильский мир обезопасил Францию от всех нападениях на материке. Скоро выяснилось, что этот мир является только первым шагом в новой политике первого консула. Мир только развязал ему руки для решительной борьбы с Британией как мировой державой и средоточием богатства. Англия была одновременно и посредницей в европейской торговле, и центром европейской промышленности. Ее рудники, ткацкие станки и паровые машины почти монополизировали в ее руках промышленное производство; транзитная торговля Франции и Голландии тоже перешла к британскому флагу, а завоевание во время войны их богатейших владений отдало в руки англичан торговлю с колониями всего мира. Своим гигантским проектом «континентальной системы» Бонапарт хотел подорвать торговлю Англии, закрыв ее кораблям порты Европы. При помощи союза северных держав он пытался отнять у нее господство над морем. Дания и Швеция были недовольны той суровостью, с какой Британия применяла свое право обыска, вызвавшее уже в конце американской войны образование

Лиги вооруженного нейтралитета; теперь они составили союз нейтральных держав, который, в сущности, был направлен против Англии и к которому готова была присоединиться Пруссия. Император Павел, со своей стороны, видел в могуществе Британии главную помеху для своих планов против Турции. Спор из-за Мальты, отнятой Бонапартом на пути в Египет у иоаннитов и с того времени бывшей в постоянной блокаде у английских судов, на обладание которой император заявлял притязание, так как был избран в гроссмейстеры ордена, послужил ему предлогом для разрыва с Англией. Павел открыто готовился к войне, и было ясно, что как только весной вскроется Балтийское море, флоты России, Швеции и Дании станут действовать вместе с флотами Франции и Испании. Но ловко задуманный план был сокрушен одним ударом. В апреле 1801 г. перед Копенгагеном явился британский флот, заставил после отчаянной борьбы замолчать датские батареи, захватил шесть датских кораблей и принудил Данию заключить перемирие, доставившее английским судам проход в Балтийское море. Притом смерть императора* вызвала распад Северного союза. В июне Англия и Россия заключили соглашение, разрешавшее спорные вопросы о праве обыска и о военной контрабанде, и это соглашение было принято Швецией и Данией. Между тем в самый момент нападения на Копенгаген, столь же решительный удар нанесен был и планам Бонапарта на Востоке. Занятие Мальты подчинило Англии Средиземное море, и с Мальты она обратилась против Египта. Отряд в 15 000 человек под командой генерала Эберкромби высадился в Абукирской бухте. Французские войска, оставленные Бонапартом в Египте, поспешно сосредоточились, и 21 марта их генерал напал на англичан. После упорной битвы, в которой Эберкромби пал смертельно раненный, французы отступили с тяжелыми потерями, а в конце июня капитуляция 13 000 оставшихся солдат положила конец господству французов над Египтом.

Наконец, обе стороны в этой исполинской борьбе пожелали прекратить войну. В конце 1801 г. Бонапарт открыл мирные переговоры с целью выиграть время для такой организации Франции и ее средств, которая позволила бы ему возобновить борьбу с большей надеждой на успех. Английское правительство встретило его предложения сочувственно, и в марте 1802 г. был заключен Амьенский мир. Условия его были по необходимости просты, так как Англия не имела желаний вмешиваться в переустройство

* Автор стыдливо умалчивает, что к смерти (точнее, убийству Павла I) был напрямую причастен английский посол в Петербурге Чарльз Уитворт, умело направлявший недовольство гвардейских офицеров в нужную Англии сторону.

дел на материке. Франция обещала очистить Южную Италию и предоставить самим себе республики, учрежденные ею вдоль ее границ в Голландии, Швейцарии и Пьемонте. Англия признала французское правительство и свободную республику Ионических островов, вернула недавно завоеванные ею колонии, кроме Цейлона и Тринидада, и обязалась вернуть иоаннитам остров Мальту. Окончание долгой борьбы вызвало общее чувство облегчения, и когда в Лондон прибыл новый французский посол, его с торжеством провели по улицам. Но проникательные наблюдатели понимали опасности, какими грозило честолюбие первого консула. Каковы бы ни были ошибки французских революционеров, даже худшие нарушения ими самостоятельности соседних стран прикрывались темной мыслью об освобождении народов от ига их повелителей. Бонапарт преследовал цели простого завоевателя. Он решил стать властелином западного мира, не заботясь никакими мыслями о народной свободе или сознанием национального права. В его распоряжении были огромные средства. Его военный деспотизм подорвал, правда, политическую жизнь революции, но отмена ею привилегий и создание нового среднего класса на месте духовенства и дворянства сообщили Франции новую социальную активность, еще сохранившуюся. Политика первого консула — восстановление им церкви как религиозного учреждения, разрешение вернуться эмигрантам, бережливость и благоразумие, отличавшие его управления — сгладила несогласия, раздиравшие Францию, а централизация, перешедшая от монархии к революции и от революции к Бонапарту, позволила ему воспользоваться этой национальной активностью в интересах его диктатуры. Тирания стала возможной, благодаря разрушению блестящих надежд, возбужденных революцией, под влиянием стремления к общественному порядку, военного энтузиазма и стремления к новой славе, возбужденной чудесными победами французов. В руках Бонапарта эту тиранию поддерживали тайная полиция, подавление печати и всякой свободы мнения, но прежде всего железная воля и чрезвычайная ловкость первого консула. Раз выбранный пожизненным консулом, он почувствовал себя в безопасности дома и обратился к постоянным нападениям на соседей. Обещания, данные в Амьене, остались без исполнения: учрежденные на границах Франции республики были поставлены в полную зависимость от воли Бонапарта, Пьемонт и Парма присоединены к Франции, Швейцария оккупирована французской армией. На скромные протесты английского правительства Бонапарт отвечал требованием высылки французских эмигрантов, проживавших в Англии со времени революции, и выдачи Мальты, задержанной до нахождения ручательства за то, что остров не будет вновь захвачен французским флотом. Оче-

видно, предстояла неизбежная борьба; в портах Франции производились огромные вооружения; в гаванях Испании заметна была новая деятельность. В мае 1803 г. британское правительство предупредило нападение Бонапарта объявлением войны.

Разрыв только усилил желание Бонапарта напасть на врага на его земле. К предстоявшим затруднениям он относился пренебрежительно: «15 миллионов человек, — говорил он, намекая на несоответствие между населением Англии и Франции, — должны подчиниться 40 миллионам». Он задумал вторжение в Англию в исполинских размерах: в Булони был устроен лагерь на 100 000 человек и собрана масса плоскодонных судов для переправы их через Ла-Манш. Опасность, грозившая нации, вызвала отставку Эддингтона и вернула власть Питту. Его здоровье было расшатано, и с течением времени он стал выглядеть таким страшным и подавленным, что, очевидно, приближался к могиле. Но несмотря на это, народ выказывал ему все свое прежнее доверие. Он все еще был представителем национального единства и предложил включить в свое новое министерство Фокса и главных вигов, но этому помешало упорство короля. Отказ лорда Гренвила и Уиндгэма принять должности без Фокса, а также позднее отставка его лучшего помощника Дёндаса оставили его почти одиноким; но несмотря на свое одиночество, он встретил затруднения и опасности с прежним мужеством. Когда Бонапарт, принявший в это время титул императора, появился в Булонском лагере, вторжение казалось неминуемым: «Дайте нам на шесть часов власть над Ла-Маншем, — говорят, сказал он, — и мы завладеем миром». Был составлен искусный план разделить английский флот, в то время как все корабли французов будут сосредоточены, но исполнение его было отсрочено смертью адмирала, назначенного для этого. Однако союз с Испанией отдал флот ее в распоряжение Наполеона, и в 1805 г. он задумал соединить его с французским, уничтожить эскадру, блокировавшую порты Ла-Манша, прежде чем на поддержку ее подойдут английские суда, следившие за испанским флотом, и переправить к берегам Англии защищенный, таким образом, обширный флот. Для отражения предстоявшего нападения в Англии было собрано 300 000 волонтеров, но они, вероятно, оказали бы небольшое сопротивление ветеранам великой армии, если бы те переправились через Ла-Манш. Но Питт уже успел отвлечь Францию в другую сторону. Присоединение Наполеоном Генуи довело до высшей степени тревоги континентальных держав, субсидии Питта устранили последнее препятствие, мешавшее коалиции, и тогда Россия, Австрия и Швеция составили союз, чтобы отнять у французского императора Италию и Нидерланды. Между тем Наполеон тщетно поджидал большой флот, который

должен был собраться в Ла-Манше. Адмирал Вильнёв присоединил испанские корабли к своей тулонской эскадре, увлек преследовавшего его Нельсона в Вест-Индию, а затем внезапно вернулся в Кадис и поспешил соединиться с французской эскадрой в Бресте и истребить английский флот в Ла-Манше. Но Нельсон стремительно преследовал его и настиг раньше окончания маневра; оба флота встретились 21 октября 1805 г. у мыса Трафальгар: «Англия, — гласил знаменитый приказ Нельсона, — ожидает от каждого исполнения его долга», — и хотя сам он пал в момент победы, но 20 французских кораблей опустили свои флаги до захода солнца. «Англия спасла себя своим мужеством, — сказал Питт, и это оказалось его последней публичной речью, — она спасет Европу своим примером». Но даже до Трафальгара Наполеон отказался от мысли о вторжении в Англию и напал на коалицию с тыла. Переправив свои войска на Дунай, он за три дня до битвы при Трафальгаре принудил в Ульме австрийскую армию к сдаче. Из Ульма он пошел на Вену и разбил соединенные силы Австрии и России в битве при Аустерлице: «Аустерлиц убил Питта», — заметил Уильберфорс в своем дневнике. Хотя ему было всего 47 лет, но глухой голос и исхудавшая фигура великого министра уже давно говорили о близости смерти, и крушение его надежд оказалось для него роковым: «Сверните эту карту, — сказал он, указывая на карту Европы, висевшую на стене. — Через десять лет она не понадобится». Только раз он пришел в сознание, и люди, склонившиеся над ним, уловили слабый шепот: «О, родина! Какой я ее покидаю!». Он скончался 23 января 1806 г. и был погребен в Вестминстерском аббатстве, в гробнице Чатама: «Какая гробница, — воскликнул лорд Уэлсли, — вмещает в себе подобного отца и подобного сына! Какой гроб заключает в себе останки таких человеческих талантов и славы!».

Потеря представлялась такой огромной, что заполнить пустоту, оставленную его смертью, мог только союз партий, к которому Питт безуспешно стремился при жизни. В новом министерстве аристократические виги лорда Гренвила и тори лорда Сидмута сошлись с небольшой группой популярных вигов Фокса, склонявшихся к миру и внутренним реформам. В сущности, все внутренние вопросы подчинялись необходимости спасти Европу от честолюбия Франции, и в этом пункте намерения Фокса были столь же тверды, как и Питта. Надежд на мир у него было, правда, больше, но они были расстроены уклончивым ответом Наполеона на его предложения и предпринятой им новой войной против Пруссии — единственной державы, которая, казалось, могла противиться его оружию. 14 октября 1806 г. решительная победа при Йене отдала в руки Наполеона Северную Германию. Смерть, всего за месяц раньше, помешала Фоксу увидеть крушение

его надежд, и эта утрата ослабила кабинет Гренвиля в начале новой, еще более отчаянной борьбы с Францией. Первая попытка Наполеона провести континентальную систему не удалась, благодаря крушению Северного союза; теперь в своем господстве над Европой он увидел более действенное средство для осуществления этой мысли. Предлог для нового нападения ему удалось найти в образе действий самой Англии. Сильно преувеличивая свои права в качестве воюющей державы, она объявила в состоянии блокады все берега, занятые Францией и ее союзниками, от Данцига до Триеста. Даже с огромными средствами, бывшими у нее в распоряжении, невозможно было осуществить подобную «бумажную блокаду». Наполеон воспользовался случаем, чтобы отплатить Англии полным прекращением ее торговли с материком, ожидая, что это положит конец войне, разорив английских фабрикантов. В Берлине он издал декрет, объявлявший британские острова в блокаде, хотя для исполнения его не было ни одного корабля. Воспрещалась всякая торговля или сообщение с ними; все английские товары или фабрикаты, находившиеся на территории Франции или ее союзников, объявлялись подлежащими конфискации, а гавани материка — закрытыми не только для судов британских, но и для заходивших в порты Англии. Попытке провести подобную меру помешало широкое развитие контрабанды, нежелание Голландии содействовать своему разорению, поправки чиновников на берегах Пруссии и России и, наконец, сила вещей. Сам Наполеон не мог обойтись без товаров, которые он хотел устранить: широкая система разрешений скоро парализовала действие его декрета, и шедшая на Эйлау французская армия была одета в шинели, сшитую в Лидсе, и обута в обувь, изготовленную в Нортгемптоне. Но если блокада не сумела подорвать промышленность Британии, то она повлияла гораздо сильнее на ее торговлю. Транзит начал избегать английских судов, постоянно подвергавшихся конфискациям, и переходить в руки нейтральных держав, особенно Американских штатов. Торговый класс просил помощи у правительства, и оно ответило на эту просьбу в январе 1807 г. приказом совета, объявлявшим в блокаде все порты Франции и ее союзников, а все торгующие с ними нейтральные суда — подлежащими захвату. Подобный шаг далеко не удовлетворил торговцев Британии, но они не могли уже обращаться к лорду Гренвилю. Его министерство пало жертвой тех же сил невежества и ханжества, которые раньше оказались сильнее самого Питта. Свою важнейшую меру, отмену работоторговли, оно провело в феврале, несмотря на сильное сопротивление тори и купцов Ливерпуля; а когда в марте оно выразило желание возбудить вопрос о религиозной равноправности и позволить офицерам-католикам службу в армии, король в ответ на это

потребовал обещания не затрагивать вопроса. Министерство не согласилось и получило отставку.

Его падение положило конец союзу партий, вызванному опасностью французского вторжения; с этого времени и до конца войны Англией управляли исключительно тори. Номинальным главой следующего министерства был герцог Портленд, а его главным руководителем — министр иностранных дел Джордж Кэннинг, молодой и ревностный приверженец Питта; его блестящее красноречие доставило ему влияние на палату общин, а энергичность и широта взгляда сообщили новую активность войне. Никогда сопротивление Наполеону не представлялось таким безнадежным. Из Берлина император отправился в глубь Польши, и хотя зимой в упорной битве при Эйлау русские войска задержали его, но победа при Фридланде принудила императора Александра летом 1807 г. заключить в Тильзите мир. Из врагов императоры Восточной и Западной Европы стали друзьями, и надежда на помощь Франции при завоевании Турции увлекла Александра к тесному союзу с Наполеоном. Россия не только приняла Берлинские декреты против британской торговли, но и принудила Швецию, единственного союзника, еще остававшегося у Англии на материке, отказаться от союза ней. Таким образом, русский и шведский флоты оказались к услугам Франции, и оба императора рассчитывали заручиться флотом Дании и тогда снова выступить против морского могущества, составлявшего настоящую опору Англии. Но эта надежда была разрушена появлением в июле 1807 г. при Эльсиноре экспедиции, поспешно и втайне снаряженной Кэннингом и потребовавшей передачи в руки Англии датского флота, с обязательством возвратить его по окончании войны. Датчане отказали, и требование было подкреплено бомбардировкой Копенгагена, после чего весь датский флот вместе с огромной массой корабельных запасов был отведен в английские порты. С такой же решительностью и беспощадностью выступил Кэннинг и против континентальной системы Наполеона. В ноябре он издал новые приказы совета, объявившие в состоянии блокады Францию и все государства материка, не допускавшие к себе британские суда; все корабли, направлявшиеся в их гавани, считались подлежащими захвату, если не заходили в британский порт. На эти приказы Наполеон тотчас ответил новым декретом, изданным в декабре в Милане и объявлявшим все суда какой бы то ни было нации, если они шли из Британии или ее колоний или направлялись туда, утратившими свой нейтральный характер и подлежащими захвату.

Между тем континентальная система принуждала Наполеона все к новым захватам, чтобы поддержать материальное единство Европы против Британии. Он был полным властелином Западной Европы, и весь вид ее

изменился как бы по мановению волшебника. Пруссия была оккупирована французскими войсками. Голландия простым декретом французского императора была обращена в монархию; корону ее получил брат Наполеона Луи. Другой его брат, Жером, сделался королем Вестфалии, королевства, образованного из курфюршеств Гессен и Ганновер. Третий брат, Жозеф, был сделан королем Неаполя, а остальная часть Италии, и даже сам Рим, была присоединена к Французской империи. Надежда действительно сокрушить мировое могущество Британии привела наполеона к худшему из его захватов. Действовал он со своей обычной хитростью. В октябре 1807 г. Франция и Испания сговорились поделить между собой Португалию, когда их войска подошли, царствовавший в ней Браганцский дом бежал без сопротивления из Лиссабона в Бразилию, но захват Португалии служил только подготовкой подчинения Испании. В это время мятеж в столице принудил Карла IV к отречению, и он вместе с сыном Фердинандом VII, были вызваны в мае 1808 г. в Байонну и вынуждены были отречься от испанской короны; в то же время французская армия вступила в Мадрид и провозгласила королем Испании Жозефа Бонапарта. Но едва совершился этот наглый захват, как против чужеземца поднялась вся Испания как один человек. Как ни мало надежд подавало это восстание, но весть о нем была принята в Англии с восторженной радостью: «До сих пор, — воскликнул вождь вигской оппозиции Шеридан, — Бонапарт боролся с государями без достоинства, с войсками без воодушевления, с народами без патриотизма. Теперь ему придется узнать, что значит бороться с народом, одушевленным одним чувством». Тори и виги одинаково полагали, что «никогда еще не представлялось Британии такого удобного случая сильным ударом содействовать освобождению мира, и Кэннинг тотчас решил заменить систему бесцельных десантов в колониях и на островах энергичной войной на полуострове. Восставшим испанцам были посланы щедрые пособия, а для войны на полуострове образованы две небольшие армии под командой сэра Джона Мура и сэра Артура Уэлсли. В июле 1808 г. сдача при Байлене французского корпуса, вторгнувшегося в Андалузию, нанесла могуществу Наполеона первый удар, за которым последовал второй, почти такой же жестокий. Высадившись в Мондего с 15 000 человек сэр Артур Уэлсли прогнал французскую армию в Португалии с поля битвы при Вимiero и принудил ее к сдаче по Цинтрской конвенции от 30 августа. Но скоро счастье резко изменилось. В Испании появился Наполеон с армией в 200 000 человек, и Мур, продвинувшийся из Лиссабона к Саламанке для поддержания испанских войск, нашел их разбитыми на Эбро и вынужден был поспешно отступать к берегу. Его армия спасла свою честь в битве перед Коруньей; это

позволило ему беспрепятственно сесть на корабли. Но в других местах все казалось погибшим. Вся Северная и Центральная Испания была занята французскими войсками, и даже Сарагоса, уже героически отразившая их один раз, подчинилась после нового, столь же отчаянного сопротивления.

Прибытие остатков армии Мура и известия о поражениях в Испании превратили величайшие надежды Англии в глубочайшее отчаяние, но Кэннинг оставался непоколебим. В день очищения Коруньи он подписал союзный договор с испанской хунтой в Кадисе, и английская армия в Лиссабоне, уже готовившаяся покинуть Португалию, была подкреплена свежим отрядом в 13 000 человек и поставлена под команду сэра Артура Уэлсли: «Португалию, — писал он спокойно, — можно защищать против любой армии, какую пошлют на нее французы». В этот критический момент лучшие французские войска и сам император были отвлечены из Испании на Дунай, так как испанское восстание побудило Австрию, все равно как и Англию, к возобновлению войны. Поэтому, когда маршал Сульт стал угрожать Лиссабону с севера, Уэлсли смело двинулся против него, принудил его к бедственному отступлению от Оporto и, внезапно изменив направление своих действий, поспешил с 20 000 человек через Абрантес на Мадрид. На пути к нему присоединилась испанская армия в 30 000 человек, и кровавая битва с равносильной французской армией при Талавере, в июле 1809 г., восстановила славу английского оружия. С обеих сторон потери были громадные, и в конце сражения французы отступили; но победа не дала результатов, благодаря внезапному появлению Сульта на линии наступления англичан, что принудило Уэлсли поспешно отступить к Бадахосу. Его неудача была отягощена еще худшими поражениями в других местах. Победа Наполеона при Ваграме заставила Австрию просить мира, а сорокатысячная английская армия, посланная против Антверпена, вернулась домой разбитая, потеряв половину своего состава в болотах Вальхерна.

Неудача при Вальхерне вызвала падение министерства Портленда. Кэннинг приписал поражение неспособности лорда Кэслри, ирландского пэра, игравшего главную роль в деле объединения Англии и Ирландии и назначенного военным министром; ссора между ними окончилась дуэлью и отставкой. Вместе с Кэннингом ушел и Портленд. Образовалось новое министерство из более строгих тори последнего кабинета под руководством Спенсера Персеваля, трудолюбивой, но крайне узкой посредственности; министром иностранных дел сделался маркиз Уэлсли, брат главнокомандующего в Испании. Но если у Персеваля и его товарищей было мало высших политических талантов, то они обладали одной особенностью, неоценимой при тогдашнем положении Англии: у них была твердая решимость

продолжать войну. В массе народа порыв восторга сменился полосой отчаяния, и лондонское Сити представило даже ходатайство об удалении английских войск с Пиренейского полуострова. Наполеон казался неодолимым, и теперь, когда была побеждена Австрия и ему противилась одна Англия, он решил энергичным продолжением войны в Испании положить борьбе конец. В начале 1810 г. французы вторглись в Андалузию, единственную провинцию, которая оставалась независимой, и подчинили ее, за исключением Кадиса; в то же время маршал Массена с прекрасной восьмидесятитысячной армией двинулся на Лиссабон. Даже Персеваль ввиду этих новых усилий отказался от всякой надежды удержаться на полуострове и переложил на Уэлсли, после Талаверы пожалованного в пэры с титулом лорда Веллингтона, ответственность за решение вопроса, оставаться там или нет. Отличавшие последнего спокойная рассудительность и твердый характер позволили ему взять на себя ответственность, перед которой отступили бы более слабые люди. Он отвечал: «Я полагаю, что честь и интересы Англии требуют, чтобы мы держались здесь как можно дольше, и с помощью Божией я продержусь здесь, пока буду в состоянии». Его армия была в это время доведена до 50 000 человек через присоединение португальских войск, обученных британскими офицерами; и хотя слабость сил заставила его смотреть безучастно на подчинение Массена пограничных крепостей Сьюдад-Родриго и Альмейды, но он причинил ему тяжелые потери на высотах Бузако и, наконец, в октябре 1810 г., отступил к трем оборонительным линиям, тайно сооруженным им при Торрес-Ведрас, вдоль цепи горных высот, увенчанных редутами и вооруженных пушками. Позиция была неприступна, и несмотря на свои таланты и упорство, Массена принужден был, после бесплодных усилий в течение месяца, совершить мастерское отступление. Но при возвращении по опустошенной стране французская армия перенесла такие страшные лишения, что он достиг весной 1811 г. Сьюдад-Родриго только с 40 000 человек. Подкрепленный свежими войсками, Массена неистово бросился на выручку осажденной Веллингтоном Альмейды; но, несмотря на упорное двухдневное сражение в мае 1811 г., не мог прогнать англичан с их позиции при Фуэнтес-д'Оноре и отступил к Саламанке, отказавшись от мысли вытеснить Веллингтона из Португалии.

Хотя победа при Торрес-Ведрас сильно подняла мужество англичан и оживила во всей Европе надежды на сопротивление деспотизму Наполеона, но непосредственным результатом ее было почти одно только освобождение Португалии. Французы оставались господами всей Испании, кроме Кадиса и восточных областей, и даже восточный берег был подчинен

в 1811 г. энергичным генералом Сюше. В то время как Англия напрасно старалась освободить Испанию от захватов Наполеона, ей вдруг пришлось стать лицом к лицу с результатами ее собственной политики в Америке. С Америкой скоро вышли серьезные затруднения, благодаря тем приказам совета, при помощи которых Кэннинг пытался помешать переходу транзитной торговли от английских судов к нейтральным, принуждая все корабли на пути в блокируемые порты заходить в английские гавани. Во время долгой борьбы между Францией и Англией Америке уже пришлось перенести многое от обеих сторон, особенно от Британии. Английское правительство не только пользовалось своим правом обыска, но и заявляло притязания на захват английских моряков на американских судах, и так как трудно было отличить английских моряков от американских, то матросам Мэна или Массачусетса часто приходилось служить в британском флоте. Подобные обиды сильно возмущали Америку, но ее глубокое отвращение к войне и выгоды, извлекаемые ею из ее нейтрального положения, мешали отомстить за них. Приказы совета и Миланский эдикт заставили ее действовать, и она тотчас ответила на них запрещением торговли с Европой. Но через год поддерживать это запрещение оказалось невозможным, и в начале 1809 г. она ограничила его торговлей с Францией и Англией. Но и эта мера тоже оказалась неосуществимой. Американское правительство не имело никаких средств применить ее на сухопутной границе и мало возможностей провести ее на море. Ежедневно суда отправлялись в британские порты, и наконец запрещение было отменено совсем. Единственное, на чем Америка продолжала настаивать, было предложение запретить американскую торговлю с той страной, соперница которой отменит свои указы. Наполеон ухватился за это предложение, пообещал отменить Берлинский и Миланский декреты и пригласил Америку исполнить ее обещание. Поэтому в феврале 1811 г. Соединенные Штаты объявили о прекращении всякой торговли с Великобританией и ее колониями. Под влиянием этой меры английский экспорт уменьшился за год на одну треть. Напрасно Британия указывала на то, что Наполеон не исполняет своих обещаний и что запрещение торговли с Англией является несправедливой и враждебной мерой. Гнет американской политики, а также известия о появлении в Соединенных Штатах воинственного настроения делали подчинение неизбежным: промышленность Англии переживала в это время такой кризис, что подвергать ее новым ударам значило идти на верную гибель, которой так желал Наполеон.

Действительно, в первые годы войны богатство росло чрезвычайно быстро. Англия была единственной властительницей морей, а война достави-

ла ей обладание колониями Испании, Голландии и Франции; ее торговля была стеснена на время берлинским декретом, но вскоре усилия Наполеона были расстроены широкой системой контрабанды, развившейся вдоль берегов Южной Европы и Северной Германии. С начала века английский экспорт почти удвоился. Фабрики воспользовались изобретениями Уатта и Аркрайта; потребление хлопка-сырца на фабриках Ланкашира за тот же период возросло с 50 миллионов фунтов до 100. Сильное накопление капитала вместе с быстрым ростом населения оказали влияние на землевладение и доставили сельским хозяевам до безобразного огромный доход. Цены на пшеницу поднялись до уровня голодных лет, и в соответствии с этим повысились цены на землю. Крупное землевладение расширялось страшно быстро; доходы землевладельцев удвоились; фермеры получили возможность вводить улучшенные способы обработки, совсем изменившие вид страны. Но если богатство росло страшно быстро, то распределение его было крайне неравномерно. За 15 лет, предшествовавших Ватерлоо, количество населения с 10 миллионов возросло до 13, и этот быстрый рост его понизил заработную плату, которая иначе возвысилась бы, конечно, в соответствии с возрастанием народного богатства. Даже фабрики, впоследствии оказавшиеся благотельными для рабочих классов, сначала, казалось, ухудшили их положение: одним из первых следствий введения машин была гибель массы мелких промыслов, производившихся на дому, и обеднение семейств, живших ими. Зимой 1811 г. страшный гнет этого перехода от ручного труда к машинному сказался в беспорядках, разразившихся в северных и центральных графствах и направленных на разрушение машин; они были подавлены только военной силой. В то время как труд был, таким образом, выбит из своей старой колеи, а быстрый рост населения искусственно понижал уровень заработной платы, рост цен на пшеницу, обогащавший землевладельца и фермера, доводил бедняка до голода и смерти, так как война отрезала Англию от обширных нив материка и Америки, теперь своими излишками ослабляющих следствия плохой жатвы в Англии. Дороговизна сопровождалась страшным обеднением рабочих классов. Налог в пользу бедных возрос на 50 процентов; усиление бедности сопровождалось ее неизменным следствием — усилением преступности.

Таким образом, особые условия времени нарушили естественные отношения промышленности и торговли к общему благосостоянию народа. Война обогащала землевладельца, фермера, купца, фабриканта, но доводила до нищеты бедняка. Действительно, до этих роковых лет, прошедших между Люневильским миром и Ватерлоо, ведет свое начало та классовая борьба, то социальное обособление предпринимателей и рабочих, которое

до сих пор составляет главную трудность английской политики. Но к этим годам относится также возобновление того прогрессивного движения в политике, которое было прервано в начале войны. Появление в 1802 г. «Эдинбургского Обозрения», издаваемого кружком молодых юристов в Эдинбурге, указывает на возрождение политики конституционных и административных реформ, от которой так неохотно отказался Уильям Питт. Джереми Бентам сообщил новую активность политическому мышлению своей защитой теории утилитаризма и указанием на «наибольшее счастье для наибольшего числа людей» как на цель политической деятельности. В 1809 г. сэр Фрэнсис Бёрдет снова поднял вопрос о парламентской реформе. Его предложение поддержали только 15 депутатов, а за намек на палату общин в изданном позднее памфлете, как на «часть подданных одного с нами государя, подобранную при помощи способов, которых нечего описывать», он поплатился заключением в Тауэр, где и оставался до отсрочки заседаний парламента. Гораздо больше влияния оказывало то постоянство, с каким Кэннинг год за годом возвращался к вопросу об эмансипации католиков. При жизни Персеваля оба стремления к реформе оставались одинаково тщетными; но когда власть перешла к лорду Ливерпулю, усиление либеральных стремлений в народе сказалось в политике «умеренных уступок», усвоенной новым министерством. Эмансипация католиков была поставлена на очередь в самом кабинете, принята в 1812 г. огромным большинством в палате общин, но отвергнута лордами.

Ввиду таких социальных и политических неурядиц даже торийские политики не желали брать на себя грозной ответственности за гибель английской промышленности, которую мог повлечь за собой союз Америки с Наполеоном. Они, в сущности, готовились отменить приказы совета, когда их планы были расстроены отставкой министерства Персеваля. Его положение с самого начала было неустойчивым. Возврат душевной болезни короля заставил в начале 1811 г. передать по постановлению парламента регентство принцу Уэльскому, вигские симпатии которого грозили кабинету Персеваля отставкой. Непрочность его положения сказалась на ведении войны: видимая бездеятельность Веллингтона в 1811 г., в сущности, зависела от колебаний и робости министров. В мае 1812 г. убийство Персеваля неким фанатиком по имени Бэллингем вызвало падение министерства, и регент сделал новую попытку отдать власть вигам, но взаимное недоверие помешало этому. Было восстановлено старое министерство под главенством лорда Ливерпуля, человека не особенно способного, но умеренного, знающего и обладающего замечательным искусством примирять несогласия товарищей. Самым крупным из них был лорд Кэслри, ставший мини-

стром иностранных дел. Его первым делом было устранение той опасности, какую навлек на страну своими приказами Кэннинг. В начале 1812 г., отчаявшись в их отмене, Америка решилась на войну; конгресс постановил усилить армию и флот и наложил арест на все суда, стоявшие в американских гаванях. Настоящую войну еще можно было предотвратить отменой приказов, за что высказался английский кабинет, но в суматохе, последовавшей за смертью Персеваля, случай был упущен. 23 июня, всего через 12 дней после образования министерства, приказы были отменены; но когда известие об этом пришло в Америку, было уже поздно: 18 июня конгресс объявил Великобритании войну.

Момент, когда Америка вмешалась в мировую борьбу, был критическим в истории человечества. Через шесть дней после издания президентом Мэдисоном объявления войны Наполеон перешел через Неман на пути к Москве. Его политике не только удалось вызвать войну между Англией и Америкой, но не менее успешны были старания его расстроить союз, заключенный им с императором Александром в Тильзите и навязать России войну. С одной стороны, Наполеон был раздражен отказом России совсем прекратить торговлю с Англией, хотя подобная мера могла разорить русских землевладельцев. С другой стороны, Александр смотрел с возрастающим беспокойством на новые присоединения, вызванные желанием Наполеона провести свою систему при помощи захвата северных берегов. В 1811 г. к Французской империи были последовательно присоединены Голландия, ганзейские города, часть Вестфалии и герцогство Ольденбург; захват грозил и герцогству Мекленбург. Решительное требование Наполеона полностью прекратить торговлю с Англией обострило спор до крайности, и обе стороны занялись приготовлениями к исполинской борьбе. Из Испании были вызваны на польскую границу лучшие французские войска; этим воспользовался Веллингтон, численность армии которого дошла до 40 000 англичан и 20 000 португальцев, чтобы от оборонительной войны перейти к наступательной. Весной 1812 г. он взял штурмом Сьюдад-Родриго и Бадахос и, за три дня до перехода Наполеона через Неман на пути в Москву, перешел через Агуэду на пути к Саламанке. После ряда мастерских маневров с обеих сторон Мармон с северной армией французов напал на англичан, расположившихся на холмах близ этого города. В то время как он обходил позицию англичан справа, его левый фланг оставался в стороне, и со словами: «Мармон погиб!» Веллингтон двинул на него свои главные силы, разбил и прогнал всю армию с поля сражения. С обеих сторон потери были почти одинаковы, но неудача привела французов в уныние, и их отступление принудило Жозефа покинуть Мадрид, а Сульта — очис-

тить Андалузию и сосредоточить южную армию на восточном берегу. В то время как Наполеон еще медленно двигался по обширным равнинам Польши, Веллингтон вступил в августе в Мадрид и начал осаждать Бургос. Город мужественно держался в течение месяца, пока приближение обеих французских армий, сосредоточившихся теперь на севере и юге Испании, не принудило Веллингтона в октябре поспешно отступить к португальской границе. Если он в этой кампании и подорвал господство французов в Испании, то его конечная неудача показала, насколько прочно было еще в ней их военное положение. Но неудача скоро была забыта под влиянием последующих известий. В то время как английские войска отступали от Бургоса, началось отступление Великой армии от Москвы. Победив в битве при Бородине, Наполеон с торжеством вступил в древнюю столицу России и нетерпеливо ожидал мирных предложений Александра, когда пожар, произведенный ее собственными жителями, обратил город в пепел. Французская армия принуждена была отступать среди ужасов русской зимы. Из 400 000 солдат, составлявших Великую армию в начале похода*, только несколько тысяч перешло через Неман в декабре.

Несмотря на исполинские усилия, сделанные Наполеоном для возмещения потерь Великой армии, отступление от Москвы разрушило обаяние, наведенное им на Европу. Когда весной 1813 г. русские перешли через Неман, против него восстала Пруссия, и войска, оккупировавшие ее, были тотчас отброшены к Эльбе. В этой крайности обнаружился во всем блеске военный гений Наполеона. Со свежей армией в 200 000 человек, собранной в Майнце, он двинулся в мае на соединенные силы России и Пруссии, победы над ними при Лютцене очистил Саксонию и новой победой при Бауцене оттеснил их к Одера. Смешанные поражениями и тем нейтралитетом, который еще соблюдала Австрия, обе державы в июне согласились на перемирие и завели переговоры о мире. Австрия не желала, правда, полной гибели Франции на пользу ее великой соперницы на Востоке, но так же, как и обе союзницы, твердо была намерена отнять у Наполеона его верховенство над Европой; а когда выяснилось, что он просто играет своими предложениями, известие о вытеснении его армии из Испании побудило Австрию действовать. Веллингтон оставил Португалию в мае с армией, доведенной теперь до 90 000 человек; застигнув отступавших французов при Виттории, он нанес им поражение, заставившее их отступить в беспорядке за Пиренеи. Мадрид был тотчас очищен, и Клозель отступил от Сарагосы во Францию. Победа не только освободила Испанию от пришельцев, но и вос-

* Наши источники указывают, что численность армии Наполеона превышала 600 000 человек.

становила мужество союзников. Окончание перемирия сопровождалось союзом Австрии с Пруссией и Россией, а в октябре окончательное поражение Наполеона при Лейпциге заставило французов отступить в беспорядке за Рейн. Теперь война подошла к концу. Задержанный на время осадой Сан-Себастьяна и Памплоны, а также упорной защитой Пиренеев, Веллингтон сумел в одно время с битвой при Лейпциге одержать победу на Бидассоа, позволившую ему вступить во Францию. За ним вскоре последовали союзники. Их войска переправились через Рейн 31 декабря 1813 г., и треть Франции без сопротивления перешла в их руки. Еще два месяца Наполеон с горстью рекрутов выдерживал удивительную борьбу против подавляющих сил. В это время Сульт, вытесненный из своего укрепленного лагеря близ Байонны и разбитый при Орте, отступал перед Веллингтоном к Тулузе. Здесь в апреле между двумя армиями произошло упорное, но нерешительное сражение. Но хотя этого не знал ни один из вождей, война в это время уже была окончена. Борьба самого Наполеона окончилась в конце марта сдачей Парижа, а за подчинением столицы тотчас последовало отречение императора и возвращение Бурбонов.

Торжество Англии над ее великим врагом было ослаблено более сомнительными успехами в борьбе за Атлантическим океаном. Объявление Америкой войны представлялось делом чистого безумия, так как ее флот состоял из нескольких фрегатов и шлюпов, а ее армия представляла массу полуобученных и полувооруженных рекрутов; наконец, сами Штаты расходились в вопросе о войне, и Коннектикут с Массачусетсом отказались доставить деньги и людей. Три попытки проникнуть в Канаду в течение лета и осени были отражены с тяжелыми потерями, но эти неудачи были больше чем возмещены неожиданными успехами на море; в двух последовательных сражениях английские фрегаты были вынуждены спустить свои флаги перед американскими. Впечатление, произведенное этими победами, совсем не соответствовало их настоящему значению: это были первые тяжелые удары господству Англии над морями. В 1813 г. за морскими победами Америки последовали более энергичные усилия на суше: ее войска очистили озеро Онтарио, взяли Торонто, уничтожили британскую флотилию на озере Эри и завладели Верхней Канадой. Однако нападение на Нижнюю Канаду было с успехом отбито, а новое наступление британских и канадских сил в середине зимы вернуло Англии и верхнюю область. Неудача придавала новую силу той партии в Соединенных Штатах, которая все время противилась войне, и сопротивление которой было усилено страшной нуждой, вызванной блокадой и упадком американской торговли. Появились требования отделения Штатов, а Массачусетс имел смелость на-

значить уполномоченных для совещания с представителями прочих штатов Новой Англии «по поводу их жалоб и общих дел». Однако в 1814 г. война возобновилась с большей активностью, чем когда-либо, и американцы снова вторглись в Верхнюю Канаду. В июле они нанесли сильное поражение британским войскам в битве при Чиппеве, но через несколько недель были сами разбиты в столь же упорном сражении и оттеснены к своей границе. В это время падение Наполеона позволило правительству Англии обратить всю свою силу на борьбу с врагом, которым оно перестало пренебрегать. Генерал Росс с отрядом в 4000 человек появился на Потомаке, взял Вашингтон и, прежде чем очистить его, сжег все общественные здания. Целью набега на Вашингтон было просто навести страх на американский народ; главное значение в войне придавалось двум экспедициям, задачей которых было проникнуть в штаты с севера и юга. Обе они окончились полной неудачей. Отряд в 9000 ветеранов испанской войны, отправленный в сентябре против Платтсбурга на озере Шамплен, вынужден был отступить благодаря поражению сопровождавшей его флотилии. Второй отряд под командой генерала Пэкентгема появился в декабре при устье Миссисипи и напал на Новый Орлеан, но был отражен генералом Джексонсом с потерей половины своего состава. Между тем мир был уже заключен. Если окончание войны с Францией оставило незатронутыми причины борьбы, то оно обратило внимание Соединенных Штатов на опасность продолжения ее. Сама Британия желала мира, и притязания как Англии, так и Америки были обойдены молчанием в новом договоре 1814 г.

Окончание войны с Америкой развязало руки Англии в тот момент, когда возвращение Наполеона в Париж вызвало ее на новую, окончательную борьбу с Францией. Договор с союзными державами позволил Наполеону удержать за собой остаток его прежней империи: остров Эльбу у берега Тосканы. Оттуда он следил за спорами, возникшими между его победителями, как скоро они собрались в Вене для решения судеб Европы. Самые сильные споры были вызваны притязаниями Пруссии на присоединение Саксонии и желанием России присоединить Польшу. Их союз с этими целями вызвал в противовес союз Англии и Австрии с их старым врагом Францией; посол последней Талейран энергично старался довести дело до вооруженного столкновения. Но в тот момент, когда, казалось, была близка война между обоими союзами, Наполеон покинул Эльбу, высадился 1 марта 1815 г. близ Канна и в сопровождении только тысячи своих гвардейцев направился через горы Дофинэ на Гренобль и Лион. Он рассчитывал, и рассчитывал справедливо, на равнодушие Франции к ее новым Бурбонским правителям, на стремление армии к новой войне, которая должна

была восстановить ее славу, но, прежде всего, на обаяние своего имени для солдат, которых он так часто водил к победе. Через 20 дней он без сопротивления вступил в Тюильри, откуда Людовик XVIII беспомощно бежал в Гент. Но какие бы надежды ни возлагал он на разногласия союзных держав, их решительные действия при известии о высадке его во Франции сразу разрушили их. Сознание общей опасности умерило их споры и восстановило их прежнее согласие. На попытки Наполеона вступить с державами в переговоры они отвечали обязательством выставить для войны миллион солдат и возвращением своих войск на Рейн. Англия доставила субсидии в размере 11 миллионов и поспешила выставить армию на границе Нидерландов. Лучшие войска, ведшие войну в Испании, находились еще за Атлантическим океаном, и из собранных Веллингтоном 80 000 человек только около половины были англичане, а остальные — большей частью рекруты из Бельгии и Ганновера. Герцог рассчитывал вступить в соединение с 150 000 пруссаков, шедших под командой фельдмаршала Блюхера к Нижнему Рейну, и через Монс и Намюр вступить во Францию, в то время как войска Австрии и России через Бельфор и Эльзас направляются к Парижу.

Но Наполеон отказался от всякой мысли о чисто оборонительной войне. В несколько месяцев после прибытия своего в Париж он со страшными усилиями собрал армию в 250 000 человек и в начале июня сосредоточил 120 000 французов на Самбре при Шарлеруа. В это время войска Веллингтона еще были расположены на стоянках по линии Шельды — от Ата до Нивеля, а войска Блюхера по Маасу — от Нивеля до Льежа. Обе союзные армии поспешили соединиться при Катр-Бра, но их соединение стало уже невозможным. 16 июня Наполеон напал при Линьи на восьмидесятитысячную армию Блюхера и после отчаянной битвы отеснил его со страшным уроном к Вавру. В тот же день Ней с 20 000 человек и с таким же отрядом д'Эрлона в резерве появился перед Катр-Бра, где сначала могли собраться только 10 000 англичан и столько же бельгийцев. Последние отступили перед атаками французской конницы; но упорное сопротивление английской пехоты дало Веллингтону время подтянуть один корпус за другим, пока под конец дня Ней не увидел перед собой превосходящие силы и не отступил с поля битвы. С каждой стороны в этой горячей схватке пало около 5000 человек; но как ни тяжелы были потери Веллингтона, стойкость английской армии сильно содействовала неудачной попытке Наполеона прорвать линию союзников. Тем не менее отступление Блюхера оставило английский фланг без прикрытия, и на следующий день, в то время как пруссаки отступили к Вавру, Веллингтон почти с 70 000 человек, — теперь собралась вся его армия, — отступил в полном порядке к Ватерлоо,

преследуемый массой французских войск под командованием самого императора. Маршала Груши с 30 000 человек Наполеон отрядил беспокоить с тылу разбитых пруссаков, а сам с 80 000 человек решил принудить Веллингтона к битве. Обе армии стали лицом к лицу утром 18 июня на Ватерлооском поле перед лесом Суаньи, на большой дороге в Брюссель. Наполеон боялся единственно непрерывного отступления: «Они у меня в руках!» — воскликнул он, увидев англичан, выстроенными на небольшой возвышенности, идущей через дорогу от замка Гугомон, направо от нее до фермы и разбросанной деревушки Лаге-Сент налево. Он имел некоторое основание верить в успех. С обеих сторон армии насчитывали от 70 000 до 80 000 человек, но у французов были сильнее артиллерия и конница, а большая часть войск Веллингтона состояла из бельгийских рекрутов, которые смешались и бежали в начале битвы. Сражение открылось в 11 часов бурным натиском на Гугомон, но не раньше полудня корпус д'Эрлона придвинулся к центру близ Лаге-Сент, где с этого времени сосредоточилась главная борьба. Ни в каком сражении противники не выказывали большего мужества и в нападении, и в обороне, чем при Ватерлоо. Колонны д'Эрлона, отраженные английской пехотой, были отброшены в беспорядке атакой «серых шотландцев»; в свою очередь, последние были разбиты французскими кирасирами. Масса французской конницы, в составе 12 000, производила на английский фронт одно нападение за другим, увозила пушки англичан и с отчаянной храбростью носилась вокруг несокрушимых каре, огонь которых разрезал ее ряды. Почти с такой же храбростью двинулись снова вперед французские колонны центра, отняли, наконец, у противников ферму Лаге-Сент и бурно, но безуспешно, бросились под командой Нея на стоявшие за ней войска. Между тем положение Наполеона с каждым часом становилось хуже. Чтобы выиграть битву, ему нужно было разбить англичан до присоединения к ним Блюхера, а англичане все еще стояли на месте. Как ни страшны были их потери — многие из их полков были сведены до простой кучки людей, — но Веллингтон упорно удерживал за собой позицию, в то время как пруссаки, направляясь от Вавра по скрытым и грязным дорогам, медленно приближались на помощь к нему, не обращая внимания на нападения с тыла, которыми Груши старался отвлечь их от поля битвы. Наконец, в половине пятого их передовой отряд выбрался из леса; но главные силы были далеко позади, и Наполеон все еще мог держаться против них, пока увеличение их не заставило его решиться на отчаянную атаку английского фронта. В 7 часов императорская гвардия — его единственный резерв, до тех пор не принимавший участия в битве, — была построена к атаке в две плотные колонны. Первая, с самим Неем во главе,

смела все перед собой, поднимаясь на холм рядом с Лаге-Сентом, где еще держалась поредевшая линия англичан, и почти дошла до их фронта, где была встречена страшным мушкетным огнем, разорвавшим ее и принудившим отступить перед натиском. Вторая, в 3000 человек, с такой же отвагой поднялась по склону близ Гугомона и, в свою очередь, была отражена и расстроена. В то время как эти массы медленно и угрюмо спускались по роковому склону, пруссаки напали на правый фланг Наполеона, их пушки очистили дорогу к Шарлеруа, а Веллингтон воспользовался минутой для общего наступления. Теперь все было потеряно. В общем крушении французской армии устояла только старая гвардия; хотя темнота и усталость помешали англичанам преследовать бежавших с поля битвы противников, но их преследовала всю ночь прусская конница. Только 40 000 французов и какие-нибудь 30 пушек вернулись за Самбру; сам Наполеон поспешно бежал в Париж. За вторым его отречением последовало торжественное вступление в столицу Франции английских и прусских войск. Долгая война окончилась изгнанием Наполеона на остров Святой Елены и возвращением Людовика XVIII на трон Бурбонов.

Эпилог

Победа при Ватерлоо приводит нас ко времени, которое еще помнили некоторые из наших современников, — к началу новейшего периода в истории Англии, периода, пожалуй, наиболее важного и интересного, но, быть может, еще слишком близкого к нам, чтобы возможно было его спокойное, чисто историческое описание. Во всяком случае, в труде, подобном настоящему, уместно будет ограничиться с этих пор коротким перечислением более замечательных событий в политической истории Англии.

Мир, завершивший великую борьбу с Наполеоном, оставил Британию в состоянии волнений и истощения. Из своих завоеваний на море она удержала только Мальту, — прежний владелец которой, Орден иоаннитов, прекратил свое существование, — голландские колонии на Цейлоне и мысе Доброй Надежды, французскую колонию на Маврикии и несколько островов в Вест-Индии. С другой стороны, гнет тяжелых налогов и государственного долга, достигшего теперь 800 миллионов, еще усиливался общей нуждой в стране. Быстрое развитие английской промышленности на время обогнало мировой спрос; внутренние и внешние рынки были завалены не идущими с рук товарами, фабрики должны были прекращать работу. Дороговизна, вызванная рядом плохих урожаев, усиливалась своекорыстными мерами землевладельцев, заседавших в парламенте. Сознывая, что процветание английского земледелия носит чисто искусственный характер и основывается на вызванных войной высоких ценах на хлеб, эти землевладельцы провели в 1815 г. Закон, воспрещавший ввоз иностранного хлеба, пока цены на пшеницу не доходят до уровня голодных. Притом, общественный порядок нарушался резкой переменой в занятиях, вызванной внезапным возвращением к миру после двадцатилетней войны и роспуском огромных армий, сражавшихся на море и на суше. Движение против машин, подавленное в 1812 г., воскресло в грозных бунтах, а нищета сельского населения вызвала быстрый рост преступности. Далее, упорное противодействие правительства, в котором тогда преобладало влияние лорда Кэсбри, всем пла-

нам политической реформы вызвало опасное раздражение, выдвинувшее вперед людей, которые требовали радикальной реформы английских учреждений, за что и получили название радикалов; в то же время более рьяные агитаторы доходили до преступного недовольства и безумных заговоров. Непопулярность правительства увеличилась в 1819 г., благодаря разгону военной силой митинга, созванного в Манчестере для защиты парламентской реформы. Несколько отчаянных людей с Артуром Тистльвудом во главе составили заговор перебить всех министров, известный как заговор Катоновой улицы и указавший на ожесточение, до какого дошли крайние противники правительства. Смерть Георга III в 1820 г. и вступление на престол его сына, принца-регента, Георга IV только усилили общую смуту в умах. Новый король уже давно разошелся с женой и обвинял ее в неверности; первым делом его по вступлении на престол было возобновление этих обвинений и предложение парламенту билля о расторжении брака с ней. Вызванное этим шагом общественное возбуждение заставило, наконец, министерство отказаться от Билля, но позор королевской семьи и непопулярность короля только усилили в стране общее недовольство.

Но главная опасность для общественного порядка заключалась в слепом противодействии всякой политической реформе, смешивавшем с революционными замыслами умеренные и разумные планы преобразования; конец политике простого сопротивления положило в 1822 г. самоубийство лорда Кэсари, ставшего тогда маркизом Лондондерри и бывшего главной ее опорой. Вместо него министром иностранных дел сделался Кэннинг, и с ним вернулась прежняя прогрессивная политика Уильяма Питта. Первым делом его ввне было порвать с так называемым «Священным союзом», составленным после низвержения Наполеона континентальными дворами для подавления революционных или либеральных движений в их государствах и вызвавшим своим деспотизмом восстания в Неаполе, Испании и Португалии. Кэннинг начал с невмешательства во внутренние дела других государств и подкрепил его посылкой в 1826 г. войск для защиты Португалии от испанского вмешательства; в то же время он признал независимыми государствами восставшие колонии Испании в Южной Америке и Мексике. На родине его влияние сказалось в усиленном внимании к вопросу об эмансипации католиков и в проведении в 1825 г. через палату общин билля, доставлявшего католикам облегчения. В 1823 г., со вступлением в должность его друга Гескисона, было положено начало новой торговой политике, основанной на убеждении в благодетельности свободы торговли и вызвавшей позднее отмену хлебных законов. Новое направление в политике вызвало в министерстве раздор, сказавшийся после смерти лорда Ливерпуля в 1827 г. Кэннинг сделался пер-

вым лордом казначейства, но герцог Веллингтон, канцлер лорд Элдон и министр внутренних дел Пиль отказались подчиняться ему, и через четыре месяца после образования министерства Кэннинга оно было распущено со смертью главы. Временное министерство, образованное лордом Годеричем на началах Кэннинга, скоро было ослаблено положением внешних дел. В это время, несмотря на усилия Кэннинга восстановить мир, уже несколько лет продолжалось восстание греков против турок, и посылка египетской экспедиции с приказом опустошить Морею и обратить в рабство ее жителей вызвала вмешательство Англии, Франции и России. В 1827 г. их соединенный флот под командой адмирала Кодрингтона напал в Наваринской бухте на флот египтян и истребил его; но поражение турок не было одобрено общественным мнением Англии, и министерство, уже не пользовавшееся поддержкой парламента, вынуждено было подать в отставку.

Образование чисто торийского министерства герцога Веллингтона, с Пилем в качестве его главной опоры в общинах, по общему мнению, обещало крайнее сопротивление всякой дальнейшей реформе. Но Ирландия, где образованная Дэниелом О'Коннелом «Католическая ассоциация» поддерживала сильную агитацию, дошла теперь до такого состояния, что английскому министерству приходилось выбирать между уступками и междоусобием. Герцог уступил и внес билль, который, подобно предложенному Питтом, допускал католиков в парламент и ко всем должностям коронной службы, гражданским и военным, кроме нескольких самых высших. Проведение этого билля в 1829 г. при помощи вигов привело партию тори в возмущение. В то же время революция во Франции, устранившая с престола Карла X и провозгласившая конституционным королем его родственника герцога Орлеанского Луи-Филиппа, вдруг оживила в Англии с никогда не виданной прежде силой стремление к парламентской реформе. Вильгельм IV, после смерти своего брата Георга IV наследовавший корону, в это время благоприятствовал требованию реформы, но Веллингтон отказался от всяких уступок. Этот отказ принудил его к отставке, и в первый раз после 20 лет виги снова получили власть под главенством графа Грея. В 1831 г. парламенту был предложен билль о реформе; он отнимал право представительства у 56 захудалых, или «гнилых», местечек, предоставлял 143 выигранные места графствам или крупным городам, еще не посылавшим представителей в парламент, предоставлял в городах право голоса владельцам домов с доходом в 10 фунтов и распространял избирательное право в графствах на арендаторов. Когда билль был отвергнут, министерство обратилось к стране. Новая палата общин тотчас приняла билль, но его отвергли лорды; это вызвало такое страшное волнение, что при но-

вом внесении его противившиеся ему пэры устранились и допустили обращение его в закон (1 июня 1832 г.). Собравшийся в 1833 г. преобразованный парламент, благодаря запальчивости и неопытности многих новых членов и особенно благодаря поведению О'Коннела, много содействовал пробуждению в стране реакционного настроения. После отставки лорда Грея в 1834 г. министерство было поставлено под главенство виконта Мельбурна. Король, симпатии которого в это время склонились на сторону тори, скоро отставил этот кабинет, которому на короткое время наследовало министерство сэра Роберта Пиля, но общие выборы опять дали вигский парламент и вернули власть Мельбурну. Никогда ни одно министерство не производило более важных и благодетельных реформ, чем вигский кабинет с лордами Греем и Мельбурном во главе за 10 лет его существования (1831–1841 гг.), хотя влияние его было ослаблено усиливающейся переменой в политическом настроении страны. В 1833 г. было отменено рабство, еще существовавшее в британских колониях, несмотря на запрещение работорговли, с уплатой владельцам 20 миллионов, была уничтожена торговая монополия Ост-Индской компании, и всем купцам дозволена торговля с Востоком. В 1834 г. издание нового Закона о бедных положило преграду росту пауперизма. В 1835 г. городское положение вернуло жителям городов те права на самоуправление, которых они были лишены с XIV в. В 1836 г. был принят Закон о введении метрических книг; в то же время Закон о выкупе десятины устранил постоянные споры из-за нее, а введением гражданского брака была устранена одна из жалоб диссидентов. В 1834 г. назначением небольшой ежегодной суммы на сооружение школ было положено начало системе народного образования, развитой в 1839 г. учреждением в Тайном совете комиссии по делам просвещения и постоянным увеличением сумм на него.

Несмотря на важность этих мер, затруднения вигского министерства с каждым годом все возрастали. В Ирландии О'Коннел поддерживал непрерывную агитацию в пользу отмены унии, и ее можно было сдерживать только исключительными законами. Несмотря на толчок, данный торговле системой парового передвижения, получившей начало с открытия железной дороги между Ливерпулем и Манчестером в 1830 г., народ все еще страдал от нужды, и недовольство низших классов привело в 1839 г. к бурному требованию «народной хартии», заключавшей в себе всеобщее избирательное право, тайное голосование, годичность парламентов, равенство избирательных округов, отмену имущественного ценза для депутатов, оплату их услуг. В Канаде правительство своей неловкостью допустило переход спора между обеими областями в грозное восстание. Общее неудовольствие возбудил лорд

Пальмерстон, ученик Кэннинга, своим энергичным, но заносчивым проведением иностранной политики учителя. Он поддерживал против претендентов с более деспотическими стремлениями в Португалии королеву Марию, а в Испании королеву Изабеллу, при помощи Четверного союза с Францией и обеими державами Пиренейского полуострова, и принудил бомбардированием Акры в 1840 г. египетского пашу Мехмет-Али отказаться от нападения на Турцию. В то же время общественное мнение было возмущено войной с Китаем из-за отказа его допустить в свои владения ввоз опиума. Более тяжелый удар был нанесен министерству событиями в Индии, где занятие Кабула в 1839 г. окончилось общим восстанием афганцев и гибелью британской армии в Хейберском проходе. Сила правительства была на время восстановлена смертью Вильгельма IV в 1837 г. и вступлением на престол Виктории, дочери его брата Эдуарда, герцога Кента. С этого времени прекратилась уния Англии и Ганновера под властью одного государя, и Ганновер перешел к ближайшему мужскому наследнику — Эрнесту, герцогу Кемберленду. Но виги все более теряли свое влияние на палату общин, и общие выборы 1841 г. доставили их противникам, получившим теперь название консерваторов, большинство почти в сто голосов. Общее доверие, каким пользовался сэр Роберт Пиль, ставший на место лорда Мельбурна во главе министерства, позволило ему энергично взяться за две задачи, более всего затруднявшие его предшественников. Он устранил расстройство финансов отменой массы стеснительных и бесполезных пошлин и введением подоходного налога. В Ирландии О'Коннель был осужден по обвинению в мятеже, и, хотя потом, после апелляции к палате лордов, был выпущен из тюрьмы, но его влиянию был нанесен удар, от которого оно никогда не могло оправиться. С Китаем был заключен мир, открывший некоторые его порты торговцам всех наций. В Индии экспедиция под командой генерала Поллока отомстила за Кабульское поражение, проникнув победоносно в 1842 г. в столицу Афганистана, а провинция Синда была присоединена к британским владениям. Это вызвало, однако, новую борьбу за преобладание с туземцами, особенно с сикхами, которые на время были разбиты в трех больших битвах.

Несмотря на успешность его внешней политики, консервативное правительство неожиданно встретило затруднения внутри. Со времени издания в 1815 г. хлебных законов шел постоянный спор между людьми, защищавшими эту и подобные меры покровительства туземной промышленности, и людьми, считавшими их простым налогом на потребителя в пользу производителя и требовавшими полной свободы торговли. В 1839 г. для проведения взглядов сторонников свободной торговли образовалась Лига против хлебных законов; тревога, вызванная ее действиями среди ферме-

ров и землевладельцев больше всего и побудила их оказать такую энергичную поддержку сэру Роберту Пилю. Но хотя Пиль при вступлении в должность и обязался поддерживать охранительные меры, но сам он постепенно убедился в их бесполезности, и в 1846 г. плохой урожай картофеля в Ирландии и хлеба в Англии принудил его внести Билль об отмене хлебных законов. Билль прошел, но недовольство его собственной партии скоро принудило Пилля к отставке; его сменило вигское министерство лорда Джона Рассела, сохранявшее власть до 1852 г. Первым делом его было распространение начал свободной торговли на все отрасли торговли Англии; с этого времени и до настоящего основой английской торговой политики стало правило лиги — «покупать на самом дешевом рынке, продавать на самом дорогом». Других событий было немного. Общее крушение монархий материка в революцию 1848 г. нашло себе слабый отголосок в небольшом восстании ирландцев под руководством Смита О'Брайена, легко подавленном несколькими полицейскими, и в демонстрации чартистов в Лондоне, прошедшей без дальнейших беспорядков. Новая война с сикхами окончилась победой при Гуджерате и присоединением Пенджаба в 1848 г.

Долгий мир, поддерживавшийся между европейскими державами со времени трактатов 1815 г., подходил теперь к концу. В 1852 г. консерваторы с лордом Дерби во главе сменили на короткое время министерство Рассела; но в конце года союз вигов с приверженцами Пилля, защищавшими свободу торговли, вернул власть либералам. Главе нового министерства лорду Абердину пришлось тотчас выступить против России, желавшей навязать Турции унижительный трактат. В 1854 г. Англия вступила в союз с Луи-Наполеоном, уже провозгласившим себя императором французов, чтобы помешать занятию Дунайских княжеств русской армией. Русские удалились оттуда; но в сентябре союзные войска высадились на берегах Крыма и после победы на речке Алме начали осаждать Севастополь. Вскоре гарнизон оказался равносильным с осаждающими, и когда в Крым пришли свежие русские войска, сами союзники оказались, в свою очередь, осажденными. Нападение на позиции англичан при Инкермане 5 ноября (н. с.) было отражено с помощью французской дивизии; но зима оказалась страшнее русского оружия, и ан-

* Несмотря на численное и, главное, техническое превосходство англичан и их союзников, наши все же наносили врагу очень ощутимые потери. Так, в бою при Балаклаве, наша конница покрошила легкоконную бригаду лорда Кардигана, потерявшую до 50% личного состава, что было особо тяжелой потерей для английского высшего общества, т. к. офицерами в кавалерийских частях Англии служили представители знатнейших аристократических фамилий. Что же касается климата, то Крым, все-таки, не Сибирь. Если же англичане оказались неготовыми даже к крымской зиме, то винить в этом они должны свое военное министерство.

глийская армия сильно пострадала от холода и болезней*. Ее страдания вызвали в Англии негодование, и в начале 1855 г. министерство Абердина принуждено было выйти в отставку. Главой министерства, заключавшего в себе тех членов предыдущего, которые считались ревностнейшими сторонниками продолжения войны, сделался лорд Палмерстон. После почти годичной осады союзники в сентябре (н. с.) наконец овладели Севастополем, и истощенная войной Россия согласилась в 1856 г. на Парижский мир. Война глубоко унизила военную репутацию Англии, и этой причине можно отчасти приписывать мятеж туземных войск в Бенгалии, разразившейся в 1857 г. Кроме того, причинами этого взрыва, все еще остающегося таинственным, называли интриги русских, фанатизм мусульман, недовольство присоединением королевства Аудского лордом Дальгузи и фанатическую уверенность индусов в том, что английское правительство намерено обратить их в христианство и принудить к отказу от кастового устройства. За мятежом в Мируте в мае последовал захват Дели, где туземный государь был провозглашен императором Индостана, новый мятеж и избиение европейцев в Коунпоре, восстание Ауда и осада резиденции в Локнау. Число английских войск в Индии было незначительно, и на время весь Восточный и Центральный Индостан представлялся потерянным; но Мадрас, Бомбей и Пенджаб остались нетронутыми, а в Бенгалии и Ауде англичане не только удержались, но двинулись на Дели и в сентябре взяли город штурмом. Через два месяца прибыли подкрепления под командой сэра Колина Кемпбелла, освободили Локнау, до тех пор державшийся благодаря героическому движению сэра Генри Гэвлока с кучкой войска, а также очистили от мятежников Ауд. За подавлением мятежа последовало в 1858 г. преобразование управления Индией, перешедшего от компании к короне; королева была провозглашена ее государыней, а генерал-губернатор сделался вице-королем.

Доверие, приобретенное лордом Пальмерстоном в продолжение войн с Россией и с сипаями, было поколеблено, когда в 1858 г. под влиянием покушения на Наполеона III, говорят, задуманного на почве Англии, он предложил изменить закон касательно заговоров. Запальчивый язык французской стороны вызвал движение к образованию армии добровольцев, скоро достигшей 150 000 человек; раздражение было так сильно, что билль, внесенный, по-видимому, из внимания к требованиям Франции, был отвергнут палатой общин. Премьер-министром стал снова на несколько месяцев лорд Дерби, но новые выборы в 1859 г. вернули власть Пальмерстону, министерство которого просуществовало до смерти его в 1865 г. Внутри он следовал политике полного бездействия; вся его энергия была направлена на сохранение нейтралитета Англии в пяти великих войнах, потрясавших

не только Европу, но и Новый Свет: в войне 1859 г. между Францией и Австрией, окончившейся образованием королевства Италия, в гражданской войне в Америке, начавшейся отпадением южных штатов в 1861 г. и окончившейся четыре года спустя их подчинением, в польском восстании 1863 г., в нападении Франции на Мексику и Пруссии с Австрией на Данию в 1864 г. Американская война, ввиду ее отношения к поставке хлопка, довела до нужды Ланкашир; в то же время снаряжение в английских гаванях каперских крейсеров от имени южных штатов дало Америке справедливое основание к неудовольствию, устраненному много позднее. Но мир был успешно сохранен, а после смерти Пальмерстона его политику невмешательства продолжал его преемник лорд Рассел, сохранивший нейтралитет во время короткого, но решительного столкновения между Австрией и Пруссией в 1866 г., передавшего Пруссии главенство над Германией.

Со смертью Пальмерстона окончился период политического бездействия, отличавшего его управление. Лорд Рассел давно старался провести новую парламентскую реформу; с этой целью он в 1866 г. предложил палате общин билль, который был отвергнут, и министерство вышло в отставку. Первым министром снова стал лорд Дерби с Дизраэли в качестве вождя палаты общин, но они оказались вынужденными внести в 1867 г. Билль о реформе с гораздо более решительным характером, чем отвергнутый при Расселе. Этот билль, принятый в августе, распространил избирательное право в городах на всех плательщиков налогов, а также на квартирантов, занимающих помещение с годичной платой в 10 фунтов; в графствах ценз был определен в 12 фунтов; у английских городов были отняты 33 места, из которых 25 были отданы английским графствам, а остальные разделены между Шотландией и Ирландией. Таким образом, в состав избирателей была введена масса рабочих, городских и сельских, и косвенный результат этой важной меры сказался тотчас в энергичной политике парламента, собравшегося после новых выборов в 1868 г. Дизраэли, ставший после удаления лорда Дерби премьер-министром, спокойно вышел в отставку, найдя, что в палату общин выбрано либеральное большинство больше, чем в сотню голосов; его место занял Гладстон во главе министерства, в которое в первый раз вошли все группы либеральной партии. Сила и энергия нового правительства обнаружились в ряде важных реформ. Его первым делом была попытка устранить хроническое недовольство Ирландии отнятием у протестантской церкви ее государственного характера и доходов в 1869 г. и проведением поземельного закона, установившего в 1870 г. особое арендное право во всей стране. Требования диссидентов были удовлетворены в 1868 г. отменой обязательных церковных взносов и в 1871 г. упразднением

всяких церковных присяг для допуска к должностям или университетским степеням. Далее были предприняты важные реформы в управлении флотом и был осуществлен план полного преобразования армии после отмены приобретения офицерских мест покупкой. В 1870 г. было продвинуто дело народного образования биллем, предписавшим учреждение в каждом округе школьного совета и содержание его на местные налоги. В 1872 г. был сделан новый шаг в деле преобразования парламента проведением меры, установившей тайную подачу голосов избирателями путем баллотировки. Важность и быстрота этих реформ вызвали, однако, в настроении избирателей быструю реакцию, и когда был отвергнут Билль об организации высшего образования в Ирландии, то Гладстон счел своей обязанностью путем роспуска парламента обратиться с запросом к общественному мнению. Выборы доставили консерваторам большинство почти в 70 голосов, что неизбежно вызвало отставку кабинета; премьер-министром короны снова стал Дизраэли.

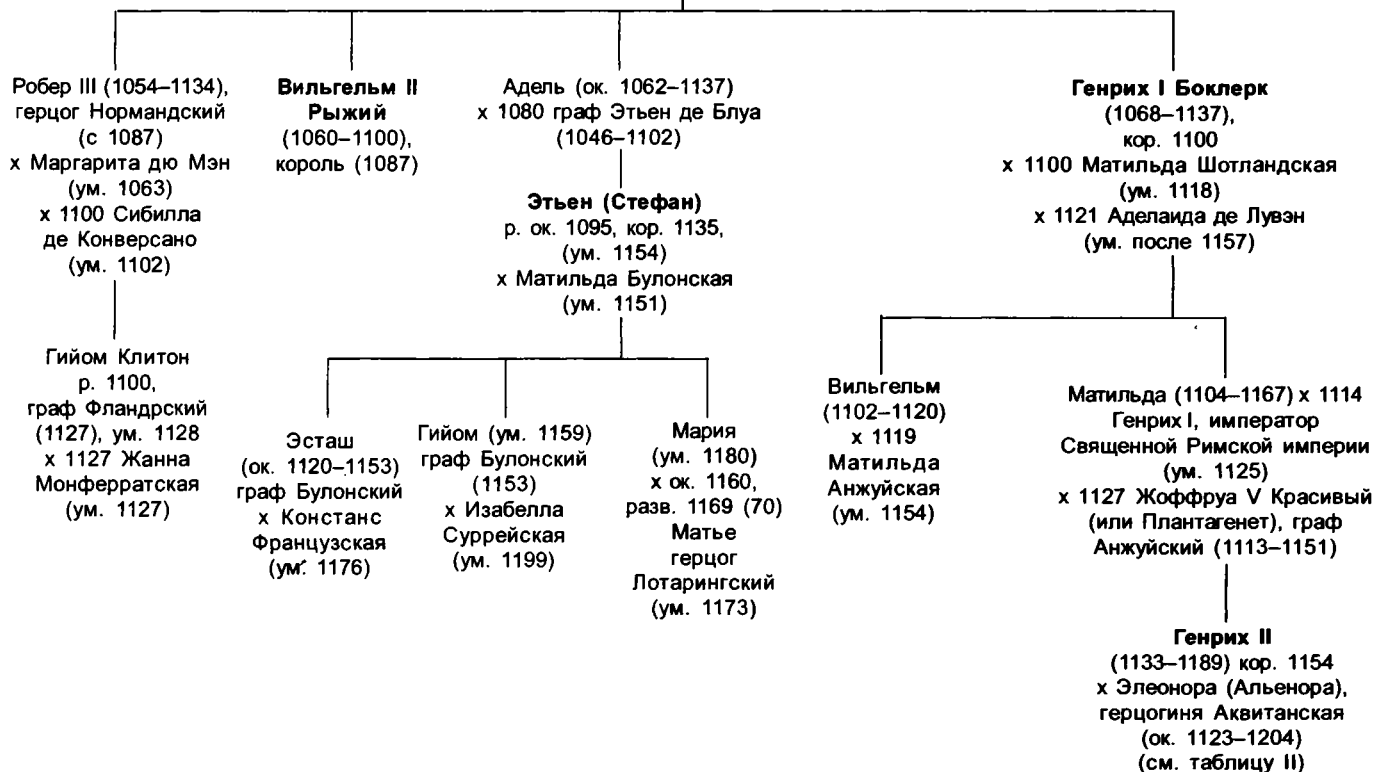
I. НОРМАНДСКАЯ ДИНАСТИЯ

Вильгельм I Завоеватель

(незаконнорожденный сын герцога Нормандского Робера II Великолепного (или Дьявола) и его любовницы Прекрасной Арлетт.

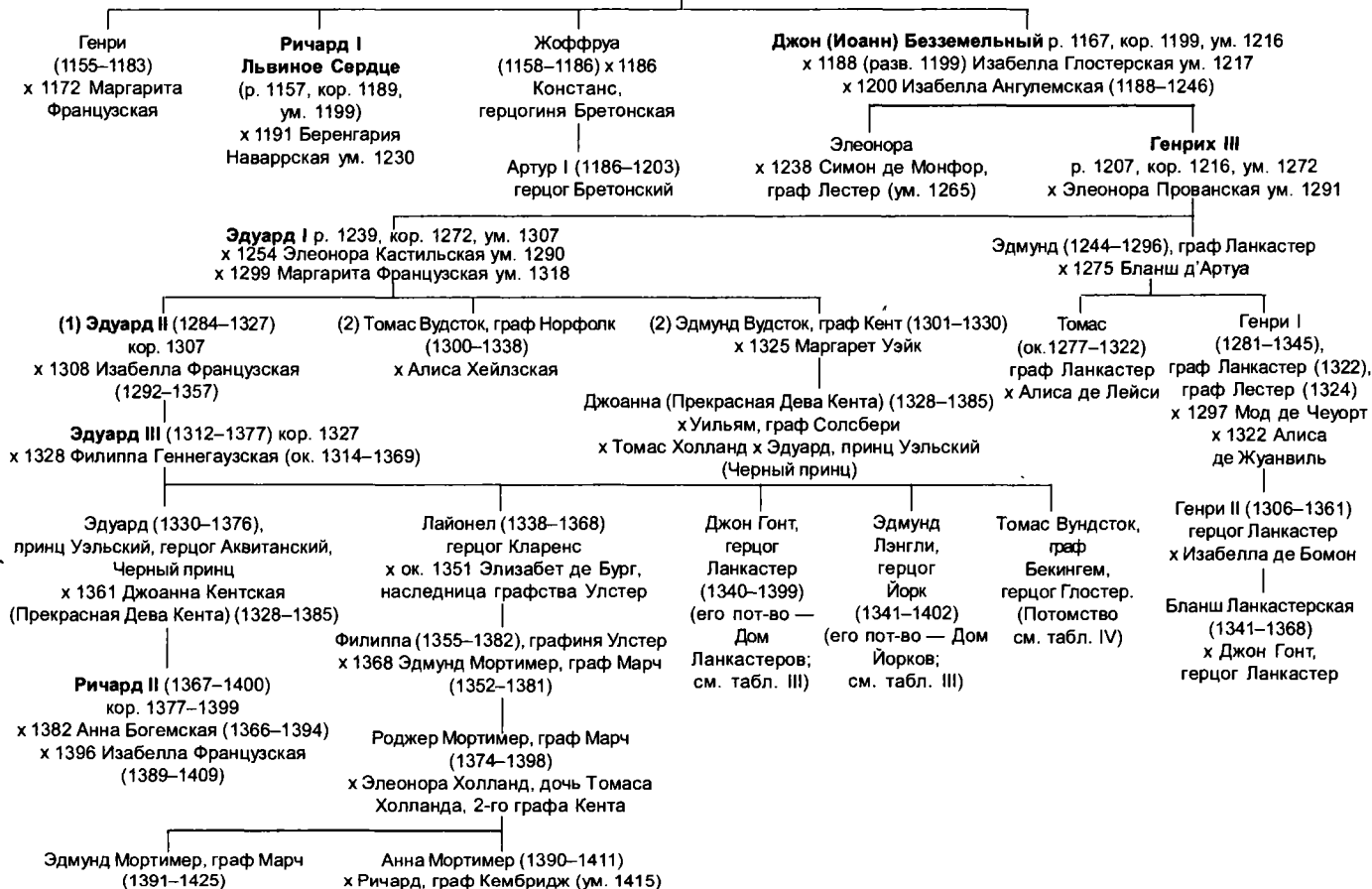
р. 1027(28), герцог Нормандский (1035), король Англии (1066), ум. 1087

х Матильда Фландрская (ок. 1032–1083)

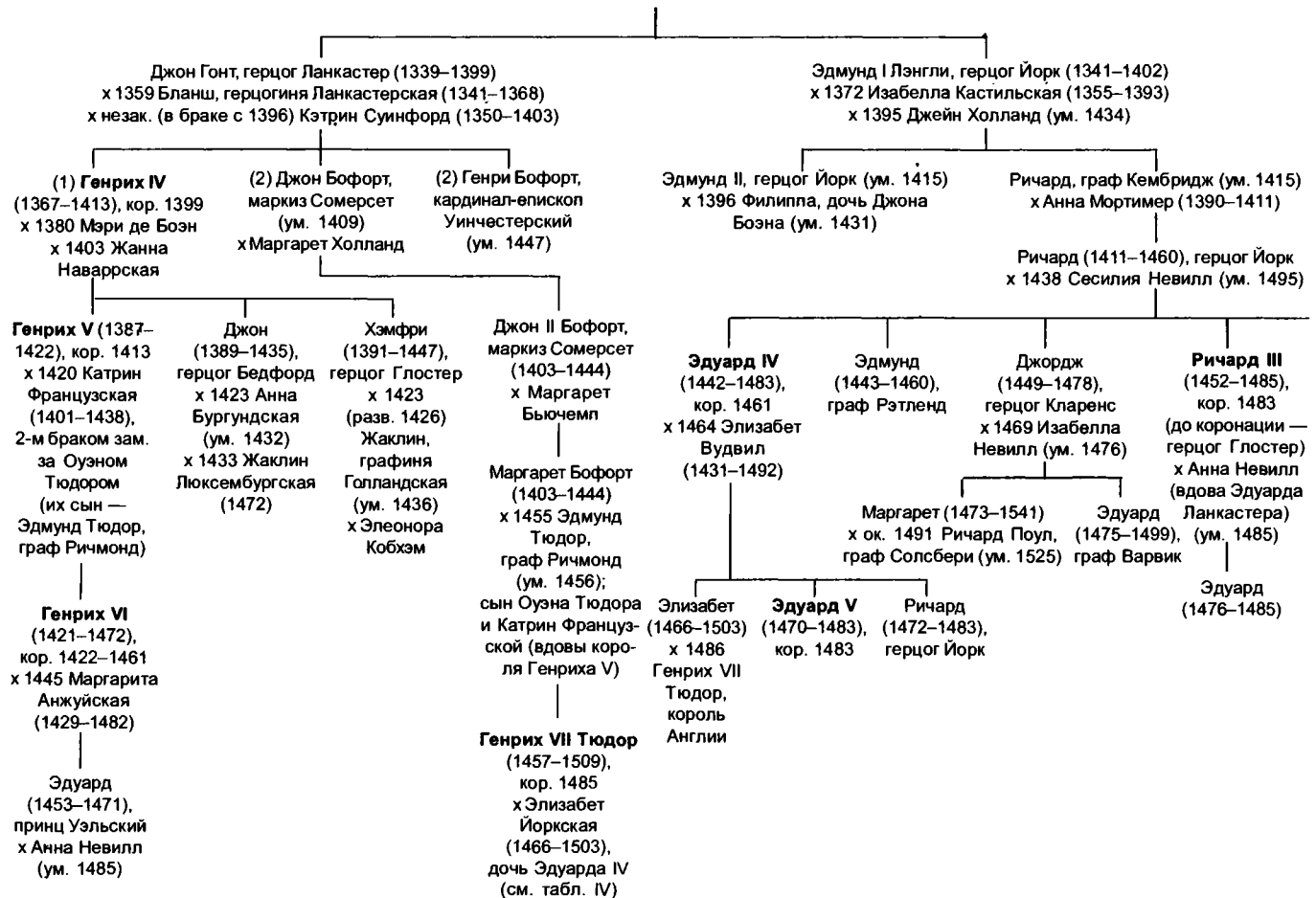


II. ПЛАНТАГЕНЕТЫ

Генрих II (1133–1189), кор. 1154
 x Элеонора (Альенора), герцогиня Аквитанская (ок. 1123–1204)



III. ЛАНКАСТЕРЫ И ЙОРКИ



IV. ПОТОМСТВО ТОМАСА ВУДСТОКА

Томас Вудсток (1355–1397), герцог Глостер и герцог Бекингем
х Элеонора де Бозен

Анна (1383–1438)

х 1398 Эдмунд Стаффорд, 5-й граф Стаффорд (1378–1403)
х ок. 1405 Уильям Буршье, граф д'Э (ум. 1420)

Хэмфри Стаффорд, 1-й герцог Бекингем (1402–1460)
х Анна Невилл (ум. 1424)

1) Хэмфри, граф Стаффорд (ум. 1455)
х Маргарет Бофорт, дочь Эдмунда Бофорта,
2-го герцога Сомерсет

Генри Стаффорд, 2-й герцог Бекингем (1454–1483)
х 1465 Кэтрин Вудвил, сестра Элизабет, жены Эдуарда IV

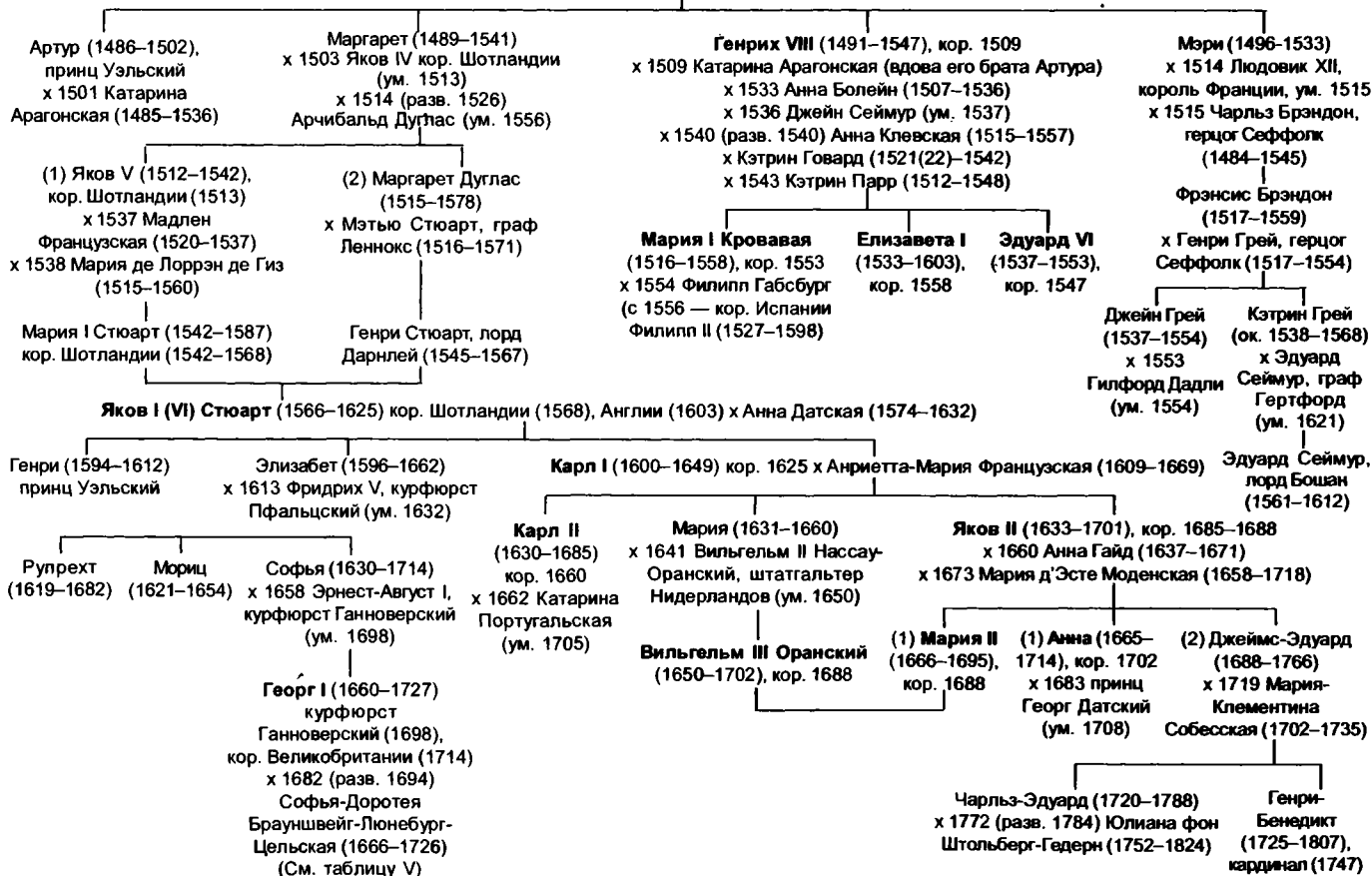
Эдвард Стаффорд 3-й герцог Бекингем (1478–1521) казнен при Генрихе VIII
х Альенора Перси

Генри Стаффорд, 1-й барон Стаффорд (1501–1563)
х Урсула Поул, дочь сэра Ричарда Поула и Маргарет Йоркской, графини Солсбери
(пот-во)

2) лорд Генри Стаффорд (ум. 1481),
х Маргарет Бофорт, дочь Джона Бофорта,
1-го герцога Сомерсет (вдова Эдмунда Тюдора,
мать Генриха VII)

V. ТЮДОРЫ И СТЮАРТЫ

Генрих VII Тюдор (1457–1509), кор. 1485
х Элизабет Йоркская (1466–1503), дочь Эдуарда IV



VI. ГАННОВЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ

Георг I (1660–1727), курфюрст Ганноверский (1698), кор. Великобритании (1714)
x 1682 (разв. 1694) **Софья-Доротея Брауншвейг-Люнебург-Цельская** (1666–1726)

Георг II (1683–1750), кор. 1727
x 1705 **Вильгельмина-Доротея Бранденбург-Ансбахская** (1683–1737)

Фредерик-Август (1707–1751) принц Уэльский
x 1736 **Августа Саксен-Готская** (1719–1772)

Уильям-Август (1721–1765)
герцог Кемберленд

Георг III (1738–1820), кор. Великобритании (1760),
Ганновера (1815)
x 1761 **София-Шарлотта Мекленбург-Штрелицкая**
(1744–1818)

Эдуард-Август,
герцог Йорк
(1739–1767)

Генри-Фредерик,
герцог Кемберленд
(1745–1790)

Уильям-Генри,
герцог Глостер и
Эдинбург (1743–1807)
x **Мэри Уолпол**
(1736–1807)

Георг IV (1762–1830)
регент 1811, кор. 1820
x 1796 **Каролина Брауншвейг-Вольфенбюттельская**
(1768–1821)

Вильгельм IV (1765–1837),
кор. 1830
x 1813 **Аделаида Саксен-Мейнингенская**
(1792–1849)

Эдуард-Август
герцог Кент
(1767–1820)
x 1818 **Виктория Саксен-Кобургская**
(1786–1861)

Виктория
(1819–1901), кор. 1837
x 1849 **Альберт Саксен-Кобург-Готский**
(1819–1861)

Эрнест-Август
(1771–1851)
герцог Кемберленд,
кор Ганновера (1837)
x 1815 **Фредерика Мекленбург-Штрелицкая**
(1778–1841)
(его потомство —
королевский
дом Ганновера)

Уильям-Фредерик
герцог Глостер
(1776–1834)

Именной указатель

- Аббон Флёрский, аббат 62
Абелар Батский, философ 137–138, 143
Абергавени, Джордж Невилл 12-й барон 692
Абердин, Джордж Гамильтон-Гордон 4-й граф 875, 876
Абингдон (Збингдон) Джеймс Берти, 5-й барон Норрейс и 1-й граф 692
Август II Саксонский, король Польский 770
Августа Саксен-Гота-Альтенбургская, принцесса Уэльская, мать Георга III 790, 894
Августин Блаженный, богослов 244
Августин Кентерберийский 20
Аверроэс (Ибн Рушд), философ 143
Авиценна (Ибн Сина), философ и врач 144
Аво, Жан-Антуан де Мэм граф д' 711
Адель, дочь Вильгельма Завоевателя 106, 879
Адриан IV, папа Римский 461
Айдаун Линдисфарнский, епископ 26, 27, 32–34, 37, 38
Айтон Генри, генерал 582, 584–586, 595, 640
Алансон Жан I, герцог д' 235
Алансон Шарль II, граф д' 233
Аларих I, король вестготов 20
Александр I, император Всероссийский 856, 863
Александр III Великий, царь Македонский 786
Александр III, король Шотландии 195
Алкун, богослов 45
Аллен Уильям, кардинал 423
Альба-де-Тормес, Фернандо Альварес де Толедо 3-й герцог 404, 405, 429, 689
Альберони, Джулио, кардинал 752, 753
Альберт Великий, философ и теолог 244
Альберт Пизанский, министр-генерал ордена францисканцев 156
Альбин Кентерберийский, игумен 42, 106
Альфонс X Мудрый, король Кастилии 177
Альфред Беверлийский, хронист 124
Альфред Великий, король Уэссекса 26, 50–58, 61, 63, 71, 72, 75, 85, 103, 176
Альфун, основатель монастыря Св. Эгидия (Лондон) 100 *
Амеросий Медиоланский, епископ 351
Амхерст (Эмгерст, Эмгрест) Джеффри, 1-й барон, фельдмаршал 781, 784
Ангус (Энгус), Арчибалд Дуглас 6-й граф, регент Шотландии 375
Анейрин(Анеурин), валлийский бард 168
Анжуйская династия 301
Анжуйский Рене, герцог 290
Анжуйский Франсуа-Аннибал, герцог 728
Анна Богемская, 1-я жена Ричарда II 272
Анна Болейн, 2-я жена Генриха VIII 341–343, 350, 356, 361, 370, 384
Анна Хайд (Гайда), 1-я супруга короля Якова II 505, 656
Анна, королева Англии, Шотландии и Ирландии 704, 729–733, 741, 742, 745, 746
Ансельм Кентерберийский, богослов 77, 80, 94, 96, 100, 122, 123, 132, 138, 460
Аргайл, Арчибалд Кемпбелл 8-й граф и 1-й маркиз 559, 576, 587–589, 591, 653
Аргайл, Арчибалд Кемпбелл 9-й граф 687
Аргайл, Джон Кемпбелл 2-й герцог 746
Аргайлы, род 686, 708
Ариосто Пудовико, поэт 384, 414, 439
Аристотель, философ 42, 141, 143, 157, 315
Арх Жанна д' 230, 280–291
Аркрайт Ричард, изобретатель 823, 861
Арлетта Фалезская, виконтесса да Контевилль, мать Вильгельма Завоевателя 79
Арманыя Бернар VII, граф д' 276
Арминий Якоб, протестантский богослов 493
Арнольд Бенедикт, американский генерал 809
Артевель де Якоб ван, фландрский купец 233
Артур I, герцог Бретонский 120, 127, 880
Артур, легендарный король бриттов 124, 169
Артур, принц Уэльский, старший сын Генриха VII 323
Арундел Томас, архиепископ Кентерберийский 271
Арундел, Генри Фицалан 19-й граф 406
Арундел, Ричард Фицалан 11-й граф 271
Арундел, Томас Говард 21-й граф 514
Арундел, Уильям Фицалан 16-й граф 309
Арундел, Генри 3-й барон 691
Ассер, валлийский епископ, хронист 55
Аурангзеб, падишах империи Великих Моголов 773
Азале, см. Элла
Бабингтон Энтони, заговорщик 433
Бакло (Беклей), герцогский род 651
Балиолы, дворянский род 194
Балтимор, Сесил Калверт 2-й барон 525
Багън Роберт, шотландский пресвитерианин 754
Бамерино, Артур Элфинстоун 6-й лорд 772
Баньян (Беннан) Джон, баптистский проповедник 483, 646–649, 661, 692
Барийон Поль маркиз де Бранк 679
Барлоу Уильям, епископ Сент-Давид 368
Бароний Цезарь, кардинал 456
Барроу (Барроу) Исаак, математик и богослов 631
Беда Достопочтенный, хронист 22, 41–43, 54–56, 123, 126
Бедби Джон, поллард 251, 275
Бедло, авантюрист 672, 673
Бедлсмир, Маргарита де Клер «баронесса 217
Бедфорд Джон, герцог, брат Генриха V 282, 284–291
Бедфорд, Джон Рассел 4-й герцог 796, 806, 818
Бедфорд, Уильям Рассел 5-й граф и 1-й герцог 703
Бедфорд, Франсис Рассел 4-й граф 558
Бекет Жильберт, портовый старшина Лондона 97, 100, 108
Бекет Матильда (Рогеза), мать Т. Бекета 108
Бекет Томас, архиепископ Кентерберийский 108, 110, 113, 114, 122, 125, 139, 381, 462
Бекингем, Генри Стаффорд 2-й герцог 311
Бекингем, Джордж Вильерс 1-й герцог 505–512, 518, 520, 521, 527, 537, 627, 630
Бекингем, Джордж Вильерс, 2-й герцог 660–670, 675
Бекингем, Эдвард Стаффорд 3-й герцог 337
Бекфорд Уильям, лорд-мэр Лондона 779
Белем, Роберт Монтомери 3-й граф Шрусбери, сеньор де 101, 171
Беллармин Роберто, кардинал 491
Белласис, Джон 1-й барон 691
Бенге, монах 283
Бенедикт Бископ, аббат 32, 41, 42
Беннет Генри, 1-й граф Арлингтон 656, 660, 664, 675
Бентинки 748
Беорнвальф, король Мерсии 47
Беортрик, король Уэссекса 46
Бербоун Превзгод (Бэрбон Хвали Бога), кожевник, проповедник 601
Бёрсздж Ричард, английский актер 447
Бергийон Джон, генерал 810
Бёрдет Франсис, баронет 862
Бересфорд, ирландская семья 845
Берк Эдмунд, публицист 42, 767, 786, 799, 808, 824, 831–842
Беркли Роберт, судья 549
Бернет Джилиберт, епископ Солсберийский 634, 664, 678, 714
Берта, дочь короля Кариберта Парижского 19
Бёртон Роберт, священник, философ 548, 579
Биго (Бигод) Хьюг, 1-й граф Норфолк 114
Бинг Джон, адмирал 776, 779, 784
Бирин Святый, епископ, проповедник 26
Бланшар Алан, командир арбалетчиков 279
Блаунт Томас, гофмаршал 218
Блаунт Чарльз, 8-й лорд Маунтджой и 1-й граф Девонширский 473
Блуа-Шампанский дом 105
Блэк Роберт, адмирал 594, 598, 599, 611, 614, 640, 816
Блюхер Гебхардт-Леобект фон, князь Вальдштадт, прусский генерал-фельдмаршал 867, 868
Боев, Филипп де Дре граф-епископ де 131, 288
Бодуан, архиепископ Кентерберийский 124
Бонизиль, проповедник 26
Бойль Роберт, ученый 631
Боккано Джованни, поэт 415
Боллингбрик, Генри Сент-Джон 1-й виконт 557, 734, 741, 743, 745, 747, 758, 791
Болл Джон, проповедник 259–261
Бомон Франсис, драматург 452
Бонифаций VIII, папа Римский 231
Бонифаций Савойский, архиепископ Кентерберийский 150
Бонифаций, миссионер 45
Боннер Эдмунд, епископ Лондонский 378, 379, 476
Борджиа Чезаре, герцог Валентинуа и Романьи 348
Борн Бертран де, трубадур 118
Боскауэн (Босковен) Эдуард, адмирал 784
Боскауэн Эдуард, адмирал 784
Босуэл, Джеймс Хенбери 4-й граф 402, 403
Бофор Генрих, епископ Уичестерский 282, 289
Бофор Маргарита, мать Генриха VII 311
Бофор Эдмунд 2-й герцог Сомерсет 293
Бозен Генри де, 1-й граф Херефорд 214
Бозций (Анцилй Фансий Северин), римский философ и теолог 55, 307
Бразз Уильям де, 4-й барон Брамбер 129
Браун Джордж, архиепископ Дублинский 468
Браун Роберт, теолог 488
Брауншвейг-Вольфенбютельский Фердинанд, принц прусский генерал-фельдмаршал 782, 783, 791
Бреотс Фокс, шериф 147, 148
Бриджкоттер, Джон Эгертон 1-й граф 545
Бриццли Джеймс, инженер 822
Бристоль, Джордж Дитбй 2-й граф 555
Брок Рэнульф де, рыцарь 113

Именной указатель

- Броули, Виктор-Франсуа герцог де, маршал Франции 783
- Брук, Роберт Гревилл 2-й барон 547
- Брунелески Филиппо, архитектор 315
- Бруно Джордано, философ 388, 416
- Браздод Эдвард, генерал 775, 808
- Браздо Джон, юрмст 590, 600, 604, 640
- Брюс Роберт, 4-й граф Каррик и 6-й лорд Аннандейл 200
- Брюсы, род 194
- Брюэр Уильям, юрмст 148
- Бурбон Антуан, герцог де 397
- Бурбон Шарль де, кардинал 459
- Бурбонский дом 746, 865
- Бурт (Борг) Губерт де, 1-й граф Кент 137, 147–149, 153
- Бусемер, леди 359
- Быюкен, Джон Стюарт граф, коннетабль Франции 284
- Быюкен, Изабелла МакДафф графиня 219
- Быот, Джон Стюарт 3-й граф 791–798
- Бэкон Франсис, философ 454–458, 493, 507, 578, 628, 634
- Бэкон, Роджер, философ 91, 143–147, 157, 244, 422, 632
- Бэкстер Ричард, богослов 566, 579, 609, 617, 642, 645, 657, 692
- Бэл, архиепископ Армагский 469
- Бэллингем Джон, предприниматель 470, 862
- Бэнкрофт Ричард, архиепископ Кентерберийский 487, 499
- Бэстик Джон, публицист 548
- Вакарый, магистр, юрмст 138**
- Валленштейн Альбрехт фон герцог Фридрихсбургский и Мекленбургский, имперский генералиссимус 533
- Вандом, Луи-Жозеф де Бурбон герцог де 288
- Варник, см. Уорик
- Вас, трувер 124, 126
- Вашингтон Джордж, президент США 775, 784, 806, 808–810
- Вашингтон, семья 787
- Вега Лопе де, испанский драматург 441
- Веллингтон, Артур Уэлсли 1-й герцог 857–859, 863, 867, 872
- Вер Роберт де, 9-й граф Оксфорд и 1-й маркиз Дублин 270
- Вер Хорас де, офицер 507
- Вергилий Публий Марон 138, 143, 308
- Верни Эрмунд, фаворит Карла I 560
- Вернон Эдуард, адмирал 760
- Веслунчи Америкго, мореплаватель 315, 437
- Виктория, королева Великобритании 177, 874
- Вильерс Барбара герцогиня Кливлендская, фаворитка Карла II 651, 661, 663, 731
- Вильгельм I Завоеватель герцог Нормандии, король Англии 78–97, 194
- Вильгельм I Лев, король Шотландии 114, 195
- Вильгельм II Рыжий, король Англии 72, 93, 95, 99, 132, 171, 194, 879
- Вильгельм IV, король Великобритании 872, 874
- Вильгельм Мальмисборийский, хронист 123, 138
- Вильгельм Этеллинг, принц, сын короля Генрика I Английского 101
- Вильнёв Пьер-Шарль де, французский адмирал 854
- Вильура, Франсуа де Невиль герцог де, маршал Франции 738, 739, 742
- Висконти, род 227
- Витт Корнелис де, голландский политик 661
- Витт Ян де, голландский политик 649, 698
- Вольтер, Франсуа-Мари Аруэ, французский философ 829
- Вольф (Ульф) Джеймс, генерал 781, 784–786
- Вульффер, король Мерсии 35, 37
- Вульфстан, архиепископ Йоркский 60, 62
- Вульфстан, епископ Уорчестерский 93, 460
- Вэн Гарри 562, 569, 575, 582, 589, 594, 600, 607, 617, 638, 641
- Габсбурги, династия 336, 399, 518, 695**
- Гавестон Пьер де, 1-й граф Корнуолл, фаворит Эдуарда II 215, 216
- Гаймар Жоффрей, норманнский хронист 124
- Галлюит Ричард, писатель и издатель 438
- Гален, римский врач и философ 316, 617
- Галилей Галилео, итальянский астроном 437, 458
- Галифакс, Джордж Севил 1-й маркиз 652, 676, 677, 682, 686, 689, 700
- Галифакс, Чарльз Монтепо 1-й граф 723, 724, 726
- Галлам Генри, астроном 364, 557, 683
- Галлей Эрмунд, историк и математик 631
- Гамилтон Джеймс, 3-й маркиз и 1-й герцог 550, 559, 587, 588, 592
- Гамилтон Ричард, генерал 711
- Гамилтон Уильям, 2-й герцог 588, 597
- Ганноверский дом 748, 771, 789
- Гаральд Гардрода, король Норвегии 83
- Гарви Габриэль, поэт 438
- Гарви Уильям, английский врач 629
- Гарвик, Филип Йорк 1-й граф 758
- Гардинер Стефан, архиепископ Кентерберийский 361, 372, 376
- Гарнет Генри, иезуит 500
- Гарнье Робер, драматург 443
- Гарольд сын Годвина, король Англии 71, 74, 75, 80, 82, 84, 85
- Гарольд сын Кнута, король Англии 171
- Гаррисон (Гэррисон) Томас, генерал 599, 638
- Гарткнут, король Дании и Англии 71, 72
- Гастинг, предводитель датчан 56, 57, 75
- Гастингс Джон де 195
- Гастингс Уильям 1-й барон 310
- Гастинкс Уоррен, генерал-губернатор Индия 813–815, 819, 826–828, 832
- Гау Ричард, генерал 809, 810, 840
- Гау, диссентер 692
- Гауден Джон, епископ, богослов 592
- Гаунт Елизавета 688
- Гаурз Ральф, поэт 305, 307
- Гвадер Дункан II де, граф Восточной Англии 92
- Гвин Эдмунд (Нейл), фаворитка Карла II 651, 686
- Геддестон, священник 685
- Гейдж (Эдж) Томас, генерал 807
- Гейнзюс Антоний, великий пенсионарий Нидерландов 735
- Геклен Бертран дю, коннетабль Франции 242
- Гелс Джон, руководитель восстания 261
- Гемпен (Гэмпен) Джон, деятель оппозиции 484, 518, 547–551, 555, 560, 568, 572
- Генгест, предводитель ютов 9, 10, 17, 20, 48, 67
- Генриетта Английская, герцогиня Орлеанская, дочь короля Карла I 659, 670, 676, 723, 729
- Генриетта-Мария Французская, жена короля Карла I 513, 525, 568, 695
- Генрих I Боклерк, король Англии 95–102, 105, 106, 110, 132, 194, 879
- Генрих I Птицелов, король Германии 201, 203, 207
- Генрих II Плантагенет, король Англии 102, 105, 109–117, 122, 124, 126, 133, 134, 139, 147, 172, 173, 177–181, 195, 209–212, 291, 460, 760, 880
- Генрих III, король Англии 113, 136–137, 147–153, 174, 181, 183, 184, 210–212, 217, 226, 273, 274, 459–462, 880
- Генрих IV Бурбон (Генрих III Наваррский), король Франции 459, 491, 492, 494, 610, 688, 695, 697
- Генрих IV, король Англии 273–280, 293
- Генрих V, император Священной Римской империи 101
- Генрих V, король Франции 277, 280, 282, 283, 391
- Генрих VI, король Англии 186, 280–299, 302, 378, 507
- Генрих VII, король Англии 178, 311–315, 323, 334, 395, 410, 411, 463, 464
- Генрих VIII, король Англии 320, 323, 334–370, 391, 395, 410, 411, 418, 451, 504, 690, 719
- Генрих Батский, юстициарий 151
- Генрих, епископ Хантингдонский 123
- Гентер Уильям, протестант 380
- Георг I, курфюрст Ганноверский и король Великобритании 712, 746–761
- Георг II король Великобритании 769, 779, 787
- Георг III, король Великобритании 714, 789, 793, 796, 805, 811, 822, 845, 848, 850
- Георг IV, король Великобритании 871, 872
- Герберт Артур, 1-й граф Торрингтон, адмирал 702, 715, 718
- Герберт Джордж, поэт 492, 544
- Герберт лорд, см. Сомерсет Генри
- Гардон, Адам, рыцарь 190
- Герлуин Брюнн, рыцарь 76
- Геррик Роберт, поэт 544, 620
- Герфорт, см. Э. Сеймур
- Геруорд, вождь саксов 87
- Герфорд Николас, ученик Уиклифа 251–253
- Геселприг, деятель оппозиции 562
- Гессс, лорд 358, 359
- Гётчинсон Джон, полковник 478–480
- Гётчинсон Люси, жена Дж. Гётчинсона 496, 504, 585
- Гигден Ральф, хронист 307
- Гиз, Франсуа I Лотарингский герцог де 383, 400
- Гизы, род 383, 397, 399, 459
- Гийом Нормандский, внук Вильгельма Завоевателя 101, 105, 879
- Гилберт Уильям, придворный врач 456, 629
- Гилберт Хэмфри 524
- Гилли (Гиллел), ирландская семья 834
- Гильда, писатель 15
- Гиппократ, древнегреческий врач 617
- Гиральд Камбрийский (Джеральд де Барри) 123, 124, 127, 139, 168
- Гирландо Доменико, флорентийский художник 315
- Гирт Годвинсон 84
- Гиффард Джон 1-й барон 165
- Гладстоун Герберт 1-й виконт 877, 878
- Гланвиль Ранульф, юстициарий 123
- Гленко, шотландский клан 709
- Глествилл, английский воин 287
- Глестинги, семья 39
- Глиндуэр (Глендауэр) Оуэн, вождь валлийского восстания 142, 275
- Глинн 613
- Глостер, Роберт 1-й граф 106
- Глостер, Томас Вудсток 1-й герцог 271
- Глостер, Хэмфри Ланкастер герцог 282, 289, 290, 309
- Гоббс Томас, философ 634–636
- Говард (Гауард) Джон, филантроп 767, 768
- Говард Катрин, 5-я жена Генрика VIII ~ 370, 371
- Говедн, хронист 153
- Годвин граф Уэссекский 72–75, 82
- Годи Эдуард, член Палаты общин 421
- Годольфин Сидней 1-й граф 726, 733, 734, 737
- Годрик (Годерик), Фредерик Робинсон 1-й виконт 872
- Годфри Эрмунд Бери, судья 671, 672
- Гольбейн Ганс, художник 327, 356
- Гомер, древнегреческий поэт 315, 414

Именной указатель

Гондмар, Диего Сарменто
де Акунья граф де, испанский
дипломат 509, 510
Гордоны, шотландский род 771
Горза, вождь ютов 9, 11
Горстан, отец Са. Дунстана 58, 62
Гоуэл Дда, см. Хивел II
Гош Лазар, французский генерал 846
Грайндекобб Уильям, предводитель
восстания 262, 263
Граттан Генри, член Палаты общин
816
Графтон, Огастес Фицрой, 3-й герцог
763, 802, 806, 845
Графтоны, герцоги 651
Грей Джон, епископ Норичский 128
Грей Леонард 1-й виконт 396,
465, 472
Грей Томас, поэт, переводчик
172, 785
Грей, Томас Робинзон 3-й барон
Грентем и 2-й граф 872
Гренвилл Уильям, 1-й барон 841, 850,
854, 855
Гренвилл, Джон Картерет 1-й граф
768, 770, 788, 796–798
Гренвилл Джордж, премьер-министр
795, 806
Григорий I Великий, папа Римский
19, 20, 32, 55
Григорий VII, папа Римский 90
Гримбальд, аббат Уинчестерский 55
Грин Натаниэл, американский
генерал 812
Грин Роберт, драматург 416, 445
Гринвилл Базил, генерал 567, 568
Гринуйт, мезуит 500
Гросин Уильям, гуманист 316, 318
Гроссет Роберт, епископ
Уинчестерский 151, 153, 154,
157–167
Гроций Гуго, голландский юрист 478
Гру, физиолог 631
Груши Эммануэль де, маршал
Франции 868
Грошем Томас, финансист 410
Гуго, магистр 143
Гудмен Годфри, епископ Глостерский
529
Гудрич Томас, епископ Илийский
367, 368
Гук Роберт, естествоиспытатель 631
Гухар Ричард, епископ Глостерский
422, 438, 485, 486, 492, 526
Гунохильда, сестра короля Свейна 65
Гупер Томас, епископ Глостерский
374, 380
Гус Ян, религиозный реформатор 272
Густав-Адольф, король Швеции 533,
551, 609
Гутлан, член королевского дома
Мерси 36, 39
Гутрум, предводитель датчан 49–52,
75, 76
Гуттен Ульрих фон, публицист
333, 352
Гутенберг Иоганн, первопечатник 306
Гэй Джон, драматург 791
Гэл Мэтью 597, 602, 640
Гэлл, хронист 413
Гэлс Джон, каноник 632, 633
Гэлс Эдуард, офицер 493, 689

Давид I, король Шотландии 194,
196, 224
Давид II Брюс, король Шотландии
236
Давид III ал Гриффид, принц Уэльса
175–176
Дадли Гилфорд, супруг леди Джейн
Грей 375
Далримпл (Далримпл) Джон
1-й виконт и 1-й граф Стрей 709
Дальхузи, Джеймс Брон-Рамси
1-й маркиз и 10-й граф 876
Данби, Томас Обсерн 1-й герцог
Лидс, 1-й маркиз Кармартен,
1-й граф 663, 667–673, 699, 701,
704, 706, 731
Дандас (Дендас) Генри 1-й виконт
Мелвилл 850, 853
Даннелль, поэт 415
Данте Алигьери, поэт 42, 142,
143, 155
Дарнли (Дарнлей), Генри Стюарт
герцог Орбани, лорд, супруг
Марии Стюарт 375, 400, 403
Дарси Томас, 1-й барон 359
Дарлмут, Джордж Ледж 1-й барон
719
Даун Леопольд, граф, князь Тиано,
австрийский фельдмаршал 783
Двенент Уильям, драматург 544
Джон, Томас Куртенэ 14-й граф 296
Джоншир, Уильям Кавендиш
4-й герцог 700, 701
Джик Антонис ван, голландский
художник 478
Джарет Рене, французский математик
и философ 631
Деллапори, род 464
Демосфен, древнегреческий оратор
325, 384
Дерби, Роберт де Феррьер 1-й граф
114
Дерби, Уильям Стэнли 9-й граф
302, 692
Дерби, Эдуард Стэнли 14-й граф 875
Дервентуотер, Чарльз Редклиф
5-й граф 751
Дермод МакМурроу, король
Лейнстера 461
Десборо Джон, генерал 613
Десмонд, Джералд Фицджералд
15-й граф 439, 472
Деспенсер, Хью-младший 1-й барон,
фаворит Эдуарда II 217, 218
Деспенсер, Хью-старший 1-й граф
Уинчестер и 2-й барон 167
Джеймс Уильям 251
Джейн Грей, претендентка на престол
375, 377
Джексон Эндрю, американский
генерал 866
Дженкинс, капитан корабля 759
Дженнингсон Энтони, путешественник
437
Дженнингс Сара, в замужестве
Черчилль герцогиня Мальборо
731
Джеффрис Джордж 1-й барон 687,
688, 694
Джойсфард Бонаventura епископ 694
Джойс, офицер 584
Джон (Иоанн) Консберийский,
епископ, богослов 100, 138

Джон Беверлейский, святой 30
Джон Гонт герцог Ланкастер, 4-й сын
короля Эдуарда III Английского
226, 242, 243, 247–251, 261, 270,
271, 282, 283, 295
Джон Лондонский 144
Джон Старый Саксонец, аббат 55
Джонсон Бен, поэт и драматург 447,
452, 508, 544, 620
Джотто ди Бондоне, художник 155
Дигби Кенелм, дипломат 630
Дигби Килдэр 2-й барон 555
Дигби Эверард, заговорщик 499
Дикразли Бендрихамин 1-й граф
Биконсфилд 877, 878
Диккенс Чарльз, писатель 477
Дин Ричард, генерал 607
Доддинг, семья 191
Дольфинги, семья 191
Доминик Святой, основатель ордена
доминиканцев 154–158
Донн Джон, богослов 544
Дорсет, Томас Сэксвилл 1-й граф 437
Дорсет, Чарльз Сэксвилл 6-й граф 692
Драйден Джон, историк 630, 664
Дрейк Фрэнсис, адмирал 431,
434–438, 451
Дуглас Аричальд, регент Шотландии
224
Дуглас Джеймс Черный 5-й граф
220, 224
Дугласы, род 394
Дункан (Дэнкен) Адам 1-й виконт 842
Дунк Скотт, философ 157, 244
Дунстан, архиепископ
Кентерберийский 58–65, 75
Дэвис Джон, поэт 544
Дэвсон Уильям, секретарь
Елизаветы I 434
Джэр, Томас Файнес 9-й барон 358
Дэптон Джон, член Палаты общин
419
Дюмурие Шарль-Франсуа,
французский генерал 836
Дюнуа Жан граф де, граф
де Понгивиль 287
Дюплекс Жозеф Франсуа маркиз,
граф де Ла Ферьер 773
Ева, дочь Дермода короля Лейнстера
461
Екатерина II, императрица
Всероссийская 830, 835
Екатерина Арагонская, 1-я супруга
короля Генриха VIII Английского
323, 341, 342, 356, 371, 381
Екатерина Браганска, супруга
короля Карла II Английского
655, 773
Екатерина Медичи, супруга короля
Генриха II Французского 349, 400,
404, 428–430
Екатерина Французская, дочь короля
Карла VI Французского, жена
короля Генриха V Английского
280
Елизавета I, королева Англии 351,
378–497, 504, 530, 572, 580, 642,
643, 763, 848
Елизавета Английская, дочь
короля Якова I Английского,
жена курфюрста

Фридриха V Пфальцкого
505, 883
Елизавета Валуа, дочь короля
Генриха II Французского,
3-я супруга короля Филиппа II
Испанского 459
Елизавета Грей, жена короля
Эдуарда IV 297, 301
Елизавета Морская, дочь короля
Эдуарда IV Английского, супруга
короля Генриха VII Английского
297, 311, 313
Елизавета Петровна, императрица
Всероссийская 792
Жан III герцог Бранбургский 232
Жан Бестрашный, герцог
Бургундский 279, 288
Жером Бонапарт, король
Вестфальский 857
Жозеф Бонапарт, король
Неаполитанский и Испанский 857
Жоффри, сын Николая, житель
Лестера 202
Жоффруа II герцог Бретонский
и граф Ринмонд, сын короля
Генриха II Английского 880
Жоффруа I Мартен, граф
Анжуйский 79, 81, 105
Жоффруа Серый кафтан, граф
Анжуйский 103
Ида, король Берниици 15
Иммер, хронист 123
Иероним Пражский, религиозный
реформатор 272
Изабелла II, королева Испании 874
Изабелла Ангильская, супруга
короля Иоанна Безземельного
151, 880
Изабелла Клара Евгения, инфанта,
дочь короля Филиппа II
Испанского, супруга эрцгерцога
Албрехта VII Австрийского 459
Изабелла Французская, дочь
короля Карла VI Французского,
2-я супруга короля Ричарда II
Английского 271
Изабелла Французская, дочь короля
Филиппа IV Французского,
супруга короля Эдуарда II
Английского 218
Ильстан, епископ Шерборнский 49
Илан, король Уэссекса 39, 40, 52
Ингельвер, 1-й граф Анжуйский 103
Иннокентий III, папа Римский
128–129, 135, 153, 154
Иоанн (Джон) Баллиоль, король
Шотландии 195
Иоанн (Джон) Безземельный, король
Англии 67, 117–137, 154, 183,
462, 880
Иоанн II Добрый, король Франции
238
Иоганн Люксембургский, король
Богемии 235
Иосиф II, император Священной
Римской империи 821, 828,
830, 831
Иосиф Фердинанд, курпринц
Баварский 725
Исидор, епископ 43

Имённой указатель

Йорки, династия 301, 451
Йорский Ричард 3-й герцог 292–299
Йорский Ричард герцог, младший брат короля Эдуарда V Английского 311
Йорский Фредерик герцог, герцог Опбани, сын короля Георга III Английского 839
Йорский Эдмунд Лэнгли 1-й герцог, сын короля Эдуарда III Английского 294

Кабот Себастьян, путешественник 315, 411, 523
Кавендиш, семья 364, 748
Кадваллон (Кедваллон) ап Кадван, король Гвинедда 24, 173
Казобон Исаак де, филолог 457, 478
Калистик Георг, богослов 493
Кальвин Жан, религиозный реформатор 422, 484, 491, 493, 527
Камберланд (Кемберленд), Генри Клиффорд 1-й граф 358
Камберленд (Кемберленд), Уильям Август, герцог, сын короля Георга II Английского 770–772, 776
Кампеджо Лоренцо, кардинал 342
Каннинг (Каннинг) Джордж, премьер-министр 805, 856, 857, 862, 863
Каннинг Джордж, премьер-министр 523
Капель (Кэпелл) Артур 1-й барон 592
Капель (Кэпелл) Артур 1-й граф Эссекс 674
Карл (совр. Шарль) Смелый, герцог Бургундский, 298, 304
Карл I Испанский, см. Карл V
Карл I Людовиг, курфюрст Пфальцский 511
Карл I Спотарт, король Англии 304, 416, 478, 490–491
Карл II Лысый король Западно-Франского королевства и император Запада 103
Карл II Окколдованный, король Испании 725, 727
Карл II Спотарт, король Англии 591, 596, 607–687, 697, 699, 787, 793
Карл III Простоватый, король Франции 75
Карл IX Бурбон, король Испании 857
Карл IV Люксембургский, император Священной Римской империи 234
Карл IX Валуа, король Франции 428
Карл V Габсбург, император Священной Римской империи 333, 335, 337, 343, 349, 490
Карл V Мудрый, король Франции 241, 242
Карл VI Безумный, король Франции 271, 276, 280, 726, 738, 741, 744, 755, 760
Карл VI Габсбург, император Священной Римской империи 727
Карл VII Победитель, король Франции 284–291
Карл VIII Любезный, король Франции 312
Карл X Бурбон, король Франции 872

Карл XII, король Швеции 753
Карл Австрийский, эрцгерцог, см. император Карл VI
Карл Альбрехт, курфюрст Баварский (император Карл VII) 760, 769
Карл Великий, император франков 45, 46, 124, 205
Карл Эдуард Спотарт (Молодой Претендент), внук короля Якова II Английского 771
Карлайл, Льюис Хей (урожденная Перси) графиня 554
Карлайл, Чарльз Говард 1-й граф 667
Каролина Ансбахская, супруга короля Георга II Английского 757
Картайт Томас, лидер пресвитериан 484–490, 561
Каспри (Кэспри), Роберт Спотарт виконт Каспри, 2-й маркиз Лондондерри 849, 858, 862, 870, 871
Катарина Браганцкая, см. Екатерина Катина де Ла Фуконнери Николя, маршал Франции 718
Каули Абрахам, поэт 630
Кауль, юрист 495
Кеада (Седд Мерсийский) Святой, епископ 28
Кевлин, король Уэссекса 14
Кекстон Уильям, печатник 283, 306–308
Келеми, священник 561
Кемей, лорд 171
Кембелл Колин, генерал 876
Кемпбелл, шотландский клан 748
Кемптон (Кемптен) Эдмунд, иезуит 425, 426, 491
Кенгсмарк Аврора фон, графиня 770
Кентский, Эдмунд Вудсток 1-й граф, сын короля Эдуарда I Английского 223
Кентский, Эдуард Август герцог, сын короля Георга III Английского 874
Кеплер Иоганн, математик и астроном 437, 458
Кердик, король Уэссекса 13, 17, 48
Керуаль Лука де, герцогиня Портсмутская, фаворитка Карла II 651
Кетель, фермер 99
Кид Томас, драматург 445
Килдер, Томас Фицджеральд 10-й граф 464
Килигиро Том 650
Килмарнок, Уильям Бойд 4-й граф 772
Кинрик, король Уэссекса 13, 14
Клавдий, римский император 7
Клаверхаус (Клеверхаус), Джон Грэм 1-й виконт Данди 708
Клаив Роберт, генерал 773, 774, 781–783, 812, 813, 826
Кларендон, Генри Хайд 2-й граф 691, 710
Кларенс, Джордж герцог, брат короля Эдуарда IV Английского 296, 298, 299, 310
Кларенс, Лайонел герцог, 3-й сын короля Эдуарда III Английского 226, 273
Кларенс, Томас герцог, брат короля Генриха V Английского 280, 311

Клевская Анна, 4-я супруга короля Генриха VIII Английского 361, 370
Клерк, студент 366
Климент IV, папа Римский 145
Климент VII, папа Римский 341, 349
Клинтон Генри, генерал 815
Клиффорд Джон де, 9-й барон 295
Клиффорд Томас 1-й барон 660–662, 675
Клозель Бертран, граф, французский генерал 864, 865
Клар Ричард де 461
Клар, Гилберт ФицРичард 2-й лорд 88
Клар, Маргарита де, жена П. де Гавестона 215
Клар, Ричард ФицГилберт, 3-й лорд 171
Кларксон Томас, филантроп 767
Клары, род 465
Кнут, король Дании 68–73, 85, 91
Кобэм (Кобгем) Элеонора, жена Хэмфри герцога Глостера 282
Ковентри Уильям, член Палаты общин 662
Ковердал Майкл, переводчик Библии 354, 476
Кодрингтон Эдвард, адмирал 872
Койфид, верховный жрец 23
Кок Эдвард, юрист 503, 553
Колет Джон, канцлер 316, 346, 352, 353, 391, 477
Коллины, Гаспар де Шатийон граф де, французский адмирал 397, 427
Колман, секретарь герцогини Йоркской 671
Колпелер Джон 1-й барон 535, 564
Колумб Христосфор, мореплаватель 315, 427, 437, 523
Колумбан, ирландский миссионер 25, 32, 37
Кольман, епископ Линдисфарнский 32
Кольридж Сэмюэль, поэт и философ 805
Комин Джон II Черный, 2-й лорд Баденох 190, 200
Комин Джон III Рыжий, 3-й лорд Баденох 219
Коммин Филипп де, французский дипломат 299, 300
Конде, Анри I де Бурбон принц де 397, 399
Конде, Луи I де Бурбон принц де 430
Конде, Луи II Великий де Бурбон принц де 696
Констанция де Пентьев, герцогиня Бретонская и графиня Ричмонд 125
Констебл Роберт 359
Контад Лун Жорж де, герцог, маршал Франции 783
Контарини Гаспар, кардинал 353
Коп Джон, генерал 771
Коперник Николай, астроном 315, 437, 456
Корб, архиепископ Армагский 460
Корнуолл Джон, учитель 225
Корнуоллис Чарльз 1-й маркиз и 2-й граф 815, 847
Кортес Эрнан, испанский конкистадор 427, 437

Коттон, протестантский священник 526, 553
Кранмер Томас, архиепископ Кентерберийский 345–351, 356, 357, 369, 381, 382, 392, 530
Кремль Генри, преподаватель 252
Креу (Кру) Ранульд, лорд главны судья 517
Крок 321
Кромвель Генри, наместник Ирландии 608, 612
Кромвель Оливер, лорд-протектор 483, 560, 571–617, 640, 653, 663, 712
Кромвель Ричард, лорд-протектор 617–620
Кромвель Томас, 1-й граф Эссекс 301, 344–363, 417, 418, 465, 477
Кромптон Сэмюэль, изобретатель 823
Крэггс Джеймс, член Палаты общин 754
Кранфилд Лайонел, лорд-казначей 511, 513, 515
Крешо Ричард, поэт 620
Куинсберри, Уильям Дуглас 1-й герцог 691
Кук Джеймс, мореплаватель 786
Куорл Френсис, поэт 544
Кулер (Каулер) Уильям 1-й граф 738
Кулер (Каулер) Уильям, поэт Курси Джон де, рыцарь 462
Куртене Генри де, 1-й маркиз Экзетер и 2-й граф Девон 355, 360
Куртене Уильям, архиепископ Кентерберийский 248–252, 268, 269
Куртене, род 355
Кут Эйр, офицер 815
Кутберт Даргемский Святой 28, 29, 34, 37, 38
Кутульф, король Уэссекса 14
Кэд Джек, предводитель восстания 282, 292, 293
Кэдмон (Кедмон), англо-саксонский поэт 30–32, 55, 439
Кэмерон, шотландский клан 708
Кэмпбелл, шотландский клан 708, 709
Кэтсон Роберт, заговорщик 499

• Ла Гир, Этьен де Вильюль, французский полководец 286
Лабурдонне Бертран Франсуа Маз де, французский мореплаватель 773
Лайонс Ричард, купец, член Королевского совета 243
Лалли Тома-Артур де, барон де Толлендаль, французский генерал 812
Ламберт (Лэмберт) Джон, генерал 588, 596, 613, 618, 638
Ламли (Лемли) Джон 1-й барон 406
Ламли (Лемли) Ричард 1-й граф Скарборо 703
Лантон Стефан, архиепископ Кентерберийский 128, 132, 135, 136, 147–150
Лантон Томас, епископ Уинчестерский 318
Ланкастер, Генри Кривая шея 3-й граф 218, 226
Ланкастер, Томас 2-й граф 217

- Ланкастеры, дом 217, 304, 451
Ланфранк, архиепископ
Кентерберийский 62, 77, 82, 90,
93, 94, 138, 460
- Латимер Хью, епископ Уорчестерский
320, 339, 366, 380
- Латимер, Джон Невилл 4-й барон 243
Ларайет, Жильбер дю Мотье
маркиз де, французский генерал
829
- Лев X, папа Римский 325, 333
Лейблорд Эдмунд, генерал 608
Лейва Антонио де, испанский
адмирал 437
- Лейтон Фредерик, поэт 545
Леленд Джон, поэт и антиквар 414
Леманс Генрих 104
- Леннокс, Джеймс Спостард 4-й герцог,
1-й герцог Ричмонд 547
- Леннокс, Мэтью Спостард 4-й граф 400
Ленноксы, семья 400, 748
- Лентол Уильям, спикер Палаты
общин 563
- Леопольд I, император Священной
Римской империи
- Леопольд II, император Священной
Римской империи 835
- Леофа, разбойник 58
- Леофрик, эрл Мерсии 73, 75
- Леру Уолтер 186
- Лесли Александер, 1-й граф Ливен
551, 571, 582
- Лесли Дэвид, 1-й лорд Ньюарк 595
- Лестер, Роберт Дадли 1-й граф 384,
432, 438
- Лестер, см. Монфор
- Лёттрелл Генри Лоу, полковник 803
- Ливерпуль, Роберт Дженинсон
2-й барон Хоксберри и 2-й граф
850
- Ливерпуль, Чарльз Дженинсон
1-й граф 862
- Ливингс, семья 191
- Лидгейт Джон, поэт 305, 307
- Лили Джон, поэт, драматург 388,
415, 437
- Лили, студент 321
- Лилла, воин 22
- Лильборн Джон, лидер левеллеров
579, 592, 594
- Линекс, студент 316, 325
- Лионн Гюг де, маркиз де Фред,
французский дипломат 696
- Лисли Алиса 714
- Литстер Джон, руководитель
восстания 263
- Литурх (Лайуорч) Ген, валлийский
бард 168
- Ллевелин ал Гриффид (Груффайд),
правитель Гвинед 148, 160, 166,
172-174
- Ллевелин ал Иорверт (Жорюэрт),
правитель Гвинед 172
- Ловат (Ловэт), Саймон Фрейзер,
11-й лорд 772
- Ловелс, лорд 704
- Ловерделл, Джон Мейтланд 2-й граф
и 1-й герцог 653, 660, 667, 675
- Лозон, Антонин-Номпар де Комон
маркиз де Пойнпоз, герцог де
716, 717
- Лойола Игнатий, основатель ордена
иезуитов 491
- Лоук Джон, философ 636, 757
- Лонглад Уильям, поэт 264
- Лоншан Уильям де, епископ
Илийский 117-118
- Лотаринский, Леопольд де Водмон
герцог 724
- Лоуд Уильям, архиепископ
Кентерберийский 487, 492, 493,
513, 517, 527, 528, 537, 540,
546-551, 555, 578
- Луэва, Мишель Ле Телье маркиз де
656
- Лузиньян Эймар де, епископ
Уинчестерский 151
- Луи (Людовик) Бонапарт, король
Голландии 857
- Луи-Филипп, король Франции 872
- Лукреций Тит Кар, философ 42
- Людвиг IV Баварец, император
Священной Римской империи
234
- Людвиг IV Заморский, король
Франции 103
- Людвиг IX Святой, король Франции
152, 157-162, 177, 191
- Людвиг VII Молодой, король
Франции 115-117, 136, 137
- Людвиг XI Валуа, король Франции
298, 303
- Людвиг XII Отец народа, король
Франции 323, 334
- Людвиг XIII Справедливый, король
Франции 513
- Людвиг XIV Великий, король
Франции 610, 655, 656, 672, 673,
696, 714, 717-746, 751
- Людвиг XV Возлюбленный, король
Франции 752, 770, 829
- Людвиг XVI Бурбон, король
Франции 829, 831, 835, 836
- Людвиг XVIII Бурбон, король
Франции 867, 869
- Люксембург, Франсуа-Анри
де Монморанси-Бутвиль
герцог де 718
- Лютер Мартин, церковный
реформатор 333, 491
- Мааэр Питер де Ла, сликер Палаты
общин 243, 244
- Мазарини Джулио, кардинал 610,
612, 615, 696
- Макдональд, шотландский клан
708, 709
- Макиавелли Никколо, философ
348, 356
- Маккей Хью, генерал 708, 709
- Макклосфид (Макклосфид), Чарльз
Герард 1-й граф 703
- Маклеоды, шотландский клан 771
- Маклин, шотландский клан 708
- Максимилиан I, император
Священной Римской империи
323, 336
- Максимилиан I, курфюрст Баварский
507
- Максимилиан II Эммануил, курфюрст
Баварский 726-746
- МакУильям (Мак-Уильям) Барн Улик
н Кен, 1-й граф Кларикард
470, 471
- Макколм I, король Шотландии 87,
95, 194
- Мальборо, Джон Черчилль 1-й герцог
610, 688, 700, 704, 716, 730-746
- Мальпиги Марчелло, итальянский
биолог 631
- Макдэвиль (Мендвиль), см. Эдуард
Монтего
- Макзель Джон 154
- Манн Уолтер де, 125
- Маннерсы, семья 748
- Мансон Коллар, печатник 306
- Манчестер, см. Эдуард Монтего 562,
569-575, 637
- Мар, Джон Эрскин 6-й граф 751
- Маргарита «Норвежская дева»,
королева Шотландии 194
- Маргарита Анжуйская, жена короля
Генриха IV Английского 293-298
- Маргарита, сестра короля Эдуарда IV
Английского, супруга Карла
Смелого герцога Бургундского
298, 306, 320, 359
- Маргарита, сестра Эдгара Этельинга,
жена короля Малькольма III
Шотландского 86, 87, 95
- Маргарита, старшая дочь короля
Генриха VII Английского, супруга
короля Якова IV Шотландского
359
- Мариско де 157
- Мария I Кровавая, королева Англии
358, 375-383, 423, 550
- Мария I Спотард, королева Шотландии
375, 383, 397, 402, 403, 420-422,
432, 433, 497
- Мария II, королева Англии 706, 732
- Мария II, королева Португалии 874
- Мария де Гиз, жена короля
Якова V Шотландского 395
- Мария Модская, 2-я жена короля
Якова II Английского 666, 701
- Мария, дочь короля Генриха VII
Английского, супруга короля
Людовика XII Французского 325,
337, 395
- Мария-Терезия, императрица
Священной Римской империи
755, 766, 769, 772, 775, 830
- Марло Кристофер, поэт и драматург
440, 445, 451
- Мармон Огюст де, герцог Рагузский,
маршал Франции 863
- Марпрезет Мартин, памфлетист 489,
490, 545, 684
- Мартен Генри, член Палаты общин
557, 593, 600
- Марш Адам, философ, богослов
157-159
- Маршал Ричард 3-й граф Пемброк
151
- Маршал Уильям 1-й граф Пемброк
128, 136, 137, 147, 158
- Маршал Уильям 2-й граф Пемброк
218
- Маршал, священник 561
- Массена Андре герцог Ривогли
и князь Эсслинг, маршал
Франции 843, 859
- Матвей (Мэтью) Парижский, хронист
152-153
- Матильда (Элгид), супруга короля
Генриха I Английского 96, 101,
106, 108, 118, 124, 879
- Матильда Фландрская, супруга
Вильгельма Завоевателя 879
- Матильда, дочь короля
Генриха I Английского, супруга
Жоффруа V Анжуйского 461, 879
- Маттис, император Священной
Римской империи 506
- Маунтджой, Чарльз Блаунт 8-й барон
473
- Маунтморрис, Френсис Эннесси
1-й виконт Валентия и 1-й барон
539
- Медина-Сидония, Алонсо Перес
де Гусман 7-й герцог 436
- Медичи Лоренцо, правитель
Флоренции 316
- Мелвилл Джон, богослов 434
- Мелвилл, протестантский
проповедник 541
- Мелит, епископ Лондонский 23
- Мельбурн, Уильям Лэмб 2-й виконт
873
- Мендоса Бернардино де, испанский
дипломат 431
- Меркаде, командир наемников 119
- Меррей Роберт, придворный 630
- Мессинджер Филип, драматург
452, 620
- Мехмет-Али, египетский паша 874
- Мильтон Джон, поэт, публицист 261,
477, 480-482, 544, 562, 579, 614,
619-623, 684
- Мире Франсис, богослов 449
- Мюррей Роджер де, граф Нортумбри
88, 94, 114
- Мюррей, род 88
- Монк Джордж, 1-й герцог
Альбемарли 1-й граф
Торрингтон 607, 618, 637, 663
- Монкальм-Гозон Луи Жозеф де,
маркиз де Сен-Вераи,
французский генерал 775, 776,
784, 785
- Монмут Джейфри, хронист 124, 173
- Монмут, Джеймс Скотт 1-й герцог
Баглю и 1-й герцог 676, 677, 679,
682, 686, 687
- Монтгомери Роджер де, 1-й граф
Шрусбери 88, 101, 171
- Монтего Генри 1-й граф Манчестер
360
- Монтего Ральф, 3-й барон, 1-й граф
и 1-й герцог 673
- Монтего Ричард, епископ 529
- Монтего Эдуард виконт Макдэвиль
(Мендвиль), 2-й граф Манчестер
562, 569-575, 637
- Монтего, род 298, 575
- Монтень Мишель де, философ 438
- Монтескье Шарль-Лум де, философ
763, 829
- Монтроз, Джеймс Грэм 5-й граф
и 1-й маркиз 551, 559, 569,
572, 576
- Монфор Генри де, сын
Симона V де Монфора 163, 175
- Монфор Симон IV де, 5-й граф
Лестер 36, 158, 159-167, 183,
185, 190, 210, 880
- Монфор Симон V де, 6-й граф Лестер
157-167, 174, 177
- Мор Анна, писательница 763, 767

Именной указатель

Мор Томас, философ, писатель: 315, 317, 327–333, 337–339, 346, 349–352, 408, 414, 477

Морис Уильям, государственный секретарь 637

Морин Падальский, принц, племянник короля Карла I 568

Мюрвер, граф Нортумбрии 75, 86

Моро Жан-Виктор, французский генерал 841, 843

Моррей (Мюррей), Джеймс Спюарт 1-й граф, регент Шотландии 401, 404–406

Моррисон Роберт, профессор 631

Мортимер Анна, супруга Ричарда Конисбурга 3-го графа Кембриджа 880

Мортимер Роджер 3-й барон Вигмор и 1-й граф Марч 218

Мортимер Эдмунд, 5-й барон Вигмор, 3-й граф Марч 273

Мортон Джон, архиепископ Кентерберийский, кардинал 311

Мортон, Джеймс Дуглас 4-й граф, регент Шотландии 540

Мур Джон, генерал 857, 858

Мэдисон Джеймс, 4-й президент США 863

Мэй Томас, писатель 536, 559

Мэкин Уолтер де, английский полководец 237

Мэнсфилд, Уильям Мюррей 1-й барон и 1-й граф 781

Мэнтон, Богослов 657

Мэсси, декан Крест-Чёрч колледжа 693

Найджел (Нигель), епископ Илийский 107

Найтон, командант Тауэра 343

Наполеон I Бонапарт, император французов 823, 840, 841, 843, 851–870

Наполеон III Бонапарт, император французов 875, 876

Науэль, декан 393

Невилл Джон, 1-й граф Нортумберленд и 1-й маркиз Перси, брат 16-го графа Уорика 297

Невилл Джордж, архиепископ Йоркский 293, 297

Невиллы, род 293, 297, 406

Ней Мишель, герцог Зальцхгер, князь Московский, маршал Франции 367

Нельсон Горацио 1-й барон и 1-й виконт, адмирал 816, 842, 854

Нерон, римский император 55

Несмары Бернгард де, 1-й лорд Брекен 171

Николас сын Хоффри, житель Лестера 202

Ноай Адриен-Морис 3-й герцог де, маршал Франции 769

Ной, юрист 546

Нокс Джон, шотландский реформатор 399, 541

Ноллис Франсис, член Палаты общин 398, 400, 488

Нолс, историк 415

Норрис Джон, генерал 458

Норт Фредерик, 2-й граф Гилфорд 687, 807, 811, 813, 815, 819

Нортгэмптон Джон, мэр Лондона 268

Нортумберленд, Генри Перси 1-й граф 272

Нортумберленд, Генри Перси 3-й граф 296

Нортумберленд, Генри Перси 4-й граф 312

Нортумберленд, Генри Элджернон 5-й граф 358

Нортумберленд, Томас Перси 7-й граф 406, 407

Нортумберленд, Эдджернон Перси 10-й граф 567

Норфолк, Генри Говард 7-й граф 691, 704

Норфолк, Роджер де Бигод граф 160, 162, 214

Норфолк, Томас Говард 3-й герцог 346, 354, 359, 362, 370, 371, 376

Норфолк, Томас Говард 4-й герцог 405–407

Ноттели, друг Бады 42

Ноттингем, Даниэль Финч 7-й граф Уинчестер и 2-й граф 700

Ноттингем, Чарльз Говард 2-й барон Говард и 1-й граф 556

Ньюкасл, Томас Пелгэм-Холлис 1-й герцог 770, 776, 777, 791, 792, 794–796

Ньюкасл, Уильям Кавендиш 1-й герцог 564, 567, 570, 571

Ньютон Исаак, ученый 631, 767

Нэш Томас, поэт и драматург 416, 417, 445

О'Брайан Смит, руководитель восстания 875

О'Брайан Мурроу 1-й граф Томонд 465, 470

О'Доннеллы, клан 471

О'Коннел Даниел, ирландский политик 872, 873

О'Коннора, клан 463, 470

О'Нейл Оуэн Ро, ирландский политик 591

О'Нейл Хью эрл Тайрон, вождь ирландцев 472, 473, 594

О'Нейл Шон эрл Тайрон 471

О'Нейли, ирландский клан 471

Овербери Томас, поэт 504

Овндий Публий Назон, поэт 42

Оглторн (Оглеторн) Джеймс, генерал 787

Одо, архиепископ Кентерберийский 60

Одон, епископ Байё 86, 92

Оквэнда-и-Сегура Мигель, испанский адмирал 436

Оккам Уильям, философ 157, 244

Оклен Томас, поэт 305

Оксфорд, Джон де Вер 13-й граф 314

Оксфорд, Обри де Вер 20-й граф 634, 692

Олаф, претендент на трон Норвегии 65

Олдкасл (Олдкестл) Джон, лорд Кобэм 268, 276

Ольи, бароны 138

Оранский дом 698

Оранский, Вильгельм I Нассау, принц 459, 492

Оранский, Вильгельм II Нассау, принц, штатгальтер Нидерландов 591

Оранский, Вильгельм III Нассау, штатгальтер Нидерландов, король Англии Вильгельм III 661, 665, 678, 680, 682, 687, 695–746, 773, 843

Орлеанский, Филипп II герцог, регент Франции 752

Ормонд, Джеймс Батлер 2-й герцог 569, 591, 593, 653, 656, 666, 691

Ормонд, Джеймс Батлер 5-й граф и 1-й герцог 464

Орозий Павел, хронист 55

Освальд, епископ Уорчестерский 62

Освальд, король Нортумбрии 24–27, 32

Освульф, граф Нортумбрии 60

Осью, король Нидерландов 32, 35

Оттер, норвежский мореплаватель 54

Отс Титус, баптистский священник 671, 714

Оттон IV Брауншвейгский, император Священной Римской империи 130, 131

Оффа, король Мерсии 44–46, 53, 66

Павел I, император Всероссийский 851

Пакенхем (Пэкенгем) Эдуард, генерал 866

Палтени (Пелтени) Уильям, 1-й граф Батский 758

Пальмерстон, Генри Джон Темпл 3-й виконт 874, 876, 877

Пандульф Гизанский, кардинал, легат 130, 147, 148

Паркер Мэтью, архиепископ Кентерберийский 392, 393, 488

Паркер Мэтью, архиепископ Кентерберийский 414, 422, 531

Паркер Сэмюэл, епископ Оксфордский 693

Паркер, госпожа 393

Парр Катрин, 6-я супруга короля Генриха VIII Английского 371

Парри Уильям, член Палаты общин 433

Парсонс Роберт, иезуит 425

Пастон, семья 305

Патрик Святой, миссионер 468

Паулис, король Уэльса 34

Паулин, миссионер 25

Пауэл Вавесир, протестантский проповедник 66

Педро I Жестокий, король Кастилии 270

Пелгэм (Пелгэм) Генри, премьер-министр 770, 772, 774, 775, 777

Пемброк, Ричард Стронгбоу де Клар 2-й граф 151, 464, 467

Пемброк, Томас Герберт 8-й граф 692

Пемброк, Уильям Герберт 1-й граф, 406

Пемброк, Уильям Герберт 3-й граф 450

Пемброк, Эмер де Валанс 2-й граф 217

Пенда, король Мерсии 24–28, 32, 40

Пенкрайк, Ричард, учитель 225

Пенн Уильям, квакер 682, 787

Пенри, сочинитель 490

Пелис Роджер, член Палаты общин 641, 650, 663

Перрерс Алиса, фаворитка короля Эдуарда II Английского 243

Персваль Спенсер, премьер-министр 858, 862

Перси Генри Хотспур (Горячая шпора), сын 1-го графа Нортумберленд 275

Перси, род 297

Перт, Джеймс Драммонд 4-й граф и 1-й герцог 690

Перш Филипп граф де 136, 137

Петербор (Питерборо), Чарльз Мордаунт 1-й граф Монмут и 3-й граф 741

Петр I Великий, император Всероссийский 650

Петрарка Франческо, поэт 227–228

Петри, иезуит 691

Петти, экономист 630

Пий II, папа Римский 310

Пий IV, папа Римский 399

Пикеринги, род 575

Пиль Джордж, драматург 445

Пиль Роберт, 1-й баронет, премьер-министр 872–875

Пим Джон, член Палаты общин 484, 519, 520, 553–570, 640, 676, 757

Пинин III Короткий, король франков 45

Писарро Франсиско, испанский конкистадор 427, 437

Питерборо Бенедикт, летописец 123, 153

Питерс Хью, колонист 579, 589

Питт Уильям Младший, премьер-министр 817–854

Питт Уильям Старший, 1-й граф Чатам 281, 745, 758, 762–785, 776–782, 784, 785, 789–792, 796, 799, 810–812, 830

Пишгрю Шарль, французский генерал 840

Плантатенеты, династия 214, 271, 301, 494, 746

Платон, философ 42, 315, 442

Плутарх, писатель 451

Поджо Флорентийский (Браччолини), итальянский писатель 305

Пойнингс Эдуард 463, 816

Полмиан, преподаватель 316

Полкок Джордж, 1-й баронет, фельдмаршал 874

Помсонби, ирландская семья 845

Портер Джон, чтец Библии 473

Портленд, Уильям Бентинк, 1-й граф 732

Портленд, Уильям Генри Кавендиш-Бентинк 3-й герцог 856

Поуп Реджинальд, кардинал 320, 348, 353, 377, 392

Поулы, род 302

Прайор Мэтью, поэт и эссеист 743

Принн Уильям, юрист 545–548, 555

Пьер II граф Савойский, граф Ричмонд 150

Рагер, менестрель 100

Райнт Роберт, канцлер 251

Ральф де Тени 81

Рандольф, вождь шотландцев 222

Именной указатель

- Рассел Джон 1-й граф, премьер-министр 874, 877
- Рассел Уильям, лорд, член Палаты Общин 683
- Рассел Эдуард, 1-й граф Оксфорд, адмирал 703, 719, 722, 723
- Расселы, род 364, 748
- Ратленд (Ратленд) Эдмунд Платангенет граф 295
- Редалль, король Восточной Англии 22-24
- Рекс, преподаватель 767
- Ремборо Томас, полковник 575
- Рересби Джон, придворный 677
- Ретленд, Джон Маннерс 9-й граф и 1-й герцог 692
- Риверс, Ричард Вудвилл 1-й барон и 1-й граф 297, 309
- Ридли Николас, епископ Лондонский 380
- Рипингдон, проповедник 252
- Риццо Дэвид, советник Марии Стюарт 401, 402
- Рич Роберт 2-й граф Уорвик 565
- Рич Роберт, брат Э. Рича 140
- Рич Эдмунд, архиепископ Кентерберийский 140-141, 151
- Ричард I Блосский, король Англии 241-243, 260, 264-275, 451, 463
- Ричард III Йорк, король Англии, до этого герцог Глостер 310, 312, 338, 410
- Ричард Бесстрашный, герцог Нормандии 76, 82
- Ричард граф Корнуолл, сын короля Иоанна Безземельного 118, 158
- Ричард Дрбурый 82
- Ричард, епископ Лондонский 100
- Ричардсон Томас, лорд главный судья 529
- Ричмонд, род 651 *
- Ришелье, Арман-Жан дю Плесси, герцог де, кардинал 361, 538, 609, 689, 695
- Ришелье, Луи-Франсуа-Арман де Вильер, герцог де, маршал Франции 776
- Робер Великолепный, герцог Нормандии 29, 93, 95
- Робер Гискар, нормандский рыцарь 78
- Роберт I Брюс, король Шотландии 194-195, 214, 217-223, 463
- Роберт Глостерский, хронист 209
- Роберт Глостерский, хронист 209
- Робертс Джон, 1-й граф Радноу и виконт Бодини 674
- Робеспьер Максимилиан, глава якобинцев 835
- Робинсон Джон, лидер браунистов 489, 525
- Роджер Солсберийский, епископ, юстициарий 107
- Роджер Ховарденский (Гоуден), хронист 123
- Роджерс Джон, переводчик Библии 380
- Родик, Роджер Бриджес 1-й барон, адмирал 816
- Роже I, граф Сицилийский 78
- Роквуд, помещик 424
- Рокингем, Чарльз Уотсон-Уэнтворт 2-й маркиз 502, 519, 600, 799-801, 804, 816, 818, 819, 845
- Рольф Ходок, предводитель норманнов 75, 76, 96, 118
- Ронсар Пьер де, французский поэт 416
- Росс Роберт, генерал 866
- Рочестер, Джон Уилмот 2-й граф 627, 650
- Рочестер, Роберт Карр 1-й граф 504
- Рош Пьер де 147, 151
- Рупрехт (Руфорт) Пфальцский, герцог Камберленд, племянник короля Карла 566-568, 571, 574, 576, 591, 594, 630, 649, 666
- Руссо Жан-Жак, философ 829
- Рэй Джон, ученый 631
- Рэли Уолтер, фаворит королевы Елизаветы I 439, 451, 506, 524
- Ройтер Микель де, голландский адмирал 611
- Савойский герцог, Виктор-Амедей II 718, 727, 729, 733
- Савойский герцог, Карл Эммануил II 614
- Савойский-Кариньян Евгений, принц имперский полководец 736, 741, 742
- Савонарола Джиордано, религиозный реформатор 391
- Саймон Сэдбери (Сэдбери), архиепископ Кентерберийский 249
- Саксонский Мориц, граф, маршал Франции 770
- Салюстий Крисп, древнеримский историк 315, 316
- Сандерленд (Сендерленд), Роберт Спенсер 2-й граф 652, 677, 679, 721-723
- Сандерленд (Сендерленд), Чарльз Спенсер 3-й граф 742, 753, 754
- Сарсфилд Патрик, офицер 716
- Сассекс, Томас Радклиф 3-й граф 406, 470
- Саузуэл, религиозный деятель 491
- Сауттемпток, Генри Рисли 3-й граф 450
- Сауттемпток, Томас Рисли 4-й граф 637, 666
- Свейн, король Дании и Норвегии 65, 66, 68, 73
- Свифт Джонатан, писатель 718, 743
- Седли Чарльз 627, 650
- Сеймур Джейн, 3-я жена короля Генриха VIII 361, 371
- Сеймур Эдуард 1-й граф Хертфорд и 1-й герцог Сомерсет 371
- Сеймур Эдуард, 1-й граф Хартфорд и 1-й герцог Сомерсет 371, 372
- Селден Джон, политик 546
- Сельерд, король Мерсии 39, 40
- Сенульф, король Мерсии 47
- Сенека Луций Анней, философ 42, 144
- Сен-Рюи, Шарль Шалмот маркиз де, французский генерал 717
- Сент-Джон Оливер, член Палаты Общин 572, 595, 599, 738, 743
- Сенуил, король Уэссекса 36
- Сервантес Сааведра Мигель де, писатель 441
- Сесил Роберт, 1-й граф Солсбери 504
- Сесил Уильям, 1-й барон Берли 275, 388, 396, 434, 454, 475, 488, 500, 501, 504, 625
- Сесилы, семья 393
- Сеффорд, дом 390, 399
- Сеффорд, Майкл де ла Поль 2-й граф 270, 271
- Сеффорд, Уильям де ла Поль 4-й граф и 1-й герцог 290, 292
- Сеффорд, Чарльз Брондон 1-й герцог 342
- Севн Луций Элий, префект претория 516
- Сигеберт, король Восточной Англии 24
- Сидни Генри, лорд-наместник Ирландии 471
- Сидни Смит, капитан 843
- Сидни Филипп, поэт 416, 438, 451
- Сидни Эдвардсон, член Палаты Общин 582, 683
- Сидни, род 471, 575
- Сицулла, король Уэссекса 39
- Симеон, аббат 122
- Синевульф, король Уэссекса 63
- Сиурд, граф Нортумбрии 73, 75
- Сироп Ричард, архиепископ Йоркский 275
- Спаннинг Николас, генерал 568, 656
- Смит Адам, экономист 823
- Смит Джон, вождь колонистов 524
- Солсбери, Джеймс Сесил 3-й граф 669
- Солсбери, Джон Монтево 3-й граф 275
- Солсбери, Маргарет Йоркская графиня 881
- Солсбери, Уильям Длинный Меч граф 76
- Сомерс Джон 1-й барон 630, 706, 722, 739, 742
- Сомерсет Генри (лорд Герберт) 3-й маркиз Вустер и 1-й герцог Бофорт 604, 691
- Сомерсет, Маргарет Бошан, герцогиня 309
- Сотр Уильям, священник 275
- София Ганноверская, принцесса Пфальцская, мать короля Георга I Английского 883
- София Пфальцская, курфюрстиня Ганноверская, внучка Якова I 729
- Софокл, древнегреческий драматург 315, 384
- Спенсер Эдмунд, поэт 384, 416, 438, 444, 455, 544
- Спид, хронист 415
- Спрат (Спрэт) Томас, епископ 629
- Стау Джон, хронист 415
- Стаффорд граф, см. Т. Уэнтворт
- Стаффорд, Уильям Говард 1-й виконт 503
- Стокли, ирландский политик 472
- Стефан (Этьен) Блуасский, король Англии 105-109, 122
- Стефан граф Омальский (Альбемарль) 94
- Стилингфлит Эдвард, богослов 657, 691
- Стокс Питер, кармелит 251
- Струд Уильям, член Палаты Общин 556, 562
- Стюарт Дэвид 456
- Стэмфорд, Генри Грей 1-й граф 567
- Стэнкоп (Стэнкоуп), Джеймс Честерфилд 1-й граф 753, 754, 848
- Сторарты, династия 625, 640, 651, 711, 748, 848
- Сумфорд, Катрин, любовница Джона Гонта герцога Ланкастера 282, 293
- Сультен, епископ Уинчестерский 49
- Сутьет, Николай-Жан де Дьё герцог Далматский, маршал Франции 858, 865
- Сураджа Даула, правитель Бенгалии 782
- Суррей (Сэррей), Генри Говард граф 371, 439
- Суррей (Сэррей), Джон Уоррен 6-й граф 198-200, 211
- Сузфорд Александр, богослов 153
- Сфорца, итальянский род 110
- Сэвил Генри, математик и переводчик Библии 510
- Сэвил Джон, 1-й граф Мексборо, член Палаты Общин 537
- Сэй и Сил, Уильям Файнс 8-й барон и 1-й виконт 547, 637
- Сэвил Джордж 1-й виконт, генерал 783
- Сэвил Томас, писатель 443
- Сэндвич, Эдуард Монтево 1-й граф, адмирал 637
- Сэнкрофт Уильям, архиепископ Кентерберийский 706
- Сэррей, см. Суррей
- Сэчверел Генри, проповедник 743
- Юше Луи-Габриэль, граф, маршал Франции 860
- Тайлер Уот, предводитель восстания 201, 249, 251-264
- Тайлфер, меньшестр 84
- Тайлор Джеремия, епископ 632, 642
- Тайлор Рауленд, викарий 378
- Талбот Джон, 1-й граф Шрусбери 290, 291
- Талейран-Перигор Шарль-Морис де, князь Беневентский, французский дипломат 866
- Таллар, Камилл д'Отен де ла Бом герцог де, маршал Франции 736
- Танет (Танет), Томас Тафтон 18-й барон Клиффорд и 6-й граф 692
- Тассо Торквато, поэт 384, 414
- Таушменд Чарльз 2-й виконт 750, 758
- Таушменд Чарльз, член Палаты Общин 795
- Ташит Публий Корнелий, древнеримский историк 5
- Текерей Уильям, писатель 477
- Темпл (Гренвил-Темпл) Ричард 3-й виконт Козым и 2-й граф 801
- Темпл Уильям, 1-й баронет 667, 674-677, 679
- Теоальд, архиепископ Кентерберийский 100, 108-110
- Тергот, аббат 122
- Терстан, архиепископ Йоркский 106

Именной указатель

- Тилли Иоганн Церкас фон, граф, имперский фельдмаршал 533
- Тиллотсон Джон, архиепископ Кентерберийский 657, 691, 714
- Тиндэйл Уильям, переводчик Библии 354, 365
- Типпо Сант, правитель Мизора 842
- Тиркнелл, Ричард Талбот 1-й граф, 1-й маркиз и 1-й герцог 652, 690, 703, 710, 718
- Тистлвуд Артур, заговорщик 871
- Тон Ульф, ирландский политик 846
- Торрингчелли Евангелиста, ученый 630
- Тортульф Лесник, легендарный основатель Анжуйского дома 103
- Тостиг сын Годвина, граф Нортумбри 75, 83
- Треванин (Треванин) Джон, полковник 568
- Тремуйайн, епископ 37
- Трешам Франсиз, заговорщик 499
- Тромп Корнелис, голландский адмирал 598, 599, 611
- Трассел Уильям, представитель дворянства 218
- Турвилл, Анн-Иллардон де Котантен, граф де, французский адмирал 718, 720
- Тюдор Райс, князь Уэльса 124, 171
- Тюдоры, династия 230, 268, 301, 303, 420, 494, 502, 504, 534, 625, 711, 794
- Тюрго Анн-Робер-Жак, французский политик 821, 828
- Тюрени, Анри де Ла Тур д'Овернь, виконт де, маршал Франции 615
- У**
- Уайтгем Уильям, епископ Уинчестера 243, 244
- Уайтлок Бальстрод, юрист 546, 563, 607
- Уайтфилд, проповедник 764
- Уайят Томас, поэт 414
- Уайят Томас, предводитель восстания 376, 377
- Уатт Джеймс, изобретатель 861
- Уэзер, поэт 544
- Уиклиф Джон, церковный реформатор 144, 225, 244–253, 268, 365
- Уилкинс, доктор 630, 631
- Уилкс Джон, журналист 778, 796, 797, 802, 803
- Уиллибродо Климент, миссионер 45
- Уиллис Томас, физиолог 631
- Уилтубин Хью, мореплаватель 411, 437, 631
- Уилтшир, Джеймс Батлер 1-й граф 296
- Уилтшир, Томас Болейн 1-й граф 341
- Уилфрид Йоркский, тен 32, 41, 62
- Уильберфорс Уильям, филантроп 767, 827, 854
- Уильям Длинная борода, заговорщик 207
- Уильямс Джон, епископ Линкольнский 561
- Уильямс Роджер, протестантский священник 526, 531
- Уиндгем Уильям, лидер якобитов 751, 838, 853
- Уиндбанк Франсиз, государственный секретарь 556
- Уинтроп Джон, предводитель колонистов 526
- Уинфред, миссионер 45
- Уинчелс Роберт, архиепископ Кентерберийский 214
- Уинчестер, Чарльз Паулет 1-й герцог Болтон и 6-й маркиз 703
- Уитворт Чарльз, дипломат 851
- Уиттифт Джон, архиепископ Кентерберийский 487–490, 531
- Уичерли Уильям, поэт и драматург 627
- Уильф, см. Дж. Вольф
- Уоллер Уильям, генерал 568, 570, 575
- Уоллес Уильям, борец за независимость Шотландии 190, 198–200, 219–222
- Уоллис Самуэль, мореплаватель 786
- Уоллис, доктор 630
- Уолпол Орас 4-й граф Орфорд 764, 768, 777, 779, 785, 789, 794, 798, 800, 824
- Уолпол, Роберт 1-й граф Орфорд 664, 742, 749, 753–762, 801, 821
- Уолси Томас, кардинал 304, 305, 322, 332–346, 352, 365, 366, 497, 534
- Уолсингем Франсиз, министр 387, 433, 438, 488
- Уолтер Губерт архиепископ Кентерберийский 118, 128, 208
- Уолтерс Люси, фаворитка короля Карла II 651
- Уолурот Уильям, лорд-мэр Лондона 262
- Уорбек Перюин, самозванец 313
- Уоргем Уильям, архиепископ Кентерберийский 319, 327, 338, 348, 352
- Уорд Сет, математик 630
- Уорик (Варвик) Филипп, мемуарист 572
- Уорик (Варвик), Ги де Бошан 10-й граф 216
- Уорик (Варвик), Джон Дадли 1-й граф и 1-й герцог Нортумберленд 373–377
- Уорик (Варвик), Ричард Невилл 6-й граф Солсбери и 16-й граф, 295–299, 303
- Уорик (Варвик), Роберт Рич 2-й граф 547
- Уорик (Варвик), Томас Бошан 11-й граф 215
- Уорикстон Джонсон, протестантский деятель 550
- Уортон Филипп 4-й барон 552, 669, 722
- Уорчестер, Джон Титтофт 1-й граф 310
- Уэббер 620
- Уэбстер Джон, драматург 452
- Уэвель, писатель 146
- Уэлсли, Ричард Колин 2-й граф Морингтон и 1-й маркиз 872
- Уэндовер Роджер, хронист 153
- Уэнтворт Томас 1-й граф Страффорд, государственный деятель 536–547, 550, 551, 553, 557, 558
- Уэнтуорс Питер, член Палаты общин 419
- Уэсли Джон, проповедник 624, 765, 767, 827
- Уэсли Чарльз, проповедник 765
- Уэстморленд, Генри Невилл 5-й граф 401
- Уэстморленд, Ральф Невилл 1-й граф 272
- Уэстморленд, Чарльз Невилл 6-й граф 390, 406
- Уэстон Ричард 1-й граф Портленд 521, 535, 540
- Ф**
- Фабиан, хронист 413
- Фарнезе Алессандро, герцог Пармский 410, 432, 434, 435
- Фастольф Джон, военачальник 286, 310
- Феликс Роберт, член Палаты общин 514
- Фелтон Джон, убийца герцога Бюкенгема 521
- Фенелон, Франсуа де Салиньяк маркиз де ла Мотт, писатель и дипломат 430
- Феодор из Тарса, архиепископ Кентерберийский 33–35, 37, 62
- Фердинанд II, император Священной Римской империи 323, 506, 509
- Фердинанд II, король Арагона 303, 323
- Фердинанд VII, король Испании 857
- Феррар, епископ Сент-Давид 380
- Ферфакс Томас 3-й лорд 567, 570, 575–577, 585, 588, 618
- Ферфакс Эдуард, переводчик Т. Тассо 414
- Ферфаксы, семья 787
- Филипп I, король Франции 80, 117–118, 129, 136
- Филипп II Август, король Франции 117, 189, 697
- Филипп II Габсбург, король Испании 376–378, 382, 385–404, 426–435, 492, 497
- Филипп IV Красивый, король Франции 200, 233, 309, 697
- Филипп V Бурбон, король Испании 742, 752
- Филипп VI Валуа, король Франции 231–233
- Филипп Добрый, герцог Бургундский 279
- Филипп Красивый, эрцгерцог Австрийский, король Кастилии 323
- Филиппа, дочь Лайонела герцога Кларенса, супруга Эдмунда Мортимера 3-го графа Марч 273
- Финч Джон 1-й барон, главный судья Суда королевской скамьи 549
- ФицВильям (Фиц-Уильям) Ричард 7-й виконт 838
- ФицВильям Роджер де Брейтейль, сын Уильяма ФицОсберна, 2-й граф Херефорд 92
- Фиц-Ардис, доносчик 681
- ФицДжеймс Джеймс, 1-й герцог Бервик 736, 742
- ФицДжералд Морис лорд Гллантестфана, Мейнута и Нейса 461
- ФицДжералды, род 461–466
- ФицМорис графы Десмонды, род 463
- ФицНиль, Ричард, казначей 123
- ФицОсберн Уильям граф Херефорд 86–88
- ФицПатрики, род 464
- ФицЛетер, Жоффри, юстициарий 132
- ФицРальф Ричард, архиепископ Армакский 246
- Фицрой, семья 748
- ФицСтефен Роберт, военачальник 461
- ФицТомас Томас, старшина ремесленников 208
- ФицУолтер Роберт, глава баронской оппозиции 98, 133, 136, 137, 172
- ФицУоррен Фульк, барон 152
- ФицУорс Реджинальд, рыцарь 113
- ФицХамон (Фиц-ам) Роберт лорд Глостер 171
- Фишер Джон, епископ Рочестерский 321, 341, 346
- Флетчер Джон, драматург 452, 544
- Флитвуд Чарльз, генерал 613, 616, 618
- Флуд Генри, член Палаты общин 816
- Флемстид Джон, ученый 631
- Фокленд, Люсуус Кэри 2-й виконт 560, 569, 628, 631, 641
- Фокс Гай, заговорщик 500
- Фокс Джон, религиозный деятель 327, 491
- Фокс Джордж, квакер 616
- Фокс Ричард, епископ Уинчестерский 334
- Фокс Чарльз, министр 800, 818, 819, 830–834, 838, 854
- Фокс Эдуард, епископ Херефордский 368
- Фома Аквинский, богослов 244
- Форд Джон, драматург 452, 544
- Форстер Томас, вождь якобитского Нортумберленда 751
- Фортезьюс Джон, судья 300
- Фортезьюс Фейтфул, полковник 566
- Франклин Бенджамин, американский политик 764, 798, 799, 808
- Франсиз I, король Франции 335, 343
- Франсиз II, король Франции 390–397
- Франсиз Ассизский Святая 154–158, 177
- Фредерик Льюис принц Уэльский, старший сын короля Георга II Английского 760
- Фридрих II Великий, король Пруссии 760, 775, 778, 782, 828, 830
- Фридрих II Гогенштауфен, император Священной Римской империи 143, 149, 154
- Фридрих V курфюрст Пфальцский, король Богемии 505–507
- Фробшер Мартин, мореплаватель 435, 524
- Фруассар Жан де, хронист 237, 259
- Фульк I Рыжий, граф Анжуйский 101–103
- Фульк III Нерра (Черный), граф Анжуйский 104–105
- Фульк V, граф Анжуйский 104
- Фульк Добрый (Каноник) 103
- Фуст Иоганн, печатник 306
- Х**
- Хайд (Гайд) Лоуренс 1-й граф Рочестер 685

Именной указатель

Хайд (Гайд) Эдуард 1-й граф
Кларендон 505, 553, 560, 637,
641, 642, 656, 667, 671, 683, 685
Хайдар Али, правитель Мизора
815, 842
Халкондид, преподаватель 316
Хаммонд (Гаммонд) Роберт,
полковник 587
Хантингдон, Джон Холланд, 1-й граф
275
Хантли, Джордж Гордон 2-й маркиз
551
Харви Уильям, ученый 456–458
Харгривс Джеймс, изобретатель 823
Харли Роберт 1-й граф Оксфорд 741,
743, 745, 754
Харрингтон Джон, переводчик
Ариосто 414
Хартфорд (Гертфорд), Эдуард Сеймур
лорд Бошан 1-й граф 475, 503
Хаселриг (Гэспериг) Артур, член
Палаты Общин 597, 599, 604, 605,
612, 616, 618
Хаттон (Гэттон) Кристофер, лорд-
канцлер 384, 393
Херефорд (Гертфорд), Хэмфри VIII
де Богуи 3-й граф Эссекс и
4-й граф 214
Хивел II Да (Дорый) ап Каделл
(Гоулл Дада), правитель Уэльса
170
Хилси (Гилси) Джон, епископ
Рочестерский 368
Хильда (Гильда), основательница
Стринельского монастыря 29
Хок (Гок) Эдуард 1-й барон, адмирал
783, 784
Хокк (Гокк), глава колледжа
Магдалены 687, 693
Хоксбери (Оксбери), см. Ливерпуль
Холл (Гоулл) Генри, генерал 771
Холл (Гоулл) Дюкеф, англиканский
епископ Эксетерский 544, 579
Холлис (Голли) Дензил 1-й барон 562,
565, 582–585, 588, 592, 674
Холтон (Олтон) Ралф 1-й барон 568
Хотам (Готэм) Джон, 1-й баронет 565
Хуккинс Джон, флотоводец 411, 435
Хэблок (Гэвлок) Генри, генерал 876

Ц
Цинглин Ульрих, религиозный
реформатор 401
Цисса (Кисса), предводитель
саксов 13
Цицерон Марк Туллий,
древнеримский оратор 42,
144, 307
Цэринген Бертольд фон, герцог 203

Ч
Чандос Джон, английский
полководец 238
Чембес (Чэмбер) Ричард, купец 535
Ченслор (Чэнселлер) Ричард,
мореплаватель 411
Черберри (Черсбери), Эдуард Герберт
1-й барон 634
Черчилль Арабелла, фаворитка
герцога Йоркского (Якова II)
730, 736
Честер, Хью д'Авранш 1-й граф
Честерской маркии 171

Честерфилд, Филип Дормер Стэнхоп
4-й граф 758, 763, 776, 780
Четтл Генри, драматург 447
Чилингворс Уильям, мыслитель
632, 633
Чичестер Артур 1-й барон 473
Чосер Джозфрин, писатель 178,
226–232, 245–250, 265, 305,
438, 622
Чэпмен Джордж, переводчик 414

Ш
Шалюс де, барон 120
Шампо, ученый 139
Шарп, шотландец 640
Шекспир Уильям, поэт и драматург
230, 414, 422, 438, 440, 446–454,
507, 544, 620
Шекстон Николай, епископ
Сонсберийский 368, 370
Шенборн, Уильям Петти-ФмцМоррис
1-й маркиз 796, 819
Шелдон Джиоберт, архиепископ
Кентерберийский 627
Шеридан Ричард Бринсли, член
Палаты Общин, поэт и писатель
857
Шефтсбери, см. Э. Зшли-Купер
Шёффер Петер, печатник 306
Шедфилд, галантерейщик 309
Шедфилды, род 575
Шиппен Роберт, яковит 750
Ширли Джеймс, драматург 544
Шовлен Бернар-Франсуа маркиз де,
французский дипломат 836
Шомберг Арман-Фредерик герцог де,
маршал Франции 716
Шор Джейн, фаворитка короля
Эдуарда IV 303
Шрусбери, Анна Мария Бранденел
графиня 627
Шрусбери, Чарльз Талбот 12-й граф
и 1-й герцог 692, 746

Э
Эбоэт Джордж, архиепископ
Кентерберийский 487
Эберкромби Джеймс, генерал
784, 851
Эвелинг 662
Эгберт, архиепископ Йоркский 43, 62
Эгберт, король Уэссекса 45–50
Эгвин, епископ Уорчестерский 35
Эгфрид, король Нортумбрии 36,
38, 40, 54
Эдберт, король Нортумбрии 43, 44
Эдвин, принц, брат Эдмунда
Железнобокого 60
Эдвин, граф Мерсии 75
Эдвин, король Нортумбрии 22–24,
66, 86
Эдгар Этлинг, претендент на престол
87, 95
Эдгар, король Англии 61, 64, 65
Эдгельм, епископ 54
Эддингтон Генри 1-й виконт Скимут
850
Эдмунд Абингдонский 144
Эдмунд Железнобокий, король
Англии 69, 71, 85, 86
Эдмунд Святой, архиепископ
Кентерберийский 143, 152

Эдмунд, король Восточной Англии
49, 58–60
Эдмунды, семья 191
Эдред, король Англии 60
Эдрик, граф Мерсийский 69
Эдуард I Длинноногий, король Англии
56–58, 62, 72, 73, 115, 159,
174–200, 209, 215–224, 230, 240,
609, 740
Эдуард II Карнарвонский, король
Англии 195, 214–220, 231,
240, 273
Эдуард III Плантагенет, король Англии
208–212, 218–244, 265, 273, 277,
291, 557, 669
Эдуард IV Йоркский, король Англии
295, 296, 300, 303, 311–315, 337,
359, 364
Эдуард V, король Англии 310
Эдуард VI, король Англии 371, 395,
469, 497
Эдуард Баллиоль, король Шотландии
194–200, 219, 222
Эдуард Брюс, король Ирландии 463
Эдуард, принц Уэльский, «Черный
принц», старший сын короля
Эдуарда III Английского 234, 238,
241–243
Эдуард, принц Уэльский, сын короля
Генриха VI Английского 293, 298
Эймер, посол Уэссекса 22
Эйслеби (Айслеби) Джон, канцлер
казначейства 754
Экфрит, король Нортумбрии 192
Эгдгельм, епископ Шерборнский 39
Элдон, Джон Скотт 1-й граф 872
Элдридж (Альдфрид), король
Нортумбрии 41
Элеонора Акавитанская, королева
Англии 109, 879
Элеонора Кастильская, 1-я супруга
короля Эдуарда I Английского
164, 189, 880
Элеонора Прованская, супруга короля
Генриха III Английского 150
Элимир, валлийский бард 173
Элиот Джон, член Палаты Общин 502,
515, 522, 523, 533, 537, 553
Элиот Джордж 1-й барон Хисфельд
812, 816
Элла (Азла), предводитель
саксов 13
Эллийн, протестантский проповедник
645
Эльфинг, архиепископ
Кентерберийский 66, 69
Эльфинг, семья 191
Эмбер Жан-Жак, французский
генерал 842, 847
Эмма Нормандская, супруга короля
Этельреда 65, 82
Эразм Роттердамский, гуманист
317–326, 334, 353, 365, 391
Эрлоч, Дрю д'Эрлон, Жан-Батист д',
граф, французский генерал
867, 868
Эскрик (Эттрик), Уильям Говард
3-й барон 683

Эскою Анна, протестантка 371
Эспек Уолтер де л', дворянин 100
Эссекс, Артур Капель 1-й граф 652,
676, 677, 679
Эссекс, Роберт Деверэ 2-й граф,
фаворит Елизаветы I 384,
450, 498
Эссекс, Роберт Деверэ 3-й граф
565–570, 573
Эссекс, Тереза Говард графиня 504
Эсташ Монах, пират 137
Эсташ Сен-Пьер, богатый гражданин
Капе 236
Эсташ, граф Булонский 74, 86, 879
Эстли Джеймс, генерал 577, 578
Эстон Артур, генерал 593
Эсхил, древнегреческий драматург
622
Этельвальд, король Мерсии 40,
41, 43, 44
Этельберт, король Кента 19, 20
Этельбур, королева Уэссекса 40
Этельвульф, король Уэссекса 48, 49
Этельгифу, знатная дама 60
Этельред II, король Англии 62, 65–68,
72, 82
Этельред, король Мерсии 37, 38
Этельред, олдмерен 49, 50, 56
Этельрик, король Берниции 15
Этельстан, король Англии 58, 62,
204, 205
Этельтрит, королева Нортумбрии 36
Этельфилд, дочь короля Альфреда
52, 57
Этельфольд, епископ Уинчестерский
62
Этельфрит, король Нортумбрии
21–26
Эттервери Френсис, епископ
Рочестерский 755
Эффингем, Чарльз Говард 1-й граф,
адмирал 435
Эшвер Джеймс, архиепископ 539
Эшли-Купер, Энтони, 1-й граф
Шефтсбери 601, 617–619, 642,
652, 657–663, 667–682, 692

Ю
Юдоп, священник 490
Юлий II, папа Римский 323
Юлий Агрикола, римский
полководец 7
Юлий Цезарь, римский полководец
7, 138, 168
Юэр, полковник 575

Я
Якоба (Жаклин), графиня Голландии
и Геннегау, супруга Хемфри
герцога Глостера 284
Яков I (VI) Спотарт, король Англии
и Шотландии 390, 394, 402, 456,
490–511, 541, 629, 639, 729
Яков II Спотарт, король Англии 554,
654, 659, 661, 662, 666, 672,
678–680, 686–705, 770, 789
Яков IV Спотарт, король Шотландии
375, 395
Яков V Спотарт, король Шотландии
395

Содержание

Часть 1

Английские королевства (607–1013)

| | | |
|------------|--|----|
| Глава I. | Британия и Англия | 3 |
| Глава II. | Английское завоевание (449–577) | 9 |
| Глава III. | Королевство Нортумбрия (588–685) | 18 |
| Глава IV. | Три королевства (865–828) | 38 |
| Глава V. | Уэссекс и датчане (802–880) | 47 |
| Глава VI. | Вест-Саксонское королевство (893–1013) | 56 |

Часть 2

Англия под владычеством чужеземных королей (1013–1204)

| | | |
|-------------|---|-----|
| Глава I. | Датские короли | 67 |
| Глава II. | Английская реставрация (1042–1066) | 72 |
| Глава III. | Нормандия и нормандцы (912–1066) | 75 |
| Глава IV. | Завоеватель (1042–1066) | 78 |
| Глава V. | Нормандское завоевание (1068–1071) | 86 |
| Глава VI. | Возрождение английской народности (1071–1127) | 92 |
| Глава VII. | Англия и Анжу (870–1154) | 103 |
| Глава VIII. | Генрих Второй (1154–1189) | 109 |
| Глава IX. | Падение анжуйцев (1189–1204) | 117 |

Часть 3

Великая хартия (1204–1265)

| | | |
|------------|---|-----|
| Глава I. | Английская литература при нормандских и анжуйских королях | 122 |
| Глава II. | Иоанн (1204–1215) | 127 |
| Глава III. | Великая хартия (1215–1217) | 133 |
| Глава IV. | Университеты | 137 |
| Глава V. | Генрих III (1216–1257) | 147 |
| Глава VI. | Нищенствующие ордена | 153 |
| Глава VII. | «Война баронов» (1258–1265) | 158 |

Часть 4

Три Эдуарда (1265–1360)

| | | |
|------------|---|-----|
| Глава I. | Завоевание Уэльса (1265–1284) | 168 |
| Глава II. | Английский парламент (1283–1295) | 176 |
| Глава III. | Завоевание Шотландии (1290–1305) | 188 |
| Глава IV. | Английские города | 200 |
| Глава V. | Король и бароны (1290–1327) | 209 |
| Глава VI. | Борьба Шотландии за независимость (1306–1342) | 219 |

Часть 5

Столетняя война (1336–1431)

| | | |
|------------|--|-----|
| Глава I. | Эдуард Третий (1336–1360) | 225 |
| Глава II. | «Добрый парламент» (1360–1377) | 240 |
| Глава III. | Джон Уиклиф | 244 |
| Глава IV. | Крестьянское восстание (1377–1381) | 253 |
| Глава V. | Ричард II (1381–1399) | 264 |
| Глава VI. | Ланкастерский дом (1399–1422) | 274 |
| Глава VII. | Жанна д'Арк (1422–1451) | 280 |

Часть 6

Новая монархия (1450–1471)

| | | |
|------------|----------------------------------|-----|
| Глава I. | Войны Роз (1450–1471) | 292 |
| Глава II. | Новая монархия (1471–1509) | 299 |
| Глава III. | Гуманизм (1509–1520) | 315 |
| Глава IV. | Уолси (1515–1531) | 332 |
| Глава V. | Томас Кромвель (1530–1540) | 344 |

Часть 7

Реформация

| | | |
|-------------|---|-----|
| Глава I. | Протестанты (1540–1553) | 363 |
| Глава II. | Мученики (1553–1558) | 374 |
| Глава III. | Елизавета (1558–1560) | 383 |
| Глава IV. | Англия и Мария Стюарт (1560–1572) | 397 |
| Глава V. | Англия в эпоху Елизаветы | 407 |
| Глава VI. | Армада (1572–1588) | 421 |
| Глава VII. | Поэты века Елизаветы | 437 |
| Глава VIII. | Завоевание Ирландии (1588–1610) | 458 |

Часть 8

Пуританская Англия

| | | |
|-------------|---|-----|
| Глава I. | Пуритане (1583–1603) | 476 |
| Глава II. | Первый Стюарт (1604–1623) | 490 |
| Глава III. | Король и парламент (1623–1629) | 511 |
| Глава IV. | Новая Англия | 523 |
| Глава V. | Личное управление (1629–1640) | 532 |
| Глава VI. | Долгий парламент (1640–1644) | 553 |
| Глава VII. | Междоусобная война (июль 1642– август 1646) | 565 |
| Глава VIII. | Армия и парламент (1646–1649) | 577 |
| Глава IX. | Республика (1649–1653) | 590 |
| Глава X. | Падение пуританства (1653–1660) | 600 |

Часть 9

Революция

| | | |
|-------------|---|-----|
| Глава I. | Англия и Революция | 625 |
| Глава II. | Реставрация (1660–1667) | 636 |
| Глава III. | Карл II (1667–1673) | 649 |
| Глава IV. | Данби (1673–1678) | 663 |
| Глава V. | Шефтсбери (1679–1682) | 673 |
| Глава VI. | Вторая тирания Стюартов (1682–1688) | 682 |
| Глава VII. | Вильгельм Оранский | 695 |
| Глава VIII. | Великая коалиция (1689–1697) | 707 |
| Глава IX. | Мальборо (1698–1712) | 725 |
| Глава X. | Уолполь (1712–1742) | 746 |

Часть 10

Новейшая Англия

| | | |
|--|-----------------------------------|-----|
| Глава I. | Уильям Питт (1742–1762) | 762 |
| Глава II. | Независимость Америки (1761–1782) | 785 |
| Глава III. | Питт Младший (1783–1793) | 817 |
| Глава IV. | Война с Францией (1793–1815) | 838 |
| Эпилог | | 870 |
| Генеалогические таблицы (В. Е. Климанов) | | 879 |
| Именной указатель | | 885 |

Джон Ричард Грин

ИСТОРИЯ АНГЛИИ И АНГЛИЙСКОГО НАРОДА

Редактор *В. Е. Климанов*

Художественное оформление *А. В. Сушковой*

Компьютерная верстка *И. В. Белюсенок*

Корректор *Е. Р. Ароян*

ООО «Кучково поле»

Москва, 119071, ул. Орджоникидзе, 10, оф. 420

Тел.: (495) 256 04 56, e-mail: info@kpole.ru

www.kpole.ru

Подписано в печать 27.12.2017. Формат 160×235.

Усл. печ. л. 72,8. Тираж 1500. Заказ № ВЗК-06338-17.

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов.

610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36

<http://www.gipp.kirov.ru>; e-mail: order@gipp.kirov.ru

ISBN 978-5-9950-0860-6



9 785995 008606

1-16 Чел. Читальн. город
08.05.2018 000 ТРАМОТ
История Англии и английского народа (4
изд.) Грин

РЧ

9785995008606

Цена 1186 руб.

ВК:

Номер
7396081
Код
2640350
ТБК
11-7117